



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

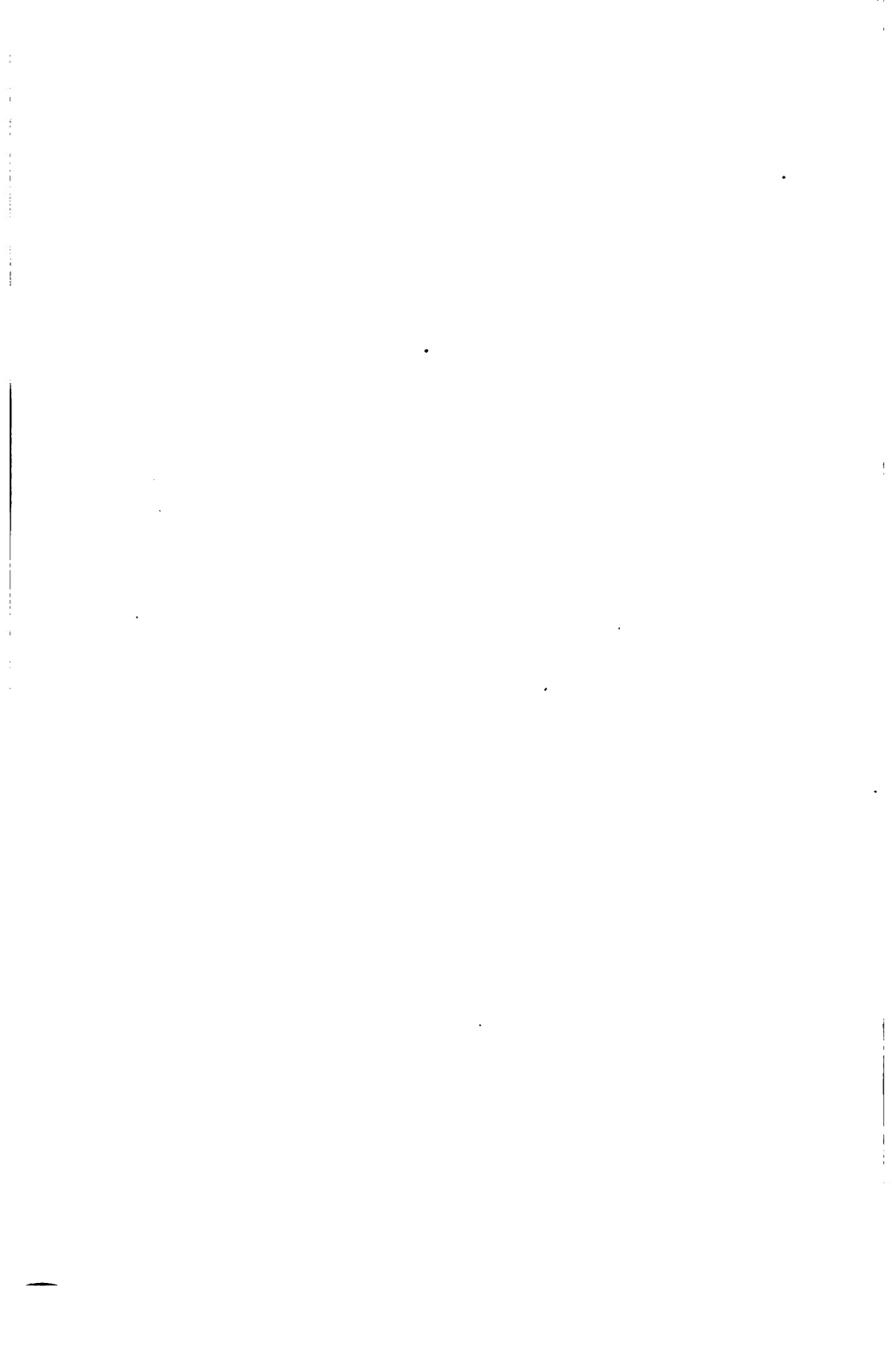
О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

HARVARD COLLEGE
LIBRARY

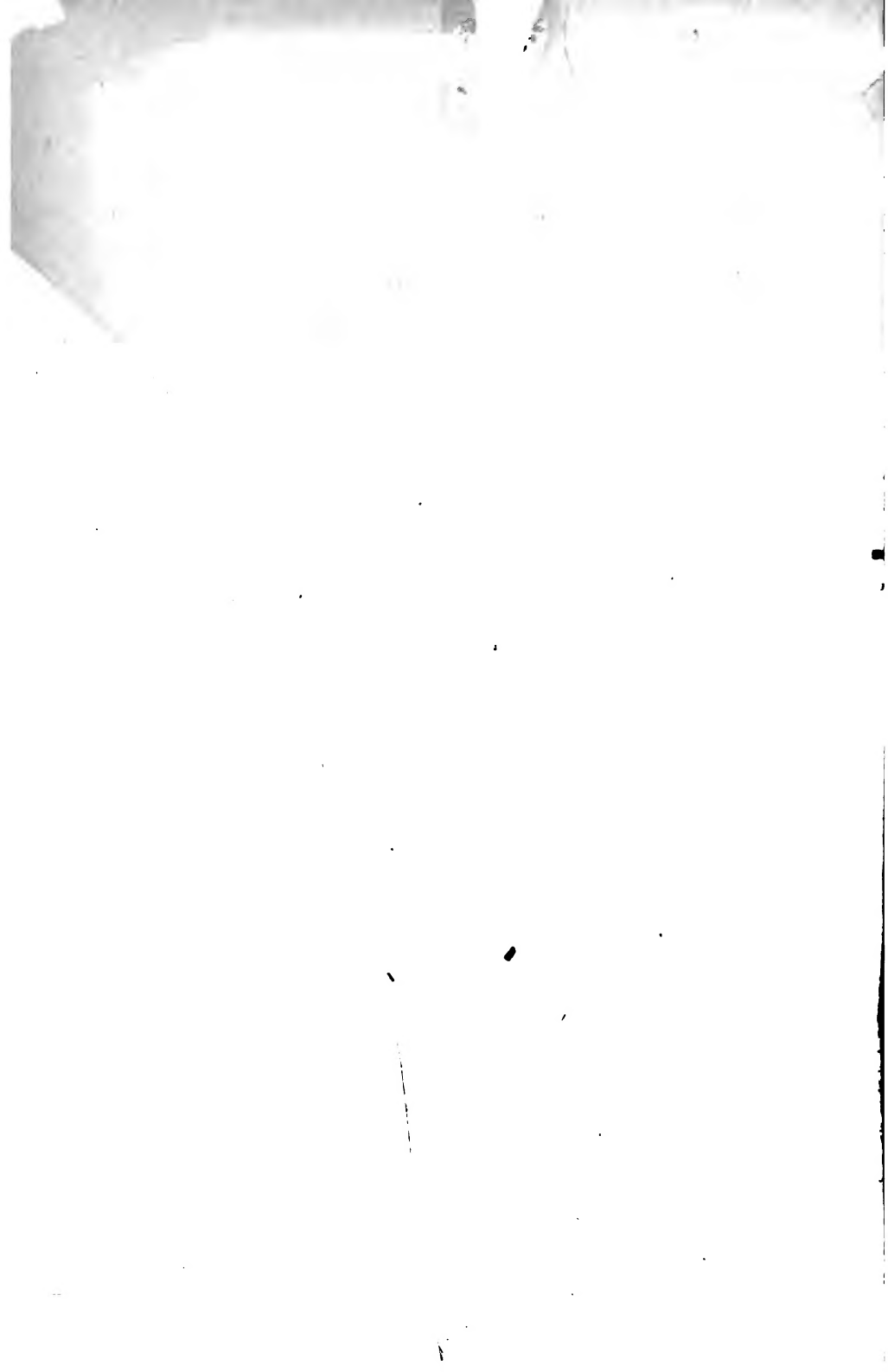


FROM THE FUND OF
CHARLES MINOT
CLASS OF 1828



СОЧИНЕНІЯ

Н. К. МИХАЙЛОВСКАГО.



СОЧИНЕНІЯ
Н. К. МИХАЙЛОВСКАГО.

Томъ третій.

Записки Профана.

Изданіе второе, значительно дополненное.

А. Я. ПАНАФИДИНА.

Выпускъ I.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, д. 39).
1888.

~~IV, 42.58~~

Slav-4347.4.1 (5)



Minot Fund

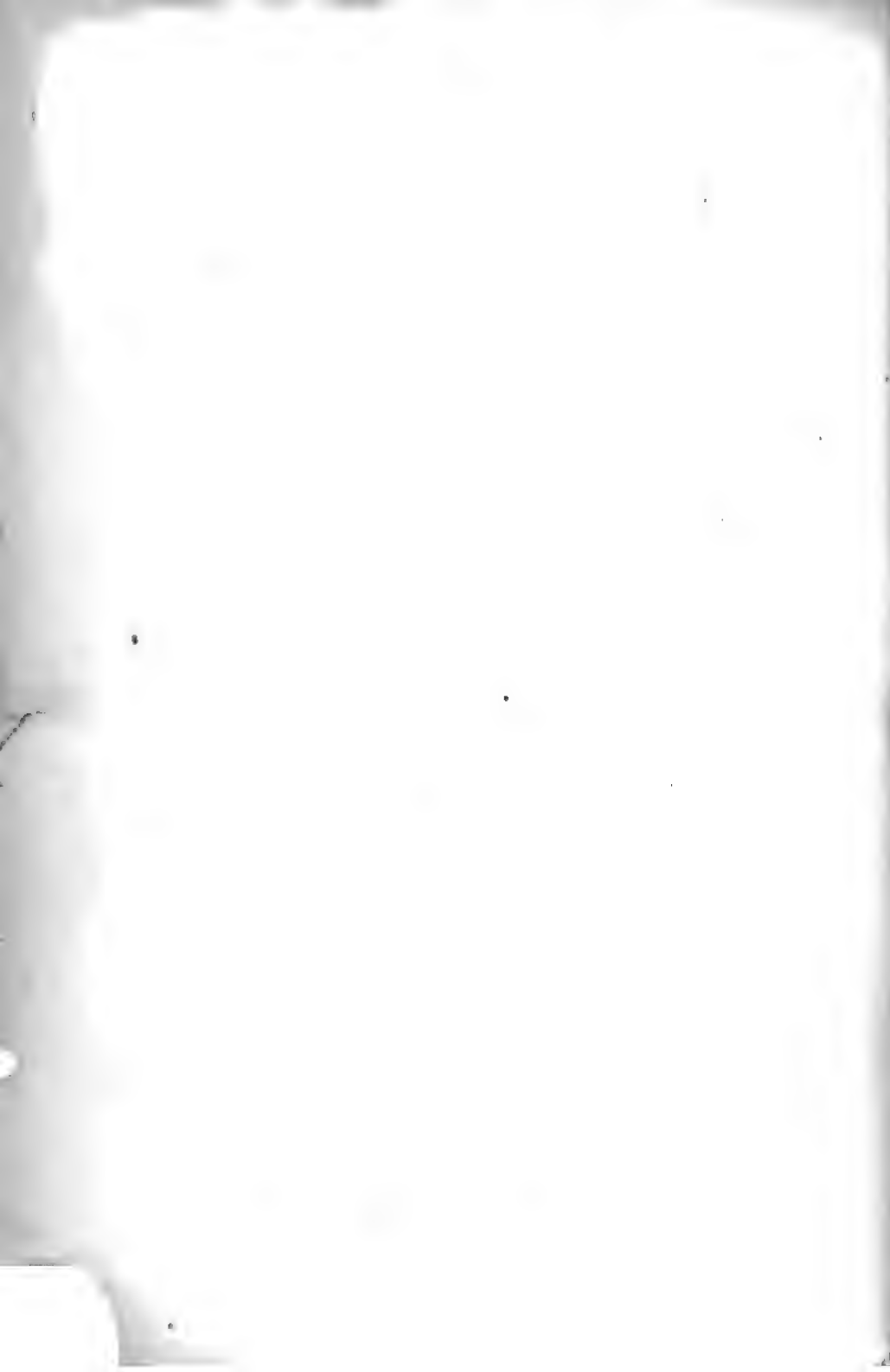
1.05
54.56
10

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Записки профана.

ВЫПУСКЪ I.

	СТР.
I. О демократизмѣ естественныхъ наукъ	1
II. Бура въ стаканѣ педагогической воды.	23
III. О жаждѣ познанія	66
IV. Объ изученіи социологін	96
V. Объ истинѣ, совершенствѣ и другихъ скучныхъ вещахъ.	130
VI. Борьба за индивидуальность	159
VII. Десница и шуйца Льва Толстого	180
VIII. Нѣсколько мелочей	222
IX. Нѣчто о г. Марковѣ	237
X. Десница и шуйца гр. Толстого (продолженіе).	252
XI. Десница и шуйца гр. Толстого (окончаніе).	283



ПРЕДИСЛОВІЕ

ко второму изданію.

Въ предисловіи къ первому изданію перваго тома было уже объяснено, что я отнюдь не намѣренъ предлагать читателямъ полное собраніе своихъ сочиненій. Многое изъ написаннаго мною я предполагалъ вновь обработать, многое совсѣмъ не вводить въ отдѣльное изданіе. Мотивы для такого исключенія были разные: иное мнѣ казалось неудачнымъ, иное—слишкомъ летучимъ, слишкомъ отвѣчающимъ на злобу дня. Относительно большинства невошедшихъ до сихъ поръ въ отдѣльное изданіе писаній я остаюсь и теперь при прежнемъ мнѣніи. Но «Записки профана», составившія третій томъ, подверглись урѣзанію по совершенно случайнымъ и чисто внѣшнимъ причинамъ. Я просто испугался размѣровъ «Записокъ профана» и механически отбросилъ конецъ ихъ. Потомъ мнѣ приходилось не разъ жалѣть объ этомъ, такъ какъ въ отброшенномъ концѣ заключалось многое, что выясняло и первую половину. Второе изданіе доставило мнѣ возможность исправить этотъ промахъ, вслѣдствіе чего третій томъ разросся до такой степени, что его пришлось раздѣлить на два выпуска.

Нин. Михайловскій.



ЗАПИСКИ ПРОФАНА.

I *).

О демократизмѣ естественныхъ наукъ.

Бѣда кожь пироги начнетъ печи сапожникъ! — такъ заключить 19 октября прошлаго года г. Евтушевскій свой докладъ педагогическому обществу объ «Азбукѣ» и статьѣ: «О народномъ образованіи» гр. Толстаго. Сапожникъ, на бѣду взявшійся печи пирога, есть гр. Л. Н. Толстой, человѣкъ, двадцать лѣтъ теоретически и практически занимавшійся педагогическимъ дѣломъ. Кто же послѣ этого не сапожникъ? И гдѣ основанія для того, чтобы признать самого г. Евтушевскаго пирожникомъ? Мнѣ было бы очень важно получить отвѣтъ на эти вопросы, потому что если гр. Толстой есть, — продолжая метафору г. Евтушевскаго, — дѣйствительно сапожникъ, то что же такое я, собирающійся бесѣдовать съ читателями «Отечественныхъ Записокъ» о произведенной статьѣ гр. Толстаго бурѣ? Т.е. я пожалуй знаю, что такое я: профанъ, съ педагогикой совершенно незнакомый и даже только статьѣй гр. Толстаго натолкнутый на нѣкоторый интересъ къ педагогическимъ вопросамъ. Но въ этомъ-то и дѣло.

1875, январь.

МЕХАЙЛОВСКІЙ. Т. III. ВЫП. I.

Какое право имѣю я, профанъ, судить объ этихъ вещахъ, когда даже сужденія человѣка, много лѣтъ занимавшагося дѣломъ обученія и воспитанія, оказываются пирогомъ, испеченнымъ руками къ совсѣмъ иному ремеслу привычнаго сапожника? Смотри на свою писательскую дѣятельность совершенно серьезно, я бы считъ своею обязанностью отказаться отъ своего намѣренія, еслибы мнѣ кто-нибудь доказалъ, что въ качествѣ профана я не имѣю права вмѣшиваться въ «споръ славянъ между собою». Но, прочитавъ все написанное и сказанное въ послѣдней педагогической распрѣ, я убѣдился, что это мнѣ не можетъ быть доказано. Мало того. Возьмемъ хоть цитату г. Евтушевскаго изъ басни Крылова. Еслибы мы, профаны, не могли смѣть свое сужденіе имѣть и должны были совершенно полагаться на мнѣнія специалистовъ, то мы должны положиться и на мнѣнія гр. Толстаго. Онъ специалистъ, онъ двадцать лѣтъ педагогіей занимается. Для профана, не смѣющаго имѣть свое сужденіе, это вѣдь единственный объективный признакъ специалиста, человѣка, которому надо вѣрить. Если этого признака недостаточно по отношенію къ гр. Толстому, то его недостаточно и по отношенію къ г. Евтушевскому. Поэтому, провозглашая гр. Толстаго сапожникомъ, г. Евтушевскій тѣмъ самымъ говоритъ намъ, профанамъ: господа! не вѣрьте педагогамъ специалистамъ на-слово; не смотря на многолѣтнія занятія своимъ дѣломъ, они могутъ оказаться въ немъ совершенными невѣждами; приглашаю васъ собственными силами убѣдиться въ справедливости моихъ возраженій гр. Толстому. Г. Евтушевскій отворяетъ профанамъ дверь настежь, и я въ нее вхожу.

Да и еще бы меня въ нее не пустили! Вѣдь *нашихъ* дѣтей, дѣтей профановъ обучаютъ и воспитываютъ господа педагоги, и еслибы не было на свѣтѣ профановъ, то господамъ педагогамъ пришлось бы закрыть лавочку, потому что каждый сидѣлъ бы подъ смоковницей своей и самъ обучалъ бы своихъ дѣтей. Имѣемъ же мы значить право требовать у нихъ отчета, обязаны они выслушать нашъ голосъ, хотя бы потому только, что мы живемъ и хотимъ жить. Въ концѣ концовъ вѣдь они *намъ* взя-

лись служить, наши нужды удовлетворять. Изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, что мы тунеядцы, а господа педагоги наши благодѣтели. Мы благодарны имъ, но и они должны быть намъ благодарны, потому что между нами происходитъ извѣстный обмѣнъ услугъ. Трудомъ профановъ складываются всевозможныя удобства жизни педагоговъ и даже самое ихъ знаніе и искусство. Безъ сомнѣнія между профанами въ педагогіи, т. е. людьми, непосвященными въ ея тайны, есть и тунеядцы; но, хотя это можетъ быть и лучшіе кліенты педагоговъ (едва ли впрочемъ: сотни тысячъ экземпляровъ всякихъ задачникъ и руководствъ обученія грамотѣ не по тунеядцамъ разошлись), мы нѣтъ дѣла до ихъ взаимныхъ отношеній, — пускай вѣдаются какъ знаютъ. Я имѣю въ виду профановъ, трудомъ оплачивающихъ услуги педагоговъ, т. е. народъ, не простонародье только и не націю, а именно народъ. Съ этой точки зрѣнія я всѣ свои записки буду вести, съ нея же и педагогическую распрю трактовать. Поэтому ее надо нѣсколько пояснить. Недавно я видѣлъ одного народолюбца, который хвастался своей близостью съ мужикомъ—конокрадомъ по профессіи, т. е. едвали не самымъ ненавистнымъ врагомъ мужика-работника, мужика-народа. Довольно часто было писано и говорено, что г. Губонинъ, въ качествѣ бывшаго крѣпостнаго крестьянина, есть народъ. О совершенной негѣлности подобныхъ воззрѣній я говорилъ неоднократно и теперь позволяю себѣ просто сослаться на «Литературныя и журнальныя замѣтки» конца 1872 и начала 1873 года. Тамъ было выражено, что народъ есть совокупность трудящихся классовъ общества. Потому педагоги, въ качествѣ работниковъ, суть также народъ, какъ и плотники, химики, литераторы, пастухи. Всѣ эти люди трудомъ зарабатываютъ хлѣбъ свой, слѣдовательно что-нибудь знаютъ, иначе они сидѣли бы безъ работы. Но въ то же время они профаны относительно извѣстныхъ областей знанія. И педагогъ есть въ свою очередь профанъ по отношенію къ сферѣ дѣятельности плотника, химика, литератора, пастуха. Формальнаго договора о взаимности услугъ между всѣми этими людьми не было и быть не могло. Но тѣмъ не менѣе

само собой, въ силу такъ называемаго закона раздѣленія труда вышло, что они взаимно оплачиваютъ трудъ трудомъ и знаніе знаніемъ. Это незамѣтно, объ этомъ нужно говорить только въ силу крайней сложности всей организаціи. Прямой, непосредственный обмѣнъ услугъ между представителями различныхъ профессій составляетъ исключеніе, но вѣдь все-таки педагогъ употребляетъ молоко, масло, творогъ, мясо, шерсть, кожу тѣхъ самыхъ стадъ, которыя пасетъ пастухъ. Я говорю пока вещи совершенно избитыя, даже слишкомъ избитыя, фигурирующія на первыхъ страницахъ любого курса политической экономіи. Поправки, требуемыя этими слишкомъ избитыми положеніями, будутъ въ свое время представлены. А теперь мнѣ нужно выяснить только свою точку зрѣнія, отнюдь, какъ я думаю, не избитую, и притомъ пока именно только выяснить, — оправданіе ея тоже впослѣдствіи. Итакъ, каждый членъ данной совокупности трудящихся классовъ общества или даннаго народа есть въ одно и то же время и свѣдущій работникъ и профанъ во всѣхъ сферахъ дѣятельности, кромѣ собственной. При существующемъ порядкѣ вещей, онъ, какъ свѣдущій работникъ, только въ исключительныхъ случаяхъ работаетъ на самого себя, т. е. учить своихъ дѣтей самъ, пасетъ своихъ коровъ самъ, шьетъ себѣ сапоги самъ и т. д.; въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ онъ исполняетъ заказы профановъ. А въ качествѣ профана онъ наоборотъ самъ даетъ заказы свѣдущимъ работникамъ. Нѣтъ никакой надобности, чтобы эти заказы были выражены въ той совершенно опредѣленной формѣ, въ какой вы заказываете портному платье и сапожнику сапоги. При сложности общественной организаціи заказъ болѣею частью подразумевается и не имѣетъ опредѣленнаго характера прямо личныхъ отношеній. По разнымъ обстоятельствамъ я не имѣю ни времени, ни способности, ни охоты воспитывать своихъ дѣтей. Съ другой стороны я, какъ одинъ изъ числа оплачивающихъ своимъ трудомъ существованіе специалистовъ педагоговъ, имѣю право требовать, чтобы они занялись несподручнымъ мнѣ дѣломъ воспитанія. Но мнѣ этого и требовать не нужно, потому что пе-

дагоги, самым своимъ существованіемъ, какъ свѣдущихъ работниковъ, исполняютъ мой невыраженный заказъ; не мой лично разумѣется и не того или другого профана въ частности (частныя сдѣлки родителей съ учителями, гувернерами и пр., — со всѣмъ другое дѣло), а невыраженный заказъ профановъ вообще. А если такъ, то право контроля профановъ надъ трудами специалистовъ сомнѣнію подлежать не можетъ. Вопросъ только въ возможности контроля. Какъ можетъ профанъ, съ позволенія читателя, лѣзть съ суконнымъ рыломъ въ казачный рядъ? Какъ можетъ онъ, человѣкъ несвѣдущій, требовать отчета у людей свѣдущихъ, какъ можетъ онъ ихъ учить? Но чортъ вообще вовсе не такъ страшенъ, какъ его малюютъ. Когда вы примѣриваете сапоги, то не сапожника, а ваше дѣло рѣшать жмутъ ли вамъ сапоги ноги или нѣтъ. Сапожникъ можетъ, руководствуясь извѣстными объективными признаками, расположеніемъ морщинъ кожи и т. п., приблизиться къ пониманію испытываемой вами боли, но рѣшающій голосъ принадлежитъ все-таки вамъ, а не ему. И конечно вы не повѣрите виртуозу-сапожнику, который даже совершенно искренно и вполнѣ ученымъ образомъ сталъ бы вамъ доказывать, что сапогъ, причиняющій вамъ боль, превосходить. Это разъ. Вотъ такихъ профанъ вовсе не значить невѣжда. Всѣ человѣческія знанія извѣстнымъ образомъ соприкасаются, переплетаются и разница только въ *степени* замкнутости извѣстной области труда и знанія. Это особенно очевидно во всѣхъ прикладныхъ отрасляхъ науки. Такіе профаны, скажемъ, въ агрономіи, какъ химикъ или ботаникъ, безъ сомнѣнія имѣютъ право быть выслушанными и въ сельско-хозяйственныхъ вопросахъ. Но не говоря уже объ этомъ, всѣ профаны, будучи въ тоже время работниками (повторяю, я только такихъ профановъ и имѣю въ виду), должны выработать извѣстные общіе всякому знанію и труду приемы мысли. Надъ какимъ бы матеріаломъ ни работалъ человѣкъ, хоть бы онъ доски строгалъ, самый процессъ труда не можетъ не отзываться на выработкѣ привычки къ логическому мышленію. И если есть такіе виды труда, которые даже извращаютъ логическую способность (объ

этомъ потомъ), то есть и такіе, которые доводятъ ее до болѣе или менѣе высокой степени развитія. Поэтому, если я, профанъ, не могу оцѣнить матеріальную сторону изслѣдованія какого-нибудь специалиста, если я даже, положимъ, и приступиться къ ней не могу, то это не мѣшаетъ мнѣ успѣшно контролировать его формальную, чисто логическую сторону. Если специалистъ говорить: $a + b = c$, а *потому* $a - b = d$, то мнѣ даже нѣтъ необходимости знать, что именно разумѣется подъ буквами a , b , c и d — я и безъ того вижу, что специалистъ сдѣлалъ совершенно произвольный, ни на чемъ не основанный выводъ. Наконецъ есть и еще одинъ, едва ли не самый важный путь для контролированія профанами работы специалистовъ. По крайней мѣрѣ онъ наиболѣе ясно устанавливаетъ ту точку зрѣнія профана, съ которой я буду судить о разныхъ явленіяхъ нашей умственной жизни. Возьмемъ какую-нибудь довольно замкнутую область знанія, только въ малой степени допускающую всѣ вышепоименованные пути контроля надъ ней со стороны профановъ. Возьмемъ напримѣръ чистую химію. Рядомъ съ химикомъ существуютъ: математикъ, плотникъ, педагогъ, пастухъ, полицейскій чиновникъ, фізіологъ, земледѣлецъ, солдатъ, политико-экономъ и т. д. Прошу читателя отвлечь, снять, такъ сказать, со всѣхъ этихъ людей ихъ неподходящіе конкретные признаки и видѣть въ нихъ народъ въ смыслѣ совокупности свѣдущихъ работниковъ съ одной стороны и профановъ съ другой. Я не предлагаю читателю видѣть въ трудѣ ихъ метафизическую сущность, я прошу только смотрѣть на нихъ съ извѣстной стороны. Безъ сомнѣнія многіе изъ нихъ совершенно не могутъ произвести учетъ дѣятельности химика. При такомъ учетѣ фізіологъ скажетъ быть можетъ довольно вѣское слово по соприкосновенности его специальности съ химіей; математикъ и политико-экономъ оцѣнятъ болѣе или менѣе правильно логическую сторону работъ химика; наконецъ полицейскій чиновникъ, солдатъ, плотникъ должны повидимому оставаться совершенно безгласными. Однако это только повидимому. Они имѣютъ полное *право* сказать химику: я, полицейскій чиновникъ, охраняю своимъ трудомъ твою личность и собственность отъ

внутреннихъ враговъ, я, солдатъ,—отъ враговъ вѣшнихъ, я, плотникъ, построилъ твой домъ и т. д. Всѣ мы исполняли твои невыраженные заказы; исполнять ли ты наши? Если ты извѣстнымъ образомъ обставленъ, то только потому, что существуемъ на свѣтѣ мы, профаны, подѣлившіе между собою заботы о твоёмъ существованіи. И химикъ обязанъ дать требуемый у него отчетъ. Понятное дѣло, что въ сложной сѣти общественныхъ отношеній плотникъ, полицейскій чиновникъ, математикъ не могутъ требовать, чтобы химикъ послужилъ именно имъ, какъ полицейскому чиновнику, математику и плотнику; какъ таковые, они по всей вѣроятности и заказовъ никакихъ, даже невыраженныхъ, химику не дѣлали. Но, какъ профаны, они вправѣ требовать, чтобы химики служили профанамъ. Въ свою очередь и химикъ можетъ потребовать такого же отчета у полицейскаго чиновника, плотника и математика. Затѣмъ надо сводить счеты...

Теперь я сдѣлаю большое отступленіе отъ педагоговъ вообще и настоящей педагогической распри въ особенности. Отступленіе это однако только облегчить намъ съ читателемъ дальнѣйшее соглашеніе, а мнѣ лично позволить отчасти исполнить давнишнее желаніе и даже обѣщаніе. Да и то сказать,—на педагогическомъ свѣтѣ не клиномъ сошелся, и бесѣдовать съ читателемъ я предполагаю о самыхъ разнообразныхъ вещахъ. Кто интересуется собственно педагогіей, можетъ перевернуть нѣсколько страницъ.

Ни малѣйше не заблуждаясь относительно степени интереса, удѣляемаго читающею публикой отвлеченнымъ вопросамъ общей социологіи, а тѣмъ паче трудамъ въ этой области того или другого писателя, я думаю однако, что кое-кто изъ читателей не забылъ моего обѣщанія представить нѣкоторые возраженія г. Южакову. Во всякомъ случаѣ неисполненіе даннаго обѣщанія требуетъ объясненія. Я уже очень давно познакомилъ читателей «Отечественныхъ Записокъ» съ двумя первыми «Соціологическими этюдами» г. Южакова («Отеч. Зап.» 1873, № 4 *). Я сильно радовался выступленію г. Южакова на литературное поприще, какъ

*) Статья эта не войдетъ цѣликомъ въ настоящее изданіе.

радуюсь всякому появлению свѣжей мысли и новаго таланта. А тутъ были и особенные поводы радоваться. Среди одинаково ненавистныхъ мнѣ, грубыхъ, неуклюжихъ попытокъ перенесенія истинъ низшихъ наукъ въ соціологію съ одной стороны, и нелѣпыхъ стремленій якобы спасти человѣческое достоинство отрицаніемъ несомнѣнныхъ научныхъ истинъ съ другой,—изслѣдованія г. Южакова представляютъ очень замѣтное явленіе. Общество не есть организмъ, а нѣчто ему совершенно противоположное; прогрессъ соціальный диаметрально противоположенъ прогрессу органическому; половой подборъ, одинъ изъ самыхъ могучихъ факторовъ органическаго прогресса, совершенно утрачиваетъ свою силу въ обществѣ;—вотъ голые результаты двухъ первыхъ этюдовъ г. Южакова. Въ виду этихъ-то результатовъ, весьма цѣнныхъ и важныхъ, я не считалъ нужнымъ выяснитъ нѣкоторыя мои сомнѣнія, возбужденныя еще первымъ этюдомъ. Каюсь, Римъ для меня дороже, чѣмъ тѣ дороги, которыя ведутъ къ нему. Если человѣкъ стоитъ на дорогѣ, то не все ли мнѣ равно, что онъ придетъ въ Римъ нѣсколько иначе, чѣмъ я пришелъ? не все ли это равно и для дѣла? Пусть г. Южаковъ по своему расшатываетъ нелѣпости соціологовъ-дарвинистовъ и органистовъ, я буду дѣлать то же дѣло по своему: важно только, чтобы люди убѣдились, что это нелѣпости. Кто не убѣдится моими логическими приемами и доводами, того убѣждать можетъ быть доводы и приемы г. Южакова и наоборотъ. Такъ думалъ я, рекомендуя вниманію читателей два первые этюда г. Южакова. Поэтому я сдѣлалъ тогда всего собственно говоря одно бѣглое замѣчаніе,—нѣтъ надобности говорить какое. Г. Южаковъ отвѣтилъ коротенькой «замѣткой на замѣтку г. Михайловскаго» («Знаніе» 1873, № 5), въ которой выразилъ, что между мной и имъ существуетъ повидимому, кромѣ недоразумѣній, весьма важное разногласіе, и тутъ же обѣщалъ изслѣдованіе о значеніи субъективнаго метода въ соціологіи. Дѣйствительно въ № 10 «Знанія» за 1873 г. появилась его статья «Субъективный методъ въ соціологіи», въ которой подвергались критикѣ нѣкоторыя мнѣнія мои и еще одного писателя. А еще передъ тѣмъ (№№ 3

и 5) напечатанъ былъ третій этюдъ г. Южакова, — «Условія проявленія естественнаго подбора въ обществѣ», — въ которомъ, при помощи тѣхъ же пріемовъ и доводовъ, какіе были употреблены въ двухъ первыхъ этюдахъ, доказывалось, что естественный подборъ, преломляясь въ социальной средѣ, утрачиваетъ свое значеніе. Прочитавъ эти двѣ статьи, я нѣсколько измѣнилъ свое мнѣніе о дорогахъ, ведущихъ въ Римъ. Притомъ же г. Южаковъ посвятилъ особую статью полемикѣ. Свое намѣреніе отвѣчать ему я однако откладывалъ отчасти потому, что былъ отвлекаемъ другими занятіями, отчасти потому, что ждалъ дальнѣйшихъ этюдовъ г. Южакова, изъ которыхъ мнѣ особенно важно было дожидаться спеціальнаго изслѣдованія социальной среды. Его до сихъ поръ нѣтъ и быть можетъ и не будетъ. Поэтому я рѣшился включить отвѣтъ г. Южакову въ отчетъ о журналѣ «Знаніе», въ которомъ были помѣщены «Соціологическіе этюды» и который, существуя уже пятый годъ, пользуется весьма малымъ вниманіемъ нашей журналистики. Съ одной стороны я надѣялся, что въ такой работѣ позволительна будетъ нѣкоторая незакругленность, незаконченность полемики, которая была бы необходима, еслибы я посвятилъ статью только этой полемикѣ, и возможна, еслибы мнѣ были извѣстны нѣкоторыя изъ неопубликованныхъ еще возрѣній г. Южакова, сопредѣльныхъ съ предметомъ спора. Съ другой стороны предметъ спора такъ широкъ, что слишкомъ соблазнительна была мысль поискать себѣ опоры въ матеріалахъ, заключенныхъ въ научно-популярномъ журналѣ, издающемся уже нѣсколько лѣтъ. Къ сожалѣнію мнѣ пришлось отказаться по разнымъ причинамъ отъ мысли представить читателю посильный отчетъ о «Знаніи». Слѣды первоначальнаго плана читатель найдетъ однако и въ предлагаемой части моихъ возраженій г. Южакову. Да простятся мнѣ всѣ эти объясненія.

Въ статьѣ г. Южакова «Субъективный методъ въ соціологіи», говорится между прочимъ: «Плохи шансы той партіи, которая отдѣляетъ истинное отъ желательнаго и заявляетъ, что оцѣнка на основаніи ея доктрины можетъ и не совпасть съ оцѣнкою

на основаніи категорій истиннаго и ложнаго. Въ апрѣльской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» за истекшій годъ, г. Михайловскій разсматриваетъ насколько демократичны естественныя науки и при этомъ приходитъ къ заключенію, что въ настоящее время онѣ неблагопріятны демократическимъ идеямъ и что защитникамъ и противникамъ демократизма придется вѣроятно помѣняться отношеніями къ естествознанію. Еслибъ это было такъ, то конечно это была бы весьма печальная исторія для демократизма и равнялась бы собственному сознанію демократовъ въ томъ, что идеи, проповѣдуемыя ими, находятся въ противорѣчьи съ несомнѣнными истинами, установленными естествознаніемъ. Если г. Михайловскій признаетъ свои идеи не только желательными, но и истинными, то какъ можетъ онъ находить другія истины имъ враждебными? Если демократизмъ истина, то естественныя науки должны быть демократичны или на худой конецъ безразличны для демократической доктрины. Если же г. Михайловскій правъ, то демократизмъ—ложная доктрина, но г. Михайловскій демократъ; вотъ каковы бываютъ послѣдствія субъективизма!»

Побѣдоносный восклицательный знакъ, заканчивающій эту тираду, какъ нельзя болѣе уместенъ. Я говорилъ вздоръ и вполне уличенъ г. Южаковымъ! Послѣдствія субъективизма ужасны! До такой степени ужасны, что при всемъ моемъ уваженіи къ г. Южакову, мнѣ какъ-то не вѣрится, чтобы я написалъ что-либо подобное. Безъ сомнѣнія г. Южаковъ правъ. Не самъ же онъ выдумалъ тѣ пустяки и ту логическую путаницу, которые мнѣ приписываетъ. Однако съ моей стороны все-таки весьма простительно стремленіе ухватиться хоть за какую-нибудь соломенку, оправдаться хоть немного. Заглянуть въ апрѣльскую книжку «Отечественныхъ Записокъ». Еслибы не тяжесть обвиненія, я бы разумѣется никогда не осмѣлился прибѣгнуть къ фактической провѣркѣ утвержденій г. Южакова. Въ сѣтшной журнальной работѣ всегда могутъ встрѣтиться неточныя выраженія, обмолвки, недомолвки, логическія ошибки второстепеннаго свойства и т. п. И если бы г. Южаковъ указалъ мнѣ на что-

нибудь въ этомъ родѣ, я бы просто повинился: виновать-молъ, ошибся, обмолвился. Но тутъ дѣло идетъ не объ мелочи.

Въ «литературныхъ и журнальныхъ замѣткахъ» апрѣльской книжки «Отечественныхъ Записокъ» говорится вотъ что. Бокль въ своей знаменитой «Исторіи цивилизаціи» выставилъ тезисъ: «естественныя науки по существу своему демократичны» — и очень плохо защитилъ его. Самое большое, что можно выжать изъ общихъ мѣстъ, которыя наговорилъ по этому случаю Бокль, состоитъ въ томъ, что наканунѣ первой французской революціи въ обществѣ обнаружился значительный интересъ къ естествознанію. Дѣйствительной связи, существовавшей наканунѣ первой революціи между демократическими началами и естествознаніемъ, Бокль не только не доказалъ, а даже не указалъ. А между тѣмъ эта связь существовала несомнѣнно. Подрывая авторитетъ католической доктрины, изученіе природы уже тѣмъ самымъ способствовало расшатыванію всей плотно спаянной феодальной системы, а слѣдовательно косвенно служило демократическимъ идеямъ равенства и свободы. Феодальный строй имѣлъ свою верховную санкцію въ католицизмѣ, шатаніе котораго неизбѣжно должно было отозваться и на всемъ зданіи. Во вторыхъ болѣе или менѣе пристальное изученіе природы наводило на мысль о несостоятельности общественныхъ неравенствъ, санкционированныхъ феодальнымъ правомъ, неравенствъ, основанныхъ не на естественныхъ достоинствахъ и недостаткахъ различныхъ классовъ людей, а на историческихъ преданіяхъ и военномъ бытѣ. Втретьихъ наконецъ, изученіе природы, давая толчокъ техникѣ, способствовало усиленію класса людей промышленныхъ, т. е. тѣхъ именно, которые добивались осуществленія идей равенства и свободы. Вотъ три пути, которыми наканунѣ первой революціи естественныя науки служили демократическимъ началамъ въ теоретической мысли и практической жизни. Это обстоятельства чрезвычайной важности, но отъ нихъ однако еще очень далеко до тезиса Бокля: естественныя науки по существу своему демократичны. Тѣмъ не менѣе убѣжденіе это, хотя и рѣдко высказываемое въ такой рѣзкой формѣ, принадлежитъ къ

числу весьма распространенныхъ. Естествоиспытатель и демократъ какъ-то сплелись для насъ въ одно нераздѣльное цѣлое, несмотря на множество примѣровъ, вполне способныхъ разсѣять это созданіе нашей фантазіи. А между тѣмъ все вышесказанное показываетъ только, что естественныя науки въ общемъ всегда будутъ служить демократическимъ началамъ постѣпку, по скольку послѣднимъ приходится бороться съ началами феодализма и католицизма. Бороться имъ съ этими началами приходится и до сихъ поръ—князь Бисмаркъ и папа имъ одинаково противны. Но со времени первой революціи прошло безъ малаго сто лѣтъ, въ которыя народились кое-какія новыя общественныя комбинаціи, недопускающія такого простаго отвѣта на вопросъ объ отношеніяхъ естественныхъ наукъ къ демократическимъ началамъ. Не говоря о массѣ естественно-научныхъ фактовъ и выводовъ, совершенно въ этомъ отношеніи *безразличныхъ*, не служащихъ ни нашимъ, ни вашимъ, отмѣтимъ слѣдующее. Впервые въ своихъ техническихъ приложеніяхъ естественныя науки являются практическими служителями любой формы коопераціи. Какова бы ни была данная комбинація политическихъ и общественныхъ силъ,—болѣзни изучаются, различные способы леченія практикуются, лекарства изготовляются, каменноугольныя копи развѣдываются и разрабатываются, новыя питательныя вещества открываются, силы электричества, пара и т. п. приспособляются къ требованіямъ этой комбинаціи и проч., и проч., и проч. Все это невозможно безъ изученія природы, безъ естественныхъ наукъ, результаты которыхъ могутъ слѣдовательно идти на потребу и демократическихъ и всякихъ другихъ началъ. Въ настоящую историческую минуту, по скольку, давая среднему сословію могучія орудія развитія, техника ослабляетъ силу и значеніе феодальныхъ началъ, она вездѣ оказывается союзницей демократическихъ идей. Но не болѣе, какъ по столько. Не говоря о той долѣ техники, которая въ видѣ стратегическихъ линій желѣзныхъ дорогъ, казенныхъ заводовъ и лабораторій и т. п. служатъ потребностямъ государства, каковы бы ни были его основы, есть у великолѣпнаго развитія техники и

другая сторона, не мирящаяся съ демократическими началами равенства и свободы. Тѣ же самыя приложенія естественныхъ наукъ къ практическимъ нуждамъ, которыя расшатываютъ феодализмъ, вмѣстѣ съ тѣмъ концентрируютъ общественную силу въ рукахъ буржуазіи и усиливаютъ гнетъ труда капиталомъ, усиливаютъ имущественное неравенство и приковываютъ рабочаго къ совершенно несвободной дѣятельности. Процессъ этотъ не разъ описанъ, и здѣсь онъ отмѣчается только, какъ одинъ изъ пунктовъ враждебнаго столкновенія естественныхъ наукъ съ демократическими началами. *«Причины этого враждебнаго столкновенія слѣдуетъ искать разумѣется не въ самыхъ естественныхъ наукахъ, даже не въ прикладныхъ ихъ отрасляхъ, а только въ формѣ кооперации. Сами по себѣ, естественныя науки даютъ только свѣдѣнія, а социальныя результаты практическаго приложенія этихъ свѣдѣній зависятъ уже отъ свойствъ данной комбинаціи общественныхъ силъ.»* Переходя къ естественнымъ наукамъ по существу, къ теоретическому ихъ значенію, къ тому содержанію, которое они вносятъ въ жизнь помимо практическихъ приложеній, мы видимъ то же самое. *«И здѣсь опять-таки естественныя науки даютъ только свѣдѣнія, а группировка этихъ свѣдѣній обуславливается данною формою кооперации.»* Дарвинизмъ напимѣръ демократиченъ ровно по столько, по сколько онъ прямо или косвенно подтачиваетъ еще живыя начала феодализма. Но онъ не только не «демократиченъ по существу», а самымъ рѣзкимъ и опредѣленнымъ образомъ ставитъ неравенство и борьбу за лучшее положеніе въ обществѣ краеугольными камнями своей нравственно-политической доктрины. Таковы и нѣкоторыя другія біолого-соціологическія теоріи, напимѣръ теорія соціальнаго организма. *«Здѣсь мы не имѣемъ въ виду вопроса о томъ, насколько вѣрны эти доктрины удовлетворяютъ требованіямъ логики и научности. Мы разбирали только, справедливо ли приписывать имъ демократическій характеръ. Наше мнѣніе о нихъ, какъ о научныхъ и философскихъ теоріяхъ, читателю извѣстно.»*

Вотъ что говорилось въ апрѣльской книжкѣ «Отечествен-

ныхъ Записокъ». Я кажется могу вздохнуть свободно. Мое разсужденіе очень кратко, очень неполно. Я бы охотно согласился даже, что оно совсѣмъ невѣрно, еслибы г. Южаковъ потрудился доказать это. Но тѣхъ пустяковъ и той логической путаницы, которые онъ мнѣ навязываетъ, въ статьѣ нѣтъ. Не сибѣ останавливаться на предположеніи, что г. Южаковъ намѣренно извращаетъ мою мысль, я долженъ думать, что онъ самъ статьи не читалъ, а имѣлъ неосторожность положиться на слова какого нибудь неосновательнаго человѣка. Конечно и то прискорбно, ибо всякому слуху вѣрить не слѣдуетъ. Во всякомъ случаѣ ясно, что мой субъективизмъ не помѣшалъ мнѣ отличить разныя стороны отношеній естественныхъ наукъ къ демократическимъ началамъ. Ясно также, что объективизмъ (безпристрастіе?) г. Южакова не помогъ ему прочесть написанное мною въ апрѣльской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ». Такая случайная и притомъ только отрицательная проба субъективизма и объективизма конечно еще ровно ничего не доказываетъ, и я далеку отъ мысли основывать на ней что бы то ни было. Я не говорю: вотъ каковы послѣдствія объективизма! Я заявляю только, что говорилъ не совсѣмъ то и даже совсѣмъ не то, что мнѣ приписывается почтеннымъ авторомъ «Соціологическихъ этюдовъ». Да послужить это возстановленіе частной, мелкой, неважной, но все-таки *истины* (а съ объективной точки зрѣнія всѣ истины равны, т. е. всѣ одинаково важны) нѣкоторымъ вступленіемъ къ моей бесѣдѣ съ г. Южаковымъ о субъективномъ методѣ въ соціологіи.

Считаю полезнымъ нѣсколько подольше остановиться на только-что высказанныхъ мысляхъ.

Просматривая любую книжку «Знанія», мы найдемъ обильныя подтвержденія справедливости всего вышесказаннаго, т. е. невѣрности никѣмъ недоказаннаго, рѣдко кѣмъ опредѣленно высказываемаго, но все-таки огромнымъ большинствомъ нашего общества безмолвно признаваемаго тезиса Бокля. Возьмемъ на примѣръ № 3 за прошлый годъ. Въ статьѣ знаменитаго англійскаго психолога Бэна «Духъ и тѣло», напечатанной въ этой

книжкѣ, есть слѣдующія, въ высшей степени характеристическія строки: «Есть два способа физическаго наказанія: тяжелая мускульная работа (тяжелая работа вообще, работа машинная) и сѣченіе. Одинъ изъ нихъ дѣйствуетъ на нервы черезъ мышечную ткань, другой черезъ кожу. При этомъ нѣтъ намѣренія причинять боль самимъ мускуламъ или кожѣ; единственная цѣль наказанія—вызвать страданіе нервовъ. Но такъ какъ при сильныхъ наказаніяхъ едва-ли возможно избѣгнуть постояннаго вреда для промежуточныхъ тканей, мускуловъ или кожи, то (если отъ такихъ наказаній не хотятъ отказаться) вообще слѣдовало бы придумать какой-нибудь способъ дѣйствовать только на самые нервы. Для этого можно бы было употреблять электричество. Электрическіе удары и токи, особенно на электромагнитной машинѣ Фарадея, въ которой токи постоянно разряжаются и возобновляются, могли бы давать желаемое количество страданія, и градаціи его могли бы быть измѣрены съ научною точностью. На сколько нервы могутъ выдерживать постоянную боль при сильномъ примѣненіи электричества; это остается еще изслѣдовать; вѣроятно не больше, чѣмъ при равномъ количествѣ боли при наказаніяхъ чрезъ мускулы или кожу; но по крайней мѣрѣ вредъ ограничивался бы одною нервною тканью. Если еще необходимо оставлять въ силѣ наказаніе смертною казнью, то многое можно бы было сказать противъ наказанія повѣшеніемъ и за замѣну его электрическимъ ударомъ. Но такъ какъ теперь начинаетъ преобладать мнѣніе, неблагопріятное лишенію жизни въ смыслѣ наказанія, то заключеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ наказаніе электрическими ударами могли бы примѣняться съ должною соразмѣрностью къ строгости наказанія и удовлетворяло бы всѣмъ требованіямъ отмщенія преступникамъ» (стр. 23).

Это разсужденіе очень типично. Бэнъ, одинъ изъ самыхъ видныхъ представителей современной науки, человѣкъ не даромъ стяжавшій европейскую извѣстность, живетъ въ данномъ обществѣ, въ данной формѣ коопераціи, въ числѣ учреждений которой фигурируютъ тѣлесное наказаніе, каторжныя работы и

смертная казнь для внутренних врагов этой общественной формы. Эта общественная форма могла бы, в лицѣ своихъ официальныхъ представителей, предложить конкурсъ на составленіе проекта замѣны означенныхъ учреждений, существующихъ уже очень давно и нѣсколько обветшалыхъ, болѣе цѣлесообразными. Но Бэнъ, не дожидаясь объявленія о такомъ конкурсѣ, безкорыстно спѣшитъ предложить услуги науки. Правда, онъ нѣсколько пересаливаетъ въ своемъ усердіи, потому что нѣтъ никакого основанія утверждать, что каторжныя работы и тѣлесное наказаніе практикуются съ специальною цѣлью вызвать страданіе нервовъ, оберегая при этомъ мускулы и кожу. Сѣкутъ людей и ссылаютъ на каторгу, не имѣя въ мысляхъ подобныхъ тонкостей. А существовавшія не Богъ знаетъ какъ давно, въ видѣ наказаній, урѣзаніе языка, отсѣченіе одной или обѣихъ рукъ, вырываніе ноздрей и т. п. говорятъ прямо противъ предположенія знаменитаго психолога. Нѣтъ впрочемъ надобности восходить къ этому времени. Казни и наказанія совершаются въ большей части государствъ публично, причемъ прямо рассчитывается на поврежденіе мускуловъ и кожи—раны, царапины—въ видахъ произведенія извѣстнаго впечатлѣнія на зрителей. Кромѣ того Бэнъ упускаетъ изъ виду нѣкоторыя потребности той самой общественной формы, которой безкорыстно предлагаетъ услуги науки. Общественная форма, пользующаяся трудомъ каторжниковъ, далеко не всегда можетъ согласиться на замѣну каторжной работы тюремнымъ заключеніемъ, хотя бы и сопровождаемымъ извѣстнымъ количествомъ электрическихъ ударовъ въ день. Однако все это только неловкости и недосмотры со стороны знаменитаго психолога. Не они важны. Важенъ общій характеръ проекта Бэна, важны намѣренія человѣка науки. А они очевидны: они цѣликомъ направлены къ тому, чтобы самымъ скрупулезнымъ образомъ, «съ научною точностью», удовлетворить потребностямъ данной общественной комбинаціи, какова бы ни была эта комбинація и каковы бы ни были ея потребности. Обращаясь къ официальнымъ представителямъ даннаго общества, Бэнъ говоритъ: еслибы вы хотѣли удержать

смертную казнь, я бы сообщилъ вамъ, почему повѣшеніе слѣдуетъ замѣнить электрическимъ ударомъ. Но вы кажется *не хотите* смертной казни и я молчу. Однако вотъ чего умолчать не могу: *вы хотите* заставить страдать нервы и *не хотите* портить кожу и мускулы,—это достигается электрическими ударами вѣриѣ, чѣмъ каторжной работой и плетями. *Вы хотите* произвести извѣстную степень страданія, ни большую, ни меньшую, чѣмъ какая соотвѣтствуетъ *по вашему мнѣнію* извѣстному дѣянію, которое *вы считаете* преступленіемъ,—вотъ вамъ электро-магнитная машина Фарадея, она исполнитъ *ваши желанія* съ научною точностью.

Въ pendant къ проекту Бэна стоитъ привести другой, подобный же. Въ № 8 «Знанія» за 1873 г., въ отдѣлѣ «разныхъ извѣстій» находимъ краткія свѣдѣнія о сочиненіи Гаутона «Principles of Animal Mechanics» (London 1873). Въ свѣдѣніяхъ этихъ, заимствованныхъ изъ англійскихъ журналовъ, говорится между прочимъ, что Гаутонъ есть «Ньютонъ мускульной системы» и что ни одинъ анатомъ настоящаго и будущаго времени не можетъ обойти его книгу. Не могу разумѣется судить, на сколько основательны эти похвалы, но во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что Гаутонъ пролагаетъ новые пути наукѣ. Онъ пытается приложить математику къ анатоміи, изслѣдуя наприимѣръ «задачи равновѣсія эллиптическаго мускульнаго свода», «теорему Птолемея и нѣкоторыя кривыя третьяго порядка въ приложеніи къ анатоміи» и т. п. Въ замѣткахъ приведены результаты нѣкоторыхъ вычисленій Гаутона, и я выпишу изъ нихъ два-три, чтобы читатель могъ судить объ интересѣ книги. Оказывается наприимѣръ, что высшая энергія, когда либо-достигаемая паровозомъ, равняется $\frac{1}{8}$ энергіи человѣческаго сердца. Есть любопытныя вычисленія силъ, дѣйствующихъ при актѣ дѣторожденія. На основаніи подобныхъ же вычисленій доказывається, что различіе между человѣкомъ и гориллой гораздо больше, чѣмъ между гориллой и другими обезьянами, причемъ авторъ возстаєтъ противъ поспѣшности, съ которою иногда дѣлаются заключенія о сходствѣ различныхъ животныхъ на осно-

ваніи анатомическихъ данныхъ. Но для насъ здѣсь важно слѣдующее. Ученый авторъ находитъ, что смертная казнь повѣшеніемъ «недостойна современнаго состоянія науки», и рекомендуетъ сбрасываніе съ известной высоты преступника, на шею котораго надѣта петля и который при этомъ мгновенно умираетъ вслѣдствіе разрыва позвоночнаго столба. Высота, съ которой слѣдуетъ сбрасывать преступника, получается по слѣдующему правилу, основанному на точномъ вычисленіи: раздѣлить число 2240 на вѣсъ «пациента», выраженный въ фунтахъ, — частное будетъ искомая высота въ футахъ.

Вотъ два проекта двухъ свѣтилъ науки. Они очень ярко и наглядно обрисовываютъ роль техническихъ приложений естественныхъ наукъ. Спрашиваю г. Южакова: имѣя передъ глазами эти два проекта, повторить ли онъ тезисъ Бокля: естественныя науки по существу своему демократичны? Конечно нѣтъ. Въ этихъ двухъ проектахъ естествознаніе играетъ роль совѣтника и исполнителя велѣній официальныхъ представителей данной общественной комбинаціи. Ювеналъ говорилъ о грекахъ ученыхъ и художникахъ, наводнявшихъ въ его время Римъ: засмѣйся—онъ разразится ужаснымъ хохотомъ; заплачь—у него такъ и польются слезы; скажешь: холодно—онъ ужъ дрожитъ и кутается въ теплое платье; скажешь: жарко—онъ ужъ потѣетъ. Такъ именно ведетъ себя въ приведенныхъ примѣрахъ наука. Въ этой роли конечно нѣтъ ничего демократическаго по существу, хотя въ томъ или другомъ частномъ случаѣ она и можетъ оказаться какъ-нибудь дружественною началамъ равенства и свободы. Такой частный случай былъ и есть на лицо. Когда центральная власть во всѣхъ европейскихъ государствахъ, будучи отвлечена политическими, династическими и военными задачами, допустила частныхъ людей овладѣть техническими приложениями естествознанія, послѣднія оказались въ самой тѣсной связи съ развитіемъ демократическихъ началъ. И здѣсь собственно оправдалось правило, что техника служить тому, что желаетъ и *можетъ* взять ее къ себѣ въ услуженіе. Частная предприимчивость, вооруженная знаніемъ и богатствомъ, произвела чудеса, передъ кото-

рыми померкла сила феодально-католической организаціи. Трудно даже объять мыслью все значеніе техническихъ приложенийъ естествознанія въ этомъ великомъ переворотѣ, такъ сильно измѣнившемъ комбинацію общественныхъ силъ. И по скольку техника враждебно сталкивается съ все еще крѣпкими (и даже очень крѣпкими) остатками феодализма и католицизма, она и до сихъ поръ служитъ демократическимъ началамъ. Но, какъ уже сказано, у этой медали есть обратная сторона. Мы найдемъ ее, не выходя изъ того же № 3 «Званія» за прошлый годъ. Въ отдѣлѣ «разныхъ извѣстій» этого нумера напечатана небольшая замѣтка подъ заглавіемъ: «Возрастаніе богатства и заработной платы въ Великобританіи». Это краткое извлеченіе изъ статьи извѣстнаго англійскаго экономиста Фоусета. По мнѣнію Фоусета народное богатство Великобританіи за послѣднія двадцать пять лѣтъ возросло въ огромной пропорціи. Торговля страны увеличилась въ этотъ періодъ вѣроятно болѣе, чѣмъ вчетверо; сумма вывоза поднялась съ 50.000,000 фунт. стерлинг. до 250.000,000; сумма ввоза возросла еще сильнѣе; Англія до такой степени переполнена капиталами, что они у нея черезъ край льются; такъ 90.000,000 фунт. стерл. ушло на постройку желѣзныхъ дорогъ въ Индіи; Египту съ 1862 по 1870 дано въ видѣ четырехъ займовъ 36.880,000 фунт. стерл.; громадныя капиталы ушли въ Соединенные Штаты во время гражданской войны, въ Турцію, въ Италію и проч. Естественно предположить, что и заработная плата возросла за это время значительно. На дѣлѣ оказывается не то. Такъ напримѣръ изъ 13 категорій рабочихъ на Canada Engineerings Works въ Биркенгедѣ *шесть* получали въ 1869 г. меньшую плату, чѣмъ въ 1855, *три* категоріи такую же и *четыре*—выспую. Разсматривая вознагражденіе рабочихъ морскаго арсенала въ Ширнессѣ, плотниковъ, конопатчиковъ, кузнецовъ и др., мы увидимъ, что въ періодъ 1849—1859 г. только для трехъ категорій этихъ рабочихъ плата увеличилась, да и то на 6 пенсовъ (16½ коп.) въ день. Возьмемъ ли мы въ примѣръ 20 различныхъ категорій рабочихъ частныхъ верфей по берегамъ Темзы, мы опять придемъ къ тому же заключенію.

*

Правда, эти рабочіе получали въ 1865 г. большую плату, чѣмъ въ 1851 г., но черезъ четыре года, т. е. въ 1869 г. эта плата возвратилась къ своей первоначальной высотѣ; увеличеніе платы въ 1865 г. было чисто временнымъ слѣдствіемъ спекулятивной горячки, которая предшествовала паникѣ 1867 г. Конечно плата нѣкоторыхъ классовъ рабочихъ, преимущественно занимавшихся большими постройками въ Лондонѣ и Манчестерѣ, а въ послѣднее время и рудокоповъ, возросла и даже значительно. Но дѣло въ томъ, что цѣны на помѣщеніе, пищу, топливо и другія различныя потребности въ то же время возросли не менѣе значительно. Въ концѣ концовъ, не смотря на увеличеніе промышленности и торговли въ четыре раза, положеніе нѣкоторыхъ классовъ рабочихъ осталось такимъ же, какимъ было лѣтъ двадцать тому назадъ, а положеніе другихъ даже ухудшилось. И техническія приложенія естествознанія тутъ ровно ничего не могутъ сдѣлать. Они не возстановляютъ равновѣсія, а напротивъ всею своею тяжестью ложатся на ту чашку вѣсовъ, которая уже и безъ того перевѣшиваетъ. «Успѣхи промышленной механики за послѣднія 20 лѣтъ были многочисленны и разнообразны, — не будь ихъ, громадное увеличеніе народнаго богатства Великобританіи въ этотъ періодъ времени было бы невозможно. Но также несомнѣнно, что изобрѣтеніе новыхъ машинъ и приспособленій оставляло безъ дѣла, по крайней мѣрѣ временно, извѣстное число людей. Такъ г. Нэсмить сообщилъ въ комиссіи рабочихъ союзовъ, что введеніе въ его мастерскихъ самодѣйствующихъ машинъ позволило ему сократить на половину рабочихъ, которые прежде у него занимались». Стоитъ вдуматься только въ эту коротенькую замѣтку и принять въ соображеніе различныя побочныя стороны указываемыхъ въ ней явленій, чтобы убѣдиться, что прогрессъ техническихъ приложеній естествознанія не есть прогрессъ равенства и свободы. Неизвѣстный авторъ переводной статьи «О національномъ значеніи научныхъ изслѣдованій» («Знаніе» 1873 г. № 7) горько жалуется на положеніе людей, занимающихся чистымъ естествознаніемъ. Открытія этихъ тружениковъ чистой науки, говоритъ онъ, утилизируются въ видѣ техниче-

скихъ приложений государствомъ и промышленными дѣятелями, но представители науки остаются не приче́мъ. Только на долю изобрѣтателей, т. е. не самостоятельныхъ дѣятелей отвлеченной науки, а людей пользующихся чужими, чисто научными изслѣдованіями, приходится часть золотого дождя, падающаго на фабрикантовъ, заводчиковъ и землевладѣльцевъ. Поэтому, намекая на возможность «министерства науки», авторъ требуетъ отъ правительства и университетовъ матеріальной поддержки людя́мъ науки въ видѣ учрежденія государственныхъ лабораторій, оплачиваемыхъ кафедръ оригинальныхъ изслѣдованій и т. п. Но съ особенною настойчивостью и съ большимъ запасомъ фактическаго матеріала авторъ доказываетъ, что «величайшія денежные выгоды отъ открытій получаютъ крупные фабриканты, заводчики, капиталисты и землевладѣльцы, слѣдовательно они и должны въ наибольшей степени, прямо или косвенно, вознаграждать дѣлающихъ открытія». Это сама истина и сама справедливость. Дѣйствительно, не только изобрѣтатели и усовершенствователи паровой машины сослужили службу капиталистамъ, фабрикантамъ и заводчикамъ, давъ имъ возможность нажить громадныя деньги на желѣзно-дорожныхъ предпріятіяхъ и приложеніи силы пара къ производству, — эту службу сослужили и труженики чистой физики и механики. Уаттъ говорить, что онъ не могъ бы усовершенствовать своей машины, еслибы предварительныя, чисто научныя изслѣдованія не опредѣлили, сколько теплоты переходить въ скрытое состояніе при превращеніи воды въ паръ. Шееле, открывшему хлоръ и вѣроятно при этомъ ни объ чемъ, кромѣ истины и познанія природы, недумавшему, фабриканты обязаны способомъ бѣленія хлопчато-бумажныхъ тканей, хотя и не онъ приложилъ свое открытіе къ этому практическому дѣлу. Кронштедтъ только открылъ никкель, но безъ этого открытія не было бы нейзильбера, и проч., и проч., и проч. Какъ организмъ человѣка, принимая самую разнообразную пищу, ассимилируетъ изъ нея только то, что можетъ идти на потребу именно той формы жизни, которая называется человѣческимъ организмомъ, такъ и всякая данная форма общественныхъ отношеній стре-

мится вытянуть все ей подходящее изъ любой умственной пищи, претворить эту пищу въ свою плоть и кровь, выбрасывая непреваримое ею. Значить съ этой стороны нечего и разсуждать о демократичности естествознанія. Можетъ быть блистательныя научныя открытія и изслѣдованія XIX вѣка, разбѣившись на звонкую монету техническихъ приложений, и будутъ служить укрѣпленію демократическихъ началъ, но это будетъ зависѣть не отъ нихъ, а отъ формы общественныхъ отношеній, въ которой произойдетъ разбѣвъ. Она наложить на нихъ свое клеймо и перечеканить старую монету.

Едва ли впрочемъ есть какая нибудь надобность настаивать на этомъ пунктѣ. Общественная роль техническихъ приложений естествознанія слишкомъ извѣстна. Гораздо интереснѣе значеніе теоретическихъ изслѣдованій, независимо отъ техники. Пусть Бэнь и Гаутонъ желаютъ съ научною точностью угодить потребностямъ общества казнить и наказывать; пусть открытіе хлора, преобразуясь въ открытіе бѣлизнаго вещества, дастъ лишнее орудіе капиталистической эксплуатаціи; пусть вообще естествознаніе, въ видѣ техническихъ приложений, напоминаетъ тѣхъ лстивыхъ грековъ, о которыхъ говоритъ Ювеналъ. Пусть такъ. Но быть можетъ теоретическія изслѣдованія Бена о границахъ духа и тѣла, работы Гаутона объ отношеніяхъ математики къ анатоміи, открытіе хлора и т. п., открывая человѣчеству новыя перспективы познанія, расширяя его умственный кругозоръ, вмѣстѣ съ тѣмъ не претворяются въ плоть и кровь непременно данной формы общества, а толкаютъ его въ совершенно опредѣленномъ направленіи, и именно въ демократическомъ. Въ свое время я буду имѣть случай поставить этотъ вопросъ въ самомъ общемъ его видѣ. Теперь это выходитъ изъ предѣловъ моей задачи. Мнѣ достаточно привести слѣдующія слова изъ третьяго этюда г. Южакова: «...вопросъ, который отчасти будетъ трактоваться въ предлагаемомъ этюдѣ, изучался своей существенной частью не со вчерашняго дня, и біологія здѣсь мало новаго повѣдала соціологамъ. Новую постановку вопроса, новые термины, новые аргументы—вотъ что она дала въ руки трезвымъ

философамъ; формулы же рѣшенія и шансы pro и contra въ этой тяжбѣ направлений остались тѣ же. Самый важный аргументъ, которымъ снабдила биологія социальныя теоріи о необходимости нищеты, — полезность такой необходимости, усовершенствованіе породы, вытекающее изъ нея чрезъ гибель индивидуумовъ. До внимательства биологіи трезвые философы говорили: бѣдность, несчастіе, голодъ царствуютъ повсюду въ обществахъ человѣческихъ, — *это прискорбно*, но таковъ законъ природы; теперь же они измѣнили тонъ: въ нашихъ обществахъ, говорятъ они, масса людей гибнетъ отъ голода, изнуренія, нищеты, но вслѣдствіе этой гибели остаются живы и оставляютъ потомство только наиболѣе совершенныя личности, и гибелью однихъ людей покупается прогрессъ; только такимъ путемъ можетъ осуществляться прогрессъ, и кто скорбитъ о падшихъ жертвахъ, тотъ врагъ прогресса, самъ того не понимая. Таковы выводы социологовъ трезвой школы изъ биологическихъ обобщеній Дарвина».

Я ничего иного и не говорилъ, когда доказывалъ, что естественныя науки, въ противность мнѣнію Бокля, вовсе не необходимо исполняютъ невыраженные заказы профановъ. Во всемъ этомъ небольшомъ разсужденіи я стоялъ на точкѣ зрѣнія профана, которая, надѣюсь, теперь читателю совершенно понятна. Въ качествѣ профана, я только выслушивалъ рѣчи ученыхъ людей, сопоставлялъ ихъ и подводилъ итоги.

II.

Буря въ стаканѣ педагогической воды.

То же самое предстоитъ мнѣ теперь сдѣлать по отношенію къ педагогіи. Я буду выслушивать мнѣнія педагоговъ, сопоставлять ихъ, повѣрять и затѣмъ подводить итоги. Я знаю, что до сихъ поръ профаны вели себя въ педагогической распрѣ изъ-за статьи гр. Толстого легкомысленно. Я это знаю, потому что читалъ газетныя статьи и слышалъ устные толки объ этомъ

предметъ. Но это ровно ничего не значить. Быть можетъ, при искреннемъ желаніи быть добросовѣстнымъ и нелегкомысленнымъ, мнѣ удастся сказать добросовѣстное и не легкомысленное слово. Каковы бы ни были попытки профановъ оцѣнить значеніе нашихъ педагоговъ, но первые несомнѣнно имѣютъ право требовать у послѣднихъ отчета. И не только въ силу общихъ соображеній объ отношеніяхъ между специалистами и профанами, но и въ силу особеннаго положенія, занимаемаго педагогами: они нашихъ дѣтей къ жизни готовятъ, этого достаточно. При томъ же педагогика, какъ и всякая прикладная наука, сопрягается со множествомъ предметовъ, быть можетъ болѣе или менѣе извѣстныхъ тому или другому профану. Я впрочемъ охотно признаю, что, несмотря на относительно болѣшую доступность педагогическихъ вопросовъ контролю профановъ, послѣдніе до сихъ поръ принесли мало пользы. Я даже готовъ привести два-три примѣра ихъ легкомыслія. Прежде всѣхъ, если не ошибаюсь, на статью гр. Толстого откликнулись «С.-Петербургскія Вѣдомости». Въ № 274, въ фельетонѣ, посвященномъ текущей журналистикѣ, помѣщена была рецензія, крайне благоприятная взглядамъ гр. Толстого, даже нѣсколько восторженная. Рецензія эта вызвала возраженіе г. Евтушевскаго, которое и было напечатано въ № 278 «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей». То была первая проба того прянаго и не совсѣмъ чистаго остроумія, которымъ впослѣдствіи г. Евтушевскій совершенно себя перепачкалъ. Редакція «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» съ своей стороны сопровождала возраженіе г. Евтушевскаго такимъ примѣчаніемъ: «Повидимому фельетонъ нашего сотрудника въ № 274 «С.-Пб. Вѣдомостей» раздражилъ нѣкоторые педагогическіе кружки и далъ поводъ къ недоразумѣніямъ, которые мы считаемъ долгомъ разсѣять. Выписки изъ оригинальной и остроумной статьи гр. Толстого приведены авторомъ съ очевидною цѣлью указать отрицательныя, слабыя стороны въ дѣятельности нашихъ современныхъ педагоговъ; но это отнюдь не умаляетъ ихъ положительныхъ заслугъ. До сихъ поръ наши педагоги встрѣчали въ печати одни только безусловныя похвалы, и гр.

Толстому безспорно принадлежит починъ критическаго къ нимъ отношенія. Критика его можетъ быть болѣе или менѣе односторонняя, исключительная, даже пристрастная; но автору ея никакъ нельзя отказать ни въ близкомъ знакомствѣ съ педагогическимъ дѣломъ, ни въ талантѣ, ни въ горячей преданности дѣлу народнаго образованія. Обличая крайности и слабыя стороны современной педагогикъ, онъ въ то же время оказываетъ послѣдней несомнѣнную услугу. Мы будемъ ожидать возраженій г. Евтушевскаго гр. Толстому тѣмъ съ большимъ интересомъ, что вполне признаемъ за нимъ, какъ и за нѣкоторыми другими нашими педагогами, знаніе, опытность и извѣстныя заслуги въ томъ важномъ дѣлѣ, которому они себя посвятили». — «С.-Петербургскія Вѣдомости» (старой редакціи) полагаютъ, что говорить подобныя вещи значить «разсѣивать недоразумѣнія», тогда какъ это только одна изъ варьяцій на тему: можно не соглашаться, но должно признаться. Мнѣ очень хотѣлось бы помянуть чѣмъ-нибудь лучшимъ старую редакцію «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», объ участи которой всякій писатель, безъ различія партій, долженъ искренно сожалѣть. Но очевидно, что здѣсь ничего нельзя выудить. Перехожу къ «Биржевымъ Вѣдомостямъ» (тоже старой редакціи: подобныя оговорки приходится нынѣ дѣлать на каждомъ шагѣ). Эта газета приняла статью гр. Толстого не менѣе восторженно, но въ какой мѣрѣ она ее поняла, видно изъ того, что въ № 282 она поставила ее безъ малѣйшей оговорки рядомъ со статьей г. Цвѣткова «Новыя идеи въ нашей народной школѣ» («Русскій Вѣстникъ», № 9; что это за статья мы можемъ быть увидимъ впослѣдствіи). Въ какой мѣрѣ сознательны и серьезны были восторги «Биржевыхъ Вѣдомостей» видно также изъ фельетона № 293. Тамъ говорится слѣдующее: «авторъ «Войны и мира» весьма мѣтко и живо характеризовалъ наше педагогическое доктринерство... Но, отстаивая вѣрный принципъ безхитростности, удобопонятности и содержательности начального обученія, гр. Толстой пожелалъ и на практикѣ рекомендовать свое собственное противоядіе противъ заносаго подражанія. И здѣсь только очень забавно выяснилось, что талантъ

ливый беллетристъ на дѣлѣ весьма неудачный Ланкастеръ (?). Выдуманная имъ начальная математика успѣла заручиться въ послѣднемъ засѣданіи педагогическаго общества лишь общимъ... смѣхомъ. Трудно вообразить, но, сдѣлавъ напряженіе, вообразите себѣ *патріотическую ариметику* съ церковно-славянскими цифрами: мыслете-есть плюсъ земля-иже равняется псивѣди!» И т. д., и т. д., прямо по островамъ г. Евтушевскаго, только что выслушаннымъ авторомъ фельетона въ засѣданіи педагогическаго общества. Еслибы авторъ фельетона побывалъ на слѣдующемъ засѣданіи педагогическаго общества, то услышалъ бы отъ г. Страннолюбскаго, что вся эта «патріотическая ариметика» со включеніемъ «мыслете-есть» и проч. есть изобрѣтеніе не гр. Толстого, а г. Евтушевскаго.

Да, профаны вели себя нехорошо, а между тѣмъ дѣло имъ предстояло вовсе ужъ не особенно трудное, если поставить его въ должныя границы. Конечно я не рѣшусь толковать напримѣръ о техническихъ подробностяхъ обученія грамотѣ: я въ жизнь свою никого не училъ ни по буквослагательному, ни по звуковому методу. Но не на подобнаго рода вещахъ сосредоточивается интересъ затѣянной гр. Толстымъ распри. Вопросъ поставленъ имъ такъ широко, что и профану найдется что сказать. Передо мной на столѣ лежатъ цѣлыя кучи самыхъ разнообразныхъ педагогическихъ сочиненій. Вотъ брошюра г. Мѣдникова (редактора спеціальнаго журнала «Народная школа»), разбирающая статью гр. Толстого. Г. Мѣдниковъ человѣкъ сердитый, за правду стоитъ горой, остритъ направо и такъ и сыплетъ словами: клевета, полужнаство, морочить, отсталые взгляды. Я былъ бы вполне готовъ съ священнымъ трепетомъ внимать глаголамъ этого спеціалиста. Но что же мнѣ дѣлать, когда я ясно вижу, что логика его далеко не соответствуетъ ни степени его остроумія, ни силѣ выраженій. Напримѣръ онъ дѣлаетъ слѣдующую выписку изъ статьи гр. Толстого: «всѣ педагоги этой школы, въ особенности нѣмцы, основатели ея, исходятъ изъ той ложной мысли, что тѣ самые философскіе вопросы, которые оставались вопросами для всѣхъ философовъ отъ Пла-

тона до Канта, разрѣшены ими окончательно. Разрѣшены такъ окончательно, что процессъ пріобрѣтенія человѣкомъ впечатлѣній, ощущеній, представленій, понятій, умозаключеній разобранъ ими до мельчайшихъ подробностей; что составныя части того, что мы называемъ душою или сущностью человѣка, анализированы ими, подраздѣлены на части, и такъ основательно, что уже на этомъ твердомъ знаніи безошибочно можетъ строиться наука педагогій... Но тѣ философскія разсужденія, которыя педагоги этой школы кладутъ въ основу своей теоріи, не только не абсолютно вѣрны, не только не имѣютъ ничего общаго съ дѣйствительною философіей, но даже и не имѣютъ никакого яснаго, опредѣленнаго выраженія, съ которымъ большинство педагоговъ было бы единомысленно». — Противъ этого можно бы было возразить многое, но уже никакъ не то, что возражаетъ г. Мѣдниковъ. Всѣхъ его возраженій приводить не стоитъ. Достаточно сказать, что изъ приведенныхъ словъ онъ выводитъ съ побѣдоносно насмѣшливымъ видомъ слѣдующее: «оказывается, говорить онъ, что существуютъ двѣ философіи: одна съ Платономъ и Кантомъ, которой такъ слѣпо и фальшиво слѣдуютъ педагоги, и другая *дѣйствительная*, безъ Платона и Канта, которую не вѣдаютъ педагоги». Какимъ образомъ это оказывается изъ приведенныхъ словъ г. Толстого, — это извѣстно одному г. Мѣдникову. Логически и грамматически изъ нихъ слѣдуетъ сдѣлать выводъ діаметрально противоположный, ибо если вопросы, оставшіеся вопросами для Платона и Канта, порѣшены педагогами, то значить Платонъ и Кантъ сами по себѣ, а педагоги сами по себѣ. А между тѣмъ г. Мѣдниковъ и еще разъ шалитъ на ту же тему. Гр. Толстой говоритъ: «Народъ допускаетъ двѣ области знанія, самыя точныя и неподверженныя колебаніямъ отъ различныхъ взглядовъ, — языки и математику, а все остальное считаетъ пустяками». По этому поводу г. Мѣдниковъ шалитъ слѣдующимъ образомъ: «Любопытно однако знать, откуда нашъ народъ могъ убѣдиться, что только *языки и математика* (замѣьте не счетъ, не ариѳметика, а математика!) дѣйствительно самыя точныя *области знанія и неподверженныя*

никакимъ колебаніямъ?» Какъ будто гр. Толстой отъ имени народа называетъ языки и математику областями знанія самыми точными и проч.! Я не знаю, стоитъ ли приводить еще образцы критики этого шалуна, очевидно непонимающаго того, что ему говорить, и храбро махающаго картоннымъ мечомъ въ пустомъ пространствѣ; впрочемъ сдѣлаю еще одну выписку. Г. Мѣдниковъ такъ передаетъ и комментируетъ рассказъ гр. Толстого объ одной изъ ошибокъ, допущенныхъ на педагогическомъ опытѣ испытательной комиссіи московскаго комитета грамотности: «Третья ошибка состояла въ томъ, что г. Протопоповъ, руководитель въ звуковой школѣ, отступалъ (ну не злодѣй ли?) отъ приемовъ, которые гр. Толстой считаетъ вредными, но которые считаются необходимымъ условіемъ обученія при звуковой методѣ. Отступленіе это заключалось во первыхъ въ томъ, что г. Протопоповъ (сущій врагъ гр. Толстого!) не преподавалъ нагляднаго обученія (ну скажите пожалуйста!), а воторыхъ онъ давалъ своимъ ученикамъ книги читать и на домъ (вѣдь не уголовное ли преступленіе!) и вторыхъ, что онъ давалъ не исключительно руководства педагоговъ звуковой методы, а «азбуку» и «Ясную Поляну» самого графа (за это подъ судъ его, подъ судъ!). Такъ шалитъ издатель специально-педагогическаго журнала... Идите съ миромъ, шалунъ! Впрочемъ нѣтъ, подождите еще, не уходите.

Habent sua fata libelli. Пятнадцать лѣтъ тому назадъ графъ Л. Н. Толстой издавалъ специально-педагогическій журналъ. Этого журнала и въ обществѣ, и въ литературѣ, не замѣчали или трунили надъ нимъ. Были (помнится, въ журналѣ «Время», а можетъ и еще гдѣ-нибудь) отзывы, сочувственные какъ положительной, такъ и отрицательной сторонѣ педагогической дѣятельности гр. Толстого. Но въ концѣ-концовъ его педагогическія воззрѣнія оказались все-таки «явленіемъ, пропущеннымъ нашей критикой». Вліянія, я полагаю, они не имѣли никакого и ни въ какомъ смыслѣ. И во всякомъ случаѣ это вліяніе не можетъ идти ни въ какое сравненіе съ впечатлѣніемъ, произведеннымъ статьей гр. Толстого «О народномъ образованіи», напечатанной

въ № 9 «Отечественныхъ Записокъ» за прошлый годъ. Въ этой статьѣ, какъ говоритъ самъ авторъ, какъ говорятъ всѣ его противники (его сторонники этого не говорятъ), какъ оно въ дѣйствительности и есть, выражаются въ сущности тѣ же мысли, что выражались пятнадцать лѣтъ тому назадъ въ журналѣ «Ясная Поляна». Но «Ясная Поляна», выражаясь языкомъ школьниковъ, «провалилась», а на долю статьи «Отечественныхъ Записокъ» выпалъ такой громадный усгѣхъ, какимъ едва ли можетъ похвалиться какое бы то ни было литературное явленіе прошлаго года: силы нашихъ извѣстѣйшихъ педагоговъ напряженнѣйшимъ образомъ сосредоточились на опроверженіи или защитѣ положеній и отрицаній гр. Толстого; засѣданія педагогическаго общества никогда не привлекали такого огромнаго числа посѣтителей, какъ въ дни пререканій гг. Страннолюбскаго и Евтушевскаго объ «Азбукѣ» гр. Толстого и статьѣ «Отечественныхъ Записокъ»; въ обществѣ подъ вліяніемъ этой статьи появилось по свидѣтельству г. Евтушевскаго «рѣзкое порицаніе всего новаго направленія педагогики»; наконецъ газеты всѣхъ партій, всѣхъ цвѣтовъ и оттѣнковъ съ небывалымъ единодушіемъ стали на сторону педагогической ереси гр. Толстого. И надо еще замѣтить, что гр. Толстой отнюдь не принадлежитъ къ числу баловней нашей критики. Правда, ни въ обществѣ, ни въ литературѣ нѣтъ разногласій въ оцѣнкѣ его выходящаго изъ ряда вонъ беллетристическаго таланта, но почти столь же единогласно рѣшена и подписана его несостоятельность, какъ мыслителя. Особенно для насъ замѣчательна эта двойственность репутации г. Толстого. Правильна она или нѣтъ, но она свидѣтельствуешь по крайней мѣрѣ о совершенномъ безпристрастіи критики. Я разумѣю критику болѣе или менѣе популярную, вліятельную. Есть у гр. Толстого поклонники безусловные, но всѣ, даже самые эти поклонники согласятся, я думаю, что не они создали ходячее представленіе о гр. Толстомъ, какъ писателѣ. Гр. Толстой стоялъ всегда внѣ нашихъ литературныхъ партій, къ нему относились безъ всякихъ заднихъ мыслей, одобряя по крайнему своему разумѣнію все достойное одобренія въ его про-

изведеніяхъ и порицая достойное порицанія. Этимъ совершенно чистымъ отъ журнальнаго сора путемъ установилась двойственная репутація гр. Толстого. При такихъ обстоятельствахъ невольно рождается вопросъ: почему же мысли, отчасти незамѣченныя, отчасти даже осмѣяныя двадцать лѣтъ тому назадъ, сдѣлались вдругъ такъ популярны? Вопросъ мнѣ кажется высокой важности. Я не имѣю отвѣта, я ищу его. Я думалъ найти его въ многочисленныхъ возраженіяхъ на статью гр. Толстого, но не встрѣтилъ ничего подходящаго. Я началъ наконецъ сомнѣваться—дѣйствительно ли важенъ поставленный мною вопросъ? Можетъ быть въ качествѣ журналиста, необходимо жертвующаго значеніемъ произведенія an und für sich тому впечатлѣнію, которое оно производитъ на общество, я задумался надъ дѣломъ, совершенно второстепеннымъ, пустячнымъ. Но чѣмъ больше я объ этомъ думалъ, тѣмъ больше убѣждался, что я правъ, что поставленный мною вопросъ очень интересенъ, очень важенъ, важенъ даже для поднятаго гр. Толстымъ специально педагогическаго вопроса. Я ошибся впрочемъ, говоря, что ничего подходящаго не нашелъ. Попытку объясненія впечатлѣнія статьи «Отечественныхъ Записокъ» я встрѣтилъ и въ упомянутой брошюрѣ г. Мѣдникова, представляющей повидимому отдѣльный оттискъ статьи журнала «Народная школа». Вотъ какъ разъясняетъ дѣло г. Мѣдниковъ: «Появилась статья не за подписью гр. Толстого, какъ всѣмъ извѣстнаго писателя, и притомъ не въ «Отечественныхъ Запискахъ», журналъ весьма извѣстномъ и разпространенномъ, а въ - какомъ нибудь болѣе скромномъ органѣ печати — она не только не обратила бы никакого вниманія, а была бы еще отнесена къ числу непослѣдовательныхъ, лишенныхъ логическихъ основаній, странныхъ, эксцентричныхъ, бюкшихъ на искусственную оригинальность; скажемъ болѣе. такихъ, подъ которою (такихъ, подъ которою?) не подписался бы ни одинъ изъ постоянныхъ сотрудниковъ «Отечественныхъ Записокъ». А между тѣмъ статья эта удостоилась единодушныхъ похвалъ почти всѣхъ газетъ». Я потому останавливаюсь на этомъ намекѣ на объясненіе, что онъ принадлежитъ не одному г. Мѣд-

никову. Почти такъ же смотритъ на дѣло редакція журнала «Семья и Школа» (№ 10, примѣчаніе къ письму г. Бунакова). То же самое я слышалъ и въ обществѣ. Мысль г. Мѣдникова, повидимому столь лестная, а въ сущности очень нелестная для постоянныхъ сотрудниковъ «Отеч. Записокъ», есть мысль совершенно вздорная. Приложение къ «Войнѣ и миру» подписано тѣмъ же гр. Толстымъ, и однако оно ни чьихъ похвалъ не удостоилось. Въ свою очередь и «Отеч. Записки» отнюдь не пользуются тою благосклонностью газетной критики, которая подразумевается г. Мѣдниковымъ. Весьма многія статьи нашихъ постоянныхъ сотрудниковъ отнесены этою критикой «къ числу непослѣдовательныхъ, лишенныхъ логическихъ основаній, странныхъ, эксцентричныхъ, бьющихъ на искусственную оригинальность». Положимъ, что въ этомъ обстоятельствѣ виноваты разныя закулисныя стороны литературы, тѣ самыя закулисныя стороны, которыя почти никогда не имѣли мѣста въ оцѣнкѣ произведеній гр. Толстого. Но все-таки въ основаніе объясненій г. Мѣдникова положенъ фактъ несуществующій. Что же касается до утвержденія его, что ни одинъ изъ постоянныхъ сотрудниковъ «Отечественныхъ Записокъ» не подписался бы подъ статьей гр. Толстого, то оно рѣшительно неосновательно. И съ чего г. Мѣдниковъ вздумалъ, что редакція «Отечественныхъ Записокъ» напечатала бы статью гр. Толстого, еслибы она въ общемъ не была согласна съ ея собственными взглядами? Объ этомъ стоитъ сказать два, три слова. «Отечественныя Записки», какъ и всякій другой журналъ, не могутъ разумѣется брать на себя полной ответственности за все въ нихъ печатаемое. Условія нашей печати для этого слишкомъ неблагоприятны. Я разумѣю не одни цензурныя условія, а и количество и качество наличныхъ литературныхъ силъ. Достойный вниманія фактическій матеріалъ, талантливость его обработки и извѣстная точка зрѣнія на вещи, — вотъ три фактора всякой журнальной статьи. Къ сожалѣнію гармоническое сочетаніе этихъ трехъ факторовъ не составляетъ уряднаго явленія. Всякому журналу приходится печатать вещи или только ради ихъ богатаго фактическаго содержанія, или

только ради таланта автора. Последнее обстоятельство обуславливаетъ чаще всего разумѣется беллетристическій отдѣлъ журнала. Но и тутъ матеріалъ и точка зрѣнія автора все-таки не могутъ упускаться изъ виду. Напримѣръ съ этой же книжки «Отечественныхъ Записокъ» начинается печатаніе романа г. Достоевскаго «Подростокъ». Въ немъ читатель найдетъ (т. е. уже нашелъ, потому что безъ сомнѣнія прочиталъ романъ г. Достоевскаго раньше моихъ замѣтокъ) сцену у Дергачева, гдѣ молодые люди ведутъ какой-то странный политическій разговоръ. Въ сценѣ есть нѣкоторыя подробности, весьма напоминающія недавнее дѣло (напримѣръ присутствіе въ обществѣ молодаго крестьянина, слова: «надо жить по закону природы и правды» и т. п.). Я уже говорилъ однажды, именно по поводу «Бѣсовъ», о странной и прискорбной маніи г. Достоевскаго дѣлать изъ преступныхъ дѣяній молодыхъ людей, немедленно послѣ ихъ раскрытія, изслѣдованія и наказанія, тему для своихъ романовъ. Повторять все это тяжело, да и не нужно. Скажу только, что редакція «Отечественныхъ Записокъ» въ общемъ раздѣляетъ мой взглядъ на манію г. Достоевскаго. И тѣмъ не менѣе «Подростокъ» печатается въ «Отечественныхъ Запискахъ». Почему? Впервыхъ потому, что г. Достоевскій есть одинъ изъ нашихъ талантливѣйшихъ беллетристовъ, вторыхъ потому, что сцена у Дергачева со всѣми ея подробностями имѣетъ чисто эпизодическій характеръ. Будь романъ на этомъ именно мотивѣ построенъ, «Отечественныя Записки» принуждены были бы отказаться отъ чести видѣть на своихъ страницахъ произведеніе г. Достоевскаго, даже еслибъ онъ былъ гениальный писатель. Но это только къ слову. Не могу однако удержаться отъ одного замѣчанія, совершенно посторонняго и къ дѣлу не идущаго, но меня толкаетъ случайное сопоставленіе именъ гр. Л. Толстого и г. Достоевскаго. Я не помню, чтобы кому либо изъ нашихъ критиковъ приходило на мысль изучать ихъ вмѣстѣ, параллельно, а это было бы весьма плодотворно. Оба они заняты въ своихъ произведеніяхъ психологическимъ анализомъ, но свѣтлый, ровный, жезнерадостный міръ одного и

мрачный, исключительный, напряженный, мистическій міръ другого, могли бы очень рельефно взаимно отгѣниться. Прошу у читателя прощенья за это замѣчаніе и возвращаюсь къ статьѣ гр. Толстого. Статья эта отнюдь не можетъ быть причислена къ журнальному матеріалу, за который редакция неотвѣтственна. Для этого она слишкомъ рѣзка, слишкомъ опредѣленна и затрогиваетъ слишкомъ общіе и вмѣстѣ съ тѣмъ живые, насущные вопросы. Поэтому г. Мѣдниковъ можетъ смѣло взять назадъ свой якобы комплиментъ постояннымъ сотрудникамъ «Отеч. Записокъ».

Итакъ единственное найденное мною объясненіе неожиданнаго успѣха статьи гр. Толстого никуда не годится. Можетъ быть этотъ любопытный фактъ разъяснится самъ собой, попутно, при разсмотрѣніи возраженій на статью гр. Толстого.

Позиція профана въ педагогикѣ имѣетъ двѣ несомнѣнныя и очень важныя выгоды. Впервыхъ педагогъ учить и воспитываетъ чужихъ дѣтей, а профанъ отдаетъ ему своихъ, слѣдовательно, собственно говоря, гораздо болѣе педагога заинтересованъ въ дѣлѣ. Въ вторыхъ, не имѣя никакой теоріи воспитанія и обученія, профанъ тѣмъ паче не имѣетъ теоріи особливо излюбленной. Я не говорю, чтобы это были выгоды безусловныя, особенно вторая: для этого я самъ слишкомъ теоретикъ. Нѣтъ, невыгоды отсутствія теоріи очень велики, но я имѣю въ виду только выгодную сторону этого отсутствія. А эта выгодная сторона несомнѣнно существуетъ. Дѣло извѣстное, что всякій специалистъ склоненъ къ виртуозности, къ оторванности отъ своихъ собственныхъ основныхъ, жизненныхъ задачъ, къ тому, что у насъ называется искусствомъ для искусства. Извѣстенъ даже процессъ, который приводитъ къ этой метаморфозѣ. Процессъ этотъ бываетъ или историческій, совершающійся въ цѣломъ ряду поколѣній, или чисто личный. Дѣло происходитъ обыкновенно такъ. Въ извѣстномъ племени, народѣ, обществѣ, изъ его ли собственной среды или изъ пришельцевъ слагается маленькая кучка счастливо одаренныхъ людей, подслушавшихъ и подсмотрѣвшихъ нѣсколько секретовъ природы. Секреты не-

михайловскій. т. III. вып. I.

важные: какая-нибудь лекарственная трава, совпаденіе какого-нибудь метеорологическаго явленія съ появленіемъ или исчезновеніемъ какого-нибудь питательнаго вещества и т. п. Но обладатели ихъ все-таки могутъ дѣлать нѣкоторыя предсказанія, нѣчто предвидѣть и тѣмъ улучшать свое матеріальное положеніе. Затѣмъ они дѣлаютъ предсказанія и другимъ, и не даромъ, а за извѣстныя услуги; ихъ знаніе оплачивается профанами, сами они исполняютъ выраженные или невыраженные заказы профановъ. На этой второй ступени развитія спеціальности, кругъ знаній все расширяется, формируется, подводится подъ извѣстныя рубрики и т. д. Наступаетъ третья ступень: знаніе получаетъ цѣнность само по себѣ, безъ отношенія къ тѣмъ матеріальнымъ выгодамъ, которыя оно даетъ, и даже къ тѣмъ практическимъ вопросамъ, которые оно способно и призвано разрѣшать. Скоро конечно сказка сказывается и нескоро дѣло дѣлается,—многіе и многіе вѣка на это уходятъ,—но въ концѣ концовъ получается иногда удивительное явленіе: знаніе, совершенно оторванное отъ жизни и неимѣющее ровню никакой цѣны; знаніе самому себѣ довѣляющее, знаніе, такъ сказать, въ себя влюбленное, знаніе—Нарцисъ. Не трудно видѣть, что каково ни было это довѣляющее себѣ знаніе въ чисто теоретической области (намъ до этого здѣсь нѣтъ дѣла), въ примѣненіи къ практикѣ оно необходимо должно оказаться незнаніемъ. Самъ спеціалистъ, увлеченный потокомъ прогрессивнаго развитія жажды знанія, можетъ и не замѣтить, что онъ

Mit gier'ger Hand nach Schätzen gräbt
Und froh ist, wenn er Regenwürmer findet!

Но профану, какъ человеку жизни, какъ заказчику, этого нельзя не замѣтить. Приходитъ профанъ къ гетевскому Вагнеру и говоритъ: я охранялъ тебя отъ враговъ внѣшнихъ и внутреннихъ, я строилъ твой домъ, одѣвалъ, обувалъ и кормилъ тебя. Смотри—хорошо ли я исполнялъ свои обязанности относительно тебя; но, ученый мужъ, отдай мнѣ свой долгъ, расплатись со мной: просвьѣти меня, удѣли мнѣ частицу того священнаго огня,

который ты, благодаря мнѣ, охраняешь и поддерживаешь. Ученый мужъ отвѣчаетъ: перво-на-перво брось вульгарный, чисто животный способъ дѣланія дѣтей; я теперь занятъ проектомъ искусственнаго, химическаго, чисто научнаго способа фабрикаціи людей; когда я добьюсь окончательнаго результата, я сообщу тебѣ свой секретъ. Что тутъ дѣлать профану? Положимъ, онъ до такой степени профанъ, что не можетъ оцѣнить по достоинству теоретическую сторону задачи Вагнера. Но онъ не можетъ не понимать, что ея практическая сторона есть порожденіе полнаго незнанія человѣческой природы. Что же ему остается дѣлать, какъ не оттолкнуть Вагнера, какъ не выкинуть его изъ счета свѣдущихъ работниковъ, солидарныхъ между собою.... Длинный историческій процессъ, породившій Вагнера, можетъ иногда уложиться въ предѣлы жизни одной личности. Мы сплошь и рядомъ видимъ ученыхъ и художниковъ, выступающихъ съ жаждою не только знанія и красоты, а и блага профановъ, но къ концу своего поприща запутывающихся въ ненужныхъ и безсмысленныхъ завитушкахъ своей специальности.

Нѣтъ необходимости, чтобы въ историческомъ процессѣ развитія какой-нибудь отрасли человѣческаго вѣдѣнія имѣли мѣсто всѣ бѣгло мною намѣченные моменты развитія жажды знанія. Весьма часто всѣ средніе моменты пропускаются, и извѣстная отрасль знанія переходитъ, такъ сказать, отъ молочныхъ зубовъ непосредственно къ гнилымъ, утѣшая себя мыслью, что послѣдніе суть зубы мудрости. Говоря безъ метафоръ, бываетъ такъ, что извѣстный кругъ знаній, еще не сложившись въ науку, еще не открывъ и не объяснивъ законовъ подлежащихъ его вѣдѣнію явленій, имѣя въ своемъ распоряженіи всего, собственно говоря, вѣсколько примѣтъ, вѣсколько чисто эмпирическихъ свѣдѣній,—уже обращается въ науку Вагнера. Такая наука придаетъ важное значеніе вещамъ, неимѣющимъ ровно никакой важности, и знать не хочетъ вещей первостепенной важности. Такъ именно смотритъ на педагогику гр. Толстой. Справедливъ ли его приговоръ?

Надо замѣтить, что возражатели на статью гр. Толстого го-

*

товы признать за ней известную долю справедливости. Напримеръ въ брошюрѣ г. Евтушевскаго «Отвѣтъ на статью графа Л. Толстого» говорится: «Что касается отрицательной части статьи, нельзя во многомъ не согласиться съ авторомъ. Онъ дѣйствительно хорошо подмѣтилъ и остроумно, хотя нѣсколько преувеличенно, указалъ злоупотребленія новѣйшими способами обученія дѣтей» (стр. 4). Авторъ признаетъ также, что «за всякимъ новымъ дѣломъ по пятамъ идетъ спекуляторское отношеніе къ нему людей, во всемъ видящихъ наживу. Результатомъ такого отношенія къ новому педагогическому дѣлу было появленіе многихъ учебниковъ и компиляцій, якобы педагогическихъ, которые не выясняютъ новаго дѣла, а только извращаютъ его» (5). Въ другомъ мѣстѣ, возражая на замѣчаніе графа Толстого о разногласіи самихъ педагоговъ по вопросамъ: чему учить? и какъ учить? г. Евтушевскій говоритъ: «согласіе встрѣчаемъ мы между педагогами и образованными людьми въ Германіи, гдѣ начальная школа однообразна для всѣхъ сословій. Такое согласіе встрѣчаемъ во многихъ нашихъ молодыхъ школахъ, гдѣ дѣло ведется людьми, подготовленными къ своему дѣлу. Что же касается дѣйствительно существующаго разногласія между русскими педагогами, то оно объясняется тѣмъ, что въ послѣднее время у насъ развилось великое множество педагоговъ-самоучекъ, такъ называемыхъ автодидактовъ (подобно доморощеннымъ абакатамъ), эксплуатирующихъ и извращающихъ новое дѣло. Но такое явленіе неизбежно, особенно въ Россіи, гдѣ всякій считаетъ себя способнымъ взяться за всякое дѣло и дѣйствуетъ по наитію врожденныхъ способностей» (18). Послѣднія слова представляютъ повидимому шпильку гр. Толстому, но, оставляя этотъ шпилечный смыслъ въ сторонѣ, мы видимъ, что г. Евтушевскій охотно выдаетъ головой кое-кого изъ своихъ собратовъ. Онъ требуетъ только, чтобы не по этимъ плеведамъ судили о самомъ методѣ новѣйшей педагогикі. Это требованіе конечно резонное, хотя г. Евтушевскій къ сожалѣнію не сообщаетъ никакихъ признаковъ, по которымъ можно было бы отличить плевелы отъ пшеницы. Впрочемъ въ данномъ случаѣ

это пожалуй и не нужно, потому что гр. Толстой цитирует не мелкоту какую нибудь, а исключительно звѣздъ первой величины,—самого г. Евтушевскаго и г. Бунакова. И вообще упрекъ г. Евтушевскаго, что гр. Толстой не касается самаго метода обученія, вовсе несправедливъ. Прежде всего гр. Толстой даже указываетъ нѣкоторыя достоинства новаго метода. Такъ онъ говоритъ: «Въ общемъ новая школа отстранила нѣкоторые недостатки, изъ которыхъ главные — лишній прибавокъ къ согласной и заучиваніе наизусть опредѣленій, и въ этомъ имѣтъ преимущество передъ старымъ способомъ и даетъ въ чтеніи и письмѣ иногда лучшіе результаты; но за то внесла новыя недостатки, состоящіе въ томъ, что содержаніе чтенія есть самое бессмысленное, и въ томъ, что ариметика, какъ ученіе, уже совершенно не преподается» («О. З.» 1874 г., № 9, 172). Любопытно, что возражатели съ особенною силой напираютъ на слова гр. Толстого: ни у русскихъ, ни у иностранныхъ педагоговъ я не нашелъ отвѣта на вопросы: чему учить? и какъ учить? я убѣдился даже, что вопросы эти для педагогій, какъ науки, не существуютъ. Это-то уже кажется критика не той или другой частности, не того или другого злоупотребленія новѣйшими способами обученія дѣтей. Господамъ возражателямъ надлежало парировать эту критику, а не «кивать на Петра». Но парировать господа возражатели не могли, потому что они даже не поняли замѣчанія гр. Толстого. Напримѣръ г. Евтушевскій, приведя упомянутыя слова гр. Толстого, съ чрезвычайно хитрымъ и вмѣстѣ побѣдоноснымъ видомъ преподноситъ ему списокъ русскихъ и иностранныхъ педагогическихъ сочиненій, въ которыхъ дескать вопросы: какъ учить? и чему учить? разрѣшаются. Очевидно гр. Толстой потому не нашелъ отвѣтовъ на эти вопросы, что и не искалъ ихъ, ибо русскіе и иностранные педагоги толкуютъ объ нихъ много и дѣльно. Я думаю однако, что гр. Толстой не сказалъ бы, что читалъ педагогическія книжки, еслибы онъ ихъ не читалъ, да вѣдь и не Богъ знаетъ какаѣ это мудрости. Я думаю, что г. Евтушевскій просто не понялъ словъ гр. Толстого. Убѣждаетъ меня въ этомъ слѣдующее. Поразивъ

своего противника спискомъ сочиненій, въ которыхъ вопросы чему и какъ учить разрѣшаются, г. Евтушевскій, для вѣщаго подтвержденія своей мысли и опроверженія мысли гр. Толстого, дѣлаетъ краткій очеркъ исторіи педагогики. Онъ дѣлитъ ее на три періода, причемъ третій характеризуется такъ: «Придавая равное значеніе какъ формальной, такъ и матеріальной цѣли обученія, педагоги этого періода (послѣдней формаціи, какъ ихъ насмѣшливо называетъ наша печать) развитіе умственныхъ способностей учащагося ставятъ въ зависимость отъ содержанія науки и отъ процесса познанія учащимися законовъ науки въ стройной педагогической системѣ. Содержаніе учебнаго предмета и методъ его сообщенія учащимся зависятъ отъ соотвѣтствія учебнаго матеріала съ возрастомъ и развитіемъ учащагося. Обученіе начинается съ укрѣпленія, поясненія и обобщенія тѣхъ знаній, которыя дѣти приносятъ въ школу. Ученикъ сознательно воспринимаетъ содержаніе предмета, а не на вѣру—одною памятью; самъ дорабатывается» и т. д., и т. д. Что это такое? Зачѣмъ г. Евтушевскій говоритъ все это? Неужели въ поученіе гр. Толстому? Послѣдній вѣдь очень хорошо понимаетъ и неоднократно говоритъ, что «каждый педагогъ извѣстной школы твердо вѣритъ, что тѣ приемы, которые онъ употребляетъ, суть наилучшіе». Зачѣмъ же г. Евтушевскій печатаетъ свою рекламу новой педагогикѣ? Это именно только реклама, говорящая, что въ новой школѣ все идетъ прекрасно. Но вѣдь въ этомъ-то и вопросъ. Не рекламировать надо, а *показать научныя основы* извѣстныхъ педагогическихъ приемовъ. Фабриканты Ждановы, рекламируя свою воздухоочистительную жидкость, говорятъ, что она превосходно очищаетъ зараженный воздухъ. Съ своей стороны фабриканты карболовыхъ препаратовъ утверждаютъ, что ихъ фабрикаты дѣйствуютъ несравненно лучше. Но и тѣ, и другіе только рекламируютъ. Доказать же свои объявленія они могутъ не голымъ описаніемъ превосходныхъ свойствъ своихъ продуктовъ, а опытомъ и рациональнымъ объясненіемъ дѣйствія фабрикатовъ. Приведите мнѣ полное и добросовѣстное описаніе опытовъ и въ особенности покажите мнѣ резуль-

таты химического анализа, который показалъ, что дезинфекція происходитъ на основаніи такихъ-то и такихъ-то дознанныхъ законовъ химическаго сродства. Отъ фабрикантовъ воздухоочистительныхъ жидкостей подобныхъ доказательствъ требовать нельзя, но отъ педагоговъ можно и должно. Пусть они назовутъ тѣ законы психологическихъ и физиологическихъ явленій, которые они примѣняютъ къ обученію дѣтей. Притомъ же г. Езтушевскій въ своей рекламѣ совершенно невѣрно изображаетъ дѣло. У него выходитъ такъ, какъ будто педагоги «новѣйшей формация» составляютъ нѣчто единое и цѣлое, какъ будто между ними нѣтъ никакихъ или по крайней мѣрѣ рѣзкихъ разногласій. Но положеніе вещей вовсе не таково. Въ этомъ легко убѣдиться при чтеніи любого педагогическаго сочиненія, не чисто догматическаго, а удѣляющаго часть своего вниманія критикѣ и полемикѣ.

Возьмемъ статью «Обученіе русской грамотѣ», напечатанную въ октябрьской и ноябрьской книжкахъ «Семьи и Школы» за прошлый годъ. Статья эта составлена редакціей «по Миропольскому». Редакцію «Семьи и Школы» и г. Миропольскаго г. Езтушевскій не назоветъ ни авдодидактами, ни людьми, гонящимися за наживой, ни злоупотребителями новѣйшихъ способовъ обученія. Эти люди авторитетные. Послушаемъ же ихъ. Статья начинается прямо съ такихъ репримандовъ: «Мы далеки отъ того положенія, когда понятія о методахъ обученія выработались съ достаточною ясностью и, принятыя въ теоріи и на практикѣ, не возбуждаютъ противорѣчивыхъ толковъ, взаимно другъ друга отрицающихъ. Мы страдаемъ теперь не недостаткомъ методовъ, а ихъ обиліемъ. Пересматривая массу нашихъ азбукъ, легко убѣдиться, что имѣя великое множество «методъ», мы не выработали еще *одного* правильнаго, разумнаго метода, который бы удовлетворялъ *вполнѣ* всѣмъ требованіямъ современной дидактики. Не говоря уже о «столпнякахъ» (находящихся внѣ вмѣстности), готовыхъ каждую манипуляцію, каждое движеніе возвести въ «методъ» и носиться съ нимъ, какъ съ писаной торбой, по пословицѣ; даже въ средѣ педагоговъ понятія о раціо-

нальномъ способѣ обученія грамотѣ весьма сбивчивы и неопредѣленны... Взять хоть «методъ» (яко бы) Золотова: каковъ онъ по существу—звуковой или буквенный? Баронъ Корфъ многими считается за знатока методовъ обученія грамотѣ; но вотъ что онъ отвѣчаетъ намъ: «метода Золотова *стоитъ между* буквослагательною и звуковою». «Стоить между»—это очень хорошо; это все равно, что сидѣть между двухъ стульевъ—положеніе, говорить, не вполнѣ спокойное. Однако же въ этомъ «стоитъ между» сказывается совершенное непониманіе почтеннымъ авторомъ «Нач. Школы» существа «методы» Золотовской» (№ 10, 117). Вотъ какъ описываютъ положеніе вещей специалисты. Я не знаю кому собственно принадлежать приведенныя слова—редакции «Семьи и Школы» или г. Миропольскому, но для удобства разговора буду считать всю статью принадлежащею перу г. Миропольскаго; кстати редакция заявляетъ, что статья проредактирована г. Миропольскимъ особо для «Семьи и Школы». Очевидно картина, нарисованная г. Миропольскимъ, весьма мало соотвѣтствуетъ рекламѣ г. Евтушевскаго. А ужъ г. Миропольскаго онъ автодидактомъ не назоветъ. Это человѣкъ, проглотившій многое множество педагогической премудрости. Для характеристики его, какъ ученаго, можетъ на первый разъ служить слѣдующее ничтожное, но все-таки очень любопытное обстоятельство. Въ статьѣ его *два раза* (№ 10, 120 и № 11, 167) повторяется такая цитата: «Въ школьной жизни, говоритъ Дистервегъ, нѣтъ ничего хуже затишья. Движеніе—признакъ жизни. Кто принимаетъ участіе въ изслѣдованіяхъ и преніяхъ, кто принадлежитъ къ испытывающимъ и все провѣряющимъ, тотъ очевидно стремится овладѣть истиной». Изрѣченіе, собственно говоря, совершенно вѣрное, но развѣ не могъ г. Миропольскій выразить заключенную къ немъ мысль отъ себя? Когда писатель въ подтвержденіе своихъ словъ цитируетъ другого писателя, то это дѣлается по одному изъ двухъ соображеній: либо цитата представляетъ вѣское слово специалиста *въ его специальности*, либо извѣстная мысль выражена въ ней особенно удачно, ярко, сильно. Въ настоящемъ случаѣ оба резона не имѣютъ

мѣста; мысль выражена Дистервегомъ крайне тяжело и неудобоваримо, что можетъ быть зависить отъ перевода; слова его имѣютъ къ его специальности столько же отношенія, какъ и ко всякой другой; ихъ могъ бы сказать и Кузьма Прутковъ, и Ньютонъ, и Наполеонъ, и Платонъ, и любой нѣмецкій колбасникъ, и любой англійскій лордъ. Какое же такое особенное значеніе могутъ они имѣть для г. Миропольскаго, который на пространствѣ нѣсколькихъ листовъ съ такимъ апломбомъ приводитъ ихъ два раза? *Magister dixit!* вотъ и все. Совершенно незначительныя слова Дистервега, представляющія общее мѣсто, достойное прописей, цитируются г. Миропольскимъ два раза единственно потому, что это слова Дистервега. Повторяю, это обстоятельство ничтожное, мелочь, но все-таки эта мелочь даетъ нѣкоторое понятіе о г. Миропольскомъ, какъ ученомъ. Можно думать, что онъ бываетъ *froh, wenn er Regengwürmer findet* и что его отношенія къ наукѣ при всей почтительности не особенно правильны. Но, скажетъ читатель, г. Миропольскій довольно грозную атаку повелъ противъ нашихъ педагогическихъ авторитетовъ, вонъ какъ знаменитаго барона Корфа отдѣлалъ. Да, это правда. Но подождите конца похода. Въ той педагогической неурядицѣ, которую описалъ г. Миропольскій, его больше всего возмущаетъ не отсутствіе *одного* правильного, разумнаго метода, удовлетворяющаго и т. д., а такія обстоятельства, какъ приписываніе золотовской методы Золотову, тогда какъ она изобрѣтена Жакото, приписываніе какого-то третьестепеннаго приѣма обученія грамотѣ барону Корфу, тогда какъ онъ изобрѣтенъ Стефани и Зельтзамомъ и т. п. Вообще г. Миропольскій повидимому только потому сердить на своихъ собратьевъ, что они сидятъ не въ должномъ порядкѣ. Ему отнюдь не приходится въ голову извѣстный крыловскій стихъ о пересаживающихся музыкантахъ («а вы, друзья, какъ ни садитесь, все въ музыканты не годитесь»). Нѣтъ, ему кажется, что онъ сдѣлаетъ большую услугу наукѣ, если дастъ каждому педагогу возможность правильно называть тотъ методъ обученія, который имъ употребляется. Подобно тому молюеровскому герою, который довольно

поздно узнать, что онъ всю жизнь говорилъ прозой, наши педагоги должны получить отъ г. Миropolьскаго этикетки съ точнымъ обозначеніемъ ихъ собственныхъ методовъ. Начинается классификація методовъ, коихъ оказывается семь: буквосочетательный, букворазлагательный, слогосоставительный, слогоразлагательный, звуковой синтетическій, звуковой аналитическій, звуковой синкретическій. Такимъ образомъ всѣ методы уставлены въ ранжиръ, и изъ рядовъ выскакиваетъ, какъ беззаконная комета среди расчисленныхъ свѣтилъ, только какой-то странный методъ «буквосочетанія звуковъ или звукосочетанія». (№ 10, 123). Куда вы гѣзете, баронъ! покрикиваетъ г. Миropolьскій, важно прохаживаясь передъ фронтомъ, у васъ своего метода вовсе нѣтъ, вы синтетическій звуковикъ! Г. Золотовъ, равняйтесь! сюда пожалуйста, въ звуковой аналитическій! вотъ тамъ, гдѣ Зельтзамъ, Вейнгартъ, Шольцъ, Фибль, Прейсъ стоятъ... Естественное дѣло, что такого знатока методовъ стоитъ спросить, какого метода онъ держится самъ. Г. Миropolьскій предвидитъ этотъ вопросъ и обязательно отвѣчаетъ: «пусть будетъ полная свобода въ выборѣ метода обученія грамотѣ, но пусть выборъ дѣлается *сознательно*, на вѣрныхъ и серьезно обдуманнѣхъ *основаніяхъ*, а не «по прихоти случайной», не на вѣру и авторитетъ, не на (по?) преданіе и рутинное желаніе охранять *statu quo* во имя собственнаго спокойствія, лѣни, инерціи» (№ 10, 120). Замѣтьте сколько фальши и педантства въ этихъ красивыхъ, хоть и не совсѣмъ грамматически расположенныхъ словахъ. Ученый мужъ классифицировалъ всѣ методы обученія грамотѣ. Я спрашиваю его, который же мнѣ выбрать? Онъ отвѣчаетъ: выбирайте любой, вы совершенно свободны, но выбирайте *на стрнхъ основаніяхъ*. Сказалъ ли онъ мнѣ что нибудь? Нѣтъ, ровно ничего не сказалъ. Онъ только замазалъ мой вопросъ красивымъ негодованіемъ противъ лѣни и инерціи, безсознательности и необдуманности. Что методъ, выбранный на *стрнхъ основаніяхъ*, *стренъ*, это я и безъ него зналъ: мнѣ нужны были указанія его, ученаго мужа, въ чемъ именно состоятъ вѣрныя основанія выбора. Какъ

же не сказать вмѣстѣ съ г. Толстымъ, что у педагоговъ просить хлѣба, а они даютъ камень? Впрочемъ вслѣдъ затѣмъ ученый мужъ снисходительно замѣчаетъ, что «здѣсь не лишне (еще бы лишне!) сказать о критеріи для выбора метода обученія грамотѣ, о чемъ высказываются различныя мнѣнія и существуютъ заблужденія». Ну вотъ, слава Богу! Сейчас различіе мнѣній, а тѣмъ паче заблужденія будутъ устранены и вопросъ о методѣ прояснится. Но увы! читатель опять получаетъ камень вмѣсто куска хлѣба! Поговоривъ о томъ, что природа «идетъ медленно спѣша» и что природа «творитъ свое дѣло, по выраженію поэта, безъ спѣха, безъ отдыха», г. Миропольскій заключаетъ: «Методъ обученія долженъ быть *развивающимъ*, а все обученіе *воспитывающимъ*, оба же *согласны съ природой* и ходомъ *естественнаго* развитія дитяти; вотъ *критерій* для опѣнки правильнаго метода обученія грамотѣ». Достойно замѣчанія, что именно подчеркиваются г. Миропольскимъ слова, т. е. тѣ, которымъ онъ придаетъ особенное значеніе, лишены всякаго опредѣленнаго содержанія. Читатель, привыкшій къ сакраментальнымъ словечкамъ, въ родѣ *естественный* ходъ развитія дитяти, *согласное съ природой* обученіе и т. п., можетъ сердиться сколько угодно; г. Миропольскій тоже, но я утверждаю, что и читатель и г. Миропольскій не понимаютъ приведеннаго опредѣленія критерія.

Я позволю себѣ уклониться на одну минуту отъ бесѣды съ г. Миропольскимъ и сказать два слова съ другими педагогами, именно съ гг. А. и Я. Симоновичъ. Эти педагоги, если не ошибаюсь, издатели «Дѣтскаго Сада», люди, мимоходомъ сказать, относящіеся къ своему дѣлу крайне серьезно и добросовѣстно, издали въ прошломъ году сборникъ статей изъ «Дѣтскаго Сада» подъ заглавіемъ «Практическія замѣтки объ индивидуальномъ и общественномъ воспитаніи малолѣтнихъ дѣтей». Въ предисловіи къ первому тому сборника читаемъ: «Изъ нѣкоторыхъ статей мы выпустили то, что не соответствуетъ болѣе научнымъ взглядамъ. Такъ напримѣръ вопросъ о наслѣдственности съ того времени приобрѣлъ силу, а въ первомъ изданіи мы полагали, что ребенокъ это *tabula rasa*, что изъ него можетъ выйти

что угодно воспитателю или окружающей средѣ. Въ этомъ изданіи взглядъ этотъ измѣненъ: ребенокъ уже при рожденіи имѣетъ извѣстную индивидуальность» (XI). На оберткѣ сборника значится, что въ него вошли статьи изъ «Дѣтскаго Сада» за 1866, 1867 и 1868 г. Слѣдовательно весьма существенные изъ взглядовъ гг. Симоновичъ на *естественный* ходъ развитія дѣтей радикально измѣнились въ нѣсколько лѣтъ. И они объ этомъ прямо заявляютъ и дѣлаютъ нужныя по ихъ мнѣнію поправки въ своихъ теоріяхъ. Такая прямота, такая откровенность и готовность поступаться своими взглядами, разъ они оказываются невѣрными, весьма рѣдко встрѣчаются между педагогами. Большею частію они издаютъ свои учебники, трактаты и руководства вторымъ, третьимъ изданіемъ, вовсе не справляясь съ движеніемъ настоящей, признанной науки, открывающей и объясняющей законы явленій. Благодаря гр. Толстому, я перечиталъ много русскихъ педагогическихъ сочиненій и, за исключеніемъ Ушинскаго, не встрѣтилъ ссылокъ напримѣръ на новѣйшую англійскую психологію или на теорію Дарвина (зато же Ушинскій и считается между педагогами восьмымъ чудомъ свѣта). Попадаютъ въ литературѣ указанія на этнологію, какъ на подспорье педагогики, но этихъ указаній слѣдуетъ искать не въ педагогической литературѣ. Говоря это, я разумѣю преимущественно нашихъ наиболѣе выдающихся, «знаменитыхъ» педагоговъ. Чѣмъ болѣе педагогъ «знаменитъ», тѣмъ рѣже встрѣчаются у него свѣдѣтельства его знакомства съ движеніемъ науки. Это не оттого происходитъ, что педагоги, подобно Эпикуру, не любятъ цитировать. Совсѣмъ напротивъ. Мы видѣли при какихъ обстоятельствахъ г. Миропольскій цитируетъ Дистервега. Г. Евтушевскій въ своемъ отвѣтѣ гр. Толстому даже совсѣмъ ни къ селу, ни къ городу *Instauratio magna* Бэкона упомянулъ. Нѣтъ, педагоги напротивъ очень любятъ ссылаться на авторитеты, но это авторитеты или специально педагогическіе (тутъ ужъ всякое лыко, всякій Фибль, Шольцъ идетъ въ строку), или очень старые психологическіе (позже Гербарта рѣдко, а большею частью дѣло не идетъ дальше Локка). Изъ новыхъ поминается иногда Спенсеръ,

но нѣтъ ссылокъ на его «Основанія психологiи», а только на статьи о воспитанiи. Изъ этого слѣдуетъ кажется заключить, что педагоги наши съ настоящей собственно наукой вовсе незнакомы и не желаютъ знакомиться. Г. Миропольскiй напримѣръ до такой степени мало знакомъ съ исторiей мысли, что однажды въ педагогическомъ обществѣ во всеуслышанiе заявилъ: «я никогда не встрѣчалъ другого такого гениальнаго мыслителя, какъ Коменскiй» (педагогъ XVI вѣка). Вотъ Моисей и пророки! Педагоги вполне полагаются на тѣ посредствующiе, большею частью нѣмецкiе, чисто педагогическiе авторитеты, которые вѣроятно по ихъ мнѣнiю извлекли уже все нужное изъ биологiи и психологiи. Они до такой степени вѣились съ одной стороны въ бессодержательныя фразы, а съ другой въ мелкiя педагогическiя примѣты и ощупью находимые рецепты, что не считаютъ нужнымъ хоть время отъ времени освѣжать свои познанiя тѣми изслѣдованiями, на которыхъ по ихъ собственнымъ словамъ строится все зданiе педагогики. Они очень много толкуютъ о естествѣ и о психологiи, но полагаютъ, что, осѣдлавъ Локка, можно на немъ ѣздить до скончанiя вѣка. Вотъ почему я и указываю на серьезное и добросовѣстное отношенiе къ дѣлу гг. Симоновичъ. Теперь посмотримъ, что извлекли гг. Симоновичъ изъ Дарвина. На стр. III того же предисловія напечатано: «Дарвинъ доказалъ, что особенности организма передаются по наслѣдству потомству и не только особенности физическiя, но и нравственныя. Дарвинъ, цитируя всевозможныхъ авторовъ, писавшихъ о наслѣдственности, приводитъ поразительные случаи передачи потомству рѣдкихъ и оригинальныхъ физическихъ особенностей. Нравственныя качества, лежащiя въ основѣ общественности, какъ-то дружелюбіе, любовь къ ближнему, вѣрность и т. п., тоже передаются по наслѣдству. *По теорiи естественнаго подбора люди рождаются съ склонностью къ хорошей нравственности, ибо они унаследовываютъ тѣ качества, которыми владѣютъ потомки, живущіе въ обществѣ*; всѣ люди, не обладающіе элементарными нравственными качествами, необходимыми для жизни въ общественной средѣ, гибнутъ, не дають отъ себя потомства

(тутъ разумѣется не одно поколѣніе, а нѣсколько). Поэтому мы должны разсматривать каждаго рождающагося ребенка не какъ *tabulam rasam*, индифферентное существо; нѣтъ, ребенокъ уже обладаетъ извѣстною индивидуальностью, обусловленную качествами родителей, прародителей и расположенною уже къ извѣстнымъ хорошимъ нравственнымъ качествамъ». Все это очень наивно (вся книга проникнута наивностью), а подчеркнутая мною фраза даже лишена смысла. Но я вижу тутъ по крайней мѣрѣ искреннее желаніе наполнить то пустое пространство, даже плохо огороженное, надъ которымъ высится красивая вывѣска: естественное развитіе дитяти. Ничего подобнаго у г. Миропольскаго нѣтъ. Онъ говоритъ: развитіе, естественный ходъ, согласный съ природой,—даже повидимому не подозревая, что это слова, слова, слова, пустыя формы, получающія значеніе только по тому опредѣленному содержанію, которое въ нихъ вкладывается Петромъ, Иваномъ, Сидоромъ. Петръ, Иванъ, Сидоръ обязаны сказать что именно разумѣютъ они подъ этими словами, иначе они ровно ничего не сказали и никакой разговоръ съ ними невозможенъ. Я очень радъ, что могу сослаться на жемчужину русскихъ педагоговъ, Ушинскаго, который дѣйствительно понималъ свое дѣло несравненно шире всѣхъ гг. Миропольскихъ, Евтушевскихъ и Бунаковыхъ. На стр. VII предисловія къ первому тому его «Педагогической антропологіи» говорится: «Мы имѣемъ полное право спросить воспитателя, какую цѣль онъ будетъ преслѣдовать въ своей дѣятельности, и потребовать на этотъ вопросъ яснаго и категорическаго отвѣта; мы не можемъ въ этомъ случаѣ удовольствоваться общими фразами, въ родѣ тѣхъ, какими начинаются большею частью нѣмецкія педагогики. Если намъ говорить, что цѣлью воспитанія будетъ сдѣлать человѣка *счастливымъ*, то мы въ правѣ спросить, что такое разумѣетъ воспитателя подъ именемъ *счастія*... Та же самая неопредѣленность будетъ и тогда, если на вопросъ о цѣли воспитанія отвѣчаютъ, что оно хочетъ сдѣлать человѣка *лучше, совершеннѣе*... Изъ этой неопредѣленности не выходитъ воспитаніе и тогда, когда говорятъ, что хочетъ воспитывать человѣка *сообразно его природѣ*. Гдѣ же мы най-

дежъ эту нормальную человѣческую природу, сообразно которой хотимъ воспитывать дитя? Руссо, опредѣлившій воспитаніе именно такимъ образомъ, видѣлъ эту природу въ дикаряхъ и притомъ въ дикаряхъ, созданныхъ его фантазіей». — Не странно ли, что многоученый г. Бутушевскій считаетъ теоріи Руссо пройденною ступенью въ педагогикѣ, а многоученый г. Миропольскій выражаетъ критерій воспитанія тѣми же буквально словами, которыми выражалъ его Руссо? Вся разниа въ томъ, что Руссо вкладывалъ въ слова «согласно съ природой» вѣрное или невѣрное, но совершенно опредѣленное содержаніе, а г. Миропольскій не вкладываетъ никакого. Это ли прогрессъ педагогики?

Покончивъ съ критеріемъ, г. Миропольскій переходитъ къ изложенію звуковыхъ методовъ. Здѣсь читатель найдетъ удивительно полный ассортиментъ курьезовъ, монстровъ и раритетовъ, цѣлый маленькій музей. Не все въ немъ принадлежитъ самому г. Миропольскому, но все изобрѣтено и изготовлено тѣмъ или другимъ болѣе или менѣе авторитетнымъ педагогомъ. Я заставляю читателя скучать, мнѣ и самому скучно возиться со всей этой педантской дребеденью. Поэтому я приведу изъ музея г. Миропольскаго возможно малое количество монстровъ и раритетовъ. Я затрудняюсь только въ выборѣ, все хорошо, все одинаково оправдываетъ жесткій приговоръ гр. Толстого: вопросы — какъ учить? и чему учить? для педагогіи, какъ науки, не существуютъ. Благодаря статьѣ г. Миропольскаго, мы имѣемъ цѣлую галерею портретовъ людей, умственно и нравственно изломанныхъ и точно старающихся перепедаголить другъ друга въ изломанности. Вотъ люди, и между ними есть крупные авторитеты, чуть ли даже не Дистервегъ и Любенъ, совѣтующіе «для болѣе отчетливаго усвоенія звукового матеріала грамоты» рассказывать дѣтямъ, что происходитъ съ языкомъ, глоткой, дыханіемъ при произношеніи буквъ. Нѣкоторые даже изобрѣтаютъ особенную терминологию и вмѣсто *a* говорятъ: «ротъ широко!» вмѣсто *e*: «подними языкъ!» вмѣсто *i*: «языкъ вверхъ!» вмѣсто *o*: «ротъ кругло!» вмѣсто *y*: «ротъ просто впередъ!».

Ради Вольфганга Ратихия и Амоса Коменскаго, зачѣмъ это? почему это?— Вотъ педагогъ Гразеръ, очень хорошій, очень знаменитый педагогъ. Онъ придумалъ, что «письмо есть не что иное, какъ изображеніе различныхъ положеній нашего рта» при произношеніи звуковъ; что напримѣръ буква *o* есть изображеніе круглаго положенія рта при произношеніи звука, что *r* есть такое же изображеніе прикасающагося къ верхней части неба языка при произношеніи этого звука и т. п. Это конечно штука очень забавная и даже не лишенная остроумія, но все-таки только штука, каковою ея признаетъ и г. Миропольскій. — Вотъ самъ Миропольскій, совѣтующій «при изученіи» двугласныхъ (*ай, ой*) «заставлять ученика произнести одинъ за другимъ звуки напимѣръ *a* и *и*; потомъ — заставлять повторять ихъ произношеніе, постепенно *ускоряя*, пока они сами собой не перейдутъ въ звукъ *ай*. Или можно получить тотъ же результатъ такимъ путемъ: протягиваютъ гласную, положимъ *a*, и затѣмъ *вдругъ* коротенько прибавляютъ *и*, которое неизбѣжно при такомъ звукосочетаніи обращается въ *краткое й (ай)*». Какая въ самомъ дѣлѣ отличная штука! (она мнѣ почему-то гармонику напоминаетъ) и какую возвышенную радость долженъ былъ испытывать многоученый Вагнеръ-Миропольскій, изобрѣтая этотъ «пріемъ» (можетъ быть даже «методъ») изученія двугласныхъ! — Вотъ очень ученый и недавно умершій педагогъ Фогель. Объ этомъ удивительномъ человѣкѣ стоитъ поговорить нѣсколько дольше. «Въ своемъ методѣ обученія чтенію, говоритъ г. Миропольскій, онъ выходитъ изъ общезвѣстнаго факта, что дѣти ничего не пишутъ съ такою охотою, ничѣмъ такъ не восхищаются, какъ умѣньемъ писать *свое имя*» («С. и Ш.» № 11, 157). Я прошу читателя запомнить эту исходную точку Фогеля. Взаимны общаю, что это уже будетъ послѣдняя экскурсія въ кунтскамеру г. Миропольскаго. Итакъ дѣти любятъ писать свое имя. Поэтому Фогель составилъ особенный букварь съ картинками, извѣстный подъ названіемъ *Fischbuch'a*, потому что первая картинка въ немъ изображаетъ рыбу (*Fisch*). Съ этой рыбой идутъ такого рода упражненія:

«Учитель спрашивает: «Что это такое?» Ученики конечно отвечают: «это рыба». Учитель несколько раз громко и раздельно заставляет произнести данное слово. Фогель обращает внимание на произношение учащихся, что при звуковом обучении имеет несомненно важное значение. Произношение должно быть: а) чистое и членораздельное, б) медленное и ясное, в) громкое и выразительное, так чтобы произносимые учениками слова соответствовали свойству выражаемой ими мысли. Общее правило: «хорошо отвечать всегда тихо и в такт; одиночно — громко, для всего класса, а не под нос себе». — «Отвѣты учениковъ должны быть даваемы всегда въ видѣ цѣлыхъ предложений». Увѣрившись, что слово *рыба* всѣ ученики произносятъ ясно и отчетливо, учитель переходитъ къ предметной бесѣдѣ о рыбѣ. «Гдѣ живетъ рыба? — (Рыба живетъ въ водѣ). «Какъ рыба попала на классную доску? — (На доскѣ рыба нарисована). «Поэтому, какая эта рыба? — (Это нарисованная рыба). «Какъ называется (указывая на голову) эта часть рыбы? — (Это голова рыбы). «Сколько глазъ у рыбы? — «Сколько глазъ у каждого изъ насъ? — «Покажите правый глазъ! — «Лѣвый! — «Для чего служатъ глаза? — «Слѣдовательно, что могутъ рыбы дѣлать глазами? *Рыбы могутъ видеть.* — «Повторите хорошо всѣ этотъ отвѣтъ! — «Слышать ли рыбы? (Молчаніе). «Чѣмъ мы слышимъ? — «Посмотрите, есть ли у рыбы уши? — «Ахъ, бѣдная рыба вѣрно не слышитъ, потому что наружныхъ ушей у рыбы не видно. Говорите всѣ: у рыбы наружныхъ ушей нѣтъ! (въ тактъ). — «Не жалѣйте впрочемъ о рыбѣ, можетъ быть она и слышитъ. Есть маленькая рыбка, которая подплываетъ къ намъ, когда мы повозимъ въ колокольчикъ. Замѣчено также, что всякій шумъ рыбу пугаетъ и она уходитъ отъ шума въ глубь воды. Что изъ этого можно заключить? — *Рыбы слышатъ.* «Повторите хорошо отвѣтъ! Говорите: «рыбы могутъ видѣть, могутъ слышать». «А нюхаетъ ли рыба? — (Молчаніе). «Чѣмъ мы нюхаемъ (обоняемъ)? — «Понюхайте носъ у рыбы. — «Ахъ, мы не находимъ у рыбы носа! Говорите: *у рыбы нѣтъ носа!* (хорошо подѣ тактъ). «Значитъ рыба не обоняетъ? Подождите. Рыбаками замѣчено, что если опустить въ темнотѣ въ рѣку или въ озеро сѣтку съ испорченнымъ мясомъ, то рыба почувствуетъ запахъ мяса и тотчасъ подплываетъ къ нему. Что изъ этого видно? — *Рыбы могутъ нюхать.* Повторите: «рыбы могутъ видѣть, рыбы могутъ слышать, рыбы могутъ нюхать». «Чѣмъ мы узнаемъ вкусъ? Языкомъ. — «И у рыбы есть языкъ, только онъ не видѣнъ на рисункѣ, слѣдовательно рыбы могутъ узнавать и вкусъ. Повторите: «рыбы могутъ» и пр. «Чѣмъ ловятъ рыбу? — «Что дѣлаетъ рыба, когда попадаетъ на удочку? — «Что мы можемъ видѣть изъ того, что рыба мечется на крючкѣ? — «Рыбѣ больно, рыба чувствуетъ. Повторите: «рыбы могутъ видѣть» и пр. *Зрѣніе, слухъ, обоняніе, вкусъ и осязаніе суть пять чувствъ.* «Назовите еще разъ всѣ пять чувствъ! — «Кто намъ и рыбамъ далъ чув-

ства?—Дѣти! Будемъ благодарить Создателя за дарованіе намъ чувствъ! Безъ нихъ мы не знали бы, что дѣлается вокругъ насъ и съ нами. «Для чего служить зрѣніе?—«Для чего слухъ?» и пр.

Еслибы я не боялся надоесть читателю хуже горькой рѣдьки, я бы привелъ еще изъ одной старой статьи гр. Толстого указаніе, что нѣмецкіе педагоги ухитряются еще и не такія мученія продѣлывать надъ дѣтьми при помощи «фишъ-бухъ». То, что приводитъ (и одобряетъ) г. Миропольскій, не смотря на всю свою бессмысленность, не можетъ даже и въ сравненіи идти съ разсказомъ графа Толстого. Надо видѣть, чтобы вѣрить. (См. сочиненія Толстого, т. IV, стр. 54 и слѣд.). Съ меня довольно. Я напоминаю только, что исходная точка всего метода Фогеля есть тотъ «общеизвѣстный фактъ, что дѣти ничѣмъ такъ не восхищаются, какъ умѣнемъ писать *свое имя*». Какъ эта совершенно опредѣленная исходная точка вяжется съ пыткой надъ фишъ-бухомъ—г. Миропольскій не объясняетъ...

Статья г. Миропольскаго въ качествѣ кунтскамеры представляетъ особенныя удобства для ознакомленія съ той безпорядочной кучей общихъ мѣстъ, лишенныхъ всякаго содержанія, и мелкихъ рецептовъ въ родѣ метода изученія двугласныхъ (а—и а—и, ай), съ той безпорядочной кучей, которая называется педагогикой. Но въ томъ, что современная педагогика дѣйствительно не наука и не искусство, а какая-то игрушечная лавка (впрочемъ игрушки въ ней достаются кошкамъ-педагогамъ, а на долю мышекъ-ребятъ выпадаютъ слезки), читатель можетъ убѣдиться и изъ весьма многихъ другихъ педагогическихъ сочиненій. А между тѣмъ какимъ апломбомъ, какимъ невѣроятнымъ чувствомъ собственнаго достоинства проникнуты эти фабриканты игрушекъ для собственнаго развлеченія! Напримѣръ тотъ самый г. Миропольскій, который такъ либерально предоставляетъ учителю полную свободу выбора метода обученія, пишетъ: «Нечего и прибавлять, что при соединеніи гласныхъ и согласныхъ—учитель всего болѣе долженъ беречься *звукосочетанія*,—эта зараза вкрадывается незамѣтно, а устраняется съ большими затрудненіями». Почему звукосочетаніе зараза, а фишъ-бухъ—не

зараза? Въ другомъ мѣстѣ, приведя какую-то бесѣду г. Паульсона, далеко лучшую фишгъ-буха и ничѣмъ не худшую всякихъ другихъ педагогическихъ рецептовъ, г. Миропольскій восклицаетъ: «Неудачнѣйшій изъ неудачныхъ приѣмовъ!» Наконецъ тотъ же г. Миропольскій заявилъ однажды въ педагогическомъ обществѣ: «Въ то время, какъ мы здѣсь обсуждаемъ этотъ вопросъ (рѣчь шла о баллахъ), рѣшенія его нетерпѣливо ожидаютъ въ отдаленныхъ мѣстностяхъ нашего обширнаго отечества». И вотъ среди этихъ-то людей, самодовольныхъ до безобразія, вполне увѣренныхъ, что они призваны вязать и рѣшить, кокетничающихъ другъ передъ другомъ и передъ зеркаломъ, копающихся въ мелочныхъ и ни на чемъ неоснованныхъ, совершенно произвольныхъ положеніяхъ и отрипаніяхъ, является графъ Толстой съ очень простымъ и яснымъ вопросомъ: каковы научныя основанія вашей дѣятельности? Понятно, что уже одинъ этотъ вопросъ, произнесенный властно и возвышеннымъ голосомъ (будь онъ заданъ мирно и тихо, на него не обратили бы вниманія) долженъ былъ взбудоражить муравейникъ. Однако до сихъ поръ изъ муравейника не раздалось еще ни одного настоящего, т. е. прямого отвѣта. Возраженія направлены главнымъ образомъ или на замазываніе заданнаго вопроса, или на огражденіе собственной личности (г. Евтушевскаго, г. Бувакова), или на другія стороны статьи графа Толстого, стороны также высокой важности. Графъ Толстой говоритъ педагогамъ: ваши дѣйствія, ваши руководства, ваши методы и приемы не имѣютъ за себя никакого научнаго оправданія. Но если бы даже они были дѣйствительно вполне научны и вы могли бы подвести подъ каждое свое предписаніе извѣстные, наукой дознанные законы явленій, — васъ не хотеть знать народъ; я съ своей стороны, не зная иного критерія педагогики, признаю въ этомъ дѣлѣ верховнымъ авторитетомъ волю народа.

Педагоги были возмущены и оскорблены до глубины души. И я это понимаю. Какъ! Ихъ рѣшеній «нетерпѣливо ждутъ въ различныхъ мѣстностяхъ нашего обширнаго отечества»; они изучили не только такого гениальнаго мыслителя, какъ Амосъ

Коменскій, но и Шольца и Шмальца и Фибли и Крибли, — и ихъ зовутъ на судъ профановъ! Они, уже открывшіе секретъ искусственнаго приготовленія дѣтей по самому естественному методу, должны прислушиваться къ голосу невѣжественныхъ людей, не имѣющихъ ни малѣйшаго понятія не только объ Амосѣ Коменскомъ, но и о Шольцѣ и Шмальцѣ! Конечно такой возмутительной вещи можетъ потребовать только обскурантъ, ретроградъ, поборникъ тьмы, невѣжества и попятнаго движенія! Я понимаю это настроеніе многоученныхъ педагоговъ. Я понимаю, что буквоѣду Вагнеру, увѣровавшему *à force de forger*, что изъ его реторты вотъ-вотъ выскочитъ гомункулъ, тяжело и даже невозможно признать, что 1) всѣ его приемы совершенно ненаучны и что 2) еслибы они и были научны, то люди-профаны не пожелаютъ имѣть сношенія съ его гомункуломъ. Пусть приходитъ человѣкъ семи пядей во лбу, пусть онъ цѣлый годъ сряду не переставая убѣждаетъ Вагнера краснорѣчивѣйшими доводами, Вагнеръ останется непоколебимъ. Онъ будетъ барахтаться и отбрыкиваться до изнеможенія, потому что сдайся онъ — и ему жить нечѣмъ, не только въ переносномъ смыслѣ, духовномъ, но и прямо въ матеріальномъ: если все общество, всѣ профаны убѣдятся, что гомункулъ есть вздоръ, профаны откажутся содержать его, ему придется искать другого поприща дѣятельности, а онъ ничего кромѣ своего приготовленія гомункула не знаетъ. Можетъ быть, даже очень вѣроятно, что яснаго сознанія этихъ опасностей у Вагнера нѣтъ, но тѣмъ не менѣе они такъ близки, что онъ ихъ инстинктивно чувствуетъ. Поэтому, говоря въ своихъ запискахъ о педагогахъ, я отнюдь не имѣю въ виду убѣдить самихъ этихъ ученыхъ мужей, — это былъ бы совершенно напрасный трудъ; я имѣю въ виду только тѣхъ читателей, которые по старой памяти о нынѣ уже увы! поблекшемъ ореолѣ, окружающемъ нашихъ педагоговъ, не вникая въ дѣло сами, повѣрили бы господамъ педагогамъ на-слово.

Прежде всего укажу на практическую сторону требованія графа Толстого. Недавно одинъ пріѣзжій изъ провинціи чело-вѣкъ, совершенно чуждый педагогическимъ вопросамъ, но народъ

знающій, рассказывалъ мнѣ слѣдующее. Въ деревнѣ открылась школа, была приглашена учительница, кажется воспитанница семинаріи. Желающихъ учиться набралось сразу столько, что школа оказалась полнымъ полна. Въ торжественный день открытія школы, послѣ разныхъ церемоній, происходилъ первый пробный урокъ, при которомъ, кромѣ почетныхъ посѣтителей, присутствовали и родители учениковъ, преимущественно бабы. Бабы эти осадили прежде всего учительницу, молоденькую барышню, просьбами приглядѣть «за моимъ-то», «моего-то, вотъ что въ углу сидитъ» хорошенъко обучить. Барышня, видимо тяготясь этими докуками, отвѣчала однако любезно. Наконецъ бабъ успокоили. Начинается урокъ. Учительница спрашиваетъ: «ну, дѣти, куда вы пришли?»—Нѣкоторые молчатъ, нѣкоторые говорятъ: учиться, въ училищу, въ школу.—«Нѣтъ, нѣтъ, не такъ. Поднимите лѣвыя руки и всѣ вмѣстѣ заразъ говорите: мы пришли въ школу».—Послѣ длинной возни съ лѣвой рукой и «хоровымъ отвѣтомъ» учительница спросила гдѣ полъ, гдѣ потолокъ и т. д., не упуская изъ виду ни лѣвыхъ рукъ, ни хорошихъ отвѣтовъ. Тянулася эта исторія очень долго. Мой знакомый, чуждый, какъ я сказалъ, педагогикѣ, былъ въ большомъ недоумѣніи и наконецъ ушелъ. Слѣдомъ за нимъ ушло нѣсколько бабъ, которыя были еще въ большемъ недоумѣніи. Они обратились къ нему съ вопросами: какое же это ученіе, на ученіе будто не похожее? Дальнѣйшей исторіи школы я не знаю, но мой знакомый полагаетъ, что мужики и бабы скоро разберутъ своихъ дѣтей, и школа опустѣетъ. Конечно мужики и бабы невѣжественны, но что же прикажете дѣлать, если учить крестьянскихъ ребятшекъ по превосходнѣйшимъ и вполне естественнымъ методамъ, приближающимся къ фишгъ-буху, значить разогнать учениковъ? Очевидно, что если и допустить, что знаніе педагоговъ есть дѣйствительно знаніе въ теоретическомъ смыслѣ (чего однако допустить нельзя), то въ примѣненіи къ практикѣ оно обращается въ совершенное незнаніе, ибо приводитъ къ совершенно непредвидѣннымъ результатамъ. Знать что нибудь—вѣдь это почти то же, что предвидѣть результаты этого чего нибудь.

Наши педагоги очень часто толкуютъ объ исторіи педагогики, т. е. о томъ, какъ Шмальцъ улучшилъ методъ Шольца, но они никогда не говорятъ объ исторіи народнаго образованія. А между тѣмъ это предметъ по малой мѣрѣ не менѣе интересный и вдобавокъ соприкасающійся прямо съ жизнью тѣхъ профановъ, для которыхъ собственно Шмальцъ и улучшилъ методъ Шольца. Я посовѣтовалъ бы педагогамъ не побрезгать хоть недавно вышедшей книгой г. Владимірскаго-Буданова «Государство и народное образованіе въ Россіи XVIII вѣка». Изъ нея они увидѣли бы, какъ трудно быть насильно милымъ народу. Изъ всѣхъ педагоговъ практическую сторону поднятаго графомъ Толстымъ вопроса принялъ во вниманіе только г. Страннолюбскій, пользующійся въ Петербургѣ, какъ преподаватель математики, большою извѣстностью, хотя и не сочинившій никакой методики. 2-го ноября прошлаго года г. Страннолюбскій читалъ въ педагогическомъ обществѣ отчетъ о «Счетѣ», части «Азбуки» графа Толстого. Онъ высказалъ при этомъ о педагогическихъ приемахъ графа Толстого весьма лестное мнѣніе. Хотя особенно цѣнны взгляды г. Страннолюбскаго, какъ специалиста, на арифметику графа Толстого, но весь его отчетъ долженъ быть признанъ образцовымъ по ясности, доказательности и логичности. Между прочимъ въ отчетѣ говорится: «Мнѣ случилось лично присутствовать при обученіи грамотѣ и счету въ школахъ, устроенныхъ для рабочихъ и притомъ городскихъ, слѣдовательно настроенныхъ по отношенію къ школѣ болѣе благопріятно сравнительно съ сельскимъ населеніемъ. Я замѣтилъ слѣдующій фактъ. При открытіи школы она сразу наполнялась массой учениковъ. На первыхъ урокахъ обнаруживалось самое напряженное и усиленное вниманіе къ дѣлу. Видно было, что народъ дѣйствительно желаетъ учиться; но мало-по-малу вниманіе и усердіе ослабѣвали, зачастую слышались даже жалобы, что учатъ не тому, чему нужно. Классы рѣдѣли и школа должна была дѣлать уступки или плестись черезъ пень въ колоду, а иногда приходилось даже закрывать нѣкоторые классы, потому что они умирали, такъ сказать, естественною смертію. Родители,

а черезъ нихъ и ученики, приступая къ изученію грамоты, ожидаютъ, что ихъ начнутъ учить читать, покажутъ имъ буквы, научатъ ихъ соединять эти буквы въ слоги, затѣмъ въ слова и т. д., и сдѣлаютъ это приблизительно какъ нибудь въ томъ родѣ, какъ они объ этомъ слышали отъ своихъ грамотныхъ собратьевъ. А вмѣсто того они видятъ, что ихъ начинаютъ учить шикать, шипѣть, жужжать, мычать, словомъ воспроизводить множество звуковъ, можетъ быть и совершенно необходимыхъ при обученіи чтенію по звуковому методу, но тѣмъ не менѣе представляющихся ученикамъ занятіемъ, чуждымъ той цѣли, для которой они пожертвовали своимъ отдыхомъ, а иногда и заработкомъ».

Я былъ на томъ засѣданіи педагогическаго общества, когда г. Страннолюбскій говорилъ свою любопытную рѣчь. Въ противоположность большинству произведеній нашихъ педагоговъ, въ рѣчи этой совсѣмъ не было ни общихъ мѣстъ, ни ссылокъ на сомнительные педагогическіе авторитеты. Г. Страннолюбскій говорилъ просто и дѣльно въ настоящемъ смыслѣ этого слова—ничего ненужнаго и неумѣстнаго. Не всѣ однако такъ смотрѣли. За мной сидѣли какія-то двѣ барыни, которыя когда дѣло дошло до выписаннаго мною изъ отчета г. Страннолюбскаго мѣста, не безъ ехидства шептали: «уклоняется, уклоняется!» Это было бы конечно очень смѣшно, когда бы не было такъ грустно. Послѣ уже я узналъ, что около именъ гг. Евтушевскаго и Страннолюбскаго, какъ наиболѣе видныхъ петербургскихъ преподавателей математики, группируются какія-то партіи,—сидѣвшія за мной барыни были вѣроятно «евтушистки» и можетъ быть принадлежать къ числу готовящихся на роли учительницъ. Но какъ же у нихъ значить выворочены головы, если онѣ самую суть дѣла могли принять за уклоненіе отъ него! Вотъ истинная зараза, а не какое-то тамъ звукосочетаніе. Существованіе маленькой группы влюбленныхъ въ себя педагоговъ-Нарцисовъ само по себѣ еще не составляетъ большой бѣды. Зрѣлище это даже не лишено нѣкотораго увеселительнаго характера. Но эти Нарцисы размножаются въ ужасающей прогрессіи. Каждый Нарцисъ

даетъ толчокъ нѣсколькимъ Нарцисикамъ, а тѣ въ свою очередь плодятся и множатся. Вмѣстѣ съ тѣмъ научное и практическое значеніе педагогики убываетъ въ прогрессіи не менѣе ужасающей. Наглядно этотъ порядокъ вещей можетъ быть представленъ такъ:

Ушинскій смотрѣлъ на свое дѣло широко, по крайней мѣрѣ въ теоретическомъ отношеніи (я знаю только его «Антропологию»), обладалъ большой эрудиціей, серьезно и добросовѣстно старался подыскать научныя основанія педагогикѣ, изучалъ подлинныхъ психологовъ, біологовъ и философовъ и кажется не особенно высоко цѣнилъ педагогическіе рецепты и примѣты.

Отъ Ушинскаго пошли гг. Евтушевскіе, Миропольскіе, Бунаковы и проч. Она тоже обладаютъ большою эрудиціей, которая однако уже сортомъ пониже. Мы видѣли, что Коменскій есть для г. Миропольскаго самый гениальный мыслитель, какого онъ когда-нибудь «встрѣчалъ». Платонъ и Аристотель, Кантъ и Контъ, Спиноза и Юмъ—все это идетъ уже за Коменскимъ и даже вѣроятно за Дистервегомъ, а можетъ быть и за Шольцемъ и Шмальцемъ. Г. Евтушевскій въ своей «Методикѣ ариметики» (стр. 4) цитируетъ педагога Диттеса для подтвержденія, что «субстанція души такъ сокрыта отъ насъ, какъ сущность свѣта, теплоты, электричества». Но кому какое дѣло до того, что это сказалъ Диттесъ? Эту совсѣмъ не специально педагогическую мысль высказывали люди не Диттесу чета, люди, обозначившіе собою извѣстныя ступени развитія философской мысли. Ихъ-то и слѣдовало цитировать, если уже тутъ нужна была цитата. Но этихъ людей г. Евтушевскій не знаетъ, а Диттеса, ученика учителей и даже можетъ быть ученика учениковъ—знаетъ. Поэтому г. Евтушевскій весьма почтительно относится даже къ ничтожнѣйшимъ изъ специально педагогическихъ авторитетовъ и въ тоже время необыкновенно развязно высказываетъ совершенно вздорныя или по крайней мѣрѣ несомнѣстимыя мысли изъ области философіи и психологіи. Такъ, въ своемъ отвѣтѣ графу Толстому и въ «Методикѣ ариметики» онъ очень развязно утверждаетъ, что «со времени Локка и Гербарта психо-

логія выбилась изъ оковъ схоластики и метафизики»; что душа ребенка представляетъ «чистую таблицу» (*tabula rasa*); что «математическія аксіомы можно считать врожденными человѣку» и еще многое въ этомъ родѣ или вѣрнѣе въ этихъ весьма несходныхъ родахъ.

Отъ г. Евтушевскаго идутъ «евтушисты». Эти люди вѣро-ятно признають г. Евтушевскаго (а можетъ быть г. Миропольскаго) самымъ гениальнымъ мыслителемъ, какого они только встрѣчали, хотя впрочемъ другихъ встрѣчь они не искали; превосходно знаютъ новѣйшихъ русскихъ педагоговъ и цитируютъ ихъ съ тою же почтительностью, съ какой тѣ въ свою очередь цитируютъ Дистервега и Диттеса; но уже не обезпokoиваютъ себя изученіемъ не только тѣхъ мыслителей первой величины, которыхъ изучалъ Ушинскій, а даже излюбленныхъ ихъ учителями нѣмецкихъ педагоговъ. Это впрочемъ не помѣшаетъ представителямъ третьяго періода развитія на Руси педагогики говорить о нѣмецкихъ педагогахъ съ такою же развязностью, съ какою г. Евтушевскій говоритъ о врожденности математическихъ аксіомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ о дѣтской душѣ какъ о «чистой таблицѣ». Въ № 229 «Биржевыхъ Вѣдомостей» за прошлый годъ приведены образцы сочиненій народныхъ учителей, писанныхъ ими на рязанскихъ лѣтнихъ учительскихъ съѣздахъ. Одинъ писалъ (ореографія подлинника): «Перейдя лужокъ и нашедъ, множество, насѣкомыхъ, показываемая дѣти, всмотрѣвшись и объяснивъ, происхожденіе, пользу или вредъ и части, какъ то учить знаменитый Песталоцій и Урстъ»...

Можетъ быть это писалъ не прямо «евтушистъ», а ученикъ евтушиста, значить представитель еще четвертаго поколѣнія. Возможна наконецъ и такая ступень паденія, на которой педагоги будутъ весьма хорошо знать и помнить ничтожнѣйшія изрѣченія какого-нибудь Иванова или Петрова изъ «евтушистовъ». но вмѣстѣ съ тѣмъ не съумѣютъ грамотно написать даже фамилію г. Евтушевскаго, не говоря ужъ о Дистервегѣ и Шольцѣ, а тѣмъ паче о Лоскѣ или Гербартѣ. Въ такомъ случаѣ получается извѣстная градація спеціальнаго образованія «приви-

дѣянаго и мечтательнаго, отъ котораго вкусивши человѣцы глупѣйшіи бываютъ неученыхъ, ибо весьма темны суще мнѣть себя быти совершенны» (слова Θεοφανα Прокоповича; приведены у Владимірскаго-Буданова, 1. с., 5). Градація умаленія научности дѣйствительно вполне соотвѣтствуетъ градація самоиѣнія и презрѣнія къ профанамъ. Г. Евтушевскій еще удостоиваетъ нѣсколькихъ словъ замѣчаніе гр. Толстого, что народъ не хочетъ учиться по новѣйшимъ и вполне естественнымъ и превосходнѣйшимъ методамъ, «евтушистки» уже полагаютъ, что самое упоминаніе о требованіяхъ народа есть уклоненіе отъ настоящаго дѣла. Что же касается до того педагога, который разсматриваетъ «пользу или вредъ и части, какъ то учить знаменитый Песталоцій и Урстъ», — то даже и подумать страшно о степени его презрѣнія къ профанамъ.

Но, какъ бы ни было велико презрѣніе педагоговъ къ требованіямъ профановъ, какъ бы оно ни было даже законно (если законность его возможна), — въ окончательномъ результатѣ практическій вопросъ о методахъ обученія рѣшается все-таки профанами. (Я не имѣю пока въ виду проектовъ обязательнаго обученія, это вопросъ особый и притомъ очень сложный). Въ этомъ я вижу фактическое, осязательное оправданіе той точки зрѣнія, съ которой будутъ вестись предлагаемыя читателю записки и на которой по отношенію къ народному образованію стоитъ и гр. Толстой. Фактически очевидно, что профаны суть дѣйствительные, а не гипотетическіе заказчики специалистовъ, и что специалисты по необходимости суть только исполнители выраженныхъ или невыраженныхъ заказовъ профановъ. Народъ не хочетъ учиться по-вашему: необыкновенная простота и ясность уже одного этого указанія (я въ настоящую минуту только его и имѣю въ виду) гр. Толстого естественно должны были смутить душевный міръ педагоговъ. Тутъ вышло вѣчто въ родѣ разсказа о капитанѣ Копѣйкинѣ: разсказчикъ, увлеченный полетомъ своей фантазіи и разработкой частныхъ исторіи капитана Копѣйкина, забываетъ свою собственную цѣль — доказать тождество капитана Копѣйкина съ Чичиковымъ, и вдругъ ему

напоминаютъ, что у Чичикова обѣ ноги цѣлы, а капитанъ Копѣйкинъ ходитъ на костыляхъ! Совершенно такая же исторія могла бы случиться съ знаменитымъ докторомъ Фогелемъ, если только его педагогическая теорія вѣрно рассказана г. Миropольскимъ (въ дѣйствительности она устроена, я думаю, немножко поакуратиѣе). Докторъ Фогель говоритъ: дѣти очень любятъ писать свое имя, и на этомъ фактѣ я основываю свой методъ обученія; вотъ рыба, у нея есть голова, у нея нѣтъ наружныхъ ушей, возблагодаримъ Создателя, который намъ далъ наружные уши, и т. д., и т. д. Докторъ Фогель мчится все дальше въ глѣсъ, рубить все больше дровъ и вполне доволенъ собственной персоной. Вдругъ ему кто-нибудь напоминаетъ: а гдѣ же собственное имя ребенка? Замѣчаніе до послѣдней степени простое, но отнимающее весь смыслъ у фишъ-буха, то есть тотъ смыслъ, который авторъ («по Миropольскому») намѣревался вложить въ свою теорію. Съ нашими педагогами случился подобный же, но гораздо болѣе важный казусъ. Они сказали: цѣль нашей жизни или по крайней мѣрѣ дѣятельности есть образованіе народа; будемъ же изучать существующіе методы обученія; вотъ Дистервегъ, вотъ Дяттесъ, вотъ Шольцъ, Шульце, и т. д., и т. д. Педагоги втягиваются въ сравненіе, обсужденіе, классифицированіе различныхъ превосходныхъ методовъ; бранятъ другъ друга за незнаніе того метода, котораго они сами придерживаются; препираются о томъ, какой приѣмъ для изученія двугласныхъ лучше: сближать ли, постепенно ускоряя, звуки *a* и *и*, или послѣ *a* коротенько обрывать; уличаютъ и хвалятъ другъ друга и въ жару всѣхъ этихъ разговоровъ не замѣчаютъ, что совершенно отошли отъ своихъ цѣлей. Вдругъ имъ говорятъ, что народъ не хочетъ у нихъ учиться. Положимъ, что заявленіе гр. Толстого, что народъ хочетъ учиться ариметикѣ, русскому и славянскому языку, невѣрно (я думаю, что оно совершенно вѣрно, но не въ этомъ пока дѣло). Остается все-таки никѣмъ неопровергнутый фактъ отвращенія народа отъ жужжанія, шипѣнія, вопросовъ о количествѣ ногъ у человѣка и собаки, о полетѣ лошади и т. п. Напоминаніе объ этомъ фактѣ для людей,

окончательно вѣѣвшихся въ рецепты и примѣты, ужасно, ибо лишаетъ смысла всю ихъ дѣятельность. Этотъ смыслъ летитъ какъ ключъ ко дну, и въ наличности оказываются только ни на что непригодныя, хотя и замысловатыя подробности; все равно, какъ послѣ утопленника, можетъ быть красиваго, умнаго, геніальнаго, великаго, на поверхности воды остается безсмысленно плавающая шапка. Является группа людей, воображавшихъ себя свѣдущими работниками, тогда какъ они просто люди, неспособные и нежелающіе исполнять данныя имъ заказы. Направленіемъ самого своего труда они исключаютъ себя изъ общества взаимно оплачивающихся тружениковъ. Имъ не остается даже возможности злораднаго упрека, что безъ насъ дескать дикой безграмотности не предвидится конца. Гр. Толстой поставилъ вопросъ очень широко и очень ясно. Онъ говоритъ: если вы не примете во вниманіе требованій народа, онъ съ оника уйдетъ отъ васъ, значить вы-то по крайней мѣрѣ ему ничего не дадите; если же вы покоритесь волѣ народа и дадите ему то немногое, чего онъ проситъ, его требованія расширятся. Далѣе гр. Толстой считаетъ необходимымъ «равномѣрное, по всѣмъ одинаковое разлитіе образованія, хотя въ самой низшей степени, а потомъ уже предполагаетъ дальнѣйшее, опять же равномѣрное поднятіе образованія» («О. З.», 196). «Земско же министерское вѣдомство, продолжаетъ гр. Толстой:—какъ будто считаетъ нужнымъ дать нѣкоторымъ счастливымъ избраннымъ, ¹/₂₀ всѣхъ, образованіе, какъ образчикъ того, какъ оно хорошо». Изъ всего этого видно, что программа гр. Толстого отнюдь не страдаетъ тою узкостью, какая ей приписывается его оппонентами.

Гр. Толстому было сдѣлано много возраженій, есть между ними даже и резонныя, но ни одно изъ нихъ не касается основныхъ его положеній. Напримѣръ г. Бунаковъ доказалъ гр. Толстому при помощи «Толковаго словаря» Дала, что слова «косарь», «липка», «пекарка», «истопка» употреблены имъ, г. Бунаковымъ, правильно. Можно бы было указать и еще нѣсколько подобныхъ возраженій. Но всѣ они клонятся главнымъ образомъ къ тому, чтобы оправдать въ какой-нибудь мелочи того или другого пе-

дагога,—вопросъ, кромѣ самого этого педагога, мало для кого интересный. Затѣмъ представлено еще много возраженій свойства весьма либеральнаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно неидущихъ къ дѣлу. Представлять либеральныя, но не идущія къ дѣлу возраженія весьма легко,—самая благодарная работа, именно потому, что и легко, и либерально. Въ особенности легка эта работа по отношенію къ людямъ, уже переступившимъ ступень ходячаго либерализма, уваженія къ наукѣ и другимъ хорошимъ вещамъ, оставившимъ эту ступень позади себя и смотрящимъ на дѣло шире и свободнѣе, чѣмъ это допускается тою пройденною ступенью. Къ числу такихъ людей принадлежитъ и графъ Толстой, а потому либеральныхъ, но неидущихъ къ дѣлу возраженій онъ получилъ цѣлую кучу. Напримѣръ въ статьѣ «Отечественныхъ Записокъ» гр. Толстой говоритъ между прочимъ, что, посвятивъ себя педагогической дѣятельности въ деревнѣ, онъ сразу *почувствовалъ* непригодность стариннаго церковнаго способа обученія. По этому поводу г. Евтушевскій съ свойственною полуученымъ специалистамъ надменностью заявляетъ, что личное чувство не можетъ имѣть никакого значенія въ рѣшеніи научныхъ вопросовъ. Отрицаніе церковнаго способа обученія для гр. Толстого есть уже давно пройденная ступень; по этому онъ не считаетъ нужнымъ подробно разсказывать весь процессъ наблюденій и умозаключеній, приведшій его къ убѣжденію въ негодности этого способа; весь этотъ разсказъ онъ замѣняетъ словомъ *почувствовалъ*, справедливо полагая, что никто и не сомнѣвается въ неудобствахъ церковнаго способа обученія, что это вовсе не составляетъ «научнаго вопроса». Считаетъ ли его таковымъ г. Евтушевскій съ своимъ легкимъ, либеральнымъ, но отнюдь не рыцарскимъ нападеніемъ на невинное слово *почувствовалъ*? Другой примѣръ. Гр. Толстой упоминаетъ раза два въ своей статьѣ, что наши земства слишкомъ разборчивы, имѣютъ свои особенно любимые и особенно нелюбимые типы народныхъ учителей, и въ частности говорить, что излюбленный типъ нѣкоторыхъ земствъ есть учительница. Гр. Толстой полагаетъ, что такая разборчивость намъ вовсе не къ лицу. Г. Мѣдниковъ,

не желая упустить удобнаго случая для обнаруженія своихъ высокихъ чувствъ, разражается по этому поводу слѣдующей истинно комической тирадой: «Но что же намъ сказать о другомъ, любимомъ уже типѣ земства—учительницахъ въ *шиньонахъ*? какъ иронически добавляетъ гр. Толстой. Съ грустью можемъ мы сказать, что русской женщинѣ выпала дѣйствительно горькая доля! Гдѣ же ей и быть, какъ не въ народной школѣ? Кто же, какъ не она, можетъ смягчить грубые, закоснѣлыя въ невѣжествѣ нравы? Не сама ли природа дала ей для того всѣ ея неопцѣненные качества? А тутъ, по слову гр. Толстого, ей нѣтъ мѣста даже (!) въ области воспитанія, въ народной школѣ... Пьяный солдатъ, отставной писарь, дьячекъ, прохожій—и тѣ имѣютъ право учить и находить себѣ покровителей, въ родѣ гр. Толстого, а ей, одной ей, нѣтъ и здѣсь мѣста»... (20). Богъ мой, какъ любезно! совершенно какъ въ салонѣ! но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ либерально! Одно могу сказать. Возмутившіе галантнаго и либеральнаго г. Мѣдникова *шиньоны* помянуты гр. Толстымъ въ такомъ видѣ: «учитель въ сюртукѣ и учительница въ шиньонѣ». Но г. Мѣдниковъ, какъ истый рыцарь, за сюртукъ не вступается, а только за шиньонъ... Кстати о либерализмѣ, уваженія къ женщинамъ и педагогамъ. 3 ноября 1873 г. въ педагогическомъ собраніи происходила слѣдующая возмутительная сцена: г. Евтушевскій грубо, дерзко, оскорбительно уличалъ г-жу Андреевскую въ двукратной лжи, именно въ приписываніи ему словъ, которыхъ онъ будто бы не говорилъ. Стенографическій отчетъ показываетъ однако, что г. Евтушевскій дѣйствительно говорилъ слова, приписываемыя ему г-жею Андреевскою. (См. стенографическія записки педагогическаго общества, № 5 «Семьи и Школы» за 1874 г.). И никто изъ господъ педагоговъ, г. Мѣдниковъ у сопригъ, не сказалъ г. Евтушевскому того, что слѣдовало ему въ этомъ случаѣ сказать. А напарпать ни къ селу, ни къ городу либеральныхъ и галантныхъ словъ о «горькой долѣ русской женщины»—это мы можемъ.

Но вернемся къ гр. Толстому. Изъ всѣхъ либеральныхъ, но не идущихъ къ дѣлу возраженій на статью «Отечественныхъ

Записокъ» едва ли не самое важное основывается на слѣдующихъ словахъ гр. Толстого: «Можетъ быть дѣти гогентотовъ, негровъ, можетъ быть инныя нѣмецкія дѣти не знаютъ того, что имъ сообщаютъ въ такихъ бесѣдахъ; но русскія дѣти, кромѣ блаженныхъ, всѣ, приходя въ школу, знаютъ не только что внизъ, что вверхъ, что лавка, что столъ, что два, что одинъ и т. п., но по моему опыту крестьянскія дѣти, посылаемыя родителями въ школу, всѣ умѣютъ хорошо и правильно выразить мысли, умѣютъ понимать чужую мысль (если она выражена по-русски) и знаютъ считать до 20 и болѣе». Это мѣсто статьи въ связи съ довольно частымъ и не совсѣмъ лестнымъ упоминаніемъ о нѣмцахъ, привлекло усиленные нападенія возражателей. Оно дало имъ поводъ распространиться о вредѣ ложнаго патриотизма, фальшивой идеализаціи народа, національнаго самоиѣнія и проч. Между тѣмъ въ сущности это все выстрѣлы, бьющія мимо цѣли. Такъ какъ всѣ излюбленные нашими педагогами Шольцы, Шульце, Круги, Тюрки, Фибли, Прейсы, Зельтзамы и проч., и проч., и проч. суть нѣмцы, и такъ такъ они сочинили не мало смѣхотворныхъ вещей, то какъ же было обойти нѣмцевъ и смѣхотворность? Но главное всѣ эти дѣти гогентотовъ и нѣмецкія дѣти, противопоставляемыя русскимъ ребятамъ, представляютъ очевидно просто *manière de parler*. Кто знаетъ прежія статьи гр. Толстого, тотъ знаетъ, что гр. Толстой считаетъ и нѣмецкихъ дѣтей мучениками школы, очень хорошо безъ всякаго нагляднаго обученія понимающими, что у собаки четыре ноги, что птица летаетъ, а лошадь не летаетъ, что потолокъ вверхъ, а полъ внизъ и проч. Наконецъ тутъ даже не въ воззрѣніяхъ гр. Толстого дѣло. Пусть онъ идеализируетъ народъ, пусть онъ преисполненъ національнаго самоиѣнія, но онъ указываетъ факты, надо ихъ провѣрять и опровергать, что впрочемъ нѣкоторые возражатели по силѣ-возможности и дѣлаютъ. Такъ г. Бунаковъ ссылается на свой личный опытъ, не приводя впрочемъ конкретныхъ примѣровъ, на доклады костромской губернской управы, на показанія барона Корфа. Дѣйствительно эти доклады и показанія рисуютъ крестьянскихъ дѣтей весьма похожими на

блаженныхъ. Баронъ Корфъ приводитъ факты даже болѣе поразительные, чѣмъ тѣ, которые у него заимствовалъ г. Бунаковъ. Въ «Русской начальной школѣ» барона Корфа разсказывается между прочимъ, что «изъ сорока учениковъ школы казеннаго селенія, расположеннаго въ одной верстѣ отъ бывшаго помѣщичьяго имѣнія, ни одинъ не далъ отвѣта на мой (бар. Корфа) вопросъ: были ли когда нибудь крѣпостные люди въ Россіи? Тотъ же вопросъ предложенъ мною и въ такой школѣ, гдѣ я видѣлъ дѣтей, отцы которыхъ до 1861 г. принадлежали помѣщику, и только одинъ ученикъ сказалъ, что когда-то люди были крѣпостными, но не могъ даже приблизительно объяснить, было ли это сто лѣтъ тому назадъ или когда?» (53). Бар. Корфъ утверждаетъ, что не только десяти, а и четырнадцатилѣтнія дѣти «очень часто» не могутъ сказать какъ ихъ фамилія, который имъ годъ, гдѣ у нихъ правая и гдѣ лѣвая рука, что больше—аршинъ или сажень, какъ называются различныя части тѣла и т. п. Костромскіе учителя въ свою очередь показываютъ, что дѣти часто не знаютъ, сколько у собаки ногъ и т. п. Нѣкоторыя изъ этихъ явленій я понимаю. Понимаю напримѣръ, что крестьянскій мальчикъ не знаетъ своей фамиліи, потому что вѣдь у него ея часто просто нѣтъ: отецъ прозывается такъ, сынъ иначе, а слово «фамилія» совсѣмъ часто неизвѣстно. Понимаю тоже разсказъ бар. Корфа о нечѣпыхъ словахъ мальчика при объясненіи ему бар. Корфомъ слова «бессмертный». Но за всѣмъ тѣмъ остаются все-таки удивительныя вещи. Правда бар. Корфъ оговаривается, что онъ «говорить о безлюдной, степной мѣстности». Но даже всѣ его объясненія все-таки не объясняютъ дѣла. Онъ говоритъ: «такова ихъ домашняя обстановка, но и можетъ ли она быть иною? о чемъ бесѣдуетъ крестьянинъ съ сыномъ?» Какъ бы ни была однако скудна эта бесѣда и всѣ другія бесѣды мальчика съ родными, чужими взрослыми и ровесниками, но по крайней мѣрѣ хотъ названія «различныхъ частей тѣла» изъ нихъ могутъ же быть почерпнуты. Извѣстно, что во многихъ губерніяхъ 8 — 10-лѣтнія дѣвочки такъ прямо и называются «няньками», потому что на нихъ лежитъ обязанность нянчить

младших ребятъ, смотрѣть за ними и даже таскать ихъ. Неужто же такая нянька не можетъ назвать различныхъ частей тѣла? Я не сомнѣваюсь въ вѣрности показаній бар. Корфа, онъ несомнѣнно получалъ тѣ отвѣты, о которыхъ говоритъ, но не могу не искать объясненія имъ гдѣ-нибудь на сторонѣ. И мнѣ кажется, что гр. Толстой представилъ такое объясненіе. Онъ вѣдь не отрицаетъ, что дѣти часто даютъ ни съ чѣмъ несообразные отвѣты. Онъ только говоритъ, что это часто зависитъ отъ несообразности вопросовъ, несообразности возведенной въ систему. Разскажавъ какъ одинъ уже довольно большой мальчикъ, обученный по новѣйшимъ способамъ, положилъ на экзаменѣ руку на книгу, когда ему сказали: положи *подъ* книгу, гр. Толстой прибавляетъ, что онъ видѣлъ много такихъ примѣровъ. И зависятъ они по его мнѣнію оттого, что ребенокъ «не можетъ и не хочетъ вѣрить, чтобы его серьезно спрашивали потолокъ внизу или на верху или сколько у него ногъ». Я вѣрю этому объясненію, во первыхъ потому, что, какъ справедливо замѣтилъ въ своемъ рефератѣ г. Страннолюбскій, гр. Толстой обнаружилъ въ «Дѣтствѣ и отрочествѣ» глубокое пониманіе дѣтской души, придающее его мнѣніямъ извѣстную авторитетность, а во вторыхъ потому, что оно и вполнѣ естественно. Представьте себѣ только мальчика, приведеннаго учиться и вдругъ огорошеннаго распросами о количествѣ его ногъ. Что мудренаго, что мальчикъ сбить съ толку именно неожиданною для него легкостью вопроса и подозрѣваетъ, что вопросъ имѣетъ какой-то особенный, неизвѣстный для него смыслъ: онъ вѣдь учиться приведенъ, т. е. узнавать неизвѣстное. А и то сказать: какъ еще задавалъ напимѣръ баронъ Корфъ свой вопросъ о различныхъ частяхъ тѣла? Онъ можетъ быть спрашивалъ: гдѣ у тебя позвоночный столбъ? или что-нибудь въ этомъ родѣ, можетъ быть даже гораздо хуже. Есть же въ его «Нашемъ Другѣ» вопросъ: «назови душевные качества пѣвки» (213). На этотъ вопросъ конечно и самъ бар. Корфъ не отвѣтитъ или отвѣтитъ несообразностью.

Какъ бы то ни было, но, насколько я могу судить по раз-

нымъ разговорамъ, изъ всѣхъ нападеній на гр. Толстого наибольшее впечатлѣніе произведено упреками въ фальшивой идеализаціи русскаго народа, въ ложномъ патріотизмѣ. На это есть особенные резоны. Для подобныхъ упрековъ была уже подготовлена почва прежними сужденіями критики о гр. Толстомъ. Недаромъ г. Мѣдниковъ ссылается на статьи журналовъ шестидесятихъ годовъ. Не смотря на довольно единодушное мнѣніе, существующее въ нашемъ обществѣ о гр. Толстомъ, именно какъ о блестящемъ беллетристѣ и плохомъ мыслителѣ, онъ у насъ совершенно не оцѣненъ, мало того, — просто неизвѣстенъ. По странному смѣшенію понятій этотъ глубоко оригинальный и яркій писатель причисляется у насъ обыкновенно, или по крайней мѣрѣ считается очень близкимъ къ безцвѣтнѣйшему отрогу славянофильства, къ такъ называемымъ «почвенникамъ» («Время», «Эпоха», отчасти «Заря», преданія которыхъ, замаранные разными посторонними примѣсями, кое-какъ хранятся нынѣ въ «Гражданинѣ»). Посильную оцѣнку воззрѣній гр. Толстого я постараюсь представить въ слѣдующій разъ. Эта общая оцѣнка дастъ намъ возможность вполне оцѣнить въ частности и его педагогическія воззрѣнія. Можетъ быть тогда намъ уяснятся и причины неожиданнаго успѣха статьи «Отечественныхъ Записокъ». Успѣхъ этотъ для меня пока все-таки неожиданъ и необъяснимъ.

III *).

О жаждѣ познанія.

Я хотѣлъ начать сегодняшнюю свою бесѣду съ читателемъ прямо съ гр. Л. Н. Толстого. Но о немъ, чего добраго, заболтаешься, а на моемъ письменномъ столѣ, съ котораго я только-что успѣлъ снять коллекцію произведеній нашихъ педагоговъ, накопилось уже опять нѣсколько сочиненій, требующихъ отзыва. Не легка, читатель, обязанность ежемѣсячно бесѣдо-

*) 1875, февраль.

вать съ тобой о явленіяхъ умственной жизни русскаго общества. Первое дѣло, я обо многомъ говорить не смѣю — не велѣно, а все, о чемъ говорить можно, въ общемъ до такой степени ординарно, вяло, мелко, узко, представляетъ такъ мало выдающагося, что иногда просто руки опускаются. Съ чего я, спрашивается, стану занимать ваше вниманіе новымъ произведеніемъ г. А, когда рѣшительно столько же правъ на него (т. е. на ваше вниманіе) имѣютъ новыя произведенія гг. Б., В., Г., Д. и т. д. вплоть до Оиты и Ужицы? Или какія основанія имѣю я бесѣдовать о благородствѣ чувствъ гг. А и Б, когда ихъ ученость, логическая способность и стиль столь же возвышенны? Вообще почему я долженъ остановиться именно на такомъ-то писателѣ, а не на другомъ, и именно на такой-то сторонѣ его дѣятельности, а не на иной? Нужна же какая нибудь руководящая нить, даже въ томъ случаѣ, когда въ данный моментъ литература представляетъ нѣчто выдающееся. Если бы я совершенно отказался отъ всякой активной роли въ своихъ бесѣдахъ и желалъ бы только угодить читателю, такъ и то: какъ я угадаю что именно его интересуеть? а можетъ какъ разъ о томъ, что его интересуеть, я не могу сказать ни одного путнаго слова. Можно говорить о литературныхъ талантахъ. Разговоръ очень пріятный, но о наличныхъ талантахъ кажется ужъ столько переговорено, что едва-ли я сумѣю прибавить что нибудь отъ себя, а будутъ новыя таланты, о нихъ и рѣчь новая будетъ. Можно говорить о фактическомъ содержаніи собственно научныхъ произведеній. Но это мнѣ не по плечу. Я — профанъ. Да и то сказать: знай я превосходно полицейское право или астрономію и упорно веди вопліѣ научную бесѣду объ этихъ предметахъ, у меня въ скоромъ времени оказалось бы вѣроятно два съ половиной читателя. Остается значить бесѣдовать о точкѣ зрѣнія того или другого писателя. Именно этотъ характеръ бесѣды и усвоенъ мною, какъ наиболѣе соотвѣтствующій моимъ силамъ. Какъ Чичиковъ путешествовалъ для познанія всякаго рода мѣстъ, такъ я занимаюсь русской литературой для познанія всякаго рода точекъ зрѣнія. Что-жъ, вѣдь и это можетъ

*

пригодиться. Если же мнѣ напомнятъ, что Чичиковъ только на словахъ познавалъ всякаго рода мѣста, а втайнѣ скупалъ мертвыя души, я скажу: можетъ быть и я скупаю мертвыя души, но какое вамъ дѣло? Все это я къ тому говорю, чтобы читатель не требовалъ отъ меня того, чего я ему дать не могу, во избѣжаніе недоразумѣній. Найдется много очень замѣчательныхъ литературныхъ явленій, о которыхъ я не скажу ни слова, а иногда можетъ быть распространюсь о сочиненіи плохомъ, сухомъ или по общему приговору неинтересномъ, ради особенностей точки зрѣнія автора.

У древнихъ римлянъ существовалъ законъ, по которому кредиторы могли разрѣзывать на части тѣло несостоятельнаго должника, причемъ каждому кредитору предоставлялось право на извѣстную, соотвѣтственную размѣру долга часть должничьяго мяса. Этотъ удивительный законъ припоминается мнѣ очень часто и по очень разнообразнымъ поводамъ, между прочимъ и всякій разъ, когда мнѣ въ качествѣ профана приходится имѣть дѣло съ болѣе или менѣе непреклоннымъ специалистомъ. Какъ бы ни мотивировали приведенный законъ римскіе законодатели, тѣмъ ли, что занятая сумма пошла на потребу должника и превратилась въ его плоть и кровь, или чѣмъ другимъ, но они во всякомъ случаѣ были специалистами какого-то права (затрудняюсь сказать какого) заимодавцевъ. Я полагаю даже, что они сами были заимодавцами или по крайней мѣрѣ состояли въ очень близкихъ отношеніяхъ къ этому почтенному и полезному люду. Съ своей специально заимодавческой точки зрѣнія они весьма послѣдовательно видѣли въ кредиторѣ только кредитора и въ должникѣ только должника. Между тѣмъ кредиторъ и должникъ не только берутъ и даютъ займы, а вмѣстѣ съ тѣмъ любятъ и ненавидятъ, пьютъ и ѣдятъ, рождаются и умираютъ, смѣются и плачутъ, имѣютъ женъ, дѣтей, друзей, родину, вообще живутъ. Положимъ кредиторы могутъ все это замять въ себѣ и, явившись къ несостоятельному должнику, разрѣзывать его на части во славу идеи заимодавческаго права, но должникъ конечно не посмотритъ на себя съ специально-заимодавческой

точки зрѣнія. Онъ можетъ быть покорится необходимости, но въ качествѣ профана въ заимодавческомъ правѣ даже не признаетъ его правомъ. И это довольно извинительно, потому что вѣдь его рѣжутъ на части, у него жизнь отнимаютъ, и онъ естественно не можетъ признать правильность уравненія: жизнь должника = суммѣ его долговъ. Съ точка зрѣнія профана это такая же бессмыслица, какъ на примѣръ: 5 фунтовъ = 3 аршинамъ, ибо жизнь представляется профану суммою многихъ жизненныхъ процессовъ, съ долгами несоизмѣримыхъ. Хотя въ случаѣ проникновѣнія специальной точки зрѣнія въ область законодательства профанъ и вынужденъ покоряться силѣ вещей, но это обстоятельствомъ все-таки не разрѣшаетъ противорѣчя: точки зрѣнія профана и специалиста остаются враждебными или по крайней мѣрѣ чуждыми до полноты обоюднаго непониманія. Однако профанъ долженъ молчать. Но онъ можетъ наконецъ и заговорить, если человѣкъ, воспитанный на формулѣ: жизнь человѣка равна суммѣ его долговъ, начинаетъ объяснять съ ея помощью различныя явленія жизни. Представимъ себѣ, что такой человѣкъ отрицаетъ на примѣръ жизнь животныхъ, не признаетъ ее жизнью, потому что дескать животныя займы не берутъ, или какъ нибудь переносить свою точку зрѣнія въ область медицины или исторіи человѣчества и т. п. Тутъ профанъ имѣетъ полную возможность сказать специалисту: нѣтъ, многоуважаемый, это ужъ ты шалишь; рѣзать меня за долги на части ты можешь, но коверкать мои понятія тебѣ никто не давалъ права!

Повторяю, древній римскій законъ мнѣ часто вспоминается. Вспомнился и при чтеніи книги г. Риттиха: «Племенной составъ контингентовъ русской арміи и мужскаго населенія Европейской Россіи». Я долженъ предупредить читателя, что г. Риттихъ, при сильной склонности къ литературному образу выраженія, иногда не совсѣмъ хорошо владѣетъ русскимъ языкомъ. Это конечно дѣло второстепенное и даже вовсе нестоящее вниманія. Главное дѣло въ томъ, что г. Риттихъ поставилъ себѣ задачу: опредѣлить, какія изъ населяющихъ Россію племенъ наиболѣе пригодны для различныхъ родовъ военной службы. Ока-

зывается изъ его изслѣдованія, что чувашы годятся въ драгуны, вотяки въ линейныя войска, караймы въ гвардію, нѣмцы въ каптенармусы, нѣкоторые бѣлоруссы никуда не годятся, и проч., и проч. Да не подумаетъ читатель, что я припомнилъ варварскій римскій законъ съ цѣлью приготовить его къ какому нибудь столь же варварскимъ предложеніямъ г. Риттиха. Совсѣмъ напротивъ. Книга г. Риттиха вся проникнута гуманностью, на сколько это возможно для спеціалиста военнаго дѣла, которое само по себѣ конечно не есть дѣло гуманное. Не говоря о частностяхъ, въ родѣ совѣтовъ щадить религіозныя убѣжденія солдатъ изъ раскольниковъ, сама основная задача автора не лишена нѣкотораго гуманнаго характера. Въ самомъ дѣлѣ, если напримѣръ чувашъ, по своимъ физическимъ и нравственнымъ качествамъ, будетъ себя наилучше чувствовать въ драгунахъ, то было бы очень негуманно помѣщать его въ какую-либо другую часть войскъ, въ артиллерію что-ли. Въ добавокъ онъ въ артиллеріи и пользы такой не принесетъ, какъ въ драгунахъ. Тутъ значить даже имѣется въ виду нѣчто въ родѣ фурьероваго *travail attrayant*. Авторъ говоритъ: «Пѣхота, кавалерія, артиллерія, флотъ, техническія и нестроевыя части имѣютъ свои особыя и имъ однимъ принадлежащія требованія по тѣлосложенію, развитію и унаслѣдованнымъ занятіямъ народовъ, причемъ будущая солдатская выправка зависитъ отъ обработки природныхъ качествъ рекрута военною школою и отъ ответственнаго распредѣленія людей по ихъ наклонностямъ и способностямъ». Съ этимъ кажется нельзя не согласиться, такъ что произведеніе г. Риттиха должно быть признано полезной книгой. И тѣмъ не менѣе профанъ никогда не примирится съ этой ученой, гуманной и полезной книгой, единственно ради непреклонной спеціальности ея точки зрѣнія. Прежде всего профанъ постарается умалить значеніе нѣкоторыхъ ея выводовъ и положеній, могущихъ представляться важными и вѣрными только непреклонному спеціалисту. Распредѣляя національности по различнымъ родамъ оружія, г. Риттихъ высказываетъ нѣсколько положеній совершенно вѣрныхъ и очевидныхъ и для профана.

Такова напрімѣръ мысль о пополненіи флота жителями береговъ морей, рѣкъ и озеръ. Но уже и тутъ попадаются вещи по малой мѣрѣ странныя. Напрімѣръ г. Риттихъ говоритъ: «равнородушіе лугового черемиса къ жизни и опасностямъ лѣсной и бродячей жизни, вѣчно-угрюмый нравъ, особенно привычка къ лишніямъ въ пищѣ, теплотѣ, *эта точная трубка и склонность къ горячимъ напиткамъ суть задатки для жизни моряка*» (220). Всѣмъ извѣстна склонность моряковъ къ спиртнымъ напиткамъ, но все-таки почему «вѣчная трубка и склонность къ горячимъ напиткамъ» фигурируютъ въ числѣ признаковъ людей, *идущихъ* во флотъ? Безъ сомнѣнія у г. Риттиха есть свои резоны, но профанъ ихъ никогда не пойметъ, не по недостатку свѣдѣній, а по невозможности для него стать на точку зрѣнія непреклоннаго спеціалиста. И если его потянуть во флотъ на томъ основаніи, что онъ курить трубку и пьетъ водку, онъ можетъ быть будетъ очень сильно барахтаться. Въ концѣ концовъ онъ будетъ однако, если идеи г. Риттиха восторжествуютъ, водруженъ во флотъ. Описавъ на двухъ страницахъ экономическій бытъ, нравственный и умственный характеръ чувашъ, рассказавъ, что «шапка у нихъ русская, поярковая», что они народъ «необыкновенно трудолюбивый», прекрасно обращаются съ женами, хорошо ѣздятъ верхомъ, чрезвычайно строго исполняютъ всякіе договоры и обязательства, очень добродушны и проч.; рассказавъ все это, г. Риттихъ совершенно неожиданно заключаетъ: «На основаніи всего вышеизложеннаго и принимая во вниманіе, что служба въ драгунахъ требуетъ съ одной стороны хорошаго кавалериста, а съ другой стрѣлка и что при исполненіи такой двойной службы необходимы тѣ качества, которыми обладаютъ чувашіи, полагалось бы цѣлесообразнымъ пополнять ими ряды драгунъ» (218). Далѣе г. Риттихъ положительно утверждаетъ существованіе «унтеръ-офицеровъ отъ природы». Именно сообщивъ, что населеніе средней Россіи состоитъ изъ 96% великоруссовъ и 4% разныхъ мелкихъ племенъ, авторъ говоритъ: «Къ этой полосѣ относятся кромѣ того два весьма замѣчательные контингента: ремесленники и люди способные

отъ природы быть унтеръ-офицерами» (283). Столь же непреклонно вѣрить авторъ въ зависимость «совѣстливости» отъ умѣнья ѣздить верхомъ. Киргизы, говоритъ онъ, «дѣлають безостановочно по 8—10 верстъ въ часъ, вплоть до исполненія своего совѣстливаго порученія, которое является именно потому такимъ, что оно исполняется человѣкомъ со врожденными способностями къ верховой ѣздѣ» (222). Это не совсѣмъ по-русски сказано, но понять все-таки можно. Весьма близко къ объясненію «совѣстливости» киргизовъ въ исполненіи порученій стоитъ объясненіе характера малороссовъ. Авторъ полагаетъ, что малороссы не годятся въ кавалерію, ибо у нихъ мало лошадей и папуть они волами. «Это неуклюжее животное, продолжаетъ онъ, двигаясь тихо и мѣрно, подъ управленіемъ шеста и словъ «погъ, цобе» (вправо, влево), своею медленностью вырабатываетъ въ жокаѣ или хозяинѣ такую же медленность въ движеніяхъ и характерѣ» (77). Этихъ выписокъ, число которыхъ я могъ бы значительно увеличить, кажется совершенно достаточно, чтобы видѣть, что г. Риттихъ имѣетъ свою специальную, такъ сказать, военно-этнографическую логику, психологію и исторію. Боюсь, что читатель найдетъ эти продукты специальной военно-этнографической точки зрѣнія достойными нѣкотораго вниманія только въ качествѣ курьезовъ. Они несомнѣнно курьезны; но дѣло въ томъ, что многіе совершенно аналогичные продукты непреклонно специальныхъ точекъ зрѣнія представляютъ ходячія монеты въ обществѣ; на нихъ покупають, за нихъ продають и не замѣчаютъ ихъ курьезности только потому, что привыкли къ нимъ. Лежачаго не бьютъ, говоритъ пословица. Логика, психологія и исторія г. Риттиха до такой степени очевидно несостоятельны, что у меня не хватитъ духа не только опровергать ихъ, но даже посмѣяться надъ ними. Не мало можно бы было исписать веселыхъ и остроумныхъ страницъ по поводу зависимости совѣсти отъ привычки къ верховой ѣздѣ или существованія унтеръ-офицеровъ отъ природы. Но право у мен рука не поднимается, когда я вижу, что насмѣяться надъ г. Риттихомъ такъ легко, а въ то же время всѣ съ почтеніемъ слушаютъ эко-

номиста или моралиста, высказывающихъ вещи, ничѣмъ не лучшія. Г. Риттихъ говорить профану: ты — унтеръ-офицеръ отъ природы, — выходи на линію; или: ты хорошо обходишься съ женой и свято исполняешь договоры, надѣвай драгунскій мундиръ; римскій юристъ говорить: ты только должникъ, — подавай сюда свое тѣло, мы его разрѣжемъ; экономистъ говорить: ты только рабочій, — значить имѣть дѣтей не твое дѣло; историкъ-провиденціалистъ говорить: ты пѣшка, которая будетъ въ свое время поставлена куда слѣдуетъ для того, чтобы кому слѣдуетъ было сказано шахъ и матъ, — поэтому не дыши; моралистъ говорить: ты духъ, — умерщвляя свою плоть, эту брѣвную оболочку духа, и проч. Всѣ эти опредѣленія и предписанія, всѣ эти изъявительныя и повелительныя наклоненія суть ягоды одного и того же поля. Нѣкоторые изъ нихъ пользуются большимъ кредитомъ, другія меньшимъ, но всѣ они подлежатъ однимъ и тѣмъ же критическимъ приѣмамъ. Профанъ долженъ отвѣтить людямъ науки: если я отъ природы — *только* унтеръ-офицеръ, то конечно мнѣ дѣлать больше нечего, какъ выбѣгать на линію; если рѣшено, что я — *только* драгунъ, то безъ сомнѣнія и мое хорошее обхожденіе съ женой и добросовѣстное исполненіе договоровъ сами по себѣ цѣны не имѣютъ и представляютъ лишь элементы моей драгуноспособности; если я — *только* должникъ, то тѣло мое должно быть отдано въ распоряженіе кредиторовъ; если я — *только* рабочій инструментъ, то дѣтей имѣть мнѣ дѣйствительно не полагается, какъ не полагается ихъ имѣть рычагу, блоку, зубчатому колесу и проч. Но именно всѣхъ этихъ «только» я допустить не могу. Впервые потому, что непреклонные специалисты тянутъ меня въ разныя и часто противоположныя стороны, а не разорваться же мнѣ *pour les beaux yeux* всѣхъ посягающихъ на меня якобы наукъ. Во вторыхъ всѣ эти непреклонные специалисты, смотря на меня съ одной какой нибудь стороны, видятъ во мнѣ составную часть то того, то другаго механизма или пожалуй организма. Фактически я дѣйствительно составляю часть, смотря по обстоятельствамъ, то военнаго, то промышленнаго и т. п. механизма, и

когда тиски этого механизма сжимают меня съ достаточною силою, я покоряюсь; напримѣръ въ случаѣ признанія меня драгуноспособнымъ, я оставляю жену, съ которою обращался такъ хорошо, и людей, въ сношеніяхъ съ которыми былъ такъ добросовѣстенъ, и надѣваю драгунскій мундиръ. Но покориться не значитъ примириться. Пусть кто хочетъ смотритъ на меня какъ на часть чего-то надо мной стоящаго и на меня посягающаго, я не перестаю видѣть въ себѣ полнаго человѣка, цѣльную и нераздѣльную личность. Я хочу жить всею доступной для человѣка жизнью, значитъ не стану ни плоть умерщвлять въ угоду моралисту, ни отъ любви отказываться въ угоду экономисту, ни работать не перестану, ни отъ духовныхъ наслажденій не откажусь. И только въ такое надо мной стоящее цѣлое войду, какъ часть, сознательно и добровольно, которое гарантируетъ мнѣ цѣльность, нераздѣльность, полноту моей жизни. И только ту науку признаю я достойною священнаго имени науки, которая расчищаетъ мнѣ жизненный путь, а не загромождаетъ его укрѣпленіемъ и безъ того крѣпкой практики. Наука римскаго юриста, отдававшая мясо должника на удовлетвореніе мести заимодавцевъ, мести, прикрывавшейся вѣроятно мантіей справедливости, есть въ моихъ глазахъ не наука, а пособница, попустительница и даже подстрекательница заимодавцевъ: она меня ничему не учитъ, она учитъ заимодавца какъ ему держать въ страхѣ должниковъ и какъ удовлетворять свою месть, онъ ее поэтому и признаетъ наукой, а я нѣтъ. Точно также не признаю я наукой науку г. Риттиха, потому что она не меня учитъ, а другихъ, и именно учитъ ихъ какъ со мной поступать. Не наука съ моей точки зрѣнія и наука Мальтуса, и наука ходячей морали, потому что если они меня повидимому и учатъ, то такимъ вещамъ, которыхъ я выполнить не могу, не вывернувъ предварительно своей природы наизнанку; значитъ въ концѣ-концовъ все-таки ничему не учатъ, ибо добровольно вывернуться наизнанку нельзя. И пусть не говорятъ, что наукѣ нѣтъ до насъ ни какого дѣла, что она имѣетъ болѣе возвышенныя цѣли, чѣмъ исполненіе нашихъ желаній, что она двигаетъ цивилизацію, служить

истинѣ и проч. Мы требуемъ отъ науки служенія намъ, не военному дѣлу, не промышленной организаціи, не цивилизаціи, даже не истинѣ, а именно намъ, профанамъ. Я вижу негодованіе спеціалиста познаванія, я слышу его грозный протестъ: какъ! наука должна погнуться передъ требованіями толпы невѣжественныхъ и неумѣющихъ цѣнить знаніе людей! наука, жрица Истины, должна отвернуться отъ своего божества, сузить свои задачи и угождать и кадить профанамъ! она должна обманываться и обманывать! — Я предполагаю, что спеціалистъ познаванія, а можетъ быть и большинство читателей скажетъ или подумаетъ что нибудь въ этомъ родѣ, потому что подобныя возраженія я уже получалъ. Но подождите негодовать, у насъ есть свои резоны.

Прежде всего чтó возмутило васъ? Развѣ мы одни такъ смотримъ на дѣло? Русскіе заводчики не признаютъ научнаго достинства за ученіемъ свободной торговли, — почему? Потому что ученіе это враждебно сталкивается съ ихъ интересами. Англійскіе заводчики напротивъ считаютъ протекціонизмъ явленіемъ, совершенно несоотвѣтствующимъ требованіямъ науки политической экономіи, — почему? Потому что доктрина свободной торговли соотвѣтствуетъ ихъ выгодамъ, служить имъ. Правда и тѣ, и другіе не говорятъ этого прямо, а утверждаютъ, что они собственно очень беспокоятся объ отечественной промышленности и распространеніи цивилизаціи, но имя не мѣняетъ вещи. Мы только проще и откровеннѣе. Мы прямо говоримъ: наука должна служить намъ. Я заявляю фактъ. Профаны смотрятъ на дѣло именно такимъ образомъ. Допустимъ, что это грубо, эгоистично, дерзко, невѣжественно, все, чтó хотите, но эта грубость, этотъ эгоизмъ, эта дерзость налицо. Надо значить съ ними считаться. Надо же вамъ, все познающимъ, знать, что мы считаемъ себя вашими заказчиками и требуемъ исполненія нашихъ заказовъ. Вы скажете: а намъ какое дѣло до вашихъ требованій? мы свое дѣло дѣлаемъ нелицепріятно, и конецъ. Положимъ вольному конечно воля. Бываютъ однако такіе мрачные моменты въ исторіи, когда свѣточъ науки грозятъ задуть враждебные вѣтры и когда сочувствіе профановъ было бы ей очень полезно, но до

сихъ поръ наука этого сочувствія не заработала. Вы скажете, что это все-таки не резонъ, чтобы кривить душой и фальсифицировать истину въ угоду кому бы то ни было, а слѣдовательно и профанамъ. О да, конечно! Но если вы потрудитесь попристальнѣе взглянуть и въ свои собственныя задачи и въ наши требованія, то увидите, что мы отнюдь не приглашаемъ науку ни отворачиваться отъ истины, ни кадить намъ, ни суживать свои задачи, ни обманывать, ни обманываться. Напротивъ мы рекомендуемъ ей единственный путь къ истинѣ, расширяемъ ея задачи и вполнѣ готовы выслушать отъ нея самыя горькія истины.

Вы говорите, что мы не умѣемъ цѣнить знанія. Кто вамъ сказалъ? Мы давнымъ-давно выставили рядъ вопросовъ:

Отчего у насъ начался бѣлый вольный свѣтъ?

Отчего у насъ солнце красное?

Отчего у насъ младъ свѣтелъ мѣсяцъ?

Отчего у насъ звѣзды частыя?

Отчего у насъ ночи темныя?

Отчего у насъ зори утреннія?

Отчего у насъ вѣтры буйныя?

Отчего у насъ дробень-дождикъ?

Отчего у насъ умъ-разумъ?

Отчего наши помыслы?

Отчего у насъ міръ-народъ?

Вы видите, что насъ интересуютъ тѣ же вещи, что и васъ. И намъ знакома одолѣвающая людей жажда познанія. И тамъ, гдѣ рѣчь можетъ идти только о познаніи, какъ наприимѣръ въ вопросахъ о томъ, отчего у насъ начался бѣлый вольный свѣтъ и отчего у насъ солнце красное, мы безконечно благодарны людямъ науки: они поятъ насъ, жаждущихъ, кормятъ насъ, алчущихъ познанія, удовлетворяютъ насъ. Не совсѣмъ таковы послѣдніе три вопроса нашей можетъ быть не совсѣмъ ладно скроенной программы:

Отчего у насъ умъ-разумъ?

Отчего наши помыслы?

Отчего у насъ міръ-народъ?

Мы не можемъ ставить эти вопросы такъ просто и сухо, какъ готовы ставить вопросы о виѣшней, виѣ чловѣка лежащей при-родѣ. Тутъ въ насъ говоритъ не одна жажда познанія, она со-плетается съ жаждой блага и справедливости. Не только ум-ственного, а и нравственного удовлетворенія требуемъ мы отъ науки общественной. Въ этой области наши «отчего?» звучать часто грустью, укоромъ, протестомъ, негодованіемъ. О, люди науки! ваши задачи не сузятся, увѣряю васъ, если вы дадите намъ подходящіе, удовлетворяющіе отвѣты, если вы поймете наши вопросы такъ, какъ мы ихъ понимаемъ. И будьте увѣ-рены, ваши отвѣты будутъ оцѣнены по достоинству.

Вы говорите, что мы невѣжественны. Это неправда. Мы—работники, какъ и вы, а работать нельзя безъ знаній. Но пусть такъ, пусть мы невѣжественны. Въ сравненіи съ вами мы ко-нечно невѣжественны. Но вѣдь потому-то мы къ вамъ и обра-щаемся; потому-то вы и должны удовлетворить насъ. Кого же просвѣщать, какъ не темныхъ, кого учить, какъ не неучей? Но у насъ съ вами и особенные счѣты есть. Мы отчасти потому невѣжественны, что вы очень учены. Мы подѣлили между со-бой заботы о вапемъ благосостояніи, благодаря чему у васъ ока-зался досугъ, который вы посвящали исканію истины, а мы оста-лись въ темнотѣ. Мы служимъ вамъ, послужите и вы намъ. Если вамъ все-таки кажется, что такое служеніе унизитъ и из-вратить науку, то это простое недоразумѣніе.

Что есть истина? спрашивалъ Пизать и не получилъ отвѣта. Что есть истина? гдѣ критерій истинности нашихъ понятій? спрашиваю я людей науки. Совокупность отвѣтовъ на этотъ вопросъ обнимаетъ, собственно говоря, всю исторію чловѣче-ской мысли, и я конечно далеко отъ намѣренія представить здѣсь весь ходъ развитія понятій о критеріи истины. Да это намъ вовсе не нужно. Я утверждаю, что наука должна служить намъ, профанамъ. Я основываю это требованіе прежде всего на взаимности услугъ между людьми науки и профанами. Ученый, отказывающійся исполнять невыраженные заказы профановъ и оплачивать своимъ трудомъ ихъ безчисленные услуги, тѣмъ са-

мымъ обращается въ тунейда. Но я иду дальше. Я говорю, что, только служа намъ, наука можетъ разсчитывать достигнуть истины, такъ что интересы самой науки, если она только дѣйствительно хочетъ истины, заставляютъ ее служить намъ. Само собою разумѣется, что въ качествѣ профана я не могу разсчитывать подтвердить это свое положеніе такими доказательствами, которыя вполне соответствовали бы установившемуся типу научныхъ доказательствъ. Отъ меня этого конечно никто и не потребуетъ. Но съ моей стороны все-таки весьма естественно желаніе поискать себѣ опоры въ наукѣ, именно въ современной, положительной, признанной наукѣ, а не въ пройденныхъ уже ступеняхъ развитія мысли. По этому метафизическіе и еще болѣе ранніе отвѣты на вопросъ о критеріи истинности нашихъ понятій важны здѣсь для насъ развѣ только въ отрицательномъ смыслѣ. Намъ интересны главнымъ образомъ отношенія науки къ вопросу объ истинѣ и о критеріи истинности.

Жажда познанія, жажда истины есть законнѣйшая потребность человѣка. Но, наблюдая эту жажду въ другихъ и въ самихъ себѣ, мы видимъ, что она способна принимать весьма различныя направленія и удовлетворяться на разнообразныя манеры. Элементарнѣйшая форма жажды познанія состоитъ въ томъ, что человѣкъ интересуется только тѣми истинами, которыя ему нужны для ближайшихъ практическихъ цѣлей. Напримеръ человѣкъ задумалъ построить какую нибудь фабрику и, желая вести дѣло самъ, познакомился съ соответствующею частью механики и технологіи и затѣмъ почилъ на лаврахъ или вѣрнѣе на тѣхъ продуктахъ, которые производятся на его фабрикѣ. Такого рода жажда познанія, удовлетворяясь извѣстнымъ кругомъ уже добытыхъ другими истинъ, для насъ неинтересна. Обращаясь къ менѣе легко удовлетворяемой потребности истины, мы встрѣчаемъ во первыхъ метафизику. Здѣсь жажда познанія получаетъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ сильнѣйшее или по крайней мѣрѣ напряженнѣйшее развитіе. Во всякомъ случаѣ она въ этой формѣ представляетъ крайнюю противоположность потребности, удовлетворяющейся маленькой группой истинъ, необхо-

димыхъ для злобы дня въ буквально́мъ смы́слѣ слова. Вполнѣ презирая практику и даже не умѣя къ ней приступить, метафизика жаждетъ познанія для познанія, ищетъ истины для истины. Метафизики напримѣръ спорили очень много о томъ, существуетъ ли реальный міръ, т. е. этотъ столъ, это перо, эта свѣчка, этотъ пишущій человѣкъ и т. д., существуютъ ли они въ дѣйствительности или это только призракъ, обманъ, а настоящая дѣйствительность лежитъ гдѣ-то за реальнымъ міромъ, въ качествѣ его субстрата. Много остроумія, силы и тонкости мысли, всѣхъ лучшихъ даровъ человѣческой природы потрачено было на этого рода споры, причемъ субстратомъ всего реального міра, единосущимъ, дѣйствительнымъ бытіемъ поочередно признавались вода, число, духъ, матерія, воля, опять духъ, опять матерія и т. д. Профаны никогда не могли примириться съ этими измышленіями. Практическую сторону этой невозможности Прудонъ, съ свойственною ему силою и яркостью выраженій, описалъ такъ: *Le peuple, éminemment pratique, demandait à quoi servirait toute cette philosophie, et la manière d'en faire usage: et comme on lui répondait, avec Schelling, que la philosophie existe par elle même et pour elle même; que ce serait faire injure à sa dignité que de lui chercher un emploi, le peuple s'est moqué des philosophes, et tout le monde a fait comme le peuple.* Т. е. народъ, практикъ по преимуществу, спрашивалъ, на что годится вся эта философія и какъ слѣдуетъ ее прилагать къ жизни; ему отвѣтили, устами Шеллинга, что философія существуетъ въ себѣ и для себя, что было бы оскорбительно для ея достоинства искать ей какого нибудь примѣненія; тогда народъ отвергъ философовъ и весь міръ послѣдовалъ его примѣру. Это—только практическая сторона дѣла, ясно обрисовывающая неизбѣжную противоположность точекъ зрѣнія профана и специалиста познания. Но и наука, въ силу теоретическихъ соображеній, тоже отвергла съ своей стороны метафизику, такъ что, ссылаясь не только на свою собственную практику, а и на науку, мы имѣемъ полное право сказать: пусть мертвые хоронятъ мертвыхъ. Остается та форма жажды позна-

нія, которая создала науку. Въ этой области открываются законы явленій, т. е. нѣчто подлежащее повѣркѣ чуть не каждую минуту, въ этой области нѣтъ толченія на мѣстѣ, въ ней есть свои преданія, преемственный, такъ сказать, рядъ истинъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе очищающихся отъ постороннихъ примѣсей. Послушаемъ же, что скажетъ намъ наука объ истинѣ и о критеріѣ истинности. Я замѣчаю однако, что и въ самой наукѣ есть по крайней мѣрѣ два теченія, двѣ формы жажды познанія, очень хорошо различимыя. Я вижу вопервыхъ множество людей науки, занятыхъ напримѣръ перечисленіемъ видовъ и разновидностей животныхъ, растений, минераловъ и подробнѣйшимъ описаніемъ ихъ свойствъ. Такой-то видъ такого-то рода такого-то семейства жесткокрылыхъ отличается такими-то пропорціями головы и туловища, такою-то окраскою концовъ надкрылій и такимъ-то числомъ полосокъ вдоль спины; существуетъ однако тамъ-то, тамъ-то и тамъ-то разновидность этого вида, отличающаяся двойнымъ числомъ полосокъ на спинѣ и удлинненнымъ туловищемъ; открытіе этой замѣчательной разновидности посчастливилось сдѣлать мнѣ, и я позволилъ себѣ прибавить къ ея родовому названію, въ честь нашего знаменитаго ученаго Буквоѣдуса, прилагательное Bukwojedii. Вотъ приблизительное содержаніе весьма многихъ ученыхъ изслѣдованій, на которыя тратятся годы и годы; вотъ какими акридами и дикимъ медомъ можетъ иногда удовлетворяться человѣкъ, алчущій познанія. Этого рода ученые едва-ли когда нибудь думаютъ объ истинѣ, но она по всей вѣроятности смутно представляется имъ чѣмъ-то въ родѣ точной копіи съ маленькаго уголка дѣйствительности, причемъ ученому пѣтъ никакого дѣла до остальнаго міра, а слѣдовательно и до мѣста, которое занимаетъ въ немъ изученный имъ уголокъ: онъ изучаетъ его ради него самого, хоть бы онъ мѣднаго гроша не стоилъ. Замѣчательно, что такія изслѣдованія существуютъ и возможны почти исключительно въ такъ называемыхъ копкретныхъ наукахъ (зоологія, ботаника, минералогія, исторія, какъ ее долбать въ училищахъ) которыя представляютъ низшій типъ науки и до сихъ поръ от-

крыли собственными силами только развѣ очень малое число законовъ явленій.

Если мы наконецъ обратимся къ высшему типу научныхъ изслѣдованій, къ сферамъ знанія, наиболѣе по общему приговору разработаннымъ, то встрѣтимся съ совсѣмъ иными понятіями объ истинѣ и о задачѣ науки. Мы увидимъ напримѣръ математика, который оперируетъ надъ понятіями, не имѣющими себѣ никакого подобія въ дѣйствительности, и который слѣдовательно ни коимъ образомъ не можетъ видѣть въ истинѣ копию съ дѣйствительности. Мы увидимъ физика, говорящаго о свойствахъ матеріи, химика, рассуждающаго о сродствѣ, астронома, изучающаго законы тяготѣнія, и т. п., и однако всѣ эти понятія матеріи, сродства, тяготѣнія, возбужденія, сознанія, по выраженію одного нѣмецкаго писателя, «могутъ быть сравнены съ кредитнымъ билетомъ, который находится въ обращеніи, но котораго никто не выкупаетъ» и который слѣдовательно имѣетъ чисто условную цѣнность. Наука не приписываетъ имъ характера истинъ, соотвѣтствующихъ метафизическимъ сущностямъ, якобы дознаннымъ и познаннымъ; нѣтъ, наука вводитъ въ свое построение эти понятія чисто условно, охотно сознаваясь, что слова матерія, сродство, тяготѣніе выражаютъ нѣчто въ сущности неизвѣстное. Мы увидимъ рядъ чрезвычайно смѣлыхъ гипотезъ, которыя можетъ быть никогда не подтвердятся, которыя составляютъ сознательный, условленный самообманъ. Принимая напримѣръ гипотезу свѣтоноснаго эфира, разныхъ другихъ гипотетическихъ дѣятелей, рассуждая объ ихъ свойствахъ съ такою увѣренностью, какъ еслибы они были ею смѣрены и взвѣшены, наука говорить: это—только гипотеза, а не истина, это—собственно говоря обманъ, но я опираюсь на него, какъ на истину, потому что это удобно, потому что этотъ обманъ даетъ мнѣ возможность часто съ большою точностью предвидѣть измѣненія въ томъ или другомъ явленіи. Что же это значитъ? Что можетъ быть путнаго изъ Вилеелема? Куда заведетъ насъ это повидимому ослабленіе стремленія къ истинѣ?

Для отвѣта на эти вопросы я позволю себѣ рекомендовать
МИХАЙЛОВСКІЙ. Т. III. ВЫП. I.

вниманію читателя небольшую и очень популярно изложенную статью г. Добровольскаго «Видимъ-ли мы предметы такими, какими они существуютъ въ природѣ». («Знаніе» 1873, № 1). Это—вступительная лекція курса фیزیологіи зрѣнія, читанная въ медико-хирургической академіи. Авторъ держится воззрѣній Гельмгольца, и статья представляетъ слѣдовательно вѣрное отраженіе взглядовъ современной положительной науки.

Вѣрны ли наши зрительныя впечатлѣнія? Видимъ ли мы предметы такими, какими они существуютъ въ дѣйствительности? спрашиваетъ г. Добровольскій. Повидимому отвѣчать на этотъ вопросъ очень легко. Вамъ нужно перескочить черезъ оврагъ. Вы измѣряете глазомъ разстояніе, напрягаете въ соотвѣтственной степени мускулы ногъ и прыгаете: вы перепрыгнули, значить глазъ не обманулъ васъ. Вы говорите: 'вотъ квадратная доска, и прямое измѣреніе сторонъ ея подтверждаетъ, что вы не ошиблись, — это дѣйствительно квадратная доска. Подобныя безчисленныя повѣрки зрительныхъ впечатлѣній, при помощи другихъ органовъ чувствъ, доказываютъ полное соотвѣтствіе этихъ впечатлѣній и видимыхъ предметовъ. Однако есть факты, противорѣчащіе такому убѣжденію. Сплошь и рядомъ намъ приходится, опредѣливъ глазомѣромъ напримѣръ извѣстное разстояніе, убѣдиться вслѣдъ за тѣмъ, что мы ошиблись. Да и тѣ случаи, въ которыхъ мы завѣдомо безошибочно опредѣляемъ на глазъ извѣстное разстояніе или извѣстную форму предмета, совсѣмъ не такъ просты, какъ оно кажется съ перваго раза. Я вижу шаръ и не ошибаюсь, это—дѣйствительно шаръ. Но дѣло въ томъ, что я съ ранняго дѣтства имѣлъ въ рукахъ разнаго рода шары, ощупывалъ ихъ, брагъ ихъ въ ротъ и т. д. Такъ что теперь, когда я безошибочно опредѣляю глазомъ шарообразную форму, я не могу сказать, что именно принадлежитъ чистому зрительному впечатлѣнію и что—позабытому мной, но долгому и сложному навыку, въ которомъ участвовало не одно чувство зрѣнія. Далѣе, мы знаемъ о существованіи иллюзій и галлюцинацій, т. е. зрительныхъ впечатлѣній, несоотвѣствующихъ видимымъ предметамъ или же являющихся

безъ вызова какимъ нибудь внѣшнимъ предметомъ. Еще важнѣе слѣдующее обстоятельство. Специальное отправленіе глаза состоитъ въ воспріятіи свѣтовыхъ лучей, идущихъ къ нему отъ предметовъ. Но будемъ ли мы раздражать зрительный нервъ электричествомъ, кислотой, будемъ ли мы его давить, рвать, рѣзать, на всѣ эти раздраженія онъ отвѣтитъ свѣтовыми явленіями. Если мы будемъ просто давить на свой собственный глазъ, то тоже получимъ, кромѣ ощущенія боли, ощущение свѣта. Такимъ образомъ органъ зрѣнія отвѣчаетъ свѣтовыми явленіями на такія раздраженія, которыя не имѣютъ ничего общаго со свѣтомъ. Какъ же можно въ виду этого допустить вѣрность нашихъ зрительныхъ впечатлѣній? Возьмите листъ красной бумаги, сдѣлайте въ немъ маленькую вырѣзку, подложите подъ него листъ черной бумаги и покройте бѣлой папиросной бумагой: черный цвѣтъ подкладки будетъ казаться зеленымъ, а если замѣнить красную бумагу зеленой, то подкладка покажется красного цвѣта. Хотя мы очень хорошо знаемъ условія этого зрительнаго обмана, но тѣмъ не менѣе это — все-таки обманъ: зрительное впечатлѣніе не соответствуетъ дѣйствительности. Есть люди, слѣпые на нѣкоторые цвѣта, преимущественно на красный. Киноварь для всѣхъ красного цвѣта, а для человѣка, страдающаго такимъ недостаткомъ зрѣнія, она будетъ черного цвѣта. Это случай ненормальный, но онъ все-таки показываетъ, что свойства предметовъ зависятъ не только отъ ихъ природы, но и отъ природы тѣхъ органовъ, на которые они дѣйствуютъ. Къ тому же заключенію приводятъ насъ и всѣ вышеприведенные примѣры обмановъ зрѣнія. Всѣ они свидѣтельствуютъ, что въ актѣ зрѣнія сталкиваются далеко не тождественные моменты субъективный и объективный; что мы всегда видимъ предметы сообразно устройству нашего органа зрѣнія, но далеко не всегда сообразно свойствамъ самыхъ предметовъ, словомъ, что предполагаемая гармонія между наблюдающимъ субъектомъ и наблюдаемымъ объектомъ не существуетъ.

Мы получимъ совершенно удовлетворительное понятіе объ общемъ значеніи этихъ отклоненій наблюденія отъ дѣйствитель-

*

ности, если нѣсколько пристальнѣе рассмотримъ одно явленіе, уже отмѣченное выше. Чтобы видѣть предметъ, надо, чтобы идущіе отъ него лучи свѣта попали въ глазъ и, пройдя глазныя среды, дали обратное изображеніе предмета на сѣтчаткѣ, чтобы въ сѣтчаткѣ было вызвано ощущеніе и чтобы это ощущеніе передалось при помощи волоконъ зрительнаго нерва мозгу, гдѣ уже изъ него образуется представленіе о предметѣ. Только зрительный аппаратъ, состоящій изъ сѣтчатки, зрительнаго нерва и извѣстной части мозга, способенъ производить свѣтотыя ощущенія и соотвѣтственные представленія. Солнечныя лучи воспринимаются и нервами осязанія, но здѣсь происходитъ ощущеніе теплоты, свѣтовыхъ же ощущеній не можетъ дать ни одинъ нервъ, кромѣ зрительнаго. То же самое повторяется и съ другими нервами: на языкѣ укусъ даетъ ощущеніе кислаго вкуса, а на соединительной оболочкѣ вѣкъ — осязательное ощущеніе болѣзненнаго жженія. Слѣдовательно *одинъ и тотъ же предметъ* производитъ въ насъ *различныя* ощущенія не потому, что въ немъ самомъ произошли какія нибудь измѣненія, а потому, что онъ дѣйствуетъ на *различныя* органы чувствъ. Съ другой стороны мы видѣли, что зрительный аппаратъ отвѣчаетъ свѣтовыми явленіями на всякія раздраженія. *Что бы ни дѣйствовало* на органъ зрѣнія, свѣтъ ли, электричество ли, механическое ли давленіе и проч., онъ дѣлаетъ только свое специальное дѣло. Слѣдовательно объектъ, дѣйствительность играетъ здѣсь совершенно подчиненную роль; не объектъ опредѣляетъ характеръ впечатлѣнія, а извѣстный нервный аппаратъ воспринимающаго субъекта. Отсюда слѣдуетъ выводъ:

•Качество нашихъ ощущеній главнымъ образомъ зависитъ отъ особенностей нервнаго аппарата и потому уже—слѣдовательно только повторюсь—отъ особенностей тѣхъ раздражителей или предметовъ, которые дѣйствуютъ на нервы. Къ сферѣ какого чувства принадлежитъ данное ощущеніе, это вовсе не зависитъ отъ наружныхъ предметовъ, а исключительно только отъ рода возбуждаемыхъ ими нервовъ. Какое особенное ощущеніе произойдетъ въ сферѣ какого-либо опредѣленнаго чувства—это прежде всего зависитъ отъ натуры вѣшняго предмета, который вызоветъ ощущеніе. Вызовутъ ли

во мнѣ солнечные лучи свѣтовое ощущеніе или ощущеніе теплоты—это зависитъ только отъ того, буду ли я ихъ воспринимать чрезъ посредство зрительнаго нерва или же чрезъ посредство нервовъ кожи. Получу ли я при этомъ ощущеніе краснаго или синяго цвѣта, слабаго или сильнаго свѣта, ощущеніе жгучей или только слабой теплоты—это будетъ зависетьъ, какъ отъ рода дѣйствующихъ лучей, такъ и отъ состоянія нервнаго аппарата (115).

«Теперь уже ясно, продолжаетъ г. Добровольскій (117), что о равенствѣ зрительныхъ представленій съ объектами не можетъ быть и рѣчи. Есть ли какой нибудь смыслъ искать сходства, а тѣмъ болѣе равенства между этимъ столомъ и представленіемъ о немъ—продуктомъ психической дѣятельности? Представленіе о какомъ либо предметѣ и самый предметъ принадлежатъ двумъ совершенно различнымъ мірамъ, которые также мало допускаютъ между собою какое либо сравненіе, какъ луна и укусъ, какъ цвѣта и тоны или, еще лучше, какъ буквы какой нибудь книги со звукомъ того слова, которое они изображаютъ. Наши зрительныя впечатлѣнія суть *дѣйствія*, которые видимые предметы оказываютъ на нашу нервную систему, на наше сознаніе. А всякое дѣйствіе зависитъ какъ отъ природы дѣйствующаго предмета, такъ и отъ природы того объекта, на который производится дѣйствіе. Ожидать и требовать представленія, которое бы пунктуально и неимѣнно передавало намъ натуру представляемаго предмета, слѣдовательно было бы истинно въ абсолютномъ смыслѣ, значито бы ожидать дѣйствія, которое было бы совершенно независимо отъ природы того предмета, на который произведено дѣйствіе, что составляетъ уже осязательное противорѣчіе и безсмыслицу. Всѣ наши представленія, въ томъ числѣ и зрительныя, носятъ на себѣ субъективный характеръ: мы можемъ называть ихъ образами предметовъ, но характеръ ихъ существенно зависитъ отъ нашего сознанія и его особенностей».

Свойство, качество предмета есть только *дѣйствіе* предмета или, вѣрнѣе, постоянная способность предмета дѣйствовать, при благопріятныхъ условіяхъ, извѣстнымъ образомъ на другіе предметы или на наши чувства. Поэтому несправедливо видѣть въ свойствахъ предметовъ ихъ неотъемлемую принадлежность къ всякаго отношенія къ другимъ предметамъ. Изъ этого видно, что негѣпо и спрашивать напримѣръ краснаго ли цвѣта киноваръ или это — оптический обманъ. Краснота совсѣмъ не есть неизбѣжное свойство киновари самой по себѣ или отражаемаго ею свѣта. «Ощущеніе краснаго цвѣта есть нормальная реакція нормально устроенныхъ глазъ на свѣтъ, отраженный киноварью. Слѣпой на красный цвѣтъ видить киноваръ черною,

потому что у него въ нервномъ аппаратѣ недостаетъ элементовъ, на которые могли бы дѣйствовать лучи свѣта, отраженные киноварью; и это есть нормальная реакція киновари на его особымъ образомъ устроенные глаза; онъ долженъ только знать, что его глаза иначе устроены, чѣмъ глаза другихъ людей. И одно ощущеніе есть не болѣе истинно и не болѣе ложно, чѣмъ другое, хотя людей, воспринимающихъ красный цвѣтъ, гораздо больше, чѣмъ лишенныхъ этой способности. Вообще красный цвѣтъ киновари существуетъ только по столько, по сколько существуютъ глаза, могущіе ощущать его». Такимъ образомъ нельзя даже спрашивать: видимъ ли мы предметы такими, каковы они въ дѣйствительности?—потому что объ этой дѣйствительности мы, внѣ условій нашей природы вообще и природы нашего органа зрѣнія въ частности, не можемъ имѣть никакого понятія. Тѣмъ не менѣе повѣрка нашихъ зрительныхъ впечатлѣній другими органами чувствъ остается налицо. Мы устроиваемъ на нихъ значительную часть своей практической жизни, пользуемся ими, и съ успѣхомъ, на каждомъ шагѣ. Въ чемъ же дѣло? Недоразумѣніе разрѣшается очень просто, если мы примемъ, что наши ощущенія, изъ которыхъ путемъ психической дѣятельности слагаются представленія о предметахъ, суть извѣстные символы, извѣстные знаки, не произвольно нами выбранные, а навязанные намъ самою природой, самыми условіями нашего существованія. Знаки эти нами заучиваются съ ранняго дѣтства путемъ сложнаго, отчасти произвольнаго опыта. Какъ ребенокъ постепенно заучиваетъ буквы, не имѣющія никакого сходства съ выражаемыми ими звуками, потомъ слоги, слова, съ которыми связываются опредѣленные понятія; такъ тотъ же ребенокъ долгимъ опытомъ знакомится съ зрительными ощущеніями, пока наконецъ научится вырабатывать изъ нихъ правильныя, т. е. пригодныя для жизни представленія о предметахъ. Разъ отъ однихъ и тѣхъ же предметовъ получаются всегда одни и тѣ же знаки, т. е. ощущенія, а отъ разныхъ всегда разные,—такой системы знаковъ для насъ совершенно достаточно, тѣмъ болѣе, что иной и взять не откуда. Нечего спрашивать, вѣрно

ли само по себѣ мое зрительное представленіе о столѣ, на которомъ я пишу, и о различныхъ его качествахъ. «Представленіе о столѣ, которое я имѣю, есть истинно и вѣрно, если я могу изъ него напередъ вѣрно и точно опредѣлить, какое ощущеніе я буду имѣть, если я приведу мой глазъ и мою руку въ то или другое положеніе относительно стола. Другого какогонибудь сходства между представленіемъ и представляемымъ предметомъ ни вообразить себѣ, ни понять нельзя» (123).

Я полагаю, что этотъ маленький частный трактатъ даетъ очень отчетливое понятіе о современныхъ отношеніяхъ положительной науки вообще къ истинѣ. Она, эта наука, вовсе не расположена видѣть въ истинахъ вѣрную копию съ дѣйствительности; для нея истина есть только, если можно такъ выразиться, извѣстный, специальный случай равновѣсія между субъектомъ и объектомъ, между человѣкомъ и природой и другими людьми. Наука не боится обмана даже въ такой мѣрѣ, въ какой его боялась и боится метафизика, хотя въ концѣ концовъ истина достается положительной наукѣ, а не метафизикѣ. Положительной наукѣ нѣтъ никакого дѣла до всѣхъ субстанцій и соотвѣствующихъ имъ критеріевъ истинности нашихъ понятій. Она прямо говоритъ, что для нея даже безразлично — истинно или призрачно наше познаніе природы само по себѣ, т. е. вполнѣ ли оно соотвѣтствуетъ дѣйствительности, истинной природѣ вещей. Важно только, чтобы это познаніе удовлетворяло требованіямъ человѣческой природы, и критерія истинности слѣдуетъ искать уже въ томъ удовлетвореніи. Такимъ образомъ надъ вопросомъ объ истинѣ, выше его наука ставитъ вопросъ объ условіяхъ человѣческой природы. Прежде всякаго другого познанія человѣкъ долженъ познать свою природу, свои границы. Человѣку свойственно стремиться къ истинѣ, познавать. И это требованіе его природы подлежитъ удовлетворенію. Но человѣкъ не Богъ, находящійся внѣ всякихъ условій и опредѣленій. Онъ занимаетъ въ іерархіи существъ, населяющихъ міръ, высокое, но совершенно опредѣленное мѣсто, обусловленное его организаціей. Существа высшія его, существа низшія его имѣютъ по-

пнятія о мірѣ, весьма отличныя отъ его понятій, и однако они не богѣе и не менѣе истинны, чѣмъ его собственныя. По моему столу ползаетъ ранняя муха, отогрѣтая высокой температурой комнаты. Безъ сомнѣнія она имѣетъ о столѣ представленіе, совершенно отличное отъ моего, но, разъ природа ея удовлетворяется этимъ представленіемъ, оно для нея истинно. И если есть мухи-метафизики, то онѣ будутъ совершенно тщетно выбиваться изъ силъ, стараясь усвоить себѣ какія-нибудь высшія или вообще иныя, наприимѣръ человѣческія понятія о вещахъ. Совершенно также и человѣку надлежитъ, по совѣту Фейербаха, «довольствоваться даннымъ міромъ», т. е. такимъ, какимъ онъ данъ для него, человѣка. Я не знаю, что имѣлъ въ виду авторъ известной картины, изображающей истину обнаженной женщиной съ факеломъ въ рукѣ. Но я знаю, что факелъ истины, обнаженной отъ условностей человѣческой природы, неспособенъ освѣтить даже магійшее пространство, и не ему бороться съ окружающимъ человѣчествомъ мракомъ. Можетъ показаться, что все это праздный разговоръ, потому что не все ли равно сказать: истина, или: удовлетвореніе познавательной потребности человѣческой природы? Повидимому тутъ дѣло просто въ словахъ. Оно пожалуй и такъ, но исторія оболочиваетъ часто слова такими оболочками, которыя необходимо время отъ времени ликвидировать, устранять, чтобы вывести на бѣлый свѣтъ настоящий смыслъ слова. Не поминая старыхъ и новыхъ грѣховъ теософіи и метафизики, можно подыскать любопытные примѣры неосновательныхъ понятій объ истинѣ въ средѣ людей, претендующихъ на положительное мышленіе. Недалеко ходить, — русскій переводчикъ послѣдняго сочиненія Герберта Спенсера «Изученіе соціологіи» говоритъ въ предисловіи: «Совершенно послѣдовательно и строго логически авторъ, шагъ за шагомъ, пробиваетъ дорогу объективной истинѣ тамъ, гдѣ *цѣлый рядъ условий, связанныхъ съ природою человека съ внѣшними условіями, стоитъ препятствіемъ къ правильному пониманію общественныхъ фактовъ*» (VIII). Переводчикъ утверждаетъ также, что Спенсеръ въ этомъ сочиненіи «самымъ рѣшительнымъ об-

разомъ разрушаетъ заблужденія, господствующій среди большинства по отношенію къ критикѣ социальныхъ явленій». Сейчасъ мы увидимъ, какъ и что разрушаетъ Спенсеръ. Но спрашивается, какое заблужденіе можетъ быть горше и опаснѣе мнѣнія, что можно *правильно* понять общественные факты, если тому препятствуетъ «цѣлый рядъ условий, связанныхъ съ природой человѣка»? Одно изъ двухъ: или надо признать правильнымъ пониманіе, соответствующее условіямъ человѣческой природы, или надо вовсе отказаться отъ правильнаго пониманія. Иной исходъ возможенъ только для человѣка, *отпускаю*, что правильное пониманіе сообщено ему супранатуральнымъ путемъ, и видящаго въ этомъ высшемъ происхожденіи своего пониманія гарантію его правильности; да еще для метафизика, убѣжденнаго въ возможности познанія нумена, вещи въ себѣ, субстрата, сущности явленій. Человѣку науки не приходится такъ презирать свою собственную природу. Природа человѣка—не заборъ, черезъ который можно перелѣзть и благополучно очутиться на чужомъ дворѣ, это—самъ человѣкъ. Пусть г. Гольдсмить (переводчикъ Спенсера) попробуетъ перепрыгнуть черезъ самого себя. Если это ему удастся, я повѣрю, что Спенсеръ пробилъ объективной истинѣ дорогу даже тамъ, гдѣ этого сдѣлать *физически* невозможно. До тѣхъ же поръ, пока г. Гольдсмить предлагаемаго мною фокуса не исполнитъ, я, примѣняясь къ научнымъ соображеніямъ, изложеннымъ г. Добровольскимъ, держусь того мнѣнія, что мнѣ рѣшительно все равно правильно или неправильно понялъ Спенсеръ изучаемые имъ факты; вѣрнѣе сказать не все равно, но этотъ вопросъ о «правильности» понятій Спенсера стоитъ для меня на второмъ планѣ; прежде всего я желаю знать, удовлетворяютъ ли они требованіямъ человѣческой природы: коли удовлетворяютъ, значить правильны.

Гоббсъ очень справедливо говорилъ, что слова суть счеты умныхъ людей, которые пользуются ими для вычисленій, а для глупцовъ они деньги. Неисчислимы выгоды, которыя могли бы происходить отъ сознательной замѣны износившихся словъ другими, что къ сожалѣнію крайне трудно. Но люди могутъ по

крайней мѣрѣ отъ времени до времени ревизовать свой политическій, философскій, научный жаргонъ съ цѣлью увидать не произошло ли какого нибудь важнаго измѣненія въ смыслѣ употребительныхъ словъ, соотвѣтствуютъ ли они тѣмъ понятіямъ, которыя должны ими выражаться. Посмотримъ, какія выгоды можетъ дать замѣна слова «истина» словами «удовлетвореніе познавательной потребности человѣка». Прежде всего такое опредѣленіе уже включаетъ въ себѣ критерій истинности нашихъ понятій, критерій, который, собственно говоря, руководилъ человѣкомъ испоконъ вѣку и который можно найти на днѣ всѣхъ философскихъ системъ и всѣхъ научныхъ изслѣдованій. Что бы ни признавалъ мыслитель гарантіей вѣрности своихъ понятій, какими бы сочетаніями словъ онъ ни описывалъ свой критерій истины, но въ концѣ концовъ онъ признавалъ какое-либо положеніе истиннымъ только потому, что оно удовлетворяло его жадѣ познанія. Я не сытъ, говоритъ человѣкъ съ неудовлетвореннымъ аппетитомъ; я не знаю, говоритъ человѣкъ съ неудовлетворенною жаждою познанія. Когда вы накормите голоднаго и сообщите истину незнающему, они скажутъ: я сытъ, я знаю. И всегда такъ было, есть и будетъ, всегда люди признавали, признаютъ и будутъ признавать истиннымъ то, что насыщаетъ ихъ потребность знанія. Правда, предлагаемый критерій не высказывался, онъ выходилъ наружу въ болѣе или менѣе извращенномъ видѣ, но это зависитъ уже не отъ самаго критерія, а отъ личныхъ свойствъ изслѣдователей и мыслителей. Но кромѣ этого объединенія значительной части исторіи мысли, нашъ критерій имѣетъ еще ту неопѣнимую выгоду, что онъ объединяетъ области теоретическую и практическую, всѣ изъявительныя и повелительныя наклоненія всѣхъ человѣческихъ глаголовъ и всю дѣятельность человѣка. Не трудно видѣть, что красота, польза, справедливость въ отдѣльности представляютъ такіе же частные случаи равновѣсія между субъектомъ и объектомъ, между человекомъ и природой и другими людьми, какъ и истина; все это—различные способы удовлетворенія различныхъ требованій человѣческой природы. Итакъ выраженіе: цѣль науки есть изыска-

не истины, служеніе истинѣ—не то что неправильно, а даетъ поводъ къ неправильнымъ толкованіямъ и должно быть замѣнено положеніемъ: цѣль науки состоитъ въ удовлетвореніи известной потребности человѣческой природы, или, что то же, въ служеніи человѣку, или, что опять-таки тоже самое, въ исполненіи заказовъ человѣка. Такимъ образомъ понятая цѣль науки конечно не обязываетъ ее ни гнуться передъ толпой невѣжественныхъ людей, ни отворачиваться отъ истины, ни кадить людямъ, ни обманывать, ни обманываться. Напротивъ цѣль эта, указывая предѣлъ, его же наука по природѣ человѣка преити не можетъ, тѣмъ самымъ *расчищаетъ* путь къ доступной человѣку истинѣ. Притомъ цѣль состоитъ въ удовлетвореніи именно потребности познанія и слѣдовательно отнюдь не требуетъ какихъ нибудь успокоивающихъ, лстящихъ, но ложныхъ свѣдѣній или обобщеній.

Читатель можетъ остановить меня такими замѣчаніями. Допустимъ, скажетъ онъ, что все это вѣрно, но вѣдь требовалось доказать, что наука должна служить профанамъ, а до сихъ поръ доказывалось только, что она должна служить человѣку. Развѣ профанъ есть человѣкъ по преимуществу? И не правильнѣе ли сказать, что наука удовлетворяетъ познавательной потребности самого изслѣдователя? Но и тутъ не впадемъ ли мы въ полный хаосъ, такъ какъ должны будемъ признать истинами всѣ негѣности, которымъ нѣкогда люди вѣрили и которыя въ свое время удовлетворяли ихъ познавательной потребности. Напримѣръ какіе-нибудь дикари вѣрятъ, что громъ есть сердитая рѣчь разгнѣваннаго божества, и ихъ познавательная потребность вполне удовлетворяется такимъ объясненіемъ: что-жъ, и это тоже истина? Да и въ средѣ современныхъ мыслящихъ людей существуетъ много разногласій, свидѣтельствующихъ о томъ, что познавательная потребность можетъ удовлетворяться различными вещами.

Что касается до вѣрованій въ родѣ того, что громъ есть сердитый говоръ разгнѣваннаго Юпитера, Тора, Перуна, то всѣ они относятся къ такому періоду развитія народа или личности,

когда потребность познания находится въ зачаточномъ состояніи. Это—продукты не познавательной потребности, а нѣкой другой, которую я назову потребностью творчества, которая тоже подлежитъ удовлетворенію и въ процессѣ исторіи удовлетворяется различно. Однако и въ этомъ періодѣ развитія потребность познания существуетъ и даетъ себя знать. И въ этомъ періодѣ развитія человѣкъ работаетъ, слѣдовательно нѣчто знаетъ и знаетъ такъ, что элементарнѣйшія изъ добытыхъ имъ истинъ удовлетворяютъ насъ и понинѣ. Контъ приводитъ не знаю откуда взятое имъ замѣчаніе Адама Смита, что никогда ни въ какой міеологіи не существовало бога тяжести. Работая, напримѣръ вѣзая на дерево за птичьими яйцами или за плодами, пуская камнемъ или дубиной въ преслѣдуемую имъ дичь и т. п., самый отдаленный нашъ предокъ, очень хорошо *зналъ* нѣкоторые законы тяжести, которые удовлетворяютъ потребности познания и людей XIX вѣка, признаются ими истинными. Вообще трудъ и положительное знаніе связаны самыми неразрывными узами. Для поддержанія существованія нуженъ трудъ, для успѣшнаго труда нужно знаніе. Поэтому, переходя отъ кочевого быта къ осѣдлому, отъ звѣроловства къ скотоводству, отъ скотоводства къ земледѣлію, люди самымъ процессомъ труда вырабатывали длинный рядъ истинъ, необходимо остающихся истинами и для насъ. Разница въ томъ только, что потребность познания съ теченіемъ времени расширилась и уже не удовлетворяется истинами элементарными, жаждетъ истинъ высшихъ, сложнѣйшихъ и ихъ систематизаціи. Такимъ образомъ хаосъ, долженствующій повидимому произойти отъ принятія нашего критерія истинности понятій, нѣсколько разсѣивается: есть множество истинъ, удовлетворяющихъ человѣческую природу вообще, всякаго человѣка—новозеландца и Ньютона, князя Мещерскаго и Аристотеля. Безъ сомнѣнія однако, по мѣрѣ измѣненія физической и психической природы человѣка, весьма часто представляется не только расширеніе познавательной потребности; бываютъ и многочисленные случаи отрицанія предшествовавшихъ понятій, признанія ихъ ложными. Одинъ писатель съ большою

ученостью и остроуміемъ доказывалъ, что общій процессъ исторіи ведетъ къ ослабленію зрѣнія относительно способности охватывать глазомъ извѣстное пространство и вмѣстѣ съ тѣмъ къ изопренію его въ дѣлѣ различенія цвѣтовъ и ихъ оттѣнковъ. Извѣстно, что дикари видятъ гораздо дальше и лучше людей цивилизованныхъ. Съ другой стороны изъ сопоставленія нѣкоторыхъ мѣстъ Иліады и Одиссеи слѣдуетъ заключить, что во времена Гомера греки не умѣли различать такіе цвѣта, какъ голубой и зеленый. Если это справедливо *), то передъ нами чрезвычайно любопытный случай весьма важнаго измѣненія организаціи зрительнаго аппарата, измѣненія, совершившагося въ относительно короткій историческій промежутокъ и очень можетъ быть имѣвшаго результатомъ или спутникомъ нѣкоторое измѣненіе психической природы человѣка. Это измѣненіе могло повести къ тому, что многія изъ понятій, удовлетворявшихъ познавательную потребность древнихъ грековъ, насъ уже удовлетворять неспособны. Ближайшій примѣръ—цвѣта на примѣръ хорошей бирюзы и ярко зеленой травы. Грекъ полагалъ, что эти предметы одного и того же цвѣта; мы знаемъ, что они различнаго цвѣта, и потому утверждаемъ, что грекъ заблуждался, что его понятія были не истинны. А между тѣмъ они удовлетворяли его потребности познанія; слѣдовательно были истинны. Ну да, были истинны, потому что удовлетворяли, а теперь ложны, потому что не удовлетворяютъ. Хаоса тутъ все-таки нѣтъ никакого. Съ нашими понятіями можетъ случиться то же самое. Въ нашей оптикѣ принято, что впечатлѣнія различныхъ цвѣтовъ зависятъ отъ разницы въ длинѣ волнъ свѣтового эфира; самыя на примѣръ длинныя волны даютъ впечатлѣніе краснаго цвѣта. Но есть волны слишкомъ длинныя для нашего глаза, есть и слишкомъ короткія, ихъ мы воспринимать не можемъ; нельзя однако поручиться, чтобы глазъ нашъ не получилъ съ теченіемъ времени способности воспринимать и нѣкоторыя изъ нихъ. Во всякомъ случаѣ теперь мы всѣ, за вычетомъ

*) Теорію эту слѣдуетъ теперь считать опровергнутою.

ничтожнаго процента людей съ исключительно устроенными глазами, различаемъ цвѣта одинаково, и никакого спора о цвѣтѣ бирюзы и травы между нами быть не можетъ. Если мы теперь обратимся къ разногласіямъ, существующимъ въ наукѣ, то увидимъ, что они вертятся главнымъ образомъ около одного и того же центра. Возьмемъ хоть вопросъ о происхожденіи видовъ. Есть люди, принимавшіе участіе въ его обсужденіи, но стоящіе однако внѣ науки, примѣшивающіе къ дѣлу посторонніе, преимущественно религіозные элементы. До нихъ намъ нѣтъ дѣла. Научный же споръ ведется изъ-за того, какая теорія наиболѣе удовлетворяетъ нашей потребности познанія. Нѣтъ разговора о томъ, истинны ли какъ нибудь сами по себѣ понятія неизмѣняемости видовъ, ихъ измѣняемости подъ вліяніемъ борьбы за существованіе, ихъ измѣняемости подъ вліяніемъ особаго закона развитія. Все дѣло въ томъ, которая изъ этихъ теорій можетъ насытить данную потребность познанія, которая изъ нихъ можетъ наилучше объяснить извѣстную группу явленій и уничтожить наибольшее количество сомнѣній и недоразумѣній. Пройдутъ года, вѣка, и нынѣ торжествующая теорія уступитъ мѣсто другой. Это однако отнюдь не ведетъ къ индифферентизму по отношенію къ истинѣ. Какъ бы тамъ ни было въ прошедшемъ и будущемъ, но въ данную минуту сознаваемое мною, какъ истина, удовлетворяетъ меня; я не могу думать, что не обладаю истинной, какъ не могу думать послѣ сытнаго обѣда, что я голодею. Практически для насъ безразлична не истина, а напротивъ судьба нашихъ истинъ въ тѣ времена, когда природа человѣка измѣнится достаточно сильно для того, чтобы мы не удовлетворялись. Точно такъ же не ведетъ къ индифферентизму и то обстоятельство, что и во всякую данную минуту существуетъ разногласіе, различное пониманіе однихъ и тѣхъ же вещей. Я все-таки признаю и не могу не признавать истинной то, что удовлетворяетъ меня, хотя очень хорошо знаю, что природа Петра и Ивана удовлетворяется понятіями, отличными отъ моихъ. Это обстоятельство ведетъ только къ установленію весьма важнаго практическаго правила для всякаго пропагандиста истины. Если

вы, удовлетворяя новой потребности своей природы, желаете распространить какую-нибудь истину, то не рассчитывайте внушить ее Ивану или Петру, не возбудивъ въ немъ предварительно соотвѣтственной потребности познания, т. е. той жажды истины и тѣхъ сомнѣній и недоразумѣній, которыя въ васъ самихъ погашены вашей истиной.

Но такимъ образомъ мы все-таки приходимъ къ тому, что истина есть удовлетвореніе познавательной потребности того или другого изслѣдователя. При чемъ же тутъ природа человѣка вообще, а тѣмъ паче при чемъ тутъ профанъ? Но вѣдь изслѣдователь есть все-таки человѣкъ и слѣдовательно на его способности и силы наложены природою тѣ же границы, въ которыхъ долженъ существовать человѣкъ вообще. И хотя природа человѣка намъ не вполне извѣстна, но мы имѣемъ относительно ея столько свѣдѣній, что можемъ не безъ успѣха контролировать ими заблужденія отдѣльныхъ личностей, при чемъ подъ заблужденіями слѣдуетъ разумѣть уклоненія отъ извѣстнаго намъ типа. Люди вообще видятъ красный цвѣтъ, но есть отдѣльныя личности, неспособныя его различать, — и мы признаемъ ихъ сужденія о красныхъ предметахъ заблужденіями, единственно потому, что организація ихъ зрительнаго аппарата представляетъ нѣкоторое уклоненіе отъ организаціи, общей подавляющему большинству людей. Съ нимъ самимъ, со слѣпымъ на красный цвѣтъ конечно ничего не подѣлаешь, если онъ будетъ упорно вѣрить только самому себѣ, хотя и его могутъ убѣдить логическія доказательства и путь косвеннаго опыта. Онъ можетъ напримѣръ много разъ выходить навстрѣчу быку въ красномъ плащѣ, не сознавая, что онъ красный, и много разъ быкъ, по природѣ своей приходящій отъ краснаго цвѣта въ раздраженіе, будетъ его бодать. Эта осязательная повѣрка можетъ его убѣдить въ томъ, что онъ человѣкъ особенный, ненормальный; мы же, посторонніе зрители, знаемъ это и безъ несчастныхъ опытовъ съ быкомъ. Точно также мы очень хорошо знаемъ, что между сознаніемъ человѣка и внѣшнимъ міромъ находится какъ бы полупрозрачный занавѣсъ, недопускающій насъ познать объектив-

пую истину, сущность вещей. Мы знаемъ, что самыя отвлеченныя наши идеи въ концѣ концовъ коренятся въ мірѣ чувственного опыта, что такова уже природа человѣка. Поэтому, если какой-нибудь изслѣдователь будетъ упорно стоять на намѣреніи приобрести внѣчувственные познанія и проникнуть въ невѣдомую сущность вещей, мы можемъ съ увѣренностью сказать, что либо онъ не получитъ удовлетворенія потребности познанія, либо удовлетворится не по-человѣчески, т. е. окажется особеннымъ, ненормальнымъ, т. е. съ общечеловѣческой точки зрѣнія заблуждающимся человѣкомъ, которому грозятъ какіе-нибудь своего рода рога раздраженного быка. Мы не только знаемъ, что такого рода попыткамъ познать непознаваемое грозитъ фіаско, но можемъ догадываться, въ чемъ состоитъ историческій процессъ, приводящій къ этимъ уклоненіямъ отъ нормы человѣческой природы. Этотъ-то процессъ и убѣждаетъ меня въ томъ, что профанъ есть дѣйствительно человѣкъ по преимуществу, что именно ему должна служить наука, если хочетъ быть достойною своего имени и познавать только то, что доступно познанію, но за то все, что доступно. Я сейчасъ объясню свою мысль. Но сначала обратимся къ «Изученію соціологіи» Спенсера.

IV.

Объ изученіи соціологіи.

Признаюсь, я съ нѣкоторымъ страхомъ приступаю къ бесѣдѣ о книгѣ Спенсера. Не въ томъ дѣло, что она блещетъ ученостью, остроуміемъ, умомъ, мастерствомъ изложенія. Все это обычные качества произведеній Спенсера. Но никогда еще не выказывалъ онъ такого подавляющаго презрѣнія къ намъ, профанамъ, никогда не говорилъ такихъ для насъ обидныхъ и вмѣстѣ горькихъ словъ. Вся книга, собственно говоря, направлена къ тому, чтобы показать намъ наше ничтожество и нелѣпую суетливость, чтобы доказать намъ, что каждый нашъ жизненный шагъ, не соответствуя требованіямъ науки, вздоренъ и даже губителенъ.

Мы, несчастные, стараемся устроить свою жизнь какъ-нибудь получше, разсчитываемъ, какъ намъ поступить въ томъ или другомъ случаѣ, но Спенсеръ доказываетъ намъ, что всѣ наши расчеты и старанія рѣшительно никуда не годятся! Впрочемъ съ этимъ бы еще можно примириться. Не въ первый и не въ послѣдній разъ приходится намъ выносить презрительное отношеніе къ намъ людей науки. Да и сами мы очень хорошо знаемъ, что мы люди темные, профаны, обязанные почтительно выслушивать попреки людей науки, потому что вѣдь они не только попрекаютъ насъ, а и учатъ, они ниспровергаютъ наши неосновательныя сужденія и замѣняютъ ихъ основательными, критикуютъ наши дѣйствія и даютъ ясныя указанія, какъ слѣдуетъ дѣйствовать. Только въ благодарность за эти драгоценныя указанія мы и разрѣшаемъ имъ говорить намъ обидныя слова, а не давай они намъ этихъ указаній и только глумись надъ нашей темнотой, мы ихъ высокомерія не стерпѣли бы, да и оно было бы совершенно незаконно. Что же—каковы совѣты и указанія умнаго, ученаго и остроумнаго Спенсера? Не знаю какъ кому покажется, но мнѣ его книга очень напомнила одинъ эпизодъ изъ моего дѣтства. Мнѣ случайно попала въ руку очень странно подобранная груда книгъ: тутъ были сочиненія Пушкина, Монте-Кристо, Вѣчный жидъ, Сказанія Курбскаго, Котляревскаго малороссійскій переводъ Энеиды (изъ котораго я и до сихъ поръ помню, что «Эней бувъ паробокъ моторный», и что «зла Юнона, суча дочка, раскудакдакталась якъ квочка»), Карамзина исторія государства руссійскаго, Три мушкетера, какой-то учебникъ ботаники, Кандидъ Вольтера въ переводѣ прошлаго столѣтія и проч. Все это я глоталъ съ невообразимою жадностью, по нѣсколько разъ каждую книгу и ужъ конечно безъ малѣйшей системы. Нѣкто, имѣвшій надо мной власть, полагая, что такое жадное чтеніе должно мѣшать моимъ учебнымъ занятіямъ и что многія изъ глотаемыхъ мною книгъ не соотвѣтствуютъ моему возрасту, уговаривалъ меня, урезонивалъ, наконецъ просто отнималъ книги. Но ничто не помогало, я таскалъ книги тайкомъ, таскалъ огарки свѣчъ и читалъ пѣлыя

ночи напролетъ. Припоминая теперь все это, я ясно вижу, что многіе совѣты моего руководителя были прекрасны, но онъ не умѣлъ или не догадывался сдѣлать то, что было дѣйствительно нужно. Ему стоило только, признавъ мою жажду чтенія неистребимою, какою она и была, дать ей надлежащее удовлетвореніе, то-есть вынуть изъ библіотеки книги неподходящія и замѣнить ихъ подходящими. Онъ мнѣ и рекомендовалъ нѣсколько книгъ, но это были все сочиненія, невозбуждавшія во мнѣ ни малѣйшаго интереса и весьма мало понятныя. Такъ что въ концѣ-концовъ, не смотря на всѣ прекрасные совѣты и указанія, я былъ вполне предоставленъ самому себѣ, какъ будто никакихъ совѣтовъ и указаній мнѣ никогда никто не давалъ. Книга Спенсера очень напомнила мнѣ образъ дѣйствія моего руководителя. Разница только въ томъ, что вмѣсто того расположенія ко мнѣ, которымъ былъ проникнутъ мой яко бы руководитель, Спенсеръ обдастъ меня глубочайшимъ презрѣніемъ. Читатель, надѣюсь, согласится со мной, прочитавъ тѣ нѣсколько комментариевъ къ книгѣ Спенсера, которые я намѣренъ сдѣлать.

«Сидя въ деревенской пивной, съ трубкой въ зубахъ, рабочий съ полною опредѣленностью высказывается о томъ, что слѣдовало бы предпринять парламенту относительно foot and mouth disease» (особая болѣзнь рогатаго скота, недавно появившаяся въ Англіи). Такъ начинается первая глава книги Спенсера: «Почему оно (изученіе соціологіи) намъ нужно». Затѣмъ идетъ, какъ это всегда бываетъ у Спенсера, рядъ подобныхъ же примѣровъ опредѣленности, но вмѣстѣ съ тѣмъ и полнѣйшаго легкомыслія сужденій профановъ о явленіяхъ общественной жизни. Этого рода примѣры разсыпаны и по всей книгѣ. Многіе изъ нихъ чрезвычайно удачно выбраны; но, какъ это опять-таки всегда случается со Спенсеромъ, они подъ конецъ рѣшительно утомляютъ читателя внимательнаго и отвлекаютъ мысль читателя невнимательнаго въ разныя стороны не только безъ нужды, а даже во вредъ дѣлу. Дѣйствительно, въ той массѣ самыхъ разнообразныхъ примѣровъ, какую Спенсеръ всегда выставляетъ въ защиту каждаго изъ своихъ положеній, не мудрено затерять

нитку основной мысли. Многочисленные примѣры, которые должны бы были собственно быть только пояснительными иллюстраціями, получают непропорціональное значеніе, поглощают собою текстъ, мысль. Но хуже всего то, что самъ Спенсеръ, переходя отъ иллюстраціи къ иллюстраціи, часто увлекается за предѣлы собственной задачи и доказываетъ совсѣмъ не то, что желать бы доказать, а нѣчто гораздо болѣе общее и проблематическое. Это—тоже старый грѣхъ Спенсера, но онъ никогда до сихъ поръ не обнаруживался съ такой рѣзкостью какъ въ «Изученіи соціологіи».

Профаны произносятъ обыкновенно весьма самоувѣренно совершенно неосновательныя сужденія о ходѣ общественныхъ дѣлъ. Вотъ первая тема Спенсера. Подъ профанами онъ разумѣетъ не только рабочихъ, толкующихъ о томъ, какъ въ томъ или другомъ случаѣ долженъ поступить парламентъ. Нѣтъ, онъ караетъ и тѣхъ людей науки, которые полагаютъ, что о соціальныхъ явленіяхъ можно трактовать безъ всякой подготовки, и которые однако очень хорошо знаютъ, что въ несравненно болѣе простыхъ областяхъ знанія подготовка требуется, и громадная. Если бы, говоритъ Спенсеръ, мы обратились къ членамъ математическаго общества, которые, посвятивъ себя изученію законовъ количественныхъ отношеній, знаютъ, что, какъ ни просты эти законы по существу, но требуютъ цѣлой жизни для полного ихъ пониманія; если бы мы попросили любого изъ нихъ высказать свое мнѣніе по какому нибудь вопросу общественной политики, то готовность, съ которой онъ сталъ бы отвѣчать, должна бы повидимому привести къ заключенію, что въ тѣхъ случаяхъ, когда факторы явленія такъ многочисленны и такъ перепутаны, самое поверхностное пониманіе людей и вещей можетъ представить достаточныя данныя для правильнаго сужденія. Слѣдуетъ рядъ примѣровъ той осторожности, съ которою люди приступаютъ къ рѣшенію вопросовъ изъ наукъ естественныхъ, и той распушенности, съ которою тѣми же людьми рѣшаются вопросы политическіе. Подобной же критикѣ подвергаются и различныя мѣры, предпринимаемыя государственными людьми безъ всесто-

ронняго изученія той среды и тѣхъ орудій, которыя затроги-
ваются и выдвигаются мѣропріятіемъ. Все это намъ, профанамъ,
какъ нельзя болѣе въ руку. Намъ только и нужно, чтобы люди
науки и люди государственные попристальнѣ занялись обще-
ственными дѣлами. Если мы и рѣшаемся смѣть свое сужденіе
имѣть, то вѣдь пока не существовали, какъ науки, физика, хи-
мія, физиологія, мы и въ этихъ сферахъ рѣшались выражать
свои мнѣнія и конечно часто совершенно неосновательныя, но
какъ только наука явилась, мы умолкли и стали прислушиваться
къ ея голосу: пусть явится соціологія, со всѣми импозантными
признаками науки, и мы замолчимъ. Такъ что намъ пока не
приходится претендовать на Спенсера. Но къ сожаелѣнію, увле-
ченный рядомъ своихъ иллюстрацій, онъ заходитъ уже слиш-
комъ далеко. Желая показать, что изученіе фактовъ социальныхъ
сопряжено даже съ гораздо большими трудностями, чѣмъ какія
представляются въ области математики и естествознанія, желая
дать понятіе о трудности задачи соціолога, онъ готовъ отчасти
даже самую задачу похѣрить. Онъ удивляется, «какимъ обра-
зомъ кто нибудь, а тѣмъ болѣе человѣкъ научно образованный,
можетъ думать, что спеціальныя результаты спеціальныхъ поли-
тическихъ дѣйствій могутъ быть вычислены, когда онъ видитъ
необычайную сложность вліяній, отъ которыхъ зависитъ разви-
тіе, жизнь и смерть каждаго человѣка, а тѣмъ болѣе каждаго
общества» (21). Еще рѣзче говорить онъ о «крайней сложности
соціальныхъ явленій и проистекающей отсюда трудности поло-
житься на *какіе либо* заранѣе вычисленные результаты» (24).
Одна группа его примѣровъ завершается такимъ выводомъ: «какъ
бы мы ни разсматривали происхожденіе общественныхъ явленій,
мы всегда увидимъ, что спеціальныя цѣли, которыхъ ожидали
и къ которымъ приготавлиались, были достигнуты только вре-
менно или совсѣмъ не были достигнуты, между тѣмъ какъ из-
мѣненія, происшедшія въ дѣйствительности, возникли изъ при-
чинъ, самое существованіе которыхъ было неизвѣстно» (21).
Надо замѣтить, что примѣры, изъ которыхъ слѣдуетъ этотъ
выводъ, подобраны не совсѣмъ хорошо. Я приведу только одинъ.

Въ домахъ умалишенныхъ принято замѣнять слабый внутренний контроль паціентовъ усиленнымъ наружнымъ, и однако, говорить Спенсеръ: «система нестѣсненія» имѣла гораздо большій успѣхъ, чѣмъ система сумасшедшихъ рубахъ. Одинъ врачъ, «обладающій большою опытностью въ леченіи умалишенныхъ, недавно засвидѣтельствовалъ, что у помѣшанныхъ желаніе бѣжать бываетъ очень сильно, когда употребляютъ замки и ключи, но почти исчезаетъ, когда ихъ не употребляютъ, и мѣра, состоящая въ уничтоженіи замковъ и ключей, въ 95 случаяхъ изъ 100 имѣла полный успѣхъ». Это одно изъ доказательствъ «вреда, часто причиняемаго мѣрами, которыя считаются полезными». Что мѣры, признаваемые полезными, часто оказываются вредными, это конечно очень справедливо, но нельзя изъ этого выводиться заключеніе, что всякая мѣра *всегда* (мы всегда увидимъ, говорить Спенсеръ) нецѣлесообразна и что результаты ея не подлежатъ никакому вычисленію. Достаточно указать на мѣру, принятую психіатромъ, о которомъ упоминаетъ Спенсеръ. Наблюденіе этого врача конечно подлежитъ провѣркѣ, но если оно подтвердится, то вотъ и цѣлесообразная мѣра съ напередъ вычисленными результатами: не употребляйте ключей и замковъ въ домахъ умалишенныхъ и изъ 100 паціентовъ только 5 сдѣлаютъ попытку бѣжать. Положимъ, что это — только отрицательное указаніе, но нетрудно видѣть, что выводъ Спенсера все-таки слишкомъ рѣзокъ и огуленъ. Вѣдь много можно найти и въ исторіи признанной науки примѣровъ понятій, которыя нѣкогда считались истинными и затѣмъ оказались ложными. Изъ этого не слѣдуетъ однако, что надо отказаться отъ истины, да отказаться и невозможно. Такъ-то и тутъ: люди совершаютъ очень много дѣйствій, въ расчетъ на ихъ полезные результаты, и ошибаются, получаютъ результаты вредные, но перестать дѣйствовать все-таки нельзя, это значитъ перестать жить. Еслибы Спенсеръ ограничился только нападками на скороспѣлыя рѣшенія, завѣдомо необдуманная дѣйствія и излишнее регламентаторство въ области политики, то онъ былъ бы тысячу разъ правъ. Но онъ дѣлаетъ больше, онъ подрываетъ всякую

возможность введенія науки въ область практики, потому что наука значить предвидѣніе, и тамъ гдѣ предвидѣніе невозможно, невозможно и наука. Правда, въ двухъ слѣдующихъ главахъ («Существуетъ ли соціальная наука?» и «Характеръ соціальной науки») Спенсеръ утверждаетъ, что хотя соціальная наука и не существуетъ, но вполне возможна, и что вышеприведенныя его замѣчанія относятся именно только къ специальнымъ дѣйствіямъ политическихъ причинъ, которыя предвидѣть дѣйствительно невозможно. Онъ полагаетъ, что случайности исторіи не могутъ составить предмета науки, но существуетъ классъ явленій болѣе общихъ, изслѣдованіе которыхъ можетъ дать вполне опредѣленную группу научныхъ истинъ. Во всякомъ случаѣ руководить практикой, указывать намъ, профанамъ, способы достиженія различныхъ жизненныхъ цѣлей наука, въ лицѣ Спенсера, отказывается и признаетъ подобнаго рода указанія даже невозможными. Спенсеръ почти готовъ допустить, какъ принципъ, что, какъ человѣкъ ни умудрится, какъ ни расчитываетъ, а результаты его дѣйствій непременно будутъ представлять нѣчто совершенно противоположное его намѣреніямъ. Такое безусловное недовѣріе къ силамъ человѣческаго разума Спенсеръ обнаруживаетъ не въ первый разъ. Въ «Соціальной статикѣ» онъ указывалъ на запрещенія браковъ между бѣдными, результаты которыхъ выразились множествомъ незаконныхъ рожденій, на мѣры противъ торговли неграми, которыя повели къ разнымъ варварскимъ ухищреніямъ торговцевъ и проч. Онъ приводилъ цѣлый рядъ примѣровъ въ подтвержденіе той же мысли, что развивается въ «Изученіи соціологіи», а самую мысль въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ выражалъ даже рѣзче. Такъ Спенсеръ изъ всѣхъ силъ громилъ людей, имѣющихъ дерзость «критиковать божій міръ съ точки зрѣнія своего кусочка мозга», стремящихся «поправлять ошибки Всевѣдущаго» и вмѣшивающихся въ «гигантскій планъ», которымъ Богъ ведетъ насъ къ счастью. Презрѣніе къ суетливости и самоувѣренности профановъ заставило его въ «Соціальной статикѣ» сдѣлать такое напряженіе ума, что ему удалось даже отчасти предвосхитить тео-

рію Дарвина («Статика» вышла въ 1850 г.). Именно онъ говорилъ, что «во всей природѣ дѣйствуетъ строгая дисциплина, которая, хотя нѣсколько жестока, но за то весьма благотѣльна». Онъ указывалъ на безпощадную борьбу за существованіе («всеобщее взаимное преслѣдованіе»), царящую въ природѣ и уничтожающую слабыхъ, старыхъ, неловкихъ, и тѣмъ самымъ предохраняющую расу отъ ухудшенія. Онъ указывалъ отчасти и на половой подборъ, приводящій столь же жестокимъ путемъ къ столь же благотѣльнымъ послѣдствіямъ. Исходя отсюда, онъ требовалъ уничтоженія всякой опеки надъ слабыми членами общества и доходилъ даже до отрицанія всѣхъ санитарныхъ мѣръ. Онъ желалъ, чтобы мы, профаны, были вполне представлены своему невѣжеству и выкарабкивались изъ него, какъ сами знаемъ, ибо дескать неисчислимы пагубныя послѣдствія той рьяной заботливости о грубыхъ, невѣжественныхъ профанахъ, которою будто бы преисполнено современное общество. «Становиться между невѣжествомъ и его естественными послѣдствіями, говорилъ Спенсеръ,—значить изъявлять слишкомъ большія претензіи и мечтать превзойти благостью самого Бога».

Въ «Изученіи соціологіи» отношеніе его къ практикѣ осталось то же самое. Онъ все такъ же не вѣритъ въ возможность предвидѣть послѣдствія даже самыхъ маловажныхъ практическихъ шаговъ. Но чѣмъ же мотивируется это невѣріе, если отброшена мысль, что самимъ Богомъ, ради счастья человѣчества, предписаны извѣстныя страданія, которыя поэтому не должно пытаться устранить? Въ наиболѣе опредѣленной формѣ отвѣтъ на этотъ вопросъ данъ Спенсеромъ на стр. 29 перваго тома: «Вѣроятно, говоритъ онъ,—что въ соціологіи, какъ и въ біологіи, накопленіе фактовъ, болѣе критическое ихъ сопоставленіе и выводы, сдѣланные при помощи научныхъ методовъ, будутъ сопровождаться возрастающимъ сомнѣніемъ въ выгодахъ, которыхъ можно достигнуть той или другой мѣрой, и возрастающимъ опасеніемъ за неблагопріятныя послѣдствія, которыя могутъ быть вызваны этими мѣрами. Вѣроятно, что названное для индивидуальнаго организма не совсѣмъ точно, хотя и довольно

удачно *vis medicatrix naturae* (цѣлебная сила природы), будетъ найдено въ аналогичной формѣ и въ общественномъ организмѣ». Вотъ значить на что надо возложить всѣ надежды. Но, сколько мнѣ извѣстно, *vis medicatrix naturae* никогда не играла скольконибудь существенной роли въ наукѣ объ индивидуальномъ организмѣ, хотя безъ сомнѣнія очень часто повторялись и повторяются слова: надо предоставить организмъ самому себѣ. На дѣлѣ даже люди, совершенно отрицающіе медицину, требуютъ не того, чтобы больной организмъ былъ предоставленъ собственнымъ силамъ, а того, чтобы онъ былъ перенесенъ въ другую среду или чтобы окружающія его условія были измѣнены. Какъ бы однако тамъ ни было съ *vis medicatrix naturae* въ ученіи объ индивидуальномъ организмѣ, ея значеніе въ социологіи осложняется тѣмъ, что проявляться она можетъ только при посредствѣ личностей, личности же дѣйствуютъ по извѣстному плану, цѣлесообразно, и такимъ образомъ мы отброшены все-таки къ первоначальной задачѣ, къ вопросу о томъ: могутъ ли быть предвидимы результаты нашихъ дѣйствій? Значить *vis medicatrix naturae* намъ ни на волосъ не помогла. Это намъ совершенно уяснится, если мы ближе взглянемъ въ какойнибудь изъ многочисленныхъ примѣровъ, приводимыхъ Спенсеромъ въ доказательство несостоятельности человѣческаго разума въ практикѣ. «Желаніе уничтожить или уменьшить какое-нибудь зло, говоритъ Спенсеръ,—часто ведетъ къ необдуманнѣйшимъ поступкамъ, что видно напримѣръ изъ послѣдствій, съ какою стараются поднять упавшаго человѣка: какъ будто очень опасно оставить его лежащимъ и нисколько не опасно неосторожно поднять его» (I, 28). Итакъ люди до такой степени неспособны предвидѣть послѣдствія своихъ поступковъ, что даже въ такихъ простыхъ случаяхъ, какъ паденіе человѣка, не смотря на всѣ благія намѣренія, только пакостятъ своему ближнему. Хорошо. Но передъ нами стоитъ все-таки указанный и разъясненный фактъ нашего неблагоразумнаго поведенія. Нельзя ли утилизировать его разъясненіе? Нельзя ли воспитывать людей такимъ образомъ, чтобы они не спѣшили поднимать упавшаго

человѣка? Можетъ быть и можно, но послѣдовательный скептикъ не имѣетъ права останавливаться на этомъ положительномъ рѣшеніи. И надо правду сказать, скептицизмъ его въ этомъ отношеніи можетъ имѣть весьма серьезныя основанія. Еслибы я обладалъ терпѣніемъ въ подборѣ доказательствъ, талантомъ и эрудиціей Спенсера, я безъ особеннаго труда доказалъ бы, что устраненіе поспѣшности, съ которою люди бросаются поднять упавшаго человѣка, можетъ имѣть самыя гибельныя послѣдствія. Я бы закончилъ свое разсужденіе слѣдующей иронической фразой: какъ будто очень опасно неосторожно поднять человѣка и какъ будто нисколько не опасно заглушить въ людяхъ систематическимъ воспитаніемъ драгоценнѣйшій изъ ихъ инстинктовъ — инстинктъ сочувствія къ несчастію ближняго! Дѣйствительно, послѣдовательному скептику, знающему, что самыя повидимому ничтожныя причины производятъ иногда прямыя или косвенныя слѣдствія громадной важности, такому скептику очевидно не приходится пропускать безъ протеста предложенный проектъ воспитанія. Это вѣдь — тоже *мѣра* и можетъ быть похуже многихъ. Теперь введемъ въ наше разсужденіе спасительную *vis medicatrix naturae*. Очевидно она можетъ на занимающемъ насъ пунктѣ дѣйствовать только двоякимъ образомъ: либо оставляя поспѣшность, съ которою люди бросаются и проч., на мѣстѣ, либо устраняя ее. Иного исхода нѣтъ, а оба эти исхода нами забракованы. Что же такое эта *vis medicatrix naturae*, какъ не совсѣмъ ненужная, ничего не объясняющая, никому непомогающая съ боку припека?

Одно дѣло говорить намъ, профанамъ, что всѣ мѣры, направленныя къ хорошему, ведутъ собственно къ худу, и другое дѣло самому послѣдовательно держаться вѣры во всемогущую *vis medicatrix naturae*. Отрицать, отрицать и только отрицать возможность предвидѣнія результатовъ нашихъ дѣйствій на словахъ конечно можно, но очень трудно устроить всѣ свои отрицанія такъ, чтобы изъ-за нихъ не выглядывало никакого положенія. Спенсеръ написалъ книгу, т. е. совершилъ нѣкоторое положительное дѣйствіе. Зачѣмъ онъ его совершилъ, когда по-

добно всѣмъ другимъ людямъ онъ не въ состояніи предвидѣть, какія послѣдствія могутъ произтечь изъ изданія его книги? Этотъ наиболѣе общій упрекъ въ непослѣдовательности, какой только можетъ быть сдѣланъ Спенсеру, я пока только ставлю, отлагая его разсмотрѣніе до конца главы. Теперь оти́чу кое-какія частности.

Въ главѣ «Біологическая подготовка» читатель найдетъ громы, во многихъ отношеніяхъ справедливыя, противъ филантропіи, которую впрочемъ Спенсеръ понимаетъ черезчуръ широко. Между прочимъ онъ ратуетъ противъ невниманія къ тѣмъ фактамъ, что «физическія качества общества понижаются отъ искусственнаго предохраненія слабѣйшихъ членовъ его» и что и «нравственныя и умственныя качества общества понижаются вълѣдствіе искусственнаго сохраненія индивидуумовъ, менѣе другихъ способныхъ заботиться о самихъ себѣ.» Спенсеръ утверждаетъ, что устраненіе извѣстныхъ затрудненій и опасностей, съ которыми нужно бороться посредствомъ ума и дѣятельности, имѣетъ самыя губительныя послѣдствія. Впервыхъ такое устраненіе ведетъ къ пониженію способности бороться съ затрудненіями вообще, каковое пониженіе закрѣпляется путемъ наслѣдственной передачи. Но этимъ еще не исчерпывается все зло. «Эти члены населенія, незаботящіеся о самихъ себѣ, неизбежно налагаютъ на другихъ лишній трудъ доставленія имъ необходимыхъ средствъ къ жизни или трудъ надлежащаго надблюденія надъ ними, или и того и другого вмѣстѣ. Такимъ образомъ лучшіе члены населенія принуждены работать сверхъ своихъ силъ, потому что на нихъ лежитъ, кромѣ заботы о самихъ себѣ и своихъ дѣлахъ, еще и забота о сохраненіи худшихъ членовъ общества и ихъ потомства» (II, 518). Это хорошо сказано—умно и справедливо. Мы, профаны, давно ужъ замѣчаемъ, что многое въ жизни оттого неладно идетъ, что на долю нѣкоторыхъ выпадаетъ ужъ слишкомъ много затрудненій и опасностей, а на долю другихъ слишкомъ ужъ мало, такъ что они совершенно неспособны заботиться сами о себѣ. Вотъ только любопытно было бы узнать, кого именно Спенсеръ

разумѣть подѣ «слабѣйшими», «негодными», «неспособными»? Собственно говоря, въ этомъ все дѣло.

Обратитесь теперь, читатель, къ стр. 455 книги Спенсера. Желая доказать лишній разъ свою завытную мысль о неспособности людей къ предвидѣнію политическихъ фактовъ, Спенсеръ утверждаетъ, что даже въ обыденной жизни на каждомъ шагѣ вы чувствуете, какъ мало работаютъ люди головой. Доказательства свои онъ представляетъ въ видѣ разсказа о примѣрномъ времяпровожденіи цивилизованнаго человѣка въ теченіе дня. Мистеръ Спенсеръ просыпается и одѣваясь беретъ склянку съ укрѣпляющимъ лекарствомъ, которое ему предписано въ маленькихъ дозахъ. Но только-что онъ отсчиталъ нѣсколько капель, какъ слѣдующія начинаютъ течь по бокамъ склянки, вслѣдствіе дурного устройства горлышка. Кое-какъ справившись съ этимъ неудобствомъ, мистеръ Спенсеръ беретъ въ руки зеркало, желая придать своей физиономіи вполнѣ приличный джентельмену видъ. Оказывается, что зеркало никакъ нельзя удержать въ томъ положеніи, какое нужно мистеру Спенсеру! Онъ беретъ другое зеркало изъ своего несесера и удовлетворяется, хотя все-таки замѣчаетъ, что и это зеркало недостаточно цѣлесообразно устроено. Идетъ мистеръ Спенсеръ завтракать, спрашиваетъ себѣ рыбы и къ ней сои,—съ бутылкой сои повторяется та же непріятная исторія — сконапелъ истоаръ — что съ аптекарской склянкой: соя припадаетъ къ рукамъ и пачкаетъ скатерть! Чортъ знаетъ, что такое! Но это еще не конецъ. Мистеръ Спенсеръ позавтракавъ, беретъ газету и садится къ камину. Въ каминѣ мало угля. Мистеръ Спенсеръ хочетъ прибавить нѣсколько кусковъ угля, но съ ними ему «приходится бороться довольно долго», потому что каминные щипцы дурно дѣлаютъ свое дѣло. Наконецъ каминъ готовъ, и мистеръ Спенсеръ начинаетъ читать. Но не успѣвъ онъ еще докончить даже перваго столбца газеты, какъ ему пришлось нѣсколько разъ мѣнять положеніе своего тѣла и онъ «невольно приходитъ къ мысли, что люди до сихъ поръ еще не умѣютъ дѣлать удобныхъ креселъ!»

Разсказавъ эту печальную повѣсть, Спенсеръ меланхолически

заключаетъ: «Таковы впечатлѣнія, доставляемыя первымъ часомъ вашего дня; но и во все продолженіе его повторяется то же». Ужасно! Какъ только еще живы люди, вынужденные выносить изъ-за людской глупости цѣлый день столь невѣроятныя безпокойства и мученія! А какъ подумаешь о времяпровожденіи тоже очень цивилизованныхъ джентльменовъ въ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ Россійской имперіи, какъ подумаешь въ какомъ видѣ имъ подають рыбу и сою... Да что! Я навѣрно знаю, что даже не во всѣхъ петербургскихъ ресторанахъ подають грѣтыя тарелки: жиръ стынетъ, осѣдаетъ на губахъ... брр!.. Но вполнѣ понимая, что мистеръ Спенсеръ и всякій другой цивилизованный человѣкъ очень много страдаетъ отъ того, что люди глупы и невѣжественны, я не могу однако заглушить нѣкоторыя недоумѣнія, возбуждаемыя во мнѣ его разсказомъ о ежедневныхъ мукахъ цивилизованнаго человѣка. Вся эта бутада мистера Спенсера представляетъ не простое отрицаніе способности людей къ цѣлесообразной дѣятельности; она содержитъ въ себѣ нѣчто положительное, именно требованіе хорошаго устройства аптекарскихъ склянокъ, ручныхъ зеркалъ, каминныхъ щипцовъ и креселъ. Спенсеръ даетъ даже нѣкоторыя указанія, что именно надо сдѣлать со щипцами, зеркалами и креслами, чтобы сдѣлать ихъ удобными. Со стороны всякаго другого человѣка заявленіе подобныхъ требованій не представляло бы ничего незаконнаго. Въ самомъ дѣлѣ, отчего же не пожелать хорошей обстановки и множества мелкихъ житейскихъ удобствъ. Но можетъ ли Спенсеръ поручиться за благопріятность всѣхъ послѣдствій улучшенія аптекарскихъ склянокъ, зеркалъ, щипцовъ, креселъ и проч.? Я думаю, что нѣтъ. Впервыхъ по тому общему соображенію, положенному въ основаніе всей книги Спенсера, что «спеціальныя цѣли, которыхъ ожидали и къ которымъ приготавливались, достигаются только временно или совсѣмъ не достигаются, между тѣмъ какъ измѣненія, происходящія въ дѣйствительности, возникаютъ изъ причинъ, самое существованіе которыхъ было неизвѣстно». Значить негодованіе Спенсера на людскую глупость и его проекты превосходнаго устройства щипцовъ и креселъ по

малой мѣрѣ столь же нецѣлесообразны, какъ и критик умышленнѣйшій дѣйствія грубыхъ, невѣжественныхъ профановъ. Но положимъ, что, благодаря крайней простотѣ и ясности критическихъ замѣчаній Спенсера, голосъ его не будетъ гласомъ вопіющаго въ пустынь, профаны его послушаются и станутъ дѣлать внутреннюю поверхность щипцовъ шероховатою, ручныя зеркала устроить такъ, чтобы центръ тяжести приходился по срединѣ линіи, соединяющей точки опоры, и проч. Положимъ, что цивилизованный человѣкъ вслѣдствіе подобныхъ реформъ избавится отъ множества мелкихъ непріятностей обыденной жизни. Но каковы будутъ болѣе отдаленныя послѣдствія этого улучшенія? Они могутъ оказаться, смѣю думать на основаніи соображеній самого Спенсера, весьма гибельными для человѣчества. Изъ описанія неудачнаго дня цивилизованнаго человѣка можно усмотрѣть только одну черту его организаціи: онъ принимаетъ утромъ укрѣпляющее лекарство, онъ значитъ слабъ, онъ одинъ изъ тѣхъ слабѣйшихъ членовъ общества, искусственное поддержаніе существованія которыхъ тѣмъ гибельнѣе, что они могутъ передать дурныя качества своей организаціи цѣлому ряду потомковъ. А между тѣмъ проектированными реформами ~~этому~~ **этому** слабому, «негодному» человѣку гарантируются мельчайшія подробности безпечальнаго существованія; у него отнимаются даже такіе поводы къ борьбѣ съ препятствіями, какъ неудобно захватываемые щипцами куски угля. Во что же съ теченіемъ времени обратится въ немъ самъ и его потомка съ способностью самодѣятельности, способность заботиться о себѣ? Какимъ бременемъ ляжетъ онъ съ своимъ потомствомъ на «лучшихъ членовъ общества»? Хорошо еще, еслибы такой человѣкъ былъ единственнымъ въ своемъ родѣ экземпляромъ. Хорошо еще, еслибы имъ былъ именно самъ мистеръ Спенсеръ. — Онъ двигаетъ впередъ науку, удѣляетъ намъ, хотя и съ презрительной миной, кой-какія крохи отъ своей роскошной умственной трапезы, такъ что мы готовы ему сказать: живи! живи, хотя бы съ помощью укрѣпляющаго лекарства, потому что если ты и произведешь не совсѣмъ здоровое потомство и примешь такимъ образомъ дѣятельное участіе въ пониженіи расы, то от-

платишь намъ съ лихвой разливаемымъ тобой умственнымъ свѣтомъ; живи! мы тебѣ и пипцы и кресла и зеркало по твоимъ желаніямъ устроимъ. Но вѣдь улучшенными пипцами, креслами и аптекарскими стеклянками будутъ пользоваться не только Спенсеры, а и всякая, съ позволенія сказать, сволочь, которая станетъ, благодаря такой заботливости о ея удобствахъ, еще болѣе негодною...

Читатель надѣюсь понимаетъ, что, не смотря на шуточный тонъ мои замѣчанія совершенно серьезны. Поговорите съ любымъ русскимъ заводчикомъ. Онъ вамъ навѣрное скажетъ, что всякія правительственныя мѣры, направленныя къ благу фабричныхъ рабочихъ, каковы напримѣръ установленіе нормальнаго рабочаго дня, запрещеніе малолѣтнимъ работать и т. п., ведутъ вовсе не къ благу, а къ худу. Онъ вамъ наговоритъ весьма много хорошихъ словъ о вредѣ правительственной опеки, о необходимости предоставить рабочаго, ради его собственныхъ интересовъ, самому себѣ, а чего добраго скажетъ вѣчто и объ ухудшеніи расы путемъ поддержки людей непредусмотрительныхъ и неспособныхъ къ самостоятельности. Если же вы заговорите съ нимъ о русской торговой политикѣ, онъ почти навѣрное скажетъ вамъ, что хотя дескать жить теперь можно, но все-таки надо бы повысить пошлины на заграничные товары. Другими словами онъ потребуетъ себѣ того же покровительства, той же опеки, которыя отрицаются имъ по отношенію къ рабочимъ. Это спеціальнѣйшій случай. Но возьмите разсужденія болѣе общаго характера. Спенсеръ не первый и не послѣдній конечно говорить о вредѣ филантропіи, причемъ не первый и не послѣдній разумѣетъ подъ филантропіей кучу весьма несходныхъ между собою вещей. Тутъ есть и милостыня, подаваемая ради спасенія души на томъ свѣтѣ, и филантропія въ узкомъ смыслѣ слова, благотворительность, *bienfaisance*, и наконецъ всякія мѣры, направленныя къ нѣкоторому огражденію карасей отъ аппетита шукъ. Все это объединяется въ понятіи вредной, искусственной поддержки слабыхъ и негодныхъ. Между тѣмъ эти люди, такъ заботящіеся о высокомъ уровнѣ чело-вѣческой породы, подчасъ сами только въ томъ и сильны, на

то только и годны, чтобы толковать о вредѣ огражденія слабыхъ и негодныхъ отъ естественной гибели. Это однако не мѣшаетъ имъ, слабѣйшимъ и негоднѣйшимъ (я не о Спенсерѣ лично говорю), требовать такого порядка вещей, который посылалъ бы имъ жереныхъ рябчиковъ въ ротъ. Они говорятъ: не становитесь между невѣжествомъ и его естественнымъ наказаніемъ—страданіемъ; пусть гибнутъ невѣжды, пусть гибнутъ всѣ слабые, потому что какъ же они, черти, даже не могутъ намъ порядочныхъ склянокъ, зеркалъ, щипцовъ, креселъ и жареныхъ рябчиковъ подать! Имъ повидимому и въ голову не приходитъ, что если бы имъ, защитникамъ человѣческаго достоинства, сами валились въ ротъ жареные рябчики, то для нихъ не оставалось бы иного занятія, какъ рожать дѣтей, наследственно неспособныхъ бороться даже съ ничтожнѣйшими препятствіями. А за этимъ слѣдовало бы ужъ разумѣться не повышение уровня физическихъ, умственныхъ и нравственныхъ силъ человѣческой породы.

Въ сущности скептицизмъ Спенсера относительно возможности какихъ бы то ни было цѣлесообразныхъ политическихъ мѣръ имѣетъ крайне смутный характеръ. Какъ и слѣдовало ожидать, онъ очень часто разсуждаетъ о практическихъ дѣлахъ совершенно также, какъ и всѣ мы грѣшныя, т. е. предлагаетъ отмѣнить то-то и то-то и ввести то-то и то-то, мотивируя свои предложенія требованіями справедливости и возможностью осуществленія. Въ одномъ мѣстѣ онъ даже прямо говоритъ: «Когда недостойные тѣмъ или другимъ способомъ, прямо или косвенно лишаютъ достойныхъ принадлежащаго имъ по праву или мѣшаютъ имъ спокойно преслѣдовать свои цѣли, тогда естественно можетъ явиться требованіе: вмѣшайтесь поскорѣе и будьте на дѣлѣ защитниками, которыми считаетесь по имени» (528). Зачѣмъ же было столь много и рѣзко говорить о неспособности людей предвидѣть результаты вмѣшательства въ ходъ политическихъ дѣлъ? Значитъ бывають же такіе случаи, когда можно и должно дѣйствовать политически, не полагаясь на таинственную *vis mediatrix naturae*. Надо только знать, кто именно недостойные и достойные, въ чемъ состоитъ право, по которому нѣчто кому-

нибудь принадлежить, въ чемъ состоятъ прямые и косвенные способы лишенія достойныхъ чего нибудь, принадлежащаго имъ по праву, какъ помѣшать недостойнымъ посягать на права достойныхъ. Къ сожалѣнію Спенсеръ самъ для себя закрылъ пути, ведущіе къ разрѣшенію значительной части этихъ вопросовъ, потому что въ концѣ-концовъ онъ все-таки отрицаетъ возможность предвидѣть послѣдствія той или другой политической мѣры; скептицизмъ этотъ безъ сомнѣнія повелъ и къ тому, что онъ оставилъ безъ разсмотрѣнія и всѣ сопредѣльные вопросы. Это конечно резонно. Если я вполнѣ увѣренъ, что нѣтъ никакой возможности ни при какихъ обстоятельствахъ придумать и провести мѣру, которая укротила бы недостойныхъ, то какая мнѣ надобность разсуждать объ томъ, кто именно эти недостойные? Но можетъ быть матеріаловъ для отвѣта на всѣ эти вопросы слѣдуетъ искать тамъ, гдѣ Спенсеръ толкуетъ объ общихъ соціологическихъ истинахъ, въ частяхъ его сочиненія, трактующихъ о теоретической сторонѣ науки, которая одна, какъ Спенсеръ и предупреждалъ, только и заслуживаетъ названія науки. Обратимся туда.

Тамъ насъ ждетъ однако не меньшее число двусмысленностей и противорѣчій. По истинѣ удивленія достойно, какъ такой крупный умъ, обладающій громадной эрудиціей, навывкшій къ умственнымъ операціямъ въ самыхъ разнообразныхъ областяхъ знанія, можетъ оказаться до такой степени безсильнымъ, лишь только рѣчь зайдетъ о явленіяхъ общественной жизни. Спенсеръ писалъ довольно много по соціологій, но, за исключеніемъ небольшого, но въ высшей степени замѣчательнаго очерка теоріи народонаселенія въ «Основаніяхъ біологій», все имъ въ этой области написанное полно самыхъ грубыхъ, азбучныхъ, для любого профана очевидныхъ ошибокъ. Я лично впрочемъ чрезвычайно многимъ обязанъ Спенсеру. Я прочиталъ его «Опыты», когда мои взгляды на задачи, предѣлы и методъ соціологій еще не вполнѣ опредѣлились, лучше сказать не сложились въ такой рядъ, который представлялъ бы перспективу, заканчивающуюся истиной. Тутъ-то мнѣ и помогъ Спенсеръ. По прочтеніи его опытовъ мнѣ стало ясно: вотъ какъ *не слѣдуетъ* обращаться

съ социологическимъ матеріаломъ. Это былъ не просто отрицательный выводъ, еще не дающій ничего положительнаго. Нѣтъ, Спенсеръ стоялъ возлѣ самой истины, такъ сказать, уперся въ нее, но уперся... затылкомъ. Мнѣ кажется, что въ такомъ же положеніи по отношенію въ истинѣ Спенсеръ находится и въ «Изученіи социологіи» и, надо думать, останется и въ «Основаніяхъ социологіи», надъ которыми онъ теперь работаетъ.

«Едва ли, говоритъ Спенсеръ, кто-нибудь можетъ изучать социологическіе предметы съ тѣмъ же чувствомъ, какъ предметы другого рода. Для точнаго наблюденія и правильныхъ выводовъ необходимо спокойное состояніе духа, которое готово признавать или выводить одну какую-нибудь истину совершенно такъ же, какъ и другую. Но къ истинамъ социологіи почти невозможно относиться такимъ образомъ. Въ изслѣдованіе ихъ каждый вноситъ болѣе или менѣе сильныя чувства, которыя заставляютъ его ревностно искать одного заключенія, забывая о другомъ, съ нимъ несходномъ, заставляютъ уклоняться отъ какого-нибудь иного заключенія, кромѣ того, которое уже извѣстно. И хотя можетъ быть изъ десяти мыслящихъ людей только одинъ сознаетъ, что его сужденіе искажено предубѣжденіемъ, но даже и этотъ одинъ не признаетъ предубѣжденія въ полной мѣрѣ. Правда, что личные чувства мѣшаютъ дѣлу почти во всякой области изслѣдованія; является большею частью какое-нибудь предвзятое понятіе и извѣстная доля самолюбія, которая мѣшаетъ отказаться отъ него. Но особенность социологіи состоитъ въ томъ, что, при изученіи ея фактовъ и выводовъ, личное чувство дѣйствуетъ необыкновенно сильно. Здѣсь непосредственно затрогиваются личные интересы; удовлетворяется или оскорбляется чувство, возникшее изъ этихъ интересовъ; пріятно или непріятно возбуждается другое чувство, которое имѣетъ отношеніе къ существующей формѣ общества... Ни въ какомъ другомъ случаѣ наблюдателю не приходится дѣлать изслѣдованія свойствъ такого агрегата, къ которому онъ самъ принадлежитъ. Его отношеніе къ изучаемымъ фактамъ можно себѣ представить, если сравнить отношеніе одной кліточки, составляющей часть живого тѣла, къ тѣмъ фактамъ, которые представляютъ тѣло, какъ цѣлое. Говоря вообще, жизнь гражданина возможна только при правильномъ исполненіи тѣхъ функций, которыя выпали на его долю, и онъ не можетъ совершенно избавиться отъ понятій и чувствъ, которыя внушаетъ ему эта жизненная связь съ обществомъ. Здѣсь слѣдовательно является трудность, какой не представляетъ никакая другая наука. Мысленно оторваться отъ всѣхъ родственныхъ, національных и гражданскихъ привязанностей; забыть всѣ интересы, предубѣжденія, наклонности, предрассудки, которые порождены въ немъ жизнью его обще-

ства и его времени; смотрѣть на всѣ перемѣны, которыя совершались и совершаются въ обществѣ, безъ малѣйшаго отношенія къ національности, вѣрѣ и къ личному благосостоянію,—*все это такія вещи, на которыя обыкновенный человекъ не способенъ вовсе, а человекъ исключительный способенъ только въ очень несовершенной степени.* (Объ изученіи социологіи. I, 109).

Совершенно подобныя мысли читатель найдетъ на стр. 124, 127, 175, 255, а также во многихъ мѣстахъ второго тома, выраженными въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ еще рѣзче. Эти-то часто повторяемыя Спенсеромъ слова безъ сомнѣнія и навели г. Гольдсмита на мысль, что Спенсеръ пробиваетъ объективной истинѣ дорогу даже туда, куда доступъ ей загражденъ условіями человѣческой природы. Но вѣдь это легко сказать: пробиваетъ!

Представляю на усмотрѣніе читателя слѣдующее краткое разсужденіе: желудокъ человѣческій неспособенъ переваривать камни; хотя и существуетъ кажется въ Африкѣ племя, питающееся отчасти комочками глины, но даже и оно не можетъ ими питаться исключительно. Спрашивается, въ виду этого разсужденія, имѣлъ-ли бы я право убѣждать кого-нибудь: а вы все-таки постарайтесь питаться камнями! Казалось бы нѣтъ. А между тѣмъ Спенсеръ дѣлаетъ нѣчто именно въ этомъ родѣ. Онъ многократно увѣряетъ читателя, что даже исключительный человекъ не можетъ, разсуждая о явленіяхъ социологическихъ, оторваться отъ симпатій и антипатій, отъ всѣхъ почему-нибудь близкихъ ему интересовъ и только *познавать*, что онъ не можетъ этого сдѣлать не по какой-нибудь частной, второстепенной, устранимой причинѣ, а по самой природѣ своихъ отношеній къ общественнымъ явленіямъ. И столь же многократно тотъ же самый Спенсеръ совѣтуетъ остерегаться вліянія симпатій и антипатій, устранять ихъ, забывать всякіе общественные и личные интересы и только познавать. Да какъ же это сдѣлать, если оно невозможно? Когда Спенсеръ указываетъ, какъ на причину заблужденій, на безсознательное смѣшеніе наблюденія съ выводомъ (139) или совѣтуетъ, при изученіи историческихъ фактовъ, обращаться къ подлиннымъ источникамъ (166) и т. п.,

онъ даетъ очень дѣльные совѣты и пишетъ прекрасныя страницы (каковыхъ въ отдѣльности въ книгѣ не мало). Но только развѣ г. Гольдсмитъ, да еще какой-то весьма гордый (ужъ не знаю чѣмъ) г. А. С. въ «Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» могутъ повѣрить, что онъ пробиваетъ дорогу объективной истинѣ въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ предлагаетъ бороться съ тѣмъ, что по его собственному сознанию непреодолимо. Онъ спрашиваетъ читателя: ты можешь ли левіаана на удѣ вытащить на берегъ? и самъ отвѣчаетъ: не можешь, потому то, потому то и потому то, удочка твоя тонкая, достаточно толстой тебѣ взять не откуда, силы у тебя мало, левіаанъ очень тяжелъ и проч. И тутъ же совѣтуетъ: смотри же, какъ закинешь удочку, хорошенько наблюдай за поплавкомъ, да не сразу тащи, какъ клонетъ и проч. Развѣ это серьезный разговоръ? развѣ это наука? Но наука Спенсера имѣетъ еще одну удивительную особенность. Этого мало, что онъ до послѣдней степени неряшливо, даже не пытаясь свести концы съ концами, относится къ возможности для социологіи преодолѣть субъективныя затрудненія. Положимъ, что онъ, именно онъ, Гербертъ Спенсеръ, есть избранный изъ избранныхъ, исключительный изъ исключительныхъ, сосудъ божественной, сверхъ-человѣческой мудрости, единственный на земномъ шарѣ экземпляръ, способный открыть объективную истину тамъ, гдѣ къ ней не могутъ приблизиться даже величайшіе, послѣ него разумѣется, люди. Положимъ, что онъ открылъ какіе-то невѣдомыя, таинственныя путемъ рядъ истинъ, могущихъ составить науку. Остается повидимому желать, чтобы эти истины, если ужъ онѣ не могутъ быть простыми смертными открыты, получили возможно большее распространеніе и вліяніе, тотчасъ вслѣдъ за ихъ открытіемъ. Конечно и это довольно хитро, но разъ мы очутились въ области таинственнаго, со стороны творца науки естественно по крайней мѣрѣ желаніе, чтобы его дѣтище пользовалось почетомъ и вліяніемъ, соответственными его высокому происхожденію и значенію. Жрецъ, вѣрующій или увѣряющій, что онъ получилъ истину непосредственно отъ какого нибудь Юпитера, можетъ скрывать ее ради интере-

*

совъ своей касты, ради того, чтобы держать въ своихъ рукахъ невѣжественную толпу. Турецкій султанъ можетъ не желать распространенія истины, если она подрываетъ окружающій его ореолъ. Но человѣкъ науки только объ томъ и думаетъ, чтобы разлить истину по всему бѣлому свѣту, ему нечего бояться, нечего прятать. И дѣйствительно, въ великихъ двигателяхъ науки всегда почти замѣчается страстное желаніе распространить добытыя ими истины, сдѣлать ихъ по возможности общими достояніемъ. Да и что можетъ быть естественнѣе такого отношенія къ дѣлу? Не такова наука Спенсера. Онъ прямо заявляетъ, что ея распространеніе не только невозможно, — это само собой, — а и нежелательно! Невозможная и нежелательная, такъ сказать, непотребная наука! Профанамъ остается только обратиться въ ряды восклицательныхъ и вопросительныхъ знаковъ передъ такимъ изумительнымъ, небывалымъ явленіемъ.

Спенсеръ исходитъ изъ того положенія, что «характеръ агрегата опредѣляется характеромъ составляющихъ его единицъ» (72), каковое положеніе подтверждается имъ по обыкновенію утомительнымъ множествомъ примѣровъ. Надо замѣтить, что Спенсеръ иногда придаетъ этому положенію такое значеніе, что въ агрегатѣ, скопленіи какихъ-нибудь еденицъ не можетъ обнаружиться новыхъ свойствъ и силъ, т. е. такихъ, которыми не обладали бы составляющія единицы. Это конечно совсѣмъ не вѣрно. Но для насъ важенъ тотъ смыслъ, который Спенсеръ наичаще придаетъ приведенному положенію и на которомъ онъ строитъ сильнѣйшіе бастионы своей соціологической крѣпости. Если даны свойства единицъ, то свойства ихъ агрегата тѣмъ самымъ уже заранѣе опредѣлены; изъ извѣстныхъ единицъ могутъ получиться только извѣстнаго рода агрегаты; отношенія между агрегатомъ и составляющими его единицами постоянны. Вотъ мысль Спенсера. Въ приложеніи къ соціологін она получаетъ такой видъ. Общество есть агрегатъ людей, поэтому должно существовать такое же соотвѣтствіе между обществомъ и его членами, какое вездѣ въ природѣ существуетъ между агрегатомъ и составляющими его единицами. Если даны извѣстныя физическія, умствен-

ныя и нравственные качества какой-нибудь группы людей, то люди эти могут образовать изъ себя далеко не всякую форму общества, а только такую, которая соотвѣтствуетъ ихъ личнымъ свойствамъ. Отсюда слѣдуетъ, что учрежденія, существующія въ какомъ-нибудь обществѣ, непременно соотвѣтствуютъ характеру членовъ общества, степени ихъ совершенства; и было бы напрасною мечтой замѣнять эти учрежденія учреждениями высшаго типа: несовершенные люди не вынесутъ такого бремени благополучія. Все и всегда находится на томъ мѣстѣ и является въ то время, гдѣ и когда ему надлежитъ явиться. Все въ свое время полезно и необходимо, все въ свое время исчезаетъ какъ негодное и невозможное. Это относится не только къ учреждениямъ, а и къ понятіямъ. Извѣстные понятія, будучи сами по себѣ весьма не правильны, тѣмъ не менѣе исполнѣ соотвѣтствуютъ данному состоянію общества и дѣлаютъ полезное и необходимое дѣло.

«Для радикала, говорить Спенсеръ, очевидно, что предразсудки торія не позволяютъ ему видѣть много зла въ настоящемъ и добра въ будущемъ. Для торія не подлежитъ сомнѣнію, что радикалъ не сознаетъ добра, скрытаго въ учрежденіи, которое хочетъ онъ уничтожить, и не умѣетъ понять зла, которое должно произойти отъ перемѣны, предлагаемой имъ. Ни тому, ни другому не приходится въ голову, что съо противники играютъ не менѣе полезную роль, чѣмъ онъ самъ. Радикалъ, который носится съ своимъ недостижимымъ идеаломъ, не замѣчаетъ, что энтузіазмъ его способенъ лишь нѣсколько подвинуть вещи впередъ, да и то совѣмъ не въ томъ направленіи, какъ онъ ожидалъ, онъ никакъ не согласится, что тормозящій консерватизмъ торія можетъ имѣть полезное вліяніе. Торій, упрямо отстаивающій старый порядокъ, не въ состояніи видѣть, что послѣдній хорошъ только относительно, и что приверженность къ нему служитъ только охраной противъ преждевременныхъ нововведеній; въ то же время онъ не въ состояніи видѣть въ яромъ антагонизмъ и радужныхъ надеждахъ радикала тѣ силы, безъ которыхъ просредствъ невозможенъ. Такимъ образомъ ни тотъ, ни другой неспособенъ оцѣнить должнымъ образомъ свою роль или роль противника и въ той мѣрѣ, въ какой онъ не понимаетъ ея, онъ теряетъ способность вѣрной оцѣнки социологическихъ явленій» (433).

Но такая способность вѣрной оцѣнки очевидно и не желательна, потому что, оцѣнивъ необходимость торія, радикалъ конечно утратитъ часть своего энтузіазма и радужныхъ надеждъ,

а это силы, безъ которыхъ прогрессъ невозможенъ. Обратно, если торій признаетъ необходимость энтузіазма и радужныхъ надеждъ радикала, онъ перестанетъ быть надежной охраной противъ преждевременныхъ нововведеній, преждевременныхъ, значить вредныхъ, нежелательныхъ. Всѣ заблужденія необходимы и полезны, только истина ненужна и вредна! Это — прямой выводъ изъ разсужденій Спенсера. Но мы имѣемъ и непосредственное его заявленіе въ этомъ смыслѣ:

Я не имѣю намѣренія сказать, что эта господствующая неспособность къ научному пониманію социальныхъ явленій заслуживаетъ сожалѣнія. Какъ замѣчено выше, это явленіе составляетъ часть того необходимаго равновѣсія, какое должно быть между существующими мнѣніями и требуемыми въ настоящее время формами социальной жизни. Для сохраненія равновѣсія въ данной фазѣ человѣческаго характера должны существовать извѣстныя, приспособленныя къ этой фазѣ учрежденія и такой строй мыслей и чувствованій, который находился бы въ достаточной гармоніи съ этими учрежденіями. Следовательно, нѣтъ необходимости желать, чтобы при нынѣшнемъ среднемъ уровнѣ челоѣческой природы распространялись въ массахъ идеи, которыя естественны только при болѣе высокомъ развитіи общества и при болѣе высокомъ типѣ гражданъ, сопровождающемъ такое состояніе общества... Мнѣ кажется, что если въ наше время челоѣкъ, находящійся въ положеніи Гладстона, думаетъ такъ, какъ думаетъ Гладстонъ, то это — фактъ очень желательный. Еслибы у насъ во главѣ управленія государствомъ стоялъ челоѣкъ, у котораго преобладало бы чисто научное пониманіе вещей и который слѣдовательно расходился бы съ нашимъ настоящимъ общественнымъ состояніемъ, послѣдствія по всей вѣроятности были бы вредны и быть можетъ даже гибельны для общества» (593). А Гладстонъ, надо замѣтить, уличался, за страницу передъ этимъ въ томъ, «что онъ чувствуетъ отвращеніе не только къ научному объясненію жизненныхъ и общественныхъ явленій, какъ явленій, подчиненныхъ опредѣленнымъ законамъ, но и къ научному объясненію явленій неорганическаго міра» (592).

До мистера Спенсера очевидно такъ же высоко, какъ до всевѣдущаго и всеблагаго Бога, передъ которымъ все одинаково ничтожно. При томъ же мистеръ Спенсеръ въ Англіи живетъ. Научите же меня, темнаго профана, г. Гольдсмита, или вы, гордый г. А. С., отвѣтите мнѣ на нѣсколько вопросовъ: чему учить, чему научила васъ наука Спенсера? Почему его книга называется «Изученіе социологіи» и почему въ ней совѣтуется при-

нимать при изученіи соціологіи такіа-то и такіа-то предосторожности, когда изученіе соціологіи впервые невозможно, а вторыхъ вредно? Вотъ вы, г. Гольдсмить, объясняете въ предисловіи, что Спенсеръ самымъ рѣшительнымъ образомъ разрушаетъ заблужденія, господствующія среди большинства по отношенію къ критикѣ соціальныхъ явленій. Дѣйствительно, Спенсеръ съ первой же строки обрушивается на какого-то несчастнаго рабочаго, который, сидя въ пивной, самоувѣренно критикуетъ соціальныя явленія, тогда какъ не имѣетъ никакой подготовки. Это такъ. Но ради таинственной покрывала Изиды расскажите мнѣ, зачѣмъ станетъ этотъ рабочій учиться, исправлять свои заблужденія, готовиться къ изученію соціальныхъ явленій; зачѣмъ всѣ разсужденія Спенсера объ «умственной дисциплинѣ», о «біологической подготовкѣ», о «психологической подготовкѣ», когда 1) даже исключительный человѣкъ неспособенъ къ правильному пониманію соціологіи и когда 2) Гладстонъ, не въ пивной сидящій, а стоящій во главѣ государства, весьма полезенъ именно потому, что не имѣетъ никакой научной подготовки? Даже и вообще научная несостоятельность оказывается полезною и необходимою, а о заблужденіяхъ политическихъ и говорить нечего. Необходимы и полезны заблужденія радикала, необходимы и полезны заблужденія торія; полезны были и русскіе аболіціонисты и русскіе крѣпостники; необходима и полезна книга Спенсера; необходимъ и полезенъ г. Гольдсмить, превозносящій эту книгу; необходимъ и полезенъ я, находящій, что книга эта, не смотря на умъ, ученость и остроуміе автора, не стоитъ мѣднаго гроша. Я потому только и осмѣливаюсь выражаться такъ рѣзко, что вполне убѣжденъ въ необходимости и полезности всего, что бы я ни сказалъ. Полезенъ и необходимъ даже тотъ рабочій, который, сидя въ пивной, высказываетъ возмутительно неосновательныя взгляды. Другое дѣло, если бы онъ проповѣдовалъ истину: ну, тогда можетъ быть онъ оказался бы вреднымъ, ибо общество не дожило еще до возможности внимать гласу истины. Истина, наука могутъ оказаться вредными! Вотъ заключеніе, къ которому приходятъ спе-

ціалісты познанаія и къ которому никогда не придетъ мы, профаны, съ своей наивной вѣрой въ науку...

Объясните мнѣ еще, господа, что значить этотъ фатальный refrain, которымъ Спенсеръ заканчиваетъ многія главы своего сочиненія: «Очищая свои заключенія сколько возможно отъ ошибокъ, въ которыя впадаемъ такимъ образомъ, мы должны предоставить окончательное устраненіе этихъ ошибокъ будущему, когда ослабленіе антагонизма между обществами будетъ сопровождаться ослабленіемъ интенсивности этихъ чувствъ» (359). «Отсюда мы должны придти къ заключенію, что препятствіе къ безпристрастнымъ сужденіямъ можетъ уменьшиться лишь по мѣрѣ увеличенія соціальнаго развитія» (362). «Степень преразсудка находится въ извѣстномъ необходимомъ отношеніи къ фазѣ развитія даннаго времени. Онъ можетъ ослабѣвать лишь по мѣрѣ прогрессивнаго движенія общества» (435). Я вамъ скажу, что значить этотъ припѣвъ. Мистеръ Спенсеръ «находится на вершинѣ пирамиды въ числѣ избранниковъ міровой интеллигенціи, а все остальное тамъ внизу, расы, племена, общественные слои и пласты, смуты и катастрофы, вѣковая эксплуатація и кровавые взрывы народныхъ массъ, голодъ и моръ, ужасы пролетаріата, ненависть и ярость нищеты, рабства и отчаянія, — все это представляется ему въ видѣ правильного чертежа съ клѣточками различныхъ цвѣтовъ: синенькими, красненькими, зелененькими... Каждая клѣточка является въ свое время и занимаетъ свое мѣсто, а за ней другая, третья. Мудрець (т. е. все онъ же, мистеръ Спенсеръ) отмѣчаетъ ихъ съ джентльменскимъ спокойствіемъ, а когда кто-нибудь попытается нарушить его позитивный міръ, онъ сейчасъ же ошеломить его возгласомъ: «Sommes nous positivistes, oui ou non?». Эта характеристика принадлежитъ не мнѣ, а г. Боборыкину и относится собственно не къ мистеру Спенсеру, а къ нѣкому Оресту Федоровичу ванъ-деръ-Гильзену, одному изъ дѣйствующихъ лицъ повѣсти «Въ усадьбѣ и на порядкѣ» («Вѣстникъ Европы» № 1-й). Но это — только одна половина морали приведеннаго припѣва. Есть и другая. Пока мистеръ Спенсеръ, сидя на вер-

пики пирамиды, презрительно объясняет намъ, профанамъ, что нашъ радикализмъ и нашъ консерватизмъ сами по себѣ одинаково негѣпы, но все-таки одинаково необходимы и полезны; пока онъ въ своемъ стремленіи къ чистой, объективной истинѣ приходитъ къ заключенію, что истина ненужна, бесполезна и даже вредна, а заблужденіе напротивъ нужно и полезно,—мы, «чернь непросвѣщенная и презираемая имъ», на своихъ плечахъ выносимъ дѣло исторіи, прогресса и—истины. Замѣьте этотъ удивительный результатъ, г. Гольдсмитъ. Пусть самъ Спенсеръ держитъ истину въ рукахъ; это конечно вздоръ, но я готовъ ему повѣрить, во избѣжаніе лишнихъ препирательствъ. Однако вѣдь одна ласточка все-таки весны не дѣлаетъ. Вы, я, Иванъ, Демьянъ, Кузьма, Ерема—все мы, какъ доказываетъ Спенсеръ, изъ его книжки мало чему научимся (я говорю—ровню ничему, если не считать кое-какихъ частныхъ), *не отъ него* значить получить міръ истину. Она явится какъ результатъ социальнаго развитія, каковое развитіе совершается *нами*, нашимъ радикализмомъ и консерватизмомъ, нашими надеждами и страхами, тою негѣпою торопливостью, съ которою мы бросаемся поднимать упавшаго человѣка; тѣми несообразными политическими планами, обсужденіемъ которыхъ мы промежъ себя занимаемся, словомъ всею тою вѣковою работою жизни, работою профановъ, которую Спенсеръ съ высоты яко бы науки оплевываетъ. Зачѣмъ же плевать въ колодезь, на днѣ котораго вѣдомо находится истина? Тоже вѣдь и напиться когда нибудь захочется...

Не смотря на крайне суровое отношеніе Спенсера къ профанамъ, онъ имъ милостиво разрѣшаетъ заблуждаться сколько ихъ душѣ угодно. Будемъ же заблуждаться, т. е. заблуждаться съ точки зрѣнія Спенсера, а по-нашему, по-человѣчески, я готовъ сказать: по-гуманному, —искать удовлетворенія своей познавательной потребности, какова она въ данную минуту.

Соціологія по Спенсеру должна заниматься отношеніями, существующими между членами общества и ихъ агрегатомъ, т. е. обществомъ.

«Начиная съ типовъ людей, образующихъ несвязные и небольшіе общественные агрегаты, такая наука должна показать, кажимъ образомъ личныя качества, качества ума и чувства, препятствуютъ прогрессу агрегации. Она должна объяснить, кажимъ образомъ незначительныя измѣненія въ личной природѣ, происходящія отъ измѣненія условій жизни, дѣлаютъ возможными большіе агрегаты. Она должна прослѣдить на нѣсколько значительныхъ агрегатахъ, регулирующихъ и дѣйствующихъ, возникновеніе общественныхъ отношеній, въ которыя вступаютъ ихъ члены. Она должна указать тѣ болѣе сильныя и продолжительныя общественныя вліянія, которыя, видоизмѣняя характеръ единицъ, облегчаютъ дальнѣйшую агрегацию и дальнѣйшую соотвѣтственную сложность общественнаго строя. Соціальная наука должна указать, какія общія черты, опредѣляемыя общими чертами людей, существуютъ въ обществахъ всевозможныхъ порядковъ и величинъ, начиная отъ самыхъ незначительныхъ и простыхъ и до самыхъ большихъ и цивилизованныхъ; какія менѣе общія черты, отличающія извѣстныя группы обществъ, происходятъ отъ особенностей, отличающихъ извѣстныя расы людей, и какія особенности каждаго общества можно прослѣдить до особенностей отдѣльных членовъ его. Въ каждомъ изъ этихъ случаевъ главными предметами ея изученія должны быть ростъ, развитіе, строеніе и функція общественнаго агрегата, какъ происшедшія вслѣдствіе взаимодѣйствія отдѣльных личностей, природа которыхъ отчасти похожа на природу людей вообще, отчасти на природу родственныхъ расъ, отчасти же имѣетъ совершенно исключительный характеръ» (77).

Вотъ программа, отчетливая и достаточно полная, которую мы готовы признать, но съ однимъ маленькимъ измѣненіемъ. Пусть всѣ пункты ея остаются на мѣстѣ, но пусть центръ тяжести всей программы нѣсколько передвинется. Мы желали бы, чтобы наука занималась не столько тѣмъ, что способствуетъ росту и усложненію общественныхъ агрегатовъ и что препятствуетъ ихъ прогрессу, сколько тѣмъ, какія формы этихъ агрегатовъ болѣе и какія менѣе удовлетворяютъ требованіямъ чело-вѣческой природы или пожалуй какія изъ нихъ способствуютъ матеріальному благосостоянію и духовному росту и развитію составляющихъ агрегатъ единицъ. Пусть Спенсеръ или кто другой изучаетъ всѣ вопросы, которые выставлены въ его программѣ. Но профаны попросили бы людей науки отвѣтить и на ихъ вопросы, научить ихъ тому, чему они хотятъ учиться, удовлетворить ихъ жаждѣ познанія. Кажется въ этомъ желаніи

нѣтъ ничего дерзкаго или чрезвычайнаго. Напротивъ мы обращаемся къ людямъ науки съ полнымъ довѣріемъ къ ихъ силамъ и съ полнымъ уваженіемъ къ ихъ учености. На первый взглядъ предлагаемое нами измѣненіе программы соціологіи совершенно ничтожно. Въ самомъ дѣлѣ не все ли равно спросить: какія измѣненія въ характерѣ единицъ облегчаютъ дальнѣйшую агрегацию и дальнѣйшую соотвѣтственную сложность общественнаго строя? или: какими измѣненіями отзывается на характерѣ единицъ ростъ и усложненіе общественнаго строя? Повидимому эти два вопроса представляютъ только разныя стороны одной и той же задачи. Ихъ можно пожалуй сравнить съ сложеніемъ и вычитаніемъ, которыя взаимно повѣряютъ другъ друга. Здѣсь даже нѣтъ перемѣщенія центра тяжести всей программы, а есть только легкое измѣненіе тона предполагаемаго изслѣдованія. Но вѣдь тонъ дѣлаетъ музыку.

Характеръ предлагаемаго измѣненія тона соціологическихъ изслѣдованій читатель лучше всего можетъ усвоить на какомъ-нибудь примѣрѣ столкновенія обѣихъ точекъ зрѣнія на задачи соціологіи. У меня есть въ запасѣ примѣръ по истинѣ блестящій. Я почерпнулъ его изъ перваго тома новаго неперіодическаго изданія, редактируемаго В. П. Безобразовымъ—изъ «Сборника государственныхъ знаній». Весь сборникъ, какъ блистающій несомнѣнною академическою ученостью, моему скромному сужденію не подлежитъ. Профессоръ петербургскаго университета, профессоръ кievскаго университета, дѣйствительный членъ академіи наукъ, профессоръ академіи генеральнаго штаба и проч.,—вотъ кто вноситъ свои лепты (и конечно не лепты вдовицы) въ «Сборникъ государственныхъ знаній»! Имъ и книги въ руки. Въ сборникѣ есть впрочемъ одна статья князя А. И. Васильчикова, который, сколько мнѣ извѣстно, не профессоръ ни университета, ни академіи генеральнаго штаба и не членъ академіи наукъ. Это не мѣшаетъ однако его статьѣ быть интересной и поучительною. Дѣло идетъ объ эмиграціи (такъ статья и озаглавлена: «Эмиграція»). Авторъ ставитъ положеніе: «однимъ изъ вѣрнѣйшихъ признаковъ степени благосостоянія народа мо-

жетъ служить большее или меньшее стремленіе жителей къ водворенію въ данной странѣ и наоборотъ признакомъ недовольства своимъ бытомъ—стремленіе къ переходу, выходу изъ своего отечества въ чужіе края». Кажется это положеніе сомнѣнію подлечь не можетъ, оно имѣетъ даже нѣсколько тавтологическій характеръ. Затѣмъ кн. Васильчиковъ слѣдитъ за судьбами эмиграціи преимущественно въ Англіи и Германіи. Изъ его изслѣдованія оказывается, что эмигранты отнюдь не представляютъ такого отрѣбья общества, которое отваливается, такъ сказать, въ силу своей гнилости и испорченности. Нѣтъ, главная масса эмигрантовъ состоитъ изъ людей трудолюбивыхъ, успѣвшихъ, какъ выражается авторъ, въ «азартной игрѣ наемнаго труда» сдѣлать нѣкоторыя сбереженія; за ними остается еще масса бѣднѣйшихъ, которые не переселяются только за неимѣніемъ средствъ оплатить самый переѣздъ и заведеніе новаго хозяйства въ дали отъ родины. Видѣть причины эмиграціоннаго движенія въ густотѣ населенія тоже нельзя, потому что Ирландія населена менѣе Англіи, а эмиграція изъ нея сильнѣе; какой нибудь Мекленбургъ населенъ менѣе средней Германіи, а эмиграція изъ него сильнѣе. Главнѣйшихъ причинъ эмиграціи кн. Васильчиковъ указываетъ двѣ. Одна изъ нихъ относится специально къ Германіи, въ которой за послѣднее время эмиграціонное движеніе усилилось, благодаря распространенію на всю Германію прусскихъ военныхъ порядковъ: бѣгутъ отъ военной службы. Затѣмъ, какъ въ Германіи, такъ и въ Англіи эмиграціонное движеніе коренится въ аграрномъ строѣ, въ крайне неравномѣрномъ распредѣленіи поземельной собственности, въ поглощеніи крестьянскихъ земель дворянскими помѣстьями, словомъ въ «господствѣ сословно-помѣстнаго элемента». Надо замѣтить, что статья кн. Васильчикова составляетъ отрывокъ, изъ большаго сочиненія о землевладѣніи и, какъ всякій отрывокъ, содержитъ много недомолвокъ. Однако факты сгруппированы авторомъ все-таки на столько отчетливо, что выводъ его представляется вполнѣ правильнымъ. Не такого впрочемъ мнѣнія держится редакція «Сборника государственныхъ знаній». Она снабдила ста-

тью своими примѣчаніями и возраженіями, изъ которыхъ любопытнѣе другихъ заключительное. «Переселеніе, говоритъ редакция сборника, есть всемірно-историческій фактъ, который сопутствуетъ, въ той или другой степени, въ томъ или другомъ видѣ, всѣ періоды исторіи, и безъ котораго были бы даже немислимы развитіе и распространеніе человѣческой культуры. Поэтому нельзя смотрѣть на эмиграцію въ общей ея совокупности, какъ на болѣзненное или аномальное явленіе, хотя въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ оно и вызывается недугами и неустройствами общества. Итакъ почтенный авторъ совершенно правъ, рассматривая движеніе западно-европейской эмиграціи, какъ послѣдствіе болѣе или менѣе неудовлетворительныхъ социальныхъ и политическихъ условій каждой страны; но тѣмъ не менѣе она исторически необходима и благодѣтельна для распространенія европейской цивилизаціи въ другихъ частяхъ свѣта».

Не смотря на краткость этого примѣчанія ученой редакціи, въ немъ формулированъ очень опредѣленный взглядъ на эмиграцію. Это, можно сказать, цѣлое изслѣдованіе, освобожденное отъ чисто фактической части, такъ что мы имѣемъ полное право ставить его рядомъ и сравнивать съ изслѣдованіемъ кн. Васильчикова. А такое сравненіе весьма любопытно и для насъ въ эту минуту какъ нельзя болѣе подходяще. Редакція «Сборника государственныхъ знаній» не отрицаетъ, собственно говоря, выводовъ кн. Васильчикова, она ихъ только, такъ сказать, поглощаетъ соображеніями о распространеніи европейской цивилизаціи. Съ другой стороны и кн. Васильчикову безъ сомнѣнія очень хорошо извѣстно вліяніе эмиграціи на распространеніе цивилизаціи, — объ этомъ хотя мелькомъ упоминается и въ статьѣ, — но для него это вліяніе поглощается соображеніями о судьбѣ отдѣльныхъ представителей цивилизаціи. Изслѣдованіе редакціи «Сборника государственныхъ знаній» отвѣчаетъ на вопросъ: какія измѣненія должны претерпѣть въ своемъ экономическомъ положеніи единицы агрегата для «развитія и распространенія» (редакція даже и въ выборѣ терминовъ сошлась со Спенсеромъ) всего агрегата? Изслѣдованіе кн. Васильчикова отвѣчаетъ

на вопросъ: какія формы общественной агрегации стѣсняють положеніе единицъ агрегата? Очевидно, что второй типъ социологическаго изслѣдованія, представителемъ котораго намъ служить статья кн. Васильчикова, по малой мѣрѣ столь же законенъ, какъ и первый, преимущественно рекомендуемый Спенсеромъ и практикуемый редакціей «Сборника государственныхъ знаній». Въ самомъ дѣлѣ есть люди, которымъ любопытно знать, до какой степени должны обнищать крестьянинъ (единица) Мекленбурга (агрегатъ), чтобы мекленбургская цивилизація разрослась и дала нѣкоторыя ростки даже въ Америкѣ; а есть и такіе, которые желаютъ знать, какія измѣненія необходимы въ мекленбургской цивилизаціи для того, чтобы крестьянинъ не нищалъ и не бѣжалъ съ родины. Наука имѣетъ полную возможность отвѣчать и на тотъ, и на другой вопросы, которые повидимому опять-таки суть только разныя стороны одной и той же задачи. И безъ сомнѣнія въ математикѣ или въ естествознаніи два вопроса, находящіеся въ подобныхъ взаимныхъ отношеніяхъ, не могутъ вызвать никакого разногласія между изслѣдователями. Я говорю: $2+2=4$, вы говорите: $4-2=2$. Вы мнѣ не дѣлаете никакого возраженія; производя надъ тѣми же числами дѣйствіе обратное тому, которое совершаю я, вы только провѣряете и дополняете меня. Вы не скажете тономъ возраженія: конечно этотъ человѣкъ правъ, $2+2$ дѣйствительно равняется 4, *но все-таки* $4-2$ равняется 2. Это было бы празднословіе. Тоже и въ естествознаніи. Я говорю: соединеніе въ извѣстной пропорціи кислорода и водорода даетъ воду; вы говорите: разлагая воду, я получаю кислородъ и водородъ,—мы не споримъ, мы говоримъ одно и то же. Или, положимъ, дарвинистъ говоритъ: если въ данной мѣстности значительному числу видовъ насѣкомыхъ удастся выработать зеленую окраску покрововъ, дающую имъ возможность скрываться въ зелени деревьевъ, то насѣкомояднымъ птицамъ придется положить зубы на полку (ученый конечно такъ вульгарно и ненаучно не выразится, но это все равно). Другой говоритъ: если въ данной мѣстности появляются насѣкомоядныя птицы, ихъ жертвами будутъ преимущественно насѣкомыя незеленаго цвѣта. Оба эти

человѣка безъ малѣйшаго разногласія описываютъ отношенія между птицами и зелеными насѣкомыми, хотя одинъ имѣетъ въ виду участь птицъ, а другой судьбу насѣкомыхъ. Наши два типа социологическихъ изслѣдованій представляютъ нѣчто повидимому совершенно аналогичное, и однако редакція «Сборника государственныхъ знаній» испещрила статью кн. Васильчикова примѣчаніями, возражаетъ ему. Я полагаю, что въ свою очередь и кн. Васильчиковъ могъ бы снабдить примѣчаніями примѣчанія редакціи. Я думаю, что онъ написалъ бы приблизительно слѣдующее: «Я рѣшительно не понимаю, какимъ образомъ изъ «недуговъ и неустройствъ» общество можетъ произойти нѣчто благотѣльное, кромѣ развѣ, стремленія излечить недуги и прекратить неустройства. Признать эмиграцію исторически необходимою я пожалуй могу, но въ такой же мѣрѣ исторически необходимы мысли и усилія мои и другихъ людей, направленные къ устраненію причинъ, порождающихъ эмиграцію. Сокращая объ половины уравниенія на историческую необходимость, выводя ее изъ круга нашихъ разсужденій, какъ служащую и нашимъ и вашимъ, и слѣдовательно никому неслужащую, я получаю два явленія: причины эмиграціи и стремленіе устранить ихъ, — съ ними я и буду имѣть дѣло. Что касается до благотѣльнаго значенія эмиграціи въ дѣлѣ распространенія европейской цивилизаціи, то это возраженіе меня крайне удивляетъ. Я вамъ указываю, что европейская цивилизація заражена страшною язвой, вы со мной по крайней мѣрѣ отчасти соглашаетесь и вы же требуете, чтобы я радовался распространенію этой больной цивилизаціи и не пытался ее лечить. Но еслибы она переносила за океанъ даже только лучшіе свои соки, а весь негодный прахъ отрясала бы отъ ногъ своихъ на порогъ Европы, такъ вѣдь этотъ-то прахъ и претить мнѣ, и нѣтъ мнѣ никакого дѣла до распространенія цивилизаціи за океаномъ, когда кругомъ меня все тотъ же прахъ, прахъ и прахъ.» Вотъ что приблизительно возразилъ бы ученой редакціи кн. Васильчиковъ. Очевидно, что такого разговора между двумя серьезными математиками или естествоиспытателями быть не можетъ. Разно-

гласіе между кн. Васильчиковымъ и редакціей «Сборника государственныхъ знаній» выходитъ казалось бы изъ предѣловъ той потребности познанія, которая одна паритъ въ наукѣ о природѣ. Потребность познанія въ авторѣ статьи объ эмиграціи и въ ученой редакціи насыщена одинаково и однимъ и тѣмъ же. И той, и другой сторонѣ одинаково извѣстно, что эмиграція порождается главнымъ образомъ преобладаніемъ сословно-помѣстнаго элемента и имѣетъ послѣдствіемъ распространеніе и развитіе цивилизаціи. Повидимому весь кругъ явленій, относящихся къ эмиграціи, объясненъ, связанъ цѣпью причинъ и слѣдствій, и остается только радоваться торжеству истины. Явленіе это намъ особенно дорого по своей крайней наглядности. Тутъ конечно не можетъ быть и рѣчи объ извращеніи фактовъ въ угоду какимъ нибудь интересамъ, о которомъ такъ много говоритъ Спенсеръ: фактическая сторона дѣла разработана обоими изслѣдованіями одинаково. И тѣмъ не менѣе есть все-таки какой-то остатокъ, неподдающійся повидимому изслѣдованію, такъ какъ редакція «Сборника и кн. Васильчиковъ и по установленіи истины все-таки о чемъ-то препираются и въ сущности расходятся самымъ кореннымъ образомъ. Существованіе этого остатка обуславливается тѣмъ, что рядомъ съ категоріями истиннаго и ложнаго, господствующими въ наукѣ о природѣ, — въ изслѣдованіи объ эмиграціи, какъ и во всякомъ соціологическомъ изслѣдованіи, являются категоріи полезнаго и вреднаго, справедливаго и несправедливаго, нравственнаго и безнравственнаго. И здѣсь мы подходимъ къ едва ли не самому страшному изъ современныхъ теоретическихъ вопросовъ. Можетъ ли быть подчиненъ научной дисциплинѣ означенный соціологическій остатокъ? Вопросъ этотъ дѣйствительно страшный. Дѣло въ томъ, что разногласія, подобныя тѣмъ, которыя раздѣляютъ кн. Васильчикова и редакцію «Сборника государственныхъ знаній», — а подобныхъ разногласій нѣсть числа, — настоятельно требуютъ скораго разрѣшенія. Они соприкасаются съ нашей обыденной практической жизнью, они, можно сказать, составляютъ ее; и чтобы ни говорилъ Спенсеръ о неспособности людей предви-

дѣть послѣдствія своихъ дѣйствій, но люди гонимые съ родины мекленбургской цивилизаціей, не могутъ не дѣйствовать, не могутъ и желать укрѣпленія и развитія этой цивилизаціи. Наука Спенсера очевидно безсильна передъ тѣмъ соціологическимъ остаткомъ, который не поддается прямому познаванію. А наука Спенсера къ сожалѣнію не есть только его наука, она, если не по содержанію своему, то по приѣмамъ есть типическая представительница современныхъ соціологическихъ изслѣдованій вообще. Если же наука Спенсера не заблуждается относительно границъ, задачъ и метода соціологіи, то соціологическій остатокъ долженъ поступить въ вѣдѣніе какихъ нибудь другихъ формъ умственной дѣятельности, — метафизики, теологіи. Это неизбѣжно, потому что мы ждать не можемъ. Мы даемъ наукѣ заказъ: научите насъ отчего происходитъ эмиграція, — и получаемъ удовлетворительный отвѣтъ. Мы даемъ другой заказъ: научите насъ справедливъ ли или нравственъ ли тотъ порядокъ вещей, который гонитъ насъ съ родины, — и вмѣсто отвѣта получаемъ идущія къ дѣлу разсужденія о распространеніи цивилизаціи и о ростѣ общественныхъ агрегатовъ. Если такъ, и ничего иного отъ науки добиться нельзя, я отвернусь отъ нея. Я пойду къ метафизикѣ и попытаюсь удовлетвориться ея разсужденіями о внутренней цѣлесообразности историческаго процесса, о великомъ планѣ развитія исторіи, предначертанномъ ея сущностью и потому безусловно справедливымъ; я пойду къ другимъ формамъ мысли, которыя тоже хоть съ грѣхомъ пополамъ удовлетворяютъ меня. Что станетъ тогда съ наукой? Уже г. Владиміру Соловьеву толпа апплодировала за поруганіе науки. И можетъ быть эта толпа состояла не изъ однихъ пустопорожнихъ людей. Можетъ быть въ средѣ ея были люди, измученные тѣми вопросами, которые современная наука разрѣшить не хочетъ или не можетъ и разрѣшить которые г. Владиміръ Соловьевъ выразилъ по крайней мѣрѣ желаніе и надежду.

V *).

Объ истинѣ, совершенствѣ и другихъ скучныхъ вещахъ.

— О чемъ у васъ нынче статья-то?

— Объ истинѣ больше...

— Экъ вы! Я думалъ о педагогахъ. Вы бы прописывали въ заголовкѣ, о чемъ пишете, чтобы знать, стоитъ ли читать...

Такой разговоръ происходилъ у меня съ однимъ джентльменомъ по выходѣ февральской книжки «Отечественныхъ Записокъ». Совѣтъ джентльмена насчетъ заголовка я принялъ къ свѣдѣнію и исполненію, потому что это совѣтъ резонный. Но гораздо большее впечатлѣніе на меня, признаюсь, произвело восклицаніе: экъ вы! я думалъ о педагогахъ... Надо было слышать это презрительно сожалительное «экъ вы!», чтобы понять произведенное на меня имъ впечатлѣніе. Я и самъ задумался: экъ я въ самомъ дѣлѣ! объ истинѣ! Кому это нужно? Какое имѣть отношеніе истина къ *умственной* жизни русскаго общества? Оправившись однако, я сообразилъ, что бесѣдовавшій со мной джентльменъ только потому сказалъ: экъ вы! что мало наблюдалъ и размышлялъ.

Надо замѣтить, что собесѣдникъ мой — отчасти педагогъ. Адвокатъ на его мѣстѣ сказалъ бы можетъ быть: экъ вы! объ истинѣ! я думалъ о статьѣ Маркова. Художникъ сказалъ бы: экъ вы! я думалъ о передвижной выставкѣ. Сидятъ люди въ своемъ рѣзко обрамленномъ уголкѣ и считаютъ дѣла этого уголка на столько важными, что въ сравненіи съ ними не то что Наполеонъ, а и сама истина есть нѣчто въ родѣ бородавки. Отъ времени до времени какая нибудь случайность освѣщаетъ который нибудь изъ уголковъ, поднимается скандалъ, копошатся мелкія самолюбія, выплываетъ на бѣлый свѣтъ разная нечисть, вытаскиваются разныя грязныя дѣла, и публицисты получаютъ

*) 1875, мартъ.

возможность писать: въ настоящее время наше общество чрезвычайно заинтересовано тѣмъ и тѣмъ-то. Такова умственная жизнь нашего общества. Невеселая, надо правду сказать, картина. Потому невеселая картина, что краски на ней ужь очень блѣдны и линючи, а отдѣльныя фигуры не связаны никакими общими задачами: никому, ни даже имъ самимъ неизвѣстно, зачѣмъ онѣ тутъ торчатъ. Зачѣмъ напримѣръ, грубо расталкивая всѣхъ направо и налево, лѣзетъ на первый планъ картины этотъ московскій громовержецъ? Онъ кривляется, ломается, визжитъ, грозитъ кулаками. Кому? за что? Картина налицо. Ея сѣрый колоритъ, ея блѣдныя и линючія краски, ея разрозненные образы свидѣтельствуютъ, что тѣхъ опасностей, по поводу которыхъ визжитъ и кривляется громовержецъ, нѣтъ, что если какая опасность есть, такъ она только и состоитъ въ блѣдности красокъ и въ отсутствіи общей задачи композиціи. Онъ и самъ это конечно видитъ и все-таки визжитъ и грозитъ кулаками. Онъ заявляетъ, что хочетъ укрѣпленія добрыхъ нравовъ, уваженія человѣческаго достоинства, множества другихъ хорошихъ вещей. Но конечно онъ и самъ не вѣритъ своимъ увѣреніямъ. Иначе онъ не имѣлъ бы этой позы кулачнаго бойца, и изъ устъ его не вылетали бы ежеминутно слова, едва-едва только терпимыя въ печати.—А этотъ зачѣмъ? вотъ этотъ, выглядывающій изъ подъ кулака громовержца благообразный, сановитой наружности человѣкъ съ томомъ Шиллера въ одной рукѣ и съ «Мариной изъ Алаго Рога» г. Маркевича въ другой? Онъ кого-то поучаетъ, онъ читаетъ лекцію прекраснодушія, безкорыстія и преданности высшимъ задачамъ духа. Кто тянетъ его за языкъ, кто велитъ ему издѣваться надъ Шиллеромъ и высшими задачами духа?— издѣваться, потому что, какъ всѣмъ извѣстно, онъ уличенъ во взяточничествѣ, которое не имѣетъ ничего общаго ни съ Шиллеромъ, ни съ высшими задачами духа, ни даже съ «Мариной изъ Алаго Рога» г. Маркевича. По его лицу видно, что онъ и не намѣренъ былъ издѣваться: онъ только не зналъ и не знаетъ зачѣмъ онъ писалъ и говорилъ то, что писалъ и говорилъ. — Вотъ группа людей, очевидно очень горячо спорящихъ, уси-

ленно жестикулирующихъ. Они бодро идутъ *immer vorwärts*, все впередъ и впередъ, но повернувшись къ собственной задачѣ затылкомъ: это — сонмъ педагоговъ. — Вотъ кафедра и на ней высокая, изможденная фигура магистранта, защищающаго диссертацию на тему, казалось бы всѣмъ присутствующимъ антипатичную. Но ему не даютъ рта открыть безъ аплодисментовъ. Встаютъ оппоненты и дрожащимъ голосомъ, едва владѣя собою, выражаетъ свое презрѣніе доктринѣ магистранта. Ему... ему тоже аплодируютъ. — Въ толпѣ слушателей я вижу знакомую мнѣ фигуру человѣка, добивающагося популярности. Онъ мечется бьется какъ рыба объ ледъ, онъ льститъ, онъ лжетъ, онъ тамъ, онъ здѣсь. Между тѣмъ, добейся онъ популярности, и онъ не будетъ знать: съ кашей ли ее ѣсть или во щи лить. — Вотъ хухожники. Всмотритесь въ ихъ лица и произведенія, и вы увидите, что большинство ихъ не знаетъ зачѣмъ они рисуютъ ту, а не другую картину, почему они выбрали тотъ, а не другой сюжетъ, придали ему такое, а не иное нравственное освѣщеніе. — Вотъ кучка людей, мечтающихъ о привилегированномъ положеніи, фрондирующихъ, толкующихъ о правахъ. Зачѣмъ, когда они любую привилегію и любое право готовы продать за чечевичную похлебку? — Немножко вправо отъ московскаго громовержца и позади его помѣщается князь Мещерскій. Онъ очевидно обдумываетъ нумеръ «Гражданина». Но зачѣмъ онъ издаетъ газету, когда ему сказать нечего, когда онъ «своихъ словъ не имѣетъ», когда даже изъ русской грамматики онъ знаетъ только знаки препинанія, а предложенія и части предложенія, между которыми знаки препинанія размѣщаются, суть для него темна вода во облацѣхъ? — Вотъ цѣлый рѣдъ повѣсившихся, застрѣливающихся, утопившихся, зарѣзавшихся, отравившихся. Ихъ сѣро-зеленые трупы такъ гармонируютъ съ мертвенно-тусклымъ фономъ всей картины, что почти не выступаютъ изъ него. Зачѣмъ они повѣсилились, зарѣзались и застрѣлились? Вѣрно вамъ говорю, что по крайней мѣрѣ половина ихъ не могла бы отнѣстись на этотъ вопросъ за минуту до самоубійства, а другая половина зарѣзалась и повѣсилась потому, что задала себѣ во-

прось: зачѣмъ я торчу на этой картинѣ? задала вопросъ и не нашла отвѣта; не нашла отвѣта и слилась съ сѣрымъ фономъ картины рядами зеленовато-сѣрыхъ труповъ...

Это не исходъ очевидно, потому что ни характеръ картины не измѣнился отъ смерти этихъ людей, ни сами они не ушли изъ нея. Напротивъ смерть пригвоздила ихъ къ картинѣ, въ качествѣ можетъ быть наиболѣе характеристичной ея подробности. Для живыхъ остается выборъ, возможность, надежда; мертвые ужъ не сойдутъ съ картины. Но эти люди по крайней мѣрѣ допрашивали себя. Все остальное движется элементарнѣйшими, только-что не прямо животными побужденіями. Все остальное кричить: хлѣба и зрѣлищъ! Хлѣбъ дается профессіей; и вотъ почему мой собесѣдникъ-педагогъ сказалъ: экъ вы! объ истинѣ! Какъ сказалъ бы и адвокатъ, и художникъ, и писатель, и «воинъ, купецъ и пастухъ». Зрѣлища даются случайными поворотами фонаря судьбы, освѣщающими то тотъ, то другой замкнутый уголокъ со всѣми его глупостями и мерзостями; и вотъ почему при всякомъ скандалѣ публицисты получаютъ возможность писать: въ настоящее время наше общество чрезвычайно заинтересовано и т. д. Впрочемъ къ потребностямъ хлѣба и зрѣлищъ слѣдуетъ еще прибавить потребность быть зрѣлищемъ. Дѣйствительно, никогда еще можетъ быть не было до такой степени распространено въ нашемъ обществѣ желаніе блистать, гремѣть, быть центромъ всѣхъ взглядовъ и вниманій. Но такъ какъ краски родной картины все-таки блѣдны и линючи и блистать и гремѣть собственно говоря нечѣмъ, то мы на каждомъ шагу видимъ либо людей, не помнящихъ ничего, кромѣ своей заслуги цѣнностью въ мѣдный грошъ, либо такихъ людей, которые всячески стараются, что называется, угодить публикѣ, льстить ея инстинктамъ, поддѣлываются подъ ея вкусы. Въ литературѣ эта потребность быть зрѣлищемъ проявляется всего замѣтнѣе, но она существуетъ не только въ литературѣ.

Самоубійцы и восклицаніе: хлѣба и зрѣлищъ! навели меня на мысль, которой я нѣсколько конфужусь и которую все-таки выскажу. Это—мысль сопоставить наше время со временемъ

упадка Рима. Конечно сходства между этими временами мало. Римъ палъ подъ ударами варваровъ; намъ же не только не грозятъ какіе нибудь варвары, а напротивъ мы сами даемъ все сильнѣе чувствовать свою мощь хивинцамъ, бухарцамъ, туркменамъ и другимъ среднеазіатскимъ варварамъ. Но я имѣю въ виду именно различія, а не сходство, и притомъ не всѣ различія, а только одну группу ихъ. Мы собственно вспомнили первые христіане и тѣ изъ римлянъ, которые искренно презирали и ненавидѣли христіанъ, распинали, жгли, отдавали ихъ на растерзаніе лвамъ и тиграмъ. Смѣшно сопоставлять это время съ нашимъ, но такъ, ради контраста только, пусть читатель припомнитъ ту яркую картину, на которой фигурируютъ въ катакомбахъ, на улицахъ и площадяхъ римскихъ ряды христіанъ и ихъ враговъ. Какая удивительная опредѣленность въ каждомъ дѣйствіи! Какъ всѣмъ этимъ людямъ ясны ихъ задачи, какъ смѣло одни убиваютъ, другіе умираютъ, какъ понятны имъ причины и цѣли ихъ дѣятельности! Не въ томъ дѣло, что здѣсь имѣется столкновеніе двухъ религій, изъ которыхъ одна издыхаетъ, а другая нарождается, а въ томъ, что и христіане, и римляне (далеко не всѣ конечно) имѣли религію. Она именно сообщала имъ чувствамъ, помысламъ и дѣйствіямъ ту опредѣленность, которой не хватаетъ нашимъ чувствамъ, помысламъ и дѣйствіямъ и отсутствіе которой въ мертвенно-тусклой картинѣ нашей общественной жизни можетъ быть объяснено только отсутствіемъ религіи. Надо оговориться. Россія конечно — христіанское государство, и говоря объ отсутствіи въ нашемъ обществѣ религіи, я разумѣю это слово не въ богословскомъ смыслѣ. Въ области богословія я до такой степени профанъ, что даже не осмѣливаюсь приступить къ ней. Подъ религіей я разумѣю такое ученіе, которое связываетъ существующія въ данное время понятія о мірѣ съ правилами личной жизни и общественной дѣятельности; связываетъ такъ прочно, что для исповѣдующаго это ученіе поступить противъ своего нравственнаго убѣжденія въ такой же мірѣ невозможно, какъ согласиться, что напимѣръ дважды два равняется стеариновой свѣчкѣ. Оче-

видно, что первые христіане обладали такимъ ученіемъ. Ихъ понятія о прошедшемъ, настоящемъ и будущемъ вселенной были самымъ тѣснымъ, неразрывнымъ образомъ связаны съ понятіями о нравственной жизни, и связь эта была такого возбуждающаго свойства, что давала имъ возможность дѣйствовать съ полною опредѣленностью. Очевидно также, что мы такого ученія не имѣемъ: наши понятія о существующемъ стоятъ сами по себѣ, понятія о должествующемъ существовать—тоже сами по себѣ, наконецъ наши дѣйствія—опять сами по себѣ. Въ этомъ все наше горе, здѣсь именно коренится причина блѣдности красокъ и разрозненности образовъ картины современной русской общественной жизни. На одномъ изъ общихъ собраній членовъ общества вспомошествованія нуждающимся литераторамъ г. Кавелинъ читалъ статью, въ которой скорбѣлъ о нравственной рыхлости русскаго человѣка, каковая рыхлость можетъ прекратиться только выработкой собственной, русской философіи. Я думаю, что это немножко мало. Философія объединяетъ правда представленія о сущемъ и должествующемъ быть, но объединяетъ ихъ только въ мысли (и притомъ въ мысли нѣсколькихъ десятковъ, сотъ человѣкъ), а не въ жизни. Она не сообщаетъ той *религіозной* преданности идеѣ, которая одна способна разрушить нравственную рыхлость. Мало объединить области теоретической мысли: надо «разсыпанную хранину» понятій сложить такъ, чтобъ она побуждала къ дѣйствию въ извѣстномъ направленіи. Понятно, что быть въ этомъ смыслѣ религіознымъ—дѣло трудное и становится тѣмъ труднѣе, чѣмъ съ одной стороны болѣе расширяются завоеванія науки, а съ другой усложняется общественная жизнь. Возьмемъ людей, безъ всякихъ прикрасъ руководствующихся элементарнѣйшими потребностями хлѣба и зрѣлищъ или, еще лучше, потребностью, формулированной Щедринымъ однимъ словомъ: жрать! Міръ есть для нихъ какъ бы воплощеніе двухъ началъ: крушаго и пожираемаго—представленіе совершенно ясное. Цѣли своей жизни—жранью—они преданы фанатически. И какъ однако имъ все-таки трудно жить на свѣтѣ! Жрать даромъ не дають. Надо изучить по крайней мѣрѣ тотъ

уголокъ міра, среди котораго и насчетъ слабости и глупости котораго предполагается жрать, а такое изученіе требуетъ иногда большихъ усилій. Дагѣ, какъ бы низко ни пало общество, оно не позволить жрать вполне откровенно, безъ всякой маски. Въ «Не все коту масленица» Островскаго, Аховъ, будучи убѣжденъ, что Исполнить его собственно говоря обокралъ на 15,000, требуетъ, чтобы тотъ ему по крайней мѣрѣ такъ, для виду только, въ ноги поклонился. Совершенно такъ же общество требуетъ отъ обжирающаго его человѣка, чтобъ онъ хоть для вида на Синай славилъ или о Шиллерѣ и высшихъ задачахъ духа потолковалъ. И приходится лѣзть и толковать, притворяться, придавать фizioноміи вдохновенный видъ, голосу искренность, а не только спрягать во всѣхъ наклоненіяхъ глаголъ жрать. Таяими-то затрудненіями обставлено послѣдовательное проведеніе даже программы, укладывающейся въ одно слово: жрать! Такъ трудно быть религіозными даже этимъ людямъ. Людямъ съ болѣе широкою программю конечно еще труднѣе, потому что имъ нужно познать большій кругъ явленій и ориентироваться въ болѣе сложной сѣти фактовъ. Однако возможно все-таки большее или меньшее приближеніе къ идеалу религіозности и большее или меньшее удаленіе отъ него. И я думаю, что не ошибусь, если скажу, что современной русской дѣйствительности до него, какъ до звѣзды небесной, далеко.

Позволительно, надѣюсь, желаніе, чтобы этотъ порядокъ вещей измѣнился; всякому позволительно желаніе принести свой камень на сооруженіе храма. А это сдѣлать невозможно, не сводя каждое явленіе нашей умственной жизни къ нѣкоторому общему и отвлеченному началу. Поэтому я смѣло продолжаю бесѣду объ истинѣ, совершенствѣ и другихъ скучныхъ вещахъ. Я только задаю вопросы людямъ, призваннымъ и взявшимся ихъ разрѣшать. И хоть отвѣтовъ по всей вѣроятности не получу, но самая постановка этихъ вопросовъ не лишена значенія. Они вертятся въ головахъ и мутятъ души многихъ профановъ. Я этому не только вѣрю, я это знаю. Порукой могутъ служить хоть бы тѣ самоубійцы, которые покончили жизнь изъ-за вопроса: зачѣмъ

я торчу на этой картинѣ? Во многихъ эти вопросы находятся, такъ сказать, въ скрытомъ состояніи, но они даютъ себя знать, какъ дастъ себя знать ребенокъ, скрытый въ утробѣ матери. Для многихъ было бы большимъ облегченіемъ не то, что отвѣтить, а хоть формулировать, выразить «проклятые» вопросы. Можетъ быть я облегчу имъ муки родовъ идеи. Будемъ же говорить объ истинѣ, совершенствѣ и другихъ скучныхъ вещахъ.

Далеко не всѣ умные и ученые люди чувствуютъ потребность въ религіи въ смыслѣ ученія, обнимающаго единымъ принципомъ міръ физическій и нравственный и вмѣстѣ съ тѣмъ съ почти физической силой движущаго человѣка въ извѣстномъ направленіи. Говорить на примѣръ о необходимости религіи и Спенсеръ (глава о догматическихъ воззрѣніяхъ въ «Изученіи социологіи»), но онъ разумѣетъ ее въ богословскомъ смыслѣ. Онъ говоритъ именно, что ничто не въ состояніи вытѣснить «того чувства, которое одно можетъ быть названо религіознымъ, чувства, возбуждаемаго чѣмъ-то лежащимъ за предѣлами человѣчества и всѣхъ другихъ явленій»; ничто не въ состояніи «исключить изъ нашего ума идею о силѣ, которой человѣчество служитъ лишь слабымъ и мимолетнымъ выраженіемъ» (466). Повторяю, я въ эту область не осмѣливаюсь вступать. Я привелъ слова Спенсера только для того, чтобы показать, что разумѣютъ онъ и многіе другіе ученые люди, когда говорятъ о религіи. Скажу только, что религія Спенсера, какъ и всякая другая религія подобной формы, не содержитъ въ себѣ существеннѣйшаго признака религіи: она неспособна управлять человѣческими дѣйствіями. Христіанскіе мученики только потому шли съ бодрымъ духомъ на растерзаніе львамъ, зарывались въ катакомбы и пр., что имъ было вполне извѣстно то нѣчто, лежащее за предѣлами человѣчества и всѣхъ другихъ явленій, которое въ религіи Спенсера неизвѣстно. Но если ученые люди такъ двусмысленно относятся къ религіи, то едва ли не всѣ они требуютъ простого объединенія представленій о физическомъ мірѣ и понятій о мірѣ нравственномъ, т. е. требуютъ религіи минусъ ея непреодолимо движущая сила. Такое объединеніе стало даже об-

щимъ мѣстомъ, модной фразой, которую способенъ сказать всякій хлыщъ въ любой великосвѣтской гостиной и всякій буквоедъ, ничего дальше своего носа невидящій. Къ сожалѣнію весьма часто бываетъ, что достигнувъ состоянія общаго мѣста и модной фразы, распространяясь повидимому чуть не по всему лицу земли, идея, сама по себѣ чистая и безупречная какъ весталка, становится, какъ весталка же, бесплодною. Такъ именно случилось съ идеей единства міра физическаго и нравственнаго. Большихъ усилій стоило людямъ убѣдиться, что между этими двумя мірами нѣтъ той пропасти, которую вырыло невѣжество нашихъ предковъ. И хотя немало еще есть людей, берегущихъ эту пропасть, какъ нѣчто священное, но наука уже засыпала ее почти доверху; проходъ отъ міра физическаго къ нравственному, отъ природы къ человѣку свободенъ и всѣмъ желающимъ идти впередъ доступенъ. Но затѣмъ является вопросъ: одни ли и тѣ же приемы изслѣдованія должны быть употребляемы въ этихъ двухъ сферахъ человѣческаго вѣдѣнія? Съ перваго раза кажется, что на этотъ вопросъ надо дать утвердительный отвѣтъ. Таковой и былъ данъ. А между тѣмъ изученіе міра нравственнаго отъ этого не подвинулось впередъ, можно сказать, ни на одинъ шагъ, а въ нѣкоторыхъ пунктахъ даже назадъ отодвинулось. Впередъ и назадъ—это конечно такія слова, которыя всякій можетъ разумѣть по своему, но которыя всякій можетъ употреблять, если при этомъ объясняетъ, что именно онъ подъ ними разумѣетъ. Я говорю, что изученіе предмета подвигается впередъ, прибываетъ, когда охватываетъ все большій и большій кругъ фактовъ; изученіе предмета отодвигается назадъ, убываетъ, когда кругъ объясняемыхъ имъ явленій суживается, потому ли, что оно само утрачиваетъ силу, или потому, что жизнь опережаетъ его, выставляя новыя, недоступныя ему явленія. Что же мы видимъ въ области нравственно-политическихъ наукъ въ связи съ идеей единства міра нравственнаго и физическаго? Мы видимъ г-жу Ройе, Спенсера, многочисленныхъ второстепенныхъ дарвинистовъ, которые провозглашаютъ борьбу за существованіе верховнымъ нравственнымъ принципомъ и со-

вѣтуютъ отнять костыль у хромага, чтобы онъ, разбивъ лобъ о тротуары шикарныхъ лондонскихъ, парижскихъ и т. д. улицъ, избавилъ общество отъ себя, слабого и негоднаго члена. Это называется современною моралью. Но эта мораль давнымъ-давно практиковалась и практикуется у дикарей, которые избиваютъ своихъ стариковъ, тоже въ качествѣ слабыхъ и негодныхъ членовъ общества. Жизнь давно опередила эту мораль. Какъ морали, ей въ современномъ обществѣ никто не слѣдуетъ и, надо надѣяться, не будетъ слѣдовать, хотя многіе слѣдуютъ ей, какъ животному инстинкту, который и волка побуждаетъ ѣсть болѣе слабого волка. Мы видимъ политическую экономію—однѣ изъ древнѣйшихъ отроговъ идеи единства міра физическаго и нравственнаго — которая упорно держится старыхъ формулъ, хотя онѣ совершенно неспособны объяснить напримѣръ возникновеніе рабочихъ союзовъ и другихъ явленій современной экономической жизни. Мы видимъ социологію. Впрочемъ социологіи мы не видимъ, а только слышимъ объ ней, слышимъ правда очень много, а видимъ только рядъ аналогій, параллелей между обществомъ и организмомъ, какія проводились и тридцать, и сто лѣтъ тому назадъ. Мы все-таки только на порогѣ социологіи и на этомъ самомъ порогѣ наталкиваемся на странность, которая именнно и мѣшаетъ намъ проникнуть дальше. Дѣйствительно, «социологи», болѣе или менѣе тупоумные, слѣдуя примѣру вороны, которая никогда не сворачиваетъ въ сторону, твердо стоятъ на томъ, что въ силу единства міра слѣдуетъ понятія о мірѣ физическомъ и приемы выработки ихъ цѣликомъ перенести въ социологію. Болѣе серьезные люди смотрятъ на дѣло иначе. Напримѣръ Спенсеръ, какъ мы видѣли въ прошлый разъ, повидимому очень хорошо понимаетъ, что наука объ обществѣ не можетъ быть построена изъ тѣхъ же матеріаловъ и тѣми же способами, изъ какихъ и какими строится наука о природѣ. По крайней мѣрѣ онъ говоритъ, что социологіи приходится бороться съ трудностями, какія не встрѣчаются въ наукахъ физическихъ. Изъ этого слѣдуетъ, что не смотря на единство міра физическаго и нравственнаго, приемы изслѣдованія того и другого не

могутъ быть вполне сходны. И однако Спенсеръ при «изученіи социологіи» никакихъ особенныхъ, ей свойственныхъ приемовъ не употребляетъ. Г. Южаконъ написалъ статью въ опроверженіе рекомендуемаго мною для социологіи субъективнаго метода, который ему представляется въ видѣ какого-то савраса безъ узды, носящагося по полю единственно подѣ вліяніемъ своихъ капризовъ. Г. Южаконъ утверждаетъ въ этой статьѣ, что собственно говоря нѣтъ ни субъективнаго, ни объективнаго метода, а есть одинъ методъ—истинный. Это можетъ быть и остроумно. но мало подвигаетъ дѣло впередъ. Но всего любопытнѣе, что послѣ многихъ доказательствъ отсутствія разницы* между приемами физическаго и социологическаго изслѣдованія г. Южаконъ пишетъ:

«Мысли социальныя явленія, мы необходимо мыслимъ пользу, вредъ, благо и прочія категоріи, окрашенные для насъ въ цвѣтъ желательности или нежелательности... Натурально, что и вся наша социальная терминологія имѣетъ такую же субъективно-телеологическую, какъ называется г. Михайловскій, а попросту сказать утилитарную окраску. Поэтому борьба съ этою окраской для всякаго мыслителя и невозможна, и бесполезна; всѣ слова, относящіеся къ обществу, запечатлѣны ею; всѣ отвлеченныя и почти всѣ общія конкретныя названія въ социальной терминологіи непремѣнно или прямо означаютъ, или соозначаютъ пользу, вредъ, благо или что-либо подобное, и, употребляя эти названія, вы необходимо называете и указанные признаки. Такимъ образомъ, еслибы вы даже и не разумѣли ничего подобного, ваша фраза противорѣчила бы вашей мысли, и читатели прочли и поняли бы ее иначе; поэтому-то, сказать я, борьба бесполезна, но она и невозможна, потому что вы ничего другого и разумѣть не можете, если вы лишите слова всего ихъ содержанія, существенныхъ признаковъ, ими соозначаемыхъ. Но какъ же вы тогда будете мыслить? Мышленіе требуетъ различенія и сходства, но вы уничтожили въ вашихъ словахъ все, чѣмъ ихъ соозначеніе различалось, именно—игнорируете свойства означаемыхъ явленій, на сколько эти свойства отражаются на личностяхъ, точнѣе и проще, игнорируете всѣ ихъ свойства. Такимъ образомъ, пишущи и мысля при помощи нашихъ языковъ, нельзя избѣжать утилитарнаго элемента». («Знаніе» 1873, № 68).

Это заявленіе г. Южакова устраняетъ чуть не половину причинъ спора между нами, по зато ведетъ за собой рядъ новыхъ недоразумѣній. Если, мысля социальныя явленія, мы неизбежно

мыслимъ вредъ, пользу, благо и т. п.; если съ другой стороны, мысля явленія природы, мы *можемъ* и *должны* избѣгать этихъ элементовъ, то по моему мнѣнію изслѣдованія физическое и социологическое не могутъ быть сходны. Г. Южаконъ держится противнаго мнѣнія. Несмотря на вышеприведенное, онъ стоитъ на томъ, что «существованіе въ изслѣдуемомъ явленіи цѣлей, какъ категорій пріятнаго и желательнаго, не должно вводить какого-либо особаго элемента въ процессъ изслѣдованія, измѣняющаго существенно методъ» (58). «Желательно только истинное», прибавляетъ г. Южаконъ. — Я думаю, что это совсѣмъ не вѣрно. Истинное конечно желательно, но точно также желательно полезное, пріятное, справедливое, красивое, питательное, вкусное и проч. Я желаю съѣсть кусокъ ростбифа. Мои понятія о ростбифѣ, о его удобоваримости и т. п. могутъ быть истинны или ложны, но самъ ростбифъ не есть ни истина, ни ложь: онъ не имѣетъ никакого отношенія къ категоріи истиннаго, несомнѣннѣмъ съ истиной; онъ желателенъ въ качествѣ питательнаго и вкуснаго, а не въ качествѣ истиннаго. Я желаю какого-нибудь потогоннаго, напримѣръ липоваго цвѣта. О значеніи липоваго цвѣта для моего организма я могу имѣть понятія истинныя или ложныя, но желательно здѣсь не истинное, а цѣлебное. Я желаю отмѣны вреднаго и несправедливаго учрежденія. Я могу ошибаться и не ошибаться относительно послѣдствій такой отмѣны, но желаю я все-таки не истиннаго, а полезнаго и справедливаго. Это не значитъ, что я отворачиваюсь отъ истины, не хочу ея. Совсѣмъ напротивъ. Я очень хорошо знаю, что въ выработкѣ понятій цѣлебнаго, питательнаго, полезнаго, справедливаго необходимо принимаетъ участіе, и весьма важное, категорія истиннаго. Но это не мѣшаетъ мнѣ различать то, что я по природѣ своей воспринимаю различно. Истина есть удовлетвореніе только познавательной потребности человѣка, и думать, что она способна удовлетворять *всю* потребности, также неосновательно, какъ думать, что мозгъ способенъ исполнять всѣ отправленія животнаго организма. Мозгъ имѣетъ свои опредѣленныя функціи, весьма важныя; ему приходится работать

при всѣхъ почти другихъ отправленіяхъ организма, но все-таки мозгъ неспособенъ вырабатывать напримѣръ кровь или желчь, переваривать пищу и проч. То же самое и съ категоріей истиннаго. Для признанія ростбифа питательнымъ, липоваго цвѣта цѣлебнымъ, извѣстнаго порядка вещей справедливымъ необходимо обладать извѣстнымъ количествомъ истинъ, но насытить меня не истинное, а питательное, вылечить не истинное, а цѣлебное, моей потребности воздавать каждому должное удовлетворить не истинное, а справедливое. Но понятное дѣло, что познаніе есть необходимый посредникъ между наукой и всѣми требованіями человѣческой природы, потому что съ иной стороны къ наукѣ нѣтъ и доступа. Когда я говорю, что такой-то поступокъ нравственъ, такой-то порядокъ вещей справедливъ, такое-то сочетаніе цвѣтовъ и формъ красиво и т. п., я утверждаю только тотъ *фактъ*, что мои нравственные или эстетическія требованія удовлетворены. Требования эти не имѣютъ непосредственныхъ связей съ потребностью познанія. Эта послѣдняя получаетъ правда немедленно тоже удовлетвореніе: она удовлетворяется *новымъ* явленіемъ, новымъ фактомъ, — *заявленіемъ или какимъ-нибудь выраженіемъ* перваго факта, но именно только *заявленіемъ* его, а не имъ самимъ. Еслибы данный фактъ и не удовлетворялъ моихъ нравственныхъ или эстетическихъ требованій; еслибы я заявилъ, что онъ безнравственъ или некрасивъ, то потребность познанія была бы удовлетворена и этимъ *заявленіемъ* — я нѣчто узналъ. Изъ этого однако отнюдь не слѣдуетъ, что желательно только истинное. Изъ этого слѣдуетъ только то, что мы можемъ различать два рода истинъ: одніѣ свидѣтельствуютъ о существованіи извѣстныхъ явленій и отношеній между ними; другія свидѣтельствуютъ о степени удовлетворенія, которое эти явленія даютъ различнымъ требованіямъ природы наблюдателя, помимо потребности познанія. Послѣднія субъективны. Въ социологіи имѣютъ мѣсто и тѣ, и другія истины. Прошлый разъ мы видѣли столкновеніе кн. Васильчикова съ редакціей «Сборника государственныхъ знаній», которое очень наглядно поясняетъ то, что я хочу сказать. Мы видѣли, что познавательная

потребность обѣихъ спорящихъ сторонъ удовлетворяется вполне одинаковымъ описаніемъ причинъ и слѣдствій эмиграціи. Эмиграція имѣетъ причиною главнымъ образомъ преобладаніе сословно-помѣстнаго элемента, а слѣдствіемъ—распространеніе цивилизаціи. Вотъ истина, которую желательно было получить обоимъ изслѣдователямъ, но для нихъ желательна не только истина: кромѣ нея, для кн. Васильчикова желательно уничтоженіе причинъ эмиграціи, а для редакціи «Сборника»—распространеніе цивилизаціи путемъ эмиграціи. Въ этой второй части изслѣдованія истина перваго рода, истина, утверждающая существованіе явленій—не причеиъ, не въ ней совсѣмъ дѣло. Ни той, ни другой сторонѣ для соглашенія, строго говоря, нѣтъ надобности въ приобрѣтеніи еще какихъ-нибудь свѣдѣній. Для соглашенія имъ нуженъ одинаковый уровень нравственнаго развитія. Г. Южаковъ не совсѣмъ вѣрно толкуетъ мою мысль, когда говоритъ, что я «объявляю недостаточною квалификацію даннаго (соціологическаго) вывода, какъ истиннаго или ложнаго, и требую добавокъ квалификаціи, какъ желательнаго и нежелательнаго». И предается по этому поводу совсѣмъ неосновательнымъ восклицаніямъ на ту тему, что—дескать—какъ! такъ по вашему истина можетъ быть нежелательна и проч.? Ничего подобнаго я никогда въ мысляхъ не имѣлъ. Если у меня и вырвались какія-нибудь неточныя выраженія, давшія поводъ заблужденію г. Южакова, то общій тонъ моихъ работъ могъ бы все-таки подсказать ему иное заключеніе. Истина всегда желательна, и сомнѣваюсь, чтобы въ сотнѣ, другой печатныхъ листовъ, которые я на своемъ вѣку исписалъ, г. Южаковъ могъ найти хотя одинъ случай признанія какой-нибудь истины нежелательною; хотя безъ сомнѣнія мнѣ случалось говорить объ истинахъ не важныхъ, не стоящихъ вниманія. Но дѣло въ томъ, что не всѣ соціологическіе выводы подходятъ подъ компетенцію истинъ, утверждающихъ существованіе явленій и ихъ отношеній. Беру тотъ же примѣръ. Причина эмиграціи есть преобладаніе сословно-помѣстнаго элемента, а результатъ ея есть распространеніе цивилизаціи. Вотъ соціологическій выводъ, вполне объективный и цѣликомъ нахо-

дящийся въ вѣдѣніи категорій истиннаго и ложнаго. Мы можемъ разсуждать о томъ: соответствуетъ ли этотъ выводъ всѣмъ извѣстнымъ намъ соотносящимся фактамъ, содержитъ ли онъ въ себѣ полную или неполную истину и т. д. Но на этой объективной ступени социологическое изслѣдованіе можетъ останавливаться только въ крайне рѣдкихъ случаяхъ, и въ нашемъ примѣрѣ это невозможно. Рядомъ съ потребностью познанія становится та потребность нравственнаго суда, которая молчать или по крайней мѣрѣ должна молчать въ изслѣдованіи физическомъ. Кн. Васильчиковъ, удовлетворяя этой потребности, говоритъ или подразумеваетъ, что преобладаніе сословно-помѣстнаго элемента несправедливо. Редакція «Сборника государственныхъ знаній» дѣлаетъ иной выводъ. Они никакой истины не отвергаютъ: одинъ изъ нихъ признаетъ нежелательнымъ, другая—желательнымъ извѣстный порядокъ вещей, а не истину. И оба эти вывода подлежатъ опять-таки нравственному суду, суду чисто субъективному. Найдется конечно много людей, которые станутъ извращать добытую обоими изслѣдованіями истину, признаютъ ее нежелательною. Это будетъ неправильное, ненаучное отношеніе къ дѣлу. Но положимъ является такой смѣлый и откровенный человѣкъ, въ родѣ гр. Орлова-Давыдова, который скажетъ: изслѣдованіе кн. Васильчикова фактически вѣрно, но его социологическій выводъ: «преобладаніе сословно-помѣстнаго элемента несправедливо», этотъ социологическій выводъ безнравственъ и слѣдовательно нежелателенъ. Какъ бы я ни симпатизировалъ кн. Васильчикову, какъ бы я ни разогласилъ съ гр. Орловымъ-Давыдовымъ въ понятіяхъ о нравственномъ и безнравственномъ, но я не могу сказать, что послѣдній не имѣетъ права судить о выводѣ кн. Васильчикова съ этой стороны. Я могу сказать, что понятія этого человѣка о нравственности весьма жалки, но не могу сказать, что самый *приемъ* его оцѣнки даннаго социологическаго вывода неумѣстенъ. Напротивъ онъ вполне уместенъ. Пока рѣчь шла только о существованіи извѣстныхъ фактовъ, связанныхъ цѣпью причинъ и слѣдствій, этотъ человѣкъ держался категорій истиннаго и ложнаго. А когда потребовался

судъ нравственный, онъ его дать и не могъ не дать, потому что подлежащій суду выводъ не имѣетъ прямой связи съ категоріями истиннаго и ложнаго.

Вотъ какъ я понимаю отношенія между желательнымъ вообще и истиннымъ въ частности, и вотъ что слѣдовало опровергать г. Южакову, а не измышленную имъ самимъ фантазію о нежелательности истины—фантазію, которая по крайней своей негѣпости и не стоила бы опроверженія. Ему надлежало прежде всего доказать, что категоріи истиннаго съ одной стороны и нравственнаго, справедливаго, благого, полезнаго, должнаго съ другой, имѣютъ болѣе прямую, болѣе непосредственную связь, чѣмъ какая предполагается мною. Онъ именно такъ думаетъ. Онъ говоритъ: «желательно только истинное; *нравственное есть не болѣе, какъ истинныя начала общественности*, т. е. болѣе полно приспособляющія жизнь къ условіямъ соціального существованія» (1. с. 58). Къ сожалѣнію мысль эта не получаетъ удовлетворительнаго развитія не только въ полемической статьѣ г. Южакова, а и въ его этюдѣ о естественномъ подборѣ, одна глава котораго посвящена вопросу о нравственности. Тамъ доказывается, что «нравственно то, что соотвѣтствуетъ реальнымъ или идеальнымъ началамъ общественности» («Знаніе» 1873, № III, 81). Сравните это опредѣленіе съ предыдущимъ. Допустимъ, что сказать: *истинныя начала общественности* все равно, что сказать: *идеальныя или реальныя начала общественности*. Но *есть и соотвѣтствуетъ* во всякомъ случаѣ глаголы очень различныя. И питательность соотвѣтствуетъ извѣстнымъ физическимъ истинамъ, но она не есть истина.

Надѣюсь, что читатель признаетъ за мной одну заслугу: я не только не стараюсь замазать предстоящія мнѣ трудности, а напротивъ ставлю ихъ, какъ говорится, ребромъ. Спрашивается какъ же можетъ быть построена соціологія? Какъ и всякая другая наука, какъ и наука вообще, она должна удовлетворять только потребности познанія; потребность познанія удовлетворяется только истиной; а между тѣмъ соціологія имѣетъ дѣло не только съ категоріями истиннаго и ложнаго, а и съ совершенно

самостоятельными категоріями нравственнаго, справедливаго, должнаго. Какъ тутъ быть? На первый взглядъ представляется неизбѣжнымъ просто выкинуть изъ соціологическаго построения категоріи нравственнаго и справедливаго. Такъ именно и поступаютъ чистые объективисты. Они говорятъ: наука должна познавать причинную связь явленій, устанавливать законы ихъ возникновенія, развитія и прекращенія, и больше ей дѣлать нечего; нвой задачи нѣтъ и у соціологін. Разъ выясненъ какой-нибудь соціологическій процессъ, желать измѣненія его было бы безумно и недостойно человѣка науки; онъ долженъ принимать истину и здѣсь съ такими же распростертыми объятіями, какъ въ механикѣ или химіи; одобрять или не одобрять какой-нибудь порядокъ вещей, прилагать къ нему мѣрку нравственнаго суда, по малой мѣрѣ бесполезно и во всякомъ случаѣ ненаучно, ибо объ этомъ порядкѣ вещей наука только и можетъ сказать, что онъ порожденъ извѣстными причинами и даетъ извѣстные послѣдствія. Станнымъ образомъ однако эта программа, повидимому столь удобоисполнимая, столь простая, столь, такъ сказать, прямолинейная, столь наконецъ сходная съ программами наукъ естественныхъ, прочно установившихся, страннымъ образомъ эта программа хотя и многими заявляется, но рѣшительно никѣмъ послѣдовательно не выполняется. Она не выполнена и Спенсеромъ, не смотря на всѣ его величественные аллюры. Соціологъ объективистъ разсуждаетъ очень спокойно, и величественно, что политическихъ фактовъ не слѣдуетъ ни одобрять, ни порицать, а слѣдуетъ только познавать ихъ, и среди этихъ разсужденій нѣтъ-нѣтъ, да и одобрить что-нибудь, и сплошь и рядомъ одобрить что-нибудь очень дрянное. Я думаю, что подобныя уклоненія объективистовъ отъ собственной своей программы должны быть объясняемы не частными какими-нибудь причинами, а внутреннимъ противорѣчіемъ ихъ доктрины и несостоятельностью ихъ метода.

Г. Южаковъ — тоже объективистъ, но онъ относится къ задачѣ соціологін нѣсколько иначе. Впрочемъ не легко понять, почему онъ считаетъ себя объективистомъ и даже что именно онъ на-

зываетъ объективизмомъ. Онъ говоритъ: «собственно говоря нѣтъ ни объективнаго, ни субъективнаго метода, а есть только одинъ истинный, логическій. Если объективность заключается въ томъ, чтобы игнорировать значеніе общественныхъ событій для личности и личности для общественныхъ событій, чтобы отмахиваться отъ соціологическихъ выводовъ, вытекающихъ изъ этическихъ теоремъ, то это вовсе не объективность и безпристрастіе, а просто опасное для науки заблужденіе, непониманіе того, что различные элементы общественнаго блага находятся въ тѣсной зависимости между собой. Богъ съ ней, съ такой объективностью; я готовъ выдать ее головой. Но если съ другой стороны субъективность состоитъ въ томъ, чтобы вмѣсто признанія желательнымъ и должнымъ истиннаго объявлять истиннымъ все желательное; въ томъ, чтобы снимать съ изслѣдователя соціолога узду всякихъ общеобязательныхъ логическихъ формъ мышленія; въ томъ, чтобы теоремы одной изъ областей науки, какъ бы эта область ни была важна сама по себѣ, возводить въ методологическій критерій всякаго общественно-научнаго мышленія; если *это* значитъ субъективный методъ, то да будетъ всякій соціологъ подалѣе отъ такого орудія, и чѣмъ талантливѣе мыслитель, тѣмъ опаснѣе для науки подобное направленіе» (61). На это я замѣчу только слѣдующее: 1) сказать, что собственно говоря нѣтъ ни субъективнаго, ни объективнаго метода, а есть только истинный—значитъ ровно ничего не сказать. На этомъ основаніи (?) можно пожалуй отрицать существованіе индуктивнаго и дедуктивнаго метода. Но это никому, ни даже самому отрапателю, не помѣшаетъ, смотря по условіямъ задачи, употреблять въ одномъ случаѣ индукцію, а въ другомъ выводъ. Психологи спорятъ о томъ, какъ и когда надо примѣнять въ психологіи методъ самонаблюденія (субъективный) и физиологическій (объективный). Г. Южаковъ можетъ и имъ сказать, что нѣтъ ни физиологическаго метода, ни метода самообладанія, а есть одинъ методъ—истинный, логическій. Я думаю однако, что выслушавъ это рѣшеніе, психологи спорить не перестанутъ, и не по упрямству, а потому, что рѣшеніе г. Южакова ничего не

рѣшаетъ. 2) Я убѣжденъ, что исключительно объективный методъ въ социологiи невозможенъ и никогда никѣмъ не примѣняется. Я только называю объективистами людей, которые сами претендуютъ на этотъ титулъ, и не хуже г. Южакова знаю, что объективности и безпристрастія въ ихъ изслѣдованіяхъ нѣтъ. 3) Снимать съ социолога узду общеобязательныхъ логическихъ формъ мышленія я никогда не думалъ, а напротивъ всегда предлагалъ надѣть ее. 4) Почему г. Южаковъ заявляетъ себя сторонникомъ «объективной критики» и «объективнаго метода», если послѣдній по его словамъ не существуетъ, а существуетъ только методъ «истинный»?

Въ другомъ мѣстѣ г. Южаковъ говоритъ: «Михайловскій замѣчаетъ, что нравственная оцѣнка есть результатъ субъективнаго процесса мысли, но право самъ г. Михайловскій никогда не въ состояніи будетъ разъяснить, какой такой есть *объективный процессъ* мысли. Всѣ процессы мысли суть процессы мыслящаго субъекта и, какъ субъективные, всѣ они противоплагаются процессамъ *мыслимымъ*, объекту». (67). Это называется возраженіемъ. Всѣ процессы мысли *субъективны*—это правда: субъективны всѣ наши понятія, всѣ наши истины. Но вѣдь г. Южаковъ говоритъ же объ *объективной* критикѣ, объ *объективныхъ* истинахъ? Надо думать, что онъ придаетъ этимъ выраженіямъ какой-нибудь особенный смыслъ, потому что критика въ качествѣ процесса мысли должна быть непремѣнно субъективною. Пусть же онъ ужъ и мнѣ позволить говорить объ объективномъ и субъективномъ процессахъ мысли, придавая этимъ словамъ известное, опредѣленное значеніе. И напрасно г. Южаковъ полагаетъ, что я не сумѣю объяснить, что я разумѣю подъ тѣми или другими употребляемыми мною терминами. Отчего же? что другое, а это я могу объяснить г. Южакову.

Мужъ убилъ жену; пуля пробила жертвѣ черепъ и зашла въ мозгъ; раненая еще жива, но приблизительно черезъ часъ, черезъ два она умретъ; она блѣдна, лицо ея покрыто холоднымъ потомъ, ноги конвульсивно содрогаются; величина и форма отверстія, пробитаго пулей, показываютъ, что убійца стрѣлялъ изъ.

револьвера № 3; убійца будетъ наказанъ. Вотъ заключенія, къ которымъ приводитъ наблюдателя *объективный* процессъ мысли. Заключенія о страданіи жертвы, о степени нравственного развитія убійцы, о его психическомъ состояніи въ моментъ убійства даются *субъективнымъ* процессомъ мысли. Мы имѣемъ здѣсь рядъ фактовъ, изъ которыхъ по крайней мѣрѣ нѣкоторые мы воспринимаемъ двоякимъ способомъ: они и выражаются двояко. Всѣ присутствующіе и даже отсутствующіе, читавшіе протоколъ судебного слѣдователя, согласны относительно подробностей объективнаго выраженія событія. Если тутъ и выйдутъ какія нибудь разногласія, то они могутъ быть немедленно устранены. Если наприимѣръ возникнутъ какія-нибудь сомнѣнія относительно размѣровъ орудія убійства, то стоитъ только позвать эксперта или взять въ оружейномъ магазинѣ образцы пуль, и споръ конченъ. Иное уяснится свидѣтелями, иное обстановкой убійства и проч. Но относительно результатовъ субъективнаго процесса мысли такого согласія по всей вѣроятности не будетъ, если только всѣ наблюдатели вслѣдствіе счастливой случайности не будутъ обладать одинаковою воспримчивостью къ страданію и одинакимъ уровнемъ нравственного развитія. По всей же вѣроятности между наблюдателями будутъ люди очень нервныя, которые найдутъ, что покойница страдала ужасно, и люди съ болѣе крѣпкими нервами, люди, стоящіе на ступени нравственнаго развитія Дюма-фиса, которые найдутъ, что по дѣломъ вору и мука, и люди съ инымъ нравственнымъ складомъ, которые осудятъ убійцу. Конечно можетъ быть съ теченіемъ времени, когда приведется въ исполненіе знаменитый кардіографъ г. Ціона и другія подспорья для объективнаго изслѣдованія субъективныхъ фактовъ (въ родѣ термометра), число разногласій относительно результатовъ субъективнаго процесса мысли сократится. Но и это возможно только въ извѣстныхъ предѣлахъ. Мы сидимъ вдвоемъ въ комнатѣ, температура которой, какъ показываетъ термометръ равна 15°, но не смотря на то вамъ жарко, а мнѣ холодно. Такъ будетъ всегда, пока люди не уравниются въ степени воспримчивости къ теплу. Въ высшей степени не-

лѣпо поступилъ бы человѣкъ, который сталъ бы доказывать, что мнѣ не холодно, потому что термометръ показываетъ 15°. Если только я не имѣю особенныхъ причинъ притворяться, то мое заявленіе: мнѣ холодно—есть истина, но истина чисто субъективная. Заявленіе, что ртуть въ термометрѣ подвинулась вверхъ до извѣстной черточки скалы—тоже истина, но истина объективная, которую способенъ вполне усвоить всякій зрячій человѣкъ. Въ ожиданіи кардіографа и другихъ приспособленій въ этомъ родѣ, въ ожиданіи нѣкоторыхъ теоретическихъ открытій, напримѣръ изслѣдованія измѣненій нервной ткани, сопровождающихъ измѣненіе психическаго состоянія — мы должны признать значительную часть нашихъ соціологическихъ и даже психологическихъ понятій результатами субъективнаго процесса мысли.

Результатъ одной и той же причины выражается двояко: извѣстными жестами и извѣстными (собственно—неизвѣстными) измѣненіями нервной ткани, вообще движеніемъ съ одной стороны и извѣстнымъ психическимъ состояніемъ съ другой. Вполнѣ законно и необходимо изслѣдованіе и той, и другой стороны явленія, но произвести его и въ той, и другой области однимъ и тѣмъ же методомъ невозможно, такъ какъ обѣ стороны явленія воспринимаются нами различно. Для изслѣдованія движенія достаточно привести органы чувствъ, вооруженные или невооруженные, въ извѣстное отношеніе къ наблюдаемому явленію. Для изслѣдованія психическаго состоянія этого мало: тутъ нужно употребить иные приемы, нужно пережить самому это состояніе, поставить себя на мѣсто человѣка, находящагося или находившагося въ этомъ состояніи, и изслѣдователь приближается къ истинѣ настолько, насколько онъ способенъ переживать чужую жизнь. Спенсеръ совершенно справедливо говоритъ, что въ подобныхъ случаяхъ «мы встрѣчаемся съ необходимостью извѣстнаго рода и въ тоже время съ затрудненіемъ. Необходимость состоитъ въ томъ, что въ сношеніяхъ съ другими людьми и въ объясненіи ихъ дѣйствій мы должны представить себѣ ихъ мысли и чувства въ формѣ своихъ собственныхъ мыслей и

чувствъ. Затрудненіе же состоитъ въ томъ, что представляя ихъ такимъ образомъ, мы всегда будемъ справедливы только отчасти и нерѣдко будемъ весьма несправедливы. Понятіе, которое одинъ составляетъ объ умѣ другого, неизбѣжно болѣе или менѣе соотвѣтствуетъ складу его собственнаго ума: оно бываетъ автоморфическимъ. И его автоморфическія сужденія тѣмъ дальше отстоятъ отъ истины, чѣмъ болѣе его собственный умъ отличается отъ того ума, о которомъ онъ долженъ составить себѣ понятіе». (Изученіе социологіи, 170). Результаты изслѣдованія чужихъ мыслей и чувствъ въ формѣ своихъ собственныхъ мыслей и чувствъ я называю результатами субъективнаго процесса мысли. Тамъ, гдѣ этого условія нѣтъ, процессъ мысли объективенъ. Г. Южакъ можетъ признавать эти термины неудачными, но разъ имъ придается опредѣленное значеніе, онъ не можетъ называть ихъ ничего не значущими.

Все это я пишу только въ объясненіе того, какъ я понимаю смутившія г. Южакова слова: объективный и субъективный процессъ мысли. И если въ вышенаписанное закралось нѣсколько словъ собственно о методѣ, то это сдѣлалось помимо моей воли. Возвращаясь къ г. Южакову, я повторяю, что его понятія о субъективномъ и объективномъ для меня не совсѣмъ ясны (я не говорю, что они неясны ему самому). Во всякомъ случаѣ онъ признаетъ себя объективистомъ, но отличается отъ другихъ объективистовъ тѣмъ, что не изгоняетъ изъ социологіи нравственнаго элемента. Онъ только отождествляетъ нравственный судъ съ судомъ истины, такъ какъ для него категоріи нравственнаго и безнравственнаго и вообще желательнаго и нежелательнаго не имѣютъ самостоятельнаго значенія, а суть тѣже категоріи истиннаго и ложнаго въ приложеніи къ социологической области. Сколько я понимаю, въ этомъ именно и состоитъ по г. Южакову настоящій объективизмъ.

На первый взглядъ его положеніе чрезвычайно удобно. Ему стоитъ только опредѣлить «истинныя начала общественности» и затѣмъ, когда нужно произнести нравственный судъ, предстоитъ только прикинуть къ данному явленію мѣрку найденныхъ «ис-

тинныхъ началъ»—и дѣло въ шляпѣ. Но бѣда въ томъ, что затрудненіе здѣсь не разрѣшено, а только отодвинуто, потому что истинныя начала общественности не могутъ быть опредѣлены безъ участія въ изслѣдованіи нравственной оцѣнки явленій, каковая оцѣнка, повторяю, есть результатъ субъективнаго процесса мысли. (Таково по крайней мѣрѣ мое мнѣніе, и я не могу признать его опровергнутымъ г. Южаковымъ). Такимъ образомъ объективный методъ не подвигаетъ насъ впередъ. Пора однако спросить: что такое методъ? Методомъ называется совокупность приѣмовъ, помощью которыхъ находится истина или, что то же, удовлетворяется познавательная потребность человѣка. Въ одномъ случаѣ пригоденъ одинъ методъ, въ другомъ—другой, смотря по природѣ явленій, на которыя устремлена потребность познанія. Если явленія допускаютъ опытное изслѣдованіе, то къ нимъ прилагается методъ опытный, если нѣтъ—наблюдательный или умозрительный. Если явленія очень сложны и относительно ихъ имѣется уже извѣстный кругъ свѣдѣній, то употребляется дедуктивный методъ, въ противномъ случаѣ—индуктивный. Гдѣ природа явленій допускаетъ проверку всего процесса изслѣдованія каждымъ человѣкомъ, имѣющимъ достаточно свѣдѣній, тамъ употребляется объективный методъ. Гдѣ для проверки изслѣдованія требуется, кромѣ свѣдѣній, извѣстная восприимчивость къ природѣ явленій, тамъ употребляется методъ субъективный. Послѣдній вовсе не ведетъ, какъ думаетъ г. Южаковъ, къ полной логической разнузданности, хотя конечно можно и съ нимъ, какъ со всякимъ другимъ методомъ, обращаться неправильно; съ нимъ даже больше, чѣмъ съ другимъ, потому что онъ труднѣе. Но тамъ, гдѣ нельзя примѣнять объективнаго метода, методъ субъективный, не смотря на всѣ свои трудности, долженъ быть примѣняемъ. Онъ нисколько не обязываетъ отворачиваться отъ общеобязательныхъ формъ мышленія, потому что онъ по характеру своему противоположенъ только объективному методу, а не индукціи и дедукціи, не опыту и наблюденію. Совершенно такъ же какъ индуктивный методъ по характеру своему противоположенъ дедуктивному, но

не исключаетъ ни опыта, ни наблюденія, ни умозрѣнія. Далѣе, субъективный и объективный методы противоположны только по характеру; но ничто не мѣшаетъ имъ уживаться совершенно мирно рядомъ, даже въ примѣненіи къ одному и тому же кругу явленій. Субъективнымъ методомъ называется такой способъ удовлетворенія познавательной потребности, когда наблюдатель ставитъ себя мысленно въ положеніе наблюдаемаго. Этимъ самымъ опредѣляется и сфера дѣйствія субъективного метода, размѣръ законно подлежащаго ему района изслѣдованій. Наблюдатель—человѣкъ и слѣдовательно можетъ себя мысленно поставить только въ положеніе такого же, какъ и онъ, человѣка. Метафизики примѣняютъ субъективный методъ къ изученію внѣшней природы, и это неправильно, потому что противорѣчитъ самому смыслу субъективного метода. Но затѣмъ, какъ удачно выразился Спенсеръ, при объясненіи дѣйствій людей мы должны представить себѣ ихъ мысли и чувства въ формѣ собственныхъ мыслей и чувствъ. И слѣдовательно въ этой области субъективный методъ законенъ и неизбѣженъ. Но рядомъ съ нимъ можетъ примѣняться и объективный методъ. Въ многократно упомянутыхъ изслѣдованіяхъ князя Васильчикова и редакціи «Сборника государственныхъ знаній» есть выводы, полученные объективнымъ методомъ, на основаніи статистическихъ данныхъ,—выводы, которые можетъ провѣрить всякій грамотный человѣкъ, потому что для такой провѣрки требуются только нѣкоторыя, весьма элементарныя свѣдѣнія изъ ариметики и географіи, а ставить себя мысленно въ чужое положеніе вовсе не требуется. Но когда кн. Васильчиковъ утверждаетъ, что преобладаніе словесно-помѣстного элемента несправедливо, то мы имѣемъ выводъ, полученный субъективнымъ методомъ. Тутъ нужна была извѣстная воспріимчивость къ страданіямъ обитателей Мекленбурга и Ирландіи, нужно было мысленно поставить себя на ихъ мѣсто и перетерпѣть все перетерпѣнное ими. Это можетъ сдѣлать не всякій, знающій ариметику и географію, и провѣрить *весь* процессъ изслѣдованія, приведшій автора къ данному выводу, можетъ только человѣкъ извѣстнаго нравственнаго склада,

способный прикинуть къ собственной персонѣ положеніе ирландцевъ и мекленбургцевъ. Даже еслибы кн. Васильчиковъ сказалъ только, что мекленбургскіе порядки *вредны*, такъ и то оставался бы вопросъ: кому вредны? Люди, дорожащіе интересами мекленбургскихъ бароновъ, способные поставить себя только на ихъ мѣсто, сказали бы, что *не вредны*. И дѣйствительно, баронамъ не вредны. Въ изслѣдованіи, въ которое замѣшаны мысли и чувства людей, субъективный методъ неизбѣженъ. Его неизбѣжно употребляютъ и такъ называемые объективисты, утверждающіе, что они безпристрастны, что они, въ своемъ стремленіи къ истинѣ, отрѣшились отъ всякихъ симпатій и антипатій. Они говорятъ пустяки. Въ ихъ нравственномъ аппаратѣ просто недостаетъ нѣкоторыхъ винтовъ, вслѣдствіе чего они неспособны поставить себя въ положеніе мекленбургцевъ; но это нисколько не мѣшаетъ имъ симпатизировать мекленбургскимъ Rittergutsbesitzern'амъ и умѣть мысленно переноситься на ихъ мѣсто. Г. Скальковский утверждаетъ въ своихъ «Путевыхъ впечатлѣніяхъ», что Кастеларъ только потому сталъ республиканцемъ, что въ этой партіи было вакантное мѣсто вождя, въ другихъ же партіяхъ первыя мѣста были заняты, а то Кастеларъ былъ бы монархистомъ того или другого оттѣнка. Можетъ оно и вѣрно, а можетъ быть и не вѣрно. Можетъ быть г. Скальковский только потому пришелъ къ такому заключенію, что по нравственному своему складу онъ неспособенъ представить себя въ положеніи чловека, который ради идеи отказывается отъ какого нибудь перваго мѣста. А можетъ быть его нравственное величіе, такъ сказать, не вмѣстилось въ особѣ Кастелара и, подмѣтивъ въ этомъ чловекѣ нѣкоторыя слабости, онъ рѣшилъ: нѣтъ, этотъ чловекъ только корыстолюбецъ и честолюбецъ, а не искренній республиканецъ. Неизвѣстно, признаетъ ли г. Скальковский поведение Кастелара нравственнымъ или безнравственнымъ, но во всякомъ случаѣ его умозаключеніе получено субъективнымъ путемъ, съ помощью конечно объективныхъ данныхъ въ родѣ разговоровъ Кастелара, его дѣйствій и т. п. Субъективный путь изслѣдованія употребляется всѣми тамъ, гдѣ дѣло идетъ о мы-

сляхъ и чувствахъ людей. Но характеръ научнаго метода онъ получаетъ тогда, когда примѣняется сознательно и систематически. Для этого изслѣдователь долженъ не забывать своихъ симпатій и антипатій, какъ совѣтуютъ объективисты, сами не исполняя своего совѣта, а только выяснить ихъ, прямо заявить: вотъ тотъ родъ людей, которымъ я симпатизирую, въ положеніе которыхъ я мысленно переношусь, вотъ чьи чувства и мысли я способенъ представить себѣ въ формѣ своихъ собственныхъ чувствъ и мыслей; вотъ что для меня желательно и вотъ что нежелательно, кромѣ истины. Г. Южакъ спрашиваетъ: неужели субъективисты играютъ въ руку недобросовѣстнымъ мыслителямъ? Нѣтъ, мы требуемъ прежде всего добросовѣстности.

Я понимаю побужденія, заставляющія г. Южакова чураться субъективизма. Ему кажется, что мы ставимъ желательное на мѣсто истиннаго и тѣмъ самымъ уничтожаемъ науку, которая имѣетъ дѣло только съ истиною. Выше я старался уже распутать это недоразумѣніе. Мнѣ остается разъяснить затрудненіе, мною самимъ постановленное въ наиболѣе рѣзкой формѣ. Какъ можетъ быть построена социологія, если она, какъ наука, должна удовлетворять только потребности познанія, а, какъ социологія, принуждена имѣть дѣло съ категоріями нравственнаго и безнравственнаго, которыя стоятъ совершенно независимо отъ категорій истиннаго и ложнаго? Въ связи съ этимъ находится другой вопросъ: какъ можетъ быть построена социологія, если огромная доля ея истинъ по своей субъективности можетъ быть правомѣрно признана однимъ изслѣдователемъ и отвергнута другимъ?—Затрудненія эти однако не такъ велики, какъ кажутся съ перваго взгляда. Они отчасти свойственны и другимъ наукамъ; но главнымъ образомъ составляютъ особенность социологіи и показываютъ, что она должна по характеру своему значительно отличаться отъ наукъ естественныхъ. Вѣдь и наши познанія о природѣ не всѣ одинаково повсѣмъ доступны. Человѣкъ, неимѣющій достаточныхъ предварительныхъ свѣдѣній, не повѣритъ, что земля ходитъ около солнца. И такихъ людей много. Что нужно сдѣлать, чтобы всѣ люди имѣли одинаковыя понятія

объ отношеніяхъ солнца и земли? Нужно ихъ всѣхъ учить. Субъективныя разногласія сообщеніемъ свѣдѣній не устраняются, потому что и порождаются они не различіемъ въ количествѣ знаній, а различіемъ симпатій и антипатій, различіемъ общественныхъ положеній, препятствующимъ людямъ представлять себѣ чужія мысли и чувства въ формѣ собственныхъ. Я ссылаюсь опять на кн. Васильчикова и редакцію «Сборника государственныхъ знаній», количество свѣдѣній которыхъ объ эмиграціи одинаково и которые однако препираются. Поэтому одна изъ задачъ соціологіи состоитъ въ опредѣленіи условій, при которыхъ субъективныя разногласія исчезаютъ. Соціологія должна начать съ нѣкоторой утопіи. Я нарочно пишу это слово, которое могъ бы обойти, потому что лучше же я скажу его самъ въ томъ смыслѣ, какъ я его понимаю, чѣмъ дожидаться чтобы кто нибудь наклеилъ на мою мысль этотъ ярлыкъ по своему. Всѣ утописты заблуждались, предполагая возможнымъ опредѣлить идеальное общество до мельчайшихъ подробностей, но самая задача —опредѣлить условія, при которыхъ изъ общественной жизни устраняется все, съ точки зрѣнія изслѣдователя нежелательное—самая эта задача вполне научна. Трудности ея ничуть не больше другихъ затрудненій, встрѣчаемыхъ на своемъ пути наукою.

Итакъ разногласіе субъективныхъ заключеній представляетъ дѣйствительно весьма важное неудобство. Неудобство это однако для соціологіи неизбежно, борьба съ нимъ лицомъ къ лицу, въ открытомъ полѣ для науки невозможна. Не въ ея власти сообщить изслѣдователю тѣ или другія соціологическія понятія, такъ какъ они образуются всею его обстановкой. Она можетъ сообщать знанія, но вліять на измѣненіе понятій можетъ только косвенно и вообще говоря въ весьма слабой степени. Роль науки слишкомъ велика и почтенна, чтобы слѣдовало бояться указывать предѣлы ея компетенціи. Наука не властна надъ моимъ желудкомъ, не властна и надъ моей совѣстью. Если совѣсть моя не возмущается порядкомъ вещей, который обезпечиваетъ мнѣ праздную жизнь и побуждаетъ вести жизнь развратную, то, что бы ни говорила наука о праздной и развратной жизни, мои со-

цiологическія понятія не измѣняются. Пусть г. Южаковъ сколько ему угодно доказываетъ, что они не суть истинныя начала общественности, я буду признавать истинными только существующія начала. Но изъ этого не слѣдуетъ, что наука должна сидѣть сложа руки и отложить всякія попеченія объ устраненіи или хоть облегченіи такого важнаго неудобства, какъ разногласіе понятій о нравственномъ и безнравственномъ, справедливомъ и несправедливомъ, вообще желательномъ и нежелательномъ. Она должна сдѣлать въ этомъ направленіи то, что можетъ сдѣлать. А можетъ она вотъ что: признавъ желательнымъ устраненіе субъективныхъ разногласій, опредѣлить условія, при которыхъ оно можетъ произойти. Это изслѣдованіе обниметъ конечно и исторію возникновенія и развитія субъективныхъ разногласій, причѣмъ будетъ опираться и на данныя объективной науки—данныя низшихъ наукъ и факты историческіе и статистическіе. Но въ основѣ изслѣдованія будетъ лежать субъективное начало желательности и нежелательности, субъективное начало потребности. Замѣтимъ, что устраненіе субъективныхъ затрудненій само по себѣ не есть что-либо истинное, но не есть и что-либо ложное. Оно желательно само по себѣ, удовлетворяя потребности, отличной отъ потребности познанія, и прямыхъ связей съ категоріями истиннаго и ложнаго не имѣетъ, хотя и находится въ соотвѣтствіи съ рядомъ извѣстныхъ истинъ. Такова одна изъ задачъ социологіи. Но вмѣстѣ съ тѣмъ это задача типическая. Таковы всѣ общія задачи социологіи. Признавъ и что желательнымъ или нежелательнымъ, социологъ долженъ найти условія осуществленія этого желательнаго или устраненія нежелательнаго. Само собою разумѣется, что ничто кромѣ неискренности или слабости мысли не помѣшаетъ ему придти къ заключенію, что такія или такія-то желанія не могутъ осуществиться вовсе, другія могутъ осуществиться только отчасти. Задачи социологіи такимъ образомъ существенно отличаются отъ наукъ естественныхъ, въ которыхъ субъективное начало желательности остается на самомъ порогѣ изслѣдованія. Потребность познанія субъективна, какъ и всѣ потребности. Выборъ предмета

изслѣдованія, выборъ предмета, на который устремляется жажда познанія натуралиста, всецѣло зависитъ отъ личныхъ качествъ изслѣдователя. Одинъ желаетъ изучать движеніе планетъ, другой желаетъ перечислять виды клоповъ и проч. Но когда изслѣдованіе начато, натуралистъ не вводитъ въ него, по крайней мѣрѣ не долженъ вводить элементъ субъективный. Онъ можетъ сказать: я желаю перечислять виды клоповъ, но не можетъ сказать: я желаю, чтобы видовъ клоповъ было столько-то. Соціологъ напротивъ долженъ прямо сказать: я желаю познавать отношенія, существующія между обществомъ и его членами, но кромѣ познанія я желаю еще осуществленія такихъ-то и такихъ-то моихъ идеаловъ, сильное оправданіе которыхъ при семъ прилагаю. Собственно говоря самая природа соціологическихъ изслѣдованій такова, что они и не могутъ производиться отличнымъ отъ указаннаго путемъ. Дѣло только въ томъ, что въ настоящее время для большей части соціологовъ неясенъ весь процессъ ихъ собственныхъ изслѣдованій. Нѣкоторые моменты этого процесса остаются, такъ сказать, въ скрытомъ состояніи, что не мѣшаетъ имъ однако вліять на ходъ изслѣдованія. Все равно какъ рѣка, которая течетъ иногда на нѣкоторомъ протяженіи подъ землей: ея на этомъ пространствѣ не видно, но тамъ и рыбы плаваютъ, и берега заносятся или отмываются, вообще происходятъ тѣ же явленія, что и въ поверхностной части русла. Конечно не всегда процессъ изслѣдованія неясенъ самому соціологу: иногда нѣкоторые моменты процесса имъ по недобросовѣстности мысли просто скрадываются. Тутъ ужъ ничего не подѣлаешь, тутъ наука опять безсильна для прямой борьбы; но она можетъ и должна открыть, что именно скрадено въ данномъ изслѣдованіи, каковы желанія, которыя не посмѣлъ или не стѣмѣлъ выразить соціологъ и которыя однако оставили свои слѣды въ его работѣ. Само собой разумѣется, что если скрадены не только нѣкоторые моменты внутреннего процесса изслѣдованія, а и факты, то они должны быть тоже возстановлены. Благодаря подобнымъ скрадываніямъ и не систематическому, а случайному и тайному примѣненію субъективнаго метода, боль-

шинство социологовъ выражаетъ программу своей науки совѣтъ не такъ, какъ мы сейчасъ объ ней говорили. Такова напримѣръ программа Спенсера, приведенная мною въ прошлый разъ. Существенная задача социологiи, какъ мы ее опредѣлили, состоитъ въ выясненiи общественныхъ условiй, при которыхъ та или другая потребность человѣческой природы получаетъ удовлетворенiе. Спенсеръ понимаетъ дѣло на оборотъ. Онъ полагаетъ, что социологiя должна показывать, какiя измѣненiя должны произойти въ людяхъ для того, чтобы общество прогрессировало. Это—совершенно обратная задача. Оно не такъ замѣтно на общей формулѣ, но мы видѣли, что въ переводѣ на конкретный примѣръ задача Спенсера выражается такъ: до какой степени долженъ обвинять мекленбургскiй крестьянинъ (т. е. до какой степени у него должна быть отнята возможность удовлетворять своимъ потребностямъ) для того, чтобы мекленбургская цивилизацiя процвѣтала?

Такъ ищутся «истинныя начала общественности»...

VI.

Борьба за индивидуальность.

Признаюсь, то презрительно-сожалительное «экъ вы! объ истинѣ!» съ котораго я началъ свою бесѣду, не выходитъ у меня изъ головы. Ради него именно я начинаю новую главу. Я рассчитываю на то, что иной читатель, соскучившiйся на предыдущихъ страницахъ, заинтересуется перерывомъ: можетъ быть дескать теперь пойдетъ «повеселѣе». Да простится мнѣ эта невинная хитрость. Я не принадлежу къ числу тѣхъ величественныхъ олимпiйцевъ, которые говорятъ, что имъ все равно—читаютъ ихъ или нѣтъ; признаться, я имъ даже немножко не вѣрю, и во всякомъ случаѣ мнѣ это не все равно: я очень хочу, чтобы меня читали, хотя и приходится иногда говорить о «скучныхъ вещахъ». Впрочемъ читатель, завлеченный моей невин-

ной хитростью, может быть и не ошибется: постигающее будет казаться «повеселѣе».

Что такое совершенствованіе? Вопросъ, не смотря на свою краткость, представляется до такой степени неопредѣленнымъ, что отвѣтить на него нѣтъ повидимому никакой возможности. И ради этой-то неопредѣленности многіе ученые люди боятся даже упоминанія о совершенствѣ. Боязнь эта однако совсѣмъ неосновательна. Въ поставленномъ вопросѣ недостаетъ только дополненія, и разъ вы спросите: что такое совершенствованіе билиардной игры или что такое совершенствованіе организаци или иного какого-нибудь явленія, вопросъ не представить трудностей, рѣзко отличныхъ отъ другихъ затрудненій, представляющихся человѣческому уму. Во всякомъ случаѣ слова: совершенство, совершенствованіе, совершенный и проч. до такой степени укрѣпились въ обиходѣ нашей рѣчи, что необходимо придать имъ какое нибудь опредѣленное значеніе во избѣжаніе путаницы, двусмысленностей и взаимнаго непониманія. Такъ и дѣлаютъ ученые люди, но боязнь слова все-таки мѣшаетъ имъ и заставляетъ ихъ, если позволено будетъ такъ выразиться, вилять. Напримѣръ г. Южаконъ въ своемъ третьемъ соціологическомъ этюдѣ говоритъ: «Совершенствованіе—*понятіе относительное, если подъ нимъ не разумѣть приспособленія*, а если его понимать такимъ образомъ, то придется сознаться, что совершенствованіе можетъ идти не только безконечно различными, но даже и прямо противоположными путями» («Знаніе» 1873, № 3, 41). Я называю это виляніемъ (я не хочу сказать грубаго слова, но мнѣ не приходится на умъ другого). Зачѣмъ г. Южаконъ вдругъ понадобилось понятіе *неотнoсительное*, т. е. абсолютное? Наука покончила съ абсолютами, и г. Южаконъ вообще къ нимъ пристрастія не имѣетъ. Это видно и изъ приведенныхъ его словъ. Совершенствованіе, какъ приспособленіе, есть тоже понятіе относительное, потому что допускаетъ разницу степеней и различіе путей совершенствованія. Но виляніе на этомъ не останавливается. На стр. 71 того же этюда, приведя мнѣніе Спенсера, что промышленное усовершенствованіе требуетъ *высшей* формы

человѣчества для своего приведенія въ дѣйствіе, г. Южаковъ замѣчаетъ: «Если съ одной стороны это вѣрно, то съ другой разумѣется нѣтъ. Если управляющій промышленнымъ предпріятіемъ долженъ обладать большимъ знаніемъ и умомъ (хотя быть можетъ и просто большимъ знаніемъ), то отъ большинства рабочихъ предпріятія съ усовершенствованіемъ производства большею частію требуется даже меньше умственной самодѣятельности. Автоматичность фабричной работы вошла въ поговорку». Это опять-таки вліяніе. Почему бы не сказать, что степень автоматичности рабочаго и есть именно степень его совершенства? Отсутствіе умственной самодѣятельности есть въ рабочемъ результатъ его приспособленія къ условіямъ усовершенствованнаго производства, а «совершенствованіе есть понятіе относительное, если подъ нимъ не разумѣть приспособленія; если же его понимать такимъ образомъ, то придется сознаться, что совершенствованіе можетъ идти не только безконечно различными, а и прямо противоположными путями». Нѣкоторыя домашнія животныя между прочимъ тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ они жирнѣе и глупѣе: это—результаты приспособленія. Точно также рабочій можетъ быть признанъ тѣмъ болѣе совершеннымъ, чѣмъ онъ автоматичнѣе: это — тоже результатъ приспособленія. Весьма многіе публицисты и экономисты именно на этомъ основаніи требуютъ, чтобы рабочимъ образованіе было даваемо только въ той ограниченной степени, какая допускаетъ возможность ихъ приспособленія къ условіямъ жизни фабричнаго рабочаго или прислуги. И должно сознаться, что эти экономисты и публицисты логически совершенно правы. Дѣйствительно, высокообразованный рабочій или лакей необходимо нарушать гармонію существующихъ порядковъ: они не въ состояніи будутъ приспособиться къ условіямъ современной фабричной жизни или къ условіямъ положенія прислуги, т. е. будутъ весьма несовершенными рабочими или лакеями. Если г. Южаковъ скажетъ, что они совершенствуются въ своемъ человѣческомъ достоинствѣ, то я спрошу, гдѣ у него основаніе для такого заключенія? Эти люди

не приспособились—и конецъ, потому что «совершенство—понятіе относительно, если» и т. д.

Біологи и соціологи, будучи самымъ языкомъ человѣческимъ, вынуждены дать какое нибудь опредѣленное значеніе словамъ: совершенство, совершенствованіе и т. п., выработали два мѣрила, которыя однако весьма часто сталкиваются враждебно. Одно мѣрило, выработанное трудами Бэра, Мильнъ-Эдвардса и другихъ, таково: живыя существа совершенствуются, переходя отъ простаго къ сложному, дифференцируясь, раздробляясь на несходныя части. Критеріемъ совершенства живыхъ существъ признается здѣсь степень разнородности ихъ частей и степень раздѣленія между этими частями труда. Такъ взрослое животное совершеннѣе своего зародыша, потому что организація его сложнѣе, оно состоитъ изъ большаго числа и болѣе разнородныхъ частей, трудъ жизни распредѣленъ въ немъ по большому числу органовъ. По той же причинѣ млекопитающія совершеннѣе рыбъ, человѣкъ совершеннѣе собаки. Этотъ критерій стоитъ очень прочно въ наукѣ. Онъ признается и Дарвиномъ, который однако наиболѣе способствовалъ установленію другого мѣрила совершенства. Дарвинисты признаютъ, что живыя существа тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ болѣе они приспособлены къ условіямъ своего существованія. Въ первомъ критеріи принята въ соображеніе такъ сказать, широта жизни, количество и разнообразіе силъ и способностей организма, количество и разнообразіе тѣхъ отношеній къ окружающему міру, въ которыя организмъ способенъ вступать. Критерій приспособленія имѣетъ въ виду главнымъ образомъ экономію жизни. Приспосабливаясь, живое существо утрачиваетъ ненужныя ему по условіямъ жизни органы и отправленія и тѣмъ съ большимъ успѣхомъ сосредоточиваетъ свои силы на выработкѣ органовъ и отправленій нужныхъ. Этимъ достигается полное равновѣсіе между организмомъ и окружающимъ міромъ. Дарвинъ выяснилъ процессъ приспособленія и выгоды, находящейся въ борьбѣ за существованіе на сторонѣ приспособленныхъ. Онъ не отрицалъ при этомъ прямо критерія совершенства, установленнаго Бэромъ, онъ даже на него часто ссылается. Тѣмъ не

менѣе однако мѣрило сложности и мѣрило приспособленія далеко не всегда совпадаютъ. Напримѣръ для нѣкоторыхъ паразитовъ органы зрѣнія и движенія составляютъ совершенно лишнее бремя. Приспосабливаясь, паразиты утрачиваютъ эти ненужные органы и соотвѣтственные отправленія; въ борьбѣ за существованіе болѣе приспособленные, болѣе слѣпые и неподвижные одерживаютъ побѣду, такъ какъ силы ихъ тѣмъ удобнѣе сосредоточиваются на нужныхъ по условіямъ жизни функціяхъ. Съ точки зрѣнія приспособленія это будетъ совершенствованіе, прогрессъ; съ точки зрѣнія сложности и разнородности функцій, это будетъ напротивъ регрессъ, удаленіе отъ идеала совершенства. Подобныхъ случаевъ картина органическаго міра представляетъ много, и тѣмъ не менѣе ученые люди не особенно стараются внести въ нихъ какой нибудь свѣтъ и почти всѣ болѣе или менѣе вліяютъ. А между тѣмъ для насъ, профановъ, столкновеніе обоихъ критеріевъ совершенства интересно во многихъ отношеніяхъ. Мы не боимся словъ и хотя знаемъ, что совершенство есть понятіе относительное, но все-таки желали бы имѣть для своего обихода опредѣленную путеводную нить. Пусть конецъ этой нити теряется въ дали вѣковъ и во мракѣ неизвѣстности, но все-таки мы желали бы знать: приспособляться намъ или усложняться нужно, чтобы стоять на *пути* къ совершенству.

Тѣмъ пріятнѣе мнѣ привести здѣсь воззрѣнія на этотъ предметъ одного изъ знаменитѣйшихъ современныхъ ученыхъ—Геккеля. Этотъ ученый настаиваетъ на необходимости особаго ученія объ индивидуальности, которое называетъ тектологіей. Индивидуальность есть для него понятіе относительное, допускающее градацію. Онъ принимаетъ шесть ступеней индивидуальности, взаимныя отношенія которыхъ опредѣляетъ слѣдующими «тектологическими тезисами».

Пластиды (клѣточки и цитоды) тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ больше число входящихъ въ ихъ составъ молекулъ, чѣмъ молекулы зависимѣе другъ отъ друга и отъ цѣлой пластиды и чѣмъ наконецъ сама пластида централизованнѣе и независимѣе отъ высшей индивидуальности. Органъ тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ

больше число составляющих его пластидъ, чѣмъ эти составныя части зависимы другъ отъ друга и отъ цѣлаго органа и чѣмъ болѣе централизованъ и независимъ отъ высшей индивидуальности самъ органъ. Пропуская двѣ среднія ступени антимеры и метамеры, переходимъ къ личностямъ, организмамъ или недѣлимымъ въ тѣсномъ смыслѣ слова. Организмы тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ разнороднѣе ихъ органо-логическое и истологическое строеніе, чѣмъ разнообразнѣе функціи ихъ составныхъ частей, чѣмъ эти части зависимы другъ отъ друга и отъ всего цѣлаго и чѣмъ самъ организмъ централизованнѣе и независимѣе отъ высшей индивидуальности—колоніи. Колоніи или общества тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ разнороднѣе составляющіе ихъ организмы, органы и ткани, чѣмъ зависимы пластиды, органы, антимеры, метамеры и личности между собой и отъ всей колоніи и чѣмъ централизованнѣе сама колонія. (Generelle Morphologie der Organismen, I, 372).

Геккель къ сожалѣнію только бросилъ свою идею тектологіи, не давъ ей надлежащаго развитія. Я попробую выяснитъ ея значеніе. Наглядно взаимныя отношенія различныхъ ступеней индивидуальности можно бы было выразить системою concentрическихъ круговъ, изъ которыхъ каждый обнимаетъ, поглощаетъ собою сосѣдній кругъ съ меньшимъ радіусомъ и самъ въ свою очередь обнимается, поглощается сосѣднимъ кругомъ съ большимъ радіусомъ. Всѣ эти круговыя линіи различны, потому что описаны различными радіусами, но вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ сходны, потому что описаны изъ одного центра, и взаимныя отношенія ихъ покоятся на различіи радіусовъ при общности центра; а будемъ ли мы при этомъ сравнивать два сосѣдніе круга, дальше или ближе отстоящіе отъ центра, это само по себѣ безразлично. Эта стройная и величественная картина, обнимающая взаимныя отношенія всѣхъ живыхъ агрегатовъ отъ послѣдней цитоды до цивилизованнаго общества включительно, по своей простотѣ и логическому изяществу достойна стоять рядомъ съ обобщеніемъ Дарвина. Она его по истинѣ дополняетъ. Она представляетъ тоже своего рода безпощадную борьбу за существованіе. Вездѣ.

на всемъ обширномъ полѣ жизни, рядомъ съ борьбой за обладаніе того или другого вида и того или другого организма, недѣлимаго въ тѣсномъ смыслѣ слова, идетъ борьба между различными ступенями индивидуальности. Она началась съ возникновеніемъ органическаго міра (имѣя конечно свои корни въ мірѣ неорганическомъ) и можетъ окончиться только съ прекращеніемъ жизни на землѣ.

Взглянемъ на нѣсколько эпизодовъ этой вѣковѣчной борьбы. Возьмите гидру и выверните ее, какъ перчатку, на изнанку: она будетъ жить; разрѣжьте ее на куски, каждый отрѣзокъ будетъ жить, какъ цѣлая гидра. Что это значитъ? Это значитъ, что гидра слишкомъ несовершенна, чтобы поглотить жизнь составляющихъ ее частей, подчинить ихъ своей зависимости. Внутренняя и вѣшняя поверхность тѣла гидры ничѣмъ не отличаются и всегда могутъ замѣнить другъ друга. У нея есть только нервно-мускульная система, но нѣтъ обособленныхъ нервовъ и мускуловъ. Если гидра когда нибудь поднимется на высшую ступень развитія, усовершенствуется, то это усовершенствованіе только въ томъ и будетъ состоять, что части гидры подчинятся цѣлому. Вѣшняя и внутренняя поверхности обособятся, приспособятся къ опредѣленнымъ функціямъ, нераздѣльная нервно-мускульная система раздробится, все органологическое и гистологическое строеніе гидры станетъ болѣе разнороднымъ. Это усовершенствованіе цѣлой гидры можетъ быть куплено только цѣною независимости и самостоятельности ея частей. Тогда отрѣзки гидры уже не въ состояніи будутъ вести самостоятельную жизнь: они будутъ мертвыми частями. Цѣлое побѣдитъ свои составныя части въ великой борьбѣ ступеней индивидуальности. Конечно это борьба только въ метафорическомъ смыслѣ, но вѣдь и Дарвинова борьба за существованіе въ большей части случаевъ только метафора.—Существуетъ головоногое, которому удалось закрѣпить, подчинить себѣ всѣ части, за исключеніемъ одной — щупальца, которое можетъ отдѣляться отъ своего цѣлаго, вести самостоятельную жизнь и даже размножаться. Централизованная сила головоногого оказывается

недостаточною въ борьбѣ съ этимъ мятежнымъ органомъ, извѣстнымъ натуралистамъ подъ своимъ собственнымъ самостоятельнымъ именемъ *Nectocotylus*. Онъ самъ способенъ занять мѣсто на той же ступени индивидуальности, на которой стоитъ все головное, и потому не подчиняется ему. Усовершенствованіе головного будетъ состоять между прочимъ въ подчиненіи отщепенца; усовершенствованіе же *Nectocotylus* - въ дальнѣйшей независимости, для чего ему потребуется въ свою очередь подчинить себѣ всѣ свои части и распредѣлить между ними весь трудъ, необходимый для самостоятельной жизни. Борьба можетъ имѣть и тотъ, и другой исходъ.—Въ высшихъ животныхъ эта борьба окончилась побѣдой цѣлаго организма: ни ноги, ни легкія, ни голова, ни печень млекопитающаго или птицы неспособны къ самостоятельной жизни; они закрѣпощены цѣлому, обречены ему на пожизненное служеніе. Тѣмъ справедливѣе это относительно низшихъ ступеней индивидуальности, входящихъ въ составъ организма. Клѣточки низшихъ формъ органической жизни всегда могутъ дать начало новой цѣльной жизни, потому что содержатъ въ себѣ всю сумму свойствъ, для жизни необходимыхъ. Искусственно раздражая тѣло гидры, вы можете вызвать почкованіе и на такихъ мѣстахъ, гдѣ оно обыкновенно не происходитъ—такъ мало разнятся между собой клѣточки гидры и такъ онѣ еще индивидуальны, что чуть не каждая можетъ развиваться въ цѣлый организмъ. Въ высшихъ животныхъ это уже невозможно. Тамъ только ничтожная доля клѣточекъ способна развиваться въ самостоятельнаго представителя жизни и слѣдовательно не приспособилась къ тѣмъ или другимъ специальнымъ формамъ службы цѣлому. Но и эта доля способна только повторить развитіе своего цѣлаго и не можетъ, какъ *Nectocotylus*, образовать новый, совершенно непохожій на свою метрополію организмъ.—Это были эпизоды борьбы организма съ низшими ступенями индивидуальности. Но организму приходится бороться и съ вышею, надъ нимъ лежащею ступенью—съ обществомъ или колоніей, какъ говорятъ натуралисты, разумѣя подъ этимъ словомъ общества низшихъ организмовъ. Антаго-

низить цѣлаго и частей даетъ себя знать и здѣсь: и между этими ступенями индивидуальности идетъ съ переменнымъ счастьемъ постоянная борьба. Вотъ странное животное, давно привлекавшее вниманіе ученыхъ людей своимъ удивительнымъ строеніемъ. Это—сифонофора,—колонія, общество медузъ и полиповъ, до такой степени дифференцированныхъ и закрѣпощенныхъ обществу, что каждый изъ нихъ превратился въ двигательный, или осязательный, или половой органъ цѣлаго, хотя эти спеціальныя аппараты и могутъ еще иногда отдѣляться и вести самостоятельную жизнь. Эти полуорганы, полунедѣлимые образовались путемъ почкованія, но централизованная сила сифонофоры не дала имъ возможности образовать изъ себя группу вполне равныхъ и самостоятельныхъ организмовъ; она искалчила ихъ сообразно нуждамъ цѣлаго, отняла у нихъ полную жизнь и раздала ее имъ по частямъ. А вотъ рядомъ колонія сальпы, тоже продуктъ почкованія, но здѣсь борьба имѣла исходъ болѣе благопріятный для организмовъ и менѣе благопріятный для общества: организмы не изуродованы. Чѣмъ сильнѣе успѣютъ развиваться отдѣльные полипы и медузы, тѣмъ меньше вѣроятности для существованія сифонофоры; еслибы этимъ полуорганамъ удалось усовершенствоваться до ступени полного организма, сифонофора исчезла бы съ лица земли. Обратно, чѣмъ сильнѣе жизненный процессъ цѣлой сифонофоры, чѣмъ она совершеннѣе, тѣмъ несовершеннѣе ея части.—Пойдемъ въ муравейникъ. Это—весьма высоко развитое общество. Я ужъ не говорю о томъ, что въ немъ есть истинныя политическія учрежденія, каковы республиканскій образъ правленія и рабство, что муравейникъ занимается хлѣбопашествомъ, скотоводствомъ, сооруженіемъ сложныхъ зданій, собираніемъ обширныхъ запасовъ питательнаго и строительнаго матеріаловъ и проч. Придерживаясь только тектологическихъ тезисовъ Геккеля, я убѣждаюсь, что муравейникъ есть общество, высоко стоящее на лѣстницѣ совершенства. По Геккелю отношенія между обществомъ и составляющими его организмами выражаются такъ: общество тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ 1) разнороднѣе организмы, чѣмъ 2) ор-

ганизмы зависима между собою и отъ всего общества, и чѣмъ 3) централизованнѣе само общество. Муравейникъ въ весьма высокой степени удовлетворяетъ этимъ требованіямъ совершенства. Муравьи, изъ которыхъ сложилось общество, очень разнородны: у нѣкоторыхъ видовъ разнородность доходитъ до существованія пяти кастъ, рѣзко отличающихся и по наружности, и по занятіямъ, и по способностямъ. Зависимость между этими кастами очень велика, такъ какъ тутъ есть безполые рабочіе, неспособные размножаться, есть плодовые самцы и самки, иногда неспособные не только работать, а даже брать пищу въ ротъ и переходить съ мѣста на мѣсто: ихъ кормятъ и переносятъ рабы. Извѣстенъ опытъ Губера, отдѣлившаго плодовыхъ самцовъ и самокъ одного рабовладѣльческаго вида: несмотря на обиліе пищи, они начали ужьдохнуть съ голоду, и только впущенный къ нимъ Губеромъ рабъ помогъ имъ всѣмъ погибнуть. Такъ что разнородность и зависимость—налицо. Централизація полнѣйшая, потому что отдѣльные муравьи никакихъ личныхъ желаній не имѣютъ и никакихъ личныхъ цѣлей не преслѣдуютъ. Исторія муравьиныхъ обществъ намъ неизвѣстна, но можетъ быть многіе и многіе вѣка прошли прежде, чѣмъ сложилось теперешнее стройное, строго прилаженное муравьиное общество. Это были вѣка борьбы двухъ ступеней индивидуальности, борьбы, окончившейся побѣдой общества надъ организмомъ.

Стоило бы сходить еще въ пчелиный улей: но мы пойдемъ лучше прямо къ людямъ. Беру мудрыя книги мудраго Платона: «Республика» и «Законы». Многое бы можно было оттуда позаимствовать пригоднаго для насъ, но я сдѣлаю только одно заимствованіе. Въ кн. III «Республики» Сократъ доказываетъ собесѣдникамъ, что есть три рода разсказовъ: одинъ спола ведется отъ лица самого разсказчика, какъ въ диоирамбахъ, другой спола подражательный, какъ въ трагедіяхъ и комедіяхъ, третій—смѣшанный, какъ въ эпопеяхъ. Рѣчь собственно идетъ о воспитаніи воиновъ, и имъ рекомендуется заниматься своимъ воинскимъ дѣломъ, по возможности избѣгая подражаній кому бы то ни было изъ невоиновъ. Если ужь они будутъ подражать.

так пускай подражают положеніямъ, соотвѣтствующимъ ихъ воинской природѣ, пусть въ разсказѣ подражаютъ храбрымъ, умѣреннымъ, великодушнымъ людямъ. Затѣмъ идетъ довольно забавный списокъ, кому и чему воинъ не долженъ подражать: женщинамъ, рабамъ, злымъ и подлымъ людямъ, сумасшедшимъ, кузнецамъ, гребцамъ, вообще рабочимъ, ржанію лошадей, мычанію быковъ, шуму рѣкъ, моря, грома. Если же, продолжаетъ Сократъ, среди насъ явится человѣкъ, «особенно искусный въ подражаніи и способный принимать множество различныхъ формъ», то мы его примемъ какъ великаго, божественнаго человѣка, украсимъ его вѣнками и обольемъ благовоніями, но скажемъ ему, что республика наша создана не для подобныхъ ему людей: мы удовольствуемся менѣе великими, но болѣе полезными поэтами и разсказчиками, которые будутъ строго слѣдовать установленнымъ нами правиламъ о несовмѣстности нѣсколькихъ занятій въ одномъ лицѣ. Въ VIII книгѣ «Законовъ» Сократъ рекомендуетъ всѣмъ заниматься только своей профессіей; чтобы воинъ воевалъ, работникъ работалъ, мыслитель мыслилъ и, въ частности, чтобы сапожникъ шилъ именно сапоги и т. п. Сократъ грозитъ за нарушеніе этого правила очень строгими наказаніями—штрафами, тюрьмой, изгнаніемъ, дабы нарушитель зналъ, что онъ «долженъ быть однимъ человѣкомъ, а не многими».

Я не сумѣю представить читателю лучшее, болѣе яркое и наглядное изображеніе фатальной, на скрижаляхъ законовъ природы записанной, вѣковѣчной борьбы общества съ личностью. Устами Платона говоритъ само общество. Оно инстинктивно чувствуетъ, что актеръ, рапсодъ или поэтъ, способный принимать «множество различныхъ формъ», великъ, что онъ—совершенство. Но это совершенство мѣшаетъ совершенствованію общества, потому что онъ слишкомъ широкъ, глубокъ, великъ; онъ не сумѣетъ, хотя бы и хотѣлъ, да и не захочетъ подчиниться «установленнымъ нами правиламъ». Это—своего рода *Nectocytulus*. И великаго человѣка выпроваживаютъ, обливъ его благовоніями и увѣнчавъ цвѣтами. Последнее конечно потому только, что дѣло идетъ о поэтѣ, рапсодѣ или актерѣ. Съ другими Пла-

товъ поступилъ бы иначе, другимъ онъ и рекомендуетъ штрафы, тюрьму и изгнаніе,—

Die wenigen, die was davon erkannt,
Die thöricht g'nug ihr volles Herz nicht wahrten,
Dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten,
Hat man von je gekreuzigt und verbannt...

Какъ и всякое цѣлое, общество тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ однороднѣе, проще, зависимѣе его части, его члены. Вотъ почему Платонъ, стоя на точкѣ зрѣнія всепоглощающаго греческаго государства, совершенно послѣдовательно требовалъ подъ угрозой наказанія, чтобы мыслитель только мыслилъ, сапожникъ только шилъ сапоги, воинъ только воевалъ и т. д. Въ самомъ дѣлѣ, если бы сапожникъ, кромѣ сапоговъ, а воинъ, кромѣ оружія, стали бы еще заниматься мышленіемъ; еслибы съ другой стороны мыслитель, не оставляя мышленія, принялся шить сапоги—они стали бы совершеннѣе, т. е. каждый изъ нихъ сталъ бы разнороднѣе и независимѣе отъ другихъ членовъ и отъ цѣлаго общества. А изъ тектологическихъ тезисовъ Геккеля слѣдуетъ, что совершенствованіе общества можетъ быть куплено только цѣною извѣстной степени паденія его членовъ. Да и безъ тезисовъ Геккеля очевидно, что воинъ, просвѣтленный мыслью, могъ иногда задуматься совѣмъ не въ интересахъ общества и отказаться воевать въ такую минуту, когда обществу это нужно. Тоже и съ сапожникомъ, и съ мыслителемъ. Въ гидрѣ нѣтъ обособленныхъ мускуловъ и нервовъ, а есть мускуло-нервы; въ высшихъ животныхъ борьба между различными ступенями индивидуальности приводитъ къ обособленію мускуловъ и нервовъ, къ раздѣльному ихъ существованію. Точно также въ низшихъ, несовершенныхъ обществахъ, централизованная сила которыхъ слаба, сапожникъ-мыслитель возможенъ. Совершенствованіе общества раздробляетъ эти функціи, ставитъ сапожника отдѣльно отъ мыслителя и въ этомъ именно раздробленіи почерпаетъ свою силу. Высадите мыслителя-сапожника на необитаемый островъ, и онъ будетъ жить, какъ живетъ отрѣзокъ гидры, потому что

онъ привыкъ и къ умственному, и къ физическому труду; высшая индивидуальность, общество, не побѣдило еще его окончательно. Высадите на необитаемый островъ только мыслителя или сапожника, и имъ будетъ жить очень трудно. Можетъ быть даже они не справятся съ своимъ положеніемъ и погибнуть, какъ погибаютъ нога или печень вышшаго животнаго, потому что онѣ закрѣпощены нѣкоторому высшему цѣлому и къ самостоятельной жизни неспособны.

Безъ сомнѣнія человѣкъ есть существо настолько сложное и разнородное или совершенное, что не можетъ уже войти въ составъ не только такихъ совершенныхъ обществъ, какъ сифонофора, но даже и такихъ, какъ муравейникъ. Онъ не можетъ быть въ такой степени поглощенъ обществомъ; борьба чаще кончается въ его пользу. Но все-таки тутъ дѣло только въ градациі. Я попробую представить ее въ такомъ видѣ. Нѣкоторые изъ составляющихъ сифонофору полиповъ и медузъ суть просто половые органы, всѣ остальные безполы. Это—высшая изъ одержанныхъ обществомъ надъ организмомъ побѣда. Въ пчелиномъ роѣ есть трутни, которые хотя и составляютъ, собственно говоря, въ совокупности половой органъ общества и ради этого отправленія только и терпятъ, но все-таки самостоятельно ѣдятъ, летаютъ. Существуютъ и безполыя рабочія пчелы. Это—меньшая степень побѣды общества: превратить однихъ пчелъ въ простые органы труда, а другихъ въ простые органы размноженія рою не удалось, но искаженіе все-таки весьма сильно. Наконецъ въ человѣческомъ обществѣ безполый рабочій возможенъ только въ идеѣ—въ теоріи мальтузіанцевъ. Поэтому человѣческое общество никогда не достигнетъ степени совершенства сифонофоры, но его борьба съ личностью никогда не кончится, причемъ шансы борьбы будутъ клониться то въ ту, то въ другую сторону.

Такъ идутъ дѣла на землѣ. Вотъ теорія, обнимающая единымъ принципомъ весь міръ и минующая даже гѣнь пристрастія къ личности человѣка: онъ только—одинъ кругъ изъ цѣлой системы концентрическихъ круговъ. Можно бы было дополнить

картину размышленіями о концентричности различныхъ ступеней обществѣнности: объ томъ, какъ семья, совершенствуясь, искажаетъ личности; какъ родъ, совершенствуясь, искажаетъ не только личность, а и семью; какъ племя, совершенствуясь, искажаетъ и личность, и семью, и родъ и т. д., и т. д. Но читатель можетъ безъ труда самъ сдѣлать эти выводы изъ моей теоріи, а мнѣ, признаюсь, она уже надоѣла и хочется сказать: nicht! Въ нѣмецкихъ книгахъ часто встрѣчаются длинные, длинные періоды, повидимому нѣчто утверждающіе; и только въ концѣ періода читатель находитъ частицу nicht, которая заставляетъ все прочитанное «понимать наоборѣтъ», въ отрицательномъ смыслѣ. Теорія, выведенная мною изъ тектологическихъ тезисовъ Геккеля, должна быть тоже закончена частицей nicht. Впрочемъ въ общемъ я все-таки считаю ее вѣрною и не могу простить ей только одного, именно того, что она признаетъ наиболѣе совершеннымъ то общество, которое наиболѣе уродуетъ своихъ членовъ. Это можетъ показаться непослѣдовательнымъ, нелогичнымъ съ моей стороны; если во всемъ мірѣ паритъ формула: цѣлое тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ несовершеннѣе его части, а части тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ несовершеннѣе цѣлое; если во всемъ мірѣ паритъ этотъ фатальный антагонизмъ, то съ какой стати выдѣлять изъ общаго закона человѣка и человѣческое общество? Я имѣю однако свои резоны, которые будутъ приведены ниже. А теперь я желаю бы знать, какъ отнесутся къ моей теоріи боръбы за индивидуальность чистокровные объективисты и какъ отнесется къ ней г. Южаконъ.

Чистокровные объективисты, каковы Спенсеръ и многочисленныя органисты заграничныя и нашей отечественной фабрикаціи, весьма близко подходятъ къ изложенной теоріи. Уподобляя общество организму, прогрессъ социальный прогрессу органическому, экономическое раздѣленіе труда — физиологическому, людей — органамъ, они именно говорятъ, что общество тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ несовершеннѣе составляющіе его люди. Я думаю однако, что подписать въ такой опредѣленной формѣ итогъ подъ своими якобы научными изслѣдованіями они не по-

смѣютъ. Постоянно играя словами, они вмѣстѣ съ тѣмъ боятся словъ. До нихъ мнѣ впрочемъ здѣсь нѣтъ дѣла. Г. Южаконъ интереснѣе. Собственно ради него я и написалъ длинный періодъ съ nicht на концѣ. Теоріи органистовъ онъ считаетъ заблужденіемъ. Я съ своей стороны считаю ихъ не только заблужденіемъ, а и позорнѣйшимъ пятномъ на умственной жизни XIX вѣка. Но это не мѣшаетъ мнѣ думать, что доводы его противъ нихъ неудовлетворительны, вѣрнѣе сказать, недостаточны, по той точкѣ зрѣнія, на которой онъ стоитъ. Посмотримъ, что можетъ возразить г. Южаконъ противъ изложенной теоріи борьбы за индивидуальность.

Г. Южаконъ разсуждаетъ въ первомъ изъ своихъ «Соціологическихъ этюдовъ» такимъ образомъ. Общество есть агрегатъ, т. е. цѣлое, состоящее изъ частей. Но это еще ничего не опредѣляетъ, потому что и небесныя тѣла, и клѣточки, и вселенная, и организмы, — все это агрегаты. Общество есть не вообще только агрегатъ, а *живой* агрегатъ, подобно организму. Какъ и организмы, «общества постоянно поглощаютъ, ассимилируютъ особей и меньшія общества, которыя встрѣчаютъ; чрезъ посредство размноженія они ассимилируютъ неорганическое вещество и элементарныя силы природы; они этого достигаютъ непосредственно, прямо ассимилируя неорганическое вещество и силы въ видѣ средствъ и орудій; они такимъ образомъ возобновляются, растутъ, приспособляются. Общественный процессъ слѣдовательно является не только процессомъ интеграціи и дисинтеграціи, подобно всѣмъ процессамъ природы, но также процессомъ постоянного обмѣна вещества и силы и постоянного приспособленія внутреннихъ и вѣшнихъ отношеній, подобно всѣмъ *жизненнымъ* процессамъ». Кромѣ того общества, какъ и организмы, суть агрегаты сложные, т. е. слагающіеся не прямо изъ молекулъ. Простыхъ организмовъ, слагающихся непосредственно изъ гипотетическихъ «физиологическихъ единицъ» Спенсера или изъ «затѣнокъ» Дарвина, въ природѣ весьма мало. Большинство организмовъ представляетъ собою результаты интеграціи, слитія другихъ организмовъ, менѣе сложныхъ. Процессъ этой интегра-

кції такої. Каіе-нибудь простые организмы размножаются, вследствие чего образуется группа ихъ, общество организмовъ, имѣющихъ между собою нѣкоторую связь. Затѣмъ, вследствие различія во вліянніи внѣшнихъ силъ на различныя части группы, одни изъ нихъ развиваютъ преимущественно такія-то отправления, другія—преимущественно такія-то. Это процессъ дифференцированія, но вмѣстѣ съ тѣмъ идетъ впередъ и интеграція: гомологическія, сходныя, однородныя части срастаются. Образовавшіяся этимъ сращеніемъ части еще болѣе специализируютъ свои отправления и т. д., пока организмы не превратятся въ органы, а общество въ недѣлимое, въ организмъ. «Этимъ путемъ интегрированія низшихъ организмовъ, при дифференцированіи ихъ отправлений, и произошли всѣ высшіе организмы. Общественность, какъ неполная интеграція, есть повсюду начало процесса, индивидуальность—его результатъ».

До сихъ поръ г. Южакъ говоритъ тоже самое, что и Спенсеръ, и другіе органисты, и теорія борьбы за индивидуальность. Спенсеръ можетъ быть предпочелъ бы даже меньшую определенность, меньшую рѣзкость постановки вопроса. Въ большей части случаевъ онъ утверждаетъ только, что процессы развитія общества и организма сходны, аналогичны и что законы того и другого развитія суммируются въ нѣкоторомъ высшемъ законѣ перехода отъ однороднаго къ разнородному — законѣ, которому равно повинуются все сущее. Впрочемъ, сколько помнится, въ «Основаніяхъ біологіи» развивается именно мысль г. Южакова, что общественность есть начало процесса, завершающагося индивидуальностью, и что общество есть такимъ образомъ какъ бы недоразвитый организмъ. Во всякомъ случаѣ оба изслѣдователя признаютъ общество и организмъ живыми агрегатами, и до сихъ поръ теорія борьбы за индивидуальность только подтверждается. Но далѣе идетъ указаніе различій между органомъ и обществомъ, между индивидуальною и коллективною жизнью. Было бы слишкомъ долго слѣдить за всѣми указаніями г. Южакова, и я рассмотрю только нѣкоторыя, потому что задача моя

состоить только въ томъ, чтобы показать недостаточность его доводовъ.

Г. Южаконъ говоритъ, что, «покажѣтъ агрегатъ представляетъ только общественную интеграцію, всѣ главныя физиологическія функціи отправляются всѣми его составными единицами; онѣ непосредственно питаются, возобновляются, растутъ, размножаются, приспособляются, и т. д.; специализація дѣятельности не можетъ распространиться на эти основныя жизненныя процессы». Въ организмѣ напротивъ, его составныя части, его органы лишены всей совокупности жизненныхъ отправленій, дифференцированы физиологически и слиты въ одно механическое цѣлое. Рядъ подобныхъ афоризмовъ приводитъ автора къ заключенію, что, «если оставимъ въ сторонѣ низшія формы и остановимся только на высшихъ, напримѣръ человѣческомъ обществѣ и человѣческомъ организмѣ, то увидимъ бездну между этими двумя формами жизни и должны ихъ признать противоположными по самому направленію жизненнаго процесса при нормальномъ развитіи агрегатовъ.» Здѣсь все, отъ перваго до послѣдняго слова, неосновательно и бездоказательно. Въ этомъ заключеніи я вижу прежде всего звучный ударъ въ пустое пространство. Никто, ни самый негѣпѣйшій изъ негѣпологовъ, никогда не говорилъ, что человѣческое общество есть человѣческій организмъ. Эти люди утверждаютъ тезисъ гораздо болѣе общій, именно параллелизмъ общества и организма вообще; съ этой точки зрѣнія человѣческое общество есть не человѣческій, а нѣкоторый совершенно особый организмъ. И негѣпологи имѣютъ свои резоны, которыхъ г. Южаконъ не опровергъ. Вовторыхъ, что значитъ «нормальное развитіе агрегатовъ»? Дѣло идетъ именно объ опредѣленіи нормы развитія различныхъ агрегатовъ. И если, какъ говоритъ г. Южаконъ, общественность есть повсюду начало процесса, завершающагося индивидуальностью, организаціей, а тѣмъ паче, если такимъ именно путемъ произошли всѣ высшіе организмы, то нормальнымъ развитіемъ общества слѣдуетъ пожалуй считать приближеніе къ организму. Что касается наконецъ до противоположности общества и организма по самому направленію жиз-

неннаго процесса, то г. Южаконъ отнюдь не доказалъ ея. Онъ указалъ нѣкоторыя болѣе или менѣе важныя отличія той и другой формы жизни, а въ существованіи если не этихъ именно, то нѣкоторыхъ отличій вообще никто не сомнѣвался. Несомнѣнно на примѣръ, что члены общества не связаны механически въ одно конкретное цѣлое, а части организма связаны. Но отъ подобныхъ отличій еще очень далеко до противоположности по направленію жизненнаго процесса. Последняя, повторяю, г. Южаконимъ вовсе не доказывается, а только утверждается, являясь заключительнымъ звѣномъ цѣпи афоризмовъ. Нѣтъ никакой надобности оставлять въ сторонѣ низшія формы, чтобы убѣдиться, что между двумя сосѣдними индивидуальностями существуетъ бездна и противоположность по самому направленію жизненнаго процесса. Мы видѣли, что таковъ общій законъ природы; но онъ ничего не говоритъ въ пользу г. Южакова. Далѣе даже афоризмы г. Южакова далеко не всѣ фактически вѣрны. Напримѣръ онъ говоритъ, что распаденіе связи, соединяющей въ организмѣ его части, прекращаетъ жизненный процессъ, а распаденіе общественнаго агрегата не влечетъ за собой такого прекращенія. И то, и другое фактически не вѣрно, *не истинно*. Распаденіе гидры или листа бегоніи на множество частей отнюдь не прекращаетъ жизненнаго процесса, а напротивъ имѣетъ результатомъ образование нѣсколькихъ жизненныхъ процессовъ. Наоборотъ распаденіе пчелинаго роя на безполыхъ рабочихъ, трутней и матокъ поведетъ къ тому, что всѣ они перемрутъ. Точно также перемрутъ и члены человѣческаго общества, если оно распадется на представителей физическаго и умственнаго труда. Г. Южаконъ утверждаетъ, что въ организмѣ его части лишены всей совокупности жизненныхъ отправленій, а составныя единицы общества *всѣ* непосредственно питаются, размножаются и проч. Это опять таки фактически невѣрно. Пчелиный рой и муравейникъ суть общества, но безполые муравьи и пчелы не размножаются непосредственно. Г. Южаконъ даетъ далѣе болѣе опредѣленное понятіе общества: онъ называетъ его живымъ агрегатомъ, создавшимъ свою особую социальную среду, подъ которою онъ раз-

имѣть совокупность политическихъ учрежденій, техническихъ приспособленій, знаній и проч.—словомъ цивилизацію. Онъ полагаетъ, что эта среда, не давая членамъ общества приспособляться пассивно, измѣняться, а напротивъ позволяя измѣнять окружающій міръ и ея приспособлять къ своимъ требованіямъ, тѣмъ самымъ не даетъ имъ возможности утратить свои главныя фیزیологическія функціи. Это неправда. Я опять укажу на муравейникъ и на пчелиный рой. Въ дѣлѣ активнаго приспособленія, въ дѣлѣ созиданія соціальной среды это — единственные соперники человѣка на землѣ, и однако безполые муравьи и пчелы лишены одной изъ главныхъ фیزیологическихъ функцій. Борьба за индивидуальность, которую ведутъ человѣкъ и общество, не можетъ правда привести къ тому яркому результату, но она ведетъ къ результатамъ того же рода. Еще въ нынѣшнемъ году я доказывалъ — и потому теперь доказывать не буду — что каждая данная общественная форма стремится выжать въ свою пользу весь сокъ изъ cadaго шага цивилизаціи и ей это слишкомъ часто удается. Г. Южакъ утверждаетъ, что въ организмѣ отправленія частей служатъ цѣлому, а въ обществѣ напротивъ цѣлое служить частямъ. Это можетъ говорить метафизикъ, въ родѣ Ушинскаго, предполагающій существованіе цѣлей въ природѣ *), а человѣкъ науки этого сказать не можетъ, потому что онъ скажетъ неправду. Пусть г. Южакъ мнѣ скажетъ, кто кому служитъ: безполый муравей муравейнику, или наоборотъ? Пусть онъ мнѣ, положи руку на сердце, отвѣтитъ кто кому служитъ: англійскій пролетарій англійскому обществу, или общество пролетарію? Очевидно, что не я отворачиваюсь отъ истины, а г. Южакъ.

Я могу остановиться. Я хотѣлъ только, если позволительно такъ выразиться, раздѣть положенія г. Южакова, снять съ

*) «Органы тѣлеснаго организма имѣютъ свою цѣль въ цѣломъ; цѣлое общественнаго организма имѣетъ свою цѣль въ органахъ» («Антропология», т. I, стр. 5).

нихъ ту аргументацію, ту логическую одежду, въ которую одѣлъ ихъ г. Южаковъ, но единственно затѣмъ, чтобы вновь одѣть ихъ въ костюмъ, представляющійся мнѣ лучшимъ. Въ сущности объективный методъ далеко не всецѣло господствуетъ въ изслѣдованіи г. Южакова. Онъ несомнѣнно далъ нѣкоторыя болѣе или менѣе цѣнныя указанія тамъ, гдѣ ихъ могъ дать: но г. Южаковъ, какъ всѣ смертные, не обошелъ и субъективнаго начала. Субъективизмъ, симпатіи и антипатіи г. Южакова дали это *желаніе* доказать, что общество и организмъ диаметрально противоположны. Если доказываніе это произошло отчасти въ ущербъ *истинѣ*, то только потому, что авторъ не прибѣгалъ прямо и откровенно къ субъективному *методу*, т. е. не регулировалъ и не систематизировалъ свой субъективизмъ. Зачѣмъ отворачиваться отъ несомнѣнной истины, установленной объективной наукой: цѣлое тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ несовершеннѣе его части? Отчего не посмотрѣть ей прямо въ глаза? Теорія борьбы за индивидуальность истинна, но именно стоя на точкѣ зрѣнія этой борьбы, я и объявляю, что буду бороться съ грозящею поглотить меня высшею индивидуальностью. Мнѣ дѣла нѣтъ до ея совершенства, я самъ хочу совершенствоваться. Пусть она стремится побороть меня, я буду стремиться побороть ее. Чья возьметъ—увидимъ. И, какъ приступъ къ борьбѣ, я ставлю nicht къ теоріи борьбы за индивидуальность, какъ разъ на томъ мѣстѣ, гдѣ она захватываетъ меня. Я не отрицаю ни одного изъ ея положеній, не отворачиваюсь отъ истины. Я только повинуюсь закону борьбы, когда объявляю, что общество *должно* служить мнѣ, и это положеніе субъективно. Я не смѣю сказать, что оно мнѣ *служитъ*, потому что эта была бы недостойная науки неправда, а это невѣрное положеніе объективно.

Я глубоко убѣжденъ, что nicht, поставленное въ концѣ теоріи борьбы за индивидуальность—nicht, чисто субъективное, но не противорѣчащее ни одному изъ данныхъ объективной науки—вполнѣ способно объединить всю область нашихъ знаній и идеаловъ. Мало того, оно одно способно сообщить истинно-религіоз-

ную преданность убѣжденіямъ, насколько разумѣется это доступно доктринамъ. Религіозная, беззавѣтная преданность идеаламъ создается жизнью, и наука способна дать тутъ только нѣкоторую помощь.

Соблазнительно поговорить еще и еще, но пора кончить. Я общаю еще доказать, что наука должна служить намъ, профанамъ. Но не знаю, стоитъ ли это доказывать послѣ всего вышесказаннаго. Достаточно припомнить, что такое профанъ. Это — свѣдущій работникъ, разсматриваемый по отношенію ко всѣмъ чуждымъ ему областямъ знанія и жизни. Каждый изъ насъ, какъ свѣдущій работникъ, приспособился къ извѣстной специальной профессіи и болѣе или менѣе сжатъ тисками всепоглощающей высшей индивидуальности — общества. Поэтому, служа какой бы то ни было специальности, наука будетъ служить высшей индивидуальности, а не человѣку. Какую бы службу наука ни сослужила цивилизаціи, просвѣщенію, техникѣ, какимъ бы то ни было отвлеченнымъ началамъ; какую бы службу она ни сослужила и намъ, какъ плотникамъ, лакеямъ, фабричнымъ рабочимъ, литераторамъ, инженерамъ — все это заберетъ въ свои руки высшая индивидуальность; всѣмъ этимъ она воспользуется въ безпощадной борьбѣ съ нами же и изуродуетъ самихъ людей науки. Какъ профаны, мы носимъ въ себѣ начало свободы, независимости, неприспособленности къ данной формѣ общества, задатокъ лучшаго будущаго, задатокъ успѣшной борьбы за индивидуальность. Поэтому, служа профанамъ, наука служить человечеству. Потребность познанія какого бы то ни было непреклоннаго специалиста, скомканнаго объятіями высшей индивидуальности, непремѣнно болѣе или менѣе извращена. — Онъ не человѣкъ, а органъ, часть человѣка, «палецъ отъ ноги», какъ говорить у Шекспира Мененій Агриппа. Его заказы или не могутъ быть исполнены человѣческимъ умомъ, какъ заказы метафизика и чистокровнаго объективиста, или исполненіе ихъ поведетъ къ дальнѣйшему поглощенію человѣка исторически данной формой общества. Исполняйте наши заказы, люди науки, и вамъ дастся истина.

VII *).

Десница и шуйца Льва Толстого.

Въ послѣднемъ своемъ романѣ, «Анна Каренина», гр. Левъ Толстой мимоходомъ бросилъ нѣсколько пренебрежительныхъ словъ въ сторону «разговоровъ о социологіи и биологіи». Тѣмъ не менѣе я прервалъ свою бесѣду о гр. Толстомъ для социологіи, а теперь прерываю бесѣду о социологіи для гр. Толстого, и при этомъ дѣлаю скачки только по внѣшности. Внутренняя же связь моихъ бесѣдъ такова, что не смотря на все пренебреженіе гр. Толстого къ социологіи, я считаю себя вправѣ поставить вопросъ: который изъ типовъ социологическихъ изслѣдованій гр. Толстой считаетъ правильнымъ? Мы видѣли, что этихъ типовъ два, и хоть я отнюдь не могу считать различія ихъ вполне исчерпанными, но думаю, что нѣкоторые характерные признаки того и другого намѣчены. Одни изслѣдователи принимаютъ за точку отправленія судьбы общества или цивилизаціи, сводятъ задачу науки къ познанію существующаго и не могутъ или не желаютъ дать руководящую нить для практики. Другіе отправляются отъ судебъ личности, полагая, что общество и цивилизація сами по себѣ цѣны не имѣютъ, если не служатъ удовлетворенію потребности личности; далѣе эти изслѣдователи думаютъ, что наука обязана дать практикѣ нужныя указанія и изучать не только существующее, а и желательное. Который же изъ этихъ двухъ типовъ социологическихъ изслѣдованій одобряется и который отвергается гр. Толстымъ?

Изучивъ сочиненія этого замѣчательнаго писателя со всѣмъ тщаніемъ, на какое я способенъ, я отвѣчаю: не знаю. И это не потому, что онъ, должно быть изъ боязни моднаго слова, нѣсколько презираетъ «социологію». Можно всю жизнь говорить прозой, даже не зная слова «проза»: Не важно, нравится кому-

*) 1875, май.

нибудь или нѣтъ слово социологія. Важно то, что всякій, изучающій какое-нибудь общественное явленіе, необходимо держится одного изъ двухъ поименованныхъ типовъ социологическаго изслѣдованія. Надо держаться которагонибудь одного, потому что они логически исключаютъ другъ друга. Логически — да, но фактически они могутъ уживаться рядомъ, и въ такомъ случаѣ шуйца не будетъ знать, что дѣлаетъ десница, и наоборотъ. Шуйца и десница гр. Толстого находятся именно въ такихъ взаимныхъ отношеніяхъ. Поэтому-то я и отвѣчаю на свой вопросъ: не знаю. Не знаю, потому что изъ сочиненій гр. Толстого можно извлечь очень рѣзкія сужденія въ пользу обоихъ, логически исключających другъ друга типовъ изслѣдованія. Я представлю читателю сначала десницу гр. Толстого, потомъ шуйцу и наконецъ сведу ихъ на очную ставку въ области спора, еще и до сихъ поръ волнующаго сердца нашихъ педагоговъ.

Много лѣтъ тому назадъ гр. Толстой занялся педагогіею и занялся такъ, какъ у насъ очень рѣдко кто занимается своимъ дѣломъ. Онъ не только не принялъ на вѣру какой бы то ни было готовой теоріи образованія и воспитанія, но, такъ сказать, взрылъ всю область педагогіи вопросами. Это зачѣмъ? какія основанія такого-то явленія? какая цѣль такого-то? — вотъ съ чѣмъ подходилъ гр. Толстой и къ самой сути педагогіи, и къ разнымъ ея подробностямъ. Дѣлалъ онъ это съ истинно замѣчательною смѣлостью. Смѣлость бываетъ разнаго рода. Есть смѣлость дикарей, подбѣгающихъ къ самымъ жерламъ направленныхъ на нихъ пушекъ, чтобы заткнуть ихъ своими шляпами; это — смѣлость невѣждъ, не имѣющихъ понятія о трудностяхъ предпринимаемаго ими дѣла. Есть смѣлость Угрюмъ-Бурчеевыхъ, смѣлость мракотлюбцевъ, почерпаемая въ беззавѣтной ненависти къ свѣту. Есть смѣлость нравственно пустоопорожненныхъ людей, готовыхъ идти въ любой походъ безъ всякаго умственнаго и нравственнаго багажа, безъ знаній и убѣжденій и не рассчитывающихъ на побѣду, но и въ пораженіи не видящихъ чего-нибудь печальнаго или позорнаго. Есть смѣлость отчаянія, когда человѣкъ сознаетъ, что дѣло его проиграно, и бросается въ са-

мый пылъ битвы, чтобы погибнуть. Есть смѣлость бреттеровъ, жаждущихъ борьбы для процесса борьбы. Есть наконецъ смѣлость людей, глубоко преданныхъ своему дѣлу и вѣрящихъ, что оно не сегодня завтра восторжествуетъ, что оно должно восторжествовать. Въ виду идеала, который имъ такъ ясенъ и близокъ, имъ не приходится гнуться передъ господствующими мнѣніями, не приходится въ оставленномъ ими храмѣ видѣть все-таки храмъ и въ низверженномъ ими внутри себя кумирѣ все-таки бога. Педагогическія воззрѣнія гр. Толстого—на лицо (они собраны въ IV томѣ его сочиненій), и всякій непредубѣжденный человѣкъ долженъ признать, что смѣлость его была послѣдняго рода. Онъ напимѣръ открыто возставаъ противъ университетскаго образованія въ такое время, когда общество цѣнило его очень высоко; но возставаъ, надо замѣтить, совсѣмъ не съ точки зрѣнія Магницкаго, нынѣ у московскихъ ученыхъ опять получающей вѣсь и значеніе. Онъ отрицаъ университеты не потому, что боялся свѣта и свободы и не потому, что желалъ какой-нибудь монополіи высшаго образованія, предоставленія его исключительно какому-нибудь одному классу общества. Совсѣмъ напротивъ,—онъ находилъ, что университетское образованіе не свободно. Далѣе онъ, напимѣръ говоря собственно о народныхъ училищахъ, самымъ серьезнымъ образомъ повторялъ вопросъ знаменитой г-жи Простаковой: зачѣмъ нужна географія? Тутъ двойная смѣлость. Смѣло задать этотъ вопросъ, но еще смѣлѣе указать, что онъ былъ уже заданъ однимъ изъ наиболѣе осмѣянныхъ литературныхъ типовъ и сталъ даже нѣкоторой притчей во языцѣхъ. Я убѣжденъ, что ни одинъ самый завзятый мраколюбецъ, даже полумиѳическій Асоченскій этого сдѣлать не посмѣетъ, а посмѣетъ только человѣкъ свободного и пытливаго ума, вложившій свой особенный смыслъ въ вопросъ матери Митрофанушки. Только человѣкъ, поднятый знаніемъ дѣла и любовью къ нему на извѣстную высоту, осмѣлится придать нѣкоторое значеніе вопросу глупой Простаковой и тутъ же рядомъ скептически взглянуть на какое-нибудь изрѣченіе весьма ученаго и даже умнаго мужа. Но понятное дѣло,

что такая смѣлость и свобода отношеній къ изучаемому предмету не могутъ придтись всѣмъ по плечу. Всегда найдутся люди, которые, гоняясь за дешевыми лаврами, высыплютъ цѣлыхъ три короба либеральныхъ, но не идущихъ къ дѣлу возраженій въ такомъ родѣ: а! такъ значитъ вы солидарны съ г-жей Простаковой? Поздравляю! Затѣмъ начинается побѣдоносное нашествіе на г-жу Простакову, которое оканчивается разумѣется побѣдой, а побѣда надъ глупой, грубой и необразованной г-жей Простаковой убѣждаетъ возражателей и кое-кого изъ читателей, что они необыкновенно умные и высоко образованные люди. Нѣтъ поэтому ничего удивительнаго въ томъ, что воззрѣнія, высказанныя гр. Толстымъ самымъ рѣзкимъ, опредѣленнымъ образомъ, но съ подробнымъ мотивированіемъ въ журналѣ «Ясная Поляна», были встрѣчены неодобрительно. Даже г. Страховъ, котораго трудно представить рядомъ съ гр. Толстымъ иначе, какъ въ коѣнопреклоненной позѣ, даже и тотъ, хотя и погладиъ его по головкѣ, но въ значительной степени противъ шерсти. Большинство видѣло въ «ясно-полянскихъ» теоріяхъ, сомнѣніяхъ и вопросахъ только мистическій ультра-патріотизмъ и славянофильство, т. е. то именно, что и нынѣ валяютъ господа педагоги на гр. Толстого, какъ шпиги на бѣднаго Макара.

Изъ критическихъ статей, вызванныхъ педагогическою ересью «Ясной Поляны», для насъ особенно любопытна статья г. Маркова, появившаяся въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Любопытна она впрочемъ только потому, что гр. Толстой отвѣтилъ на нее замѣчательной статьей «Прогрессъ и опредѣленіе образованія» (Сочиненія, т. IV, 171—215). Статья г. Маркова мнѣ только и извѣстна по отвѣту гр. Толстого, я не счелъ нужнымъ ее разискивать. Я уже упоминалъ о прочно установившейся двойственной репутаціи гр. Толстого: какъ изъ ряду вонъ выходящаго беллетриста и какъ плохого мыслителя. Эта репутація обратилась уже въ какую-то аксіому, не требующую никакихъ доказательствъ. Только силой непрокритикованнаго преданія и можно объяснить напримѣръ такой фактъ. Въ московскомъ обществѣ

любителей российской словесности кто-то читалъ отрывокъ изъ непечатанной еще тогда второй части «Анны Карениной». «С.-Петербургскимъ Вѣдомостямъ» немедленно пишутъ (телеграфировать бы надо!), что отрывокъ изумителенъ, превосходенъ. великъ и проч. И въ подтвержденіе приводится такая черта: когда Анна Каренина, уже пораженная стрѣлой Амура, возвращается въ Петербургъ и встрѣчается съ мужемъ, то ей кажется, будто у него выросли уши. Корреспондентъ такъ и ставитъ восклицательный знакъ, выражая тѣмъ свое изумленіе передъ психологической глубиной и эстетической силой этой подробности. Бываютъ люди, репутація которыхъ, какъ остроумцевъ, до такой степени установилась, что имъ стоитъ только поздравить именинника, разинуть ротъ, мигнуть, попросить стаканъ чаю и т. п., чтобы всѣ присутствующіе пришли въ необычайно веселое настроеніе. Такъ-то вотъ и съ гр. Толстымъ. А между тѣмъ можетъ быть тотъ же самый корреспондентъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» считаетъ себя въ правѣ смотрѣть на педагогическія теоріи гр. Толстого сверху внизъ. Это очень возможно, во первыхъ потому, что этому соотвѣтствуетъ удивившаяся репутація гр. Толстого, а во вторыхъ потому, что холопское униженіе стоитъ всегда рядомъ съ холопской заносчивостью. Я не знаю, придется ли мнѣ говорить о гр. Толстомъ какъ беллетристѣ. Вѣроятно придется. Здѣсь замѣчу только слѣдующее. Говоря о немъ, какъ о первоклассномъ художникѣ, обыкновенно подразумѣваютъ не только его творческую силу, но и языкъ, сильный, точный, сжатый, выразительный и проч. Вотъ и г. Бунаковъ въ письмѣ въ редакцію «Семьи и Школы» (1874, № 10) пишетъ, что напечатанная въ «Отеч. Зап.» статья гр. Толстого есть сплошная нелѣпость и «ложь, написанная увлекательно, остроумно и такимъ прекраснымъ языкомъ. какимъ умѣетъ писать одинъ только авторъ «Войны и мира». Тутъ сказывается все та же двойственная репутація гр. Толстого, которая однако, какъ и большинство ходячихъ репутацій, далеко не вполне основательна. Читатель, надѣюсь, сейчасъ убѣдится, что первая же статья гр. Толстого, на которую я обра-

щаю его вниманіе, «Прогрессъ и опредѣленіе образованія», отличается напротивъ рѣдкою трезвостью, ясностью и силою мысли и вмѣстѣ съ тѣмъ языкомъ крайне неточнымъ, неправильнымъ, а подчасъ и совершенно неуклюжимъ.

Гр. Толстой далъ слѣдующее опредѣленіе: «Образованіе есть дѣятельность человѣка, имѣющая своимъ основаніемъ потребность къ равенству и неизмѣнный законъ движенія впередъ образованія». Это *сказано* до такой степени неточно, неправильно, неуклюже, до такой степени не по-русски, что опредѣленіе выходитъ крайне плохое. Однако тутъ виновата не мысль гр. Толстого, заслуживающая напротивъ большаго вниманія, а только его неумѣнье выразить свою мысль. Занявшись практически педагогіей, гр. Толстой пожелалъ найти такое опредѣленіе образованія, которое указывало бы его цѣль и слѣдовательно моментъ прекращенія дѣятельности образовывающаго и образовывающагося; опредѣленіе это должно было дать критерій педагогики, т. е. нѣкоторую истину, съ высоты которой можно было бы рѣшить вопросъ о томъ, чему и какъ слѣдуетъ учить. Гр. Толстой разсуждаетъ такъ. Въ обществѣ дѣйствуетъ нѣсколько причинъ, побуждающихъ однихъ образовывать, а другихъ образовываться. Возьмемъ сначала дѣятельность образовывающагося, ученика. Онъ можетъ учиться для того, чтобы избѣжать наказанія,—это, по опредѣленію гр. Толстого, «ученіе на основаніи послушанія»; для полученія награды или для того, чтобы быть лучше другихъ,—«ученіе на основаніи-самолюбія»; для полученія выгоднаго положенія въ свѣтѣ,—«ученіе на основаніи матеріальныхъ выгодъ и честолюбія». Гр. Толстой все тѣмъ же неточнымъ и неуклюжимъ языкомъ утверждаетъ, что «на основаніи этихъ трехъ разрядовъ строились и строятся различныя педагогическія школы: протестантскія—на послушаніи, католическія іезуитскія—на основаніи соревнованія и самолюбія, наши русскія—на основаніи матеріальныхъ выгодъ, гражданскихъ преимуществъ и честолюбія». Могутъ ли быть эти основанія введены въ науку? Нѣтъ, отвѣчаетъ гр. Толстой, главнымъ образомъ по двумъ причинамъ: 1) «при такихъ основаніяхъ нѣтъ

общаго критериума педагогики, — и богословъ, и естественникъ одновременно считают свои школы непогрѣшительными, а не свои школы положительно вредными»; 2) потому что при системѣ образованія, построенной на одномъ изъ перечисленныхъ началъ, «приобрѣтаются привычка послушанія, раздраженное самолюбіе и матеріальныя выгоды; но это конечно не суть прямыя цѣли образованія». Дѣятельность образовывающаго также управляется различными мотивами, изъ которыхъ главные: «желаніе сдѣлать людей такими, которые были бы для насъ полезны (помѣщики, отдававшіе дворовыхъ въ ученіе и въ музыканты, правительство, приготовляющее для себя офицеровъ, чиновниковъ и инженеровъ)»; послушаніе и матеріальныя выгоды; самолюбіе; «желаніе сдѣлать другихъ людей, участниками въ своихъ интересахъ, передать имъ свои убѣжденія и съ этою цѣлью передать имъ свои знанія». Только этотъ послѣдній мотивъ, только побужденіе учителя уравнивать съ собой знанія ученика и соотвѣтственное побужденіе ученика сравняться въ знаніи съ учителемъ, гр. Толстой признаетъ достойнымъ лечь во главу угла науки педагогическаго. Какъ только образовывающій передалъ свои знанія образовываемому, — цѣль образованія на данномъ пунктѣ достигнута: ученикъ можетъ идти дальше, искать новыхъ учителей, но учитель свое дѣло сдѣлалъ, т. е. прямое, непосредственное дѣло образованія. Но равенство знаній можетъ быть достигнуто не на низшей, а только на высшей ступени знанія «по той простой причинѣ, что ребенокъ можетъ узнать то, что я знаю, а я не могу забыть того, что я знаю; и еще потому, что мнѣ можетъ быть извѣстенъ образъ мысли прошедшихъ поколѣній, а прошедшимъ поколѣніямъ не можетъ быть извѣстенъ мой образъ мысли». Это-то и есть «неизмѣнный законъ движенія впередъ образованія». Вотъ что хотѣлъ сказать гр. Толстой своимъ неуклюжимъ опредѣленіемъ образованія.

Я желалъ бы выяснитъ шуйцу и десницу гр. Толстого по возможности независимо отъ педагогики и затѣмъ уже приложить найденное къ спору гр. Толстого съ педагогами. Пріемъ этотъ

кажется мнѣ потому удобнымъ, что мы сразу получимъ такимъ образомъ руководящую нить, и намъ не нужно будетъ долго за-
сѣживаться на мелочахъ и частностяхъ текущей педагогической
распри, которыя выяснены уже достаточно. Тѣмъ не менѣе
обойти на этотъ разъ педагогику совсѣмъ — не представляется
никакой возможности. Я долженъ привести теперь же по край-
ней мѣрѣ одинъ выводъ, который дѣлаетъ гр. Толстой изъ сво-
его опредѣленія образованія, собственно для того, чтобы показать,
что опредѣленіе это есть не безплодная экскурсія въ область
отвлеченной мысли. На основаніи своего опредѣленія образова-
нія гр. Толстой считаетъ возможнымъ указать слѣдующую цѣль
науки педагогики: она должна изучать условія, благопріятствую-
щія и препятствующія совпаденію стремленій образовывающихся
и образовывающихся въ одной общей цѣли. Этого-то совпаденія
по мнѣнію гр. Толстого и нѣтъ въ дѣлѣ народного образованія.
Народъ хочетъ учиться, правительства и частныя лица хотятъ
его учить, но стремленія эти не имѣютъ до сихъ поръ общей
точки, не совпадаютъ. Отсюда всѣ трагикомическія подробности
народнаго образованія. Для устраненія ихъ нужно одно — полная
свобода для образовывающихся выбора программы ученія. Къ
этому послѣднему результату приводятъ гр. Толстого и нѣко-
торыя другія соображенія. Но для насъ пока достаточно и ска-
заннаго.

Замѣчательно, что упомянутая статья «Русск. Вѣстника»
(г. Маркова) направлена, какъ можно судить по цитатамъ
гр. Толстого, не столько противъ приведеннаго опредѣленія
образованія и выводовъ изъ него, сколько противъ самой задачи
гр. Толстого. Г. Марковъ считаетъ нелѣпыми самые вопросы о
цѣли и критеріи педагогики. Онъ пишетъ: «Ясную Поляну» сму-
щаетъ то обстоятельство, что въ различныя времена люди учатъ
различному и различно. Схоластики одному, Лютеръ другому,
Руссо по своему, Песталоцци опять по своему. Она видитъ въ
этомъ невозможность установить критеріумъ педагогики и на
этомъ основаніи отвергаетъ педагогику. А мнѣ кажется онъ самъ
указалъ на этотъ необходимый критеріумъ, приводя упомянутые

примѣры. Критеріумъ—въ томъ, чтобы учить, соображаясь съ потребностями времени. Онъ простъ и въ совершенномъ согласіи съ исторіей и логикой. Лютеръ оттого только и могъ быть учителемъ цѣлаго столѣтія, что самъ былъ созданіемъ своего вѣка, думалъ его мыслію и дѣйствовалъ по его вкусу. Иначе его огромное вліяніе было бы или невозможно, или сверхъестественно; не походи онъ на своихъ современниковъ, онъ бы исчезъ безплодно, какъ непонятное, никому не нужное явленіе,—пришлецъ среди народа, котораго даже языка онъ не понимаетъ. Тоже и съ Руссо и всякимъ другимъ. Руссо формулировалъ въ своихъ теоріяхъ накипѣвшую ненависть своего вѣка къ формализму и искусственности, его жажду простыхъ сердечныхъ отношеній. Это была неизбежная реакція противъ версальскаго склада жизни; и если бы только одинъ Руссо чувствовалъ ее,—не явился бы вѣкъ романтизма, не явились бы универсальныя массы (?) переродить человѣчество, деклараціи правъ, Карлы Мооры и все подобное... Мыѣ непонятно, чего бы хотѣлъ гр. Толстой отъ педагогіи. Онъ все о крайней цѣли, о незбылемомъ критеріумѣ хлопочетъ. Нѣтъ этихъ—такъ по его мнѣнію не нужно никакихъ. Отчего же не вспомнить онъ о жизни отдѣльнаго человѣка, о своей собственной? Вѣдь онъ конечно не знаетъ крайней цѣли своего существованія, не знаетъ общаго философскаго критеріума для дѣятельности всѣхъ періодовъ своей жизни. А вѣдь живетъ же онъ и дѣйствуетъ; и оттого только живетъ и дѣйствуетъ, что въ дѣтствѣ имѣлъ одну цѣль и одинъ критеріумъ, въ молодости другіе, теперь опять новые и такъ далѣе».

Вотъ образецъ соціологическаго изслѣдованія перваго типа, того самаго, подъ который подходятъ и «Изученіе соціологіи» Спенсера, и изслѣдованіе эмиграціи, представленное редакціей «Сборника государственныхъ знаній». Здѣсь на лицо всѣ признаки этого рода изслѣдованій. Г. Марковъ принимаетъ за точку отправленія судьбы общества или цивилизаціи и предлагаетъ учить и учиться не тому, что тотъ или другой учитель или ученикъ считаетъ нужнымъ, полезнымъ, избраннымъ, а тому, что

«соответствует потребностямъ времени», т. е. потребностямъ извѣстнаго историческаго момента. Вмѣстѣ съ тѣмъ г. Марковъ сводить задачу науки къ познанію существующаго, такъ какъ отвергаетъ надобность и возможность для педагога подняться выше существующаго порядка вещей или вообще какъ-нибудь отъ него отклониться. Тѣмъ самымъ наконецъ г. Марковъ отказывается дать руководящую нить практикѣ. Сказать: учите, соображаясь съ потребностями времени,—значить ничего не сказать, потому что потребности времени остаются не выясненными. Я впрочемъ не намѣренъ утомлять читателя собственнымъ разборомъ мнѣній г. Маркова, во первыхъ потому, что не въ нихъ совсѣмъ дѣло, а во вторыхъ потому, что я не сумѣлъ бы сдѣлать этотъ разборъ лучше гр. Толстого. Въ своемъ отвѣтѣ г. Маркову онъ стоитъ на истинно философской высотѣ, и если бы не портили дѣла нѣкоторыя частности, почти исключительно зависящія отъ неправильности и неточности выраженій, статья «Прогрессъ и опредѣленіе образованія» была бы безукоризненна во всѣхъ отношеніяхъ.

«Со временъ Гегеля и знаменитаго афоризма: «что исторично, то разумно»—говоритъ гр. Толстой—въ литературныхъ и изустныхъ спорахъ, въ особенности у насъ, царствуетъ одинъ весьма странный умственный фокусъ, называющійся историческое воззрѣніе. Вы говорите напримѣръ, что человѣкъ имѣетъ право быть свободнымъ, судиться на основаніи только тѣхъ законовъ, которые онъ самъ признаетъ справедливыми, а историческое воззрѣніе отвѣчаетъ, что исторія вырабатываетъ извѣстный историческій моментъ, обуславливающій извѣстное историческое законодательство и историческое отношеніе къ нему народа. Вы говорите, что вы вѣрите въ Бога,—историческое воззрѣніе отвѣчаетъ, что исторія вырабатываетъ извѣстные религіозныя воззрѣнія и отношенія къ нимъ человѣчества. Вы говорите, что *Иліада* есть величайшее эпическое произведеніе,—историческое воззрѣніе отвѣчаетъ, что *Иліада* есть только выраженіе историческаго сознанія народа въ извѣстный историческій моментъ. *На этомъ основаніи историческое воззрѣніе не только не споритъ съ вами о томъ, необходима ли свобода для человека, о томъ, есть или нѣтъ Бога, о томъ, хороша или не хороша *Иліада*, не только ничего не дѣлаетъ для достиженія той свободы, которой вы желаете, для убѣжденія или разубѣжденія васъ въ существованіи Бога или въ красоту *Иліады*, а только указываетъ вамъ то мѣсто, которое ваша внутренняя потребность, любви*

къ правдѣ или красотѣ занимаютъ въ исторіи: оно только сознаетъ, но сознаетъ не путемъ непосредственнаго сознанія, а путемъ историческихъ умозаключеній. Скажите, что вы любите или вѣрите во что-нибудь, — историческое воззрѣніе говоритъ: любите и вѣрьте, и ваша любовь и вѣра найдутъ себѣ мѣсто въ нашемъ историческомъ воззрѣніи. Пройдутъ вѣка, и мы найдемъ то мѣсто, которое вы будете занимать въ исторіи; но вперёдъ знайте, что то, что вы любите, не безусловно прекрасно, и то, во что вы вѣрите, не безусловно справедливо; не забавляйтесь, дѣти, — ваша любовь и вѣра найдутъ себѣ мѣсто и приложеніе. Къ какому хотите попятію стѣнѣть только приложить слово историческое, — и понятіе это теряетъ свое жизненное, дѣйствительное значеніе и получаетъ только искусственное и неподотворное значеніе въ какомъ-то искусственно составленномъ историческомъ міросозерцаніи».

Вовсе не надо быть педантомъ, чтобы съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ остановиться передъ этими невозможными «не только, а только», «только сознаетъ, но сознаетъ не путемъ сознанія» и т. п., испещряющими рѣчь знаменитаго русскаго писателя. Но Богъ съ нимъ, съ языкомъ гр. Толстого. Я упоминаю объ немъ только для того, чтобы лишній разъ обратить вниманіе читателя на неосновательность ходячихъ репутаций. Больше я этой скучной матеріи касаться не буду. Читатель предупрежденъ и не станетъ строить какіе-либо выводы на отдѣльныхъ выраженіяхъ гр. Толстого, которыя своею грамматическою неуклюжестью и логическою неправильностью слишкомъ часто только затемняютъ, даже извращаютъ мысль автора. Будемъ слѣдить только за мыслью гр. Толстого. Она этого стѣнѣтъ, по крайней мѣрѣ съ моей точки зрѣнія, съ точки зрѣнія профана, потому что изъ приведенныхъ неуклюжихъ строкъ такъ и бьетъ тотъ духъ жизни, который намъ, профанамъ, дороже всего. Очевидно, что суть протеста гр. Толстого противъ того, что онъ называетъ историческимъ воззрѣніемъ, сосредоточивается въ подчеркнутыхъ мною словахъ. Значенія историческихъ условій, какъ факторовъ, опредѣляющихъ дѣятельность личности, гр. Толстой вовсе не отрицаетъ. Онъ очень хорошо знаетъ, что Иліада, извѣстныя понятія о божествѣ, извѣстный общественный строй суть продукты историческихъ условій. Но онъ хочетъ не только знать, какое мѣсто въ исторіи занимаютъ его идеалы: онъ хочетъ жить ими и слѣдо-

вательно знать ихъ настоящую, теперешнюю цѣну, независимо отъ исторіи. Въ другомъ мѣстѣ гр. Толстой говоритъ весьма опредѣлительно: «Статья «Русскаго Вѣстника» думаетъ, что школы не могутъ и не должны быть изъяты изъ-подъ историческихъ условій. Мы думаемъ, что эти слова не имѣютъ смысла, во первыхъ потому, что *изъять изъ-подъ историческихъ условій нельзя ничего ни на дѣлѣ, ни даже въ мысляхъ*. Во вторыхъ потому, что ежели открытіе законовъ, на которыхъ строилась и должна строиться школа, есть по мнѣнію г. Маркова изъятіе изъ-подъ историческихъ условій, то мы полагаемъ, что *наша мысль*, открывшая извѣстные законы, *дѣйствуетъ тоже въ историческихъ условіяхъ*, но что нужно опровергнуть или признать самую мысль путемъ мысли для того, чтобы разъяснить ее, а не отвѣчать на нее тою истиною, что мы живемъ въ историческихъ условіяхъ». Изъ этого видно, что г. Марковъ совершенно понапрасну рассыпалъ цвѣты своего красворѣчія. Гр. Толстому очень хорошо извѣстна сила историческихъ условій. Она ему извѣстна даже лучше, чѣмъ г. Маркову, или по крайней мѣрѣ соображенія о ней проводятся гр. Толстымъ дальше и послѣдовательнѣе. Предполагая даже, что потребности времени суть нѣчто для всѣхъ ясное и опредѣленное, я, съ точки зрѣнія все той же силы историческихъ условій, имѣю полное право возставать противъ этихъ потребностей времени, признавать ихъ ложными, дрянными, желать ихъ измѣненія, дѣлать соотвѣтственные усилія и проч. Потому что, если во мнѣ зародились извѣстные сомнѣнія и желанія, такъ вѣдь они не съ неба свалились, они тоже опредѣлены историческими условіями. И если мои сомнѣнія и желанія признаются кѣмъ-нибудь неосновательными, то оппонентъ мой долженъ оставить историческія условія въ покоѣ и представить какіе-нибудь иные аргументы «отъ разума» или «отъ опыта». Историческими условіями можно оправдать всякую негѣпость и всякую мерзость, для чего нѣтъ никакой надобности въ длинныхъ разсужденіяхъ, къ которымъ любятъ прибѣгать въ подобныхъ случаяхъ: довольно указать на существованіе негѣпости или мерзости, — тѣмъ самымъ они уже оправ-

даши. Но это будетъ собственно говоря не оправданіе, а праздно-словіе, очень удобно опрокидываемое нѣсколькими словами; тѣми самыми словами, которыя сказалъ гр. Толстой: человекъ, стремящійся стереть съ лица земли существующія нелѣпости и мерзости, есть тоже продуктъ исторіи. Противъ этого аргумента возраженій нѣтъ. Въ своемъ отвѣтѣ г. Маркову гр. Толстой поставилъ и разрѣшилъ (я не говорю, что это не было дѣлаемо другими, задолго до гр. Толстого) теоретическій вопросъ высочайшей важности. Большихъ усилій стоило людямъ убѣдиться, что нѣтъ дѣйствія безъ причины, что и ихъ, людскія дѣйствія, мысли, желанія, чувства возникаютъ въ концѣ извѣстнаго ряда явленій, смѣняющихъ другъ друга съ физическою необходимостью. Убѣжденіе это завоевывалось шагъ за шагомъ, пробивая себѣ дорогу сквозь цѣлый лѣсъ предрасудковъ. И только въ сравнительно недавнее время оно восторжествовало, благодаря соединеннымъ усиліямъ статистиковъ, историковъ, психологовъ, фізіологовъ, философовъ. Но къ сожалѣнію мысль о «законосообразности» человѣческихъ дѣйствій, не успѣвъ даже намѣтить весь кругъ своихъ результатовъ, уже успѣла заразиться двумя искомыми наследственными недугами человѣчества, — фатализмомъ и оптимизмомъ. Удивляться надо въ самомъ дѣлѣ, какія это цѣпкія и прилипчивыя болѣзни. Трудно даже найти въ исторіи мысли теорію, которая не была бы хоть на короткое время покрыта злокачественною и отвратительною сыпью оптимизма и фатализма. А идея необходимости или законосообразности человѣческихъ дѣйствій находится въ условіяхъ, особенно благопріятныхъ для зараженія. Фатализмъ есть ученіе или взглядъ, недопускающій возможности вліянія личныхъ усилій на ходъ событій. Понятное дѣло, что этому взгляду очень удобно заразить собой теорію необходимости человѣческихъ дѣйствій. Каждый изъ насъ, жалкихъ дѣтищъ вращающагося во вселенной ничтожнаго комка грязи, называемаго землею, есть нѣчто въ родѣ шашки, которую сила событій передвигаетъ съ одной клѣтки шахматной доски на другую. Шашка можетъ имѣть въ ходѣ игры важное и неважное значеніе, но она жестоко ошибается, когда думаетъ, что

сама становится на такую-то кѣтку и могла бы, еслибы захотѣла, стать на другую. Въ такомъ родѣ разсуждаютъ многіе статистики, историки и другіе ученые люди не только въ теоретической области познанія существующаго, а и въ практической сферѣ жизни. Намъ, профанамъ, эти разсужденія глубоко противны, мы ихъ не можемъ переварить. И когда ученые люди говорятъ намъ съ презрительно снисходительнымъ видомъ: «что-жъ дѣлать! наука не можетъ сказать ничего иного»,—мы отвѣчаемъ: «что-жъ дѣлать! эта наука насъ не удовлетворяетъ». Но мы замѣчаемъ, что она не удовлетворяетъ не только насъ, а и самихъ ученыхъ людей. Напримѣръ ученые люди говорятъ и пишутъ другъ другу панегирики. За что? вѣдь не пишутъ же они панегириковъ камню, падающему на землю сообразно законамъ тяжести, и травѣ, начинающей весной зеленѣть на лугахъ. Ученое открытіе есть такое жъ звѣно извѣстной цѣпи причинно связанныхъ явленій, какъ и ростъ травы и паденіе камня; оно не можетъ появиться раньше осуществленія извѣстныхъ историческихъ условій, и ученый, сдѣлавшій открытіе, есть опять-таки не больше, какъ шапка, поставленная ходомъ игры на опредѣленную кѣтку. Ученые люди бранятъ наше невѣжество и стараются просвѣтить насъ. За что бранятъ и зачѣмъ стараются? Одну шапку также мало резонно бранить, какъ другой шапкѣ мало резонно стараться. Очевидно, что есть сферы мысли, въ которыхъ теорія необходимости нашихъ дѣйствій, ихъ полнѣйшей зависимости отъ данныхъ историческихъ условій, удовлетворяетъ человеческую природу, но есть и такія, гдѣ она равно не удовлетворяетъ и ученыхъ, и неученыхъ людей, гдѣ теорія историческихъ условій на каждомъ шагѣ путается въ противорѣчійхъ и сама себя закалываетъ. Это—сфера практической мысли. Заднимъ числомъ конечно можно доказать, что Лютеръ наприжѣръ только потому и могъ быть учителемъ цѣлаго столѣтія, что «самъ былъ созданиемъ своего вѣка, думалъ его мыслями и дѣйствовалъ по его вкусу». Совершенно справедливо, что не будь у него многочисленныхъ и многостороннихъ связей съ своимъ временемъ и своимъ народомъ, онъ пролетѣлъ бы какъ па-

лучая звѣзда. Но дѣло въ томъ, что еслибы самъ Лютеръ не вѣрилъ, что думаетъ *своею собственною* мыслью и дѣйствуетъ по *своему собственному* вкусу, то реформацію подвѣять бы не онъ. а кто-нибудь другой. Пусть связанный историческими условіями по рукамъ и по ногамъ Лютеръ обманывался, думая, что онъ свободно выбралъ себѣ цѣль, — этотъ обманъ неизбеженъ въ практической дѣятельности: онъ есть одинъ изъ необходимыхъ факторовъ тѣхъ самыхъ историческихъ условій, незыблемость которыхъ провозглашаютъ фаталисты. Гордые ученые и вдвое болѣе гордые полуученые люди очень любятъ восклицать: безъ обмана! Восклицаніе это конечно очень хорошее и способное собрать вокругъ восклицающаго толпу людей съ разинутымъ отъ удивленія ртомъ. Но отчего же гордые ученые и вдвое болѣе гордые полуученые люди не подумаютъ о томъ, что наиболѣе разработанныя отрасли физической науки допускаютъ иногда завѣдомый обманъ и не конфузятся этого? Метафизики говорятъ: реальный міръ есть обманъ. Наиболѣе разработанныя отрасли физической науки говорятъ: обманъ—такъ обманъ, намъ до этого дѣла нѣтъ, мы признаемъ данный міръ существующимъ, потому что того требуютъ условія человѣческой природы, а можетъ это и въ самомъ дѣлѣ обманъ. Наиболѣе разработанныя отрасли физической науки вводятъ въ свои построенія такихъ гипотетическихъ дѣятелей, которыхъ себѣ вполне ясно даже представить нельзя; это—обманы, но наука держится ихъ, потому что въ настоящую по крайней мѣрѣ минуту ничто, кромѣ нихъ, не даетъ возможности ориентироваться въ извѣстныхъ рядахъ фактовъ. Почему же это науки разработанныя не боятся обмана въ такой мѣрѣ, какъ науки (если только это—науки) социальныя, въ которыхъ кто во чтѣ гораздъ, въ которыхъ сколько головъ, столько умовъ, въ которыхъ нѣтъ почти ничего прочнаго, установившагося, общепринятаго? Да именно оттого, я думаю, что то—науки разработанныя, а это—такъ, что-то въ родѣ наукъ. Вполнѣ свѣтскій человѣкъ можетъ себѣ позволить нѣкоторыя уклоненія отъ установившихся въ его кругу нравовъ и обычаевъ и сдѣлаетъ такъ. что уклоненія эти не только не будутъ колоть глаза, но даже уси-

лять основной тонъ принятаго порядка. Неофитъ напротивъ, человѣкъ неопытный, не слившійся всѣмъ своимъ существомъ съ извѣстной общественной атмосферой; будетъ держаться каждой буквы свѣтскаго кодекса, но именно эти его старанія и изобличать въ немъ человѣка неопытнаго и неофита. Такъ же и съ наукой. Давно ли у насъ напимѣръ такъ много толковали о необходимости индуктивнаго метода и крайней вредности дедуктивнаго. Между тѣмъ какъ разъ въ это время истинные ученые, хоть и не очень гордые, съ величайшимъ успѣхомъ примѣняли дедукцію и двигали ею науку исполинскими шагами впередъ. Они уже прошли ту ступень развитія, на которой индукція признавалась единственнымъ научнымъ методомъ, и прилагали къ дѣлу, смотря по условіямъ своихъ задачъ, то наведеніе, то выводъ. Эти же истинные, хоть и не очень гордые ученые разсуждаютъ такъ: обманъ—вещь нехорошая, но если ужъ въ томъ или другомъ случаѣ безъ него по условіямъ человеческой природы обойтись нельзя, тамъ дѣлать нечего; надо только помнить, что это—обманъ, введенный въ изслѣдованіе съ опредѣленною цѣлью, и что мы имѣемъ право пользоваться имъ только въ опредѣленныхъ случаяхъ и подъ опредѣленными условіями. Очевидно, что допущенный въ науку въ такомъ видѣ обманъ даже перестаетъ быть обманомъ и становится просто орудіемъ науки. А гордые социологи продолжаютъ восклицать: безъ обмана! Не желая уподобляться Кифѣ Мокіевичу, я не стану разсуждать о томъ, что было бы, еслибы люди дѣйствительно перестали обманываться на счетъ свободы своей дѣятельности. Но вотъ что я могу сказать, не боясь быть опровергнутымъ ученѣйшими изъ ученыхъ: въ моментъ дѣятельности я сознаю, что ставлю себѣ цѣль свободно, совершенно независимо отъ вліянія историческихъ условій; пусть это обманъ, но имъ движется исторія; я признаю, что и сосѣди мои выбираютъ себѣ цѣли жизни свободно; на этомъ только и держится возможность личной отвѣтственности и нравственнаго суда, которыхъ нельзя же вычеркнуть изъ человеческой души. Дѣйствительно, ихъ вычеркнуть нельзя, надо признать ихъ существованіе, а между тѣмъ они находятся въ

*

противорѣчіи съ познаніемъ причинной связи явленій. Приходится осуждать то, что въ данную минуту не можетъ не существовать. Какъ тутъ быть? Это противорѣчіе извѣстно съ очень давнихъ поръ и много умныхъ и глупыхъ, ученыхъ и неученыхъ головъ билось надъ его разрѣшеніемъ. Эти головы придумали три выхода. Одни, закалая на алтарѣ познанія причинной связи явленій личную отвѣтственность, совѣсть и нравственный судъ, стоятъ на своемъ: безъ обмана! Но это не выходъ, потому что чувство отвѣтственности, совѣсть и потребность нравственнаго суда суть вполнѣ реальныя явленія психической жизни, допускающія наблюденіе и вообще научные приемы изслѣдованія; они до такой степени реальны, что сами жрецы познанія не чужды имъ въ моментъ жертвоприношенія; они произносятъ нравственный судъ и сознаютъ свое жертвоприношеніе дѣйствіемъ свободнымъ. Другіе приносятъ напротивъ въ жертву причинную связь явленій, утверждая, что человѣкъ свободенъ. Если это и выходъ изъ затрудненія, то во всякомъ случаѣ онъ не можетъ быть принятъ наукой, потому что совершенно свободныхъ явленій познавать нельзя, а наука только познаетъ. Третьи наконецъ, признавая противорѣчіе между свободою и необходимостью неразрѣшимымъ по существу, говорятъ, что иногда мы должны признавать человѣческія дѣйствія свободными, а иногда необходимыми. Къ числу этихъ третьихъ принадлежитъ и гр. Толстой. На первый взглядъ это рѣшеніе самое неудовлетворительное, наименѣе научное, потому что ему недостаетъ единства и послѣдовательности. Но это только на первый взглядъ. Вы идете въ мѣсто, лежащее на западъ отъ васъ; по дорогѣ вы натываетесь на пропасть, которую обходите, уклоняясь къ сѣверу, потомъ круто сворачиваете къ югу, потому что прямо передъ вами непроходимое болото: не смотря на эти отклоненія отъ пути на западъ, вы идете единственной вѣрной дорогой, потому что, направляясь по вороньему, все прямо, вы провалитесь, утонете и вообще не дойдете до цѣли своей прогулки. Такъ и единство и послѣдовательность въ наукѣ состоятъ во все не въ томъ, чтобы всегда и вездѣ употреблять одни и тѣ

же приемы изслѣдованія, а въ томъ, чтобы всегда и вездѣ смотрѣть на вещи такъ, какъ того требуютъ условія научной задачи. Этимъ достигается не только единство науки, но, что всего важнѣе, и примиреніе науки съ жизнью. Поставьте только себя въ положеніе гр. Толстого. Онъ поставилъ себѣ жизненную, живую дѣль, работаетъ для нея, наконецъ, какъ ему кажется, достигъ ея; узналъ, чему и какъ слѣдуетъ учить. Вдругъ является ученый человѣкъ, г. Марковъ, и говоритъ: какимъ вы однако вздоромъ занимаетесь! развѣ вы можете придумать какое нибудь свое собственное рѣшеніе этого вопроса, независимое отъ историческихъ условій, въ которыхъ вы живете? Понятно ли читателю все безобразіе этого рипоста г. Маркова, хотя въ основаніи его лежитъ несомнѣнная истина: гр. Толстой, какъ и всякій другой, не можетъ выгнаться изъ историческихъ условій. Дѣло въ томъ, что въ словахъ г. Маркова есть истина, но она пристраивается имъ совсѣмъ не къ мѣсту. Это часто бываетъ, что ученые люди суютъ несомнѣнныя истины не туда, гдѣ имъ нужно быть. Очки превосходная вещь, но когда мартышка надѣвала ихъ себѣ на хвостъ, она дѣлала большую ошибку. Мы, профаны, считаемъ своимъ священнымъ правомъ, котораго у насъ отнять никто не можетъ, право нравственнаго суда надъ собой и другими, право познанія добра и зла, право называть мерзавца мерзавцемъ. Законосообразность человѣческихъ дѣйствій есть великая истина, но она не должна посягать на это право, хотя бы уже потому, что она съ нимъ ничего не подѣляетъ. Въ этой импотенціи не къ мѣсту пристроенной истины заключается собственно комическая сторона ученыхъ набѣговъ на наше право называть мерзавца мерзавцемъ. Не будь ея, этой комической стороны, можно было бы ужаснуться тому неслыханному насилію надъ человѣческой личностью, которое позволяютъ себѣ нѣкоторые ученые люди, стараясь убѣдить насъ, что мерзавецъ есть только продуктъ исторіи и что мы не смѣемъ даже помыслить о дѣятельности по собственному вкусу, независимо отъ «историческихъ условій» и «потребностей времени». Дыба, испанскій оселъ, нюрнбергская желѣзная дѣвица, всѣ ужасы

инквизиции и русских застѣнковъ были бы милыми игрушками въ сравненіи съ этимъ насиліемъ, если бы только оно могло когда нибудь переселиться изъ области словоизверженія въ область живой дѣйствительности. Теперь духъ насилія выражается только тѣмъ, что, какъ очень неправильно по формѣ, но очень мѣтко и вѣрно говоритъ гр. Толстой, «историческое воззрѣніе не только не спорить съ вами о томъ, необходима ли свобода для человѣка, о томъ есть или нѣтъ Бога, о томъ хороша или нехороша Иліада, не только ничего не дѣлаетъ для достиженія той свободы, которой вы желаете, для убѣжденія или разубѣжденія васъ въ существованіи Бога или въ красотѣ Иліады, а только указываетъ вамъ то мѣсто, которое наша внутренняя потребность, любовь къ правдѣ или красотѣ занимаютъ въ исторіи». Это — несомнѣнное выраженіе духа насилія. Историческій воззритель, если такое существительное возможно, только потому стремится отравить вамъ извѣстное наслажденіе, что самъ онъ неспособенъ его оцѣнить. Собственныя свои цѣли онъ преслѣдуетъ такъ, какъ будто бы они имѣли вѣчную, непреходящую цѣну. Вонъ напримѣръ Спенсеръ сочиняетъ соціологію, которая должна остаться истинною даже въ отдаленнѣйшемъ мракѣ будущаго, а радикалу и торію говорить: благословляю васъ на всѣ ваши глупости, потому что онѣ свое опредѣленное мѣсто въ исторіи займутъ; вы оба врете, но ничего, продолжайте, законами исторіи предписано вамъ обоимъ нѣсколько времени поврать и затѣмъ умолкнуть. Ясно, что Спенсеръ потому только можетъ такъ относиться къ радикалу и торію, что ему совершенно чужды волнующіе ихъ интересы, что ему рѣшительно все равно, восторжествуетъ ли который нибудь изъ нихъ, и вообще все равно, какъ пойдутъ дѣла, о которыхъ спорятъ торіи и радикалы. Когда рѣчь идетъ о скверныхъ каминныхъ щипцахъ и неудобныхъ аптекарскихъ склянкахъ, Спенсеръ совершенно измѣняетъ тонъ: онъ не говоритъ, что скверные щипцы займутъ свое мѣсто въ исторіи; онъ просто говоритъ, что щипцы скверны, потому что относится къ щипцамъ и склянкамъ, какъ живой человѣкъ. Величественныя запрещенія искать

чего нибудь, не помышляя объ исторических условіяхъ, и столь же величественныя дозволенія врать сообразно историческимъ условіямъ, суть продукты умственной мертвечины, мертвеннаго отношенія къ явленіямъ.

Итакъ значеніе историческихъ условій, какъ факторовъ, опредѣляющихъ дѣятельность личности, несомнѣнно, но столь же несомнѣнны право и возможность для личности судить о явленіяхъ жизни безъ отношенія къ мѣсту ихъ въ исторіи, а сообразно той внутренней цѣнности, которую имъ придаетъ та или другая личность въ каждую данную минуту. Это неизбѣжно вытекаетъ изъ условій человѣческой природы. Противорѣчіе между необходимостью и свободой по существу неразрѣσιμο, и мы должны попеременно опираться то на ту, то на другую. Когда на одну, когда на другую? Гр. Толстой отвѣчаетъ на этотъ вопросъ въ статьѣ «Прогрессъ и опредѣленіе образованія». Но рѣзче и рельефнѣе выходитъ отвѣтъ, данный въ много осмѣянномъ одними и много расхваленномъ другими философскомъ приложеніи къ «Войнѣ и миру». Тамъ есть рядъ опредѣленій, изъ которыхъ я приведу слѣдующія два: «Дѣйствія людей подлежатъ общимъ, неизмѣннымъ законамъ, выражаемымъ статистикой. Въ чемъ же состоитъ отвѣтственность человѣка передъ обществомъ, понятіе о которой вытекаетъ изъ сознанія свободы?—вотъ вопросъ права. Поступки человѣка вытекаютъ изъ его прирожденнаго характера и мотивовъ, дѣйствующихъ на него. Что такое есть совесть и сознаніе добра и зла поступковъ, вытекающихъ изъ сознанія свободы?—вотъ вопросъ этики». (Сочиненія, VIII, 166). Въ русской литературѣ мнѣ извѣстна только одна постановка вопроса о необходимости и свободѣ человѣческихъ дѣйствій, совпадающая съ постановкою гр. Толстого и не уступающая ей въ ясности и категоричности. Она сдѣлана однимъ изъ сотрудниковъ «Отеч. Зап.» въ статьѣ «Г. Кавелинъ, какъ психологъ» («Отеч. Зап.», 1872, № 11): «Вопросъ о произвольности не существуетъ для науки. Психологія неизбѣжно разсуждаетъ, какъ бы онъ былъ рѣшенъ отрицательно. Логика и этика столь же

неизбѣжно разсуждаютъ, какъ бы онъ былъ рѣшенъ положительно».

Я не безъ задней мысли воспользовался случаемъ сопоставить мнѣніе гр. Толстого съ мнѣніемъ «Отечественныхъ Записокъ» и въ особенности радъ тому, что это совпаденіе имѣетъ мѣсто на пунктѣ высокой важности, на такомъ теоретическомъ вопросѣ, который всѣмъ вопросамъ вопросъ. Дѣло въ томъ, что многихъ и до сихъ поръ интригуетъ появленіе въ «Отечественныхъ Запискахъ» статьи гр. Толстого. Такъ увѣряетъ по крайней мѣрѣ авторъ напечатанной въ № 4 «Дѣла» статьи «Народъ учить или у народа учиться», г. «Все тотъ же», который и самъ посвящаетъ этому обстоятельству нѣсколько глубокомысленныхъ страницъ. Статья его «посвящается нашимъ профанамъ, вообще и профану «Отечественныхъ Записокъ» въ частности». Такое посвященіе конечно меня до глубины души тронуло и даже очень мнѣ польстило. Когда я въ своихъ запискахъ обращаюсь къ ученымъ людямъ, я это дѣлаю собственно говоря только ради формы, потому что нужна же какая-нибудь форма изложенія. Въ сущности же я вполне былъ увѣренъ, что ученые люди никогда не снизойдутъ до отвѣтовъ на мои вопросы, до разъясненія моихъ недоразумѣній, вообще никогда не обратятъ вниманія на меня, бѣднаго профана. Теперь я боюсь напротивъ какъ бы мнѣ не возгордиться, потому что мною занялся «Все тотъ же»! Понимаете? все тотъ же... знаменитый... тотъ самый, который и прежде уже много разъ... Впрочемъ я не знаю, чѣмъ именно прославился г. «Все тотъ же», но вполне увѣренъ, что онъ прославился чѣмъ-нибудь хорошимъ. Мои собственные интересы побуждаютъ меня вѣрить этому, потому что не было бы ничего для меня лестнаго, еслибы «Все тотъ же» оказался какимъ-нибудь Петромъ Зудотъшинымъ, который мои записки «читалъ и Содержаніе онныхъ нѣ одобрилъ». Притомъ же онъ въ такомъ случаѣ не выбралъ бы для себя столь великодушнаго и многозначительнаго псевдонима. Нѣтъ, г. «Все тотъ же» несомнѣнно—человѣкъ ученый и даже знаменитый, хотя и путешествующій инкогнито. Но вотъ что мнѣ кажется стран-

нымъ. Г. «Все тотъ же» находить, что безобразія нѣмецкихъ педагоговъ и ихъ русскихъ подражателей указаны гр. Толстымъ фактически вѣрно, и тутъ же глумится надъ темными профанами, которые по указанію гр. Толстого начали-дескать травить педагоговъ, а прежде небось ничего не замѣчали. Что же дѣлать? Я по крайней мѣрѣ откровенно покался: дѣйствительно не замѣчалъ и даже никогда не думалъ о педагогахъ. Но вотъ г. «Все тотъ же» замѣчалъ, думалъ, совершенно независимо отъ гр. Толстого понималъ, что наша педагогія представляетъ собраніе монстровъ и раритетовъ,—и все-таки молчалъ. Это ужъ даже и не великодушно. Я вполне увѣренъ, что г. «Все тотъ же» двигалъ науку впередъ и написалъ множество замѣчательнѣйшихъ произведеній, но о безобразіяхъ педагоговъ онъ ничего не сказалъ. Это я навѣрное знаю, потому что кромѣ гр. Толстого о нихъ никто не говорилъ. Что же удивительнаго въ томъ, что мы, профаны, благодаримъ гр. Толстого, а не г. «Все того же»? Еще одна странность. Поговоривъ о славянофильствѣ, почвенности, поглумившись надъ «народной душой» и мистцизмомъ, словомъ, продѣлавъ все то, что обыкновенно продѣлывается людьми, разсуждающими о гр. Толстомъ, г. «Все тотъ же» весьма хитро спрашиваетъ: «не обратились ли наши «профаны» въ Ивановъ Непомнящихъ?» Затѣмъ идутъ опять разсужденія объ отсталости гр. Толстого, о томъ, какъ относился къ ясно-полянскимъ теоріямъ «Современникъ», и о томъ, что появленіе въ «Отечественныхъ Запискахъ» статьи гр. Толстого многих удивило. Вотъ удивительный полемическій пріемъ. Вы высказываете извѣстныя мнѣнія, съ ними отчасти соглашаются, но главнымъ образомъ закидываютъ васъ вопросами: а почему ты не сказалъ того-то? а почему «Современникъ» смотрѣлъ на такой-то предметъ иначе? Помилуйте, ваше великолѣпіе, да какое же мнѣ дѣло до «Современника»? Въ «Современникѣ» говорилось напримѣръ, что г. Благосвѣтловъ спалъ на шубахъ въ передней гр. Кушелева-Безбородко. Я не вижу никакого резона, почему я обязанъ повторять это. И зачѣмъ упрекать человѣка за то, что онъ того-то и того-то не хотѣлъ или не успѣлъ ска-

затѣ? Передъ вами то, что онъ хотѣлъ сказать и сказать,—за это его и судите. А въ моихъ запискахъ передъ глазами его великолѣпія, г. «Все того же», было слѣдующее: профаны приносятъ свою благодарность гр. Толстому за то, что онъ открылъ имъ глаза на цѣлый міръ безобразій, которыя 1) отнюдь не имѣютъ ничего общаго съ наукой и 2) топчя въ грязь требованія народа, практически безсильны привить ему просвѣщеніе. Вотъ и все, выше великолѣпіе. На счетъ же славянофильства и другихъ грѣховъ гр. Толстого мною обѣщана была особая беседа; которой его великолѣпію слѣдовало бы подождать.

Итакъ «либеральныя» (еслибы вы знали, читатель, какъ мнѣ противно писать это истасканное слово) «Отечественныя Записки» напечатали, къ удивленію многихъ, статью гр. Толстого. Этого мало. Они устами Профана заявили свою солидарность съ этой статьей. Мало и этого. Они рѣшаются заявить, что и помимо этой педагогической статьи они признаютъ многія воззрѣнія гр. Толстого своими собственными. Я привелъ уже одинъ такой случай совпаденія, приведу и другой, болѣе осязательный. Въ томъ же № 11 «Отеч. Зап.» за 1872 годъ есть мои скромныя литературныя замѣтки, въ которыхъ я съ величайшимъ почтеніемъ и сочувствіемъ отношусь къ статьѣ гр. Толстого «Прогрессъ и опредѣленіе образованія» и притомъ къ той именно части статьи, которая наименѣе либерально относится къ цѣлому ряду практическихъ вопросовъ. Такъ что грѣхъ «Отеч. Зап.» есть грѣхъ старый. Будемъ ужъ грѣшнить до конца.

Человѣкъ, будучи обязанъ признать всякое историческое явленіе законосообразнымъ, имѣетъ однако логическое и нравственное право бороться съ нимъ, признавая его пагубнымъ, вреднымъ, безнравственнымъ. Отсюда прямой выводъ, что историческій ходъ событій самъ по себѣ совершенно безсмысленъ и, взятый въ своей грубой, эмпирической цѣлости, можетъ оказаться такимъ смѣшеніемъ добра и зла, что послѣднее перевѣситъ первое. Гр. Толстой дѣлаетъ этотъ выводъ. Онъ не только подвергаетъ осмѣянію афоризмъ «что исторично, то разумно», но кромѣ того, довольно подробно анализируя ходячее понятіе

прогресса, приходитъ къ заключенію, что историческій путь, которымъ идетъ западная Европа и на который сравнительно недавно вступила Россія, отнюдь не усыпанъ розами. Гр. Толстой полагаетъ далѣе, что этотъ путь развитія не есть единственный и что онъ можетъ и долженъ быть избѣгнуть Россіей. Извѣстно, что совершенно такъ же смотреть на дѣло славянофилы и ихъ выродки—«почвенники». При ближайшемъ однако разсмотрѣніи анализа прогресса гр. Толстого оказывается, что онъ самымъ существеннымъ образомъ отличается отъ славянофильскихъ воззрѣній. Читатель въ этомъ сейчасъ убѣдится.

Покончивъ съ фатализмомъ, гр. Толстой обращается къ оптимизму. Г. Марковъ полагалъ, что искать критерія образованія нѣтъ никакой надобности, потому что дѣло и безъ него очень просто: «каждый вѣкъ кидаетъ въ общую кучу свою горсть, и тѣмъ дольше мы живемъ, тѣмъ выше поднимается эта куча, тѣмъ выше и мы съ ней поднимаемся». Такимъ образомъ все идетъ къ лучшему въ семь наилучшемъ изъ міровъ, шиповъ становится все меньше, а розы цвѣтутъ и благоухаютъ все роскошнѣе. Гр. Толстой находитъ, что этотъ образъ кучи, возростающей и вмѣстѣ съ тѣмъ поднимающей насъ; далеко не передаетъ истиннаго смысла исторіи. Движенія исторіи онъ не отрицаетъ, но онъ не согласенъ признавать верхніе, позднѣйшіе слои исторической кучи лучшими только потому, что они—верхніе, позднѣйшіе. Онъ требуетъ для оцѣнки историческихъ явленій иныхъ, болѣе сложныхъ пріемовъ, къ выработкѣ которыхъ приступаетъ весьма оригинальнымъ образомъ. Именно онъ задаетъ себѣ вопросъ: кто признаетъ ростъ исторической кучи, обыкновенно называемой прогрессомъ, кто признаетъ его благомъ? «Такъ-называемое общество, незанятые классы, по выраженію Бокля». Разсматривая нѣкоторыя, наиболѣе выдающіяся «явленія прогресса» (мы условились не придирается къ неточности и неправильности выраженій), гр. Толстой приходитъ къ заключенію, что они дѣйствительно суть благо для «незанятыхъ классовъ». Напримѣръ по телеграфнымъ проволокамъ «пролетаетъ мысль о томъ, что возвысилось требованіе на такой-то пред-

метъ торговли и какъ потому нужно возвысить цѣну на этотъ предметъ, или мысль о томъ, что я, русская помѣщица, проживающая во Флоренціи, слава Богу, укрѣпилась нервами, обнимаю моего обожаемаго супруга и прошу прислать мнѣ въ наискорѣйшемъ времени 40,000 франковъ»; сообщаются свѣдѣнія о «дешевизнѣ или дороговизнѣ сахара или хлопчатой бумаги, о низверженіи короля Оттона, о рѣчи, произнесенной Пальмерстономъ и Наполеономъ III». Изъ всего этого незанятые классы извлекаютъ огромныя выгоды и много удовольствія. Извлекаютъ они ихъ и изъ книгопечатанія, изъ улучшенныхъ путей сообщенія. Но почему же народъ, $\frac{9}{10}$ всего населенія цивилизованныхъ странъ, «занятые классы» относятся къ благамъ цивилизаціи по малой мѣрѣ равнодушно, а то и прямо враждебно? Потому, отвѣчаетъ гр. Толстой, что блага цивилизаціи—для народа вовсе не блага. они или проходятъ совершенно мимо его, или приносятъ ему больше зла, чѣмъ пользы. Г. Марковъ ссылался на Маколя. Гр. Толстой утверждаетъ, что изъ знаменитой 3-й главы первой части исторіи Маколя можно выудить только слѣдующіе, наиболѣе выдающіеся факты: «1) Народонаселеніе увеличилось,—такъ, что необходима теорія Мальтуса. 2) Войска не было,—теперь оно стало огромно; съ флотомъ — тоже самое. 3) Число мелкихъ землевладѣльцевъ уменьшилось. 4) Города стянули къ себѣ большую часть народонаселенія. 5) Земля обнажилась отъ лѣсовъ. 6) Заработная плата стала на половину больше, цѣны же на все увеличились и удобствъ въ жизни стало меньше. 7) Подать на бѣдныхъ удесятилась. Газетъ стало больше, освѣщеніе улицъ лучше, дѣтей и женъ меньше бьютъ и англійскія дамы стали писать безъ орфографическихъ ошибокъ». Гр. Толстой убѣжденъ, что совокупность этихъ явленій, ихъ общій характеръ несомнѣнно выгоденъ для незанятыхъ классовъ, которые поэтому съ своей точки зрѣнія имѣютъ всѣ резоны признавать его благомъ, но они не имѣютъ права навязывать свое воззрѣніе народу; народъ, опять-таки съ своей точки зрѣнія, имѣетъ тоже всѣ резоны относиться къ перечисленнымъ фактамъ вполне равнодушно, а отчасти и враждебно. «Инте-

ресы общества (подъ обществомъ гр. Толстой разумѣть такъ-называемые образованные классы) и народа всегда бываютъ противоположны. Чѣмъ выгодыѣ одному, тѣмъ невыгодыѣ другому». Сообразно этому распредѣляются и понятія «общества» и народа о томъ или другомъ историческомъ явленіи въ отдѣльности и объ общемъ направленіи исторіи. Но, спрашивается, неужели мы можемъ положиться на мнѣнія людей грубыхъ и невѣжественныхъ, «проводящихъ жизнь на поляхъ, въ курной избѣ или за сохою, ковыряющихъ сами себѣ лапти и ткущихъ себѣ рубахи, никогда нечитавшихъ ни одной книги, разъ въ двѣ недѣли снимающихъ съ насѣкомыми рубаху, по солнышку и по пѣтухамъ узнающихъ время и неимѣющихъ другихъ потребностей, какъ лошадиная работа, спанье, ѣда и пьянство?» Гр. Толстой самымъ рѣшительнымъ образомъ ставится на сторону грубаго, грязнаго и невѣжественнаго народа. «Я полагаю, говорить онъ, что эти люди, называемые дикими, и пѣлыя поколѣнія этихъ дикихъ суть точно такіе же люди и точно такое же человѣчество, какъ Пальмерстоны, Оттоны, Бонапарты. Я полагаю, что поколѣнія работниковъ носить въ себѣ точно тѣ же человѣческія свойства и въ особенности свойство искать гдѣ лучше, какъ рыба гдѣ глубже, какъ и поколѣнія лордовъ, бароновъ, профессоровъ, банкировъ и т. д. Въ этой мысли подтверждаетъ и мое личное, безъ сомнѣнія мало-значащее убѣжденіе, состоящее въ томъ, что въ поколѣніяхъ работниковъ лежитъ и больше силы, и больше сознанія правды и добра, чѣмъ въ поколѣніяхъ бароновъ, банкировъ и профессоровъ, и, главное, подтверждаетъ меня въ этой мысли то простое наблюденіе, что работникъ точно также саркастически и умно обсуживаетъ барина и смѣется надъ нимъ за то, что онъ не знаетъ, что соха, что сволока, что гречиха, что крупа; когда сѣять овесъ, когда гречу; какъ узнать какой слѣдъ; какъ узнать тельна ли корова или нѣтъ? и за то, что баринъ живетъ, всю жизнь ничего не дѣлая и т. п. Точно также какъ обсуживаетъ баринъ работника и подтруниваетъ надъ нимъ за то, что тотъ говоритъ табѣ и сабѣ, фитанецъ, плантъ и т. п., и за то, что онъ

въ праздникъ напивается какъ животное и не знаетъ какъ разсказать дорогу. То же наблюденіе поражаетъ меня, когда два человѣка, разойдясь между собою, совершенно искренно называютъ другъ друга дураками и подлецами. Еще болѣе поражаетъ меня это наблюденіе въ столкновеніяхъ восточныхъ народовъ съ европейскими. Индѣйцы считаютъ англичанъ варварами и злодѣями, англичане—индѣйцевъ; японцы—европейцевъ, европейцы—японцевъ; даже самые прогрессивные народы—французы считаютъ нѣмцевъ тупоголовыми, нѣмцы считаютъ французовъ безмозглыми. Изъ всѣхъ этихъ наблюденій я вывожу то умозаключеніе, что ежели прогрессисты считаютъ народъ неимѣющимъ права обсуждать своего благосостоянія и народъ считаетъ прогрессистовъ людьми, озабоченными корыстными личными видами, то изъ этихъ противоположныхъ воззрѣній нельзя вывести справедливости ни той, ни другой стороны. И потому я долженъ склониться на сторону народа, на томъ основаніи, что 1) народа больше, чѣмъ общества, и что потому должно предположить, что большая доля правды на сторонѣ народа; 2) и главное потому, что народъ безъ общества прогрессистовъ могъ бы жить и удовлетворять всѣмъ своимъ человѣческимъ потребностямъ, какъ-то: трудиться, веселиться, любить, мыслить и творить художественныя произведенія (Иліада, русскія пѣсни). Прогрессисты же не могли бы существовать безъ народа». Въ концѣ-концовъ гр. Толстой объясняетъ, что «весь интересъ исторіи заключается для него не въ прогрессѣ цивилизаціи, а въ прогрессѣ общаго благосостоянія. Прогрессъ же благосостоянія, продолжаетъ онъ, по нашимъ убѣжденіямъ, не только не вытекаетъ изъ прогресса цивилизаціи, но болѣею частью противоположенъ ей. Ежели есть люди, которые думаютъ противное, то это должно быть доказано. Доказательствъ же этихъ мы не находимъ ни въ непосредственномъ наблюденіи явленій жизни, ни на страницахъ историковъ, философовъ и публицистовъ... Эти люди признаютъ безъ всякаго основанія вопросъ о тождествѣ общаго благосостоянія и цивилизаціи рѣшеннымъ».

Но можетъ быть прогрессъ, какъ онъ выразился въ исторіи

западной Европы, есть нѣчто фатальное, нѣчто неизбѣжно обязательное какъ для самой Европы въ будущемъ, такъ и для другихъ странъ, стоящихъ на низшихъ ступеняхъ цивилизаціи? Изъ предыдущаго уже видно, что гр. Толстой долженъ былъ отвѣчать на этотъ вопросъ отрицательно. Онъ такъ и отвѣчаетъ. Онъ говоритъ, что «не считаетъ этого движенія неизбѣжнымъ». Обращаясь къ Россіи, онъ дѣлаетъ нѣсколько бѣглыхъ замѣчаній о разницѣ въ условіяхъ ея жизни и жизни западной Европы. Я приведу только одно изъ этихъ замѣчаній. Упомянувъ о мнѣніи Маколея, что благосостояніе рабочаго народа измѣряется высотой заработной платы, гр. Толстой спрашиваетъ: «Неужели мы, русскіе, до такой степени не хотимъ знать и не знаемъ положенія своего народа, что повторимъ такое бессмысленное и ложное для насъ положеніе? Неужели не очевидно для каждаго русскаго, что заработная плата для русскаго простолюдина есть случайность, роскошь, на которой ничего нельзя основывать? Весь народъ, каждый русскій человѣкъ безъ исключенія назоветъ несомнѣнно богатымъ степнаго мужика съ старыми одоньями хлѣба на гумнѣ, никогда не выдавшаго въ глаза заработной платы, и назоветъ несомнѣнно бѣднымъ подмосковнаго мужика въ ситцевой рубашкѣ, получающаго постоянно высокую заработную плату. Не только невозможно въ Россіи опредѣлять богатство степенью заработной платы, но смѣло можно сказать, что въ Россіи появленіе заработной платы есть признакъ уменьшенія богатства и благосостоянія. Это правило мы, русскіе, изучающіе свой народъ, можемъ провѣрить во всей Россіи, и потому, не разсуждая о богатствѣ государствъ и богатствѣ всей Европы, можемъ и должны сказать, что для Россіи, то-есть для большей массы русскаго народа, высота заработной платы не только не служитъ мѣриломъ благосостоянія, но одно появленіе заработной платы показываетъ упадокъ народнаго богатства».

Этимъ исчерпываются кажется всѣ существенные пункты статьи «Прогрессъ и опредѣленіе образованія». Теперь я прошу объяснить мнѣ: что общаго между приведенными воззрѣніями и мистицизмомъ, фатализмомъ, оптимизмомъ, кваснымъ патриотиз-

момъ, славянофильствомъ и проч.. въ которыхъ только лѣнивый не упрекаетъ гр. Толстого. Безъ сомнѣнія его анализъ понятій прогресса и цивилизаціи далеко неполонъ (авторъ впрочемъ и не ставилъ себѣ цѣлью полноту анализа), страдаетъ и другими недостатками. Но дѣло не въ этомъ. Я обращаю только вниманіе читателя на точку зрѣнія гр. Толстого. Она прежде всего не нова. Она установлена лѣтъ приблизительно за тридцать до занимающей насъ статьи, но отнюдь не славянофилами, а европейскими социалистами. Если гдѣ искать у гр. Толстого славянофильскихъ или «почвенныхъ» тенденцій, такъ именно въ указанной статьѣ, которая, собственно говоря, представляетъ цѣлую политическую программу въ сжатомъ, скомканномъ видѣ. Между тѣмъ здѣсь-то и выступаетъ всего рѣзче непримиримость гр. Толстого къ славянофильству. Въ статьѣ нѣтъ и помину объ одной изъ любимѣйшихъ темъ славянофильства, — о великой роли, предназначенной Провидѣніемъ славянскому міру, долженствующему стереть съ лица земли или по крайней мѣрѣ совершенно посрамить міръ романо-германскій. Мало того, что тема эта не затронута въ статьѣ, — гр. Толстой и вообще не написалъ на нее ни одной строки, — статья отрицаетъ ее въ самомъ корнѣ, ибо гр. Толстой признаетъ, что историческій ходъ событій самъ по себѣ неразуменъ, безсмысленъ, что для человѣка неустрашимо сознаніе возможности съ нимъ бороться, свободно ставя передъ собой идеалы. Гр. Толстой съ своей обычной смѣлостью бросаетъ перчатку историческимъ условіямъ, вовсе не имѣя въ виду, соотвѣтствуютъ они или не соотвѣтствуютъ началамъ русскаго, а тѣмъ паче славянскаго національнаго духа. Мистицизмъ, увѣренный, что имъ уловлены пути, которыми Провидѣніе направляетъ человѣчество къ извѣстной цѣли, и пошлая трезвость, незнающая нравственной оцѣнки историческихъ явленій, обѣ эти крайности, такъ часто совпадающія, уничтожены гр. Толстымъ однимъ ударомъ. Не отрицая законовъ исторіи, онъ провозглашаетъ право нравственнаго суда надъ исторіей, право личности судить объ историческихъ явленіяхъ не только, какъ о звеньяхъ цѣпи причинъ и слѣдствій, но и какъ о фактахъ,

соотвѣтствующихъ или не соотвѣтствующихъ ей, личности, идеаламъ. Право нравственнаго суда есть вмѣстѣ съ тѣмъ и право вмѣшательства въ ходъ событій, которому соотвѣтствуетъ обязанность отвѣчать за свою дѣятельность. Живая личность со всеми своими помыслами и чувствами становится дѣятелемъ исторіи на свой собственный страхъ. Она, а не какая-нибудь мистическая сила, ставитъ цѣли въ исторіи и движетъ къ нимъ событія сквозь строй препятствій, поставляемыхъ ей стихійными силами природы и историческихъ условий. Гр. Толстой во всѣхъ своихъ доводахъ опирается единственно на разумъ и логическія доказательства,—что было бы для славянофила почти невозможнымъ подвигомъ при разсужденіяхъ о русскомъ народѣ и европейской цивилизаціи. Правда, какъ и славянофилы, гр. Толстой много говоритъ о народѣ и скептически относится къ благамъ европейской цивилизаціи. Но развѣ сочувствіе народу и критика европейской цивилизаціи составляютъ монополію славянофиловъ? Во всякомъ случаѣ гр. Толстой иначе относится къ обоимъ этимъ пунктамъ славянофильской программы. Хотя славянофилы и много толковали о «народѣ», но почти всегда разумѣли подъ этимъ словомъ стихійную совокупность людей, говорящихъ русскимъ языкомъ и населяющихъ Россію. Гр. Толстой не признаетъ этого единства русскихъ людей или по крайней мѣрѣ усматриваетъ въ немъ такія два крупныя обособленія, что считаетъ возможнымъ приравнивать ихъ отношенія къ отношеніямъ враждебныхъ національностей. Для него «общество» и народъ стоятъ другъ передъ другомъ въ такихъ же, если можно такъ выразиться, нравственныхъ позахъ, какъ французы и вѣмцы въ тотъ моментъ, когда они взаимно величаютъ другъ друга безмозглыми и пустоголовыми. Интересы «общества» и народа, говоритъ онъ, всегда противоположны. Правда, славянофилы также указывали на разнъ идеаловъ и интересовъ высшихъ и низшихъ слоевъ совокупности русскихъ людей. Они полагали, что разнъ эта порождена Петровскимъ переворотомъ и только имъ. Говорятъ, что и гр. Толстой относится къ Петровскимъ реформамъ отрицательно. Я этого не знаю, потому что печатно гр. Толстой

въ такомъ смыслѣ не высказывался. Во всякомъ случаѣ это весьма возможно. Но я почти увѣренъ, что печатное изложение мнѣній гр. Толстого о Петровской реформѣ вполне обнаружило бы его непричастность славянофильству, хотя бы ужъ потому, что Русь до-Петровскую онъ не можетъ себѣ представлять въ розовомъ свѣтѣ. И въ до-Петровской Руси существовали раздѣльно народъ, «занятые классы», и, какъ выражается гр. Толстой, «общество», правда грубое, грязное, невѣжественное, но все-таки «общество». Что гр. Толстой именно такъ смотритъ на дѣло, это видно и изъ общаго характера вышеприведенныхъ его воззрѣній, и изъ нѣкоторыхъ прямыхъ указаній. Очень любопытно напримѣръ слѣдующее замѣчаніе. Въ статьѣ «Ясно-полянская школа за ноябрь и декабрь мѣсяцы» гр. Толстой разсуждаетъ между прочимъ о преподаваніи исторіи и объ томъ, слѣдуетъ ли ребятамъ только сообщать свѣдѣнія, или же давать пищу ихъ патріотическому чувству. Разсказавъ о впечатлѣніи, произведенномъ на дѣтей повѣстью о Куликовской битвѣ, онъ замѣчаетъ: «Но если удовлетворять національному чувству, что же останется изъ всей исторіи? 612, 812 года — и всего». Это — замѣчаніе глубоко вѣрное само по себѣ и вполне совпадающее съ общимъ тономъ *десницы* гр. Толстого. Дѣйствительно, 612, 812 года и отчасти времена монгольскаго ига суть единственные моменты національной русской исторіи, въ которые не было никакой розни между цѣлями и интересами «общества» и народа. Много другихъ блестящихъ войнъ вела Россія, и для «общества», для «незанятыхъ классовъ» Суворовскій переходъ черезъ Альпы или венгерская кампанія могутъ представлять даже болѣе патріотическій интересъ, чѣмъ 612 и даже чѣмъ 812 годъ. «Общество» знаетъ цѣну тѣмъ отвлеченнымъ началамъ, ради которыхъ Суворовъ переходилъ черезъ С. Готардъ или русскія войска ходили усмирять венгровъ. Народъ — профанъ въ этихъ отвлеченныхъ началахъ: они не будятъ въ немъ никакихъ необыденныхъ чувствъ, потому что не имѣютъ съ нимъ жизненной связи. И я увѣренъ, что разсказъ о почти невѣроятномъ подвигѣ перехода черезъ Чортовъ мостъ или о томъ,

что Гѣргей пожелалъ сдаться русскимъ, а не австрійцамъ,—не могутъ возбудить въ народѣ ни патріотической гордости, ни вообще какого бы то ни было живого интереса, несмотря на то, что въ обоихъ этихъ случаяхъ русское оружіе покрылось неувыдаемою славой. Худо ли это, хорошо ли, это—другой вопросъ, но это—такъ. Гр. Толстой, въ той же статьѣ о преподаваніи исторіи, неподражаемо мастерски передаетъ сцену оживленія, возбужденнаго въ Ясно-полянской школѣ рассказомъ о войнѣ 1812 года, особенно тотъ моментъ, когда, по опредѣленію одного изъ учениковъ, Кутузовъ наконецъ «окарачилъ» Наполеона. Суворовъ, Потемкинъ, Румянцевъ и другіе славные русскіе полководцы «окарачивали» почище Кутузова, но они всегда останутся для народа блѣдными и неинтересными фигурами. Вотъ что, я думаю, хотѣлъ сказать гр. Толстой своимъ замѣчаніемъ объ исключительномъ, съ точки зрѣнія народа, характерѣ 1612 и 1812 годовъ. Глубоко патріотическая подкладка «Войны и мира» въ связи съ другими причинами утвердила во многихъ убѣжденіе, что гр. Толстой есть квасной патріотъ, славянофилъ, что онъ падаетъ ницъ передъ всѣмъ, что отзывается пресловутой и едва ли комунибудь понятной «почвой», что онъ вѣритъ въ какое-то мистическое величіе Россіи и проч. Одни радовались, другіе бранились, а между тѣмъ это убѣжденіе рѣшительно ни на чемъ не основано. Оно не оправдывается даже *шуйцей* гр. Толстого, о которой—въ слѣдующій разъ. Я не отрицаю случайныхъ совпаденій воззрѣній гр. Толстого съ тѣмъ или другимъ пунктомъ славянофильскаго ученія, но это совпаденія именно только случайныя. Гр. Толстой написалъ рѣзко патріотическую хронику отечественной войны, онъ написалъ бы вѣроятно такую же хронику событій смутнаго времени. Не спору, онъ впалъ бы можетъ быть при этомъ въ нѣкоторую односторонность и преувеличеніе въ оцѣнкѣ грѣховъ и заслугъ той или другой исторической личности, того или другого историческаго факта. Но одно вѣрно: роста и развитія московской, до-Петровской Руси онъ никогда не изобразить розовыми, угодными для славянофиловъ красками. Не напишетъ онъ также ничего подобнаго «Богатырямъ» г.

*

Чаева или «Пугачевцамъ» гр. Сальяса. Сравненіе этихъ романовъ съ «Войной и миромъ» очень соблазнительно и, смѣю думать, было бы небезынтересно съ точки зрѣнія профана. Но я долженъ отказаться отъ этой соблазнительной темы. Скажу только слѣдующее. Ни отъ читателей, ни отъ критики не укрылась подражательность произведеній гг. Чаева и Сальяса; слишкомъ очевидно было, что эти писатели рабски копируютъ манеру «Войны и мира». Порѣшено было, что это плохія копіи и только, все было сведено къ степени таланта. Только нашъ уважаемый сотрудникъ, г. Скабичевскій, взглянулъ на дѣло нѣсколько иначе. Но будучи все таки увѣренъ въ славянофильствѣ гр. Толстого, онъ мнѣ кажется далеко не вполне измѣрилъ глубину различія между «Войной и миромъ» съ одной стороны, и «Пугачевцами» и «Богатырями» — съ другой. Гг. Чаевъ и Сальясъ дѣйствительно рабски копировали манеру «Войны и мира» и изъ всѣхъ силъ старались то же слово такъ же молвить. Насколько неудачны оказались ихъ старанія, это дѣло второстепенное, въ виду того, что они не сумѣли схватить главнаго и существеннѣйшаго въ воззрѣніяхъ гр. Толстого. Они, гг. Чаевъ и Сальясъ, могутъ любую страницу русской исторіи не моргнувъ глазомъ обработать на манеръ «Войны и мира», и выйдетъ ни хуже, ни лучше, чѣмъ «Богатыри» и «Пугачевцы», а гр. Толстой призадумается. А если паче чаянія не призадумается и въ суворовскихъ напримѣръ походахъ временъ императора Павла увидитъ общенародное русское дѣло, то напишетъ вещь плохую, сравнительно разумѣется говоря. Вещь эта будетъ потому плоха, что гр. Толстой не вѣритъ въ единство цѣлей и интересовъ всѣхъ людей, говорящихъ русскимъ языкомъ, на протяжении всей русской исторіи. Онъ знаетъ, что единство это есть явленіе крайне рѣдкое въ русской, какъ и въ европейской исторіи, что много нужно условій для совпаденія славы оружія съ интересами и идеалами народа. Онъ лишень первобытной невинности и наивности людей, считающихъ возможнымъ и даже обязательнымъ горѣть патріотическимъ пламенемъ при всякой побѣдѣ русскаго оружія и вообще на всякой громкой страницѣ рус-

ской исторіи. И еслибы онъ вздумалъ заставить своихъ героевъ пламенѣть по такимъ же поводамъ, по какимъ пламенѣютъ почти всѣ «герои», т. е. положительные типы гг. Чаева и Сальяса,—это было бы пламя фальшивое, блѣдное, негодное, недостойное мыслящаго и убѣжденнаго художника.

Повторяю, случайныя совпаденія мнѣній гр. Толстого съ славянофильскими воззрѣніями разныхъ оттѣнковъ возможны и существуютъ, по общій тонъ его убѣждений, по моему мнѣнію, самымъ рѣзкимъ образомъ противорѣчить какъ славянофильскимъ и почвеннымъ принципамъ, такъ и принципамъ «официальной народности». Въ этомъ меня нисколько не разубѣждаютъ и слухи объ отрицательномъ отношеніи гр. Толстого къ Петровской реформѣ. Надо впрочемъ замѣтить, что только первые, старые славянофилы ненавидѣли и презирали Петра. Теперешніе же эпигоны славянофильства относятся къ нему совсѣмъ иначе. Года два тому назадъ я былъ приглашенъ на вечеръ, на которомъ долженъ былъ присутствовать одинъ довольно извѣстный петербургскій славянофилъ. «Живого славянофила увидите» заманивали меня. Я пошелъ смотрѣть на живого славянофила. Онъ оказался человѣкомъ очень говорливымъ, краснорѣчивымъ и между прочимъ съ большимъ пафосомъ доказывалъ, что Петръ былъ «святорусскій богатырь», «чисто русская широкая натура», что въ немъ цѣликомъ отразились начала русскаго народнаго духа. Это напомнило мнѣ, что тоже прикосновенный къ славянофильству г. Страховъ одно время очень старался доказать, что нигилизмъ есть одно изъ самыхъ яркихъ выраженій началъ русскаго народнаго духа... Я думаю, что если гр. Толстой исполнить приписываемое ему намѣреніе написать романъ изъ временъ Петра Великаго, то оставить эти несчастныя начала народнаго духа, которыя каждый притягиваетъ за волосы къ чему хочетъ, совсѣмъ въ сторонѣ. Быть можетъ онъ потщится свалить Петра съ пьедестала, какъ личность; быть можетъ онъ казнитъ въ немъ человѣка, толкнувшаго Россію на путь *европейскихъ формъ* раздвоенности народа и «общества». Славянофильства тутъ все-таки не будетъ. Критика европейской цивилизаціи,

представленная въ статьѣ о прогрессѣ гр. Толстымъ, и критика славянофильская не только не имѣютъ между собою ничего общаго, но мудрено даже найти два изслѣдованія одного и того же предмета, болѣе противоположныя и по исходнымъ точкамъ, и по приѣмамъ, и по результатамъ. Прошу читателя сравнить воззрѣнія гр. Толстого съ слѣдующими напримѣръ строками, заимствованными изъ статьи «Зигзаги и арабески русскаго домосѣда», напечатанной въ № 4 «Дня» за 1865 годъ. Увѣряю васъ, что я не рылся въ книгахъ для того, чтобы выудить этотъ перлъ. Мнѣ хотѣлось найти что-нибудь подходящее для сравненія. Я взялъ первое попавшееся подъ руку славянофильское изданіе и, перевернувъ нѣсколько страницъ, нашелъ слѣдующее:

«Всякимъ довольствомъ обильна, величавымъ покоемъ полна, протекала когда-то старинная дворянская жизнь домосѣдская медъ, пиво варили, соленья солили и гостей угощали на славу— избыткомъ некупленныхъ, Богомъ дарованныхъ благъ. И этой спокойно-беззаботной жизни не смущала заветная мысль, а если бушевала подчасъ кровь застоялая,—пиры и охота, шуты и веселье разгуломъ утоляли взволновавшуюся буйную кровь». Затѣмъ идетъ длинное, длинное, все въ томъ же шутовскомъ стилѣ, описаніе запустѣнія дворянской домосѣдской жизни. Все это просто подходъ, автору просто хочется сказать, что южной Россіи нужны желѣзныя дороги. Поговоривъ и о русскихъ красавицахъ, и объ удалыхъ тройкахъ, и еще не вѣсть объ чемъ, авторъ подступаетъ наконецъ съ Божіей помощью къ Ильѣ Муромцу, ну, а ужъ извѣстное дѣло, что отъ Ильи Муромца можно прямымъ путемъ до чего угодно дойти. Авторъ и доходитъ: «Не старцевъ, каликъ переходящихъ, ждетъ томящійся избыткомъ богатствъ несбытыхъ, земель непочатыхъ, южнорусскій край,— ждетъ онъ желѣзнаго пути отъ срединной Москвы къ Черному морю. Ждетъ его могучаго соловьиного свиста древній престольный городъ Кіевъ; встрепенется, оживетъ въ немъ старый русскій духъ богатырскій; возсіяютъ яркимъ золотомъ—потемнѣвшія златоглавыя церкви и звонче раздастся колокольный тотъ звонъ, что со всѣхъ концовъ земли русской утомленные силы,

нажитое, накопленное горе ко святымъ пещерамъ зоветъ, облегченіе, обновленіе даетъ. Торный, широкій слѣдъ проложила крѣпкая вѣтра нетронутая, да тяжелая, жизнью вскормленная скорбь народная—къ городу Кіеву. Но на перепутыи другомъ создали силы народной жизни новый городъ Украйны, Харьковъ торговый,—бьетъ ключемъ здѣсь торговая русская жизнь, сѣверъ съ югомъ здѣсь мѣну ведетъ и стремятся куда свѣжія, ретивыя русскія рабочія силы къ непочатымъ землямъ Черноморья и Дона, къ просторнымъ новороссійскимъ степямъ, къ Крыму безлюдному, что стономъ стонетъ, рабочихъ рукъ проситъ. И сильный борецъ противъ Кіева древняго—этотъ юный городъ, народной жизнью вновь указанный, созданный. Томятся, ждутъ города и земли—къ кому направится новый желанный путь, кому дастся сила, кому—безплодіе, безсиліе?» Редакція «Дня» съ своей стороны, т. е. г. И. Аксаковъ, не желая уступать въ паясничествѣ своему корреспонденту, дѣлаетъ такое примѣчаніе отъ себя: «Моря и Москвы хочетъ достигнуть Кіевъ,—пуще моря Москва нужна Харькову: Кіеву—первый почетъ, да жаль обидѣть и Харькова. Или Русь-богатырь такъ казной-мошною отошала и ума-разума истеряла, что не подъ силу ей богатырскую, не по ея уму-разуму за единый разъ добыть обоихъ путей, обоихъ морей, желѣзомъ стянуть до Чернаго черезъ Кіевъ-градъ и Азовское на цѣпь къ Москвѣ черезъ Харьковъ взять, чтобы никому въ обиду не стало?»

Я не объ томъ говорю, что гр. Толстой унижится до такого паясничества только въ томъ случаѣ, если у него Богъ разумъ отниметъ. Это само собой разумѣется. Я обращаю вниманіе читателей на внутреннюю поддѣлку фактовъ и понятій, выглядывающую изъ-подъ этой негѣпой, рѣжущей ухо поддѣлки рѣчи. Нужды «дворянъ-домосѣдовъ» обставляются звономъ кіевскихъ колоколовъ, Ильей Муромцемъ, каликами переходжими, и выходитъ такъ, какъ будто бы ужъ не о дворянахъ-домосѣдахъ рѣчь идетъ, а о величіи всей Россіи. Въмѣсто дворянъ-домосѣдовъ подсовывается «Русь-богатырь». Съ паясничествомъ или безъ паясничества, но славянофилы всегда очень удобно справлялись съ

матеріальними благами проклятої ими європейської цивілізації. Вони тільки «духа» європейського не любили, вони предпочитали начала руського или славянського духа. Много они объ этомъ духѣ толковали, и потому выходило такъ, что они—необыкновенно возвышенные идеалисты, до которыхъ гр. Толстому какъ до звѣзды небесной далеко. Въ самомъ дѣлѣ онъ критикуетъ европейскую цивилизацію совсѣмъ не съ точки зрѣнія какого бы то ни было «духа», а съ точки зрѣнія такой прозаической и матеріальной вещи, какъ «общее благосостояніе». Съ этой точки зрѣнія онъ признаетъ телеграфы, желѣзныя дороги, книгопечатаніе, заработную плату и другія «явленія прогресса», которыхъ онъ не перечисляетъ, явленіями, выгодными для извѣстной, малой части русской націи и невыгодными для другой, большей. Уличайте его въ преувеличеніи, въ парадоксахъ, доказывайте, что его точка зрѣнія не вѣрна, но не валите же на него того, въ чемъ онъ ни на волосъ не грѣшенъ. Не называйте его славянофиломъ, когда мудрено найти точку зрѣнія, болѣе противоположную славянофильской, чѣмъ та, на которой онъ стоитъ. Я далеко отъ мысли признавать славянофиловъ людьми, сознательно подтасовывавшими факты и понятія — напротивъ наиболѣе видные славянофилы были люди вполнѣ искренніе. Но тѣмъ не менѣе, оставляя въ сторонѣ ихъ богословскія воззрѣнія и панславизмъ (объ чемъ гр. Толстой не написалъ во всю свою жизнь ни одной строчки), не трудно видѣть, что они провозили не мало контрабанды подъ флагомъ начала руського народнаго духа. Въ экономическомъ отношеніи сдѣлать изъ Россіи Европу легче всего при помощи славянофильской программы, за вычетомъ изъ нея одного только пункта—поземельной общины. Какъ это на первый взглядъ ни странно, но оно такъ. Славянофилы никогда не протестовали противъ утвержденія въ Россіи европейскихъ формъ кредита, промышленности, экономическихъ предпріятій. Они требовали только, чтобы производительныя силы Россіи и ея потребители находились въ руськихъ рукахъ. Такъ напримѣръ они требовали покровительства руськой промышленности, попросту говоря, высо-

кихъ тарифовъ. Обставляя это требованіе орнаментами въ вышеприведенномъ стилѣ, т. е. разсужденіями о величіи Россіи и восклицаніями о каликахъ переходящихъ и кіевскихъ колоколахъ, славянофилы не смущались тѣмъ, что покровительственная торговая политика выгодна не Россіи, а русскимъ заводчикамъ. Подъ покровомъ кіевскихъ колоколовъ и каликъ переходящихъ они, сами того не замѣчая, стремились ускорить появленіе въ Россіи господствующихъ въ Европѣ отношеній между трудомъ и капиталомъ, т. е. того, что сами они готовы были отрицать на словахъ и что составляетъ самое большое мѣсто европейской цивилизаціи. Гарантируйте русскимъ фабрикантамъ десятокъ-другой лѣтъ отсутствія европейской конкуренціи, и вы не отличите Россіи отъ Европы въ экономическомъ отношеніи. Недаромъ весьма просвѣщенные русскіе заводчики проникаются необычайною любовью къ Россіи всякій разъ, когда заходитъ рѣчь о тарифѣ. Недаромъ одинъ изъ ораторовъ засѣдающаго въ эту минуту въ Петербургѣ «сѣзда главныхъ по машиностроительной промышленности дѣятелей», кажется извѣстный своимъ краснорѣчіемъ г. Полетика, воскликнулъ: тогда (т. е. послѣ десятка-другого лѣтъ отсутствія европейской конкуренціи) мы встрѣтимъ враговъ Россіи русскою грудью и русскимъ желѣзомъ! Вотъ образчикъ чисто славянофильскаго пафоса. Русская грудь, русское желѣзо и враги Россіи играютъ тутъ такую же роль, какъ кіевскіе колокола и Илья Муромецъ въ паясничествѣ «Дня» и его корреспондента изъ дворянъ-домосѣдовъ: совсѣмъ объ нихъ рѣчи нѣтъ совсѣмъ, они ненужны, совсѣмъ они даже бессмысленны, потому что врага нужно встрѣчать просто хорошимъ желѣзомъ, а будетъ ли оно русское или англійское — это не суть важно. Русская грудь, русское желѣзо и враги Россіи притянуты сюда въ качествѣ флага, прикрывающаго контрабанду, скрадывающаго разницу между Россіей и русскими заводчиками. Этимъ-то скрадываніемъ и занимались всегда славянофилы. Они знали себѣ одно: или Русь-богатырь такъ казной-мошной отошла и ума-разума истеряла, что не подъ силу ей богатырскую, не по ея уму-разуму имѣть своихъ собственныхъ русскихъ за-

водчиковъ, свои собственные акціонерныя общества, своихъ собственныхъ русскихъ концессионеровъ желѣзныхъ дорогъ, и проч. Все выработанныя и освященныя европейской цивилизаціей формы экономической жизни принимались славянофилами съ распростертыми объятіями, со звономъ кievскихъ и другихъ колоколовъ, если они обставлялись русскими и обрусѣлыми именами собственными. А тѣмъ самымъ вызывалось измѣненіе началъ русской экономической жизни въ чисто европейскомъ смыслѣ. Но измѣненіе не могло ограничиться экономической стороной общественной жизни. Допустимъ, что русскіе фабриканты обезпечены отъ европейской конкуренціи, что вслѣдствіе этого Русь-богатырь имѣетъ своихъ собственныхъ святорусскихъ пролетаріевъ и свою собственную святорусскую буржуазію; что значительная часть деревенскаго населенія, стянувшись къ городамъ, передала свои земли собственнымъ святорусскимъ лэндлордамъ и фермерамъ; что появилась болѣе или менѣе высокая заработная плата, появленіе которой гр. Толстой считаетъ для Россіи признакомъ упадка народнаго богатства и проч. Такимъ образомъ русская промышленность и русское сельское хозяйство процвѣтаютъ. Какъ отзовется это измѣненіе на другихъ сторонахъ русской жизни? Во все не надо быть пророкомъ, чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, потому что означенное измѣненіе уже отчасти совершается. Мы видимъ напримѣръ, что народъ забываетъ тѣ свои, чисто народные пѣсни, которыя такъ восхищали славянофиловъ, какъ выраженіе началъ русскаго духа, и запѣваетъ:

Мы на фабрикѣ живали,
Мелки деньги получали,—
Мелки деньги пятаки
Посносили въ кабаки.

Или:

Я куплю своему милому
Тотъ ли бархатный жилетъ.

Этой перемѣнѣ должно конечно соотвѣтствовать и измѣненіе нравственнаго характера русскаго рабочаго люда. Политическія условія страны опять-таки необходимо должны измѣниться, эко-

номическая сила буржуазіи и лэндлордовъ необходимо повлечетъ ее по пути развитія одного изъ европейскихъ политическихъ типовъ. Въ концѣ концовъ знаменитыхъ началъ русскаго духа не останется даже на сѣмена, хотя процессъ начался звономъ кievскихъ колоколовъ и вызывомъ тѣни Ильи Муромца.

Можетъ показаться, что первые славянофилы гораздо глубже и, главное, проникательнѣе ненавидѣли европейскую цивилизацію. Я объ этомъ спорить не буду. Замѣчу только, что Кирѣевскіе, Хомяковъ были поглощены преимущественно богословскими и философско-историческими, вообще отвлеченными, теоретическими интересами, что зависѣло отъ условій времени. Какъ только жизнь выдвинула на очередь вопросы практическіе, такъ немедленно обнаружилъ съ внутреннее противорѣчіе славянофильской доктрины, ея бессознательное тяготѣніе къ провозу европейской контрабанды подъ флагомъ началъ русскаго народнаго духа. Вообще я вовсе не претендую на хотя бы даже приблизительно полный очеркъ славянофильства и связанныхъ съ нимъ ученій. Славянофильство имѣло много почтенныхъ сторонъ и оказалось не мало цѣнныхъ услугъ русскому обществу, чего впрочемъ отнюдь нельзя сказать о его преемникахъ, о тѣхъ межеумкахъ, которые получили названіе «почвенниковъ», — умалчиваю о головоногихъ «Гражданина». Я имѣю въ виду только одинъ, но весьма существенный признакъ славянофильства: въ трогательной идилліи или съ бурнымъ паэосомъ, серьезно или при помощи буфонады, но славянофилы упорно отождествляли интересы и цѣли «незанятыхъ классовъ» (древней или новой Россіи) съ интересами классовъ занятыхъ, вдвигая ихъ въ національное единство. Это справедливо и относительно первыхъ славянофиловъ. Не стану этого доказывать, а просто сошлюсь на г. Страхова. Этотъ, часто очень тонкій и меткій писатель, назвагъ Ренана французскимъ славянофиломъ. А Ренанъ смотритъ на вещи такъ: «Мы уничтожили бы человѣчество, еслибы не допустили, что цѣлыя массы должны жить славою и наслажденіемъ другихъ. Демократъ называетъ глупцомъ крестьянина стараго порядка, работавшаго на своихъ господъ, любившаго

ихъ и наслаждавшагося высокимъ существованіемъ, которое другіе ведутъ по милости его пота. Конечно тутъ есть безсмыслица при той узкой, запертой жизни, гдѣ все дѣлается съ закрытыми дверями, какъ въ наше время. Въ настоящемъ состояніи общества преимущества, которыя одинъ человѣкъ имѣетъ надъ другими, стали вещами исключительными и личными: наслаждаться удовольствіемъ или благородствомъ другого кажется дикостью: но не всегда такъ было. Когда Губбіо или Ассизъ глядѣлъ на проходящую мимо свадебную кавалькаду своего молодого господина, никто не завидовалъ. Тогда всѣ участвовали въ жизни всѣхъ; бѣдный наслаждался богатствомъ богатаго, монахъ радостями мірянина, мірянинъ молитвами монаха, для всѣхъ существовало искусство, поэзія, религія». Г. Страховъ правъ: это—истинно славянофильскія воззрѣнія.

Но это не суть воззрѣнія гр. Толстого. Любопытно, что г. Страховъ (статья его о Ренанѣ напечатана въ сборникѣ «Гражданина»), котораго нельзя себѣ представить рядомъ съ гр. Толстымъ иначе, какъ въ колѣнопреклоненной позѣ и который впрочемъ столь же охотно преклоняетъ колѣни передъ г. Н. Данилевскимъ и—я не знаю—можетъ быть даже передъ кн. Мещерскимъ; любопытно, что г. Страховъ вполне согласенъ съ Ренаномъ. Онъ тоже вѣритъ, что толки объ «общемъ благосостояніи» порождены постыдною завистью, смѣнившіе восторгъ крестьянина стараго порядка («младшаго брата») передъ «свадебной кавалькадой молодого господина». Но, говоритъ г. Страховъ, Россія гарантирована отъ толковъ объ «общемъ благосостояніи» и отъ духа зависти, гарантирована глубокими началами русскаго народнаго духа, которому противенъ «житейскій матеріализмъ». Увы! на эти гарантіи положилъ руку не кто иной, какъ—*horribile dictu!*—гр. Левъ Толстой. Онъ, такъ много превознесенный, мѣряетъ западную цивилизацію не началами русскаго духа и не какими нибудь возвышенными мѣрками смиренномудрія и терпѣнія, а «общимъ благосостояніемъ»! Онъ только потому отрицаетъ эту цивилизацію, что она не ведетъ къ общему благосостоянію, и справься она съ этимъ пунктомъ, —

гр. Толстой не будетъ ничего имѣть противъ нея. Онъ, гр. Толстой, не смущаясь соображеніями г. Страхова о зависти, утверждаетъ, что «молодшему брату» дѣйствительно нѣтъ никакой причины радоваться на «кавалькаду молодого господина». Этого мало. На гниломъ западѣ мало ли что дѣлается. Но и русскій молодшій братъ, по мнѣнію гр. Толстого, нисколько не заинтересованъ въ томъ, что «русская помѣщица, проживающая во Флоренціи, слава Богу укрѣпилась нервами и обнимаетъ своего обожаемаго супруга»; нечего ему радоваться и тому, что русскій купецъ или фабрикантъ исправно получаетъ телеграммы о дороговизнѣ или дешевизнѣ сахара или хлопчатой бумаги. Молодшій братъ «только слышитъ гудѣніе проволокъ и только стѣсненъ закономъ о поврежденіи телеграфовъ». «Мысли, съ быстротою молніи облетающія вселенную, не увеличиваютъ производительности его пашни, не ослабляютъ надзора въ помѣщичьихъ и казенныхъ лѣсахъ, не прибавляютъ силы въ работахъ ему и его семейству, не даютъ ему лишняго работника. Всѣ эти великія мысли только могутъ нарушить его благосостояніе, а не упрочить или улучшить и могутъ только въ отрицательномъ смыслѣ быть занимательными для него». Въмѣсто того, чтобы приглашать молодшаго брата радоваться процвѣтанію отечественной литературы, гр. Толстой увѣряетъ, что «сочиненія Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина, не смотря на давность существованія, неизвѣстны, не нужны для народа и не приносятъ ему никакой выгоды»; и «чтобы человѣку изъ русскаго народа полюбить чтеніе «Бориса Годунова» Пушкина или исторію Соловьева, надо этому человѣку перестать быть тѣмъ, чѣмъ онъ есть, т. е. человѣкомъ независимымъ, удовлетворяющимъ всѣмъ своимъ человѣческимъ потребностямъ».

Довольно. Прегрѣшеніе гр. Толстого очевидно. Я лично впрочемъ вижу во всемъ этомъ не прегрѣшеніе, а десницу гр. Толстого, свѣжую и здоровую часть его воззрѣній. Я отнюдь не думаю утверждать, чтобы всѣ положительные и отрицательные результаты, къ которымъ пришелъ гр. Толстой, были вполне вѣрны. Главный и общій ихъ недостатокъ состоитъ въ излишней

простотѣ. Въ самомъ дѣлѣ они до такой степени просты, что не могутъ полноѣ соответствовать дѣйствительности, всегда сложной и запутанной. Но дѣло не въ этомъ. Разъ установлена извѣстная точка зрѣнія на вещи, все остальное дѣло поправимое. Только за точку зрѣнія гр. Толстого я и стою. И я искренно говорю, что не понимаю ни того, почему гр. Толстой прослылъ мистикомъ, оптимистомъ, фаталистомъ, славянофиломъ, кваснымъ патріотомъ и проч., ни того, почему его воззрѣнія прошли безслѣдно въ шестидесятыхъ годахъ, когда мы были болѣе или менѣе воспримчивы къ свѣжей, оригинальной, хотя бы и парадоксальной мысли, ни наконецъ того, почему его воззрѣнія возбудили такой шумъ теперь, когда...

VIII.

Нѣсколько мелочей.

Надо однако привести два-три примѣра воззрѣній, господствующихъ теперь. Я возьму на первый случай фактъ мелкій, ничтожный, но отчасти именно въ своемъ ничтожествѣ характерный. Вотъ что я прочелъ недавно въ одной петербургской либеральной газетѣ:

«Въ настоящее время по словамъ «Саратовскаго Справочнаго Листа», въ Петровскомъ уѣздѣ, въ селѣ Русская Корка, крестьяне занимаются выдѣлкою карандашей. Карандаши эти удивляютъ своею дешевизною: 12 дюжины стоятъ 50 коп. Отдѣлка довольно чистая. Иадѣліемъ этимъ занимаются 12 семействъ, причемъ работу исполняютъ всѣ члены семьи безъ исключенія. Года два или болѣе назадъ тому было извѣстно, что въ Петровскомъ уѣздѣ найдены значительныя мѣсторожденія графита, который по достоинству своему мало уступаетъ уральскому. На обстоятельство это со стороны людей, болѣе или менѣе знающихъ цѣну этому матеріалу, не было обращено никакого вниманія: только въ послѣднее время крестьяне стали употреблять въ дѣло графитъ, приготовляя изъ него карандаши. Въ средѣ специалистовъ дѣло это могло бы возбудить живѣйшій интересъ, и люди, обладающіе гораздо болѣе нежели крестьяне научными свѣдѣніями, безъ особенной затраты капитала могли бы поднять фабрикацію карандашей до болѣе значительной степени и вытѣснить каран-

даши, приготовляемые въ прочихъ мѣстностяхъ. Кромѣ того графитъ можетъ быть употребляемъ и на другіе предметы».

Такія извѣстія и соображенія разсыпаны въ нашихъ газетахъ въ громадномъ количествѣ. Не знаю, обращаютъ ли они на себя вниманіе тѣхъ дѣльцовъ, для которыхъ они пишутся, которымъ рекомендуется поднять въ той или другой мѣстности ту или другую отрасль промышленности, но знаю, что они, капля по каплѣ, вливаютъ ядъ въ общественное сознаніе. Разберите только взятый мною на выдержку мелкій фактъ. «Люди болѣе или менѣе знающіе цѣну» графиту, не обратили на его мѣсторожденіе въ Петровскомъ уѣздѣ никакого вниманія. Темные крестьяне устроились безъ нихъ и выдѣлываютъ карандаши хорошо и баснословно дешево. Вдругъ въ литературѣ раздается совѣтъ людямъ, обладающимъ знаніемъ и капиталами: подите, вырвите производство изъ рукъ крестьянъ и вытѣсните карандаши, приготовляемые въ прочихъ мѣстностяхъ. Мы до такой степени свыклись съ такого рода совѣтами, что даже не пытаемся спросить: зачѣмъ? А между тѣмъ вопросъ этотъ былъ бы вполне уместенъ, какъ и нѣкоторые другіе вопросы. Напримѣръ почему эти литературные совѣтники вдругъ такъ прониклись любовью къ саратовскому графиту? Завтра найдется 12 крестьянскихъ семействъ, нашедшихъ графитъ въ Ярославской губерніи и выдѣлывающихъ изъ него дешевые и хорошіе карандаши; литературные совѣтники скажутъ: вырвите этотъ кусокъ изъ крестьянской глотки и вытѣсните саратовскіе и прочіе карандаши. Но послѣ завтра откроется графитъ въ Екатеринославской губерніи, и надо будетъ опять вырывать и опять вытѣснять саратовскіе, ярославскіе и прочіе карандаши. Тамъ дойдетъ очередь до вытѣсненія екатеринославскаго графита и т. д. Гдѣ конецъ этой лавинѣ конкуренціи, въ чемъ ея цѣль? Я понимаю, что я не по ученому разсуждаю, — сказано профанъ. Но я знаю однако, что ученые люди мнѣ удовлетворительнаго отвѣта не дадутъ. Они будутъ мнѣ говорить объ увеличеніи производства и удешевленіи продукта, каковыя разговоры мнѣ, хотя и профану, довольно хорошо извѣстны. Я просто беру мои

мелкій, ничтожный фактъ и, не мудрствуя лукаво, рассматриваю его съ разныхъ сторонъ, между прочимъ и съ психологической. Мнѣ любопытно знать какой интересъ движеть литературныхъ совѣтниковъ, когда они требуютъ, чтобы производство карандашей было вырвано изъ рукъ крестьянъ и чтобы саратовскіе карандаши вытѣснили всѣ другіе. Въ прямомъ, чисто личномъ смыслѣ, литературные совѣтники въ нашемъ примѣрѣ совершенно безкорыстны. Саратовскіе карандаши и теперь стоятъ на мѣстѣ около $\frac{3}{10}$ копѣйки штука, — кажется не дорого. Литературныхъ совѣтниковъ карандаши, какіе бы они ни были, тоже не разоряютъ. Изъ за-чего же они хлопочутъ? Почему имъ далѣе нужно, чтобы восторжествовали именно саратовскіе карандаши? Опять-таки никакихъ осязательныхъ резонновъ тутъ нѣтъ. Особенныхъ, личныхъ симпатій къ тѣмъ дѣльцамъ, которые заберутъ въ свои руки производство, литературные совѣтники тоже имѣть не могутъ, потому что дѣльцы эти даже неизвѣстны, они еще только призываются. Словомъ, какъ ни вертите, а не отыщете смысла въ усердіи совѣтниковъ. Остается одно: бессознательное, инстинктивное стремленіе вырвать изъ мужицкой глотки кусокъ и отдать его людямъ, обладающимъ знаніемъ и капиталами, превратить самостоятельныхъ хозяевъ въ людей, живущихъ заработной платой. Ничтожный мой примѣръ тѣмъ именно и хорошъ, что онъ ничтоженъ. Карандаши и безъ того такъ дешевы и производство ихъ такъ не хитро, что пристегнуть къ нимъ шаблонныя разсужденія о національномъ богатствѣ было бы просто совѣстно. Вслѣдствіе этого инстинктивное стремленіе прижать мужика выступаетъ въ оголенномъ видѣ. Еслибы не это стремленіе, литературные совѣтники, даже отпаваясь отъ расширенія производства и удешевленія продукта, могли бы преподать совсѣмъ иные совѣты: они могли бы предложить напримѣръ петровскому или саратовскому земству оказать какое-нибудь нравственное и матеріальное пособіе несвѣдущимъ и бѣднымъ крестьянамъ, занимающимся выдѣлкой карандашей. Но они оголили свои инстинкты.

Инстинкты эти могутъ однако быть болѣе или менѣе прилично

одѣты разсужденіями о національномъ богатствѣ, если взять не такую мелочь, какъ саратовскіе карандаши, а всю русскую кустарную промышленность, всю совокупность тѣхъ мелкихъ производствъ, въ которыхъ крестьяне являются и предпринимателями, и капиталистами, и рабочими вмѣстѣ. Такъ именно поступилъ г. Пудовиковъ въ рефератѣ, читанномъ имъ въ III отдѣленіи вольно-экономическаго общества и напечатанномъ въ сентябрьской книжкѣ «Трудовъ» общества за прошлый годъ. Г. Пудовикова возмущаетъ самая форма кустарнаго производства. Какъ ученый человѣкъ, онъ находитъ ее крайне неправильной. Кустарь, говоритъ онъ, есть «такой промышленникъ, который въ одно и то же время хочетъ соединить въ себѣ и предпринимателя, и рабочаго, и торговца, посредника съ рынкомъ и наконецъ земледѣльца. Всѣ эти различныя отрасли труда, по самому понятію о кустарѣ, должны соединяться въ немъ. Въ немъ является скученіе разнороднаго труда, тогда какъ производительность труда является слѣдствіемъ разложенія производства на элементарныя дѣйствія. Кустарный трудъ такимъ образомъ по природѣ своей противоположенъ началу раздѣленія труда, которое одно и даетъ труду способность постепенно увеличивать его производительную силу». Сообразно этому г. Пудовиковъ желаетъ «внести въ трудъ кустарей правильное распредѣленіе, словомъ—сдѣлать изъ нихъ фабричныхъ рабочихъ». Тѣмъ самымъ г. Пудовиковъ полагаетъ помочь и отечественной промышленности, отъ которой кустари отвлекаются земледѣліемъ, и отечественному сельскому хозяйству, отъ котораго они отвлекаются ремеслами, и наконецъ самимъ кустарямъ «какъ рабочимъ». Я не знаю въ точности, что значитъ это послѣднее выраженіе, но—чтобы не далеко ходить—я прочиталъ въ августовской книжкѣ тѣхъ же «Трудовъ Вольно-экономическаго общества» за тотъ же годъ любопытную статейку священника Веселовскаго «О фабрикаціи полотенъ въ Вязникахъ». Въ статейкѣ этой даже довольно идилическими красками описывается состояніе вязниковскихъ прядильщиковъ и ткачей до пятидесятыхъ годовъ, когда появились громадныя полотняныя фабрики. Теперь же по свидѣтель-

ству г. Веселовскаго между рабочими свирѣпствуютъ развратъ и нищета. Онъ называетъ фабрики въ нравственномъ отношеніи «институтами пошлостей и безобразій». Въ отношеніи матеріальномъ состояніе рабочихъ очень скверно. Нѣкоторые фабриканты держатъ лавки, въ которыхъ всѣ рабочіе, даже не живущіе въ зданіи фабрики, обязаны покупать все имъ нужное. Въ лавкѣ есть все, «начиная съ простого горшка и кончая кускомъ довольно приличной шелковой матеріи». Продаются эти продукты выше рыночной цѣны, напримѣръ: пшено на базарѣ стоитъ 1 р. 35 к.—1 р. 50 к., а въ фабричной лавочкѣ 2 р. 25 к.—2 р. 50 к. За покупку въ другомъ мѣстѣ рабочій штрафуется или выгоняется совсѣмъ. Иногда лавка сдается хозяиномъ въ аренду, и тогда арендаторъ получаетъ деньги за забранный рабочими товаръ отъ самого хозяина. Вотъ нѣсколько сценъ съ натуры.

Раздача денегъ. Хозяинъ, «какъ водится, сначала надъ кѣмъ-нибудь наругавшись до-сыта, наконецъ усаживается въ кресло,—не подалеку отъ него арендаторъ лавочки.

— Степанъ Вавиловъ... тебѣ причитается за недѣлю полтора рубля... да штрафу съ тея записано три гривенника... Сколько онъ вамъ, Климя Данилычъ, въ лавочку состоитъ?

— Рупь сорокъ пять-съ копѣекъ-съ, скороговоркой отвѣчаетъ Климя Данилычъ.

— Экъ, работалъ, работалъ, а еще на свою шею наработалъ,—ну, считайте за нимъ четвертакъ до той недѣли. И Климя Данилычъ, за вычетомъ 30 коп. штрафа съ Степана Вавилова, получаетъ съ него 1 р. 20 к., «снося на книжку» до слѣдующей недѣли 25 к., а самъ Степанъ Вавиловъ пошелъ домой безъ гроша.

— Антонъ Филимоновъ?

— Здѣсь-съ! Демьянъ Захарычъ,—да што меня выкликать,—все равно ни шиша не получишь... Два съ полтиной мнѣ за недѣлю... да штрафъ что ли тамъ какой записали. Вотъ ужъ примѣрно, Демьянъ Захарычъ, очень то-ись для насъ обидно... ну што штрафъ,—вѣдь я только полчася и опоздалъ, а четвертакъ за недѣлю съ костей...

— Да ты што больно ершишься. Не любо, коли штрафуютъ, — ступай... найдемъ на твое мѣсто...

— Миѣ по лавочкѣ онъ состоитъ четыре тридцать...

— Эко! Два съ полтинной въ недѣлю, а въ лавкѣ позабралъ на четыре слишкомъ! Мотушки! Ступай! Получите, Климъ Давылычъ, а тѣ два съ пятакомъ до слѣдующаго разсчета».

Г. Веселовскій приводитъ дагѣ примѣръ, какъ на одной фабрикѣ, при расплатѣ съ рабочими, «нѣсколько десятковъ разъ въ продолженіе сутокъ повторялись сцены въ родѣ слѣдующей:

— Подмастерье Данило Прохоровъ Занозинъ, — здѣсь?

— Здѣсь-съ, ваше высокостепенство.

— Тебѣ, братъ, вынче больно много причитается къ выдачѣ, — смотри-ко-съ, — вѣдь 39 руб. шутка сказать!.. Вѣдь это, братцы, вы меня въ разоръ разорите; ну ко-ся 39 руб.!

— Да! слава те Господи! Копилъ все, ваше высокостепенство, — къ празднику нужны... оброкъ... подати...

— Нѣтъ, братъ, этакъ нельзя... вотъ тебѣ тридцать, а девять съ костей долой; чай не помнишь, за тобой грѣшки были?

— Никакихъ грѣховъ супротивъ вашего высокостепенства не сознаю-съ, а что касательно скотки.... прошу помиловать... За что?

— А! еще сталъ разговаривать... получи 29 рублей, а рубль еще съ тебя штрафу... не гордыбачь!»

Это не беллетристика, а фотографія. Да не смущаются читатели тѣмъ, что всѣ эти «высокостепенства», судя по говору, мелкія, дескать, пѣявицы изъ своего же брата-мужичка. Оно точно, что изъ своего брата, но вовсе не мелкія пѣявицы: вязниковскіе полотняные фабриканты имѣютъ миллионные годовые обороты и держатъ по 2, по 3,000 рабочихъ. Такъ что вязниковскіе порядки представляютъ именно то «правильное распредѣленіе труда», котораго желаетъ г. Пудовиковъ. Вязники конечно не составляютъ исключенія, хотя не вездѣ кровопійство находится въ столь грубо патріархальномъ состояніи. Петербургскіе фабриканты на примѣръ должно быть безъ сравненія гуманнѣй. Въ комиссію по техническому образованію они доставили

свѣдѣнія о блистательномъ положеніи рабочихъ на ихъ фабрикахъ, до такой степени блистательномъ, что разсматривавшій эти свѣдѣнія профессоръ Ясонъ нашелъ даже ихъ «въ большинствѣ незаслуживающимъ довѣрія: такъ въ нихъ все гладко, стройно, положеніе рабочихъ такъ хорошо, что подозрѣніе рождается и при поверхностномъ знакомствѣ съ ними, при сопоставленіи же цифръ въ этихъ свѣдѣніяхъ ясно видно, что нѣкоторыми фабриками и заводами числовыя данныя для этихъ свѣдѣній просто сочинялись и притомъ весьма неловко, безъ всякаго соображенія о томъ, не противорѣчатъ ли данныя одни другимъ». Въ «Трудахъ комиссіи по техническому образованію» прилагательное «петербургскій» получило даже весьма своеобразное нарицательное значеніе. Тамъ говорится о свѣдѣніяхъ, доставленныхъ провинціальными фабрикантами между прочимъ слѣдующее: «Изъ нихъ есть такія, но къ счастью немногія, которыя имѣютъ, такъ сказать, характеръ петербургскій, т. е. видно, что они тоже сочинены, но вмѣстѣ съ тѣмъ есть и такія, при чтеніи которыхъ невольно думается, что тутъ говорить сама искренность. За эту искренность ручается то безотрадно тяжелое положеніе рабочихъ, которое рисуется при чтеніи этихъ свѣдѣній».

Все это грустная, но всеѣмъ извѣстная, старая, хоть и не устарѣвшая пѣсня. Я только хотѣлъ напомнить читателю, куда стремятся водворить крестьянъ гг. Пудовиковы съ компанією. И именно потому, что положеніе фабричныхъ рабочихъ, даже избавленныхъ отъ грубой патріархальности «высокостепенствъ», а имѣющихъ патронами людей просвѣщенныхъ, всеѣмъ извѣстно; именно поэтому стремленія гг. Пудовиковыхъ получаютъ особенно пикантный характеръ. Казалось бы тотъ гарниръ, подъ которымъ г. Пудовиковъ подалъ вольно-экономическому обществу свой рефератъ, самъ по себѣ вовсе не необходимо ведетъ къ мысли о разселеніи кустарей по фабрикамъ. *Pièce de résistance* реферата составляютъ упадокъ сельскаго хозяйства и истощеніе почвы. Кустари, гласитъ онъ, втягиваясь въ подспорное ремесло, которое однако ни въ какомъ случаѣ ихъ прокормить не можетъ.

ведутъ свое земледѣльческое хозяйство все небрежнѣе и небрежнѣе. Допустимъ, что это фактически исполнѣе вѣрно. Но это только ставить передъ нами новую задачу: какъ устранить упадокъ сельскаго хозяйства, не нарушая экономической самостоятельности крестьянъ, не раздробляя по возможности дохода съ производства на ренту, прибыль на капиталъ, торговый процентъ и заработную плату, не превращая хозяевъ-рабочихъ въ просто рабочихъ? Эта задача сама собой, исполнѣе естественно представляется уму изслѣдователя, если онъ разумѣется хоть сколько-нибудь дорожить экономической самостоятельностью крестьянъ. Если скажутъ, что это задача трудная, то вѣдь легкихъ задачъ вообще не такъ чтобы ужъ очень много представлялось въ жизни: она во всякомъ случаѣ не труднѣе той, которая неизбѣжно возникаетъ изъ послѣднихъ строкъ реферата г. Пудовикова. Положение фабричныхъ рабочихъ и въ западной Европѣ, и у насъ до такъ и степени неудовлетворительно, что и правительства, и ученые люди, и неученые усиленно занимаются вопросомъ: какъ поправить дѣло, не нарушая «правильнаго», по опредѣленію г. Пудовикова, распредѣленія труда? Смѣю думать, что эта задача столь же неразрѣшима, какъ удовлетвореніе аппетита волковъ съ сохраненіемъ жизни овецъ. Между тѣмъ въ этомъ направленіи г. Пудовиковъ допускаетъ вѣроятно всевозможныя иллюзіи. Во всѣхъ разсужденіяхъ объ упадкѣ русскаго сельскаго хозяйства, очень ученыхъ и глубокомысленныхъ, меня, какъ профана, поражаетъ необыкновенное разнообразіе и разносторонность доводовъ и исходныхъ точекъ и вмѣстѣ съ тѣмъ удивительное единство стремленій всѣхъ разсуждающихъ. Г. Пудовиковъ приписываетъ упадокъ сельскаго хозяйства кустарной промышленности, никакихъ другихъ причинъ онъ не показываетъ и не видитъ. Въ Самарской губерніи голодъ смѣняется необычайнымъ, давно небывалымъ урожаемъ, который однако оказывается въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ пагубнѣе даже голода, ибо хлѣбъ дешевѣетъ, дѣвать его некуда, платить подати и оброки нечѣмъ, — сиди, какъ собака на снѣгѣ. Кажется довольно знаменательное явленіе, показывающее, что надъ русскимъ сельскимъ хозяй-

ствомъ тяготѣеть не только бѣда отъ кустарной промышленности? А г. Пудовиковъ только ужасается тому, что кустарная промышленность забралась даже въ Самарскую губернію! Приходитъ гр. Орловъ-Давыдовъ съ своей знаменитой мыслью о пагубномъ вліяніи на сельское хозяйство сліянія земледѣлія съ землевладѣніемъ. Приходятъ ораторы петербургскаго дворянскаго собранія и говорятъ, что сельское хозяйство падаетъ отъ пьянства, невѣжества, безнравственности мужиковъ, не имѣющихъ надъ собой высшаго нравственно-политическаго контроля. Какіе вѣдь все разнообразныя доводы, но какое вмѣстѣ съ тѣмъ единство цѣлей и стремленій. Что значитъ расселить кустарей по фабрикамъ? — вырвать изъ рукъ крестьянъ мелкую промышленность и установить зависимость ихъ отъ фабрикантовъ. Что значитъ отдѣлить земледѣліе отъ землевладѣнія? — отобрать отъ крестьянъ землю и поставить ихъ въ зависимость отъ крупныхъ землевладѣльцевъ. Что значитъ учредить надъ крестьянами высшій нравственно-политическій контроль? — отобрать у крестьянъ предоставленную имъ долю свободы и поставить ихъ въ зависимость отъ привилегированныхъ сословій. Вотъ центръ, въ которомъ сходятся радіусы разсужденій объ упадкѣ сельскаго хозяйства. Я могъ бы показать, что къ тому же ведутъ разсужденія и о другихъ нашихъ нуждахъ и горяхъ. Всѣ дороги ведутъ въ Римъ, и этотъ Римъ есть политически, экономически и нравственно обобранный мужикъ, только что вылупившійся изъ крѣпостнаго права. Сюда гѣзутъ всѣ, кто съ карандашиками, кто съ чѣмъ-нибудь покрупнѣе, гѣзутъ, — я готовъ допустить, — безсознательно и безкорыстно, подъ покровомъ идеи гармоніи и единства интересовъ всѣхъ людей, живущихъ въ Россіи и говорящихъ русскимъ языкомъ. Вотъ нравственный воздухъ, которымъ дышетъ наше общество, втягивая его въ себя понемножку, незамѣтно, но ежедневно. Многіе полагаютъ, что характеристическая черта современнаго настроенія нашего «общества» есть алчность, духъ наживы, презирающій всякія препоны. Это, я думаю, совершенно вѣрно, но я не могу признать удовлетворительными приемы вліянія на обще-

ство, къ которымъ часто прибѣгаютъ люди, сознающіе эту истину. Передо мной лежитъ книга фельетониста старыхъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», г. Суворина, «Очерки и картинки». Въ ней собрано нѣсколько старыхъ фельетоновъ и прибавлено нѣсколько новыхъ; между старыми цѣлая группа посвящена нашимъ плутократамъ и кандидатамъ въ плутократы. Все это очень хорошо, но немножко мало (по точкѣ зрѣнія), до такой степени мало, что даже не совсѣмъ хорошо. Хорошо то, что пользующійся популярностью писатель держитъ общественное мнѣніе на сторожѣ. Не хорошо то, что этотъ писатель, разоблачая плутократическія шашни, имѣетъ въ виду почти исключительно интересы все-таки только того, что графъ Толстой называетъ «обществомъ». Напримѣръ охраненіе интересовъ акціонеровъ отъ фокусовъ и неурядицы правленія компаніи есть тема сама по себѣ почтенная, но исключительное указаніе на нее только способствуетъ сосредоточенію помысловъ и чувствъ «общества» на его интересахъ и мѣшаетъ увидѣть тотъ Римъ, о которомъ сейчасъ говорено. Разсуждая конечно только съ точки зрѣнія профана, я осмѣливаюсь думать, что иному промышленному или финансовому предпріятію можно отъ души пожелать безсовѣстныхъ и неумѣлыхъ руководителей и исполнителей. Я понимаю, что этотъ тезисъ долженъ многимъ не понравиться и, хоть въ мой планъ не входитъ нравиться кому бы то ни было, умолкаю. Замѣчу однако, что если есть въ моихъ словахъ нѣчто догматическое, т. е. нѣчто не подлежащее доказательствамъ и обязательное только для вѣрующихъ, то есть и нѣчто такое, что можетъ быть доказано и должно быть для всѣхъ обязательно, какъ истина. Въ общество является человѣкъ, намѣтившій извѣстную дорогу въ Римъ, т. е. увидѣвшій возможность обогнать на тотъ или другой манеръ мужика. Положимъ, онъ, подстрекаемый литературными совѣтниками, задумалъ взять въ свои руки производство карандашей въ Петровскомъ уѣздѣ и вытѣснить всѣ карандаши, приготовляемые въ другихъ мѣстностяхъ. Онъ обращается къ публикѣ: господа, такъ и такъ, вотъ мой планъ, но денегъ у меня мало, окажите

нѣ кредитъ, разберите мои акціи, гарантіи—вотъ какія,—выгоды ваши—вотъ какія. Положимъ, что все дѣло ведется честно. не муссируется, что предпріятіе—не фиктивное, что отчетность ведется правильно; положимъ, словомъ, что моралистамъ нѣтъ пищи для разоблаченій. Публика несеть сюда свои сбереженія и капиталы, потому что предпріятіе вѣрное, солидное. При этомъ цѣль предпріятія не играетъ рѣшительно никакой роли, и болѣе вѣрный способъ обирания будетъ естественно пользоваться большимъ довѣріемъ публики, чѣмъ способъ менѣе вѣрный. Я не моралистъ. Я не говорю: не давайте своихъ денегъ на обирание мужика, не будьте пособниками въ этомъ дѣлѣ. Давайте, пособляйте, но знайте по крайней мѣрѣ, на что вы даете деньги и чему пособляете. Знайте, что честность и подлость, умъ и глупость руководителей промышленныхъ и финансовыхъ предпріятій стоятъ къ интересамъ громадной массы населенія Россіи въ гораздо болѣе сложныхъ отношеніяхъ, чѣмъ вы привыкли думать. Знайте, что на личныхъ качествахъ и продѣлкахъ людей, которымъ вы ввѣрили свои капиталы, свѣтъ не клиномъ сошелся, что есть во всякомъ предпріятіи нѣчто глубже ихъ лежащее,—цѣль предпріятія и его значеніе для народа.

Уясненіе этого пункта есть дѣло величайшей важности, но не легко рѣшиться настаивать на немъ. Я рѣшаюсь, потому что уже имѣлъ смѣлость объявить себя профаномъ (на это нужно гораздо больше смѣлости, чѣмъ для присвоенія себѣ великобланныхъ титуловъ, которыми подписываютъ свои статьи нѣкоторые мои собраты по ремеслу: «Одинъ изъ немногихъ», «Все тотъ же», «Не изъ фельетонистовъ»). Но за то я рискую быть встрѣченнымъ презрительнымъ пожатіемъ плечъ. Т. е. это ученые люди будутъ пожимать плечами, а неученые можетъ быть кое съ чѣмъ и согласятся. Ученые люди будутъ ссылаться на европейскую цивилизацію и европейскую науку, изъ которыхъ первая установила «правильное распредѣленіе труда», иначе говоря разрушила экономическую самостоятельность мужика, а послѣдняя дала этому порядку вещей свою санкцію. Я готовъ принять эту ссылку. Дѣйствительно, какъ справедливо говорили ораторы

петербургскаго дворянскаго собранія, цивилизація обобрала европейскаго крестьянина, разрушивъ сначала поземельную общину и затѣмъ загнавъ обезземеленныхъ, по мастерскимъ и фабрикамъ. Дѣйствительно, какъ справедливо полагаетъ г. Пудовковъ, цивилизація уничтожила кустарную промышленность. Правда наконецъ и то, что наука санкціонировала эти измѣненія, выработавъ доктрину «правильнаго распредѣленія труда» и «экономическихъ гармоній», доктрину, которая глубочайшій разладъ интересовъ прикрыла фикціей «національнаго богатства», зависимость рабочаго—фикціей свободы, лишеніе рабочаго собственности поземельной и орудій производства—фикціей «священнаго права собственности». Правда, все это было, но *было* и скоро быльемъ поростетъ. Я не буду ссылаться ни на настроеніе рабочихъ массъ, которыя справедливо заподозриваются въ зависти къ «свадебной кавалькадѣ молодого господина», ни на отъявленныхъ социалистовъ. Возьмите мирныхъ ученыхъ. Въ то время, какъ князь Лобановъ-Ростовскій и другіе гремятъ противъ общины, какъ противъ негоднаго тряпья, давно брошеннаго Европой и безвозвратно осужденнаго европейскою наукой, бельгійскій экономистъ Лавеле тщательно собираетъ свѣдѣнія объ общинномъ землевладѣніи и издаетъ книгу, которая надняхъ вышла въ русскомъ переводѣ подъ заглавіемъ: «Первобытная собственность». Въ книгѣ этой можно найти такія слова: «Германскій и славянскій обычай, обезпечивавшій каждому человѣку пользованіе общимъ поземельнымъ фондомъ, которымъ онъ могъ подерживать свое существованіе,—одинъ только сообразенъ съ рациональнымъ понятіемъ о собственности. Исключительно счастливое положеніе нѣкоторыхъ кантоновъ Швейцаріи я приписываю тому факту, что здѣсь сохранились древнія общинныя учрежденія, въ томъ числѣ первобытная общинная собственность», и т. п. Почтенный англійскій юристъ Мэнъ издаетъ книгу «Деревенскія общины на востокѣ и западѣ», проникнутую глубокою симпатіей къ этому учрежденію. А извѣстнѣйшій англійскій экономистъ Милль пишетъ по поводу книги Мэна статью, въ которой говоритъ между прочимъ: «Остается рѣшить вопросъ, ста-

рыя или новыя идеи болѣе пригодны управлять человѣчествомъ въ будущемъ; и если замѣна идей прошлаго времени новѣйшими произошла вслѣдствіе обстоятельствъ, уже пережитыхъ міромъ, — то очень можетъ быть, что по крайней мѣрѣ въ принципѣ старыя учрежденія будутъ пригоднѣе новѣйшихъ, какъ базисъ лучшаго и болѣе современнаго общественнаго строя... Сущестующее положеніе поземельной собственности вездѣ, гдѣ его не коснулось англійское законодательство, поразительно согласуется съ существовавшимъ въ древности общиннымъ строемъ, *на пути къ которому въ настоящее время стоятъ самыя передовыя общества*».

Можно было бы привести цѣлыя десятки подобныхъ заявленій людей, солидность и благонамѣренность которыхъ не можетъ быть никѣмъ заподозрѣна. Всѣ эти заявленія, которымъ есть и соответствующіе жизненные факты, клонятся къ отрицанію пути экономическаго развитія, признаваемаго (во имя европейской науки) нашими учеными единственно «правильнымъ». Всѣ они клонятся къ восстановленію самостоятельности рабочаго люда, къ слитію въ одномъ лицѣ земледѣльца и землевладѣльца, капиталиста и рабочаго, къ призванію интересовъ «общества» и народа не тождественными. Заявленія эти суть такіе же продукты европейской цивилизаціи, какъ и тѣ, которыми по старой памяти восторгаются гг. Пудовиковы съ компаніей. Спрашивается, неужели мы все-таки должны пройти весь путь европейскаго развитія, чтобы затѣмъ вновь придти къ отрицанію его? Я отвѣчу словами графа Толстого, сказанными имъ въ примѣненіи къ другой сферѣ явленій. Намъ давно уже пора къ нему вернуться. Въ статьѣ «О народномъ образованіи» (старой, напечатанной въ IV т. сочиненій), онъ говоритъ: «Мы, русскіе, живемъ въ исключительно счастливыхъ условіяхъ относительно народнаго образованія; наша школа не должна выходить, какъ въ средневѣковой Европѣ, изъ условій гражданственности, не должна служить извѣстнымъ правительственнымъ или религіознымъ цѣлямъ, не должна вырабатываться во мракѣ отсутствія контроля надъ ней общественнаго мнѣнія и отсутствія высшей

степени жизненнаго образованія, не должна съ новымъ трудомъ и болями проходить и выбиваться изъ того *cerce vicieux*, который столько времени проходили европейскія школы, *cerce vicieux*, состоящий въ томъ, что школа должна была двигать безсознательное образованіе, а безсознательное образованіе двигать школу. Европейскіе народы побѣдили эту трудность, но въ борьбѣ не могли не утратить многого. Будемъ же благодарны за трудъ, которымъ мы призваны пользоваться, и потому самому не будемъ забывать, что мы призваны совершить новый трудъ на этомъ поприщѣ».

Такимъ образомъ графъ Толстой, провозглашающій право и обязанность личности бороться съ историческими условіями во имя ея идеаловъ и отрицающій прошлый ходъ европейской цивилизации, подаетъ руку послѣднимъ и лучшимъ плодамъ этой цивилизации. Эта рука есть десница графа Толстого. Ахъ, если бы у него не было шуйцы!.. Если бы не имѣли повода пристегиваться къ его громкому имени всякіе проходимцы, всякіе пустопорожніе люди и межеумки, по заслугамъ не пользующіеся сочувствіемъ общества... Какой бы вѣсь имѣло тогда каждое его слово и какое благотворное вліяніе имѣла бы эта вѣскость!..

Какъ бы однако ни была шуйца гр. Толстого, но уже изъ предыдущаго видно, до какой степени недобросовѣстно относятся къ нему многіе наши критики, какъ хвалители, такъ и хулители. Замѣчательны въ самомъ дѣлѣ усилія, употребляемыя многими для смѣшенія гр. Толстого со всѣмъ, что только есть темнаго и промзглаго въ нашей литературѣ. По поводу статьи «Отеч. Зап.» и «Анны Карениной», въ мрачныхъ, поросинихъ пѣсенью, пропитанныхъ гниlostью и сыростью подвалахъ «Гражданина» и «Русскаго Мира» раздались радостные вопли. Своды подваловъ тряслись отъ криковъ: нашъ! нашъ! онъ — пѣвецъ священныхъ радостей и забавъ «культурныхъ слоевъ общества» и изболчатель «науки, имъ ослушной, суеты и пустоты!» Обитателямъ подваловъ простительно это ликованіе. Понятно, что имъ лестно пристегнуться къ свѣтлому имени. Понятно также, что имъ не ясенъ истинный характеръ воззрѣвій гр. Толстого

на радости и забавы «культурныхъ слоевъ общества». Много мерзостныхъ подробностей быта этихъ слоевъ изображено въ «Ангѣ Карениной», и обитатели подваловъ, пещерные люди, троглодиты съ гордостью указывали на эти подробности, какъ на нѣчто такое, чего неспособны продѣлать «разночинцы». Еще бы! Но Богъ съ ними, съ пещерными людьми. Имъ многое простится, потому что они почти ничего не понимаютъ. Совсѣмъ иначе приходится взглянуть на статью г. Евгенія Маркова: «Послѣдніе могикане русской педагогій», непечатанную въ № 5 «Вѣстника Европы». Статья, болѣе недобросовѣстной, болѣе, скажу прямо, наглой мы давно не приходилось читать. Г. Марковъ—не то, что Петръ Зудотѣшинъ «Дѣла», величающій себя «Все тѣмъ же». Тотъ простъ и стремителенъ, да и не отрицаетъ нѣкоторыхъ заслугъ гр. Толстого въ дѣлѣ разоблаченія безобразій нашихъ педагоговъ. Г. же Марковъ тщательно облачается въ полную парадную форму либерализма, ежеминутно брякаетъ шпорами либерализма и потряхиваетъ блестящими эполетами либерализма. Статья пропитана лирическимъ и патетическимъ жаромъ, и тѣмъ не менѣе каждая ея строчка, такъ сказать, точеная, дѣланная, высиженная съ весьма непохвальною цѣлю. Звономъ и блескомъ, котораго такъ много, что даже въ⁹ глазахъ рябитъ и тошно становится, прикрывается не непониманіе, а простая передержка. Но такъ какъ статья эта трактуетъ спеціально о педагогій, то о ней—въ слѣдующій разъ. Надо замѣтить, что авторъ есть тотъ самый г. Марковъ, который некогда полемизировалъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» съ гр. Толстымъ, и которому послѣдній отвѣчалъ статьей «Прогрессъ и опредѣленіе образованія». Я узналъ объ этомъ изъ слѣдующаго величественнаго заявленія г. Маркова: «Съ гр. Л. Н. Толстымъ мы встрѣчаемся не въ первый разъ. Въ 1862 г. мы напечатали въ «Рус. Вѣстникѣ» статью подъ заглавіемъ «Теорія и практика Ясно-полянскѣй школы», въ которой сдѣлали по возможности полный анализъ, какъ теоретическихъ заблужденій, такъ и практическихъ достоинствъ Ясно-полянскѣй школы. Педагогическій журналъ гр. Л. Н. Толстого закончился отвѣтною статьей на

нашу статью и не возобновлялся больше. Мы не были настолько нескромны, чтобы приписать нашему посильному анализу рѣшеніе гр. Толстого прекратить защиту исповѣдуемой имъ теоріи обученія, но все-таки надѣялись, что и наши замѣчанія имѣли, вмѣстѣ съ школьнымъ опытомъ гр. Толстого, нѣкоторое вліяніе на измѣненіе его педагогическихъ убѣждѣній. Поэтому теперь, когда оказывается, что гр. Толстой вновь поднимаетъ старое копьѣ и выступаетъ съ проповѣдью тѣхъ самыхъ педагогическихъ началъ, которыя выставялъ онъ въ 1862 году, на насъ даже лежитъ нѣкоторая нравственная обязанность не отказываться отъ состязанія и явиться на защиту тѣхъ обще-европейскихъ основъ народнаго обученія, которыя мы отстаивали противъ гр. Толстого 12 лѣтъ назадъ».

Право, мнѣ жаль г. Маркова. 12 лѣтъ человекъ былъ убѣжденъ, что онъ убѣдилъ и побѣдилъ, спокойно занимая изученіемъ итальянской живописи, недобросовѣстностью адвокатовъ, красотами Крыма и многими другими предметами,—и вдругъ оказывается, что врагъ и не думалъ класть оружіе! Положеніе истинно трагическое. Я не думаю однако, чтобы изъ него надлежало выходить при помощи тѣхъ приемовъ, которые г. Марковъ почему-то называетъ исполненіемъ «нравственной обязанности».

IX *).

Нѣчто о г. Марковѣ.

Сердца русскихъ педагоговъ должны трепетать отъ радости. Статья гр. Толстого налетѣла на нихъ, какъ неожиданная туча, разразившаяся дождемъ и градомъ; цвѣты педагогій были прибиты къ землѣ и еле еле поднимали свои растрепанные вѣнчики къ небу, прося солнца и тишины. Вся литература, точно сго-

* 1875 іюнь.

порившись, дружно поддержала гр. Толстого, а полемическіе опыты гг. Евтушевскаго, Бунакова, Мѣдникова, редакціи «Семьи и Школы» и проч. были такъ слабы, такъ незамѣтны... Но мало-по-малу сквозь тучу стали пробиваться солнечные лучи. Первымъ лучомъ была статья г. Цвѣткова въ «Русскомъ Вѣстникѣ», появившаяся тотчасъ же вслѣдъ за статьей гр. Толстого въ «Очеч. Запискахъ». Г. Цвѣтковъ есть пещерный человѣкъ, троглодитъ, и нападеніе его на новую педагогію въ лицѣ барона Корфа должно было пріятно щекотать самолюбіе педагоговъ, какъ и всякое нападеніе, исходящее изъ среды пещерныхъ людей. Но все-таки это былъ только, такъ сказать, отрицательный солнечный лучъ. Мало-по-малу и въ литературѣ, то тамъ, то сямъ стали проскальзывать болѣе или менѣе пріятныя для педагоговъ вещи (я думаю, тутъ много помогло педагогамъ появленіе въ «Русскомъ Вѣстникѣ» «Анны Карениной»), а наконецъ... наконецъ взошло и солнце, явилась статья г. Маркова «Послѣдніе могикане русской педагогіи» въ майской книжкѣ «Вѣстника Европы». Восемь мѣсяцевъ пребывали педагоги въ томительномъ ожиданіи, восемь мѣсяцевъ г. Евгений Марковъ работалъ, работалъ, работалъ... Результатъ налицо. Статья г. Маркова во многихъ отношеніяхъ далеко превосходитъ полемическіе опыты гг. Мѣдникова, Евтушевскаго, Бунакова и проч. Тѣ только старались быть развязными; но всякому было ясно, что они чего-то конфузятся. Г. Марковъ дѣйствительно развязенъ и къ конфузу не имѣетъ ни склонностей, ни способности. Гордіевъ узелъ полемики гг. Мѣдниковъ, Евтушевскій, Бунаковъ и проч. старались распутать бойко и съ колкостью, но такъ какъ они своимъ саномъ учителей юношества болѣе приучены къ степенности, то колкость и бойкость имъ не удавались; при распутываніи узла у нихъ нервною дрожали руки, нервная дрожь слышалась и въ голосѣ. Г. Марковъ, памятуя примѣръ Александра Македонскаго, не распутываетъ узла, а разрубаетъ его. Гг. Мѣдниковъ, Евтушевскій, Бунаковъ и проч. имѣли видъ скромныхъ «штафироковъ», бьющихъ на то, чтобы дѣйствія ихъ имѣли характеръ солидности, и будучи втянуты въ полемику,

наносили удары столь неграціозно и неуклюже, что напоминали собой разыгравшуюся корову, держащую хвостъ на отлетѣ вверхъ и нѣсколько въ бокъ. Г. Марковъ имѣетъ напротивъ видъ блестящаго военного офицера изъ кавалеристовъ, съ лихо закрученными усами, вполне увѣреннаго въ своей непобѣдимости и всѣ дѣла обдѣлывающаго «по-военному». Педагоги вели войну почти исключительно оборонительную и только изрѣдка дѣлали вылазки наступательнаго характера. Г. Марковъ презираетъ оборонительную войну; онъ наступаетъ, вторгается въ непріятельскую страну, жжетъ, рубитъ, разстрѣливаетъ, вѣшаетъ, налагаетъ контрибуціи. Понятно, что сердца педагоговъ должны трепетать отъ радости при видѣ такого побѣдоноснаго союзника. Онъ обладаетъ именно тѣми качествами, недостатокъ которыхъ обнаружили педагоги; онъ есть именно такой герой, какимъ бы они хотѣли быть, но по привычкѣ къ гражданской дѣятельности быть не могутъ.

По человѣчеству я радъ за господъ педагоговъ, если миръ дѣйствительно осѣнилъ ихъ взбаломученныя души. Но я долженъ все-таки сказать, что будь я педагогъ, я бы не обрадовался такому союзнику, какъ г. Марковъ. Мнѣ казалось бы, что такой союзникъ компрометируетъ меня и мое дѣло, компрометируетъ именно своею развязностью и неконфузливостью.

Главная задача г. Маркова состоитъ въ томъ, чтобы смѣшать гр. Толстого если не прямо съ грязью, то хоть съ г. Цвѣтковымъ, авторомъ статьи «Новыя идеи въ нашей народной школѣ», напечатанной въ № 9 «Русскаго Вѣстника» за прошлый годъ. Г. Цвѣтковъ есть одинъ изъ «птенцовъ гнѣзда Каткова», т. е. нѣчто вообще злобное, мрачное, вѣющее съ вѣтрянными мельницами, ежеминутно готовое уличить въ государственномъ преступленіи и верстовой столбъ на большой дорогѣ, и кротко блеющего барашка, 'сорѣку, и ворону, и я не знаю кого и что. Одного штриха будетъ достаточно для убѣжденія читателя въ томъ, что г. Цвѣтковъ есть дѣйствительно птенецъ гнѣзда Каткова. Найдя въ книгѣ барона Корфа «Нашъ другъ» нѣсколько практическихъ сельскохозяйственныхъ совѣтовъ (сдва

ли особенно нужныхъ и полезныхъ) и нѣсколько указаній на полезныхъ и вредныхъ животныхъ, г. Цвѣтковъ раздражается такими громами: «Безъ сомнѣнія проштудировавъ о любви ради пользы и выгоды, и о барышахъ, и о чистомъ доходѣ, ученики будутъ наведены, чтобы и безъ помощи учителя предложить себѣ вопросы въ родѣ слѣдующихъ: какую пользу приносить дряхлый старикъ, слабый ребенокъ, калѣка, больной? За что слѣдуетъ любить ихъ? Какой чистый барышъ могутъ принести мнѣ яблоки, что растутъ за заборомъ сосѣда?»

Узнаемъ коней ретивыхъ
Мы по выжженнымъ таврамъ,
Узнаемъ парянь кичливыхъ
По высокимъ клобукамъ...

Я впрочемъ не мастеръ узнавать ни ретивыхъ коней, ни кичливыхъ парянь, но умѣю различать ословъ по ушамъ и птенцовъ гнѣзда Каткова по виртуозности доносовъ. Казалось бы переходъ отъ вредоносности суслика или мыши къ воровству сосѣднихъ яблокъ невозможенъ, немыслимъ. Но птенцы гнѣзда Каткова давно уже приучили насъ къ такого рода переходамъ, мало того, притупили въ насъ способность возмущаться этими вольтами и передержками. Было время,—оно отъ насъ очень недалеко,—когда этихъ виртуозовъ можно было даже опасаться, но своимъ изумительнымъ усердіемъ и необычайнымъ искусствомъ, добытымъ продолжительною практикою, они достигли неожиданнаго результата: репутаціи шутовъ, подчасъ дѣйствительно смѣшавшихъ, но въ большинствѣ случаевъ слишкомъ вазойливыхъ и надоедливыхъ. Теперь уже ихъ никто не боится, никто ихъ кликушествомъ не возмущается, рѣдко кого они смѣшатъ. Прочтутъ люди, пожмутъ плечами,—и конецъ. Иначе и быть не можетъ. Фельетонисты «Русскаго Мира» и критики «Русскаго Вѣстника» все обличаютъ кого-то въ разрушеніи семьи, а увидавъ въ послѣднемъ романѣ гр. Толстого 'Анну Каренину, Облонскаго, Вронскаго, самымъ осязательнымъ образомъ разрушающихъ семейное начало, вдругъ восклицаютъ: «вотъ люди, сохраняющие среди новыхъ общественныхъ наслоеній лучша

преданія культурнаго общества». Эти несчастные увѣрены, что они говорятъ комплиментъ «культурному обществу»! Такое самозаушеніе было смѣшно, пока оно было вновь, но теперь глядя на него можно только плечами пожать, потому что шутовство это уже надобѣло. Г. Катковъ изобличалъ разныя интриги и наконецъ до того изобличился, что увидѣлъ преступную пропаганду въ распространеніи похвальныхъ отзывовъ о книгахъ г. Безобразова, его, Каткова, собственнаго сотрудника, не бывшаго сотрудника, каковъ напримѣръ г. Тургеневъ, а теперешняго. Г. Цвѣтковъ очень хорошо знаетъ, что истребленіе овражковъ составляетъ въ нѣкоторыхъ губерніяхъ повинность; онъ вѣроятно держитъ у себя кошку, исправно истребляющую мышей, и вдругъ проникается необычайной симпатіей къ овражкамъ и мышамъ и за наименованіе ихъ барономъ Корфомъ вредными и любви недостойными обвиняетъ почтеннаго барона въ подговоръ къ истребленію стариковъ, калѣкъ и къ воровству сосѣднихъ яблокъ... Virtuозность доноса составляетъ общую черту птенцовъ гнѣзда Каткова, но затѣмъ каждый изъ нихъ имѣетъ свою специальность, болѣе или менѣе ни съ чѣмъ несообразную. Имѣетъ ее и г. Цвѣтковъ. Онъ—русскій клерикалъ, т. е. нѣчто нравственно безногое, безрукое и безголовое, ибо клерикализмъ не имѣетъ у насъ на Руси ни даже подобія почвы. Духовенство русское никогда не обнаруживало ни желанія захватить въ свои руки воспитаніе юношества, ни того умѣнья, съ которымъ ухватавались за это дѣло напримѣръ іезуиты или протестантскіе пасторы. Да и вообще прошедшее и настоящее русскаго духовенства таково, что мало-мальски серьезный русскій клерикализмъ просто невозможенъ. Я полагаю, этого и доказывать нечего. Такъ вотъ съ этимъ-то невозможнымъ г. Цвѣтковымъ г. Марковъ и желаетъ смѣшать гр. Толстого. Достигаетъ онъ этого способами по истинѣ изумительными. Онъ собственно говоря очень хорошо понимаетъ, что гр. Толстой—самъ по себѣ, а г. Цвѣтковъ—самъ по себѣ. Статьи этихъ писателей появились почти одновременно. Г. Марковъ великодушно допускаетъ что это—совпаденіе случайное. Онъ даже прямо говоритъ, что

«удары, направляемые на нашу зарождающуюся народную школу, идутъ изъ двухъ совершенно *противоположныхъ* лагерей». «И радикаль (гр. Толстой), и клерикаль (г. Цвѣтковъ), продолжаетъ г. Марковъ:—сошлись въ общей ненависти къ нашей народной школѣ за ея общечеловѣческій и общеевропейскій характеръ и *разными орудіями, съ разнымъ искусствомъ, изъ разныхъ побужденій*, дружно добиваются одной и той же цѣли—избіенія русской народной школы. Этотъ искусственный минутный союзъ напоминаетъ такіе же искусственные минутные союзы теперешнихъ французскихъ политическихъ партій, гдѣ легитимисты идутъ то рядомъ съ бонапартистами, то рядомъ съ ультра-радикалами, чтобы обезсилить единственную пугающую ихъ партію просвѣщеннаго и сознательнаго либерализма».

Г. Марковъ дѣлаетъ въ этихъ словахъ совершенно вѣрное и даже подходящее, но не совсѣмъ полное сравненіе. Справедливо, что крайнія партіи во Франціи часто вступаютъ въ минутные союзы, справедливо и то, что подобные союзы наичаще заключаются въ виду партіи, которую г. Марковъ называетъ «партіей просвѣщеннаго и сознательнаго либерализма» и которую правильнѣе было бы характеризовать русской поговоркой: ни Богу свѣчка, ни чорту кочерга. Но г. Марковъ не сказалъ, какъ поступаютъ въ подобныхъ случаяхъ люди «просвѣщеннаго и сознательнаго либерализма»: они мѣшаютъ шашки, валяютъ съ больной головы на здоровую, валяютъ грѣхи напримѣръ бонапартистовъ на «ультра-радикаловъ» и стараются наловить въ этой мутной водѣ какъ можно больше рыбы. Такъ поступаетъ и г. Марковъ относительно г. Цвѣткова и гр. Толстого. Считая себя вѣроятно человѣкомъ просвѣщеннаго и сознательнаго либерализма, г. Марковъ не гнушается приемами смѣшенія шашекъ, выработанными людьми просвѣщеннаго и сознательнаго либерализма въ Европѣ. Онъ, открыто заявляющій, что г. Цвѣтковъ и гр. Толстой суть представители *совершенно противоположныхъ* лагерей, что они дѣйствуютъ *различными орудіями и изъ различныхъ побужденій*; онъ въ той же статьѣ, ни мало не смущаясь, кладетъ ихъ обоихъ въ ступу просвѣщеннаго и созна-

тельного либерализма и съ азартомъ толчетъ ихъ вмѣстѣ пестомъ «жалкихъ словъ».

Приведа изъ статьи гр. Толстого нѣсколько фразъ, г. Марковъ замѣчаетъ: «Итакъ ясно, что вина новой школы по гр. Толстому въ томъ, что она измѣнила наукѣ, недостаточно научна». Да, гр. Толстой указываетъ и доказываетъ это. Г. Маркову по его словамъ «дорога та живая идея, которая дѣйствуетъ въ новой школѣ и которая собственно и возмущаетъ педагоговъ иного пошиба». Прекрасно. Г. Маркову надлежало бы только показать публикѣ эту «живую идею», доказать всѣмъ смущеннымъ статьей гр. Толстого, что послѣдній говоритъ неправду, что наша педагогiя вполнѣ научна. Вѣдь это кажется такъ просто: покажите научныя основанiя, въ силу которыхъ г. Миропольскiй уличаетъ въ невѣжество барона Корфа и рекомендуетъ благодарить Создателя, который намъ далъ наружныя уши, а вотъ рыбамъ такъ не далъ; покажите научныя основанiя, которыми руководствуется г. Бѣловъ, распѣвая:

Супцу нѣтъ уже нисколько,—

Все ужъ скушалъ мой сыночекъ,

или г. Бунаковъ, задавая вопросы: сколько у курицы ногъ? и лезаетъ ли лошадь? Покажите эти научныя основанiя—и споръ немедленно прекратится. Еслибы гр. Толстой и продолжалъ изъ упрямства твердить свое, ему бы никто не вѣрилъ и оставался бы онъ гласомъ вопiющаго въ пустынѣ. Но г. Марковъ болѣе склоненъ блистать эполетами и шпорами просвѣщеннаго либерализма, чѣмъ говорить дѣло. Поэтому онъ оставляетъ упрекъ гр. Толстого безъ разсмотрѣнiя и, только отмѣтивъ его, иронически продолжаетъ: «Новая школа готова совсѣмъ исправиться, стать неизмѣримо научнѣе... но вдругъ, повернувшись, встрѣчаетъ нападенiе г. Цвѣткова. Онъ ей говоритъ: 1) Новая школа виновата въ томъ, что она стремится дать *массу научныхъ фактовъ* и свѣдѣнiй. 2) Новая школа, вмѣсто того, чтобы читать *божественное*», и т. д., и т. д.

Вы возмущены, читатель. И я васъ понимаю. Г. Марковъ, разсыпавшiй въ своей статьѣ объ адвокатахъ сильныя выраже-

нія въ родѣ «прелюбодѣи мысли» и «софисты XIX вѣка», брезгають даже софизмомъ,—онѣ просто передергивають. Рѣчь идетъ о г. Толстомъ. Опровергните его и принимайтесь потомъ за г. Цвѣткова,—это вѣдь люди совершенно противоположныхъ лагерей, дѣйствующие различными орудіями и изъ различныхъ побужденій. Какое же дѣло г. Толстому до того, въ чемъ обвиняють новую школу г. Цвѣтковъ, и обратно — какой резонъ г. Цвѣткову отвѣчать за г. Толстого? Но г. Марковъ идетъ и дальше на этомъ скользкомъ пути смѣшенія пашекъ. Онѣ систематизируетъ пріемъ, который, я боюсь, приличествуетъ только прелюбодѣямъ мысли, возводитъ его въ критическій принципъ. Онѣ говоритъ: «Мы не можемъ представить лучшаго опроверженія нашимъ оппонентамъ, какъ устроить между ними такую очную ставку; всецѣлое противорѣчіе свидѣтелей, — на основаніи котораго еще премудрый вѣтхозавѣтный судія посрамилъ двухъ старцевъ, оклеветавшихъ невинную Сусанну,—считается окончательнымъ доводомъ несправедливости на самомъ строгомъ судебномъ процессѣ. Поэтому мы не видимъ нужды приводить послѣ этого (поэтому послѣ этого?), въ разъясненіе истинныхъ цѣлей и сущности новой педагогіи какія-либо авторитетныя свидѣтельства, хотя могли бы сдѣлать это безъ малѣйшаго труда. Что два союзника, одновременно производящіе свое нападеніе съ двухъ различныхъ фланговъ, вдругъ стукнулись лбами, означаетъ одно: что они двигались въ темнотѣ и что они нападали на пустоту» Какъ вамъ нравится, читатель, этотъ новоявленный критическій пріемъ? Нѣкто утверждаетъ, что педагоги не могутъ представить въ оправданіе своей системы научныхъ основаній и что они не сообщаютъ ученикамъ новыхъ свѣдѣній. Другой говоритъ, что педагоги сообщаютъ слишкомъ много научныхъ свѣдѣній. Является г. Марковъ и, подражая премудрому вѣтхозавѣтному судіи, объявляетъ, бряцая шпорами просвѣщеннаго либерализма: вы противорѣчите другъ другу, слѣдовательно, вы оба врете, а *поэтому* я не стану *послѣ этого* доказывать, что современная педагогія хороша,—это само собой ясно. Напрасно г. Марковъ. Это вовсе не ясно. И лучше бы вамъ

«безъ труда» набрать авторитетныхъ свидѣтельствъ, чѣмъ трудиться надъ чистой эполетъ просвѣщеннаго либерализма. Кромѣ барышень, которыя «къ военнымъ людямъ такъ и лнуть», блескомъ эполетъ никого и ни въ чемъ убѣдить нельзя. Кто васъ знаетъ, можетъ быть вы и въ самомъ дѣлѣ можете доказать, что современная педагогія вполне научна и сообщаетъ такое именно количество свѣдѣній, какое нужно. Отзвонили бы, да и съ колокольни долой, а теперь вы можете звонить сколько вашей душѣ будетъ угодно и все-таки не вырвете у ереси гр. Толстого ни одной души, ибо слишкомъ ясно, что вы занимаетесь прелюбодѣянiемъ мысли. Положимъ, что существуетъ убѣжденіе, въ неподвижности земли и солнца и что вы, г. Марковъ, раздѣляете это убѣжденіе (конечно вы для этого слишкомъ просвѣщенны, но положимъ, къ примѣру). Вы присутствуете при астрономическомъ спорѣ, въ которомъ на вашихъ единомышленниковъ нападаютъ съ одной стороны люди, доказывающіе, что земля обращается около солнца, а съ другой люди, вѣрящіе, что солнце вертится около земли. Вы съ свойственною вамъ развязностью объясняете: и тѣ и другіе врутъ, ибо противорѣчатъ другъ другу, а еще премудрый вѣтхозавѣтный судія и проч.; поэтому я не стану доказывать послѣ этого, что солнце и земля неподвижны,—это само собой ясно. Безъ сомнѣнія такой критическій пріемъ и добытый имъ результатъ весьма удобны, но могутъ ли они кого-нибудь убѣдить?

Но и это только цвѣтки. На словахъ г. Марковъ предпринимаетъ уличить въ противорѣчіи двухъ людей, по его собственнымъ словамъ не имѣющихъ между собой ничего общаго. Задача по крайней мѣрѣ легкая, если не плодотворная. Но истинная цѣль г. Маркова совсѣмъ не такова: ему нужно напротивъ доказать, что гр. Толстой и г. Цвѣтковъ, эти представители совершенно противоположныхъ лагерей, дѣйствующіе разными орудіями и по разнымъ побужденіямъ, суть люди одного и того же лагеря, дѣйствующіе одними и тѣми же орудіями и по однимъ и тѣмъ же побужденіямъ. Это—уже несравненно труднѣйшая задача, и понятно, что разрѣшить ее нельзя безъ нѣ-

котораго прелюбодѣянiя мысли, каковое г. Марковъ и совершаетъ съ удовлетворительнымъ успѣхомъ. Г. Цвѣтковъ категорически заявляетъ, что народное образованiе должно быть сдано на руки духовенства. Гр. Толстой чуждъ этой исключительности. Правда онъ неоднократно рекомендуетъ священно и церковнослужителей, какъ пригодныхъ народныхъ учителей, но пригодность ихъ онъ видитъ единственно въ томъ, что это учителя дешевые и находящiеся подъ рукой. Выражая сочувственный ему взглядъ народа, онъ говоритъ, что учителемъ можетъ быть «дворянинъ, чиновникъ, мѣщанинъ, солдатъ, дьячокъ, священникъ,—все равно, только бы былъ человѣкъ простой и русскiй». Въ другомъ мѣстѣ гр. Толстой спрашиваетъ отъ лица своихъ оппонентовъ: «каковы же будутъ эти школы съ богомольцами, богомолками, пьяными солдатами, выгнанными писарями и дьячками»? Такiя перечисленiя въ статьѣ гр. Толстого встрѣчаются не разъ и не два. Ихъ категорическiй, нисколько не двусмысленный характеръ могъ казаться гарантировать гр. Толстого отъ сплетенiя съ его именемъ имени г. Цвѣткова. Я не говорю уже объ общемъ тонѣ статьи, который настолько ясенъ, что даже г. Марковъ признаетъ гр. Толстого противникомъ не только господствующихъ въ средѣ нашихъ педагоговъ воззрѣнiй, а и «церковной педагоги». Тѣмъ не менѣе г. Марковъ, продолжая блистать и гремѣть, беретъ въ руки рѣшето просвѣщеннаго и сознательнаго либерализма и столь искусно просѣиваетъ вышеозначенныя перечисленiя народныхъ учителей, что изъ всѣхъ ихъ налицо остается одинъ дьячокъ. Правда, мимоходомъ г. Марковъ глумится и надъ писарями, и надъ солдатами, но въ концѣ концовъ все-таки сводитъ дѣло къ дьячку. Гр. Толстой полагаетъ, что программа народнаго училища должна ограничиваться русскимъ языкомъ, славянскимъ и арифметикой. Г. Марковъ мѣстами вычеркиваетъ изъ этой программы все, кромѣ «славянской грамоты и счета», которыя ставитъ даже въ ковычкахъ, дабы показать, что это подлинное требованiе гр. Толстого. Вы спросите—зачѣмъ эти мелочныя, жалкiя, дрянныя передержки, надставки и просѣванiя? Затѣмъ, что г. Маркову нужно смѣ-

вать гр. Толстого съ г. Цвѣтковымъ, затѣмъ, что «славянская грамота и счетъ» составляютъ, какъ выражается г. Марковъ, дячковскую программу, которую г. Марковъ желаетъ навязать гр. Толстому. При помощи подобныхъ, крайне нечистоплотныхъ манипуляцій г. Марковъ подходитъ къ вождѣнному концу и съ напряженнымъ, дѣланымъ, фальшивымъ пафосомъ громить одновременно и гр. Толстого, и г. Цвѣткова, безразлично цитируя то одного то другого. Таковы критическіе приемы людей просвѣщеннаго и сознательнаго либерализма... Они основываются на умѣньи пропустить или вставить въ критикуемомъ произведеніи маленькое, совсѣмъ маленькое словечко, поставить ковычки не тамъ, гдѣ слѣдуетъ, и т. п. Я начинаю думать, что сознательный и просвѣщенный либерализмъ достопочтеннаго г. Маркова состоитъ въ полнѣйшей свободѣ перевирать чужія мысли и слова. Избави Богъ и насъ отъ такихъ судей.

Гадко рыться въ этомъ «гробѣ повапленномъ», въ этой систематической, систематизированной лжи, облеченной въ полную парадную форму либерализма. Но двѣ-три блески разсмотрѣть надо, хотя бы потому, что нѣкоторыя якобы воззрѣнія г. Маркова принадлежать не ему лично, а, такъ сказать, подслушаны имъ у гг. Евтушевскаго, Бунакова, Мѣдника и другихъ возразителей гр. Толстого.

Гр. Толстой выразилъ мнѣніе, что критерій педагогіи состоитъ въ свободѣ учащагося, что поэтому народъ долженъ самъ выработать программу своего образованія. Вѣрна ли эта мысль, или нѣтъ, — здѣсь для насъ безразлично. Но вотъ какъ передаетъ эту мысль г. Марковъ: «*Вѣчный* критерій педагогіи въ томъ, чтобы *нашъ мужикъ* выбиралъ, какимъ предметамъ нужно учить *человѣчество* въ школѣ, и чтобы *нашъ русскій школьный учитель, нашъ русскій дячокъ* сочинялъ каждый день экспромпты въ классѣ, какъ нужно учить этимъ предметамъ *человѣчество*». Эти Геркулесовы столбы недобросовѣстности не требуютъ комментаріевъ. Поучительнѣе слѣдующія соображенія сознательно либеральнаго автора. Онъ увѣряетъ, будто гр. Толстой такъ мотивируетъ законность предлагаемой имъ программы

элементарнаго народнаго образованія: «Гр. Толстой поучаетъ насъ, что русскій мужикъ стоитъ за славянскую грамоту вовсе не для того, чтобы его сынишка могъ выучить полтину за чтеніе псалтыря по покойникѣ: нѣтъ, народъ вполне понимаетъ педагогическое значеніе славянскаго языка, именно какъ мертваго языка, какъ организма вполне законченнаго, — и за русскую грамоту вовсе не потому, что наровить своего мальчишку въ писаря или въ конторщики произвести. Удивительный народъ гр. Толстого и счетъ понимаетъ не какъ механическое орудіе для нѣкоторыхъ отправленій своего хозяйства и своей торговли въ родѣ того, какъ грабли онъ признаетъ полезными для сребанія сѣна, а соху для пахоты. О совершенно нѣтъ! Народъ гр. Толстого «допускаетъ двѣ области знанія, самыя точныя и неподверженныя колебаніямъ отъ различныхъ взглядовъ—языки и математику». Народъ этотъ, видите ли «*постигъ*, что одинъ мертвый, одинъ живой языкъ, съ ихъ этимологическими и синтаксическими формами и литературой, и математика» — основы знанія, «открывающія ему пути къ самостоятельному приобрѣтенію всѣхъ другихъ знаній». Остальныя науки онъ «отталкиваетъ какъ ложь» и (—) говоритъ: «мнѣ одно нужно знать — церковный и свой языкъ и законы чиселъ». Именно, законы: это стремленіе къ «законамъ чиселъ» такъ естественно и поучительно во взглядахъ нашего русскаго мужичка!»

Я потому обращаю вниманіе читателя на эту тираду, что она фигурируетъ и у гг. Евтушевскаго, Мѣдникова, Бунакова и проч. Г. Марковъ только обдагъ ее сокомъ просвѣщеннаго и сознательнаго либерализма, т. е. сдѣлалъ двѣ-три поддѣлки, излагая мысли гр. Толстого. Подчеркнутого мною слова «*постигъ*» у гр. Толстого нѣтъ, а тамъ, гдѣ у меня стоитъ знакъ (—) слѣдовало бы вставить имѣющіяся у гр. Толстого слова «какъ будто». Признаюсь, мнѣ стыдно дѣлать эти замѣчанія, стыдно возиться съ этими безстыдными вставками и пропусками. Но что же дѣлать, если г. Маркову не стыдно? Маленькія это словечки, но мажъ золотникъ да дорогъ. Слово *не* еще меньше, но если г. Марковъ вычеркнетъ его изъ предложенія: «авторъ «По-

слѣднихъ могиканъ» не добросовѣстенъ»,—то получить о своей персонѣ совершенно превратное понятіе. Еслибы гр. Толстой увѣрялъ, что народъ постигъ педагогическое значеніе законовъ чиселъ или славянскаго языка съ его этимологическими и синтаксическими формами, то это былъ бы такой смѣшной вздоръ, изъ-за котораго Мальбругу-Маркову не стоило бы въ походъ ѣхать. Но дѣло въ томъ, что гр. Толстой ничего подобнаго не утверждаетъ. Онъ заявилъ фактъ, какъ я думаю, несомнѣнный: народъ желаетъ знать русскую и славянскую грамоту и ариметику или счетъ. Желаніе это обусловлено его обстановкой, его практической жизнью. Удовлетворяя этому желанію, вы откроете народу «пути къ самостоятельному приобрѣтенію всѣхъ другихъ знаній». Народъ безъ сомнѣнія не разумѣетъ подъ арифметикой или счетомъ—изученіе законовъ чиселъ, но вѣдь это не мѣшаетъ арифметикѣ быть именно наукою о законахъ чиселъ. А слѣдовательно ничто не мѣшаетъ сказать: народъ *какъ будто* понимаетъ великое теоретическое значеніе математики. Программа начальнаго образованія выработана или вѣрнѣе сказать выработалась изъ самой практической жизни, и теоретическими соображеніями народъ при этомъ не задавался. Гр. Толстой ее комментируетъ, вотъ и все. Ясно или нѣтъ?

Я долженъ однако съ прискорбіемъ сказать, что среди самыхъ беззастѣнчивыхъ фальсификацій и плоско-либеральной болтовни г. Маркова есть одно очень важное указаніе, и еслибы онъ имъ только и ограничился, а «нравственную обязанность» перевернуть чужія слова оставилъ бы въ сторонѣ, то нельзя было бы не поблагодарить его. Г. Марковъ дѣлаетъ много любопытнѣйшихъ выписокъ изъ такихъ статей «Ясной Поляны», которыя не вошли въ собраніе сочиненій гр. Толстого и потому большинству теперешней читающей публики совершенно неизвѣстны. Я приведу только одну изъ этихъ выписокъ, правда большую, съ сохраненіемъ курсивовъ г. Маркова, которые въ этомъ случаѣ являются вполне уместными и дѣйствительно бьющими въ цѣль.

«... Общество въ дер. Подосинкахъ нашло своего учителя и на предложение мое замѣстить избраннаго ими учителя другимъ объявило, что оно не нуждается въ новомъ учителѣ и своимъ доволио. Учитель этотъ былъ отставной дячокъ, уже 20 лѣтъ занимавшійся обученіемъ дѣтей... Онъ предложилъ учить дешево, чѣмъ въ другихъ школахъ... Я посѣтилъ эту школу во время ея чтенія. Когда мы вошли, все было тихо тамъ; 24 мальчика, сидѣвшіе съ вырѣзанными указками чинно вокругъ длиннаго стола, вдругъ запыли на разные голоса. Во главѣ всѣхъ сидѣлъ сынъ огородника, лѣтъ 16-ти, въ синемъ кафтанѣ. Онъ запѣвалъ: «надѣющіеся на ны»; сосѣдъ его, водя указкой по засаленной азбучкѣ, пѣлъ: «слова подѣ титлами: ангель, ангельскій, архангелъ, архангельскій»; и снова начинал: слова подѣ титлами: ангелъ и т. д.; третій: «буки-арцы-азъ-бра»; четвертый—«премудрость». Когда я вошелъ въ избу, они закричали, потомъ встали. Учителя не было. Я спросилъ, зачѣмъ они встали? Они объяснили, что меня ждали и что такъ имъ было приказано. Я попросилъ ихъ сѣсть и продолжать; всѣ начали опять съ тѣхъ же словъ: «надѣющіеся, слова подѣ титлами» и т. д. Здѣсь я въ первый разъ видѣлъ классическую старинную школу... Какъ устриваются подобныя школы гр. Толстой описываетъ на слѣдующей страницѣ: «учитель устриваетъ столъ, лавки, назначаетъ время ученія, обыкновенно съ 8-ми часовъ до сумерекъ; отцы обязаны снабдить неграмотныхъ дѣтей азбучками, грамотныхъ часовникомъ или псалтыремъ, смотря по степени успѣха. Вѣсьма часто родители покупаютъ или достаютъ *Богъ знаетъ какую книжонку* вмѣсто азбучки, иногда не можетъ достать псалтыря, когда уже мальчикъ началъ учить псалтырь, и ученикъ учить не то, что слѣдовало ему учить по порядку курса. Такъ здѣсь я всталъ псалтырщика, читающаго уже всю выученную наизусть азбуку, потому что единственный псалтырь былъ занятъ... Родители, приводя дѣтей въ школу или на домъ къ учителю, *всегда при ученикѣ просятъ наказывать, бить* и говорятъ почти одну и ту же обычную фразу, имѣющую цѣлью внушить мальчику страхъ и убѣдить учителя въ томъ, что родитель передаетъ ему свою власть побоевъ надъ сыномъ... Входя въ школу, всѣ молятся Богу, садятся за книги, вновь крестятся и цѣлуютъ эти книги. *Книга для нихъ есть божество въ родѣ идоловъ у чувашей, которое они просятъ быть милостивымъ къ нимъ.* Каждому задается стихокъ, который онъ долженъ выучить (стишокъ—строка или двѣ)... Начинается то самое пѣніе, которое я всталъ. *Учитель поручаетъ старшему смотрѣть за порядкомъ, самъ же болѣею частью уходитъ.* Порядокъ состоитъ въ томъ, чтобы каждый безостановочно продолжалъ кричать свои пять или шесть словъ. Самый лучшій изъ такихъ классическихъ учителей въ продолженіе дня едва ли обойдетъ всѣхъ учениковъ, спроситъ заданный урокъ и задастъ новый, т. е. часть времени въ продолженіе дня употребитъ на занятіе со всѣми. Обыкновенный же

пріемъ такого рода учителей состоятъ въ томъ, чтобы поручать ученье старшему ученику, самому же въ продолженіе недѣли заняться съ учениками мною 3—4 часа. Всѣ такіе учителя непремѣнно завербовываютъ къ себѣ въ школу хотя одного грамотнаго подъ предлогомъ доучивать его, а въ сущности этотъ полуграмотный и есть учитель. Настоящій же учитель занимается только полицейскую должность *прикрикнуть, приударить*, собрать деньги и изрѣдка только указать и спросить урокъ. Такими учителями очень часто бывають люди, почти цѣлый день занятые постороннимъ дѣломъ—*причетники, писаря, и такихъ то учителей и вытекающую изъ ихъ занятій методу* предлагаютъ вышеприведенные указы консисторій и циркуляры министерства внутреннихъ дѣлъ о волостныхъ училищахъ».

«Да, прибавляетъ г. Марковъ, и не только консисторіи, но и самъ гр. Толстой, который въ 1862 г. удивлялся, *какъ можно предлагать* въ учителя безграмотныхъ и бесполезныхъ причетниковъ, цѣлый день занятыхъ *постороннимъ дѣломъ*,— въ 1874 г. удивляется напротивъ, какъ можно обходить тѣхъ же самыхъ причетниковъ, оскорбляется, что этимъ «дешевымъ учителямъ» предпочитается «любимый типъ» учителей, окончившихъ курсъ учительской школы, и хлопочетъ, чтобы вмѣсто теперешнихъ школъ, съ правильно подготовленными наставниками, были заводимы сотни школъ, подобныхъ Подосиновской, у солдатъ, причетниковъ и дворниковъ, дешевле, чѣмъ по два рубля въ мѣсяцъ».

Въ другихъ мѣстахъ гр. Толстой выражается еще рѣзче. Онъ называетъ «старинныхъ учителей» балачами и живодерами и говоритъ, что не видалъ еще стариннаго учителя—«кроткаго человѣка и не пьяницу». Что касается до требованій народа, то въ той же «Ясной Полянѣ» гр. Толстой неоднократно говоритъ, что родители требовали, чтобы дѣтей ихъ били и ничему, кромѣ азбуки, не учили. «Что намъ рихметика!—говоритъ одинъ мужикъ гр. Толстому — копѣйка за хлѣбъ, копѣйка за лукъ, вотъ и вся рихметика. У насъ солдатъ рихметики не учить, потому *знаетъ, что не нужно*». Изъ школъ, которыя заводилъ гр. Толстой, дѣло шло успѣшно только въ такихъ, *«идеи учителя ни на шагъ не сдавался на требованія крестьянъ, а прямо говорилъ: «не нравится, возьми изъ школы и отдай солдатамъ»;*

гдѣ онъ толковалъ, что *я не пойду тебя учить, какъ пахать, хоть ты и для меня бы пахалъ, тамъ и ты не учи меня, какъ учить, хотя я и учу твоего сына,—тамъ понемногу крестьяне сдавались*. Я не имѣлъ возможности провѣрить цитаты г. Маркова, а изъ предыдущаго видно, что почтенному писателю этому вѣрить на слово нельзя. Можетъ быть онъ и тутъ нѣчто просѣлалъ и нѣчто прибавилъ. Но цитатъ этихъ слишкомъ много и есть же граница, у всякой недобросовѣстности. Должно поэтому думать, что 12 лѣтъ тому назадъ гр. Толстой не возлагалъ надеждъ на солдатъ, прохожихъ, богомолковъ и причетниковъ, которыхъ нынѣ рекомендуетъ въ народные учителя, и относился къ требованіямъ народа и его свободѣ выбирать программу образованія не столь довѣрчиво, какъ теперь. Это уже не противорѣчіе между гр. Толстымъ и г. Цвѣтковымъ, что ни мало не поучительно, это—противорѣчіе гр. Толстого съ самимъ собой и притомъ не только противорѣчіе его взглядовъ 1862 г. со взглядами 1874, какъ думаетъ г. Марковъ. Нѣтъ, гр. Толстой совершенно справедливо заявляетъ, что его основныя воззрѣнія со временъ «Ясной Поляны» не измѣнились. Поэтому то, что является противорѣчіемъ теперь, было и тогда противорѣчіемъ.

Мы здѣсь имѣемъ первый случай столкновенія десницы гр. Толстого съ шуйцей, которое (столкновение) есть только одно звѣно изъ цѣлой цѣпи и можетъ быть правильно оцѣнено только въ совокупности всѣхъ этого рода явленій литературной дѣятельности этого искренно и глубоко уважаемаго мною писателя.

Х.

Десница и шуйца гр. Толстого.

(Продолженіе).

Какъ ни просты, какъ ни ясны соображенія гр. Толстого о значеніи для народа явленій, которыя принято называть прогрессивными, но приходятъ къ нимъ сравнительно очень и очень

немногіе люди. И это совершенно понятно. «Мы всё, вверху стояще, что городъ на горѣ, дабы всё въ видѣ былъ»—естественно должны принимать близко къ сердцу казовую сторону цивилизаціи. Цивилизація разбудила въ насъ извѣстныя потребности и затѣмъ сама же удовлетворяетъ этимъ потребностямъ въ извѣстномъ порядкѣ и въ извѣстной степени. Наслажденія умственной дѣятельностью, искусствомъ, политическою дѣятельностью, матеріальною обстановкой, созданной цивилизаціей, такъ велики, такъ осязательны, что намъ вполне естественно добиваться ихъ и затѣмъ просто наслаждаться, когда они въ той или другой мѣрѣ добыты. Мы очень хорошо знаемъ цѣну, заплаченную за нихъ нами самими, и именно поэтому даже не задаемъ себѣ вопроса,—не оплачивается ли наши наслажденія еще кто-нибудь, кромѣ насъ? А если онъ намъ и представится, то мы невольно отъ него отмахиваемся, что даже очень удобно, благодаря сложности и запутанности явленій жизни. Теперь напримѣръ раздаются повсюду жалобы на оскудѣніе беллетристическихъ талантовъ. Критика припоминаетъ Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Грибоѣдова, припоминаетъ вторую серію большихъ талантовъ—Льва Толстого, Гончарова, Тургенева—и сътуетъ, что источникъ наслажденія поэтическими произведеніями какъ бы изсякъ, не даетъ ничего новаго и грозитъ даже совершенно высохнуть, какъ только неумолимая смерть унесетъ представителей прежняго, блестящаго періода русской поэзіи. Таланты есть и теперь и еслибы мы не имѣли образцовъ талантовъ болѣе сильныхъ, мы были бы можетъ быть совершенно довольны своимъ настоящимъ. Но въ общемъ счетѣ группы поэтовъ 20—30 и затѣмъ 40 годовъ несомнѣнно примируютъ надъ всё, что народилось лучшаго въ послѣднія пятнадцать—двадцать лѣтъ. Изъ новѣйшихъ беллетристовъ—у кого не хватаетъ выдержки и законченности, у кого—тонкости пониманія и изящества кисти, словомъ, всё такъ или иначе съ изъяномъ, всё не даютъ намъ тѣхъ наслажденій, которыя мы уже имѣли случаи испытывать. Представимъ себѣ теперь, что нижеслѣдующее объясненіе этого прискорбнаго явленія вполне вѣрно:

поэты двадцатых—сороковых годовъ были, хоть и не очень богатые люди, но все-таки въ большинствѣ случаевъ помѣщики, обеспеченные крѣпостнымъ правомъ. Они имѣли полную возможность развивать свои таланты на досугѣ, учиться болѣе или менѣе пристально съ измала, посѣщать заграничныя университеты, исполнять рецептъ Гоголя, по которому слѣдуетъ написать повѣсть и дать ей «отлежаться» съ годъ, потомъ переписать ее и опять отложить и т. д. до восьми разъ. При такой обстановкѣ ни одна случайная искра духовнаго интереса не могла пропасть совсѣмъ даромъ и должна была преимущественно разгораться пламенемъ поэтического таланта, ибо поэзія составляла чуть не единственное, болѣе или менѣе свободное поприще умственной дѣятельности. Нынѣ талантовъ нарождается можетъ быть и не меньше, но одни совсѣмъ затираются безпощадной борьбой за существованіе, такъ что и не показываются даже, а другіе недоразвиваются. Возвратите крѣпостное право или подождите, пока выростутъ и окрѣпнутъ, т. е. передадутся нѣсколько разъ по наслѣдству большіе промышленные капиталы, и русская беллетристика опять расцвѣтетъ. Я очень хорошо понимаю, что это объясненіе далеко не полное, но думаю, что оно въ значительной степени вѣрно. Положимъ, что мнѣ удалось бы доказать это со всею возможною въ такого рода вопросахъ точностью. Какъ бы вы приняли эту диссертацию, мой благосклонный читатель? Еслибы вы были крѣпостникомъ, вы бы одобрительно промычали и сказали бы: ну вотъ, я всегда это говорилъ! Если бы вы были чѣмъ-нибудь въ родѣ г. Скальковскаго, вы сказали бы, что къ крѣпостному праву возврата нѣтъ: но поставить поэзію въ зависимость отъ капитала — не вредно. Еслибы вы были не крѣпостникомъ и не г. Скальковскимъ, а только русскимъ Ренаномъ, г. Страховымъ, вы бы сказали: конечно «потъ многихъ есть необходимое условіе развитія немногихъ» и, хоть крѣпостное право омерзительно, но нужно что-нибудь этакое—«фантастическое и неопредѣленное, долженствующее произвести на зрителя легкое, но пріятное впечатлѣніе», какъ говорится въ афишахъ фокусниковъ. Крѣпостникъ и г. Скаль-

ковскій для насъ здѣсь ни мало не интересны, ибо рѣчь идетъ о поэзи, до которой имъ дѣла нѣтъ. Г. Страховъ конечно интереснѣе, ибо онъ способенъ наслаждаться поэзіей и знаетъ цѣну этому наслажденію. Онъ дѣйствительно можетъ потребовать чего-нибудь «фантастическаго и неопредѣленнаго» единственно ради интересовъ русской литературы и — мало того — способенъ сказать это смѣло, публично. Но гг. Страховы очень рѣдки въ природѣ. Большинство моихъ благосклонныхъ читателей, я полагаю, не рѣшатся заявить симпатій къ «фантастическому и неопредѣленному», отчасти похожему, а отчасти совсѣмъ непохожему на крѣпостное право; не рѣшатся заявить не только публично, другимъ, а и внутри себя, сами себѣ. Да, господа, какъ бы ни были убѣдительны мои доводы, хоть бы вы подъ нихъ не сдумѣли иголки подточить, вы не то, что не согласились бы со мной, а не хотѣли бы согласиться. Вамъ было бы больно, обидно признать, что можетъ быть чистѣйшія ваши наслажденія выросли при помощи такого одобренія, какъ крѣпостное право; до такой степени больно, что вы отогнали бы отъ себя эту мысль, какъ пискливаго комара, не дающаго спокойно заснуть. Но еслибы, продолжая гипотезу непровержимой точности моихъ доказательствъ, вы и согласились со мной, вамъ было бы въ высокой степени трудно долго удержаться на рекомендуемой мною точкѣ зрѣнія, и вы бы можетъ быть пропустили, не поморщившись, напримѣръ слѣдующія строки статьи «Современная бездарность», напечатанной въ № 5 «Дѣла» (мнѣ неизвѣстно, принадлежатъ ли эти строки автору статьи или Гальтону, о книгѣ котораго статья трактуетъ, но это все равно): «Нынче, какъ всегда, хозяйство на человѣческія силы (?) совершенно въ пренебреженіи и всѣ обычаи и строй жизни клонятся не къ тому, чтобы увеличивать массу людей (?) и массу мыслящаго мозга, а къ тому, чтобы ихъ уменьшить. Любопытнѣйшій фактъ этого рода представляетъ древняя Греція. Нигдѣ и никогда не было такой массы выдающихся гениальныхъ людей, какъ въ Атикѣ. Милліоны европейцевъ въ теченіе двухъ тысячъ лѣтъ не произвели ничего подобнаго Сократу, Периклу,

Фидію, и даже величайшій европеецъ — лордъ Бэконъ едва равняется второстепенному человѣку древности — Платону. Еслибы порода древнихъ грековъ могла сохраниться, распространиться и размножиться по другимъ странамъ, въ этомъ бы заключалось величайшее благо для всей послѣдующей цивилизаціи и размѣръ этого блага мы даже не въ состояніи себѣ вообразить. Но общественная нравственность древняго міра крайне извратилась. Браковъ избѣгали, потому что они вышли изъ моды, многія изъ самыхъ честолюбивыхъ и образованныхъ женщинъ открыто вели распутную жизнь и потому не имѣли дѣтей, а матери будущихъ поколѣній принадлежали къ классамъ общества менѣе интеллектуальнымъ».

Эти строки дали вамъ безъ сомнѣнія много пищи для размышленій, очень интересныхъ. Такъ вы размышляли можетъ быть о томъ, есть ли какія-нибудь основанія для признанія Бэкона величайшимъ европейцемъ, Платона — второстепеннымъ человѣкомъ древности, а Перикла — не превзойденнымъ никѣмъ въ послѣдующіе вѣка; о томъ, возможно ли и вообще какое-нибудь основаніе для подобныхъ сравненій; о томъ, хорошо или дурно, что честолюбивѣйшія изъ гречанокъ не имѣли дѣтей и т. п. Но весьма вѣроятно, что вы, какъ и авторъ приведенныхъ строкъ, совершенно упустили изъ виду одно немаловажное и уже несомнѣнное — не то, что мое объясненіе расцвѣта и оскудѣнія русской поэзіи — обстоятельство: «болѣе интеллектуальные» классы общества аѳинскаго, всѣ эти Сократы, Платоны, Фидіи и Периклы выросли на рабствѣ и сами открыто признавали институтъ этотъ необходимымъ условіемъ своего блеска. Вы не задавали себѣ вопроса: какъ отразилась бы на послѣдующей цивилизаціи сохраненіе и распространеніе «породы древнихъ грековъ», съ точки зрѣнія этой коренной ея складки. Почему вы не задали себѣ этого вопроса? Впервые потому, что вамъ, какъ образованному человѣку, мудрый Сократъ и изящнѣйшій Фидій несравненно ближе, чѣмъ темная масса «менѣе интеллектуальныхъ» греческихъ рабовъ. Во вторыхъ потому, что Сократъ и Фидій и сами по себѣ замѣтнѣе, ярче темной массы.

Встрѣтыхъ наконецъ потому, что связь Сократа и Фидіа съ рабствомъ производить столь непріятное, отталкивающее впечатлѣніе, что вы инстинктивно его избѣгаете.

Забытьте, благосклонный читатель, что я объ васъ не дурного, а напротивъ очень хорошаго мнѣнія: я предполагаю, что связь мудрости Сократа и искусства Фидіа съ рабствомъ или высокаго поэтическаго таланта гр. Л. Н. Толстого съ крѣпостнымъ правомъ производить на васъ обидное, отталкивающее впечатлѣніе. Но нѣкоторые изъ читателей имѣютъ вѣроятно право на еще лучшее о нихъ мнѣніе. Потому ли что они вышли изъ рядовъ темной массы, на себѣ испытывающей невидную сторону блеска цивилизаціи; потому-ли, что они люди очень большого ума, не позволяющаго имъ отворачиваться даже отъ непріятной истины; потому ли наконецъ, что они случайно одарены тонкой и воспринимчивой нравственной организаціей, но они признаютъ фактъ означенной связи и признаютъ не на манеръ крѣпостника или г. Страхова. Для такихъ людей возникаетъ рядъ очень мучительныхъ вопросовъ. Сократъ мудръ, Фидій прекрасенъ, но возросшее ихъ рабство омерзительно. Можно ли разорвать ненавистную, связывающую ихъ цѣпь? или надо признать эту связь фатальною и отказаться отъ надежды обладать философіей и искусствомъ, или напротивъ продолжать плодить мысль и красоту на почвѣ чистаго рабства или одного изъ его видоизмѣненій? Если я, «интеллектуальный» человѣкъ, созналъ, что интеллектъ мой и всѣ связанныя съ нимъ наслажденія куплены цѣною «пота многихъ», то каково должно быть мое поведение? Отказаться отъ интеллектуальныхъ наслажденій я не могу, признать ихъ происхождение безгрѣшнымъ—тоже не могу.

Повторяю, очень немногіе способны задать себѣ эти вопросы, не потому, чтобы ихъ постановка представляла какія-нибудь непреодолимыя логическія трудности, напротивъ, логически они крайне просты, но потому, что тутъ становится поперекъ дороги весь складъ нашей жизни, все наше воспитаніе, всѣ привычныя, ежедневныя впечатлѣнія. Даже die Wenigen, die was davon erkannten, не могутъ пройти весь свой жизненный путь твердымъ,

увѣреннымъ шагомъ и почти неизбежно впадаютъ въ рядъ противорѣчій. Не избѣгъ этихъ противорѣчій и гр. Толстой. Я этому не удивляюсь. Въ статьѣ г. Маркова упоминается, что онъ богатый помѣщикъ; изъ романовъ его явствуетъ, что онъ коротко знаетъ высшій свѣтъ и вѣроятно имѣетъ съ нимъ многостороннія и прочныя связи; онъ очень тонкій художникъ и такъ горячо говоритъ объ искусствѣ, что долженъ придавать эстетическому наслажденію высокую цѣну. И этому-то человѣку, имѣющему возможность наслаждаться всѣми лучшими благами цивилизации, совокупность какихъ-то неизвѣстныхъ намъ обстоятельствъ вложила въ голову мысли, изложенныя мною въ прошлый разъ. Еслибы такія мысли пришли въ голову человѣку, лично, неспособному или матеріальною обстановкою лишенному возможности вкушать плоды цивилизации, то тутъ не было бы ничего удивительнаго. И обойтись безъ противорѣчій такому человѣку было бы весьма легко. Напримѣръ человѣкъ, по своей собственной винѣ или по винѣ обстоятельствъ невѣжественный или лишенный потребности познанія, можетъ весьма послѣдовательно, ни разу въ жизни себѣ не противорѣча, отрицать званіе, по скольку оно отрицается точкою зрѣнія гр. Толстого. Но самъ гр. Толстой находится въ совершенно иномъ положеніи. Возьмемъ его литературную дѣятельность. Онъ—блестящій писатель, пользующійся громадною извѣстностью, онъ—художникъ, т. е. творецъ и несомнѣнно глубоко наслаждается актомъ поэтического творчества, онъ издавалъ журналъ и печаталъ въ другихъ журналахъ и отдѣльными изданіями свои произведенія. Между тѣмъ онъ пришелъ къ слѣдующимъ воззрѣніямъ на книгопечатаніе.

«Для меня очевидно, что распложеніе журналовъ и книгъ, безостановочный и громадный процессъ книгопечатанія былъ выгоденъ для писателей, редакторовъ, издателей, корректоровъ и наборщиковъ. Огромныя суммы народа косвенными путями перешли въ руки этихъ людей. Книгопечатаніе такъ выгодно для этихъ людей, что для увеличенія числа читателей придумываются всевозможныя средства: стихи, повѣсти, скандалы, обличенія, сплетни, полемика, подарки, преміи, общества грамотности, распространенія книгъ и школы для увеличенія числа грамотныхъ... Но ежели

число журналовъ и книгъ увеличивается, ежели литература такъ хорошо окупается, то стало быть она необходима, скажутъ мнѣ наивные люди. Стало быть откупа необходимы, что они хорошо окупались? отвѣчу я... Литература, также какъ и откупа, есть только искусная эксплуатація, выгодная только для ея участниковъ и невыгодная для народа... У насъ есть разные журналы... (гр. Толстой перечисляетъ тогдашніе журналы), есть сочиненія Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина. И всѣ эти журналы и сочиненія, несмотря на давность существованія, неизвѣстны, не нужны для народа и не приносятъ ему никакой выгоды. Я говорилъ уже объ опытахъ, дѣланныхъ мною для привитія нашей общественной литературы народу. Я убѣдился, въ чемъ можетъ убѣдиться каждый, что для того, чтобы человѣку изъ русскаго народа полюбить чтеніе «Вориса Годунова» Пушкина или исторію Соловьева, надо этому человѣку перестать быть тѣмъ, чѣмъ онъ есть, т. е. человѣкомъ независимымъ, удовлетворяющимъ всѣмъ своимъ человѣческимъ потребностямъ. Наша литература не прививается и не привьется народу, надѣюсь—люди, знающіе народъ и литературу, не усомнятся въ этомъ... Всякій добросовѣстный судья, неодолимый вѣрою прогресса, признается, что выгоды книгопечатанія для народа не было... Но скажутъ можетъ быть, признавая мои доводы справедливыми, что прогрессъ книгопечатанія, не принося прямой выгоды народу, содѣйствуетъ его благосостоянію тѣмъ, что смягчаетъ нравы общества; что разрѣшеніе крѣпостнаго вопроса напримѣръ есть только провозвѣщеніе прогресса книгопечатанія. На это я отвѣчу, что смягченіе нравовъ общества еще нужно доказать, что я лично его не вижу и не считаю нужнымъ вѣрить на слово. Я не нахожу напримѣръ, чтобы отношенія фабриканта къ работнику были человѣчнѣе отношеній помѣщика къ крѣпостному... Главное же, что я имѣю сказать противъ такого аргумента, есть то, что взявъ въ примѣръ хотя освобожденіе отъ крѣпостнаго права, я не вижу, чтобы книгопечатаніе содѣйствовало его прогрессивному разрѣшенію. Ежели бы правительство въ этомъ дѣлѣ не сказало своего рѣшительнаго слова, то книгопечатаніе безъ сомнѣнія разъяснило бы дѣло совершенно иначе. Мы видѣли, что большая часть органовъ требовала бы освобожденія безъ земли и приводила бы доводы, столь же кажущіеся разумными, остроумными, саркастическими. Прогрессъ книгопечатанія, какъ и прогрессъ электрическихъ телеграфовъ, есть монополія извѣстнаго класса общества, выгодная только для людей этого класса, которые подъ словомъ прогрессъ разумѣютъ свою личную выгоду, вслѣдствіе того всегда противорѣчающую выгодѣ народа. Мнѣ пріятно читать журналы отъ праздности, я даже интересуюсь Оттономъ, королемъ греческимъ. Мнѣ пріятно написать или издать статейку и получить за нее деньги и извѣстность. Мнѣ пріятно получить по телеграфу извѣстіе о здоровьяхъ моей сестрицы и знать навѣрное какой цѣны я долженъ ожидать за свою пшеницу. Какъ

въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ нѣтъ ничего предосудительнаго въ удовольствіяхъ, которыя я при этомъ испытываю, и въ желаніяхъ, которыя я имѣю, чтобы удобства къ такого рода удовольствіямъ увеличивались, но совершенно несправедливо будетъ думать, что мои удовольствія совпадаютъ съ увеличеніемъ благосостоянія всего человѣчества. (Сочиненія, т. IV, 192 и слѣд.)...

Я не скуплюсь на выписки изъ IV тома сочиненій гр. Толстого, какъ потому, что мнѣ нужна самая точная передача его мыслей, такъ и потому, что излагаемыя мною воззрѣнія гр. Толстого, я увѣренъ, совершенно неизвѣстны огромному большинству моихъ читателей. Такъ прочно установилась какимъ-то чудомъ его репутація какъ плохого мыслителя, что IV томъ его сочиненій, въ которомъ собраны педагогическія статьи, мало кѣмъ читается, не смотря на то, что тамъ есть страницы, даже въ чисто художественномъ отношеніи превосходящія можетъ быть все, написанное гр. Толстымъ. Между тѣмъ именно въ этомъ томѣ слѣдуетъ искать ключа ко всей литературной дѣятельности нашего знаменитаго романиста. Всякій писатель можетъ подвергаться и подвергается крайне разнорѣчивымъ сужденіямъ, во первыхъ потому, что судьи обладаютъ различными степенями критической способности, во вторыхъ потому, что они держатся различнаго образа мыслей. Но относительно гр. Толстого существуетъ еще третья и по истинѣ удивительная причина: не смотря на всю свою извѣстность, онъ неизвѣстенъ. Будемъ же изучать его.

Я прошу читателя серьезно вдуматься въ душевное состояніе писателя, пришедшаго къ вышеприведеннымъ воззрѣніямъ на книгопечатаніе и литературу, — писателя не ради куска хлѣба и не по какимъ-нибудь случайнымъ обстоятельствамъ, а такого, какъ гр. Толстой, т. е. писателя по призванію, неудержимо гонимаго на литературное поприще избыткомъ творческой силы. Положеніе истинно трагическое. Гр. Толстой совершенно справедливо говоритъ, что нѣтъ ничего предосудительнаго въ желаніи написать статейку и получить за нее деньги и извѣстность. Конечно это времяпровожденіе само по себѣ ни мало не предосудительно. Но гр. Толстой знаетъ, что этимъ именно непредо-

судительнымъ путемъ «огромныя суммы народа перешли въ руки» лицъ, прикосновенныхъ къ литературѣ и книгопечатанію; что такъ именно слагается вся литература, эта «искусная эксплуатация, выгодная только для ея участниковъ и невыгодная для народа». Человѣку, ненапечатавшему во всю жизнь ни одной строки или писательствующему не по внутренней потребности дѣлиться съ читателями возникающими въ немъ мыслями и образами,—легко сказать то, что говорить гр. Толстой. Съ другой стороны есть много людей, совершающихъ ужасныя преступленія и тѣмъ не менѣе спокойныхъ душой, потому что ихъ дѣйствія для нихъ не суть преступленія, они не сознаютъ ихъ преступности. Словомъ, когда сознаніе и потребности находятся тѣмъ или другимъ способомъ въ равновѣсіи, жить легко. Гр. Толстой напротивъ ясно сознаетъ, что литература есть одинъ изъ видовъ эксплуатаціи народа, и тѣмъ не менѣе участвуетъ въ ней и не можетъ не участвовать, потому что какъ вѣчному жиду тапшественный голозь не уставалъ говорить: иди, иди, иди, такъ и гр. Толстому внутренній голозь, голозь его богато одаренной природы, не устаетъ говорить: пиши, пиши, пиши! Это столкновение неудержимой потребности съ неумолимымъ сознаніемъ составляетъ драму, перипетіи которой должны быть тщательно изучены каждымъ, желающимъ получить правильное понятіе о литературной дѣятельности гр. Толстого. Я не намѣренъ трактовать объ «Аннѣ Карениной», во первыхъ потому, что она еще не кончена, вовторыхъ потому, что объ ней надо или много говорить или ничего не говорить. Скажу только, что въ этомъ романѣ несравненно поверхностнѣе, чѣмъ въ другихъ произведеніяхъ гр. Толстого, но можетъ быть именно вслѣдствіе этой поверхностности, яснѣе чѣмъ гдѣ-нибудь отразились слѣды совершающейся въ душѣ автора драмы. Спрашивается, какъ быть такому человѣку, какъ ему жить, какъ избѣжать той отравы сознанія, которая ежеминутно вторгается въ наслажденіе удовлетворенной потребности? Безъ сомнѣнія онъ хотя бы инстинктивно долженъ изыскивать средства покончить внутреннюю душевную драму, спустить занавѣсъ, но какъ это сдѣлать? Я думаю, что если бы въ

такое положеніи могъ очутиться человѣкъ дюжинный, онъ покончилъ бы самоубійствомъ или безпробуднымъ пьянствомъ. Человѣкъ недюжинный будетъ разумѣется искать другихъ выходовъ, и такихъ представляется не одинъ. Гр. Толстой испробовалъ кажется ихъ всѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ мы видимъ цѣлый рядъ очень естественныхъ колебаній въ самыхъ этихъ пробахъ и рядъ отклоненій отъ основной (можетъ быть не вполне сознаваемой самимъ авторомъ) задачи. Задача эта состоитъ въ томъ, чтобы, оставаясь писателемъ, перестать участвовать въ «искусной эксплуатаціи» или по крайней мѣрѣ какъ-нибудь вознаградить народъ за эту эксплуатацію. Есть для этого прямой путь — стать чисто народнымъ писателемъ, внести свою лепту въ созданіе литературы, которая могла бы «привиться» народу. Но, даже при наличности всѣхъ другихъ благопріятныхъ условий, это — дѣло крайне трудное въ техническомъ отношеніи. Гр. Толстой испробовалъ впрочемъ хотя отчасти и этотъ путь нѣсколькими рассказами и статейками, вошедшими въ «Азбуку». Здѣсь встаетъ будетъ сдѣлать слѣдующее замѣчаніе. Я уже говорилъ, что взгляды гр. Толстого на различныя «явленія прогресса», при несомнѣнно глубокой и оригинальной точкѣ зрѣнія, часто слишкомъ просты и, такъ сказать, прямолинейны для того, чтобы вполне соответствовать сложной и запутанной дѣйствительности. Этою излишнею простотою страдаетъ и его взглядъ на литературу и книгопечатаніе. Что теперешняя наша литература, вообще говоря, не прививается и не привьется народу, это вѣрно. Существуютъ однако исключенія. Я не буду объ нихъ распространяться и укажу только на самого гр. Толстого, который напечаталъ рассказъ «Кавказскій плѣнникъ» сначала въ журналѣ «Заря», т. е. для «общества», а потомъ въ «Азбукѣ», т. е. для народа. Можетъ быть «Кавказскій плѣнникъ» и, помнится, еще одинъ рассказъ были напечатаны въ «Зарѣ» только какъ образцы рассказовъ для народа. Но есть и другіе этого рода примѣры. Наша критика (т. е. часть «общества») весьма много хвалила и хулила, вообще обсуждала солдатака Платона Каратаева въ «Войнѣ и мирѣ», — романъ этотъ написанъ конечно не для на-

рода, — между тѣмъ очень характерный разсказъ Каратаева о невинно сосланномъ на каторгу купцѣ вошелъ въ «Азбуку» подъ заглавіемъ «Богъ правду видитъ». Во всякомъ случаѣ дѣятельность гр. Толстого, какъ народнаго писателя, поглотила сравнительно ничтожную долю его силъ. Намъ, «обществу», онъ далъ «Дѣтство и отрочество», «Войну и миръ», а народу не далъ какъ писатель конечно ничего даже отдаленно похожаго на что-нибудь равноцѣнное. Это зависитъ прежде всего отъ того, что ему представился другой и тоже прямой путь служенія народу — дѣятельность педагогическая, къ которой его толкнулъ другой даръ природы — «педагогическій тактъ». Этотъ педагогическій тактъ гр. Толстой и самъ знаетъ за собой, да объ немъ свидѣлствуетъ и г. Марковъ, ссылающійся на свое личное знакомство съ веденіемъ дѣла въ школѣ гр. Толстого. Но о педагогической дѣятельности гр. Толстого рѣчь пойдетъ ниже. Однако народнымъ писателемъ гр. Толстой не сдѣлался, я думаю, не только потому, что нашелъ въ педагогіи иной способъ отплаты за эксплуатацію, въ которой онъ участвуетъ наравнѣ съ другими писателями. Тутъ есть и другая причина. Кругъ его умственныхъ интересовъ и слишкомъ широкъ, и слишкомъ узокъ для роли народнаго писателя. Съ одной стороны онъ владѣетъ запасомъ образовъ и идей, недоступныхъ народу по своей высотѣ и широтѣ. Съ другой стороны онъ, какъ человѣкъ извѣстнаго слоя общества, слишкомъ близко принимаетъ къ сердцу мелкія, узкія радости и тревоги этого слоя, слишкомъ ими занимать, чтобы отказаться отъ поэтическаго ихъ воспроизведенія. Забавы аристократическихъ салоновъ и бури дамскимъ будуаровъ, не смотря на все ихъ ничтожество, очевидное для самого графа Толстого, очевидно его интересуютъ. Эти интересы — новый элементъ совершающейся въ его душѣ драмы — мѣшаютъ ему не только быть народнымъ писателемъ, но и идти по другому, косвенному пути къ примиренію потребности поэтическаго творчества съ сознаніемъ нѣкоторой его грѣховности. Въ самомъ дѣлѣ рѣдко кому дано счастье умѣть писать для народа, — я называю это счастьемъ, хотя бы уже потому, что имѣть милліоны читателей

пріятиѣ, чѣмъ тысячи или сотни, — гр. Толстой можетъ и не обладать нужными для этого силами и способностями. Но разъ онъ увѣренъ, что нація состоитъ изъ двухъ половинъ и что даже невинныя, «непредсудительныя» наслажденія одной изъ нихъ клонятся къ невыгодѣ другой, — что можетъ мѣшать ему посвятить всѣ свои громадныя силы этой громадной темѣ? Трудно даже себѣ представить, чтобы какія-нибудь инныя темы могли занимать писателя, носящаго въ душѣ такую страшную драму, какую носить въ своей гр. Толстой: такъ она глубока и серьезна, такъ она захватываетъ самый корень литературной дѣятельности, такъ она казалось бы должна глушить всякіе другіе интересы, какъ глушить другія растенія цѣпкая павилика. И развѣ это недостаточно высокая пѣль жизни: напоминать «обществу», что его радости и забавы отнюдь не составляютъ радостей и забавъ общечеловѣческихъ; разъяснять «обществу» истинный смыслъ «явленій прогресса»; будить хоть въ нѣкоторыхъ, болѣе воспримчивыхъ натурахъ сознаніе и чувство справедливости? И развѣ на этомъ обширномъ полѣ: негдѣ разгуляться поэтическому творчеству? Гр. Толстой много и сдѣлалъ въ этомъ направленіи. Противопоставленіемъ двухъ означенныхъ половинъ въ «Казакахъ», севастопольскихъ очеркахъ, во многихъ мѣстахъ «Войны и мира», въ «Утрѣ помѣщика» и др. онъ доставилъ много хорошей духовной пищи общественному сознанію. Сюда же относятся его педагогическія статьи и самое изданіе журнала «Ясная Поляна», который, будучи продуктомъ книгопечатанія и слѣдовательно «искусной эксплуатаціи», тѣмъ не менѣе навѣрное вносилъ миръ въ совѣсть гр. Толстого. Нельзя того же сказать о тщательномъ изученіи и изображеніи радостей и тревогъ аристократическихъ салоновъ и бурь дамскихъ будuarовъ. Надѣюсь, читателю понятно, что эта тема удовлетворяетъ только потребность творчества гр. Толстого, причемъ онъ долженъ сознать, что уклоняется отъ жизненнаго пути, представляющагося ему правильнымъ, или по крайней мѣрѣ: долженъ сознать, что идетъ путемъ неправильнымъ. Правда, онъ тутъ получаетъ удовлетвореніе и какъ человѣкъ извѣстнаго слоя об-

щества, которому может быть не чуждо и все человеческое, но въ особенности близки интересы, чувства и мысли именно этого слоя. Это—такъ, но въ этомъ-то и состоитъ отклоненіе отъ пути, признаваемого гр. Толстымъ правильнымъ, тутъ то и начинается его *шуйца*, что опять-таки должно быть ему самому яснѣе, чѣмъ кому-нибудь. Въ самомъ дѣлѣ,—что значить предавать тисненію тончайшій и подробнѣйшій анализъ различныхъ перипетій взаимной любви Анны Карениной и флигель адъютанта графа Вронскаго, или исторіи Наташи Безуховой пѣе графини Ростовоу и т. п.? Говоря словами самого гр. Толстого, обнаруженіе во многихъ тысячахъ экземпляровъ анализа на-примѣръ ощущений графа Вронскаго при видѣ переломленнаго хребта любимой его лошади, само по себѣ не оставляетъ «предосудительнаго» поступка. Ему «пріятно получить за это деньги и извѣстность», а намъ, «обществу», не всему конечно, а преимущественно свѣтскимъ людямъ и кавалеристамъ очень любопытно посмотрѣться въ превосходное художественное зеркало. Когда дѣло идетъ о герояхъ произведеній г. Тургенева, колеблющихся между юною и неопытною дѣвою съ одной стороны и страстнымъ, стремительнымъ демономъ въ юбкѣ съ другой, о душевномъ состояніи автора не можетъ быть и разговора: оно прозрачно, какъ кружева страстнаго демона и цвѣтъ лица юной дѣвы, ибо г. Тургеневъ не смущенъ воззрѣніями гр. Толстого на роль книгопечатанія и литературы. Но гр. Толстой имѣетъ эти воззрѣнія. Поэтому ему должно быть крайне обидно слышать похвалы людей въ родѣ критиковъ «Русск. Вѣстника», «Русск. Міра» и «Гражданина», которые увѣрены, что, какъ выразился одинъ изъ нихъ, «литература ничѣмъ другимъ не можетъ питаться, какъ интересами образованнаго круга, потому что они одни только суть истинные національные интересы въ формѣ сознательной и приуроченной къ интересамъ цивилизаціи». «Русск. Вѣстникъ» 1874, № 4, статья о «Пугачевцахъ» гр. Салая). Конечно это только мое предположеніе, что гр. Толстому обидно слышать эти похвалы, но предположеніе кажется весьма вѣроятное. Другой изъ этихъ пещерныхъ критиковъ заявилъ,

что герои «Анны Карениной» суть «люди, сохраняющіе среди новых общественных наслоеній лучшія преданія культурнаго общества». Эти несчастные не знаютъ, что по мнѣнію гр. Толстого «въ поколѣніяхъ работниковъ («новыя общественныя наслоенія») лежитъ и больше силы, и больше сознанія правды и добра, чѣмъ въ поколѣніяхъ бароновъ, банкировъ, профессоровъ и лордовъ» («культурное общество»). Эти несчастные не подозреваютъ, что для гр. Толстого «требованія народа отъ искусства законныя требованія испорченнаго меньшинства такъ называемаго образованнаго класса»; что для гр. Толстого не то что гр. Сальясъ съ своими «Пугачевцами», а такіе великаны, какъ Пушкинъ и Бетховенъ, не стоятъ пѣсни о «Ванькѣ-клюшничкѣ» и напѣва «Внизъ по матушкѣ по волгѣ» (Сочиненія, т. IV, 380). Эти несчастные не понимаютъ, что то, что имъ нравится въ гр. Толстомъ, есть только его *шуйца*, печальное уклоненіе, *невольная* дань «культурному обществу», къ которому онъ принадлежитъ. Они бы рады были изъ него лѣвшу сдѣлать, тогда какъ онъ, я думаю, былъ бы счастливъ, еслибы родился безъ шуйцы. Повторяю, я только предполагаю, что гр. Толстому должно быть обидно слышать похвалы пещерныхъ людей, которыя (похвалы) относятся только къ его шуйцѣ. Но мнѣ лично всегда бываетъ обидно за гр. Толстого, когда я вижу усилія, и не безуспѣшныя, пещерныхъ людей замарать его своимъ нравственнымъ сосѣдствомъ. Обидно не потому, что я самъ желалъ бы стоять рядомъ съ гр. Толстымъ, хотя разумѣется и это привлекательно, но потому, что, марая его своимъ нечистымъ прикосновеніемъ, они отняли у общества чуть не всю его десницу. Почему читающей публикѣ рѣшительно неизвѣстны истинныя воззрѣнія гр. Толстого? Отчего они не коснулись общественного сознанія? Много есть тому причинъ, но одна изъ нихъ несомнѣнно есть нравственное сосѣдство пещерныхъ людей, холопски, т. е. съ разными привираніями и умолчаніями лобызающихъ шуйцу гр. Толстого. Я на себѣ испыталъ это. Я поздно познакомился съ идеями гр. Толстого, потому что меня отгоняли пещерные люди, и былъ пораженъ, увидавъ, что у него нѣтъ съ

ними ничего общаго. Полагаю, что это не исключеніе, а общее правило.

Драма, совершающаяся въ душѣ гр. Толстого, есть тоже моя гипотеза, но гипотеза законная, потому что безъ нея нѣтъ никакой возможности свести концы его литературной дѣятельности съ концами. Гипотеза же эта объясняетъ мнѣ все.

Члены, употребляя терминологию гр. Толстого, «общества» или, говоря языкомъ пещерныхъ людей, «культурнаго общества» представляются нашему автору людьми испорченными, исполненными лжи, мелкими даже въ лучшихъ проявленіяхъ ихъ духа. Онъ говоритъ наприимѣръ: «*страшно сказать*: я пришелъ къ убѣжденію, что все, что мы сдѣлали по этимъ двумъ отраслямъ (по музыкѣ и поэзіи), все сдѣлано по ложному, исключительному пути, не имѣющему значенія, неимѣющему будущности и ничтожному въ сравненіи съ тѣми требованіями и даже произведеніями тѣхъ же искусствъ, образчики которыхъ мы находимъ въ народѣ. Я убѣдился, что лирическое стихотвореніе, какъ наприимѣръ «Я помню чудное мгновеніе», произведенія музыки, какъ послѣдняя симфонія Бетховена,—не такъ безусловно и всемірно хороши, какъ пѣсня о «Ванькѣ клюшничкѣ» и напѣвъ «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ»; что Пушкинъ и Бетховенъ нравятся намъ не потому, что въ нихъ есть абсолютная красота, но потому, что мы также испорчены, какъ Пушкинъ и Бетховенъ, потому, что Пушкинъ и Бетховенъ одинаково лѣстятъ нашей уродливой раздражительности и нашей слабости». Нѣсколько раньше въ той же статьѣ («Ясно-Полянская школа за ноябрь и декабрь мѣсяцы») читаемъ: «Картина Иванова возбудитъ въ народѣ только удивленіе предъ техническимъ мастерствомъ, но не возбудитъ никакого, ни поэтическаго, ни религіознаго чувства, тогда какъ это самое поэтическое чувство возбуждено лубочною картинкой Іоанна Новгородскаго и чорта въ кувшинѣ. Венера Милосская возбудитъ только законное отвращеніе предъ наготой, предъ наглостью разврата—стыдомъ женщины. Квартетъ Бетховена послѣдней эпохи представится непріятнымъ шумомъ, интереснымъ развѣ только потому, что одинъ играетъ на большой

дудкѣ, а другой на большой скрипкѣ. Лучшее произведеніе нашей поэзіи, лирическое стихотвореніе Пушкина, представится наборомъ словъ, а смыслъ его презрѣнными пустяками. Введите дитя народа въ этотъ міръ, вы это можете сдѣлать и постоянно дѣлаете посредствомъ іерархіи учебныхъ заведеній, академій и художественныхъ классовъ, онъ прочувствуетъ и прочувствуетъ искренно и картину Иванова, и Венеру Милосскую, и квартетъ Бетховена, и лирическое стихотвореніе Пушкина. Но войдя въ этотъ міръ, онъ будетъ дышать уже не всѣми легкими, уже его болѣзненно и враждебно будетъ охватывать свѣжій воздухъ, когда ему случится вновь выйти на него».

Я бы могъ привести десяти подобныхъ цитатъ и даже жалѣю, что литературныя приличія и недостатки мѣста мѣшаютъ мнѣ перепечатать цѣлую треть IV т. сочиненій гр. Толстого. Можетъ показаться, что приведенныя строки, какъ и многія другія, опять-таки сближаютъ гр. Толстого съ славянофилами: тѣ вѣдь тоже доказывали, что добро, правда и красота живутъ только въ народѣ, мы же, цивилизованные люди, со временъ Петра питаемся зломъ, ложью и безобразіемъ. На самомъ дѣлѣ разнища между гр. Толстымъ и славянофилами громадна и здѣсь. Ему *страшно* сказать то, что онъ говоритъ, и ему дѣйствительно должно быть страшно, потому что самъ онъ не можетъ отказать отъ Иванова и Бетховена и промѣнять картину Иванова на лубочную картинку Іоанна Новгородскаго и чорта въ кувшинѣ. Последняя, какъ онъ замѣчаетъ, «замѣчательна по силѣ религіозно-поэтического чувства», но «уродлива», удовлетворить его значить она не можетъ. Славянофилы были увѣрены что они, такіе-то, Хомяковъ или Аксаковъ, не только поняли величіе народныхъ идеаловъ, но слились или по крайней мѣрѣ во всякую данную минуту могутъ слиться съ народомъ во всѣхъ своихъ воззрѣніяхъ религіозныхъ, поэтическихъ, политическихъ и проч. Гр. Толстой смотритъ на дѣло гораздо глубже, искреннѣе и правдѣе. Онъ помнитъ, что и самъ онъ захваченъ волной цивилизаціи и что нѣтъ у него силы уйти отъ нея, какъ нѣтъ ея у героя «Казакѣвъ» Оленина, нѣтъ у героя «Анны Карениной»

Константина Левина, нѣтъ у героя «Утра помѣщика» Нехлюдова и проч. Частое повтореніе этого драматическаго мотива въ произведеніяхъ гр. Толстого очень характерно,—онъ, этотъ мотивъ, переживается имъ самимъ, въ жизни, въ дѣйствительности. Часто гр. Толстого ставятъ рядомъ съ г. Тургеневымъ и Advигаютъ его героевъ въ рядъ надломленныхъ, безхарактерныхъ людей, ведущихъ свое родословное дерево кажется съ Евгенія Онѣгина. Оно отчасти можетъ быть и вѣрно, но гр. Толстой рисуетъ этихъ людей въ такой обстановкѣ и въ такіе моменты ихъ жизни, которые не приходили въ голову ни одному изъ нашихъ крупныхъ романистовъ. Въ этомъ-то и состоитъ глубокая оригинальность его какъ беллетриста. Онъ не предается фальшивой идеализаціи удалца, вора и пьяницы Лукашки, которому завидуетъ Оленинъ, или ямщика Илюшки, по поводу котораго Нехлюдовъ размышляетъ: зачѣмъ я не Илюшка! или того народа, жизнью котораго такъ хочетъ и такъ не можетъ жить Константинъ Левинъ. Даже въ знаменитомъ Платонѣ Каратаевѣ, затасканномъ нашей критикой, я не вижу фальшивой идеализаціи, какъ не вижу ея въ признаніи лубочной картинки уродливою, но полною религіозно поэтическаго чувства. Но авторъ ставитъ дѣлю такъ, что во всѣхъ этихъ грубыхъ и невѣжественныхъ дѣтяхъ народа оказывается нѣчто достойное зависти людей образованныхъ и тонко развитыхъ. Что это за нѣчто и почему гр. Толстой стоитъ на немъ такъ упорно? Я думаю, что устами Нехлюдова, Оленина, Левина и проч. гр. Толстой самъ завидуетъ Лукашкамъ и Илюшкамъ, потому что у Илюшекъ и Лукашекъ свѣтлѣе, тише въ душѣ, чѣмъ у него, гр. Толстого; свѣтлѣе и тише не только потому, что они—люди грубые и невѣжественные, а и потому, что они не виноваты напередъ передъ авторомъ «Войны и мира» и «Анны Карениной», а онъ передъ ними виноватъ: онъ участвовалъ и участвуетъ въ «искусной эксплуатаціи», совершающейся при посредствѣ книгопечатанія, телеграфовъ, желѣзныхъ дорогъ и другихъ «явленій прогресса». Фальшивое положеніе, въ которомъ находится авторъ «Войны и мира» и «Анны Карениной» (не онъ одинъ

конечно), немыслимо для Лукашекъ и Илюшекъ, а это конечно должно гарантировать этимъ грубымъ и невѣжественнымъ людямъ нѣкоторое превосходство надъ блестящимъ и тонко-развитымъ писателемъ. Съ другой стороны превосходство надъ ними гр. Толстого тоже не можетъ подлежать сомнѣнію. Въ чемъ же дѣло? Намъ отвѣтитъ самъ гр. Толстой словами сказанными имъ по отношенію къ дѣтямъ, но очевидно справедливыми и относительно Лукашекъ и Илюшекъ.

«Воспитывая, образовывая, развивая или какъ хотите дѣйствуя на ребенка, мы должны имѣть и имѣемъ безсознательно одну цѣль: достигнуть наибольшей гармоніи въ смыслѣ правды, красоты и добра. Еслибы время не шло, еслибы ребенокъ не жилъ всѣми своими сторонами, мы бы спокойно могли достигнуть этой гармоніи, добавляя тамъ, гдѣ намъ кажется недостаточнымъ, и убавляя тамъ, гдѣ намъ кажется лишнимъ. Но ребенокъ живетъ, каждая сторона его существа стремится къ развитію, перегоняя одна другую, и большею частью *самое движеніе впередъ этихъ сторонъ его существа мы принимаемъ за цѣль и содѣйствуемъ только развитію, а не гармоніи развитія*... Большею частью воспитатели выпускаютъ изъ виду, что дѣтскій возрастъ есть первообразъ гармоніи, и развитіе ребенка, которое независимо идетъ по неизмѣннымъ законамъ, принимаютъ за цѣль... Воспитатели какъ-будто объ одномъ только стараются, какъ бы не прекратился процессъ развитія и, если думаютъ о гармоніи, то всегда стараются достигнуть ея, приближаясь къ неизвѣстному для насъ первообразу въ будущемъ, удаляясь отъ первообраза въ настоящемъ и прошедшемъ. Какъ бы ни неправильно было развитіе ребенка, всегда еще остаются въ немъ первобытныя черты гармоніи. Еще умѣрая, по крайней мѣрѣ не содѣйствуя развитію, можно надѣяться получить хоть нѣкоторое приближеніе къ правильности и гармоніи. Но мы такъ увѣрены въ себѣ, такъ мечтательно преданы ложному идеалу взрослого совершенства, такъ нетерпѣливы мы къ близкимъ намъ неправильностямъ и такъ твердо увѣрены въ своей силѣ исправить ихъ, такъ мало умѣемъ понимать и цѣнить первобытную красоту ребенка, что мы скорѣй, какъ можно скорѣй раздуваемъ, заплываемъ кидаящихся намъ въ глаза неправильности, исправляемъ, воспитываемъ ребенка... *Идеалъ нашъ зады, а не спереди* (курсивъ гр. Толстого)... Учить и воспитывать ребенка нельзя и бессмысленно по той простой причинѣ, что ребенокъ стоитъ ближе меня, ближе каждому взрослому къ тому идеалу гармоніи правды, красоты и добра, до котораго я въ своей гордости хочу возвести его. Сознаніе этого идеала лежитъ въ немъ сильнѣе, чѣмъ во мнѣ. Ему нуженъ отъ

меня только матеріалъ для того, чтобы пополняться гармонически и всесторонне» (т. IV, 250).

Въ этомъ разсужденіи есть очень важный недосмотръ, значительно колеблящій все разсужденіе, именно недосмотръ закона наслѣдственности. Гр. Толстой полагаетъ, что слово Руссо, — человекъ родится совершеннымъ, — «есть великое слово и какъ камень останется твердымъ и истиннымъ». Къ сожалѣнію это совсѣмъ не вѣрно. Камень давно разсыпался, ибо сынъ сифилитика родится не совершенствомъ, а сифилитикомъ, сынъ идиота имѣетъ много шансовъ сдѣлаться не совершенствомъ, а слабымъ, сынъ дряблага барича — не совершенствомъ, а дряблымъ баричемъ и проч. Однако извѣстная доля истины все-таки заключается въ разсужденіи гр. Толстого, потому что сынъ напригѣръ дряблага барича все-таки имѣетъ возможность развиться правильнѣе, «гармоничнѣе» своего отца, и дисгармонія его физическихъ и духовныхъ силъ не имѣетъ такого рѣзкаго, законченнаго характера, какъ у взрослого. Я впрочемъ не на это хочу обратить вниманіе читателя. Пусть онъ подставитъ въ приведенномъ разсужденіи вмѣсто «взрослаго» человека — человека цивилизованнаго, члена «общества», хоть самого гр. Толстого, а вмѣсто ребенка — народъ, и онъ получитъ очень точное понятіе о воззрѣніяхъ гр. Толстого на отношеніе цивилизованныхъ людей къ Лукашкамъ и Илюшкамъ. Лукашка и Илюшка сравнительно съ нами — люди отсталые. Но для гр. Толстого и въ этомъ отношеніи идеалъ не впереди насъ, а сзади. Г. Марковъ или иной какой-нибудь яснолюбый либераль сочтетъ себя конечно вправѣ по этому случаю патетически заготовить: такъ-то куда насъ приглашаютъ эти друзья народа! они предлагаютъ намъ обратиться въ забубенныхъ Лукашекъ вмѣсто того, чтобы этимъ самымъ Лукашкамъ дать питательную и вкусную духовную пищу! Подъ маской любви къ народу они желаютъ оставить его въ состояніи, мало чѣмъ отличающемся отъ состояніи дикарей! Но поздно спохватились, господа! Народъ самъ понимаетъ, что ему нуженъ свѣтъ, и не поддастся на эту удочку! И проч., и проч., и проч., листовъ приблизительно на пять

печатныхъ съ площадными остротами и патетическими завываніями. Но все это яснолюбый либераль прогогочеть совершенно втунѣ. Втунѣ пропотѣеть онъ надъ отшлифовкой своего паюса и остроумія, ибо не смотря на высокій стиль и благородное, хотя и дѣланное негодованіе, всѣ его фразы далеко не стоятъ истраченной имъ бумаги, исписанныхъ имъ чернилъ и притупленныхъ перьевъ. Гр. Толстой очень хорошо понимаетъ, что возврата къ состоянію Лукашекъ и Илюшекъ для насъ, людей цивилизованныхъ, нѣтъ. Оттого-то онъ и гонитъ Оленина изъ казачьей станицы и не даетъ душевнаго покоя Нехлюдову и безъ сомнѣнія благополучно женить Константина Левина на Кити Щербацкой. Понимаетъ гр. Толстой и нежелательность возврата къ Лукашкамъ, даже еслибы вернуть этотъ былъ возможенъ. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ было полезно и справедливо начинать Лукашекъ и Илюшекъ тою цивилизаціей, которою начинены яснолюбые либералы, ибо свѣта не только что въ окошкѣ, его довольно много разлито во вселенной. Знаетъ же гр. Толстой, что изъ ребенка непременно выйдетъ взрослый человѣкъ, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ ребенокъ долженъ былъ обратиться именно въ такихъ взрослыхъ людей, какъ напримѣръ г. Марковъ или г. Цвѣтковъ. Лукашка и Илюшка составляютъ для гр. Толстого идеалъ не въ смыслѣ предѣла, его же не преjdeши, не въ смыслѣ высокой степени развитія, а въ смыслѣ высокаго *типа* развитія, неизмѣннаго до сихъ поръ возможности подняться на высшую ступень. Цѣль воспитанія, говоритъ гр. Толстой, должна состоять не въ развитіи, а въ гармоніи развитія. Это справедливо не только относительно воспитанія. Въ обществѣ и литературѣ то и дѣло раздаются требованія развитія напримѣръ нашей азіатской торговли или желѣзной промышленности или сельскаго хозяйства въ Россіи; въ любой педагогической книжкѣ слово «развитіе» повторяется чуть не чаще, чѣмъ буква з; одинъ очень тупой актеръ доказывалъ какъ-то при мнѣ, что актрисы — женщины неразвитыя; я очень хорошо помню, какъ въ шестидесятыхъ годахъ меня развивали и какъ я самъ развивалъ другихъ, — тогда

это было въ большой модѣ; Писаревъ доказывалъ, что Шекспиръ не развитъ, потому что вѣрить въ привидѣнія, и что Щедринъ не развитъ, потому что не занимается популяризацией естественныхъ наукъ и проч., и проч., и проч. Во всѣхъ этихъ случаяхъ говорится о развитіи, какъ о чемъ-то вполне ясномъ и себѣ довлѣющемъ. Между тѣмъ трудно найти понятіе менѣе опредѣленное и самостоятельное. Я вполне согласенъ съ г. Полетикой и другими заводчиками, что желѣзная промышленность наша должна развиваться, я согласенъ и съ гр. Орловымъ-Давыдовымъ, что наше сельское хозяйство подлежитъ развитію. Но наше согласіе немедленно прекращается, какъ только я узнаю *типъ* развитія, предлагаемый этими учеными людьми. Я говорю: пусть лучше наша желѣзная промышленность, наше сельское хозяйство остаются до поры до времени на низкой степени развитія, чѣмъ имъ развиваться дальше, сильнѣе, но по англійскому типу. Еслибы я, профанъ, публиковалъ свои собственные идеалы развитія сельскаго хозяйства и желѣзной промышленности, то гг. Полетика и Орловъ-Давыдовъ въ свою очередь объявили бы, что *такого* развитія они не хотятъ. Точно также, когда говорить: этотъ человѣкъ не развитъ или мало развитъ, надо ему помочь развиться, то фраза эта получаетъ опредѣленное содержаніе только по объясненіи предлагаемаго типа развитія. Конечно выраженіе гр. Толстого: «гармоническое развитіе» тоже требуетъ поясненія. Но онъ его и даетъ. Относительно Лукашекъ и Илюшекъ онъ съ особенною силою и очень часто упирается на то, что эти люди «сами удовлетворяютъ своимъ человѣческимъ потребностямъ». Изъ совокупности его воззрѣній слѣдуетъ заключить, что въ этомъ-то и состоитъ идеалъ, находящійся сзади насъ. Дайте этому типу подняться на высшую ступень, но не подмѣнивайте его инымъ типомъ развитія на томъ только основаніи, что этотъ иной типъ развитъ высоко. Такъ рассуждаетъ гр. Толстой, и я думаю, что воззрѣнія его оправдываются и наукою, и справедливостью. Гармоническимъ развитіемъ наука—и физическая, и нравственная—можетъ назваться только полное, разностороннее и равномѣрное развитіе всѣхъ

силъ и способностей. Если же я не самъ удовлетворяю своимъ потребностямъ, какъ Лукашка и Илюшка удовлетворяютъ своимъ, а пользуюсь чужими услугами, то значить нѣкоторыя мои силы остаются безъ работы и гармонія моей жизни нарушена. я — человекъ исковерканный, хотя бы нѣкоторыя другія мои силы получили колоссальное развитіе. Поэтому гр. Толстой совершенно правъ, утверждая, что идеалъ нашъ — позади насъ. Пусть трудно осуществить его въ настоящемъ и будущемъ, потому что работа жизни становится все многосложнѣе и слѣдовательно все труднѣе сохранить или возстановить гармонію силъ. Но идеалъ все-таки поставленъ, возможно приближеніе къ нему, которое и есть истинный путь прогресса. У насъ напротивъ прогрессомъ называется вся совокупность отклоненій отъ этого пути.

Итакъ гр. Толстой завидуетъ чистотѣ совѣсти и гармоническому развитію Лукашекъ и Илюшекъ. Но онъ не можетъ завидовать скудости ихъ понятій, многимъ печальнымъ сторонамъ ихъ образа жизни, ихъ невѣжеству, ихъ грубости. Напротивъ онъ желалъ бы отъ души поднять ихъ на высшую ступень развитія. Въ силу совершающейся въ его душѣ драмы онъ долженъ считать это даже своей обязанностью. Но можетъ ли онъ. могутъ ли цивилизованные люди вообще это сдѣлать? и если могутъ, то какъ слѣдуетъ приняться за дѣло? Гр. Толстой очевидно мучительно, болѣзненно занять этимъ вопросомъ. Есть что-то лихорадочное въ его приемахъ, — онъ то даетъ одно рѣшеніе, то беретъ его назадъ, то опять къ нему возвращается, то боится вмѣшательства цивилизованныхъ людей, то призываетъ его, то удаляется въ будуары Карениныхъ и Курагиныхъ и старается отыскать въ этомъ мірѣ хоть что-нибудь «гармоническое», то топчетъ этотъ міръ. Эта лихорадка умственной работы тѣмъ поразительнѣе, что совершается подъ покровомъ наружнаго спокойствія, которое принято называть объективизмомъ. Лихорадка эта вполне понятна. Вѣдь всѣ мы люди изломанные, искаженные, всѣ мы — либо жалкіе и наивные эгоисты, воображающіе, что наши радости и горести суть радости

и горести цѣлаго народа, даже всего человѣчества, либо, какъ гр. Толстой, чувствуемъ себя виноватыми и мучимся завистью къ чему-то такому, что намъ рѣшительно недоступно, что для насъ даже и не вполнѣ, не въ своемъ эмпирическомъ, наличномъ видѣ желательно. Противъ насъ стоитъ міръ грубости и невѣжества, въ которомъ однако есть задатки такой красоты, такой правды, такого добра, которыя при благоприятныхъ условіяхъ должны затмить насъ совсѣмъ, да и теперь уже отчасти затмѣваютъ. И въ этотъ-то міръ, для его-то блага мы должны что-то большое и важное внести, мы-то, виноватые и искалѣченные! Должны, потому что намъ говорить это совѣсть, но можемъ ли? Не напортимъ ли мы только? Не лучше ли предоставить дѣло на волю божію, какъ говорили въ старину въ судебныхныхъ рѣшеніяхъ?

Тутъ вытягивается шуйца гр. Толстого. Критика наша достаточно говорила о непріязненномъ отношеніи гр. Толстого къ историческимъ лицамъ, пытающимся дѣйствовать на свой страхъ, по своему крайнему разумѣнію—непріязненнымъ отношенію, доходящемъ до ненависти и презрѣнія, и о его пристрастіи къ людямъ смиреннымъ и недѣлятельнымъ, сознающимъ себя слабыми орудіями цѣлесообразнаго хода исторіи. Мнѣ было очень смѣшно читать «Критическій фельетонъ» въ № 5 «Дѣла», гдѣ авторъ съ комическою серьезностью увѣряетъ, что онъ впервые разоблачаетъ съ этой стороны «Войну и миръ». Я не вижу никакой надобности повторять то, что было говорено такъ много разъ въ разныхъ журналахъ и газетахъ. Я прибавлю только то, чего наша критика не договорила. Еслибы мнѣ пришлось трактовать о философской подкладкѣ «Войны и мира», я бы опровергалъ ее не отъ своего имени, а отъ имени гр. Толстого, занимая возраженія отчасти изъ его педагогическихъ статей, а отчасти изъ «Войны и мира» же. Я бы не сталъ напримѣръ разбирать, на сколько основательно приписывать какой-нибудь разумной, цѣлесообразной силѣ такую нелѣпую и недостойную комедію, какъ кровавое движеніе народовъ сначала съ запада на востокъ, а потомъ съ востока на западъ. Допустимъ, что

всѣ доводы гр. Толстого въ пользу разумности и цѣлесообразности всѣхъ подробностей этого, измолотившаго сотни тысячъ человѣческихъ жизней движенія, вполне резонны. Но вѣдь это движеніе туда и обратно заняло въ исторіи всего нѣсколько лѣтъ. Движеніе европейской цивилизаціи совершается уже много вѣковъ, а гр. Толстой, какъ мы видѣли въ прошлый разъ, превосходно доказалъ, что это движеніе нецѣлесообразно и неразумно, что съ нимъ слѣдуетъ бороться. Еслибы какимъ-нибудь непонятнымъ чудомъ одинъ кровавый эпизодъ этого многовѣковаго движенія и оказался вдругъ разумнымъ и цѣлесообразнымъ, то передъ такимъ явленіемъ слѣдуетъ только вложить палецъ удивленія въ ротъ изумленія. Стараться же его постигнуть было бы совсѣмъ напраснымъ трудомъ. Не сталъ бы я тоже обсуждать увѣренія гр. Толстого, что Наполеонъ, Александръ, Кутузовъ были тѣ именно люди, какіе только и могли быть выставлены историческими условіями. Я бы просто припомнилъ кое-что изъ того, что гр. Толстой говорилъ г. Маркову въ статьѣ «Прогрессъ и опредѣленіе образованія». Напримѣръ: «очень можетъ быть забавно разсуждать вкривь и вкосъ о тѣхъ историческихъ условіяхъ, которыя заставили Руссо выразиться именно въ той формѣ, въ какой онъ выразился». Или: «историческое позрѣніе можетъ породить много занимательныхъ разговоровъ, когда дѣлать нечего, и объяснить то, что всѣмъ извѣстно» и т. п. Такая очная ставка гр. Толстого съ гр. Толстымъ же была бы въ томъ отношеніи полезна, что навела бы на необходимость объяснить эти противорѣчія. Что умный человѣкъ заблуждается, въ этомъ еще нѣтъ ничего особенно поразительнаго: не заблуждаются только не разсуждающіе. Но что умный человѣкъ такъ рѣзко противорѣчить себѣ, это заслуживаетъ большаго вниманія, потому что причины, толкающія его къ противорѣчіямъ, должны непременно быть очень серьезны и очень поучительны. Какъ уже сказано, для меня всѣ эти причины сводятся къ столкновенію потребностей гр. Толстого съ его сознаніемъ. Подтвердить однако эту мысль анализомъ «Войны и мира» я не берусь. Это потребовало бы слишкомъ много времени и слишкомъ

большаго труда. Къ счастью у гр. Толстого есть одна небольшая, но высоко художественная повѣсть, содержащая въ сжатомъ видѣ всѣ нужные для меня элементы. Къ счастью также наша критика, сколько мнѣ по крайней мѣрѣ извѣстно, не занималась ею. Значить я не рискую надобѣсть читателю. Повѣсть эта называется «Поликушка», напечатана она въ III томѣ сочиненій гр. Толстого.

Дворовый Поликей — человекъ добрый и вообще недурной, но слабый. Въ числѣ его слабостей есть страстишка къ воровству, которую онъ приобрѣлъ на конномъ заводѣ отъ конюшаго, перваго вора по всему околотку. Любитъ онъ тоже выпить. Последній его подвигъ состоялъ въ томъ, что онъ въ барской конторѣ укралъ дрянные стѣнные часы. Барыня, женщина нервная, чувствительная и безтолковая, «стала его урезонивать, говорила, говорила, причитала, причитала, и о Богѣ, и о добродѣтели, и о будущей жизни, и о женѣ, и о дѣтяхъ, и довела его до слезъ. Барыня сказала:

— Я тебя прощаю, только обѣдай ты мнѣ никогда впередъ этого не дѣлать.

— Вѣкъ не буду! Провалиться мнѣ, разорвись моя утроба! говорилъ Поликей и трогательно плакалъ. Поликей пришелъ домой и дома какъ теленокъ ревѣлъ цѣлый день и на печи лежалъ. Съ тѣхъ поръ ни разу ничего не было замѣчено за Поликеемъ».

Однако репутація вора ему много вредила и, когда пришло время рекрутскаго набора, на него всѣ указывали. Надо было сдавать троихъ. Относительно двоихъ изъ нихъ не было никакихъ колебаній ни у барыни, ни у міра. Третьимъ староста предлагалъ барынѣ или Поликею, или изъ семьи Дутлова, стараго и не бѣднаго мужика, у котораго было два сына и племянникъ. Староста желалъ выгородить Дутловыхъ и сдать Поликушку. Барыня жалѣла и Дутловыхъ, но горой стояла за Поликея. «Одно только скажу тебѣ, говорила она, что Поликея я ни за что не отдамъ. Когда послѣ этого дѣла съ часами онъ самъ признался мнѣ и плакалъ и клялся, что онъ исправится, я долго гово-

рила съ нимъ и видѣла, что онъ тронуть и искренно раскаялся. («Ну, понесла!» подумалъ староста). Съ тѣхъ поръ вотъ семь мѣсяцевъ, а онъ ни разу пьянъ не былъ и ведетъ себя прекрасно. Мнѣ его жена говорила, что онъ другой человѣкъ сталъ. И какъ же ты хочешь, чтобы я теперь наказала его, когда онъ исправился? Да развѣ это не безчеловѣчно отдать человѣка, у котораго пять человѣкъ дѣтей и онъ одинъ? Нѣтъ, ты мнѣ лучше не говори про это, Егоръ...». Порѣшили на Дутловыхъ и жеребій выпалъ племяннику. Между тѣмъ, еще во время разговора со старостой, у безтолковой барыни блеснула блажная мысль послать Поликее въ городъ получить порядочныя деньги «три полтысячи рублей» (на ассигнаціи), какъ потомъ съ гордостью говорилъ Поликушка. Она не думала разумѣется, что рискуетъ, искушая человѣка; она была вполне увѣрена, что деньги будутъ привезены сполна, ибо знаніе человѣческаго сердца показало ей, что ея краснорѣчіе окончательно обратило вора и пьяницу на путь истины. Она кажется въ своемъ приказаніи только и руководствуется, что желаніемъ обнаружить свою силу и проницательность. Сцены тревоги семьи Поликея, когда его позвали къ барынѣ (какъ думали въ первую минуту, для сообщенія вѣсти о рекрутчинѣ), и сборовъ Поликея въ дорогу я передавать не стану, какъ потому, что онѣ мнѣ здѣсь не нужны, такъ и потому, что ихъ пришлось бы выписывать цѣликомъ, чтобы оцѣнить ихъ мастерство и правдивость. Въ особенности поразительна жена Поликея, въ которой сначала нѣтъ кажется ничего, кромѣ отчаянія, а потомъ, когда Поликей принесъ извѣстіе объ удивительномъ приказаніи барыни, радость и гордость борются съ тревожнымъ опасеніемъ, что Поликей не выдержитъ искуса. Намъ нужно отмѣтить только одну подробность: шапка у Поликея оказалась столь безобразно рваная, что надо было ее чинить; жена засовала внутрь выбившіеся изъ-подъ покрышки хлопки и зашила кое-какъ дыру. Поликей наконецъ ѣдетъ, гордый, счастливый и съ твердымъ рѣшеніемъ исполнить порученіе свято. И дѣйствительно онъ благополучно миновалъ всѣ кабаки и попивныя, получилъ деньги и поѣхалъ домой,

пріятно мечтая о благодарности и уваженіи, которыя его тамъ ждутъ. Конвертъ съ деньгами онъ для вѣрности положилъ въ шапку и, пока не заснулъ въ тележкѣ, неоднократно ощупывалъ конвертъ и засовывалъ его поглубже въ шапку. Одно изъ этихъ движеній и погубило его. «Плисъ на шапкѣ былъ гнилой, поясняетъ рассказчикъ, и именно потому, что накануне Акулина старательно зашила его въ прорванномъ мѣстѣ, онъ разлѣзся съ другого конца, и именно то движеніе, которымъ Поликей, снявъ шапку, думалъ въ темнотѣ засовать глубже подъ шлопки письмо съ деньгами, это самое движеніе распоролло шапку и высунуло конвертъ однимъ угломъ изъ-подъ плису». Словомъ, Поликей вернулся безъ денегъ и повѣсился. Жена его мыла ребятъ въ ту минуту, когда узнала объ этомъ. Она бросилась къ повѣсившемуся, и въ это время одинъ изъ ребятъ захлебнулся и умеръ. Этого уже не могла вытерпѣть многострадальная женщина и сошла съ ума, причемъ барыня еще разъ блистательно обнаружила свою чувствительность и безтолковость. Я рассказываю, такъ сказать, бѣгомъ, и несчастія семьи Поликушки, сбитыя въ кучу, могутъ показаться нѣсколько аляповатыми. Но кто читалъ или прочтетъ «Поликушку» въ подлинникѣ, тотъ этого не скажетъ. Дѣло этимъ не кончается. Старикъ Дутловъ, сдавъ въ городѣ своего племянника, на обратномъ пути нашелъ потерянный Поликеемъ конвертъ съ деньгами, представилъ его чувствительной и безтолковой барынѣ и получилъ отъ нея всѣ «три полтысячи» въ подарокъ. «Пускай возьметъ всѣ, нетерпѣливо говорила барыня горничной. Что, ты меня не понимаешь? Эти деньги несчастныя, никогда не говори мнѣ про нихъ. Пускай возьметъ себѣ этотъ мужикъ, что нашелъ. Иди, ну иди же!» Часть этихъ денегъ счастливый Дутловъ (тоже мастерская фигура: прижимистый старикъ, смѣсь хитрости съ искренностью, простоты съ торжественностью, типичный великорусскій мужикъ) употребилъ на наемъ охотника за своего племянника. Вотъ какъ значитъ иногда неожиданно разыгрываются житейскія драмы. Цивилизованный человѣкъ, чувствительная и безтолковая барыня, самоувѣренно рѣшила, что имѣетъ достаточно

и ума, и власти, и житейского опыта для того, чтобы благо-
дѣтельствовать и даже окружить нѣкоторымъ почетомъ семью
Поликушки. Вмѣшательство ея опредѣлило также идти въ ре-
круты Дутлову. Но комбинація разныхъ мелкихъ обстоятельствъ
въ родѣ починенной шапки и нахождения денегъ именно Дутло-
вымъ, комбинація, не лишенная вѣроятно нѣкоторой разумности
и цѣлесообразности, перевернула все вверхъ дномъ. То именно,
что гордый, но слабый разумъ, какъ чувствительной барыни,
такъ и Поликея и жены его, старался направить къ счастью
Поликушки, обрушилось страшною тяжестью на всю его семью
и раздавило ее. А Дутлову напротивъ выпалъ самый счастли-
вый билетъ лотереи.

Если смотрѣть на «Поликушку», какъ на анекдотъ, т. е.
какъ на рассказъ объ единичномъ, необыкновенномъ, исключи-
тельномъ, не подлежащемъ какому-нибудь обобщенію случаѣ,
то можно конечно только сказать: да, очень странное стеченіе
обстоятельствъ. Но широкій, преимущественно склонный къ об-
общеніямъ умъ гр. Толстого не годится для анекдотовъ: онъ
ихъ никогда не писалъ и, я думаю, не будетъ писать. Совсѣмъ
у него иначе голова устроена. И въ «Поликушкѣ» слѣдуетъ ви-
дѣть отраженіе нѣкоторыхъ задушевныхъ, общихъ понятій ав-
тора. Съ точки зрѣнія господствующихъ о гр. Толстомъ мнѣ-
ній дѣло объясняется очень просто: недовѣріе къ человѣче-
скому разуму, неспособному понять цѣлей Провидѣнія, гордо
помышляющему о своихъ собственныхъ цѣляхъ и терпящему
въ концѣ концовъ полное пораженіе. Это — такъ. Я знаю.
что гр. Толстой имѣетъ такія воззрѣнія, я знаю, что въ этомъ
направленіи онъ можетъ унизиться (въ философскомъ отноше-
ніи) даже до такой фразы: «не случайно, а цѣлесообразно ок-
ружила природа земледѣльца земледѣльческими условіями, а
горожанина — городскими» (т. IV, 21). Но я не могу только
отмѣтить поразительное явленіе и затѣмъ пройти мимо. Я съ
величайшимъ недоумѣніемъ останавливаюсь передъ нимъ и спра-
шиваю себя: какъ могъ сказать такую плоскость такой человѣкъ,
какъ гр. Толстой, который такъ отчетливо, такъ глубоко пони-

мать неразумность и нецѣлесообразность историческаго хода событій и такъ страстно и настойчиво борется съ нимъ, ища при этомъ опоры въ своемъ разумѣ и ставя передъ собой свои особенныя цѣли? Мнѣ кажется, что я нашелъ отвѣтъ, который и предлагаю читателю. Скажу однако, что еслибы гипотеза, построенная мною для объясненія литературной дѣятельности гр. Толстого, оказалась даже несостоятельною, но если мнѣ удастся сообщить при этомъ читателю хоть часть того интереса, который возбуждается во мнѣ этотъ писатель, такъ я и тѣмъ буду доволенъ. Потому что онъ глубоко поучителенъ даже въ своихъ многочисленныхъ противорѣчiяхъ. Мнѣ кажется, что корень несчастiй, обрушившихся на семью Поликея, заключается для гр. Толстого въ чувствительной и безтолковой барынѣ, въ цивилизованномъ человѣкѣ, слабомъ и исковерканномъ, но самоуверенно вмѣшивающемся въ жизнь народа. Наблюденiе, чисто теоретическiя соображенiя и чувство совѣсти и отвѣтственности привели его къ заключенiю, что цивилизованный человѣкъ плохъ. Но наблюденiе же, теоретическiя же соображенiя и опять-таки чувство отвѣтственности привели его къ другому заключенiю: цивилизованный человѣкъ обязанъ дѣйствовать и дѣйствовать въ извѣстномъ направленiи. Изъ этого послѣдняго заключенiя прiстекаетъ вся десница гр. Толстого, смѣлость его мысли, благородство стремленiй, энергiя дѣятельности. Но эта нитка ежеминутно грозитъ оборваться на соображенiяхъ о негодности цивилизованнаго человѣка: вотъ и самого гр. Толстого все тянетъ къ миру дамскихъ будуаровъ. Мысль труситъ, стремленiя замираютъ, энергiя слабѣетъ, и вся надежда возлагается на какое-то туманное цѣлесообразное начало, которое безъ насъ и наперекоръ намъ устроитъ все по своему. Въ этотъ же психическiй моментъ совершаются и другiя явленiя. О пристрастiи гр. Толстого къ семейному началу наша критика тоже говорила такъ много, что мнѣ нужно только договорить недоговоренное ею. Доводы гр. Толстого въ пользу преобладающаго, всепоглощающаго значенiя семейнаго начала, доходящiе до апофеоза «сильной и плодovитой самки» Наташи Безуховой (въ «Войнѣ

и мирѣ» есть прямо логическіе доводы, кромѣ логики образов), очень удобно опровергаются, какъ и нѣкоторые его философско-историческіе взгляды, его же собственными соображеніями. Я впрочемъ не стану этимъ заниматься и обращаю вниманіе читателя на слѣдующее любопытное обстоятельство. Замѣчательно, что, вводя читателей въ міръ крестьянскій, народный, гр. Толстой не предается преувеличенной идеализаці семейнаго начала и даже совсѣмъ этой стороны жизни не касается. Этимъ умолчаніемъ, если его поставить рядомъ съ гимнами «сильной и плодovitой самкѣ» въ цивилизованномъ быту (и чѣмъ выше общественный слой, тѣмъ сильнѣе авторъ поетъ этотъ гимнъ), гр. Толстой какъ будто говоритъ: обитателямъ салоновъ и будуаровъ надо бросить мысль о какой бы то ни было политической и общественной дѣятельности, она имъ не по плечу; если есть у нихъ семья, такъ это — лучшее, что у нихъ есть; внѣ этой сферы они могутъ только вредить; народъ — другое дѣло. Кромѣ того, пропаганда всепоглощающаго семейнаго начала въ цивилизованномъ быту представляетъ гр. Толстому нѣкоторую точку опоры, нѣкоторое оправданіе его экскурсіямъ въ міръ салоновъ и будуаровъ. Нужно же найти что-нибудь хорошее тамъ, куда его помимо его воли такъ и тянетъ его шуйца; нужно же противопоставить что-нибудь этимъ Курагинымъ и Облонскимъ, Каренинымъ и Вронскимъ. Но гдѣ лежитъ центръ тяжести ихъ жизни? что ихъ больше всего занимаетъ? Разрушеніе семейнаго начала. Значить и противопоставить имъ можно только семейное начало.

Повторяю, все это гипотеза. Но безъ нея гр. Толстой для меня—неразрѣшимая загадка. И если читатель еѣ приметъ, то пойметъ конечно, что въ вопросѣ о народномъ образованіи, который состоитъ собственно въ томъ, какъ и что мы, цивилизованные люди, должны и можемъ передать народу, что въ этомъ вопросѣ гр. Толстой не могъ обойтись безъ противорѣчій.

XI *).

Шуйца и десница гр. Толстого.

(Окончаніе).

Терпимость рѣзко отличаетъ гр. Толстого отъ другихъ нашихъ педагоговъ. Онъ не дѣлаетъ себѣ изъ того или другого способа обученія грамотѣ любимаго конька и не ѣздитъ на немъ съ тѣмъ комическимъ видомъ Георгія Побѣдоносца, образцомъ котораго мы любовались въ статьѣ «Семьи и школы», составленной «по Миропольскому». Гр. Толстой полагаетъ, что всѣ существующіе способы обученія грамотѣ имѣютъ свои достоинства и свои недостатки, что всѣ они могутъ и должны примѣняться, смотря по обстоятельствамъ, т. е. смотря по особенностямъ учениковъ и учителей. Если гр. Толстой и смѣется иногда надъ тѣмъ или другимъ способомъ, то только потому, что ему, этому способу, придается кѣмъ-либо изъ педагоговъ значеніе всевластнаго кумира. Тутъ гр. Толстой сходится, можно сказать, со всѣми педагогами-теоретиками и практиками отъ Ушинскаго до какого-нибудь дьячка съ «азами», но также и расходится со всѣми ими въ томъ смыслѣ, что не творитъ себѣ кумира. Терпимость эта не идетъ однако далѣе обученія грамотѣ. За этой первой ступенью образованія начинается уже полный разладъ между гр. Толстымъ и другими педагогами. Разладъ этотъ находится въ ближайшей связи съ другой чертой, еще рѣзче выдѣляющей гр. Толстого изъ среды нашихъ педагоговъ.

Г. Евтушевскій принималъ въ прошломъ году дѣятельное участіе въ устройствѣ семейныхъ или домашнихъ, не помню названія, школъ, предназначенныхъ для дѣтей извѣстнаго класса общества — средняго или выше средняго достатка. Вопросъ объ

*) 1875, июль.

этихъ школахъ разрабатывался, помнится, и въ «Семьѣ и школѣ». Съ годъ тому назадъ баронъ Корфъ публиковалъ въ газетахъ объ устроенной имъ гдѣ-то въ Швейцаріи школѣ, опять-таки конечно для людей средняго и выше средняго достатка. Въ виду дѣтей этого класса пропагандируются и фребелевскіе сады. Вообще, если вы прослѣдите теоретическую и практическую дѣятельность нашихъ извѣстнѣйшихъ педагоговъ, т. е. посмотрите гдѣ и кому они даютъ уроки, для кого пишутъ статьи и книги, объ чемъ бесѣдуютъ въ педагогическомъ обществѣ, то увидите, что они много, очень много работаютъ для «общества». Гр. Толстой напротивъ, какъ общественный дѣятель, т. е. по скольку его дѣятельность подлежитъ нашему сужденію, очень мало интересуется образованіемъ и воспитаніемъ высшихъ классовъ общества. Если ему случалось писать напримѣръ объ университетскомъ образованіи или о значеніи классическаго образованія (которое онъ, мимоходомъ сказать, рѣшительно отрицаетъ), то только къ слову, для разъясненія нѣкоторыхъ теоретическихъ вопросовъ, поставленныхъ имъ ради удобнѣйшаго разрѣшенія коренного для него вопроса, — вопроса объ образованіи народномъ. Этимъ сопоставленіемъ я отнюдь не думаю бросить какую-нибудь тѣнь на педагоговъ: наши дѣти не менѣе дѣтей народа нуждаются въ образованіи. Я только констатирую фактъ. Фактъ этотъ чреватъ чрезвычайно важными послѣдствіями. Педагогъ, привыкшій къ атмосферѣ семействъ средняго и выше средняго достатка и казенныхъ или частныхъ учебныхъ заведеній, обезпеченныхъ казеннымъ содержаніемъ или крупной платой учениковъ, естественно приходитъ къ мысли объ образованіи идеальномъ. Какъ ни неудовлетворительны въ разныхъ отношеніяхъ наличныя учебныя заведенія и семейная обстановка достаточныхъ людей, но тутъ имѣются большія, часто громадныя матеріальныя средства; поэтому педагогу можетъ хотя слабо меркнуть пріятная мысль дать своимъ ученикамъ такое образованіе, которое онъ считаетъ наилучшимъ, наиболѣе соотвѣтствующимъ, какъ у насъ выражаются, «послѣднему слову науки». Это совершенно въ порядкѣ вещей. Но совершенно въ порядкѣ вещей и

діаметрально противоположный взглядъ гр. Толстого. По отношенію къ народному образованію онъ считаетъ просто безсмысленнымъ вопросъ: какъ дать наилучшее образованіе? Чтобы видѣть, что это вопросъ дѣйствительно безсмысленный, надо взять какой-нибудь рѣзкій примѣръ наилучшаго образованія. Я напримѣръ полагаю, что наилучшая программа образованія дана Ковтовой классификаціей наукъ, и если бы у меня имѣлись матеріальныя средства и другія благопріятныя условія, я обучалъ бы своихъ дѣтей сперва математикѣ (въ извѣстной послѣдовательности ея подраздѣленій), потомъ астрономіи, затѣмъ физикѣ, химіи, біологіи и наконецъ наукамъ общественнымъ. Бѣльшее или меньшее приближеніе къ этой программѣ возможно для людей со средствами, это — «наилучшее образованіе» (т. е. одно изъ наилучшихъ, потому что другіе могутъ выставить другія программы), но какъ его дашь народу?

Конечно, если бы вопросъ стоялъ такъ просто и рѣзко, такъ ребромъ, то не могло бы быть никакихъ пререканій между гр. Толстымъ и педагогами. Было бы ясно, что они толкуютъ о совершенно разныхъ вещахъ. Но дѣло выходитъ гораздо сложнее. Педагоги вносятъ въ народное образованіе привычки мысли, выработанныя въ совсѣмъ иной сферѣ, но съ перваго же шага наталкиваются на практическую необходимость сбавить кое-что съ требованій «послѣдняго слова науки». Съ другой стороны и гр. Толстой имѣетъ, какъ и всякій человѣкъ, свои идеалы «наилучшаго образованія» и не можетъ не желать поднятія уровня требованій народа и условій его жизни до этихъ идеаловъ. Разница до сихъ поръ выходитъ, значитъ, все-таки какъ будто только количественная. Но она получаетъ характеръ очень яснаго качественного различія, какъ только вы взглянете въ отношенія обѣихъ спорящихъ сторонъ къ народу и къ идеаламъ наилучшаго образованія. Педагоги вполне увѣрены въ безусловныхъ достоинствахъ своихъ идеаловъ и вмѣстѣ съ тѣмъ смотрятъ на народъ, какъ на грубую, глупую и невѣжественную толпу. Примѣняясь къ этой грубости, глупости и невѣжеству, они дѣлаютъ извѣстныя урѣзки въ своихъ идеалахъ и напри-

мѣръ, вмѣсто ряда наукъ въ извѣстной послѣдовательности, предлагаютъ народу какую-то педагогическую окрошку, составленную изъ безсвязныхъ обрывковъ разнообразѣйшихъ знаній, или низводятъ наглядное обученіе, представляющееся имъ послѣднимъ словомъ науки, до уровня вопросовъ о полетѣ лошади и количествѣ ногъ у ученика. Выходятъ и волки сыты, и овцы цѣлы; и идеалы наилучшаго образованія сохранены, и сдѣлано снисхожденіе къ глупости мужика. Гр. Толстой находится въ иномъ положеніи. Не идеализируя мужика, не отрицая ни его грубости, ни его невѣжества, онъ видитъ въ немъ задатки громадной духовной силы, которой нужно только дать толчокъ. Къ идеаламъ же наилучшаго образованія, какъ и вообще къ идеаламъ «общества» цивилизованныхъ людей, онъ относится напротивъ крайне скептически. На основаніи изложенныхъ мною воззрѣній гр. Толстого можно бы было уже а priori сказать, что онъ долженъ отрицательно относиться къ дѣятельности нашихъ педагоговъ: это вѣдь только частный случай столкновенія «общества» съ народомъ. И надо правду сказать, что трудно бы было найти область мысли и дѣятельности, по отношенію къ которой скептицизмъ гр. Толстого былъ бы законнѣе. Благодаря стеченію благопріятныхъ для господъ педагоговъ обстоятельствъ, они пользовались до сихъ поръ какимъ-то страннымъ succès de silence. Родители и различныя казенныя и общественныя учрежденія раскупали ихъ книжки въ громадномъ для Россіи количествѣ экземпляровъ; земства различныхъ губерній вызывали ихъ для устройства учительскихъ сѣздовъ и чтенія лекцій: многіе изъ нихъ стяжали себѣ титулъ «нашего извѣстнаго педагога» и проч. Мнѣ извѣстны, правда, случаи разочарованія земства въ выписанномъ имъ изъ Петербурга патентованномъ педагогѣ, а также случаи разочарованія родителей въ періодическихъ и неперіодическихъ педагогическихъ изданіяхъ. Но всѣ подобныя недовольства и разочарованія какъ-то мало влияли наружу, отчасти можетъ быть по свойственной русскому человѣку привычкѣ къ долготерпѣнію и молчанію, отчасти изъ боязни осканлиться сомнѣніемъ въ ореолѣ научности и степен-

ности, втихомолку, но прочно окружившемъ головы «нашихъ извѣстныхъ педагоговъ». Бываетъ это, что въ обществѣ появляется человѣкъ съ репутаціей скромности, приличія, степенности, и всѣ привыкаютъ его видѣть, и никто не рѣшается заговорить объ его нескромностяхъ и неприличіяхъ, и всѣ, Богъ знаетъ почему, точно условились, смотреть сквозь пальцы на его поведеніе. Такъ было и съ педагогами, пока гр. Толстой не вторгся съ своей критикой. Благодаря его иниціативѣ, профаны—кто старательнѣе и смѣлѣе, а кто (какъ я, грѣшный) и впервые—заглянули въ творенія нашихъ извѣстныхъ педагоговъ, прислушались къ ихъ изустнымъ преніямъ и увидѣли, что за вѣдшимъ обликомъ учености, за терминологіями, классификаціями и перечисленіями Шольцевъ и Шмальцевъ, скрывается нѣчто микроскопически малое. А тутъ еще и специалисты поддерживали профановъ. Мы видѣли, какое положеніе занялъ въ поднятѣ гр. Толстымъ спорѣ уважаемый петербургскій педагогъ-математикъ, г. Страннолюбскій. Вотъ и другой примѣръ. Въ «Кіевскихъ Университетскихъ Извѣстіяхъ» нынѣшняго года напечатанъ «Обзоръ русской химической литературы за 1874 г.» г. Алексѣева. Между прочимъ тамъ разбирается произведеніе наставника кіевской учительской семинаріи г. Пантюхова, одобренное для употребленія въ учительскихъ семинаріяхъ—«Химическія свѣдѣнія». Г. Алексѣевъ находитъ, что эта «книжонка» «замѣчательна по абсолютному непониманію авторомъ того, о чемъ онъ взялся говорить», что и подтверждается цитатами. Не менѣе строго относится авторъ «Обзора» къ произведенію весьма извѣстнаго нашего педагога, г. Водовозова—«Элементарные рассказы изъ физики и химіи». Ограничиваясь только своею спеціальностью, рассказами изъ химіи, г. Алексѣевъ находитъ, что сочиненіе г. Водовозова «даже далеко за собой оставляетъ произведеніе г. Пантюхова, и къ нему смѣло можно примѣнить то выраженіе, которое въ средѣ с.-петербургскаго педагогическаго общества одинъ изъ современныхъ педагоговъ съ высоты своего величія, но вполнѣ неосновательно примѣнилъ относительно азбуки графа Л. Толстого». Въ концѣ концовъ ав-

торъ говорить: «Я такъ долго остановился на этихъ двухъ книжонкахъ, потому что считаю, что онѣ могутъ принести положительный, непоправимый вредъ учащимся. Крайне прискорбно видѣть подобное спекулятивное отношеніе къ дѣлу». Можетъ быть приговоръ почтеннаго автора «Обзора» и слишкомъ строгъ, но я заношу его въ свои записки, дабы передъ читателемъ открылась такая любопытная перспектива: что было бы, если бы люди науки разобрали, каждый по своей специальности, произведенія нашихъ педагоговъ, допущенныя, рекомендованныя или одобренныя для употребленія въ учительскихъ семинаріяхъ и народныхъ школахъ? Право, страшно подумать, даже помимо отзывовъ гг. Страннолюбскаго и Алексѣева, ибо и я, темный профанъ, какъ и другіе профаны, могъ бы найти въ означенныхъ произведеніяхъ не мало грѣховъ противъ науки, имя которой ежеминутно всеу призывается педагогами. Намъ говорить, что гр. Толстой есть врагъ науки, ибо отрицаетъ возможность научнаго построенія педагогики. Обвиненіе важное, и мы его сейчасъ рассмотримъ. Но, справедливо оно или нѣтъ, а все-таки нельзя ставить дилемму: на чьей сторонѣ правда, — на сторонѣ науки, или на сторонѣ гр. Толстого? Это дилемма бессмысленная, потому что въ научномъ дѣлѣ, въ предѣлахъ компетенціи науки, правда всегда на ея сторонѣ. Надо разрѣшить другой вопросъ, надо посмотрѣть, имѣемъ ли мы право подставлять науку вмѣсто нашихъ педагоговъ, надо поставить вопросъ: на чьей сторонѣ правда: на сторонѣ ли педагоговъ или на сторонѣ гр. Толстого? Намъ говорятъ, что безобразія, указанные гр. Толстымъ, профанами и специалистами въ родѣ гг. Страннолюбскаго и Алексѣева, суть второстепенныя и третьестепенныя частности, что дѣло совсѣмъ не въ нихъ, а въ томъ общемъ научномъ духѣ, которымъ проникнуты наши педагоги. Такъ покажите же намъ этотъ научный духъ. Мы видимъ, что нашъ извѣстный педагогъ г. Миropольскій уличаетъ въ невѣжествѣ нашего извѣстѣйшаго педагога барона Корфа, что въ такомъ же невѣжествѣ извѣстѣйшія редакціи «Семьи и Школы» и «Народной Школы» уличаютъ извѣстнаго педагога г. Бѣлова

и проч., и проч. Возможны ли такіа взаимныя уличенія въ средѣ людей, проникнутыхъ единымъ научнымъ духомъ? Мы видимъ даже, что, несмотря на всѣ требованія профановъ, не смотря даже вѣроятно на свое собственное желаніе, и педагоги, и ихъ заступники не представили до сихъ поръ оправданія своимъ претевзіямъ на научность. Спириты сдѣлали въ этомъ отношеніи несравненно больше. Они все-таки представили нѣкоторый суррогатъ законовъ извѣстныхъ явленій. Пусть педагоги покажутъ, какими законами и какого рода явленій оправдываются ихъ пріемы обученія, ихъ программы образованія элементарнаго, средняго и высшаго. Говорятъ, гдѣ-то тамъ за моремъ все это ужъ сдѣлано. Ну, тѣмъ лучше, коли вы на готовыхъ хлѣбахъ живете, тѣмъ легче вамъ отвѣтить на задаваемые вамъ вопросы. Наука или искусство ваша педагогія, но она должна вѣдаться съ законами какихъ-нибудь явленій. Если она наука,—разскажите намъ открытые вами законы; если она искусство,—разскажите, какія вы ставите задачи и почему именно эти, а не другія, и въ силу опять-таки какихъ законовъ рассчитываете вы достигнуть желаемаго результата. Пока ничего подобнаго не сдѣлано, наука будетъ сама по себѣ, а педагоги тоже сами по себѣ. На самомъ дѣлѣ означенные вопросы послѣ Ушинскаго даже и въ голову не приходятъ педагогамъ: они движутся ощупью или по эмпирическимъ рецептамъ нѣмецкихъ педагоговъ, они играютъ въ науку, какъ малыя дѣти играютъ въ куклы. Поэтому нападать на пресловутый общій духъ, проникающій нашихъ педагоговъ, не только не значить оказывать неуваженіе наукѣ, а напротивъ показываетъ въ нападающемъ желаніе выгородить науку изъ недостойной ея игры. А что педагоги на каждомъ шагу повторяютъ слово *наука*, такъ это ровно ничего не значить. Въ Писаніи говорится, что не всѣ, призывающіе имя Христова, попадутъ въ царство небесное. Спириты часто поминаютъ науку, и астрологи, и схоластики тоже ее поминали. Въ комедіи Понсара «Галилей» дѣвушка и крестьянинъ, наслышавшись объ учености знаменитаго флорентинца, обращаются къ нему съ просьбой предсказать имъ судьбу. Къ великому ихъ негодованію Галилей

оказывается недостаточно ученымъ. Но ихъ выручаетъ ученѣйшій профессоръ Помпей. Онъ говоритъ:

Вы все узнаете, ступайте вслѣдъ за мною!

.....
Вамъ объяснится все согласно съ совпаденьемъ
Рожденія вашего, планетъ соединеньемъ,
Небесной схемою и прочимъ. Я читалъ
Заэля, Магина, Боната; изучалъ,
Что знали Пинеаторъ, Агриппа, Авиценна,
Дуретъ и прочіе. Мгла неба сокровенна,
Но я проникъ въ нее. Знакомы мнѣ равно
И міръ, и небеса. Ничто мнѣ не темно:
Ни сидеральныхъ буквъ мудреные законы,
Ни тайны магіи, ни катабибазоны,
Ни смыслъ Алмоходенъ, ни множество иныхъ
Вещей, ни сонмъ примѣтъ и добрыхъ, и дурныхъ
Въ соединеньяхъ ихъ годичныхъ и первичныхъ,
Ни числа градусовъ и формулъ ихъ различныхъ,
Ни объясненіе Двѣнадцати домовъ,
Ни день рожденія, ни самый мигъ родовъ,
Впередъ предсказанный ab horis, триедино...

(Переводъ г. Пушкирева).

А когда Галилея ведутъ на судъ инквизиціи, профессоръ Помпей восклицаетъ:

Теперь могу спокойно
Окончить жизнь свою; Римъ мститъ—и мститъ достойно
За Аристотеля...

Несмотря на нѣкоторыя частныя ошибки и заблужденія, профессоръ Помпей былъ насквозь проникнутъ научнымъ духомъ, ибо твердо вѣрилъ въ Дистервега... то бишь Аристотеля и изучалъ Фибля, Шольца и Шмальца... то бишь Заэля, Магина, Боната...

Но обратимся къ гр. Толстому. Въ народѣ лежатъ задатки громадной духовной силы, которые нуждаются только въ толчокѣ. Толчокъ этотъ можетъ быть данъ только нами, представителями «общества», больше ему неоткуда взяться, а мы даже

обязаны его дать. Но онъ долженъ быть данъ съ крайнею осторожностью, чтобы какъ-нибудь не затоптать или не испортить лежащихъ въ народѣ зачатковъ силъ, а это тѣмъ возможно, что сами мы — люди помятые, болѣе или менѣе искалѣченные, дорожащіе разнымъ вздоромъ. Какъ же быть? Никогда уму человѣческому не представлялся вопросъ болѣе важный и тревожный. Онъ находится въ ближайшей связи съ вопросами, волнующими мыслящихъ людей и рабочія массы въ Европѣ. Гр. Толстой, какъ мы видѣли, полагаетъ, что, если русскій мужикъ будетъ прогрессомъ промышленности и сельскаго хозяйства согнанъ съ земли, взамѣнъ которой ему будетъ предложена заработная плата, какъ фабричному или сельскому рабочему, то, какъ бы ни была высока эта плата, мужикъ будетъ обобранъ; обобрано будетъ его будущее, онъ будетъ лишенъ экономической самостоятельности. Съ точки зрѣнія гр. Толстого, вполне раздѣляемой и мною, такія же опасности для народа предстоятъ и на пути прогресса образованія. Опасности здѣсь даже больше, потому что не такъ бросаются въ глаза. Тернистый путь промышленнаго прогресса, его обоюдоострый характеръ изученъ, можно сказать, вполне, и только тупоуміе, рутинна и своекорыстіе отворачиваются на этомъ пунктѣ отъ горькихъ истинъ. Любопытная диссертация г. Посникова «Общинное землевладѣніе», которую московскіе громовержцы уже успѣли почтить своею бранью, дастъ мнѣ случай въ одной изъ ближайшихъ главъ поговорить объ этомъ подробнѣе. Мы увидимъ, до какой степени уясненъ нынѣ вопросъ о различныхъ сторонахъ промышленнаго прогресса. Не то съ прогрессомъ образованія. Всякій способенъ понять, что заработная плата, какъ бы она ни была высока, есть часть дохода, даваемого тѣмъ или другимъ производствомъ, а доходъ съ крестьянскаго земельного надѣла, какъ бы онъ ни былъ малъ и обремененъ платежами, есть цѣлый доходъ. Но обыкновенно говорятъ, что лучше большая часть, чѣмъ малое цѣлое, а потому дескать показателемъ роста народнаго богатства должна быть признана высота заработной платы, а не количество земельныхъ собственниковъ. Это не то, что невѣрное рѣшеніе во-

*

проса, а неправильная его постановка. Порядокъ, при которомъ большинство населенія живетъ заработною платою, и порядокъ, при которомъ это большинство состоитъ изъ самостоятельныхъ хозяевъ, принадлежать не къ различнымъ *степенямъ*, а къ различнымъ *типамъ* развитія. Поэтому здѣсь и сравнивать надо типы развитія. Извѣстный типъ развитія можетъ быть выше другого и все-таки стоитъ на низшей ступени. Напримѣръ, имѣя въ виду *степени экономического развитія* Англіи и Россіи, всякій долженъ будетъ отдать преимущество первой. Но это не помѣшаетъ мнѣ признать Англію низшимъ (въ экономическомъ отношеніи) *типомъ* развитія. Это различіе типовъ и ступеней развитія весьма важно и могло бы, еслибы постоянно имѣлось въ виду, избавить насъ отъ множества недоразумѣній и бесплодныхъ пререканій. Я прошу читателя приложить его къ приведенному уже мною въ прошлый разъ утвержденію Гр. Толстого, что пѣсня «О Ванькѣ-Ключничкѣ» и напѣвъ «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ» выше любого стихотворенія Пушкина и симфоніи Бетховена. Безъ сомнѣнія въ «Ванькѣ-Ключничкѣ» и «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ» нѣтъ той тонкости и разнообразія отдѣлки, нѣтъ даже той *односторонней* глубины мысли и чувства, какими блестятъ Пушкинъ и Бетховенъ, они ниже послѣднихъ, въ смыслѣ ступеней развитія, но они принадлежать къ высшему *типу* развитія, находящемуся пока на низкой ступени, но могущему имѣть свой прогрессъ. Эту *возможность* развитія, болѣе широкаго и глубокаго, чѣмъ какимъ вы обладаете сами, вы отнимете, если вамъ удастся подсунуть народу Пушкина вмѣсто «Ваньки-Ключничка» и Бетховена вмѣсто «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ», вы оберете мужика въ духовномъ отношеніи, прямо сказать, ограбите его. Ограбите даже въ томъ случаѣ, если вамъ удастся всучить мужику именно такіе свои перлы и адаманты, какъ Пушкинъ и Бетховенъ. Но вѣрнѣе предположить, что народъ получить не ихъ, а что нибудь въ родѣ «послѣдняго слова куплетистики», какъ рекламировался недавно въ газетахъ какой-то сборникъ французско-нижегородскихъ каскадныхъ шансонетокъ.

Я не знаю, хорошо ли я излагаю мысли г. Толстого и, не безъ гордости прибавляю, мои, уже не первый годъ мною раз-виваемыя. Но я рассчитываю на читателя, на его искреннее и серьезное отношеніе къ дѣлу, которое исправить недостатки моего изложенія. Я впрочемъ стараюсь быть какъ можно понят-вѣе, точнѣе и хватаюсь съ этою цѣлью за всевозможныя средства. Съ тою же цѣлью я сдѣлаю теперь небольшое отступ-леніе къ вышедшему въ прошломъ году замѣчательному труду г. Владимірскаго-Буданова «Государство и народное образованіе въ Россіи XVIII вѣка». Я не могу согласиться со многими воз-зрѣніями почтеннаго автора, напримѣръ съ его пристрастно-враждебнымъ отношеніемъ къ Петру I, объ чемъ впрочемъ го-ворить не буду, такъ какъ это завлекло бы меня слишкомъ да-леко. Я не могу къ сожалѣнію исчерпать даже всѣ тѣ стороны изслѣдованія г. Владимірскаго-Буданова, которыя находятся въ ближайшей связи съ вопросами, поднятыми въ обществѣ статьей г. Толстого. Главное достоинство труда г. Владимірскаго-Бу-данова состоитъ въ томъ, что онъ не изолируетъ вопроса о на-родномъ образованіи, не отрываетъ его отъ сопредѣльныхъ съ нимъ общественныхъ вопросовъ. Мы къ этому совсѣмъ не приучены. И насъ разсуждаютъ о звуковомъ методѣ, о фре-белевскихъ садахъ, о классическомъ и реальномъ образованіи и проч. почти исключительно отвлеченно, безъ отношенія къ той средѣ, въ которой должны будутъ дѣйствовать звуковой или иной методъ обученія грамотѣ, фребелевскіе сады и клас-сическое и реальное образованіе. Такія разсужденія безъ со-мнѣнія могутъ имѣть свою цѣну, но, слыша ихъ, я всегда при-поминаю одинъ любопытный историческій примѣръ: одни и тѣ же общія теоретическія начала отразились во Франціи—первой революціей, а въ Германіи—прусско-государственной философіей Гегеля. Это оттого зависѣло, что эти общія теоретическія на-чала встрѣтили въ Германіи одну комбинацію общественныхъ силъ, а во Франціи—совершенно другую, а потому и преломи-лись тамъ и тутъ въ диаметрально-противоположномъ видѣ. Изъ этого не слѣдуетъ разумѣется, что отвлеченныя разсужденія о

томъ или другомъ факторѣ общественной и государственной жизни должны быть совсѣмъ исключены изъ нашего умственного быта. Напротивъ они вполне умѣстны, пока мы не выходимъ изъ области теоріи; временное, сознательное выдѣленіе одного какого-нибудь фактора изъ всей совокупности жизненныхъ явленій можетъ въ этомъ случаѣ составить даже превосходный научный приемъ. Но въ вопросахъ практическихъ необходимо должны быть приняты во вниманіе тѣ силы и тѣ сочетанія силъ съ которыми изслѣдуемый факторъ столкнется въ дѣйствительности. Въ этомъ именно отношеніи цѣнно произведеніе г. Владимірскаго-Буданова, которое я беру на себя смѣлость рекомендовать особенному вниманію нашихъ педагоговъ и изъ котораго они извлекутъ несравненно больше пользы себѣ и обществу, чѣмъ изъ всѣхъ Шольцевъ и Шмальцевъ вмѣстѣ. Развѣ не поучителенъ въ самомъ дѣлѣ для нашихъ гордыхъ педагоговъ хоть такой примѣръ? Извѣстный Янковичъ де-Миріево представилъ Екатеринѣ проектъ народнаго образованія, заслужившій одобреніе. До тѣхъ поръ народное образованіе было въ рукахъ дьячковъ и велось крайне плохо. Съ принятіемъ проекта Янковича де-Миріево частнымъ лицамъ воспрещено было производить обученіе, если они напередъ не изучали новаго метода въ главномъ народномъ училищѣ и не получили установленнаго свидѣтельства о дозволеніи открыть школу изъ приказа общественнаго призрѣнія, которому были подчинены всѣ народныя школы губерніи. Методъ и объемъ обученія, рекомендованные Янковичемъ де-Миріево, а равно и соответственныя книги, изданныя для народныхъ училищъ, представляли тоже «последнее слово науки» того времени и были относительно говоря ничѣмъ не хуже приемовъ совершенной педагогіи. Но мужикъ былъ уже тогда грубъ и невѣжественъ. Онъ до такой степени упорно отдавалъ своихъ дѣтей по старому дьячкамъ, что правительство, не смотря на все свое могущество, должно было пойти на сдѣлки. Черезъ нѣсколько лѣтъ по открытіи нѣжинскаго училища, смотритель его и городничій получили ордеръ, начинавшійся такъ: «Высочайшая воля есть, чтобы юношество обучаемо было по вновь из-

даннымъ книгамъ, и на тотъ конецъ заведены народныя училища съ немалымъ отъ казны содержаніемъ. Хотя взяты были дѣти отъ дьячковъ и приведены въ училище, но пробыли тамъ одинъ день, а потомъ болѣе мѣсяца никто не явился. Причиною тому дьячки, кои обучаютъ по старому методу; родители же почитаютъ въ томъ только науку, что дѣти ихъ въ церквахъ читать могутъ псалтирь». Затѣмъ, рядомъ съ нѣкоторыми репрессивными мѣрами, ордеръ предписывалъ понедѣльникъ, вторникъ и среду до обѣда посвящать ученю въ училищѣ по новымъ методамъ, а среду послѣ обѣда, четвергъ, пятницу и субботу отдать на сѣденіе дьячкамъ! О сильномъ противодѣйствіи приходскихъ школъ новымъ свидѣлствуетъ и другой документъ, относящійся къ новгородъ-сѣверской школѣ: «Нельзя оставить безъ примѣчанія, что и сіе полезнѣйшее заведеніе (народное училище), какъ и всякое другое, имѣетъ упрямаго себѣ соперника закоренѣлый обычай: многимъ и теперь кажется еще, что прежнее трудное и для нѣжныхъ нервовъ тягостное буквѣ названіе удобнѣе теперешняго, и что съ стараго букваря и часовника обучать дѣтей легче, нежели изъ книгъ, изданныхъ для народныхъ училищъ!» Вотъ, господа педагоги! Сто лѣтъ тому назадъ ваши предшественники отскакивали съ своимъ послѣднимъ словомъ науки отъ народа, какъ отъ стѣны горохъ. Прошло сто лѣтъ, а вы все еще имѣете право жаловаться, что «многимъ кажется еще (!), что прежнее трудное и для нѣжныхъ нервовъ тягостное буквѣ названіе удобнѣе теперешняго, и что съ стараго букваря и часовника обучать дѣтей легче, нежели изъ книгъ, изданныхъ для народныхъ училищъ». Положимъ, народъ грубъ, глупъ и невѣжественъ, но возьмите же хоть часть вины на себя. Прислушайтесь хоть къ голосу историка народнаго образованія въ Россіи XVIII вѣка, котораго изученіе предмета привело къ такому заключенію: «Какое бы ни было достоинство (этого) образованія, все же остается вѣрнымъ, что степень сочувствія массъ къ извѣстнымъ явленіямъ соціальнаго характера должна быть необходимо принимаема мѣркою для оцѣнки пригодности административныхъ мѣръ» (Владимірскій - Буда-

новъ, 5). Его великолѣпіе г. Все тотъ же надменно спрашиваетъ: «Народъ учить или у народа учиться?» Кое чему можно и у народа поучиться, но народъ учить конечно нужно. Но какъ учить? Вотъ хоть бы вы, г. «Все тотъ же», чѣмъ великолѣпію то предаваться, придумали бы такую программу, которая представила бы мостъ, перекинутый отъ нашихъ познаній къ невѣжеству народа. Безъ такого моста ничего не подѣлаешь, а построить его немножко труднѣе, чѣмъ заниматься великолѣпіемъ.

Для ближайшей цѣли этой главы моихъ записокъ важнѣе однако другая сторона изслѣдованія г. Владимірскаго-Буданова, именно его взгляды на отношеніе различныхъ формъ народнаго образованія къ сословнымъ дѣленіямъ общества. «Несомнѣнно,—говоритъ авторъ,—что роскошный цвѣтъ образованія классическихъ народовъ есть результатъ соціальнаго строя ихъ, основаннаго на рабскомъ трудѣ (это и есть то неудобопонятное «хозяйство на умѣ», которое такъ восхищаетъ журналъ «Дѣло»), что блестящіе, хотя и безплодные лепестки средневѣковаго образованія, при крайнемъ невѣжествѣ массъ запада Европы, есть одинъ изъ результатовъ феодальной власти владѣльцевъ надъ сельскимъ населеніемъ и промышленной торговой монополіи городскихъ общинъ; чѣмъ выше неравенство экономическихъ условий, тѣмъ выше неравенство образованія на обоихъ крайнихъ предѣлахъ общества, т. е. чѣмъ оно болѣе блестяще вверху, тѣмъ оно ничтожнѣе внизу. Мало по малу этотъ печальный фактъ стремится перейти въ юридическую норму: владѣющіе классы стремятся утвердить мысль, что низшіе слои населенія *не должны* приобрѣтать образованіе, что оно въ рукахъ немущаго есть огонь въ рукахъ дитяти.» Таково вліяніе рѣзко-сословнаго строя общества на судьбы народнаго образованія. Но и формы образованія въ свою очередь вліяютъ на сословный строй общества. Сюда-то и относятся любопытнѣйшія страницы изслѣдованія г. Владимірскаго-Буданова. Онъ полагаетъ, что въ до-петровскомъ обществѣ вліяніе сословнаго строя на распредѣленіе степеней образованія было весьма ничтожно. Образованіе на всѣхъ своихъ ступеняхъ, было въ тѣ времена свободное и

всословное и, что особенно важно, не профессиональное, а общее. Принципомъ образованія была «людскость» (Humanität), а не потребности той или другой сословно-профессиональной группы. Это относится не только къ элементарному образованію, которое по самой сущности своей не можетъ быть профессиональнымъ (и потому при господствѣ профессиональной системы просто не имѣетъ мѣста). Правительство и изъ высшаго образованія не дѣлало орудія сословій. «Образованіе, какъ цѣль правительственныхъ заботъ, есть «мудрость», т. е. *высшее общее образованіе*, которое по схемѣ Крыжанича и привилегіи московской академіи состоитъ въ полномъ развитіи человѣческихъ силъ и способностей, въ томъ, что составляетъ «едино на потребу», къ которому все приложится. Зная, что источникъ благосостоянія церковнаго и государственнаго есть мудрость, «ни о чемъ же, говоритъ правительство, тако тщаніе сотворяемъ, якоже о изобрѣтеніи премудрости, съ нею же вся благая отъ Бога людямъ дарствуются». Ни къ какой другой сторонней цѣли государство не направляетъ этой мудрости; она сама себѣ составляетъ цѣль и высочайшую, чистѣйшую задачу государства. Средствами для достиженія этой мудрости правительство признаетъ слѣдующую систему наукъ: «благоволимъ храмы чиномъ академіи устроить и во оныхъ хотимъ сѣмена мудрости, т. е. науки гражданскія и духовныя, наченше отъ грамматики, піитики, риторики, діалектики и философіи разумительной, естественной и нравной, даже до богословія, учащей вещей божественныхъ и совѣсти очищенія постановити». Крыжаничъ уясняетъ эту систему; по его схемѣ знаніе (scientia) раздѣляется на духовное и мірское; первое есть богословіе; второе состоитъ изъ трехъ составныхъ частей: наукъ прикладныхъ («механики»), математики и философіи. Послѣдняя (согласно съ привилегіей московской академіи) опредѣляется какъ логика, физика и этика. Первая заключаетъ въ себѣ всю филологическую часть человѣческаго вѣдѣнія (грамматику, риторику съ піитикой и діалектику). Вторая («философія естественная») заключаетъ всѣ науки естественныя. Третья («философія нравная») заключаетъ въ себѣ

юридическія, экономическія и социальныя науки, вѣнецъ которыхъ составляетъ политика—«царственная мудрость» (IV).

Петру и его преемникамъ предстояло или идти по тому же пути, только улучшая и расширяя его, т. е. снабжая элементарныя, приходскія школы лучшими учителями, расширяя и уясняя программы средняго и высшаго образованія и т. д., или напротивъ сойти съ этого пути, замкнувъ образованіе въ извѣстныя сословно-профессіональныя рамки. Правительство избрало второй выходъ. Г. Владимірскій-Будановъ полагаетъ, что «русскія сословія, преимущественно же дворянское и духовное, одолжены своею организаціей главнымъ образомъ узаконеніямъ о профессиональномъ образованіи». Два принципа господствуютъ въ нашемъ законодательствѣ XVIII вѣка: 1) всякій долженъ учиться тому, что составляетъ профессію его отца, 2) отсюда само собою слѣдуетъ, что никто сторонній не можетъ быть допущенъ къ этой профессіи. Наисильнѣйшее приложеніе принципа эти получили къ профессіи духовенства, результатомъ чего и было образованіе рѣзко обособленнаго духовнаго сословія. Г. Владимірскій-Будановъ естественно отдастъ значительную долю своего изслѣдованія этому рѣзкому примѣру, подтверждающему его воззрѣнія на вліяніе образованія на сословный строй. Однако онъ съ большимъ тщаніемъ слѣдитъ и за другими проявленіями того же принципа. Не говоря уже о дворянствѣ, которому системою профессиональнаго образованія была предоставлена высшая военная и гражданская служба, и о сословіи «подъячихъ», читатель найдетъ въ книгѣ много примѣровъ регламентирования законодательствомъ въ сословномъ смыслѣ даже отдѣльных частныхъ видовъ военной и гражданской службы. Такъ наприимѣръ велѣно было «дѣтей, оставшихся послѣ умершихъ въ службѣ докторовъ, штабъ-лекарей, лекарей, подлекарей, аптекарей и прочихъ аптекарскихъ служителей не опредѣлять на службу ни въ какія другія команды, но только въ вѣдомство медицинской канцеляріи, гдѣ отцы ихъ служили». Дѣти горно-служащихъ обучались въ горныхъ школахъ; дѣти военныхъ мастеровыхъ обучались такъ, чтобы «потомъ могли быть добрыми мастеровыми»;

дѣти ладожской команды получали образованіе въ особой, специальной школѣ, состоявшей при Ладожскомъ каналѣ. Если же дѣти людей извѣстной профессіи оказывались къ ней неспособными, то ихъ все-таки стремились удержать какъ-нибудь вблизи отъ нея. Напримѣръ солдатскія дѣти обучались въ гарнизонныхъ школахъ и предназначались въ военную службу. Въ случаѣ же неспособности, велѣно ихъ было обучать мастерствамъ слесарному, кузнечному, столярному, портному и «прочимъ художествамъ, какія при арміи и полкахъ потребны и по воинскому штату опредѣлены». Неспособныхъ дѣтей духовнаго сословія рекомендовалось обучать иконописному мастерству. Я приношу эти мелкіе примѣры потому, что въ нихъ направленіе законодательства отразилось яснѣе, чѣмъ въ узаконеніяхъ напримѣръ о профессиональномъ образованіи дворянства. Такимъ образомъ «людскость», «полное развитіе человѣческихъ силъ и способностей» перестали существовать какъ цѣли образованія. Правительство имѣло въ виду исключительно нужды государства, которыя приурочило къ сословнымъ цѣлямъ и интересамъ. Когда вслѣдствіе этого профессиональная система получила преобладающее, исключительное значеніе, образованіе элементарное оказалось «не въ авантажѣ», во первыхъ уже потому, что оно есть образованіе общее, а во вторыхъ потому, что имъ должны были пользоваться низшіе классы общества, ни къ какой специальной государственной службѣ неприспособленные.

Нѣкоторые достойныя вниманія поправки къ исторической части изслѣдованія г. Владимірскаго-Буданова читатель найдетъ въ рецензіи г. Андреевскаго, напечатанной въ I т. «Сборника государственныхъ знаній». Я совершенно уклоняюсь отъ бѣсѣды объ этой сторонѣ воззрѣній автора и обращаю вниманіе читателя только на его соціологическіе выводы.

«Человѣческая мысль и нравственная дѣятельность, говорить авторъ, не призваны къ исключительному служенію государству» (236). И въ другомъ мѣстѣ: «Профессіи, всегда склонныя къ наследственности, могутъ не переходить въ сословія только при томъ единственномъ условіи, если выборъ ихъ совершается въ

лѣтахъ сравнительно зрѣлыхъ, послѣ предварительнаго общаго образованія. Только общее образованіе можетъ уяснить для человѣка его спеціальныя способности и опредѣлить его свободную волю въ ту или другую сторону практической дѣятельности. Въ немъ та сила, которая освобождаетъ человѣка отъ условій, данныхъ ему извнѣ: его происхожденіемъ и положеніемъ. Поэтому всякому можетъ показаться весьма страннымъ, что тотъ самый XVIII вѣкъ, который принесъ намъ образованіе, былъ вмѣстѣ съ тѣмъ эпохою развитія сословій. Секретъ разрѣшается тѣмъ, что правительство начала XVIII вѣка не имѣетъ вовсе въ виду общаго (человѣческаго, гуманнаго) образованія. Цѣлью его мѣръ по народному образованію было не образованіе, а государственная служба» (142). При этомъ слѣдуетъ однако замѣтить, что по сознанію самого автора сословія уже существовали въ до-Петровской Руси; не Петръ, а XVIII вѣкъ, такъ сказать, обострилъ ихъ. Но, повторяю, конкретные историческіе факты, трактуемые г. Владимірскимъ-Будановымъ, я оставляю совѣсть въ сторонѣ и смотрю только на ихъ общее социологическое значеніе. Бываютъ значить случаи, когда прогрессъ образованія идетъ бокъ-о-бокъ съ прогрессомъ общественныхъ неравенствъ. Очевидно, что явленіе это возможно и помимо усиленной дѣятельности законодательства, направленной исключительно въ сторону сословно-профессіональнаго образованія. Такая дѣятельность законодательства можетъ усилить и ускорить движеніе, которое однако вполне мыслимо безъ нея. Самъ г. Владимірскій-Будановъ указываетъ (141) на организацію у насъ городского сословія, «которое несомнѣнно представляетъ полный образецъ строгаго сословнаго учрежденія, а между тѣмъ ни мало не подвергалось вліянію законовъ о народномъ образованіи». Онъ объясняетъ это тѣмъ, что «только т. н. *духовныя* (geistliche по нѣмецкой терминологіи) профессіи удобно переходятъ въ сословія подъ вліяніемъ законовъ объ изученіи и приобрѣтеніи профессій. Экономическія же профессіи могутъ перейти въ сословія совершенно независимо отъ законовъ объ обученіи, въ силу стремленія къ корпоративности, присущаго самому духу всякой

экономической дѣятельности». Къ этому слѣдуетъ еще можетъ быть прибавить, что рѣзкую границу между «духовными» и «экономическими» профессіями провести очень трудно. Какъ бы то ни было, посмотримъ, что происходитъ въ обществѣ или государствѣ, въ которомъ по какимъ бы то ни было причинамъ господствуетъ сословное начало образованія. Мы видимъ здѣсь самую яркую картину борьбы за индивидуальность (прошу читателя припомнить VI главу моихъ записокъ). Побѣда первоначально должна принадлежать высшей индивидуальности—государству. Оно совершенно подчиняетъ себѣ, поглощаетъ отдѣльныя единицы. Оно говоритъ: мнѣ нужны офицеры, солдаты, плотники, священники, подъячіе, какъ простые, несамостоятельные органы моей жизни; съ этою цѣлью я обращаю всѣ эти профессіи въ наслѣдственные, ибо рядъ поколѣній, воспитанныхъ на примѣрѣ въ школѣ Ладожскаго канала, будетъ наилучше исполнять то, что по моимъ задачамъ должно быть на Ладожскомъ каналѣ исполнено. Но по мѣрѣ того, какъ этимъ путемъ растутъ и крупнѣютъ сословія и сословія, побѣда въ значительной степени переходитъ на ихъ сторону. Они уже своею борьбою направляютъ жизнь государства въ ту или другую сторону. Государство (такъ вездѣ было) въ извѣстный моментъ своего развитія стремится побороть, поглотить сословія и сословія разными средствами и между прочимъ измѣненіемъ системы образованія, которое становится всесословнымъ и общедоступнымъ (поскольку это во власти законодательства). Борьба ведется съ перемежнымъ счастьемъ, склоняясь то на одну, то на другую сторону, а пока пань дерутся, у хохловъ чубы болятъ: низшая индивидуальность, личность въ чистомъ и прямомъ смыслѣ слова, человѣкъ—въ духовномъ отношеніи скудѣетъ. Онъ правда развивается, можетъ быть даже весьма сильно и быстро, но всѣ условія его жизни толкаютъ его, какъ выразился бы гр. Толстой, только къ развитію, удаляя отъ *гармоніи развитія*. Начало наслѣдственности медицинской профессіи положено указами Анны Іоанновны. Представимъ себѣ, что планъ этотъ получилъ бы дальнѣйшее прочное развитіе, что способныя дѣти медиковъ,

аптекарей и пр. въ цѣломъ ряду поколѣній обучались бы медицинѣ, а малоспособныя, какъ это практиковалось относительно другихъ профессій, пристраивались бы къ толченію разныхъ снадобій въ аптекарскихъ ступкахъ, къ закупориванію стклянокъ, наклеиванію ярлыковъ и пр., и пр. Медицина при этомъ порядкѣ едва ли прогрессировала бы, но корпорація, сословіе медиковъ пользовалось бы вѣроятно весьма важнымъ значеніемъ и вѣсомъ въ государствѣ. Однако это значеніе приобреталось бы насчетъ «гармоніи развитія» личностей, составляющихъ корпорацію. По всей вѣроятности тѣ спеціальныя силы и способности, которыя требуются медицинской профессіей, получили бы въ этомъ ряду поколѣній весьма высокое развитіе. Но все-таки были бы въ духовномъ отношеніи искалѣчены не только тотъ малоспособный (къ медицинѣ, что не мѣшало бы ему быть гениальнымъ математикомъ, поэтомъ, историкомъ, философомъ) мальчикъ, который осужденъ завязывать до сѣдыхъ волосъ аптекарскія стклянки, но даже и наиболѣе видные члены корпораціи. Ибо въ нихъ разумѣется не было бы «полнаго развитія человѣческихъ силъ и способностей», объ которомъ мечталъ Крыжаничъ, или, что тоже, гармоніи развитія, на которой настаиваетъ гр. Толстой. Точно также былъ бы нравственно искалѣченъ первый, лучшій ученикъ школы ладожской команды, искалѣчена бы была его будущность, возможность для него полнаго и всесторонняго раскрытія его духовныхъ силъ.

До сихъ поръ читатель безъ сомнѣнія со мной согласенъ. потому что примѣры взяты у меня рѣзкіе и простые. Но попробуйте мысленно постепенно расширять предѣлы профессій медиковъ и ладожской команды. Эти сословія сложились бы, еслибы сложились, совершенно такимъ же путемъ и дали бы такіе же результаты, какъ и сословія въ общепринятомъ смыслѣ слова, — дворянство, духовенство, купечество. Разница тутъ не качественная, а количественная, почему г. Владимірскій-Будановъ и имѣетъ право разсматривать тѣ и другія вмѣстѣ. Онъ настаиваетъ на томъ, что сословія вездѣ, по крайней мѣрѣ въ значительную долю времени своего развитія, имѣютъ характеръ

профессиональныхъ корпорацій. Для убѣжденія въ этомъ, говорить онъ, достаточно однихъ названій древнихъ кастъ востока и сословій классическаго и средневѣковаго міра: жрецы, воины, кушцы, земледѣльцы, дедалиды, халкиды, гоплеты, эгикорен, аргадеи, milites и т. д. Такъ что общіе принципы, несомнѣнные для наслѣдственныхъ медиковъ или наслѣдственныхъ чиновъ ладожской команды, должны быть вѣрны и по отношенію къ наслѣдственнымъ жрецамъ, наслѣдственнымъ воинамъ и пр. Корпоративность, профессія, наслѣдственность и признаніе со стороны государства—вотъ по мнѣнію г. Владимірскаго-Буданова главные признаки сословій, очевидно одинаково приложимые и къ ладожской командѣ, и къ какимъ-нибудь жрецамъ, воинамъ и проч. Поэтому, какъ это на первый взглядъ ни странно, но должно признать, что процессъ исторіи, обобравшій духовную природу чиновъ ладожской команды, обобравъ и духовную природу какихъ-нибудь жрецовъ или воиновъ. А впрочемъ здѣсь даже и на первый взглядъ нѣтъ ничего страннаго. Не ясно ли, что древній воинъ, съ своей односторонне развитою храбростію, драчливостію, жестокостію, грубостію, весьма далекъ отъ гармоніи развитія? Не ясно ли, что нѣкоторыя его способности получили колоссальное развитіе въ ущербъ другимъ духовнымъ его силамъ? И не имѣемъ ли мы поэтому права называть его духовную природу, если не обобранною, то по крайней мѣрѣ извращенною? Безъ сомнѣнія въ новѣйшее время сословія дышатъ не такимъ спертымъ воздухомъ, какъ древнія касты. Въ особенности это должно сказать о такъ-называемомъ третьемъ сословіи въ Европѣ и о средней руки дворянствѣ у насъ. Однако въ болѣе или меньшей степени они все-таки остаются сословіями. Спрашивается теперь, каково должно быть міросозерцаніе человѣка, болѣе или менѣе сдавленнаго гранями сословія или какого-нибудь изъ его развѣтвленій? Очевидно это міросозерцаніе будетъ не совсѣмъ правильное, потому что одностороннее. Оно можетъ быть даже совсѣмъ исковерканнымъ. Гэккель рассказываетъ (въ *Generelle Morphologie*) къ какимъ результатамъ привели его занятія гимнастикой. Верхняя часть

моей руки, говоритъ онъ, до тѣхъ поръ остававшаяся почти безъ всякаго упражненія, сдѣлалась въ какихъ-нибудь полтора года почти вдвое толще; это громадное развитіе мускуловъ и связанное съ нимъ упражненіе представленій воли произвели сильное обратное дѣйствіе на другія мои представленія, а этому, въ связи съ другими причинами, я обязанъ тѣмъ, что господствовавшія во мнѣ дотогѣ дуалистическія и теологическія заблужденія смѣнились идеей единства и причинной связи явленій. Этотъ разсказъ знаменитаго ученаго я не потому привелъ, что считаю его очень убѣдительнымъ. Напротивъ онъ произвелъ на меня нѣсколько комическое впечатлѣніе. Но въ основаніи его лежитъ, я полагаю, несомнѣнная истина. Несомнѣнно по крайней мѣрѣ то, что міросозерцаніе людей, у которыхъ въ цѣломъ ряду поколѣній «представленія воли остаются почти безъ упражненія», вообще говоря, должно имѣть свой специальный характеръ. Это я говорю о міросозерцаніи вообще, а тѣмъ справедливѣе это относительно той части міросозерцанія, которая вѣдаетъ понятія о явленіяхъ общественной жизни. Несомнѣнно также, что міросозерцаніе это, вообще говоря, должно быть тѣмъ уже, чѣмъ замкнутѣе и обособленнѣе соответствующіе слои общества. Г. Владимірскій-Будановъ указываетъ на прѣзрѣніе къ труду и узко-утилитарныя понятія русскихъ дворянъ, какъ на результаты профессиональной системы образованія. Я думаю, что явленія эти выработались задолго до XVIII вѣка и слѣдовательно профессиональной системы образованія. Но это все равно. Такъ или иначе, а это выраженіе нравственной скудости, обусловленной сословнымъ строемъ. Ихъ можно бы было привести не одно и не два. Подобныя черты нравственной скудости могутъ быть иногда очень тонки и неуловимы, тѣмъ болѣе, что онѣ часто тонутъ въ односторонней духовной роскоши. Онѣ могутъ быть особенно неуловимы теперь, когда сословія все болѣе и болѣе развертываются для силъ, прибывающихъ со стороны, и расплываются въ общемъ понятіи цивилизаціи. Однако черты эти все-таки существуютъ. У насъ напримѣръ часто называютъ Пушкина общечеловѣческимъ поэтомъ. Это

замѣчательно не вѣрно. Пушкинъ есть поэтъ по преимуществу дворянскій, и потому его способенъ принять близко къ сердцу и образованный нѣмецъ, и образованный французъ, и средней руки русскій дворянинъ. Но ни русскій купецъ, ни русскій мужикъ ему большой цѣны не дадутъ. Тотъ кругъ идей и чувствъ, который волновалъ современнаго ему *средняго* дворянина, Пушкинъ исчерпалъ вполне и блистательно. Можно удивляться тонкости его анализа, законченности образовъ, можно пожалуй любоваться, какъ глубоко залѣзаетъ онъ иногда въ дворянскую душу, можно наконецъ восхищаться красотой его выражений и стиха, но все это возможно только намъ, образованнымъ людямъ, «обществу». Допустимъ, что онъ блистательно разработалъ всѣ мотивы нашей жизни, чего однако допустить нельзя, но онъ разработалъ мотивы только *нашей* жизни, жизни извѣстнаго, спеціальнаго слоя общества, на которомъ свѣтъ не клиномъ сошелся и который не безъ пятенъ, потому что въдѣ и на солнцѣ есть пятна.

Спрашивается, имѣемъ ли мы право думать, что облагодѣтельствуемъ народъ, прививъ ему Пушкина и другіе наши перлы? Странный вопросъ! развѣ это не перлы и развѣ можетъ идти въ какое нибудь сравненіе съ ними то, чѣмъ пробавляется въ своей темной долѣ народъ! Да, очень странный вопросъ. Его-то и задаетъ себѣ такъ часто гр. Толстой и отвѣчаетъ отрицательно: нѣтъ, не облагодѣтельствуемъ. И всякій долженъ будетъ сознаться, если только постарается отрѣшиться хоть временно отъ привычныхъ понятій, что гр. Толстой глубоко правъ. Надо замѣтить, что народъ никогда не былъ сословіемъ. Онъ платилъ подати и періодически выдѣлялъ изъ себя единицы для пополненія рядовъ арміи, но никакой дальнѣйшей спеціализаціи въ пользу высшей индивидуальности не подлежалъ, никакой корпораціи не составлялъ и профессиональному образованію не подвергался. Онъ всегда «самъ удовлетворялъ всѣмъ своимъ чело-вѣческимъ потребностямъ», тогда какъ система сословій въ томъ именно и состоитъ, что потребности однихъ удовлетворяются другими. Безъ сомнѣнія сословная система отразилась и на на-

родъ весьма сильно, но при этомъ его духовная жизнь просто осталась на низшей ступени развитія, а не подвергалась развитію одностороннему. Поэтому то вопросъ о народномъ образованіи такъ сложенъ и щекотливъ. Мы можемъ здѣсь идти по двумъ, совершенно несходнымъ путямъ: мы можемъ или просто поднять развитіе народа на высшую ступень, не нарушая его гармоніи, т. е. облегчая расцвѣтъ его духовныхъ силъ, или объявивъ все, чѣмъ онъ живетъ теперь, дрянью и глупостью, привить ему свои перлы и адаманты. Гр. Толстой рѣшительно избираетъ первый путь. И весьма любопытно слѣдить, какъ онъ въ своей педагогической дѣятельности на каждомъ шагѣ допрашиваетъ себя и другихъ: сообщая народу то-то и то-то, не помнемъ ли мы чего-нибудь изъ будущихъ всходовъ, чего-нибудь, можетъ быть очень дорогого и высокаго? Говорять о самоувѣренности графа Толстого, о надменной категоричности тона его разсужденій о народномъ образованіи. Это мнѣніе рѣшительно ни на чемъ не основано. Напротивъ онъ скорѣе слишкомъ осторожный и щепетильный скептикъ. Состояніе его духа, какъ оно сквозитъ во всѣхъ его статьяхъ, напоминаетъ чловѣка, который несетъ какой-нибудь очень дорогой, тяжелый и ломкій сосудъ и тревожно и зорко осматривается, какъ бы ему не оступиться. Какъ бы онъ ни пересаливалъ въ этомъ отношеніи, это несравненно лучше, чѣмъ развязность гг. Бунаковыхъ, Миропольскихъ, Мѣдниковыхъ и проч., которые — беру аналогическое сравненіе — носятъ, какъ бойкіе ярославскіе половые въ московскихъ трактирахъ. Такой половой все свое достоинство полагаетъ въ томъ, чтобы нести чайный приборъ съ совершенно своеобразнымъ шикомъ, чтобы чашки и чайники франтовато дребезжали на подносѣ, чтобы плечи и руки самого полового ходуномъ ходили. И то впрочемъ сказать: онъ не Богъ знаетъ какой северскій фарфоръ несетъ, — и разобьется, такъ не бѣда.

Что же мы дадимъ народу? воспитаніе? Этого гр. Толстой пуще всего боится.

«Такъ-называемая наука педагогики, говоритъ онъ, занимается только

воспитаніємъ и смотритъ на образовывающагося чловѣка, какъ на существо, совершенно подчиненное воспитателю. Только черезъ его посредство образовывающійся получаетъ образовательныя или воспитательныя впечатлѣнія, будутъ ли эти впечатлѣнія книги, рассказы, требованія, напоминанія, художественныя или тѣлесныя упражненія. Весь внѣшній міръ допускается къ воздѣйствію на ученика только настолько, насколько воспитатель находитъ это удобнымъ. Воспитатель старается окружить своего питомца непроницаемою стѣной отъ вліянія міра и только сквозь свою научную школьно-воспитательную воронку пропускаетъ то, что считаетъ полезнымъ. Я не говорю о томъ, что дѣлалось или дѣлается у такъ-называемыхъ отсталыхъ людей, я не воюю съ вѣтранными мельницами, я говорю о томъ, какъ понимается и прилагается воспитаніе у такъ называемыхъ самыхъ лучшихъ, передовыхъ воспитателей. Вездѣ вліяніе жизни отстранено отъ заботъ педагога, вездѣ школа обстроена кругомъ китайскою стѣной книжной мудрости, сквозь которую пропускается жизненное образовательное вліяніе только настолько, насколько это нравится воспитателямъ. Вліяніе жизни не признается. Такъ смотритъ наука-педагогика, потому что признаетъ за собой право знать, что нужно для образованія наилучшаго чловѣка, и считаетъ возможнымъ устранить отъ воспитанника всякое внѣ воспитательное вліяніе; такъ поступаетъ и практика воспитанія» (т. IV, 120). «Воспитаніе есть воздѣйствіе одного чловѣка на другого, съ цѣлью заставить воспитываемаго усвоить извѣстныя нравственныя привычки. Мы говоримъ: они его воспитали лицемѣромъ, разбойникомъ или добрымъ чловѣкомъ, спартанцы воспитывали мужественныхъ людей, французы воспитываютъ одностороннихъ и самодовольныхъ» (123). «Воспитаніе есть принудительное, насильственное воздѣйствіе одного лица на другое, съ цѣлью образовать такого чловѣка, который намъ кажется хорошимъ». «Воспитаніе есть возведенное въ принципъ стремленіе къ нравственному деспотизму. Воспитаніе есть, я не скажу, выраженіе дурной стороны чловѣческой природы, но явленіе, доказывающее неравнотѣ мысли и потому не могущее быть положеннымъ въ основаніе разумной чловѣческой дѣятельности—науки. *Воспитаніе есть стремленіе одного чловѣка сдѣлать другого такимъ же, каковъ онъ самъ.* (Стремленіе бѣднаго отнять богатство у богатого, чувство зависти старца при взглядѣ на юную и сильную молодость,—чувство зависти возведенное въ принципъ и теорію). Я убѣжденъ, что воспитатель только потому можетъ съ такимъ жаромъ заниматься воспитаніемъ ребенка, что въ основѣ этого стремленія лежитъ зависть къ чистотѣ ребенка и желаніе сдѣлать его похожимъ на себя, то есть болѣе испорченнымъ» (124).

Подчеркнутыя мною строки особенно характерны для гр. Толстого, какъ педагога, какъ мыслителя и наконецъ какъ обще-

ственного дѣателя. Строки эти взяты изъ крайне любопытной статьи «Кому у кого учиться писать: крестьянскимъ ребятамъ у насъ, или намъ у крестьянскихъ ребятъ?» Статья не отвѣчаетъ на поставленный въ заглавіи вопросъ, потому что изъ нея слѣдуетъ вывести только то заключеніе, что у насъ крестьянскимъ ребятамъ учиться нечему, а мы у нихъ учиться не можемъ. Дѣло идетъ о беллетристическихъ опытахъ учениковъ ясно-полянскіихъ школы. Я прямо приведу наиболѣе поразительное, наиболѣе способное смутить читателя мѣсто статьи: «На другой день я еще не вѣрилъ тому, что испыталъ вчера. Мнѣ казалось столь страннымъ, что крестьянскій полуграмотный мальчикъ вдругъ проявляетъ такую сознательную силу художника, какой *на всей своей необъятной высотѣ развитія не можетъ достигъ Гете*. Мнѣ казалось столь страннымъ, что я, авторъ «Дѣтства», заслужившій нѣкоторый успѣхъ и признаніе художественнаго таланта отъ русской образованной публики, что я въ дѣлѣ искусства не только не могу указать или помочь 11-ти лѣтнему Сежкѣ или Оедькѣ, а что едва-едва—и то только въ счастливую минуту раздраженія—въ состоянн слѣдить за ними и понимать ихъ» (227). Я читалъ по крайней мѣрѣ одинъ изъ этихъ разсказовъ (хорошенько не припомню)—«Солдаткино житіе». Разсказъ этотъ былъ напечатанъ въ «Ясной Полянѣ» и потомъ перепечатанъ не помню гдѣ, въ «Азбукѣ» гр. Толстого, или въ отдѣльной книжкѣ, содержавшей нѣсколько такихъ разсказовъ. Читалъ я его уже предупрежденный статьей гр. Толстого, и признаюсь, все-таки не нашелъ въ немъ тѣхъ красотъ, которыя видитъ гр. Толстой. Весьма можетъ быть, что это зависитъ отъ слабости или испорченности моего эстетическаго чутія. Теоретически, по соображенію съ подходящими фактами другихъ сферъ мысли и жизни, я могу однако понять возможность указываемаго гр. Толстымъ явленія, т. е. возможность художественнаго превосходства Оедьки надъ Гете, несмотря на «необъятную высоту развитія» послѣдняго. Могу я это понять потому, что не смѣшиваю ступеней развитія съ типами развитія. Безъ сомнѣнія Оедькѣ «Фауста» не написать и не понять; не понять ему боль-

ного, измученнаго существа Фауста, бросающагося съ вершины ненасытимой жажды познанія въ омутъ чувственныхъ наслаждений, изъ котораго ему удастся выплыть только въ аллегорическомъ видѣ. Для этого надо самому до извѣстной степени быть Фаустомъ, самому много переболѣть. А какой же Оедька—Фаустъ? Онъ просто здоровый физически и душевно крестьянскій мальчишка. Фаустъ, послѣ длиннаго ряда похожденій, вдоволь намучившись самъ и намучивши другихъ, примиряется съ жизнью на почвѣ непосредственной практической пользы: онъ, какъ извѣстно, въ концѣ-концовъ занимается осушеніемъ морского берега. Но этотъ конецъ жизни Фауста наступаетъ для Оедьки, какъ только онъ подростетъ. Чуть у него силенки прибавилось, онъ уже и занимается чѣмъ-нибудь въ родѣ осушенія морского берега, минуя весь тотъ кругъ неудовлетворимыхъ желаній и извращенныхъ чувствъ, который Фаустъ проходитъ только затѣмъ, чтобы убѣдиться въ неудовлетворимости своихъ желаній и извращенности своихъ чувствъ. Результатъ получается довольно странный. Выходитъ, что какъ ни какъ, а высоко развитый Фаустъ имѣетъ всѣ резоны завидовать Оедькѣ, которому совсѣмъ даромъ достается чуть не въ утробѣ матери то самое, чего онъ, высоко развитый человѣкъ, добивается, уже стоя одной ногой въ гробу. А между тѣмъ Фаустъ—несомнѣнно высоко развитый человѣкъ, а Оедька—конечно человѣкъ не развитый. Кто же изъ нихъ выше? Когда сравниваютъ питательность или удобоваримость говядины и свинины, то не спрашиваютъ: что питательнѣе—фунтъ говядины или десять фунтовъ свинины? Это вопросъ безсмысленный. Десять фунтовъ свинины конечно содержать въ себѣ больше питательнаго матеріала, чѣмъ одинъ фунтъ говядины, но это все-таки не рѣшаетъ вопроса о питательности того и другого мяса. Надо взять равныя количества говядины и свинины. Такъ и тутъ. Фаустъ давитъ своимъ развитіемъ Оедьку, но это еще ровно ничего не значить. Дайте Оедькѣ возможность подняться на высшую ступень *своего типа* развитія, и тогда сравнивайте. А такъ какъ возможности этой на лицо нѣтъ, то можно сравнивать Фауста и Оедьку не

какъ ступени развитія, а только какъ типы. А типъ развитія Оедьки должно признать высшимъ, хотя бы уже потому, что Фаустъ имѣетъ всѣ причины завидовать ему, гармонія его развитія, недающей мѣста тѣмъ противорѣчіямъ, неудовлетворимымъ желаніямъ и извращеннымъ чувствамъ, которыми полна душа Фауста. Это безъ сомнѣнія должно отразиться и на литературныхъ произведеніяхъ Фауста (или Гете) и Оедьки. Гр. Толстой говоритъ о господствующемъ въ произведеніяхъ Семки и Оедьки чувствѣ мѣры, которое онъ справедливо считаетъ существеннѣйшимъ условіемъ художественнаго произведенія. Это чувство мѣры очевидно совершенно не зависитъ отъ *высоты* развитія. Высоко развитый Фаустъ можетъ обладать имъ въ несравненно меньшей степени, чѣмъ Оедька или Семка, именно потому, что онъ очень высоко развитъ въ извѣстномъ одностороннемъ, болѣе или менѣе извращенномъ направленіи, а односторонность и чувство мѣры—понятія враждебныя. Представимъ себѣ теперь, что Фаустъ или Гете, или хоть гр. Толстой (большинство мыслящихъ цивилизованныхъ людей — немножко Фаусты, оттого-то «Фаустъ» и есть величайшее произведеніе Гете) займется воспитаніемъ Оедьки или Семки. Если воспитаніе есть дѣйствительно результатъ желанія сдѣлать другого человека себѣ подобнымъ, то Фаустъ конечно исковеркаетъ Оедьку: онъ заставитъ его пройти множество совершенно ненужныхъ, но мучительныхъ станцій своего развитія. До какой степени гр. Толстой зорко вглядывается въ эту, грозящую Оедькамъ и Семкамъ при столкновеніи ихъ съ цивилизованнымъ человѣкомъ, опасность, это видно изъ той же статьи «Кому у кого учиться писать». Авторъ такъ описываетъ свое душевное состояніе въ тѣ минуты, когда онъ убѣдился, что Оедька — замѣчательный талантъ: «Я не могу передать того чувства волненія, радости, страха и почти раскаянія, которыя я испытывалъ въ продолженіе этого вечера. Я чувствовалъ, что съ этого дня для него раскрылся новый міръ наслажденій и страданій—міръ искусства; мнѣ казалось, что я подсмотрѣлъ то, чего никто никогда не имѣетъ права видѣть—зарожденіе таинственнаго цвѣтка поэзіи.

Мнѣ и страшно, и радостно было, какъ искателю клада, который бы увидалъ цвѣтъ папоротника; радостно мнѣ было потому, что вдругъ, совершенно неожиданно, открылся мнѣ тотъ философскій камень, котораго я тщетно искалъ два года—искусство учить выраженію мыслей; страшно потому, что это искусство вызывало новыя требованія, цѣлый міръ желаній, несоответственный средѣ, въ которой жили ученики, какъ мнѣ казалось въ первую минуту» (223). Черезъ двѣ страницы тѣ же мысли повторяются съ еще болѣею силой: «Я оставилъ урокъ, потому что былъ слишкомъ взволнованъ. «Что съ вами? Отчего вы такъ блѣдны, вы вѣрно нездоровы?» спросилъ меня мой товарищъ. Дѣйствительно, я два-три раза въ жизни испытывалъ столь сильное впечатлѣніе, какъ въ этотъ вечеръ, и долго не могъ дать себѣ отчета въ томъ, что я испытывалъ. Мнѣ смутно казалось, что я преступно подсмотрѣлъ въ стеклянный улей работу пчелъ, закрытую для взора смертнаго; мнѣ казалось, что я развратилъ чистую, первобытную душу крестьянскаго ребенка. Я смутно чувствовалъ въ себѣ раскаяніе въ какомъ-то святотатствѣ. Мнѣ вспоминались дѣти, которыхъ праздные и развратные старики заставляютъ ломаться и представлять сладострастные картины для разжиганія своего усталого, истасканнаго воображенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ мнѣ было радостно, какъ радостно должно быть человѣку, увидавшему то, чего никто не видалъ прежде его»...

Въ этой страстной тирадѣ отразился весь гр. Толстой со всѣми своими противорѣчіями, со всею своею любовью къ народу, со всѣми своими надеждами и опасеніями.

Итакъ гр. Толстой рѣшительно и безповоротно отрицаетъ право образованныхъ, цивилизованныхъ людей воспитывать народъ. Онъ совершенно вычеркиваетъ воспитаніе изъ задачъ педагогій, и центръ тяжести этого отрицанія составляетъ опасеніе принять и извратить будущность народа, тотъ расцвѣтъ его силъ, который пока лежитъ только *in Werden*, въ возможности. Къ этому центру сходятся всѣ его аргументы. Другое дѣло—образованіе; его гр. Толстой требуетъ. Образованіе есть для

него совокупность всѣхъ жизненныхъ и школьныхъ вліяній. «которыя развиваютъ человѣка, даютъ ему болѣе обширное міросозерцаніе, даютъ ему новыя свѣдѣнія» (IV, 122). Воспитаніе, по гр. Толстому, составляетъ часть образованія, именно принудительную часть, причеиъ подъ принужденіемъ разиъмѣтся не столько прямое, физическое или полицейское насиліе, сколько исключительный, соображенный только съ желаніями учителя выборъ сообщаемыхъ свѣдѣній и приеиовъ передачи.

Народъ желаетъ учиться, «общество» желаетъ его учить, а толку все-таки никакого не выходитъ, народъ остается невѣжественнымъ, необразованнымъ не только у насъ, а и въ Европѣ. гдѣ на образованіи народа сосредоточено и больше усилий, и больше матеріальныхъ средствъ. Это явленіе побуждаетъ графа Толстого пересмотрѣть основанія того образованія, которое предлагается народу. Какія это въ самомъ дѣлѣ основанія? Какія имѣетъ основанія школа нашего времени учить тому, а не этому: учить такъ, а не иначе? «Китайскаго мандарина, не выѣзжавшаго изъ Пекина, можно заставлять заучивать изрѣченія Конфуція и палками вбивать въ дѣтей эти изрѣченія. Можно было дѣлать это и въ средніе вѣка, *но гдѣ же взять въ наше время ту силу вѣры въ несомнѣнность своего знанія, которая бы могла намъ дать право насильно образовывать народъ?* Возьмите какую угодно средневѣковую школу до или послѣ Лютера, возьмите всю ученую литературу среднихъ вѣковъ, — какая сила вѣры и твердо несомнѣннаго знанія того, что истинно и что ложно, видна въ этихъ людяхъ! Имъ легко было знать, что греческій языкъ есть единственное необходимое условіе образованія, потому что на этомъ языкѣ былъ Аристотель, въ истинѣ положеній котораго никто не усомнился нѣсколько вѣковъ послѣ. Какъ было монахамъ не требовать изученія Священнаго Писанія, стоявшаго на незыблемомъ основаніи. Хорошо было Лютеру требовать непремѣннаго изученія еврейскаго языка, когда онъ твердо зналъ, что на этомъ языкѣ самъ Богъ открылъ истину людямъ. Понятно, что когда критическій смыслъ челоиѣчества еще не пробуждался, школа должна была быть догматическая»

(IV, 8). Надо замѣтить, что «пробужденіе критическаго смысла» имѣетъ въ устахъ г. Толстого совершенно особенное значеніе. Это не только возникновеніе сомнѣній въ извѣстныхъ вѣковыхъ понятіяхъ о явленіяхъ природы, но и возникновеніе сомнѣній въ справедливости извѣстныхъ явленій жизни общества, возникновеніе того чувства отвѣтственности, которымъ такъ полонъ самъ гр. Толстой, и отсутствіе котораго въ Аннѣ Карениной такъ охотно беретъ подъ свою защиту одинъ изъ пещерныхъ критиковъ гр. Толстого («Анна Каренина вопервыхъ—барыня, вовторыхъ, будучи барыней, она не сознаетъ въ этомъ обстоятельстве никакой вины съ своей стороны и не желаетъ выдти изъ своего привилегированнаго положенія». «Русскій Вѣстникъ», № 5). Изъ этого чувства отвѣтственности вытекаетъ, какъ мы видѣли, обязанность помочь обездоленнымъ выбраться на свѣтъ божій. Но чувство отвѣтственности до такой степени сильно въ гр. Толстомъ и законность его до такой степени ясно представляется его уму, что онъ не можетъ допустить, чтобы всякій имѣлъ право нести народу, въ видѣ образованія, безъ разбора все, что только у него есть за душой. Гр. Толстой и себѣ не даетъ этого права. Мы видѣли, какъ тревожно и пугливо отнесся онъ къ факту разбуженной имъ въ Оедькѣ творческой силы. Онъ какъ будто говорить: положимъ, нѣкоторыя понятія представляются мнѣ несомнѣнно истинными и для моего домашняго обихода они годятся, удовлетворяютъ меня; но эта несомнѣнность тонетъ въ моемъ чувствѣ отвѣтственности; откуда мнѣ взять *такую* силу вѣры въ несомнѣнность своего знанія, которая могла бы мнѣ дать право насильно образовывать народъ?

Хотя я профанъ и въ философіи, и въ педагогикѣ, и пишу, собственно говоря, просто фельетонъ, но рекомендую читать этотъ фельетонъ съ усиленнымъ вниманіемъ. Не ради меня, а ради гр. Толстого, ради тѣхъ тонкихъ оттѣнковъ его мысли, которыя я только комментирую. Усиленное вниманіе требуется кромѣ того и въ виду неточности и небрежности языка гр. Толстого.

Слишкомъ великимъ дѣломъ представляется гр. Толстому народное образованіе, слишкомъ важнымъ и отвѣтственнымъ, чтобы удовольствоваться обыкновенными гарантіями истинности нашихъ понятій. Истина—это вѣдь только случай равновѣсія между потребностью познанія и окружающимъ познаваемымъ міромъ. Она измѣняется съ измѣненіемъ познающаго субъекта и слѣдовательно существенно обуславливается всей соціальной обстановкой познающихъ. Вопросъ слѣдовательно и съ этой стороны сводится на соціальную почву, что придаетъ новое значеніе постоянно присутствующему на умственныхъ счетахъ графа Толстого опасенію дать народу, какъ онъ говоритъ, камень вмѣсто куска хлѣба. Съ этимъ же опасеніемъ въ головѣ приступаетъ онъ и къ пересмотру основаній принудительнаго образованія или воспитанія, или замыканія ученика въ кругъ свѣдѣній и понятій, который представляется правильнымъ учителю. Основанія эти могутъ быть по его мнѣнію подведены подъ четыре отдѣла: религіозныя, философскія, опытныя и историческія. Это дѣленіе предложено имъ въ статьѣ «О народномъ образованіи» (IV, 5—38). Въ статьѣ «Воспитаніе и образованіе» предлагаются нѣсколько отличныя рубрики, но объ нихъ потомъ.

Что касается до образованія, имѣющаго своею основною религію, то гр. Толстой признаетъ за нимъ, и только за нимъ, право принужденія. Такое выдѣленіе религіознаго образованія очевидно вполне законно, потому что религія имѣетъ дѣло съ предметами вѣры, а не познанія, земныя цѣли подчиняетъ спасенію души и всѣ личныя усилія разработать ея догматы отрицаетъ. Но, замѣчаетъ гр. Толстой, «въ наше время, когда образованіе религіозное составляетъ только малую часть образованія, вопросъ о томъ, какое имѣетъ основаніе школа принуждать молодое поколѣніе учиться извѣстнымъ образомъ—остается нерѣшеннымъ». Въ статьѣ «Отеч. Записокъ», по поводу которой г. Марковъ столь либерально сваливаетъ въ одну кучу г. Цвѣткова и гр. Толстого, послѣдній выражается еще опредѣленнѣе: «Теперь всѣми признано, и совершенно справедливо

по моему мнѣнію, что религія не можетъ служить ни содержаніемъ, ни указаніемъ метода образованія, и что образованіе имѣетъ своимъ основаніемъ другія требованія».

Затѣмъ идутъ основанія философскія. Всѣ основатели философскихъ системъ болѣе или менѣе касались задачъ педагогическимъ и приводили ихъ въ связь съ своими общими философскими воззрѣніями. Но при этомъ задачи педагогическія оказываются столь же много—и разнообразными, какъ и философскія системы. Эти разнообразные системы не только смѣняють другъ друга во времени, но зачастую существовали и существуютъ бокъ-о-бокъ, не побоявъ другъ друга. Поэтому, даже не разсматривая ихъ, а ргогі можно сказать, что по крайней мѣрѣ большинство ихъ не представляетъ достаточныхъ гарантій правильности выведенныхъ изъ нихъ педагогическихъ теорій. «Прослѣдивъ ходъ исторіи философіи педагогики, вы найдете въ ней не критеріумъ образованія, но напротивъ одну общую мысль, безсознательно лежащую въ основаніи всѣхъ педагоговъ, несмотря на ихъ частое между собою разногласіе, мысль, убѣждающая насъ въ отсутствіи этого критеріума. Всѣ они, начиная отъ Платона и до Канта, стремятся къ одному—освободить школу отъ историческихъ узъ, тяготящихся надъ нею, хотять угадать то, что нужно человѣку, и на этихъ болѣе или менѣе вѣрно угаданныхъ потребностяхъ строятъ свою новую школу. Лютеръ заставляетъ учить въ подлинникѣ Священное Писаніе, а не по комментаріямъ святыхъ отцовъ. Бэконъ заставляетъ изучать природу изъ самой природы, а не изъ книгъ Аристотеля. Руссо хочетъ учить жизни изъ жизни, какъ онъ ее понимаетъ, а не изъ прежде бывшихъ опытовъ. Каждый шагъ философіи педагогическія впередъ состоитъ только въ томъ, чтобъ освободить школу отъ мысли обученія молодыхъ поколѣній тому, что старыя поколѣнія считали наукою, къ мысли обученія тому, что лежитъ въ потребностяхъ молодыхъ поколѣній. Одна эта общая и вѣстѣ съ тѣмъ противорѣчащая себѣ мысль чувствуется во всей исторіи педагогики; общая, потому что всѣ требуютъ болѣе мѣры свободы школъ, противорѣчащая, потому что каждый

предписываетъ законы, основанные на своей теоріи, и тѣмъ самымъ стѣсняетъ свободу».

Основанія опытыя. Можетъ быть принудительное образованіе *) можетъ сослаться на опытъ, показать блестящіе результаты, которыхъ оно достигло? Но гдѣ же эти блестящіе результаты? Конечно въ Европѣ. Гр. Толстой ссылается на свои личныя наблюденія, свидѣтельствующія, что такихъ блестящихъ результатовъ тамъ нѣтъ. Но важнѣйшій изъ аргументовъ состоитъ въ томъ, что новой народной литературы въ Европѣ нѣтъ и что десятое поколѣніе нужно такъ же насильно посылать въ школу, какъ и первое.

Основанія историческія. «Существующія школы выработались

*) Я прошу читателя помнить, что это не то, что у насъ называется обязательнымъ обученіемъ. Принудительное образованіе народа есть замыканіе его духовнаго развитія въ кругъ свѣдѣній и понятій, избранный по личному вкусу учителя или общества или правительства. Что касается до обязательнаго обученія, которое гр. Толстой вскользь, мимоходомъ также отрицаетъ, то о немъ теперь у насъ разговора нѣтъ. Замѣчу только слѣдующее. Обязательное обученіе отрицается многими, я полагаю, только потому, что оно налагаетъ на общество обязанность учить (гр. Толстой конечно не принадлежитъ къ числу этихъ многихъ). Кромѣ того слѣдуетъ замѣтить, что при всей непривлекательности насилія въ дѣлѣ образованія (насилія прямого, полицейскаго) нельзя особенно негодовать противъ него тамъ, гдѣ оно не составляетъ явленія исключительнаго. Мнѣ пришлось однажды присутствовать при поразительной картинѣ учета волостного старшины. Поразительно здѣсь было сочетаніе обязанности выборныхъ учитывать плута и даже двухъ плутовъ (старшины и писаря) съ полнѣйшею беспомощностью. Я никогда не забуду этой сцены, а это конечно еще мелочь. Еслибы возможно было снять съ народа обязанность платить подати, обязанность нести военную службу и всѣ другія многочисленныя обязанности, то обязательное обученіе было бы возмутительнымъ и бессмысленнымъ насиліемъ. Теперь же объ этомъ этого сказать нельзя. Я знаю, что гр. Толстой со мной не согласится. Но защита обязательнаго обученія можетъ и не противорѣчить отрицанію принудительнаго образованія, какъ его понимаетъ гр. Толстой. Составьте только для обязательнаго обученія программу не по своему личному вкусу, а возможно подходящую къ требованію народа. Если дѣло обойдется при этомъ безъ насилія, тѣмъ лучше.

историческимъ путемъ, историческимъ же путемъ должны вырабатываться дальше и видоизмѣняться сообразно требованіямъ общества и времени; чѣмъ дальше мы живемъ, тѣмъ школы дѣлаются лучше и лучше». Гр. Толстой рѣшительно отрицаетъ это улучшеніе школъ. Онъ находитъ, что онѣ становятся напротивъ все хуже и хуже; хуже относительно, сравнительно съ общимъ уровнемъ образованія, который достигается въ данный историческій моментъ. Онъ употребляетъ очень любопытный приемъ для повѣрки прогресса школьнаго образованія. Образование дается не только школой, оно дается и жизнью,—развитіемъ торговыхъ сношеній, путей сообщенія, болѣе степени свободы личности и участія ея въ дѣлахъ правленія, собраніями, музеями, публичными лекціями, литературой и проч. По мѣрѣ того какъ эти побочныя, внѣ-школьныя средства образованія развиваются, значеніе школы падаетъ, она отъ нихъ отстаетъ. Школы въ Парижѣ или Марсели и въ какомъ-нибудь захолустѣ Франціи устроены одинаково, и однако народъ въ Парижѣ и Марсели образованнѣе, потому что жизнь тамъ поучительнѣе, чѣмъ въ захолустѣ. Въ прежнія времена школа давала все образованіе, какое было доступно исторической минутѣ; теперь она даетъ только ничтожную долю образованія, и чѣмъ дальше, тѣмъ эта доля становится меньше, а главная часть образованія получается не изъ школы, а изъ жизни. Значитъ, относительно говоря, школа не улучшается, а ухудшается, значитъ принудительное образованіе становится все болѣе незаконнымъ.

Въ концѣ концовъ у принудительнаго образованія нѣтъ никакихъ основаній. «Наше мнимое знаніе законовъ добра и зла, и на основаніи ихъ дѣятельность на молодое поколѣніе, есть болѣею частію противодѣйствіе развитію новаго сознанія, невыработаннаго еще нашимъ поколѣніемъ, а вырабатывающагося въ молодомъ поколѣніи; оно есть препятствіе, а не пособіе образованію» (эта вѣчная борьба «отцовъ и дѣтей» довольно часто поминается гр. Толстымъ, какъ явленіе дѣйствительно поучительное). Эту точку зрѣнія гр. Толстой весьма послѣдовательно проводить по всѣмъ ступенямъ образованія. Стоя на ней, онъ

самымъ рѣшительнымъ образомъ отрицаетъ теперешнее устройство университетовъ и гимназій, какъ заведеній, несообразенныхъ съ потребностями молодого поколѣнія, съ вырабатывающимися въ немъ «новымъ сознаніемъ». Столь же рѣшительно отрицаетъ онъ и нынѣшнюю организацію народнаго образованія въ тѣсномъ смыслѣ слова. Извѣстна его ересь: учите народъ тому, чему онъ хочетъ учиться, критерій образованія есть свобода учащагося.

Но куда же дѣнется при этомъ наука педагогики? Куда дѣнутся Шульцы и Шмальцы и Фибли?—Они сдадутся въ архивъ, какъ сданы въ архивъ алхимики, астрологи и многіе другіе ученые люди.—Но съ ними будетъ похоронена наука, образованіе останется безъ научнаго кормила и научнаго весла! Къ такого рода возгласамъ подавъ отчасти поводъ самъ гр. Толстой нѣсколькими неточными и неправильными выраженіями, и тѣми противорѣчіями, которыя, согласно моей гипотезѣ, изложенной въ прошлый разъ, неизбежны для гр. Толстого. Ну да и заступиться за науку противникамъ гр. Толстого было лестно: наука вещь хорошая, и въ защиту ея можно написать много прекрасныхъ и даже вполне вѣрныхъ, хотя и общезвѣстныхъ фразъ. Въ сущности же гр. Толстой, не смотря на всю свою непочтительность къ Урстамъ и Фиблиамъ, на дѣлѣ не только не отрицаетъ науки педагогики, но даетъ ей вполне ясное, оригинальное и весьма глубокое опредѣленіе. Я уже его приводилъ. Образованіе есть извѣстное отношеніе двухъ людей или двухъ группъ людей, стремящихся къ равенству познаній: одни стремятся передать знанія, другіе стремятся ихъ получить. «Задача науки образованія есть *только* изученіе условій совпаденія этихъ двухъ стремленій къ одной общей цѣли и указаніе условій, которыя препятствуютъ этому совпаденію» (IV, 36). Не смотря на подчеркнутое мною *только*, повидимому съуживающее предѣлы науки, я не знаю опредѣленія болѣе полнаго и широкаго, болѣе способнаго поставить педагогику на дѣйствительно научную высоту. Но гр. Толстой не воспользовался всѣми выгодами этого истинно блестящаго опредѣленія. Скажу болѣе,—онъ ими и не

могъ воспользоваться, вслѣдствіе слишкомъ страстнаго и лихорадочнаго отношенія къ дѣлу.

Опредѣленіе это по моему мнѣнію особенно дорого тѣмъ, что обнимаетъ и учителя и ученика, и образовывающее общество и образовывающійся народъ. Въ развитіи же своихъ педагогическихкихъ воззрѣній гр. Толстой далеко не всегда слѣдитъ за обѣими этими частями своей собственной формулы науки. Онъ преимущественно имѣетъ въ виду стремленія ученика, народа. Ну хорошо, народъ требуетъ, чтобы его обучали славянскому и русскому языку и ариметикѣ. Эта программа, особенно какъ ее понимаетъ гр. Толстой, можетъ удовлетворить не только ученика, а и учителя. Ну а еслибы народъ требовалъ какой-нибудь ни съ чѣмъ несообразной программы? Гр. Толстой скажетъ можетъ быть, что такой программы народъ не можетъ потребовать, что требованія его хотя и элементарны, но непремѣнно разумны и справедливы. Это однако не будетъ резоннымъ возраженіемъ, потому что мы вѣдь не можемъ поручиться, что признаваемое нами разумнымъ и справедливымъ дѣйствительно таково: народъ заявилъ требованіе и мы должны его выполнить, хотя бы оно на нашъ взглядъ и казалось ни съ чѣмъ несообразнымъ. Въ сущности гр. Толстой и самъ понимаетъ возможность такихъ случаевъ и даже приводитъ и комментируетъ нѣкоторые изъ нихъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ постоянно колеблется, отдавая первое мѣсто то требованіямъ учителя, его идеаламъ, то требованіямъ ученика. То вытягивается его десница. поднимается тотъ сильный, смѣлый, энергическій человѣкъ, который рѣшился, во имя истины и справедливости, во имя интересовъ народа, помѣряться со всей исторіей цивилизаціи; то выдѣзаетъ шуйца, тотъ слабый, нерѣшительный человѣкъ, который заявилъ о цѣлесообразности, законности кроваваго движенія народовъ съ запада на востокъ и обратно, о томъ, что Наполеонъ былъ именно такой негодный человѣкъ, какой былъ нуженъ для цѣлей провидѣнія и т. п.

Я приведу примѣры десницы и шуйцы.

Я уже говорилъ, что въ статьѣ «Воспитаніе и образованіе»

гр. Толстой располагает основанія принудительнаго образованія нѣсколько иначе, чѣмъ они приведены выше. Правда, тутъ онъ говоритъ не объ основаніяхъ, а о причинахъ принудительнаго образованія или воспитанія. Но на дѣлѣ разницы большой не выходитъ. Будемъ однако и мы говорить о причинахъ такого явленія, какъ насиліе въ образованіи. Причины эти по мнѣнію гр. Толстого лежатъ: 1) въ семействѣ, 2) въ религіи, 3) въ государствѣ, 4) въ обществѣ (въ тѣсномъ смыслѣ, — у насъ въ кругу чиновниковъ и дворянства). Причины, лежащія въ религіи, мы уже видѣли. Причины, лежащія въ государствѣ, гр. Толстой только отмѣчаетъ, какъ имѣющія «неоспоримыя оправданія», и проходитъ мимо. Это очень жалъ. Я полагаю, что причины эти не больше и не меньше важны, чѣмъ всѣ другія и никакому исключительному суду не подлежатъ. Я уже рекомендовалъ книгу г. Владимірскаго-Буданова гг. педагогамъ, а теперь рекомендую ее и гр. Толстому. Правительства столь же мало имѣютъ права, какъ и всѣ частныя лица и учрежденія, направлять народное образованіе къ своимъ исключительнымъ цѣлямъ. И чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе сознаютъ это сами правительства. Какъ бы то ни было, но о государственныхъ основаніяхъ принудительнаго образованія гр. Толстой, собственно говоря, просто умалчиваетъ. Остаются причины, лежащія въ обществѣ и въ семьѣ. Первые гр. Толстой безусловно отрицаетъ, вторыя признаетъ основательными. «Отецъ и мать, онъ говоритъ, какіе бы они ни были, желаютъ сдѣлать своихъ дѣтей такими же, какъ они сами, или по крайней мѣрѣ такими, какими бы они желали быть сами. Стремленіе это такъ естественно, что нельзя возмущаться противъ него. До тѣхъ поръ, пока право свободнаго развитія каждой личности не вошло въ сознаніе каждаго родителя, нельзя требовать ничего другого. Кромѣ того родители болѣе всякаго другого будутъ зависѣть отъ того, чѣмъ сдѣлается ихъ сынъ, такъ что стремленіе ихъ воспитать его по своему можетъ назваться ежели не справедливымъ, то естественнымъ». Уже изъ этихъ строкъ видно, что гр. Толстой намѣренъ дать сильную поблажку семейному принудительному обра-

зованію, потому что вѣдь аргументъ «пока право свободнаго развитія каждой личности не вошло въ сознаніе каждого родителя» и проч., аргументъ этотъ очевидно приложимъ ко всѣмъ родамъ принудительнаго образованія. Пока право свободнаго развитія каждой личности не вошло въ сознаніе каждого педагога, имъ пожалуй тоже нельзя ставить тѣхъ требованій, которыя предъявляетъ гр. Толстой. Поблажка очевидна, а въ дальнѣйшемъ изложеніи она получаетъ весьма солидные размѣры. Четвертая причина принудительнаго образованія лежитъ въ потребности «общества, того общества въ тѣсномъ смыслѣ, которое у насъ представляется дворянствомъ, чиновничествомъ и отчасти купечествомъ. Этому обществу нужны помощники, потворщики и участники». Я не стану приводить всѣхъ аргументовъ гр. Толстого противъ принудительнаго «общественнаго» образованія. Они не всегда справедливы, всегда остроумны и очень часто отличаются замѣчательною глубиною. Характеръ ихъ долженъ уже уясниться читателю изъ всего предыдущаго. Я остановлюсь только на точкахъ враждебнаго столкновенія семейнаго насилія въ образованіи съ насиліемъ «общественнымъ». Чтобы удобнѣе прослѣдить всѣ ступени принудительнаго образованія, отъ элементарной школы до университета, гр. Толстой беретъ въ примѣръ исторію образованія сына не крестьянина, а небогатаго купца или мелкопомѣстнаго дворянина. Родители эти, предполагаетъ гр. Толстой, отдали дѣтей въ ученіе «въ надеждѣ сдѣлать изъ нихъ себѣ помощниковъ, одному—помочь сдѣлать свое маленькое имѣніице производительнымъ, другому—помочь повести правильнѣе и выгоднѣе торговлю». Но оказывается, что молодые люди, возвращаясь подъ родительскій кровъ по окончаніи университетскаго курса, не только не способны, не могутъ, не умѣютъ и не хотятъ оправдывать надежды родителей, но совершенно чужды родной средѣ, не имѣютъ съ ней ничего общаго. Это возмущаетъ гр. Толстого. «Посмотрите — говоритъ онъ съ укоромъ — какъ сынъ крестьянина приучается быть хозяиномъ, сынъ дьячка, читая на клиросѣ, быть дьячкомъ, сынъ киргиза - скотовода быть скотоводомъ; онъ смолоду уже

михайловскій, т. III. вып. I.

становится въ прямые отношенія съ жизнью, съ природой и людьми, смолоду учится, плодотворно работая». Я отнюдь не думаю защищать наличную систему школьнаго образованія. Но если эта система не хороша тѣмъ, что замыкаетъ ученика въ кругъ понятій и свѣдѣній, избранный личными вкусами воспитателей, то чѣмъ же отъ нея отличается система, при которой сынъ дьячка уже смолоду обрекается быть дьячкомъ и сыномъ скотовода скотоводомъ? Почему стремленіе купца засадить своего сына въ лавку менѣе деспотично, чѣмъ стремленія «общества» получить себѣ «помощниковъ, потворщиковъ и участниковъ»? По какому праву вы хотите запретить человѣка въ кругъ идей и чувствъ его среды, даже не справляясь, какова эта среда? На всѣ эти вопросы я не нахожу отвѣтовъ у гр. Толстого, да и не могу найти, потому что всѣ его разсужденія о законности семейнаго принудительнаго воспитанія представляютъ его шуйцу. Они высказаны въ минуту ослабленія мысли и энергіи, когда гр. Толстому хочется предоставить такъ интересующее его дѣло суду и волѣ божіей, предоставить дѣло его собственному теченію, въ надеждѣ, что изъ этого выйдетъ все-таки что-нибудь лучшее, чѣмъ при нашемъ вмѣшательствѣ. На мои вопросы гр. Толстой потому не можетъ дать удовлетворительныхъ отвѣтовъ, что эти же вопросы и тѣмъ же тономъ онъ задаетъ другимъ, когда десница пересиливаетъ шуйцу. Въ той же статьѣ, изъ которой взяты приведенныя разсужденія, я нахожу слѣдующія строки: «Я знаю барышника-дворника, постоянно подлыми путями сбивающаго себѣ копѣйку, который на мои увѣщанія и подольщенія отдать славнаго 12-тилѣтняго своего сынишку ко мнѣ въ ясно-полянскую школу, въ самодовольную улыбку распускающая свою красную рожу, постоянно отвѣчаетъ одно и то же: «ово такъ-то такъ, ваше сіятельство, да мнѣ нужнѣе всего прежде напитать его своимъ духомъ». И онъ его вездѣ таскаетъ съ собой и хвастается тѣмъ, что 12-тилѣтній сынишка научился обдывать мужиковъ, ссыпавшихъ отцу пшеницу. Кто не знаетъ отцовъ, воспитанныхъ въ юнкерахъ и корпуссахъ, считающихъ только то образованіе хорошимъ, которое пропитано тѣмъ са-

мым духомъ, въ которомъ эти отцы сами воспитались» (125). Въ другой статьѣ («Ясно-полянская школа за ноябрь и декабрь мѣсяцы») тотъ же вопросъ затрогивается и рѣшается еще энергичнѣе. Описывается между прочимъ прогулка гр. Толстого съ нѣкоторыми учениками ясно-полянской школы по лѣсу ночью. Обстановка, предыдущія занятія (только-что читали «Вія» Гоголя), разговоры о разныхъ страшныхъ исторіяхъ, о Кавказѣ, о пѣни, о музыкѣ, все это подняло тонъ душевнаго настроенія маленькаго общества. Самый процессъ поднятія этого тона описать съ изумительнымъ мастерствомъ. Но еще изумительнѣе сопоставленіе этого высокаго тона со «средой», съ тѣмъ міромъ фактической обстановки, въ который надо же было наконецъ вернуться изъ лѣсу. Я не могу привести здѣсь всего описанія прогулки, но не могу отказать себѣ въ удовольствіи выписать по крайней мѣрѣ вторую его часть—возвращеніе изъ лѣсу. Не забудьте только, что идутъ люди, полные необыденныхъ чувствъ и мыслей, настроенные на высокій ладъ. Идутъ и вотъ что они встрѣчаютъ:

Мы пошли къ деревнѣ. Оедька все не пускалъ моей руки,—теперь, мнѣ казалось, уже изъ благодарности. Мы всѣ были такъ близки въ эту ночь, какъ давно уже не были. Пронька пошелъ рядомъ съ нами по широкой дорогѣ деревни. «Вишь, огонь еще у Мироновыхъ!» сказалъ онъ. «Я нынче въ классъ шелъ, Гаврюха изъ кабака ѣхалъ, прибавилъ онъ, пья-я-яный, распяный; лошадь вся въ мылѣ, а онъ-то ее ожариваетъ... Я всегда жалѣю. Право! за что ее бить».—«А надъсь батя, сказалъ Семка, пустилъ свою лошадь изъ Тулы, она его въ сугробъ и завезла, а онъ спитъ пьяный».—«А Гаврюха такъ по глазамъ и хлещетъ... и такъ мнѣ жалко стало, еще разъ сказалъ Пронька:—за что онъ ее билъ? слѣвъ, да и хлещетъ». Семка вдругъ остановился. «Наши ужъ спятъ», сказалъ онъ, глядяваясь въ окна своей кривой черной избы. «Не пойдете еще?»—«Нѣтъ».—«Пра-а-щайте, Л. Н.», крикнулъ онъ вдругъ и, какъ будто съ усиліемъ оторвавшись отъ насъ, рысью побѣжалъ къ дому, поднялъ щеколду и скрылся. «Такъ ты и будешь разводить насъ—сперва одного, а потомъ другого?» сказалъ Оедька. Мы пошли дальше. У Проньки былъ огонь, мы заглянули въ окно: мать, высокая, красивая, но изнуренная женщина съ черными бровями и глазами, сидѣла за столомъ и чистила картошку; на срединѣ висѣла люлька; математикъ 2-го класса, другой братъ Проньки, стоялъ у стола и ѣлъ картошку съ солью. Иба была

черная, крошечная, грязная. «Пропasti на тебя нѣтъ!» закричала мать на Проньку. «Гдѣ былъ?» Пронька кротко и болѣзненно улыбнулся, глядя на окошко. Мать догадалась, что онъ не одинъ, и сейчасъ перемѣнила выраженіе на нехорошее, притворное выраженіе. Остался одинъ Федька. «У насъ портные сидятъ, оттого свѣтъ», сказалъ онъ своимъ смягченнымъ голосомъ; «нынѣшняго вечера прощай, Л. Н.», прибавилъ онъ тихо и нѣжно, и началъ стучать кольцомъ въ запертую дверь. «Отоприте!» прозвучалъ его тонкій голосъ среди зимней тишины деревни. Ему долго не отворили. Я заглянулъ въ окно: изба была большая; съ печи и лавки виднѣлись ноги; отецъ съ портными играть въ карты, нѣсколько мѣдныхъ денегъ лежало на столѣ. Баба, матиха, сидѣла у свѣтца и жадно глядѣла на деньги. Портной, прожженный ерыга, молодой мужикъ, держалъ на столѣ карты, согнутыя лубкомъ, и съ торжествомъ глядѣлъ на партнера. Отецъ Федьки съ растегнутымъ воротникомъ, весь сморщившись отъ умственного напряженія и досады, переминалъ карты и въ нерѣшительности сверху замахивался на нихъ своею рабочею рукою. «Отоприте!» Баба встала и пошла отпирать. «Прощайте! еще разъ повторилъ Федька:— всегда такъ давайте ходить».

Я вижу людей честныхъ, добрыхъ, либеральныхъ, членовъ благотворительныхъ обществъ, которые готовы дать и даютъ одну сотую своего состоянія бѣднымъ, которые учредили и учреждаютъ школы и которые, прочтя это, скажутъ: не хорошо!—и покачаютъ головой. Зачѣмъ усиленно развивать ихъ? Зачѣмъ давать имъ чувства и понятія, которыми враждебно поставятъ ихъ къ своей средѣ? Зачѣмъ выводить ихъ изъ своего быта? скажутъ они. Я не говорю уже о тѣхъ, выдающихъ себя головою, которые скажутъ: хорошо будетъ устройство государства, когда всѣ захотятъ быть мыслителями и художниками, а работать никто не станетъ! Эти прямо говорятъ, что они не любятъ работать, и потому нужно, чтобы были люди не то, что неспособные для другой дѣятельности, а рабы, которые работали бы за другихъ. Хорошо ли, дурно ли, должно ли выводить ихъ изъ ихъ среды и т. д.—кто это знаетъ? И кто можетъ вывести ихъ изъ своей среды? Точно это какое-нибудь механическое дѣло. Федька не тяготится своимъ оборваннымъ кафтанишкомъ, но нравственные вопросы и сомнѣнія мучаютъ Федьку, а вы хотите дать ему три рубля, катихизисъ и исторію о томъ, какъ работа и смиреніе, которыхъ вы сами терпѣть не можете, одни полезны для человѣка. Три рубля ему не нужны, онъ ихъ найдетъ, когда они ему понадобятся, а работать научится безъ васъ такъ же, какъ дышать; ему нужно то, до чего довела васъ ваша жизнь, вашихъ десять незабитыхъ работой поколѣній. Вы ниѣли досугъ искать, думать, страдать, — дайте же ему то, чѣмъ вы выстрадали, ему этого одного и нужно; а вы, какъ египетскій жрецъ, закрываетесь отъ него таинственной мантией, зарываете въ землю талантъ, данный вамъ

исторіей. Не бойтесь, человѣку ничто человѣческое не вредно. Вы сомнѣваетесь? Отдайтесь чувству, и оно не обманетъ васъ. Повѣрьте его прирѣдѣ, и вы убѣдитесь, что онъ возьметъ только то, что заповѣдала вамъ передать ему исторія, что страданіями выработалось въ васъ» (280 и слѣд.).

Описаніе прогулки по лѣсу замѣчательно во многихъ отношеніяхъ: и по художественности формы (я преимущественно именно этотъ разсказъ имѣлъ въ виду, когда говорилъ, что въ IV томѣ есть вещи, даже въ чисто-художественномъ отношеніи превосходящія можетъ быть все, написанное гр. Толстымъ), и по глубинѣ вложеннаго въ эту форму содержанія, и наконецъ для характеристики гр. Толстого. Дѣло въ томъ, что прогулка въ лѣсу есть единственное въ своемъ родѣ художественное произведеніе гр. Толстого. Міръ народа и міръ «общества» часто сопоставляются имъ, но, какъ мы уже видѣли, всегда съ такой стороны, съ которой народъ оказывается выше общества, — цивилизованные люди или завидуютъ народу, или, самоувѣренно вторгаясь въ его жизнь, только портятъ ее. Эффекта этого гр. Толстой достигаетъ не тѣмъ грубымъ приемомъ, по которому герои одной среды мѣряются съ пигмеями другой; онъ не идеализируетъ мужика, оставляетъ его и пьяницей, и невѣждой, и не дѣлаетъ изъ барина карикатуры. Но свѣтъ и тѣнь располагаются все-таки такъ, что баринъ со всѣмъ своимъ развитіемъ оказывается плохъ, а если не плохъ, такъ въ немъ по крайней мѣрѣ по временамъ вспыхиваетъ страстное желаніе жить жизнью мужика. Въ прогулкѣ въ лѣсу тѣ же два міра поставлены иначе, и опять-таки безъ всякаго грубаго эффекта: крестьянскіе мальчики, уже подготовленные своимъ школьнымъ образованіемъ, удаляются на нѣсколько минутъ въ міръ идей и чувствъ, чуждыхъ ихъ средѣ, и затѣмъ возвращаются въ міръ дѣйствительности, къ своимъ пьянымъ и грубымъ отцамъ. Только. Но вы понимаете, что картинка эта въ корень подрываетъ всѣ разсужденія о преимуществахъ семейнаго насилія въ образованіи передъ всѣми другими видами насилія. А затѣмъ и самъ гр. Толстой принимается комментировать эту картинку и доказывать,

что онъ былъ правъ, шевеля души Оедыки, Семки и Проушки необыденными, иссвойственными ихъ средѣ мыслями.

Мысль, вложенная въ прогулку по гѣсу, въ художественной, образной формѣ у гр. Толстого нигдѣ больше не воспроизводится. Нигдѣ цивилизованный человѣкъ не рисуется имъ со стороны его духовнаго богатства, со стороны того, чѣмъ онъ можетъ и долженъ быть полезенъ народу. «Десять незабытыхъ работъ поколѣній» нигдѣ не представляются гарантіей какой бы то ни было высоты. Напротивъ они представляются вѣками порчи и извращенія человѣческой природы. Потому-то я и называю прогулку единственнымъ въ своемъ родѣ художественнымъ произведеніемъ гр. Толстого. Однако мысль, вложенная въ прогулку, довольно часто разрабатывается въ его педагогическихъ статьяхъ. Наконецъ на ней построена вся его педагогическая дѣятельность. Только потому онъ и учитъ, и пишетъ, что признаетъ за собой право и обязанность сообщить народу вѣчто такое, чего ему не хватаетъ. При этомъ его десница отодвигаетъ всѣ препятствія, какія только попадаютъ на пути, будь то деспотизмъ семейства или общества, обстановка той или другой среды, тѣ или другіе предрасудки. Но у гр. Толстого есть и шуйца. Она побуждаетъ его напротивъ оставлять препятствія въ покоѣ, охранять неприкосновенность установившихся предрасудковъ и среды въ томъ странномъ разсчетѣ, что «не случайно, а цѣлесообразно окружила природа земледѣльца земледѣльческими условіями, горожанина—городскими». Распространите только этотъ афоризмъ, на что вы имѣете полное логическое право, и вы смѣло можете утверждать, что не случайно, а цѣлесообразно природа окружила Карениныхъ, Вронскихъ и Облонскихъ тѣми условіями, которыми они окружены; что не случайно, а цѣлесообразно природа окружила нищаго нищенскими условіями и невѣжду условіями невѣжества. И вы оправдаете всякій мракъ и всякую мерзость и пещерные люди возликують, не подозрѣвая, что для нихъ нисколько не благопріятна исходная точка противорѣчій гр. Толстого, та точка, гдѣ его мысль раздваивается. И вотъ опять поднимается десница гр. Толстого и энергически сметааетъ все,

что натворила шуйца. Таково приведенное мною противорѣчіе въ оцѣнкѣ принудительнаго семейнаго образованія. Таковы и другія его, не менѣе бросающіяся въ глаза противорѣчія. Таковы же и противорѣчія, указанныя г. Марковымъ. Я ихъ привелъ въ прошлый разъ.

Я хотѣлъ бы, чтобы читатель не только узналъ гр. Толстого, а и получилъ къ нему то уваженіе, которымъ проникнуть я, чтобы читатель не только не обѣгалъ IV тома сочиненій гр. Толстого, а напротивъ видѣлъ бы въ немъ ключъ ко всѣмъ произведеніямъ знаменитаго писателя и читалъ бы его съ полною увѣренностью найти въ немъ много и много въ высокой степени поучительнаго; чтобы читатель отнюдь не смущался тѣмъ печальнымъ обстоятельствомъ, что гр. Толстой, какъ мыслитель, опозоренъ похвалами пещерныхъ людей. Но не достигъ ли я скорѣе противоположнаго результата разъясненіемъ цѣлаго ряда, мало того, цѣлой системы противорѣчій гр. Толстого? Не подрывалъ ли я напротивъ въ читателѣ довѣрія къ этому человеку, способному дать противоположныя сужденія объ одномъ и томъ же предметѣ? Я не могу этого думать, потому что всѣ эти противорѣчивыя сужденія не подрывали же во мнѣ довѣрія и уваженія къ гр. Толстому, какъ къ мыслителю. Дѣло въ томъ, что противорѣчія противорѣчіямъ рознь. Противорѣчія писаки, который говоритъ сегодня одно, а завтра другое, глядя потому, кто ему платитъ и обидѣло или не обидѣло его то или другое учрежденіе или лицо; противорѣчія, вытекающія изъ небрежности и легкомыслія и т. п., словомъ противорѣчія, вызванныя не внутреннимъ процессомъ умственной работы, постоянно направленной къ одной цѣли, а сторонними причинами, конечно должны подрывать довѣріе и уваженіе. Не таковы противорѣчія гр. Толстого. Я бы сравнилъ ихъ съ тѣми, которыхъ можно не мало найти у Прудона. Замѣчу, что по складу ума, а отчасти и по взглядамъ гр. Толстой вообще напоминаетъ Прудона. Та же страстность отношенія къ дѣлу, то же стремленіе къ широкимъ обобщеніямъ, та же смѣлость анализа и наконецъ та же вѣра въ народъ и свободу. Конечно противорѣчія Прудона не могутъ

быть уложены въ такую правильную систему, какая допускается противорѣчiями гр. Толстого. Прудонъ желалъ положить весь міръ, все познаваемое и непознаваемое, и міръ планетъ, и міръ человѣческихъ дѣйствій, и напisi представленiя о высшемъ существѣ къ ногамъ Справедливости (Justice). Громадность задачи и страстность работы неизбѣжно приводили къ противорѣчiямъ, общій характеръ которыхъ уловить однако нельзя. Задача гр. Толстого тоже велика, работа его тоже страстна, но у него есть и еще источникъ противорѣчiй. Легко было Прудону вѣровать въ народъ и требовать отъ другихъ такой же вѣры, когда онъ самъ вышелъ изъ народа,—онъ вѣровалъ въ себя. Такого непосредственнаго единенiя между гр. Толстымъ и народомъ нѣтъ. Легко было Прудону смѣло констатировать обратную сторону медали цивилизаціи, когда эта обратная сторона непосредственно давила его и близкихъ его. Такого давленiя гр. Толстой не испытываетъ. Легко было Прудону говорить, что, выражаясь словами гр. Толстого, «въ поколѣнiяхъ работниковъ лежитъ и больше силы, и больше сознанiя правды и добра, чѣмъ въ поколѣнiяхъ лордовъ, бароновъ, банкировъ и профессоровъ». Прудону было легко говорить это, когда отецъ его былъ бочаромъ, мать кухаркой, а самъ онъ наборщикомъ; когда онъ имѣлъ право сказать одному легитимисту: «у меня четырнадцать прадѣдовъ крестьянъ, назовите хоть одну фамилію, которая насчитывала бы столько благородныхъ предковъ». Но гр. Толстой находится скорѣе въ положенiи того легитимиста, который получилъ этотъ отпоръ. Оставьте въ сторонѣ вопросъ о томъ, вѣрны или невѣрны тѣ выводы, къ которымъ пришелъ Прудонъ, и тѣ, къ которымъ пришелъ гр. Толстой. Положимъ, что и тѣ и другіе также далеки отъ истины, какъ пещерные люди отъ гр. Толстого. Обратите вниманіе только на слѣдующее обстоятельство: вся обстановка, всѣ условія жизни, начиная съ пеленокъ, гнали Прудона къ тѣмъ выводамъ, которые онъ считалъ истиной; всѣ условія жизни гр. Толстого напротивъ гнали и гонятъ его въ сторону отъ того, что онъ считаетъ истиной. И если онъ все-таки пришелъ къ ней, то, какъ бы онъ себѣ ни противорѣчилъ,

вы должны признать, что это—мыслитель честный и сильный, которому довериться можно, котораго уважать должно. Самыя противорѣчія такого человѣка способны вызвать въ читателѣ рядъ плодотворныхъ мыслей.

Продолжаю дѣлиться съ читателями тѣми, которыя онъ вы- звалъ во мнѣ.

Любопытнѣйшее противорѣчіе гр. Толстого состоитъ въ томъ, что онъ отрицаетъ не только научный характеръ той педагоги- ческой окрошки, которую стряпаютъ гг. Миропольскіе и пр., онъ отрицаетъ науку педагоги въ принципѣ (по крайней мѣрѣ онъ говоритъ такія слова) и въ то же время даетъ лучшее и пол- нѣйшее опредѣленіе «науки образованія». Педагогія изучаетъ условія, благопріятствующія и препятствующія совпаденію стрем- леній ученика и учителя къ общей цѣли равенства образова- нія. Таково опредѣленіе гр. Толстого. Я полагаю, что оно не только вѣрно и полно, но можетъ служить прототипомъ опредѣ- леній всѣхъ социальныхъ наукъ. Не буду объ этомъ распростра- няться и просто попрошу интересующихся перечитать мою бе- сѣду съ г. Южаковымъ о субъективномъ и объективномъ началѣ въ социологіи. Обращу только вниманіе читателя на тѣ специаль- ныя выгоды, которыя представляетъ предлагаемая гр. Тол- стымъ конструкція педагоги, и которыми самъ онъ не воспользо- вался. Самъ гр. Толстой обращаетъ попеременно исключитель- ное вниманіе то на одинъ, то на другой элементъ, условія сов- паденія которыхъ должны составить предметъ науки. То онъ кладетъ всѣ гири на чашку вѣсовъ образовывающихся и тре- буетъ; чтобы образовывающій, «общество» слушалось голоса на- рода и совершенно устранило свои собственные воззрѣнія; то наоборотъ, что впрочемъ въ крайней, исключительной формѣ встрѣчается у него рѣже, предлагаетъ образовывающему дѣй- ствовать на свой страхъ. Эти колебанія очевидно вовсе не со- отвѣтствуютъ его опредѣленію педагоги и обуславливаются чисто личными причинами. Онъ боится оставить народъ на произволъ судьбы, но боится и вмѣшательства цивилизованныхъ людей въ его жизнь. Онъ страстно ищетъ такой нейтральной почвы, на

которой общество и народъ могли бы сойтись безобидно. Ему кажется, что онъ нашелъ такую почву—въ знаніяхъ. Не пытайтесь, часто говорить онъ, формировать вѣрованія, убѣжденія, характеръ учащихся, на то вы не имѣете ни права, ни умѣнья, давайте народу знанія, больше вамъ дать нечего. Но это все-таки не рѣшаетъ вопроса, потому что знанія должны передаваться въ какомъ-нибудь порядкѣ, въ какой-нибудь системѣ. А не будутъ ли этотъ порядокъ и эта система представлять собою уже нѣчто большее чѣмъ голое мнѣніе? Извѣстное расположеніе знаній и извѣстная ихъ передача могутъ уже формировать убѣжденія и вѣрованія. Въ «Ясной Полянѣ» гр. Толстой много писалъ объ томъ, какія знанія и въ какомъ порядкѣ могутъ сообщаться учащимся въ народной школѣ. Нынѣ онъ значительно упростилъ программу и, повинувшись, какъ онъ справедливо говорить, голосу народа, требуетъ для народныхъ школъ ариметики и русскаго и славянскаго языковъ. Но съ русскимъ языкомъ опять бѣда, и я удивляюсь, какъ никто изъ оппонентовъ гр. Толстого не обратилъ на это вниманія. Славянская грамота и ариметика не дадутъ произволу учителя никакого простора, но учиться русскому языку значитъ между прочимъ читать; что же мы дадимъ народу читать: можно дать Гоголя, можно дать Франциза Венеціана, рассказы изъ естественной исторіи, «Азбуку» гр. Толстого, книжки барона Корфа, г. Водовозова и пр. и пр. Нужна же какая-нибудь руководящая нить, а съ нею вмѣстѣ поднимается и все, повидимому порѣшенное. Гр. Толстой и самъ чувствуетъ, что знанія не составляютъ нужной ему нейтральной почвы и что для того, чтобы найти ее, надо сдѣлать уступку учителю, его идеаламъ. Въ много разъ упомянутой статьѣ «Воспитаніе и образованіе» онъ говоритъ: «Но какъ же, скажутъ мнѣ, образовывающему не желать посредствомъ своего преподаванія произвести извѣстное воспитательное вліяніе? Стремленіе это самое естественное, оно лежитъ въ естественной потребности при передачѣ знанія образовывающемуся. Стремленіе это только придаетъ образовывающему силы заниматься своимъ дѣломъ, даетъ ту степень увлеченія, которая для него необхо-

дыма. Отрицать это стремленіе невозможно, и я объ этомъ никогда не думалъ; существованіе его только сильнѣе доказываетъ для меня необходимость свободы въ дѣлѣ преподаванія. Нельзя запретить человѣку, любящему и читающему исторію, пытаться передать ученикамъ то историческое воззрѣніе, которое онъ имѣетъ, которое онъ считаетъ полезнымъ, необходимымъ для развитія человѣка, передать тотъ методъ, который учитель считаетъ лучшимъ при изученіи математики или естественныхъ наукъ: напротивъ это предвидѣніе воспитательной цѣли поощряетъ учителя. Но дѣло въ томъ, что воспитательный элементъ науки не можетъ передаваться насильственно. Не могу достаточно обратить вниманіе читателя на это обстоятельство. Воспитательный элементъ, положимъ, въ исторіи, въ математикѣ, передается только тогда, когда учитель страстно любитъ и знаетъ свой предметъ; тогда только любовь эта сообщается ученикамъ и дѣйствуетъ на нихъ воспитательно. Въ противномъ же случаѣ, то есть когда гдѣ-то рѣшено, что такой-то предметъ дѣйствуетъ воспитательно и однимъ предписано читать, а другимъ слушать, преподаваніе достигаетъ совершенно противоположныхъ цѣлей, т. е. не только не воспитываетъ научно, но отвращаетъ отъ науки. Говорить, наука носить въ себѣ воспитательный элементъ (*erziehliches Element*),—это справедливо и несправедливо, и въ этомъ положеніи лежитъ основная ошибка существующаго парадоксальнаго взгляда на воспитаніе. Наука есть наука и ничего не носить въ себѣ. Воспитательный же элементъ лежитъ въ преподаваніи наукъ, въ любви учителя къ своей наукѣ и въ любовной передачѣ ея, въ отношеніи учителя къ ученику. *Хочешь наукой воспитать ученика, люби свою науку и знай ее, и ученики полюбятъ и тебя и науку, и ты воспитаешь ихъ, но самъ нелюбишь ее, то сколько бы ты ни заставлялъ учить, наука не произведетъ воспитательнаго вліянія.* (Курсивъ гр. Толстого). И тутъ опять одно мѣрило, одно спасеніе, опять таже свобода учениковъ слушать или не слушать учителя, воспринимать его воспитательное вліяніе, т. е. имъ однимъ рѣшать знаетъ ли онъ и любитъ ли свою науку» (IV, 167).

Послѣднія слова справедливы относительно высшаго образованія. Университеты, какъ настаиваетъ на этомъ гр. Толстой, дѣйствительно могутъ быть устроены такъ, что студенты будутъ имѣть право слушать того или другого профессора, ту или другую науку, въ томъ или другомъ объемѣ, причемъ университеты будутъ уже разумѣться не тѣмъ, что они нынѣ. Но какъ примѣнить этотъ принципъ къ народному образованію? Допустивъ полнѣйшее самоуправленіе въ этомъ дѣлѣ, вы дадите рѣшающій голосъ все-таки не ученикамъ, не Ѳедькѣ, Семкѣ и Пронькѣ, а ихъ отцамъ, тѣмъ самымъ отцамъ, которыхъ ребята встрѣтили послѣ прогулки въ лѣсу. По чисто практическимъ соображеніямъ, требованія этихъ отцовъ до извѣстной степени непремѣнно должны быть уважены, тѣмъ болѣе, что на дѣлѣ разумѣться не можетъ быть большого разногласія между поколѣніями отцовъ и дѣтей въ крестьянскомъ быту, они живутъ медленнѣе насъ. Но при опредѣленіи границы удовлетворенія этихъ требованій, согласно опредѣленію педагогін, должна быть выслушана и другая заинтересованная сторона. Любовь учителя къ наукѣ и знаніе ея безъ сомнѣнія составляютъ первыя и необходимѣйшія условія совпаденія стремленій учителя и ученика. Какъ же быть, если учитель будетъ требованіями учениковъ и ихъ отцовъ оскорбляемъ въ своемъ знаніи и въ своей любви къ наукѣ? У него опустятся руки и изъ хорошаго, знающаго и преданнаго дѣлу учителя выйдетъ небрежный и озлобленный. Я полагаю, что предѣлъ законныхъ требованій можетъ быть выраженъ такъ: никакіе отцы, никакіе учителя, никакія учрежденія не имѣютъ права ограничивать образованіе молодыхъ поколѣній своими личными дѣлями, дѣлать изъ нихъ, какъ выражается гр. Толстой, себѣ потворщиковъ, помощниковъ и слугъ. Такъ напримѣръ требованія того барышника, который не хотѣлъ отдавать сына въ школу, а хотѣлъ сдѣлать его прикащикомъ, преданнымъ его, барышника, интересамъ, требованія эти удовлетворенію ни въ какомъ случаѣ не подлежатъ (отсюда одна изъ причинъ законности обязательнаго обученія). Это совершенно соотвѣствуетъ опредѣленію педагогін, данному гр. Толстымъ, равно какъ и другимъ его воз-

зрѣніямъ. Въ народѣ онъ цѣнить не его грубость, невѣжество и предрасудки, а не запятнанную грѣхомъ «десяти незабыхъ работой поколѣній» совѣсть и способность самому удовлетворять всѣмъ своимъ нуждамъ, т. е. способность не имѣть слугъ и не быть ничѣмъ слугой. Въ «обществѣ» онъ цѣнить не инстинктивное или сознательное стремленіе обратить народъ въ своего слугу, а тѣ подлежащія научной повѣркѣ знанія и комбинаціи знаній, которыя даны ему вѣковымъ досугомъ. Я думаю, что программа элементарныхъ народныхъ училищъ, предложенная гр. Толстымъ, за ничтожными исключеніями, можетъ удовлетворить законнымъ требованіямъ и учителей и учениковъ съ ихъ отцами. Огромное большинство великороссовъ (о другихъ не берусь судить), какъ должно быть извѣстно каждому, по разнымъ причинамъ цѣнить именно русскую, славянскую грамоту и ариметику. Думаю, что нѣкоторую пользу могутъ принести тутъ и много осмѣянные дьячки и отставные солдаты. Съ этой программой должны быть сообразованы и учительскія семинаріи и другіе разсадники народныхъ учителей, но именно только сообразованы. Для выбора матеріала для русскаго чтенія нужно нѣсколько больше знаній, чѣмъ какими обладаютъ дьячки, священнослужители, отставные солдаты и проч., хотя всѣ эти учителя неоспоримо хороши тѣмъ, что дешевы и находятся подъ рукой. Смущенный трудами нашихъ педагоговъ и квази-научнымъ характеромъ ихъ дѣятельности, гр. Толстой отрицаетъ возможность знать какія свѣдѣнія и въ какомъ порядкѣ должны сообщаться ученикамъ, какіе приемы при этомъ должны употребляться, какое дѣйствіе должно произвести на ученика то или другое педагогическое явленіе, словомъ опять-таки отрицаетъ педагогію. Что Шольцы, Шмальпы и Фибли никому не нужны и менѣе всего народнымъ учителямъ,—это вѣрно. Что наши извѣстные и извѣстнѣйшіе педагоги въ дѣятельности своей движутся ощупью, на обумъ, не руководствуясь какими бы то ни было законами педагогическихъ явленій, хотя и много говорятъ о наукѣ,—это тоже вѣрно. Но вѣрно и то, что законы педагогическихъ явленій уловимы. Сошлюсь на самого гр. Толстого. Въ своихъ педагогическихъ статьяхъ онъ,

ссылаясь на опытъ и наблюденіе, доказываетъ, что въ дѣлахъ историческій интересъ является послѣ художественнаго, и что историческій интересъ возбуждается прежде всего познаніями по новой, а не по древней исторіи (353, 354); что интересъ географическій возбуждается познаніями естественно научными и путешествіями (372); что старыя воззрѣнія на міръ разрушаются прежде всего законами физики и механики, тогда какъ насъ учать сначала физической географіи, которая отскакиваетъ, какъ отъ стѣны горохъ (365) и проч., и проч., и проч. Выработка и провѣрка подобныхъ законовъ педагогическихъ явленій (ими заняты не одинъ гр. Толстой, ихъ изучаютъ и европейскіе психологи) должны составить предметъ науки—педагогіи и опредѣлять порядокъ матеріала для чтенія въ народныхъ школахъ. Они именно указываютъ на условія совпаденія стремленій ученика и учителя, и слѣдовательно вполне укладываются въ то опредѣленіе педагогіи, которое далъ гр. Толстой.

Проектъ организаціи школьнаго дѣла, предложенный гр. Толстымъ, я защищать не буду.

Ну что, читатель? Положа руку на сердце,—знали вы гр. Толстого, своего любимаго писателя? Не правъ ли я былъ, говоря, что, не смотря на всю свою извѣстность, онъ совершенно неизвѣстенъ? Будущій историкъ русской литературы разберетъ въ чемъ тутъ дѣло, а дѣло-то любопытное, будетъ надъ чѣмъ поработать. Въ ожиданіи этого историка, я только хотѣлъ привлечь вниманіе читателя на тѣ стороны литературной дѣятельности гр. Толстого, которыя доселѣ оставались «явленіемъ, пропущеннымъ нашей критикой».

~~~~~

••

ВЪ КНИЖНОЙ ТОРГОВЛѢ СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ИНОГОРОДНЫХЪ

## А. Я. ПАНАФИДИНА,

С.-Петербургъ, Большая Итальянская, д. № 8,

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

Агассисъ, Л. Геологическіе очерки. Пер. съ англійскаго В. Ковалевскаго. Съ портретомъ автора и 57 рисунками. Спб. Ц. 1 р. 50 к.

Александровъ, Н. Гдѣ на Руси какой народъ живетъ и чѣмъ занимается. Чтеніе 1. Самоѣды, Лопари, Зыряне и Поморы. Спб. Ц. 10 к.

— Чтеніе 2-е. Жители лѣсной полосы. Спб. Ц. 10 к.

Арронецъ, Н. Руководство къ математикѣ. Спб. Ц. 75 к.

Александровъ, П. Какъ завелись у насъ правильныя артели? Историческій разсказъ. Спб. Ц. 10 к.

Барсовъ, Н. П. Очерки русской исторической географіи. Географія начальной (Нестеровой) лѣтописи. Варшава. Ц. 3 р. 50 к.

Бѣше, Э. Воспитаніе сына. Педагогическія письма къ молодой матери. Переводъ съ нѣмецкаго. Спб. Ц. 30 к.

Бѣмертъ, В. Университетское образованіе женщины. Спб. Ц. 30 к.

Бернштейнъ, А. Фантастическое путешествіе во вселенную. Переводъ съ нѣмецкаго. Спб. Ц. 50 к.

Бибиновъ, Викторъ. Разсказы: Барьерная сторожиха. — На лодкѣ. — Любочка. — Встрѣча. — Писатель. — Счастье. — Путевой альбомъ. — Приключеніе. — Всеволодъ Гаршинъ. — С. Я. Надсонъ. Спб. 1888 г. Ц. 1 р. 50 к.

Боголюбскій, И. Золото, его запасы и добыча въ русской золотоносной формаци. Спб. Ц. 1 р.

Боніи, И. Основанія химіи. Съ предисловіемъ Н. И. Бекетова. Съ рисунками въ текстѣ и приложеніемъ таблицы качественного анализа. Спб. Ц. 1 р.

Бонсдорфъ, Э. Сборникъ ариметическихъ задачъ для народныхъ училищъ. Часть I-я, цѣлыя числа. Со шведскаго перевелъ и совмѣстно съ авторомъ дополнилъ Г. Бонсдорфъ. Спб. Ц. 25 к.

— Часть 2-я дроби: обыкновенныя, десятичныя, непрерывныя; геометрическія отношенія и приложеніе ихъ къ правиламъ: простому и сложному тройному, процентовъ, учета, цѣпнаго и товарищества. Спб. Ц. 20 к.

— Методическія разъясненія и рѣшенія задачъ. Приложение къ сборнику ариметическихъ задачъ для народныхъ училищъ. Спб. Ц. 10 к.

Бремъ, Эдмундъ. Путешествіе по сѣверо-восточной Африкѣ или по странамъ, подвластнымъ Египту: Судану, Нубіи, Сеннару, Россересу и Кордофану. Со втораго изданія. Спб. 2. т. Ц. 3 р. 50 к.

Бунаковъ, Н. Концетрическій учебникъ русской грамматики. Спб. Курсъ — 1-й Ц. 70 к. Курсъ 2-й Ц. 1 р. Курсъ 3-й Ц. 75 к. Курсъ 4-й Ц. 60 к.

Бѣловъ, И. Руководство для сельскихъ учителей. Образцовые уроки по естествознанію и чистописанію. Спб. Ц. 50 к.

— Какъ устроить самыми простыми, находящимися подъ руками средствами разные кабинеты и учебныя пособія при сельскихъ школахъ. Спб. Ц. 20 к.

Бекеръ, Д. Г. Начальныя основанія ботанической географіи. Перевелъ съ англійскаго П. Е. Волкенштейнъ. Спб. Ц. 70 к.

Быль и Вымыселъ. Дневникъ Кати. Прусская ваза. Мой отецъ. Женщина горный инженеръ. Сборникъ. Спб. Ц. 1 р.

Вамбери, Германъ. Очерки жизни и нравовъ Востока. Спб. Ц. 1 р. 50 к.

Вестфаль. Справочная книга при постройкѣ полевыхъ укрѣпленій для саперныхъ и пѣхотныхъ офицеровъ и унтеръ-офицеровъ. Перевелъ съ нѣмецкаго, исправилъ и дополнилъ военный инженеръ К. Модрахъ. Спб. Ц. 1 р. Виль. Діета для страдающихъ желудочными болѣзнями. Съ пятаго исправленнаго и дополненнаго нѣмецкаго изданія, переводъ С. Воскресенской. Спб. Ц. 80 к.

— Діетическая поваренная книга для здоровыхъ и больныхъ, преимущественно страдающихъ желудкомъ. Спб. Ц. 1 р. 20 к.

Вильморенъ-Андріе и К<sup>о</sup>. Наставленіе, какъ сѣять воздушныя цвѣтущія растенія, съ указаніемъ ихъ размѣровъ, колеровъ, времени цвѣтенія, ухода и пр., а также распредѣленія по ихъ употребленію въ садахъ, названій на иностранныхъ языкахъ и правилъ какъ образовать и содержать газоны. Перевели съ примѣчаніемъ для Россіи П. Е. Волкенштейнъ и Э. И. Эндеръ. Спб. Ц. 1 р. 50 к.

Вирховъ, Рудольфъ. Четыре лекціи о жизни и болѣзненномъ состояніи. Спб. Ц. 50 к.

Висковатовъ, Вал. Сборникъ игръ и занятій для семьи и школы. Изданіе второе, исправленное и дополненное статью о собираніи минераловъ. Съ 345 рисунками въ текстѣ. Спб. Ц. 3 р.

Волеисъ, В. Элементарная геометрія. Руководство для низшихъ учебныхъ заведеній и вообще начинающихъ. Спб. Ц. 50 к.

— Начальная геометрія. Учебное руководство для среднихъ учебныхъ заведеній. Съ 6 литографированными таблицами. Спб. Ц. 1 р. 25 к.

— Алгебра. Учебное руководство для среднихъ учебныхъ заведеній. Спб. Ц. 1 р. 25 к.

Волжинскій. Полезное чтеніе для грамотнаго простолюдина. Спб. Ц. 20 к.

— Замѣчательные люди. Ломоносовъ, Кулибинъ, Власовъ, Стѣпущинъ, Кольцовъ, Ермакъ Тимѣевъ, Меньшиковъ, Потемкинъ, Сперанскій, Суворовъ, Мининъ, Пожарскій, Сусанинъ. Полезное чтеніе для нашихъ сельскихъ школъ. Спб. Ц. 20 к.

— Родная рѣчь. Книжка для чтеній въ народныхъ школахъ. Для младшаго возраста. (спб. Ц. 15 к.

— Руководство къ обученію грамотѣ по звуковому методу (для учителей) Спб. Ц. 10 к.

Волкенштейнъ, П. Словарь главнѣйшихъ терминовъ, употребляемыхъ при описаніи растеній. Спб. Ц. 30 к.

— Сельскій огорождъ. Краткое наставленіе къ разведенію наиболѣе употребительныхъ овощей. Для сѣверной и сѣверовосточной Россіи. (спб. Ц. 5 к.

Ворожея-вѣщунья, предсказывающая съ помощью простой колоды картъ имя, отчество, фамилію, лѣта, ростъ и званіе суженаго, опредѣляющая характеръ и причину неудачъ въ любви или по службѣ, отгадывающая прошедшее, настоящее и будущее и дающая полевные совѣты всѣмъ и каждому, какъ вести себя, кого или чего остерегаться, на кого или на что полагаться и на что рѣшаться. Спб. Ц. 75 к.

Вороновъ, А. Краткое руководство геометріи, съ 233 политипажамъ и 257 задачами на вычисленіе. Спб. Ц. 1 р. 25 к.

Вороновъ, А. Краткій элементарный курсъ геометріи, съ 120 политипажамъ и 257 задачами на вычисленіе. Спб. Ц. 60 к.

Воскресенскій, В. А. Первоначальные уроки русской грамматики. Методическое руководство для элементарныхъ школъ и низшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Спб. Ц. 40 к.

Георгіевскій, Сергій. Принципы жизни Китая. Спб. 1888 г. Ц. 2 р. 50 к. Гигаси, Т. Г. Начальныя основанія сравнительной анатоміи. О классификаціи животныхъ и о черепѣ позвоночныхъ. Переводъ съ англійскаго, съ III рисунками. Спб. Ц. 2 р. 50 к.

СОЧИНЕНІЯ  
Н. К. МИХАЙЛОВСКАГО.

~~~~~  
Томъ третій.

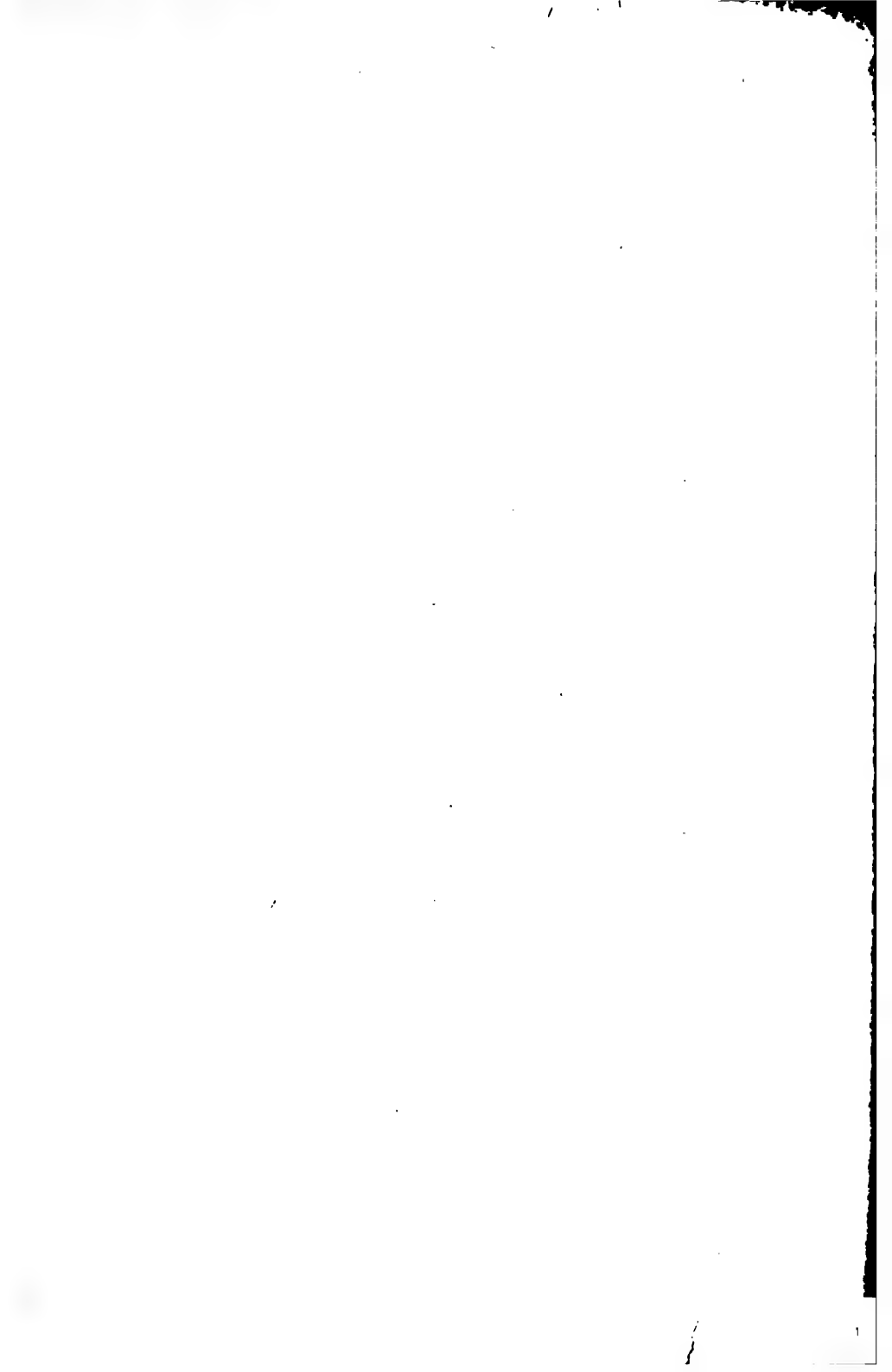
Записки Профана.

Изданіе второе, значительно дополненное

А. Я. ПАНАФИДИНА.

Выпускъ II.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, д. 39).
1888.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

Записки профана.

ВЫПУСКЪ II.

СТР.

XII. Аракчеевъ	1
XIII. Мордвиновъ	16
XIV. Обратная сторона медали	35
XV. Похороны В. С. Курочкина	52
XVI. Мнѣніе одного Леонарда и трехъ ученыхъ о женскомъ вопросѣ.	60
XVII. Прудовъ и Бѣлинскій.	107
XVIII. Разныя разности	161
XIX. О Шиллерѣ и о многомъ другомъ	190
XX. Газета „Недѣля“, „мыслящіе провинціалы“, г. Каве- линъ и проч.	225
XXI. Продолженіе предыдущаго	280
XXII. Все о томъ-же.	317
XXIII. Къ настоящей минутѣ.	338
XXIV. Россія и Европа	364



ХІІ *).

Аракчеевъ.

Въ №№ 1, 3, 4 и 6 «Древней и Новой Россіи» напечатаны очень любопытныя «Черты изъ жизни графа Аракчеева». Статьи эти составлены Н. К. Отто, преимущественно по документамъ грузинскаго архива, и относятся почти исключительно къ частной жизни Аракчеева. Мрачный создатель военныхъ поселеній, сотрудникъ Фотія и Магницкаго, «бѣсъ, лести преданный» (какъ передѣляли современники его знаменитый девизъ «безъ лести преданъ») рисуется здѣсь въ своемъ домашнемъ быту. Свѣдѣнія этого рода встрѣчались и прежде въ нашихъ историческихъ журналахъ, но у г. Отто они едва ли не впервые группируются въ довольно полную картину.

Аракчеевъ воспитывался въ артиллерійскомъ и инженерномъ шляхетскомъ корпусѣ, гдѣ «своимъ необыкновеннымъ усердіемъ и точнымъ исполненіемъ всѣхъ заведенныхъ порядковъ и приказаній обратилъ на себя вниманіе начальства. По отзыву сверстниковъ и современниковъ, онъ, еще будучи сержантомъ въ корпусѣ, обнаруживалъ крутой нравъ и необыкновенную жестокость въ обращеніи съ подчиненными ему товарищами». Съ такимъ нравственнымъ багажемъ выступилъ Аракчеевъ на жизненное поприще, съ нимъ легъ онъ и въ могилу. Жестокъ онъ былъ съ аккуратностью аптекаря и аккуратенъ съ жестокостью палача, доходя и въ томъ, и въ другомъ отношеніи до вирту-

*) 1875, августъ.

озности, почти до наивности. Небезынтересно замѣтить, что еще въ корпусѣ Аракчеевъ предпочиталъ всѣмъ занятіямъ фронтовья упражненія и математику. Въ другихъ наукахъ онъ былъ слабъ, такъ что до конца жизни остался даже малограмотнымъ. Онъ рѣшительно не цѣнилъ и не понималъ всего, что не цифра, не прямая линія, не геометрическая фигура. Этому соотвѣтствовало и отвращеніе его ко всякаго рода сомнѣніямъ и колебаніямъ, которыя нарушаютъ прямолинейный, шереножный строй нравственной перспективы. Онъ любилъ, чтобы всякая штука была смѣряна, взвѣшена, припечатана казенною или его собственною гербовою печатью, поставлена въ шеренгу и чтобы подъ всякимъ львомъ было четкою писарскою рукою подписано: се левъ, а не собака.

Какъ только пожалованная ему императоромъ Павломъ грузинская волость поступила въ его владѣніе, такъ по всѣмъ деревнямъ началось разрушеніе и созиданіе. Разрушались старые крестьянскіе дома, создались новые. Въ Грузинѣ за господскою усадьбой вытянулась шеренга розовыхъ домовъ, построенныхъ по одному плану и раздѣлявшихся каждый на двѣ половины; въ каждомъ такомъ домѣ помѣщалось по два семейства. Свиньи были изгнаны, какъ животныя, роющія землю и тѣмъ производящія безпорядокъ. «Усмотрѣно мною въ прошедшую осень, — гласить одинъ изъ приказовъ графа, что послѣ запрещенія моего содержатся свиньи въ ближнихъ деревняхъ къ Грузину. Почему симъ письменнымъ указомъ запрещаю и т. д.. Если послѣ онаго числа у кого окажутся въ оныхъ деревняхъ свиньи, то оныхъ взять въ госпиталь, а хозяина и хозяйку записать въ книгу, дабы ихъ будущимъ лѣтомъ можно было взять въ садъ на работу на мѣсяцъ». Не менѣе преслѣдовались битые стекла въ окнахъ, причемъ графъ объяснялъ, что подъ битыми стеклами онъ «разумѣетъ такія, кои разбиты на нѣсколько частей и вываливающіяся изъ рамъ, а съ трещиною позволяется оставлять». Всему рабочему и рогатому скоту вотчины велись изъ года въ годъ описи. Въ извѣстное время весь крестьянскій скотъ гоняли въ одно мѣсто, производили повѣрку, а молодыхъ

животныхъ клеймили каленымъ желѣзомъ, обозначая годъ рожденія. Собственному графскому скоту велись именныя списки: «Находятся въ Грузинѣ лошади: «Бородавка», «Кроликъ» и проч. Коровы: «Французенка», «Васильевна» и т. д. Быки: «Емелька», и проч. Вообще всякихъ описей и записныхъ книгъ въ Грузинѣ было много. Все это Аракчеевъ самъ читалъ и дѣлалъ собственноручныя отмѣтки. Напримѣръ: «Опись положеннаго людскаго платья въ красномъ сундукѣ. Слѣдуетъ строго наблюдать, дабы не съѣдено было молюю все оное платье, которое сдано въ пѣлости 5-го апрѣля 1821 г.» Приобрѣтеніе каждой даже грошовой вещи отмѣчалось въ особой книгѣ съ обозначеніемъ времени, мѣста и способа приобретенья. Графъ собственноручно писалъ «реестръ о купаньяхъ людямъ», въ которомъ напримѣръ въ понедѣльникъ приказывалось отпускать: «1) щи съ забѣлкой, 2) похлебка картофельная, которую заправлять мукою, вливая въ оную постнаго масла *дѣтъ ложки*». Продажа стараго лакейскаго платья также составляла предметъ личныхъ заботъ Аракчеева. Такъ дворецкій, которому была поручена эта операція, доносилъ изъ Петербурга: «Фракъ я еще никакъ не могъ продать, даже онъ былъ долгое время и у Марьи Яковлевны въ думѣ. Многіе его примѣряли, и никому оной не въ пору; а болѣе, ваше с—во, не берутъ, потому что этотъ цвѣтъ не въ модѣ, и никто уже не носить такихъ фраковъ, то и испрашиваю вашего с—ва разрѣшенія, не прикажете ли возвратитъ фракъ обратно и деньги за другой, проданный, къ вашему с—ву». О каждой разбитой тарелкѣ, о каждомъ испачканномъ коврѣ графу доносилось немедленно, гдѣ бы онъ ни былъ, и онъ аккуратно клалъ на донесеніи свои резолюціи въ такомъ родѣ: «высѣчь (виновнаго) хорошенько». Всякимъ провинностямъ и наказаніямъ велись опять-таки разныя описи, списки и книги. Письма любовницы Аракчеева, Настасьи Минкиной, хранились въ особомъ пакетѣ съ собственноручною графскою надписью: «письма вѣрнаго и безцѣннаго друга Настасьи Θεодоровны», чтобы не вышло, значитъ, какой ошибки насчетъ принадлежности этихъ писемъ Настасьѣ Θεодоровнѣ или насчетъ вѣрности и безцѣнности друга.

Еслибы въ Грузино попалъ человѣкъ, незнакомый съ жизнью и дѣятельностью Аракчеева, онъ, гуляя по комнатамъ и по саду, долженъ былъ бы на каждомъ шагу изумляться чувствительности создателя Грузина: столько тамъ памятниковъ, украшенныхъ надписями, свидѣтельствующими о благодарности, преданности, любви и другихъ чувствахъ Аракчеева. Но вѣдь мудрено предположить большую чувствительность въ человѣкѣ, который собственноручно выдергивалъ усы у солдатъ и лично осматривалъ высѣченныя спины крестьянъ. Всѣ памятники, которыми усѣяно Грузино, свидѣлствуютъ не о какихъ-нибудь возвышенныхъ чувствахъ Аракчеева, а только все о той же его аккуратности. Они составляютъ своего рода опись или записную книгу, совершенно подобную тѣмъ, въ которыя вносились разбитыя тарелки, высѣченныя спины, имена лошадей, коровъ и быковъ, доходы, расходы и проч. Едва ли не любопытнѣйшій изъ грузинскихъ памятниковъ есть «руина князя Меньшикова». Грузино нѣкогда было подарено Петромъ I Меньшикову. Аракчеевъ искалъ какихъ нибудь остатковъ Меньшиковской усадьбы, но ничего не нашелъ. Конечно розыски свои онъ производилъ не въ качествѣ археолога и даже не въ качествѣ простого любителя старины, а только, такъ сказать, для порядка: жилъ Меньшиковъ, а гдѣ жилъ, неизвѣстно, надо разыскать, занумеровать, сдѣлать соотвѣтственную надпись. Археологъ или почитатель древности могъ бы придти въ отчаяніе отъ неуспѣшности розысковъ, но Аракчееву нечего было отчаяваться. Онъ просто построилъ искусственную развалину, налѣпилъ на нее гербъ Меньшикова, назвалъ ее «руиной князя Меньшикова» и почилъ на лаврахъ: пустая графа въ одной изъ записныхъ книгъ была наполнена. Для большей ясности и аккуратности однако, Аракчеевъ въ построенномъ имъ въ Грузинѣ соборѣ поставилъ портретъ Петра I и подъ нимъ сдѣлалъ надпись: «Грузинская волость, бывшая во владѣніи монастырей, пожалована государемъ императоромъ Петромъ Первымъ въ 1705 году князю Александру Даниловичу Меньшикову». Рядомъ, подъ портретомъ Павла было означено: «Грузинская волость, въ 2,000 душъ состоявшая, пожалована

государемъ императоромъ Павломъ Первымъ въ вѣчное потомственное владѣніе графу Алексѣю Аракчееву 1796 года въ 12-й день». Подъ третьимъ портретомъ, Александра I, положенъ былъ рескриптъ, присланный Аракчееву въ 1810 г., послѣ посѣщенія государемъ Грузина. Въ Грузинѣ есть чугунный портикъ, въ которомъ поставлено колоссальное изображеніе Андрея Первозваннаго, а на фризѣ портика надпись: «Царская награда подданному въ 1820 году». Въ одной изъ комнатъ Грузинскаго дома на серебряномъ пьедесталѣ помѣщенъ мраморный бюстъ Александра I. На серебрѣ подъ бюстомъ вырѣзаны тѣ послѣднія слова, которыя государь написалъ Аракчееву изъ Таганрога: «Прощай, любезный Алексѣй Андреевичъ! Не покидай друга и вѣрнаго тебѣ друга!» (Извѣстно, что Аракчеевъ, не смотря на всѣ чувствительныя надписи, «покинулъ» вѣщеноснаго друга: онъ упорно не ѣхалъ въ Таганрогъ, куда его вызывалъ императоръ, и встрѣтилъ трупъ послѣдняго только въ Новгородской губерніи). Еще ниже вычеканено: «Прилипни языкъ къ гортани моему, аще не помяну тебе на всякъ день живота моего». А на другой сторонѣ пьедестала выражено проклятіе тому, кто рѣшится перелить серебро на другой предметъ. Въ Грузинскомъ же домѣ хранятся часы, сдѣланные въ Парижѣ по заказу Аракчеева: когда стрѣлка касалась той минуты, въ которую умеръ Александръ I, часы играли печальный гимнъ. Для большей ясности Аракчеевъ издалъ печатное описаніе часовъ. Въ одной аллеѣ грузинскаго сада лежитъ бѣлая плита съ надписью: «Сынъ въ память родителю». Въ другой аллеѣ поставленъ бюстъ съ надписью: «Столѣтнему крестьянину Исааку Константинову, посадившему въ молодости сіи липы». На одномъ изъ островковъ возвышается деревянный павильонъ съ колоннами, на которомъ обозначено крупнымъ шрифтомъ: «Храмъ, посвященный въ память воспитавшему меня генералу Мелисину». На другомъ островкѣ лежатъ двѣ плиты, между которыми помѣщена каменная фигура собаки. На одной плитѣ вырѣзано: «Милой Діанкѣ», на другой—«Вѣрному Жучьку».

Но всего характернѣе отразилась аптекарская аккуратность

Аракчеева на его отношеніяхъ къ крестьянамъ. Аракчеевъ любилъ говорить о своихъ благодареніяхъ къ крестьянамъ и въ особенно пышныхъ фразахъ на этотъ счетъ разсыпался передъ императоромъ Александромъ. Дѣйствительно еще и теперь существуетъ въ Грузинѣ мірской банкъ съ капиталомъ въ 30,000 рублей серебромъ, открытый въ 1820 г. Аракчеевымъ, который на основаніе его пожертвовалъ 10,000 р. ассигнаціями. Банкъ донинѣ руководствуется составленнымъ Аракчеевымъ «положеніемъ о заемномъ банкѣ для крестьянъ грузинской вотчины». Еще до основанія банка Аракчеевъ морилъ всю вотчину на устройствѣ великолѣпнаго двадцатипяти-верстнаго шоссе. Постройку шоссе этого онъ оцѣнилъ въ 86,589 р., о каковыхъ издержкахъ представилъ въ комитетъ министровъ, выражая при этомъ желаніе получить изъ казны затраченную сумму, такъ какъ само правительство производитъ обыкновенно подобныя работы. А получивъ деньги, онъ внесъ ихъ въ комиссію погашенія долговъ съ тѣмъ, чтобы проценты со всей суммы обращались на уплату государственныхъ податей съ грузинскихъ крестьянъ. Эти два случая изъ жизни Аракчеева трудно привести въ прямую связь съ его изъ ряду вонъ выходящими скаредностью и узкимъ себялюбіемъ. Можно однако думать, что связь эта существуетъ, потому что въ другихъ подобныхъ случаяхъ она рѣзко бросается въ глаза. Напримѣръ Аракчеевъ много заботился о здоровьи своихъ крестьянъ. Онъ устроилъ для нихъ больницу, нанималъ доктора, который, кромѣ занятій по больницѣ, долженъ былъ объѣзжать всю вотчину для подавія медицинской помощи. Аракчеевъ отдалъ также строжайшій приказъ не позволять дѣтямъ ѣсть сырые плоды и овощи. Онъ составилъ и напечаталъ «Краткія правила для матерей-крестьянокъ грузинской вотчины». Въ правилахъ этихъ объяснялась польза сухого и чистаго бѣлья для младенцевъ, старшинамъ предписывалось осматривать люльки и т. п., а также весьма витіеватымъ слогомъ говорилось о священныхъ обязанностяхъ матери вообще. Напримѣръ: «Сіи пагубныя послѣдствія (болѣзни младенцевъ), столь противныя законамъ Божескимъ и столь ненавистныя въ

глазахъ самаго человѣчества, проистекающія отъ одной только материнской безпечности и невниманія, лишають жизни младенцевъ, по крайней мѣрѣ третьей части. Всевидящій Творецъ строго взыщетъ съ родителей, когда смерть дѣтей причинится отъ перадѣнія ихъ. Они, какъ виновники смерти ихъ, дадутъ отвѣтъ предъ Богомъ и не избѣгутъ правосуднаго его наказанія. Многолѣтнія и внимательныя наблюденія помѣщика вашего, пекущагося о благосостояніи вашемъ, доставили ему испытанныя средства для исправленія заблужденій вашихъ» и проч. Аракчеевъ требовалъ, чтобы правила эти 1) читались всѣмъ матерямъ вмѣстѣ, по крайней мѣрѣ разъ въ мѣсяцъ, для чего бабы стогнялись въ одну избу, 2) читались священникомъ при крещеніи младенца, 3) хранились въ каждомъ семействѣ у обрзанной кіоты.

Безъ сомнѣнія эта увѣренность Аракчеева въ абсолютной драгоцѣнности и примѣнимости его «Краткихъ правилъ для матерей-крестьянокъ» смѣшна, но нельзя по крайней мѣрѣ отказать этому человѣку въ заботливости о крестьянахъ, въ благихъ намѣреніяхъ, въ безкорыстныхъ побужденіяхъ. Такъ кажется съ перваго взгляда. Въ самомъ дѣлѣ: и больница, и докторъ, и запрещеніе ѣсть сырые овощи, и «Краткія правила», и осмотръ люлекъ. Но всѣ эти факты получаютъ совершенно иное освѣщеніе, если ихъ поставить рядомъ съ нѣкоторыми другими. Дѣло въ томъ, что Аракчеевъ только потому такъ хлопоталъ о здоровьѣ своихъ крестьянъ вообще и младенцевъ въ особенности, что видѣлъ въ нихъ исключительно «души» въ старомъ техническомъ смыслѣ слова: крѣпостныя души, приумноженіе которыхъ выгодно, а сокращеніе невыгодно. Крестьяне не разъ слышали отъ Аракчеева слова: «у меня всякая баба должна каждый годъ рожать, и лучше сына, чѣмъ дочь. Если у кого родится дочь, то буду взыскивать штрафъ. Если родится мертвый ребенокъ или выкинетъ баба—тоже штрафъ. А въ какой годъ не родить, то представь 10 аршинъ точива (холста)». Вотъ переводъ высокопарныхъ фразъ «Краткихъ правилъ» на настоящій Аракчеевскій языкъ. Вотъ истинное значеніе гуманной заботли-

вести о здоровьѣ крестьянъ. Это были заботы о здоровомъ скотѣ и его приплодѣ. И до какой дѣйствительно животности удалось Аракчееву довести нѣкоторыя изъ «ввѣренныхъ ему Богомъ душъ», это видно изъ слѣдующаго «рапорта» дворепкаго Степана Васильева: «У меня, ваше с—во, родилась дочь, и я боялся о томъ донести, потому что противу желанія моего родилась дочь, а не сынъ. И по сему самому я не смѣлъ уже просить ваше с—во удостоить меня быть восприемникомъ новорожденной, какъ льстилъ себя надеждою въ случаѣ рожденія сына». На бракъ въ крестьянскомъ быту Аракчеевъ смотрѣлъ, какъ на нѣчто въ родѣ подбора паръ животныхъ. Ежегодно къ 1 января ему представляли списки дѣвушекъ и холостыхъ и вдовыхъ мужиковъ съ отмѣткою, знаютъ ли они молитвы. Въ спискахъ графъ собственноручно отмѣчалъ кого и на комъ женить, а если которая-нибудь изъ сторонъ оказывалась несогласною, то онъ клалъ краткую и рѣшительную резолюцію: «согласить». Впрочемъ иногда въ дѣлѣ разрѣшенія браковъ онъ руководствовался совершенно посторонними соображеніями. Такъ въ его бумагахъ сохранились напимѣръ такія резолюціи: «Не позволяю (жениться) *за грубость брата*», или: «Позволяю, но, если молитвы всѣ не будутъ знать къ великому посту, то больно высѣку». Что касается до устроенной Аракчеевымъ больницы, то и это учрежденіе своеобразно освѣщается слѣдующими напимѣръ фактами. Крестьянка Марья Егорова находилась въ бѣгахъ въ сильную стужу и вернулась съ отмороженными ногами, потому что, страха ради Аракчеева, ей никто не рѣшался дать пріютъ. Она была принята въ больницу уже съ антоновымъ огнемъ. На рапортѣ доктора Аракчеевъ написалъ: «Прошу г. Ягодинскаго (докторъ) употребить стараніе, дабы сія молодая баба *осталась способна къ работѣ*». Нѣкоторыхъ же больныхъ крестьянъ отправляли для пользованія въ поселенія, въ шевелевскій военный госпиталь, гдѣ по приказанію графа присылаемыхъ больныхъ не только лечили, а и сѣкли. Вотъ напимѣръ рапортъ смотрителя шевелевскаго госпиталя: «18-го ноября 1828 года. Честь имѣю донести, что находившаяся во ввѣренномъ мнѣ

госпитаѣ вашего с — ва дворовая женщина Прасковья Григорьева сего числа выздоровѣла и по наказаніи ея розгами отправлена къ штабъ-лекарю Бѣлоцвѣтову».

Любопытно, что, не смотря на всѣ прямые и косвенныя заботы Аракчеева о здоровьѣ крестьянъ, бывали годы, когда населеніе Грузина значительно убывало. Въ 1812 г. убыль оказалась въ 7 человекъ, въ 1813—33, въ 1818—13, въ 1823—17. Это не единственная неудача Аракчеева. Напримѣръ пьянствовали его мужики весьма основательно, хотя онъ за это нещадно сѣкъ, заковывалъ въ рогатки, подвергалъ опалѣ цѣлыя деревни. У него на этотъ счетъ были заведены такіе порядки. «Посѣдки» и другія вечеринки были запрещены, пѣніе веселыхъ пѣсень—тоже: позволено было пѣть только что-нибудь церковное; всѣ кабаки въ вотчинѣ были закрыты; водку дозволялось покупать только по праздникамъ съ графской мызы (причемъ Аракчеевъ бралъ барыша 1—3 рубля на ведро), и то въ строго опредѣленномъ количествѣ; именно: водка отпускалась крестьянину *по числу имѣющихся у него коровъ*, считая по $\frac{1}{4}$ штофа на каждую, а къ свадьбамъ по полуштофу; на перевозѣ передъ усадьбой, котораго нельзя было миновать, всякаго проѣзжаго и прохожаго тщательно обыскивали—не везетъ ли водки. Не смотря на всѣ эти строгости, Аракчееву приходилось издавать время отъ времени такіе приказы: «Деревни Мотыльи крестьянинъ Миронъ Ивановъ, по прозванію Мохня, находясь въ числѣ торгующихъ, нѣсколько разъ замѣченъ былъ мною пьянымъ, а наконецъ къ стыду и грѣху нашему окончилъ и самую жизнь отъ онаго пьянства. Почему и предписываю тебѣ (головѣ) *оставшихся послѣ его обоихъ братьевъ и все семейство ихъ изъ торгующихъ крестьянъ исключитъ, послѣ чего никогда никого изъ братьевъ покойнаго ни зачѣмъ не только въ С.-Петербургъ, но и даже въ Новгородъ не отпускать* и однимъ словомъ никогда имъ далѣе Оскуя и Грузина отъ своей деревни не отлучаться, за собственною твоею отвѣтственностью и строгимъ съ тебя самого за оное взысканіемъ». Или: «По случившейся въ деревнѣ Мелеховѣ о праздникѣ дракѣ, запрещаю оной деревнѣ впредь къ обоимъ празд-

никамъ, какъ пиво варить, такъ и вино покупать—впредь, пока она деревня заслужитъ оный поступокъ, и тебѣ предписываю строго за онымъ имѣть смотрѣніе на своей отвѣтственности».

Эти приказы очень характерны для Аракчеева своею огульностью. Имѣя своимъ идеаломъ шеренгу, математически правильный рядъ людей, понятій, коровъ, чувствъ, тарелокъ и проч., въ которыхъ отдѣльные элементы внѣ своего номера не имѣютъ рѣшительно никакого самостоятельнаго значенія, онъ естественно долженъ былъ придти къ правомѣрности наказанія братьевъ за пьянство брата и цѣлой деревни за драку нѣсколькихъ человѣкъ. Авторъ книги «Блудовъ и его время», проводя параллель между Аракчеевымъ и Сперанскимъ, говоритъ, что оба они презирали людей, но только дескать—каждый на свой манеръ. Объ Аракчеевѣ, я думаю, правильнѣе было бы сказать, что онъ не то что презиралъ людей, а просто не понималъ ихъ. Онъ понималъ табунъ, каждый представитель котораго клеймится каленымъ желѣзомъ; понималъ шеренгу, въ которой за правофланговымъ слѣдуетъ второй съ фланга, третій и т. д.; но людей не понималъ. Человѣкъ цифры, ярлыка и шеренги, онъ не могъ бы вѣроятно даже при сильнѣйшемъ напряженіи способности отвлеченія, какую ему далъ Богъ, представить себѣ человѣка внѣ какой-нибудь стихійной или исторической группы, человѣка свободнаго. Онъ не придавалъ никакой цѣны личнымъ чувствамъ, мыслямъ и стремленіямъ не потому, чтобы презиралъ личность—онъ просто не зналъ ея: это была для него китайская грамота. И отсюда его страшная самоувѣренность. Въ невѣжествѣ своемъ онъ былъ вполне увѣренъ, что изъ людей—изъ крестьянъ и солдатъ въ особенности—можно налѣпить, какъ изъ глины, какихъ угодно фигуръ. До какой степени узко, просто и самоувѣренно смотрѣлъ онъ на свои отношенія къ людямъ, видно изъ слѣдующаго любопытнаго приказа его дворецкому: «Люди должны дѣлать все, что нужно; а если дурно будутъ дѣлать, то на это есть розги. Мнѣ очень мудрено кажется, что будто людей нельзя содержать такъ, чтобы они дѣлали свое дѣло. Отчего же солдаты все дѣлаютъ, что имъ прика-

жуть, ибо знаютъ, что ихъ накажутъ, если не сдѣлаютъ, что приказано». Этотъ приказъ былъ бы смѣшонъ, еслибы не былъ возмутителенъ, еслибы изъ-за него не выглядывали люди съ исполосованными, при помощи «аракчеевскихъ» батоговъ и другихъ инструментовъ, спинами, закованные въ рогатки, запертые въ «Эдикуль», какъ называлъ Аракчеевъ собственную грузинскую тюрьму, избитые, оплеванные—потому что Аракчеевъ не гнушался и такими приемами исправленія, какъ собственно-ручное избіеніе и плевокъ въ глаза. Къ наивной самоувѣренности, сквозящей въ каждой строкѣ приведеннаго приказа, надо еще прибавить врожденную жестокость и злость Аракчеева. Человѣкъ онъ былъ замѣчательно злой, холодно, безчувственно злой.

Отецъ Аракчеева былъ человѣкъ простой и добрый. Въ числѣ его крѣпостныхъ былъ камердинеръ Василій, котораго онъ очень любилъ и сына котораго, Степана, ростилъ вмѣстѣ съ своимъ Алексѣемъ. Степанъ сталъ камердинеромъ Аракчеева еще во время его гатчинской службы и былъ очень усерденъ, но никакъ не могъ угодить на барина. Аракчеевъ тогда даже не ложился въ постель, а спалъ въ полной формѣ въ креслѣ. При требованіи во дворецъ, Степанъ долженъ былъ летать птицей, чистить барское платье, подавать вещи. При малѣйшей оплошности на него сыпались ругань, побои, пощечины. Степанъ не всегда безмолвно выдерживалъ этотъ каскадъ звѣрства, и Аракчеевъ сталъ его систематически сѣчь. Степанъ даже захворалъ странною болѣзнью, которую одинъ изъ повѣренныхъ Аракчеева описывалъ въ одномъ изъ своихъ докладовъ такъ: «Болѣзнь его для меня странная и похожая болѣе на меланхолическую: онъ имѣетъ разныя воображенія; два дня лежитъ, а день бродить». Наконецъ Степанъ не выдержалъ этой каторжной жизни и на колѣняхъ умолялъ Аракчеева сослать его въ Сибирь. Аракчеевъ отвѣчалъ слѣдующими характеристическими словами: «Знай же и помни, что въ Сибирь не сошлю, а лучше самъ забью». Забывашіе прекратилось со смертью самого Аракчеева, потому что Степанъ, его товарищъ дѣтства, пережилъ его.

Не слѣдуетъ думать, чтобы такова была судьба только близкихъ къ Аракчееву людей, бывшихъ у него постоянно подъ рукою. Аракчеевъ старался, чтобы всѣ у него были всегда подъ рукою и, хотя и не могъ достигнуть этого въ полномъ размѣрѣ, однако своею аккуратностью и системою шпионства кое-чего въ этомъ отношеніи добился. Въ самомъ центрѣ вотчины, въ деревнѣ Любуни, онъ устроилъ на пригоркѣ высокую башню, въ которой любилъ пить чай. Отъ башни шли во всѣ стороны просѣки, и Аракчеевъ могъ осматривать въ подзорную трубу крестьянскія работы и вообще все, что дѣлалось въ большей части имѣнія. Шпионство онъ поощрялъ всѣми способами, добиваясь, чтобы ему доносили о всякой рѣшительно мелочи въ такомъ напримѣръ родѣ. Гостямъ, пріѣзжавшимъ въ Грузино, прислуживали мальчики-казачки; они получали иногда отъ гостей въ подарокъ деньги. Аракчеевъ требовалъ, чтобы каждый казачокъ въ тотъ же день докладывалъ ему, сколько онъ получилъ, а буде кто изъ нихъ солжетъ или утаитъ, и графу будетъ объ этомъ донесено, то доносчикъ получаетъ всѣ деньги лгуна-утайщика. Такими-то способами Аракчеевъ разыскивалъ виновныхъ, а затѣмъ исправлялъ ихъ. У него въ Грузинѣ всегда стояли кадки съ разсоломъ, въ которомъ мокли розги и палки. Съ свойственною ему аккуратностью онъ лично осматривалъ спины наказанныхъ и былъ такъ требователенъ, что несчастные рѣзали куръ и кровью ихъ мазали себѣ рубцы, чтобы значить графъ остался доволенъ и не велѣлъ начинать сказку про бѣлаго бычка сначала! Но и здѣсь, какъ и во всей нравственной фizioноміи Аракчеева, варварство осложняется своеобразнымъ комическимъ, правильнѣе шутовскимъ элементомъ. Онъ отдавалъ иногда своихъ дворовыхъ въ солдаты на срокъ, по истеченіи котораго бралъ ихъ къ себѣ обратно, причемъ они должны были давать письменное обѣщаніе исправиться. Обязательство это писалось по установленной формѣ: «Я, нижеподписавшійся, крѣпостной дворовый графа Алексѣя Андреевича челоуѣкъ, симъ обязуюсь содѣянный мною передъ его сіятельствомъ проступокъ стараться заслужить особеннымъ усердіемъ»

и добрымъ по должности своей поведеніемъ» и т. д. А иногда отъ наказанныхъ требовалось и пространное изложеніе чувствъ уваженія и любви къ помѣщику. Вотъ письмо двороваго Ивана Кузьмина: «Сіятельнѣйшій графъ, всемілостивѣйшій государь! Я рабъ и подданный вашъ есть; но Провидѣнію Всевышняго угодно было обнаружить мое согрѣшеніе предъ вашимъ с—вомъ и во гнѣвъ своею меня наказать. Я исполнѣ заслуживаю онаго и чувствую съ сердечнымъ собогѣзнованіемъ; но, мучась повсечасно угрызненіемъ совѣсти въ преступленіи своемъ, которое влечетъ меня вторичнымъ опять письмомъ прибѣгнуть подъ покровительство ваше, а тѣмъ болѣе будучи зная отеческое мило-сердіе ваше и изливаемые неисчетныя повсюду щедроты и покровительства! Но, какъ я по великому вашему гнѣву остаюсь и поднесъ презрѣннымъ преступникомъ, о чемъ съ униженіемъ и благоговѣніемъ осмѣливаюсь просить ваше с—во, припадая съ тѣмъ вмѣстѣ къ стопамъ ногъ вашихъ съ воспрянутою къ небу душою, умоляю со слезами и съ чистымъ сокрушеннымъ сердцемъ, великодушный, всемілостивѣйшій графъ, укротите праведный гнѣвъ вашъ и облегчите тѣмъ скорбь съ страданіемъ и мое мученіе, рѣшите судьбу мою тѣмъ, чѣмъ Богъ по сердцу вашему пошлетъ. Я дотогѣ не перестану... Остаюсь во ожиданіи рѣшенія судьбы своей презрѣнный, вѣрноподданный рабъ вашъ. Санктпетербургъ 1831 года, ноября 7». Аракчеевъ требовалъ подобныхъ посланій по такимъ же побужденіямъ, по какимъ воздвигъ «руину князя Меншикова»—для порядка. Подлинная или искусственная развалина; истинныя или выраженные по приказанію чувства—ему было все равно лишь бы была соблюдена форма, лишь бы на развалинѣ и на чувствахъ стояли извѣстные ярлыки.

Еще одна черта характера Аракчеева. Человѣкъ суровый, холодный и вдобавокъ громившій въ своихъ приказахъ развратъ въ крестьянскомъ быту, онъ до старости былъ чувствителенъ къ женской красотѣ. Въ его грузинской библиотекѣ было немало книгъ въ такомъ родѣ: «Путь къ безсмертному сожитію ангеловъ», «О вздыханіи голубицы или пользѣ слезъ», «Ве-

ликопостный конфетъ» и т. д. Но «почти половину» библиотеки составляли книги совсѣмъ иного содержанія. Рядомъ съ «Великопостнымъ конфетомъ» хранились «Любовники и супруги или мужчины и женщины, и то и сіе», «Читай, смѣхай и можетъ быть слюбится», «Нѣжныя объятія въ бракъ и потѣхи съ любовницами» и проч. Упомянутый уже «Храмъ въ память воспитавшему меня генералу Мелисину» былъ, не совсѣмъ соотвѣтственно своему назначенію, наполненъ соблазнительными картинками, которыя были закрыты зеркалами, отодвигавшимися посредствомъ потаенныхъ пружинъ. Храмъ этотъ стоялъ совершенно уединенно на островѣ, къ нему надо было подѣзжать на лодкѣ, и Аракчеевъ допускалъ туда только самыхъ близкихъ и довѣренныхъ людей. Тотъ же вкусъ отразился отчасти на наборѣ десертныхъ тарелокъ, привезенныхъ Аракчеевымъ изъ Парижа. Изъ описи посуды видно, что на ней были изображены: «Любовь въ табатеркѣ», «Венера въ бойнѣ», «Любовь заставляетъ плясать трехъ грацій», «Фигура, представляющая воздухъ» и т. п.

Одну минуту я колебался — записывать ли эту послѣднюю черту характера Аракчеева, потому что она нѣсколько разбиваетъ цѣльное впечатлѣніе, производимое всей фигурой «безъ лести преданнаго». Не то, чтобы къ этой мрачной фигурѣ не шло мѣшать «Великопостный конфетъ» съ «Нѣжными объятіями въ бракъ». Напротивъ этотъ элементъ могъ бы очень удобно разростись до *juris primaе postis*, до крѣпостнаго гарема и насилій надъ бабами и дѣвками (чего однако кажется не было). Но это во всякомъ случаѣ и не коренная, а производная черта нравственной фizioноміи Аракчеева. Слабость къ женской красотѣ и къ нецѣломудреннымъ картинкамъ и книжкамъ лежатъ довольно далеко отъ его душевнаго центра тяжести, который сводится къ безусловному, органическому непониманію началъ личности и свободы. Аракчеевъ есть идеальный типъ стараго русскаго крѣпостника. Это не европейскій феодалъ, непризнававшій надъ собой никакихъ ограниченій и опиравшійся на свободный договоръ съ высшею государственною властью. Известно,

что русское дворянство росло, падало, опять поднималось, какъ въ цѣломъ, такъ и въ отдѣльныхъ родахъ, не какою-нибудь внутреннею, самостоятелною силою, а повинувся нуждамъ государства, какъ они понимались въ разное время правительствомъ. Самымъ крѣпостнымъ правомъ оно пользовалось за службу государю и даже по отношенію къ внутреннимъ распорядамъ въ помѣстьѣ помѣщики были, по выраженію императора Павла, особаго рода полиціймейстерами. Могли быть и существовали разныя уклоненія отъ такого порядка вещей, но они не имѣли почвы въ какомъ-нибудь общепризнанномъ правѣ. Русскій дворянинъ имѣлъ рабовъ, но и самъ подписывался — «нижайшій рабъ князь Юшка Ромодановскій». И положеніе его, и его понятія, и чувства вполне соотвѣтствовали такой подписи. Онъ былъ связанъ узами не менѣе прочными, а подчасъ и не болѣе мягкими, чѣмъ какія облекали его крѣпостныхъ. Въ исторіи русскаго дворянства можно найти примѣры личностей, критически относившихся къ тѣмъ или другимъ узамъ, или и къ тѣмъ и другимъ. Но по положенію вещей отношеніе это могло только «не распрѣсть и отцѣсть въ утрѣ пасмурныхъ дней». Аракчеевъ же замѣчательнъ именно тѣмъ, что въ немъ никогда не шевелилась критическая мысль. Онъ былъ въ общемъ механизмъ государства лично столь же ничтоженъ, какъ его дворецкій въ механизмъ его домашнихъ дѣлъ. И онъ принималъ это положеніе безъ критики; въ немъ самомъ не было того начала личнаго достоинства и той жажды свободной жизни, которыя онъ попиралъ въ своихъ крестьянахъ. И оттого попираніе это совершалось имъ съ совершенно чистою совѣстью, безъ малѣйшаго колебанія и сомнѣнія. Въ самомъ дѣлѣ, если самъ онъ даже спалъ, не раздѣваясь, то какъ могъ онъ принимать въ соображеніе усталость того несчастнаго дворецкаго, котораго онъ обѣщалъ «самъ забить»? Замѣчательно, что Александръ I, озабоченный въ началѣ своего царствованія планами освобожденія крестьянъ, т. е. уничтоженія тѣхъ самыхъ узъ, о тяжести которыхъ Аракчеевъ никогда не задумывался; замѣчательно, что Александръ I далеко не сразу почтилъ Аракчеева своимъ довѣ-

ріємъ и дружбою. Будучи великимъ княземъ, онъ даже ненавидѣлъ и презиралъ своего будущаго министра. Когда императоръ Павелъ въ одну изъ своихъ грозныхъ минутъ исключилъ Аракчеева изъ службы, великій князь, узнавъ, что на его мѣсто назначенъ человѣкъ хорошій, сказалъ: «Ну, слава Богу! эти назначенія—настоящая лотерея, могли бы напасть опять на такого м.....ца, какъ Аракчеевъ» («Русская Старина», 1871, № 2). Впослѣдствіи, вмѣстѣ съ общимъ поворотомъ взглядовъ императора Александра, рѣзко измѣнились и его отношенія къ Аракчееву, однако и тогда благодушный императоръ, по крайней мѣрѣ по временамъ, повидимому тяготился своимъ грубымъ со-вѣтникомъ.

XIII.

Мордвиновъ.

Интересно сопоставить мрачную фигуру владѣльца Грузина съ свѣтлымъ образомъ другого современнаго ему государственнаго человѣка, знаменитаго адмирала Мордвинова. Авторъ монографіи «Графъ Н. С. Мордвиновъ», профессоръ Иконниковъ, говоритъ: «Мордвиновъ и Аракчеевъ, какъ дѣятели разсматриваемой эпохи, представляются какъ бы двуличнымъ Янусомъ, смотрящимъ въ діаметрально противоположныя стороны» (309). Дѣйствительно мудрено найти двѣ болѣе рѣзкія противоположности, какъ Аракчеевъ и мягкій, гуманный, смѣлый, умный, образованный Мордвиновъ. Это—свѣтъ и тѣнь, Ормуздъ и Ариманъ. Какъ Аракчеевъ уже въ дѣтствѣ обнаружилъ наиболѣе выдающіяся черты своего личнаго характера—строжайшее добровольное подчиненіе всѣмъ установленнымъ правиламъ и жестокость, такъ и Мордвиновъ уже въ раннемъ дѣтствѣ выказался съ совершенно противоположной стороны. Въ воспоминаніяхъ его дочери гр. Н. Н. Мордвиновой: («Воспоминанія объ адмиралѣ графѣ Николаѣ Семеновичѣ Мордвиновѣ и о семействѣ его») читаемъ: «Бабушка моя была строгая мать, дѣдъ — нѣжный отецъ: во

какъ въ то время жены уважали и боялись своихъ мужей, то бабушка и не смѣла наказывать дѣтей въ присутствіи дѣдушки; отца моего она называла балованнымъ сынкомъ, потому что онъ не всегда поддавался ея наказанію: казалось, съ дѣтства понималъ чувство справедливости и иногда убѣгалъ отъ розогъ подъ защиту къ отцу въ кабинетъ, но никогда не жаловался, хотя и чувствовалъ, что онъ не виновать». Будучи около десятилѣтняго возраста взятъ во дворецъ для воспитанія съ наслѣдникомъ, Павломъ Петровичемъ, Мордвиновъ «кротостью и благоразуміемъ имѣлъ большое вліяніе на смягченіе характера великаго князя» (8). Конечно это—разсказъ дочери объ отцѣ. Но дѣло въ томъ, что ему ни малѣйше не противорѣчитъ вся послѣдующая, вполне извѣстная жизнь Мордвинова. Свидѣтельства всѣхъ современниковъ полны самыхъ лестныхъ отзывовъ объ этомъ человѣкѣ, и если ему ставится что-нибудь въ упрекъ, такъ только его горячность и суетливость, или, вѣрнѣе, избытокъ дѣятельности, которому соотвѣтствовалъ избытокъ силъ. Довольно того, что онъ былъ прозванъ русскимъ Аристидомъ и что Рылѣевъ, выражая положительно общее мнѣніе, обратился къ нему съ восторженной одой «Гражданское мужество»:

Кто этотъ дивный великанъ,
Одѣянъ свѣтлою броней,
Чело спокойно, стройный станъ
И весь сіяетъ красотою?
Кто сей, украшенный вѣнкомъ,
Съ мечомъ, вѣсами и щитомъ,
Презрѣвъ враговъ и горделивость,
Стоитъ гранитною скалой
И давить сильною пятой
Коварную несправедливость?
.....
Лишь Римъ, вселенной властелинъ,
Сей край свободы и законовъ,
Возмогъ прозавести одинъ
И Брутовъ двухъ, и двухъ Катоновъ.
Но намъ ли унывать душой,

Когда еще въ странѣ родной
Одинъ изъ дивныхъ исполиновъ
Екатерины славныхъ дней,
Средь сонма избранныхъ мужей,
Въ совѣтъ бодрствуетъ Мордвиновъ?
.....

Разсказывать собственно жизнь Мордвинова, его домашній бытъ, семейныя отношенія и пр.—нечего. Никакихъ особенно рѣзкихъ эпизодовъ здѣсь нѣтъ: хорошій семьянинъ, добрый помысликъ, любитель просвѣщенія и искусствъ, строгій исполнитель своихъ обязанностей и т. д. Мы не будемъ слѣдить и за перипетіями его долгой служебной карьеры. Въ противоположность Аракчееву, у котораго не было никакихъ идей кромѣ идеи военныхъ поселеній, жизнеописаніе Мордвинова сводится къ анализу его идей.

Мордвиновъ былъ силенъ именно тѣмъ, чѣмъ былъ слабъ Аракчеевъ, критическою мыслью, уваженіемъ къ личности, къ своей и чужой свободѣ. Въ эту сторону была направлена вся его многотѣнная и горячая дѣятельность. Попадъ въ Англію еще молодымъ человѣкомъ (онъ и женатъ былъ на англичанкѣ), Мордвиновъ прочно всосалъ въ себя духъ англійскихъ учреждений и господствовавшихъ тогда въ Англіи идей. Какъ разъ во время его пребыванія тамъ вышло знаменитое сочиненіе Адама Смита, которое, какъ говоритъ г. Иконниковъ, оказало вліяніе на всю жизнь Мордвинова. Можно думать, что по своей любознательности Мордвиновъ тотчасъ же познакомился съ «Исслѣдованіемъ о природѣ и причинахъ богатства народовъ». Но такъ или иначе, а доктрина Смита дѣйствительно имѣла глубокое вліяніе на Мордвинова въ послѣдующей его жизни. Къ нему скоро прибавилось еще вліяніе Бентама, съ которымъ Мордвиновъ имѣлъ личныя сношенія и котораго онъ ставилъ весьма высоко. Онъ писалъ брату Бентама въ 1806 г.: «Я желаю поселиться въ Англіи и, поселясь тамъ, быть знакомымъ въ вашмъ братомъ. Въ моихъ глазахъ онъ есть одинъ изъ четырехъ геніевъ, которые сдѣлали и сдѣлаютъ всего болѣе для счастья

человѣчества — Бэконъ, Ньютонъ, Смитъ, Бентамъ: каждый — основатель новой науки, каждый — творецъ». Съ своей стороны Бентамъ съ свойственными ему узкимъ самодовольствіемъ и болтливостью писалъ о Мордвиновѣ: «Въ числѣ его странностей есть то, что онъ — нѣчто въ родѣ сектатора стараго пустынноика Квинтъ-скверъ-Плэса (это — самъ Бентамъ, жившій въ Queen-Square-Place), будущія изліянія бредней котораго онъ предлагалъ переводить на русскій языкъ».

Доктрины Смита и Бентама слишкомъ извѣстны, чтобы о нихъ здѣсь надо было распространяться. Одинъ послѣдовательно провелъ начала свободы и личнаго интереса черезъ всю область наличныхъ тогдашнихъ экономическихъ фактовъ, другой пытался утвердить на тѣхъ же началахъ мораль, политику и юриспруденцію. Извѣстна и дальнѣйшая судьба принциповъ Смита и Бентама: проявившись съ большимъ блескомъ и среди всеобщихъ рукоплесканій, они скоро достигли почти безусловнаго государственнаго и школьнаго авторитета, а затѣмъ стали очень медленно, но постоянно терять кредитъ. Въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго вѣка, когда началась дѣятельность Мордвинова, идеи эти приближались къ апогею своего развитія, хотя и далеко не были общепризнанными. Тѣмъ интереснѣе становятся усилія Мордвинова водворить ихъ въ Россіи. Въ Европѣ идеи Смита и Бентама имѣли свою исторію и свою практическую почву интересовъ. Онѣ не были тамъ новостью и не стояли особнякомъ. Все умственное движеніе, извѣстное подъ именемъ вѣка просвѣщенія, Вольтеръ, Монтескье, энциклопедисты, Тюрго, физиократы, экономисты, матеріалисты, какъ Гольбахъ и Гельвецій, всѣ эти люди стремились къ тому, чтобы разбить оковы, наложенныя на личность средними вѣками, и провозглашали личный интересъ и личную свободу верховнымъ принципомъ всѣхъ политическихъ и философскихъ понятій. Не совсѣмъ новы были принципы Смита и Бентама и у насъ, въ Россіи. Мы ихъ уже получили въ свое время изъ Франціи, въ началѣ царствованія Екатерины, которая, какъ извѣстно, сама была почитательницей корифеевъ французской философіи и была со мно-

гими изъ нихъ въ личныхъ сношеніяхъ. Поэтому прежде, чѣмъ говорить о дѣятельности Мордвинова, посмотримъ, самымъ разумѣется бѣглымъ образомъ, какъ отразились у насъ идеи предшественниковъ Смита и Бентама.

Въ концѣ 1765 г., тотчасъ послѣ открытія вольно-экономическаго общества, этимъ новорожденнымъ обществомъ было получено отъ неизвѣстнаго лица замѣчательное письмо, которое должно быть признано однимъ изъ выдающихся фактовъ исторіи экономическихъ идей въ Россіи. Вотъ это письмо: «Многочтенные господа экономическаго общества! Съ великимъ удовольствіемъ многіе честные патріоты услышали о полезномъ вашемъ установленіи, изъ которыхъ и я себя почитаю не послѣднимъ. По скудоумію моему не въ состояніи я служить вамъ полезнымъ сочиненіемъ, а вмѣсто того позвольте мнѣ въ пользу общества сдѣлать вамъ вопросы: многіе разумные авторы поставляютъ и самыя опыты доказываютъ, что не можетъ быть тамъ ни искуснаго руководѣлья, ни твердо основанной торговли, гдѣ земледѣліе къ уничтоженію или незначительно производится, что земледѣльство не можетъ процвѣтать тутъ, гдѣ земледѣлецъ не имѣетъ ничего собственнаго. Все сіе основано на правилѣ весьма простомъ: всякій человѣкъ имѣетъ болѣе попеченія о своемъ собственномъ, нежели о томъ, чего опасаться можетъ, что другой у него отниметъ. Поставляя сіи правила за неоспоримыя, осталось мнѣ просить васъ рѣшить: въ чемъ состоитъ или состоятъ должно, для твердаго распространенія земледѣльства, имѣніе и наслѣдіе хлѣбопашца? Иные полагаютъ, чтобъ то состояло въ участкѣ земли, принадлежащей отцу, сыну и потомкамъ его, съ пріобрѣтеннымъ движимымъ и недвижимымъ, какого бы то званія ни было; другіе напротивъ того полагаютъ на одинъ участокъ земли четыре и до восьми человѣкъ родовъ разныхъ и поставляютъ старшаго въ томъ обществѣ главнымъ или такъ называемымъ хозяиномъ; изъ сего послѣдуетъ, что сынъ послѣ отца не наслѣдникъ, слѣдовательно и собственнаго не имѣетъ, называя собственнымъ только то, что тому обществу принадлежитъ, а не каждой особѣ. Итакъ нахожусь я въ великомъ не-

доумѣнія, не знаю, на точной ли или на спекулятивной разумѣ слова «собственное» полагаться. Я по сіе время почитаю собственнымъ то, чего ни у меня, ни у дѣтей моихъ безъ законной причины никто отнять не можетъ, и по моему мнѣнію то одно можетъ меня сдѣлать рачительнымъ; однако въ семъ мнѣніи не утверждаюсь, а ожидаю для наставленія мнѣ и потомкамъ моимъ вашего на сіе рѣшенія, пребывая съ непремѣннымъ къ вамъ почтеніемъ, многопочтенные господа экономическаго собранія, вашъ покорный слуга И. Е.».

Авторъ письма, ставя такъ прямо и рѣзко вопросъ о преимуществахъ личнаго и общиннаго землевладѣнія, очевидно глубоко проникся идеями французскихъ «просвѣтителей», стремившихся развязать узы цеховъ, корпорацій, общинъ, провинцій, государства и дать собственность и свободу отдѣльнымъ личностямъ. Собственно говоря, онъ даже не ставилъ вопроса, а разрѣшалъ его, «поставляя за неоспоримое правило», что «всякой человѣкъ имѣетъ божіе попеченія о своемъ собственномъ, нежели о томъ, чего опасаться можетъ, что другой у него отниметъ». Но такое рѣшеніе колебалось не только установившуюся, обычную форму крестьянскаго землевладѣнія, оно естественно затрогивало и юридическія отношенія крестьянъ къ помѣщикамъ. Странно было бы настаивать на разрушеніи общиннаго, мірскаго владѣнія земель, какъ нарушающаго личные интересы и свободу крестьянъ, и въ то же время оставлять неприкосновеннымъ крѣпостное право. Впослѣдствіи впрочемъ, какъ увидимъ, подобными противорѣчіями перестали гнушаться. Но въ екатерининскую старину люди были проще, и потому на первый разъ члены вольнаго экономическаго общества просто пропустили мимо ушей щекотливое письмо неизвѣстнаго лица. Но подъ буквами И. Е. скрывалась сама императрица Екатерина, хотѣвшая сразу поднять новорожденное экономическое общество до той высоты общихъ теоретическихъ вопросовъ, до которой оно и впослѣдствіи весьма рѣдко поднималось. Замогчать мысли императрицы было конечно трудновато. Дѣйствительно, въ первую годовщину общества, 1-го ноября 1766 года, было доложено новое письмо,

подписанное тѣми же инициалами И. Е. Авторъ прилагалъ тысячу червонцевъ на разныя нужды общества, между прочимъ на выдачу премій за рѣшеніе задачъ, предлагаемыхъ обществомъ на конкурсъ, и просилъ первой же задачей поставить вопросъ, выставленный имъ въ прошломъ 1765 году: «въ чемъ состоитъ собственность земледѣльца, въ землѣ ли его, которую онъ обрабатываетъ, или въ движимости, и какое онъ право на то или на другое для пользы общенародной имѣть можетъ?» Императрица была узнана, и общество всполошилось. Назначено было чрезвычайное собраніе, судили, рядили и наконецъ объявили задачу. Она, какъ говоритъ авторъ исторіи вольнаго экономическаго общества, произвела въ тогдашнемъ дворянскомъ обществѣ безпокойство. Всѣ поняли, что прежде, чѣмъ рѣшать вопросъ о правахъ крестьянъ на движимую или недвижимую собственность, надо разсмотрѣть права помѣщика на личность крестьянина. Собственно вопросъ о поземельной общинѣ отошелъ на второй планъ во всѣхъ запискахъ, доставленныхъ разными лицами въ общество. И это было вполне естественно. Я обращаю особенное вниманіе читателя на это обстоятельство; ниже оно приведетъ насъ къ нѣкоторымъ очень любопытнымъ соображеніямъ. Первымъ кажется откликнулся нѣкто дѣйствительный статскій совѣтникъ А. Сумароковъ. Онъ не разрѣшеніе задачи доставилъ, а возраженіе, написанное именно по поводу неясности и неполноты задачи. Онъ писалъ между прочимъ: «Задача ради рѣшенія: что полезно обществу, чтобы крестьянинъ имѣлъ собственнымъ имѣніемъ пожитки ли одни или и земли, до изясненія рѣшена быть не можетъ; напримѣръ, когда спросится: потребно ли дворянину умѣть писать по-русски, такъ должно примолвить: руссiйскому дворянину, ибо дворянинъ англійскій можетъ обойтись безъ русской грамоты; такъ и о крестьянахъ: свободному-ли крестьянину или крѣпостному; а прежде надобно спросить: потребна ли ради общаго благоденствія крѣпостнымъ людямъ свобода? На это я скажу: потребна ли канарейкѣ, забавляющей меня, вольность или потребна клѣтка, и потребна ли стерегущей мой домъ собакѣ цѣпь. Канарейкѣ

лучше безъ клѣтки, а собакѣ безъ цѣпи. Однако одна улетитъ, а другая будетъ грызть людей; такъ одно потребно для крестьянина, а другое ради дворянина; теперь осталось рѣшить, что потребнѣе ради общаго блаженства, а потомъ, ежели вольность крестьянамъ лучше укрѣпленія, надобно уже рѣшать задачу объявленную. На сіе всѣ скажутъ общества сыны, да и рабы общества сами, что изъ двухъ худъ лучшее, не имѣти крестьянамъ земли собственной: да и нельзя, ибо земли всѣ собственныя дворянскія; такъ еще вопросъ: должны ли дворяне крестьянамъ отдавать купленные, жалованныя, наслѣдственные и прочія земли, когда они не хотятъ, и могутъ ли въ Россіи землями владѣть крестьяне: ибо то право дворянъ. Что-жъ дворянинъ будетъ тогда, когда мужики и земля будутъ не его: а ему что останется. Впрочемъ свобода крестьянская не токмо обществу вредна, но и пагубна, а почему пагубна, того и толковать не надлежитъ».

Не одинъ Сумароковъ такъ рѣзко отрицательно отнесся къ истинному смыслу задачи, поставленной вольнымъ экономическимъ обществомъ по инициативѣ императрицы. Въ числѣ сочиненій, представленныхъ на конкурсъ, было нѣсколько проникнутыхъ тѣмъ же духомъ. Изъ нихъ извѣстна кажется только напечатанная въ «Русскомъ Архивѣ» записка «человѣка не грамматикальнаго и никакихъ исторій отъ роду не читавшаго». Не грамматикальный человѣкъ полагалъ между прочимъ, что «ежели бы поселяне по заморскому отъ господъ не зависѣли, такъ бы у иного помѣщика некому было и студено искрошить, а не только сдѣлать какой фракасей, т. е. поливай или супа, т. е. похлебки или почтета, т. е. пирога. А за моремъ фракасейскихъ мастеровъ имѣется довольное число, и не надобно тамъ ни ложки, ни плошки, понеже, какъ слышно, тамъ въ трактирахъ все сыщешь». Первую премію на конкурсѣ получило сочиненіе француза Беарде де-л'Абея, написанное въ либеральномъ духѣ, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ рекомендовавшее строгую постепенность и осторожность въ дѣлѣ освобожденія крестьянъ. Сочиненіе это было напечатано, но только послѣ долгой борьбы:

многіе боялись впечатлѣнія, которое могутъ произвести вольнодумства автора, появившіеся въ русскомъ переводѣ.

Практическихъ послѣдствій починъ императрицы конечно не имѣлъ никакихъ. Случай въ вольномъ экономическомъ обществѣ показалъ только, что частныя приложенія принциповъ французскихъ «просвѣтителей», въ родѣ разрушенія поземельной общины, невозможны въ государствѣ, самыя основанія котораго такъ рѣзко противорѣчатъ этимъ принципамъ. А самыя основанія тогдашняго строя русской жизни Екатерина колебать не рѣшалась, да и едва ли искренно желала ихъ измѣненія: доказательствомъ могутъ служить такіе факты, какъ раздача населенныхъ имѣній въ небывалыхъ дотогѣ размѣрахъ и мѣры относительно крестьянъ малороссійскихъ.

Въ Европѣ провозвѣстниками началъ личной свободы и личного интереса явились представители буржуазіи, третьяго сословія, обладавшаго образованіемъ, капиталами и орудіями производства. Для нихъ разрушеніе всѣхъ средневѣковыхъ общественныхъ единицъ и было выгодно, и вполне соответствовало ихъ исторически выработаннымъ идеаламъ. Но русское среднее сословіе было совсѣмъ въ иномъ положеніи. Не говоря уже о его невіжествѣ и низкомъ уровнѣ умственного развитія, оно и интересами своими враждебно сталкивалось съ идеалами свободы. Европейская буржуазія запѣла гимнъ свободѣ, только пройдя черезъ ступень цеховыхъ монополій и государственнаго покровительства и достаточно окрѣпнувъ на этой ступени. Русское среднее сословіе еще нуждалось въ покровительствѣ и монополіяхъ и потому требовало ихъ. Это — *alte Geschichte*, которая *bleibt immer neu*. Какъ разъ около того времени, когда члены вольнаго экономического общества бились надъ сочиненіемъ Беардэ де-л'Абея, имѣла свои засѣданія знаменитая комиссія по составленію Уложения, въ учрежденіи которой наиполнѣйше выразились либеральныя стремленія Екатерины. Если привести къ общему знаменателю различныя заявленія депутатовъ третьяго сословія, то получимъ слѣдующія требованія: запрещеніе дворянамъ производить торговлю и имѣть заводы, каковыя заня-

тія должны быть предоставлены купцамъ; запрещеніе крестьянамъ торговать, помимо купчества, даже продуктами сельскаго хозяйства; предоставленіе купцамъ и фабрикантамъ права покупать населенныя имѣнія и людей безъ земли. Словомъ, депутаты средняго сословія требовали монополій и расширенія крѣпостнаго права, двухъ вещей наиболѣе ненавистныхъ европейскому среднему сословію. И — замѣчательный фактъ, немыслимый на родинѣ либерализма, въ западной Европѣ — дворяне явились въ комиссіи защитниками крестьянъ отъ притязаній средняго сословія! И это не единственный случай диаметрально противоположнаго отраженія европейскихъ политическихъ элементовъ въ зеркалѣ тогдашней русской жизни. Въ умственномъ движеніи Европы въ концѣ прошлаго столѣтія натуралистическій или пожалуй материалистическій взглядъ на вещи находился въ тѣсной связи все съ тѣмъ же началомъ личной свободы, съ доктриной либерализма. У насъ онъ тоже выразился въ обратномъ видѣ. Авторъ «Размышленія о неудобствахъ дать въ Россіи свободу крестьянамъ и служителямъ», написаннаго въ 1785 году, такъ между прочимъ оправдывалъ крѣпостное право: «Если мы возьмемъ физическое положеніе страны нашей, то узримъ, что холодный климатъ, возбраняющій дѣйствія транспираціи, а пронизательнымъ своимъ воздухомъ сжимающій наши жилы, побуждаетъ насъ къ пріятію болѣе пищи, нежели въ полуденныхъ климатахъ; а сіе производитъ многокровіе и дѣлаетъ болѣе характеры наши сангвиническими; довольно же всѣмъ извѣстно, что сангвиническій характеръ есть характеръ наглый и стремительный въ предпріятіяхъ своихъ, которыя безъ дальняго размысленія и начинаютъ; а есть ли по роду жизни примѣшивается къ оному и флегма, то сіе ничего болѣе не произведетъ, какъ должайшее настояніе суровости и злопамятства. По сему извѣстному характеру да разсудить каждый, легко ли таковыхъ поселянъ, учиня ихъ свободными, общими законами задержать?» (Романовичъ-Славатинскій. Дворянство въ Россіи, 377). Дѣло не въ томъ, что авторъ «Размышленія» говоритъ пустяки, а въ томъ, что пустякамъ этимъ придана модная въ

то время естественно-научная форма, въ которую въ Европѣ облекались тогда совсѣмъ инныя идеи.

Такова была судьба европейскихъ идей личной свободы и личнаго интереса въ первый моментъ ихъ появленія въ Россіи. Но они вторично появились въ началѣ царствованія императора Александра I. Стали вновь издаваться Беккарія, Монтескье, на изданіе Адама Смита было отпущено 5,000 руб. изъ казны, съ Бенгтеномъ проникнутый либеральными стремленіями императоръ имѣлъ личныя сношенія. Во всемъ этомъ движеніи Мордвиновъ игралъ очень видную роль. Его участіе въ планахъ освобожденія крестьянъ мы оставимъ пока въ сторонѣ и посмотримъ сначала, какъ старался онъ проводить свои задушевные мысли по другимъ вопросамъ. Хотя Мордвиновъ былъ замѣтнымъ человѣкомъ уже при Екатеринѣ и Павлѣ, но собственно настоящая его политическая роль началась съ воцареніемъ Александра I. Да и то онъ былъ назначенъ начальникомъ морского департамента, сначала кажется преимущественно какъ человѣкъ технически знакомый съ морскимъ дѣломъ, а не какъ политически нужный въ ту минуту человѣкъ. Какъ бы то ни было, но своимъ умомъ и энергіей онъ необходимо долженъ былъ скоро обратить на себя вниманіе какъ государя, такъ и общества. Такъ и было. Скоро императоръ выразилъ членамъ знаменитаго «неофіціального комитета», т. е. ближайшимъ своимъ и довѣреннѣйшимъ людямъ, желаніе, чтобы они обращались за содѣйствіемъ къ Лагарпу и Мордвинову. Первымъ политическимъ дѣйствіемъ Мордвинова, положившимъ основаніе его славы, было особое мнѣніе, представленное имъ въ качествѣ члена непремѣннаго совѣта по дѣлу объ Эмбенскихъ водахъ. При Екатеринѣ гр. Салтыкову достались земли на берегу Каспійскаго моря, близъ устья Эмбы, и богатая рыбныя ловли. Любимецъ Павла, Кутайсовъ, не совсѣмъ чистыми путями добился того, что земли эти перешли къ нему, благодаря шаткости правъ Салтыкова, который получилъ ихъ отъ областного начальства, нарушившаго при этомъ нѣкоторыя постановленія. По смерти Павла Салтыковъ сталъ домогаться возвращенія ему Эмбенскихъ

водъ и тяжба ихъ съ Кутайсовымъ поступила на разсмотрѣніе въ непрѣмный совѣтъ. Преобладало кажется мнѣніе, что ни Салтыковъ, ни Кутайсовъ не имѣютъ права на спорныя земли, одинъ, потому что получилъ ихъ отъ лица, неимѣвшаго права давать ихъ, а другой, потому что получилъ посредствомъ обмана. Нѣкоторые предполагали отнять земли у Кутайсова, давъ ему какое-нибудь вознагражденіе, но не удовлетворять и домогательствъ Салтыкова. Семое дѣло для насъ нисколько не интересно. Не интересно даже и то, что Мордвиновъ сталъ рѣшительно на сторону Кутайсова. Важны мотивы такого рѣшенія и мысли, изложенныя Мордвиновымъ. Вотъ нѣкоторые пункты его особаго мнѣнія:

«1) Владѣніе Эмбенскихъ водъ и всего, что въ указѣ 1799 года означено, есть собственности гр. Кутайсова. Совѣтъ призналъ сію истину въ первыхъ своихъ засѣданіяхъ.

3) Еслибы сія неотъемленность (собственности) ограничивалась только тѣмъ, чтобы частныя люди не могли на нее дѣлать притязаній, то былъ бы законъ достаточный въ турецкихъ областяхъ, по весьма несправедливый въ Россіи, гдѣ и правительство не можетъ отнять имѣнія ни у кого безъ суда и закона.

4) Изъ сего слѣдуетъ: на собственность частныхъ лицъ въ Россіи правительство не больше имѣетъ права, какъ и всякій частный человѣкъ.

5) По сему, сколько бы исключительное владѣніе какими-либо имѣніемъ ни оказывалось противнымъ общему благу, не можно для сего его взять въ общее употребленіе, да я и не знаю, чтобы гдѣ-нибудь былъ такой законъ терпимъ или полезенъ, ибо никогда общее благо не выжидается на частномъ развореніи.

11) По всѣмъ симъ причинамъ мое замѣчаніе есть: что не можно въ первыхъ взять у гр. Кутайсова эмбенскихъ ловель безъ его согласія, и сіе примѣчаніе относится равно ко всѣмъ проектамъ указовъ. Вторая часть мнѣнія моего состоитъ въ томъ: если у него ихъ возмуть, то не должно на нихъ совершенно и земель по берегамъ оставлять въ общемъ и независимомъ владѣніи. Доказательства на сіе суть слѣдующія:

1)

2) *Общее есть правило, что земли общія суть земли дикія.* Одна увѣренность, что труды и капиталы, полагаемые на удобреніе земли, на разныя заведенія, суть неотъемлемая собственность, превратила пустыни въ плодоносныя поля и всегда ихъ превращать будетъ, *доколь человекъ*

повиноваться будетъ единому безпрестанному въсхъ обществу началу собственной пользы каждаго и наслажденія.

3) Посему я мыслю, что какъ на водахъ морскихъ неподвижныя строенія должны принадлежать неотъемлемо исключительно ихъ хозяевамъ, такъ и берега и острова должны быть розданы для заведенія частнымъ людямъ на томъ же правѣ собственности...

4) Скажутъ, что это бы значило взять у одного, чтобы отдать другому. Не другому, но многимъ, а въ этомъ-то и состоитъ первый законъ исторіи государственной экономіи. Монополія по самому слову значить, когда одинъ захватить нужное всѣмъ имущество, покоривъ все своею волею и корыстолюбію, но когда одною вещью владѣютъ многіе, тогда не все покорено одному, тогда есть соревнованіе въ продажѣ, и цѣна устанавливается числомъ требователей и количествомъ вещей. (Иконниковъ, 87 и слѣд.)

Вѣрный и строго послѣдовательный ученикъ Смита и Бентама сквозить въ каждой строкѣ этого мнѣнія и въ особенности въ подчеркнутыхъ мною словахъ. Историкъ развитія экономическихъ идей въ Россіи долженъ будетъ отмѣтить записку Мордвинова по эмбенскому дѣлу, какъ едва ли не первое рѣзкое выраженіе у насъ англійской, манчестерской школы съ ея безграничнымъ уваженіемъ къ частной собственности и свободѣ. Современниковъ мнѣніе Мордвинова безъ сомнѣнія должно было поразить и дѣйствительно поразило своею смѣлостью, не по отношенію къ правительству, такъ какъ императоръ Александръ стоялъ тогда далеко впереди русскаго общества, а по отношенію къ установившимся понятіямъ и существующимъ фактамъ. Императоръ принялъ доводы Мордвинова во вниманіе, но русскому обществу были совершенно чужды, непривычны и свобода его выраженій, и самое направленіе его мысли. Обширныя государственныя имущества, многочисленные случаи пожалованія и конфискаціи частныхъ имуществъ, общинное землевладѣніе, наконецъ личныя и имущественныя отношенія крестьянъ и помещиковъ, — вотъ что привыкли видѣть вокругъ себя и за собой въ своей исторіи русскіе люди, вотъ на чемъ воспитались ихъ экономическія понятія. Каждаго изъ этихъ явленій въ отдѣльности было бы достаточно для того, чтобы задержать, не дать развиваться представленію о неприкосновенности частной собствен-

ности. А при совокупномъ ихъ дѣйствиіи можно положительно сказать, что неприкосновенная, неотъемлемая частная собственность была для огромнаго большинства русскихъ людей совершенно неудобопонятнымъ міеомъ. Столь же новы были и попятія Мордвинова о вредѣ монополій и административнаго произвола и выгодѣ свободной конкуренціи, въ приложеніи къ нашимъ домашнимъ, практическимъ русскимъ дѣламъ. А между тѣмъ въ воздухѣ уже давно носилось что-то, подготовлявшее къ воспріятію этихъ непривычныхъ мыслей. Нѣтъ поэтому ничего удивительнаго, что записка по эмбенскому дѣлу, какъ и послѣдующія «особыя мнѣнія» Мордвинова, расходились во множествѣ рукописныхъ экземпляровъ и читались образованнымъ обществомъ съ исключительнымъ интересомъ. Во всѣхъ этихъ послѣдующихъ запискахъ Мордвиновъ остался вѣренъ своей программѣ: не должно ничего оставлять «въ обществѣ и независимомъ владѣніи», т. е. общинная собственность и государственныя имущества должны быть розданы по частнымъ рукамъ; всякая частная собственность, если она только можетъ опереться на законный документъ, неприкосновенна, каково бы ни было ея происхожденіе (въ дѣлѣ Кутайсова предполагался подлогъ); «сколько бы исключительное владѣніе какимъ-либо имѣніемъ ни оказывалось противнымъ общему благу, не можно для сего его взять въ общее употребленіе», т. е. при непримиримомъ столкновеніи частнаго интереса съ общимъ благомъ, преимущество должно быть отдано первому.

Прилагать эти начала къ разнымъ явленіямъ русской жизни Мордвинову приходилось довольно часто. Онъ оставилъ 13 томовъ *in folio* разныхъ мнѣній, записокъ, проектовъ по самымъ разнообразнымъ вопросамъ за долгій срокъ 1801—1842 гг. Пока только малая часть этихъ матеріаловъ обнародована въ монографіи г. Иконникова и въ специальныхъ историческихъ изданіяхъ. Но и этого немногаго достаточно, чтобы видѣть, какъ вѣренъ себѣ и какъ послѣдователенъ былъ этотъ человекъ. Онъ истинно стоялъ на стражѣ легальныхъ, закономъ огражденныхъ частныхъ интересовъ. Такъ, когда, вслѣдствіе возникшихъ въ

Крымъ столкновений между русскими помѣщиками и исконными туземными жителями, татарами, военный губернаторъ Михельсонъ предложилъ отобрать земли у русскихъ владѣльцевъ и отдать ихъ татарамъ, Мордвиновъ горячо возсталъ противъ этой мысли. Онъ не отвергалъ, что со стороны помѣщиковъ могли быть захваты и другія несправедливости; онъ соглашался на прекращеніе на будущее время раздачи земель въ Крыму, но онъ находилъ, что разъ пожалованныя земли никакою силою не могутъ быть отобраны. «Собственность, говоритъ онъ, есть первый камень. Безъ оной и безъ твердости правъ, ее ограждающихъ, нѣтъ никому надобности ни въ законахъ, ни въ отечествѣ, ни въ государствѣ. Отъ сего единственнаго источника и связь обществъ воспріяла свое начало». Во всѣхъ столкновеньяхъ казны съ частными лицами Мордвиновъ почти всегда становился на сторону послѣднихъ. Когда манифестомъ 1810 года было признано паденіе ассигнаціоннаго курса, то лица, имѣвшія съ казною контракты на прежнихъ основаніяхъ, просили освободить ихъ отъ обязательствъ, ставшихъ для нихъ слишкомъ невыгодными отнюдь не по ихъ винѣ. Комитетъ министровъ между прочимъ отказалъ подрядчикамъ на пеньку и парусныя полотна по черноморскому флоту, а членъ совѣта Саблуковъ выразилъ при этомъ мнѣніе, что подрядчики имѣли въ прежнее время достаточно барыша и могутъ теперь потерпѣть маленькій убытокъ. Мордвиновъ полагалъ, что патріархальное воззрѣніе Саблукова «постановляетъ какъ бы правило, что можно правительству брать насильственно деньги въ томъ карманѣ, гдѣ предполагать можно, что онѣ находятся». Онъ рѣшительно требовалъ удовлетворенія ходатайства подрядчиковъ, а вслѣдъ за тѣмъ составилъ проектъ третейскихъ судовъ по спорамъ частныхъ людей съ казною. По другому подобному же дѣлу Мордвиновъ выразился, что «казенная копѣйка, какъ и всякая другая, должна по естественному закону и горѣть и тонуть». Къ возникшему въ началѣ двадцатыхъ годовъ вопросу о составленіи общихъ правилъ, на какомъ основаніи и въ какихъ случаяхъ правительство имѣетъ право касаться частной собственности, Мордвиновъ отнесся рѣ-

шительно отрицательно. Онъ отрицалъ самое право государства палгать по какимъ бы то ни было поводамъ руку на частную собственность. «По опытамъ, которые мы уже имѣли, писалъ онъ, я мыслю, что благоразумнѣе будетъ сочиненіе правилъ для отобранія частной собственности въ пользу общественной предоставить другимъ временамъ, а нынѣ умы человѣческіе видятъ на частную собственность, какъ на единое право, отъ нихъ неотъемлемое, нераздѣльно отъ правъ, уступленныхъ при переходѣ изъ свободнаго, дикаго, въ зависимое, гражданское состояніе». Въ турецкую войну Мордвиновъ возсталъ противъ запрещенія вывозить хлѣбъ изъ черноморскихъ портовъ: онъ стоялъ на томъ, что никакія обстоятельства не оправдываютъ вмѣшательства правительства въ дѣла частныхъ лицъ. Еще по одному дѣлу о контрактахъ съ казною онъ писалъ Аракчееву: «Мы не паши, засѣдающіе въ диванѣ, но члены законодательнаго сословія и гдѣ частной волѣ нашей нѣтъ мѣста... При недостаткѣ въ доходахъ 112 милліоновъ, безъ вниманія еще къ долгамъ, кажется, что пора приняться за постъ и молитву, коихъ начальное правило есть неприкосновеніе къ чужой собственности и неотлученіе отъ себя строгой нравственности, какъ частной, такъ и государственной».

Съ Аракчеевымъ Мордвиновъ сталкивался не разъ. Грозный владѣлецъ Грузина считалъ Мордвинова «пустымъ» и старался внушить этотъ взглядъ и императору. И дѣйствительно страшно пустымъ, не понимающимъ самой сути жизни долженъ былъ представляться Аракчееву Мордвиновъ: онъ не понималъ прелести перенги и величія табуна, онъ разлагалъ ихъ на атомы и тѣмъ разстраивалъ ряды идущихъ въ ногу и перемѣняющихъ ногу заразъ, по командѣ. Можетъ быть Аракчеевъ не отказалъ бы Мордвинову въ умѣ, талантахъ, образованіи, но именно пустымъ онъ долженъ былъ его считать. Мордвиновъ не понималъ и очевиднаго для Аракчеева всемогущества розогъ. Почти въ то самое время, какъ грузинскій владыка звѣрствовалъ надъ своей дворней, разыскивая убійцъ своей любовницы, достойной его Настасьи Минкиной; почти въ то самое время, какъ виновники

этого дѣла приговаривались къ наложенію клеймъ на лицо и наказанію кнутомъ (изъ 20 наказанныхъ двое умерли на мѣстѣ),— Мордвиновъ подавалъ записку за запиской, требуя уничтоженія смертной казни, кнута и клеймъ. Аракчеевъ былъ, какъ извѣстно, трусъ, но по роду своихъ занятій онъ долженъ былъ желать, если не постоянныхъ войнъ, то по крайней мѣрѣ многочисленныхъ войскъ. Мордвиновъ и этого не понималъ. Онъ всегда стоялъ за сокращеніе военнаго бюджета и арміи и если въ молодости и въ поздней старости увлекался проектами завоеванія Константинополя и освобожденія Іерусалима, то, вообще говоря, былъ всегда противъ войны. Замѣчательна записка, поданная имъ императору о мирномъ покореніи Кавказа—распространеніемъ между горцами сѣмянъ цивилизаціи. Одна изъ любимѣйшихъ его мыслей состояла въ необходимости отвлеченія народныхъ силъ отъ внѣшней, военной жизни и сосредоточенія ихъ на внутреннемъ развитіи государства. Внутреннее же развитіе государства совершенно послѣдовательно представлялось ему развитіемъ и усиленіемъ сложной системы частныхъ интересовъ, освобожденныхъ отъ всякихъ стѣсненій и умѣряемыхъ лишь другъ другомъ.

Еслибы Мордвиновъ ограничилъ свою дѣятельность только защитой легально признанныхъ частныхъ интересовъ, то ему не предстояло бы много работы, потому что интересы эти были слабы и количественно, и качественно. Надо было вызвать ихъ къ жизни, создать ихъ. Мордвиновъ это и дѣлалъ. Уже въ 1801 г. онъ подаетъ императору Александру грандіозный проектъ «трудопоощрительнаго банка». Этотъ любопытный документъ напечатанъ въ «Русской Старинѣ» (1872, № 1-й) и состоитъ изъ двухъ частей: проекта манифеста о банкѣ и устава банка. Цѣль учрежденія должна была состоять въ поощреніи частной предпріимчивости. Важнѣйшимъ средствомъ предполагалась выдача ссудъ. Лицо, желавшее получить пособіе отъ банка, должно было представить планъ задуманнаго имъ предпріятія, засвидѣтельствованный губернаторомъ или двумя-тремя мѣстными дворянами. Планъ поступалъ въ одно изъ пяти отдѣленій банка, за-

вѣдывавшихъ земледѣіемъ, скотоводствомъ, «рукодѣіемъ», «рудокопствомъ» и рыболовствомъ. Тамъ, по разсмотрѣніи плана, назначались условія ссуды, т. е. размѣръ процентовъ, различныя льготы, срокъ ссуды и проч. Въ обезпеченіе предполагалось брать залогомъ, но можно было удовольствоваться и поручительствомъ третьихъ лицъ. Однако, ссуды были бы не единственнымъ орудіемъ трудопоощрительнаго банка. Онъ долженъ былъ выдавать преміи и награды за различныя промышленныя и сельскохозяйственныя усовершенствованія, имѣть при себѣ техническое училище, музей, библіотеку, рекомендовать техниковъ, выписывать по порученію книги, инструменты, скоть, сѣмена и проч., издавать нѣчто въ родѣ технического журнала и т. д. Средства банка предполагалось получать изъ ассигнаціоннаго банка въ размѣрѣ 2.000,000 руб. въ годъ и кромѣ того неопредѣленную въ уставѣ сумму на содержаніе банковаго штата и выдачу наградъ — изъ государственнаго казначейства. Уставъ банка былъ уже въ 1801 г. подписанъ государемъ, но затѣмъ дѣло объ немъ, не смотря на всѣ настоянія Мордвинова, заглохло, на что онъ жаловался еще въ 1825 г.

Будучи послѣдовательно морскимъ министромъ, предсѣдателемъ департамента экономіи, предсѣдателемъ департамента гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ, а также президентомъ вольнаго экономического общества, Мордвиновъ настойчиво и многосторонне преслѣдовалъ цѣли трудопоощрительнаго банка. Онъ при этомъ не упускалъ случая напереть на тотъ оттѣнокъ преобладанія частныхъ интересовъ, который онъ желалъ придать развитію у насъ промышленности и сельскаго хозяйства. Такъ онъ требовалъ продажи казенныхъ горныхъ заводовъ, казенныхъ оброчныхъ статей и прямо отрицалъ самое понятіе казеннаго имущества, а относительно общиннаго землевладѣнія еще въ проектѣ манифеста о трудопоощрительномъ банкѣ говорилось: «долженствовало бы, въ согласность дарованнаго нами на покупку земель права, чтобы изъ общихъ и чрезнолосныхъ владѣній составились въ теченіе времени удѣльныя и порядочныя имѣнія». Въ уставѣ же указывались и нѣкоторые пути, веду-

щіе къ этой цѣли. Къ этому центру, т. е. къ созданію и огражденію частныхъ интересовъ, примыкають и всѣ финансовыя проекты Мордвинова, и его критика финансовой практики Гурьева и Канкринна. Онъ былъ не изъ тѣхъ финансовыхъ дѣлъ мастеровъ, которые заняты исключительно нашиваніемъ надставокъ и заплакъ на прорѣхи. Рекомендую при случаѣ и подобныя заплаты, онъ понималъ однако ихъ паллятивный характеръ и настаивалъ на мѣрахъ болѣе или менѣе радикальныхъ, не спеціально финансовыхъ, а экономическихъ и политическихъ.

Противникъ всякой регламентаціи, Мордвиновъ писалъ въ 1825 г.: «По уставу самой природы никакой торгъ, какое ремесло, ни художество не могутъ процвѣтать безъ свободы въ дѣйствіяхъ своихъ, и свобода есть единственное вѣрное и надежное руководство къ успѣхамъ дѣятельности народной... Предоставляя частной пользѣ свободу дѣйствовать, правительство можетъ только съ своей стороны способствовать распространеніемъ хозяйственныхъ и искусственныхъ всякаго рода свѣдѣній, обнародованіемъ новыхъ изобрѣтеній... и наконецъ усиленіемъ мѣръ, чтобы свобода въ дѣйствіяхъ, равно какъ и принадлежность каждаго трудящагося ограждены были отъ всякаго непріязненнаго къ нимъ прикосновенія, въ томъ никакому сомнѣнію неподверженномъ соображеніи, что частная польза и частное обогащеніе суть основаніе и богатство казны, и что безъ первыхъ казенная польза прочною быть не можетъ». Программу эту Мордвиновъ развивалъ во всю свою долгую жизнь, прилагая ее къ самымъ разнообразнымъ предметамъ и съ замѣчательнымъ мужествомъ отстаивая ее не только при благоприятныхъ условіяхъ, какія представляло начало царствованія Александра I. а и при самыхъ неблагоприятныхъ. Кругомъ него многіе сожгли все, чему они поклонялись, Аракчеевъ съ Фотіемъ пробілись наверхъ, самъ Сперанскій, родственникъ Мордвинову по идеямъ и одно время лично близкій ему человекъ, не только подвергся опалѣ, а и притихъ духомъ;—Мордвиновъ былъ все тотъ же и выражалъ все тѣмъ же смѣлымъ языкомъ все тѣ же любимыя идеи свободы, личнаго достоинства и неприкосновен-

ности частныхъ интересовъ. Прилагалъ онъ ихъ не только къ частнымъ и низшимъ сферамъ государственной жизни. Когда по инициативѣ императора Александра въ неофициальномъ комитетѣ возникъ вопросъ о расширеніи правъ сената, Мордвиновъ представилъ и свое мнѣніе по этому вопросу. Онъ предполагалъ составлять сенатъ изъ лицъ, назначаемыхъ государемъ, и выборныхъ отъ губерній. Тотъ же проектъ былъ имъ снова представленъ въ 1811 г. Сторонникъ выборнаго начала вообще, онъ, будучи морскимъ министромъ, возстановилъ въ своемъ вѣдомствѣ баллотировку при производствѣ въ чины, введенную Петромъ I и отмѣненную императоромъ Павломъ.

XIV.

Оборотная сторона медали.

Этотъ умный, образованный, мягкій, гуманный, мужественный, добродѣтельный человѣкъ, искренно и горячо преданный идеаламъ свободы и всю свою жизнь посвятившій защитѣ неприкосновенности личности, этотъ вѣрный и послѣдовательный ученикъ Смита и Бентама, — былъ крѣпостникъ...

Этого мало. Онъ — одинъ изъ типичнѣйшихъ крѣпостниковъ, но крѣпостниковъ новой формаци, крѣпостниковъ условныхъ, на первый взглядъ не имѣвшихъ и не имѣющихъ ничего общаго съ тѣми безусловными крѣпостниками старой формаци, образцами которыхъ могутъ служить Сумароковъ, «человѣкъ неграмматикальный и отъ роду никакихъ исторій не читывавшій», или наконецъ мрачный владѣлецъ Грузина. Тѣ, подобно Адаму и Евъ до грѣхопаденія, не чувствовали своей наготы и не сознавали стыда ея. Неграмматикальный человѣкъ могъ откровенно выразить, какъ серьезный доводъ противъ освобожденія крестьянъ, мысль, что у иного помѣщика некому будетъ «и студено искрошить, а не только сдѣлать какой фракасей, т. е. поливай, или супа, т. е. похлебки, или почтета, т. е. пирога». Равнымъ

*

образомъ и Сумароковъ могъ съ чистою совѣстью заявить, что конечно «канарейкѣ, забавляющей меня, лучше безъ клѣтки, а собакѣ, стерегущей мой домъ, лучше безъ цѣпи, но одна улетитъ, а другая будетъ грызть людей; такъ одно потребно для крестьянина, а другое ради дворянина». Наконецъ и Аракчеевъ... Впрочемъ Аракчеевъ—особь статья. Фанатикъ шеренги и табуна, онъ, вышеописанная гроза Грузина и военныхъ поселеній, когда потребовалъ императоръ, сталъ въ шеренгу составителей проектовъ освобожденія крестьянъ, и его проектъ былъ не хуже многихъ, не портилъ «ранжира» и «равненія». Что касается Мордвинова, то этотъ пламенный борецъ за свободу и неприкосновенность личности долженъ бы былъ казаться сосредоточить на крѣпостномъ правѣ главный огонь своихъ батарей. Въ самомъ дѣлѣ, если, какъ мы видѣли, крѣпостники старой формации возстали противъ постановки вопроса о неудовлетворительности общиннаго землевладѣнія, потому что этимъ вопросомъ затрогивается и крѣпостное право, то какъ долженъ былъ смотрѣть на послѣднее такой ярый противникъ общины, какъ Мордвиновъ? Если человѣкъ возмущается до глубины души каждымъ ущербомъ или оскорбленіемъ, наносимымъ казною подрядчику; если онъ только и говорить, что про свободу да про неприкосновенность личности, то какими юпитеровскими громами долженъ онъ поразить крѣпостное состояніе миллионъ людей, тѣмъ богѣе, когда правительство такъ склонно къ изысканію средствъ освобожденія, какъ оно было склонно при императорахъ Александрѣ и Николаѣ. Никакихъ однако громовъ со стороны Мордвинова не было, а въ такомъ человѣкѣ это есть уже отрицательное свидѣтельство нѣкоторыхъ крѣпостническихъ тенденцій. Но есть и свидѣтельства положительныя. Во вниманіе вѣроятно къ высокимъ качествамъ ума и сердца Мордвинова, многіе историки его времени стараются смягчить, замаскировать, стусивать истинное отношеніе знаменитаго адмирала къ крестьянскому вопросу. Такъ поступаетъ отчасти и г. Иконниковъ, хотя онъ добросовѣстно приводитъ многіе относящіеся сюда факты. Такъ поступаетъ и авторъ почтеннаго труда «Дворянство въ Рс -

си» г. Романовичъ-Славатинскій. Въ числѣ нѣкоторыхъ подготовительныхъ мѣръ къ освобожденію императоръ Александръ желалъ запрещенія продажи людей безъ земли. Вопросъ этотъ обсуждался въ 1020 г. въ государственномъ совѣтѣ. Департаментъ законовъ отстаивалъ это право. «Замѣчательно, говоритъ г. Романовичъ-Славатинскій, что воззрѣніе департамента защищалъ и Мордвиновъ. Но въ основаніи мысли Мордвинова лежала горькая иронія надъ крѣпостнымъ правомъ, что воплоти высказалось имъ при новомъ обсужденіи этого вопроса въ государственномъ совѣтѣ, въ 1833 г. Мордвиновъ опять явился сторонникомъ продажи людей, но высказалъ при этомъ всю подноготную своего правдиваго взгляда. Онъ попросилъ у совѣта дозволенія высказать объ обсуждаемомъ вопросѣ всю истину. «Отъ горькаго корня, говорилъ онъ, не будетъ плода сладка, на рѣдкѣ не вырастетъ ананасъ. Докогда рабство между крестьянами существуетъ, до тѣхъ поръ продажа людей по одиночкѣ должна быть допускаема. Она необходима и часто для проданнаго бываетъ благотворна; часто отъ лютаго помѣщика проданный рабъ его переходитъ въ руки мягкосерднаго господина, отъ скудной и тощей своей нивы переселяется на ниву просторную и плодородную». Но ироническая защита Мордвинова не нашла сочувствія въ императорѣ: Николай I къ вопросу относился рѣшительнѣе своего предшественника. Николай I понималъ, что иногда вслѣдствіе продажи рабы переходили отъ мягкосерднаго господина къ лютomu, отъ плодородной нивы къ скудной» (343)—Но это понималъ конечно и Мордвиновъ; его доводъ былъ не доводъ, а уловка. Что же касается до его ироніи, то она такого сорта, про который говорится: чего смѣешься? надъ собой смѣешься! Мы сейчасъ увидимъ, что Мордвиновъ дѣйствительно и серьезно ждалъ, что отъ горькаго корня получится сладкій плодъ и что на рѣдкѣ вырастетъ ананасъ. А если такъ, то является чрезвычайно любопытное соображеніе. Умный, благородный, смѣлый, послѣдовательный ученикъ Смита и Бентама горячо отстаиваетъ всяческую свободу въ Россіи, кромѣ свободы милліоновъ крѣпостныхъ людей! Не указывать ли этотъ

поразительный фактъ на существованіе нѣкоторыхъ изъясновъ въ доктринахъ Смита и Бентама? Не можетъ ли онъ служить опорою для научной провѣрки этихъ доктринъ? Я, профанъ, далеко отъ мысли представить такую провѣрку, да и едва ли настоятъ въ ней большая надобность, такъ какъ ученіе Смита, а тѣмъ болѣе Бентама, и безъ такой провѣрки не пользуется своимъ прежнимъ значеніемъ. Но относительно судебъ экономическихъ идей въ Россіи отступничество Мордвинова отъ либерализма на пунктѣ крѣпостнаго права имѣетъ серьезное и даже вполне современное значеніе. Если онъ первый совершилъ это отступничество, то не онъ послѣдній. Крѣпостники условные, крѣпостники новой формации, существуютъ и понынѣ въ разныхъ формахъ, и иногда весьма и весьма либеральныхъ.

Разсказавъ словами Строгонова, какъ по воцареніи Александра въ неофициальномъ комитетѣ закипѣлъ было вопросъ объ освобожденіи крестьянъ и какія при этомъ интриги и колебанія скоро встрѣтилъ молодой императоръ, г. Иконниковъ замѣчаетъ: «послѣ этого понятно, почему Мордвиновъ, такъ горячо взявшійся съ Лагарпомъ за крестьянскій вопросъ, стоялъ потомъ за его постепенное развитіе» (35). Признаюсь, для меня здѣсь нѣтъ ничего понятнаго. По другимъ вопросамъ Мордвинову случалось сталкиваться съ неменьшими интригами и колебаніями, которыя однако не умѣряли его пыла. Да и никогда не брался онъ горячо за крестьянскій вопросъ и всегда былъ самъ въ числѣ колеблющихся и тормозящихъ движеніе. Что онъ говорилъ императору о необходимости «сдѣлать что-нибудь въ пользу крестьянъ»—это такъ. Но изъ приводимыхъ г. Иконниковымъ свидѣтельствъ видно, что онъ съ самаго начала полагалъ, что дѣло должно быть сдѣлано «не иначе, какъ постепенно, незамѣтно, и первымъ шагомъ къ тому могло быть позволеніе тѣмъ изъ крестьянъ, которые не были крѣпостными, покупать земли». Свойственной Мордвинову горячности и стремительности здѣсь отнюдь не видно. И несомнѣнно, что Чарторыйскій, Строгановъ, Кочубей, наконецъ самъ императоръ далеко опередили въ своихъ требованіяхъ болѣе чѣмъ скромный планъ пылкаго борца

за свободу и неприкосновенность личности. Г. Иконниковъ не говоритъ ничего напимѣръ объ участіи Мордвинова въ преніяхъ о проектѣ Зубова, который предлагалъ запретить продажу крестьянъ безъ земли и начать дѣло освобожденія съ выкупа казной дворовыхъ. Между тѣмъ изъ приложеннаго къ «Исторіи царствованія Александра I» Богдановича извлеченія изъ засѣданій неофіціального комитета (которымъ пользовался и г. Иконниковъ) видно, что Мордвиновъ былъ претивъ этого проекта. Онъ отрицалъ его «во избѣжаніе неудовольствій и гоненій дворянства и возбужденія слишкомъ большихъ надеждъ въ крестьянахъ». Для того времени слова эти были самыя заурядныя, они выражали мнѣніе толпы. Но вѣдь мы имѣемъ дѣло съ Мордвиновымъ, съ русскимъ Аристидомъ, который, говоря восторженнымъ языкомъ Рылѣева, какъ

Эльбрусь, кавказскихъ горъ краса,
Невомутимъ, подъ небеса
Возносить верхъ свой горделивый.

Въ разсказѣ о дальнѣйшихъ судьбахъ крестьянскаго вопроса въ царствованіе Александра, г. Иконниковъ опять принужденъ повторить фразу: «Послѣ этого понятно то осторожное положеніе, какое занялъ Мордвиновъ въ рѣшеніи этого вопроса» (235). И опять-таки это фраза совершенно произвольная, ничто въ предыдущемъ изложеніи ея не оправдываетъ. «Въ нашей литературѣ, продолжаетъ г. Иконниковъ, не разъ было высказано мнѣніе, что Мордвиновъ принадлежалъ къ безусловнымъ консерваторамъ по крестьянскому вопросу, и имя его было поставлено рядомъ съ Шишковымъ, Державинымъ, Ростопчинымъ и др. Но это ошибка, происшедшая отъ недостаточнаго знакомства съ его мнѣніями и его политическими воззрѣніями». При этомъ авторъ указываетъ на одну статью о Ростопчинѣ, въ которой, съ цѣлью оправданія мнѣній послѣдняго, приводятся въ параллель нѣкоторыя мысли Мордвинова. Смѣшивать Мордвинова съ Державинымъ, Шишковымъ, Ростопчинымъ конечно несправедливо, но только потому, что они были крѣпост-

ники безусловные, а онъ — крѣпостникъ условный. Въ принципѣ между ними не было ничего общаго. Въ принципѣ Мордвиновъ признавалъ за крестьянами всѣ тѣ права свободы и неприкосновенности, которыя онъ такъ горячо отстаивалъ въ приложеніи къ лицамъ привилегированныхъ положеній. Державинъ, Ростопчинъ, Карамзинъ, Каразинъ и проч. напротивъ смотрѣли на крестьянъ, въ родѣ какъ на особую породу людей, по основнымъ свойствамъ своимъ неспособную. Но если имѣть въ виду ближайшіе практическіе результаты, положеніе вещей, которое желалъ бы видѣть Мордвиновъ въ ближайшемъ будущемъ, то окажется, что онъ говорилъ *bonnet blanc*, а Ростопчинъ, Карамзинъ и проч. — *blanc bonnet*.

Въ огромной массѣ записокъ, проектовъ и мнѣній Мордвинова есть кажется только два документа, болѣе или менѣе затрагивающіе самыя основанія крѣпостнаго права: проектъ освобожденія, представленный въ 1818 г. и мнѣніе «по рабству крестьянъ», поданное въ государственный совѣтъ въ 1833 г. Любопытно слѣдить, какими нѣжными трелями разливается въ первомъ изъ этихъ документовъ соловей свободы и личныхъ правъ. «Въ природѣ, говоритъ Мордвиновъ, мы видимъ, что всѣ явленія ея суть слѣдствія постоянныхъ причинъ. Тихое и постепенное теченіе времени даетъ жизнь, ростъ и зрѣлость всему: крутыя же и быстрыя событія въ естествѣ производятъ нѣжно вихри и бури, наводненія, землетрясенія и разрушенія... Народу, пробывшему вѣка безъ сознанія гражданской свободы, даровать ее изрѣченіемъ на то воли властителя — возможно, но знанія пользоваться ею во благо себѣ и обществу — даровать законоположеніемъ невозможно. Въ семъ соображеніи дарованіе свободы тогда только не сопровождается никакими ощутительными неудобствами, ни вредными послѣдствіями, когда располагаемо бываетъ съ нѣкоторою постепенностью, когда свободными дѣлаются не всѣ вмѣстѣ и единовременно, безъ воззрѣнія на степень просвѣщенія и спѣлости всего, что въ гражданскомъ состояніи относится къ человѣку, но когда благо это представляется въ видѣ награды трудолюбію и *приобрѣтаемому*

уможь достатку, ибо этимъ только ознаменовывается всегда зрѣлость гражданскаго состоянія». На этомъ основаніи Мордвиновъ предлагалъ выкупную операцію, причемъ выкупные платежи соразмѣрялись съ возрастомъ откупающихся. Такимъ образомъ свобода водворится постепенно, ее получать только достойные, «помѣщики останутся полными владѣтелями земель своихъ и денежныхъ капиталовъ». Выкупные платежи Мордвиновъ распредѣляетъ такъ:

Отъ 2 лѣтъ до	5	100	рублей.
» 5	» » 10	200	»
» 10	» » 15	400	»
» 15	» » 20	600	»
» 20	» » 30	1,500	»
» 30	» » 40	2,000	»
» 40	» » 50	1,000	»
» 50	» » 60	500	»

Г. Иконниковъ старается дать понять, что цѣны эти для своего времени были очень умѣренны и соотвѣтствовали силамъ крестьянскаго хозяйства. Едва ли это однако такъ. (Для сравненія см. нѣкоторыя цѣны на «души», приведенныя у Романовича-Славятинскаго, ст. 535, примѣч. 105). Въ доказательство г. Иконниковъ приводитъ между прочимъ слова самого Мордвинова, что «если мы вычислимъ имущество крестьянской семьи, состоящее въ домѣ, скотѣ, орудіяхъ, запасахъ и разныхъ пожиткахъ, то едва ли найдемъ столь бѣдное, которое не имѣло бы этихъ вещей на капиталъ, сотни рублей составляющій; большая же часть семействъ представится обладающими достаткомъ, до нѣсколькихъ тысячъ простирающимся». Но если и допустить справедливость этого, такъ и то большинству крестьянъ пришлось бы, для полученія по плану Мордвинова личной свободы безъ земли, распродать скотъ, запасы и пожитки. Въ концѣ концовъ планъ Мордвинова могъ бы дать свободу нѣсколькимъ тысячамъ крестьянъ торгующихъ, да бурмистрамъ, прикащикамъ и другимъ чинамъ помѣщицѣй администраціи и дворни. И едва

ли самъ авторъ проекта, какъ человѣкъ умный, могъ придавать мало-мальски серьезное значеніе своему труду. Освобожденія крестьянъ онъ никогда искренно не желалъ, что особенно ясно видно изъ его мнѣнія «по рабству крестьянъ» (1833). Это именно то мнѣніе, въ которомъ г. Романовичъ-Славатинскій видитъ только *ироническую* защиту продажи людей въ одиночку. Совершенно справедливо, что Мордвиновъ иронизировалъ, говоря о рѣдкѣхъ и анамасѣ. Совершенно вѣрно, что онъ считалъ продажу людей въ одиночку и безъ земли только отпрыскомъ главнаго ствола крѣпостнаго права, и полагалъ, что только съ уничтоженіемъ главнаго ствола погибнуть и всѣ его вѣтви. Но главнаго-то ствола онъ и не хотѣлъ касаться и даже воздерживалъ отъ такого посяганія другихъ. Всякія частныя исключительныя облегченія тѣмъ или другимъ помѣщикамъ участи крѣпостныхъ Мордвиновъ рѣшительно порицалъ, такъ какъ «подобныя исключенія могутъ поселить негодованіе и ропотъ въ остальныхъ» (Иконниковъ, 231). А къ крѣпостному праву во всемъ его объемѣ относился такъ. Въ упомянутой запискѣ 1833 г. читаемъ: «Въ Европѣ повсюду было рабство; въ Азіи всегда господствовала личная свобода (?!), и оттого-то надъ послѣднею тяготѣтъ и донинѣ всеобщій деспотизмъ. Всѣ тамъ равно независимы другъ отъ друга и, потому что равныя, не имѣютъ законовъ, ограждающихъ жизнь и собственность каждаго. Равенство въ правахъ, состояніяхъ и властяхъ представляетъ только дикое общество. Таково состояніе всѣхъ азіатскихъ народовъ». Затѣмъ онъ говоритъ, что Россія обязана тою ступенью цивилизаціи, которой она достигла, прикрѣпленію крестьянъ, что такъ много дѣло и въ Европѣ («сей единый есть путь къ свободѣ»). Но въ Европѣ крѣпостное право пало, падетъ и у насъ, утѣшаетъ Мордвиновъ: «Потерпимъ еще нѣсколько и рабство само собою исчезнетъ въ Россіи, если обращено будетъ вниманіе къ постепенному уменьшенію необходимости содержать крестьянъ въ зависимости отъ помѣщиковъ, на земляхъ коихъ они живутъ. Сіе необходимо послѣдуетъ, когда исчезнетъ на пахатныхъ земляхъ нашихъ паренина; когда земледѣліе помѣстится въ число

наукъ; когда въ городахъ нашихъ признаютъ за зданіями право собственности (?); когда употребимъ дѣятельныя мѣры къ восстановленію естественнаго порядка между рождающимися и умирающими; не будемъ считать числа тяголъ или брачныхъ наполовину противъ всего населенія, и отъ cadaго брака будемъ имѣть по 2 и по 4 ребенка живыми, и когда помѣщикъ будетъ изобиловать денежнымъ капиталомъ, достаточнымъ къ тому, чтобы принимать работниковъ для посѣва и жатвы».

Ясно, что не смотря на свою иронію, Мордвиновъ серьезно вѣрилъ въ возможность произрастанія ананаса на рѣдкѣхъ, всеобщаго благоденствія на крѣпостномъ правѣ. Ясно, что несмотря на свой бурный либерализмъ, онъ желалъ сохраненія крѣпостнаго права вплоть до того момента, когда помѣщики отъ него сами откажутся. Онъ желалъ только, чтобы «необходимость» крѣпостнаго права постепенно уменьшалась рядомъ мѣропріятій, направленныхъ къ снабженію помѣщиковъ «денежнымъ капиталомъ». Надо при этомъ замѣтить, что у Мордвинова ни разу даже мимоходомъ не блеснула мысль объ освобожденіи крестьянъ съ землей; онъ едва ли не первый изобрѣлъ знаменитый впоследствии терминъ «свобода отъ земли». Естественное дѣло, что когда помѣщикъ окажется обладателемъ земли и денежнаго капитала,—крѣпостное право потеряетъ для него всякую практическую цѣну. До этого-то момента нетерпѣливый Мордвиновъ и предлагалъ «потерпѣть». По сущности своей программа эта не далеко уѣхала отъ мнѣній даже безусловныхъ крѣпостниковъ. Казалось бы Мордвиновъ и «неграмматикальный человекъ, никогда отъ роду никакихъ исторій нечитывавшій»—люди совсѣмъ разныхъ лагерей. Оно такъ и есть, а между тѣмъ неграмматикальный человекъ тоже согласенъ былъ на освобожденіе въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ. Моментъ этотъ даже опредѣлялся имъ признаками, весьма близкими къ Мордвиновской программѣ: «Когда Россія многонародна столько будетъ, какъ галанское королевство, попы наши такъ грамотны будутъ—какъ попы иноземскіе, дворяне—такіе *острономы*, какъ аглинскіе и французскіе, а крестьяне знать будутъ букварь... и наша

чернь о мастерствахъ заморскихъ, лучшее понятіе получить и умѣй станеть, тогда можно будетъ имъ, крестьянамъ, быть на заморскомъ основаніи». Чѣмъ это хуже соображеній Мордвинова? Конечно Мордвиновъ не говорилъ, что съ уничтоженіемъ крѣпостнаго права помѣщику некому будетъ сдѣлать «фракасей», но онъ все таки имѣлъ главнымъ образомъ въ виду тѣ неудобства, которыя испытаетъ помѣщикъ, лишенный крѣпостнаго права. Притомъ крѣпостники безусловные были несравненно искреннѣе и послѣдовательнѣе. Державинъ, Каразинъ, возстававъ противъ попытокъ эмансипаціи, называли помѣщиковъ «полицеймейстерами», «наслѣдственными чиновниками», «генералъ-губернаторами въ маломъ видѣ» и слѣдовательно по крайней мѣрѣ на словахъ видѣли въ дворянствѣ государственный, служебный органъ. Каразинъ представлялъ себѣ весь политическій строй Россіи въ видѣ непрерывной іерархической нити, оканчивающейся «тамъ, у престола монарха міровъ». Сумароковъ и неграмматичный человѣкъ отказались и разсуждать о стѣсненіяхъ, налагаемыхъ на крестьянина общиннымъ землевладѣніемъ. Словомъ всѣ они безхитростно и весьма послѣдовательно чужались личной свободы и частныхъ интересовъ вообще. Мордвиновъ же исповѣдывалъ вмѣстѣ съ Смитомъ, что личный интересъ есть единственный двигатель экономической производительности—и лишалъ этого двигателя милліоны крестьянъ; что свобода есть единственная гарантія экономического преуспѣянія—и лишалъ этой гарантіи милліоны крестьянъ. Исповѣдуя вмѣстѣ съ Бентамомъ знаменитый принципъ наибольшаго счастья наибольшаго числа людей, онъ вычиталъ изъ суммы этого счастья — счастье милліоновъ крестьянъ.

Современникъ Мордвинова, Николай Тургеневъ, рассказываетъ объ немъ: «Онъ хотѣлъ политической свободы съ высшей палатой; онъ возставалъ съ благороднымъ и горячимъ самоотверженіемъ противъ всякаго произвола. Я же сочувствовалъ неограниченной власти, защищая необходимость ея для освобожденія страны отъ чудовищной эксплуатаціи человѣка человѣкомъ. Не смотря на то, я *уверенъ, что онъ никогда не отказался бы*

способствовать освобожденію крестьянъ, еслибы правительство рѣшительно того пожелало. Иногда же, съ обыкновенною своею мягкостью и добротою, онъ подсмѣивался надъ моимъ рвеніемъ въ пользу крестьянъ. «Въ вашихъ глазахъ, говорилъ онъ мнѣ, всѣ рабы святыя, а ихъ владѣтели тираны». Почти такъ, отвѣчалъ я ему серьезно» (Иконниковъ, 236). Сообразно этому Мордвиновъ неоднократно высказывался въ пользу преобладанія крупнаго землевладѣнія, а въ проектѣ выборнаго сената доказывалъ, что «права политическія должны быть основаны на знатномъ сословіи» (59). Что же касается до вышенапечатанныхъ курсивомъ словъ Тургенева, то эта благодушная увѣренность ни на чемъ не основана, потому что правительства Александра и Николая не разъ рѣшительно желали освобожденія, и Мордвиновъ всегда являлся однимъ изъ тормазовъ благихъ намѣреній правительства.

Дѣятельность его представляетъ любопытнѣйшую иллюстрацію къ европейскимъ политическимъ и особенно экономическимъ ученіямъ конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія. На эти ученія часто жаловались и жалуются, что они при всемъ своемъ либерализмѣ отдають низшіе рабочіе классы общества въ полную зависимость землевладѣльцамъ и капиталистамъ. Сторонники ихъ отвѣчали и отвѣчаютъ, что они стоятъ за личный интересъ безъ различія общественныхъ положеній и за свободу всѣхъ и cadaго. Оно такъ и есть въ дѣйствительности. Но противники этихъ доктринъ не безъ основанія и не безъ успѣха доказываютъ, что онѣ, эти доктрины, только потому такъ преисполнены уваженія къ свободному промышленному прогрессу, что зависимость рабочихъ классовъ уже и безъ всякой регламентаціи достаточно прочно обезпечена—обезземеленіемъ крестьянъ, распаденіемъ средневѣковымъ общественныхъ группъ, распределеніемъ капиталовъ и рабочихъ силъ. И дѣйствительно мы видимъ, что когда эти доктрины попадаютъ къ намъ, въ Россію, въ страну, бѣдную капиталами и непредставляющую тѣхъ гарантій *свободной зависимости*, какія имѣются въ Европѣ, то-не измѣняя себѣ на другихъ пунктахъ ни на волюсь,

онѣ рѣшительно становятся на сторону *зависимости крѣпостной* Faute de mieux, онѣ не гнушаются и ненавистнымъ имъ въ принципѣ формальнымъ рабствомъ. Это—явленіе, глубоко поучительное.

Оно имѣетъ свои параллели. Мы видѣли, что и крѣпостники, и аболиціонисты, отчасти безмолвно, а отчасти прямо, отвергли екатерининскую постановку вопроса о вредѣ общиннаго землевладѣнія. Они подставили вмѣсто него вопросъ о крѣпостномъ правѣ и направили свои изслѣдованія на этотъ пунктъ. Исторія, очень похожая на эту, случилась и еще разъ, при императорѣ Александрѣ I. Въ 1810 г. вольное экономическое общество поставило задачу: «Изыскать средства, чтобы для казенныхъ или помѣщичьихъ крестьянъ распредѣлить участки земли, имъ принадлежащія, такъ, чтобы каждый крестьянинъ имѣлъ въ одномъ мѣстѣ всю пашенную и сѣнокосную землю, и чтобы чрезполепаго между крестьянами одного селенія ни въ пашняхъ, ни въ покосахъ владѣнія не было». (Ходневъ. Исторія В. Э. О., 449). Въ слѣдующемъ году тверской помѣщикъ Зубовъ прислалъ разсужденіе на заданную тему. Онъ предлагалъ уничтожить общину и передѣлы, для чего рекомендовалъ: 1) раздѣлить и пашенныя земли, и покосы во всю длину полей, начиная отъ гумениковъ, для каждого дома, 2) участки эти предоставить въ полную собственность крестьянамъ, 3) позволить крестьянамъ продавать другъ другу эти земли, платя при этомъ пошлину въ пользу селеній, 4) государственныя повинности взимать съ крестьянъ по количеству земли, 5) что касается количества земли для помѣщичьихъ крестьянъ, то Зубовъ отводилъ имъ 4—5 десятинъ на душу, а остальную землю предоставлялъ въ пользу помѣщиковъ. Записка эта вмѣстѣ съ разборомъ ея, составленнымъ членомъ общества Дурасовымъ, была напечатана въ «Трудахъ». Членъ общества, сенаторъ П. И. Сумароковъ, торжественно вручилъ президенту книжку «Трудовъ», въ которой были напечатаны статьи Зубова и Дурасова, объявляя, что послѣднія «противны общимъ государственнымъ установленіямъ». Въ то же время поступили письменныя заявленія членовъ Га-

лынскаго и Пошмана, въ которыхъ доказывалось: «Предположеніе Зубова и возраженіе на него Дурасова заключаютъ въ себѣ постановленія, клонящіяся къ нарушенію законовъ и къ лишенію дворянъ собственности, потому что Зубовъ предполагаетъ утвердить участки земли въ неизблемую собственность крестьянъ и потому что въ циркулярномъ предписаніи министра внутреннихъ дѣлъ отъ 10 іюня 1820 г. предписано начальникамъ губерній, чтобы всѣ повиновались порядку, установленному законами, и чтобы никто не покушался предпринимать что-либо вопреки законовъ. Между тѣмъ изъ предположенія Зубова злонамѣренные люди могутъ имѣть поводъ къ распространенію неосновательныхъ толковъ». На этомъ основаніи Пошманъ и Галынскій требовали исключенія статей Зубова и Дурасова. Послѣ долгихъ объясненій собраніе, большинствомъ всего одиннадцати голосовъ противъ десяти, постановило не исключать заподозрѣнныхъ статей.

Изъ этого видно, какъ трудно было при существованіи крѣпостнаго права затрогивать вопросъ о формахъ крестьянскаго землевладѣнія, не касаясь самаго этого права. Крѣпостники зорко слѣдили за всѣми подобными попытками, видя въ нихъ намекъ на ущербъ своимъ правамъ. Аболиціонисты въ свою очередь отъ отрицанія общины неизбѣжно приходили къ освобожденію крестьянъ. Только люди въ родѣ Мордвинова, проникнутые *интимнымъ* духомъ европейскихъ буржуазныхъ теорій, осмѣливались говорить, что община не даетъ простора свободѣ и личнымъ интересамъ крестьянъ, и въ то же время закрывали глаза на вліяніе помѣщичьей власти. Въ настоящее время, съ паденіемъ крѣпостнаго права, всѣ условія нашей хозяйственной жизни измѣнились въ самомъ корнѣ. Откуда взять ффракасейскихъ мастеровъ для современнаго крѣпостника—неграмматическаго человѣка, и доступныхъ по денежному капиталу помѣщика работниковъ для современнаго либерала—Мордвинова? Откуда ихъ взять, когда крестьянинъ сидитъ на своей землѣ и когда онъ даже не можетъ ее оставить тамъ, гдѣ существуетъ общинное землевладѣніе? Мы видимъ, что вопросъ этотъ

серьезно беспокоить наших крепостниковъ и нашихъ либераловъ. Всѣ они, забывъ старыя принципиальныя распри, стоятъ на указанной еще Мордвиновымъ «свободѣ отъ земли» и доказываютъ, что община держитъ крестьянина въ зависимости и не даетъ простора его личному интересу, единственному вѣрному залогоу экономического преуспѣянія. Заручившись репутаціей благонамѣренности, они охотно примѣшиваютъ въ свои разсужденія гимны священному праву собственности, которому угрожаютъ будто какіе-то утопическіе планы, связанные съ существованіемъ общиннаго владѣнія землей. Къ счастью правительство не пугается этихъ разсужденій и до сихъ поръ относится осторожно къ коренному вопросу крестьянской жизни. Такъ еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ, нѣкоторые земскія собранія, въ видахъ улучшенія крестьянскаго хозяйства, признали необходимымъ ходатайствовать предъ правительствомъ объ облегченіи перехода отъ общиннаго пользованія землей къ подворному, предоставленіемъ каждому домохозяину права требовать отъ общества выдѣла ему поземельнаго участка. Теперь «Московскія Вѣдомости» сообщаютъ, что этотъ вопросъ, по обсужденіи въ министерствахъ внутреннихъ дѣлъ и финансовъ, признанъ общегосударственнымъ, и министерства не нашли возможнымъ разрѣшить его въ томъ или другомъ смыслѣ на основаніи представленныхъ ходатайствъ. Но такъ какъ во всѣхъ почти губерніяхъ есть общества, уже раздѣлившія свои общинныя земли на подворные участки, то признано полезнымъ прежде разрѣшенія этого вопроса собрать только свѣдѣнія, въ какой губерніи крестьяне раздѣлили свои общинныя земли и какое вліяніе имѣла эта мѣра на хозяйство крестьянъ, улучшеніе ихъ быта и исправность въ платежѣ денежныхъ повинностей.

Было бы желательно, чтобы собранныя такимъ образомъ свѣдѣнія были взвѣшены самымъ тщательнымъ образомъ. Въ журналахъ пятидесятихъ и шестидесятихъ годовъ найдется цѣлый громадный арсеналъ соображеній за и противъ общины. Остается только ихъ приложить къ новымъ фактамъ. Рекомендую читателю одинъ такой трудъ молодаго русскаго ученаго, на

дѣлавшій нѣкотораго шума въ Москвѣ,—это диссертация г. Посникова «Общинное землевладѣніе». Точка зрѣнія автора весьма замѣчательна. Прежде разсмотрѣнія достоинствъ и недостатковъ общиннаго землевладѣнія, онъ задается вопросомъ: почему оно нынѣ подвергается такимъ усиленнымъ нападкамъ? Онъ отвѣчаетъ такъ: съ паденіемъ крѣпостнаго права мы стали на рубежѣ, отдѣляющемъ старый хозяйственный строй отъ новаго. Старыя формы жизни еще не окончательно вымерли, но должны вымереть, потому что противорѣчатъ возникающему экономическому строю, существующему въ Европѣ и извѣстному подъ названіемъ капиталистической формы производства. Форма эта однако можетъ существовать только при наличности наемныхъ работниковъ, опредѣленнаго класса людей, невластвующихъ ничѣмъ, кромѣ рабочей силы. А ихъ-то у насъ и нѣтъ. Кругомъ жалуются на недостатокъ рабочихъ, на отсутствіе рукъ. Жалобы эти и справедливы, и несправедливы. Несправедливы, потому, что нельзя же сказать, что русскій народъ мало работаетъ; но справедливы въ томъ смыслѣ, что нѣтъ класса наемныхъ рабочихъ. Нанимать приходится только тѣхъ, кто не можетъ прокормиться на отведенномъ ему надѣлѣ или чьи платежи не соотвѣтствуютъ доходу отъ земли. Но эти люди все-таки имѣютъ нѣчто кромѣ рабочей силы; они въ крайнемъ случаѣ имѣютъ убожище въ своемъ участкѣ и слѣдовательно не находятся въ достаточной зависимости отъ нанимателя. Наниматели поэтому обращаются къ правительству съ требованіемъ установленія извѣстныхъ искусственныхъ отношеній, строгихъ мѣръ противъ отказывающихся отъ работы, введенія рабочихъ книжекъ, запрещенія стачекъ и проч. Но это во первыхъ мѣры частныя, а во вторыхъ онѣ вовсе не соотвѣтствуютъ духу возникающаго хозяйства. Онѣ ему столь же противорѣчатъ, какъ крѣпостное право либеральнымъ стремленіямъ Мордвинова, и допускаются только подъ давленіемъ условій, какъ это всегда бываетъ при возникновеніи новыхъ формъ хозяйства. Главныя же усилія нанимателей направлены на выдѣленіе изъ массы крестьянъ группы «свободныхъ отъ земли» рабочихъ, а для этого должна быть

разрушена община. Отсюда всё толки о «патріархальной формѣ быта», о «рабской зависимости лица отъ произвола общины», о «насиломъ прикрѣпленіи къ землѣ» и т. п. При этомъ указываются и нѣкоторые дѣйствительно поразительные примѣры, какимъ тяжелымъ бременемъ ложится иногда на крестьянъ владѣніе общинной землей. Въ докладѣ комиссіи 1873 г. приведено свидѣтельство, что быть крестьянъ Петербургской губерніи «можетъ быть даже улучшится, если будетъ отнять у нихъ ихъ земельный надѣлъ. Этотъ надѣлъ является источникомъ повинностей, многоразличныхъ обязательствъ, а не обезпеченія быта. Тутъ вопросъ въ томъ, что выгоднѣе: имѣть ли право потомственного пользованія землей и отправлять лежащія на ней повинности, или отказаться отъ этого права и не нести соответственныхъ повинностей. Дѣйствительно, право пользованія землей весьма важно, но сколько за него приходится платить—это даже сказать трудно. Выкупная ссуда здѣсь превышаетъ доходъ, который крестьяне извлекаютъ изъ земельного надѣла, такъ что слѣдовало бы сбавить до 40%, и тогда только можно бы было говорить о томъ, обезпечены ли будутъ крестьяне или нѣтъ». Конечно подобныя явленія не могутъ быть поставлены въ счетъ собственно формы землевладѣнія. Какъ бы то ни было, но они ведутъ къ тому, что многіе бросаютъ земли и идутъ въ наемные рабочіе. Но это все-таки процессъ медленный и частичный. Цѣлесообразнѣе раздѣлъ общинныхъ земель. Мотивы этого рода домогательствъ очень откровенно высказаны однимъ изъ свидѣтелей въ комиссіи 1873 г.: «Одни землевладѣльцы указываютъ на пьянство и распущенность, какъ на главную причину неурядицы, другіе на отсутствіе власти, третьи сулятъ, что все это снимется какъ рукой распространеніемъ образованія и т. д. По моему убѣжденію все это справедливо: всё мѣры противъ пьянства, невѣжества и т. д. будутъ очень полезны, но онѣ все-таки не болѣе, какъ пальятивы, потому что причины эти чисто второстепенныя. Для того, чтобы рабочіе были хороши, никакихъ регламентацій недостаточно, для этого нужно, чтобы они дорожили своими мѣстами, для чего въ свою очередь необхо-

димо прежде всего, чтобы у них не было своих собственных хозяйств; иначе рабочие будут всегда временными, случайными. Этот вопрос не может быть радикально разрешен, не затывая самых основ Положения 1861 года.

Итак мотивы противников общины ясны. Мордвиновъ въ свое время требовалъ сохраненія крѣпостнаго права, нынѣшніе либералы требуютъ ниспроверженія «самыхъ основъ» Положенія 19-го февраля. И тотъ, и другіе имѣютъ въ виду необходимости наемныхъ рабочихъ, дорожащихъ своимъ мѣстомъ. Не лишено это обстоятельство и принципіальнаго значенія. Пѣвцы священнаго права собственности, старающіеся запугать социализмомъ, который дескать похѣритъ личную собственность, направляютъ свои усилія къ тому, чтобы «у крестьянъ не было своихъ собственныхъ хозяйствъ», т. е. чтобы лишить ихъ собственности. Но очевидно, что съ наступленіемъ такого порядка вещей общинная зависимость смѣнится зависимостью отъ нанимателя, а интересъ наемнаго работника не составитъ особенно сильнаго стимула, по крайней мѣрѣ онъ не будетъ личнымъ.

Для оцѣнки однако этого стимула г. Посниковъ употребляетъ другой, оригинальный приѣмъ. Говорятъ, что частная собственность есть сильнѣйшій двигатель производства, что только онъ можетъ побуждать къ улучшеніямъ въ сельскомъ хозяйствѣ. При этомъ, какъ на образецъ, часто указываютъ на Англію съ ея высокимъ уровнемъ культуры. Авторъ и беретъ Англію и разсматриваетъ, чему собственно она обязана своею высокою степенью сельского хозяйства. Оказывается, что съ точки зрѣнія частной собственности, какъ экономическаго двигателя, англійскіе порядки отнюдь не могутъ быть противопоставляемы, какъ это обыкновенно дѣлается, общинному землевладѣнію. Ибо все, что сдѣлано въ Англіи, сдѣлано не безусловными собственниками, а срочными владѣльцами-фермерами и съ помощью правительства. Собственники только присутствовали при томъ, какъ арендаторы, не смотря даже на краткосрочность аренды, возводили зданія и вводили всевозможныя улучшенія. Развитіе этой мысли составляетъ главную задачу перваго выпуска труда г. Пос-

никова (въ слѣдующемъ выпускѣ авторъ обѣщаетъ рассмотреть вопросы о принудительной обработкѣ полей, о дробимости земли и чрезполосности). Отсюда онъ переходитъ къ передѣламъ великорусской общины и доказываетъ, что передѣлы эти, будучи явленіями одного порядка со сроками аренды въ Англіи, не могутъ помѣшать развитію сельскаго хозяйства и у насъ. Онъ говоритъ только, что сроки передѣловъ, каковы бы они ни были, должны быть строго опредѣлены, примѣняясь къ существующимъ на этотъ счетъ обычаямъ. Другое требованіе состоитъ въ выработкѣ условій вознагражденія за сдѣланныя въ промежутокъ между двумя передѣлами улучшенія.

Итакъ кромѣ хозяйства, основаннаго на всеобщемъ безправіи, и кромѣ хозяйства, основаннаго на *свободной зависимости* наемныхъ рабочихъ, возможенъ высокій уровень хозяйства общиннаго, гарантирующаго крестьянамъ ихъ священное право собственности. Устами г. Посникова говорить наука...

XV *).

Похороны В. С. Курочкина.

18-го августа, часовъ въ 10 утра, я стоялъ у подъѣзда дома Овсянникова на Фурштадтской улицѣ. Насъ было нѣсколько чело-
вѣкъ. Мы ждали выноса тѣла Василя Степановича Курочкина. Этотъ веселый чело-
вѣкъ лежалъ въ гробу... Утро было хорошее, теплое. У подъѣзда останавливались мимоходящіе: ку-
харка съ корзинкой, изъ которой торчали голова курицы и пу-
чокъ моркови, выпившій спозаранку мастеровой, старушка съ
ридикюлемъ. Швейцаръ сутился на ступенькахъ подъѣзда. Фа-
кельщики въ траурныхъ шинеляхъ равнодушно подергивали тра-
урныя покрышки траурныхъ клячъ и лѣнливо перебранивались.
Траурныя клячи поводили ушами. Все это наводило тоску. Но
внутри, въ квартирѣ, было разумѣется еще тоскливѣе, и я

*) 1875, сентябрь.

остался на улицѣ. Вотъ показались пѣвчіе въ извѣстномъ порядкѣ: дисканты впереди, быкообразные басы, гудящіе себѣ въ бороду,—сзади. Вотъ вышли священники, вотъ вынесли гробъ, вотъ поставили его на катафалкъ, и процессія двинулась къ Волковскому кладбищу.

Когда мы нѣсколько отошли отъ дома и кухарка съ пучкомъ моркови, старушка съ ридикюлемъ, подвыпившій мастеровой и прочій мимоходящій людъ розошелся по своимъ дѣламъ, я оглянулся: насъ, пришедшихъ проводить Курочкина туда, идѣже нѣсть болѣзнь, ни печаль, ни воздыханіе, но нѣтъ также ни пѣсни, ни театра, ни литературы—насъ было три-четыре десятка человѣкъ! Это было поразительно. Тридцать, сорокъ человѣкъ шло за гробомъ человѣка, который какихъ-нибудь пятнадцать лѣтъ тому назадъ былъ однимъ изъ самыхъ популярныхъ людей въ Россіи, журнала котораго боялись, стихи котораго выдержали не одно изданіе... Не я одинъ былъ пораженъ этой малочисленностью печальнаго кортежа. Я слышалъ, какъ объ этомъ говорили кругомъ. Одни говорили, что объявленія о смерти Курочкина были поздно напечатаны и дурно расположены. Другіе говорили, что не кончился еще лѣтній сезонъ, и Петербургъ не весь налицо. Третьи говорили, что

Бывали хуже времена
Но не было подлѣй...

Я думаю, что правы и тѣ, и другіе, и третьи, но что есть и еще причины малаго сочувствія, выраженнаго покойнику обществомъ.

На могилѣ г. Полетика сказалъ рѣчь. Онъ хорошо говорить, господинъ Полетика, гладко говорить. Но я бы могъ сказать многое по поводу его рѣчи. Скажу немногое. Не изъ особеннаго желанія полемизировать, а просто для исправленія одной рѣзко невѣрной мысли оратора. Между прочимъ онъ сказалъ приблизительно такъ: «почему не остановились вы на первыхъ же шагахъ по избранному вами тернистому пути? (ораторъ обращался къ трупу), что побуждало васъ идти по немъ до могилы? Та-

лантъ вашъ. Не въ вашей волѣ, не въ вашихъ силахъ было остановиться. Талантъ вашъ толкалъ васъ впередъ, и за этотъ даръ Божій вы заплатили земными скорбями».

Красиво сказалъ это г. Полетика. Но неправду сказалъ. За талантъ не платятъ скорбями. И г. Рубинштейнъ—талантъ, и г. Тургеневъ—талантъ, и много есть другихъ людей, которые не платятъ за свой талантъ тѣми земными скорбями, о которыхъ говорилъ г. Полетика: тяжестью поденнаго труда, необеспеченнымъ завтрашнимъ днемъ, оставленіемъ при переселеніи на тотъ свѣтъ семьи безъ куска хлѣба. Этимъ Курочкинъ расплачивался не за талантъ свой, а за нѣчто другое. Г. Полетика вѣдь тоже талантъ, ораторскій, и однако онъ не расплачивается за даръ Божій земными скорбями, т. е. опять-таки тѣми скорбями, о которыхъ онъ говорилъ на могилѣ Курочкина. Гемороемъ и Weltschmerz'омъ онъ можетъ быть и страдаетъ. Еслибы однако г. Полетика утилизировалъ свой талантъ только на могилкахъ и притомъ людей въ родѣ Курочкина, а не на обѣдахъ и притомъ людей въ родѣ г. Кокорева, и не на съѣздахъ машиностроителей (покойный Курочкинъ дѣлалъ изъ этого слова очень забавный каламбуръ), то онъ можетъ быть и не обошелся бы безъ кое-какихъ земныхъ скорбей. Самъ по себѣ талантъ есть всегда орудіе личнаго успѣха. Но его можно направить и вправо и влѣво, и впередъ и назадъ. Талантъ есть такая же грубая стихійная сила, какъ сила пара, двигающая поѣзда изъ Петербурга въ Москву и изъ Москвы въ Петербургъ, смотря по распоряженію администраціи николаевской дороги. Талантъ отчасти опредѣляетъ родъ дѣятельности человѣка, заставляетъ одного говорить рѣчи, другого пѣть пѣсни, третьяго писать картины. Но не талантомъ опредѣляется содержаніе рѣчей, пѣсенъ и картинъ; не онъ толкаетъ людей къ тому или другому идеалу, не онъ ведетъ ихъ по жизненнымъ путямъ, усыяннымъ то терніемъ, то розами безъ шиповъ. И еслибы къ моей гортани былъ привѣшенъ языкъ г. Полетики, я говорилъ бы на могилѣ Курочкина не о талантѣ покойника, а о той нравственной искрѣ Божіей, которая дѣйствительно толкала его на тернистый путь

жизни изо дня въ день и за которую онъ дѣйствительно заплатилъ скорбями. Велика сила этой искры Божіей: она гнетъ талантъ въ три погибели, дѣлаетъ изъ него послушнаго раба своего, выжигаетъ изъ памяти всѣ противныя ей сочетанія звуковъ, красокъ, словъ. И всѣ поклонятся этой силѣ, потому что это не будетъ идолопоклонствомъ. А снимать шапку передъ талантомъ—все равно, что снимать ее передъ Монбланомъ, передъ грозой, передъ розой, передъ соловьемъ, передъ красивыми прыжками красавца тигра.

Талантъ Курочкина былъ, если можно такъ выразиться, хорошей. Этимъ я отнюдь не думаю умалять значеніе его таланта, я хочу только характеризовать его. Поясню свою мысль мыслями покойника. Онъ никогда не могъ забыть блестящей поры «Искры» и до конца дней своихъ мечталъ о собственной газетѣ. Еще недѣли за полторы до смерти онъ развивалъ мнѣ одинъ изъ такихъ плановъ. Онъ перебиралъ между прочимъ разныхъ, болѣе или менѣе видныхъ дѣятелей нашей журналистики и сортировалъ ихъ, называя однихъ «газетными людьми», другихъ—негазетными. Газетнымъ человѣкомъ онъ называлъ такого, который можетъ схватить на лету какой-нибудь даже мелкій фактъ текущей жизни и придать ему извѣстное общее, типическое освѣщеніе. Газетнымъ людямъ онъ отдавалъ преимущество передъ не газетными, не ради ихъ какихъ-нибудь особенныхъ достоинствъ, а ради той пользы, которую они могутъ приносить. Но для этого они по мнѣнію Курочкина должны, такъ сказать, разсыпаться. Онъ говорилъ напримѣръ о Щедринѣ: представьте, что вмѣсто двухъ трехъ листовъ въ мѣсяцъ, посвященныхъ одному какому-нибудь явленію, онъ въ тотъ же срокъ будетъ изо-дня въ день задѣвать въ газетѣ множество фактовъ и мелкихъ и крупныхъ, какіе попадутся; ужъ конечно это будетъ выгодноѣ для общества, потому что теперь Щедринъ не имѣетъ и десятой доли того вліянія, которое могъ бы имѣть. Въ этомъ есть, я думаю, извѣстная доля правды. Но Курочкинъ упускалъ изъ виду, что далеко не всѣ могутъ такимъ образомъ разсыпаться. Газеты у насъ между прочимъ потому и

не имѣють того значенія, какимъ онѣ пользуются въ Европѣ, что у насъ по самымъ условіямъ нашей жизни слишкомъ мало «газетныхъ людей». Таланты наши литературные по большей части случаетъ имѣють болѣе или менѣе рѣзко сильный характеръ, вслѣдствіе чего у насъ до сихъ поръ могла удаваться только та форма литературнаго сотрудничества, какую представляетъ толстый журналъ. Толстый журналъ можетъ держаться нѣсколькими запѣвалами, въ которыхъ у насъ никогда не было недостатка; но для газеты требуется хоръ, большой и стройный, въ которомъ должны исчезать и голоса запѣвалъ. Хорошихъ-то голосовъ у насъ и мало, а это конечно полагаетъ довольно узкія границы вліянію нашихъ періодическихъ изданій. Армія, въ которой есть и генералы, и штабъ и оберъ-офицеры, но почти нѣтъ солдатъ—вотъ что такое большинство русскихъ журналовъ и газетъ. Если это съ одной стороны богатство, то съ другой — крайняя нищета. Курочкина занимала преимущественно нищеская сторона дѣла. По свидѣтельству людей, знавшихъ Курочкина въ лучшую пору «Искры», онъ былъ положительно душой газеты, настоящимъ, дѣятельнымъ ея организаторомъ, собиравшимъ и распредѣлявшимъ подходящія силы. Не смотря на все свое авторское самолюбіе, онъ топилъ свой талантъ въ дѣлѣ газеты: здѣсь давалъ мысль, предоставляя выработку формы другимъ, тамъ бралъ на себя только форму, и я думаю, что весьма трудно было бы опредѣлить, что именно принадлежало въ «Искрѣ» Курочкину и что другимъ. Онъ и создавалъ и вербовалъ солдатъ, и самъ исполнялъ невидную солдатскую работу. Въ этомъ состояла вся его самостоятельная литературная дѣятельность; внѣ «Искры» онъ былъ только талантливымъ переводчикомъ Беранже. Онъ вполне отвѣчалъ своему собственному идеалу газетнаго человѣка. Я не думаю, чтобы блестящая пора «Искры», даже при вполне благопріятныхъ условіяхъ, могла повториться въ жизни Курочкина, но только потому, что жизненные неудачи сильно помяли его, да и годы взяли свое, хоть онъ умеръ далеко не старымъ человѣкомъ: 42-хъ лѣтъ. Идеалъ же газетнаго человѣка оставался для него до самой мо-

гилы все тотъ же. Въ идеаль этотъ входилъ такой *видъ* самоотверженія и преданности идеѣ, отсутствіе котораго въ писателѣ: вполне извинительно. Въ самомъ дѣлѣ, обрекая себя на газетную дѣятельность, какъ ее понималъ Курочкинъ, человѣкъ во-первыхъ рискуетъ остаться всю жизнь невиднымъ, никому неизвѣстнымъ работникомъ, утонуть въ псевдонимѣ и анонимѣ. А извѣстность для писателя дѣло заманчивое, да и не для одного писателя. Есть вообще не мало (относительно, а абсолютно конечно очень мало) людей, готовыхъ претерпѣть за дорогое дѣло всяческія гоненія, даже пожалуй хотъ умереть, но съ условіемъ чтобы міръ зналъ, что такой-то за то-то претерпѣлъ гоненія и умеръ. Но извѣстность еще куда ни шло. Самоотреченіе настоящаго газетнаго человѣка этимъ не ограничивается. Онъ долженъ отказаться отъ личныхъ вкусовъ и желаній. Передъ нимъ мелькаетъ пестрый рядъ явленій, и онъ не имѣетъ права выбирать, засиживаться надъ тѣмъ, что его особенно заняло, потому что въ его распоряженіи всего нѣсколько десятковъ строкъ и нѣсколько дней, можетъ быть часовъ, даже минутъ времени. Для него въ буквальный смыслъ долѣтъ дни злорадствъ его. Газетный человѣкъ прикованъ къ дню, можно сказать, распятъ на дыбѣ. И что получаетъ онъ за эту каторжную работу? Хлѣбъ насущный («днесь», а завтрашній кусокъ будетъ завтра и заработанъ) и сознаніе, что онъ—полезный и вѣрный слуга общества, вѣрно по его убѣжденію направляющій свѣтъ фонаря критики на дебютъ г-жи Савиной, на взятіе Хивы, на самарскій голодъ, на герцеговинское возстаніе, на постройку Литейнаго моста, на дебаты съѣзда машиностроителей, на дебаты французскаго національнаго собранія, на дебаты петербургскаго дворянскаго собранія, на спекуляцію выигрышными билетами, на манію самоубійствъ, на процессъ Овсянникова, и проч. и проч. Это сознаніе есть единственное нравственное удовлетвореніе газетнаго человѣка. Того удовлетворенія, которое дается процессомъ творчества, онъ никогда не получитъ, потому что не создастъ ничего крупнаго и никакого личнаго слѣда по себѣ не оставитъ. Онъ можетъ только, цѣпляясь за шероховатости текущей жизни,

изо дня въ день, капля по капль, вливать въ общественное сознание истину и справедливость, какъ онъ ему представляются.

Курочкинъ могъ находить удовлетвореніе въ такой дѣятельности и принялъ всѣ связанныя съ нею скорби. Поэтому я и называлъ его талантъ хоровымъ. Но какъ же бы онъ удивился, еслибы могъ слышать изъ своей могилы рѣчь г. Полетики! Замятившему въ «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ» Курочкина, воскресному фельетонисту г. Рцы Слово Твердо, кто-то говорилъ на похоронахъ, что тенденція заѣла талантъ покойника, ибо талантъ шире тенденціи. Послѣдняго я не понимаю, какъ не понялъ бы положенія, что пудъ длиннѣе аршина. На счетъ же таланта Курочкина, сѣдвеннаго тенденціей, скажу слѣдующее: ораторъ, пускающій свой талантъ всюду, гдѣ только есть физическая возможность говорить, обладаетъ можетъ быть очень широкимъ талантомъ, но онъ есть не общественный дѣятель, а говорильщикъ. Курочкинъ, еслибы онъ швырялъ точно также свой талантъ направо и налево, былъ бы ремесленникомъ и зубоскаломъ, а не сатирическимъ писателемъ и газетнымъ человѣкомъ. Это такъ же вѣрно, какъ то, что женщина, раздающая свои ласки направо и налево, имѣя можетъ быть очень широкое сердце, есть только проститутка. Не ясно ли, что не талантъ толкалъ Курочкина на избранный имъ путь и что не за талантъ расплачивался онъ земными скорбями?

Какъ бы то ни было, онъ расплатился. Судьба въ послѣдній разъ явилась къ нему съ исполнительнымъ листомъ, нанесла ему послѣднюю обиду, приславъ на похороны три-четыре десятка человѣкъ, почти исключительно писателей. Общество, то самое общество, которому вѣрой и правдой служилъ Курочкинъ, служеніе которому носилось передъ нимъ даже въ самыхъ пылкихъ его мечтахъ, — блистало своимъ отсутствіемъ. Стоитъ ли умирать послѣ этого? Гейне сравниваетъ гдѣ-то, не помню, себя или вообще поэта съ виноградной лозой, которая родила много гроздьевъ, изъ гроздьевъ сдѣлано было много вина, и вино это бродитъ въ головахъ людей, веселитъ ихъ, а старая лоза, всѣми забытая, посохла. Гейне кокетничалъ, срав-

нивая себя съ этой лозой, но Курочкинъ въ самомъ дѣлѣ похожъ на нее. Я помню похороны Помяловскаго, значеніе котораго разумѣется ничтожно сравнительно съ значеніемъ Курочкина, а между тѣмъ за его гробомъ шла толпа народа. Положимъ, что въ Помяловскомъ хоронили надежду и чтили ее, но развѣ заслуга менѣе надежды требуетъ почести? А въ заслугѣ Курочкина могутъ сомнѣваться только тѣ, кто не видитъ заслуги въ его родѣ дѣятельности вообще. Но дѣло въ томъ, что заслуга Курочкина во первыхъ давнишняя — онъ много лѣтъ передъ смертью молчалъ, а во вторыхъ его заслуга — «газетная», невидная, неосязаемая, все равно какъ заслуга лозы въ веселомъ расположеніи духа, произведенномъ стаканомъ шампанскаго: сокъ многихъ гроздьевъ съ многихъ лозъ смѣшался въ этомъ стаканѣ; кто разберетъ, кто станетъ разбирать, какова тутъ доля участія такой-то лозы? Но не только въ Курочкинѣ и родѣ его дѣятельности лежатъ причины скудости сопровождавшаго его гробъ шествія. Провожатые Курочкина въ страну небытія ходили на «литераторскіе» мостки. Такъ официально называются мостки, ведущіе къ могиламъ Бѣлинскаго, Добролюбова, Писарева, Ножина, Рѣшетникова. Мы любовались жалкой плитой, придавившей собой остатки Писарева, и еще болѣе жалкимъ, желтымъ, вохрой вымазаннымъ крестомъ, стоящимъ на могилѣ Рѣшетникова. Разговоры были все похоронные. Вспоминали шумныя демонстраціи, рѣчи и проч., сопровождавшія еще не очень давно похороны тружениковъ печати. Да, то было время, а теперь другое. То было время, когда даже смерть писателя, даже его трупъ, бездыханный, бессмысленный, съ провалившимися глазами и уже смердящій — словомъ, совсѣмъ охваченный тлѣніемъ, еще служилъ тѣмъ нетлѣннымъ вѣщамъ, которыми служилъ писатель и при жизни. Я опять-таки вспоминаю похороны Помяловскаго. Я живо помню и свое собственное настроеніе, и настроеніе окружающихъ, насколько я тогда умѣлъ наблюдать. Мы не голый обрядъ совершали, не формальное только богослуженіе, мы дѣйствительно служили Богу истины и справедливости. Это было настоящее священнодѣйствіе... Подождите умирать,

крупные и мелкіе, видные и невидные генералы и солдаты арміи литературы! Преданные науки люди завѣщаютъ иногда свои скелеты ученымъ учреждениямъ. Завѣщайте и вы свои трупы на тѣ пѣли, которыя вамъ были дороги въ жизни. Теперь ваше завѣщаніе не будетъ исполнено. Теперь васъ придуть проводить полсотни такихъ же работниковъ, какъ вы, и на могилѣ вашей специалистъ-ораторъ помянетъ въ рѣчи не то, что вамъ было дороже всего, а только талантъ вашъ, какъ будто между вами и талантливымъ цимбалистомъ Беркой Свердловымъ нѣтъ никакой разницы. И найдется еще пожалуй добрый человѣкъ, который поскорбитъ о васъ, пожалѣетъ, что вы вели себя не какъ широкосердая, бездушная, похотливая царица Тамара, къ которой не обинуясь шли «воинъ, купецъ и пастухъ». Добрый человѣкъ съ самымъ доброжелательнымъ видомъ плюнетъ намъ прямо въ сердце...

Будетъ хныкать. Эта глава не въ счетъ, читатель. Ей собственно не мѣсто въ запискахъ профана. Ее специалистъ писалъ, тоже труженикъ печати, который можетъ быть и преувеличиваетъ значеніе своей специальности. Можетъ быть... можетъ быть вы скажете: наплевать... Можетъ быть вы будете правы...

XVI.

Мнѣнія одного Леонарда и трехъ ученыхъ о женскомъ вопросѣ и о прогрессѣ.

Одинъ неблагоклонный, но и не чрезмѣрно сообразительный критикъ одной очень хорошей провинціальной газеты замѣтилъ, что мои выводы и соображенія бывають «болѣе или менѣе остроумны, но всегда двусмысленны и болѣе чѣмъ смѣлы». Остроуміе и двусмысленность меня не занимають; но болѣе чѣмъ смѣлость? Не значить ли это трусость? Но мнѣ вѣдь и бояться печего. Я гарантированъ своимъ титуломъ профана отъ всякихъ нападокъ. Пусть придетъ звѣзда какой угодно величины, сияющая на небосклонѣ науки, философіи, критики ярче алмазовъ и

перловъ; пусть она мнѣ скажетъ, что я говорю вздоръ. Я попрошу объясненія и доказательствъ. Если звѣзда мнѣ ихъ дастъ, я скажу: да, я говорилъ вздоръ и благодарю за наставленіе на путь истины и добра. И звѣзда должна будетъ благосклонно улынуться, ибо ей и дѣлать больше ничего не останется. Я до такой степени убѣжденъ въ неприступности моего положенія, что считаю всѣхъ моихъ неблагосклонныхъ критиковъ людьми несообразительными. Какова бы ни была величественность ихъ аллюровъ, какъ бы ни старались они придать себѣ нѣкоторую звѣздообразность, я думаю себѣ: шалишь! звѣзда со мной такъ говорить не станетъ; звѣзда понимаетъ, что повинную голову мечъ не сѣчетъ; звѣзда великодушна, а ты просто-на-просто несообразительный человѣкъ.

И однако въ эту минуту я трушу, потому что собираюсь писать о разныхъ вещахъ, прикосновенныхъ къ «женскому вопросу». Это въ самомъ дѣлѣ страшно. Объ астрономіи не страшно, о философіи исторіи не страшно, о политикѣ не страшно, а о женскомъ вопросѣ страшно. Очень ужъ много по этому вопросу специалистовъ: вопервыхъ всѣ женщины, вовторыхъ всѣ мужчины, втретьихъ всѣ романисты, вчетвертыхъ всѣ литературные критики, впятыхъ... да всѣхъ и не перечесть. Еще не такъ давно, даже очень недавно, этотъ вопросъ примировагъ надъ всѣми общественными вопросами. Если вы хотѣли заслужить популярность среди молодежи, вы обращались къ женскому вопросу, говорили о правахъ женщины, о женскомъ трудѣ, о свободѣ женщины,—и молодыя сердца сочувственно откликались вамъ. Если вы хотѣли заслужить лестное мнѣніе людей солидныхъ, вы обращались къ женскому вопросу, говорили о святости семьи, о высокомъ назначеніи жены и матери. Если вы желали добиться благосклонности людей ультра-солидныхъ, вы все-таки обращались къ женскому вопросу и рассказывали сальные анекдоты о нигилистахъ,—и глаза ультра-солидныхъ людей покрывались масломъ, они сочувственно хихикали, потряхивая разслабленными колѣнями. Если вы хотѣли тронуть дамскія сердца, вы писали повѣсть во вкусѣ Тургенева, гдѣ въ вѣчную про-

блему любви старались подставить новыя комбинаціи. Словомъ женскій вопросъ въ томъ или другомъ видѣ, въ томъ или другомъ рѣшеніи, былъ станціей на пути успѣха въ жизни. Но и помимо успѣха въ жизни мы самымъ усиленнымъ образомъ переживали женскій вопросъ. Я помню напримѣръ, что ему были посвящены и первая, и вторая, и третья мои печатныя статьи. За свободу женщинъ, за женскій трудъ я стоялъ горой и безусловно безкорыстно. Малый я былъ крайне утрюмый, дамъ и дѣвицъ тщательно обѣгалъ, а что касается собственно женскаго труда, такъ онъ у меня хлѣбъ отбивалъ. Отчего это такъ было. что мы еще на школьной скамейкѣ, еще не разглядѣвъ путемъ ни одной женщины, ломали себѣ головы надъ разрѣшеніемъ женскаго вопроса, я не знаю, но такъ было. Грѣшно впрочемъ сказать, что мы ломали себѣ головы. Рѣшеніе приходило какъ-то само собой, Богъ знаетъ какъ и откуда. Я помню одинъ очень характерный разговоръ, бывшій у меня съ покойнымъ авторомъ «Гражданскаго брака», Чернявскимъ, очень умнымъ и талантливымъ молодымъ человѣкомъ, хотя комедія его и неумна, и неталантлива. Мы разговаривали о взглядѣ Прудона на женщинъ. Чернявскій утверждалъ, что Прудонъ былъ навѣрное несчастливъ въ семейной жизни, что этого рода біографическія черты его непременно должны быть найдены, потому что иначе нельзя объяснить въ такомъ человѣкѣ, какъ Прудонъ, несочувствія къ свободѣ и самостоятельности женщины. Года за полтора передъ шумнымъ появленіемъ и быстрымъ фіаско «Гражданскаго брака», я потерялъ Чернявскаго изъ виду и не знаю, что именно повліяло на рѣзкій поворотъ его мыслей о женскомъ вопросѣ. Но упомянутый разговоръ помню очень хорошо. Въ немъ очень характерна увѣренность въ существованіи чисто практическихъ, ближайшихъ житейскихъ основъ мнѣній Прудона. Характерна эта увѣренность потому, что мнѣ тогда былъ, помнится, 21 годъ, Чернявскому 23, и мы были бы поставлены въ очень затруднительное положеніе, еслибы кто-нибудь сталъ до биваться—каковы практическія, житейскія основы нашихъ собственныхъ взглядовъ на положеніе женщины. Безъ сомнѣній

никакихъ такихъ основъ не было. О счастливой или несчастной семейной жизни не могло быть разумѣтся и рѣчи, и вообще мы ратовали за свободу, права и самостоятельность женщины совершенно безкорыстно и помимо какихъ бы то ни было опредѣленныхъ толчковъ практической жизни. Я полагаю, что женскій вопросъ просто представлялъ удобнѣйшую почву для приложенія несовсѣмъ ясныхъ идеаловъ свободы того поколѣнія, которое стало молодымъ уже по уничтоженіи крѣпостного права. И безъ сомнѣнія это значеніе въ большей или меньшей степени останется за женскимъ вопросомъ вплоть до того времени, когда онъ перестанетъ быть вопросомъ. Молодежь—всегда молодежь. Въ общемъ, за вычетомъ развѣ нѣкоторыхъ мрачныхъ историческихъ минутъ, она всегда будетъ рваться, хотя бы смутно, къ свѣту и свободѣ, все равно какъ листья растений всегда будутъ поворачиваться къ солнцу. «То кровь кипитъ, то силъ избытокъ». Куда дѣвать эти силы? Если нѣтъ на лицо такой рѣзко опредѣленной и съ молокомъ матери всосанной политической задачи, какая существовала напримѣръ для Инсарова, семья, эта элементарная ячейка общества, сама собою напрашивается стать пробнымъ камнемъ молодыхъ силъ. А трогая съ которой бы то ни было стороны семью, вы неизбежно наталкиваетесь на женскій вопросъ. А тутъ еще, какъ разъ въ это время, пробуждаются и крѣпнуть первые неясные, но настойчивые позывы любви съ ея физиологической основой. Вы молоды, полны стремленій къ добру и желали бы видѣть смутно витающій передъ вами образъ женщины во всемъ блескѣ вашихъ идеаловъ—свободы, силы, знанія, дѣятельности. Даже когда есть въ наличности другія политическія задачи, другія перспективы, въ концѣ которыхъ горитъ свѣточъ правды, добра и свободы, значеніе семьи, какъ пробнаго камня молодыхъ силъ, несовсѣмъ исчезаетъ. Но тутъ за дѣло принимаются главнымъ образомъ сами женщины. Ужъ тѣмъ самымъ, что онѣ, увлеченныя носящимися въ нравственной атмосферѣ идеями и чувствами, идутъ по означеннымъ перспективамъ, онѣ, такъ сказать, дѣлаютъ женскій вопросъ. Если напримѣръ итальянка сороковыхъ годовъ, про-

пикнутая общою ненавистью къ австрійскому владычеству, принимала участіе въ революціонномъ движеніи, она не только способствовала освобожденію Италіи, но и давала примѣръ политической дѣятельности женщины.

Но я вамъ разскажу притчу. Одинъ садоводъ былъ въ одинъ прекрасный день огорченъ появленіемъ множества червей на своихъ цвѣтахъ. Онъ сталъ ихъ убивать; убивалъ день, два, три, недѣлю, мѣсяцъ. Какъ встанетъ, такъ и идетъ истреблять червей. Черви стали понемножку убывать. Наконецъ наступилъ еще одинъ прекрасный день, когда садоводъ былъ *огорченъ* совершеннымъ исчезновеніемъ червей. Да, онъ былъ огорченъ. Сначала ему показалось, что онъ радъ, да и естественно было порадоваться. Но скоро онъ замѣтилъ, что ему чего-то недостаетъ и недостаетъ именно сдѣлавшагося для него привычнымъ занятіемъ истребленія червей. Садоводъ началъ тосковать и, такъ какъ онъ былъ очень богомоленъ, то скоро сталъ молиться—о ниспосланіи червей. Садоводъ потому пришелъ къ столь бессмысленной молитвѣ, что специализировалъ истребленіе червей, отдѣлилъ его отъ благоденствія цвѣтовъ. Теперь—другая притча. Въ сороковыхъ годахъ одна итальянка принимала дѣятельное участіе въ тогдашнихъ политическихъ волненіяхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ она много думала о женскомъ трудѣ и о самостоятельности женщины, что было вполне естественно, такъ какъ ея политическая дѣятельность враждебно сталкивалась съ множествомъ предрассудковъ. Долго свобода Италіи и независимость общественнаго положенія женщины не раздѣлялись для нея, шли рука объ руку. Но тутъ подошлы неудачи 1848—1849 годовъ, движеніе было подавлено, наступило затишье, полнѣйшая невозможность дѣйствовать. Но мысль о женскомъ трудѣ и самостоятельности не покидала итальянки. Она искала случая примѣнить ее, занимала разныя общественныя должности и между прочимъ весьма добросовѣстно исполняла обязанность—австрійскаго шпиона...

Это—вздоръ, читатель, этого никогда не было, этого даже не могло быть, потому что—замѣчательная особенность женскаго вопроса — онъ никогда не всплываетъ наружу одновременно съ

чисто національними політичними рушеннями, якими були більшість італійських рушень. Достатньо пригадати весь ряд польських рушень, в яких жінки брали саме діяльну і багатобічну участь, не претендуючи однак ні на яке змінення в своєму суспільному положенні, залишаючись матірми, сестрами, жінками і любовницями, і виключительно в цьому суспільному положенні почерпая силу і вплив. Наоборот всяке суспільне рушення майже завжди висуває і жіночий питання. Да і взагалі я розказав історію про італійку совсім не ради її фактичної сторони. Вона карикатурна, але в основанні її лежить правда, подлинний факт, природне і цілком зрозуміле прагнення жінок спеціалізувати жіночий питання, помістити його в безповітряне простір, відділяти його від питань, з якими він, власне кажучи, нерозривно пов'язаний, і внаслідок цього надавати йому невідповідне освітлення. До цього схильні і чоловіки, але по інших зрозумітих причинах. Якщо справедливі мої припущення про сім'ю, як про пробну каменю молодих сил, то зрозуміло, що жіночий питання повинен для нас стояти ніяк не окремо. Він оточений ніяким, абсолютно своєрідним політичним ореолом. Він зароджується в особистостях при таких умовах і по таких причинах, які рідко мають місце в дальнішому нашій моральному і інтелектуальному розвитку, породжуючи критику більш складних суспільних груп: суспільства, нації, держави, цивілізації. І як масло не можна змішати з водою, щоб вийшла однорідна маса, так по крайній мірі дуже важко урівняти, привести до одного знаменателя наші відносини до жіночому і до інших суспільних питань. Це не яка-небудь таємнича, незрозуміла особливість жіночого питання. Це може статися і з будь-яким іншим питанням і часто буває, наприклад з питання національним. В країнах, де в даний час по таким-небудь обставинам напружено розвивається

національное чувство и гдѣ слѣдовательно молодежь всасываетъ его въ себя инстинктивно, національный вопросъ тоже специализируется, рѣзко отдѣляется отъ другихъ вопросовъ и мѣрятся совѣтъ особенною мѣркой.

Сложность женскаго вопроса, свидѣтельствующая о многосторонности его связи съ другими вопросами, должна казалось бы гарантировать его отъ чрезмѣрной специализации. На дѣлѣ однако гарантія эта выходитъ ненадежная. На дѣлѣ сложность вопроса ведетъ напротивъ къ дальнѣйшей специализации: Вопросъ раздробляется, и каждый отдѣльный его кусочекъ, держась подъ общимъ флагомъ женскаго вопроса, получаетъ иногда уродливо непропорціональное развитіе. Такъ напримѣръ г-жа Ройе, одна изъ ученѣйшихъ, а можетъ быть и умнѣйшихъ современныхъ женщинъ, такъ пригѣпилась къ тому элементу женскаго вопроса, который называется независимостью женщинъ, что договорилась до желательности и возможности въ будущемъ царства амазонокъ, т. е. такой же зависимости мужчинъ, противъ какой нынѣ протестуютъ женщины. Чѣмъ это лучше садовода, молившагося о ниспосланіи червей, и итальянки, начавшей «молодой Италіей» и кончившей австрійскимъ шпионствомъ?

Все это я къ тому, что специалистовъ по женскому вопросу очень много, такъ что я трушу. О, какъ завидую я смѣлости г. Леонарда! Вы не знаете, что такое Леонардъ? *Madame de Kourdukoff* — въ панталонахъ. Онъ совершенно внезапно явился въ русской литературѣ во всеоружіи слога, таланта и идей г-жи Курдюковой. Первоначально онъ явился съ требованіемъ, чтобы «Ѳедосѣй Іе мѣдникъ» и всякій другой работникъ, нанявшійся на сельскія работы, былъ силою на нихъ возвращаемъ въ случаѣ бѣгства. Пожавъ тутъ богатые лавры на почвѣ познаній въ политическій экономіи, *madame de Kourdukoff* въ панталонахъ ринулась въ политику и издала книжку «Германія или Франція? Одна и другая». Столь забавнаго вздора не появлялось въ русской литературѣ со времени произведенія Мятлева. Однако, да идетъ мимо насъ и экономическій, и политическій вздоръ г. Леонарда. Я возьму только вздоръ по женскому вопросу, эпизоди-

чески вкрапленный въ политическій вздоръ, т. е. въ брошюру «Германія или Франція?»

Изобразивъ яркими красками картину нравственнаго паденія Франціи вообще, г. Леонардъ переходитъ къ нѣкоторымъ частностямъ. И тутъ онъ по истиннѣ великозѣпенъ. Слушайте. «Въ семью вторгся любовникъ, паразитъ, третье лицо, l'autre. Романисты и драматурги Франціи усаживаютъ его все лучше и лучше и такъ уже просторно, что мужу ничего другого не остается дѣлать, какъ держать ключи отъ шкатулки и быть расходчикомъ — мужъ въ кладовой, на хозяйствѣ, а паразитъ въ спальнѣ. *Pour peu que celà continue*, будутъ брать мужей для черной работы въ кладовыхъ, на заднихъ дворахъ, а вся бѣлая работа, вся творческая и свѣтлая сторона супружества перейдетъ цѣликомъ къ паразиту». Это — печальная конечно перспектива, но какъ же быть? или, какъ восклицаетъ Леонардъ de Kourdukoff, «*comment sortir, grand Dieu, de ce fourré?*» Дюма совѣтуетъ стрѣлять, убивать преступныхъ женъ; онъ говоритъ: «*tue-la, tuez les*», шлетъ пули *à droite et à gauche*. Леонардъ de Kourdukoff несогласенъ съ этимъ рѣшеніемъ, на основаніи слѣдующихъ любовныхъ и женскихъ соображеній: «Дюма забылъ, что пуля не лекарство, что женщина прежде всего героиня въ душѣ, жажда каждой женщины быть героиней романа. Поднесите ей романъ и обставьте его всѣми ужасами драмы, и каждая женщина подставитъ сердце подъ пулю. Которая изъ нихъ не пожелаетъ быть убитой въ объятіяхъ возлюбленнаго, какая женщина не пожелаетъ умереть израненной, съ окровавленнымъ сердцемъ, на его рукахъ! Романъ — это поле брани женщины, поле геройскихъ ея подвиговъ... Нѣтъ, тутъ пули не помогаютъ, пули не испугаютъ женщину. *Mais il y a les hautes convenances, les grandes nécessités sociales* — вотъ что спасительнѣе, ибо никто болѣе женщины не способенъ имъ подчиняться». Исходя изъ такого плодотворнаго начала, Леонардъ de Kourdukoff естественно приходитъ къ плодотворному концу. Сердце, гороритъ онъ, «субтильно и неуловимо, не знаетъ стѣсненій регламентацій». Но объ этомъ и жалѣть нечего. Любовь, ограничивающаяся областью сердца, не творитъ

никакого зла, напротив — творить добро. «Она есть источникъ высокихъ порывовъ души, великихъ подвиговъ челоуѣчества. Искусства—ея дѣти. Кто бы ее ни внушилъ, мужъ или стороннее лицо, она, если чиста и непорочна, благодарна и возвышенна, то всегда облагораживаетъ семью и способствуетъ ея счастью, возвышаетъ душу матери и не даетъ ей забывать среди непривлекательныхъ обыденныхъ занятій, что она женщина, — и тогда каждый шагъ въ ея семьѣ запечатлѣнъ граціей и возвышенностью чувствъ... Encore une pensée: если отъ *прикосновенія* мужчины, положимъ мужа къ женѣ, потухаетъ обыкновенно, рано или поздно, эта любовь, эта искра, которая творитъ столько чудесъ и въ то же время такъ необходима въ мірѣ, то почему же отъ *неприкосновенія* другого мужчины, третьяго лица, de l'autre, не позволить ей снова возгорѣться? Стало быть все дѣло въ *неприкосновеніи* къ священному тѣлу матери семьи, но мужъ *прикасается*, c'est nécessité naturelle. иначе изсякъ бы родъ челоуѣческій (какая глубина!), — поэтому самому и нуженъ можетъ быть другой, l'autre, который бы *не прикасался* и тѣмъ продолжалъ бы поддерживать существованіе священнаго огня любви въ сердцѣ женщины и не далъ бы ему погибнуть, ибо огонь этотъ долженъ творить добро, поэзію, эстетику всюду—въ семьѣ и внѣ семьи... Но если третье лицо *прикасается*, если онъ прикасается священнаго тѣла замужней женщины—тутъ ужъ нѣтъ *nécessité naturelle*, потому что мужъ исполняетъ эту обязанность—то онъ этимъ самымъ уничтожаетъ другое важнѣйшее *nécessité*: необходимость поддержанія священнаго огня въ сердцѣ женщины—источника высокаго и прекраснаго, онъ его оскверняетъ и разрушаетъ, il perd sa vrai raison d'être и превращается въ злѣйшаго врага общества, разрушителя первой его основы, основной кѣтки государственнаго организма—семьи». Въ концѣ концовъ «мужъ при полныхъ, исключительныхъ матеріальныхъ правахъ на жену и при этомъ робкое, discret, чистое и нѣжное чувство, полное уваженія, de déférence, благоговѣнія къ женѣ и къ матери (если мужъ его не внушаетъ) со стороны третьяго лица, de l'autre—на этомъ, мнѣ кажется, можно бы было примириться!

и тѣмъ значительно смягчить, если не уничтожить зло, проистекающее отъ современныхъ нравовъ» («Германія или Франція?» 53 и слѣд.).

Что сказать о человѣкѣ, который, поднявъ на большой дорогѣ старый, истоптанный и протоптанный лапоть, прищипляетъ къ нему нѣсколько розовыхъ бантиковъ, выносить на рынокъ и выдаетъ за пару отличнѣйшихъ сапоговъ? Я думаю—ничего не говорить. Пусть себѣ стоитъ съ лаптемъ людямъ на потѣху, себѣ на срамъ. Я такъ и сдѣлаю. Я изложилъ воззрѣнія м-ше Леонардъ de Kourdukoff только въ качествѣ закуски, долженствующей возбудить аппетитъ читателя, приготовить его къ принятію роскошной уместивной трапезы, которую я имѣю ему предложить. Въ дальнѣйшемъ у насъ не будетъ рѣчи не только о м-ше Леонардъ de Kourdukoff, но по всей вѣроятности и о затронутой имъ сторонѣ женскаго вопроса. Она очень пикантна, эта сторона, но различныя ея рѣшенія всѣмъ давно извѣстны, они были можетъ быть уже Адаму и Евѣ извѣстны. Новыхъ рѣшеній я не знаю, не считая разумѣется рѣшенія г. Леонарда, — онъ сказалъ послѣднее слово.

А трапезу я имѣю предложить читателю дѣйствительно очень роскошную: мнѣнія о различныхъ сторонахъ женскаго вопроса въ связи съ ученіемъ о прогрессѣ, ни мало, ни много — трехъ патентованныхъ русскихъ ученыхъ. Это спеціалисты не по женскому вопросу—такихъ-то мы много видали. Это спеціалисты по различнымъ отраслямъ настоящей, признанной науки, увѣнчанные учеными степенями магистра и доктора — одинъ историко-филологъ и два естествоиспытателя. Къ сожалѣнію въ трапезѣ моей есть одинъ маленькій изъянъ. Именно, одинъ изъ ученыхъ, мысли которыхъ я намѣренъ предложить читателю, не трактуетъ прямо о женскомъ вопросѣ. Но предметъ его изслѣдованія находится съ нимъ все-таки въ нѣкоторой связи. Притомъ же, кое-какія его воззрѣнія пригодятся намъ при сопоставленіи изслѣдованій двухъ другихъ ученыхъ. Я начну съ перваго ученаго, съ г. Воеводскаго, только-что получившаго магистерскій дипломъ за

диссертацию «Каннибализмъ въ греческихъ мифахъ. Опытъ по исторіи развитія нравственности».

Это—ученый молодой, но настоящій ученый. Онъ упрекаетъ сочиненіе Фюстель-Куланжа «*La cité antique*» въ «отсутствіи достаточнаго ученаго аппарата» и имѣетъ полное право дѣлать такой упрекъ, потому что его собственное сочиненіе снабжено громадѣйшимъ ученымъ аппаратомъ. Въ самомъ дѣлѣ эрудиція молодого магистра громадна и—что особенно цѣнно—довольно разносторонняя. Мнѣ пришлось присутствовать на одномъ любопытномъ диспутѣ въ петербургскомъ университетѣ. Любопытенъ онъ былъ потому, что защищалась диссертация по философіи, а между тѣмъ диспутъ почти исключительно вертѣлся на филологин, на правильности или неправильности перевода диспутантомъ латинскихъ и греческихъ цитатъ. Диспутъ г. Воеводскаго долженъ бы былъ имѣть (однако не имѣлъ) совершенно противоположный характеръ, такъ какъ молодой ученый поставилъ и попытался разрѣшить въ своей диссертаци цѣлый рядъ вопросовъ философскихъ, довольно неплотно завернутыхъ въ филологическое толкованіе греческихъ мифовъ. Ближайшая цѣль г. Воеводскаго—доказать, что доисторическіе греки, греки «героическаго періода», стояли на такой же приблизительно ступени развитія, на какой и нынѣ стоятъ нѣкоторые дикари, и что въ частности они были людоедами. Доказываетъ это авторъ анализомъ греческихъ мифовъ при томъ предположеніи, что имъ должны были соответствовать извѣстныя бытовые явленія. Нашему брату профану это предположеніе съ перваго же взгляда можетъ представиться вполне законнымъ, но для ученыхъ филологовъ г. Воеводскій долженъ былъ написать цѣлое историко-философское изслѣдованіе, занимающее чуть не больше половины книги. Профаны не могутъ имѣть никакого особеннаго пристрастія къ доисторическимъ грекамъ. Они были воры, разбойники, грабители, кровожадные звѣри, дѣтоубійцы, людоеды, доказываетъ г. Воеводскій. Ну—и пусть. Профанъ склоненъ преимущественно думать о томъ, какъ бы нынче-то было поменьше воровъ, грабителей и душегубовъ, какъ бы они-то, нынѣшніе, не ускользали отъ суда

науки, а защищать греческихъ героевъ ему нечего. Другое дѣло—ученые филологи. Для нихъ древніе греки—излюбленный народъ, подчасъ болѣе близкій и дорогой, чѣмъ собственный. И не даромъ г. Воеводскій часто упоминаетъ въ своей диссертаци о томъ, что, «при нынѣшнемъ направленіи науки», многіе его выводы должны казаться черезчуръ смѣлыми и просто дикими. Если позволительно будетъ профану смѣть свое сужденіе имѣть, то я скажу, что многіе доводы г. Воеводскаго, отнюдь не будучи дикими, весьма неубѣдительны. Такъ мнѣ представляется весьма слабо защищеннымъ одно изъ основныхъ положеній автора: «невозможно, чтобы божеству приписывались такія качества и поступки, которые считаются въ данное время непозволительными». Не менѣе слабо по моему мнѣнію объясненіе происхожденія людоедства. Въ самомъ дѣлѣ, перебравъ различныя мнѣнія объ этомъ предметѣ, авторъ ихъ всѣ отвергаетъ и затѣмъ развиваетъ свою собственную теорію, на основаніи которой онъ «считаетъ необходимымъ производить каннибализмъ отъ ѣденія дѣтей» (177). Вотъ по истинѣ удивительная теорія. Другіе выводы каннибализмъ изъ нужды и голода, изъ ненависти, изъ гнѣва, изъ особеннаго вкуса человѣческаго мяса и проч. Все это нашъ авторъ отвергаетъ и выводитъ каннибализмъ изъ «ѣденія дѣтей», т. е. изъ самого себя, ибо ѣденіе дѣтей есть ѣденіе людей, т. е. каннибализмъ.

Все это однако мелочи. Важенъ общій характеръ изслѣдованія г. Воеводскаго, характеръ, вполне соотвѣтствующій современному состоянію науки съ его сильными и слабыми сторонами. Авторъ говоритъ: «Прежній спиритуалистическій взглядъ на исторію человѣчества, какъ на непрерывное паденіе человѣка отъ полнаго его совершенства до окончательной порчи (теорія дегенераціи), почти вполне уступилъ мѣсто противоположному взгляду (теорія прогресса) или же, значительно видоизмѣнившись, слился съ нимъ въ новѣйшемъ ученіи, въ такъ называемой теоріи развитія. Эта послѣдняя теорія и въ кажущемся паденіи усматриваетъ не что иное, какъ только дальнѣйшіе фазисы развитія, ведущаго въ сущности постоянно къ высшему совершенству всего человѣчества».

Упомянувъ въ нѣсколькихъ строкахъ о заслугахъ, оказанныхъ теоріей развитія въ другихъ наукахъ, авторъ заявляетъ, что онъ намѣренъ примѣнить ее къ исторіи нравственности. Онъ и примѣняетъ ее, доказывая, что тамъ, сзади насъ, въ исторической дали, нѣтъ никакого совершенства, а есть разбой, развратъ, людоедство, не какъ факты только, но какъ нравственные принципы. При этомъ г. Воеводскій обнаруживаетъ такую эрудицію и такое умѣнье обращаться съ научнымъ матеріаломъ, что магистерскій дипломъ приобрѣтенъ имъ вполнѣ по праву. Но я вспомнилъ, что мѣсяца за два за три передъ тѣмъ, въ той же залѣ петербургскаго университета и тѣмъ же историко-филологическимъ факультетомъ былъ увѣнчанъ званіемъ магистра г. Соловьевъ за диссертацию, въ которой доказывалось, что сзади насъ, въ «религіяхъ древняго Востока», лежитъ совершенство, что, подвигаясь исторически впередъ, мысль человѣческая собственно говоря падала, что только Гартманъ нѣсколько поправилъ дѣло, а самъ г. Соловьевъ окончательно возстановилъ совершенство. Въ качествѣ профана я былъ очень смущенъ и даже совершенно сбился съ толку единовременнымъ увѣнчаніемъ диссертаций гг. Соловьева и Воеводскаго. Такъ какъ верховный судъ науки одобрилъ и того и другого, то одобрилъ обоихъ и я, но не единовременно, потому что это для профана невозможно, а по очереди. Слушая г. Соловьева и глядя на его аскетическую, византійскую фигуру, поучающую толпу, я думалъ: да, совершенство—тамъ, въ томъ древнемъ, древнемъ мірѣ, изъ котораго вышелъ г. Соловьевъ. Слушая г. Воеводскаго и глядя, какъ онъ, современный, благообразный европеецъ во фракѣ и въ бѣлыхъ перчаткахъ, изящно поигрывая ріпсе-пез, солидно доказывалъ что древніе греки были людоеды, я думалъ: ужъ конечно совершенство не тамъ, не въ томъ мірѣ разбоя, разврата и крови; оно здѣсь, стоитъ на кафедрѣ и поигрываетъ ріпсе-пез.

Объ г. Соловьевѣ я ничего не говорю, потому что литература и безъ того слишкомъ много чести оказала этому ученому. Что же касается г. Воеводскаго, то къ сожалѣнію его приложеніе теоріи развитія къ исторіи нравственности кажется мнѣ

построеннымъ на пескѣ. Теорія развитія, какъ ее понимаетъ Воеводскій, въ примѣненіи къ исторіи нравственности выдвигаетъ два положенія: 1) нѣтъ никакихъ неизблѣмыхъ, вѣчныхъ нравственныхъ принциповъ: они измѣняются во времени и пространствѣ; нѣтъ такихъ поступковъ, которые бы были нравственны или безнравственны сами по себѣ: нравственное сего дня можетъ быть признано преступнымъ сто лѣтъ спустя и наоборотъ; 2) измѣненіе нравственныхъ принциповъ происходитъ не беспорядочно и не отъ лучшаго къ худшему (теорія дегенерации), а именно отъ худшаго къ лучшему: они совершенствуются. Оба эти положенія не мною навязаны теоріи развитія, а составляютъ неотъемлемую ея принадлежность, самую ея суть, и г. Воеводскій, какъ и всякій сторонникъ теоріи развитія, постоянно говоритъ о нихъ въ своей диссертации. Но вѣдь эти два положенія самымъ рѣзкимъ образомъ противорѣчатъ другъ другу. Г. Воеводскій часто предлагаетъ намъ отрѣшиться отъ теперешнихъ понятій о нравственности и признать, что напримѣръ людоедство, такъ отвратительное на нашъ взглядъ теперь, въ свое время могло быть и было не только безразличнымъ, а и нравственнымъ; что слѣдовательно оно не безнравственно по существу. Я тоже предлагаю г. Воеводскому отрѣшиться отъ теперешнихъ понятій о нравственности, о худшемъ и лучшемъ, и объяснить мнѣ, почему онъ считаетъ исчезновеніе людоедства переходомъ отъ худшаго къ лучшему? Мнѣ разумѣется никогда не придетъ въ голову скорбѣть объ томъ, что люди постепенно отвыкаютъ отъ людоедства. Но я бы желалъ знать, какія основанія имѣетъ г. Воеводскій считать это отвыканіе прогрессомъ? Я полагаю, что никакихъ научныхъ основаній онъ для этого не имѣетъ. Вѣрно по крайней мѣрѣ то, что ихъ нѣтъ въ его книгѣ, несмотря на всю ея ученость. Это—слабость не только г. Воеводскаго: это — слабость теоріи развитія вообще. Но въ другихъ сферахъ познанія люди по крайней мѣрѣ ищутъ оправданія для своихъ мѣрокъ совершенства. Въ біологіи, въ палеонтологіи, въ психологіи говорятъ объ усложненіи организма, о его приспособленіи, какъ объ общихъ признакахъ развитія. Дар-

винисты говорятъ напимѣрь, что организмы совершенствуются въ исторіи жизни на землѣ, потому что все лучше приспособляется къ условіямъ существованія. Другіе говорятъ, что прогрессъ состоитъ въ усложненіи организаціи. Хотя и здѣсь ученые люди часто вполне произвольно намѣчаютъ пути и станціи развитія, но по крайней мѣрѣ они стараются положить предѣлъ такому произволу, стараются установить мотивы признанія однихъ явленій низшими, другихъ—высшими. Г. же Воеводскаго этотъ предметъ повидимому совсѣмъ не занимаетъ. Въ полномъ противорѣчій съ своимъ собственнымъ требованіемъ, чтобы читатели отрѣшились отъ теперешнихъ понятій о нравственности, онъ безмолвно признаетъ эти теперешнія понятія высшими. Это не простая придирка, потому что указанный недостатокъ имѣетъ существенное вліяніе на весь трудъ г. Воеводскаго. Я бы назвалъ его фанатикомъ современныхъ понятій о нравственности и современной цивилизаціи, если бы онъ не былъ такъ холодно спокоенъ, такъ непоколебимо самодоволенъ, не въ буквальномъ смыслѣ, доволенъ не только самъ собой, но и своимъ «обѣдомъ и женой» и своей цивилизаціей.

Только въ одномъ мѣстѣ своей диссертациі г. Воеводскій довольно близко подошелъ къ тому, чего я отъ него требую. Но только подошелъ и затѣмъ отвернулся. «Уже въ самый ранній періодъ человѣческаго развитія, говоритъ онъ (стр. 14), должны были явиться взгляды на окружающую природу и на отношенія людей какъ къ этой природѣ, такъ и на отношенія ихъ другъ къ другу. Въ своемъ первоначальномъ видѣ взгляды эти не могутъ считаться ни моральными, ни религіозными, ни научными, ни наконецъ тѣмъ, что мы считаемъ практическими взглядами, а напротивъ взгляды эти были самаго неопредѣленнаго качества. Если же нужно, не смотря на это, все-таки какъ-нибудь назвать ихъ, то мы назовемъ ихъ *этическими* въ самомъ обширномъ смыслѣ этого слова, не исключаящемъ и не сопоставляющемъ въ себѣ ни одного изъ только-что указанныхъ нами элементовъ; не было понятія о томъ, что слѣдуетъ считать религіознымъ долгомъ и что грѣхомъ; не было также понятія о

тожъ что нравственно, что разумно, что полезно; было же какое-то очень неопредѣленное и смутное понятіе о томъ, что хорошо и что нехорошо». Въ примѣчаніи къ этому мѣсту г. Воеводскій приводитъ отвѣтъ одного бушмена на вопросъ о различіи добра и зла: «хорошо украсть чужую жену, но худо, если у меня самаго украдутъ мою». Я ждалъ, что г. Воеводскій не только скажетъ, какъ изъ этой первобытной неопредѣленности обособились наши опредѣленные нравственныя, религіозныя, правовыя, утилитарныя понятія (это онъ отчасти дѣлаетъ), но прослѣдить какъ-нибудь эту идею и въ области нравственности, назоветъ высшими нравственными понятіями напримѣръ болѣе опредѣленные (это я именно только къ примѣру говорю) и затѣмъ покажетъ, что теперешнія понятія напримѣръ о дѣтубійствѣ болѣе опредѣленны, чѣмъ первобытныя. Подобная работа была бы очень полезна въ теоретическомъ отношеніи, потому что тогда никто бы уже не смѣлъ уличать г. Воеводскаго въ противорѣчіи и въ произвольномъ признаніи теперешнихъ понятій высшими. Но не менѣе полезна она была бы и въ практическомъ отношеніи, потому что давала бы руководящую нить и для будущаго. Но ничего такого г. Воеводскій не далъ.

Это къ сожалѣнію лишаетъ меня возможности почерпнуть изъ труда г. Воеводскаго что-нибудь для приложенія теоріи развитія къ женскому вопросу. Можно развѣ только сказать, что въ древности положеніе женщины было худо, что тогда женъ даже въ пищу употребляли, находя женское мясо наравнѣ съ дѣтскимъ особенно вкуснымъ, но что съ тѣхъ поръ все улучшается, «развивается». Это конечно очень утѣшительно, но вмѣстѣ съ тѣмъ очень скудно. Къ счастью свѣтъ не клиномъ сошелся на г. Воеводскомъ, и теорія развитія не ямъ однимъ исповѣдуется. Два русскихъ естествоиспытателя одновременно занялись непосредственнымъ ея приложеніемъ къ женскому вопросу. И хотя они при этомъ пришли къ замѣчательно несходнымъ результатамъ, но по крайней мѣрѣ оба вложили болѣе или менѣе опредѣленный смыслъ въ понятія развитія и прогресса. Одинъ изъ этихъ ученыхъ есть г. Шкляревскій, кiev-

скій профессоръ медицинской физики, сказавшій на прошлогоднемъ университетскомъ актѣ рѣчь «Объ отличительныхъ свойствахъ мужского и женскаго типовъ въ приложеніи къ вопросу о высшемъ образованіи женщинъ». У меня эта рѣчь находится въ видѣ отдѣльной брошюры. Другое произведеніе, на которое я хочу обратить вниманіе читателя, есть статья г. Мечникова: «Возрастъ вступленія въ бракъ» («Вѣстникъ Европы» 1874, № 1).

Въ нашихъ безконечныхъ разговорахъ о женскомъ вопросѣ, о женскомъ трудѣ, о самостоятельности женщины г. Шкляревскій замѣтилъ недостатокъ твердо установленнаго принципа, «на основаніи котораго можно бы было съ научною объективностію обсуждать вопросы о женскомъ трудѣ и женскомъ образованіи». Такой принципъ г. Шкляревскій рѣшился искать и нашелъ путемъ біологическаго изслѣдованія отношеній между мужскимъ и женскимъ элементами въ органической природѣ вообще. А затѣмъ, найдя на основаніи этого принципа общее рѣшеніе женскаго вопроса, онъ переходитъ къ частному вопросу: что должно сдѣлать государство уже теперь для удовлетворенія пробудившемуся стремленію женщинъ къ высшему образованію?

Пойдемте подъ руководствомъ г. Шкляревскаго въ глубь природы, читатель. Тамъ мы увидимъ вѣковѣчную смѣну жизни и смерти: организмы рождаются, живутъ и умираютъ. Смерть жатву жизни коситъ, но именно только коситъ, а не истребляетъ, потому что не всѣ индивидуумы умираютъ. Есть между ними такіе, которые въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ могутъ существовать и существуютъ неопредѣленно долго, вѣка, тысячелѣтія. Въ числѣ клѣточекъ этихъ почти безсмертныхъ индивидовъ есть одна, совмѣщающая въ себѣ всѣ особенности цѣлаго. На ней отражается вся исторія цѣлаго организма, всѣ вліявшія на него и его предковъ внѣшнія событія и всѣ совершавшіяся въ немъ перевороты. Клѣточка эта содержитъ въ себѣ также всѣ входящіе въ составъ организма химическіе элементы и кромѣ того запасъ силы, достаточный для приведенія клѣточки въ самостоятельную дѣятельность. Наступаетъ минута, когда цѣлый организмъ распадается на двѣ части: одна изъ нихъ болѣе или

менѣе скоро подкашивается смертью, другая—наша клѣточка—начинаетъ быстро расти и развиваться по образу и подобию цѣлаго, отъ котораго отдѣлилась. Съ теченіемъ времени и она или, вѣрнѣе, развившійся изъ нея организмъ тоже умретъ, но опять-таки не весь, потому что и въ немъ есть такая же клѣточка, унаслѣдывающая особенности цѣлаго и способная къ самостоятельной жизни. Такимъ образомъ индивидъ умираетъ не весь, часть сго остается жить въ видѣ второго индивида, часть этого второго въ видѣ третьяго и т. д. и т. д. Индивидъ образуетъ «генеалогическую цѣпь», по которой неопредѣленно долго жизнь переливается отъ одного поколѣнія къ другому. Но жизнь состоитъ въ превращеніи напряженной силы или потенціальной энергіи питательныхъ веществъ въ живую силу или актуальную энергію жизненныхъ процессовъ. Слѣдовательно по генеалогической цѣпи передается извѣстный запасъ напряженной силы, не растрчиваемый индивидами цѣпи на свои личныя цѣли. Поэтому г. Шкляревскій называетъ ихъ «потенціальными индивидами». Было время, когда вся органическая природа состояла исключительно изъ такихъ потенціальныхъ индивидовъ. И для поддержанія непрерывности органической жизни нѣтъ собственно и надобности въ иныхъ ея формахъ. Индивиды генеалогическихъ цѣпей могли бы даже прогрессировать, хотя и медленно: каждая развивающаяся клѣточка наслѣдуетъ всѣ наростанія измѣненій, какія жизнь производитъ въ предшествующихъ членахъ цѣпи и слѣдовательно здѣсь имѣется постоянный прогрессъ. Однако такой моногенетическій міръ представлялъ бы большія несовершенства. Случайная преждевременная смерть индивида обрывала бы существованіе всей цѣпи. Еслибы природа парализовала эту возможность утраты наслѣдія цѣлыхъ поколѣній такимъ образомъ, что не одна, а нѣсколько клѣточекъ индивида получили бы способность къ самостоятельной жизни, то и это представляло бы огромныя неудобства. «Размножаясь въ геометрической прогрессіи, виды представили бы въ очень короткое время громадное число почти тождественныхъ индивидуумовъ. Эти однородные индивидуумы имѣли бы конечно и одинаковыя

потребности къ поддержанію и улучшенію своего существованія. При недостаткѣ въ окружающей средѣ средствъ къ ихъ удовлетворенію, который не замедлитъ обнаружиться при всякомъ чрезмѣрномъ размноженіи индивидуумовъ, непримиримая, истребительная война закипѣла бы между ними въ безконечно большихъ размѣрахъ, чѣмъ мы наблюдаемъ ее теперь, и въ силу ея весь прогрессъ органическаго міра направился бы главнымъ образомъ на улучшеніе органовъ и способностей къ уничтоженію себѣ подобныхъ. Такимъ образомъ моногенетическій міръ *исключительно женскихъ индивидуумовъ*, вопреки тому, что можно было бы подумать съ перваго взгляда, былъ бы міромъ вражды, насилія, борьбы за существованіе въ самой отвратительной ея формѣ, въ формѣ паррицидизма, т. е. истребленія своихъ ближайшихъ родственниковъ для спасенія собственной жизни» (9).

Я подчеркнулъ слова: *исключительно женскихъ индивидуумовъ* потому, что не успѣлъ еще сказать, что по мнѣнію г. Шкляревскаго потенциальные индивиды и женскіе — одно и то же. Хотя моногенетическіе индивиды, собственно говоря, безполы. но на основаніи разныхъ соображеній, которыя я излагать не стану, г. Шкляревскій доказываетъ, что участіе мужскихъ недѣлимыхъ въ явленіяхъ воспроизведенія себѣ подобныхъ играетъ второстепенную роль. Завѣдомо женскіе индивиды производятъ иногда себѣ подобныхъ одни, безъ участія мужскаго элемента: индивиды мужскіе на это неспособны.

Итакъ органический міръ былъ нѣкогда исключительно моногенетическимъ и состоялъ изъ потенциальныхъ или женскихъ индивидовъ, связанныхъ въ генеалогическія цѣпи. Такіе индивиды существуютъ и понынѣ на низшихъ ступеняхъ жизни. Первымъ шагомъ, нарушившимъ это однообразіе, было появленіе гермафродитовъ, въ которыхъ мужской и женскій элементы обозначаются все яснѣе. «Такимъ образомъ на основаніи принципа распредѣленія труда совершается освобожденіе гермафродитовъ отъ соотвѣтственной половины генетической дѣятельности. а это открываетъ имъ возможность тѣмъ большаго совершен-

ствования относительно других отправлений». Наконецъ моногенезисъ смѣняется вполне опредѣленнымъ амфигенезисомъ, т. е. рожденіемъ отъ двухъ родительскихъ организмовъ, женскаго и мужскаго. Мужской индивидъ совершенно подобенъ женскому, потенціальному, за исключеніемъ того, что онъ лишенъ способности производить генеалогическую цѣпь. *«Это были слѣдовательно какъ бы неудавшіяся или менѣе совершенныя женскія недѣлимыя»*. Мужскіе индивиды суть представители живой силы или актуальной энергіи даннаго вида, почему г. Шкляревскій и называетъ ихъ индивидами актуальными. Не смотря на тождественность ихъ организаціи съ организаціей женскихъ индивидовъ, жизненный процессъ тѣхъ и другихъ существенно различенъ. Въ актуальныхъ, мужскихъ индивидахъ запасъ живой силы не дѣлится на двѣ части, онъ весь уходитъ на личныя цѣли индивида, а потому въ нихъ преобладаютъ формы живой силы и механической работы. Въ женскихъ индивидахъ напротивъ жизненный процессъ имѣетъ болѣе скрытную форму потенціальной энергіи, потому что часть ихъ силы должна сохраняться въ видѣ запаса для будущихъ поколѣній.

Появленіе актуальныхъ индивидовъ и замѣна моногенезиса амфигенезисомъ имѣли чрезвычайно важныя послѣдствія и радикально измѣнили и формы, и характеръ органической жизни. Прежде всего устранилась опасность той кровавой борьбы, того паррицидизма, который, какъ мы видѣли, грозилъ моногенетическому міру. Принципомъ амфигенетическаго міра стала любовь. Она связала тѣснѣйшими узами индивиды актуальные и потенціальные. Вотъ какъ поэтически описываетъ г. Шкляревскій зарожденіе и развитіе этого чувства: «Можно думать, что происхожденіе этого чувства чисто психическое. Одновременное глубокое сходство между потенціальными и актуальными индивидами въ основныхъ чертахъ организаціи и различіе въ характерѣ внѣшнихъ проявленій ея играло вѣроятно при этомъ главную роль. Какъ изображеніе въ хрустальной глубинѣ воды, должно было притягивать къ себѣ это странное отраженіе въ другомъ собственнаго существа. Въ немъ чулось что-то род-

ственное и въ то же время чужое, что-то непосредственно понятное и въ то же время интригующее какою-то тайной. Любопытство должно было сильно возбуждаться этой загадкой; надъ ея разрѣшеніемъ должна была работать и фантазія, и внимательное, трезвое наблюденіе. Передать этому другому существу все, что поражаетъ въ окружающемъ мірѣ или возникаетъ въ глубинѣ собственнаго сознанія, узнать отъ него его собственную повѣсть о томъ же должно было доставлять совершенно особенное удовольствіе самымъ примитивнымъ существамъ, снабженнымъ самыми элементарными психическими силами» (40).

Планъ моихъ записокъ читателю извѣстенъ: я беру мнѣнія умныхъ или по крайней мѣрѣ ученыхъ людей, сопоставляю ихъ, сравниваю и лично на себя беру только подвести итогъ. Такъ и теперь я имѣю въ виду главнымъ образомъ свести на одну ставку мнѣнія гг. Шкляревскаго и Мечникова, прихвативъ по возможности и г. Воеводскаго. Но выписавъ краснорѣчивое изображение г. Шкляревскимъ любви, я не могу удержаться отъ одного бѣглаго замѣчанія. Не отрицая ни поэтичности этого изображенія, ни примѣчательности его въ устахъ медика и натуралиста, которыхъ такъ часто упрекаютъ въ матеріализмъ, не трудно однако видѣть, что изображеніе это грубитъ натянутостью. «Фантазія» и способность къ «внимательному, трезвому наблюденію» далеко не «самыя элементарныя психическія силы». Указанные г. Шкляревскимъ чисто психическіе моменты любви безъ сомнѣнія имѣютъ мѣсто въ высшихъ существахъ, но ужъ конечно «примитивнымъ существамъ», даже не современникамъ появленія амфигенезиса, а и гораздо позднѣйшимъ. Было не до нихъ. И вообще странно видѣть теорію любви, въ которой блещетъ своимъ отсутствіемъ ея фізіологическая основа. Это было бы странно даже по отношенію къ человѣку, а тѣмъ паче по отношенію ко всему амфигенетическому міру. Это впрочемъ мимоходомъ. Перехожу къ дальнѣйшимъ выводамъ нашего автора.

Слѣдствіями укрѣпленія амфигенезиса были обогащеніе, разнообразіе и прочность органическаго міра. Теперь уже исчезла

опасность, что со смертью одного индивида оборвется генеалогическая цѣпь и пропадетъ все, добытое трудомъ и жизнью безчисленныхъ поколѣній. Цѣпь, оканчивающаяся актуальнымъ индивидомъ, не исчезаетъ съ нимъ, она прививается къ какой-нибудь другой цѣпи и вливаетъ въ нее весь запасъ усовершенствованій, выработанныхъ рядомъ членовъ первой цѣпи. Отсюда эти усовершенствованія передаются третьей цѣпи и т. д. Въмѣсто изолированныхъ, замкнутыхъ генеалогическихъ цѣпей получается сложная генеалогическая сѣть, перекрещивающаяся въ безчисленныхъ комбинаціяхъ. Слѣдовательно и потенциальные, и актуальные индивиды имѣютъ свои опредѣленные задачи. Роль первыхъ существенно консервативная, роль вторыхъ—реформирующая, обновляющая. И тѣ и другіе одинаково необходимы въ экономіи природы. Уничтожьте потенциальные, женскіе индивиды,—и жизнь прекратится, потому что актуальные индивиды сами по себѣ неспособны ее продолжать. Уничтожьте индивиды мужскіе, актуальные,—и жизнь вернется къ первобытной скудости исключительно моногенетическихъ формъ.

Таковъ принципъ, приложеніе котораго къ человѣческому роду должно наконецъ разрѣшить *vexata questio*—женскій вопросъ. Вы уже безъ сомнѣнія догадываетесь, читатель и читательница, каковъ будетъ дальнѣйшій ходъ аргументаціи г. Шкляревскаго. Особенно вы, читательница, потому что съ свойственною вамъ проницательностью, о которой говоритъ и г. Шкляревскій, вы предчувствуете тотъ ворохъ любезностей, которыя повергнутся къ вашимъ стопамъ этотъ ученый, любезностей, тѣмъ болѣе цѣнныхъ, что онѣ исходятъ отъ ученаго и покоятся на почвѣ науки. Любезностей дѣйствительно много. Прежде всего г. Шкляревскій возстаетъ противъ того довольно распространеннаго мнѣнія, что особенности женской организаціи составляютъ искусственный продуктъ ея особеннаго воспитанія и жизни *въ цѣломъ ряду поколѣній*. Онъ напоминаетъ, что женщина рождается не только отъ женщины, какъ и мужчина не только отъ мужчины, и что поэтому унаслѣдованные результаты воспитанія матери должны парализоваться въ дочери унаслѣдованными результатами вос-

питанія отца. Можно бы было однако возразить, что тутъ дѣло не въ цѣломъ ряду поколѣній, а въ томъ, что каждая женщина, каковы бы ни были ея природныя, унаслѣдованныя качества, ставится въ извѣстныя, особенныя условія воспитанія и жизни. Но г. Шкляревскій доказываетъ, что эти условія жизни и воспитанія отнюдь не испортили женщины, ибо она должна быть поставлена скорѣе выше, чѣмъ ниже мужчины. Говорятъ напримѣръ о физической слабости женщины, называютъ женскій полъ слабымъ. Это вовсе несправедливо. Согласно различію между актуальными и потенціальными индивидами, женщина слабѣе мужчины проявленіями живой силы, но сильнѣе его запасомъ напряженной силы. Такъ мышечная система и скелетъ у женщинъ слабѣе, чѣмъ у мужчинъ. Это понятно, потому что мышцы и скелетъ составляютъ главный аппаратъ, которымъ мы производимъ работу, т. е. переводимъ нашу потенціальную энергію въ актуальную, въ живую силу. Точно также у женщинъ слабѣе другая форма превращенія потенціальной энергіи въ живую силу: образованіе животной теплоты. У нихъ слабѣе дыхательный процессъ, вслѣдствіе чего медленнѣе метаморфозъ вообще. И это собственно говоря—не недостатки, потому что, не смотря на относительно малый размѣръ мышечно-костной машины у женщинъ, она работаетъ вполне исправно. Медленность же метаморфоза даже гарантируетъ женщинамъ нѣкоторые преимущества передъ мужчинами. Благодаря ей, онѣ могутъ довольствоваться меньшимъ количествомъ пищи и меньшей пропорціей кислорода въ воздухѣ. Что же касается до запаса напряженныхъ, потенціальныхъ силъ, то онъ у женщинъ положительно больше. Замѣчено, что женщины чрезвычайно быстро поправляются послѣ трудныхъ болѣзней, гораздо быстрѣе, чѣмъ мужчины; равнымъ образомъ у нихъ быстрѣе заживаютъ раны. Это зависитъ отъ присутствія въ ихъ организмѣ большого числа пластическихъ желѣзъ, которыя представляютъ запасы скопленія кѣлочекъ, не имѣющихъ еще опредѣленнаго назначенія. Это, такъ сказать—кладовыя жизни. Изъ хранящихся въ нихъ неприспособившихся къ спеціальной дѣятельности кѣлочекъ, смотря п

надобностямъ организма, пополняется убыль кѣлочекъ крови, мышцъ, мозга и т. д. У женщинъ такихъ кладовыхъ больше, чѣмъ у мужчинъ. Обращаясь къ психической организаціи женщины, мы встрѣчаемся съ мнѣніемъ, что женщина въ этомъ отношеніи ниже мужчины, въ доказательство чего приводится тотъ фактъ, что ея мозгъ приблизительно на четверть фунта легче мозга мужчины. Подробнымъ расчетомъ, въ который введены, кромѣ вѣса мозга, вѣсъ всего тѣла и вѣсъ двигательной системы, г. Шкляревскій доказываетъ, что вѣсъ мозга женщины, не только относительно, а даже абсолютно больше вѣса мозга мужчины. «Этому результату, прибавляетъ авторъ, не слѣдуетъ конечно придавать больше значенія, чѣмъ онъ вѣроятно имѣетъ. Кромѣ массы, въ отправленіяхъ мозга несомнѣнно играетъ роль также большая или меньшая тонкость организаціи. *Но не лишено интереса, что именно мужчина придется ссылаться на гипотетическую тонкость организаціи для доказательства равноправности своего мозга съ женскимъ въ психическомъ отношеніи.* Болѣе осязательное преимущество массы оказывается при внимательномъ разсмотрѣніи на сторонѣ женщины». И это относится не только къ органу психической жизни, а и къ ней самой. Бокль называетъ умъ женщины по преимуществу дедуктивнымъ. Вундтъ—преимущественно индуктивнымъ. Г. Шкляревскій не видитъ въ этомъ противорѣчія. Въ основѣ всѣхъ психо-физическихъ явленій лежитъ несознаваемое логическое умозаключеніе, исходный пунктъ котораго есть нѣчто конкретное и слѣдовательно мы можемъ назвать нашу психо-физическую дѣятельность индуктивнымъ мышленіемъ. Продукты этого мышленія, вмѣстѣ съ унаслѣдованными продуктами мышленія длиннаго ряда предковъ, составляютъ сферу «безсознательной психической жизни индивида». Область сознательной психической дѣятельности ничтожна въ сравненіи съ сферою дѣятельности безсознательной, но и въ той и другой царятъ одни и тѣ же логическіе законы. Поэтому дедукція можетъ быть названа безсознательной индукціей: ея первая посылка есть въ сущности результатъ индуктивнаго умозаключенія, совершавшагося безсознательно, но

по тѣмъ же логическимъ законамъ. Когда говорятъ о находчивыхъ ораторахъ, о вдохновенныхъ поэтахъ, о быстро ориентирующихся практическихъ людяхъ, о генияхъ и проч., то говорятъ о людяхъ, имѣющихъ въ своемъ распоряженіи богатый и подвижный матеріалъ въ бессознательной сферѣ души. «Представленія и идеи свободно и логически законно притекаютъ къ ихъ сознанию изъ сферы бессознательнаго. Подобнымъ же свойствомъ отличается умственная дѣятельность женщины», прибавляетъ г. Шкляревскій. «Логическій процессъ ея отличается быстротою, потому что первая большая посылка его обыкновенно уже готова въ сферѣ бессознательнаго и тотчасъ представляется ея уму въ подходящемъ случаѣ». Затѣмъ слѣдуютъ нѣкоторые разсужденія о сообразительности, остроуміи, находчивости, хитрости (не въ смыслѣ однако недостатка правдивости) женщинъ. Разсужденій этихъ я приводить не буду, потому что они и помимо г. Шкляревскаго много разъ высказывались, и еще потому, что они идутъ не «отъ науки» а отъ житейскаго наблюденія, болѣе или менѣе поверхностнаго. Научныхъ доказательствъ напримѣръ того, что обычный процессъ женской мысли подобенъ процессу мысли гениальнаго мужчины, г. Шкляревскій не представляетъ. Такъ или иначе, но и здѣсь женщина оказывается скорѣе выше, чѣмъ ниже мужчины. То же самое и въ нравственной области. «Съ понятіемъ нравственности мы соединяемъ нежеланіе руководиться въ своихъ дѣйствіяхъ исключительно личными цѣлями. Такое нежеланіе естественно должно въ большемъ размѣрѣ проявляться въ потенциальныхъ индивидуумахъ, личная жизнь которыхъ составляетъ только частицу заключенной въ нихъ видовой жизни... Интересы личной жизни, по самой сущности женской природы, отступаютъ у нея на гораздо болѣе отдаленный планъ, чѣмъ у живущаго актуальной жизнью индивидуума». Это положеніе опять подтверждается почерпнутымъ изъ житейскаго наблюденія разсужденіями о самоотверженіи женщинъ, объ ихъ энергіи въ неудачахъ и т. д. Въ концѣ концовъ: «женскій и мужской типъ человѣка отличаются другъ отъ друга существенными чертами. Это отличіе не составляетъ

искусственного продукта случайныхъ условій, но коренится въ проходящей черезъ всю органическую природу разницѣ между потенциальными и актуальными представителями даннаго вида. Женщина по натурѣ своей первоначальнѣе, ближе къ основному типу челоуѣка, отъ котораго мужчина составляетъ нѣсколько одностороннее уклоненіе. Мы не должны поэтому удивляться, что почти всѣ важнѣйшія открытія и изобрѣтенія въ наукѣ, искусствѣ и жизни были сдѣланы мужчинами. Объясненія этого факта очевидно должно искать въ болѣеи наклонности къ спеціализму и односторонности мужского типа. Между мужчинами, говорить знаменитый фізіологъ Бурдахъ, встрѣчается больше гениевъ, но за то и больше глупцовъ. Между женщинами напротивъ преобладаетъ приближеніе къ среднему типу... Женская натура цѣльнѣе, уравновѣшеннѣе и гармоничнѣе. Уклоненія въ ту или другую сторону встрѣчаютъ въ ней несравненно болѣеи противодѣйствіе, чѣмъ въ мужчинѣ. Стыдливость женщины составляетъ какъ бы механическое послѣдствіе этихъ условій ея организаціи, равно какъ и ея инстинктивное чутье истинны, добра и изящнаго. Вопреки распространенному теперь мнѣнію мы можемъ слѣдовательно утверждать, что *женственность*—не пустое слово; подъ этимъ именемъ скрывается значительная сумма совершенно конкретнаго содержанія».

Вотъ что говорить наука, читательницы. Оно лестно конечно, но не совсѣмъ безопасно. По крайней мѣрѣ я на вашемъ мѣстѣ не особенно радовался бы этой массѣ любезностей. Дебаты о превосходствѣ мужчинъ или женщинъ, сравненія представителей обоихъ половъ въ физическомъ, умственномъ и нравственномъ отношеніяхъ составляютъ довольно обыкновенное явленіе. Имъ занимались и занимаются люди очень различнаго роста. Занимался Прудонъ, который, какъ извѣстно, пришелъ къ заключеніямъ, для женщинъ очень нелестнымъ; занимается и какая-то геронья Островскаго, предлагающая «кавалеру» вести разговоръ о мужчинѣ и женщинѣ, съ тѣмъ чтобы каждый защищалъ «свое званіе». На мѣстѣ женщинъ я бы остерегался защищать такимъ образомъ свое званіе, потому что боялся бы вопроса: если вы и

теперь такъ хороши, то какого, съ позволенія сказать, рожна вамъ еще нужно? зачѣмъ требуете вы измѣненія тѣхъ условій жизни, которыя поставили васъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ даже выше мужчины и во всякомъ случаѣ не ниже? Этотъ ядовитый вопросъ скрывается въ восторженныхъ похвалахъ женскому званію, какъ иногда отвратительная жаба прячется въ цвѣтникѣ душистыхъ розъ и фіалокъ. Женщины многократно слышали такого рода воззванія: о, вы—высшія, почти неземныя созданія, вы—вѣнецъ творенія! Недаромъ капуста создана прежде козла, козелъ прежде Адама, а Адамъ прежде Евы. Это потому, что женщина выше мужчины, мужчина выше козла, а козелъ выше капусты. Вы, вѣнецъ творенія, не должны мараться объ дрязги жизни, вамъ должна быть предоставлена болѣе высокая дѣятельность! Васъ должна окружать не грязь земли, а лазурь небесъ, изумрудъ луговъ, алмазы звѣздъ... между прочимъ, пожалуйте въ кухню!.. На мѣстѣ женщины я бы охотнѣе выслушалъ совсѣмъ другого рода апострофы. Напримѣръ: о, тупеядды, притупившіе въ себѣ силу мысли бездѣятельностью мозга и силу чувства замкнутостью въ кругѣ интересовъ, діаметръ котораго равенъ вершку! Жалкія созданія, не принимающія прямого участія въ крестномъ пути человѣчества и не понимающія, что значитъ терновый вѣнецъ! и т. п. Эта грубая ругань была бы несправедлива, но, читательницы, выслушавъ ее, вы могли бы сказать: такъ дайте же намъ удлинить діаметръ круга нашихъ интересовъ! пустите насъ на крестный путь человѣчества! вотъ вамъ мой бальный вѣнокъ, давайте сюда терновый! я вамъ покажу, какъ его надо носить!.. Дѣ, timeo Danaos et dona ferentes, думалъ бы я, слушая рѣчи, вытекающія изъ медоточивыхъ устъ г. Шкляревскаго. Нѣтъ ли жабы въ этомъ роскошномъ цвѣтникѣ? Не безъ того. Г. Шкляревскій отнюдь не сторонникъ предоставленія женщинамъ широкой общественной дѣятельности, онъ для этого слишкомъ высоко цѣнитъ «женственность». Наиболѣе ушедшіе впередъ въ примѣненіи женскихъ силъ къ общественной дѣятельности американскіе порядки онъ не одобряетъ, обращая вниманіе на оборотную сторону этихъ

порядковъ,—на статистически дознанныя безплодіе американскихъ женщинъ и физическое вырожденіе коренныхъ американцевъ вообще. Вырожденіе это состоитъ главнымъ образомъ (и особенно у женщинъ) въ атрофіи желѣзистыхъ тканей, въ недостаткѣ тѣхъ кладовыхъ жизни, о которыхъ было говорено выше. Г. Шкляревскій естественно видитъ въ этомъ наказаніе, налагаемое природою за нарушеніе ея законовъ. Главною сферою дѣятельности женщины по мнѣнію г. Шкляревскаго всегда остается и должна оставаться семья. Однако должно ему отдать справедливость, онъ не говоритъ: пожалуйте въ кухню! Онъ исполнѣ согласенъ, что есть незанятая женскія руки, которымъ должна быть найдена работа, и голодные женскіе желудки, которымъ должна быть пріискана пища. Именно эти соображенія и побудили его сказать свою рѣчь о женскомъ образованіи. Онъ требуетъ только, чтобы образованіе это находилось въ соотвѣстствіи съ тѣми особенностями потенціальныхъ индивидовъ, которыя мы, слѣдуя за нимъ, изложили выше. Вотъ его планъ.

- 1) Женщины должны получать въ особыхъ школахъ приготовительное образованіе, центромъ тяжести которыхъ должно быть изученіе отечественнаго языка; къ этому предмету должны примыкать: математика, исторія, «элементы естествовѣдѣнія», два иностранныхъ языка (изъ нихъ одинъ—латинскій), одно тоническое и одно изобразительное искусство. Само собою разумѣется «религіозный христіанскій элементъ, такъ много говорящій душѣ женщины».
- 2) «Возможно полное гуманическое образованіе, состоящее изъ историческаго, литературнаго и эстетическаго элементовъ».
- 3) «Профессіональное образованіе, имѣющее главнымъ образомъ въ виду педагогическую дѣятельность женщины, и притомъ въ гораздо большемъ размѣрѣ, чѣмъ это было до сихъ поръ».

Послѣднія два требованія достиглись бы учрежденіемъ во всѣхъ университетскихъ городахъ женскихъ педагогическихъ институтовъ съ двумя факультетами—историко-филологическимъ и физико-математическимъ. Что касается до предоставленія женщинамъ медицинской профессіи, то къ этому вопросу г. Шкляревскій относится нѣсколько двусмысленно. Съ одной стороны

онъ настежь отворяетъ двери медицинской профессіи передъ женщинами, требуетъ, чтобы на это дѣло не жалѣли никакихъ расходовъ, чтобы для женщинъ были учреждены стипендіи, чтобы имъ былъ открытъ доступъ ко всѣмъ ступенямъ медицинской профессіи, чтобы имъ были предоставлены всѣ связанныя съ ними офиціальныя права. Но въ первыхъ все это отнесено имъ въ примѣчанія, въ текстѣ же рѣчи медицина не включена въ проектъ женскаго образованія, тамъ профессиональное образованіе ограничено педагогикой. Въ вторыхъ онъ распахиваетъ двери своей профессіи передъ женщинами не ради нихъ, а ради нужды государства, которымъ наличное количество медиковъ-мужчинъ не удовлетворяетъ. Онъ даетъ при этомъ понять, что собственно говоря медицина мало «гармонизируетъ съ особенностями женской натуры» (47) и что женщины, «которые могутъ съ честью проходить медицинскую карьеру, во всякомъ случаѣ будутъ скорѣе исключенія, чѣмъ правила». Тоже относится и къ карьерѣ юридической (32). Онъ все-таки стоитъ на томъ, что нормальная сфера дѣятельности женщины есть семья: педагогическая профессія дѣлится имъ преимущественно потому, что «она всего менѣе отрываетъ женщину отъ собственной семьи». Но для выполненія своего назначенія въ семьѣ женщина должна получать несравненно болѣе широкое образованіе, чѣмъ получаемое ею теперь. Какое именно — на это отвѣчаетъ его проектъ.

Ласковое теля двухъ матокъ сосетъ, говорить пословица. Г. Шкляревскій есть ласковое теля. Это я заключаю и изъ всѣхъ побочныхъ орнаментовъ его рѣчи, объ которыхъ говорить не стану, и изъ ея сути. Въ самомъ дѣлѣ онъ раздалъ всѣмъ сестрамъ по серьгамъ! Его рѣчью могутъ остаться довольны и женщины, и мужчины, и реалисты, и идеалисты, и сторонники, и противники женскаго вопроса, и даже отчасти сторонники весьма различныхъ системъ образованія вообще. Въ подробностяхъ его изложенія читатель найдетъ весьма искусное лавированіе между многочисленными, лежавшими на его пути отмеями и подводными камнями. Несмотря на то, его про-

ектъ женскаго образованія, равно какъ и сопровождающіе его комментаріи, кажется дѣйствительно заслуживаютъ вниманія, объ чемъ впрочемъ предоставляю судить другимъ. Я замѣчу только слѣдующее: ни самый проектъ, ни мотивированіе его не имѣютъ непосредственной связи съ трактатомъ о потенциальныхъ и актуальныхъ индивидахъ. Да и вообще слѣдовъ специальности автора въ проектѣ нѣтъ, если не считать поэтического изложенія состоянія женскаго организма въ возрастѣ 13—16 лѣтъ, которое (состояніе) не позволяетъ давать женщинамъ ни полнаго классическаго образованія (т. е. съ двумя древними языками), ни основаннаго на математикѣ. Вѣрно или не вѣрно это соображеніе, но ради него не стоило уходить въ слѣдую древность исключительно моногенетическаго міра. Однако разъ мы тамъ побывали, резюмируемъ словами самого г. Шкляревскаго результаты нашего путешествія.

«Мы видѣли, что отличія между мужчиной и женщиной состоятъ не въ томъ, что у одного пола есть силы или способности совершенно неавѣстныя другому, а только въ томъ, что присущее имъ обоимъ количество силы распределено въ различныхъ полахъ неодинаково между различными отправлениями... Какъ отъ мужчинъ, такъ и отъ женщинъ приходится слышать убѣжденіе, что именно мужчина составляетъ высшій типъ. Но вы видѣли, что не только въ психическомъ, но и въ физическомъ отношеніи женщина имѣетъ нѣкоторыя несомнѣнныя преимущества передъ мужчиной, хотя съ другой стороны этотъ послѣдній тоже обладаетъ нѣкоторыми свойствами, въ которыхъ ему уступаетъ женщина. Какъ рѣшить, что выше: большая мышечная сила или большая пластическая сила организма, большая опредѣленность логическаго мышленія или большее богатство безсознательной сферы, сохраненіе ли общихъ видовыхъ признаковъ или постоянное внесеніе въ нихъ новыхъ комбинацій? Очевидно всѣ эти свойства равно важны, но такъ какъ они на извѣстной высотѣ развитія до нѣкоторой степени исключаютъ другъ друга, то и оказалось невозможнымъ совмѣщеніе ихъ въ одномъ индивидуумѣ въ болѣе совершенныхъ видахъ. *Прогрессъ въ организмахъ совершается только посредствомъ дифференцірованія формъ и раздѣленія труда.* Нѣтъ никакого сомнѣнія, что ни специально женскія, ни специально мужскія особенности не достигли бы даже отдаленно наблюдаемой теперь полноты развитія, еслибы культура ихъ не была предоставлена отдѣльнымъ индивидуумамъ. Мечтать о томъ, чтобы съ помощью воспитанія или общественнаго устрой-

ства можно было сдѣлать женщину подобною мужчине значить колоссально заблуждаться относительно размѣровъ нашихъ собственныхъ силъ и относительно нашей независимости отъ общихъ законовъ природы. Мы *бесцельны произвести подобный репрессъ нашей природы, — и въ этомъ наше счастье.*

Аминь. Въ подчеркнутыхъ мною строкахъ заключается самая суть воззрѣній г. Шкляревскаго на теорію развитія, та самая суть, около которой ходилъ г. Воеводскій. Г. Воеводскій просто говоритъ: по теоріи развитія все бываетъ сначала дурно, а потомъ постепенно совершенствуется. Г. Шкляревскій дополняетъ это положеніе: все бываетъ сначала дурно, потому что *бѣдно, однообразно*, а потомъ постепенно совершенствуется, потому что усложняется, дифференцируется. Конечно это условно, но по крайней мѣрѣ я понимаю человека, знаю въ чемъ именно по его мнѣнію состоитъ развитіе. Оно состоитъ въ полиморфизмѣ, въ многоформенности. И на первый взглядъ можетъ показаться, что того же мнѣнія держится и г. Воеводскій. Одинъ ученый слѣдитъ, какъ изъ царства моногенезиса образовалось, черезъ ступень гермафродитизма, царство амфигенезиса и какъ изъ этомъ царствѣ мужской и женскій типы ко всеобщему благополучію расходились. Другой ученый слѣдитъ, какъ изъ первобытной бушменской формулы «хорошо украсть и дурно быть обокраденнымъ» образовались болѣе сложныя понятія о добрѣ и злѣ, какъ образовались понятія полезнаго, нравственнаго, религіознаго. Однако я не могу поручиться, что оба ученые понимаютъ теорію развитія одинаково. У г. Воеводскаго раздробленіе, дифференцированіе понятій о добрѣ и злѣ происходитъ *внутри одной и той же личности*. Тотъ же бушменъ, который полагалъ, что хорошо украсть и дурно быть обокраденнымъ, съ теченіемъ времени, вмѣсто простой квалификаціи: хорошо, дурно, — получаетъ возможность болѣе тонкой, сложной, разносторонней оцѣнки. Въ психической жизни сосѣда этого бушмена этотъ же процессъ можетъ повториться до мельчайшихъ подробностей. Такъ что изъ теоріи развитія, какъ она чуть-чуть намѣчена г. Воеводскимъ, еще не слѣдуетъ, чтобы бушменъ и бушменка, развиваясь, перестали походить другъ на

друга, какъ то требуется теоріей развитія г. Шкляревскаго. Къ сожалѣнію, благодаря самодовольству г. Воеводскаго, которое помѣшало ему представить хоть какія-нибудь оправданія воззрѣнію, что все совершенствуется, благодаря этому самодовольству, я лишень возможности повѣрить его взглядами взгляды кievскаго профессора. Я не могу даже приблизительно сказать, согласился бы онъ съ воззрѣніями г. Шкляревскаго или нѣтъ, подтвердилъ бы или опровергъ своею историко-филологическою эрудиціей эрудицію біологическую. А это конечно очень жаль, потому что было бы въ высокой степени интересно свести на очную ставку двѣ звѣзды, равно блистающія на двухъ различныхъ небосклонахъ.

Не поможетъ ли намъ г. Мечниковъ? Онъ—естествоиспытатель по профессіи, но занять преимущественно антропологіей, наукой о человѣкѣ, той самой наукой, которая съ одной стороны примыкаетъ къ наукамъ физико-математическимъ и въ частности къ біологіи, а съ другой—къ наукамъ нравственно-политическимъ. Обратимся къ нему. У него мы встрѣтимъ еще богѣе прямое примѣненіе теоріи развитія къ занимающему насъ женскому вопросу.

Несмотря на популярность изложенія и очень небольшой размѣръ изслѣдованія г. Мечникова, я беру на себя смѣлость, хоть мнѣ это и не подобаетъ, назвать его образцовымъ въ смыслѣ, такъ сказать, научнаго изящества: такъ логически оно построено и такъ всесторонне охватываетъ избранный предметъ. Прежде всего авторъ ставитъ общій и общеизвѣстный принципъ: «Если какой-нибудь видъ или индивидуумъ животнаго дѣлаетъ шагъ впередъ противъ своихъ собратій, то отношенія возрастовъ у него мѣняются и тѣмъ самымъ являются причиной различныхъ, иногда довольно сложныхъ измѣненій». Если мы напримѣръ будемъ сравнивать такихъ близкихъ родственниковъ, какъ лягушка и тритонъ, изъ которыхъ первая занимаетъ въ зоологической системѣ нѣсколько высшее мѣсто, то увидимъ, что тритонъ всю жизнь сохраняетъ форму удлиненнаго, ящеровиднаго животнаго съ короткими ногами и длиннымъ хвостомъ; лягушка

же только въ некоторое время имѣть такую форму, а съ дѣйствующимъ развитіемъ теряетъ признаки, сближающіе ее по внѣшности съ тритономъ. То есть взрослая лягушка меньше похожа на себя въ личиночномъ состояніи, чѣмъ тритонъ, который какъ бы соответствуетъ лягушкѣ въ ранней стадіи ея развитія; лягушка претерпѣваетъ болѣе глубокія измѣненія, чѣмъ ея низшій собратъ—тритонъ. Личинки гомара отличаются отъ взрослой формы раздвоенными ногами, приближаясь въ этомъ отношеніи къ нѣкоторымъ мелкимъ морскимъ ракамъ, которые такъ и называются раздвоенноногими; у послѣднихъ этотъ признакъ остается на всю жизнь, тогда какъ у гомара онъ съ теченіемъ времени пропадаетъ и составляетъ признакъ только одной изъ ступеней развитія. Подобныхъ примѣровъ можно было бы привести множество. Обращаясь къ человѣческому роду, мы встрѣчаемъ многостороннее сходство между дѣтьми цивилизованныхъ людей и дикарями. Сходство это свидѣтельствуетъ, что и здѣсь нѣкоторые признаки, свойственные низшимъ расамъ въ продолженіи всей жизни, у высшихъ имѣютъ мѣсто только временно, въ раннія фазы развитія. Такъ лицо европейскаго ребенка, широкое, безъ переносья, съ широкимъ носомъ и толстыми губами, очень напоминаетъ лицо негра. Такъ вкусы и понятія европейскихъ мальчиковъ напоминаютъ нравы и обычаи дикарей. Леббокъ собралъ много относящихся сюда фактовъ. Онъ же обратилъ вниманіе на сходство многихъ языковъ первобытныхъ народовъ съ языкомъ нашихъ дѣтей, которыя такъ любятъ повторять слоги: папа, пята, мама, вава, ляля, дядя, няня и т. п. Этого рода слова почти не встрѣчаются въ европейскихъ языкахъ, а въ языкахъ негритянскихъ народовъ, полинезійцевъ, австралійцевъ и прочъ напротивъ очень распространены. Тэйлоръ приводитъ очень много данныхъ въ пользу того мнѣнія, что дѣтскія игры суть остатки обычаевъ, нѣкогда бывшихъ въ употребленіи у взрослыхъ и въ этомъ значеніи и до сихъ поръ сохранившихся у нѣкоторыхъ дикихъ народовъ. Значитъ мы и здѣсь имѣемъ нѣкоторую аналогію съ приведенными примѣрами лягушки и тритона, гомара и раздвоенноногихъ раковъ.

«Изъ всего сказаннаго неизбѣжно вытекаетъ тотъ простой выводъ, что между отдѣльными возрастами дикаря существуетъ несравненно большее сходство, чѣмъ между возрастами цивилизованнаго человѣка, подобно тому, какъ хвостатая личинка тритона гораздо больше похожа на взрослую форму, чѣмъ головастики на лягушку. Личинка тритона съ того момента, когда она потеряла жабры и приобрѣла четыре ноги, есть уже по всѣмъ признакамъ настоящій молодой тритонъ; соответствующая же стадія развитія лягушки будетъ еще головастикомъ, личинкой. Тоже самое—и у человѣка. На низшихъ ступеняхъ юноша становится взрослымъ, начиная съ того момента, когда у него появились физическіе признаки взрослого человѣка, когда онъ достаточно силенъ для того, чтобы собственными руками обеспечивать жизнь свою и своего семейства. На высшихъ же ступеняхъ развитіе продолжается несравненно дольше, такъ какъ цѣль, которой оно должно достигнуть, шире и глубже».

Установивъ такимъ образомъ принципъ, авторъ переходитъ къ его приложенію. Онъ беретъ для изслѣдованія возрастъ вступленія въ бракъ, какъ такой, относительно котораго имѣется всего болѣе точныхъ свѣдѣній. Это—возрастъ, рѣзко раздѣляющій жизнь человѣка на двѣ половины, выражающійся важными измѣненіями организма, встрѣчаемый у дикарей разными торжествами, а у цивилизованныхъ людей заносимый кромѣ того въ разныя книги и подлежащій поэтому статистическимъ вычисленіямъ.

Не могу мимоходомъ не обратить вниманія читателя на эти побужденія ученаго человѣка. Возрастъ вступленія въ бракъ есть практически такой важный моментъ въ жизни человѣка, столько съ нимъ связывается свѣта и тѣни, надеждъ, разочарованій, вообще жизни, что нашъ братъ, профанъ, можетъ тоже надъ нимъ призадуматься. Но нашъ братъ призадумается надъ этимъ моментомъ ради него самаго, ради того бурнаго хлокотанія жизни, которое овладѣваетъ въ этотъ моментъ головою и играетъ имъ какъ расхолодившаяся волна щепкой. Ученый человѣкъ ничего этого во вниманіе не беретъ. Онъ изслѣ-

дуетъ возрастъ вступленія въ бракъ единственно потому, что такое изслѣдованіе удобно, что для него имѣется достаточное количество статистическихъ и другихъ данныхъ. Этотъ характеръ научнаго безкорыстія г. Мечниковъ очень старается соблюсти. Онъ считаетъ необходимымъ предупредить читателя, что всѣ его соображенія и сопоставленія направлены «для разрѣшенія теоретическихъ вопросовъ общей антропологіи»; что у него «нигдѣ ни» прямымъ, ни косвеннымъ путемъ не высказываются и не затрогиваются практическіе вопросы, какъ бы тѣмъ они ни находились въ связи съ тѣмъ предметомъ, о которомъ идетъ рѣчь въ настоящей статьѣ». Признаюсь, подобныя жесты и мины ученыхъ людей меня всегда очень огорчаютъ. Сами же они часто говорятъ о томъ, что люди практики не обладаютъ нужными для нихъ познаніями и сами же, чреватые знаніемъ, отворачиваются отъ практики. Съ другой стороны читатель слышалъ конечно рѣчи практиковъ, дѣльцовъ; я, дескать, не касаюсь ни прямымъ, ни косвеннымъ образомъ науки, я имѣю въ виду чисто практическій вопросъ. Этакъ конечно наука и жизнь, теорія и практика, всегда будутъ глядѣть въ разныя стороны. и мы, профаны, всегда будемъ предоставлены сами себѣ.

Какъ бы то ни было, но, не смотря на жесты и мины г. Мечникова (другіе скажутъ можетъ быть: благодаря этимъ жестамъ и минамъ), изслѣдованіе его пригодно и для насъ, простыхъ смертныхъ. Можетъ быть это уже отъ самаго предмета зависеть.

Г. Мечниковъ, приведя многочисленныя свидѣтельства путешественниковъ относительно дикихъ народовъ и нѣкоторыя статистическія данныя относительно народовъ европейскихъ, приходитъ къ такому заключенію: «Половая зрѣлость (*pubertas*), общая физическая зрѣлость (*nubilitas*) и брачная зрѣлость (возрастъ вступленія въ бракъ) составляютъ три важныхъ момента въ жизни человѣка, имѣющихъ одну и ту же цѣль: удовлетвореніе стремленій къ поддержанію вида (размноженіе). Въ однихъ случаяхъ (большинство первобытныхъ народовъ) эти три момента совпадаютъ или почти совпадаютъ другъ съ другомъ; въ дру

гихъ же случаяхъ они раздвигаются, между ними появляются промежутки, тѣмъ болѣе длинныя, чѣмъ дольше совершается развитіе, и потому наиболѣе ощутительныя у наиболѣе цивилизованныхъ народовъ. Эти промежутки, означающіе неравномерное и слѣдовательно неодновременное развитіе аппаратовъ, служащихъ для одной и той же цѣли, составляютъ доказательство существованія дисгармоніи въ развитіи человѣка». Намъ нѣтъ надобности перечислять здѣсь весь рядъ фактовъ, приведшихъ г. Мечникова къ такому рѣзкому, смѣлому и въ высшей степени важному заключенію. Я возьму у него только два-три фактическія указанія, собственно въ поясненіе мысли автора. У большинства дикихъ народовъ женщина, правильнѣе говоря, дѣвочка съ появленіемъ менструаціи объявляется уже невѣстою и весьма скоро становится матерью. Мальчики съ наступленіемъ половой зрѣлости также считаются женихами. Если это условіе и осложняется нѣкоторыми общественными требованіями, то крайне элементарными. Напримѣръ у нѣкоторыхъ жителей Африки для вступленія въ бракъ требуется быть собственникомъ нѣсколькихъ трубокъ, стула, сундука, выстроить избу и поймать пѣйнаго. У атхинцевъ (жители сѣверныхъ Алеутскихъ острововъ) «вступать въ бракъ позволялось съ 10-лѣтняго возраста, какъ времени, въ которое мальчикъ могъ и долженъ былъ умѣть владѣть байдаркою и стрѣлами и слѣдовательно числиться изъ числа промышленниковъ, а дѣвица—шить». У цивилизованныхъ народовъ, относительно которыхъ имѣются статистическія данныя, браки совершаются несравненно позже. И тутъ есть извѣстная градація. Напримѣръ браки до 20-лѣтняго возраста у калмыковъ составляютъ больше половины—53,63%, всѣхъ браковъ, въ Россіи—47%, въ Сардиніи—15,74%, во Франціи—10,71%, въ Англіи—7,30%, въ Бельгіи—5,60%. Для насъ важны однако не эти числа, а отношенія между естественными, фізіологическими и культурными условіями брачнаго возраста. Дикарь женится какъ только въ немъ начинается говорить половой инстинктъ; онъ не встрѣчаетъ при этомъ никакихъ препятствій въ своей культурѣ. У европейскихъ народовъ такого

совпаденія условій естественныхъ и культурныхъ—нѣтъ. Напримѣръ статистика показываетъ, что у англичанокъ средній возрастъ вступленія въ бракъ равняется приблизительно 24 годамъ и $8\frac{1}{2}$ мѣсяцамъ; половая же зрѣлость у нихъ наступаетъ среднимъ числомъ въ $15\frac{1}{2}$ лѣтъ; значитъ промежутокъ между этими двумя моментами, у народовъ нецивилизованныхъ вообще говоря несуществующій, у англичанокъ равняется 9 годамъ и $2\frac{1}{2}$ мѣсяцамъ. У француженокъ онъ еще больше—11 лѣтъ. Надо замѣтить, что у европейцевъ (относительно дикарей въ этомъ отношеніи вѣроятно нѣтъ никакихъ данныхъ) половая зрѣлость наступаетъ раньше общей зрѣлости организма; а именно, по мнѣнію специалистовъ, для европейскихъ дѣвушекъ общая зрѣлость наступаетъ въ 20 лѣтъ, такъ какъ только къ этому времени завершается ростъ тазовыхъ костей. Но если мы примемъ и этотъ возрастъ за такой, на который сама природа указываетъ, какъ на возрастъ вступленія въ бракъ, такъ и то увидимъ, что цивилизація какъ бы отодвигаетъ его на нѣсколько лѣтъ. Разница между возрастомъ общей физической зрѣлости и дѣйствительнымъ возрастомъ вступленія въ бракъ равняется среднимъ числомъ для англичанокъ 4,66 года, для француженокъ—5,32, для норвежекъ—6,98, для голландокъ—7,78, для бельгіекъ—8,19 года. Подобный же, хотя менѣе очевидный результатъ получается и для мужчинъ.

Таковы нѣкоторые изъ данныхъ, побуждающихъ г. Мечникова сказать, что развитіе человѣка отнюдь не гармонично. Не столько человѣка вообще, сколько современнаго цивилизованнаго человѣка, потому что у первобытныхъ народовъ, у дикарей, моменты половой зрѣлости, общей физической зрѣлости и зрѣлости брачной совпадаютъ. Но вѣдь нѣкогда весь родъ человѣческій состоялъ изъ дикарей. Ужъ на что кажется греки героическаго періода, а и тѣ были варвары и людоѣды. Слѣдовательно въ томъ пути, который человѣчество прошло до современнаго уровня цивилизаціи, въ томъ триумфальномъ шествіи развитія, которое дѣлаетъ столь самодовольнымъ г. Воеводскаго, не все пахнетъ розой, не все совершенствуется. Г. Мечниковъ не въ первый

уже разъ обнаруживаетъ такое еретическое отношеніе къ теоріи развитія. Въ томъ же «Вѣстникѣ Европы» онъ напечаталъ въ 1871 году статью «Воспитаніе съ антропологической точки зрѣнія», съ которою между прочимъ нашимъ педагогамъ не мѣшало бы познакомиться. Уже тамъ доказывалось, что въ развитіи отдѣльныхъ аппаратовъ человѣческой машины существуютъ несоразмѣрности, усиливающіяся вмѣстѣ съ поступательнымъ ходомъ цивилизаціи. Мы оставимъ однако эту статью совсѣмъ въ сторонѣ, потому что въ статьѣ «Возрастъ вступленія въ бракъ» имѣются всѣ нужныя для насъ данныя.

Иному можетъ показаться, что сообщенные г. Мечниковымъ факты и даже тотъ итогъ, который онъ имъ подводитъ, не представляютъ ничего особенно омрачающаго триумфальное шествіе человѣчества отъ дикости къ цивилизаціи. Культурныя условія вступленія въ бракъ не совпадаютъ съ физиологическими, аппараты, служащіе для одной и той же цѣли, развиваются неравномѣрно, — ну такъ что же? что тутъ прискорбнаго? Тому, кто задастъ бы себѣ этотъ вопросъ, я предложилъ бы подумать о положеніи человѣка, у котораго нѣтъ рта, но есть желудокъ, требующій пищи. Какія именно неудобства сопровождаютъ несоразмѣрность распредѣленія моментовъ половой дѣятельности, мы сейчасъ увидимъ.

Такіе же результаты, какіе получились изъ сравненія возрастовъ вступленія въ бракъ первобытныхъ и цивилизованныхъ народовъ, получаются и при сравненіи высшихъ и низшихъ классовъ одного и того же народа. Достойны всякаго вниманія соображенія, побудившія г. Мечникова ввести это послѣднее сравненіе въ свое изслѣдованіе. «Въ статистикахъ говорится о Франціи, Англіи, и т. п., какъ о чемъ-то цѣльномъ и единомъ, — говорятъ онъ; между тѣмъ населеніе этихъ странъ состоитъ изъ многихъ группъ, стоящихъ на совершенно различной степени развитія». Въ частности по отношенію къ возрасту вступленія въ бракъ разница между высшими и низшими классами европейскихъ странъ оказывается дѣйствительно очень значительною. Ориентируясь при помощи очень остроумныхъ приѣмовъ въ слож-

ныхъ, запутанныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ скудныхъ данныхъ, г. Мечниковъ пришелъ къ заключенію, что англійскія высокопоставленныя лица, пары, бароны и проч., женятся позже англійскихъ рабочихъ; нѣмецкіе князья и графы позже нѣмецкихъ низшихъ классовъ; представители высшихъ русскихъ сословій позже русскихъ крестьянъ. Такимъ образомъ дѣйствительный возрастъ вступленія въ бракъ ниже у дикарей, чѣмъ у европейцевъ, и ниже у низшихъ классовъ, чѣмъ у высшихъ, болѣе цивилизованныхъ, т. е. цивилизація отодвигаетъ возрастъ вступленія въ бракъ. То же подтверждается и нѣкоторыми, очень впрочемъ скудными историческими фактами. Но отодвигая возрастъ вступленія въ бракъ, цивилизація совсѣмъ не въ тактъ вліяетъ на возрасты половой зрѣлости и общей физической зрѣлости. Для нагляднаго изображенія отношеній этихъ трехъ моментовъ половой жизни г. Мечниковъ составилъ таблицу «дисгармоническихъ періодовъ». Такъ называетъ онъ во первыхъ промежутокъ отъ наступленія половой до наступленія общей физической зрѣлости, и во вторыхъ промежутокъ отъ наступленія общей физической зрѣлости до вступленія въ бракъ. Надо еще замѣтить, что параллельно съ запаздываніемъ возраста вступленія въ бракъ идетъ и сокращеніе самаго числа браковъ. У дикарей холостяковъ почти не бываетъ, у цивилизованныхъ же людей, и преимущественно въ высшихъ классахъ, браки заключаются все рѣже и рѣже. Конечно составленная г. Мечниковымъ таблица дисгармоническихъ періодовъ имѣетъ значеніе только нагляднаго пособия и ничего еще не доказываетъ; не доказываетъ по крайней мѣрѣ вліянія цивилизаціи на удлиненіе дисгармоническихъ періодовъ. Иначе пришлось бы помѣстить на вершинѣ цивилизаціи нѣмецкихъ *Durchlaucht'овъ* и *Erglaucht'овъ*, потому что они стоятъ послѣдними въ таблицѣ, т. е. у нихъ дисгармоническіе періоды наиболѣе продолжительны. Но это конечно зависитъ отъ малаго числа данныхъ, бывшихъ въ распоряженіи нашего автора. Во всякомъ случаѣ, соображая все вышесказанное, онъ считаетъ себя въ правѣ сказать: «Что во всемъ этомъ лежитъ завязка «ненормальная», это, я думаю, каждому кидается въ глаза. Иначе какъ же объяс-

нить тотъ фактъ, что физическое развитіе организма не идетъ въ рядъ съ развитіемъ культурнымъ, производя между обоими все увеличивающуюся пропасть, грозящую всему существованію человѣка?»

Итакъ намъ грозитъ пропасть, насъ гонить въ нее цивилизація, одна изъ формъ развитія. Такъ охотятся африканскіе дикари; они загоняютъ дикихъ звѣрей въ узкое загороженное мѣсто, которое оканчивается у пропасти: туда, тѣсняя другъ къ другу, съ ревомъ ужаса и отчаянія валятся зебры, лани, буйволы, дикія козы и расшибаются объ края и дно пропасти, а дикарямъ остается только прикалывать добычу. Но въ чемъ же состоитъ грозящая намъ пропасть? каковы послѣдствія постоянного удлиненія дисгармоническихъ періодовъ? Г. Мечниковъ отвѣчаетъ: увеличеніе смертности, самоубійства, преступленія, душевныя болѣзни. Я не стану приводить доказательства г. Мечникова. Желаніи знать ихъ можетъ обратиться къ его статьѣ. Мнѣ важно представить читателю только итоги. Я ихъ представилъ. Но г. Мечниковъ дѣлаетъ еще къ нимъ маленькое, къ сожалѣнію слишкомъ маленькое дополненіе. Онъ намекаетъ именно на аналогію между жизнью народовъ и жизнью индивидовъ. Какъ послѣдніе, дескать, проживутъ проживутъ да и умираютъ, такъ должно быть и съ народами: «само развитіе составляетъ источникъ періодичности съ ея концомъ». Конечъ всего—дѣло страшное, когда онъ не конечъ униженію и страданію, а тутъ дѣло идетъ о концѣ нашей цивилизаціи, т. е. о концѣ всѣхъ благъ, которыя мы связываемъ съ понятіемъ о ней, о концѣ нашихъ гордости и самодовольства. Еслибы еще дѣло шло о концѣ отдѣльныхъ народовъ—такъ куда ни шло. Мы уже свыклись съ этой мыслью и даже не безъ страннаго удовольствія соображаемъ, что вотъ прекрасная машина греческой цивилизаціи перестала дѣйствовать, римляне ее разобрали и употребили на топливо и подтопку для своей собственной печки. Много дровъ пожрала эта печка, и нѣсколько времени огонь горѣлъ ярко, а машина дѣйствовала сильно. Но, поглотивъ однажды слишкомъ большую порцію дровъ-варваровъ, печка развалилась и

*

машина остановилась. Ее тоже разобрали и обломками ея стали топить печку европейской цивилизації. Картина прекраснѣйшая, почему она и называется прогрессомъ. Вотъ азіатскіе народы—тѣ не подвержены прогрессу. Тѣ перегораютъ себѣ въ одиночку, и обломки ихъ машинъ бесполезно валяются въ степяхъ: тамъ «мостъ ихъ дождь, засыпаетъ ихъ пыль и вѣтеръ волнуется надъ ними ковыль»... Это такъ. Но теперь нѣтъ цивилизації вавилонской, персидской, индѣйской, римской, мексиканской, греческой. Есть только одна цивилизація европейская, которая не сегодня-завтра охватитъ всю землю, оставивъ отъ Бухары и Новой Зеландіи, отъ Японіи и Средней Африки одни обгорѣлыя головѣшки. И вотъ этой-то всепоглощающей и почти всепоглотившей цивилизації грозитъ конецъ. Но концу всегда предшествуетъ начало конца. Не наступило ли уже оно? Г. Воеводскій надѣваетъ фракъ, бѣлыя перчатки и снисходительно отбѣчаетъ: помиуйте! все идетъ прекрасно, вы сравните только: тамъ варвары, людоѣды, а здѣсь я, профессоръ Дестунистъ, профессоръ Люгебиль и прочіе, изслѣдующіе «всѣхъ вещей дѣйства и причины»; какое же сравненіе! Г. Шкляревскій съ своей стороны поэтически излагаетъ смѣну моногенезиса амфигенезисомъ, какъ исходную точку того прекраснѣйшаго раздѣленія труда между мужчиной и женщиной, которое только въ Америкѣ нѣсколько подгажено, за что американцы и платятся атрофіей желѣзистыхъ тканей. Въ остальномъ все идетъ превосходно и—г. Шкляревскій цитируетъ *chorus mysticus* изъ второй части «Фауста»:

*Das Ewig Weibliche
Zieht uns hienan.*

Все идетъ прекрасно, а между тѣмъ г. Мечникову совершенно «понятно, что въ жизни многихъ первобытныхъ народовъ можно нерѣдко замѣтить больше гармоніи и счастья, чѣмъ въ нашей,—обстоятельство, на которое указывали многіе писатели, по преимуществу Ж. Ж. Руссо. Раньше послѣдняго оно поразило Бюффона, выразившаго свою мысль очень изящно (*crit-*

дуетъ читателю). Мы не станемъ здѣсь разбирать подробнѣе этотъ съ давнихъ поръ поставленный на обсужденіе вопросъ, по поводу котораго обѣими партіями было сдѣлано множество преувеличеній; но скажемъ только, что и до сихъ поръ между путешественниками нерѣдко встрѣчаются поклонники идеи Руссо и Бюффона. Наиболѣе рѣзко въ этомъ смыслѣ высказывается Уоллесъ. Да и какъ быть въ этомъ дѣлѣ въ виду напримѣръ подобнаго рода заявленія? Во время пребыванія фрегата «Новары» на островѣ Каръ-Никобаръ, путешественники, распрашивая туземцевъ о ихъ бытѣ, между прочимъ коснулись вопроса о томъ, какого рода наказанія полагаются у нихъ за различныя преступленія. Туземецъ отвѣчалъ самымъ наивнымъ образомъ: «У насъ никакихъ преступленій не совершается; мы всѣ — народъ хорошій; у васъ же должно быть много злыхъ людей; иначе зачѣмъ бы у васъ было столько пушекъ и разнаго оружія».

Человѣкъ науки спрашиваетъ, какъ быть, т. е. какъ поступать въ виду подобнаго рода заявленій и фактовъ, которыхъ не мало. Станный вопросъ. Какъ быть? Ужъ конечно не оставлять безъ разбора высочайшей важности вопросъ, «съ давнихъ поръ поставленный на обсужденіе» и все-таки ни малѣйше не обсужденный. Я прошу читателя отиѣтитъ въ своей памяти результаты, къ которымъ «теорія развитія» привела двухъ, равно компетентныхъ, хотя и въ различныхъ сферахъ науки работающихъ ученыхъ. По г. Воеводскому и «въ кажущемся паденіи слѣдуетъ видѣть не что иное, какъ только дальнѣйшіе фазисы развитія, ведущаго въ сущности постоянно къ высшему совершенству всего человѣчества». По г. Мечникову, развитіе ведетъ ко множеству дистармоническихъ явленій, изъ которыхъ г. Мечниковъ разсмотрѣлъ только касающіяся брачнаго возраста, но уже и они ведутъ къ самоубійствамъ, преступленіямъ, душевнымъ болѣзнямъ и наконецъ къ смерти цивилизаціи. Это разнголосіе поразительно. Но сейчасъ мы увидимъ нѣчто, быть можетъ еще болѣе поразительное.

Все, что было говорено выше о брачномъ возрастѣ высшихъ и низшихъ классовъ европейскихъ народовъ, относится только

къ мужчинамъ. Для женщинъ получаются совсѣмъ другія пропорціи. Такъ средній возрастъ вступленія въ бракъ англійскихъ пэровъ и бароновъ на 3,69 года *выше* брачнаго возраста англичанъ вообще, т. е. англійскіе высокопоставленные мужчины женятся *позже* другихъ англичанъ. Англійскіе же пэрессы и баронессы выходятъ замужъ *раньше*, чѣмъ англичанки вообще, именно ихъ средній брачный возрастъ ниже общаго на 1,62 года. Подобные же результаты получаются при сравненіи брачнаго возраста нѣмецкихъ принцессъ съ брачнымъ возрастомъ нѣмокъ вообще. Обстоятельство это нисколько не удивляетъ г. Мечникова. Оно находится въ связи съ цѣлымъ рядомъ вполне извѣстныхъ и очень любопытныхъ фактовъ. Статистически доказано, что очень молодые мужчины (моложе 20 лѣтъ) женятся вообще на болѣе взрослыхъ женщинахъ. Затѣмъ въ брачныхъ парахъ 20 — 25 лѣтъ замѣчается наименьшая разница въ возрастѣ мужчинъ и женщинъ, а начиная съ 25 лѣтъ, разница эта очень быстро растетъ, и именно такъ, что чѣмъ позже заключаются браки, тѣмъ болѣе возрастъ мужа превышаетъ возрастъ жены. Слѣдовательно въ тѣхъ культурныхъ группахъ, въ которыхъ мужчины женятся сравнительно поздно, женщины должны выходить сравнительно рано. И такъ культура, развитіе, отодвигая брачный возрастъ вообще, вмѣстѣ съ тѣмъ увеличиваютъ по отношенію къ этому возрасту контрастъ между мужчиной и женщиной. И этотъ фактъ составляетъ только частный случай болѣе общаго антропологическаго закона, по которому на высшихъ ступеняхъ цивилизаціи различія между мужчиной и женщиной сильнѣе и многостороннѣе, чѣмъ на низшихъ. Возьмемъ ли мы физическія особенности обоихъ половъ, — мы придемъ подъ руководствомъ анатомовъ Гушке и Велькера къ заключенію, что «по мѣрѣ увеличенія совершенства расы, увеличивается и разница между полами по отношенію къ вмѣстимости черепной полости; особенно же сильно превосходитъ въ этомъ отношеніи европеецъ европейку сравнительно съ негромъ и негритянкой». Виѣшніе признаки, наиболѣе рѣзко отличающіе мужчину отъ женщины, усы и борода, наиболѣе развиты у самой совершенной

расы, кавказской, а негритянскіе, монгольскіе, американскіе, малайскіе народы въ этомъ отношеніи гораздо женоподобнѣе. Возьмемъ ли мы мелкія подробности одежды,—мы увидимъ, что серьги, браслеты, перья, яркія платья и т. п. у цивилизованныхъ народовъ носятъ только женщины, а у дикихъ и мужчины женщины. и Одна изъ отличительныхъ чертъ первобытныхъ народовъ есть консерватизмъ, упорство въ сохраненіи разъ установленныхъ правилъ и обычаевъ. Этотъ консерватизмъ съ развитіемъ цивилизаціи слабѣетъ, но преимущественно въ мужской половинѣ человѣческаго рода. Такъ въ одной изъ самыхъ политически безпокойныхъ странъ, во Франціи, женщины вообще очень консервативны и въ частности отличаются клерикальностью, такъ сказать, до-вольтеровскимъ настроеніемъ. Словомъ женщина во всѣхъ отношеніяхъ болѣе или менѣе отстаетъ отъ мужчины и эта сравнительная отсталость увеличивается съ поступательнымъ ходомъ цивилизаціи. Это зависитъ отъ той особенной роли, которую женщина играетъ по отношенію къ размноженію. «Это последнее отправленіе, требуя затраты большого количества матеріи и дѣятельности, неизбѣжно задерживаетъ личное, индивидуальное развитіе женщины. Многими натуралистами исполнѣнъ сознанъ тотъ фактъ, что женщина представляется какъ бы соотвѣтствующему мужчинѣ въ юношескомъ возрастѣ, слѣдовательно задерживается на извѣстной ступени развитія, подобно тому, какъ задерживается развитіе личинкоподобной самки многихъ насѣкомыхъ, самцы которыхъ являются въ видѣ гораздо болѣе развитыхъ существъ».

Вотъ и извольте рѣшать женскій вопросъ на основаніи специальныхъ изслѣдованій людей науки! Одинъ натуралистъ говорить, что мужчина есть «какъ бы неудавшееся или менѣе совершенное женское недѣлимое». Другой натуралистъ говорить, что женщина есть личинка человѣка. И оба придерживаются теоріи развитія! Чортъ возьми, не легко намъ, профанамъ, жить на свѣтѣ! И рады бы мы были благоговѣнно внимать голосу науки и видѣть въ ней высшую инстанцію, куда слѣдуетъ обращаться за разрѣшеніемъ всѣхъ нашихъ сомнѣній, возникающихъ

на кочковатой почвѣ практической жизни; рады бы мы были смотрѣть на нее, какъ на опытную и любящую мать, всегда готовую войти въ положеніе дѣтей. Но, по совѣсти говоря, развѣ это возможно? Я обѣщалъ читателю угостить его на славу роскошной умственной трапезой, — воззрѣніями трехъ русскихъ патентованныхъ ученыхъ. На дѣлѣ я подалъ читателю какой-то ученый кавардакъ, какую-то смѣсь противорѣчій и недомолвокъ. И ужъ конечно не я виноватъ въ этомъ. Сопоставленіе изслѣдованій гг. Воеводскаго, Шкляревскаго и Мечникова мнѣ самому улыбалось, пока я его не сдѣлалъ, и разбило всѣ мои надежды, какъ только я ихъ поставилъ рядомъ. Мнѣ случалось слышать упреки, зачѣмъ дескать я нападаю на науку, какъ-будто ужъ кругомъ насъ нѣтъ ничего, болѣе достойнаго сѣтованій и обвиненій. — Это недоразумѣніе, я полагаю. Многимъ бы я занялся и кромѣ науки, да руки коротки. По силѣ возможности впрочемъ я вытягиваю руки... Это развѣ. Что же касается науки, то не совсѣмъ почтительно мною представленныя публикѣ гг. Евтушевскій, Мировпольскій и прочіе наши извѣстные и извѣстѣйшіе педагоги — не наука, а злѣйшая карикатура на науку. Гг. Воеводскій, Шкляревскій и Мечниковъ — несомнѣнная наука и не только потому, что они магистры и доктора — кто не видалъ уважительнаго невѣжества? — а и потому, что они владѣютъ обширною эрудиціей и значительнымъ умѣньемъ обращаться съ фактами. Въ ихъ рукахъ большая сила, и силу эту я глубоко уважаю. Но кому много дано, съ того много и спросится. Именно мое уваженіе къ наукѣ побуждаетъ меня обращаться къ ней за разрѣшеніемъ томящихъ меня, на ряду съ другими профанами, вопросовъ. И если у меня при этомъ срывается жесткое или насмѣшливое слово, то это — результаты обманутыхъ надеждъ. На г. Леонарда я только показалъ пальцемъ и отпустилъ его съ миромъ, потому что... потому что онъ г. Леонардъ. Я не могу, правда, давать высокую цѣну многимъ изслѣдованіямъ, на которыхъ затрачено несомнѣнно много умственной силы, остроумія, учености, но изъ которыхъ я не могу сдѣлать никакого употребленія. Это можетъ быть очень жалкій взглядъ, но онъ такъ

естественъ для профана. *Savoir* я хочу только *pour prévoir*, а *prévoir* только *pour agir*. Однако я способенъ выслушать длиннѣйшій трактатъ о смѣнѣ моногенезиса амфигенезисомъ, о греческихъ мифахъ, о возрастѣ вступленія въ бракъ, если они хотя отчасти, хоть стороною какъ нибудь освѣтятъ мнѣ задачу жизни. Но этого-то и нѣтъ въ болѣе части ученыхъ трактатовъ.

Оставимъ въ сторонѣ противорѣчивыя заключенія, къ которымъ припили г. Воеводскій и г. Мечниковъ, и г. Мечниковъ и г. Шкляревскій. Возьмемъ только г. Мечникова. Отмѣтивъ роль женщины въ размноженіи, какъ причину ея личинкоподобнаго состоянія, онъ продолжаетъ: «Никто конечно не выведетъ изъ моихъ словъ, чтобы я утверждалъ, будто женщина неспособна къ развитію и должна во всѣхъ случаяхъ и вѣчно оставаться на личинкоподобной стадіи развитія. Я утверждаю только, что прогрессивное развитіе женщины должно совершаться въ ущербъ ея способности размножаться, выкармливать и воспитывать дѣтей, совершенно подобно тому, какъ усиленная дѣятельность рабочихъ пчелъ, муравьевъ и термитовъ могла явиться не иначе, какъ вмѣстѣ съ появленіемъ бесплодія или же плодовитости въ экстренныхъ, исключительныхъ случаяхъ. Фактическое доказательство этого мнѣнія представляютъ Соединенные Штаты. Женщины-янки съ давнихъ поръ заботятся о собственномъ развитіи и сдѣлали въ этомъ отношеніи огромные успѣхи, но они совершили видимо на счетъ способности размноженія и семейной жизни. Такимъ образомъ всѣмъ извѣстно, до чего между американскими женщинами распространено вытравленіе плода и употребленіе другихъ средствъ къ уменьшенію плодовитости... Развѣтѣ, съ помощью искусственныхъ мѣръ уменьшающее плодовитость, неизбежно ведетъ къ болѣе приравниванію женщины къ мужчинамъ. Поэтому совершенно понятно отвращеніе, питаемое развитыми женщинами къ тѣмъ особенностямъ женскаго костюма, которыя приближаютъ его къ одѣянію дикарей, а также и къ первобытной патріархальности и консерватизму».

Написалъ это ученый человѣкъ—и ему горя мало, а мнѣ онъ ножъ острый всадилъ. Въ приведенныхъ словахъ г. Мечникова,

какъ и во многихъ другихъ его словахъ, явно подразумѣвается, что развитие есть усовершенствованіе, улучшеніе. Поэтому-то онъ и торопится заявить, что не отказываетъ женщинѣ въ возможности развитія, т. е. въ лучшемъ будущемъ. Миѣ непонятно только, зачѣмъ тутъ вытравливаніе плода и другія искусственныя преграды размноженію. Положимъ, что онѣ распространены въ Америкѣ, но это показываетъ только, что женщины-янки стоятъ не на самой высокой ступени развитія. Сколько миѣ извѣстно, въ біологіи считается общепринятымъ, что развитие само по себѣ, безъ всякихъ искусственныхъ подмогъ, задерживаетъ плодовитость. Но дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что женщинѣ, остающейся на личинкоподобной ступени развитія, грозитъ, какъ показалъ г. Мечниковъ, удлинненіе дисгармоническихъ періодовъ со всѣми его безобразными и печальными послѣдствіями. Извольте выбирать, читательницы. Я не знаю чего вамъ пожелать: того ли, чтобы вы вѣчно оставались личинкой (если правда, что вы—личинка), или чтобы на вашу долю выпали тѣ же бѣдствія, связанныя съ удлинненіемъ дисгармоническихъ періодовъ, которыя цивилизація обрушиваетъ на наши мужскія головы. Я не знаю чего вамъ пожелать, не только ради васъ, а и ради всего человѣчества. Скверно, что цѣлая половина человѣческаго рода находится въ личиночномъ состояніи: такъ ли бы шли дѣла въ нашей юдоли плача, еслибы эта половина принимала участіе въ преемственной работѣ человѣчества. Но скверно будетъ и то, если женщины всѣмъ своимъ персоналомъ ускорятъ движеніе цивилизаціи къ той пропасти, которая, по словамъ г. Мечникова, грозитъ «всему существованію человѣка». Когда бьютъ и недовернувшася, и перевернувшася—выбирать трудно. Если же вы введете сюда еще выводы и заключенія гг. Воеводскаго и Шкляревскаго, то получится такой лабиринтъ, въ который и вступить страшно.

Такимъ образомъ мы видимъ рядъ специалистовъ по женскому вопросу, которые отрываютъ его отъ сопредѣльныхъ съ нимъ вопросовъ и даютъ ему непропорціональное освѣщеніе. Мы видимъ Леонардовъ, которые разрубаютъ самые запутанные узлы

мимоходомъ, entre la poire et le fromage, но совершенно по-македонски. Мы видимъ наконецъ ученыхъ, которые самымъ рѣзкимъ образомъ противорѣчаютъ другъ другу относительно самыхъ элементарныхъ началъ занимающаго насъ вопроса. Что же дѣлать намъ, профанамъ? Съ благодарностью взять у ученыхъ людей добытые ими голые факты, а выводы и заключенія сдѣлать самимъ. И пусть не говорить, что мы болѣе чѣмъ смѣлы. Наша смѣлость заранѣе оправдана тою безпомощностью, въ которую повергаютъ насъ люди науки.

XVII.

Прудонъ и Бѣлинскій *).

Читатель конечно не будетъ пораженъ сопоставленіемъ именъ Прудона и Бѣлинскаго, потому что оно неново. Прудонъ и Бѣлинскій—современники, имѣвшіе даже общихъ знакомыхъ и друзей. Естественное дѣло, что извѣстныя вѣянія времени, какъ напримѣръ нѣмецкая философія, нѣкоторые взгляды на задачи общественной жизни и т. п., живо затрогивали ихъ обоихъ. Въ этомъ именно смыслѣ читателю и случалось встрѣчать сопоставленіе ихъ именъ. Я однако отнюдь не думаю проводить параллели между мнѣніями этихъ двухъ писателей, да изъ нижеслѣдующаго будетъ видно, что такія параллели были бы по малой мѣрѣ бесплодны, если не прямо невозможны. Другое дѣло—фигуры, личности Прудона и Бѣлинскаго. Онѣ сами собой напрашиваются на сравненіе, тѣмъ болѣе, что недавно появились обширные матеріалы для характеристики того и другаго. Во Франціи въ нынѣшнемъ году началось четырнадцатитомное изданіе переписки Прудона (если не ошибаюсь, оно еще не дове-

*) 1875, ноябрь.

дено до конца). Извлеченія изъ этого изданія до сихъ поръ тянутся въ «Вѣстникѣ Европы», въ статьѣ, озаглавленной: «Пьеръ-Жозефъ Прудонъ въ его письмахъ». Въ нынѣшнемъ же году окончился въ томъ же «Вѣстникѣ Европы» обширный «опытъ біографіи» Бѣлинскаго, составленный г. Пыпинымъ, главнымъ образомъ на основаніи переписки нашего знаменитаго критика. Читатели «Вѣстника Европы» неизбежно наталкивались на сравненіе. Натолкнулся и я и хочу подѣлиться съ другими своими впечатлѣніями.

Г. Д—евъ, авторъ статьи «Пьеръ-Жозефъ Прудонъ въ его письмахъ», очевидно—позитивистъ школы Конта и тщательно отыскиваетъ въ своемъ матеріалѣ черты, могущія служить подтвержденіемъ извѣстнаго Контова закона трехъ фазисовъ, въ силу котораго умственное развитіе человѣка, какъ и всего человѣчества, идетъ отъ теологіи черезъ метафизику къ положительной наукѣ. Многія изъ соображеній г. Д—ва очень остроумны и справедливы. Я думаю однако, что по отношенію къ Прудону эта смѣна трехъ фазисовъ во всякомъ случаѣ имѣетъ совершенно второстепенное и чисто внѣшнее значеніе. Что Прудонъ первоначально былъ занятъ теологіей, затѣмъ ринулся въ область метафизики, изъ которой, хотя и никогда не выбился окончательно, но все-таки отдалъ должное положительной наукѣ и ея орудіямъ, опыту и наблюденію—это вѣрно. Но не требуется глубокаго изученія переписки и сочиненій Прудона, чтобы видѣть, что это были ступени развитія не столько его самого, сколько, такъ сказать, оружія, которымъ онъ бился за свои вѣтныя идеи. Это кажется отчасти думаетъ и г. Д—евъ, но оставляетъ эту мысль безъ должнаго вниманія. А то бы ему пришлось, чего добраго, убѣдиться, что вѣтныя идеи Прудона даже и вовсе не укладываются въ формулу Конта. Какъ бы то ни было, но г. Д—евъ согласно своей задачѣ слѣдитъ преимущественно за процессомъ философскаго развитія Прудона и потому проходитъ мимо многоаго, очень характернаго для Прудона, какъ личности. Восполнить этотъ недостатокъ я могу только отчасти, потому что успѣлъ познакомиться только съ двумя

первыми томами французскаго изданія переписки Прудона. Кое въ чемъ намъ помогутъ впрочемъ его сочиненія.

Литературную свою дѣятельность Прудонъ началъ «Опытомъ всеобщей грамматики» (1837), сочиненіемъ слабымъ, дѣтскимъ, о которомъ читающему люду только и извѣстно, что авторъ впоследствии отъ него отрекся. Совершенно незнакомый съ современными ему филологическими открытіями, даже не подозрѣвая ихъ существованія, Прудонъ производилъ всѣ языки отъ священнаго... Видѣть въ «Опытѣ всеобщей грамматики» явленіе теологическаго фазиса развитія пожалуй можно; но вѣдь дѣло-то тутъ просто въ томъ, что бѣдному наборщику попало въ руки нѣсколько книгъ извѣстнаго характера и содержанія. Если мы выкинемъ изъ счета подобныя случайности, то увидимъ, что Прудонъ явился въ литературѣ человѣкомъ вполне готовымъ, т. е. съ идеями, на столько ясными и установившимися, что въ дальнѣйшей дѣятельности онѣ подлежали только развитію, а не измѣненію. Въ прошеніи о стипендіи Сюара (выѣзную біографію Прудона я предполагаю читателю извѣстною), Прудонъ много говорилъ о своихъ религіозныхъ убѣжденіяхъ. Но для біографа гораздо интереснѣе то обстоятельство, что секретарь безансонской академіи, Переннъ, потребовалъ измѣненія слѣдующихъ строкъ: «Рожденный и воспитанный среди рабочаго класса, принадлежа ему и нынѣ и навсегда сердцемъ, разумомъ, привычками, общностью интересовъ и желаній, я былъ бы вполне счастливъ, еслибы привлечь ваше вниманіе къ этой части общества, которую такъ краситъ названіе «рабочей»; еслибы я оказался достойнымъ чести быть ея первымъ представителемъ передъ вами, еслибы я могъ отнынѣ работать безъ отдыха въ философіи и наукѣ, со всею энергіею моей воли и всѣми силами моего разума, для полнаго освобожденія своихъ братьевъ и товарищей». Рассказывая свои планы въ письмѣ къ Перенну, Прудонъ объявляетъ, что онъ не намѣренъ изучать юриспруденцію: «Вся система нашихъ законовъ основана на принципахъ, въ которыхъ нѣтъ ничего философскаго и которые одинаково противны и закону природы, и за-

кону откровения. Таково по крайней мѣрѣ мое мнѣніе. Мнѣ трудно было бы подтвердить его многочисленными примѣрами. Условности, основанныя на побѣдѣ, рабствѣ, силѣ, привилегіи или варварствѣ—вотъ суть нашего права». Въ одномъ изъ самыхъ раннихъ писемъ (1838 г.), собранныхъ во французскомъ изданіи, Прудонъ называетъ уже себя «*égalitaire*», какъ называлъ себя всю жизнь. Получивъ Сюарову стипендію, онъ пишетъ одному другу: «Меня поздравляютъ съ прочностью положенія, съ возможностью сдѣлать карьеру, принять участіе въ погонѣ за мѣстами и жалованьями, достичь почета и блестящаго положенія, сравняться и даже можетъ быть превзойти Жоффруа, Пулье и проч. Но никто не сказалъ мнѣ: Прудонъ, ты долженъ прежде всего отдаться дѣлу бѣдныхъ, освобожденію слабыхъ, просвѣщенію народа; ты можетъ быть будешь предметомъ ужаса для богатыхъ и сильныхъ; тебя будутъ проклинать держащіе ключи науки и богатства: иди своей дорогой реформатора навстрѣчу преслѣдованіямъ, клеветѣ, горечи, самой смерти. Вѣрь своему назначенію и смѣло предпочти славное мученичество апостола радостямъ и золотымъ цѣлямъ рабовъ. Тебя ли побѣдятъ лести и соблазны удовольствій и богатства? Ты ли, сынъ народа, отречешься отъ своей совѣсти и предашь свою вѣру? За тобой слѣдятъ глаза твоихъ братьевъ: они мучительно ждуть, придется ли имъ оплакивать паденіе и измѣну того, кто такъ клялся быть ихъ защитникомъ; отблагодарить тебя имъ нечѣмъ, кромѣ благословеній, которыя однако дороже золота. Страдай и умри, если нужно, но говори истину и стой за сироту». Еще дальше Прудонъ выразилъ съ меньшимъ пафосомъ, но съ тѣмъ болѣею силою нѣкоторыя воззрѣнія, которыми онъ также оставался вѣренъ всю жизнь: «Я держусъ своихъ принциповъ; я ими никогда не пожертвую, что бы ни случилось; я доволенъ своимъ положеніемъ ремесленника.—Я откровенный и неизмѣнный республиканецъ по убѣжденію и чувству; но правда и то, что мой республиканизмъ не совѣмъ тотъ, который значится у сеидовъ Робеспьера и поклонниковъ Марата; ихъ дѣла—самое сильное ихъ осужденіе». Такъ гово-

рилъ Прудонъ еще до изданія «Опыта всеобщей грамматики». Особенно характерна эта оговорка на счетъ якобинцевъ. Это— частность, но то-то и важно, что даже такая частность, какъ ненависть къ якобинцамъ, уже смолоду отличала Прудона. Второе печатное сочиненіе Прудона было «О празднованіи воскресенья». Оно мало читается, хотя и вошло въ собраніе сочиненій Прудона. И дѣйствительно оно само по себѣ не имѣетъ никакого значенія, но въ біографическомъ смыслѣ оно напротивъ очень важно. Можно пожалуй опять-таки говорить по поводу его о теологическомъ фазисѣ развитія, потому что тутъ дѣло идетъ о Моисеевомъ законѣ. Но дѣло въ томъ, что «Празднованіе воскресенья» представляетъ совсѣмъ не богословское толкованіе установленія субботняго дня и десяти заповѣдей. Это— комментаріи чисто прудоновскія, основанію которыхъ авторъ никогда не измѣнялъ. Заповѣдь «не укради» напримѣръ толкуется уже прямо въ смыслѣ извѣстныхъ мемуаровъ о собственности. Словомъ и установленіе субботняго дня, и весь законъ Моисеевъ привлечены Прудонѣмъ только въ качествѣ орудія. Слѣдующая тирада ясно покажетъ въ чемъ дѣло: «Что мы видимъ вокругъ насъ? Съ одной стороны— люди, недовольные и разочарованные среди роскоши, бѣдные даже со всѣми своими богатствами; съ другой— наемники, которымъ нищета запрещаетъ даже думать о своемъ разумѣ и о своей душѣ; они счастливы, когда находятъ работу въ воскресенье!.. И среди всего этого христіанство, указывая на законъ Моисеевъ и безъ дальнѣйшихъ объясненій сохраняетъ празднованіе дня, который сдѣлалъ насъ всѣхъ равными и братьями. Не говоритъ ли оно тѣмъ самымъ: есть время для труда, есть время и для отдыха. Если одни изъ васъ не имѣютъ отдыха, такъ это потому, что у другихъ слишкомъ много досуга. Смертные, ищите истину и справедливость; войдите въ себя, раскайтесь, обновитесь... Мы должны быть благодарны соборамъ, которые, не то что изящные аббаты восемнадцатаго вѣка, упорно стояли за празднованіе воскресенья. И дай Богъ, чтобы уваженіе къ этому дню было для насъ такъ же священно, какъ и для нашихъ отцовъ!

Грызущее насъ зло чувствовалось бы сильнѣе, и лекарство было бы можетъ быть скорѣе найдено... Собственность еще не дѣлала мучениковъ, она—послѣдній изъ ложныхъ боговъ. Вопросъ о равенствѣ состояній былъ уже поднятъ, но въ видѣ безпринципной теоріи. Онъ долженъ быть вновь поднятъ во всей его глубинѣ. Проповѣдуемый во имя Бога и освященный голосомъ священника, онъ распространится, какъ молнія... Вотъ задача: *найти состояніе общественнаго равенства, которое не было бы ни коммунизмомъ, ни деспотизмомъ, ни раздробленіемъ, ни анархіей,—но свободою въ порядкѣ и независимостью въ единствѣ* (курсивъ подлинника). А за разрѣшеніемъ этого перваго пункта остается другой: *найти лучший способъ перехода* (къ этому идеалу). Тутъ вся задача человѣчества». (Oeuvres, II, 150).

Кто знаетъ Прудона, тотъ знаетъ, что въ этихъ строкахъ заключенъ уже весь Прудонъ, какимъ его знаетъ читающій міръ. Для него нѣтъ ничего характернѣе, какъ постановка извѣстнаго, крайняго идеала (выраженнаго часто очень «страшными словами»), и затѣмъ выработка переходныхъ ступеней. Къ этому мы еще вернемся, а теперь я обращаю вниманіе читателя главнымъ образомъ на то, что по отношенію къ своимъ заветнымъ идеямъ Прудонъ явился въ литературу человѣкомъ совершенно готовымъ, въ томъ родѣ, какъ родилась Минерва изъ головы Юпитера. Онъ мѣнялъ только приемы доказательства, съ которыми обращался съ крайнею безцеремонностью. Приведу одинъ только примѣръ, какъ сказалъ бы г. Д—евъ, изъ метафизическаго фазиса его развитія. Извѣстно пристрастіе Прудона къ такъ называемой антиноміи. На этой діалектической штукѣ построена формальная сторона «Системы экономическихъ противорѣчій». Въ одинъ прекрасный день Прудонъ по чисто практическимъ соображеніямъ, которыя нетрудно было бы указать, рѣшаетъ измѣнить свой хваленый методъ. Онъ преспокойно пишетъ: «Я принялъ гегелевскую идею, что антиномія разрѣшается въ высшемъ принципѣ, въ синтезѣ, отличномъ отъ двухъ первыхъ—тезиса и антитезиса. Съ этой логической ошибкой я теперь разстался. *Антиномія не разрѣшается*, и въ этомъ состоитъ основная фальшь

всей гегелевской философіи. Оба момента, входящіе въ антиномію, *уравновѣшиваются* или между собой, или съ другими антиномическими моментами. Уравновѣшеніе не есть синтезъ, какъ его разумѣлъ Гегель, а вслѣдъ за нимъ и я. Сдѣлавъ эту оговорку въ интересѣ чистой логики, я сохраняю однако все сказанное въ «Системѣ экономическихъ противорѣчій». (De la justice, 3 éd., 179). Въ другомъ мѣстѣ того же сочиненія онъ громитъ знаменитую «тріаду», какъ опасную глупость и пошлость. До-воды его при этомъ очень слабы; лучше сказать, ихъ нѣтъ со-всѣмъ: онъ просто объявляетъ, что «орудіе логики» непремѣнно двучленное (binaire), чему соотвѣтствуетъ и самая суть явленій природы. Очевидно, что «интересы чистой логики» особен-наго значенія для него не имѣютъ. Въ ту минуту онъ былъ за-нять практическою мыслью сплотить буржуазію и рабочихъ въ одно цѣлое и направить эти соединенныя силы на общихъ вра-говъ, а сообразно этому «тріада» должна была сократиться въ «діаду». Подобныхъ примѣровъ можно бы было привести не-мало, а между тѣмъ есть основныя воззрѣнія Прудона, прохо-дящія неизмѣнно красною нитью черезъ всѣ его письма и со-чиненія, среди всевозможныхъ противорѣчій и удивительныхъ ампутацій, которымъ онъ подвергалъ и метафизику, и всѣ дру-гія орудія своей борьбы.

Противорѣчій можно найти очень много и въ сочиненіяхъ, и въ письмахъ Прудона. Но это — или чисто логическіе и въ общей системѣ его воззрѣній всегда второстепенные промахи, или результаты минутныхъ вспышекъ подъ напоромъ тревожной исторіи Франціи 30—50 годовъ, или наконецъ совершенно со-знательное, хладнокровное пригибаніе разныхъ отвлеченныхъ фор-мулъ къ извѣстнымъ практическимъ цѣлямъ. И за всѣмъ тѣмъ Прудонъ можетъ служить образцомъ непоколебимости убѣжденій, особенно поразительной для насъ, русскихъ. Я даже рѣшаюсь сказать, что нѣкоторые взгляды были ему прирождены. Въ теорію врожденныхъ идей, независимо отъ опыта, я не вѣрю, но думаю, что по скольку извѣстныя мысли и чувства оставля-ютъ по себѣ слѣды въ нервной организаціи человѣка, они могутъ

передаваться по наслѣдству, а слѣдовательно человѣкъ может родиться съ совершенно опредѣленными задатками ихъ. Какъ бы то ни было, но основныя воззрѣнія Прудона, которыя только и стоитъ, говоря о немъ, имѣть въ виду, до такой степени неизмѣнны на всемъ пространствѣ отъ «Празднованія воскресенья» до любого изъ посмертныхъ сочиненій, что прикидывать сюда мѣрку трехъ фазисовъ Конта значить жертвовать сущю для формы. Контовъ законъ важенъ, какъ попытка привести различныя стороны жизни къ одному знаменателю мысли, и къ числу лучшихъ страницъ «Курса положительной философіи» отнесется напримѣръ анализъ связи между теологическимъ мышлениемъ и военнымъ бытомъ. Отголосокъ этой связи можетъ быть и существовалъ въ какихъ нибудь дѣтскихъ играхъ и забавахъ Прудона. Но съ того момента, какъ онъ принадлежитъ исторіи, онъ—Прудонъ и никогда ничѣмъ инымъ не былъ.

Съ непоколебимостью убѣжденій, каковы бы ни были самыя убѣжденія, симпатичныя намъ или нѣтъ, мы привыкли связывать представленіе о благородствѣ личности. Мы даже склонны мѣрять одно другимъ. Я не намѣренъ разрушать эту совершенно законную ассоціацію идей. Бываютъ однако случаи, когда непоколебимость убѣжденій не исключаетъ возможности нѣкоторыхъ изъясновъ въ личномъ характерѣ ихъ носителя. Я долженъ сказать, что Прудонъ представляетъ собою одно изъ такихъ на первый взглядъ парадоксальныхъ явленій. Уже то обстоятельство, что онъ при крайне невыгодныхъ условіяхъ такъ рано вполне сформировался, показываетъ, что непоколебимость далась ему безъ внутренней борьбы, далась даромъ, въ такомъ родѣ, какъ напримѣръ породистому охотничьему щенку даются даромъ, по наслѣдству, чутье и нѣкоторыя повадки, подлежащія только легкой дрессировкѣ. Ниже я попытаюсь дать хоть намекъ на качество и размѣръ полученнаго Прудоновъ духовнаго наслѣдства. Но что оно было вообще большое—это очевидно. А если такъ, то непоколебимость является чѣмъ-то фатальнымъ, мало зависящимъ отъ свойствъ личности; лично не совсѣмъ хорошій человѣкъ можетъ быть такъ крѣпко скованъ своимъ духовнымъ

наслѣдїемъ, что свергнуть съ себя его иго окажется для негѣ дѣломъ немыслимымъ. Но недостатки его личнаго характера все-таки должны какъ нибудь прорваться, такъ сказать, въ щели основнаго строя его непоколебимыхъ убѣжденій. Къ сожалѣнію съ Прудономъ такъ и было. Возьмите напримѣръ хоть вышеупомянутое внезапное и, собственно говоря, немотивированное превращеніе «тріады» въ «діаду», предпринятое для минутной практической цѣли. Въ качествѣ профана я вполне способенъ оцѣнить всю глубину изрѣченія св. Августина: *nulla est homini causa philosophandi, nisi ut beatus sit*. Философія должна служить цѣлямъ челоѣка, иначе она не имѣетъ смысла. Но изъ этого не слѣдуетъ, что можно сообразно практическимъ цѣлямъ ломать истину, т. е. то, что мы признаемъ въ данную минуту истиной. Этого не могутъ понять только разные гг. Аверкіевы, Авсеѣнки, Антроповы и прочія имена, начинающіяся на А, а впрочемъ и на нѣкоторыя другія буквы, какъ напримѣръ на С—Стебницкій. Они стоятъ за «чистое искусство», т. е. выгоняютъ изъ его области всякія симпатіи и антипатіи, а сами сознательно извращаютъ въ своихъ произведеніяхъ факты въ угоду... чортъ знаетъ чего. Конечно всѣ эти «тріады» и «діады» такъ отъ насъ далеки теперь, такъ мало намъ дороги, что подмѣна одной изъ нихъ другою нисколько не оскорбляетъ нашего нравственнаго чувства. Но это именно только потому, что намъ до нихъ дѣла нѣтъ, а во времена Прудона было иначе. Слѣдовательно добросовѣстнымъ его поведеніе на этомъ пунктѣ никакъ нельзя назвать. Однако настаивать на этомъ я не буду, потому что переписка Прудона открываетъ факты болѣе рѣзкіе и достойные вниманія.

Въ одномъ изъ писемъ 1850 г. встрѣчается слѣдующая фраза, какъ справедливо замѣчаетъ г. Д—евъ, резюмирующая собою всю публицистическую политику Прудона: «Непоколебимость принциповъ, постоянныя сдѣлки (transaction) съ обстоятельствами и людьми». (Та же мысль выражена въ эпиграфѣ къ «Теоріи налога»: *Des réformes toujours, des utopies—jamais*). Въ другомъ письмѣ того же года читаемъ: «Мой планъ былъ бы, еслибы я

*

сдѣлался нашимъ сотрудникомъ—послѣ новаго подтвержденія и защиты всѣхъ моихъ предъидущихъ заключеній, овладѣть общественнымъ мнѣніемъ посредствомъ новой грандіозной теоріи, которая бы предупредила и поглѣтила всѣ критики, *теоріи прогресса въ себѣ*, т. е. вѣчнаго движенія революціонныхъ идей—словомъ философіи реформъ. Этимъ я спасъ бы все: абсолютизмъ принциповъ и медленность примѣненій. Тогда бы поняли, что, если истина есть то, что *есть*, она—еще болѣе то, что *дѣлается* (*devient*); тогда бы журналъ даже въ своихъ исключеніяхъ изъ общихъ правилъ, могъ быть оправданъ и защищенъ отъ всякихъ упрековъ. Тогда революціонная партія представляется разомъ непоколебимой въ своихъ принципахъ, практической и возможной». Эта идея не представляла, собственно говоря, новости въ Прудонѣ 1850 г.; она была ему всегда присуща, хотя и не въ видѣ ясно сознанной и точно сформулированной теоріи. Мы видѣли, что уже въ «Празднованіи воскресенья» шла рѣчь объ идеалѣ общественного равенства и вмѣстѣ съ тѣмъ о подготовительныхъ къ нему ступеняхъ. И таковъ Прудонъ во всемъ. Напримѣръ его знаменитая «анархія», такъ многихъ пугавшая, не имѣетъ въ себѣ рѣшительно ничего разрушительнаго. Анархія Прудона есть отдаленный, крайній идеалъ, нѣкоторымъ образомъ маякъ, освѣщающій путь. Въ одномъ письмѣ къ Даримону Прудонъ пишетъ: «Наша идея *анархіи* пущена... Послѣ отрицанія государства мы должны дать почувствовать, что дѣло идетъ о довершеніи прогрессивнаго движенія, состоящаго въ упрощеніи *usque ad nihilum*, а не въ осуществленіи внезапной и прямой анархіи». Таковъ же характеръ и другой знаменитой формулы: собственность есть кража. Отрицанія собственности въ принципѣ здѣсь нѣтъ и помина. Для этого Прудонъ былъ слишкомъ французскій крестьянинъ—это очень важно замѣтить—извѣстный своей безпредѣльной, почти идолопоклоннической привязанностью къ собственности. Прудонъ не только не отрицалъ собственности въ принципѣ, а напротивъ хотѣлъ ее, какъ онъ однажды выразился, *universaliser*, т. е. расширить ея сферу, дать ее тѣмъ, у кого ея нѣтъ. Конечно, ставя единственнымъ основаніемъ

права собственности трудъ, онъ колебалъ основы современнаго общества, въ которомъ собственность покоится на весьма различныхъ основаніяхъ. Но опять-таки никакого рѣзкаго переворота онъ не желалъ. Онъ писалъ одному пріятелю, требовавшему нѣкоторыхъ разъясненій: «Въ каждой реформѣ есть двѣ различныя вещи, которыя слишкомъ часто смѣшиваютъ: *переходное состояніе* и *совершенство* или *законченность*. Первое—какъ разъ то единственное дѣло, которое *теперешнее* общество призвано исполнить; но какъ же осуществимъ мы этотъ переходный процессъ? Ты найдешь отвѣтъ на этотъ вопросъ, сопоставляя нѣкоторыя мѣста моего втораго мемуара». Затѣмъ слѣдуютъ указанія на страницы извѣстнаго письма къ Бланки, гдѣ говорится о постепенномъ сокращеніи рентъ, арендъ и «нападеніи на собственность со стороны процента». Всѣ эти мѣры Прудонъ оставилъ въ послѣдствіи болѣе или менѣе въ сторонѣ или измѣнилъ планъ ихъ введенія, но во всякомъ случаѣ и въ ту минуту, когда онъ писалъ свои мемуары о собственности, и тогда, когда онъ думалъ произвести всѣ нужныя и возможныя реформы двумя декретами—о ссудахъ и о налогахъ—и тогда, когда онъ, говоря о своемъ народномъ банкѣ, писалъ: «Я начинаю предпріятіе, которому не было и не будетъ равнаго; я хочу измѣнить основаніе общества, перемѣнить ось цивилизаціи, сдѣлать, чтобы міръ, вращавшійся до сихъ поръ, по волѣ Божіей, отъ запада къ востоку, сталъ двигаться отнынѣ, по волѣ человѣка, отъ востока къ западу» (Oeuvres, XVIII, 1)—и позже, и всегда, не смотря на всѣ страшныя слова, Прудонъ былъ противникомъ всякаго насильственнаго переворота и сторонникомъ постепеннаго «прогресса въ себѣ». Системы же, предлагавшія извѣстный, совершенный съ точки зрѣнія авторовъ порядокъ вещей, который вмѣстѣ съ тѣмъ могъ быть осуществленъ немедленно, Прудонъ съ обычною энергіей выраженія называлъ «проклятою ложью». Читатель найдетъ обильныя подтвержденія въ цитатахъ г. Д—ева и еще больше въ сочиненіяхъ Прудона. А намъ предстоитъ здѣсь разрѣшить другой вопросъ.

Легко сказать: непоколебимость принциповъ и постоянныя

сдѣлки съ обстоятельствами и людьми! Но какъ привести эту программу въ исполненіе? Какъ провести невредимо корабль принциповъ среди безчисленныхъ рифовъ и подводныхъ камней практической жизни, и въ особенности въ такой бурный историческій моментъ, въ какой довелось жить, мыслить и дѣйствовать Прудону? Не придется ли тутъ иногда, говоря прямо, лгать? Какъ понимать это дѣло самъ Прудонъ—отчасти видно изъ письма его къ Марку Дюфрессу (1850 г.). Говорю: отчасти, потому что г. Д—въ къ сожалѣнію недостаточно воспользовался этимъ замѣчательнымъ письмомъ, хотя оно почему-то упоминается у него два раза («Вѣстникъ Европы», № 8, 564, и № 9, 123), такъ что трудно даже обозначить съ точностью время, когда оно написано. Дюфрессъ задавъ Прудону рядъ политическихъ и социальныхъ вопросовъ, имѣя въ виду возможность изданія газеты. Прудонъ отвѣчалъ между прочимъ: «Все эти вопросы въ сущности прямо или косвенно сводятся къ слѣдующему: журналъ, о которомъ идетъ рѣчь, будетъ или нѣтъ слѣдовать политикѣ инсurreкціонной и въ какой мѣрѣ? Такъ какъ нѣтъ, да и не будетъ никогда предѣловъ для неудовольствій, какія можно поднимать противъ какого бы то ни было правительства, противъ законности его происхожденія и правоты его дѣйствій, такъ какъ слѣдовательно невозможно *логически* остановиться на пути возстанія, а предѣлъ является лишь тогда, когда возмущающійся органъ дѣлается обладателемъ власти—изъ этого слѣдуетъ, что вопросъ, поставленный вами, предполагаетъ отрицаніе, о нравственности котораго каждый можетъ судить по своему. Журналъ не перестанетъ подбивать къ возстанію до тѣхъ поръ, пока его сотрудники не будутъ министрами, а его глава—президентомъ республики. Съ этой точки зрѣнія я и стану формулировать мои отвѣты на каждое изъ вашихъ вопрошеній». Вотъ образчики этихъ отвѣтовъ. Католицизмъ долженъ быть по мнѣнію Прудона преслѣдуемъ «вплоть до уничтоженія, что однако не мѣшаетъ мнѣ надписывать на моемъ знамени: *терпимость*; это—конечно противорѣчіе». И тутъ же онъ прибавляетъ въ видѣ вопроса: «что вы отвѣтите, когда васъ попро-

сать объяснить его, т. е. это противорѣчіе?» Онъ стоитъ въ принципѣ за избирательное начало въ примѣненіи ко всякой должности. Но на практикѣ общественное благо (*salut public*) потребуетъ многочисленныхъ исключеній изъ этого принципа, и вотъ опять—новое противорѣчіе. И опять Прудонъ спрашиваетъ: «посмѣете-ли вы объяснить его?» Точно тоже и въ вопросѣ самоуправленія. Прудонъ защищаетъ полную самостоятельность общинъ. «Таковъ для меня, говоритъ онъ, настоящій принципъ, составляющій то, что довольно-таки глупо называли жирондизмомъ». Но государство часто должно быть поставлено выше коммуны для того, чтобы дѣйствовать на нее, какъ импульсъ, какъ руководящее и развивающее начало. Журналу съ абсолютными принципами опять придется противорѣчить себѣ, и его нападки на существующее правительство будутъ потому уже недобросовѣстны, что на мѣстѣ правительства онъ дѣйствовалъ бы точно также. Письмо оканчивается уже приведеннымъ мною выше намекомъ на теорію «прогресса въ себѣ».

Г. Д—еву очень нравится письмо къ Дюфрессу, какъ яркое выраженіе свойственной Прудону безпощадности и свободы критики и презрѣнія къ «условной демократической фразеологіи». Но г. Д—евъ и вообще не страдаетъ по отношенію къ своему герою тѣмъ, что ему въ этомъ героѣ такъ сильно и не совсѣмъ основательно нравится — безпристрастіемъ. Онъ готовъ измолотить всѣхъ современниковъ Прудона (кромя Огюста Конта), чтобы сдѣлать изъ ихъ труповъ достойный пьедесталъ для знаменитаго социалиста. Я, грѣшный профанъ, прочиталъ письмо къ Дюфрессу съ крайне непріятнымъ чувствомъ, да и вообще переписка Прудона нѣсколько ослабила мое уваженіе къ нему, какъ личности. Въ письмѣ къ Дюфрессу презрѣніе къ условной демократической фразеологіи—послѣднее дѣло; лучше сказать, дѣло совсѣмъ не въ немъ. Безъ сомнѣнія письмо дышетъ замѣчательною смѣлостью и мысли, и личнаго характера. Такъ откровенно говорить можетъ только человекъ сильнаго ума и глубоко убѣжденный. Прудонъ здѣсь, выражаясь его собственными словами, называетъ кошку кошкой и недобросовѣстность недобро-

совѣстностью. Послѣдуемъ же его благому примѣру и скажемъ, что самъ онъ былъ часто очень недобросовѣстенъ. Сама по себѣ теорія «прогресса въ себѣ» и очень разумна, и была во Франціи сороковыхъ годовъ вполне умѣстна. Ждать, что земной рай, нарисованный со всѣми мельчайшими подробностями, осуществится завтра, значить или имѣть очень скромныя, очень жалкія представленія о земномъ раѣ, или не имѣть самыхъ элементарныхъ понятій объ томъ, какъ идутъ дѣла на землѣ. На такое ожиданіе способны только увлеченіе, которое несетъ извиненіе въ самомъ себѣ, невѣжество или барство, желающее пожинать, не сѣя, и ѣсть рябчиковъ, не жаря ихъ. Поэтому мысль о непоколебимости принциповъ при необходимости согласовать ихъ практическое приложеніе съ обстоятельствами времени и мѣста—глубоко вѣрна, хотя и представляетъ ту опасность, что за нее могутъ ухватиться негодяи и трусы. Но съ этимъ ужъ ничего не подѣлаешь. Самому же Прудону вовсе не предстояли тѣ ужасныя дилеммы, которыя онъ съ такимъ задоромъ ставилъ передъ Дюфрессомъ. Разъ заявлена доктрина «прогресса въ себѣ», можетъ-ли быть заподозрѣно въ недобросовѣстности такое напримѣръ разсужденіе: я требую полнѣйшей, безусловной терпимости, но, такъ какъ католицизмъ есть первый и злѣйшій врагъ ея, то во имя терпимости я буду преслѣдовать его «вплоть до уничтоженія»? или: «я требую полной самостоятельности самыхъ мелкихъ общественныхъ единицъ, какова община, но такъ какъ при такихъ-то и такихъ-то условіяхъ самостоятельность общины можетъ быть поддержана только вмѣшательствомъ центральной, государственной власти, то я призываю эту власть»? Конечно могутъ представиться многочисленные случаи, въ которыхъ согласованіе непоколебимаго принципа съ жизненною практикой будетъ очень трудно; возможны тутъ разныя ошибки въ разсчетѣ, но объ недобросовѣстности не можетъ быть и рѣчи. Прудонъ это очень хорошо понимать и потому-то и систематизировалъ рекомендуемый имъ образъ дѣйствія, сложилъ его элементы въ точно сформулированную теорію. Но вотъ гдѣ его недобросовѣстность. Въ полемикѣ напримѣръ съ Луи

Бланжъ онъ плохо различалъ принципъ и его осуществленіе, цѣль и средства. вмѣсто того, чтобы держаться своего правила, называть кошку кошкой и стоять на томъ, что будь, дескать, я на вашемъ мѣстѣ члена временнаго правительства, я бы не національныя мастерскія заводилъ, а дѣлалъ бы то-то и то-то— вмѣсто этого онъ громилъ «гувернаментализмъ» Луи Блана и щеголялъ своей «анархіей». Между тѣмъ онъ очень хорошо понималъ, что его анархія есть только маякъ, отдаленный возможный результатъ ряда дѣйствій, которымъ онъ самъ готовъ былъ придать нѣкоторый «гувернаментальный» характеръ. Какъ видно изъ письма къ Дюфрессу, онъ имѣлъ въ мысляхъ возможность занять постъ президента республики и не отбрыкивался отъ этой возможности, а заносилъ ее въ счетъ своихъ соображеній. Въ этомъ нѣтъ ничего достойнаго порицанія. Занявъ постъ президента, онъ сталъ бы по собственному сознанію дѣйствовать тѣми же приемами и способами, какъ Луи Бланжъ и всякое другое правительство, хотя и направлялъ бы ихъ иначе. И тутъ опять-таки нѣтъ ничего худого или даже противорѣчащаго его идеѣ анархіи. Но громить при этомъ то или другое правительство не за то, что оно плохо распоряжается, а за то, что оно вообще распоряжается—это конечно недобросовѣстно.

Достойно вниманія, что анархиста Прудона постоянно тянуло къ правительству, какъ видно изъ множества мѣстъ его переписки. Такъ еще въ 1842 г., сообщая другу своему Бергману о задуманномъ имъ сочиненіи, онъ прибавляетъ: «ты быть можетъ не удивишься моему предсказанію, что черезъ два года я весь, со всѣмъ моимъ добромъ (*avec armes et bagages*) перейду къ правительству». По волѣ судьбы однако тотчасъ же вслѣдъ за этимъ письмомъ противъ него было возбуждено судебное преслѣдованіе за третій мемуаръ о собственности. Онъ былъ искренно пораженъ этою неожиданностью, но все-таки послалъ министру Дюшателю свои сочиненія и объяснительную записку. Бергману онъ писалъ по этому поводу. «Надѣюсь, что министръ приметъ благосклонно мои идеи, тѣмъ болѣе, что я объясняю ему (ты это поймешь), какъ самыя радикальныя теоріи могутъ

быть обращены въ пользу правительства. Въ самомъ дѣлѣ, если въ обществѣ не должно происходить ни замѣщенія, ни перерыва, то каждая теорія должна доказать, что она необходимо вытекаетъ изъ существующей, о сохраненіи которой она слѣдовательно должна, обязана заботиться до тѣхъ поръ, пока не начнетъ дѣйствовать сама». Иногда впрочемъ на него нападаютъ и сомнѣнія такого рода: «Не смѣю еще надѣяться на то, что правительство пойметъ достоинство моихъ изслѣдованій». Но это рѣдко. Бѣльею частію Прудонъ надѣется и ждетъ: «Мнѣ удастся въ одно и тоже время быть самымъ крайнимъ реформаторомъ эпохи и пользоваться протекціей власти» (1842); «вопреки всеобщей ненависти у меня всегда есть какой-нибудь министръ, который при случаѣ можетъ помочь мнѣ» (1848). Въ 1849, *сидя въ тюрьмѣ*, онъ пишетъ Гильому: «Я долженъ извѣстить васъ о большомъ дѣлѣ, затѣянномъ между С. Пелажи (тюрьма) и Елисейскимъ дворцомъ. Луи Бонапартъ долженъ ни больше, ни меньше, какъ сдѣлаться компаньономъ «народнаго банка». Я доставлю публикаціи, статуты и т. д.; дѣло пойдетъ на разсмотрѣніе и быть можетъ правительство или президентъ, не знаю ужъ кто изъ нихъ, сдѣлаетъ для насъ то, что сдѣлано было для *cités ouvrières*: возьметъ на себя починъ акціонерной компаніи посредствомъ крупной подписки». Будучи переведенъ въ крѣпость Дюлленсъ, гдѣ были заключены Распайль, Альберъ, Барбесъ, Бланки и другіе, онъ пишетъ: «Право не знаю, почему я очутился со всѣми этими гражданами, которыхъ я необычайно уважаю... Я—новый человѣкъ, человѣкъ полемики, а не баррикады, человѣкъ, который могъ бы достигъ своей цѣли, обѣдая каждый день съ префектомъ полиціи». Событія 2 декабря и затѣмъ вторая имперія не только не ослабили этого оригинальнаго убѣжденія Прудона—дѣйствовать заодно съ правительствомъ—а даже поддали ему жару: «я рассчитываю черезъ два три мѣсяца водрузить ни больше, ни меньше, какъ знамя соціальной республики. Случай представляется великогѣпный, успѣхъ почти вѣрный. Какъ только Бонапартъ сдѣлается императоромъ, я примусь разсуждать о совершившемся фактѣ (ни за,

ни *противъ*); я буду обсуждать миссію Бонапарта и рационально подталкивать его ко всѣмъ революціоннымъ предпріятіямъ, которыя въ данномъ случаѣ должны конечно усилить его популярность, но вмѣстѣ съ тѣмъ подвигать впередъ и демократію». Въ другомъ письмѣ читаемъ: «Расчитываю я выпустить въ теченіе іюня и іюля три изданія къ ряду, занять положеніе на совершенно новой почвѣ и заставить Елисейскій дворецъ посморгнуть на союзъ съ республиканцами, какъ на вещь до такой степени желательную, логическую, настоятельно необходимую, что имъ останется только ожидать ее съ достоинствомъ... Слѣдуетъ искуснымъ маневромъ, высшими философскими соображеніями, поставить партію, находящуюся нынче въ изгнаніи, такъ высоко, не взирая на ея ошибки, чтобы всякая монархическая реставрація показалась чудовищной и чтобы правительство 2-го декабря, слѣдя логикѣ своего происхожденія, своего назначенія, своего положенія, было въ постоянной необходимости искать соглашенія. Словомъ сказать: надо сдѣлать изъ революціи единственную программу, возможную для Луи Наполеона; надо, чтобы онъ устремился къ ней для своего счастья и спасенія; надо широко растворить ему эту дверь будущности, популярности, безсмертія; надо закрыть ему всѣ другіе исходы, обрѣзать малѣйшую вѣтвь спасенія, отнять всякій предлогъ, лишить всякой надежды. Надо, говоря я, доказать ему, доказать всѣмъ интеллигенціямъ, что внѣ революціи они пропали, и доказывая это, добиться того, чтобы оно такъ случилось».

Я нарочно привелъ образцы (ихъ много въ письмахъ Прудона) и совершенно искренней увѣренности, что его идеи станутъ руководить правительствомъ, и хитрыхъ макіавелическихъ комбинацій, задуманныхъ на погибель правительства. И тѣ и другіе проникнуты крайнимъ простодушіемъ, не лишенымъ своеобразнаго комическаго элемента, особенно если вспомнить, что на дѣлѣ Прудонъ не только никогда ни такъ, ни иначе не проникалъ въ правительственныя сферы, но испыталъ всѣ удовольствія тюрьмы и изгнанія. Трудно даже понять, какъ могъ человѣкъ несомнѣнно сильнаго, огромнаго ума до такой степени

плохо ориентироваться въ комбинаціяхъ практической жизни. Но я не на эту сторону дѣла хочу обратить вниманіе читателя. Она свидѣтельствуетъ только о наивности Прудона и его глубокой вѣрѣ въ свои идеи, вѣрѣ, не допускающей даже и тѣни сомнѣнія, что, какъ только извѣстныя «высшія философическія соображенія» будутъ предъявлены Дюшателю или Наполеону — такъ Наполеонъ и Дюшатель немедленно раскроютъ Прудону свои объятія. Это та самая вѣра, которая побуждала Прудона совершенно искренно писать одному другу: «моли Бога, чтобы я нашелъ издателя (для перваго мемуара о собственности) — въ этомъ можетъ быть спасеніе Франціи!». Если вы посмотрите на упованія Прудона съ этой точки зрѣнія, то ихъ комическій характеръ нѣсколько поблѣднѣетъ, и вы припомните можетъ быть извѣстную поговорку, что между смѣшнымъ и великимъ всего одинъ шагъ разстоянія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ вы невольно поражаетесь тѣмъ обстоятельствомъ, что человѣкъ, не только въ первомъ же своемъ зрѣломъ произведеніи объявившій себя «анархистомъ», но всегда преслѣдовавшій въ другихъ попытки правительственной инициативы, самъ постоянно тяготѣлъ (хотя и платонически) къ правительству. Если мы даже выкинемъ изъ счета, ради его двусмысленности, планъ подкопа подъ Наполеона III, то многія другія упованія Прудона ясно показываютъ, что онъ совершенно искренно и вполне честно рассчитывалъ дѣйствовать правительственными путями. Оно, какъ мы видѣли, и не противорѣчитъ его собственной доктринѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ вполне противорѣчили и этой доктринѣ, и элементарнымъ понятіямъ о нравственности его нападки на другихъ за то, чѣмъ онъ былъ такъ грѣшенъ самъ. И въ полемикѣ его, всегда страстной и часто очень искусной, это противорѣчіе выражалось многими некрасивыми чертами. Самая умѣренная характеристика его образа дѣйствій въ этомъ отношеніи можетъ быть выражена словомъ «плутоватость» — словомъ, которое онъ въ одномъ письмѣ самъ употребляетъ по отношенію къ себѣ. Но если «плутоватый» человѣкъ, сознавая свою плутоватость и сознательно плу-ская ее въ ходъ, примется лавировать по самымъ опаснымъ и

бурнымъ пространствамъ грязнаго житейскаго моря, то становится «за человѣка страшно», за его нравственную чистоту, потому что замараться вѣдь такъ легко. И Прудонъ замарался. До сихъ поръ мы видѣли только наивность его платоническаго тяготѣнія къ правительственнымъ сферамъ и полнѣйшее безкорыстіе, потому что во всѣхъ своихъ замыслахъ войти въ правительство искреннимъ или коварнымъ другомъ онъ о себѣ не думалъ, ничего лично для себя не добивался. Но онъ все-таки стоялъ на слишкомъ скользкой почвѣ и поскользнулся, и не разъ. Къ сожалѣнію письма, относящіяся къ подобнымъ случаямъ, мнѣ въ оригиналѣ неизвѣстны, а г. Д—евъ скупъ на поддержки изъ нихъ, во первыхъ по характеру своей задачи, а вторыхъ надо думать потому, что щадить своего героя. Но тѣмъ большую силу получаютъ нѣкоторые отрицательныя или неодобрительныя сужденія г. Д—ева. Въ 1850 г., сидя въ тюрьмѣ, Прудонъ продолжалъ руководить отсюда своей газетой «Voix du Peuple». Правительство Луи Наполеона подозрѣвало его во всѣхъ рѣзкихъ статьяхъ и потому перевело его въ другую тюрьму и стѣснило его въ выходѣ и приѣмѣ друзей. Тогда онъ написалъ префекту полиціи письмо, въ которомъ просилъ прежнихъ послабленій. Онъ напоминаетъ префекту, что его направленіе никогда не было разрушительнымъ, что на возмущеніе 13 іюня онъ не переставалъ смотрѣть, какъ на дѣло противозаконное, такъ какъ «право возстанія погашается учрежденіемъ всеобщей подачи голосовъ». Далѣе онъ указываетъ на свою постоянную примирительную роль, на неустанное желаніе согласить интересы классовъ, для чего собственно онъ и напечаталъ свои «Признанія революціонера», и наконецъ на свою безпощадную критику всѣхъ социалистскихъ утопій, ссылаясь даже на толки, ходившіе на биржѣ, что онъ, Прудонъ, содѣйствовалъ порядку и возстановленію нормальнаго хода дѣлъ (!) своими нападками на утопистовъ и либерализмомъ своихъ стремленій. «Это письмо, вынужденъ замѣтить г. Д—евъ:—вызвано конечно тяжелою дѣйствительностью; но Прудону все-таки не слѣдовало писать его съ такими доводами». Выбѣстѣ съ тѣмъ Прудонъ извѣщалъ префекта, что онъ отказывается

отъ всякаго участія въ Voix du Peuple, а редакцію увѣщевалъ поддерживать его обращеніе къ префекту «умѣренностью и примирительнымъ духомъ». Изъ другаго письма къ префекту видно, что первое подѣйствовало: Прудонъ «усердно благодарить» префекта, но проситъ перевести его въ старую тюрьму. Не приводя изъ этого письма ни одной подлинной строки, г. Д—евъ замѣчаетъ: «Письмо это, даже и на совершенно объективный взглядъ, не производитъ хорошаго впечатлѣнія, хотя вполнѣ вѣрно, что такой человѣкъ, какъ Прудонъ, никогда не вдавался въ абсолютизмъ и нетерпимость (?). Но онъ ненавидѣлъ и презиралъ правительство президента, зналъ прекрасно, чего ждать отъ его клики, и находилъ возможнымъ очень мягко переписываться съ префектомъ полиціи». Есть и еще одно любопытное письмо 1850 г., изъ котораго г. Д—евъ не дѣлаетъ никакихъ выдержекъ, а только изображаетъ производимое этимъ письмомъ впечатлѣніе на читателя. Приведя изъ дружескаго письма Прудона рѣзко презрительное выраженіе о Наполеонѣ, г. Д—евъ продолжаетъ: «тѣмъ непріятнѣе наткнуться въ концѣ третьяго тома на письмо къ президенту республики отъ 28 ноября, съ просьбою объ облегченіи участи, хотя письмо это и было потомъ уничтожено, какъ слишкомъ *личное*, по замѣчанію самого автора, находящемуся подъ текстомъ. Письмо это, названное «петиціей», было замѣнено ходатайствомъ объ общей амнистіи. Во всякомъ случаѣ врядъ ли слѣдовало Прудону обращаться къ человѣку, замыслившему 2-е декабря, во имя солидарности, объединяющей ихъ, какъ враговъ старыхъ партій». Есть еще, тоже нехорошія, письма Прудона къ Plon-Plon, т. е. къ принцу Наполеону, писанныя уже послѣ 2 декабря. Собственноручное письмо такого ничтожества, какъ этотъ проходимецъ, *даже не къ нему адресованное*, а только касающееся его, Прудонъ «сохраняетъ съ гордостью». Онъ говоритъ о «славѣ имени» и «чести дома» Бонапарта.

Къ такимъ некрасивымъ результатамъ пришелъ Прудонъ, спускаясь съ высоты теоріи «прогресса въ себѣ» по наклонной плоскости своей «путловатости». Что дѣло здѣсь не въ теоріи,

а въ личности Прудона—это очевидно. Что поведеніе его далеко отъ рыцарства, это опять-таки — фактъ, на какомъ бы языкѣ вы его ни рассказали, а не только на языкѣ «условной демократической фразеологіи». Я не обвинительный актъ пишу противъ Прудона. Да и очень бы это жалкое дѣло было. Я просто ищу въ его перепискѣ его портрета и не могу не останавливаться преимущественно на такихъ чертахъ, которыя для меня новы, и, смѣю думать, не для одного меня, а для громаднаго большинства читающихъ и думающихъ русскихъ и европейцевъ, привыкшихъ связывать съ личностью Прудона представленіе о чѣмъ-то безусловно чистомъ, свободномъ отъ малѣйшаго пятна и упрека. Совсѣмъ не весело подбирать эти тусклыя черты, потому что, подбирая ихъ, приходится отрывать нѣчто отъ сердца. Это—не фраза. Со мной согласится всякій, когда-нибудь увлекавшійся какимъ-нибудь историческимъ или живымъ образомъ, именно образомъ, свѣтлою личностью, а не только ея идеями. Дѣло извѣстное, что и на солнцѣ есть пятна, но, какъ ни элементарна эта истина, какъ ни часто она подтверждается, а все-таки нелѣпая природа человѣка беретъ свое и не позволяетъ сказать безъ боли и печали: и ты Брутъ?! Я долженъ признаться, что личность Прудона стояла для меня скорѣе выше, чѣмъ ниже его идей. Сочиненія его поучительны въ совсѣмъ особенномъ смыслѣ. Если вычестъ у Прудона то, что въ немъ есть общаго съ другими социалистами, то, сравнительно говоря, у него мало чему можно научиться въ прямомъ смыслѣ слова, т. е. приобрести непосредственно отъ него. Но чтеніе его сочиненій дѣйствуетъ замѣчательно возбуждающимъ образомъ, какъ ферментъ. Каждая его книга поднимаетъ въ читателѣ цѣлый рядъ вопросовъ, которые требуютъ отвѣтовъ, цѣлый рядъ мыслей, которыя вторгаются въ вашъ умственный запасъ, требуютъ себѣ въ немъ мѣста, раздвигаютъ и тормозятъ своихъ сосѣдей, требуютъ отъ васъ пересмотра, критики и самокритики. Сравните напримѣръ «Капиталъ» Маркса съ «Системой экономическихъ противорѣчій. У Маркса вы нѣчто узнали, да такъ узнали, какъ будто извѣстныя свѣдѣнія приколочены у васъ въ мозгу двухъ вершковыми

гвоздями. Подъ этими страшными гвоздями ничто не поколеблется, ничто не шелохнется. «Система экономических противорѣчій» напротивъ, сравнительно опять-таки говоря, даетъ намъ мало положительнаго знанія, умственного успокоенія. Но она дорога именно тѣмъ состояніемъ умственного безпокойства, броженія, которое производитъ. Это объясняется обаяніемъ личности писателя, тѣмъ бурнымъ клокотаніемъ жизни, которымъ она полна и которое брызжетъ изъ каждой строки, то въ видѣ истинно громоноснаго гнѣва, то въ видѣ пламеннаго призыва къ чему-то, не всегда опредѣленному, но всегда высокому и свѣтлому, то въ видѣ почти безумной смѣлости отрипанія и критики. Въ разговорѣ съ однимъ французскимъ социалистомъ, меня поразила его фраза: nous sommes presque tous proudhoniens, мы почти всѣ — прудонисты. Когда я сталъ добиваться подробностей, то узналъ, что собесѣдникъ мой въпервыхъ придаетъ крайне слабое значеніе идеѣ прудоновскаго банка, единственнаго практическаго, положительнаго результата дѣятельности Прудона; а вовторыхъ признаетъ завѣтную мысль Прудона о сочетаніи силъ буржуазіи и рабочаго класса—пережитою, оставленною за флагомъ. Чтò же остается? Остается идея личности, одинаково не мирящаяся ни съ необузданностью мелкаго эгоизма, систематизированнаго въ ученіи экономистовъ, ни съ планами фаланстеріанцевъ, икарійцевъ и т. п., замыкающими личность въ тѣсныя и фантастическія рамки. Съ этой точки зрѣнія значеніе Прудона для Франціи дѣйствительно громадно въ воспитательномъ смыслѣ. Но воспитаніе это производилось исключительно тѣми шпорами, которыя Прудонъ неустанно и безжалостно давалъ личности въ своихъ сочиненіяхъ, иначе сказать, собственною личностью Прудона. Та же мысль о связи личности Прудона съ его идеями о личности, очень хорошо (но теперь уже не совсѣмъ вѣрно) выражена въ брошюрѣ г. Жуковскаго «Прудонъ и Луи Бланъ» (1866 г.): «Онъ выдѣлялъ себя не во имя новой какой-либо партіи, новой коллективной силы единомышленниковъ, которой бы искалъ и на которую думать бы опираться. Нѣтъ, у него никогда не было ни школы, ни

кружка, ни партіи, и онъ весьма далекъ былъ отъ желанія организовать подобную партію... Весь протестъ его окружающему заключался въ его собственной личности; на однихъ своихъ плечахъ онъ хотѣлъ вынести всю войну, которую вызывалъ своимъ отрицаніемъ... Личность и прежде всего личность стояла для него на первомъ планѣ; въ этомъ началѣ личности видѣлъ онъ всю силу... Въ силу такого взгляда никто не былъ менѣе способенъ къ интригѣ, къ оправданію поступковъ благою цѣлью, къ половиннымъ сдѣлкамъ, уступкамъ и компромиссамъ; безукоризненность личной дѣятельности онъ ставилъ въ первый законъ политической и гражданской дѣятельности, самую личность, если хотите, ставилъ поэтому выше дѣла... Ту идеальную чистоту личности, которую идеалисты проповѣдывали только на словахъ, онъ хотѣлъ сдѣлать закономъ самаго дѣла... Съ рѣдкой послѣдовательностью онъ хотѣлъ отстоять право и чистоту личности во всѣхъ сферахъ ея дѣятельности и во всѣхъ положеніяхъ. Вотъ почему онъ остался столь же бѣденъ деньгами, какъ немногіе друзья его и единомышленники». Въ этихъ сочувственныхъ словахъ выражено не личное мнѣніе г. Жуковского, а почти общее понятіе, къ которому склонялись и заклые враги Прудона. И вдругъ—плутоватость! Сама по себѣ плутоватость—слишкомъ обычное и неважное явленіе, чтобы ею возмущаться. Но плутоватость въ Прудонѣ и плутоватость доходящая до похвалы передъ Наполеономъ, что дескать на биржѣ толкуютъ, что я способствовалъ восстановленію порядка и нормальнаго хода дѣлъ, т. е. подготовленію второй имперіи!.. Г. Д—евъ неоднократно съ презрѣніемъ отзывается о моральной оцѣнкѣ фактовъ, доставленныхъ перепиской Прудона. Прежде всего говорить онъ—философія, исторія философскаго развитія. Полагаю, что Прудонъ первый не согласился бы встать на такую точку зрѣнія, да и г. Д—евъ далеко не вполне на ней удержался, что очень понятно. Конечно переписка Прудона служить хорошимъ подспорьемъ для изслѣдованія процесса его философскаго развитія, но можно, собственно говоря, обойтись довольно удобно и безъ нея. Возьмите сочиненіе Прудона, рас-

михайловскій. т. III. вып. II.

положите ихъ въ хронологическомъ порядкѣ, изслѣдуйте и освѣщайте процессъ развитія съ точки зрѣнія Конта или какой угодно другой. Дѣйствительно, для исторіи философскаго развитія Прудона переписка не даетъ ничего существенно новаго, ничего такого, чего нельзя бы было отыскать въ его сочиненіяхъ, но она незаменима для характеристики личности и представляетъ въ этомъ отношеніи дѣйствительно новые и неожиданные матеріалы. Всѣ были напримѣръ увѣрены, что Прудонъ не имѣлъ и не хотѣлъ имѣть партіи, на которую рассчитывалъ бы опереться. Оказывается, что это неправда. Партіи онъ дѣйствительно не имѣлъ: онъ имѣлъ только «кружокъ», очень небольшой, за который считалъ себя однако «нравственно отвѣтственнымъ», какъ онъ писалъ префекту полиціи. Но онъ *хотѣлъ* имѣть партію, какъ видно изъ многихъ его писемъ. Всѣ были увѣрены, что онъ мечталъ провести въ жизнь свои идеи единственно на своихъ собственныхъ плечахъ. Оказывается, что это неправда, потому что онъ рассчитывалъ и на плечи Дюшателя и разныхъ другихъ министровъ. Всѣ были наконецъ увѣрены, что «никто не былъ менѣе способенъ къ интригѣ, къ оправданію поступковъ благою цѣлью». И это неправда, потому что въ перепискѣ встрѣчаются прямые совѣты выть съ волками по волчьи, а планъ подкопа подъ Наполеона III свидѣтельствуетъ, что интрига и оправданіе поступковъ благою цѣлью были Прудону не совсѣмъ чужды. Ниже я расскажу еще одинъ подходящий эпизодъ изъ его частной жизни.

Но каковы бы ни были пятна на солнцѣ, оно остается солнцемъ. Лично Прудонъ былъ человѣкъ плутоватый, это несомнѣнно, но самъ онъ сильно преувеличивалъ свою плутоватость и способность къ интригѣ. Въ сущности у него былъ только позывъ къ ней, а способности не было вовсе. Плутоватость его достигла предположенныхъ цѣлей только въ полемикѣ, въ которой онъ часто далеко не добросовѣстно, но по крайней мѣрѣ виѣшнимъ образомъ успѣшно вывертывался изъ затруднительныхъ положеній. На всѣхъ остальныхъ пунктахъ плутоватость привела къ нулю, если не къ отрицательной величинѣ. Факти-

говорять сами за себя: увѣреніе, что онъ можетъ дѣлать свое дѣло, каждый день обѣдая съ префектомъ полиціи, написано въ тюрьмѣ; вслѣдъ за твердо выраженнымъ намѣреніемъ «перейти со всѣмъ багажемъ въ правительство», какъ мы видѣли, началось судебное преслѣдованіе Прудона,—это если хотите черты высокаго комизма. Чтѣ же касается до облегченія тюремнаго режима, добытаго плутоватостью, то оно меньше, чѣмъ нуль, потому что облегченіе было ничтожно, а честное имя Прудона компрометировано. Коварные замыслы противъ правительства Наполеона III поражаютъ своею фантастичностью и черезъ два-три года послѣ ихъ изложенія Прудонъ чувствуетъ прихвостня императора, — принца Наполеона. Не меньше можетъ быть всякаго грѣшнаго потомка грѣшныхъ прародителей Адама и Евы, Прудонъ былъ не прочь и отъ власти и богатства, и отъ интриги и оправданія поступковъ благою цѣлью. Но какъ-то всегда такъ выходило, что либо замыселъ, несмотря на весь умъ Прудона, оказывался ребяческимъ, либо онъ самъ отказывался напимѣръ отъ денегъ, когда ихъ могъ получить совершенно безобиднымъ образомъ. Онъ хотѣлъ и не хотѣлъ. Благодаря бѣдности человѣческаго языка нельзя выразиться яснѣе, а между тѣмъ это противорѣчіе всѣмъ понятно, потому что оно довольно обыкновенно. Власти и богатства Прудонъ, надо замѣтить, никогда не добивался, какъ своихъ личныхъ, своекорыстныхъ цѣлей, но все-таки думалъ о нихъ. Когда вслѣдствіе письма его къ Наполеону было снято запрещеніе съ его книги, онъ былъ очень обрадованъ и писалъ одному другу, что собирается воевать съ клерикалами и консерваторами, надѣется сразу заработать 30,000 франковъ своими изданіями и стать во главѣ настоящей революціонной партіи. Мысль заняться какимъ-нибудь нелитературнымъ практическимъ доходнымъ предпріятіемъ очень часто занимала Прудона. Между прочимъ въ 1852 году онъ собирался пустить въ ходъ проектъ судоходства между Марселемъ и Рю-Жанейро. Сообщивъ это свидѣніе, г. Д—евъ замѣчаетъ: «Пикантно при этомъ то, что во ожиданіи социальныхъ переворотовъ, Прудонъ каждый разъ собирается дѣй-

*

ствовать буржуазными средствами: ловкостью, секретомъ и т. д. Соответственныхъ фактовъ г. Д — евъ не приводитъ. Въ томъ же 1852 году Прудонъ писалъ: «Почему мнѣ не двадцать пять лѣтъ вмѣсто сорока четырехъ! Десяти лѣтъ довольно бы мнѣ было, чтобы составить состояніе, безъ котораго человѣкъ съ идеями всегда лишенъ солидности и кредита. Тогда мы могли бы попытать кое-что и вступить въ равныя сношенія съ вѣщими имѣющими... Теперь же я все-таки презрѣнный писака, недостойный вниманія ни со стороны республиканской буржуазіи, ни со стороны буржуазіи бонапартистской». Въ слѣдующемъ году онъ былъ сильно занятъ проектомъ желѣзной дороги изъ Безансона въ Мюльгаузенъ. Въ чемъ состояло его участіе въ этомъ дѣлѣ, изъ изложенія г. Д — ева не видно. Въ всякомъ случаѣ онъ мечталъ, еслибы предпріятіе это состоялось, получить отъ концессіонера 500,000 франковъ на возобновленіе своего *народнаго банка*. Дѣло это однако лопнуло, потому что концессія была дана не патронамъ Прудона, а Перейрѣ. Такихъ неудачъ въ жизни Прудона было не мало и становится наконецъ интереснымъ, почему же замѣчательно умный, талантливый и извѣстный человѣкъ, желающій вдобавокъ добиться извѣстнаго матеріальнаго благосостоянія, не получаетъ его? Что Прудонъ никогда его не получилъ, это читатель конечно знаетъ. Всѣмъ извѣстно, что Прудонъ оставался всю жизнь бѣднякомъ, но до какой степени бѣднякомъ! Издавъ уже свои мемуары о собственности и работая надъ *Création de l'ordre*, будучи уже слѣдовательно знаменитостью, сочиненія которой переводилось на иностранные языки, онъ писалъ матери: «Отдайте зачинить мои старые башмаки, которые вы должны были получить съ дилжансомъ изъ Пема». Гораздо позже онъ писалъ, что удовольствовался бы 4 или даже 3,000 франковъ въ годъ. «Писать, еще писать и всегда писать! вотъ моя бѣда: кто выведетъ меня изъ этого ада?» — восклицаетъ онъ въ 1852 г., измученный подобной работой. Можно подумать, что онъ былъ просто плохой дѣлецъ, такъ же дурно устанавливавшій въ практику свои промышленные проекты, какъ дурно ориентировался въ политической прак-

тикѣ, когда рассчитывалъ напимѣрь опереться на Дюшателя. Оно по всей вѣроятности отчасти такъ и было. Но былъ въ его жизни по крайней мѣрѣ одинъ такой случай, когда онъ могъ съ разу получить порядочный кушъ, и очень любопытно видѣть, какъ онъ съ этимъ случаемъ распорядился. Когда дѣло безансонско-мюльгаузенской желѣзной дороги для него лопнуло, министръ финансовъ Манъ и выбранный концессионеръ Перейра нашли, что Прудону слѣдуетъ заплатить 40,000 фр. «отступного», какъ говоритъ г. Д—евъ. Прудонъ отказался. «Я принялъ участіе въ хлопотахъ,—писалъ онъ по этому поводу—и съ цѣлью политической, и въ интересѣ принципа. Принципъ этотъ: конкуренція, которую я желалъ возбудить между желѣзными путями вѣтвью отъ Безансона до Мюльгаузена. Императоръ рѣшилъ иначе; мнѣ нечего брать вознагражденіе за принципъ. Деньги и идея—двѣ несоизмѣримыя величины». Сколько мнѣ извѣстно, Прудонъ видѣлъ тутъ какую-то борьбу между принципами сенсимонистовъ, представителемъ которыхъ въ этомъ дѣлѣ считалъ Перейру, и своими. Изъ 40.000 фр. ему повидимому слѣдовала только извѣстная часть, которая для него все-таки должна была составлять изрядную сумму. По крайней мѣрѣ онъ писалъ нѣсколько позже: «Въ первый разъ подвергся я денежному искушенію; долженъ однако прибавить что со мной поступили съ добрымъ намѣреніемъ и деликатностью».

Вотъ и разбирайте человѣческое сердце... Г. Д—евъ говорить, что планы Прудона дѣйствовать хитростью, ловкостью, подвохами и подходами—«пикантны». Можетъ быть и пикантны, но я рѣшительно не понимаю, какъ можно просто вкушать и смаковать эту пикантность, не пытаясь дать ей объясненіе. Безъ такого объясненія вся переписка Прудона представляетъ только беспорядочную кучу писемъ, которая даже интереса большого не имѣетъ. Потому что, повторяю, исторія философскаго развитія Прудона можетъ быть выслѣжена и по его сочиненіямъ, а для познанія всякаго рода пикантностей достаточно голаго заявленія, что былъ, дескать, человѣкъ большого ума и высокой честности, но дѣлалъ глупости и гадости.

Г. Д—евъ замѣчаетъ, что въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ Прудонъ оставался до конца жизни французскимъ мужикомъ. Я думаю, что это основаніе всей личности Прудона и всѣхъ его сочиненій. По отзывамъ всѣхъ, имѣвшихъ случай узнать французскихъ крестьянъ, исторія сдѣлала ихъ людьми, что называется себѣ на умѣ, самостоятельными, упорными, упрямыми, трудолюбивыми, воздержными и бережливыми до скупости, жесткими эгоистами. Проникающее ихъ личное начало рѣзче всего выражается въ необыкновенной страсти къ собственности. Французскій крестьянинъ бьется какъ рыба объ ледъ, работаетъ какъ волъ, отказываетъ себѣ во всемъ, чтобы накопить деньжонокъ и округлить свой наслѣдственный участокъ земли, или же онъ съ этою цѣлью занимается за страшные проценты. Сегодня онъ умеръ и сколоченный съ невѣроятными усиліями клочокъ земли дробится поровну между его сыновьями, изъ которыхъ каждый начинаетъ дѣло округленія вновь, если только его не перетянутъ къ себѣ соблазны городской жизни. Въ семьѣ французскій крестьянинъ—деспотъ и смотритъ на жену свысока, какъ на существо несравненно нисшее. Не только общественнаго хозяйства, хотя бы оно не выходило изъ предѣловъ семейнаго, но и общественной жизни онъ не знаетъ. Онъ поглощенъ своею личностью и только ближайшіе ея отпрыски, дѣти, ему близки. Маше, такъ поэтически описавшій привязанность французскаго крестьянина къ «любовницѣ-землѣ», говорить: «Чтобы обладать нѣсколькими футами виноградника, женщина отнимаетъ грудь у своего ребенка и даетъ ее чужому. «Ты будешь жить или умрешь, мой сынъ, говоритъ отецъ, но если ты будешь жить, у тебя будетъ земля». Но это жестко, это нечестиво, скажете вы. Подумайте прежде. «У тебя будетъ земля», это значитъ: «Ты не будешь наемникомъ, котораго сегодня берутъ, а завтра гонять, ты не будешь рабомъ изъ-за дневнаго пропитанія, ты будешь свободенъ». Свободенъ! Великое слово, содержащее въ себѣ все человѣческое достоинство». (Le peuple, 58). Но сыновья мужика, какъ уже сказано, никогда не останутся вмѣстѣ, каждый изъ нихъ опять-таки замкнется въ свою личную жизнь, къ ко-

торой причастны только его дѣти. Что касается религіозныхъ воззрѣній, то за вычетомъ нѣсколькихъ мѣстностей, гдѣ французскій крестьянинъ суевѣренъ, какъ въ средніе вѣка, и почти идолопоклонникъ, онъ, вообще говоря—крайній скептикъ и человѣкъ равнодушный, индифферентный.

Представьте себѣ теперь, что изъ этой однородной массы выдѣлился человѣкъ громаднаго ума и пытливости—Прудонъ. Каковы бы ни были личныя особенности его ума и характера, но кровная связь съ милліонами людей, обладающихъ такою рѣзко опредѣленною фізіономіей, должна была наложить на него свою наслѣдственную печать. Самъ Прудонъ очень хорошо понималъ и очень высоко цѣнилъ эту кровную связь. Онъ съ гордостью говорилъ о своихъ четырнадцати предкахъ-мужикахъ и съ этой же точки зрѣнія написаны многія прекрасныя страницы въ книгѣ «De la justice»: воспоминанія о смерти отца, котораго онъ глубоко уважалъ, о томъ времени, когда самъ онъ былъ пастухомъ и т. п. Нѣкоторыя наслѣдственно мужицкія черты остались въ Прудонѣ до конца его дней въ совершенно неперева-ренномъ, неизмѣненномъ его личнымъ развитіемъ видѣ. Таковы его отношенія къ женщинѣ. Они извѣстны. Переписка только подтверждаетъ, что и въ частной жизни онъ на этомъ пунктѣ былъ таковъ же, какъ и въ теоріи. Его отношенія къ женѣ были замѣчательно жестки. Описывая въ одномъ письмѣ ея опасную болѣзнь и ожидая ея смерти, онъ говоритъ только о непріятностяхъ положенія вдовца съ дѣтьми и о неизбежной вслѣд-ствіе этого неурядицѣ въ домашнихъ дѣлахъ. Очевидно, что его извѣстное положеніе, что «женщина—или хозяйка или куртизанка» не было для него фразой, а это—характерная крестьянская мысль. Но конечно далеко не всѣ типическія мужицкія черты могли сохраниться съ такою полною неприкосновенностью. Въ большей части случаевъ онѣ должны были, сохраняя свой коренной характеръ, подвергнуться извѣстной переработкѣ, хотя бы уже потому, что Прудону приходилось сталкиваться съ такими вещами, которыя въ крестьянскомъ быту не имѣютъ мѣста.

Напримѣръ французскій мужикъ можетъ болѣе или менѣе хо-

ропо, болѣе или менѣе дурно устроить свои практическія дѣла, смотря по его ловкости, но онъ во всякомъ случаѣ прежде всего—практикъ и узкій практическій утилитаристъ. Эта черта въ основаніи своемъ досталась по наслѣдству и Прудону, но понятно въ преобразованномъ, такъ сказать, расширенномъ видѣ. Она выразилась его ненавистью ко всякой спеціальности для спеціальности. Искусство для искусства онъ называлъ проституціей, философію для философіи — «торговлей абсолютомъ»: такому же рѣзкому осужденію подвергалась политика и экономія, какъ самостоятельныя, самодовлѣющія цѣли. Прудонъ не понималъ, какъ можно заниматься какою-нибудь спеціальностью для нея самой, а не для счастья человѣка или, какъ онъ говорилъ, для утвержденія справедливости. Въ книгѣ «De la justice» онъ сдѣлалъ даже намекъ на грандіозную теорію, въ силу которой справедливость должна была стать основаніемъ не только общественнаго устройства, а и всѣхъ міровыхъ процессовъ. Въ человѣческихъ же дѣлахъ онъ тѣмъ паче требовалъ служенія справедливости отъ всякой функціи, отъ всякой дѣятельности. Искусство, наука, философія, промышленный прогрессъ, политическія формы сами по себѣ для него ничего не значили. Это несомнѣнно та же практичность французскаго мужика, но поднятая на высшую ступень развитія. Прудонъ это очень хорошо понималъ. Въ одномъ своемъ сочиненіи онъ говоритъ напрямъ, что «человѣку народа никогда бы не пришла въ голову такая нелѣпость, какъ декартовское: «я мыслю, слѣдовательно существую». Онъ хотеть сказать, что для человѣка народа есть гораздо болѣе убѣдительное доказательство существованія—трудъ, дѣятельность вообще, лишь частная, спеціальная, слѣдовательно подчиненная форма которой есть мышленіе. Другія общія идеи Прудона,—тѣ, которымъ онъ оставался вѣренъ всю жизнь, столь же удобно приводятся въ связь съ духовнымъ наслѣдствомъ ряда поколѣній французскихъ крестьянъ. На первомъ мѣстѣ здѣсь стоитъ идея личности. Грубый эгоизмъ французскаго мужика, просвѣтленный работой гениальнаго ума, преобразился въ начало личнаго достоинства и личной свободы.

Наиболѣе трудно поддающійся объясненію съ этой точки зрѣнія фактъ есть прудоновское отрицаніе собственности, на первый взглядъ такъ рѣзко противорѣчащее основной складкѣ французскаго крестьянства. Но это только на первый взглядъ. Прежде всего замѣтимъ, что Прудонъ, совершенно въ духѣ своей родной среды, рѣшительно отрицалъ собственность общинную. Въ силу тѣхъ же причинъ, которыя мѣшаютъ въ этой средѣ даже двумъ братьямъ вести общее хозяйство, Прудонъ всѣми силами боролся съ коммунизмомъ. Свободу и равенство Прудонъ понималъ и цѣнилъ, но третій членъ извѣстнаго девиза революціи—братство—былъ для него тарабарская грамота. Что же касается до его отрицанія собственности вообще, то это не болѣе, какъ діалектическій фокусъ. При употребленіи «критическаго орудія антиномій», отрицаніе очень часто оказывается и должно оказываться утвержденіемъ. Во всякомъ случаѣ критика Прудона ни малѣйше не грозила собственности французскихъ крестьянъ—личной собственности, приобрѣтенной трудомъ и передаваемой по наслѣдству. Мало того, его критика вполне согласовалась съ этимъ порядкомъ вещей, систематизировала его, представляла лишь его расширеніе, развитіе и облагороженіе. Французскій крестьянинъ, грубый и узкій, надѣляетъ каждаго своего сына собственностью. Это—именно взглядъ Прудона, съ тою разницею, что кругозоръ его былъ шире, обнималъ всѣхъ сыновей всѣхъ отцовъ, т. е. все человѣчество. Онъ хотѣлъ, какъ мы видѣли, universaliser собственность, а не выбросить ее за бортъ.

Если бы у меня было достаточно времени и мѣста, я могъ бы провести это объясненіе и дальше, даже до многихъ мелкихъ подробностей жизни и дѣятельности Прудона. Но сказаннаго для меня достаточно. Читатель, надѣюсь, убѣдился, что Прудонъ былъ потомокъ своихъ предковъ. Это опредѣленіе можетъ показаться смѣшнымъ или страннымъ, но оно вѣрно выражаетъ мысль. Мы сейчасъ увидимъ человѣка, который не былъ потомкомъ своихъ предковъ, у котораго предковъ поэтому какъ бы не было. Прудонъ былъ въ совсѣмъ иномъ положеніи. Онъ представлялъ собою звено прямой, однородной цѣпи, нѣкото-

рымъ образомъ сосудъ, въ который влились чистые, несмѣшанные соки вѣковой исторіи. Отсюда его довѣріе къ будущему, не впадающее однако въ оптимизмъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ терпѣливое отношеніе къ этому будущему, не впадающее однако въ апатію и бездѣятельность. Отсюда такъ проникающая его всего идея «прогресса въ себѣ». Но что для насъ особенно важно, такъ это—вытекающая отсюда прочность основныхъ вѣрованій и убѣжденій. Какова бы ни была степень плутоватости Прудона (лично ли ему принадлежавшей или тоже полученной по наслѣдству), но она или шла на службу основнымъ вѣрованіямъ, или, если отклонялась отъ нихъ, играла роль не важную и второстепенную. За плечами его лежала слишкомъ характерная и непрерывная исторія, чтобы онъ могъ высвободиться изъ-подъ ея ига. Это было впрочемъ «благое иго», потому что не отягцало, а облегчало ему жизнь. Если уже у него въ молодости сложились всѣ его главнѣйшія убѣжденія, то тѣмъ самымъ было обойдено множество ошибокъ, внутреннихъ противорѣчій и мукъ. То, что въ массѣ французскихъ крестьянъ было инстинктомъ, въ личности Прудона выразилось сознаніемъ и системой. Сознаніе конечно должно было очищать, обтесывать грубость инстинктовъ, но все-таки имѣть въ нихъ свое основаніе. Вотъ почему Прудонъ оставался всегда вѣренъ и не могъ не оставаться вѣрнымъ идеямъ свободы, личной самостоятельности, труда и собственности. Вотъ почему онъ до такой степени глубоко вѣровалъ въ свои идеи, что полагалъ возможнымъ убѣдить любого министра «высшими философскими соображеніями». Въ сущности эти высшія соображенія были далеко не настолько убѣдительны и побѣдительны. Но самому Прудону они казались таковыми, потому что были результатомъ не его личной головной работы, а его плотью и кровью, унаслѣдованною отъ цѣлаго ряда предковъ, въ которыхъ тѣ же идеи пребывали въ видѣ инстинктовъ и неясныхъ позывовъ. При такихъ условіяхъ личные недостатки были почти безсильны.

Я никакъ не думалъ такъ долго останавливаться на Прудонѣ, потому что, по правдѣ сказать, хотѣлъ только отгнѣнить имъ

фигуру нашего Бѣлинскаго и затѣмъ сдѣлать нѣсколько общихъ выводовъ. А отгѣняютъ другъ друга эти фигуры замѣчательно, потому что при значительномъ сходствѣ по темпераменту, страстности, преданности идеѣ, логическому безстрашію, трудно найти двухъ людей, исторія внутренней жизни которыхъ была бы до такой степени различна. Это два антипода. Если въ Прудонѣ поражаетъ необычайная стойкость убѣжденій при нѣкоторой цлутоватости характера, то въ Бѣлинскомъ наоборотъ поразительна рыцарски честная, святая натура рядомъ съ шатаніемъ и колебаніемъ принциповъ. Эта противоположность наводитъ русскаго человѣка на многія горькія, но и на многія утѣшительныя мысли.

Начать съ того, что вмѣсто однородной, непрерывной характерной цѣпи предковъ Прудона, мы встрѣчаемъ на порогѣ жизни Бѣлинскаго слѣдующую мѣшанину: прадѣдъ неизвѣстенъ; дѣдъ—сельскій священникъ; отецъ—военный лекарь, пользующійся репутаціей вольнодумца и безбожника; мать—мелкая дворянка, владѣющая семьей крѣпостныхъ людей и малограмотная; отецъ въ 1831 г. получаетъ чинъ коллежскаго ассесора, дающій дворянство, причемъ несмотря на все свое вольнодумство заболѣваетъ «тщеславіемъ дворянства», какъ извѣщалъ Бѣлинскаго одинъ его родственникъ. Эта мѣшанина не представляетъ въ русской жизни ничего необыкновеннаго, исключительнаго. Весьма можетъ быть, что г. А., критикъ «Русскаго Вѣстника», крайне презрительно говорящій и о Бѣлинскомъ, и о его происхожденіи и обстановкѣ, самъ узрѣлъ свѣтъ при подобныхъ же условіяхъ. Это бываетъ. Но представьте себѣ, что изъ этой мѣшанины выдѣлился не г. А., а человѣкъ большаго ума и пытливости и вдобавокъ съ страшнымъ, неподкупнымъ чувствомъ правды. Что будетъ? Отвѣтъ даетъ біографія Бѣлинскаго. Рассказывать ее я разумѣется не буду и остановлюсь только на нѣкоторыхъ ея пунктахъ.

Первымъ крупнымъ жизненнымъ шагомъ Бѣлинскаго была трагедія, которую онъ написалъ еще бывши студентомъ. Сюжетъ трагедіи былъ заимствованъ изъ крѣпостныхъ отношеній. Герой ея—незаконный сынъ помѣщика и его крѣпостной; трагедія

изобилуетъ убійствами и романтическими ужасами, но въ основаніи своемъ взята изъ дѣйствительной жизни. Г. Пыпинъ, ссылаясь на источники, говоритъ, что «именно впечатлѣнія этой жизни (помѣщичьяго произвола и крѣпостныхъ отношеній вообще), негодовапіе къ этимъ возмутительнымъ явленіямъ, составлявшимъ «порядокъ вещей», именно и одушевляли его и дали содержаніе его трагедіи». Бѣлинскій возлагалъ большія надежды на свое произведеніе, и въ авторскомъ, и въ денежномъ смыслѣ. Онъ рассчитывалъ напечатать трагедію, поставить ее на сцену и такимъ образомъ «откупиться отъ казны», т. е. выдти изъ казановкинскихъ студентовъ и жить на квартирѣ. Онъ потерпѣлъ полное фiasco. Товарищами трагедія одобрена не была, а цезурный комитетъ, состоявшій изъ профессоровъ университета, назвалъ ее «безнравственною, безчестящею университетъ». Эта исторія способствовала исключенію Бѣлинскаго изъ университета. Много онъ послѣ того бѣдствовалъ, но наконецъ друзья устроили его вотъ какимъ образомъ. Въ Москвѣ жилъ одинъ богатый баринъ, имѣвшій страсть писать и печататься и извѣстный тогда подъ именемъ Прутикова. Этому-то барину Лажечниковъ и рекомендовалъ Бѣлинскаго, въ качествѣ домашняго секретаря, обязанность котораго состояла въ «исправленіи грамматическихъ и другихъ погрѣшностей въ сочиненіяхъ его превосходительства». Дальнѣйшую исторію Лажечниковъ рассказываетъ такъ. «Вскорѣ Бѣлинскій водворенъ въ аристократическомъ домѣ, пользуется не только чистымъ, даже ароматическимъ, воздухомъ, имѣетъ прислугу, которая лезаетъ по его мановенію, имѣетъ хорошій столъ, отличныя вина, слушаетъ музыку разныхъ европейскихъ знаменитостей (одна дочь его прев—ва—музыкантпа), располагаетъ огромной библіотекой, будто собственной, однимъ словомъ катается, какъ сыръ въ маслѣ. Но вскорѣ заходятъ тучи надъ этой блаженной жизнью. Оказывается, что за нее надо подчасъ жертвовать своими убѣжденіями, собственной рукой писать иль приговоры, дѣйствовать противъ совѣсти. И вотъ въ одно прекрасное утро Бѣлинскій исчезаетъ изъ дома, начиненнаго всѣми житейскими благами, исчезаетъ съ своимъ добромъ, завязан-

нымъ въ носовой платокъ, и сокровищемъ, которое онъ носитъ въ груди своей. Его превосходительству оставлена записка съ извиненіемъ нижеподписавшагося покорнаго слуги, что онъ не сроденъ къ должности домашняго секретаря».

Я потому напомнилъ этотъ довольно извѣстный и самъ по себѣ неважный эпизодъ изъ жизни Бѣлинскаго, что въ жизни Прудона имѣется виѣшнимъ образомъ совершенно параллельный фактъ. Такъ что сравненіе очень удобно и напрашивается само собой. Въ началѣ 1841 г. Прудонъ тоже поступилъ домашнимъ секретаремъ къ одному важному барину, занимавшемуся сочиненіемъ по уголовному праву. Обязанность Прудона состояла приблизительно въ томъ же, что долженъ былъ дѣлать Бѣлинскій, но онъ посмотрѣлъ на свою роль совсѣмъ иначе. Онъ не только не бѣжалъ подобно Бѣлинскому, а задумалъ цѣлый коварный планъ эксплуатаціи патрона въ видахъ своихъ излюбленныхъ идей. Мысль эта его очень занимала, какъ видно изъ нѣсколькихъ писемъ, вошедшихъ въ первый томъ переписки, въ которыхъ онъ очень пространно развиваетъ эту тему. Онъ смѣется надъ своимъ патрономъ и рассчитываетъ заставить его плясать по своей дудкѣ, подсунувъ ему, подъ видомъ его идей, свои собственныя. Онъ хочетъ, поддакивая патрону, его аристократическимъ тенденціямъ, направить все сочиненіе извѣстнымъ образомъ. И когда сочиненіе явится и заслужить многочисленныя похвалы,—въ этомъ Прудонъ вполне увѣренъ,—явится настоящий его авторъ, т. е. Прудонъ и предложитъ номинальному автору нѣкоторые логическіе, неизбежные выводы изъ него. Патронъ долженъ будетъ принять ихъ, не смотря на все свое къ нимъ отвращеніе, или же признать себя одураченнымъ не-вѣждой. «Или онъ будетъ кричать: да здравствуетъ равенство! долой собственность! или я сдѣлаю изъ него осла... Надо обращаться съ людьми, какъ съ дѣтьми, золотить пилюли, надувать людей въ ихъ собственномъ интересѣ». «Я сдѣлаю скандалъ изъ этого сочиненія», пишетъ онъ въ другомъ письмѣ. Никакого такого скандала Прудонъ не сдѣлалъ, и вообще весь этотъ коварный планъ далъ въ результатъ такой же круглый нуль.

какъ и всѣ другіе макіавелическіе замыслы Прудона. Но дѣло не въ этомъ, а въ личностяхъ Прудона и Бѣлинскаго, которыхъ эти двѣ исторіи домашняго секретарства такъ хорошо обрисовываютъ и отгѣняютъ. Ничего подобнаго прудоновскимъ подвоямъ и подходамъ Бѣлинскій никогда въ мысляхъ не имѣлъ и не могъ имѣть. Самая характеристическая его черта есть глубоко, до напвности и ребячества правдивое отношеніе къ людямъ, къ принципамъ, къ фактамъ. Онъ былъ, можно сказать, сама правда, обложенная въ жалкую, слабую плоть. Если мы переберемъ всѣхъ многочисленныхъ и часто взаимно исключającychъ боговъ, которымъ Бѣлинскій въ разное время страстно молился и приносилъ жертвы, — театръ, поэзія, Шиллеръ, Гегелевская «дѣйствительность», цивилизація, социальная идея, — то увидимъ, что во всемъ этомъ онъ искалъ только одного — правды и, собственно говоря, ей одной молился. Какъ только замѣчалась въ томъ или другомъ временномъ богѣ какая-нибудь фальшь, Бѣлинскаго ужъ начинало коробить и щемить, а тамъ — глядишь — кумиръ летитъ отъ взмаха сильной руки бывшаго правовѣрнаго, и бывший правовѣрный топчетъ его съ неистовствомъ челоѣка, обманутаго въ самыхъ лучшихъ своихъ вѣрованіяхъ и упованіяхъ. Изъ этого не слѣдуетъ однако, чтобы въ низвергнутомъ кумирѣ была подмѣчена дѣйствительная фальшь. Жажда правды была въ Бѣлинскомъ безъ преувеличенія ужасающая, она мучила и измучила его. Это свидѣлствуютъ всѣ его письма. Но потому-то онъ и мучился, что чутье правды не соответствовало жадѣ. Какъ путникъ въ степи, метался онъ «духовной жаждою томимъ», мучимый собственнымъ горячимъ, иссушающимъ дыханіемъ. И вдругъ передъ нимъ оазисъ, зеленый, влажный, свѣжій... Увы! Это — только миражъ, ложь, фальшь, но Бѣлинскій часто убѣждался въ этомъ слишкомъ поздно, а затѣмъ слѣдовала новая ломка, новое горе, новое неистовство, тѣмъ болѣе сильное, чѣмъ заманчивѣе былъ предательскій миражъ. Была одна область, въ которой онъ былъ почти непогрѣшимъ, — область эстетическая. Г. Пыпинъ приводитъ очень любопытный разсказъ бывшаго учителя Бѣлинскаго, Попова, о томъ какъ они вмѣстѣ

съ будущимъ великимъ критикомъ, тогда еще студентомъ, читали «Бориса Годунова» Пушкина. Особенно поразила Бѣлинскаго извѣстная сцена въ корчмѣ. «Прочитавъ разговоръ хозяйки корчмы съ собравшимися у нея бродягами, улики противъ Григорія и бѣгство его черезъ окно, Бѣлинскій выронилъ книгу изъ рукъ, чуть не сломалъ стулъ, на которомъ сидѣлъ, и восторженно закричалъ: «Да это—живые; я видѣлъ, я вижу, какъ онъ бросился въ окно!» Эта способность цѣнить правду изображенія и восторгаться ею была въ Бѣлинскомъ развита совершенно необычайно. Пройдетъ много лѣтъ, смѣнится много критиковъ и даже критическихъ приемовъ, но нѣкоторые эстетическіе приговоры Бѣлинскаго останутся во всей силѣ. Но за то только въ этой области Бѣлинскій и находилъ для себя почти непрерывный рядъ наслажденій. Какъ только эстетическое явленіе осложнялось философскими и, нравственно-политическими началами, такъ чутье правды болѣе или менѣе измѣняло ему, между тѣмъ какъ жажда оставалась все та же, и это-то и дѣлало изъ него того великомученика правды, какимъ онъ выступаетъ въ своей перепискѣ. Постоянныя колебанія строя его мыслей особенно поразительны, если поставить ихъ рядомъ съ прочностью, непрерывностью чуть не отъ колыбели до могилы, устойчивостью убѣжденій Прудона.

Я отнюдь не хочу умалять значеніе Бѣлинскаго, да вѣдь я и не говорю ничего новаго. Всѣмъ извѣстно, всѣми признано, что Бѣлинскій былъ эстетическій критикъ огромной силы и что онъ не разъ перемѣнилъ свои взгляды вообще и взгляды на искусство въ частности. Но я хотѣлъ бы внушить читателю болѣе почтительное и кажется болѣе правильное отношеніе къ критикѣ Бѣлинскаго. У насъ его нынче не читаютъ, теперешнее подростающее поколѣніе пожалуй что и вовсе его не знаетъ. И это на основаніи его репутаціи, вполне впрочемъ вѣрной въ общемъ. Однако изъ этой вѣрности репутаціи слѣдуетъ не то, что Бѣлинскаго читать не нужно, а то, что его могутъ съ пользою читать только люди, умственно и нравственно окрѣпшіе. Конечно у кого въ головѣ нѣтъ царя, того Бѣлинскій мо-

жетъ сбить своими противорѣчивыми сужденіями о явленіяхъ литературы и жизни. Но человѣкъ съ царемъ въ головѣ получить при чтеніи его сочиненій много наслажденій и много пользы. Судьба Бѣлинскаго очень печальна. Ругать его и до сихъ поръ ругаютъ, даже тѣми самыми кличками, которыми его надѣляли при жизни. Г. Погодинъ напримѣръ, несмотря на свой почтенный возрастъ, никакъ не можетъ забыть, что Бѣлинскій—«недоучившійся студентъ». Есть молодые щенки, которые тоже на эту тему распространяются. Есть правда у Бѣлинскаго почитатели, собственно почитатели его свѣтлаго имени, но многіе изъ нихъ готовы признать, что Бѣлинскій въ концѣ концовъ все-таки—пройденная ступень, потому что—дескать—эстетическая критика отжила свое время. Оно такъ да не такъ. Конечно многіе вопросы, занимавшіе Бѣлинскаго, для насъ не существуютъ. Мы напримѣръ ужъ не будемъ разсуждать о томъ, можетъ ли быть сатира причислена къ разряду художественныхъ произведеній. Но возьмите самый элементарный вопросъ эстетической критики: вѣрно ли изображено извѣстное лицо или положеніе въ данномъ литературномъ произведеніи? Главная, не преходящая сила Бѣлинскаго состояла въ умѣннѣ отвѣтить на этотъ вопросъ. А для этого требуется такое умѣнье ставить себя въ положеніе изображаемыхъ лицъ, такая глубокая способность сочувствія страдающей и наслаждающейся человѣческой личности, что не можетъ быть и сомнѣнія въ значеніи Бѣлинскаго даже до сего дня. Съ позволенія читателя я еще вернусь когда-нибудь къ этой любопытной темѣ, а теперь пойдемте дальше.

Мы видѣли, что трагедія Бѣлинскаго была юношескимъ протестомъ противъ крѣпостнаго права и другихъ порядковъ добраго стараго времени. Это не могло быть конечно одинокимъ явленіемъ, и Бѣлинскій носилъ въ кружкѣ Станкевича прозвище «иенстоваго Виссаріона» не только за свои манеры, а и за свое душевное содержаніе. Онъ въ это время сильно увлекался Шиллеромъ и питалъ, какъ говорилъ потомъ самъ, «дикую вражду къ общественнымъ порядкамъ во имя абстрактнаго идеала общества». Долго ли, коротко ли продолжалось это настроеніе (у

г. Пыпина этотъ періодъ изложенъ очень неясно и сбивчиво), но Бѣлинскій наконецъ бросился въ другую крайность, — въ безусловное оправданіе всякой дѣйствительности въ качествѣ необходимо «разумной». Перемѣна эта совершилась подъ вліяніемъ нѣмецкой философіи, постепенно овладѣвавшей Бѣлинскимъ. До какой степени она имъ овладѣла въ указанномъ на правленіи примиренія съ дѣйствительностью, видно уже изъ любопытнѣйшаго письма отъ 7 августа 1837 г. Письмо писано къ одному пріятелю изъ Пятигорска, гдѣ Бѣлинскій въ то время лечился.

«Богъ не есть ничто отдѣльное отъ міра, писалъ Бѣлинскій, но Богъ въ мірѣ, потому что онъ вездѣ. Да, его, — какъ говоритъ великій Іоаннъ, любимѣйшій ученикъ Христа, — его нигде не видать; но онъ во всякомъ благородномъ порывѣ челоуѣка, во всякой свѣтлой его мысли, во всякомъ святомъ движеніи его сердца... Ищи Бога не въ храмахъ, созданныхъ людьми, но ищи въ сердцѣ своемъ, ищи въ любви своей. Утони, исчезни въ наукѣ и искусствѣ, возлюби науку и искусство, возлюби ихъ, какъ цѣль и потребность твоей жизни, а не какъ средство къ образованію и успѣхамъ въ свѣтѣ — и ты будешь блаженъ, а кто достигъ блаженства, тотъ носить въ себѣ Бога... Философія — вотъ что должно быть предметомъ твоей дѣятельности. Философія есть наука идеи чистой, отрѣшенной; исторія и естествознаніе суть науки идеи въ явленіи. Теперь спрашиваю тебя: что важнѣе — идея или явленіе, душа или тѣло?.. Но тебѣ нельзя начать прямо съ философіи: тебѣ надо приготовиться къ ней путемъ искусства. Какъ къ душевному просвѣтленію черезъ причастіе христіанинъ готовится путемъ поста и покаянія, такъ искусствомъ ты долженъ очистить свою душу отъ проказы земной суеты, холоднаго себялюбія, отъ обольщеній внѣшней жизни, и приготовить ее къ принятію чистой истины... Только въ философіи ты найдешь отвѣты на вопросы души твоей, только она дастъ миръ и гармонію душѣ твоей и подаритъ тебя такимъ счастьемъ, какого толпа и не подозреваетъ... Въ самомъ себѣ, въ сокровенномъ святилищѣ своего духа найдешь ты высшее счастье, и тогда твоя маленькая комнатка, твой убогій и тѣсный кабинетъ будетъ истиннымъ храмомъ счастья. Ты будешь свободенъ, потому что не будешь ничего просить у міра, и міръ оставитъ тебя въ покоѣ, видя, что ты у него ничего не просишь. Пуще всего оставь политику и бойся всякаго политическаго вліянія на свой образъ мыслей. Политика у насъ въ Россіи не имѣетъ смысла, и ею могутъ заниматься только пустые головы. Люби добро и тогда ты будешь необходимо полезенъ своему отечеству, не думая

михайловскій. т. III. вып. II.

и не стараясь быть ему полезнымъ. Еслибы каждый изъ индивидовъ, составляющихъ Россію, путемъ любви дошелъ до совершенства, тогда Россія безъ всякой политики сдѣлалась бы счастливѣйшею страной въ мірѣ... Для Россіи назначена совсѣмъ другая судьба, нежели для Франціи, гдѣ политическое направленіе и наукъ, и искусства, и характера жителей имѣетъ свой смыслъ, свою хорошую сторону... Если хочешь понять назначеніе Россіи, прочти исторію Петра Великаго, — она объяснитъ тебѣ все. Ни у какого народа не было такого государя. Всѣ великіе государи другихъ народовъ ниже Петра... Петръ есть ясное доказательство, что Россія не изъ себя разовьетъ свою гражданственность и свою свободу, но получить то и другое отъ своихъ царей, такъ какъ уже много получала отъ нихъ того и другого. Правда, мы еще не имѣемъ правъ, мы — еще рабы, если угодно, но это оттого, что мы еще должны быть рабами. Россія — еще дитя, для котораго нужна нянька, въ груди которой билось бы сердце, полное любви къ своему питомцу, а въ рукѣ которой было бы лоза, готовая наказывать за шалости... Дать Россіи въ теперешнемъ ея состояніи конституцію — значитъ погубить Россію. Въ понятіи нашего народа свобода есть *воля*, а воля — озорничество. Не въ парламентъ пошелъ бы освобожденный русскій народъ, а въ кабакъ побѣждалъ бы пить вино, бить стекла и вѣшать дворянъ, которые брѣютъ бороды и ходятъ въ сюртукахъ. Свобода конституціонная есть свобода условная, а истинная, безусловная свобода настаиваетъ въ государствахъ съ успѣхами просвѣщенія основаннаго на философіи умозрительной, а не эмпирической, на дарствѣ чистаго разума, а не пошлаго здраваго смысла... Наше правительство не позволяетъ писать противъ крѣпостнаго права, а между тѣмъ исподволь освобождаетъ крестьянъ... Давно ли мы съ тобой живемъ на свѣтѣ, давно ли помнимъ себя, и уже посмотри, какъ перемѣнилось общественное мнѣніе: много ли теперь осталось тирановъ-помѣщиковъ, а которые и остались, не презираютъ ли ихъ самые помѣщики? Видишь ли, что и въ Россіи все идетъ къ лучшему... Власть даетъ намъ полную свободу думать и мыслить, но ограничиваетъ свободу громко говорить и вмѣшиваться въ ея дѣла. Она пропускаетъ къ намъ изъ-за границы такіе книги, которые никакъ не позволяютъ перевести и издать. И что-жъ, все хорошо и законно съ ея стороны, потому что то, что можешь знать ты, не долженъ знать мужикъ, потому что мысль, которая можетъ сдѣлать тебя лучше, погубила бы мужика, который естественно понялъ бы ее ложно. Правительство позволяетъ намъ выписывать изъ-за границы все, что производитъ германская мыслительность, самая свободная, и не позволяетъ выписывать политическихъ книгъ, которыя послужили бы только ко вреду кружка головы неосновательныхъ людей. Въ моихъ глазахъ эта мѣра превосходная и похвальная...»

Письмо оканчивается панегирикомъ нѣмцамъ и рѣзкимъ осужденіемъ французовъ. Такъ смирился человѣкъ, еще недавно написавшій кровавую трагедію изъ крѣпостного быта и питавшій «дикую вражду къ общественнымъ порядкамъ во имя абстрактнаго идеала». Такъ смирился «неистовый Виссаріонъ». По поводу этого замѣчательнаго письма, г. А. «Русскаго Вѣстника» счесть возможнымъ и умѣстнымъ предаться какимъ-то дряннымъ подмигиваніямъ. Трудно даже понять такое неуваженіе къ святынѣ, потому что приведенное письмо настоящая святыня, вполне очевидная даже для самаго грубаго глаза, если только онъ хоть разъ въ жизни напрягался, вглядываясь въ даль, чтобы найти тамъ правду. Если бы еще была возможность доказать, что Бѣлинскій противорѣчилъ себѣ изъ-за какихъ-нибудь стороннихъ побужденій, я бы понялъ усердіе критики «Русскаго Вѣстника». Но тормозить грязными руками трупъ великомученика правды, пристроивать свои личныя и, самое большее, катковскія дѣлишки къ тому обстоятельству, что Бѣлинскій въ неустанной погонѣ за правдой ошибался и мѣнялъ свой цвѣтъ, играть на этомъ обстоятельствѣ, какъ на фортепьяно, — какая гадость! И эти — не говорю фарисеи и книжники, потому что это для нихъ все-таки не по шерсти кличка, она все-таки подразумеваетъ, если не умъ и знаніе, то хоть хитрость и эрудицію — эти пятиалтынные, эти гроши говорятъ объ уваженіи къ личности, къ исторіи, они стоятъ за какую-то «культуру» и негодуютъ на какую-то «тенденціозность»... Во всей перепискѣ Бѣлинскаго, собранной г. Пыпинымъ, нѣтъ ничего трогательнѣе этого письма. Нигдѣ не выразились такъ ясно его глубочайшая преданность и какое-то необыкновенное проникновеніе тѣмъ, что онъ въ данную минуту считалъ правдой. Я ужъ не говорю о содержаніи письма, посмотрите только на его внѣшность, на форму изложенія. Каждая строка здѣсь дорога, каждое сочетаніе и размѣщеніе словъ, какъ свидѣтельство изумительной правдивости Бѣлинскаго. Обыкновенно бурный, часто выпадающій даже въ риторику слогъ не только его сочиненій, а и писемъ, дѣлается тутъ мягкимъ, ровнымъ, спокойнымъ. Иначе

*

и не можетъ писать обладатель правды не воинствующей, а успокоительной, утѣшительной. Я увѣренъ, что и лицо Бѣлинскаго въ это время преобразилось и что говорилъ онъ не «упорствуя, волнуясь и спѣша», а ровно, спокойно и нѣсколько торжественно, хотя конечно по страстности своей натуры долго выдержать этого не могъ. Г. Пыпинъ обращаетъ вниманіе на то, что во время писанія этого письма личныя обстоятельства Бѣлинскаго были «ужасны», хуже чѣмъ когда-нибудь. Это въ самомъ дѣлѣ очень характерный фактъ. Больной, нищій, въ завтрашнемъ днѣ не увѣренный, Бѣлинскій съ невозмутимымъ спокойствіемъ объясняетъ, что все идетъ къ лучшему и что философія даетъ такое счастье, какого толпа и не подозрѣваетъ и какой вѣшняя жизнь не можетъ ни дать, ни отнять. Со стороны смѣшно, если хотите, дико, нелѣпо, фикція, иллюзія, обманъ, ложь, но очевидно, что самъ Бѣлинскій въ ту минуту дѣйствительно обладалъ такимъ счастьемъ, потому что глубоко вѣрилъ, что навѣянный на него философскій вздоръ есть правда. Придетъ время, и Бѣлинскій столь же искренно, столь же цѣльно и полно возстанетъ противъ этой «правды», но тогда она уже не будетъ въ его глазахъ правдой. До этого однако еще далеко. Вотъ еще нѣсколько отрывковъ изъ этой эпохи его развитія, которое шло въ томъ же направленіи все crescendo.

Въ 1838 г. онъ писалъ: «Теперь, когда я нахожусь въ созерцаніи безконечнаго, теперь я глубоко понимаю, что всякій правъ и никто не виноватъ». «Такова моя натура: съ напряженіемъ, горестно и трудно принимаетъ мой духъ въ себя и любовь, и вражду, и знаніе, и всякую мысль, всякое чувство; но, принявъ, весь проникается ими до сокровенныхъ глубокихъ изгибовъ своихъ. Такъ въ горнилѣ моего духа выработалось самобытно значеніе великаго слова *дѣйствительность*». «*Дѣйствительность*, твержу я, вставая и ложась спать». Въ 1839 г.: «Пріѣзжаю въ Москву съ Кавказа, пріѣзжаетъ М.—мы живемъ вмѣстѣ. Лѣтомъ просмотрѣлъ онъ философію религій и права Гегеля. Новый міръ намъ открылся. Сила есть право и право есть сила:—нѣтъ, не могу описать тебѣ, съ какимъ чувствомъ

услышалъ я эти слова—это было освобожденіе. Я понялъ идею паденія царствъ, законность завоеваній, я понялъ, что нѣтъ дикой матеріальной силы, нѣтъ владычества пштыка и меча, нѣтъ произвола, нѣтъ случайности—и кончилась моя опека надъ родомъ человѣческимъ».

Шиллеръ въ это время предавался сильному поруганію, какъ «личный врагъ» (собственныя слова Бѣлинскаго) «за субъективно-нравственную точку зрѣнія, за страшную идею долга, за абстрактный героизмъ, за прекраснодушную войну съ дѣйствительностью, за все за это, отчего я страдаю во имя его». Задачей Бѣлинскаго становится уже отмѣченное въ письмѣ съ Кавказа самосовершенствованіе, «абсолютная» или «полная жизнь духа». За эту задачу онъ принимается съ своею обыкновенною страстностью и правдивостью, безжалостно роется въ своей душѣ и бичуетъ себя за самолюбіе, тщеславіе, чувственность и проч. Дѣлаетъ онъ это до послѣдней степени просто, искренно, безъ всякой рисовки передъ собой и передъ друзьями. Онъ и тутъ—искренно вѣрующій жрецъ правды, проникнутый важностью своихъ священнодѣйствій и жертвоприношеній. Не смотря на шаткость почвы, на которой онъ стоялъ, вы не встрѣтите въ его самобичеваніяхъ ни униженія паче гордости, ни малѣйшаго кокетства. Находятся помощники въ этой работѣ (особенно Боткинъ); друзья помогаютъ другъ другу въ достиженіи «абсолютной жизни», несутъ одинъ другому всякую душевную мелочь, требуютъ критики и даютъ ее.

Бѣлинскій первый замѣчаетъ всю ложь такихъ «правдивыхъ» дружескихъ отношеній. Уже вскорѣ послѣ своего переезда въ Петербургъ онъ пишетъ: «Говорить о себѣ да о себѣ или все о моихъ да своихъ страданіяхъ, забывши, что и другой также думаетъ о себѣ и также богатъ страданіями,—не хорошо и не умно». Но ему все еще жаль Москвы, друзей, кружка. Петербургъ ему очень не нравится, такъ какъ онъ не находитъ тутъ тѣхъ теплыхъ, участливыхъ и, собственно говоря, до назойливости откровенныхъ отношеній, какія оставилъ въ Москвѣ. Мало-по-малу личныя и кружковыя ноты уступаютъ мѣсто другимъ.

Уже въ 1840 г. онъ пишетъ: «Въ Петербургѣ съ необитаемаго острова я очутился въ столицѣ, журналъ поставилъ меня лицомъ къ лицу съ обществомъ,—и Богу извѣстно, какъ много перенесъ я! Для тебя еще не совсѣмъ понятна моя вражда къ *московушню*, но ты смотришь на одну сторону медали, а я вижу обѣ. Меня убило это зрѣлище общества, въ которомъ властвуютъ и играютъ роли подлецы и дюжинныя посредственности, а все даровитое и благородное лежитъ въ позорномъ бездѣйствіи на необитаемомъ островѣ... *Отчею же европеецъ въ страданіи брошается на общественную дѣятельность и находитъ въ ней выходъ изъ самаго страданія?*»... Последняя фраза предвѣщаетъ уже разрывъ съ богомъ разумной дѣйствительности и примиренія, и въ самомъ дѣлѣ громъ очень скоро разражается. Въ томъ же 1840 г. Бѣлинскій писалъ: «Проклинаю мое стремленіе къ примиренію съ гнусною дѣйствительностью! Да здравствуетъ великій Шиллеръ, благородный адвокатъ челоуѣчества, яркая звѣзда спасенія, эмансипаторъ общества отъ кровавыхъ предрассудковъ преданія! Да здравствуетъ разумъ, да скроется тьма!, какъ восклицаетъ великій Пушкинъ. Для меня теперь *человѣческая личность* выше исторіи, выше общества, выше челоуѣчества. Это—мысль и дума вѣка! Боже мой! страшно подумать! что со мной было — горячка или помѣшательство — я словно выздоравливающий». «Дѣйствительность — это палачъ». «Боже мой, сколько отвратительныхъ мерзостей сказалъ я печатно, со всею искренностью, со всѣмъ фанатизмомъ дикаго убѣжденія! Болѣе всего печалитъ меня теперь выходка противъ Мицкевича въ гадкой статьѣ о Менцелѣ. Какъ! отнимать у великаго поэта священное право оплакивать паденіе того, что дороже ему всего въ мірѣ и въ вѣчности, — его родины... И этого-то благороднаго и великаго поэта назвалъ я печатно крикуномъ, поэтомъ рифмованныхъ памфлетовъ! Послѣ этого всего тяжелѣе мнѣ вспоминать о «Горѣ отъ ума», которое я осудилъ съ художественной точки зрѣнія, о которомъ говорилъ свысока и съ пренебреженіемъ, не догадываясь, что это—благороднѣйшее, гуманическое произведеніе, энергическій (и притомъ еще первый) про-

тестъ противъ гнусной расшейской дѣйствительности, противъ чиновниковъ, взяточниковъ, баръ-развратниковъ, противъ свѣтскаго общества, противъ невѣжества, добровольнаго холопства и проч. и проч. и проч... Чортъ знаетъ, какъ подумаешь какими зигзагами совершалось мое развитіе, цѣною какихъ ужасныхъ заблужденій купилъ я истину, и какую горькую истину, — что все на свѣтѣ гнушно, и особенно вокругъ насъ». «Признаться ли тебѣ въ грѣхѣ... о Шиллерѣ не могу и думать не задыхаясь, а къ Гете начинаю чувствовать родъ ненависти, и ей-Богу у меня рука не поднимается противъ Менцеля, хоть сей мужъ и по прежнему остается въ глазахъ моихъ идиотомъ. Боже мой, — какіе прыжки, какіе зигзаги въ развитіи! Страшно подумать».

Съ этого времени прыжки и зигзаги развитія, такъ мучившіе Бѣлинскаго, въ общемъ прекращаются. Онъ продолжаетъ еще приходить въ «неистовый» восторгъ передъ вновь открывающимися для него сторонами мысли и жизни, но эти новыя впечатлѣнія уже довольно ровно укладываются въ его установившееся міросозерцаніе. Такъ напримѣръ онъ пишетъ: «Я весь въ идеѣ гражданской доблести, весь въ паюсѣ правды и чести, и мимо ихъ мало замѣчаю какое бы то ни было величіе. Теперь ты поймешь, почему Тимолеонъ, Гракхъ и Катонъ Утическій... заслонили собою въ моихъ глазахъ и Цезаря, и Македонскаго. Во мнѣ развилась какая-то... фанатическая любовь къ свободѣ и независимости человѣческой личности, которая возможна только при обществѣ, основанномъ на правдѣ и доблести». Или: «Я съ трудомъ и болью расстаюсь съ старою идеею, отрицаю ее до нельзя, и въ новую перехожу со всѣмъ фанатизмомъ прозелита. Я теперь въ новой крайности, — это идея социализма, которая стала для меня идеею идей... альфою и омегою вѣры и знанія. Она поглотила (для меня) и исторію, и религію, и философію. И потому ею я объясняю теперь жизнь мою, твою и всѣхъ, съ кѣмъ встрѣчался я на пути жизни». Жоржъ-Зандъ, которую онъ прежде презиралъ, становится для него «вдохновенною пророчицею, энергическимъ адвокатомъ правъ женщинъ». И т. п. Эти новыя мысли конечно уже не враждебно приводили въ его

психическое содержаніе, потому что то были только частности отрицанія «разумной дѣйствительности» и борьбы съ нею, которая наполнила Бѣлинскаго. Нѣкоторый миръ опять насталъ въ его душѣ и онъ могъ по временамъ даже не съ ненавистью, а съ тонкимъ юморомъ смотрѣть на своихъ старыхъ, низверженныхъ боговъ. Очень характерно въ этомъ отношеніи длинное письмо къ Боткину отъ 1-го марта 1841 г. «Я имѣю особенно важныя причины злиться на Г. (Гегеля), писалъ Бѣлинскій, ибо чувствую, что былъ вѣренъ ему (въ ощущеніи), мирясь съ расейскою дѣйствительностью, хваля Загоскина и подобныя глупости и ненавидя Шиллера. Въ отношеніи къ послѣднему я былъ еще послѣдовательнѣе самого Г., хотя и глупѣе Менцеля... Ты—я знаю—будешь надо мной смѣяться... но смѣйся какъ хочешь, а я—свое: судьба субъекта, индивидуума, личности важнѣе судебъ всего міра и здравія китайскаго императора (то есть гегелевской *Allgemeinheit*). Мнѣ говорятъ: развивай всѣ сокровища своего духа для свободнаго самонаслажденія духомъ, плачь, дабы утѣшиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись къ совершенству, лѣзь на верхнюю ступень лѣстницы развитія, а споткнешься—падай—чортъ съ тобой, таковский и былъ. Благодарю покорно, Егоръ Федорычъ (Гегель), кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всѣмъ подобающимъ вашему философскому филистерству уваженіемъ честь имѣю донести вамъ, что еслибы мнѣ и удалось влѣзть на верхнюю ступень лѣстницы развитія, — я и тамъ попросилъ бы васъ отдать мнѣ отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суевѣрія, инквизиціи, Филиппа II, и проч., и проч; иначе я съ верхней ступени бросаюсь внизъ головой. Я не хочу счастья и даромъ, если не буду спокоенъ насчетъ каждаго изъ моихъ братій по крови... Говорятъ, что дисгармонія есть условіе гармоніи; можетъ быть это очень выгодно и усладительно для меломановъ, но ужъ конечно не для тѣхъ, которымъ суждено выразить своею участію идею дисгармоніи».

Но если Бѣлинскій такимъ образомъ вступилъ наконецъ въ

свою послѣднюю гавань, изъ которой вышелъ только въ могилу, то миръ въ его измученной душѣ водворился далеко не безусловный. Впервые его мучили ошибки прошлаго. Положимъ, что самъ онъ установился окончательно. Но что написано перомъ, того не вырубишь топоромъ. Они были тутъ у всѣхъ на глазахъ, улики его прежнихъ «мерзостей». Не такой онъ былъ человѣкъ, чтобы не сознаваться въ своихъ ошибкахъ, прятать ихъ, но вѣдь годы ушли на эти ошибки, невозвратные годы, которыхъ впереди Богъ еще вѣсть много ли будетъ. Да и наконецъ извѣстно, что ренегатъ, отступникъ, если онъ отступникъ искренній, отступившій правды ради, а не ради какихъ-нибудь вѣсомыхъ или невѣсомыхъ земныхъ благъ, есть злѣйшій врагъ своей прежней вѣры, потому что ненависть къ извѣстному строю мыслей осложняется тутъ покаяніемъ, ненавистью къ себѣ, къ своему прошедшему. А ужъ если такое эгоистическое существо, какъ человѣкъ, доведено до ненависти къ себѣ, то тутъ не можетъ быть и рѣчи о пощадѣ. Страшно дѣйствіе пушечныхъ выстрѣловъ, но оно еще страшнѣе, когда выстрѣлъ направляется на самую пушку, т. е. когда ее разрываетъ. Бѣлинскій совершалъ таинство покаянія съ такою же стремительностью, вѣрою и безпощадностью, какъ и все, что онъ дѣлалъ. Воспоминаніе о «мерзостяхъ» отзывалось на немъ крайне болѣзненно. Мы уже видѣли это въ нѣкоторыхъ письмахъ. Но есть и свидѣтели очевидцы. Напримѣръ Панаевъ рассказываетъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ», что когда Бѣлинскій увидалъ у него однажды на столѣ книжку журнала, развернутую на одной его старой статьѣ изъ «мерзкихъ» (кажется это была «Бородинская годовщина»), онъ пришелъ въ крайнее раздраженіе, почти въ ярость. Онъ сталъ даже уличать Панаева, что тотъ ему нарочно подсунулъ эту статью. Это конечно противорѣчитъ тому смиренному типу покаянія, къ которому мы привыкли. Но сила покаянія, боль отвращенія къ своему прошедшему этимъ, надѣюсь, не уменьшаются.

Но чаша жизненной горечи не исчерпывалась для Бѣлинскаго отравой воспоминаній. Будущее было отравлено не меньше,

если не больше. Последній результатъ, къ которому привело развитіе Бѣлинскаго, былъ: борьба съ дѣйствительностью. Борьба эта была для него обязательна впервыхъ, какъ для человѣка, который отдавался всегда цѣликомъ, безъ остатка и не могъ не вести себя сообразно своимъ убѣжденіямъ; вовторыхъ, какъ для ренегата, который тѣмъ сильнѣе ненавидѣлъ «разумную дѣйствительность», чѣмъ жарче ей прежде молился. Борьба! борьба, когда «у сокола крылья связаны и пути ему всѣ заказаны!» Надо себя представить именно Бѣлинскаго въ этомъ положеніи, его, страстнаго, сильнаго, цѣльнаго, вѣрующаго и въ то же время такъ ничтожнаго передъ тогдашнею «разумною дѣйствительностью»... Письма его изобилуютъ жалобами на цензуру и, что особенно характерно, на «произвольность» ея. Онъ бы понималъ и оцѣнилъ серьезную строгость, хотя бы и ненавидѣлъ ее. Напримѣръ: «Мою статью страшно ошельмовали. Горше всего то, что совершенно произвольно; выкинуто о Мицкевичѣ, о шапкѣ муромкѣ, а мелкихъ фразъ, строкъ — безъ числа. Но объ этомъ я еще буду писать къ тебѣ, потому что это довело меня до отчаянія, и я выдержалъ нѣсколько тяжелыхъ дней». «Писать нечего и не о чемъ; со дня на день становится невозможнѣе и невозможнѣе. Объ искусствѣ ври что хочешь, а о дѣлѣ, т. е. о нравахъ и нравственности — хоть и не трать труда и времени». «Отъ помарокъ статья лишилась своей ровноты и внутренней діалектической полноты. Ну, да чортъ съ ней! Мнѣ объ этомъ и вспоминать — ножъ вострый». И пр., и пр., и пр. Бѣлинскій рассказываетъ еще одинъ любопытный фактъ, прикосновенный къ цензурнымъ дѣламъ. Фактъ этотъ впрочемъ случился не съ его статьей. Одинъ славянофилъ по знакомству видѣлъ у цензора статью, направленную противъ славянофильства, и «уговорилъ его кое-что смягчить». «Видите-ли, сколько у насъ цензоровъ», прибавляетъ съ негодованіемъ Бѣлинскій...

Но и тутъ еще не конецъ мукамъ этого страдальца. Знаете ли вы, читатель, что значить «исписаться»? Это — почти тоже, что истечь кровью. Это, когда писатель отдалъ вамъ весь запасъ своихъ идей и не получилъ никакой сдачи въ видѣ во-

выхъ жизненныхъ фактовъ, дающихъ новое возбужденіе. Или когда онъ, усталый отъ бессонныхъ ночей и напряженной мозговой работы, чувствуетъ, что перо его перестаетъ быстро и свободно двигаться по бумагѣ, а мозгъ упорно отказывается фабриковать мысли и образы; искать же другого образа жизни и пропитанія онъ по обстоятельствамъ и привычкѣ не можетъ, и потому—какъ ни какъ—пишетъ. Вы говорите тогда: онъ исписался, пора ему на смѣну другого. И вы совершенно правы, но отъ этого не легче тому, который исписался, и онъ могъ бы пожалуй отъ васъ требовать нѣсколько большаго участія къ его судьбѣ; частица тѣхъ знаній, которыми вы теперь владѣете, тѣхъ можетъ быть очень высокихъ мыслей и чувствъ, которыя васъ волнуютъ или успокоиваютъ, принадлежить вѣдь и ему, который исписался. Онъ долго ли, коротко ли горѣлъ для васъ и если перегорѣлъ, такъ можетъ быть потому, что сильно горѣлъ. Никакой геній не застрахованъ отъ такого конца, потому что нѣтъ на свѣтѣ ничего неисчерпаемаго, кромѣ силы и матеріи, а формы ихъ, въ томъ числѣ и форма писателя, нарождаются и слѣдовательно изсякаютъ. Это я только къ слову, къ тому именно слову, что и Бѣлинскій позналъ ужасъ ожиданія конца. Онъ былъ слишкомъ богатая натура, чтобы рано изсякнуть, да и смерть не заставила себя ждать. Но ужасъ ожиданія онъ все-таки позналъ, потому что одно время ему казалось, что онъ исписался: «Взялся было за работу—не могу—лихорадочный жаръ, изнеможеніе. Какъ я испугался! Стало быть я не могу работать! Стало быть мнѣ надо искать мѣста въ больницѣ!» «Дѣло прошлое, а я и самъ ѣхалъ за границу съ тяжелымъ и грустнымъ убѣжденіемъ, что поприще мое кончилось, что я сдѣлалъ все, что дано было мнѣ сдѣлать, что я выписался и... сталъ похожъ на выжатый и вымоченный въ чаѣ лимонъ. Каково мнѣ было такъ думать, можете судить сами: тутъ дѣло шло не объ одномъ самолюбіи, но и о голодной смерти съ семействомъ»...

Надо однако подвести итоги этой едва-ли не самой безпорядочной главѣ безпорядочныхъ записокъ профана. Смѣю думать,

что несмотря на эту беспорядочность, я предложил читателю вдуматься въ два ряда очень интересныхъ явленій. Съ одной стороны читатель видитъ Прудона, человѣка по натурѣ своей плутоватаго, часто готоваго сфальсифицировать,—и однако этотъ плутоватый человѣкъ отъ перваго публичнаго заявленія своихъ мыслей и чувствъ до самой могилы остается непоколебимо вѣренъ своимъ убѣжденіямъ. Съ другой—Бѣлинскій, весь проникнутый жаждою правды, органически неспособный покривить душой,—и однако этотъ человѣкъ всю жизнь остается только великоученикомъ правды и мечется изъ стороны въ сторону, какъ какая-нибудь щепка на волнахъ. Фактъ поразительный! Для Прудона программа жизни готова чуть не съ пеленокъ и готова до многихъ мелкихъ подробностей: цѣль,—«стоять за сироту», т. е. за обездоленный людъ; средства—вполнѣ опредѣленные; отдаленный идеалъ тоже вполнѣ опредѣленный: анархія; путь къ идеалу—рядъ переходныхъ состояній, изъ которыхъ ближайшія опять-таки вполнѣ (для Прудона конечно) ясны. Передъ Бѣлинскимъ напротивъ—мракъ, мракъ и мракъ, лишь по временамъ разсѣкаемый молніей, и то для того, чтобы сказать человѣку: не туда! Неужели же мы, русскіе—до такой степени обойденная порода людей, что даже лучшіе между нами, чистѣйшіе, осуждены на рядъ ошибокъ! Почему тамъ, въ Европѣ правда (все равно какая, лишь бы человѣкъ признавалъ ее правдой) дается сразу даже плутоватому человѣку, а у насъ не дается даже вполнѣ достойнымъ воспринять ее? По тому ли, по сему ли, но таковъ фактъ. Радоваться ему или печалиться? Если я ставлю этотъ вопросъ, значить имѣю резоны разрѣшить его въ радостномъ смыслѣ, потому что на первый взглядъ ничего, кромѣ глубокой печали, параллель Бѣлинскаго и Прудона возбудить въ русскомъ человѣкѣ не можетъ. Въ самомъ дѣлѣ, мы конечно можемъ съ гордостью показать Бѣлинскаго цѣлому міру, не скрывая ни одной изъ его святыхъ ранъ. Но раны остаются ранами, т. е. болью и безобразіемъ. Ужъ лучше нѣкоторая плутоватость, особенно если она такъ мало въ концѣ-концовъ управляетъ человѣкомъ, какъ это было съ Прудонъ, чѣмъ жалкая

правды, приводящая къ ряду не только личныхъ мученій, а и ошибокъ. Это—одинъ взглядъ, и я понимаю его и даже раздѣляю. Но долженъ откровенно сознаться, что меня при этомъ подкупаютъ нѣкоторыя идеи Прудона, да можетъ быть и не одного меня, а и читателя.—Прудонъ пользуется уваженіемъ самыхъ разнообразныхъ читателей, его съ почтеніемъ цитируютъ и г. Страховъ, и г. Градовскій, и многіе другіе степенные, солидные и ученые люди; такъ ужъ Прудонъ ухитрился. Но возьмите вмѣсто него какого нибудь другого непоколебимаго европейскаго человѣка, хоть Бисмарка, который у насъ такимъ всеобщимъ уваженіемъ не пользуется. Бисмаркъ тоже пронесъ свою феодальную подкладку неприкосновенною отъ ранней молодости до сегодня, со включеніемъ момента культуръ-кампфа. Ему тоже непрерывный рядъ предковъ съ рѣзко-опредѣленными нравственными фizioноміями оставилъ духовное наслѣдство, иго, которое онъ сброситъ только вмѣстѣ съ жизнью. Не знаю, какъ читатель, а я, если бы мнѣ предложили на выборъ судьбу Бисмарка или Бѣлинскаго, выбралъ бы Бѣлинскаго. И тутъ не будетъ никакого геройства съ моей стороны, потому что я просто не могу представить себѣ себя въ кожѣ Бисмарка; неопредѣленное исканіе правды мнѣ все-таки ближе, понятнѣе, дороже, чѣмъ *такая* опредѣленная правда, какъ правда Бисмарка. Она—просто неправда, и признать ее правдой я даже во снѣ не могу. Изъ этого слѣдуетъ, что непоколебимость убѣжденій, доставляя несомнѣнно личное спокойствіе ихъ обладателю, для посторонняго наблюдателя еще не рѣшаетъ всего. Для этого посторонняго человѣка остается еще любопытный вопросъ: а каковы именно убѣжденія этого непоколебимаго человѣка? Если нѣтъ, какъ нибудь углу Европы исторія выработала непоколебимѣйшаго негодяю, то, какъ бы онъ ни былъ лично счастливъ, посторонній человѣкъ имѣетъ полное право подумать: да хоть бы ты разъ въ жизни поколебалъ свои убѣжденія и сдѣлалъ честное дѣло!

Дѣло въ томъ, что европейскій человѣкъ имѣетъ у себя за плечами болѣе или менѣе опредѣленную и непрерывную исторію.

Это даетъ ему твердость поступи и подчасъ страшную силу. Но европейскую исторію мы уже вполне знаемъ, и знаемъ, что изъ десяти европейцевъ девять направляютъ свою страшную силу убѣжденія не на защиту сиротъ, какъ направилъ Прудонъ, а на разныя другія и гораздо менѣе симпатичныя вещи. Въ нашемъ отечествѣ напротивъ твердой поступи нѣтъ ни у кого, да и откуда ей взяться? Происхожденіе напимѣръ большинства пишущей братіи приблизительно такое же, какъ и Бѣлинскаго: немножко дворянства, немножко поповства, немножко вольнодумства, немножко холопства. Да тутъ и не въ одномъ происхожденіи дѣло. Только въ Россіи возможны такіе факты, какъ напимѣръ демократизмъ Рюриковича князя Васильчикова, радикализмъ графа Льва Толстого и аристократизмъ... аристократизмъ г. Авсеенки или генерала Фадѣева, и я не знаю еще кого съ фамиліями, несомнѣнно почтенными, но не особенно аристократическими. Перечисленіемъ подобныхъ фактовъ можно бы было занять нѣсколько печатныхъ листовъ, еслибы это было нужно, еслибы и безъ того не было вполне извѣстно, что мы — мѣшанина. Мѣшанина ведетъ прежде всего къ тому, что ни въ одной странѣ въ мірѣ нѣтъ такого количества арлекиновъ, какъ въ нашемъ отечествѣ. Арлекинъ, какъ извѣстно, осиротѣлъ, какъ только родился, и былъ нищъ и нагъ. Надъ нимъ сжалились два пріятеля, сыновья портныхъ, и принесли одинъ — нѣсколько обрѣзковъ зеленой матеріи, а другой — красной. Любящая Коломбина прибавила еще немножко желтой матеріи. И съ тѣхъ поръ арлекинъ не снимаетъ своего трехцвѣтнаго платья не столько потому, что оно ему нравится, сколько изъ благодарности къ пріятелямъ и Коломбинѣ. И арлекинъ очень веселъ и ему все трынъ-трава. Большое количество этихъ веселыхъ, пестрыхъ людей — очень неприятная вещь. Въ Европѣ большая часть ихъ непремѣнно была бы приурочена къ какому-нибудь опредѣленному цвѣту. Но къ какому? Можетъ быть къ такому, что лучше бы имъ вѣки вѣчные оставаться пестрыми, веселыми людьми. Но не все же у насъ арлекины, т. е. люди, заразы облеченные и въ красный, и въ желтый, и въ зеленый цвѣтъ. Какъ

ни великъ Бѣлинскій, но онъ — не исключительная единица, а русскій типъ. Это долженъ признать всякій, имѣвшій возможность и конечно умѣнье наблюдать разные оттѣнки русскаго общества. Я думаю, что даже именно теперь, среди отвратительныхъ кувырканий изъ-за цѣлковаго и безобразнѣйшаго забвенія самыхъ элементарныхъ нравственныхъ правилъ, — мучается въ разныхъ углахъ Россіи много маленькихъ, невидныхъ, незамѣтныхъ Бѣлинскихъ, безъ его блестящаго таланта, безъ его другихъ умственныхъ качествъ, но не менѣе его жаждущихъ цѣльной правды и способныхъ ей отдаться. Литература этими людьми не занимается, отчасти по причинамъ отъ нея независимымъ, отчасти по привычкѣ сосредоточивать свое вниманіе на явленіяхъ, всплывающихъ на поверхность общественной жизни. Не берусь подтвердить существованіе такихъ людей фактами, но оно объяснимо и а priori. Ихъ должно создавать то же самое отсутствіе исторіи, которое создаетъ и арлекиновъ. Исторія создаетъ силу, твердость, опредѣленность, но впервыхъ направляетъ эти силы весьма разнообразно, а слѣдовательно на чей бы ни было взглядъ далеко не всегда удачно, а вовторыхъ создаетъ также многопудовую тяжесть преданія, недающую свободы критическому духу. Отсутствіе исторіи создаетъ дряблость, нравственную слякоть, но зато, если ужъ выдастся въ средѣ, лишенной исторіи, личность, одаренная инстинктомъ правды, то она способна къ гораздо большей широтѣ и смѣлости, чѣмъ европейскій человѣкъ, именно потому, что надъ ней нѣтъ исторіи и мертвящаго давленія преданія. Европейскихъ людей поражаетъ смѣлость русскаго отрицанія. Оно для нихъ — дикость, варварство, и въ этомъ мнѣніи есть извѣстная доля правды. Русскому человѣку, благодаря отсутствію исторіи, нѣтъ причины дорожить даже таблицей умноженія, но нѣтъ также причины дорожить и напимѣръ общественными перегородками, которыхъ наша исторія никогда не водружала съ европейскою опредѣленностью и устойчивостью. Я не скрываю ни отъ себя, ни отъ читателя двусмысленности моихъ положеній. Я очень хорошо понимаю, что нѣкоторые колоссальныя воровства и гра-

бежи возможны только въ Россіи, по отсутствію историческаго воспитанія личности. Но я прибавляю, что по той же причинѣ русскій человѣкъ неспособенъ дорожить многими условными нравственными понятіями, которымъ цѣна дѣйствительно—грошъ и за которыя однако европеецъ платитъ очень дорого. Бѣлинскій очень хорошо понималъ эту обоюдоострую истину. Вотъ отрывки изъ двухъ его писемъ.

«Прочти пожалуйста повѣсть Диккенса *Битва жизни*; изъ нея ты ясно увидишь всю ограниченность, все узколюбіе этого дубоваго англичанина, когда онъ является не талантомъ, а просто человѣкомъ... Уважаю практическія натуры въ *hommes d'action*, но если вкушеніе сладости ихъ роли непременно должно быть основано на условіи безвыходной ограниченности, душевной узкости—слуга покорный, я лучше хочу быть сохранившею натурою, человѣкомъ просто, но лишь бы все чувствовать и понимать широко, привольно и глубоко. Я—натура русская (онъ прибавляетъ, что и гордится этимъ)... Не хочу быть даже французомъ, хотя эту націю люблю и уважаю больше другихъ. Русская личность—пока эмбрионъ, но сколько широты и силы въ натурѣ этого эмбриона, какъдушна и страшна ей всякая ограниченность и узкость. Она боится ихъ, не терпитъ ихъ больше всего — и хорошо по моему мнѣнію дѣлаетъ, довольствуясь ничѣмъ, вмѣсто того, чтобы закабалиться въ какуюнибудь дрянную односторонность... Русакъ пока еще дѣйствительно—ничего; но посмотри, какъ онъ требователенъ, не хочетъ того, не дивится этому, отрицаетъ все, а между тѣмъ чего-то хочетъ, къ чему-то стремится... Не думай, чтобы въ этомъ вопросѣ былъ энтузіастомъ. Нѣтъ, я дошелъ до его рѣшенія (для себя) тяжкимъ путемъ сомнѣнія и отрицанія. Не думай, чтобы я со всѣми говорилъ такъ: нѣтъ, въ глазахъ нашихъ квасныхъ патріотовъ, славянофиловъ... витязей прошедшаго и обожателей настоящаго, я всегда останусь тѣмъ, чѣмъ они меня до сихъ поръ считали».

«Многіе, не видя въ сочиненіяхъ Гоголя и натуральной школы такъ называемыхъ «благородныхъ» лицъ, а все плутовъ или плутишекъ, приписываютъ это будто бы оскорбительноому понятію о Россіи, что въ ней-де честныхъ, благородныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ умныхъ людей быть не можетъ. Это—обвиненіе нелѣпое, и его-то старался я и буду стараться устранить. Что хорошіе люди есть вездѣ, объ этомъ и говорить нечего; что ихъ на Руси по сущности народа русскаго должно быть гораздо больше, нежели какъ думаютъ сами славянофилы (т. е. истинно хорошихъ людей, а не мелодраматическихъ героев), и что наконецъ Русь есть по преимуществу страна крайностей и чудныхъ, странныхъ и непонятныхъ исключеній—все это для меня аксіома, какъ дважды-два четыре. Но вотъ

горе-то: литература все-таки не может пользоваться этими хорошими людьми, не впадая въ идеализацію, въ риторикѣ и въ мелодраму, т. е. не можетъ представлять ихъ художественно такими, какъ они есть на самомъ дѣлѣ, по той простой причинѣ, что ихъ тогда не пропуститъ цензурная таможня. А почему? Потому именно, что въ нихъ человѣческое въ прямомъ противорѣчій съ тою общественною средою, въ которой они живутъ. Мало того: хорошій человѣкъ на Руси можетъ иногда быть героемъ добра въ полномъ смыслѣ слова, но это не мѣшаетъ ему быть съ другихъ сторонъ гоголевскимъ лицомъ: честенъ и правдивъ, готовъ за правду на пытку, на колесо, но невѣжда, колотить жену, варваръ съ дѣтьми и т. д. Это потому, что все хорошее въ немъ есть даръ природы, есть чисто человѣческое, которымъ онъ нисколько не обязанъ ни воспитанію, ни преданію, словомъ средѣ, въ которой родился, живетъ и долженъ умереть; потому наконецъ, что подъ нимъ нѣтъ terrain, а, какъ вы говорите справедливо, не плавучее море, а огромное стекло.

Присоединяя свой скромный голосъ къ голосу великаго критика, я по поводу послѣдней выписки изъ переписки Бѣлинскаго напому читателю еще одну разницу между нимъ и Прудонъ. Прудонъ хоть и посидѣлъ въ тюрьмѣ, но написалъ, напечаталъ и заставилъ читать Европу всѣ свои «страшныя слова», между которыми были дѣйствительно страшныя. Бѣлинскій же хотя въ тюрьмѣ и не сидѣлъ, но своихъ мнѣній о шапкѣ-муромкѣ вполне обнародовать не могъ. Это различіе имѣетъ свой многочисленныя параллели въ европейской и русской жизни... Затѣмъ я вспоминаю чей-то гордый отвѣтъ на вопросъ о предкахъ. «Я—самъ предокъ», отвѣчалъ вопрошаемый. Не принять ли намъ къ свѣдѣнію и руководству этотъ отвѣтъ? Какъ вы думаете, читатель? А какъ я этомъ объ думаю, расскажу какъ нибудь потомъ.

XVIII *).

Разныя разности.

Такъ какъ мы собственно говоря—не потомки, т. е. не получили въ наслѣдство никакого родового духовнаго имѣнія, то будемъ сами предками! Легко сказать, а легко ли сдѣлать?!

*) 1875, декабрь.

михайловскій. т. III. вып. II.

Трудно, милостивые государи и государыни, знаю, что трудно, но необходимо, потому что нельзя же вѣчно нищенствовать. А что нищета наша въ самомъ дѣлѣ велика, въ этомъ кажется не можетъ быть никакого сомнѣнія. Что бѣ мы были безъ суда? спрашивалъ покойный Курочкинъ, и я повторяю вопросъ вселаго покойника. Что бѣ мы были безъ процессовъ Мясниковыхъ, игуменъ Митрофаніи, Овсянникова и проч.? Что бѣ мы были, еслибы время отъ времени не поджигались мельницы и не совершались подлоги, еслибы то г. Спасовичъ, то г. Потѣхинъ не подкатывали по временамъ подъ нашу тишь и гладь боченокъ своего адвокатскаго пороха? Просто ложись въ гробъ и умирай! Было время, когда мы возлагали надежды на Западную Европу: дескать, своей жизни нѣтъ настоящей, такъ будемъ жить жизнью европейскою. Оно и удавалось временами. Мы волновались по случаю паденія или торжества какой-нибудь идеи или какого-нибудь факта во Франціи, въ Германіи и такимъ образомъ обманывали свою жажду жизни, потому что жажда-то жизни всегда была и не можетъ ея не быть, хоть иной разъ она еле-еле даетъ себя знать. Какъ бы тамъ ни было, но теперь мы ужъ отраженіемъ европейской жизни не умѣемъ жить. И нужного-то для этого безкорыстія у насъ нѣтъ, и въ Европѣ-то идетъ все больше такая скука, что ею жить нельзя, и наконецъ собственная наша нищета до того дошла, что мы всякое чутіе потеряли. Наслѣдственнаго духовнаго имущества у насъ нѣтъ, надо его самимъ пріобрѣтать, чтобы было возможно и самимъ прожить, и дѣтямъ что нибудь оставить.

Не я одинъ это говорю. Вотъ примѣры.

Сцена представляетъ «сѣрый гороховый кисель, называемый русскою дѣйствительностью», «безформенную слякоть, въ которой все тонетъ. Ее ничѣмъ не проймешь: хлыстнешь по ней бичомъ, рубецъ тотчасъ затянетъ, кисельная поверхность опять сплывется». «Мы живемъ въ печальное время господства низшихъ требованій. Все, что приподнято надъ уровнемъ полузнанія, представляется намъ посягательствомъ на нашу умственную комфортъ, на свободу нашего духовнаго нищенства». Въ

все это—почти то же, что и я говорил *nur mit Bischen anderen Worten*. Но было бы съ моей стороны безсовѣстѣйшимъ плагиатомъ, еслибы я вздумалъ подписаться подъ дальѣйшимъ теченіемъ сцены, имѣющей мѣсто въ сѣромъ гороховомъ киселѣ. Изъ киселя этого вдругъ выдѣляется къ удивленію ни малѣйше не вамаранная, лучезарная фигура князя Юхотскаго. Ему 27 лѣтъ. «Лицо его поражаетъ сочетаніемъ чрезвычайной серьезности съ блескомъ молодости, словно стрѣляющей изъ темно-сѣрыхъ, ясныхъ, глубокихъ глазъ. Эти глаза и дополняютъ выраженіе строгаго, прорѣзаннаго чуть видными морщинками лба и какъ будто противорѣчатъ ему: въ ихъ лучистомъ свѣтѣ есть что-то изящно веселое, смѣлое и своевольное, такъ же, какъ и въ очертаніи губъ, глядя на которыя, непремѣнно хочется видѣть ихъ улыбающимися. Молодой станъ князя обнаруживаетъ почти женственную гибкость, подъ которою однако чувствуется львиная сила мускуловъ». Но не одними только внѣшними качествами сіяетъ князь Юхотскій. Что такое тѣлесная красота?—тиѣтъ. «Рѣчь его скользитъ по предметамъ, осыпая ихъ брызгами остроумія и веселости, и переходитъ въ блестящую импровизацію». Онъ самъ (а кому же лучше знать?) пишетъ своему заграничному другу профессору Овергагену, что на всемъ пространствѣ гороховаго киселя онъ будетъ «единственнымъ носителемъ положительнаго идеала», и что дескать, «свѣтъ и мракъ, истина и ложь представляются мнѣ нынче съ такою опредѣленностью, мысль моя дошла до такого окончательнаго познанія добра и зла, дагѣ котораго не простирается нравственная задача жизни». Вотъ каковъ, по собственнымъ и слѣдовательно вѣрнѣйшимъ показаніямъ, князь Юхотскій, не смотря на свое происхожденіе изъ гороховаго киселя. Кромѣ того, что онъ окончательно позналъ добро и зло, онъ—замѣчательный ученый; его диспутъ въ университетѣ посрамляетъ всѣхъ «философовъ Васильевскаго Острова и Петербургской Стороны», причемъ философы Песковъ и Коломны конечно радуются, что избѣжали погрома. Благосклонный читатель, вы послѣ этого не удивитесь, если я скажу вамъ, что на князя Юхотскаго постоянно устрем-

ляются то «лучистые» глаза, то «лучезарные», то «сверкающие», то «блистающие», то «меркнувшие», то опять «лучистые» и опять «лучистые», и что всё эти глаза суть дамские. Испытаніе такъ велико, что князь Юхотскій думаетъ: чортъ возьми, чего же я жѣваю! вѣдь я окончательно позналъ добро и зло и порѣшилъ нравственную задачу жизни! Воскликнувъ такимъ образомъ, князь Юхотскій начинаетъ и самъ испускать во всё стороны лучистые, лучезарные, сверкающие, блистающие, меркнувшие, но преимущественно лучистые взгляды. На этомъ пока занавѣсъ опускается.

Вы догадываетесь, что я вамъ разсказалъ начало романа маркиза Маркевича, виконта Авсеѣнки или дюка Антропова. Вѣрно. Это—содержаніе первой части романа виконта Авсеѣнки «Млечный путь» («Русскій Вѣстникъ» 1875, № 10). Произведенія этихъ сіятельныхъ господъ пользуются такою обширною и вполне заслуженною извѣстностью, что говорить о нихъ нечего. Я хотѣлъ бы обратить вниманіе читателя только на нѣкоторые приемы этихъ блестящихъ писателей, при помощи которыхъ они скромно берегутъ свои исполинскія силы отъ излишней траты. Напримѣръ герои ихъ часто говорятъ «пламенные рѣчи», «блестящія импровизаціи» и т. п., но въ сущности они ихъ вовсе не говорятъ, т. е. читатель ихъ не слышитъ, а долженъ вѣрить господину маркизу или виконту, что блестящая импровизація дѣйствительно имѣла мѣсто. Я хвалю этотъ приемъ, потому что откуда же маркизу Маркевичу или виконту Авсеѣнкѣ взять настоящую пламенную рѣчь и подлинную блестящую импровизацію. Другой приемъ: герой, проникнутый необычайно глубокими думами, не отвѣчаетъ разговаривающему съ нимъ простому смертному, потому что «мысль его гдѣ-то далеко, въ чистомъ надзвѣздномъ мірѣ». Это тоже хорошо, потому что отвѣтовъ про всѣхъ не наберешься. Наконецъ за послѣднее время сталъ обрисовываться еще одинъ весьма цѣлесообразный приемъ: на сценѣ появляется философъ пессимистъ, отрицатель школы Шопенгауера и Гартмана. Въ романѣ маркиза Маркевича «Марина изъ Алаго Рога» показывается самъ Шопенгауеръ, но только, такъ сказать, однимъ ухомъ. Въ романѣ виконта Авсеѣнки этотъ

образъ уже болѣе «материализуется»: профессор Овергагент пишетъ цѣлыя письма къ князю Юхотскому. Дюкъ Антроповъ съ помощью Божіей пойдетъ, надо надѣяться, еще дальше и изобразитъ наконецъ философа-пессимиста съ руками и ногами. Этотъ философъ представляетъ собою изобрѣтеніе чисто механическое, въ родѣ маховаго колеса или безконечнаго ремня, но весьма удобное. Онъ долженъ внушать, что *всякій* идеалъ есть ложь и самообольщеніе, что *всякая* жизнь заслуживаетъ только отрицанія. Поэтому противнику его, князю Юхотскому или иному, нѣтъ никакой надобности пускаться въ разборъ и классификацію идеаловъ и формъ жизни. Онъ можетъ спокойно восклицать; нѣтъ, есть на свѣтѣ положительный идеалъ, и я буду его носителемъ! есть въ жизни много высокаго и цѣннаго, къ чему можно прилѣпиться всей душой! И такимъ образомъ князь Юхотскій можетъ весьма много болтать, оставаясь на достаточной высотѣ отъ болѣе точнаго опредѣленія положительныхъ идеаловъ. вмѣстѣ съ тѣмъ онъ можетъ продолжать самыя дружескія сношенія съ своимъ философскимъ противникомъ, потому что между человѣкомъ, *все отрицающимъ*, и человѣкомъ, *неизвѣстно что полагающимъ*, конечно раздоровъ быть не можетъ. И мирно, значить, и хорошо, и экономно.

Это я впрочемъ мимоходомъ. Занимаетъ же меня собственно совпаденіе моихъ мыслей съ мыслями виконта Авсѣнки. Совпаденіе это до извѣстной степени несомнѣнно существуетъ. На счетъ напримѣръ гороховаго киселя я съ виконтомъ совершенно согласенъ, но, не будучи такъ близокъ (какъ виконтъ Авсѣнко и дюкъ Антроповъ) къ ароматнымъ и блестящимъ сферамъ большаго свѣта, я не могу поручиться, что дѣйствительно отсюда раздѣлится благая вѣсть: да будетъ свѣтъ! У самого виконта Авсѣнки всѣ эти блестящія импровизаціи и искорененія нравственныхъ задачъ жизни суть только *pia desideria*, а не то, чтобы въ самомъ дѣлѣ. На диспутъ Юхотскаго собралось очень много народу, потому что диспутантъ «представлялъ двойной интересъ—блестящаго ученаго и человѣка, принадлежащаго по рожденію и связямъ къ большому свѣту. *Въ первый разъ* еще

этотъ большой свѣтъ чувствовалъ себя какъ-бы прикосновеннымъ къ академическому торжеству». Слѣдовательно виконтъ Авсѣенко предугадываетъ событія, забѣгаетъ впередъ и предлагаетъ вѣрить въ невидимое, какъ-бы видимое. Въ дѣйствительности этого *перваго раза* вѣдь еще не было. Это — мечта поэта, и вотъ почему виконтъ Авсѣенко занимаетъ характеристику князя у французскихъ романистовъ, герои которыхъ всегда имѣютъ руки, мускулистыя какъ руки кузнеца, и бѣлыя какъ рука герцогини. Предки князя Юхотскаго рядомъ съ предками Авсѣенки бились за отечество и занимали высокіе государственныя посты. Они не передали Юхотскому характеризующихъ его философскихъ способностей и склонностей. Стало быть эта мечта поэта обозначаетъ собою человѣка, который самъ—предокъ. Къ сожалѣнію это—только мечта, да и мечта плохая, потому что тотъ путь, которымъ князь Юхотскій придетъ съ теченіемъ времени къ своему *первому разу* (да будетъ ему дорога скатертью), всѣ эти блестящія импровизаціи, лучистые, лучезарные и т. д. взоры, бесѣды съ профессорами Овергагенами и проч.—все это дѣло испытанное и перепробованное. Одно только можно сказать по прочтеніи первой части «Млечнаго пути»: нищета духовная дѣйствительно велика, если во всемъ образованномъ обществѣ только одинъ человѣкъ есть носитель положительнаго идеала, да и то неизвѣстно какого, и этотъ единственный—еще не существуетъ! Обратите вниманіе, что виконтъ Авсѣенко не осмѣливается поставить рядомъ съ идеальнымъ княземъ Юхотскимъ себя, маркиза Маркевича, дюка Антропова, М. Н. Каткова и т. п. Онъ рѣшается *implicite* объявить, что всѣ эти почтенные люди ни мало не выдѣляются изъ сѣраго гороховаго киселя, а что придетъ современемъ нѣкоторый князь и князь этотъ будетъ единственнымъ носителемъ положительнаго идеала.

Поищемъ другихъ указаній. Вотъ статья г. Мордовцева «Печать въ провинціи» («Дѣло», №№ 9 и 10). Эту, полную противорѣчій и недомолвокъ, но любопытную статью я приберегаю до другого случая. Здѣсь я приведу только два тезиса г. Мордовцева. Онъ полагаетъ, что въ обществѣ дѣйствуетъ особы

законъ (трудно уловить районъ его дѣйствія и степень повелительности, какъ закона) централизаціи или центроостремительной силы, повинаясь которой, всѣ выдающіеся общественные элементы стягиваются къ центрамъ, къ большимъ городамъ. Отсюда вытекаетъ тяжелый приговоръ провинціальной печати. Обращаясь далѣе къ Малороссіи, г. Мордовцевъ полагаетъ, что ея историческое прошлое, не лишенное славныхъ моментовъ, играетъ роль тяжелой гири, мѣшающей малороссамъ отдаться жизни настоящаго, какъ это удастся великороссамъ, у которыхъ нѣтъ въ прошедшемъ такой гири. Все это очень любопытно и конечно по малой мѣрѣ очень спорно. Теперь я только отмѣчаю еще одинъ рецептъ для выхода изъ одоляющаго насъ духовнаго нищенства: городъ, большія города въ родѣ Лондона, Парижа и проч.

Обратимся къ статьѣ г. П. Ч. «Отчего безжизненна наша литература» («Недѣля», № 44). Тутъ мы имѣемъ опять новый рецептъ и притомъ совершенно противоположный предыдущимъ. По мнѣнію г. П. Ч. городъ есть наша гибель, а наше спасеніе въ деревнѣ. Но объ г. П. Ч. я бы попросилъ позволенія сказать нѣсколько словъ въ скобкахъ. Онъ снисходительно относится къ «Отечественнымъ Запискамъ». И конечно спасибо ему за это. Но когда я увидѣлъ, что въ его небольшой статейкѣ нѣтъ *ни одной* общей мысли, которая не была бы развита въ разное время въ «Отеч. Запискахъ», мнѣ показалось, что одной снисходительности, вдобавокъ не лишенной укорительнаго характера, съ его стороны маловато. И мнѣ стало обидно, не за себя или «Отеч. Записки», а за самого г. П. Ч., которому я желаю всего хорошаго. Во избѣжаніе недоразумѣній замѣчу, что я отнюдь не заподозриваю самостоятельности г. П. Ч., а также вовсе не требую какой-нибудь особенной почтительности къ «Отеч. Запискамъ». Боже избави! Но отношеніе равнаго къ равному, откровеннаго единомышленника къ единомышленнику было бы, я полагаю, довольно умѣстно въ этомъ случаѣ. А то г. П. Ч. точно нарочно не то что выискиваетъ пунктики разногласія, а аффикуруетъ тонъ такого выискивающаго. Я гораздо

проще и откровеннѣе его. Я прямо скажу, что въ общемъ имѣю честь раздѣлять мнѣнія г. П. Ч., да и нельзя ихъ мнѣ не раздѣлять, потому что я ихъ не разъ высказывалъ, и только нѣкоторыя частности подчеркнулъ бы я сильнѣе, а нѣкоторыя другія не подчеркнулъ бы вовсе. Но зато я не успокоился бы на окончательныхъ выводахъ г. П. Ч., т. е. собственно на ихъ повидимому категорической и ясной, а въ сущности туманной и неопредѣленной формѣ. Объ нихъ только я и рѣчь поведу, потому что все остальное въ статьѣ «Недѣли» читателямъ «Отеч. Записокъ» извѣстно.

«Мы не должны и не можемъ идти по пути западной Европы— это несомнѣнно. Приходится прокладывать свой собственный путь, который долженъ вытекать изъ коренныхъ основъ русскаго быта. Но въ чемъ эти основы? А главное: какъ приурочить намъ и связать съ ихъ сущностью дѣйствительно здоровыя стороны европейской цивилизаціи?». Такъ ставитъ г. П. Ч. вопросъ о выходѣ нашемъ изъ состоянія духовнаго нищенства. Значить, если исторія не оставила намъ, русскому образованному обществу, никакого духовнаго наслѣдства — что между прочимъ имѣеть свои и хорошія, и дурныя стороны — то о многомиліонной массѣ русскаго народа этого сказать нельзя. Тамъ, въ этой массѣ, была и есть исторія, и намъ надлежитъ сдѣлать ее своей. «Лично я убѣжденъ, продолжаетъ г. П. Ч., что если только намъ суждено скоро услышать «надлежащее слово», его скажутъ люди деревни, а не города, и ужъ всего менѣе Петербурга. Дѣ, скажетъ его деревня, какъ бы презрительно ни думали о ней книжники! Хотѣлось бы выяснитъ, что *подъ «деревней» подразумевается единица, олицетворяющая собою принципъ солидарности, нравственной связи, въ противоположность принципу крайняго индивидуализма и нравственной разобщенности, выразителемъ которой былъ и есть европейскій городъ*. Но это завело бы насъ слишкомъ далеко».

Замѣйте прежде всего, читатель, необыкновенное совпаденіе на занимающемъ насъ пунктѣ самыхъ разнообразныхъ мнѣній. Виконтъ Австенко проричаетъ: придетъ князь, который отброситъ

все старое и начать собою новую исторію. Г. Мордовцевъ утверждаетъ, что придетъ городъ; г. П. Ч. стоитъ на томъ, что придетъ деревня. Но всѣ трое единогласно объявляютъ, что такъ жить нельзя, какъ мы теперь живемъ, что нуженъ поворотъ и поворотъ крутой. Это единогласіе очень поучительно, но поучительно и разногласіе гг. Авсѣенка, Мордовцева и П. Ч. Оно показываетъ, что до выхода намъ не близко. Однако просите и дастся вамъ, толцыте и отверзется. Не теряя золотого времени, я прямо скажу, что симпатичнѣе всѣхъ приведенныхъ рѣшеній для меня рѣшеніе г. П. Ч. Но онъ вуалировалъ свой окончательный результатъ, скрылъ глубокий и страшный смыслъ вопроса. Г. П. Ч. много распространяется на ту тему, что пора, дескать, намъ, и въ частности нашей литературѣ, перестать «трепать заграничныя формулы». Да, «трепать» надо бросить. Но я бы желалъ его спросить. не представляютъ ли выше подчеркнутыя слова заграничной формулы, которая треплется довольно давно? Надо вѣдь правду сказать, что, въ отвлеченномъ своемъ видѣ, формула эта выставлена въ Европѣ нѣсколько раньше, чѣмъ появилась въ изложеніи г. П. Ч. на страницахъ «Недѣли». Конечно онъ прибавилъ противоположеніе русской деревни и европейскаго города, но и эта прибавка—въ русской литературѣ не новинка. А главное, кто далъ г. П. Ч. право «подразумѣвать» подъ «деревней» единицу, олицетворяющую собою и т. д.? Если вы хотите ждать, что скажутъ люди деревни, такъ и ждите. Если вы утверждаете, что «источникомъ литературныхъ направленій должна сдѣлаться русская жизнь со всѣми своими бытовыми особенностями, которыхъ еще ни одинъ нѣмецъ въ книгу не вписалъ», такъ не забѣгайте впередъ. Можетъ быть г. П. Ч., основательно изучивъ «русскую жизнь со всѣми ея бытовыми особенностями», убѣдился, что она не выражаетъ собою ничего иного, какъ принципъ солидарности и нравственной связи? Въ такомъ случаѣ ему жить просто, и я ему глубоко завидую, какъ вообще ученымъ людямъ. Я — профанъ и тутъ. У меня на столѣ стоитъ бюстъ Бѣлинскаго, который мнѣ очень дорогъ, вотъ шкафъ съ книгами, за которыми я провелъ много

ночей. Если въ мою комнату вломится русская жизнь со всѣми ея бытовыми особенностями и разобьетъ бюстъ Бѣлинскаго и сожжетъ мои книги, я не покорюсь и людямъ деревни; я буду драться, если у меня разумѣется. не будутъ связаны руки. И если бы даже меня ослѣнилъ духъ величайшей кротости и самоотверженія, я все-таки сказалъ бы по малой мѣрѣ: прости имъ, Боже истины и справедливости, они не знаютъ, что творятъ! Я все-таки значить протестовалъ бы. Я и самъ сумѣю разбить бюстъ Бѣлинскаго и сжечь книги, если когда-нибудь дойду до мысли, что ихъ надо бить и жечь, но пока они мнѣ дороги, я ни для кого ими не поступлюсь. И не только не поступлюсь, а всю душу свою положу на то, чтобы дорогое для меня стало и другимъ дорого, вопреки, если случится, ихъ бытовымъ особенностямъ.

Ой, люди, люди русскіе.
Крестьяне православные!
Слышали ли когда-нибудь
Вы эти имена?
То имена великія,
Носили ихъ, прославили
Заступники народныя!
Вотъ вамъ бы ихъ портретики
Повѣсить въ вашихъ горенкахъ,
Ихъ книги прочитать...

«И радъ бы въ рай, да дверь-то гдѣ?» — перебиваетъ эту мечту прохожій, спрашивающій впрочемъ о дорогѣ въ балаганъ. Вы знаете эту дверь, г. П. Ч.? не въ балаганъ, а ту, другую? Мнѣ попалась подъ руку можетъ быть не совсѣмъ подходящая иллюстрація. Я хочу только сказать, что мнѣ чуждо къ большому моему сожалѣнію то состояніе душевнаго спокойствія, съ которымъ г. П. Ч. обобщаетъ свои идеалы со всѣми бытовыми особенностями русской жизни. Я ему завидую, потому что меня мучитъ цѣлый рядъ вопросовъ: что мнѣ дѣлать и какъ мнѣ думать, пока люди деревни не скажутъ своего слова? потому что вѣдь они не завтра его скажутъ; въ состояніи ли я буду безрочно выслушать всѣ ихъ слова? какъ скажутъ они ихъ, т. е.

какіе для этого выберуть органы? Г. П. Ч. все это знаетъ и потому спокоенъ, но онъ напрасно, я думаю, обзоветъ меня «книжникомъ» за то, что я лишенъ его спокойствія.

Я думаю однако, что г. П. Ч. просто не совсѣмъ уяснилъ себѣ представленіе о всѣхъ бытовыхъ особенностяхъ русской «жизни». Это—такія широкія рамки, что въ нихъ мало ли что вложить можно. Г. П. Ч. вложилъ принципъ солидарности и нравственной связи, а другіе вкладываютъ совсѣмъ другое. Вотъ напримѣръ какими словами начинается введеніе въ третій томъ «Юридическихъ монографій и изслѣдованій» г. Любавскаго, специалиста, пользующагося кажется въ своемъ кругу солидной репутаціей: «Ни одно государство въ мірѣ не имѣетъ кодекса гражданскихъ законовъ, отличающагося столь *національнымъ* характеромъ, какъ Россія: у насъ гражданскіе законы выработаны дѣйствительною жизнью *русскаго народа* (оба курсива принадлежатъ автору); они не заимствованы изъ правъ римскаго, общегерманскаго или французскаго, не заключаютъ въ себѣ ничего чужеземнаго, импровизированнаго; о нашемъ отечествѣ можно сказать, что оно *ipse sibi jus constituit*». Если бы это мнѣніе г. Любавскаго было справедливо, то ни литературѣ, ни всему образованному обществу не требовалось бы конечно ждать чего бы то ни было отъ деревни, ибо все, что она имѣетъ сказать, можетъ быть усмотрѣно изъ полнаго собранія законовъ Россійской имперіи. Сомнѣваюсь однако, чтобы можно было придумать что нибудь болѣе неосновательное, менѣе соотвѣтствующее дѣйствительности, чѣмъ столь категорическія слова нашего почтеннаго юриста. Специалисты, если пожелаютъ, сумѣютъ конечно опровергнуть положеніе г. Любавскаго прямыми указаніями на исторію нашего законодательства. А я съ своей стороны предложу читателю другую пробу, которая намъ потомъ и для проверки свѣтлаго настроенія г. П. Ч. пригодится.

Недавно вышла любопытная и чрезвычайно полезная книга г. Е. Якушкина «Обычное право». Вышелъ собственно первый выпускъ книги, не дающій къ сожалѣнію понятія о размѣрахъ и планѣ всего изданія. Этотъ первый выпускъ содержитъ «ма-

теріалы для бібліографіи обычнаго права». Въ немъ имѣются: вопервыхъ довольно обширное предисловіе или введеніе г. Якушкина; вовторыхъ списокъ больше чѣмъ 1,500 книгъ и статей, касающихся русскаго и инородческаго обычнаго права; втретьихъ указатели: систематическій, этнографическій, географическій и азбучный. Содержаніе важнѣйшихъ сочиненій, вошедшихъ въ списокъ, тутъ же вкратцѣ сообщается. Все это дѣлаетъ книгу чрезвычайно удобною и въ виду бѣдности по этой части нашей бібліографической литературы просто неоцѣненной для всякаго рода справокъ и подбора матеріаловъ. Но книга составлена такъ хорошо, что мы можемъ воспользоваться ею для проверки мнѣній гг. Любавскаго и П. Ч., не прибѣгая ни къ какимъ справкамъ. Съ насъ будетъ довольно предисловія г. Якушкина, указателей и сообщеннаго составителемъ краткаго содержанія нѣкоторыхъ главныхъ сочиненій по русскому обычному праву.

Наши законы о расторженіи брака, какъ извѣстно, очень строги. Бракъ можетъ быть расторгнутъ только формальнымъ судомъ по просьбѣ одного изъ супруговъ: 1) въ случаѣ доказаннаго прелюбодѣянія другого супруга или неспособности его къ брачному сожитію, 2) въ случаѣ, когда другой супругъ приговоренъ къ наказанію, сопряженному съ лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія, 3) въ случаѣ безвѣстнаго отсутствія другого супруга. «Самовольное расторженіе брака безъ суда, говорится въ законѣ, по одному согласію супруговъ, ни въ какомъ случаѣ не допускается. Равнымъ образомъ не допускаются и никакія между супругами обязательства или иные акты, заключающіе въ себѣ условія жить имъ въ разлученіи, или же какія-либо другія, клонящіяся къ разрыву супружескаго союза». Комментируя эти законы, г. Любавскій, совершенно впрочемъ логически, ухитряется вывести изъ буквы закона нѣкоторыя очень любопытныя частныя ограниченія супружеской свободы. Напримѣръ: жена лица, оскотеннаго уже по вступленіи въ бракъ, требовать развода не можетъ. Или: если невинный супругъ хочетъ слѣдовать въ ссылку за осужденнымъ, а тотъ этого не хочетъ, то бракъ все-таки остается въ силѣ. Слишкомъ хорошо извѣстно, что въ

народномъ быту эта строгость не имѣетъ мѣста. Я не считаю даже нужнымъ перебирать по этому случаю книгу г. Якушкина и ограничусь ссылкой на любопытную статью «Волостной разводъ», напечатанную въ № 45 «Недѣли», такъ какъ въ ней приводятся свѣдѣнія новыя. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Полтавской губерніи крестьяне въ случаяхъ несчастной сумражеской жизни обращаются въ «волость», которая фактически расторгаетъ бракъ, разводитъ супруговъ навсегда или на время, причемъ опредѣляетъ ихъ имущественныя отношенія и отношенія къ дѣтямъ, сообразно особенностямъ каждаго даннаго случая. Первымъ слѣдствіемъ такого «волостного развода» было появленіе «внѣзаконнаго брака», такъ какъ природа человѣческая и экономическія требованія жизни говорятъ, что не добро быти человѣку единому. «Какъ человѣкъ непосредственный,—говоритъ авторъ,—крестьянинъ не понимаетъ, почему нельзя поправить сдѣланной разъ ошибки въ выборѣ; почему благословеніе, разъ данное церковью, безповоротно связываетъ его съ человѣкомъ, который не можетъ ему помогать носить экономическое ярмо, не можетъ приносить ему ничего, кромѣ страданія и горя. И онъ поступаетъ такъ, какъ ему подсказываетъ непосредственное чувство, развившееся подъ вліяніемъ общихъ бытовыхъ причинъ». Дѣти, прижитыя во «внѣзаконномъ бракѣ», признаются всегда со стороны общества наслѣдниками ихъ отцовъ. Вотъ какъ устраивается русскій народъ и, какъ извѣстно, далеко не въ одной Полтавской губерніи. Я думаю, что въ виду подобныхъ фактовъ мудрено поддерживать тезисъ г. Любавскаго, что русское законодательство цѣликомъ и исключительно выросло изъ дѣйствительной жизни русскаго народа. Не могу отказать себѣ въ удовольствіи привести изъ книги г. Якушкина хотя одинъ характерный подходящий фактъ: «въ 1861 году удѣльные крестьяне села Котовки, Бѣлоголовицкаго приказа Трубчевскаго уѣзда, находя по многимъ обстоятельствамъ неудобнымъ имѣть у себя вдоваго священника, постановили приговоромъ водворить къ нему въ домъ вдову солдатку, изъявившую на то согласіе. Приговоръ этотъ былъ засвидѣтельствованъ въ приказѣ и приве-

денъ въ исполненіе» («Обычное право», XXIII). Этого, я думаю, достаточно, чтобы видѣть, какъ неосновательно обобщеніе г. Любавскаго.

Обращаясь къ тезису г. П. Ч., я оставляю въ сторонѣ всѣ свѣдѣнія объ обычномъ правѣ инородцевъ и буду брать только факты, относящіеся къ коренному русскому населенію. И это я дѣлаю уступку, потому что вѣдь и самоѣды, и якуты, и чуваши—все это тоже люди деревни. Прежде всего нашего брата въ русскомъ обычномъ правѣ поражаетъ присутствіе исторіи, которой не хватаетъ намъ, русскому образованному обществу. Сѣрая, лишенная какихъ бы то ни было яркихъ красокъ, скорбная, постная исторія русскаго народа несмотря на все это до такой степени прочна и непрерывна, что во многихъ мѣстахъ народъ и до сихъ поръ живетъ исключительно на основаніяхъ своего исконнаго быта, теряющагося въ отдаленнѣйшемъ мракѣ вѣковъ. Конечно, если разумѣть подъ исторіей процессъ измѣненія вѣрованій, обычаевъ, понятій, то она окажется во многихъ углахъ и закоулкахъ Россіи почти отсутствующею. Но тѣмъ сильнѣе бьетъ въ глаза та сторона исторіи, которая выражается преемственностью передачи духовнаго наслѣдства. У г. Якушкина попадаются два-три любопытныя въ этомъ отношеніи замѣчанія, тѣмъ болѣе любопытныя, что г. Якушкинъ вообще крайне осмотрителенъ въ своихъ сужденіяхъ. Напримѣръ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ существуетъ такой видъ наказанія по обычному праву: виновныхъ запрягаютъ въ телегу или сани и ѣздятъ на нихъ, подгоняя кнутомъ. Наказанію этому почти исключительно подвергаются женщины. Иногда это просто дѣло семейнаго самосуда. Вотъ одинъ такой случай, новѣйшій (1874 года). Дѣло было въ Екатеринославской губерніи. Жена бѣжала отъ побоевъ мужа. Въ наказаніе онъ при помощи другого крестьянина перепоясалъ ее веревкой, привязалъ къ оглоблѣ, вмѣсто пристяжной, и шибко погналъ лошадей, осыпая жену ударами нагайки съ узломъ на концѣ. Отѣхавъ верстъ пять, онъ остановился почевать, а утромъ поѣхалъ дальше, привязавъ опять жену на мѣсто пристяжной. На дорогѣ онъ остановился у шинка, чтобы выпить съ товарищемъ. Шин

карь отвязалъ жену и предложилъ ей поѣсть, но она отъ усталости и боли упала въ сани. Выйдя изъ шинка, мужъ повезъ было ее въ саняхъ, но черезъ нѣсколько времени опять привязалъ ее къ оглоблѣ и такъ въѣхалъ въ свое село. Иногда это варнарское наказаніе опредѣляется сходомъ: мужъ является въ такомъ случаѣ только исполнителемъ общественнаго приговора. Лѣтъ шесть тому назадъ въ слободѣ Новая-Калита Острогожскаго уѣзда одинъ крестьянинъ принесъ жалобу, что жена его ведетъ неприличную жизнь вслѣдствіе дурного вліянія тещи. По рѣшенію деревенскаго схода мать и дочь были выведены на слободскую площадь, гдѣ имъ приказано было очищать ее отъ навоза. Послѣ этого онѣ были запряжены въ телегу, наполненную навозомъ, на которую влѣзъ принесшій жалобу мужъ, и сталъ на нихъ прикрикивать, чтобы онѣ бѣжали шибче. Къ нему присоединилось потомъ еще два-три человѣка. Женщины, запряженные въ телегу, бѣжали, хоть и не скоро. Онѣ вывезли навозъ за слободу и потомъ подвезли телегу съ сидящими на ней крестьянами къ крыльцу волостного правленія. Во многихъ мѣстахъ это звѣрство сократилось до простаго символа. Такъ въ Олонецкой губерніи, если новобрачная оказывается не дѣвственницею, вколачиваютъ надъ дверью гвоздь, вѣшаютъ на него хомутъ и проводятъ подъ нимъ молодую и ея мать. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ хомутъ надѣвается въ такихъ случаяхъ на мать новобрачной. Малороссы надѣваютъ хомутъ, сдѣланный изъ соломы, на отца, недосмотрѣвшаго за своей дочерью. Приведя эти факты, г. Якушкинъ замѣчаетъ: «Единственное историческое извѣстіе о запряганіи женщинъ въ телегу мы находимъ въ лѣтописи: «аще поѣхати будяше Обрину, не дадяше впрячи коня, ни вола, но веляше впрячи 3 ли, 4 ли, 5 ли женъ и повезти Обрина; тако мучиху Дулѣбы» (П. С. Л., т. I, 5). Извѣстіе это не имѣетъ можетъ быть прямого отношенія къ существующему у насъ обычаю; но оно во всякомъ случаѣ не лишено нѣкотораго значенія, такъ какъ у насъ запряганіемъ въ телегу наказываются почти исключительно однѣ только женщины» («Обычное право», ХLI, въ примѣчаніи).

Итакъ солидный и осмотнительный изслѣдователь полагаетъ, что въ народѣ нашемъ сохранилась, такъ сказать, отрыжка нравовъ тѣхъ древнихъ мучителей Дугѣбовъ, которые исчезли такъ безслѣдно, что даже въ поговорку обратились слова: погибоша, аки Обры. Звѣрскіе завоеватели стерты съ лица земли, но ихъ господство не прошло даромъ, и можетъ быть прямые потомки тѣхъ самыхъ Дугѣбовъ, которыхъ Обры «такъ мучиху», тѣдятъ теперь на своихъ женахъ и матеряхъ или надѣваютъ на нихъ хомуты. *Le mort saisit le vif*, какъ гласитъ французская юридическая поговорка. Изъ нѣдръ исторіи мучители Обры продолжаютъ еще мучить своихъ мучениковъ, передавъ имъ свой мучительскій складъ. Конечно это—только предположеніе, но вѣдь не въ немъ и дѣло. Вѣрно то, что приведенный обычай составляетъ очень древнюю историческую бытовую особенность русской жизни и притомъ довольно распространенную еще очень недавно. Многіе видали безъ сомнѣнія лубочныя картинки съ изображеніемъ запряженныхъ въ телегу женщинъ; многіе слышали очень извѣстную залихватскую пѣсню о томъ, какъ

Сынъ на матери капусту возилъ,
Молоду жену въ пристяжку водилъ.

Мнѣ не хочется вдаваться въ область семейныхъ отношеній, потому что объ этомъ у насъ скоро пойдетъ болѣе подробная рѣчь. Но я приведу еще одинъ случай «переживанія» обычая, очевидно вытекающаго изъ глубокой древности. Очень еще недавно въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ охотникъ-рекрутъ, жившій въ семьѣ нанявшаго его крестьянина, получалъ право на всѣхъ молодыхъ женщинъ дома. Это вѣдь чуть не тѣмъ періодомъ развитія пахнетъ, когда людодѣды предоставляютъ жену или женъ плѣннику, обреченному на съѣденіе.

Желательно было бы знать, признаётъ ли г. П. Ч. эти несомнѣнные бытовые особенности русской жизни достойными стать источникомъ нашихъ литературныхъ направленій. А снохачество? («Обычное право», стр. 35, 174, 187), а зарываніе живыхъ людей въ землю для прекращенія поварельныхъ болѣзней?

(XXXV, 180), а безобразныя наказанія за воровство, «по своей обстановкѣ напоминающія торжественный приводъ плѣнника, захваченнаго враждебнымъ ему племенемъ или родомъ»? «Можетъ быть таково и было ихъ историческое начало», замѣчаетъ г. Якушкинъ (XXXVIII). Можемъ ли мы, образованное русское общество, избавиться отъ своего нищенства, прилѣпившись къ той древней, непрерывной, но мрачной исторіи, которая породила этотъ рядъ съ какой угодно точки зрѣнія отвратительныхъ явленій? Ясно, что вопросъ, занимающій г. П. Ч., гораздо глубже и страшнѣе, чѣмъ ему кажется. Только сахарные Маниловы, да еще трусы и лѣнтяи, отлынивающіе отъ своихъ нравственныхъ обязанностей, могутъ ждать, что «люди деревни», вытерпѣвшіе гнѣтъ не однихъ Обровъ, такъ вотъ и скажутъ «надлежащее слово», даже предполагая, что они имѣютъ уже фактическую возможность его сказать. Фраза г. П. Ч. есть только фраза (ее давно уже г. Достоевскій сказалъ: «Власы спасутъ себя и насъ»). Вѣдь не ждетъ же онъ самъ слова людей деревни, а говорить свои собственные слова, сложившіяся отчасти подъ вліяніемъ наблюденій надъ бытомъ народа, отчасти подъ вліяніемъ «заграничныхъ формулъ». Какъ ужъ сказано, я имѣю честь раздѣлять многія воззрѣнія г. П. Ч. и въ частности совершенно согласенъ, что литература наше и все общество только тогда избавятся отъ дальнѣйшаго обнищанія — если послѣдній предѣлъ его еще не достигнутъ — когда примутъ во вниманіе нужды и воззрѣнія народа. Это — единственный для насъ способъ начать новый періодъ русской исторіи. Но не такъ оно просто, какъ думаетъ г. П. Ч.

Если въ этомъ дѣлѣ неумѣстна слащавая маниловщина, то столь же неумѣстно было бы что-нибудь въ родѣ окрика Собакевича: одинъ почтмейстеръ — порядочный человѣкъ, да и тотъ свинья. Рядомъ съ варварскими чертами русскаго обычнаго права можно поставить множество высокихъ и по истинѣ умиленныхъ чертъ народнаго характера. Но даже въ такихъ дѣйствіяхъ, которыя съ нашей точки зрѣнія составляютъ заведомое преступленіе, обычное право представляетъ часто какую-то со-

вершенно своеобразную смѣсь наивности, насилія и высокой частности. Что вы скажете напримѣръ о такомъ способѣ заимѣ хлѣба натурой, которой практикуется въ землѣ Войска Донскаго: въ неурожайные годы нуждающіеся отправляются въ степь и тамъ воруютъ у зажиточныхъ необмолоченный хлѣбъ. Но это — не воровство, а заемъ, потому что при первомъ же хорошеѣ урожая хлѣбъ возвращается и складывается на томъ же самомъ мѣстѣ и притомъ всегда двумя или тремя копнами больше, чѣмъ было взято. Иногда оставляется записка, что хлѣбъ де-скать былъ взятъ изъ крайней нужды и при первомъ урожаѣ будетъ возвращенъ съ прибавкой. Похищеніе глѣса, какъ извѣстно, не считается крестьянами преступленіемъ. Г. Якушкинъ замѣчаетъ впрочемъ, что не одними крестьянами, и рассказываетъ два близко ему извѣстные случая, изъ которыхъ особенно любопытенъ слѣдующій. Одинъ помѣщикъ самъ нарядилъ подводы, самъ поѣхалъ съ ними ночью въ казенный глѣсъ и тамъ лично распоряжался работами. Утромъ онъ осмотрѣлъ деревья, привезенныя въ усадьбу, и, если попадалось кривое дерево, негодное на постройку, то виноватаго крестьянина онъ тутъ же сѣкъ. Это было незадолго до освобожденія крестьянъ. Какъ бы то ни было, но крестьянъ не грызетъ совѣсть, когда они воруютъ глѣсъ. Этого мало. Въ Пензенской губерніи существуетъ обычай «заворовыванія». Крестьяне вѣрятъ, что укравшій благополучно въ ночь передъ Благовѣщеніемъ, можетъ цѣлый годъ воровать безопасно. Поэтому, не говоря о ворахъ по ремеслу, крестьяне въ эту ночь стараются обезпечить себя на цѣлый годъ отъ штрафовъ за самовольныя порубки: они воруютъ что-нибудь у сосѣда, но на слѣдующее же утро возвращаютъ украденное.

Разумѣется не эти наивныя бытовыя особенности русской жизни прельщаютъ г. П. Ч. «Подразумѣвая» подъ деревней «единицу, олицетворяющую собою принципъ солидарности, нравственной связи въ противоположность принципу крайняго индивидуализма и нравственной разобщенности, выразителемъ которой былъ и есть европейскій городъ», онъ безъ сомнѣнія имѣетъ въ виду многоразличныя черты общиннаго элемента на

Руси. Эти особенности русскаго обычнаго права въ общихъ чертахъ достаточно извѣстны и вмѣстѣ съ тѣмъ слишкомъ важны, чтобы распространяться о нихъ здѣсь, когда мнѣ остается такъ мало мѣста. (Въ книгѣ г. Якушкина собраны указанія и по этой части). Значеніе ихъ не я конечно буду умалять. Я имѣю честь раздѣлять взглядъ г. П. Ч., что мнѣніе, «будто Россія только отстала отъ Запада, отличается отъ него единственно *степеню* развитія» — ошибочно, и что «центръ тяжести вопроса не въ степени, а въ *типѣ*, въ характерѣ развитія». Но я не рѣшился бы прибавить, какъ это дѣлаетъ г. П. Ч., что «онъ (типъ) всегда былъ и *впередъ будетъ иной*». Полагаю, что это слишкомъ сильно сказано. Когда-то и въ Европѣ господствовалъ общинный элементъ, а въ будущемъ есть большая вѣроятность, что типы европейскаго и русскаго развитія съ теченіемъ времени сольются. Это можетъ произойти двумя путями. Или Европа круто повернетъ въ своемъ развитіи и осуществить у себя идею «единицы, олицетворяющей собою принципъ солидарности и нравственной связи», чѣмъ въ Европѣ многіе озабочены. Или мы побѣдимъ по торной европейской дорожкѣ, о чемъ у насъ также многіе хлопочутъ. Я думаю даже, что весь интересъ современной жизни для мыслящаго русскаго человѣка сосредоточивается на этихъ двухъ возможностяхъ. Что же касается до розоваго убѣжденія г. П. Ч. на счетъ того, какъ будетъ впередъ, то мнѣ и тутъ остается только завидовать ему. Дѣйствительность не оправдываетъ однако его оптимизма. Въ статическомъ отношеніи дѣйствительность обнаруживаетъ прежде всего крайнее разнообразіе бытовыхъ особенностей русской жизни, а слѣдовательно и тѣхъ «словъ», которыя люди деревни могутъ въ данную минуту сказать по разнымъ сторонамъ жизни. Слѣдовательно человѣку, вполне искренно желающему прислушаться къ голосу деревни и обновить себя имъ, надо выбирать. Вы скажете, что это слишкомъ смѣло, что не намъ, ничѣмъ знаніемъ и совѣстью, налагать руку на вѣковую исторію народа и сортировать ея содержаніе. Можетъ быть оно и смѣло. Но жизнь часто такъ слагается, что очень смѣлая дѣйствія

*

оказываются фатально неизбежными. Какъ бы мы ни были дранны и пусты и какъ бы мы ни относились къ бытовымъ особенностямъ русской жизни, но любой изъ насъ, встрѣтивъ въ дѣйствительности сцену, изображенную въ пѣснѣ, неизбежно долженъ будетъ сказать, что капусту на матери возить и жену въ пристяжку водить — свинство. При этомъ совершенно безразлично, какими путями вы дошли до такого убѣжденія, — «трепаніемъ ли заграничныхъ формулъ», чтеніемъ ли чувствительныхъ романовъ или какъ иначе. Важенъ тотъ фактъ, что вы встрѣтились съ несомнѣннымъ свинствомъ, которое иначе квалифицировать не можете. А если вы хоть разъ, хоть на одномъ какомъ-нибудь пунктѣ, дали себѣ право разбора и сортировки народной правды, такъ ужъ останавливаться нѣтъ резона, и вы должны выработать себѣ какіе-нибудь общіе принципы, съ точки зрѣнія которыхъ сортировка возможна. Къ такому же результату приводятъ соображенія о динамической сторонѣ дѣйствительности. Еслибы въ прошломъ народъ нашъ не зналъ ни обрвовъ, ни другихъ мучителей и въ особенности, еслибы будущее его было столь твердо опредѣлено, какъ это кажется г. П. Ч., тогда конечно намъ нечего было бы и соваться въ народную жизнь съ своими идеалами и нравственными требованіями. Но вѣдь этого нѣтъ. Оставляя даже въ сторонѣ прошедшее, мы видимъ, что чуть не съ каждымъ годомъ типъ народной жизни грозитъ измѣненіемъ и приближеніемъ къ европейскому типу. Цѣлые вѣка пронеслись надъ нашимъ народомъ, почти не затронувъ его духовной жизни; но наше время — совсѣмъ не то, что тѣ вѣка замкнутости и черепашняго хода. Одаѣхъ желѣзныхъ дорогъ, обращающихъ почти въ ничто разстоянія между центрами и окраинами, достаточно, чтобы до очень высокой степени ускорить пульсъ народной жизни и заставить ее въ нѣсколько лѣтъ измѣниться сильнѣе, чѣмъ когда-то въ нѣсколько вѣковъ. А такъ какъ измѣненія при этомъ могутъ происходить самыя разнообразныя, то намъ предстоитъ опять-таки необходимость выбирать. Вы скажете опять, что это слишкомъ смѣло, а я опять скажу, что это неизбежно. Если вы живой человекъ —

а вѣдь не кукла же вы — такъ у васъ непремѣнно есть свой Ормуздъ и свой Ариманъ, свои понятія о добрѣ и злѣ. Они, какъ жена — не сапогъ, съ ноги не сбросишь.

Итакъ рецептъ г. П. Ч., не смотря на всю свою близость къ истинѣ, невозможенъ. Оживить нашу литературу, прекратить наше нищенство ожиданіемъ надлежащаго слова, которое скажутъ люди деревни, — нельзя. Для этого пропасть между нами и народомъ слишкомъ глубока. А между тѣмъ г. П. Ч. былъ въ самомъ дѣлѣ близокъ отъ истины. Вернемся на минуту назадъ, къ г. Любавскому.

Говоря, что наше отечество *ipse sibi jus constituit*, г. Любавскій разумѣетъ только гражданское право. Но такъ какъ въ томъ же третьемъ томѣ его монографій есть статейка: «Сущность и цѣли наказанія», гдѣ комментируются нѣкоторыя статьи уложенія о наказаніяхъ, то не лишнимъ будетъ упомянуть здѣсь о нѣкоторыхъ воззрѣніяхъ народа на уголовное правосудіе.

Извѣстно то теплое, гуманное отношеніе народа къ наказаннымъ преступникамъ, которое такъ полно выражается названіемъ «несчастнаго». Въ Тобольской губерніи, говоритъ г. Якушкинъ, — какъ мнѣ случалось видѣть самому, нерѣдко цѣлая толпа крестьянокъ выходитъ за околицу и раздаетъ бѣлый хлѣбъ и пироги проходящему мимо этапу. Въ городѣ Вереѣ, Московской губерніи, есть въ высшей степени замѣчательный обычай: въ свѣтлое воскресенье послѣ заутрени весь народъ вмѣстѣ съ духовенствомъ идетъ прямо изъ церкви въ острогъ и, христосуясь съ арестантами, раздаетъ имъ подаваніе. Это — только частныя выраженія существующаго кажется по всей Россіи воззрѣнія на наказанныхъ преступниковъ. Эта черта станетъ въ особенности поразительною, если поставить ее рядомъ съ строгостью большей части обычныхъ наказаній, строгостью, доходящей даже до смертной казни, по приговору сельскаго схода (такой случай былъ въ 1872 г. въ Самарской губерніи: казненъ былъ воръ и поджигатель). Народъ, крайне, часто до звѣрской жестокости строгій къ преступнику, подлежащему (законно или незаконно) его народному суду, проникается вдругъ поразитель-

ною мягкостью, когда преступникъ попадаетъ въ острогъ или ссылается въ Сибирь, т. е. когда онъ осужденъ не народомъ, а властями. Такой же конокрадъ или поджигатель, какой жестоко истязаются самими крестьянами, становится вдругъ въ ихъ глазахъ «несчастливымъ», какъ только его касается рука не-народнаго, чуждаго народу правосудія. Народъ даже не спрашиваетъ, въ чемъ состоитъ его преступленіе; онъ въ острогѣ, въ ссылкѣ—и этого довольно, чтобы смыть съ него пятно преступленія: пятна нѣтъ. Само собою разумѣется, что такое отношеніе къ острогу, тюрьмѣ, ссылкѣ должно имѣть свои глубокія историческія причины. «На образованіе его, говоритъ г. Якушкинъ, вѣроятно имѣли большое вліяніе недостатки прежняго суда и тягость крѣпостнаго права, въ силу котораго остроги наполнялись людьми, ссылаемыми въ Сибирь по волѣ помещиковъ». Г. Якушкинъ справедливо прибавляетъ, что какъ бы ни былъ мутенъ источникъ такого теплаго отношенія къ преступнику, вліяніе его благотѣльно и имѣетъ важное практическое значеніе; оно остается явленіемъ высокимъ. Но происхожденіе его во всякомъ случаѣ показываетъ, что наше право отнюдь не выросло изъ дѣйствительной жизни *русскаго народа*, какъ неосновательно пишетъ и подчеркиваетъ г. Любавскій; что передъ нами здѣсь развертываются два рѣзко различныя правовыя міра, изъ которыхъ ни одинъ не хочетъ знать другого. Конечно реформы нынѣшняго царствованія должны сгладить эти рѣзкости. Но фактъ остается фактомъ. Очевидно здѣсь мы имѣемъ уже не простое разногласіе между законодательствомъ и обычнымъ правомъ. Разногласія пожалуй, если хотите, вовсе даже нѣтъ: пока конокрадъ, поджигатель, убійца не подвергся карѣ закона, онъ—не несчастный въ глазахъ народа, а преступникъ, какъ и въ глазахъ закона, и даже ненавистный врагъ, котораго мужикъ готовъ своеручно и совершенно безжалостно убить. Дѣло мѣняють только тѣ формы слѣдствія, суда и наказанія, въ которыхъ и законодательство, и мы, образованные русскіе люди, видимъ гарантіи общественной безопасности и выраженіе справедливости. Этотъ парадоксальный результатъ станетъ совер-

шенно понятнымъ, если мы вспомнимъ, что до новѣйшаго времени законодательство не принимало въ соображеніе интересовъ народа, которые постоянно жертвовались другимъ цѣлямъ и нуждамъ—государственнымъ, военнымъ, сословнымъ. Не будемъ разсуждать о томъ, на сколько такое направленіе нашего законодательства оправдывалось историческою необходимостью. Вѣрно то, что съ освобожденіемъ крестьянъ долженъ былъ бы открыться совершенно новый періодъ нашей политической жизни...

Но законодательныя сферы не про насъ, профановъ, писаны, и я покидаю ихъ тѣмъ охотнѣе, что и заговорилъ о нихъ, не ради ихъ самихъ. Не только наше старое законодательство не хотѣло или не могло принимать въ соображеніе интересовъ народа: ихъ и теперь не принимаютъ въ соображеніе ни общество, ни литература. Какъ только крѣпостное право пало, литература логически должна была бы сдѣлать интересы народа мѣриломъ всѣхъ подлежащихъ ей сужденію вопросовъ. Оно такъ сначала и было, но очень недолго. Литература подъ вліяніемъ разныхъ очень сложныхъ обстоятельствъ весьма быстро усвоила себѣ другой тонъ и направленіе. Она ухватила за разные отвлеченныя формулы, выработанныя европейскою политическою жизнью. Повидимому тутъ-то и должно было начаться ея процвѣтаніе, потому что въ нее какъ бы привзошла европейская исторія въ ея результатахъ. На дѣлѣ вѣдь однако этого нѣтъ, да и не можетъ быть. Въ «Отечественныхъ Запискахъ» было много разъ доказываемо, что напимѣръ европейскій либерализмъ не имѣетъ у насъ подъ собою никакой почвы, вслѣдствіе чего у насъ возможны либералы-крѣпостники, въ родѣ гр. Орлова-Давыдова и либералы-протекціонисты, въ родѣ г. Полетики; что европейскій консерватизмъ есть у насъ совершенная бессмыслица, потому что нашимъ консерваторамъ нечего консервировать; что еще большую бессмыслицу представляетъ русскій клерикализмъ и т. д. Но этого мало. Цѣльное и искреннее отношеніе къ европейскимъ формуламъ невозможно для насъ не только по причинамъ, въ насъ лежащимъ, а и потому еще, что сами они даже у себя на родинѣ подвергаются разложенію и скептицизму. Поз-

волю себѣ привести нѣсколько словъ изъ моихъ «Литературныхъ замѣтокъ» 1873 года. Все равно: мнѣ пришлось бы то же слово и такъ же молвить, придумывать же новыя выраженія для тѣхъ же мыслей скучно и ненужно: «Колесо національнаго богатства только-что начинаетъ вертѣться въ Россіи и притомъ при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Вопервыхъ огромная часть производительныхъ силъ страны находится еще въ рукахъ народа, т. е. трудящихся классовъ. Значить, для созданія національнаго богатства по программѣ отечественной журналистики, надо отодрать громаду народа отъ земли и орудій производства. Въ вторыхъ отодраніе это надо производить сознательно, потому что прислушиваемся же мы къ тому, что дѣлается и дѣлалось въ Европѣ; знаемъ же мы, что національное богатство есть нищета народа, что Миллю приходится задумываться, насколько состоятельны тѣ самыя начала, которыя мы у себя вводимъ. Въ третьихъ отодраніе должно быть произведено въ пользу лицъ и интересовъ, еще не существующихъ, а только имѣющихъ образоваться самымъ процессомъ отдиранія. Сознательное, но безцѣльное преступленіе—вотъ что приходится дѣлать современной журналистикѣ при теперешнемъ ея направленіи. Что можетъ быть ужаснѣе такой задачи, такого положенія? И мудрено ли, что эти люди ходятъ и пишутъ, какъ тѣни, что грозный приговоръ потомства, подсказываемый имъ по временамъ совѣстью, связываетъ имъ языкъ и руки, отгоняетъ образы отъ воображенія, мысли отъ разума. Мудрено ли, что имъ нужно опьянѣніе хорошими словами и общими мѣстами съ одной стороны, мелочами будничной жизни—съ другой. Я думаю, что самому закоренѣлому злодѣю нужно напиться пьянымъ, чтобы сознательно совершить безцѣльное убійство. Кто знаетъ, можетъ быть и въ «Гражданинѣ», и въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» есть большіе таланты, но, придавленные своимъ ужаснымъ, почти невѣроятнымъ положеніемъ, они не могутъ развернуться. Прилье языкъ къ гортани ихъ. И таково положеніе вещей, что этому надо почти радоваться, за людей, за человѣческую природу радоваться. Еслибы при такомъ дѣлѣ языкъ не прилипъ къ ихъ

гортани, это были бы какія-то чудовища, которымъ нѣтъ имени въ зоологіи. И потому я еще разъ говорю: явись въ современную литературу десятки крупныхъ талантовъ, первоклассныхъ мастеровъ техники и ученѣйшихъ людей, они ни на волосъ не измѣнятъ фізіономіи литературы — если принесутъ съ собой только таланты, технику и знанія»...

Они должны привести съ собою новую, законную, логически вытекающую изъ строя русской жизни точку зрѣнія; они должны взять интересы народа мѣриломъ всѣхъ общихъ вопросовъ, подлежащихъ ихъ обсужденію. Только тогда прекратится наше духовное нищенство и настанетъ возможность пріобрѣсти какое-нибудь дѣйствительно цѣнное имущество, которымъ могли бы помянуть насъ наши дѣти и внуки. Возьмите любой вопросъ изъ занимающихъ литературу. Вотъ напримѣръ журналъ «Дѣло» очень беспокоится о какомъ-то «хозяйствѣ на умѣ» и вздыхаетъ по интеллектуальному величію древней Греціи. Можетъ ли почтенный журналъ говорить на эту тему свободно, смѣло, искренно, горячо, не оглядываясь по сторонамъ, когда съ рабствомъ, составлявшимъ основу интеллектуальнаго величія древней Греціи—покончено? Конечно нѣтъ. Почтенный журналъ вынужденъ вяло, безцвѣтно тянуть свою канитель, потому что у него нѣтъ и быть не можетъ ни подлинной вѣры въ то, во что онъ вѣритъ, ни надежды на то, на что онъ надѣется, ни любви къ тому, что онъ любитъ. Будь въ такомъ положеніи человекъ семи пядей во лбу, онъ будетъ вялъ, скученъ, блѣденъ, безсиленъ. Возьмите какой-нибудь практическій вопросъ, напримѣръ вопросъ о провинціальной печати, поднятый г. Мордовцевымъ. Прочтите статью г. Мордовцева и тѣ два или три возраженія, которыя были представлены на нее въ газетѣ «Недѣля». Съ той и другой стороны высказаны ряды аргументовъ и фактовъ и въ пользу, и въ порицаніе какъ принципа централизаціи, такъ и принципа децентрализаціи, самоуправления. Сообразно этому г. Мордовцевъ умаляетъ, а «Недѣля» возвеличиваетъ роль мѣстной провинціальной печати. Между тѣмъ споръ этотъ не приводитъ рѣшительно ни къ какому ося-

зательному результату, хоть бы его и не было, и, несмотря на глубокий интерес сюжета, прошелъ совершенно незамѣченнымъ. И это вовсе не зависитъ отъ малой талантливости и малаго количества знаній спорящихъ сторонъ. Совсѣмъ нѣтъ. Въ спорѣ обнаружались въ совершенно достаточной степени и таланты, и знанія. Но будь они даже несравненно выше, результатъ выше бы тотъ же. Потому что кто у насъ искренно вѣритъ въ принципъ централизаціи и возлагаетъ на него надежды? Никто, ни даже самъ г. Мордовцевъ, который даже не знаетъ, какъ назвать систему фактовъ и мнѣній, на которую опирается. Поглощеніе центрами окраинъ онъ называетъ то теоріей, то «даже и не теоріей, а живымъ фактомъ», то соціологическимъ закономъ, то въ родѣ какъ закономъ, то временнымъ уродствомъ, то печальнымъ, то радостнымъ явленіемъ. А кто вѣритъ въ безусловные принципы децентрализаціи и самоуправленія? Опять-таки — никто, ни даже «Недѣля», потому что вѣдь и многіе щедринскіе помпадуры о децентрализаціи хлопочутъ, и феодализмъ представлялъ систему мѣстнаго самоуправленія, и покойный германскій союзъ, съ своими десятками Фридриховъ XX рейсъ-шлецкихъ и Рудольфовъ XXX саксенъ-гохкиркенскихъ, былъ федераціей, и остзейскіе бароны на децентрализаціи настаиваютъ. Ясно, что пока принципы централизаціи и децентрализаціи не будутъ сведены къ нѣкоторому третьему принципу, отъ нихъ не зависящему, но могущему дать имъ живой смыслъ и содержаніе, до тѣхъ поръ можно совершенно безслѣдно писать съ точки зрѣнія того и другого даже многотомныя сочиненія о провинціальной печати. Цѣлая подобная библіотека ни на одну іоту не оживитъ литературы. Но откуда же взять этотъ третій принципъ, этого верховнаго судью политическихъ формулъ, удовлетворявшихъ когда-то Европу, а можетъ быть и теперь кое-кого тамъ удовлетворяющихъ, но на которыхъ наше нравственное чувство ни коимъ образомъ успокоиться не можетъ? Я отвѣчаю: принципъ этотъ есть интересы народа. Допустите этотъ принципъ въ примѣръ въ вопросъ о централизаціи и самоуправленія и въ частности о столичной и мѣстной печати. Прежде всего ока-

жется, что принципы централизаціи и самоуправленія сами по себѣ, какъ *таковыя* (выражаясь нѣмецкимъ философскимъ жаргономъ), суть яйцо, выѣденное исторіей. Почему напримѣръ иной сторонникъ децентрализаціи и мѣстнаго самоуправленія вторгается въ остзейскіе порядки и обзываетъ ихъ дурными словами? Потому что тамъ эсты и латыши, т. е. народъ, изнывають подъ тяжестью средневѣковыхъ привилегій бароновъ. Такъ и откиньте совѣтъ или по крайней мѣрѣ отставьте на второй планъ принципъ самоуправления, только затемняющій дѣло и ужъ конечно ничего неосвѣщающій. Признайте разъ навсегда, что въ обоихъ противоположныхъ принципахъ централизаціи и самоуправления нѣтъ ничего абсолютно цѣннаго, что въ каждомъ частномъ случаѣ, на различныхъ ступеняхъ исторіи, и тотъ, и другой получаетъ особенное значеніе и подлежитъ особому изслѣдованію съ точки зрѣнія интересовъ народа.

Но, замѣйте, *интересовъ* народа, а не голоса деревни. Это—совѣтъ не одно и то же. Хороши бы мы были, еслибы, проживъ цѣлые вѣка на счетъ деревни и изуродовавъ ее крѣпостнымъ правомъ, сложили теперь руки и сказали бы: шабашъ! мы пусты, какъ шелуха орѣха, мы ни во что не вѣримъ; нѣтъ у насъ своего ничего завѣтнаго; выходи, мужикъ, выходи и поучай насъ! Корми насъ, въ придачу къ хлѣбу, еще и духовной пищей! Это было бы верхъ барства, возмутительнѣйшій его видъ. Неспорно, что у мужика есть чему поучиться, но есть и намъ что ему передать. И только изъ взаимодѣйствія его и нашего и можетъ возникнуть вождедѣнный новый періодъ русской исторіи. Голосъ деревни слишкомъ часто противорѣчитъ ея собственнымъ интересамъ, и задача состоитъ въ томъ, чтобы, искренно и честно признавъ интересы народа своею цѣлью, сохранить въ деревнѣ, какъ она есть, только то, что дѣйствительно этимъ интересамъ соотвѣтствуетъ. Дѣло идетъ объ обмѣнѣ между нами и народомъ, обмѣнѣ честномъ, безъ шулерства и заднихъ мыслей, въ результатъ котораго получается равенство обмѣненныхъ цѣнностей. О, еслибы я могъ утонуть, расплыться въ этой сѣрой, грубой массѣ народа, утонуть безповоротно, но сохранивъ тотъ свѣточъ исти-

ны и идеала, какой мнѣ удалось добыть на счетъ того же народа! О, еслибы и вы всѣ, читатели, пришли къ такому же рѣшенію, особенно у кого свѣточъ горитъ ярче моего и вообще свѣтло и безъ копоты... Какая бы это вышла иллюминація и какой великій историческій праздникъ она отмѣтила бы собою! Нѣтъ равнаго ему въ исторіи...

Принципъ интересовъ народа, не будучи никогда выставленъ съ достаточною силою и на достаточномъ районѣ, не былъ никогда и разбитъ исторіей, а слѣдовательно мы по малой мѣрѣ не знаемъ, можно ли имъ жить. Надо пробовать. Если онъ не выдержитъ пробы, остаются Нирвана и Гартманъ—я не знаю другого выхода. Но прежде, чѣмъ броситься въ эту мертвечину, надо пробовать жить. Но надо помнить, что это—именно проба жизни и что нужно слѣдовательно живое отношеніе къ дѣлу, а не заученное проскакиваніе вольтижеровъ сквозь обручи, заклеенные бумагой, не кувырканіе въ мертвыхъ формулахъ. Недавно я слышалъ вотъ какое *радикальное* разсужденіе по поводу дѣла о завѣщаніи Пантелѣевымъ 900,000 на выкупъ крестьянъ Порховскаго уѣзда. Нѣкто бранилъ газеты, поднявшія по поводу этого дѣла шумъ, т. е. не одобрялъ одно изъ немногихъ проявленій нашими газетами истиннаго нравственнаго чутія. Это—все жалкія слова, говоритъ онъ. Адвокатъ имѣетъ полное право братья за всякое дѣло, если законъ оставляетъ ему нужныя для того лазѣйки: можно оттягать наслѣдство, оттягивая—только такимъ образомъ, вызывать наконецъ реакцію, законъ и можетъ быть пополненъ и исправленъ. Крестьяне тутъ тоже не причемъ. Не все ли впервыхъ равно: крестьяне или кто другой окажется обойденнымъ наслѣдниками и адвокатами, а вовторыхъ, еслибы дѣло шло о какой-нибудь общей, радикальной мѣрѣ въ пользу крестьянъ, тогда такъ, а то чего же тутъ волноваться? нѣсколько десятковъ человѣкъ крестьянъ покончатъ съ выкупными платежами—только вѣдь и всего.—И всѣ эти разсужденія, читатель, суть не что иное, какъ мертвечина и крючкотворство. Я ихъ и привожу только, какъ образчикъ мертворожденнаго радикализма. Прежде всего всякая способ-

ность, а слѣдовательно и способность различать добро и зло, онъ неупотребленія притупляется. Страна, въ которой адвокаты открыто берутся за всякія дѣла, если законъ предоставляетъ нужныя для того лазѣйки, не замедлитъ развратиться въ конецъ, насквозь, во всѣхъ слояхъ общества. Это ужъ будетъ дѣло на столько готовое къ тому времени, когда законъ пополнится и исправится, что никакой законъ тутъ ничего не подѣлаетъ. И вотъ почему наши «прелюбодѣи мысли» вредны и подлежатъ преслѣдованію. Не велика бы еще бѣда, еслибы дѣло ограничивалось только гибелью ихъ собственныхъ прелюбодѣйскихъ душъ. Но они, «вверху стоящіе, что городъ на горѣ, дабы всѣмъ видѣнъ былъ», они, практикующіе неправду съ блескомъ и громомъ, влекутъ за собой все общество въ омутъ позора. Вотъ-рыхъ общія мѣры въ пользу крестьянства никоимъ образомъ нельзя ставить рядомъ съ завѣщаніемъ Пантелѣева, нельзя ими мѣрять другъ друга, потому что — эти явленія несоизмѣримы. Будемте говорить объ общихъ и частныхъ, радикальныхъ и паллятивныхъ мѣрахъ напримѣръ по устройству сельскаго кредита. При этомъ позволительно сравнивать системы, дающія возможность кулакамъ усилить свое кулачество, съ системами, предоставляющими кредитъ массѣ сельскаго населенія. Но Пантелѣевское завѣщаніе есть дѣло совсѣмъ другого порядка; въ немъ важны тѣ мысли и чувства, которыя сопровождали этотъ актъ. Пантелѣевъ смотрѣлъ конечно, какъ на нравственный долгъ, на эти 900,000. И это нравственное чувство подлежитъ укрѣпленію, питанію и гарантіи, что долгъ будетъ полученъ кредиторомъ. Гарантіи эти должно представить общество и его представительница — литература. Литература можетъ требовать мѣръ общихъ и радикальныхъ, доказывать недостаточность и даже вредъ мѣръ частныхъ и паллятивныхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ она обязана лелѣять, какъ нѣчто драгоцѣнное, каждое проявленіе нравственнаго чувства и любовно оберегать его отъ наскоковъ цивилизованныхъ и нецивилизованныхъ баши-бузуковъ. Въ концѣ-концовъ только живое нравственное чувство можетъ представить нѣчто подобное той точкѣ въ пространствѣ, которой тре-

бовагъ Архимедъ для того, чтобы перевернуть земной шаръ. И вотъ почему я не могу согласиться съ моимъ радикальнымъ собесѣдникомъ насчетъ поведенія нашихъ газетныхъ фельетонистовъ въ дѣлѣ завѣщанія Пантелѣева. Кто знаетъ, можетъ быть тутъ судьба намъ новое счастье на новый годъ посылаетъ?

XIX *).

О Шиллерѣ и о многомъ другомъ.

Извѣстный знатокъ литературы и тонкій критикъ г. Полетика, который всегда

Въ Шекспирѣ признавалъ талантъ
За личность Дездемоны
И строго осуждалъ Жоржъ-Зандъ
За то, что носить панталоны,

предалъ меня однажды анаемѣ по поводу нѣкоторой моей ереси о талантѣ и «искрѣ божіей». Какъ ни ужасна перспектива вновь подвергнуться сокрушительной логикѣ и громоносному краснорѣчію почтеннаго затрапезнаго оратора, но, если Богъ не выдастъ, такъ можетъ быть и г. Полетика не погубить. Такъ ужъ впрочемъ намъ, профанамъ, на роду написано подвергаться анаемѣ специалистовъ и вообще знатоковъ. Имъ конечно и книги въ руки. Но съ другой стороны что же и мнѣ-то дѣлать, когда мнѣ попались въ руки книги, вновь подвигшія во мнѣ ересь «искры божіей»? Что дѣлать?! Говорить, писать и опять выносить громы сокрушительной логики и краснорѣчія затрапезныхъ ораторовъ.

Недавно вышло *пятымъ* изданіемъ «Полное собраніе сочиненій Шиллера въ переводѣ русскихъ писателей» (изданіе г. Гербеля). Кстати почти одновременно явилась по русски книга Шерра «Шиллеръ и его время» (М. 1875). Пятаго изданія рус-

*) 1876, апрѣль.

скія книги, если не считать учебниковъ и сказокъ въ родѣ «Гуака» или «Милорда англійскаго», вообще почти не доживаютъ. Поэтому пятое изданіе Шиллера уже само по себѣ составляетъ фактъ, чрезвычайно знаменательный. Пронять же, значитъ, насъ, россіянь, этотъ великій нѣмецкій человѣкъ съ рыжими волосами и голубыми глазами, этотъ «современникъ всѣхъ эпохъ», какъ онъ самъ говорилъ о себѣ, отнюдь впрочемъ не думая пророчествовать. Принимая въ соображеніе, что французовъ, англійчанъ, не говоря уже о нѣмцахъ, Шиллеръ проявлялъ еще сильнѣе, чѣмъ насъ, было бы любопытно выслѣдить секретъ этого могущества и живучести. Конечно если свести дѣло къ случайному щедрому дару природы, къ стихійной силѣ таланта, генія, такъ оно пожалуй даже вовсе не любопытно: по неизвѣстнымъ намъ причинамъ у зауряднаго виртембергскаго офицера родился въ 1759 году сынъ огромныхъ умственныхъ и поэтическихъ способностей—вотъ и все. Физиологи могутъ биться и ломать головы надъ этимъ фактомъ, но намъ, профанамъ, дѣлать съ нимъ нечего. Насъ занимаетъ другая сторона дѣла. Мы знаемъ въ исторіи литературы, въ исторіи политической немало людей съ огромными умственными силами, ничуть можетъ быть не меньшими, чѣмъ тѣ, какими обладали Шиллеръ, и однако растратившихъ эти силы либо почти совсѣмъ даромъ, либо оставившихъ по себѣ память позора и ненависти. Далѣе: «таланты отъ Бога», но нѣтъ ли чего-нибудь въ шиллеровской мощи и «отъ рукъ человѣческихъ»? Еслибы удалось съ достаточною точностію опредѣлить и выяснить эту *человѣческую* сторону обаянія великаго поэта, мы были бы въ большомъ выигрышѣ. Мы—не идолопоклонники, которые норовятъ разбить себѣ лобъ передъ величавымъ или грознымъ явленіемъ природы (каковъ самъ по себѣ талантъ, геній). Намъ въ особенности дорого то употребленіе, которое дѣлается изъ таланта; тѣ мотивы, которые заставляютъ человѣка обращать свои силы на такое или иное освѣщеніе тѣхъ или иныхъ фактовъ; тѣ цѣли, которыя преслѣдуетъ человѣкъ, вспомошествоваемый щедрымъ даромъ природы. Выясненный съ этихъ сторонъ

обладатель таланта перестает быть чѣмъ-то недостижимымъ, чуждымъ, доступнымъ только волнамъ еиміама и восторженнымъ гимнамъ. Онъ перестаетъ быть идоломъ и становится идеаломъ, образцомъ, маякомъ. Изъ нѣсколькихъ тысячъ одному удастся оставить по себѣ яркій слѣдъ и служить свѣточемъ цѣлому ряду поколѣній, но это не мѣшаетъ и простымъ смертнымъ, изучая условія работы геніальнаго человѣка, заимствовать у него что возможно, т. е. то, что не связано непосредственно съ стихійной силой таланта. Взять себѣ примѣромъ, образцомъ шиллеровскій талантъ нельзя, если въ собственныхъ творческихъ силахъ недостатокъ, но то употребленіе, которое Шиллеръ дѣлалъ изъ своего таланта, содержитъ—можно съ увѣренностью сказать заранѣе—урокъ поучительный и доступный.

Мы уже давно знаемъ фантастическій образъ художника, вольно, изящно и почти безсознательно порхающаго въ надзвѣздной лазури, охлаждающаго наши земныя боли единственно ароматнымъ прикосновеніемъ своей легкой, изъ чудныхъ невѣсомыхъ матеріаловъ сотканной одежды. Мы давно его знаемъ, и онъ намъ очень надоѣлъ, потому что на повѣрку всегда какъ-то такъ выходило, что изъ подъ невѣсомой одежды выглядывалъ кончикъ уха гг. Болеслава Маркевича, Фета или Авсѣенки. Этотъ образъ, когда-то (очень ужъ давно) привлекавшій къ себѣ столько нѣжныхъ сердецъ, улетучился, но нынѣ послѣ него осталось мокрое мѣсто. Повторяю это не совсѣмъ изящное выраженіе «мокрое мѣсто», потому что не могу иначе назвать критическія упражненія большинства нашихъ литературныхъ хроникѣровъ. Говорится чтѣ-то слякотное о томъ, какъ вредно стѣсненіе для поэта, какъ всякія строга опредѣленныя нравственно-политическія тенденціи сковываютъ талантъ и проч. Не всѣ впрочемъ говорятъ это. Приведу одинъ примѣръ, касающійся «Отеч. Записокъ». Когда, одновременно съ появленіемъ «Подростка», «Отеч. Зап.» выразили моими устами сожалѣніе о нѣкоторыхъ печальныхъ поползновеніяхъ чрезвычайно талантливаго автора и заявили, что не могли бы допустить у себя появленіе его романа, еслибы упомянутыя поползновенія перехо-

дили известную границу, газетные хроникёры были чрезвычайно взволнованы. Волновались между прочими хроникёры «Кіевск. Телеграфа» и «С.-Петерб. Вѣдомостей». Хроникёръ первого напустился на насъ за самое напечатаніе «Подростка» и въ оговоркѣ нашей увидѣлъ только лицемеріе. Хроникёры же «С.-Петерб. Вѣдомостей» (сначала сальясовскій, а потомъ и баймаковскій) прочли въ весьма строгомъ стилѣ противоположнаго свойства нотацію, что какъ дескать мы смѣемъ стѣснять талантъ г. Достоевскаго? Привожу это только, какъ примѣръ разноголосицы требованій и спутанности понятій. Отъ всякихъ комментаріевъ воздерживаюсь и спрошу только: не своевременно ли будетъ обратиться къ изученію задачъ и условій творчества признанныхъ всѣмъ міромъ великихъ мастеровъ, дабы узнать, какъ слѣдуетъ вести себя нашимъ художникамъ? Шиллеръ для этого мнѣ кажется особенно удобенъ. Впервыхъ онъ — несомнѣнная звѣзда первой величины, такъ что тутъ и споровъ никакихъ нѣтъ и быть не можетъ; вовторыхъ онъ писалъ сочиненія по теоріи искусства. Значить мы имѣемъ здѣсь какъ бы собственныя признанія и эстетическія desideria первокласснаго мастера. Выгоды—до исключительности рѣдкія, и грѣшно было бы ими не воспользоваться. Не велика еще важность, если какой-нибудь г. Соловьевъ отстаиваетъ ту или другую эстетическую теорію. Можетъ быть онъ и совершенно правъ; но его собственныя поэтическія произведенія по крайней мѣрѣ не служатъ гарантіей пригодности теоріи. Шиллеръ—другое дѣло. Онъ создалъ произведенія великія, создалъ ихъ, соображаясь съ известной эстетической теоріей, а слѣдовательно эта теорія дала плодъ вполне осязательный.

Чему же можно поучиться у Шиллера? Можетъ быть формѣ? Конечно, какъ и у всякаго гениальнаго художника. Однако только до известной степени. Возьмите на примѣръ знаменитыхъ «Разбойниковъ». Карлъ Мооръ самымъ нелѣпымъ образомъ вѣрить подложному письму якобы его отца, ни на минуту не сомнѣвается въ его подлинности, хотя признаетъ его чудовищнымъ и никогда ничего подобнаго не ожидалъ; мало того, это ни съ чѣмъ несообразное

письмо вдруг побуждетъ его принять страшное рѣшеніе—обратиться въ разбойничьяго атамана. Онъ раздражается невѣроятными монологами, изъ которыхъ вотъ одинъ навѣдержку: «Люди! люди! лживое, коварное отродье крокодиловъ! Вода—ваши очи, сердце—желѣзо! На уста поцѣлуй, кинжалъ въ сердце! Львы и леопарды кормятъ своихъ дѣтей, вѣроны носятъ падалъ щенцамъ своимъ, а онъ, онъ... Я привыкъ сносить злость, могу улыбаться, когда озлобленный врагъ будетъ по каплѣ точить кровь изъ моего сердца... но если кровная любовь дѣлается измѣнницей, если любовь отца дѣлается Мегерой: о, тогда пылай огнемъ мужское терпѣніе, превращайся въ тигра кроткая овца и всякая былинка расти во вредъ и погибель!» Полагаю, что нынче и Дьяченко не рѣшился бы вложить въ уста героя такіе напыщенные монологи и не мотивировать бы событія такъ психологически невѣрно и наконецъ просто такъ плохо. Скажутъ, что «Разбойники»—юношеское произведеніе. Положимъ, что, даже оставляя въ сторонѣ «Разбойниковъ» и однородныя съ нимъ драматическія вещи: «Заговоръ Фіеско», «Коварство и любовь», мы увидимъ указанныя недостатки въ Шиллерѣ: болѣе или менѣе вытянутые монологи и странную внезапность, немотивированность рѣшеній и поступковъ дѣйствующихъ лицъ. Таковъ длиннѣйшій монологъ Вильгельма Телля, когда онъ поджидаетъ въ ущельѣ Геслера; такова измѣна Бутлера въ «Валентинѣ», играющая въ драмѣ существенную роль; таково внезапное зарожденіе земного чувства въ Іоаннѣ д'Аркѣ, когда она, «пораженная видомъ Ліонеля, стоитъ неподвижно и рука ея опускается», а между тѣмъ и этою внезапностью существеннѣйшимъ образомъ опредѣляется дальнѣйшее теченіе драмы, и проч. Но не въ этомъ всеѣмъ дѣло. Спрашивается: почему, не смотря на крайнюю незрѣлость и вмѣстѣ съ тѣмъ съ теперешней точки зрѣнія обветшалость формъ «Разбойниковъ», драма эта остается великимъ памятникомъ и прочтется теперь, въ 1876 году, всякимъ мыслящимъ человѣкомъ съ неравненно большимъ наслажденіемъ, чѣмъ безчисленное множество современныхъ и вполнѣ «приличныхъ» драмъ? Скажутъ, такова сила таланта. Но—это не отиѣтъ.

это — только одно изъ всерѣшающихъ и ничего необъясняющихъ таинственныхъ выраженій, какъ «судьба», «случай», «счастье», «несчастье» и т. п. Для современниковъ Шиллера, въ томъ числѣ и для такихъ, какъ Гёте, «Разбойники» ничуть не выдѣлялись изъ цѣлой массы этого рода произведеній, въ родѣ «Ардингелло», «Ринальдо Ринальдини» и т. п. И дѣйствительно таланта, т. е. собственно творческой способности, въ нихъ не больше. Но въ нихъ есть кромѣ того нѣчто, давшее Шиллеру дальнѣйшіе толчки и оставившее вмѣстѣ съ тѣмъ на «Разбойникахъ» печать вѣковѣчности. Это нѣчто я называю — извините, г. Полетика, — искрой божіей. Въ чемъ она состоитъ, мы увидимъ сейчасъ нѣсколько ближе.

Если мы обратимся къ другому рода трудамъ Шиллера, то встрѣтимъ нѣчто совершенно аналогичное. Шиллеръ писалъ сочиненія историческія, философскія, и они въ высокой степени поучительны, не смотря опять-таки на крайнюю незрѣлость и вмѣстѣ съ тѣмъ обветшалость какъ его историческаго матеріала, такъ и многихъ его точекъ зрѣнія. Кто ищетъ знаній, тотъ не станетъ читать Шиллера «Исторію отпаденія Нидерландовъ отъ испанскаго владычества», а кто ищетъ образованія философскаго — можетъ смѣло обойти «Философскія письма». И исторія, и философія имѣютъ болѣе компетентныхъ и яркихъ представителей. Но Шиллеръ и въ эти произведенія вложилъ ту же искру Божію, которая блеститъ и понынѣ и невольно приковываетъ къ себѣ всякаго, кто станетъ просто перелистывать теоретическія его сочиненія.

Надобно замѣтить, что г. Гербель совсѣмъ напрасно утверждаетъ, будто его изданіе «можетъ быть названо дѣйствительно полнымъ, такъ какъ въ немъ не опущено ни одной строки и не измѣнено ни одного слова противъ подлинника». Не говоря уже о томъ, что перевести всего Шиллера, не опустивъ ни одной строки и въ особенности не измѣнивъ ни одного слова, нѣтъ никакой возможности, г. Гербель упустилъ изъ виду теоретическія сочиненія Шиллера. Въ пятомъ изданіи перевода «русскихъ писателей» имѣются многіе труды Шиллера по исторіи,

философіи и теоріи искусства, но въ первыхъ далеко не всѣ, а въ вторыхъ далеко не самыя важныя. Издатель, какъ видно изъ предисловія, именно для пятаго изданія приготовилъ и заказалъ многіе переводы, но рѣшительно невозможно понять, почему онъ выбралъ однѣ вещи и отбросилъ другія. Напримѣръ «Философскія письма» переведены, что составляетъ уже роскошь, мелкіе эстетическіе опыты переведены, а капитальныя вещи, какъ «О прелести и достоинствѣ» (Ueber Anmuth und Würde) и письма объ эстетическомъ развитіи человѣка—нѣтъ. Такимъ образомъ, имѣя подъ руками «Полное собраніе сочиненій Шиллера въ переводѣ русскихъ писателей», я все-таки долженъ буду обращаться къ нѣмецкому подлиннику, и притомъ за самыя важными изъ теоретическихъ сочиненій.

Философскія и историческія работы никогда не были для Шиллера той смѣсью дѣла съ бездѣльемъ, которая называется дилеттантствомъ. Каковы бы ни были достигнутые имъ результаты, но онъ работалъ упорно, цѣлыми годами, со страстью. Для человѣка, одареннаго такою громадною творческою силою, было бы очень соблазнительно отдаться ей одной и творить образъ за образомъ, пѣсню за пѣсней, драму за драмой, наскоро приготавливая свой матеріалъ. Шиллеръ избѣжалъ этого искушенія. Онъ никогда не отдѣлялъ своей поэтической способности отъ жажды познанія и выработки нравственно-политическаго идеала. Это бросается въ глаза уже при одномъ перечнѣ его сочиненій. Рядомъ съ трилогіей «Валленштейнъ» стоитъ «Исторія тридцатилѣтней войны», рядомъ съ «Донъ-Карлосомъ»—«Исторія отваденія Нидерландовъ», рядомъ съ поэтическими произведеніями—эстетическіе опыты. Никогда никакой сюжетъ не заинтересовывалъ его исключительно съ поэтической стороны, исключительно, какъ нѣчто красивое. Этотъ міровой гений, одинъ изъ величайшихъ поэтовъ, какихъ видѣлъ родъ людской, просто не понималъ бы эстетической теоріи уединенія, обособленія прекраснаго отъ истиннаго и справедливаго. Замѣйте, что онъ погружался въ историческія изслѣдованія и въ эстетическія изысканія совсѣмъ не для того только, чтобы лучше освоиться съ матеріа-

ломъ и техникой. Это — само по себѣ, а главное — онъ вѣчно стремился растворить эстетическое наслажденіе, подчинить его, отдать на службу нравственно-политическимъ цѣлямъ. Это — замѣчательно выдающаяся, характернѣйшая черта Шиллера и какъ мыслителя, и какъ поэта, и какъ человѣка. Искусство онъ цѣнилъ чрезвычайно высоко, да и мудрено было бы ему цѣнить его иначе — ему, въ душѣ котораго билъ неисчерпаемый родникъ образовъ и пѣсень. Но высоту эту онъ полагалъ именно въ служебной роли искусства. Того изъ отроговъ «искусства для искусства», который носить названіе бессознательнаго творчества, Шиллеръ совсѣмъ не зналъ. Прочтите его «письма о Донъ-Карлосѣ» (они есть въ русскомъ изданіи), и вы будете поражены готовностью, съ которою онъ объясняетъ свои цѣли и каждый шагъ своихъ дѣйствующихъ лицъ. Все обдуманно, все преднамѣренно, все подлежитъ отчету. Въ первомъ же письмѣ онъ ставитъ такое общее положеніе: «Дурно для автора и его пьесы, если дѣйствіе ея зависитъ отъ догадливости и снисхожденія критика и если авторъ допускаетъ, чтобы впечатлѣніе пьесы производилось качествами, доступными весьма немногимъ головамъ. Что можетъ быть ошибочнѣе положенія художественнаго произведенія, когда оно поставлено на произволъ наблюдателя, и онъ можетъ дать ему произвольное толкованіе и когда нужна помощь, чтобы поставить его на настоящую точку зрѣнія? Если вы хотите намекнуть мнѣ, что моя пьеса находится въ независимомъ положеніи *), то этимъ вы говорите мнѣ нѣчто очень дурное». Слѣдовательно Шиллеръ требовалъ, чтобы поэтическое произведеніе отразилось въ средѣ читателей или зрителей непосредственно извѣстнымъ образомъ, соотвѣтственно намѣреніямъ автора, дало соотвѣтственные результаты, произвело соотвѣтствен-

*) Пораженный страннымъ оборотомъ подчеркнутой фразы, я заглянулъ въ подлинникъ и, какъ и слѣдовало ожидать, никакого «независимаго положенія» тамъ не нашелъ. Сказано: *dass das meinige sich in diesem Falle befände*, то-есть просто *въ такомъ* положеніи. Отъ независимости Шиллеръ чураться не сталъ бы и видѣлъ ее именно въ полнотѣ и ясности отношеній между произведеніемъ и читателемъ или зрителемъ.

ное дѣйствіе. Задача безспорно чрезвычайно трудная, принимая въ соображеніе разнокалиберность массы читателей. Но самъ Шиллеръ ее разрѣшилъ блистательно, потому что всѣ его произведенія несомнѣны, если можно такъ выразиться. Онъ владелъ тайной за разъ и подниматься на самыя вершины творчества, и говорить со всѣми, быть всѣмъ понятнымъ. Сила и значеніе этой несомнѣнности лучше всего выяснится сравненіемъ. Читатель помнитъ конечно, какъ въ старые годы каждое новое произведеніе г. Тургенева комментировалось съ самыхъ разнообразныхъ сторонъ и часто совершенно противорѣчивымъ образомъ. Припомните напримѣръ баталію изъ-за «Отцовъ и дѣтей». Одни видѣли въ романѣ оскорбленіе дѣтей и апофеозъ отцовъ; другіе наоборотъ апофеозъ дѣтей и приниженіе отцовъ; третьи наконецъ—просто радовались художественной сторонѣ романа, потому что вотъ, дескать, настоящий художникъ «объективировалъ» факты безъ любви и ненависти и предоставляетъ кому угодно толковать произведеніе и такъ, и этакъ. Самъ г. Тургеневъ, не смотря на большую охоту заявлять о себѣ по самымъ ничтожнымъ поводамъ, упорно, долго и двусмысленно молчалъ. Такихъ толковъ произведенія Шиллера никогда не возбуждали. И это—совершенно понятно. Потрудитесь попробовать истолковать «Донъ-Карлоса» или «Вильгельма Телля» въ какихъ-нибудь двухъ различныхъ смыслахъ. Это—просто невозможно. Это не значить, чтобы Шиллеръ не давалъ работы критикѣ. Напротивъ, онъ и до сихъ поръ даетъ ее желающимъ сколько угодно. Но роль критики ограничивается при этомъ въпервыхъ чисто-эстетической и психологической оцѣнкой, а вовторыхъ—нравственной оцѣнкой идеаловъ Шиллера. Въ этихъ предѣлахъ возможны всяческія разногласія, но сомнѣній въ томъ, что хотѣлъ сказать поэтъ, что онъ любитъ, что ненавидитъ—такихъ сомнѣній быть не могло. Маркизъ Поза, Вильгельмъ Телль, Валленштейнъ, Іоанна д'Аркъ и проч. несомнѣнны, и несомнѣнность эта достигается не тѣмъ, что авторъ исполняетъ обязанность громкимъ шопотомъ подсказывающаго суфлера, не тѣмъ, что онъ грубо и аляповато навѣшиваетъ на своихъ героевъ ярлыки, а вы-

треннимъ планомъ работы. Для иного можетъ быть и заманчива роль великаго жреца искусства, который, совершивъ поэтическое таинство, отходить въ сторону, предоставляя другимъ доискиваться его смысла. Но Шиллеръ называлъ это «фальшивымъ» положеніемъ. Художественное творчество было для него не какимъ-нибудь самостоятельнымъ богослуженіемъ, а гражданскимъ актомъ, вслѣдствіе чего онъ естественно долженъ былъ желать несомнѣнности своихъ произведеній. Гёте былъ невысокаго мнѣнія о философскихъ занятіяхъ Шиллера. Онъ писалъ Эккерману: «Грустно было видѣть, какъ такой доровитый человѣкъ носился съ философскими идеями, которыя въ сущности ему ничего не дали» (Цит. у Шерра «Шиллеръ и его время»). Можно съ увѣренностью сказать, что «философскія» идеи дали напротивъ Шиллеру очень многое. Я не виѣшій успѣхъ имѣю въ виду, хотя и то надо замѣтить, что напримѣръ въ «Прелести и достоинствѣ» самъ Кантъ увидѣлъ «мастерскую» руку. Но главное, что дали Шиллеру философскія занятія, это — внутренний миръ. Они показали ему, что его жажда ясныхъ, несомнѣнныхъ отношеній какъ къ объектамъ поэзіи, такъ и къ читателямъ, имѣетъ свои вполне рациональныя основанія, что она законна. Въ томъ же письмѣ къ Эккерману Гёте совершенно справедливо амѣчаетъ: «Не въ натурѣ Шиллера было относиться безсознательно и инстинктивно къ вопросу, занимавшему его — напротивъ: онъ разсматривалъ его со всѣхъ сторонъ и подвергалъ анализу». Представьте себѣ человѣка, въ которомъ постоянно идетъ сильнѣйшая работа, такъ сказать, образованія поэтическихъ клѣточекъ. Постоянно слагаются въ немъ образы, пѣсни, звуки, приемы — словомъ, всѣ разнообразныя элементы поэтического произведенія. Органическій процессъ выработки этихъ элементовъ самъ по себѣ составляетъ наслажденіе, въ которомъ весьма соблазнительно замкнуться, и въ такомъ случаѣ человѣкъ творить, по старинному сравненію, какъ соловей поетъ и роза благоухаетъ. Есть другіе поэты, въ которыхъ рядомъ съ творческою способностью ярко горитъ нравственная «искра Божія». Они стремятся дать своей поэтической силѣ совершенно

опредѣленное русло. Таковъ и былъ Шиллеръ. Чтобы читатель видѣлъ до какой отчетливости доходилъ онъ въ этомъ отношеніи, я приведу слѣдующія слова изъ упомянутыхъ уже писемъ о Донъ-Карлосѣ: «Я выбралъ совершенно доброжелательный характеръ (рѣчь идетъ о маркизѣ Позѣ), неспособный ни на какое эгоистичное стремленіе, я придалъ ему высокое уваженіе къ чужимъ правамъ, я вложилъ въ него цѣль добыть для всѣхъ наслажденіе свободой и мнѣ кажется не впалъ въ противорѣчіе съ обыкновеннымъ опытомъ, допустивъ его сойти съ пути и зайти въ деспотизмъ. Въ планъ мой входило, чтобы онъ затулился въ петлю, приготовленную для всѣхъ, идущихъ по одинаковой съ нимъ дорогѣ. Чего бы мнѣ стоило благополучно провести его и доставить читателю, полюбившему его, чистое наслажденіе всѣми остальными красотами его характера, еслибы я не считалъ болѣе выгоднымъ придерживаться челоувѣческой природы и подтвердить его примѣромъ опытъ, всегда мало принимаемый въ соображеніе». Направляя свою творческую силу такъ сознательно и такъ настойчиво къ нравственно-политической цѣли, Шиллеръ естественно долженъ былъ считать плохимъ, неудачнымъ произведеніе, допускающее различныя толкованія, хотя бы даваемое имъ эстетическое наслажденіе было очень велико.

Это удовлетвореніе требованію личной своей природы Шиллеръ возвелъ до высоты всеобъемлющей теоріи. Едва ли кто-нибудь выше его ставилъ искусство, относился къ нему восторженнѣе, до такой степени, что многія изъ его стихотвореній покажутся намъ даже приторно-плоскими, если не имѣть въ виду основныхъ задачъ искусства по Шиллеру. Напримѣръ въ известномъ стихотвореніи «Раздѣлъ земли», Зевсъ говоритъ опоздавшему поэту:

...вся рождена земля:

Ужъ больше не мои ни воды, ни поля;
Но если въ небесахъ захочешь жить со мною,
То небо навсегда отвергнато предъ тобою.

Въ «Идеалахъ», въ «Могуществѣ пѣснопѣнія» и проч. выражаются подобныя же мысли и чувства. На первый разъ они могутъ поразить довольно непріятно. Достойно ли въ самомъ дѣлѣ Шиллера пѣть на такую изыѣзженную и плоскую тему, какъ лишеніе поэта даровъ земли и предоставленіе ему неба. Какая мелюзга не пѣла этихъ чувствительныхъ вещей и не купалась въ этой скудной и въ концѣ концовъ просто вздорной аллегоріи (небезынтересно замѣтить, что «Раздѣлъ земли» переведенъ на русскій языкъ *восемь* разъ, именно: Жуковскимъ, Мейснеромъ, Струговщиковымъ, Крешевымъ, Гербелемъ, Зотовымъ, Алмазовымъ и Соловьевымъ). И еслибы мы имѣли въ виду только подобныя отдѣльныя стихотворенія, такъ пришлось бы сказать, что этотъ человѣкъ слишкомъ часто облакалъ въ изыщѣйшія формы довольно скудное содержаніе. Заносчивыя или приторно-сентиментальныя восхваленія поэта — вотъ вѣдь это чтѣ такое само по себѣ. Въ сущности же однако здѣсь нѣтъ ни заносчивости, ни приторности, ни пустоты. Правда, Шиллеръ говорилъ часто почти тѣ же самыя слова о небесномъ величій поэзіи, которыя испоконъ-вѣку говорятъ безчисленнымъ множествомъ поэтовъ и поэтиковъ. Но онъ разумѣлъ подъ поэтомъ совсѣмъ не того идеальнаго ротоузя съ вѣнкомъ изъ розъ и незабудокъ на головѣ, которому обыкновенно приписывается небожителство. Онъ рѣдко оговаривалъ это обстоятельство, потому что былъ для этого самъ слишкомъ полонъ мыслью объ истинно великомъ значеніи поэзіи. Въ большинствѣ случаевъ онъ просто забывалъ, что есть поэты, непохожіе на него нравственнымъ складомъ. Иногда впрочемъ онъ выражался на этотъ счетъ очень саркастически. Напримѣръ: «Многіе изъ нашихъ романовъ и трагедій, особенно такъ называемыхъ драмъ и любимѣйшихъ семейныхъ картинъ... производятъ только опорожненіе слезныхъ мѣшечковъ и сладострастное облегченіе нервныхъ сосудовъ; но духъ выходитъ изъ этихъ упражненій совершенно пустымъ» («О патетическомъ»). Очевидно, что опорожнителей слезныхъ мѣшечковъ Шиллеръ либо совсѣмъ не считалъ поэтами, либо по крайней мѣрѣ не ихъ имѣлъ въ виду,

когда въ «Раздѣлѣ земли» отдавалъ поэтамъ небо; не ихъ поэзію разумѣлъ, когда гордо говорилъ въ «Художникахъ»:

Лишь свѣтлыми прекраснаго вратами
Въ міръ чудный знанья вступишь ты:
Чтобы высшій блескъ снести очами,
Постигни прелесть красоты.

Думаю поэтому, что весьма многіе переводчики «Раздѣла земли» и т. п. жестоко ошибаются, полагая видѣть въ этого рода стихотвореніяхъ свою profession de foi. Шиллеръ дѣйствительно высоко цѣнилъ поэзію, но только такую, которая подчиняла красоту идеалу нравственно-политическому. На это указываютъ уже одни заглавія нѣкоторыхъ его статей. Напримеръ «Театръ, какъ нравственное учрежденіе», «О нравственной пользѣ эстетическихъ нравовъ». Онъ рекомендовалъ «постигнуть прелесть красоты» для того, чтобъ «высшій блескъ снести очами». Поэзія была для него «вратами». Слѣдовательно небеснымъ величіемъ Шиллеръ награждалъ искусство только въ такомъ случаѣ, если оно предварительно послужило земнымъ цѣлямъ.

Я не считаю однако нужнымъ долге настаивать на этой темѣ. Что Шиллеръ смотрѣлъ на задачи искусства именно такъ—въ этомъ можетъ убѣдиться всякій, кто потрудится прочесть хоть одинъ, любой изъ его эстетическихъ опытовъ. Даказывать же, что такъ и долженъ относиться къ своему дѣлу художникъ, не стоить. «Могій вмѣстити» эту истину, безъ сомнѣнія, уже вмѣстилъ ее, потому что объ этомъ было говорено и переговорено, а не могій пусть до поры до времени посидитъ на вышеупомянутомъ мѣстѣ. Я только напоминаю и подчеркиваю фактъ: Шиллеръ, міровой гений, поэтъ, во многихъ отношеніяхъ не имѣющій соперниковъ, творилъ вполне сознательно и видѣлъ въ искусствѣ не самостоятельную цѣль, а великое орудіе для достиженія высшихъ цѣлей. Это—одна сторона нравственной искры Божіей, горѣвшей въ душѣ Шиллера. Ниже намъ еще придется можетъ быть къ ней вернуться, а теперь

обратимся къ другой особенности Шиллера, пожалуй еще болѣе занимательной.

Извѣстно, что Шиллеръ есть поэтъ свободы. Извѣстны бурные взрывы республиканизма въ «Разбойникахъ», монументальный образъ свободолюбиваго Веррины въ «Заговорѣ Фіеско», либеральные планы маркиза Позы въ «Донъ-Карлосѣ», политическій протестъ «Коварства и любви», глубоко демократическій характеръ «Вильгельма-Телля» и проч., и проч., и проч. Извѣстно, наконецъ, что Шиллеръ, на ряду съ Вашингтономъ, Костюшкой, Уильберфорсомъ, Клопштокомъ, Песталоцци, получилъ отъ французскаго республиканскаго національнаго собранія дипломъ на званіе французскаго гражданина. Изъ всѣхъ этихъ чертъ въ образованномъ обществѣ слагается ходячее, довольно впрочемъ туманное представленіе пламеннаго борца за свободу, демократическія идеи, прогрессъ и проч. Особый однако вопросъ — насколько это представленіе вѣрно? Среди той поразительной путаницы понятій, которую нынѣ переживаетъ большинство нашего образованнаго общества, выработалась какая-то странная идея совпаденія свободы, демократическихъ принциповъ, прогресса съ фактическимъ поступательнымъ движеніемъ исторіи. Я не говорю о тѣхъ, совершенно уже негѣпыхъ людяхъ, которые радуются каждому шагу исторіи только потому, что это — еще шагъ. Но и гораздо болѣе благоразумные люди склонны думать, что въ цѣломъ, минуя нѣкоторыя случайныя отклоненія, исторія постоянно предоставляет торжествовать свободѣ, демократическимъ идеямъ, прогрессу. Гр. Л. Толстой говоритъ совершенно справедливо, что это *никогда* никѣмъ не было доказано, но всѣми принимается на вѣру. Дѣйствительно, идеи Руссо, нѣкоторыхъ социалистовъ объявлены парадоксами, хотя онѣ собственно никогда не были опровергнуты. Какъ бы то ни было, но, благодаря привычной ассоціаціи идей, мы представляемъ себѣ всякаго борца за свободу и проч. въ видѣ челоуѣка, глубоко презирающаго и ненавидящаго все старое, прошедшее, только о томъ и думающаго, какъ бы это все искоренить, уничтожить. Безъ сомнѣнія эта ассоціація идей внушена образомъ дѣйствія пьеса-

телей прошлаго столѣтія и практическихъ дѣятелей первой революціи. Такимъ мы себя представляемъ и Шиллера, съ известными разумѣется индивидуальными отклоненіями отъ общаго типа революціонера. Такъ конечно мы не навязываемъ Шиллеру ядовитой насмѣшливости и скептицизма Вольтера или жестокости какого-нибудь Фукье-Тэнвиля. Думаю поэтому, что многіе читатели не безъ недоумѣнія прочтутъ напримѣръ такіа слова Шиллера: «Въ ребенкѣ видимъ мы зачатки и назначеніе, въ самихъ же себѣ—исполненіе, и послѣднему всегда безконечно далеко до первыхъ. Оттого-то для насъ ребенокъ есть воплощеніе идеала, хотя еще и не исполненнаго, но заданнаго, и потому насъ трогаетъ въ немъ совсѣмъ не представленіе его немощи или ограниченности, но напротивъ того представленіе его чистой и свободной силы, его возможностей, его безконечности» («Наивная и сентиментальная поэзія»). Надо замѣтить, что, по общему смыслу статьи и по прямымъ указаніямъ, сдѣланнымъ раньше, рядомъ съ ребенкомъ должны быть вставлены въ эту цитату «сельскіе нравы и нравы первобытнаго міра». Такимъ образомъ выходитъ, что Шиллеръ говоритъ почти буквально то же, что и гр. Л. Толстой: идеалъ нашъ не впереди, а позади насъ—въ ребенкѣ, въ народѣ, въ прошедшемъ. Прежде, чѣмъ разсматривать эти воззрѣнія Шиллера подробно, постараюсь сдвинуть съ дороги одно недоразумѣніе. Скажутъ можетъ быть, что конечно Шиллеръ былъ великій поэтъ, но комментировать стихотворца, какъ политическаго писателя, не годится. Но я напомню читателю, что Шиллеръ не имѣлъ рѣшительно ничего общаго съ тѣмъ увѣнчаннымъ незабудками и розами ротозѣемъ, который лѣзетъ на небо только потому, что ничего не умѣетъ дѣлать на землѣ. Шиллеръ пристально слѣдилъ за современными ему великими политическими событіями и обнаруживалъ иногда при этомъ по истинѣ изумительную, почти пророческую проинпательность. Напримѣръ въ 1794 году онъ писалъ: «Французская республика недолговѣчна—она исчезнетъ скоро; республиканское правленіе превратится въ анархію, и рано или поздно явится гениальный человѣкъ, который сдѣлается не только власти-

телемъ Франціи, но покорить и большую часть Европы» (Шерръ, 291). И это—не случайное, не единичное предсказаніе. Для меня впрочемъ несравненно болѣе глубокимъ свидѣтельствомъ политической проиницательности Шиллера служить то обстоятельство, что онъ ни въ ту, ни въ другую сторону не поколебался среди революціоннаго ликованія, что онъ до конца дней своихъ остался апостоломъ свободы и вмѣстѣ съ тѣмъ твердо и ясно говорилъ: идеалъ нашъ—сзади.

Вотъ какъ онъ развиваетъ между прочимъ эту мысль въ письмахъ «объ эстетическомъ развитіи человѣка». Я приведу его взгляды довольно полно и почти въ подстрочномъ переводѣ, потому что сочиненіе это не вошло въ русское изданіе.

«Въ старину (главнымъ образомъ въ Греціи), при прекрасномъ расцвѣтѣ духовныхъ силъ, чувства и духъ еще не подѣлили своихъ владѣній: между ними не было раздора. Поэзія и умозрѣніе были родныя сестры, которыя въ случаѣ надобности могли даже замѣнять другъ друга, потому что обѣ онѣ преслѣдовали истину, только разными путями. Какъ бы высоко ни поднималось умозрѣніе, оно поднимало вмѣстѣ съ собой и матерію, чувственную сторону человѣку. Правда, мысль разлагала человѣческую природу, надѣлая въ увеличенномъ видѣ ея элементами весь кругъ боговъ, но она не разрывала природы человѣка на куски, а только различно комбинировала ее, такъ что каждый отдѣльный богъ былъ все-таки цѣльною личностью. Въ новыя времена совсѣмъ не то. И у насъ элементы человѣческой природы разбросаны въ увеличенномъ видѣ по отдѣльнымъ идивидамъ, но въ кускахъ, а не въ различныхъ смѣшеніяхъ, такъ что для полученія родового единства надо бы было слить нѣсколько индивидовъ. Можно даже сказать, что у насъ душевныя силы и въ дѣйствительности раздѣлены такъ же рѣзко, какъ дѣлится ихъ въ отвлеченіи психологъ, и мы видимъ не только отдѣльныхъ субъектовъ, но цѣлые классы людей, въ которыхъ развита только одна часть способностей, а все остальное замерло, едва оставивъ послѣ себя слѣдъ». Шиллеръ не отрицаетъ преимуществъ теперешнихъ людей, взятыхъ въ совокуп-

ности, надъ такою же совокупностью людей древняго міра. Но почему каждый отдѣльный грекъ могъ считаться полнымъ представителемъ своего времени, а каждый отдѣльный нынѣшній человѣкъ—нѣтъ? «Сама цивилизація (Kultur) нанесла новому человечеству эту рану. Какъ только, съ одной стороны, расширенный опытъ и точное мышленіе провели демаркаціонныя линіи между различными науками, а съ другой—сложность государственной машины породила обособленіе классовъ и профессій, такъ порвалась и внутренняя связь человѣческой природы, и пагубный споръ раздробилъ ея гармоническія силы. Воображеніе и умозрѣніе настроились взаимно враждебно и стали ревниво слѣдить за неприкосновенностью своихъ границъ. Это раздвоеніе, начатое внутри человѣка, завершилось и обобщилось новыми общественными порядками. Нельзя было конечно ожидать, чтобы простая организація первыхъ республикъ пережила простоту древнихъ нравовъ и отношеній. Но вмѣсто того, чтобы подняться на высшую ступень жизни, она спустилась до простой и грубой механики. Полипообразная природа греческихъ государствъ, въ которыхъ каждый индивидъ пользовался независимую жизнью и въ случаѣ нужды могъ обращаться въ цѣлое, уступила мѣсто чрезвычайно искусной машинѣ, гдѣ изъ безчисленнаго множества безжизненныхъ частей возникаетъ механическая жизнь цѣлаго. Оторваны были другъ отъ друга церковь и государство, законы и нравы, наслажденіе и трудъ, средства и цѣли. Вѣчно прикованный къ малому обломку цѣлаго, человѣкъ и самъ развивается только въ видѣ обломка: вѣчно слыша только монотонный шумъ колеса, которое онъ вертитъ, онъ никогда не развиваетъ гармоніи своего существа и вмѣсто того, чтобы отражать въ своей природѣ человечество, онъ дѣлается просто оттискомъ своей профессіи, своей науки. Но даже то скудное, частичное участіе, которое еще привязываетъ отдѣльныхъ членовъ къ цѣлому, зависитъ не отъ самостоятельно ими выбранныхъ нормъ (и развѣ можно бы было допираться ихъ свободѣ такую сложную и хитрую машину?)—нѣтъ: имъ съ строжайшею точностью предписаны извѣстныя правила.

которыми связана ихъ инициатива. Мертвая буква замѣняетъ свободный разумъ, наловчившаяся память руководить вѣрнѣе, чѣмъ гений и изобрѣтательность. Когда должность дѣлается масштабомъ человѣка; когда мы цѣнимъ въ одномъ изъ своихъ согражданъ только память, въ другомъ только разумъ, въ третьемъ только механическую ловкость; когда здѣсь не обращается никакого вниманія на характеръ и ищутся только знанія, а тамъ напротивъ духу порядка и легальному поведенію способствуетъ помраченіе разсудка—то что же удивительнаго, что всѣ остальные способности заглушаются, чтобы воспитать ту, которая одна даетъ почетъ и вознагражденіе? Правда, мы знаемъ, что гений не ограничиваетъ своей дѣятельности предѣлами своей профессіи, но заурядное дарованіе ухлопываетъ всѣ свои скудныя силы на выпавшую ему дробную роль».

Далѣе встрѣчаются многія чрезвычайно глубокія частныя замѣчанія, но мы пока остановимся на этомъ. Уже и теперь видно, что пламенный поборникъ свободы и демократическихъ идей съ крайне непріязненнымъ чувствомъ отворачивается отъ современнаго ему хода вещей, который, надо замѣтить, уже выставилъ великую революцію (письма объ эстетическомъ развитіи появились въ 1795 году) и со вздохомъ смотритъ за цѣлыя тысячелѣтія назадъ. На мой взглядъ это явленіе въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ даже любопытнѣе знаменитаго протеста Руссо противъ цивилизаціи. Руссо не видалъ революціи и слѣдовательно физически не могъ такъ или иначе отозваться на осуществленіе зари новой жизни, какъ тогда казалось. Принимая въ соображеніе, что многіе изъ самыхъ видныхъ дѣятелей революціи принадлежали къ жаркимъ поклонникамъ Руссо, мы не можемъ съ достовѣрностью сказать, остался ли бы самъ онъ вѣренъ своему пессимизму. Шиллеръ же жилъ среди всего этого угара надеждъ и упоеній и однако продолжалъ твердить свое. Подобно Руссо, но при нѣсколько иной исторической обстановкѣ, онъ выражалъ недовольство не какимъ-нибудь частнымъ, случайнымъ явленіемъ прогресса, а его общимъ ходомъ; онъ видѣлъ въ немъ гибель человѣчества, для предотвращенія

которой и рекомендовалъ свой планъ, сейчасъ увидимъ какой. Извѣстно, что простые люди всегда и вездѣ склонны вздыхать по прошедшему. Все имъ кажется, что когда-то люди были сильнѣе, здоровѣе, больше, богаче, красивѣе, добродѣтельнѣе и проч. Меня всегда удивляло, что ученые люди не обращаютъ никакого вниманія на общераспространенность этого вѣрованія. Въ самомъ дѣлѣ, то въ формѣ сказокъ о богатыряхъ и ихъ привольномъ житьѣ, то въ преданіяхъ о золотомъ вѣкѣ, то въ видѣ личныхъ или почти личныхъ воспоминаній о дѣйствительности, это вѣрованіе распространено рѣшительно по всему земному шару и по всей исторіи человѣчества. Должны же быть у него какія-нибудь фактическія основанія или въ объективной исторіи, или въ свойствахъ человѣческой природы, или въ томъ и другомъ.

Надо однако замѣтить, что это обращеніе за идеаломъ назадъ, въ болѣе или менѣе глубокую и всегда неопредѣленную даль исторіи, распространено только между простыми людьми, необразованными. Люди ученые, если только они не заражены теософическими предрасудками, напротивъ съ такою же исключительностью вѣрятъ, что не только никакой золотой вѣкъ никогда не существовалъ, но что чѣмъ дальше мы будемъ подвигаться въ прошедшее, тѣмъ большую встрѣтимъ слабость, безпомощность человѣка, тѣмъ большіе найдемъ мракъ и грязь. Это я впрочемъ несовсѣмъ правильно сказалъ «ученые люди». Ученые въ этомъ отношеніи еще не такъ строги, какъ получены и только что грамотные. Какой-нибудь писарь, хвавший цивилизаціи, уже чрезвычайно твердо убѣжденъ, что народнымъ представленіямъ о золотомъ вѣкѣ, о кисельныхъ берегахъ и молочныхъ рѣкахъ, о богатыряхъ и привольномъ житьѣ, въ дѣйствительности соотвѣтствовала «одна необразованность-съ и дикость-съ». Среди же людей высокоразвитыхъ встрѣчается иногда какъ бы возвращеніе къ исконному народному вѣрованію, но уже въ формѣ сознательныхъ и болѣе или менѣе разработанныхъ теорій. Это конечно — случаи особенно любопытные. Одинъ изъ нихъ представляется воззрѣніями Шиллера. Въ

письмахъ объ эстетическомъ развитіи человѣка отправнымъ пунктомъ, который служить мѣриломъ сравнительнаго первобытнаго превосходства, является древняя Греція. Это конечно совершенно произвольно. Не трудно бы было показать, что греческая жизнь, даже въ блистательнѣйшую пору своего развитія, была уже охвачена тѣмъ историческимъ процессомъ, который признается Шиллеромъ пагубнымъ. Шиллеръ повидимому и самъ чувствовалъ произвольность своего выбора. Въ другихъ сочиненіяхъ онъ, какъ мы уже видѣли, даетъ болѣе неопредѣленные указанія на область «дѣтской жизни, сельскихъ нравовъ и нравовъ первобытнаго міра», какъ на нѣчто въ родѣ золотого вѣка. Иногда наконецъ онъ просто отодвигаетъ свой идеалъ въ совершенно уже неясную даль «природы», подобно Руссо съ его знаменитымъ положеніемъ: все прекрасно, выходя изъ рукъ природы; все портится въ рукахъ человѣка. Очевидно, это—не выходъ изъ произвольности. А въ наше время даже ужъ и совсѣмъ нельзя искать въ «природѣ» какого-нибудь совершенства въ подходящемъ для нашего случая смыслѣ слова. Такимъ образомъ золотой вѣкъ повидимому самъ собой угоняется все дальше и дальше назадъ, пока наконецъ не расплывается въ полнѣйшемъ туманѣ. Свѣтъ науки, умственного развитія ничего неяснѣе, собственно говоря, не внесъ въ народное вѣрованіе, не уяснилъ его. Русскій мужикъ, котораго вы не только удешевленіемъ ситца или развитіемъ желѣзно-дорожной сѣти, но даже указаніемъ на крупнѣйшія изъ реформъ нынѣшняго царствованія не разубѣдите въ томъ, что когда-то жить было лучше, находится въ болѣе выгодномъ положеніи, чѣмъ Шиллеръ. Ему кажется, что онъ чуть не по пальцамъ можетъ сосчитать время, протекшее съ тѣхъ поръ, какъ жить стало хуже, и что чуть ли даже не его дѣдъ былъ богатырь и жилъ вполне привольно; ему это ясно. Шиллеръ же, гоняясь за золотымъ вѣкомъ, гонить его все дальше и наконецъ совсѣмъ выгоняетъ за предѣлы исторіи. Но тутъ Шиллеръ даетъ своей мысли необыкновенно смѣлый и чрезвычайно замѣчательный оборотъ. Въ третьемъ изъ писемъ объ эстетическомъ развитіи человѣка читаемъ:

«Человѣкъ приходитъ въ себя изъ чувственной дремоты, сознаетъ себя человѣкомъ, озирается и видитъ себя въ государствѣ. Гнетъ потребностей повергъ его туда прежде, чѣмъ онъ могъ подумать о свободномъ выборѣ; нужда построила общество по законамъ природы прежде чѣмъ человѣкъ могъ построить его по законамъ разума. Но съ этимъ положеніемъ онъ, какъ нравственная личность, примириться не можетъ; и плохо было бы, еслибы онъ могъ примириться! И вотъ онъ искусственно обращается къ своему дѣтству, создаетъ въ идеѣ *естественное состояніе*, которое, правда, отнюдь не дано ему опытомъ, но которое вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо для удовлетворенія его разума. Онъ ставитъ себѣ въ этомъ положеніи конечную цѣль, которой онъ въ дѣйствительномъ естественномъ состояніи не звалъ, приписываетъ себѣ выборъ, къ которому онъ тогда способенъ не былъ, и затѣмъ дѣйствуетъ такъ, какъ будто онъ по собственному выбору обмѣнялъ состояніе независимости на состояніе договора». Изъ этого видно во первыхъ, что Шиллеръ готовъ бы былъ отказаться отъ мысли Руссо, что все прекрасно, выходя изъ рукъ природы, и все портится въ рукахъ человѣка. Далѣе приведенныя слова важны, какъ попытка психологическаго объясненія всеобщаго вѣрованія въ золотой вѣкъ. Шиллеръ прямо говоритъ, что идеальное естественное состояніе въ дѣйствительности никогда не имѣло мѣста (отнюдь не дано опытомъ), но что человѣкъ, по свойствамъ своей природы, вѣритъ въ него или же допускаетъ его гипотетически. Слѣдовательно, если въ вышеприведенномъ очеркѣ историческаго процесса греческая жизнь представляется моментомъ идеальнымъ, такъ только потому, что надо же выбрать въ прошедшемъ какую-нибудь опредѣленную точку для сравненія, а въ сущности произволъ выбора здѣсь неизбѣженъ. Тѣмъ не менѣе однако этотъ очеркъ историческаго процесса остается фактически вѣрнымъ. Онъ неопровержимъ и уязвимъ только развѣ со стороны своей односторонности. Никакія усилія оптимистовъ не могутъ доказать, что онъ ложенъ, но можетъ быть доказано, что въ немъ изложена неполная истина. Обыкновенно оптимисты на это и напе-

гаютъ, перечисляя различныя благодѣянія, полученныя и до-
нынѣ ежедневно получаемыя человѣкомъ въ процесѣ исторіи.
Бѣда однако въ томъ, что эти благодѣянія очень хорошо из-
вѣстны тѣмъ, для кого оптимисты читаютъ свой акаѳистъ ци-
вилизаци и исторіи. Извѣстны они были и Шиллеру. Онъ раз-
вилъ ихъ параллельно оборотной сторонѣ медали.

«Въ планъ мой входило, говорить онъ:—показать пагубное направле-
ніе характера нашего времени и открыть его источники. Но я охотно до-
пускаю, что, при всей невыгодѣ для индивидовъ такого раздробленія ихъ
существа, родъ человѣческій въ цѣломъ не могъ иначе прогрессировать.
Не было иного средства развить разнообразныя задатки человѣческой
природы, какъ противопоставивъ ихъ другъ другу. Этотъ антагонизмъ
силъ есть великое орудіе культуры, но только орудіе, потому что, пока
онъ продолжается, мы находимся еще на пути къ культурѣ. Въ борьбѣ
чистаго и эмпирическаго разума нѣтъ-ва исключительнаго преобладанія оба
развиваются до возможной зрѣлости и исчерпываютъ каждый свою сферу.
Тамъ воображеніе стремится разложить своимъ произволомъ мировой по-
рядокъ, здѣсь въ противовѣсъ ему разумъ поднимается до высшихъ
источниковъ познанія и призываетъ себя на помощь законъ необходи-
мости. Правда, односторонность въ упражненіи силъ неизбежно ведетъ
индивидовъ къ заблужденіямъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ родъ, совокупность
индивидовъ—къ истинѣ. Уже тѣмъ самымъ, что мы сосредоточиваемъ всю
энергію нашего духа въ одномъ фокусѣ и стягиваемъ все свое существо
къ одной силѣ, мы придаемъ этой силѣ какъ бы крылья и искусственно
выводимъ ее далеко за предѣлы, повидимому назначенные ей природой.
Несомнѣнно, что вся сила зрѣнія всѣхъ индивидовъ, данная имъ приро-
дой, не могла бы усмотрѣть спутника Юпитера, открываемаго телеско-
помъ астронома. Точно также сила человѣческаго мышленія никогда не
дала бы анализа безконечнаго или критики чистаго разума, еслибы въ
нѣкоторыхъ призванныхъ субъектахъ разумъ не получалъ исключитель-
наго, преобладающаго надъ матеріей развитія, даващаго возможность пу-
темъ напряженнаго отвлеченія заглянуть въ безконечное».

Конечно, это въ количественномъ отношеніи—очень скуд-
ныя указанія на благодѣянія цивилизаци, вполне однако доста-
точныя для уясненія точки зрѣнія автора. Ясно, что съ точки
зрѣнія Шиллера каждое завоеваніе цивилизаци, каждый шагъ
человѣчества впередъ, научный, философскій, промышленный,
былъ вмѣстѣ съ тѣмъ шагомъ къ паденію, по скольку онъ по-
купался цѣною цѣльности и самостоятельности, вообще—судьбы

*

индивида, личности. Поэтому, если удобства изслѣдованія и требуютъ сравненія настоящаго съ какимъ-нибудь опредѣленнымъ моментомъ прошедшаго, то логически вовсе нѣтъ надобности искать въ исторіи какого-нибудь пункта перелома, послѣ котораго началось занимающее Шиллера пагубное движеніе. Оношло рука объ руку со всѣми приобрѣтеніями человѣчества: минусъ и плюсъ шли рядомъ.

Спрашивается теперь: представляетъ ли эта совмѣстность плюса съ минусомъ что-нибудь фатально неизбѣжное, или возможно сохраненіе плюса съ устраненіемъ минуса? Шиллеръ полагалъ, что возможно, и рекомендовалъ для этой цѣли эстетическое развитіе. Онъ не вѣрилъ въ модныя въ его время политическія панацеи, которыя по его мнѣнію были безсильны измѣнить теченіе исторіи. Свобода, говорилъ онъ, можетъ быть достигнута только эстетическимъ путемъ, медленнымъ путемъ красоты, облагороженія воображенія, вкуса; только такимъ способомъ можетъ быть достигнута гармонія силъ человѣчкой природы, ихъ равновѣсіе, постоянно до сихъ поръ подтачиваемое историческимъ процессомъ. Я не стану разумѣться защищать «эстетическое государство» Шиллера, не стану даже излагать эту идею, потому что ошибочность ея не подлежитъ никакому сомнѣнію. Но нельзя не пожелать, чтобы люди чаще ошибались такимъ образомъ. Нельзя не пожелать, чтобы всякій, одаренный какою-нибудь выдающеюся способностью, направлялъ ее такъ же, какъ Шиллеръ свою творческую способность, и притомъ вѣрилъ (хотя бы и преувеличенно), что въ этомъ направленіи заключается спасеніе міра. Я говорю—въ направленіи, а не въ самой способности, въ нравственной искрѣ Божіей, а не въ талантѣ. Этакихъ-то франтовъ мы много видали, которые преувеличиваютъ значеніе своего таланта или рода своей дѣятельности. Преувеличеніе Шиллера—совсѣмъ иного рода, какъ читатель видѣлъ изъ предыдущаго и какъ онъ можетъ судить еще по слѣдующимъ замѣчательнымъ характеристикамъ роли и значенія поэзіи. Въ статьѣ «Наивная и сентиментальная поэзія» читаемъ: «Пока человѣкъ еще чистая, разумѣется не грубая

природа, онъ дѣйствуетъ, какъ нераздѣльное чувственное единство, какъ гармоническое цѣлое. Чувство и разумъ, имчивая и самостоятельная способность еще не успѣли раздѣлиться въ своихъ отправленіяхъ, но скорѣе противорѣчатъ другъ другу (я цитирую по переводу изданія г. Гербеля). Его ощущенія—не безобразная игра случая, его мысли—не пустая игра воображенія: изъ закона необходимости вытекаютъ одни, изъ дѣйствительности—другія. Но когда человѣкъ входитъ въ состояніе цивилизаціи и искусство налагаетъ на него свою руку, тогда уничтожается въ немъ та чувственная гармонія, и онъ можетъ только выражаться, какъ моральное единство, т. е. какъ стремящійся къ единству. Гармонія ощущенія съ мыслительностью, существовавшая прежде дѣйствительно, существуетъ теперь только идеальнo; она уже болѣе не въ немъ, но въѣ его, какъ мысль, которая должна еще осуществиться, а не какъ фактъ его жизни. Если приспособить идею поэзіи, которая въ сущности заключается въ томъ только, чтобы дать человѣчеству въ высшей степени его возможное выраженіе, къ обоимъ тѣмъ состояніямъ, то выйдетъ, что въ состояніи естественной простоты, когда человѣкъ еще дѣйствуетъ всѣми своими силами, какъ гармоническое единство, когда цѣлое его природы совершенно выражается въ дѣйствительности, тогда возможно полное подражаніе дѣйствительности должно составлять всю силу поэта. Напротивъ того, въ состояніи цивилизаціи, гдѣ гармонія чело-вѣческой натуры заключается только въ идеѣ, силу поэта составляетъ возведеніе дѣйствительности до идеала, или, что одно и то же, представленіе идеала». Яснѣе выражена эта мысль въ замѣткѣ «О стихотвореніяхъ Бюргера»: «Можетъ быть въ наши, столь не поэтическіе дни, какъ для поэзіи вообще, такъ и для лирической въ особенности, откроется достойное назначеніе; можетъ быть окажется, что если она съ одной стороны должна уступить мѣсто высшимъ умственнымъ занятіямъ, то сдѣлается тѣмъ необходимѣе съ другой. При разьединеніи и разбитой дѣятельности нашихъ умственныхъ силъ, неизбѣжныхъ при расширенномъ кругѣ знаній и разобщеніи специальностей,

почти только одна поэзія еще соединяетъ раздѣленные силы души, занимаетъ равно сердце, остроуміе и проникательность, разумъ и воображеніе въ гармонической связи и возстановляетъ въ насъ всего человѣка. Она одна можетъ отвратить самое печальное, что только можетъ испытать философствующій умъ, а именно—въ трудѣ изслѣдованій потерять награду своихъ стараній и въ отвлеченномъ умозрѣніи умереть для радостей дѣйствительнаго міра... Но для этого необходимо, чтобы она сама шла съ вѣкомъ, которому оказываетъ такую важную услугу, и чтобы она усваивала себѣ все его нововведенія». Вы видите, какими тонкими и многочисленными нитями переплеталась для Шиллера роль поэта съ дѣятельностью гражданина. Признавая въ общественномъ смыслѣ, свободы ради, желательнымъ возстановленіе равновѣсія, гармоніи силъ человѣческой природы, Шиллеръ вмѣстѣ съ тѣмъ, съ понятнымъ въ поэтѣ восторгомъ, открывалъ, что поэзія, по самой сути своей, наилучше можетъ этому способствовать. Понятно также, что въ его глазахъ только тотъ поэтъ былъ достоинъ этого имени, который нѣчто давалъ въ этомъ направленіи. Остальные были для него «опоражнивателями слезныхъ мѣшечковъ». И въ тѣхъ же письмахъ объ эстетическомъ развитіи человѣка, гдѣ значеніе искусства поднято до головокружительной высоты, находимъ безпощадное разоблаченіе фактической роли искусства въ исторіи. Въ десятомъ письмѣ, послѣ бѣглаго обзора этой роли, Шиллеръ говоритъ: «Куда бы мы ни взглянули въ прошедшемъ, воздѣ изящный вкусъ и свобода бѣгутъ другъ друга, и красота основываетъ свое господство только на развалинахъ героическихъ добродѣтелей». Не всякаго значить поэта призналъ бы Шиллеръ своимъ «братомъ по Парнасу» и поклонился бы не всякому, хотя бы и очень крупному таланту.

Итакъ Шиллеръ теоретически вѣрно поставилъ, но практически неудовлетворительно разрѣшилъ вопросъ величайшей важности. Не по пытаться ли намъ разрѣшить его иначе? Попытку эту впрочемъ я, профанъ, не сегодня началъ и не безъ глубокаго внутренняго удовлетворенія вижу, что то тамъ, то сямъ

въ литературѣ появляются или прямо профанскія мысли, или нѣчто къ нимъ приближающееся. Предпримемъ маленькое путешествіе по этимъ вновь открытымъ странамъ. *A tout seigneur tout honneur*. Начнемъ съ маркиза А «Русскаго Вѣстника».

«На плечахъ народа, на его терпѣніи и самопожертвованіи, на его живучей силѣ, горячей вѣрѣ и великодушіемъ презрѣніи къ собственнымъ интересамъ создалась независимость Россіи, ея сила и способность къ историческому призванію (и проч., и проч., сокращаю панегирикъ). Мы полагаемъ, что за все это наше образованное общество находится въ долгу передъ народомъ и что этотъ долгъ далеко не будетъ уплаченъ, если оно сложить руки, склонить повинную голову и скажетъ: ты лучше насъ, тебѣ и книги въ руки; живи за насъ, вырабатывай для нашего пустого существованія идеалы и формы, а мы будемъ счастливы тѣмъ, что поклонялись тебѣ и потонули въ твоей сермяжной массѣ».

Такъ говоритъ маркизь А. О, маркизь, какъ я радъ что вы написали эти (не совсѣмъ впрочемъ основательныя) слова. Такъ радъ, что охотно прощаю вамъ заключающіяся въ нихъ маленькую передержку и плохую пародію на мои выраженія и мысли. Да, что скрывать, я выражалъ желаніе потонуть въ сермяжной массѣ народа; но, замѣтите, со свѣточемъ истины и идеала въ рукахъ; я выражалъ мысль, что такъ долженъ быть уплаченъ долгъ народу. Такъ именно, я полагаю, разрѣшается вопросъ, волновавшій Шиллера. Маркизь, я вамъ прощаю. Прощаю, ибо отнынѣ вы уже не посмѣете повторить, что «литература ничѣмъ другимъ не можетъ питаться, какъ интересами образованнаго класса, потому что они одни только суть истинные національные интересы въ формѣ сознательной и приуроченной къ интересамъ цивилизаціи». Я наизусть запомнилъ эту вашу фразу и думаю, что она одна способна сохранить васъ отъ объятій забвенія, на кои вы осуждены своимъ ничтожествомъ. Благосклонный маркизь, я вамъ до такой степени прощаю, что готовъ подать вамъ нѣкоторые доброжелательные софты. Вы недовольны, что «у насъ народъ не обнаружилъ бо-

гательства тѣхъ творческихъ силъ, которыми создается прогрессъ гражданственный, культурный. У него были и есть свои идеалы, и эти идеалы прекрасны, но они не заключаютъ въ себѣ элементовъ движенія: они, такъ сказать, принадлежать растительной жизни». Вамъ такъ понадобились элементы движенія маркизъ? Куда вы собираетесь двигаться? Но здѣсь маркизъ призываетъ себѣ на помощь газету «Новое Время», изъ которой добываетъ слѣдующее: «Вся программа настоящаго времени, всѣ его стремленія, желанія и цѣли, всѣ руководящіе принципы семидесятыхъ годовъ—словомъ, все ихъ *profession de foi* можетъ быть исчерпано однимъ словомъ: Европа» и т. д.

Итакъ «движеніе» и «Европа». Идите съ миромъ, благосклонный маркизъ, я васъ отпускаю; я буду съ читателемъ говорить. Если вамъ, читатель, кто-нибудь начнетъ совѣтовать «двигаться» или рекомендовать, какъ образецъ, «Европу», то вы смѣло можете прекратить собесѣдованіе въ самомъ началѣ, потому что собесѣдникъ вашъ очевидно не понимаетъ своихъ собственныхъ словъ. «Движеніе» и «Европа», это — просто лишены всякаго содержанія слова, пока къ нимъ не будетъ прибавлено дополненіе на вопросъ: какое движеніе? какая Европа? Какъ видно изъ цитаты «Русскаго Вѣстника», Европа провозглашена лозунгомъ семидесятыхъ годовъ въ № «Новаго Времени», отъ 18-го марта. Этого самого числа (только новаго стиля), пять лѣтъ тому назадъ, въ Парижѣ загорѣлась революція, весьма неосновательно изображенная въ книгѣ г. Ватсона «Эпилогъ прусско-французской войны». Это было «движеніе» и притомъ «европейское». Желаетъ ли «Новое Время» такой Европы, а маркизъ А такого движенія — я не знаю; но знаю, что это европейское движеніе было направлено по крайней мѣрѣ противъ трехъ тоже движеній и тоже европейскихъ, и всѣ эти европейскія движенія боролись не на животъ, а на смерть. Еще ничего не значитъ, что при этомъ были пролиты рѣчки крови, потому что рѣчки эти иногда льются въ борьбѣ представителей одного и того же принципа, одного и того же «европейскаго движенія». Нѣтъ, здѣсь шла кровавая борьба

между діаметрально-противоположными, взаимно-исключающимися принципами. Какой изъ нихъ вы выберете, вы, русскіе европейцы и двигатели? Коммуну вы выберете или Тьера и буржуазію, или Бисмарка и милитаризмъ, или цезаризмъ и вторую имперію или Шамбора и легитимизмъ? А выбирать надо, потому что *Европа*, какъ лозунгъ семидесятихъ годовъ, рѣшительно ничего не резюмируетъ и не соглашаетъ. И я, и маркизь А, и «Новое Время», и я не знаю еще кто—всѣ мы можемъ пожалуй даже совершенно правомѣрно кричать: «да здравствуетъ Европа!» и въ то же время быть другъ отъ друга дальше, чѣмъ турецкій султанъ отъ Мак-Магона. Зачѣмъ же, спрашивается, безъ толку кричать? Семидесятые годы не только не могутъ выразить свою программу словомъ «Европа»; но трудно даже найти въ нашей исторіи годы, къ которымъ этотъ лозунгъ мѣле бы подходилъ. Больше всего онъ годился бы для времени, начиная съ прошлаго столѣтія и такъ примѣрно до тридцатыхъ годовъ нынѣшняго. Въ тѣ времена дѣйствительно Европа фактически была нашей путеводной звѣздой, и это было логически возможно, потому что «Европа» еще не развернула заключенныхъ въ ней противорѣчій. Конечно она и тогда не представляла сплошь однороднаго цѣлаго, но ходъ дальнѣйшей исторіи казалось долженъ былъ окончательно сгладить ея неоднородность. На дѣлѣ вышло иначе. А мы все тянемъ старую, давно истлѣвшую, какую-то обще-европейскую канитель и наивно воображаемъ, что это толченіе на мѣстѣ есть «движеніе». Чуждаки мы, право, да и чужаки ли только? Не будемъ однако валить съ больной головы на здоровую, не будемъ приписывать всему обществу того, что угодно брякнуть публицисту «Новаго Времени» или «Русскаго Вѣстника». То европейское движеніе, которое нѣкогда служило намъ путеводной звѣздой, стало нынѣ только однимъ изъ европейскихъ движеній. Но если имѣть въ виду только его, такъ можно съ увѣренностью сказать, что у насъ «программа настоящаго времени, всѣ его стремленія, желанія и цѣли» и т. д. отнюдь не исчерпываются словомъ: «Европа». Европа что ли—комментированныя мною воззрѣнія гр. Льва Тол-

стого, которыя надѣлали столько шуму и, замѣтите хорошенько несомнѣнность этого результата, оставили за собой побѣду? А пятнадцать лѣтъ тому назадъ гр. Л. Толстой былъ замолчанъ. Согласитесь, что «Европа» по крайней мѣрѣ на этомъ пунктѣ не сдѣлала у насъ успѣха. А вслѣдъ за гр. Толстымъ начали безбоязненно высказываться въ литературѣ такія не-европейскія вещи, что въ виду ихъ смѣлость заявленія о совпаденіи программы семидесятихъ годовъ съ «Европой» становится по истинѣ изумительной. А тутъ и переводная литература измѣнила Европѣ. Явились книги Мена, явилась книга Лавеле, европейца, красно-рѣчиво убѣждающаго насъ отнюдь не увлекаться «европейскимъ движеніемъ». Многіе даже весьма непроницательные наблюдатели подмѣтили, что въ настоящее время происходитъ въ литературѣ и въ обществѣ какое-то очень не-европейское броженіе.

Кстати о весьма непроницательныхъ наблюдателяхъ и броженіи въ литературѣ. Въ фельетонѣ одной газеты я встрѣтилъ повидимому систематическій, а въ сущности крайне курьезный подборъ литературныхъ явленій. Тутъ были свалены въ одну кучу гр. Толстой, г. Евгений Марковъ (съ его романомъ «Черноземныя поля»), г. Боборыкинъ (съ его предисловіемъ къ «Запискамъ Дурака»), г. П. Ч., г. Энгельгардтъ. Общая скобка, за которую были поставлены всѣ эти писатели, состояла въ стремленіи къ простой деревенской жизни и къ сближенію съ народомъ: это-то и выставлялось характеристической чертой современной литературы. Не знаю право, какъ назвать эту общую скобку. Она отчасти конечно вѣрна, но отчасти рѣшительно никуда не годится, потому что далеко не всякій, взывающій: Господи! Господи! можетъ попасть въ царство небесное. Я не буду утомлять васъ разборомъ всей этой путаницы и обращу ваше вниманіе только на одного г. Евгения Маркова. Это входитъ въ мою программу путешествія по новооткрытымъ странамъ. Г. Евгений Марковъ есть тотъ самый г. Евгений Марковъ, который столь побѣдоносно сражался и съ гр. Л. Толстымъ и съ «упразднителями современнаго общества»; тотъ самый г. Евгений Марковъ, который заявилъ, что только *скотизмъ* свойственно

отречься отъ своего прошедшаго, какъ бы оно ни было гнусно (онъ забылъ, что Павелъ отречься отъ Савла и что именно скоты не способны на подобное отреченіе). Онъ печатаетъ теперь въ «Дѣлѣ» отъѣнно скучный, нравоучительный и длинный романъ «Черноземныя поля». Тамъ воспѣваются прелести сельской жизни, красота полей, вкусъ парного молока, сближеніе съ народомъ, милыя деревенскія барышни, прочныя сельскіе кавалеры. Очень хорошо. Вотъ что пишетъ своимъ друзьямъ удалившійся на лоно природы и тихой сельской жизни среди народа герой романа Суровцовъ:

«Мнѣ живется отлично, гораздо лучше, чѣмъ предполагаете вы, чѣмъ предполагалъ я самъ. Я—царекъ совершенно отдѣльнаго, хотя и тѣснаго, небольшого мірка. Нигдѣ не можетъ развиваться такая независимость духа, какъ въ деревенскомъ хозяйствѣ. Но нигдѣ же нѣтъ болѣе строгихъ и точныхъ обязанностей, стало-быть нигдѣ не можетъ развиваться въ такой степени чувство собственной отвѣтственности. Я подчиненъ повелителю, отъ требованій котораго уклониться немислимо, но подчиненіе которому неоскорбительно для самаго гордаго духа. Имя этого повелителя—«роковые законы природы». Моя судьба зависитъ отъ беснѣжной зимы, отъ морозной весны, отъ дождливаго лѣта. Двигается по небу грозная туча, я долженъ покорно выждать, что ей вѣдуется сдѣлать со мною. Я не знаю прихотей никакого другого начальства, не имѣю надъ собою никакихъ инстанцій, никакихъ регламентовъ и инструкцій, не подвергаюсь ничьему контролю. И однако я не смѣю сдѣлать ни одной ошибки, не смѣю упустить ни малѣйшей своей обязанности, потому что въ самой ошибкѣ, въ самомъ упущеніи моемъ и моя кара, быстрая, неотвратимая, роковая. Тутъ необходимѣе быть умнымъ, дѣятельнымъ, внимательнымъ, чѣмъ на каедрѣ профессора, которая все сноситъ — бездарность, лѣнь и даже заблужденія. Предполагали ли вы когда-нибудь такую силу воспитательности въ практическомъ хозяйствѣ? А въ немъ есть еще гораздо болѣе силы, да теперь не хочется говорить много. Кстати, вы остроумничаете надъ моимъ новымъ дѣломъ, обзывая его «эгоистическимъ и материальнымъ». Изъ этого ясно, что вы совершенно не знаете моего дѣла. Такъ знайте же хоть теперь, что сельское хозяйство—дѣло такое же общественное, какъ и ваше профессорство. Вы думаете: деревня Суровцова на Ратской Плоти принадлежитъ одному надворному совѣтнику Анатолію Суровцову? Ошибаетесь, друзья мои: надворный совѣтникъ Анатолій Суровцовъ—только одинъ изъ множества владѣльцевъ этого общаго имуществва. Оно очень мало, а владѣльцевъ очень много. Владѣтели его—мой

ключникъ, мой конюхъ, мой скотникъ, мой садовникъ, моя скотница и всѣ вообще мои рабочіе и крестьяне. Я ихъ вправѣ называть моими, такъ какъ они неизбѣжные мои сотоварищи. Моя доля въ общемъ пользованіи нашимъ имуществомъ, говоря безотносительно, побольше ихъ, моя комната почище ихъ, мой столъ повкуснѣе и я не всегда ѣмъ, какъ они, на простой телегѣ. Но сравнительно съ нашими потребностями, они получаютъ нисколько не менѣе моего; они по-своему сыты и нагрѣты не хуже меня и имѣютъ свободные праздники, свободные зимніе вечера для игры на балабайкѣ, выпивки и любезничанья съ своими дамами. Я гораздо рѣже имѣю досугъ и почти не имѣю средствъ поразвлечься по своему вкусу. Но главное, ихъ владѣніе деревнею Суровцовой гораздо прочнѣе моего. Я лѣзу въ долги, чтобы какъ-нибудь удовлетворить насущнымъ потребностямъ хозяйства; нынче я въ барышѣ, завтра у меня могутъ отобрать мое послѣднее достояніе. А имъ навсегда обезпечено ихъ мѣсячное жалованье и ихъ кусокъ хлѣба. Будетъ ли считаться владѣльцемъ имѣнія надворный совѣтникъ Суровцовъ или купецъ 2-й гильдіи Силаѣ Лаптевъ, Суровцово не обойдется безъ ключника, скотника, конюха и всей рабочей компаніи; и какія бы бѣды ни стряслись лично надо мною, все-таки суровцовскіе мужички будутъ получать ежегодно по 5 руб. сер. аренды съ каждой пахатной десятины такъ-называемаго моего имѣнія. потому что безъ ихъ сохъ и боронъ никакой купецъ Лаптевъ не обрабатываетъ поля. Но даже при такомъ ограниченіи своихъ правъ, я могу сдѣлать много добра и много зла цѣлой окрестности. Если я слою руки, не подвину впередъ своего дѣла, не усовершенствую его, мое хозяйство—могила. Некуда наняться, негдѣ ничего заработать, некому продать, не у кого купить сосѣдямъ. Заварилъ я дѣятельное и разнообразное хозяйство—мнѣ всѣ нужны: плотники, кузнецы, коначи окрестности, всѣ имѣютъ у меня заработокъ подъ рукою: у одного я куплю свиныхъ на кормъ у дорогого соломы для навоза, у третьяго лошадь куплю и лѣсъ, и доски, и телегу, что у кого заготовлено для продажи. У меня тоже всякій купить что-нибудь нужное, если я не сплю, а завожу, что можно. Купить и крупъ, и муки съ мельницы, и жеребенка, и теленка на заводъ. Моя дѣятельность возбудитъ такимъ образомъ экономическую жизнь въ цѣлой мѣстности. Сбытъ и спросъ облегчаются, повышается заработная плата, въ глухомъ углу достигается извѣстное удобство. Развѣ это не общественное дѣло, не общественная заслуга?

О, какъ же мнѣ не радоваться, читая идиалліи г. Маркова, какъ мнѣ не радоваться такъ соблазнительно описываемому имъ сближенію съ народомъ! Но знаете ли что? Вамъ случалось конечно хоронить кого-нибудь очень вамъ близкаго и дорогого

чьимъ лицомъ вы привыкли любоваться. Вы значить знаете то тяжелое ощущеніе, которое испытывается при видѣ мертвеца, черты котораго такъ похожи на милое лицо и въ то же время такъ не похожи, такъ безобразны. Вотъ это самое испытывалъ я, читая размазистый и слащавый романъ г. Маркова. Что же касается выписанной тирады, то я не буду говорить о крайней наивности Суровцова, повидимому серьезно думающаго, что онъ благодѣтель цѣлаго околотка. Письмо же Суровцова я привелъ для освѣщенія всей идилліи и для показанія, что г. Евгений Марковъ отнюдь не есть въ самомъ дѣлѣ какая-нибудь новооткрытая Америка, а обыкновеннѣйшая и избитая до плоскости «Европа». Надо быть дѣйствительно очень непроинципальнымъ наблюдателемъ, чтобы увидѣть въ этомъ призывѣ in's Grüne, на лоно природы, что-нибудь характерное для какого бы то ни было времени. Всегда были люди, которые любили пить парное молоко, смотрѣть на деревенскіе хороводы, дышать воздухомъ полей и благодѣтельствовать работою окрестныхъ крестьянъ. Всегда были и люди, склонные къ занятію сельскимъ хозяйствомъ. Во всякомъ случаѣ не могутъ быть поставлены за общую скобку г. Евгений Марковъ и на примѣръ гр. Толстой, какъ онъ выясняется четвертымъ томомъ его сочиненій.

Мы далеко отошли отъ Шиллера, отъ Шиллера—до г. Евгения Маркова!—но многимъ можетъ показаться, что это даже совсѣмъ не далеко, что Шиллеръ и г. Марковъ совсѣмъ рядомъ стоятъ, потому что оба проповѣдуютъ возвращеніе къ природѣ, къ простотѣ сельскихъ нравовъ. Разница однако въ томъ, что проповѣдь Шиллера и въ сто лѣтъ не состарѣлась, а проповѣдь г. Маркова такъ и родилась мертвой. Разница въ самомъ источникѣ порываній того и другого. Сходство же, если оно есть, исчерпывается второстепенными и чисто внѣшними чертами. Допустимъ, что «Черноземныя поля» въ самомъ дѣлѣ должны быть занесены въ число признаковъ времени, что въ этомъ литературномъ явленіи выразилось не простое тяготѣніе къ парному молоку, свѣжему воздуху и сельско-хозяйственной дѣятельности, какое могло имѣть мѣсто всегда и вездѣ, а осложненное

злостью дня, и что характерное для нашего времени, для «семидесятых годов». Какая же это такая злоба дня здесь сказала? Суровцов ставит свою сельскохозяйственную деятельность рядом с профессорской деятельностью своих друзей. Он весьма справедливо не видит между ними типической разницы, хотя одна насаждает плоды знания, а другая плоды земли. Действительно то и другое насаждение могут производиться и производятся при совершенно одинаковой общественной обстановке, до такой степени, что если в числе друзей Суровцова есть профессор политической экономии, то он во всей вероятности излагает с кафедры те самые принципы, которые изложены в письме Суровцова. И профессор, и сельский хозяин в настоящем случае окружены одной и той же духовной атмосферой. Правда, резкая разница обнаруживается в физической обстановке. Но это очевидно — дело личного вкуса. Один любит атмосферу кабинета, типографии, аудитории, жизни городской, другой — атмосферу лесов, полей, жизни сельской. Допустим — что однако, если и может быть допущено, то только в весьма скромных размерах — допустим, что людей с деревенскими вкусами ныне становится сравнительно все больше, что, утомленные городским шумом, измученные вообще городскими условиями жизни, люди усиленно бегут in's Grüne. Безспорно, это движение могло бы иметь многие, нелишенные значения последствия и несколько изменить и самый строй общественной жизни, но лишь в определенных и в сущности весьма ограниченных пределах, если при этом профессор политической экономии только превратится в сельского хозяина, оставаясь при тех же принципах, ссылая только кафедру и теорию на деревню и практику. И в том, и в другом случае он остается представителем одного и того же «движения» (если хотите, «европейского»). Мы очень хорошо знаем, в чем состоит это движение: в увеличении производства (в нашем частном случае — сельских продуктов). Механизм этого движения нам до такой степени хорошо известен, что и сомнения не может быть в том, что отлив

силъ изъ города въ деревню можетъ при немъ продолжаться только весьма короткое время. Оставаясь на нашемъ частномъ случаѣ профессоровъ и сельскихъ хозяевъ, не трудно видѣть, что пропорція тѣхъ и другихъ можетъ колебаться только въ очень слабыхъ предѣлахъ. Профессора политической экономіи, исповѣдующіе принципы Суровцова, неизбѣжны тамъ, гдѣ существуютъ или могутъ существовать Суровцовы, и обратно: Суровцовы возможны только тамъ, гдѣ раздается съ кафедръ или въ книгахъ голосъ либеральной политической экономіи. Положимъ, Петровъ перейдетъ съ кафедры in's Grüne по слѣдамъ Суровцова, но на его мѣсто непременно явится Ивановъ, а если и Ивановъ уйдетъ, такъ его замѣнитъ можетъ быть даже сынъ Суровцова. Понятно, что отъ такого рода перемѣнъ никому ни тепло, ни холодно, кромѣ непосредственно дѣйствующихъ лицъ. Все это «движеніе» есть буря въ стаканѣ воды, неимѣющая ровно никакого общественнаго значенія, и было бы совершенно недостойно литературы видѣть въ ней какой-нибудь признакъ времени, что-нибудь характерное и важное. Недостойно литературы отмѣчать, какъ нѣчто, заслуживающее вниманія, такую плоскую идеализацію быта современныхъ просвѣщенныхъ помѣщиковъ, какую представляютъ «Черноземныя поля» г. Евгенія Маркова.

Шиллеровскій призывъ имѣетъ совершенно другой характеръ. И для того, чтобы сдѣлать изъ него лозунгъ нашего времени, нужно только дополнить его, сообразно его основному принципу и тѣмъ историческимъ явленіямъ, которыя народились послѣ Шиллера. Не парное молоко (очень впрочемъ хорошая вещь) и не заигрыванія сельскихъ кавалеровъ съ благородными деревенскими дѣвицами соблазняли Шиллера въ прошедшемъ и въ лонѣ природы. Онъ завидовалъ тому, что каждый человѣкъ былъ нѣкогда полнымъ носителемъ культуры своего времени или, говоря словами гр. Л. Толстого, самъ удовлетворялъ всѣмъ своимъ человѣческимъ потребностямъ. То движеніе, которое уничтожило этотъ порядокъ вещей, Шиллеръ признавалъ пагубнымъ, хотя очень хорошо понималъ, что именно оно дало намъ и знанія, и матеріальныя богатства. Онъ конечно не былъ про-

тивъ движенія вообще, желалъ не неподвижности и не обращенія вспять, а того единственно, чтобы и нынѣ каждый чело-вѣкъ былъ полнымъ носителемъ культуры *своего* времени, т. е. опять-таки самъ удовлетворялъ всѣмъ своимъ потребностямъ, кругъ которыхъ постоянно расширяется. При такой постановкѣ вопроса заботы о «движеніи» теряютъ всякій смыслъ, и на первый планъ выдвигается то, что и Шиллеръ, и гр. Толстой называютъ гармоніей развитія. Позднѣйшій историческій опытъ только подтвердилъ анализъ Шиллера и вмѣстѣ съ тѣмъ къ нашему времени вызвалъ въ Европѣ многочисленные частные протесты, совершенно укладывающіеся въ протестъ Шиллера, не только протесты, а и болѣе или менѣе удачныя попытки позитивныхъ рѣшеній. Шиллеръ глубоко скорбѣлъ о розни эмпирическаго и чистаго разума, какъ онъ говорилъ, а по нашему—опыта и умозрѣнія. Послѣ него эта рознь достигла одно время колоссальныхъ размѣровъ и считалась необходимымъ условіемъ «движенія» мысли, но нынѣ соглашеніе этихъ двухъ формъ изслѣдованія, совмѣщеніе ихъ въ одной и той же личности составляетъ вопросъ безповоротно рѣшенный. Никто не сомнѣвается въ необходимости и возможности такого совмѣщенія. Въ области экономической взглядъ Шиллера по обстоятельствамъ времени не проникъ дальше розни «труда и наслажденія», т. е. самой общей формулы. Послѣ него эта рознь достигла колоссальныхъ размѣровъ и все продолжаетъ расти, сосредоточивая собственность въ однихъ рукахъ, предоставляя трудъ другимъ. Политическая экономія Суровцова и комп. признаетъ эту рознь необходимымъ условіемъ экономическаго движенія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ мы видимъ рядъ попытокъ, какъ въ наукѣ, такъ и въ жизни, совмѣстить трудъ и собственность въ одной личности. И надо думать, что необходимость и возможность такого совмѣщенія станутъ скоро тоже внѣ всякихъ сомнѣвій. Такъ идетъ дѣло въ Европѣ. Это тоже европейское движеніе, господа. Угодно ли вамъ именно его признать своею путеводною звѣздой? Если да, то такъ и говорите, и бросьте канитель «Европы» вообще и «движенія» вообще. Если да, то вмѣсто «Европы» вы имѣете

полное право подставить «русскій народъ» въ свою формулу. И тогда выйдетъ: «Вся программа настоящаго времени, всё его стремленія, желанія и цѣли, всё руководящія принципы семидесятихъ годовъ, словомъ—все ихъ profession de foi можетъ быть исчерпано двумя словами: русскій народъ».

XX *).

Газета „Недѣля“, „мыслящія провинціалы“, г. Кавелинъ и проч.

Habent sua fata libelli, и статьи конечно—тоже, и писатели, и литературныя партіи—тоже. Бываетъ такъ, что какая-нибудь статья, какой-нибудь писатель, какая-нибудь группа писателей вдругъ становятся модными: о нихъ говорятъ, спорятъ, отъ нихъ проходу нѣтъ — и все это часто вовсе не потому, чтобы въ нихъ блеснула какая-нибудь совершенно новая мысль или вообще какія-нибудь выходящія изъ ряда вонъ достоинства, а по причинамъ, даже внѣ ихъ лежащимъ и почти неуловимымъ. Такъ было недавно съ гр. Львомъ Толстымъ, который пятнадцать лѣтъ тому назадъ прошелъ незамѣченнымъ (не какъ романистъ разумѣется), а нынѣ, повторивъ почти буквально (и во многихъ отношеніяхъ гораздо слабѣе) свои тогдашнія воззрѣнія, долго занималъ собою литературу и вызвалъ оживленные споры. Но гр. Толстой еще особъ статья. Гораздо удивительнѣе тотъ внезапный интересъ, который нынѣ получили гг. Мордовцевъ, П. Ч., «Недѣля» и провинціальная литература. Толками о нихъ переполнены газетные фельетоны; статейка г. П. Ч. послужила темой для разсужденій и г. Пыпина, и публицистовъ «Дѣла, и газетныхъ хроникёровъ, и вашего покорнѣйшаго слуги; г. Мордовцевъ вызвалъ противъ себя цѣлый походъ въ «Недѣлѣ», въ недавно вышедшемъ казанскомъ сборникѣ «Первый шагъ», въ газетѣ «Сибирь», въ «Донской Га-

*) 1876, май.

зетѣ»; «Недѣля» по мнѣнію многихъ чуть ли не перевернула въ литературѣ произвела; провинціальныя писатели съ необылаю энергіей стремятся помѣряться съ «столичной прессой». Называя совокупность этихъ явленій достойною удивленія, я разумѣю только ея внезапность, а не внутренній смыслъ вопросовъ затрогиваемыхъ упомянутыми авторами — смыслъ, безусловно чрезвычайно важный. Никто — говорю это смѣло — не радуется больше меня тому, что именно эти вопросы занимаютъ общество и ея зеркало — литературу. Точно также радовался я внезапному оживленію, вызванному статьей гр. Толстого. Но тамъ я былъ преимущественно удивленъ тѣмъ, что идеи этого писателя прошли въ свое время безслѣдно. Теперь же я напротивъ удивляюсь тому, что П. Ч. и Мордовцевъ, Мордовцевъ и П. Ч. и опять П. Ч. и Мордовцевъ не даютъ никому спать, между тѣмъ, какъ г. П. Ч. и вообще «Недѣля», въ самомъ выгодномъ для нихъ случаѣ, не успѣли даже высказаться, а статьи г. Мордовцева о провинціальной печати представляютъ безпорядочную «игру ума», отъ которой самъ авторъ почти отказался. Конечно это показываетъ, что такъ или иначе, дурно или хорошо, положительно или отрицательно, но тронута наболѣвшее мѣсто. Но дѣло въ томъ, что, оставляя въ сторонѣ г. Мордовцева, «новое слово» «Недѣли» не есть новое, оно имѣетъ свою, не Богъ знаетъ какую длинную исторію, но все-таки исторію, которая почему-то упорно игнорируется и самою «Недѣлею», и всѣми, кто обращается къ этой почтенной газетѣ то съ ироніей, то съ озаціями. Провинціальная литература была у насъ до сихъ поръ дѣйствительно какъ бы въ забросѣ, чему однако существуютъ если не оправданія, то очень осязательныя причины. Что же касается до новаго слова «Недѣли», провозглашаемаго съ такой помпой, то соотвѣтственное наболѣвшее мѣсто трогается имъ далеко не впервые. Трогалось оно не одинъ разъ много лучше и много яснѣе. Что же за причина внезапнаго появленія жодѣ а П. Ч. и а ла «Недѣля»? Вопросъ этотъ представляется мнѣ чрезвычайно интереснымъ. Не знаю только, сумѣю ли я имъ заинтересовать читателя, что было бы очень желательно.

Прежде всего надо установить факты, т. е. впервых показать, что упомянутыя явленія дѣйствительно существуютъ и находятся въ извѣстной связи между собой, и воторыхъ прослѣдить хотя вкратцѣ исторію идей нашихъ Колумбовъ и Америго Веспуччи. Можетъ быть при этомъ сами собой обрисуются причины занимающей насъ внезапности. Я чувствую себя вполне способнымъ отнестись къ дѣлу совершенно безпристрастно, глубоко сожалею объ административныхъ карахъ, постигающихъ «Недѣлю», искренно желаю ея всяческаго успѣха и не только не намѣреваюсь предлагать ей отказаться отъ сути своихъ воззрѣній, а напротивъ потребую отъ нея большей ясности и опредѣленности... Да, только опредѣленности, потому что сюда подойдетъ кажется даже предложеніе отказаться отъ титуловъ Колумба и Америго Веспуччи, съ которыми я обращусь къ почтенной газетѣ.

Позвольте мнѣ сдѣлать слѣдующую большую выписку изъ статьи г-жи Александры Ефименко: «Одна изъ нашихъ народныхъ особенностей» («Недѣля», №№ 3 — 5 нынѣшняго года). Она введетъ насъ въ самое сердце вопроса. Напомню читателю, что г-жа Ефименко есть авторъ многихъ очень дѣльныхъ работъ по нашему обычному праву.

Нѣкоторыя заявленія «Недѣли» о деревнѣ, почвѣ, узкихъ рамкахъ и т. п. встрѣчены были со стороны нашей интеллигентной столицы большимъ вопросительнымъ знакомъ и выраженіемъ крайняго недоумѣнія, которое до сихъ поръ не сходитъ съ фізіономіи петербургской печати, какъ только рѣчь коснется «Недѣли» и ея мнѣній. Совсѣмъ иначе отнеслась къ этимъ заявленіямъ провинція, по крайней мѣрѣ та ея часть, за которою нельзя не признать значенія наиболѣе здоровой части. Между тѣмъ, какъ столица увидала въ нихъ лишь пикантный литературный сюжетъ, дававшій публицисту новую тему для болѣе или менѣе тонкихъ замѣчаній, фельетонисту — для болѣе или менѣе остроумныхъ выходокъ, провинція почуяла въ ихъ заявленіяхъ то, чего не замѣтила столица — жизненную струю, которая можетъ провѣтрить страшно затхлую психиче-

*

скую атмосферу, дать новый толчекъ застоившимся жизненнымъ отправлениямъ. Кто правъ: проглядѣла ли столица, увлеклась ли миражемъ провинціи? Наши личные симпатіи стоятъ въ этомъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, на сторонѣ провинціи. Намъ дико и чуждо то объективно-литературное отношеніе, которымъ встрѣтила столичная пресса вопросы, затрогиваемые «Недѣлей». Неужели вся сила въ томъ, чтобы показать, что тогда-то и тогда-то, тамъ-то и тамъ-то, такое-то лицо поднимало подобный же вопросъ? или что та или другая мысль не вполне гармонируетъ съ цѣлымъ? или что въ томъ-то и томъ-то мѣстѣ употребленъ терминъ, не вполне удачно схватывающій суть мысли? — спрашивали мы себя, пробѣгая строки большей части столичныхъ изданій, касавшихся мнѣній «Недѣли». Въдѣ эти вопросы— вопросы общественного міросозерцанія, тѣ роковые вопросы, которые въ необычайно запутанной и сложной формѣ ставятъ современному человѣку жизнь, говоря ему, какъ сказочный сфинксъ: или разрѣшай ихъ, или погибай, погибай самую страшную изъ смертей— нравственной смертью живого человѣка, человѣка, находящагося въ полной силѣ сознанія и чувства... И вотъ, когда стоишь въ роковомъ недоумѣніи передъ чудовищемъ, а мысль тревожно бьется и мечется, пытаясь найти разгадку, или, что еще хуже, когда уже послѣ тщетной борьбы начинаетъ ослабѣвать инстинктъ, и ты, въ предсмертной агоніи, чувствуешь, какъ начинается заживо обхватывать разложеніе—можно представить себѣ, что значить въ подобномъ положеніи не рѣшеніе вопроса—это было бы ужъ слишкомъ много—а хоть новая его постановка, дающая намекъ на рѣшеніе, хоть самое общее указаніе направленія, которому надо слѣдовать, чтобы придти къ этому рѣшенію. Такъ отнеслась къ дѣлу та часть провинціи, о которой мы, какъ знающее ее, считаемъ себя вправѣ говорить. Суть въ томъ, что для мыслящаго провинціала рѣшеніе извѣстныхъ вопросовъ (тѣхъ, которые мы называли вопросами общественного міросозерцанія) есть дѣло насущной необходимости, въ болѣе строгомъ смыслѣ этого слова, чѣмъ, наприм. (?), для интеллигентнаго столичнаго

жителя. Столичный житель может напимѣрь рѣшить всѣ свои недоразумѣнія или подысканіемъ готовой формулы изъ имѣющагося ихъ запаса, или видоизмѣненіемъ какой-либо изъ готовыхъ, или наконецъ составленіемъ своей новой, и затѣмъ, незадѣваемый жизнью, онъ можетъ себѣ жить да поживать въ томъ душевномъ спокойствіи, которое дается увѣренностью въ истинности своей исходной точки. Совсѣмъ иное положеніе провинціала — положеніе по истинѣ трагическое. Тщетно перерываетъ онъ богатый складъ общеевропейской науки и философіи, пытаясь найти въ немъ то орудіе, которое дастъ ему возможность бороться съ приступающими къ горлу жизненными вопросами и требованіями, тщетно, увлекаясь иллюзіей, хватается то за то, то за другое; жизнь вырываетъ изъ рукъ и ломаетъ, какъ ничтожную тростинку, все, что ему въ первоначалѣ кончилось ослѣпленіемъ кажется такой... Не годится ни то, ни другое, ни третье... а между тѣмъ запасъ, на который ты надѣялся, приходитъ къ концу: гдѣ искать новое орудіе? Или... или сложить безпомощно руки? Но, пока силенъ инстинктъ жизни, онъ не даетъ примириться со вторымъ рѣшеніемъ; надо искать, искать, а между тѣмъ время уходитъ, надежда найти что-нибудь подходящее все слабѣетъ. Но вотъ раздается голосъ, который говоритъ: «не трудитесь напрасно, вы ищите не того, что нужно, и не тамъ, гдѣ нужно; для того, чтобы встрѣтить вызовъ нашей жизни, намъ не годится готовое орудіе, надо готовить новое»... И когда это говорится не голословно, а поддерживается и вѣскими общими соображеніями, и фактическими доказательствами — понятно то сочувствіе, съ какимъ встрѣчается этотъ голосъ. Мы убѣждены, что провинція не ошиблась, отдавъ свои сочувствія мнѣніямъ «Недѣли», выражающимся въ статьяхъ г.г. Кавелина, П. Ч. и др.»

Откровенно сознаюсь въ своемъ столичномъ безсердечіи: мнѣ было скучновато и даже непріятно выписывать эту напряженно-страстную тираду. Но я долженъ былъ это сдѣлать, потому что въ ней счастливымъ образомъ сгруппировались всѣ нужные мнѣ элементы:

Соперничество провинціальной литературы со столичною, стремленіе провинціаловъ пикироваться, мѣяться, развивать капиталъ о своихъ разнообразныхъ преимуществахъ передъ нами, «столичной прессой». Этимъ не одна г-жа Ефименко занимается. Высокое мнѣніе о себѣ провинціальныхъ дѣятелей литературы достигаетъ иногда даже еще болѣе энергій выраженія. Такъ, пылкій «литераторъ-обыватель» заявляетъ: «Еслибы вы знали провинцію, вы знали бы и то, что на *десятокъ* вашихъ публицистовъ, фельетонистовъ, рецензентовъ и поддѣльныхъ «провинціальныхъ философовъ» въ провинціи найдутся *сотни* умовъ, передъ которыми ваши заведомыя изображаютъ изъ себя жалкое умственное и нравственное убожество» («Первый шагъ», стр. 482). Вотъ какая страшная пропорція! Когда въ прошломъ году «Кіевскій Телеграфъ» сразу лишился *тринадцати* сотрудниковъ, между которыми были самые главные и дѣятельные, въ нѣкоторыхъ нашихъ органахъ было выражено сомнѣніе насчетъ будущности кіевской газеты. Но новая редація «Кіевского Телеграфа» съ гордостью объявила, что провинція, а тѣмъ болѣе такая, какъ Кіевъ, вовсе не такъ бѣдна литературными силами, чтобы газета потерпѣла ущербъ отъ потери тринадцати сотрудниковъ. Конечно ни одна петербургская или московская редація не отважится на столь великолѣпное заявленіе.

Приподнесеніе «Недѣлѣ» титула Колумба. Этимъ тоже не одна г-жа Ефименко занимается. Съ разныхъ точекъ зрѣнія этотъ торжественный актъ совершается и маркизомъ Голопузенькой «Русскаго Вѣстника», и размазней «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», и размазней «Новаго Времени», и пылкимъ «литераторомъ-обывателемъ» казанскаго сборника «Первый шагъ», и Жан'омъ qui pleure, и Жан'омъ qui rit, и даже самой «Недѣлей»...

И подо всѣмъ этимъ—ложь, конечно безсознательная и непреднамѣренная; ложь фактическая или ложь умолчанія, или ложь извращенія... И пора наконецъ разоблачить эту ложь, которая тянется больше года, маскируясь хорошими вещами. Я приглашаю только читателя не торопить меня и предоставить

миѣ право говорить и о такихъ вещахъ, которыя на первый взглядъ покажутся ему можетъ быть мелочью.

«Намѣ дико и чуждо то объективно-литературное отношеніе, которымъ встрѣтила столичная пресса вопросы, затрогиваемые «Недѣлей», говорить г-жа Ефименко. — Неужели вся сила въ томъ, чтобы показать, что тогда-то и тогда-то, тамъ-то и тамъ-то такое-то лицо поднимало подобный же вопросъ?» Боже меня избави отъ защиты всего наговореннаго по этому, да и по какому бы то ни было поводу «столичной прессой». Столичная пресса, это—такое собирательное имя, въ которомъ суммируются самыя разношерстныя вещи. Однако, такъ презрительно трактуемая г-жею Ефименко задача «показать, что тогда-то и тогда-то, тамъ-то и тамъ-то, такое-то лицо поднимало подобный же вопросъ», эта задача совсѣмъ ужъ не такъ заслуживаетъ презрѣнія. Я даже недоумѣваю, можно ли ее назвать «объективно-литературною». Конечно, если какой-нибудь единичный писатель выразилъ случайно какую-нибудь мысль, которая потомъ заглохла и затерялась, то напоминаніе объ этомъ обстоятельстве представляетъ интересъ только для спеціалиста-историка литературы. Журнальный же дѣятель имѣетъ полное право относиться къ нему довольно хладнокровно. Но дѣло получаетъ совсѣмъ иной видъ, когда извѣстная мысль имѣетъ свою исторію. Не пустяки это, не объективно-литературный интересъ—когда цѣлая группа людей живетъ и умираетъ ради той или другой идеи. Тутъ для сторонника этой мысли становится обязательнымъ, не только во имя литературной честности, но и во имя успѣха дѣла, отчетливо знать, постоянно помнить и возможно часто указывать исторію своей мысли. Замѣчательна въ этомъ отношеніи разница между образомъ дѣйствія европейскихъ и многихъ современныхъ русскихъ писателей. Оставимъ въ сторонѣ мелочныхъ эрудитовъ, въ родѣ Рошера или рау, которые такъ любятъ цитировать древнихъ и новыхъ авторовъ, повидимому единственно «для познанія всякаго рода мѣстъ». Это—не примѣръ, хотя надо замѣтить, что страсть къ познанію всякаго рода мѣстъ дѣлаетъ сочиненія подобныхъ ученыхъ въ своемъ родѣ драгоценными и

незамѣнимыми. Возьмемъ крупныхъ дѣятелей науки и литературы. Возьмемъ напимѣръ Геккеля. Этотъ человекъ несомнѣнно внесъ «новое слово» въ свою область знанія, а между тѣмъ посмотрите, съ какою тщательностью выискиваетъ онъ нетолько въ современной, а и въ старой литературѣ преемственную исторію своихъ идей. Онъ не презираетъ задачи, презираемой г-жею Ефименко. Напротивъ онъ дорожитъ каждою чертой, на которую можетъ указать, какъ на родственную себѣ въ духовномъ отношеніи, хотя это вовсе не мѣшаетъ ему часто очень рѣзко полемизировать даже съ тѣми, къ кому онъ такъ или иначе близокъ. Еще яснѣе эта черта въ другомъ видномъ современномъ дѣятелѣ науки — въ Марксѣ. Очевидно, не «объективно-литературный» интересъ руководить этими людьми, а во первыхъ требованія литературной честности, и вовторыхъ — страстное желаніе успѣха своимъ идеямъ. Они понимаютъ, что дѣло ихъ можетъ только выиграть отъ добросовѣстнаго изслѣдованія историко-литературныхъ корней ихъ идей. Геккелю очень важно показать, что въ твореніяхъ такихъ умовъ, какъ Дарвинъ, Гете, Ламаркъ, Окенъ, его взгляды имѣютъ свою исторію, а частныя изслѣдованія такихъ-то и такихъ-то второстепенныхъ ученыхъ подтверждаютъ ихъ. Точно также важно и Марксу показать, что напимѣръ его теорія цѣнности весьма близка къ теоріи такого авторитетнаго писателя, какъ Рикардо, развитой еще пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ. Понятное дѣло, что никакого уменія заслугъ Геккеля и Маркса отъ такого образа дѣйствій произойти не можетъ. Напротивъ въ этомъ именно лежитъ одна изъ важнѣйшихъ заслугъ ихъ, и даже не одна заслуга, а нѣсколько: во первыхъ заслуга передъ наукой, потому что они даютъ матеріалъ для исторіи развитія идей; вовторыхъ заслуга передъ обыкновенной читающей публикой, потому что она получаетъ возможность провѣрять и сравнивать ихъ выводы съ другими; въ третьихъ заслуга въ смыслѣ пропаганды, потому что они связываютъ свои идеи со взглядами людей, репутація которыхъ, въ томъ или другомъ отношеніи, стоитъ въ обществѣ высоко. Такой образъ дѣйствія вовсе не требуетъ слащавости и колы-

преклоненія, порукой въ томъ рѣзкость полемики тѣхъ же Гекеля и Маркса, — а только добросовѣстности. Дѣйствительно, будьте вы только добросовѣстны, и вы непременно изучите занимающій васъ вопросъ по возможности всесторонне, и непременно будете знать и помнить его литературу, и непременно пожелаете распространенія своихъ взглядовъ, и непременно съ этою цѣлью будете разыскивать предшественниковъ и единомышленниковъ и проч. Словомъ, все дѣло въ добросовѣстности. Но этого-то драгоценнаго качества и недостаетъ весьма многимъ, даже очень извѣстнымъ нашимъ писателямъ. Я очень хорошо понимаю всю тяжесть этого обвиненія и произношу его совершенно сознательно.

Недавно вышла книга г. Ватсона «Эпилогъ прусско-французской войны». По разнымъ причинамъ я долженъ отказать себѣ въ удовольствіи подробнѣе поговорить объ этомъ, якобы историческомъ сочиненіи. Скажу нѣсколько словъ только объ одной его сторонѣ. Г. Ватсонъ рассказываетъ многія, совершенно невѣроятныя, просто ни съ чѣмъ несообразныя вещи, въ такой же мѣрѣ несообразныя, какъ сообщенія г. Вагнера о похищеніи духами ордена изъ могилы въ Севастополѣ и т. п. (Пусть читатель обратитъ вниманіе напримѣръ на стр. 103 «Эпилога прусско-французской войны»). При этомъ г. Ватсонъ оставляетъ читателя въ неизвѣстности относительно источниковъ, изъ которыхъ онъ добылъ свои свѣдѣнія. Только въ предисловіи говорится, что авторъ пользовался сочиненіями, «большею частью» (надобно бы кажется сказать «исключительно») враждебными изслѣдуемому имъ историческому явленію. Такое сочиненіе конечно не можетъ быть названо добросовѣстнымъ трудомъ. Очевидно автору не очень-то дороги его возрѣнія, потому что хоть кое-гдѣ въ литературѣ и раздавались похвалы книгѣ г. Ватсона, но это объясняется только закулисными литературными отношеніями и трудностью положенія въ данномъ случаѣ критики; внѣ же литературныхъ дразгъ, въ публикѣ, взгляды г. Ватсона, благодаря своей очевидной несообразности и презрѣнію къ источникамъ, необходимо должны понести полное фіаско. А потому

г. Ватсонъ напишетъ можетъ быть даже и очень хорошую и очень правдивую книгу, но ему уже никто не повѣритъ, какъ нѣкогда не дано было вѣры шаловливому пастуху, который предварительно надулъ своихъ односельчанъ неумѣстнымъ крикомъ «волки!» Таковы естественныя послѣдствія литературной недобросовѣстности, обнаруживающіяся рано или поздно.

О г. Ватсонѣ я только мимоходомъ. Въ трудѣ его мы имѣемъ образчикъ недобросовѣстнаго, некритическаго отношенія къ историческимъ источникамъ и фактическимъ даннымъ. Намъ будутъ занимать подобные же критическіе приемы по отношенію къ исторіи идей.

Хотя г-жа Ефименко и не желаетъ знать, гдѣ и когда кто что говорилъ, но это—только вообще, а въ частности весьма рѣзко подчеркиваетъ, что никто другой, какъ «гг. Кавелинъ, П. Ч. и др.» сказали въ «Недѣлѣ» слово, имѣющее обновить литературу и успокоить провинцію. О г. П. Ч. я уже говорилъ и получилъ отъ него возраженіе (мимоходомъ сказать, я одинъ удостоился этой чести: г. П. Ч. простигъ и г. Пышину, и газетнымъ хроникерамъ; впрочемъ объ этомъ, не лишениомъ общаго интереса обстоятельстве—ниже). Къ сожалѣнію возраженіе это не таково, чтобы покончить съ недоразумѣніями, и не таково даже, чтобы вызвать дальнѣйшую полемику. Однако я вернусь еще отчасти къ нему въ связи съ нѣкоторыми другими мыслями, высказанными въ «Недѣлѣ». Теперь напомнимъ только, что рѣчь шла о «деревнѣ», о «народно-психологической подкладкѣ», долженствующей обновить литературу, и проч. Въ этомъ состоитъ то «новое слово», которое сказала «Недѣля» по мнѣнію г. Ефименко и самой почтенной газеты. Это же слово, какъ мы видѣли, приписывается и г. Кавелину.

Г. Кавелинъ былъ нѣкогда писатель чрезвычайно дѣятельный, оказавшій многія услуги русской литературѣ и принадлежавшій къ «западническому» толку. Это было настолько давно, что терминъ «западничество» имѣлъ еще вполне опредѣленный и очень важный смыслъ. Со времени памятнаго общественнаго и литературнаго движенія, начавшагося въ концѣ пятидесятыхъ го-

довъ, г. Кавелинъ постепенно сходитъ со сцены. Изъ первыхъ рядовъ литературы, въ которыхъ онъ стоялъ въ сороковыхъ годахъ, онъ уходитъ куда-то назадъ, увядаетъ. Въ наши дни онъ опять расцвѣтаетъ, и вотъ ему приписывается даже новое «слово»... Нельзя сказать, чтобы въ періодъ своего увяданія г. Кавелинъ совсѣмъ исчезъ съ литературнаго горизонта и рѣшительно не обращалъ на себя вниманія. Напримѣръ его прекрасная статья объ общинномъ землевладѣніи, напечатанная въ «Атеней» 1859 года, была замѣчена и оцѣнена по достоинству. Но въ общемъ онъ, въ числѣ многихъ другихъ представителей сороковыхъ годовъ, былъ отодвинутъ силами болѣе свѣжими, молодыми, энергическими. Извѣстно, что это обстоятельство сопровождалось нѣкоторымъ недовольствомъ, даже озлобленіемъ отодвинутыхъ. Г. Кавелинъ остался не чуждъ этому озлобленію, хотя, надо правду сказать, оно никогда не достигало въ немъ такой степени и не принимало такихъ грубо-полицейскихъ формъ, какъ у многихъ его сверстниковъ. Однако оно было и есть. Помнится, въ 1865 году г. Кавелинъ, по поводу диссертациі г. Неклюдова, напечаталъ въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» статью (она была кажется издана потомъ отдѣльной брошюрой), въ которой весьма недвусмысленно принялъ участіе въ позорной травлѣ разныхъ «измовъ». Это былъ однако голосъ и недостаточно громкій, и недостаточно оригинальный, чтобы остановить на себѣ, въ какомъ бы то ни было смыслѣ, вниманіе общества и литературы. Г. Кавелинъ не заслужилъ ни оиміамовъ, ни ненависти—не то, что г. Тургеневъ, или г. Писемскій, или Щербина и т. п. Теперь, какъ уже сказано, г. Кавелинъ опять расцвѣтаетъ. Эта новая, вторая его извѣстность началась съ долго утомлявшихъ читателей «Вѣстника Европы» психологическихъ этюдовъ, въ которыхъ авторъ обнаружилъ болѣе усердія и благихъ намѣреній, чѣмъ истинно философской мысли и пониманія избраннаго имъ предмета. Статьи г. Сѣченова, нашего журнала и, сколько помнится, «Знанія» не оставили въ этомъ кажется никакого сомнѣнія. Г. Кавелинъ хотѣлъ быть оригинальнымъ, новаторомъ, но оказался желающимъ примирить не-

примиримое. Оказался онъ такимъ конечно только для другихъ, а не для самого себя. Затѣмъ явилось въ «Недѣлѣ» нѣсколько его статей, въ которыхъ развивалась мысль о возможности и необходимости появленія у насъ самостоятельной, оригинальной философской мысли, болѣе или менѣе отличной отъ западно-европейской. Словомъ, г. Кавелинъ явился провозвѣстникомъ *національной* русской философіи. Мы нѣтъ нужды трактовать объ этихъ статьяхъ по существу. Интереснѣе статья «Проектъ поземельной реформы», написанная по поводу достойной лишь смѣха книги г. Миттельшtedта «Новыя экономическія начала общественнаго строя». Г. Кавелинъ выразилъ здѣсь нѣсколько очень справедливыхъ мыслей о крестьянствѣ, какъ о важнѣйшемъ, но часто забываемомъ элементѣ русской жизни; о разницѣ между европейскою исторіей и русской, о поземельной собственности, какъ о гарантій экономической независимости народныхъ массъ. Надо замѣтить, что г. Миттельшtedтъ, несмотря на свою фамилію, есть ярый врагъ нѣмцевъ и столь же ярый другъ славянъ. Сообразно этому онъ ставитъ вопросъ о русскомъ сельскомъ хозяйствѣ на чисто національную почву, противъ которой ничего не имѣетъ и его оппонентъ, г. Кавелинъ: онъ только вноситъ извѣстныя поправки, очень конечно радикальныя.

Вотъ откуда «мыслящіе провинціалы» получили, по словамъ г-жи Ефименко, «просіяніе своего ума». Что-жъ! Это хорошо. Лучше отсюда, чѣмъ ни откуда или изъ какихъ-нибудь неблагоприятныхъ мѣстъ. Но мыслящіе провинціалы могли на этотъ счетъ просвѣтиться гораздо раньше (и, забѣгая впередъ, прибавлю — лучше) изъ другихъ источниковъ, еще въ то время, когда г. Кавелинъ не расцвѣталъ вторично. Мыслящіе провинціалы хотятъ поставить крестъ надъ этими источниками, дабы водрузить знамя «Недѣли» на новооткрытомъ материкѣ, доселѣ не знавшемъ обитателей. Но можетъ быть самъ г. Кавелинъ окажется добросовѣстнѣе этихъ жителей необитаемыхъ острововъ? Прекрасный поводъ для обнаруженія этого прекраснаго качества представлялся ему въ статьѣ «Общинное владѣніе».

напечатанной въ только что вышедшихъ номерахъ «Недѣли» (3—5 и 6—7). И вотъ какъ г. Кавелинъ поступилъ. Въ обзорѣ историческомъ очеркѣ отношеній русской литературы и русскаго общества къ поземельной общинѣ онъ говоритъ, что были дескать у насъ на этотъ счетъ всегда двѣ партіи: славянофилы и западники. Въ первый разъ споръ возникъ между ними въ сороковыхъ годахъ. Славянофилы видѣли въ общинѣ «воплощеніе высокаго христіанскаго идеала взаимныхъ отношеній между людьми, удержавшееся только у насъ и притомъ только въ крестьянствѣ»: западники напротивъ смотрѣли на общину, какъ на остатокъ патріархальнаго быта, несоотвѣтствующій новымъ условіямъ жизни и потому подлежащій разложенію. Споръ въ томъ же смыслѣ получилъ новую пищу въ диссертациі г. Чичерина (1856 г.), а затѣмъ подошло время отиѣны крѣпостного права. Тутъ пререканія должны были уже спуститься съ высоты чисто теоретическихъ разсужденій на практическую почву. «Поборниками общиннаго владѣнія снова выступили московскіе славянофилы, вооруженные большимъ практическимъ знаніемъ великорусскаго народнаго быта, а противниками ихъ, защитниками личной собственности и участковаго владѣнія—западники, опиравшіеся на законы политической экономіи и блистательные результаты примѣненія ихъ въ западной Европѣ... Члены редакціонныхъ комиссій (выработывавшихъ Положеніе 19 февраля) принадлежали, по вопросу объ общинномъ владѣніи, къ одному изъ двухъ воззрѣній, между которыми раздѣлялись, отчасти и теперь раздѣляются мыслящіе русскіе люди».

Прочитавъ этотъ ретроспективный взглядъ на наше недавнее прошлое, я истинно пришелъ въ ужасъ. Страшно за литературу и общество, въ которыхъ возможны подобныя, якобы историческія обзорѣнія. Какъ могъ написать его г. Кавелинъ, за которымъ утвердилась репутація писателя, хотя не особенно блестящаго, но всегда серьезнаго и добросовѣстнаго? Какъ могла оставить его безъ комментаріевъ «Недѣля», которая, до открытія необитаемыхъ острововъ «Печевіи», «Кавелиніи» и всего архипелага

«Недѣля», была газетой, хотя нѣсколько вялой и скучной, но полезной именно своей добросовѣстностью и отсутствіемъ качествъ, характеризующихъ Ивана Непомнящаго? Безъ сомнѣнія «Недѣля» очень хорошо извѣстно, что по вопросу объ обществѣ наша литература и общество, «мыслящіе русскіе люди», съ пятидесятихъ годовъ дѣлятся не на двѣ, а на три, совершенно опредѣленные партіи; что «воплощеніемъ высокаго христіанскаго идеала» и жалкимъ остаткомъ патріархальнаго быта далеко не исчерпываются понятія русскихъ мыслящихъ людей объ обществѣ: что существовало задолго до открытія Печевія и Кавелина третье воззрѣніе, къ коему во времена своей почтенной скромности «Недѣля» примыкала откровенно и безъ убогчаний. Это третье воззрѣніе, вполнѣ опредѣленное относительно общины, не касалось однако только ея: оно раздвигалось въ широкое міросозерцаніе, которое пользовалось глубокимъ, даже восторженнымъ уваженіемъ однихъ и самою злобною ненавистью другихъ; оно пустило въ общество неистребимые корни, воспитало и безъ сомнѣнія воспитаетъ еще не одно поколѣніе, въ томъ числѣ и знаменитый архипелагъ «Недѣлю». Поэтому не объективно-литературный интересъ заставляетъ меня напомнить объ немъ. Литературный хроникеръ «Молвы» предполагаетъ, что нынѣ родилась новая литературная школа «національнаго сознанія». Этотъ терминъ не привился и, я надѣюсь, не привѣтся. Почтенный хроникеръ зачисляетъ въ эту школу и меня, и знаменитый архипелагъ. Я не могу принять этой чести по причинамъ, которыя отчасти выяснятся ниже; что же касается до архипелага, то какъ осмѣлился бы онъ назвать себя школой русскаго «національнаго сознанія», когда самая помпа открытія его есть ложь на «мыслящихъ русскихъ людей» и недостойное запаматованіе заслугъ русской литературы? Нѣмцы полагаютъ, что они теперь находятся въ періодѣ «національнаго сознанія», и конечно они имѣютъ больше правъ на эту вывѣску, чѣмъ какая бы то ни было русская «школа». Но вѣдь они ставятъ памятникъ Арминію въ Тевтобургскомъ Лѣсу, а не говорятъ, что Арминія никогда не было; выискивая вездѣ бойцовъ за то, что имъ те-

перь кажется хорошимъ, они даже готовы растянуть каждое ничтожное лыко въ огромнѣйшую строку. Здѣсь много тоже лжи. Но это—та именно ложь, которая неизбежна въ періоды «національнаго сознанія». Здѣсь нѣтъ лжи мелкаго озлобленія на своихъ предшественниковъ за то, что они—предшественники, что они открыли Кавелинѣ раньше Кавелина или по крайней мѣрѣ описали ее лучше его. Дѣлаю эту оговорку въ виду упомянутой выше статьи г. Кавелина въ «Атенеѣ». Хотя статья эта стояла совершенно независимо отъ дѣятельности людей, такъ радикально высочившихъ нынѣ изъ памяти г. Кавелина и «Недѣли», но была проникнута отчасти тѣмъ же духомъ, отличаясь только меньшею яркостью и послѣдовательностью. Въ статьѣ этой г. Кавелинъ отстаивалъ общину и слѣдовательно не видѣлъ въ ней жалкаго остатка патріархальнаго быта, но не видѣлъ въ ней также «воплощенія высокаго христіанскаго идеала». Такимъ образомъ, распредѣляя нынѣ всѣ мнѣнія, высказанныя въ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годахъ, по двумъ рубрикамъ, г. Кавелинъ доводитъ забвеніе даже до самозабвенія. Такъ именно думалъ я, прочитавъ №№ 3—5 «Недѣли». Это было бы по крайней мѣрѣ логично и добросовѣстно, насколько возможна добросовѣстность въ некрасивомъ положеніи, въ которое поставилъ себя г. Кавелинъ. Но №№ 6—7 разочаровали меня. «Недѣля» дѣйствительно херитъ свое собственное прошлое, почерпая нравственное вознагражденіе въ репутаціи Колумба и Америго Веспуччи. Г-жа Ефименко и другіе провинціальныя писатели, провозглашающіе открытіе новаго архипелага, тоже херятъ свое прошлое. Но г. Кавелинъ... *pas si bête*. Свою статью онъ заканчиваетъ такъ: «Такіе же взгляды высказывали мы семнадцать лѣтъ тому назадъ въ статьѣ, напечатанной въ «Атенеѣ», издававшемся въ 1859 году въ Москвѣ»...

Итакъ, семнадцать лѣтъ тому назадъ существовали московскіе славянофилы, существовали враги общины, опиравшіеся на законы политической экономіи и блистательные результаты личнаго землевладѣнія въ западной Европѣ, да еще существовалъ...

г. Кавелинъ. Правда это, г. Гайдебуровъ? (г. Кавелинъ я не спрашиваю).

Есть впрочемъ въ статьѣ г. Кавелина одно мѣсто, на которое «Подѣля», если захочетъ (въ чемъ я впрочемъ сомнѣваюсь), можетъ указать, какъ на пополненіе указаннаго пропуска. Вотъ это мѣсто цѣликомъ: «Не мало у насъ и такихъ противниковъ и защитниковъ общиннаго землевладѣнія, которые смотрятъ на него сквозь *европейскія очки* (это слово часто раздается на новооткрытыхъ необитаемыхъ островахъ) и примѣняютъ къ нему европейскіе шаблоны. Консерваторамъ этого пошиба мерещатся въ общинномъ землевладѣніи зародыши европейскаго социализма и коммунизма, которые со временемъ, когда разовьются, должны разрушить священное право личной собственности. Естественно, что всякій защитникъ общиннаго крестьянскаго землевладѣнія долженъ имъ казаться крайнимъ изъ крайнихъ, краснымъ, чуть чуть не коммунаромъ и петрольщикомъ. Къ сожалѣнію есть у насъ и такіе защитники общиннаго владѣнія, которые наввно принимаютъ вызовъ подобныхъ противниковъ и, стоя съ ними на одной почвѣ, примѣняя подобно имъ европейскую мѣрку къ нашимъ общественнымъ явленіямъ, объясняютъ общинное владѣніе въ смыслѣ самыхъ крайнихъ радикальныхъ европейскихъ воззрѣній».

Вотъ единственный намекъ г. Кавелина на существованіе у насъ защитниковъ общины—не славянофиловъ. И какіе это выходятъ у него жалкіе, глупые люди! Къ сожалѣнію г. Кавелинъ еще пощадилъ ихъ и выразился не достаточно точно. Что въ самомъ дѣлѣ значить «объяснять общинное владѣніе въ смыслѣ самыхъ крайнихъ радикальныхъ европейскихъ воззрѣній»? Я думаю, что какъ упрекъ, это—безсмыслица. Я думаю, что высказывая его, г. Кавелинъ обнаружилъ только недостатокъ брезгливости, ибо поднимая его прямо съ улицы, не потрудился даже хоть маленько пообчистить приставшую къ нему уличную грязь, а такъ какъ есть, во всей неприкосновенности безобразія, передалъ его г. Гайдебурову для тисненія. А тотъ тиснулъ...
Vous avez bien mérités de la patrie, публицисты «національнаго

сознанія! Требуйте себѣ лавровыхъ вѣнковъ и триумфальныхъ воротъ, требуйте смѣлѣе, наглѣе—и вы ихъ получите. Но помните, что ваша *patrie* есть новооткрытый архипелагъ, а его составляютъ едвали не тѣ самые острова, на которыхъ растутъ тринѣ-трава. Поведеніе г. Кавелина относительно исторіи взглядовъ на общину—не случайное: оно входитъ въ систему. Г. Кавелинъ ведетъ свою линію упорно и разносторонне. Такъ, въ той же «Недѣлю», онъ напечаталъ въ прошломъ году статью «Бѣлинскій и послѣдующее движеніе нашей критики», изъ которой видно, что со времени Бѣлинскаго (т. е. со времени перваго расцвѣта г. Кавелина) критика наша двигалась къ ничтожеству. И здѣсь значитъ онъ усиливается похерить все то движеніе, которое отодвинуло его, г. Кавелина, изъ первыхъ рядовъ литературы въ задніе... Объяснять чью-нибудь литературную дѣятельность мотивами уязвленнаго мелкаго самолюбія и чисто личнаго озлобленія — дѣло тяжелое и непріятное. Можетъ быть приведенные факты допускаютъ иное объясненіе, но это во всякомъ случаѣ—факты, и я попрошу «Недѣлю», если она удостоитъ меня отвѣтомъ, доржаться фактовъ же, т. е. напримѣръ доказать, что литература по вопросу объ общинѣ дѣйствительно исчерпывается славянофилами, западниками—противниками общины, и г. Кавелинымъ, да развѣ еще кучкой глупцовъ, едва заслуживающихъ (и то своею глупостью) упоминанія. Не говорите, господа «мыслящіе провинціалы», о мертвенномъ, «объективно-литературномъ» отношеніи къ дѣлу. Я обвиняю «Недѣлю» не только въ умолчаніи, не только въ извращеніи и въ нарушеніи требованій литературной добросовѣстности. Я обвиняю ее въ томъ, что она отнимаетъ у васъ цѣлую драгоценную литературу. Если вы, вслѣдъ за г. Кавелинымъ и по его наущенію, отвернетесь отъ того, что у насъ было писано по вопросу объ общинѣ, то вы же останетесь въ убыткѣ. Я вовсе не то говорю, чтобы г. Кавелинъ обязанъ былъ испеприть свою статью цитатами въ такомъ напримѣръ родѣ: «въ томъ же самомъ «Атенеѣ», гдѣ появилась моя статья, только годомъ раньше, была напечатана статья г. Юрьина, въ которой

отношеніе общиннаго землевладѣнія къ различнымъ европейскимъ ученіямъ было разработано вполне безпристрастно и безъ всякихъ европейскихъ очковъ». Или: «въ рѣчахъ В. А. Панаева выразился взглядъ на общину, одинаково далекій и отъ славянофильской доктрины и отъ воззрѣній западниковъ — противниковъ общины». Или: «Экономическій указатель», ратовавшій противъ общины во имя европейскихъ экономическихъ теорій. встрѣтилъ сильнѣйшій отпоръ не со стороны славянофиловъ». И проч., и проч. Это дѣло библіографіи и специальной исторіи литературы. Но г. Кавелинъ поднимаетъ руку на цѣлое направление, а этого конечно не долженъ бы былъ дѣлать чужакъ, уважающій себя и дорожающій успѣхомъ своихъ идей.

Какковы бы однако ни были мотивы г. Кавелина, но одна ласточка весны не дѣлаетъ. Не могъ бы онъ совершать подобно, во всеуслышаніе актъ столь явной литературной недобросовѣстности и получать за это не свистки, а лавровый вѣнокъ, еслибы тому не способствовали какія-нибудь стороннія и болѣе или менѣе общія причины. Для выясненія этихъ причинъ позвольте мнѣ напомнить вамъ въ самыхъ общихъ чертахъ что именно такъ упорно желаетъ вытереть изъ вашей памяти г. Кавелинъ, и не онъ одинъ, какъ сейчасъ увидимъ. Повторять то, что много разъ уже было говорено, не весело. Но что же дѣлать, если у людей такъ коротка память.

Оживленіе нашей литературы и общества началось съ концомъ крымской войны. Два ряда фактовъ и два теченія мысли вырѣзались при этомъ съ особенною яркостью. Впервыхъ была усмирена наша *національная* гордость; вовторыхъ оказалось необходимымъ улучшить положеніе *народа* (слушайте, г. Фаустъ Щигровскаго Уѣзда и, если вамъ на будущее время придетъ охота опять сочинять невозможныя слова въ родѣ «ультранационалы», то научитесь по крайней мѣрѣ прикладывать ихъ куда слѣдуетъ; запомните разъ на всегда, что нація и народъ, *nation* и *peuple* — не синонимы). Это двойственное явленіе отразилось на известной части нашего общества и литературы, наиболѣе живой и энергичной, слѣдующимъ образомъ. Прежде всего утра-

тили всякій смыслъ славянофильство и западничество, какъ самостоятельныя доктрины. Не въ пошломъ эклектизмѣ было дѣло; не то, чтобы явилась недобность или обнаружилось попопозное примирить эти два, по существу своему, непримиримыя учения. Нѣтъ, надлежало покончить съ самимъ основаніемъ той и другой доктрины, просто выкинуть его изъ счета. Сообразно этому получилось вполнѣ свободное отношеніе къ «Европѣ», къ выработаннымъ ею теоріямъ, къ ея исторіи, къ ея надеждамъ и разочарованіямъ, а равно и къ Россіи, къ «началамъ русскаго народнаго быта», о которыхъ такъ много толковали славянофилы. Образовалось, такъ сказать, новое высшее судилище, передъ которымъ «европейское» и «русское», «національное», не имѣли сами по себѣ ровно никакого значенія—ни положительнаго, ни отрицательнаго. Русская литература смѣло могла тогда сказать, что для нея «нѣсть эллинъ, ни іудей». Это не былъ какой нибудь совершенно внезапный скачокъ общественнаго развитія. Къ такому же результату въ общихъ чертахъ пришли уже и наиболѣе чуткіе дѣятели сороковыхъ годовъ—конечно немногіе. Да наконецъ и самые завязые, самые крайніе западники и славянофилы фактически не могли преклоняться передъ «Европой» вообще и передъ «началами русскаго быта» вообще. Они по необходимости произвольно выкидывали одни изъ «Европы», другіе изъ нашихъ національныхъ особенностей то, что имъ не нравилось, что не соотвѣтствовало ихъ собственнымъ идеаламъ, и только на остатокъ отъ этой операціи навѣшивали ярлыкъ своей доктрины. Затянутые въ корсетъ западничества и славянофильства, они производили эту разборку безсознательно и несвободно. Эта-то сознательность, эта-то свобода и народилась послѣ крымской войны. Мы видимъ въ самомъ дѣлѣ, что лучшіе люди того времени—тѣ самые, которые теперь, черезъ какихъ нибудь пятнадцать, двадцать лѣтъ, когда уже износились сапоги, въ которыхъ мы шли за гробами ихъ, игнорируются и даже ослепываются—эти люди не придавали никакой цѣны титуламъ «европейскій» и «національный». На западѣ или на востокѣ, на сѣверѣ или на югѣ народилась извѣстная идея или извѣстный

*

общественный фактъ — они входили въ новое миросозерцаніе и занимали въ немъ соответственное положеніе, трактовались въ положительномъ или отрицательномъ смыслѣ по своему содержанию, безъ переключки западничества и славянофильства, которая нынѣ опять входитъ въ моду, безъ какихъ бы то ни было европейскихъ или національных очковъ. Это однако вовсе не значитъ, чтобы для нихъ не имѣла цѣны историческая почва. Если русская жизнь народила или сохранила нѣчто, съ ихъ точки зрѣнія драгоцѣнное, они прямо указывали на это обстоятельство и естественно видѣли въ немъ залогъ успѣха своихъ идей. Такъ было именно съ общиной. Г. Кавелинъ говоритъ: «*Никому* не приходило тогда въ голову, что крестьяне могутъ когда-нибудь, какъ случилось впослѣдствіи, домогаться обращенія участковаго владѣнія въ общинное». *Никому* — это слишкомъ сильно сказано. Г. Кавелину это дѣйствительно не приходило въ голову, какъ видно изъ его статьи въ «Атенеѣ»; но другимъ, и именно тѣмъ, кого онъ нынѣ заднимъ числомъ такъ глубоко презираетъ — приходило. Мало того, на этой возможности основывались большія надежды, причемъ историческая прочность общины, ея вѣковѣчность въ жизни русскаго народа представлялась превосходнымъ базисомъ. Г. Кавелинъ вѣроятно именно по этому поводу строитъ свою маленькую (ахъ, какую маленькую!) вавилонскую башню изъ «жупеловъ» въ родѣ европейскихъ очковъ, петрольщиковъ, социалистовъ и проч. и затѣмъ, величественно уперевъ руки въ боки, усаживается на самой вершинѣ башни, воображая, что она дѣйствительно достроена до неба. Господь Богъ, во гнѣвѣ своемъ на строителей вавилонской башни, смѣшалъ ихъ языки. Онъ смѣшалъ и языки строителей маленькой вавилонской башни «Недѣли». «Европейскія очки», въ качествѣ ли упрека или похвалы, очевидно должны быть разбиты въ дребезги, по крайней мѣрѣ по отношенію къ тому времени, о которомъ мы говоримъ. Въ то время вся признавая, школьная европейская наука считала общину безповоротно сданною въ архивъ и осужденною исторіей на забвеніе. А русская литература тогда не чуралась европейской науки. Поэтому не европейскія очки, а смѣлость и определен-

ность мысли нужны были для признанія крестьянской общины драгоценнымъ залогомъ будущаго. Г. Кавелинъ скажетъ, что литература наша все-таки искала себѣ учителей на Западѣ. Мудрено, я думаю, ихъ не искать тамъ. Уроками отсюда пользуются, увы! даже гг. Кавелинъ и П. Ч.—только не упоминаютъ объ этомъ. Г. Кавелинъ говоритъ напримѣръ объ томъ, что въ западной Европѣ экономическій прогрессъ повелъ къ созданію пролетаріата, къ страшной войнѣ между трудомъ и капиталомъ, что экономическая независимость народныхъ массъ наилучше гарантируется поземельною собственностью и т. п. Откуда онъ узналъ все это? Я готовъ впрочемъ допустить, что онъ подобно Тяпкину-Ляпкину до всего этого своимъ умомъ дошелъ, а другіе узнали, какъ онъ презрительно говорить, изъ иностранныхъ книжекъ. Но такъ какъ онъ говоритъ буквально тоже самое, что и эти другіе, то его самостоятельность не имѣетъ для меня большого значенія.

Не выходя изъ области экономическихъ идей, я могу указать на одинъ чрезвычайно яркій фактъ самостоятельности нашей литературы пятидесятихъ и начала шестидесятихъ годовъ. Поводъ къ этому даетъ недавно вышедшій первый томъ сочиненій Рикардо въ русскомъ переводѣ, бесѣду объ которомъ я долженъ впрочемъ отложить до другого раза. По странному совпаденію, три года тому назадъ, говоря о русской литературѣ, о понятіяхъ націи и народа, т. е. о тѣхъ самыхъ темахъ, которыми и нынѣ вынужденъ занимать ваше вниманіе, я въ видѣ иллюстраціи остановился на диссертациі г. Зибера: «Теорія цѣнности и капитала Рикардо». Кругомъ значить все быстро идетъ впередъ, выкрикиваются «новыя слова», открываются необитаемыя острова, а я... я выбираю все тѣже темы и даже пользуюсь все тѣми-же поводами... Что дѣлать, читатель, что дѣлать! Всякому свое.

Вотъ какъ характеризуетъ Рикардо его почтенный переводчикъ: «Не говоря о твердомъ, ясномъ и послѣдовательномъ проведеніи начала, открытаго задолго до него, а именно начала, по которому цѣнность большей части продуктовъ основывается на издержкахъ производства или на количествахъ труда — Ри-

Рикардо первый изъ числа экономистовъ выяснилъ основной въ политической экономіи законъ взаимнаго отношенія двухъ составныхъ частей цѣны—прибыли и задѣльной платы, и показалъ, что размѣры ихъ обратно пропорціональны между собой. Этимъ въ первый разъ объективно и научно, хотя еще и безсознательно, указывалась истина, что интересы труда и капитала, развиваемые на полной свободѣ, отнюдь не тождественны, а противоположны. Изъ этого основнаго положенія Рикардо вывелъ рядъ важнѣйшихъ послѣдствій въ отношеніи къ образованію рентъ, къ распредѣленію всѣхъ трехъ отраслей дохода въ пространствѣ и во времени, къ вѣшной и внутренней торговлѣ, къ системѣ налоговъ и премій и т. д.» Въ пятидесятыхъ и въ самомъ началѣ шестидесятыхъ годовъ эти идеи Рикардо были въ Европѣ не въ аванжѣ. Такъ называемые экономисты съ почтеніемъ поминали имя Рикардо и видѣли въ немъ какъ бы своего предшественника, но не имѣли съ нимъ собственно ничего общаго, ни по приемамъ изслѣдованія, ни по содержанію своей доктрины. То была доктрина гармоніи интересовъ, развиваемыхъ на свободѣ, въ противоположность Рикардо, пришедшему, какъ мы видѣли, къ тому результату, что «интересы труда и капитала, развиваемые на полной свободѣ, отнюдь не тождественны, а противоположны». Только очень маленькая группа писателей, съ Миллемъ во главѣ, отчасти сохранила традицію Рикардо. Что же касается социалистовъ, то за весьма малыми исключениями они крайне враждебно относились къ классической политической экономіи и едва ли не враждебнѣе всѣхъ къ Рикардо, по разнымъ причинамъ, главнымъ образомъ конечно по недоразумѣнію игнорируя его научныя заслуги. Только позже прогремѣлъ по Германіи «железный законъ заработной платы» Рикардо, а еще позже явился трудъ Маркса, прямо призывающій къ Рикардо, минуя всю фалангу позднѣйшихъ европейскихъ экономистовъ. Такимъ образомъ въ пятидесятыхъ и въ началѣ шестидесятыхъ годовъ Рикардо былъ въ Европѣ совершенно затертъ какъ экономистами, такъ и социалистами. Поэтому усмотрѣть и оцѣнить его сквозь какія бы то ни было европейскія

очки было нельзя. Надо было быть лучше и сильнѣе вооруженнымъ, надо было обладать стройнымъ и совершенно определеннымъ міросозерцаніемъ, стоящимъ выше дѣленія на европейское и національное русское. Русская литература имѣ тогда обладала и потому дѣйствительно усмотрѣла и оцѣнила воззрѣнія Рикардо. Такъ какъ она относилась и къ этимъ воззрѣніямъ не попугаеобразно, а критически, такъ какъ далѣе она вводила въ кругъ своего изученія нѣкоторыя явленія русской жизни, мало доступныя, а въ то время и почти неизвѣстныя иностранцамъ, то я осмѣлился выразить три года тому назадъ слѣдующее сужденіе: «Эта русская литература оказывала такія важныя услуги даже чистой наукѣ, что будущій историкъ развитія экономическихъ идей въ Россіи отмѣтитъ ихъ съ величайшимъ почтеніемъ. Скажемъ больше. Будущій историкъ напишетъ: если бы въ это время русскій языкъ былъ извѣстенъ въ Европѣ, то европейская наука могла бы кое-чѣмъ позаимствоваться отъ этихъ якобы легкомысленныхъ и презирающихъ науку людей». Это сужденіе, я знаю, показалось вамъ слишкомъ смѣлымъ. Признаться, я и самъ не ожидалъ, что оно получитъ нѣкоторое подтвержденіе такъ скоро. Историка развитія экономическихъ идей въ Россіи—еще нѣтъ (я не могу признать таковымъ г. Кавелина), но въ замѣчательнѣйшемъ изъ современныхъ трудовъ по политической экономіи, далеко оставляющемъ за собой все, доселѣ въ этой сферѣ написанное, я встрѣтилъ самый лестный отзывъ о той русской литературѣ, которую вы, публицисты національнаго русскаго сознанія, оплевываете. Поэоръ той литературѣ, гдѣ за подобныя дѣянія подносятся лавровые вѣнки, гдѣ, фигурально выражаясь, «вѣшаютъ на вора крестъ, а не на крестъ вздѣваютъ вора», гдѣ провозвѣстниками обновленія провозглашаются... кто?—настоящее слово употребить не рѣшаюсь, недостаточно сильное—не хочу.

Скажутъ можетъ быть, что все это — не къ дѣлу, потому что дескать все-таки Рикардо, все-таки европеецъ. Объ этомъ нѣсколько подробнѣе ниже. Однако и теперь уже видно, что дѣло совсѣмъ не въ Рикардо а въ томъ, что литература умѣла

ориентироваться въ чрезвычайно запутанной и сложной сѣти теченій европейской мысли, выбирать изъ нея то, что въ данную минуту было презираемо или забыто всѣми европейскими партіями, и въ то же время высоко цѣнить явленія, сохранившіяся до этой данной минуты почти только въ одной Россіи, какъ община, въ Европѣ тогда тоже забытая или презираемая. Спрашивается теперь: какое же это было новое міросозерцаніе, въ чемъ состояла та новая точка зрѣнія, которая глядѣла выше и шире какъ европеизма, такъ и націонализма? Во имя чего и въ чемъ объединялись такія наприимѣръ, повидимому совершенно чуждыя другъ другу вещи, какъ европейская и притомъ вполне отвлеченная теорія Рикардо и русская крестьянская община? Самый бѣглый взглядъ на ту и другую можетъ уяснить въ чемъ дѣло. Основныя положенія Рикардо (не одного Рикардо, а въ большей или меньшей степени—всей классической политической экономіи, т. е. и Смита, и Мальтуса, и ихъ предшественниковъ: Рикардо выразилъ ихъ только всѣхъ яснѣе и послѣдовательнѣе) суть: 1) трудъ есть источникъ и мѣрило всякой цѣнности, 2) интересы труда и капитала, развиваемые на полной свободѣ, противоположны. Последнее одинъ экономистъ выразилъ съ неподражаемою силою въ короткой формулѣ: національное богатство есть нищета народа. Одно изъ показаній въ комиссіи для изслѣдованія нынѣшняго положенія сельскаго хозяйства очень характерно и прямо гласитъ, что русское (національное) сельское хозяйство процвѣтетъ только въ томъ случаѣ, если у крестьянъ (у народа) не будетъ собственныхъ хозяйствъ, каковыя гарантируются общиной. Это мнѣніе фактически вполне вѣрно и вполне подтверждается тою же теоріей Рикардо. Его держалась и русская литература пятидесятыхъ-шестидесятыхъ годовъ; но, въ противоположность упомянутому свидѣтелю въ комиссіи для изслѣдованія нынѣшняго сельскаго хозяйства, она не желала сдѣлать изъ Россіи второе изданіе Европы, не желала буквального повторенія всего европейскаго опыта и потому стояла за общину. Ясно значить какой цементъ связалъ двѣ, повидимому столь неподходящія вещи, какъ Рикардо и община:

интересы народа, — причѣмъ понятіе народа самымъ тщательнымъ, самымъ строгимъ образомъ отграничивались отъ понятія націи. На это обстоятельство я обращаю особенное вниманіе читателя.

Вотъ, значить, что «Недѣля» желаетъ вытравить изъ вашей памяти. Я далека отъ мысли предлагать вамъ рабское, подоби-страстное отношеніе къ чему бы то ни было, а тѣмъ болѣе къ такой литературѣ, которая сама была такъ свободна отъ идолопоклонства. Это было бы оскорбленіемъ ея памяти, пожалуй не меньшимъ того, которое наносится ей «Недѣлю». Нѣтъ, пятнадцать-двадцать лѣтъ прошли не даромъ; они выяснили не мало ошибокъ и увлеченій, потребовали дальнѣйшаго развитія, новыхъ приложений — все той же однако, я думаю, основной мысли, которая одушевляла литературу въ періодъ возрожденія. Не говоря уже о томъ сектантски-замкнутомъ движеніи, котораго талантливейшимъ представителемъ былъ Писаревъ, было бы смѣшно засиживаться даже на наиболѣе жизненныхъ сторонахъ старой литературы, оставляя ихъ безъ дальнѣйшаго развитія и разъясненія. Образцомъ такого засиживанья можетъ служить литературная дѣятельность г. Пыпина. Онъ — одинъ изъ живыхъ остатковъ литературы пятидесятихъ-шестидесятихъ годовъ, полнымъ представителемъ которой никогда однако не былъ, а многими своими сторонами даже всегда былъ и остается совершенно чуждъ ей. Специальнымъ предметомъ его изслѣдованій всегда былъ національный вопросъ, главнымъ образомъ, въ литературѣ и отчасти въ исторіи и политикѣ. Сообразно духу своего времени онъ, преимущественно въ борьбѣ съ славянофилами, рѣзко отрицательно относился ко всякому «націонализму» и отстаивалъ «единство цивилизаціи». Много весьма существенныхъ услугъ русскому обществу оказалъ онъ на этомъ поприщѣ. Но продолжая и донинѣ борьбу съ славянофилами все съ тѣмъ же азартомъ или вѣрнѣ съ тѣмъ же хладнокровіемъ и тѣми же пріемами, онъ обратился наконецъ въ нѣчто въ родѣ барона фон-Грюнвальдуса:

Баронъ фон-Грюнвальдъ,
Извѣстный въ Германьи,
Въ забрадѣ и латахъ
На камнѣ предъ замкомъ
Предъ замкомъ Амалъи
Сидитъ, принахмурясь!..

.....
Года за годами,
Бароны воюють,
Бароны пируютъ —
Баронъ фон-Грюнвальдъ
Все въ той же позицѣ
На камнѣ сидитъ...

Если баронъ фон-Грюнвальдъ есть г. Пыпинъ, то замокъ Амалъи конечно — «единство цивилизации». Этотъ замокъ прекрасной дѣвы (она—дѣва, это вѣрно: по крайней мѣрѣ она никого не родила и не родить) даетъ мнѣ отличный случай для разъясненія новаго слова, сказаннаго «Недѣлей». Такъ какъ при этомъ рѣчь будетъ объ «Отечественныхъ Запискахъ», то да позволено мнѣ будетъ, во избѣжаніе уличеній въ личномъ самолюбіи и раздраженіи, сдѣлать слѣдующее замѣчаніе: руководствуясь личнымъ самолюбіемъ, я долженъ бы былъ только благодарить «Недѣлю», ибо въ нѣкоторыхъ ея прошлогоднихъ статьяхъ мнѣ была отведена такая роль въ литературѣ, выше которой не можетъ быть... Я думаю, что это—недоразумѣніе со стороны «Недѣли»... Увѣряю васъ, что и это замѣчаніе мнѣ крайне непріятно дѣлать. Но я счелъ его нужнымъ, на всякій случай, потому что читатель бываетъ разный...

Въ своемъ очеркѣ литературы по вопросу объ общинѣ г. Кавелинъ касается и современной литературы, причемъ указываетъ даже на такіе труды, которые еще только имѣютъ появиться (г-жи Ефименко), но зато не упоминаетъ ни работъ г. Клауса, ни напимѣръ замѣчательной (таковой она признается всѣми знающими людьми, напимѣръ г. Е. Якушкинымъ) статьи г. Л—ша, напечатанной у насъ. Однако главная струя забвенія и презрѣнія все-таки устремлена на литературу пятидесятихъ-шестиде-

сѣтихъ годовъ. Обратное отношеніе мы видимъ у другого сотрудника «Недѣли», г. П. Ч. Правда, и онъ коритъ старую литературу за «европейскія очки», но находитъ для нея многія смягчающія обстоятельства. Главные же его громы направлены на литературу нынѣшнюю, причемъ больше всего достается «Отечественнымъ Запискамъ». Я уже упоминалъ, что возраженія г. Пыпина, «Дѣла» и газетныхъ хроникеровъ онъ только привалъ къ свѣдѣнію, тогда какъ мои побудили его написать довольно сердитый отвѣтъ. Точно также, въ статьѣ «Отчего безжизненна наша литература», онъ главнымъ образомъ занять промахами (или тѣмъ, что ему кажется промахами) «Отечественныхъ Записокъ». Обращая ваше вниманіе на эти мелочи, я не забываю, что это—мелочи, и значительно сокращаю относящіяся сюда факты. Я надѣюсь однако, что теперь, когда съ г. Кавелинымъ мы уже почти покончили, читатель убѣдился, что мелочи уясняютъ иногда очень многое. Другое отличіе г. П. Ч. отъ г. Кавелина состоитъ въ томъ, что послѣдній, въ сущности повторяя многія мысли литературы пятидесятихъ-шестидесятихъ годовъ, или молчитъ объ ней или презираетъ ее; г. же П. Ч. откровенно заявляетъ, что у него съ «Отечественными Записками» «много точекъ соприкосновенія».

Много или мало—это яснѣе обнаружится впоследствии, когда г. П. Ч. потрудится нѣсколько обстоятельнѣе и полнѣе развить свои взгляды, а теперь это—дѣло темное. Взять напримѣръ замкъ Амали, «единство цивилизаціи». Я противопоставилъ ему теорію типовъ и степеней развитія. О типахъ и степеняхъ развитія говоритъ также г. П. Ч., а вслѣдъ за нимъ и г-жа Ефименко. Но говоримъ ли мы одно и то же—это еще неизвѣстно. Теорія типовъ и степеней развитія не представляетъ по существу чего-нибудь новаго. Элементы ея даны и разработаны литературой 50—60-хъ годовъ; съ другой точки зрѣнія разработались они славянофилами еще съ сороковыхъ годовъ. Славянофилы вѣдь тоже предполагали, что Европа стоитъ на весьма высокой степени развитія, но что *типъ* національнаго русскаго развитія выше. Если этихъ словъ и не было говорено (да и то

было, именно, помнится, въ книгѣ г. Данилевскаго «Европа и Россія»), то суть была именно такова. Конечно та литература 50—60-хъ годовъ, о которой у насъ идетъ рѣчь, съ этимъ согласиться не могла и утверждала, что цивилизація едина и національностей не знаетъ. Изъ этого однако отнюдь не слѣдуетъ, чтобы ей чуждо было различіе типовъ развитія, независимо отъ его степени. Она разумѣется очень хорошо понимала, что напримѣръ средневѣковый и новѣйшій европейскій хозяйственный строй, или французская, англійская и русская системы землевладѣнія представляютъ совершенно кореннымъ образомъ различные типы, могущіе имѣть свои весьма различныя степени развитія. Если же она продолжала отстаивать «единство цивилизаціи», то въ томъ только смыслѣ, что историческій опытъ однихъ народовъ не долженъ проходить даромъ для другихъ; что между всѣми народами неизбѣжно происходитъ обмѣнъ идей; что типы развитія не замыкаются въ рамки національностей; что они могутъ переходить одинъ въ другой; что наконецъ европейскія массы, равно какъ и лучшіе умы въ Европѣ, чѣмъ дальше, тѣмъ больше тяготеютъ къ тому типу общественнаго строя, частное выраженіе и невысокую степень развитія котораго представляетъ наша община. Я глубоко убѣжденъ, что все это — сама истина, требующая только, какъ и всякая истина, разъясненія, болѣе точнаго формулированія, дальнѣйшаго развитія и новыхъ приложений. Такъ напримѣръ литература 50—60-хъ годовъ, если не исключительно, то преимущественно, подавляюще-преимущественно цѣнила въ быту русскаго народа общинное землевладѣніе. Въ пятнадцать-двадцать лѣтъ (и право этимъ нечего гордиться) могли открыться въ народной жизни другія не менѣе драгоцѣнныя явленія, а съ другой стороны и европейская исторія могла выставить новые факты. Въ сущности же положеніе г. Пыпина, какъ барона фон-Грюнвальдуса, нѣсколько комично не столько потому, что онъ

Все въ той же позиціи
На камнѣ сидитъ,

сколько въ силу свойствъ самой его «позиціи», въ силу ея односто-

ронности. Г. Пыпинъ всегда былъ этимъ грѣхомъ грѣшенъ, но нѣкогда односторонность его не бросалась такъ въ глаза, потому что уравновѣшивалась работами его сотрудниковъ. Теперь онъ такого уравновѣшиванія лишень, и потому-то такъ ясна дѣйственность его Амалии.

Итакъ, предлагая теорію типовъ и степеней развитія, я только обобщилъ и формулировалъ истѣны, давно пущенныя въ умственный обиходъ русскаго общества и отчасти забытыя. Я считаю ихъ достояніемъ драгоцѣннымъ и въ особенности рекомендую ихъ имѣть въ виду тѣмъ, кто хочетъ правильно размышлять о сложныхъ и запутанныхъ вопросахъ, въ которыхъ фигурируютъ смежныя, но не покрывающія другъ друга понятія націи и народа. Я не претендовалъ ни на какое «новое слово» — напротивъ: постарался отыскать его даже тамъ, гдѣ едва ли кто предполагалъ его найти—въ старыхъ сочиненіяхъ гр. Л. Толстого. Новое слово приписывается «Недѣлѣ», да она и сама въ этомъ кажется убѣждена. Чтѣ же она сказала? Отвѣчу прямо: «Недѣля» отчасти *почти буквально* (подчеркиваю) повторила все вышеизложенное, только бросивъ камень въ своихъ предшественниковъ, а отчасти подставила вмѣсто идеи народа идею націи. Изъ этой послѣдней операціи не могло выдти ничего разумѣется, кромѣ ряда противорѣчій, двусмысленностей и туманностей. «Дѣло» и г. Пыпинъ справедливо указали на близость новаго слова «Недѣли» съ идеями славянофиловъ и почвенниковъ. Разница однако въ томъ, что тѣ (въ особенности славянофилы) были несравненно цѣльнѣе, смѣлѣе, послѣдовательнѣе, потому что имъ не мѣшали ингредиенты литературы 50—60-хъ годовъ, которые «Недѣлю» хотя и презираются, но тѣмъ не менѣе эксплуатируются. Вы замѣтили конечно несправедливое показаніе г. Кавелина, будто община была въ глазахъ славянофиловъ воплощеніемъ высокаго христіанскаго идеала. Это конечно неправда, собственно не полная правда, потому что славянофилы видѣли въ общинѣ главнымъ образомъ продуктъ русскаго національнаго быта, хотя конечно приурочивали сюда и христіанство, точнѣе сказать православіе. Правда, г. Достоев-

скій (все-таки не чистый славянофилъ), въ послѣднемъ номерѣ своего «Дневника писателя», указываетъ на православіе, какъ на коренное начало русскаго народнаго духа, но этимъ отнюдь не исчерпывается славянофильская доктрина. Если же г. Кавелинъ поставитъ дѣло такимъ образомъ, то единственно потому, что и самъ онъ въ пику «европейскимъ очкамъ», склоненъ пристегнуть къ существительному «община» прилагательное «національный», а между тѣмъ объявить себя славянофиломъ не смѣетъ. Это комически наивное стремленіе сѣсть незамѣтно для публики между двухъ стульевъ въ г. Кавелинѣ еще не такъ сильно, какъ въ г. П. Ч. Г. Кавелинъ еще развѣ только въ помыслахъ о національной русской философіи обнаруживаетъ его.

Г. П. Ч. хочетъ «бороться съ застарѣлымъ мнѣніемъ, доставшимся въ наслѣдство отъ продолжительнаго періода, будто Россія только отстала отъ Занада, отличается отъ него единственно *степенью* развитія, тогда какъ центръ тяжести вопроса не въ степени, а въ *типѣ*, въ характерѣ развитія» («Нѣдѣля», 1875 г., № 44-й). Чтò-жъ! Это хорошо — боритесь, но помните, что борьбу вы можете вести двоякимъ образомъ. Или вы приурочите борьбу къ знамени національности — и тогда вы предадитесь хвастовству, исключительности и бессознательному выбору элементовъ народнаго русскаго быта — словомъ, болѣе или меньше повторите сказанное славянофилами. Или же вы выберете знамя народа — и въ такомъ случаѣ будете охотно черпать изъ европейскаго опыта и европейской науки, совершенно трезво относиться къ приснопомытнымъ особенностямъ русскаго народнаго быта и не откажете Европѣ въ возможности развитія по наилучшему типу, каковъ бы онъ ни былъ въ данную минуту — русскій или европейскій. Г. П. Ч. предпочитаетъ однако шествовать по обѣимъ этимъ путямъ сразу, отчего конечно происходитъ путаница. Уже призывъ къ борьбѣ съ «застарѣлымъ мнѣніемъ» оканчивается такимъ афоризмомъ: «а онъ (типъ развитія) у Россіи всегда былъ и впередъ будетъ иной». Не видать значить Европѣ лучшаго будущаго, какъ своихъ ушей! Вѣчно ей оставаться при ея теперешнемъ непривлекательномъ

(такъ характеризуетъ его самъ г. П. Ч.) типъ! Печально для Европы, но зато недурно для насъ. Я думаю даже, что не зачѣмъ бороться съ «застарѣлымъ мнѣніемъ», если такъ ясно, что типъ развитія нашего отечества всегда былъ и впередъ будетъ иной. Тамъ что ни говори, а «будетъ иной»... Это—примѣръ національной исключительности и вѣры въ какую-то таинственную, непреодолимую силу основъ народнаго быта, вѣры, которая надѣяла бы намъ много бѣдъ, еслибы могла укрѣпиться. А вотъ примѣръ національнаго хвастовства и безсознательнаго подбора элементовъ народнаго быта. Статья «Наша національная особенность» («Недѣля», № 31) начинается такъ: «Въ послѣднее время въ нашей умственной жизни сказывается одна рѣзкая особенность, которую я охарактеризовалъ бы такъ: сознаніе необходимости самобытнаго, національнаго направленія въ разныхъ сферахъ дѣятельности». Затѣмъ поминаются г. Кавелинъ съ его проэктомъ національной философіи, генералъ Фадѣевъ, г. Стронинъ, г. Энгельгардтъ, статья гр. Толстого о народномъ образованіи. «Даже,—продолжаетъ г. П. Ч.:—въ группѣ лицъ, которыя въ умственномъ отношеніи жили почти исключительно общечеловѣческими идеями, не замѣчая и не зная существующей Россіи, даже въ этой группѣ все болѣе и болѣе укореняется убѣжденіе въ необходимости сначала серьезно ознакомиться съ народнымъ бытомъ». Помянувъ еще русскую музыкальную школу и русскую школу живописи, г. П. Ч. объявляетъ, что «всѣ эти разрозненныя явленія говорятъ, каждое на своемъ языкѣ, что пора перестать мудрить надъ русскою жизнью по иностраннымъ образцамъ и книжкамъ. Это нужно выговорить отчетливо, безъ смягченій. ...Мы имѣемъ дѣло съ своеобразнымъ складомъ общества, который въ цѣломъ до сихъ поръ, правда, далеко уступаетъ европейскимъ порядкамъ, но зато имѣетъ много задатковъ развиться въ лучшее устройство скорѣе, чѣмъ остальная Европа, потому скорѣе, что пойдетъ иной дорогой. Истинно національное направленіе по моему мнѣнію въ томъ именно и состоитъ, чтобы сознательно идти этой дорогой, развивая тѣ бытовыя особенности, въ которыхъ заключается

залогъ лучшаго будущаго и отбрасывая безобразныя осадки, нанесенныя чисто посторонними историческими событіями въ родъ татарскаго ша». Изъ этого видно, что настоящія особенности русскаго быта всѣ превосходны и составляютъ залогъ лучшаго будущаго, а коли и попадаетъ что безобразное, такъ это—чисто посторонній осадокъ...

Это самохвалство и больше ничего. Сто разъ это было перемолото на славянофильскихъ мельницахъ, которыя своимъ появленіемъ говорили о моментѣ самобытнаго, національнаго развитія въ тысячу разъ опредѣленнѣе, чѣмъ генералъ Фадѣевъ или гг. Кюи и Стасовъ (національная русская музыка). Однако появленіе славянофиловъ окончилось ихъ исчезновеніемъ, да иначе и быть не могло, потому что принципъ національности способенъ прикрыть самыя разнообразныя вещи, и изъ-подъ этой покрывки каждый можетъ произвольно выуживать все что ему угодно, игнорируя остальное. А ужъ тутъ чего же ждать хорошаго? Вотъ напримѣръ г. П. Ч. говоритъ объ оригинальной, національной русской оперѣ. Одинъ пойметъ дѣло такъ, что надо брать сюжеты изъ русской жизни и вводить въ оперу народныя русскія мотивы; другой потребуетъ именно такихъ-то сюжетовъ, именно такого-то, а не иного освѣщенія явленій русской жизни, укажетъ напримѣръ на «Русалку», какъ на типическое либретто русской оперы; третій потребуетъ совсѣмъ другихъ, но тоже національных русскихъ драматическихъ мотивовъ; г. Кюи (глава вѣдь) скажетъ, что все это—пустяки: можно взять либретто изъ Гейне или изъ Виктора Гюго, но только выгнать мелодію и насадить речитативъ—это и будетъ оригинальная русская опера. А г. П. Ч. наконецъ увидитъ въ этомъ рѣшеніи одинъ изъ симптомовъ того, что пора, дескать, перестать мудрить надъ русскою жизнью по иностраннымъ книжкамъ. Или вотъ примѣръ изъ практики самого г. П. Ч. Даны два несомнѣнные, тысячами свидѣтелей засвидѣтельствованные факта. Во первыхъ крайне строгое, доходящее даже до звѣрства отношеніе крестьянъ къ преступникамъ, подлежащимъ (законно или незаконно) ихъ суду; во вторыхъ необычайно мягкое, гуманное отношеніе тѣхъ же крестьянъ

янтъ къ арестантамъ, каторжникамъ, къ «несчастливымъ», къ преступникамъ, осужденнымъ не ихъ, народнымъ судомъ. Конокрадъ или поджигатель, уличенный или пойманный на мѣстѣ преступленія самими крестьянами, подвергается жестокому истязаніямъ и иногда просто забивается до смерти; такой же конокрадъ, такой же поджигатель, проходя мимо деревни въ каждахъ, т. е. будучи осужденъ на «законномъ основаніи», получаетъ имя «несчастливаго», добрыя пожеланія, сочувствіе и дорогую лепту вдовицы. Обративъ вниманіе на это любопытное противорѣчіе, г. Е. Якушкинъ, человѣкъ очевидно хорошо знакомый съ великорусскимъ бытомъ, но не зараженный маніей націонализма, предположить, что на образованіе гуманнаго отношенія къ каторжнымъ, ссыльнымъ, острожникамъ имѣли вліяніе организація старыхъ судовъ и произволъ помѣщиковъ, ссылавшихъ своихъ крѣпостныхъ въ Сибирь. Мнѣніе г. Якушкина показалось мнѣ оригинальнымъ, вѣрнымъ, и я привелъ его въ «Запискахъ профана», сдѣлавъ нѣкоторые выводы. Г. П. Ч., возражая мнѣ, пишетъ: «Ученые люди только въ послѣднее время дошли, что потому-то и потому преступникъ скорѣе достоинъ сожалѣнія. А наши крестьяне давно зовутъ преступника «несчастливымъ» и (*Nota bene*) далеко не потому что онъ не имъ осужденъ. Прислушайтесь, что лежитъ въ основаніи ихъ взгляда: «не намъ судить!» Сколько непосредственной человѣчности въ этомъ простомъ: не намъ судить! Всего же лучше, что крестьяне относятся такъ не на словахъ только, а на дѣлѣ — матеріально помогаютъ изъ своихъ скудныхъ средствъ». Вотъ и извольте съ такимъ человѣкомъ разговаривать. Надобно, какъ въ сказкѣ про бѣлаго бычка, начинать съ начала: «не намъ судить!»—это прекрасно и дѣйствительно очень гуманно, но почему, когда народъ самъ судить, онъ бываетъ жестокъ до звѣрства? Вамъ опять отвѣтять лирикой и упорнымъ закрываніемъ глазъ на цѣлую серію несомнѣнныхъ явленій народнаго быта. Вы опять сказку про бѣлаго бычка и т. д., и т. д. Изъ такого отношенія къ дѣлу конечно ничего путнаго выйти не можетъ и прежде всего не можетъ сложиться пониманіе народной

жизни. Можетъ быть мнѣніе г. Якушкина совсѣмъ не вѣрно, можетъ быть гуманное отношеніе крестьянъ къ «несчастливымъ» допускаетъ и требуетъ совсѣмъ иныхъ объясненій. Но лирика и умышленная слѣпота конечно ихъ дать не могутъ. Отъ этого именно и славянофильство изморомъ кончилось. Еще одинъ примѣръ лирики и умышленной слѣпоты г. П. Ч., и я покопчу съ этой стороны его воззрѣній (у него есть другая, не впримѣръ лучшая). Обративъ его вниманіе на многія, крайне непривлекательныя стороны народнаго быта, я получилъ слѣдующій отвѣтъ: «Даны суевѣрія, идолопоклонство и иныя представленія, съ ними соприкасающіяся: по формѣ—грубо, аляповато, иногда просто возмутительно. А между тѣмъ тутъ въ зародышѣ лежитъ великое чувство: стремленіе подчинить свое эгоистическое я чему-то болѣе широкому, высшему, къ которому человѣкъ имѣетъ нравственныя обязанности и чему при случаѣ готовъ жертвовать своей личностью. Важнѣе всего, что это чувство не головное—какъ идейная любовь къ человѣчеству, съ которой у него много общаго—а физиологическое, насквозь проникающее душу и тѣло: простой человѣкъ диспутировать объ этомъ не станетъ и самъ не знаетъ, откуда оно взялось. Какіе чудные узоры могъ бы выткать, опираясь на это чувство, развитой умъ, вооруженный знаніемъ вѣка! И насколько эти узоры были бы выше и главное прочнѣе тѣхъ чисто головныхъ симпатій къ человѣчеству и общему благу, которыми пробавляется большинство такъ-называемыхъ образованныхъ людей! Смѣю думать, что многіе, съ высоты своего величія взирающимъ на народныя суевѣрія, нужно горько пожалѣть, что они вѣстѣ съ грубою внѣшностью, эмансипировались и отъ сути дѣла, за чтò теперь и расплачиваются своею нравственной дряблостью, которую не можетъ затушевать и излечить никакая головная начинка». Долженъ признаться въ своей слабости: я очень люблю оригинальныя мысли, да и въ самомъ дѣлѣ въ парадоксахъ почти всегда есть нѣчто освѣжающее, озаряющее. Поэтому мнѣ даже прискорбно, что приведенная мысль, несомнѣнно очень оригинальная, не имѣетъ рѣшительно никакого фактическаго основанія.

И я предполагаю, что г. П. Ч. здѣсь опять-таки умышленно закрываетъ глаза. Кому же въ самомъ дѣлѣ неизвѣстно, что зерно, ядро «суевѣрій и идолопоклонства»—совсѣмъ не таково? Кому неизвѣстно, что по крайней мѣрѣ рядомъ (это—большая уступка съ моей стороны) съ самопожертвованіемъ, суевѣрія и идолопоклонство всегда гарантировали пожертвованіе *чужою* личностью, ажъ до человѣческихъ жертвоприношеній и людоедства, которое также имѣетъ религіозную санкцію. Всякое идолопоклонство и кровь человѣческая—неразлучные спутники. Велика можетъ быть душевная сила турка, который въ эту минуту рѣжетъ голову христіанина, проникаетъ можетъ быть насквозь его душу и тѣло идея признанія надъ собой чего-то высшаго, онъ даже пожалуй и собой жертвуетъ, идя въ битву; но кромѣ крови, отсюда ничего не выходитъ. Велика душевная сила вдовы индуса, всходящей на костеръ, если она всходитъ на него добровольно, но что сказать о тѣхъ суевѣріяхъ, которыя установили этотъ обычай, равно какъ и обычай убійства слугъ и рабовъ на могилѣ благороднаго человѣка? Самаго поверхностнаго знакомства съ исторіей суевѣрій и идолопоклонства достаточно, чтобы убѣдиться, что стремленіе подчинить свое эгоистическое я чему-то высшему играло тутъ ничтожную роль. Оно есть явленіе очень позднее; да и то мученики всегда предполагаютъ мучителей, стоящихъ на одной съ ними почвѣ, хотя и поклоняющихся другимъ идоламъ. Въ огромномъ, подавляющемъ большинствѣ случаевъ, идолопоклонство только санкціонируетъ совершенно эгоистическія стремленія сильныхъ, причемъ слабые приносятся въ жертву. Есть конечно и такіе случаи, когда суевѣрія и идолопоклонство не имѣютъ такого характера и когда личность, чувствуя свою слабость, бѣжитъ подъ защиту или спасается отъ угрозъ созданнаго ею сонма идоловъ или лѣпшихъ, домовыхъ и т. п. Полагаю, что стремленіе, о которомъ говорить г. П. Ч., тутъ по малой мѣрѣ не при чемъ.

Будетъ. Г. П. Ч. не только такія вещи говорить, онъ способенъ разсуждать здраво, отдавая себѣ ясный отчетъ въ произносимыхъ имъ словахъ. Четыре или пять статей его, напе-

читанныхъ въ «Недѣлѣ», заключаютъ въ себѣ, наряду съ туманностями и путаницей, мысли очень вѣрныя и очень хорошо изложенныя, которыя я рекомендую вниманію читателя, какъ рекомендую и статью г. Кавелина объ общинномъ землевладѣніи. Я могу здѣсь замѣтить только общій характеръ ихъ. Но для этого посмотримъ сначала, чѣмъ недоволенъ г. П. Ч. въ современной литературѣ и чего онъ отъ нея требуетъ.

Г. П. Ч. очень строгъ. Онъ утверждаетъ, что вся современная литература не знаетъ Россіи, не хочетъ ее знать, смотритъ на нее сквозь европейскія очки, пробавляется «вышесными идеалами» и иностранными книжками, черпаетъ свои задачи не изъ русской жизни и т. п. Одно возраженіе г. Пыпина на это огульное обвиненіе выражено такъ хорошо, что мнѣ остается только повторить его. «Неужели дѣйствительно,—говоритъ г. Пыпинъ:—напримѣръ Щедринъ не видалъ губернскаго города, Писемскій смотрѣлъ сквозь заграничныя очки, Некрасовъ не имѣетъ понятія о деревнѣ, Тургеневъ или Островскій не видали провинціи, Рѣшетниковъ или Скалдинъ писали по заграничнымъ книжкамъ и т. д. и т. д.? Наконецъ и люди, живущіе въ Петербургѣ, неужели видятъ русскую жизнь издали? Намъ кажется наоборотъ, что нѣкоторыя весьма существенныя стороны ея они видятъ такъ близко, какъ едва ли кто можетъ видѣть въ провинціи» («Вѣстникъ Европы», № 1). Это простое замѣчаніе хорошо тѣмъ, что не только устраняетъ добрую половину нареканій г. П. Ч., но указываетъ на несостоятельность самаго его приема. Въ самомъ дѣлѣ, поименованные писатели извѣстны намъ, такъ сказать, съ головы до ногъ: мы знаемъ, что они въ провинціи бывали, деревню видали, а кое-кто можетъ быть даже ни одной иностранной книжки не читалъ. Но вѣдь это—случайность, т. е. случайно знаемъ мы объ нихъ все это. А собственно нѣтъ и не можетъ быть, да и неужно пожалуй такой статистики, которая могла бы подтвердить или опровергнуть показанія г. П. Ч. Но дѣло въ томъ, что замѣчаніе г. Пыпина до такой степени просто, что трудно допустить, чтобы оно не приходило въ голову самому

г. П. Ч. Я склоненъ думать, что онъ это только съ горяча, съ разбѣгу объявилъ: никто не бывалъ въ провинціи, никто не видалъ деревни; что хотя онъ и очень сильно напиралъ на этотъ пунктъ, но желаетъ сказать нѣчто другое. Знаніе народной жизни есть дѣло насущнѣйшей необходимости — это несомнѣнно. Литература въ цѣломъ обладаетъ имъ въ очень недостаточной степени — это опять несомнѣнно. Но кажется здѣсь дѣло не въ одномъ знаніи. П. И. Мельниковъ напримѣръ вѣроятно хорошо знаетъ многія стороны русской народной жизни, знакомства-же съ иностранными литературами по крайней мѣрѣ не обнаруживаетъ, но я сомнѣваюсь, чтобы его дѣятельности удовлетворяла г. П. Ч. Біографія г. Фауста Щигровскаго Уѣзда мнѣ неизвѣстна, и право я объ этомъ рѣшительно не жалѣю: уроженецъ ли онъ Офицерской улицы или знаетъ вдоль и поперекъ Щигровскій и многіе другіе уѣзды, онъ все равно ровно ничего не понимаетъ въ занимающихъ насъ здѣсь вопросахъ. Г. Фетъ живетъ кажется безвыѣздно въ деревнѣ, но я не думаю, чтобы его уличенія мужика въ разныхъ пакостяхъ заставляли сердце г. П. Ч. биться сочувственно. Все это, повторяю, такъ просто, такъ понятно, что не могло не представляться уму самого г. П. Ч., если не съ полною ясностью, то хоть какъ-нибудь въ полу-туманѣ. Что-же онъ хотѣлъ сказать? Г. П. Ч. заявляетъ теперь, что, говоря о «людяхъ деревни», онъ очень хорошо помнилъ крайнее разнообразіе, а также очевидную непривлекательность многихъ особенностей народнаго русскаго быта; онъ очень хорошо понималъ, что надо сдѣлать извѣстный выборъ среди этихъ особенностей. Онъ только утверждаетъ, что «сдѣлать этотъ выборъ удовлетворительно могутъ только тѣ, которые *вмѣсто того, чтобы исходить изъ абстрактнаго челоовка*, существующаго внѣ времени и пространства, и *навязывать* (курсивъ принадлежитъ г. П. Ч.) свой выборъ, предварительно ассимилирують наслѣдство русской деревни, психологически сродутся съ нимъ и уже тогда станутъ пускаться въ обобщенія. Это и будутъ «люди деревни», которые одни способны оживить нашу литературу. Sapienti sat». («Недѣля»

1876, № 2). Sapiienti конечно sat. Sapiienti может быть и совсѣмъ статьи г. П. Ч. не нужны. Но вѣдь онъ имѣетъ дѣло не съ мудрецами, а съ публикой, съ массой читателей, которая естественно требуетъ нѣсколько большей ясности мысли. Ея только требую и я, потому что чрезвычайно заинтересованъ вообще образомъ мыслей г. П. Ч. Взявъ на себя трудъ привести мыльный пузырь «Недѣли» къ его естественному концу и исполняя эту черную работу, такъ сказать, документально и, какъ надѣюсь повѣрить читатель, съ порядочной скукой для себя, я хотѣлъ-бы однако бережно отдѣлать и указать все дѣйствительно цѣнное. Тѣмъ болѣе, что рѣчь идетъ о дѣлѣ, интересующемъ меня, какъ профана, больше всего на свѣтѣ, больше даже гг. Менделѣева, Вагнера и тѣхъ графинь и бароновъ, которые подписали протестъ противъ отчета коммисіи для изслѣдованія спиритическихъ явленій, хотя пульсъ нашей общественной жизни едва ли не энергичнѣе всего бьется на этомъ пунктѣ. Нѣчто, дѣйствительно цѣнное, можетъ быть и не быть въ приведенной мысли г. П. Ч., равно какъ и въ «Недѣлѣ» вообще, смотря по дальнѣйшему ея развитію. Опять-таки одно изъ двухъ: или это—старая славянофильская дребедень со всею ея неопредѣленностью, безсознательностью и произвольностью, или прямое наслѣдіе (не говорю: повтореніе) литературы 50—60-хъ годовъ. Можетъ быть конечно еще третій исходъ, именно — стремленіе сѣсть незамѣтно для публики между двухъ стульевъ. Во всякомъ случаѣ хорошая мысль должна быть выражена по возможности ясно, иначе хоть бы ея и не было, иначе она можетъ только плодить недоразумѣнія.

Мысль о «народно-психологической подкладкѣ» очень нравится «Недѣлѣ». Она развиваетъ ее и въ редакціонной статьѣ на новый годъ «Наши задачи». Нельзя впрочемъ сказать *развиваетъ*, потому что дѣло выясняется весьма мало. Трудно даже разсказать, какъ понимаетъ «Недѣля» народно-психологическую подкладку, а выписывать не хочется, потому что выписокъ кажется уже довольно. Почтенная газета прямо заявляетъ, что надо отбросить, при оцѣнкѣ явленій русской жизни, европейскіе

шаблоны, но продолжать однако учиться у Европы, «такъ же учиться, какъ мы учились до сихъ поръ». Это, если хотите — наиболѣе ясная, но и наименѣе оригинальная часть profession de foi почтенной газеты. Выражая его, она становится въ ряды работниковъ мысли, давно, какъ уже читатель знаетъ, пущенной въ обиходъ нашей умственной жизни, хотя часто, слишкомъ часто забываемой. Да, это прекрасно, будемъ учиться у Европы, но такъ, какъ подобаетъ учиться взрослымъ людямъ: будемъ руководствоваться ея историческимъ опытомъ, выбирая изъ него подходящее и отбрасывая неподходящее; будемъ изучать ея мыслителей — ничего, что это не наша національная философія, а «иностранныя книжки» — но будемъ изучать критически и прилагать западныя теоріи осмотрительно, какъ потому, что они и сами по себѣ, у себя на родинѣ могутъ оказаться ошибочными, такъ и потому, что условія нашей жизни имѣютъ свои особенности. Будемъ дѣйствовать такимъ образомъ и мы будемъ честными работниками идеи, вотъ уже лѣтъ пятнадцать почти не изсякающей въ русской литературѣ, хотя и пробивающейся иногда едва замѣтной, тонкой струей. Будемъ охранять ее отъ чьихъ бы то ни было и какихъ бы то ни было наскоковъ и расширять, непремѣнно конечно расширять, т. е. дополнять и развивать.

Но это — только общая формула, въ которую надо влить определенное содержаніе, надо выяснитъ какіе именно уроки должны мы получить отъ Европы, какія изъ особенностей русской жизни заслуживаютъ положительнаго и какіе — отрицательнаго вниманія. И для этого имѣются въ литературѣ кое-какія указанія, даже не кое-какія; но ничто не мѣшаетъ конечно «Недѣлѣ» стоять въ совершенной независимости отъ нихъ. До сихъ поръ въ извѣстной части литературы, наиболѣе все-таки, я думаю, удовлетворяющей требованіямъ «Недѣли», наблюденія надъ русскою жизнью, выводы изъ этихъ наблюденій, опытъ европейской исторіи и научныя теоріи комбинировались вокругъ интересовъ народа, какъ центра. Счастливымъ образомъ (иначе впрочемъ и быть не могло) оказывалось, что напрямѣръ тѣ

самыя экономическія теоріи, которыя фактически въ европейскомъ опытѣ такъ могущественно послужили враждебной народу буржуазіи, ложны именно по стольку, по сколько они играли эту роль; содержавшееся же въ нихъ зерно истины, будучи добыто изъ-подъ шелухи, оказалось совершенно иного свойства. Мы (я разумѣю упомянутую часть литературы, къ которой съ гордостью причисляю и себя) взяли это зерно, ассимилировали его, дѣлали изъ него выводы и ставили такимъ образомъ на стражѣ интересовъ народа самую науку. Счастливымъ образомъ (на этотъ разъ дѣйствительно счастливымъ, потому что могло бы быть и иначе) значительная часть русскаго народа сохранила общину до нашего времени, когда наука и опытъ, теорія и практика достаточно вооружили насъ для надлежащей ея оцѣнки. Она оказалась важной гарантіей интересовъ народа, и мы приняли ее. И т. д., и т. д. Жизнь идетъ впередъ, возникаютъ новыя научныя и философскія теоріи, но онѣ не застаютъ насъ врасплохъ; мы встрѣчаемъ ихъ, какъ и факты дѣйствительной жизни, насколько они доступны нашему обсужденію, критически приурочивая свою критику все къ тому же центру, который естественно становится намъ все дороже. Возможны конечно ошибки, недосмотры, торопливость рѣшенія и т. п.; безъ сомнѣнія ихъ не мало, но вѣдь не въ нихъ и дѣло. Мы говоримъ только о направленіи дѣятельности, а оно прежде всего — ясно. Ни русское, ни европейское происхожденіе не гарантируютъ въ нашихъ глазахъ доброкачественности теоріи или факта. Среди интимнѣйшихъ подробностей народнаго быта мы готовы встрѣтить, не закрывая глазъ, черты прямо враждебныя интересамъ народа; среди самыхъ блестящихъ европейскихъ научныхъ теорій — черты, антипатичныя съ этой же точки зрѣнія и по тому самому невѣрныя (причемъ дѣло идетъ не о фактахъ наблюденія, отъ которыхъ мы не отворачиваемся, а объ ихъ освѣщеніи, обобщеніи); точно также не усомнимся мы извлечь изъ «иностранный книжки» нѣчто подходящее къ нашему верховному критерию. Это не отъ того зависитъ, чтобы мы обладали какими-нибудь необычайными, чрезвычайно самостоятель-

ными умами. Нѣтъ, умами и талантами мы ужъ конечно меньше всего хвастаемся. Дѣло гораздо проще. Определенное міросозерцаніе, сохранившееся въ главныхъ своихъ чертахъ два поколѣнія, сообщаетъ чутье, почти инстинктъ, который почти механически высасываетъ изъ каждаго даннаго явленія все подходящее и отбрасываетъ неподходящее. Какъ сложилось это направленіе и чѣмъ оно поддерживается — здѣсь говорить не мѣсто. Но мнѣ хотѣлось бы все-таки сказать на этотъ счетъ нѣсколько словъ, лучше сказать, кое-что напомнить, собственно для выясненія нижеслѣдующаго. Я давно уже отмѣтилъ тотъ фактъ, что въ годину нашего общественнаго возрожденія всплыли наверхъ и завладѣли движеніемъ двѣ группы людей, которыхъ я называлъ разnochинцами и кающимися дворянами. Первые, выйдя изъ низшихъ слоевъ общества, были болѣе или менѣе близки къ народу (ихъ дѣдъ сплосъ и рядомъ, какъ у Базарова, землю пахалъ), знали его и принимали его интересы непосредственно къ сердцу, такъ что элементъ «чисто головной», какъ любить теперь укорительнымъ тономъ говорить «Недѣля», вовсе не игралъ исключительной роли. Кающіеся дворяне, чуткія души изъ привилегированныхъ классовъ, пристали къ разnochинцамъ опять-таки далеко не одними головами. Напротивъ; они влагали въ дѣло подчасъ даже слишкомъ много сердца. Чувства, въ ущербъ «чисто-головному» элементу. Чувство это было—чувство отвѣтственности за свое привилегированное положеніе, страстное желаніе омыть грѣхи прошлаго и смыть всѣ его слѣды, стать лучше и чище. Нѣтъ нужды припоминать судьбу этихъ двухъ совмѣстныхъ теченій, которыя то сходились, то расходились, то твердо шли впередъ, то сбивались съ прямого пути. Это—исторія. Я напоминаю ее только для того, чтобы показать, что интересы народа стали намъ дороги по двумъ различнымъ причинамъ: однимъ—по близости къ народу, другимъ—по оторванности отъ него. Послѣдній случай любопытенъ по тому длинному обходу, который нужно было сдѣлать, чтобы придти этимъ путемъ къ нашему міросозерцанію. Самая трудность этого обхода отчасти оправдываетъ то уклоненіе въ

сторону, виновниками котораго въ литературѣ были Писаревъ и его школа. Но самое теченіе не изсякло. Кающіеся дворяне не исчезли. Ихъ мучить все та же старая душевная боль за свое положеніе. Они наконецъ видятъ, что этотъ самый народъ, невѣжественный и нищій, съ точки зрѣнія спокойствія совѣсти выше ихъ, какія бы звѣзды они ни хватали съ неба и даже чѣмъ больше они ихъ хватаютъ; онъ выше не по какимъ-нибудь своимъ національнымъ особенностямъ, а потому что онъ—народъ.

Г. П. Ч. сейчасъ поможетъ мнѣ еще уяснить дѣло. «Недѣля» не одобряетъ того направленія, которое я старался по возможности коротко характеризовать. Она или умалчиваетъ о немъ или бросаетъ въ него европейскими очками, или просто плюетъ. Сама она смотритъ на дѣло вотъ какъ. Упомянувъ о непригодности для насъ европейскихъ шаблоновъ, не исключаящей надобности учиться у Европы, редакция почтенной газеты заявляетъ, что недостаточно однако простого знакомства съ фактами русской жизни: «ихъ еще нужно *почувствовать*, нужно сродниться, сродиться съ здоровыми элементами этой жизни, нужно приобрести то, что мы назвали бы *народной психической подкладкой*» (курсивы «Недѣли»). Идеаловъ своихъ «Недѣля» хочетъ однако искать «не въ избѣ, не въ нынѣшнихъ крестьянскихъ представленіяхъ, съ битьемъ женъ, съ сѣченіемъ дѣтей, суевѣріемъ, предрасудками и т. п.; эти идеалы, какъ продуктъ высокаго умственнаго развитія, могутъ вырабатываться только людьми высоко развитыми и способными къ самостоятельному мышленію; но эти люди прежде всего должны быть одарены чутьемъ, пониманіемъ народныхъ инстинктовъ и стремленій—словомъ тѣмъ, что мы назвали *народной психической подкладкой*». Это — тѣ же «люди деревни» г. П. Ч. и столь же неудобопонятные. Напрасно только и редакция не прибавила въ концѣ: *sapienti sat*. Мы бы ужъ такъ и знали, что «Недѣля» для мудрецовъ издается, а для насъ, для профановъ, всѣ эти разсужденія представляютъ только хожденіе вокругъ да около. Въ самомъ дѣлѣ, намъ говорятъ, что необхо-

димо сродниться съ *здоровыми* элементами русской жизни и потому уже, благословясь, писать; но намъ не указываютъ, въ чемъ состоятъ эти здоровые элементы, да и не смѣютъ указать, потому что это будетъ во всякомъ случаѣ произвольно: г. Достоевскій будетъ называть здоровыми одни элементы, «Недѣля» — другіе, я — третьи и т. д., и съ мистической «народной психической подкладкой» въ этомъ разнообразіи не разберешься.

До сихъ поръ редакція «Недѣли» и г. П. Ч. только повторяютъ другъ друга. Но къ счастью г. П. Ч. дѣлаетъ шагъ дальше. Онъ ясно понимаетъ, что жизненный вопросъ состоитъ въ какомъ-то общеніи между нами и народомъ, что мы должны что-то дать ему и взаменъ что-то получить, что наша роль состоитъ не въ томъ только, чтобы просвѣщать, а и въ томъ, чтобы просвѣщаться. Онъ даетъ даже замѣчательно определенную формулу этого общенія. Всякое міросозерцаніе, говоритъ онъ, складывается изъ двухъ моментовъ: нравственнаго и умственнаго. Мы должны дать народу свое умственное развитіе, а у него позаимствоваться нравственнымъ моментомъ («Недѣля», № 5). Какъ просто! Возьми двѣ группы, разрѣжь ихъ пополамъ, правую половину первой группы приставь къ лѣвой половинѣ второй, а остальное выбрось за окно... Хорошо говорить: дадимъ народу нашу науку («идеи и фактическія знанія») и возьмемъ у него нравственность («нравственные задатки»); но, оставляя пока послѣдніе въ сторонѣ, я не рѣшусь внушить народу многое изъ запаса науки и главнымъ образомъ потому, что операція съ двумя группами невозможна. Не говоря уже о наукахъ социальныхъ, въ которыхъ нравственный моментъ такъ рѣзко проникаетъ моментъ умственный, я лично убѣжденъ, что, напримѣръ дарвинизмъ, какъ чисто біологическая доктрина, обязана своимъ происхожденіемъ въ значительной степени нравственно-политическому состоянію современной Европы. Пройдутъ какихъ-нибудь два поколѣнія, можетъ быть даже меньше, даже навѣрное меньше, если конечно нравственно-политическое состояніе Европы сдѣлаетъ тѣ успѣхи, какихъ можно ожидать — и борьба за существованіе, какъ творческій принципъ,

будетъ сдана въ архивъ. Конечно это только мое личное убѣжденіе, но во всякомъ случаѣ очевидно, что не всѣ же наши «идеи» имѣемъ мы право совать народу, даже еслибы онъ былъ готовъ къ ихъ воспринятію. Опять-таки нуженъ выборъ. Нуженъ выборъ и среди «нравственныхъ задатковъ» народа, потому что тамъ тоже всяко бываетъ. Укажите мнѣ точку зрѣнія, съ которой этотъ выборъ возможенъ, да не ссылайтесь на русскую народную психологическую подкладку, потому что, вы видите, она бесплодна, какъ весталка, какъ и ея прямая противоположность—дѣвица Амалья, возлюбленная барона фонъ-Грюнвальюса.

Но вотъ наконецъ еще одно объясненіе г. П. Ч., съ которымъ я уже неизбежно долженъ совершенно согласиться. Онъ, я долженъ признаться, очень ловко это устроилъ.

«Нравственные задатки у простонародья вообще, а у нашей деревни въ особенности—правдивѣе, чѣмъ у культурныхъ классовъ, которые у насъ страдаютъ отсутствіемъ историческаго нравственнаго наслѣдства, а на Западѣ, хотя и имѣютъ это наслѣдство, но оно, вообще говоря, неудобнаго свойства. Многое есть на это причинъ. «Цивилизованный» человѣкъ, вообще говоря, находится въ ненормальномъ положеніи относительно простонародья; всякій это чувствуетъ, понимаетъ—и тѣмъ глубже, чѣмъ онъ образованнѣе—и все-таки остается на своемъ мѣстѣ. Подобный сознательный разладъ, дающій себя чувствовать во всякой мелочи и притомъ постоянно, изо дня въ день, не можетъ не отразиться на нравственной фізіономіи. Это — одна сторона дѣла. Затѣмъ товарное хозяйство, порождая *bellum omnium contra omnes*, медленно, но неизбежно подтачиваетъ истинное основаніе нравственности — общественный инстинктъ: причѣмъ подборъ дѣйствуетъ въ направленіи выживания тѣхъ, которые при прочихъ равныхъ обстоятельствахъ обладаютъ болѣе эгоистическими наклонностями; «приспособленіе», происходящее въ этомъ смыслѣ, угрожаетъ опасностью уже прямо человѣческой природѣ. Товарное хозяйство, котораго коренныя свойства обнаруживаются съ полной силой только съ того мо-

мента, какъ оно сдѣлалось преобладающимъ, еще не успѣло наложить своего рокового клейма на наше крестьянство—въ этомъ его великое преимущество. Наконецъ общинныя и артельныя привычки слишкомъ крѣпко срослись съ нашимъ крестьянствомъ: не смотря на быстроту измѣненія нравовъ, характеризующую наше время, они, смѣю надѣяться, пережили бы не на одинъ десятокъ лѣтъ даже фактическое уничтоженіе деревенской общины. Всѣ эти обстоятельства, вмѣстѣ взятые, дѣлаютъ нравственные задатки крестьянства — не говорю прочнѣе: это вѣдь—давнее наслѣдство, а здоровѣе, правдивѣе, человѣчнѣе наконецъ, чѣмъ даже у тѣхъ группъ, которымъ приходится говорить: я—самъ предокъ (надѣюсь, что потомковъ франковъ и нормановъ и г. М. не станетъ отстаивать въ этомъ отношеніи)».

О конечно не стану. Даже потомковъ коренныхъ славянъ, изъ которыхъ нѣтъ ни капли франкской, норманской и какой бы то ни было другой инородческой крови, и тѣхъ не стану отстаивать. Да и вообще не стану возражать г. П. Ч. За приведенныя строки, въ которыхъ отчасти такъ искусно резюмированы нѣкоторыя главы «Записокъ профана», я могу только благодарить г. П. Ч. Да еще любоваться ловкостью полемическаго приѣма возраженія мнѣ моими собственными мыслями и словами, по пословицѣ: моимъ же добромъ, да мнѣ же челомъ. Какъ тутъ не согласиться? И такъ какъ мы наконецъ напали на пунктъ полнѣйшаго согласія, то, отправляясь отъ него, можетъ быть и договоримся до чего-нибудь путнаго. Изъ приведенныхъ строкъ можно вывести слѣдующія заключенія. Благодаря многоразличнымъ историческимъ условіямъ, народъ нашъ сохранилъ у себя до сихъ поръ тотъ хозяйственный типъ, который нѣкогда былъ распространенъ едва ли не по всему міру. Значить ничего специально русскаго, національнаго въ немъ нѣтъ («это надо выговорить отчетливо, безъ смягченія»,—говоритъ г. П. Ч., впрочемъ по другому и отчасти даже противоположному поводу). Въ этомъ типѣ люди суть «полные носители культуры своего времени и мѣста», говоря словами Шиллера;

«сами удовлетворяютъ всѣмъ своимъ человѣческимъ потребностямъ», говоря словами гр. Л. Толстого; не имѣютъ «товарнаго хозяйства», говоря словами г. П. Ч. (собственно не г. П. Ч., а одной «иностранной книжки», именно «Капитала» Маркса). Этотъ порядокъ не позволяетъ жить одному члену общественной единицы насчетъ другого или по крайней мѣрѣ не даетъ самъ по себѣ (а онъ къ сожалѣнію рѣдко бываетъ «самъ по себѣ», т. е. не осложняясь посторонними явленіями), не даетъ разыграться такому паразитизму. Общество можетъ быть бѣдно, можетъ быть богато, но это ничѣмъ не отзывается на его внутреннихъ распорядкахъ, на взаимныхъ отношеніяхъ его членовъ *). Понятно, что такой строй жизни помимо своего экономического значенія долженъ благопріятствовать высокому нравственному развитію, какую бы формулу нравственности вы ни избрали. Сохранивъ этотъ старый хозяйственный типъ, народъ русскій сохранилъ разумѣется и соотвѣтственные «нравствен-

*) Мѣсяца два тому назадъ въ «Русскомъ Мірѣ», а потомъ и въ другихъ газетахъ, явилась изъ Тамбовской губерніи слѣдующая «выписка изъ курьезнаго прошенія уполномоченныхъ крестьянъ въ уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе»: «На общественныхъ сходахъ почти-что вездѣ одинъ порядокъ. Мирѣды говорятъ, а бѣдные собираются только, чтобы слушать ихъ разговоры. А между тѣмъ равную повинность отбываютъ, и еще богатые закладываютъ себѣ бѣдныхъ за подати, но землянымъ надѣломъ пользуются не равно: полевая общественная земля наша при дѣлежѣ на душу остается отъ всякаго столба и остатки составляютъ значительную часть земли, которая не дѣлится по душамъ, а отдается за вино и за бездѣнокъ. Кто отдастъ, тѣ и пользуются всѣми правами; а прочіе отбываютъ денежные и натуральныя тяготы болѣе первыхъ, отъ неполнаго надѣла земли, почему терпятъ еще большую бѣдность, доходящую до послѣдняго куска хлѣба, но еще менѣе могутъ выносить подати. А по сему, покоровѣше просимъ: *отдѣлить бѣдныхъ крестьянъ въ особое сельское общество отъ богатыхъ*». Газеты наши по этому поводу только и сумѣли сказать, что это—выписка изъ «курьезнаго» прошенія. На самомъ дѣлѣ однако это—не курьезъ, а драгоценный матеріалъ для оцѣнки значенія общины. Не смотря на всю тяжесть своего положенія, крестьяне требуютъ не замѣны общиннаго владѣнія участковымъ, а отдѣленія бѣдныхъ крестьянъ въ особое сельское общество отъ богатыхъ, т. е. болѣе строгаго примѣненія общиннаго принципа.

ные задатки». Получить ихъ отъ народа было бы для насъ великимъ благомъ и прежде всего успокоеніемъ совѣсти, потому что «цивилизованный» человѣкъ дѣйствительно находится въ фальшивомъ положеніи относительно народа, т. е. не всякій конечно цивилизованный человѣкъ, а только тѣ чуткія натуры, въ которыхъ совѣсть разбужена.

Вотъ что значитъ попасть на пунктъ полнѣйшаго согласія. Мы сразу сдѣлали чрезвычайно важный шагъ въ опредѣленіи элементовъ обмѣна между нами и народомъ: отъ него желательно получить совсѣмъ не нравственный моментъ вообще, а тѣ именно нравственные задатки, которые вытекаютъ изъ его экономической независимости, изъ способности самому удовлетворять свои человѣческія потребности. Но мы сдѣлаемъ и еще шагъ, и не одинъ, все отправляясь отъ того же пункта полнѣйшаго согласія. Дѣло въ томъ, что еслибы «наслѣдство деревни» только и состояло изъ упомянутыхъ нравственныхъ задатковъ, такъ не пришлось бы намъ и разсуждать теперь такъ много и такъ долго о «Недѣлѣ», о русскихъ литературныхъ партіяхъ и т. д. Ничего бы этого не было, и вообще совсѣмъ иной видъ имѣло бы и наше отечество, и весь міръ. Но старый хозяйственный типъ подвергался очень многимъ и крайне разнообразнымъ постороннимъ вліяніямъ, и подъ этими-то вліяніями въ Европѣ почти совсѣмъ исчезъ, а у насъ по крайней мѣрѣ осложнился, вслѣдствіе чего потерпѣли осложненія и вытекающіе изъ него нравственные задатки. Загорались войны, являлись побѣдители и побѣжденные рабы, что прямо клиномъ врѣзывалось въ мораль стараго хозяйственного типа. Слабый и неопытный умъ создавалъ рядъ ложныхъ боговъ, а идолопоклонство и суевѣрія, какъ уже было замѣчено, почти всегда санкціонируютъ жертву одной личности для другой. Семейныя отношенія складывались несоотвѣтственно морали стараго хозяйственного типа, жена и дѣти признавались почти рабами. И т. д., и т. д. Всѣ эти бури, пронесившіяся надъ русской деревней, надъ русскимъ народомъ, оставляли по себѣ слѣды, запятнавшіе нравственные задатки стараго хозяйственного типа. Ужъ конечно крѣпостное право

шло прямо въ разрѣзъ съ этими задатками и не могло не привить народу совѣтъ иныхъ нравственныхъ качествъ, а народъ русскій не одно крѣпостное право вытерпѣлъ. Мимоходомъ сказать, если старый хозяйственный типъ отнюдь не можетъ быть названъ нашимъ національнымъ достояніемъ, то совокупность всѣхъ много-различныхъ историческихъ осадковъ вполне заслуживаетъ этого названія. Дѣйствительно, старый хозяйственный типъ существовалъ вездѣ и потому не можетъ быть пріуроченъ къ какой-нибудь одной національности. Историческія же условія, видоизмѣнявшія его, войны и другія столкновенія различныхъ группъ людей, комбинируясь въ различныхъ мѣстахъ и въ различное время подъ вліяніемъ тысячи случайностей крайне разнообразно, положили основаніе дѣйствительнымъ національнымъ отличіямъ (я не упускаю изъ виду вліяніе природы, стихійныхъ силъ, а только не ввожу его въ свои соображенія). Но это—мимоходомъ. Такимъ-то значить образомъ въ народѣ русскомъ, рядомъ съ высокими нравственными задатками, сложились и крайне непривлекательные. Ихъ мы конечно у народа вымѣнивать не станемъ. Еще шагъ: нравственныхъ задатковъ, не вытекающихъ изъ экономической независимости, намъ не нужно, какъ бы глубоко ни залегли они въ особенностяхъ русскаго народнаго быта, какъ бы ни были они національны. Такъ какъ значительная часть нравственныхъ задатковъ соприкасается съ семейными отношеніями, то нелишне будетъ замѣтить, что и послѣднія очень удобно подводятся подъ найденный нами критерій. Надо только помнить, что баба—тоже народъ. Тогда національность напри-мѣръ итѣсни о томъ, какъ сынъ на матери капусту возилъ и молодую жену въ пристяжку водилъ, не будетъ уже насъ смущать: національно, да скверно, «деревня», да хуже «города».

Да мы кажется половину своей задачи рѣшили. Остается только опредѣлить, что мы должны дать народу. А это ужъ совѣтъ просто. Народъ невѣжественъ, мы обладаемъ знаніями. Знанія вообще не только не могутъ поколебать экономической независимости народа, а напротивъ только усилить и утвердить ее. Понятно, что даже такія повидимому безразличныя знанія,

какъ свѣдѣнія о небѣ и землѣ, о солнцѣ и лунѣ, могутъ сами по себѣ только помочь человѣку самому удовлетворять своимъ человѣческимъ потребностямъ. Надо только имѣть въ виду, что въ нашихъ кладовыхъ науки есть много фактическихъ знаній, которыя и намъ самимъ-то не особенно нужны и которыми нѣтъ и подавно надобности обременять непривычную память мужика. Но есть чисто фактическія знанія, даже особенно въ нашемъ смыслѣ драгоцѣнныя. Мы знаемъ исторію Европы и между прочимъ знаемъ, какія обстоятельства въ Европѣ разрушили старый хозяйственный типъ, лишили народъ его экономической независимости. Нашъ народъ этого не знаетъ. Далѣе: говоря объ экономической независимости русскаго народа, мы употребляемъ это выраженіе конечно только условно, разумѣя единственно старый хозяйственный типъ. Въ дѣйствительности же, какъ мы уже видѣли, этотъ типъ не въ безвоздушномъ пространствѣ живетъ, въ него со всѣхъ сторонъ во множествѣ вросли явленія совершенно другихъ порядковъ, болѣе или менѣе подрывающія его значеніе; они впились въ него какъ безобразныя черныя раки въ трупъ утопленника. Мы знаемъ всю эту механику — не даромъ же мы въ четырехъ факультетахъ вывариваемся—народъ не знаетъ. Это—все чисто фактическія знанія. Но факты, это только сырой матеріалъ. Наши кладовыя науки наполнены, кромѣ сырья, еще обработанными произведеніями, идеями, теоріями, системами. Здѣсь выборъ элементовъ обмѣна съ народомъ долженъ производиться несравненно осмотрительнѣе. Какъ бы ни разрѣзывалъ г. П. Ч. двѣ групи пополамъ и какъ бы ни старался онъ приставить правую половину одной групи къ лѣвой половинѣ другой, но въ области идей, теорій и системъ нравственный и умственный моменты неотдѣлимы. Собственно говоря, даже кругъ чисто фактическихъ знаній находится въ извѣстной зависимости отъ нравственнаго момента, отъ «нравственныхъ задатковъ». Человѣкъ изучаетъ на примѣръ ассирійскія древности, систематику паукообразныхъ и проч. потому, что его влечетъ къ этимъ знаніямъ, а влеченіе есть уже нравственный моментъ. Конечно это влеченіе не мо-

жетъ повліять прямо на характеръ фактическихъ знаній о данномъ предметѣ, не можетъ ихъ поколебать, измѣнить. Оно можетъ только, сосредоточивая вниманіе на извѣстномъ кругѣ фактовъ, оставить многіе другіе быть можетъ болѣе важныя факты безъ разсмотрѣнія. Оттого наши фактическія знанія, разработанныя крайне неравномѣрно и совершенно несоотвѣтственно относительной важности различныхъ разрядовъ фактовъ, въ общемъ однако вѣрны и могутъ быть поэтому безбоязненно предложены народу. Но въ идеи, теоріи, системы, вообще въ группировку фактовъ нравственный моментъ вторгается уже совершенно властно. А такъ какъ многіе свои нравственные задатки мы признаемъ негодными и желаемъ замѣнить ихъ нѣкоторою, вполне опредѣленною частью нравственныхъ задатковъ народа, то ясно, что изъ всей массы нашихъ идей мы должны выбрать только тѣ, которыя по крайней мѣрѣ не противорѣчатъ экономической независимости народа. Гдѣ и кѣмъ будутъ выработаны эти идеи и теоріи — въ Англіи, на Сандвичевыхъ островахъ, петербуржцемъ, казанцемъ—это рѣшительно все равно. Поясню примѣромъ. Г. П. Ч. напоминаетъ одинъ очень любопытный фактъ. Именно, что хотя крестьянинъ вообще не считается за грѣхъ рубить чужой лѣсъ, потому что не понимаетъ возможности пріобрѣтенія «Богомъ рожденнаго» дерева въ частную собственность, но признаетъ настоящимъ воровствомъ вывозъ изъ лѣса нарубленныхъ дровъ, т. е. того же дерева, но въ которое вложенъ человѣческій трудъ. Это воззрѣніе конечно прямо примыкаетъ къ старому хозяйственному типу, въ которомъ на пользование чужимъ трудомъ наложена узда. Воззрѣніе это считается множествомъ чрезвычайно ученыхъ экономистовъ и юристовъ совершенно неправильнымъ, но именно поэтому мы и не посмѣемъ повести ихъ теоріи и идеи народу, не подвергая однако ихъ остракизму за то только, что они дескать — европейцы и умѣютъ только иностранныя книжки сочинять. Нѣтъ, среди самыхъ этихъ иностранныхъ книжекъ мы встрѣчаемъ удивительно близкое къ воззрѣнію крестьянъ одно изъ основныхъ положеній классической политической экономіи, мною уже приведенное:

трудъ есть источникъ и мѣрило всякой цѣнности. Экономисты напихали вокругъ этой темы и на ней самой много совѣтъ неподходящихъ узоровъ, подсказанныхъ забракованными нами нравственными задатками. Но нѣкоторые сильные умы, отчасти потому, что они сильные умы, а отчасти потому, что нравственные задатки у нихъ выдались подходящѣе, вывели изъ своего основного положенія нѣсколько экономическихъ законовъ, пригодныхъ рѣшительно для всѣхъ странъ. Это сдѣлано правда главнымъ образомъ въ иностранныхъ книжкахъ; но почему же бы намъ не сообщить знаніе этихъ законовъ, въ сущности очень простыхъ, народу, когда мы при этомъ только его же добромъ, да ему же челоу поклонимся, только не въ видѣ инстинкта, а въ видѣ знанія? когда мы только уяснимъ ему его собственные интересы?

Таковы въ общихъ чертахъ рамки и элементы прямого общенія между нами и народомъ. Но мы можемъ, а слѣдовательно должны сдѣлать и еще нѣчто. Народъ безгласенъ. Онъ подаетъ напримѣръ прошеніе (см. выше, въ примѣчаніи), исполненное прямо сказать глубокаго, хотя и инстинктивнаго нравственно-политическаго такта, а представители общественнаго мнѣнія, газеты зачисляють его въ разрядъ «курьезовъ». Мы конечно тоже не особенно гласны, но все-таки мы пишемъ, разсуждаемъ, говоримъ, влияемъ на общественное мнѣніе, будимъ другъ въ другѣ мысли и чувства. Направьте все это въ вышеизложенномъ смыслѣ, т. е. въ смыслѣ интересовъ народа или его экономической независимости, и вы получите литературу, достойную названія голоса общественной совѣсти. Усмотрить ли тутъ «Недѣля» «народно-психологическую подкладку» и «психологическое сращеніе съ здоровыми элементами деревни» — я не знаю, но знаю, что она во первыхъ не будетъ у насъ совершенною новостью, и что она вовторыхъ будетъ совершенно свободно черпать не только матеріалы, а и выводы какъ изъ иностранныхъ книжекъ, такъ и изъ особенностей русскаго народнаго быта.

Не говорю: sapienti sat, потому что не надо быть мудре-

цомъ, чтобы понять все это. И знаете чѣмъ, я думаю, отчасти объясняется ввезапность открытія необитаемыхъ острововъ архипелага «Недѣли»? Тѣмъ именно, что «Недѣля», издаваясь для мудрецовъ, считаетъ себя вправѣ говорить невразумительно и потому многіе могутъ вложить въ ея слова свои собственные мысли, весьма въ сущности различныя. Съ вышеизложеннымъ «Недѣля» должна будетъ, я думаю, согласиться, потому что мы же вѣдь отправлялись отъ пункта полнѣйшаго согласія. Но ей будетъ жаль «самобытнаго развитія», «національных особенностей», «европейскихъ очковъ» и тому подобныхъ невразумительностей, которыя моею постановкой вопроса устраняются. Много новыхъ невразумительностей можетъ она наговорить по этому поводу, а я ихъ могу отчасти предвидѣть и беру заранѣе то единственное возраженіе почтенной газеты, которое, насколько я могъ ознакомиться съ ея духомъ, заслуживаетъ отвѣта. Все такъ, скажетъ «Недѣля», но вы отстаиваете интересы народа вообще, даже еще отвлеченнѣе — интересы труда, а не интересы *русскаго* народа, которые отстаиваемъ мы. Я чрезвычайно упрощаю задачу «Недѣли», дѣлая себѣ отъ ея имени это возраженіе, потому что ничего болѣе яснаго и правдиваго она сказать не можетъ. А между тѣмъ и это далеко не правдиво. Г. П. Ч. иронически замѣчаетъ, что у насъ очень много занимались европейскимъ рабочимъ вопросомъ, не подозревая, что это—вопросъ намъ чуждый, потому что нашъ домашній рабочій вопросъ поставленъ совсѣмъ иначе. Последнее конечно вѣрно, но это не подозрѣвалось, а прямо говорилось задолго до открытія необитаемаго острова Печевія. Мало того, бывало давно и не разъ высказываемо, что рабочій вопросъ у насъ не только имѣетъ другой характеръ и разрѣшается другими путями, но что онъ пока въ европейскомъ своемъ значеніи у насъ просто не существуетъ. За всѣмъ тѣмъ мнѣ хотѣлось-бы показать, что рабочій вопросъ въ Европѣ изучался у насъ не только не слишкомъ много, а напротивъ слишкомъ мало, но это—длинная и довольно побочная матерія. Я спрошу только г. П. Ч.: почему онъ не протестуетъ противъ чрезмѣрныхъ занятій спиритиз-

момъ, дарвинизмомъ, позитивизмомъ, римской исторіей, французской исторіей и проч., и проч.? Я не вижу почему, разрѣшая намъ удовлетворять свою любознательность въ самыхъ разнообразныхъ областяхъ знанія и исторіи, онъ выгораживаетъ одинъ изъ нихъ, какъ совершенно намъ чуждый? Если же онъ соблаговолитъ разрѣшить нашей любознательности доступъ и въ эту область, то долженъ будетъ разрѣшить и нѣкоторое сердечное участіе, нѣкоторый интересъ къ роли труда вообще, какъ существуетъ интересъ къ судьбамъ науки вообще, философіи вообще, поэзіи вообще и т. п. Затѣмъ, если положеніе труда у насъ весьма отлично отъ положенія его въ Европѣ, то интересы труда вездѣ одни тѣ-же. Если же бы они столкнулись какъ-нибудь враждебно (что едва ли возможно), то я стану на сторонѣ русскаго труда, русскаго народа. Да и помимо такого столкновенія, во всякое данное время, интересы русскаго народа стоятъ для меня на первомъ планѣ. Почему? Впервыхъ—потому, что я говорю русскимъ языкомъ и имѣю много общаго съ русскимъ народомъ въ нѣкоторыхъ понятіяхъ, привычкахъ, вкусахъ—словомъ, почву для взаимодѣйствія. Во вторыхъ—потому, что имѣю русскій хлѣбъ, что личная моя безопасность, возможность бесѣдовать съ вами и проч. оплачиваются именно русскимъ народомъ. Эти двѣ причины могутъ комбинироваться крайне разнообразно, образовать сочетанія чрезвычайно сложныя, но вы всегда выйдете изъ этихъ затрудненій съ честью, если въ словахъ: русскій *народъ*—подчеркнете существительное. Оно—не только существительное, а и существенное.

Это я говорю. Теперь посмотримъ, что говорить «Недѣля». Она говоритъ, что ей дороги интересы именно русскаго народа. Надо по крайней мѣрѣ это выговорить «отчетливо и безъ смягченій», а то до сихъ поръ этого не видно. Я вижу, что вы радуетесь проекту національной русской философіи, созрѣвшему на необитаемомъ островѣ Кавелиніи; вижу, что вы радуетесь замѣнѣ мелодіи въ оперѣ речитативомъ, какъ чему-то самобытному, національному, особенному, нашему. Причемъ тутъ русскій народъ! Отъ речитатива ему ни тепло, ни холодно, а отъ

національної філософії, когда проєктъ ея перейдетъ въ область дѣйствительности, будетъ можетъ быть даже холодно. По крайней мѣрѣ нѣмецкому народу было не особенно тепло отъ національной философіи Гегеля. Не смотря однако на задатки національной исключительности и самохвальства, я далеко отъ мысли уличать «Недѣлю» въ славянофильствѣ. Она для этого недостаточно смѣла: она, какъ уже сказано, просто хочетъ не замѣтно для публики сѣсть между двухъ стульевъ. Г. П. Ч. говорить напримѣръ постоянно, что надо перестать трепать заграничныя формулы, забросить иностранныя книжки и т. п. Онъ обрисовался въ своихъ статьяхъ совершенно достаточно, чтобы судить насколько самъ онъ эмансипировался отъ этихъ вредныхъ вещей. Онъ писалъ о теоріи Дарвина въ приложеніи къ обществознанію, о книгѣ Лавеле, о типахъ народнаго хозяйства и проч. Статьи эти, если выкинуть изъ нихъ чисто механически приставленные разсужденія о самобытности и трепаніи заграничныхъ формулъ — вообще хорошія, но чего-нибудь такого, что не было бы или не могло бы быть доселѣ опубликовано въ иностранной или русской литературѣ, чего нибудь типически новаго въ нихъ нѣтъ. Напримѣръ вотъ статья «Типы народнаго хозяйства». Очень хорошая статья. Въ ней доказывается во первыхъ, что въ основѣ каждаго крупнаго общественнаго явленія лежитъ экономическая причина. Это прежде всего — заграничная формула, почерпнутая изъ иностранныхъ книжекъ. Г. П. Ч. распространяетъ эту заграничную формулу и на Россію и конечно очень хорошо дѣлаетъ, потому что когда славянофилы и почвенники доказывали, что въ основѣ крупныхъ явленій русской жизни, въ отличіе отъ эгоистической Европы, лежатъ какія-то духовно нравственныя причины — они говорили пустяки. Далѣе, какъ въ этой статьѣ, такъ и въ другихъ развивается идея товарнаго хозяйства, которою освѣщается и европейская и русская исторія. Между тѣмъ эта идея есть таже заграничная формула и принадлежитъ не русскому какому-нибудь писателю, подложенному народной психологической подкладкой, а нѣмецкому еврею Марксу. Правда, г. П. Ч. объ этомъ не упо-

минаетъ, но объ этомъ нечего упоминать, потому что это всѣмъ извѣстно. Относительно русской литературы, которую г. П. Ч. такъ сильно презираетъ, я конечно уже изъ вѣжливости долженъ допустить полную его самостоятельность. Однако я встрѣтилъ у него не мало мнѣній, совершенно совпадающихъ съ тѣми, которыя въ русской литературѣ были изложены пятнадцать, двадцать лѣтъ тому назадъ, когда народная психологическая подкладка не была еще изобрѣтена и заграничныя формулы, по показанію г. П. Ч., жестоко трепались. Имѣлъ я также удовольствіе встрѣтить подобныя же совпаденія съ нѣкоторыми моими мыслями, хотя я никогда не мечталъ о національной самобытности и разумѣется въ числѣ другихъ «мудро надъ русской жизнью по иностраннымъ книжкамъ». Вообще г. П. Ч. поступаетъ, какъ и всѣ мы грѣшные, лишенные народной психологической подкладки: беретъ факты изъ европейской и русской жизни (большую частію историческіе факты, т. е. занесенные въ сочиненія по русской исторіи; новыхъ или даже мало извѣстныхъ бытовыхъ фактовъ онъ не приводитъ ни одного) и оперируетъ надъ ними при помощи идей, отчасти добытыхъ изъ иностранныхъ книжекъ и русской литературы, отчасти самостоятельно выработанныхъ. Я конечно за это не упрекаю его, потому что самъ поступаю точно также, притомъ же онъ дѣлаетъ хорошее дѣло и дѣлаетъ его хорошо. Но зачѣмъ онъ портитъ его туманомъ самобытности, которымъ самъ вовсе не дышетъ? Зачѣмъ онъ вводитъ людей въ соблазнъ, участвуя въ неблагоприятномъ открытіи необитаемыхъ острововъ, пытаясь отбить людей отъ заграничныхъ формулъ и иностранныхъ книжекъ, которыми самъ очень хорошо пользуется, и отъ своихъ собственныхъ союзниковъ? Пусть г. Кавелинъ строить свою вавилонскую башню—онъ старъ и золъ и пожалуй имѣетъ свои причины злиться. Пусть «Недѣля» ему потворствуетъ. А вамъ-то что? Вы—писатель начинающій и по всей вѣроятности молодой, передъ вами цѣлая жизнь... Положа руку на сердце, говорю: мнѣ было тяжело писать о г. П. Ч., такъ что я даже коле-

бался — писать-ли, и пусть онъ это увидить въ самой рѣзкости моей...

Я хотѣлъ было уже написать à la Сласовичъ: я кончилъ, какъ вспомнилъ, что совсѣмъ не кончилъ. Мыльный пузырь «Недѣли», ея новое слово состоитъ въ томъ, что она взяла готовое уже міросозерцаніе, т. е. старое слово, умолчала или обругала тѣхъ, къмъ оно было сказано, и механически прицѣпила къ нему совсѣмъ неподходящія подвѣски «самобытности», «сиропейскихъ очковъ» и проч. Подвѣски эти конечно могли только испортить дѣло и затуманить его. Но почему же этотъ мыльный пузырь обратилъ на себя столько вниманія? Собственно на этотъ вопросъ я и хотѣлъ отвѣтить. Меня тутъ особенно «мысленціе провинціалы» занимаютъ. Но это уже надо до другого раза

XXI *).

Продолженіе предыдущаго.

Въ своемъ коротенькомъ объясненіи (№ 16) «Недѣля» стоитъ на томъ, что ея воззрѣнія «не лишены нѣкоторой новизны или по крайней мѣрѣ самостоятельности». Но почтенная газета повидимому не признаетъ ихъ таковыми по существу, потому что ничего не говоритъ объ этомъ. Она гордится только *происхожденіемъ* своего мыльного пузыря, какъ я осмѣлился назвать совокупность разсужденій «Недѣли». «Будущій историкъ русскаго общества, — говоритъ она, — замѣтитъ, что нашъ пузырь явился плодомъ не теоретическихъ построеній, а внимательнаго наблюденія надъ фактами жизни, и притомъ не жизни вообще, а именно жизни русскаго, текущей, современной — и въ этомъ смыслѣ можетъ быть назоветь его новымъ». Этому-то, опытно-наблюдательному происхожденію пузыря газета приписываетъ возбужденный имъ интересъ. Въ этой саморекомендаціи довольно очень осторожно выраженное, но тѣмъ не менѣе сильное

*) 1876, июль.

презрѣніе или по крайней мѣрѣ недовѣріе къ «теоретическимъ построеніямъ» и къ «внимательному наблюденію фактовъ жизни вообще». Мы—не какіе-нибудь теоретики, рекомендуется «Недѣля», мы—наблюдатели, и притомъ наблюдаемъ факты только текущей русской жизни. Если-бы эта саморекомендація была основательна, т. е. фактически вѣрна, такъ конечно оставалось бы только жалѣть читателей нашей газеты. Въ самомъ дѣлѣ, какая же ужъ это публицистика, которая запирается въ извѣстный кругъ фактовъ и только изъ него черпаетъ свои—не смѣю сказать теоріи, потому что это будутъ нелюбимыя «Недѣлю» «теоретическія построенія»—а свои, ну, хоть разсужденія, что-ли. Система воззрѣній, какъ бы ее ни называли: теоріей, теоретическимъ построеніемъ, мыльнымъ пузыремъ, основанная на наблюденіяхъ только текущей русской жизни, есть навѣрняка нѣчто очень мизерное и даже прямо теоретически ложное, а практически никуда не годное. Къ счастью для читателей «Недѣли» чортъ не всегда бываетъ такъ страшенъ, какъ его малюютъ, а газеты не всегда такъ нелѣпы, какъ сами себя рекомендуютъ. Я уже упоминалъ о нѣкоторыхъ статьяхъ «Недѣли», въ которыхъ проводятся напимѣръ параллели между исторіей западной Европы и исторіей Россіи, а на основаніи ихъ дѣлаются извѣстные выводы. Помню статью, въ которой авторъ дѣлаетъ «внимательныя наблюденія» надъ историческою жизнью Испаніи. Помню другую, въ которой трактуется объ исторіи древняго Рима. И Испанія, и Римъ даютъ при этомъ автору матеріалъ для нѣкоторыхъ «теоретическихъ построеній», каковыя прикладываются и къ Россіи. Приемъ конечно не новый, но очень хорошій, и отбрыкиваться отъ него, какъ отбрыкивается сама «Недѣля», рѣшительно вѣтъ резона. Что-же касается наблюденій собственно надъ русскою текущею жизнью, то каждая газета ихъ по необходимости дѣлаетъ, и слѣдовъ особенной, выдающейся наблюдательности въ этомъ отношеніи въ «Недѣлѣ» не замѣтно. Гдѣ въ самомъ дѣлѣ тѣ наблюденія, о которыхъ говоритъ почтенная газета? Пусть она ихъ укажетъ. Это, вѣдь—не иголка, которую не сразу отыщешь. «Недѣля» замѣтила

въ обществѣ и литературѣ желаніе выбиться изъ «узкихъ рамокъ». Допуская справедливость этого мнѣнія, едва-ли однако можно допустить для него громкій титулъ «плода внимательнаго наблюденія» и т. д., тѣмъ болѣе, что въ специальномъ отдѣлѣ наблюденій надъ фактами русской жизни, во «внутренней хроникѣ», почтенная газета не сообщаетъ ничего особенно отраднаго. «Недѣля» *наблюла* проекты генерала Оадѣва и русскую музыкальную школу. Это, конечно—наблюденіе, но особеннаго вниманія для этого не требовалось. «Недѣля» замѣтила, что провинціальныя органы относятся къ ней, «Недѣлѣ», не въ примѣръ правильнѣе, чѣмъ столичныя. Допуская опять-таки справедливость этого мнѣнія, я готовъ признать за газетой большой критическій талантъ и провицательность, но наблюденіе тутъ во всякомъ случаѣ не причесть. «Недѣля» утверждаетъ, что народъ считаетъ наказанныхъ преступниковъ «несчастливыми» и относится къ нимъ гуманно отнюдь не потому, что они наказаны не по крестьянскому суду. Хотя это высказывается весьма категорически и именно тономъ наблюдателя (самъ, говорить, видѣлъ), но это конечно не наблюденіе, а чисто апіорическій выводъ, представленный вмѣсто наблюденія. Мотивы чьихъ-нибудь дѣйствій видѣть и вообще наблюдать непосредственно нельзя. До нихъ можно добраться только сложнымъ путемъ теоретическаго комбинирования различныхъ опытовъ и наблюденій. Въ настоящемъ случаѣ авторъ не только не держится этого безусловно-необходимаго пути соединенія теории съ наблюденіемъ, но и просто не хочетъ видѣть фактовъ, именно фактовъ жестокости крестьянскаго суда. Словомъ, да простить мнѣ «Недѣля», но она говоритъ неправду, ошибается: опытно-наблюдательная подкладка ея мыльнаго пузыря слишкомъ слаба и ничтожна, чтобы газета имѣла право указывать на нее, какъ на свою особенную заслугу. Повторяю: пусть «Недѣля» укажетъ свои наблюденія. Я буду очень радъ, если я ошибаюсь, если почтенная газета дѣйствительно обогатила литературу массой новыхъ наблюденій.

Пока это не доказано, я не могу разумѣться считать несуществующую опытно-наблюдательную подкладку причиною ните-

реса, возбужденнаго «Недѣлю». Причину надо искать гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ. Прежде всего надо для ясности замѣтить, что «интересъ» тутъ не означаетъ сочувствія. Если «Недѣля» получала и выраженія сочувствія, то дѣло все-таки не въ нихъ, а въ томъ, что о мнѣніяхъ этой газеты вообще внезапно заговорили въ самыхъ разнообразныхъ смыслахъ отъ одобрительнаго, даже съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ восторженности, до совершенно ругательнаго. Теперь уже это прошло, до такой степени прошло, что мнѣ, признаюсь, невесело писать объ этомъ. Но дѣлать нечего: вино откупорено — надо его выпить. До какой степени эта внезапность интереса была странна, читатель знаетъ уже изъ прошлой главы, и теперь я приведу только одинъ, чрезвычайно мелкій, но все-таки очень любопытный примѣръ. «Недѣля» употребила какъ-то выраженіе «яснолюбые либералы», которое очень понравилось знаменитому критику «Русскаго Вѣстника», г. А. Пещерный человѣкъ не замедлилъ поиграть на этомъ выраженіи въ томъ смыслѣ, что, дескать—ага! петербургская литература сама наконецъ начинаетъ сознавать свое горе. Никогда еще, писалъ г. А., петербургская литература не слышала изъ своей собственной среды такого ѣдкаго укора, какъ «яснолюбые либералы». Между тѣмъ, не говоря объ общемъ смыслѣ замѣчаній «Недѣли», самое выраженіе, такъ обрадовавшее пещернаго человѣка, было много разъ употреблено раньше въ изданіи, несравненно болѣе распространенномъ, чѣмъ почтенная газета. Почему же г. А. не радовался прежде? Этотъ частный и самъ по себѣ ни мало не интересный вопросъ представляетъ только отраженіе болѣе общаго вопроса, который занимаетъ и самое «Недѣлю»: почему ей удалось возбудить столько говора. Сама она объясняетъ это обстоятельство опытно-наблюдательнымъ *происхожденіемъ* своихъ идей. Но, какъ мы видѣли, это пустяки. Вообще говоря, въ исторіи науки и литературы неособенно рѣдко такое явленіе, что однѣ и тѣ же идеи сначала проходятъ безслѣдно, а потомъ, по прошествіи извѣстнаго времени, будучи высказаны другими людьми, сосредоточиваютъ на себѣ всеобщее вниманіе. Это отъ разныхъ причинъ можетъ за-

висѣть: отъ бѣльшей подготовленности общества, отъ бѣльшей талантивности послѣдующихъ пропагандистовъ и т. п. Можетъ быть эти причины были на лицо и въ занимающемъ насъ случаѣ, но думаю, что главное дѣло не въ нихъ. Бываетъ и такъ, что первоначальная идея до такой степени осложняется новыми приставками, что перестаетъ быть сама собой и въ этомъ совершенно преобразованномъ видѣ становится или симпатичнѣе, или доступнѣе для пониманія большинства. Это однако отнюдь не непременно совпадаетъ съ внутреннимъ прогрессомъ самой идеи. Весьма возможенъ такой случай, что въ своемъ преобразованномъ разными приставками видѣ идея льститъ грубымъ страстямъ или допускаетъ чрезвычайно различныя толкованія, вслѣдствіе своей неясности, или инымъ какимъ-нибудь, столь же неслестнымъ для нея способомъ заставляетъ о себѣ говорить.

Я думаю, что внезапный интересъ, возбужденный «Недѣлей», именно такого рода. Главнѣйшіе ея выводы и положенія отличаются крайнею невразумительностью, которая съ одной стороны является весьма легкою добычею для самой поверхностной критики, а съ другой—позволяетъ людямъ весьма различнаго образа мыслей толковать эти выводы и положенія по своему. Взять хоть бы напримѣръ вышеприведенную саморекомендацію почтенной газеты. Я коснулся ея только со стороны фактической невѣрности, но, еслибы игра стоила свѣчь, можно бы было написать немало выслезыхъ страницъ насчетъ самой сути этой саморекомендаціи, насчетъ возможности обходиться въ публицистикѣ безъ «теоретическихъ построеній». Съ другой стороны «Недѣля» до такой степени невразумительно противопоставляетъ теоретическія построенія наблюденію, что на ея словахъ могли бы не безъ успѣха поиграть и г. Полетика, и г. Баймаковъ, и г. Скальковский, и г. А, и вообще всякій, имѣющій свои резоны не любить «теоретическихъ построеній». Конечно эти господа принялись бы за эту игру только въ томъ случаѣ, еслибы это было имъ нужно, но вѣрно то, что они не такъ охотно заговорили бы о мнѣніяхъ «Недѣли», еслибы она не путалась.

Позвольте мнѣ на минуту оторваться отъ «Недѣли» къ явле-

ніямъ болѣе крупнаго калибра. На востокѣ—опять пожары, кровь и пушечные выстрѣлы. Богъ знаетъ въ который разъ поднимается измученное славянское населеніе Турціи и пробуетъ добиться элементарнѣйшихъ правъ человѣческаго существованія. Мы находимся или наканунѣ великаго историческаго событія, если славянамъ удастся протискаться на свободу сквозь сѣть дипломатическихъ тонкостей и гнилые путы турецкаго владычества, или же наканунѣ одной изъ позорнѣйшихъ страницъ исторіи человѣчества, если и теперь «больной человѣкъ» останется владыкой людей здоровыхъ. Зерно событій до послѣдней степени просто, такъ просто, что даже до рѣдкости. Большинство населенія Турціи представляетъ массу, почти совершенно однородную и въ политическомъ, и въ социальномъ, и въ религіозномъ, и въ культурномъ отношеніи. Большинство—славяне по національности, христіане по религіи и почти паріи по общественному положенію: слово «райя» обращается на нашихъ глазахъ въ такое же нарицательное имя, какъ и «парія». По замѣчательной особенности юго-славянскихъ племенъ, все, что рѣзко поднималось надъ общимъ уровнемъ этой однородной массы, порывало съ ней всѣ связи заразъ: зародыши юго-славянской аристократіи почти поголовно потурчены и обращены въ мусульманство. Въ Ирландіи напримѣръ, въ одной изъ несчастнѣйшихъ странъ западной Европы, есть своя аристократія, свои коренные лэндлорды, которые, будучи такими же католиками и ирландцами, какъ и большинство коренного населенія, не имѣютъ съ нимъ ничего общаго съ точки зрѣнія экономическихъ интересовъ. Въ экономическомъ и до извѣстной степени въ политическомъ отношеніи они естественно тяготеютъ къ англійской аристократіи, тогда какъ въ другихъ остаются тѣсно связаны съ своимъ народомъ. Южные славяне не знаютъ этой раздвоенности и запутанности, этихъ противорѣчій: національное и народное дѣло для нихъ совершенно совпадаютъ. Далѣе, европейцы могутъ смотрѣть на славянъ, какъ на варваровъ, дикарей, о судьбѣ которыхъ не стоитъ заботиться. Мы конечно такъ смотрѣть не можемъ, хотя бы уже потому, что сами мы въ гла-

захъ Европы—дикари. Мы можемъ видѣть въ славянахъ только людей, которые по внѣшнимъ обстоятельствамъ до сихъ поръ еще ничего не внесли въ сокровищницу общечеловѣческой цивилизации. Они только играли по отношенію къ ней роль щита, принимавшаго удары азіатскихъ ордъ. Но если они такъ поздно начнутъ свою культурную жизнь, то тѣмъ больше вѣроятности, что они избѣгутъ ошибокъ, по-неволѣ сдѣланныхъ старой Европой въ историческомъ процессѣ ея развитія. Наконецъ гнетущій славянъ турецкій общественный и государственный строй до такой степени противорѣчитъ самымъ скромнымъ требованіямъ, какія только могутъ быть предъявлены, что о несостоятельности его не можетъ быть споровъ. Такимъ образомъ основныя данныя задачи ясны, какъ божій день, и сами по себѣ не могутъ вызвать ничего, кромѣ горячаго сочувствія славянамъ. Это—сама азбука. даже для людей, заинтересованныхъ въ дальнѣйшемъ существованіи Турціи въ ея теперешнемъ видѣ. Немудрено поэтому, что газеты наши, хоть и не сразу, но наконецъ выровнялись въ этомъ отношеніи. Я не намѣренъ слѣдить за отношеніями русскихъ газетъ къ славянскому дѣлу (предметъ впрочемъ крайне любопытный) и склоненъ говорить болѣе отвлеченнымъ образомъ. Представимъ себѣ идеальную газету, которая, принявъ во вниманіе крайнюю простоту вопроса, съ начала герцеговинскаго возстанія неустанно твердила бы одно: «вотъ около семи милліоновъ полураздавленнаго безобразнымъ политическимъ строемъ люда; онъ поднимается, его терніѣ перешло всѣ предѣлы, надо помочь ему, словомъ ли, вызвавъ сочувствіе, деньгами ли, дѣломъ ли, помочь во имя самыхъ чистыхъ побужденій сочувствія къ человѣку, неподкупленнаго ничѣмъ, кромѣ незаслуженныхъ страданій этого человѣка и возможности его великой будущности». Естественно, что такая газета постаралась бы опереться и на племенное родство наше со славянами, и на наше съ ними единовѣріе. Естественно также, что она обратила бы вниманіе на важность для русскаго народа образованія на мѣстѣ Турціи славянской федераціи. Такая газета безъ сомнѣнія имѣла бы успѣхъ и притомъ успѣхъ ровный и серьезный: ея

мнѣніями никто не осмѣлился бы играть, толковать ихъ вкривъ и вкосъ. Съ ними можно бы было только соглашаться или не соглашаться. Если хотите, говорю объ этой газетѣ было бы сравнительно немного, но за то читалась бы она сильно и слѣдовательно имѣла бы прочное и серьезное вліяніе. Въ самомъ дѣлѣ, ясность подлежащей разрѣшенію политической задачи такова, что стоитъ только крѣпко держаться ея основныхъ данныхъ, чтобы избѣжать какихъ бы то ни было промаховъ: къ ней нѣтъ приступу ни со стороны пошленькихъ заигрываній съ задней мыслью, ни со стороны грубыхъ страстей. Но въ этой неприступной крѣпости немедленно откроются бреши, если газета (какъ это случилось съ русскими газетами) запутаетъ корень вопроса посторонними соображеніями и поставитъ выше этого корня какую-нибудь второстепенную черту. Напримѣръ, многіе придаютъ первенствующее значеніе нашему племенному родству со славянами и вмѣстѣ съ тѣмъ уличаютъ въ бездушіи, своекорыстіи и т. п. англійскихъ государственныхъ людей или австро-венгерскихъ писателей. Но, если мы сочувствуемъ славянамъ главнымъ образомъ потому, что они намъ—родня, такъ тѣмъ самымъ узаконяется бездушное и своекорыстное отношеніе къ нимъ англичанъ или венгровъ: они вѣдь имъ не родня. Желаящій смѣло можетъ позабавиться на эту тѣму, а желающіе всегда есть: кто—по природному зубоскальству, кто—потому, что надо же что-нибудь писать, а кое-кто и по искреннему стремленію по возможности уяснить дѣло. Или напримѣръ, «Новое Время» называетъ «Биржевыя Вѣдомости» (довольно основательно) торгашами, а само, нѣтъ-нѣтъ, да и поставитъ восточный вопросъ на почву дѣлежа турецкаго наслѣдства между англійскими и русскими купцами. Какъ будто это—не тоже торгашество, только пошире, и какъ будто, не то что славянамъ, а и русскому народу есть надобность расчищать дорогу русскимъ купцамъ. Путаница эта даетъ пищу говору и слѣдовательно создаетъ своего рода успѣхъ. И все это происходитъ оттого, что на простую, ясную и великую идею навѣшиваются неподходящія побрякушки.

Я не говорю, что это—единственный путь успѣха и возбужденія интереса, вѣрнѣе, гóвора. Но это несомнѣнно—одинъ изъ довольно обыкновенныхъ путей, и имъ-то шла «Недѣля» въ вопросѣ, отчасти соприкасающемся съ тѣмъ, который разрѣшается нынѣ на Востокѣ. Я разумѣю вопросъ о національности и народности. Прошлой главѣ записокъ профана «Недѣля» придала совершенно несоотвѣтственный оттѣнокъ, котораго я самымъ тщательнымъ образомъ избѣгалъ и надѣюсь, избѣгнулъ. Г. Михайловскій говоритъ, что онъ давно проповѣдывалъ нѣкоторыя истины, выставляемыя «Недѣлей»; г. Скабичевскій въ «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ» то же самое говоритъ о себѣ. И однакоже ни тому, ни другому не пришлось возбудить того интереса, который они возбудили теперь». Такъ торжествуетъ «Недѣля». Подождите торжествовать. Еще вопросъ: слѣдуетъ ли вамъ радоваться, или горевать, посыпавъ главу свою пепломъ. Я отвѣчаю конечно только за себя и напому «Недѣль», что тѣхъ рѣжущихъ ухо словъ, которыя она мнѣ приписываетъ, я не говорилъ. Я, вообще говорилъ не о себѣ, а о цѣломъ литературномъ направленіи. Но, такъ какъ рѣжущія уха слова уже произнесены, то я пожалуй подниму перчатку, брошенную мнѣ «Недѣлей», и буду говорить о себѣ. Во многихъ отношеніяхъ, отчасти вѣроятно понятныхъ и «Недѣль», и читателю, это даже удобнѣе, чѣмъ разсуждать о цѣломъ литературномъ направленіи. Остановлюсь на тѣхъ главахъ записокъ профана, въ которыхъ трактуется о гр. Толстомъ. Тамъ представлена была оцѣнка дѣятельности гр. Л. Толстого съ такой точки зрѣнія, которой не прилагалъ къ этому писателю ни одинъ критикъ. Литературная дѣятельность его получала освѣщеніе, совершенно новое и во многомъ противорѣчившее установившимся объ ней понятіямъ, причемъ во главу угла всей оцѣнки была поставлена идея народа, тщательно отграниченная отъ идеи національности. Нѣкоторыя изъ высказанныхъ при этомъ мыслей пожалуй близки къ тѣмъ, которыя обезпечили открытіе необитаемаго архипелага Недѣлин. Г. Толстой интересовалъ въ то время читающую публику сильнѣе, чѣмъ когда-нибудь. Однако

пространных печатныхъ разговоровъ по поводу этихъ статей не было. Можетъ быть какіе-нибудь два-три литературные бапи-бузука гикнули и затѣмъ спрятались въ кусты. Но вѣрно то, что ни г. А. (даже особенно въ этомъ случаѣ заинтересованный), ни межеумки въ родѣ гг. В. М. или Фауста Щигровскаго Уѣзда не размазывали выраженныхъ мною мыслей (я не говорю: исключительно мнѣ принадлежащихъ), не мяли ихъ вкривь и вкосъ своими неумѣлыми или грязными руками. И ужъ конечно мнѣ не приходится по этому случаю печаловаться. Можетъ быть это зависитъ оттого, что въ упомянутыя статьи вложено меньше таланта и наблюдательности, чѣмъ какіе приходится въ распоряженіи публицистовъ «Недѣля». Я охотно готовъ это допустить и во всякомъ случаѣ не стану спорить. Но я склоненъ думать, что была и еще одна причина сравнительной молчаливости межеумковъ, и причина самая важная: ясность и простота, если можно такъ выразиться, строгость точки зрѣнія. Потому только я и рѣшаюсь поднять перчатку, брошенную «Недѣлей», что мои личные писательскіе достоинства и недостатки тутъ рѣшительно не при чемъ. Не они отняли у бапи-бузуковъ и межеумковъ ихъ хлѣбъ насущный—возможность лишній разъ поболтать, а величіе идеи народа, по отношенію къ которой вся моя заслуга состоитъ въ стремленіи вышелушнить ее, отдѣлать отъ всѣхъ постороннихъ примѣсей. Кормленіемъ бапи-бузуковъ и межеумковъ занялась «Недѣля» и радуется, глядя на аппетитъ, съ которымъ они жуютъ подsunутую имъ пищу. Читатель помнитъ, какъ перепутала «Недѣля» идеи національности и народности. Образовалась мутная вода, въ которую межеумки и бапи-бузуки—одни съ комическою серьезностью, другіе съ наглою усмѣшкой—смѣло закидывали свои удочки и выуживали, что попадется. Далѣе, всегда есть люди, которымъ стоитъ только показать палецъ и сказать, что это — коренной русскій, чисто національный палецъ, и они радостно захохочутъ громче мичмана Пѣтухова захохочутъ по той же неразгаданной психологіей причинѣ, по которой щедринскіе вояжеры мѣютъ, вспоминая о русскихъ кушаньяхъ. (Есть конечно и такіе субъекты,

для которыхъ «русское», что бы то ни было, значить приблизительно «свинское»). Вотъ главнѣйшій контингентъ людей, заговорившихъ о «Недѣлѣ». Вотъ передъ кѣмъ волочила она великую идею, изукрасивъ ее лоскутьями славянофильскаго костюма, но не имѣя смѣлости прямо пристать къ этому учению, и вотъ къ чему сводится значительная доля возбужденнаго ея интереса. Конечно ничего подобнаго не могло случиться въ другое время и при другихъ обстоятельствахъ. «Недѣля» утверждаетъ, что общество и литература стремятся выбиться изъ «узкихъ рамокъ». Что это справедливо относительно нѣкоторой, очень малой части общества и литературы—это я очень хорошо знаю, хотя и не знаю, одну ли и ту же часть мы съ «Недѣлей» разумѣмъ. Но что подавляющее большинство влечетъ свое нравственное существованіе изо дня въ день, безъ надеждъ и идеаловъ, вяло и апатично—это я тоже очень хорошо знаю. Только теперь, благодаря напряженному моменту турецко-славянскаго распри, замѣчается нѣкоторое, хотя далеко несоотвѣтствующее важности событій общее возбужденіе. Можетъ быть дѣла пойдутъ такъ, что черезъ нѣсколько времени мы будемъ съ ужасомъ оглядываться на переживаемое теперь пишущимъ и читающимъ людемъ время, какъ на періодъ скандала и цѣлковаго—этихъ двухъ краугольных камней нашихъ теперешнихъ духовныхъ интересовъ. Я не поздравляю «Недѣлю» съ возбужденнымъ ея интересомъ...

Межеумки, баши-бузуки и руссофилы quand même не интересны. Есть благонамѣренные, серьезные и вообще хорошие и неглупые люди, словомъ или письмомъ принявшіе участіе въ открытіи архипелага Недѣли. (Я имѣю въ виду конечно только тѣхъ, которые принимали участіе болѣе или менѣе положительное, а не тѣхъ, которые относились къ архипелагу отрицательно). Это можно объяснить опять-таки только тою же невразумительностью «Недѣли», позволяющею толковать ея положенія крайне разнообразно. Вотъ напримѣръ г-жа Ефименко—почтенный и умный человекъ, безъ сомнѣнія знающій народную русскую жизнь не въ примѣръ основательнѣе гг. П. Ч.

Кавелина и Гайдебурова. Но этого мало, что она знает народную жизнь. Она имѣетъ очень правильную точку зрѣнія. Я помню напримѣръ ея прекрасную статью «Народныя юридическія воззрѣнія на бракъ», напечатанную должно быть года три тому назадъ въ «Знаніи», гдѣ она не просто отстаивала необходимость изученія народной жизни, а весьма осязательно доказывала это, гдѣ она, слѣдя за обычнымъ брачнымъ правомъ съ рѣдкою тщательностью и знаніемъ дѣла, вмѣстѣ съ тѣмъ далека была отъ фальшивой идеализаціи «деревни». И вдругъ этотъ дѣйствительно дѣльный и серьезный человѣкъ раздражается тою странною тирадой, тѣмъ гимномъ въ честь «Недѣли», который я привелъ въ прошлый разъ. Она восторженно говоритъ, какъ о какомъ-то новомъ откровеніи, о такихъ воззрѣніяхъ, которыми въ несравненно болѣе чистомъ видѣ сама давно руководствовалась. Представьте себѣ, что человѣкъ всю жизнь занимался напримѣръ астрономіей и издалъ какія-нибудь самостоятельныя работы. Онъ читаетъ въ какомъ-нибудь популярно-научномъ изданіи похвалу астрономіи, какъ наукѣ полезной въ практическомъ отношеніи, возвышающей духъ и т. п. — и вдругъ начинаетъ пѣть восторженную хвалу издателямъ популярнаго листка: «о, господи, какъ я вамъ благодаренъ! вы мнѣ открыли новыя перспективы, вы указали мнѣ новый путь» и т. д. Случай чрезвычайно странный, а отношенія г-жи Ефименко и «Недѣли» приблизительно именно таковы. Г-жа Ефименко благодаритъ «Недѣлю» за то, что та наставила ее на путь, на которомъ сама г-жа Ефименко стояла раньше и тверже «Недѣли»! Этого мало. Г-жа Ефименко, отъ лица «мыслящихъ провинціаловъ», утверждаетъ, что «столичные писатели», именно потому, что они — столичные, не въ состояніи оцѣнить заслугъ столичныхъ писателей «Недѣли»! Ясно, что тутъ есть какое-то недоразумѣніе, хотя, признаюсь, я не могу понять, въ чемъ именно оно состоитъ. Можетъ быть г-жа Ефименко устала трезво мыслить (такая усталость вообще возможна) и ухватилась именно за тѣ лоскуты, которыми «Недѣля» изукрасила великую идею. Можетъ быть она поддалась на тѣ грубоватыя похвалы, которыя

«Недѣля» давно уже расточает провинции и провинціальнымъ писателямъ. Можетъ и другое что-нибудь тутъ замѣшалось, но во всякомъ случаѣ будетъ чрезвычайно прискорбно, если г-жа Ефименко намѣрена выступить на какой-нибудь *новый* путь и слѣдовательно уклониться отъ своего стараго.

А можетъ быть и то, что г-жа Ефименко вкладываетъ въ слова «Недѣли» свой собственный смыслъ, какой и въ голову не приходилъ публицистамъ этой газеты. Это очень возможно. Чего напримѣръ нельзя вложить въ слѣдующій тезисъ г. П. Ч.: «если только намъ суждено скоро услышать «надлежащее слово», его скажутъ люди деревни, а не города и уже всего меньше Петербурга. Да, скажетъ его деревня, какъ бы презрительно ни думали о ней книжники. Хотѣлось бы пояснить, что подъ деревней здѣсь подразумѣвается единица, олицетворяющая собою принципъ солидарности, нравственной связи, въ противоположность принципу крайняго индивидуализма и разобщенности, выразителемъ котораго былъ и есть европейскій городъ». Въ этихъ словахъ *конкретному* Петербургу, т. е. такому, каковъ онъ теперь во всѣхъ подробностяхъ, съ Невскимъ проспектомъ и уличнымъ ловеласничествомъ, съ «Недѣлей» и ея идеальными стремленіями, съ магазинами, фабриками, монументами, рысаками, ваньками, нищими и проч., и проч., противопоставляется *отвлеченная* деревня, т. е. не такая, какова она въ дѣйствительности, а какъ ее отвлеченно разумѣетъ авторъ, т. е., отвлекая нѣкоторые ея признаки и признавая какъ бы несуществующими остальные. Говорю такъ пространно не столько для читателей, сколько для «Недѣли». Она очень странно понимаетъ слово «конкретный». Такъ, въ передовой статьѣ № 11-го она говоритъ, что о фактахъ и явленіяхъ конкретныхъ разсуждать легко, а «явленія социальнаго-нравственнаго порядка» труднѣе поддаются оцѣнкѣ. Смѣю увѣрить редакцію, что явленія социальнаго-нравственнаго порядка столь же конкретны, какъ и всѣ другія, и что вообще конкретное можетъ быть правомѣрно противопоставлено только *отвлеченному*. Но противопоставлять конкретный Петербургъ *отвлеченной деревнѣ* все-таки воспрещается основными правилами

логики, ибо ничего, кромѣ путаницы, изъ этого произойти не можетъ. Представимъ себѣ полкъ солдатъ, связанный чувствомъ солидарности и нравственной связи. Представить себѣ это вовсе не такъ трудно, и вѣроятно такіе полки существуютъ. Въ такомъ случаѣ, если подѣ деревней «подразумѣвать единицу» и т. д., этотъ полкъ надо будетъ считать деревней и отъ него ждать «надлежащаго слова», хотя бы казармы его находились гдѣ-нибудь на Фонтанкѣ, т. е. въ конкретномъ Петербургѣ. Затѣмъ, слѣдуя примѣру г. П. Ч., можно пожалуй отвлечь нѣкоторые признаки Петербурга, которые почище, и этотъ отвлеченный Петербургъ противопоставить конкретной деревнѣ. Въ такихъ приемахъ хорошаго мало. Я знаю, что и господа «мыслящіе провинціалы», и господа «Недѣля» назовутъ все это бездушными придирами столичнаго писателя, руководствующагося только «объективно-литературнымъ интересомъ» и неспособнаго оцѣнить глубину чувствъ, волнующихъ гг. Кавелина, П. Ч., Гайдебурова и проч. Бросьте эти фразы, господа, потому что это—дѣйствительно фразы, или по крайней мѣрѣ перестаньте претендовать на титулъ мыслящихъ, вы, господа «мыслящіе провинціалы», и печатать философскія статьи о «нашемъ умственномъ строѣ», о «возможности метафизическаго знанія» и т. п., вы, г-жа «Недѣля». Выступайте во всеоружіи простого непосредственнаго чувства, пойте торжественные гимны или меланхолическіе романсы, не пытайтесь уже ничего оправдывать логическими соображеніями. Я понимаю законность и такой формы литературы, потому что понимаю законность чувства, хотя и то сказать: неужто мы въ самомъ дѣлѣ такъ много и напряженно «мыслили», чтобы понадобилась реакція? Я полагаю, господа, что логическая мысль не мѣшаетъ чувству, а напротивъ помогаетъ ему. Не безукоризненность и законченность формы отъ васъ требуется. Пишите нескладно, дурно, если не можете писать хорошо, но пишите дѣло, не путайте и безъ того не прочно стоящихъ понятій. «Недѣля» впрочемъ именно на эту удочку невразумительности поддѣла—не скажу интересъ, потому что это слишкомъ громко,—а говорю...

«Недѣля», бія себя въ грудь, говорить: чувствуйте! чувствуйте! И я скажу: чувствуйте, но не думайте, что чувство избавляетъ васъ отъ обязанности правильно мыслить, особенно если вы хотите поучать другихъ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ путать понятія не только не умно, а пожалуй что и бездушно.

«Недѣля» говорить: наблюдайте, вотъ какъ я. И я скажу: — наблюдайте, но не такъ, какъ «Недѣля», и не думайте, что «теоретическія построенія» непременно враждебны наблюденію, ибо наблюдать безъ какого-нибудь теоретическаго построенія просто невозможно, а оставлять наблюденія въ сыромъ видѣ — по малой мѣрѣ нерасчетливо.

«Недѣля» говорить: бросьте «иностранныя книжки», «европейскіе очки» и изучайте народную русскую жизнь — въ ней ваше спасеніе. Да, изучайте народную русскую жизнь, но иностранныхъ книжекъ не бросайте, а «европейскіе очки» просто разбейте, чтобы объ нихъ и помину не было. — Вы видите, что сама «Недѣля», толкуя о внимательныхъ наблюденіяхъ надъ текущею русскою жизнью, не прочь заглянуть и въ исторію Испаніи и Рима; что, распинаясь за «народную психологическую подкладку», сама она непрочь позаимствоваться иногда теоретическими построеніями нѣмецкаго еврея.

«Недѣля» говорить: пусть провинція развертываетъ свои силы и въ частности пусть развивается провинціальная печать. Да, пусть, но...

Но этотъ пунктъ требуетъ нѣсколько болѣе подробнаго разсмотрѣнія. Подведемъ сначала итогъ, т. е. отвѣтимъ на вопросъ «Недѣли»: почему она возбудила такой «интересъ»? Въмѣсто отвѣта впрочемъ лучше просто рассказать, какъ дѣло было.

Въ періодъ скандала и цѣлковаго, въ глухое время сплошнаго сѣренкаго либерализма и отсутствія всякихъ высшихъ интересовъ, существуетъ, между прочими, газета «Недѣля». Она держитъ себя скромно до безцвѣтности, степенно до скуки, но вмѣстѣ съ тѣмъ ровно и добросовѣстно до претерпѣванія разныхъ невзгодъ. Она — типичная «хранительница традиціи». Признавая пороки выдуманнѣйшіе, она добросовѣстно заряжаетъ ими свой

маленькій монте-кристо и еженедѣльно тихо стрѣляетъ въ цѣль, позволяя себѣ только одну роскошь: надписывать надъ мишенью громкія заглавія въ родѣ: «Правомѣрное государство», «Непосредственная посредственность» «Непоследовательность прогрессивной партіи въ Никольскомъ уѣздѣ» и т. п. Это порождаетъ странныя, двойственные отношенія къ газетѣ въ обществѣ и литературѣ. Съ одной стороны нельзя не уважать людей, добросовѣстно исполняющихъ свои обязанности, но съ другой — вялость и безцвѣтность не подлежатъ никакому сомнѣнію, ибо всякая, даже самая живая мысль, попадая на страницы почтенной газеты, немедленно какъ-то тускнѣетъ. Вдругъ въ этомъ скромномъ и аккуратномъ гнѣздышкѣ поднимается какое-то необычное движеніе: «Недѣля» отказывается отъ роли хранительницы традиціи, она свой порохъ выдумала и отнынѣ намѣрена заряжать свой монте-кристо только этимъ, собственной фабрикаціи порохомъ. Аллюры газеты становятся все рѣшительнѣе. Всеобщее недоумѣніе или «вопросительный знакъ», какъ выражается сама газета. Нѣкоторые говорятъ: «Емеля-то нашъ каковъ?! порохъ выдумалъ». (Я потому только выражаюсь такъ, что рассказываю, какъ было дѣло; самъ же я никогда не рѣшусь назвать «Недѣлю» Емелей, даже для римы). Другіе, болѣе глубокомысленные и не знающіе о чѣмъ писать, унимаютъ: «нѣтъ, позвольте, это дѣло надо разобрать—газета серьезная!» Усматривая затѣмъ радикальную невразумительность разсужденій «Недѣли», гг. газетные рецензенты окончательно торжествуютъ. Г. А. радостно потираетъ руки: есть, могъ, и намъ чѣмъ поживиться. Г. Стасовъ и тому подобные начинаютъ ходить гоголемъ: русская школа живописи и музыки помянуты и вообще показанъ коренной русскій, національный палецъ, притомъ въ сообразномъ духу времени мутновато-либеральномъ освѣщеніи. Кто хвалить, кто бранить, кто такъ себѣ умствуешь, и «Недѣля» заноситъ въ свою памятную книжку: «сегодняшняго числа возбудили интересъ въ Фаустѣ Щигровскаго Уѣзда»; «сегодня г. В. М. поставилъ вопросительный знакъ»; «сегодня получено сочувственное письмо изъ провинціи». Между тѣмъ и серьезные люди привлекаются

къ этому клубку. Интересуясь дѣйствительно живыми вопросами, на которые налагаетъ руку «Недѣля», одни открываютъ въ поведеніи газеты не только путаницу, а и совсѣмъ ужъ нехорошія вещи; другіе запутываются въ цѣлой цѣпи невразумительностей, толкуя ихъ каждый по своему.

Вотъ какъ было дѣло. Въ цѣломъ—интересъ, возбужденный «Недѣлей», если только совокупность подразумѣваемыхъ фактовъ заслуживаетъ этого громкаго титула, есть результатъ сцѣпленія мелочныхъ обстоятельствъ въ пустомъ и темномъ пространствѣ. Въ цѣломъ—онъ не имѣетъ ровно никакого общаго значенія. Я говорю *въ цѣломъ* потому, что есть одна подробность въ этой исторіи, которая заслуживаетъ быть выдѣленною. Когда исторія втискиваетъ общество въ такое пустое и темное пространство, въ какомъ мы обрѣтались вплоть до самаго новѣйшаго времени (то-есть до настоящей войны; что будетъ дальше — неизвѣстно), тогда многіе, даже серьезные и живые люди не могутъ удержаться на высотѣ строго-логической мысли. Является потребность примирять непримиримое, бросать якоря паразитъ въ нѣсколькихъ пунктахъ. Эклектизмъ или даже просто лоскутность получаютъ особенную цѣну. Пусть «Недѣля» вспомнить интересъ, возбужденный въ свое время лоскутною философіею Кузена съ братіей. Кругомъ темно, пусто, мрачно, скверно: въ душу закрадывается щемящій скептицизмъ; жизнь не даетъ нужнаго возбужденія, не подкладываетъ въ костеръ дровъ; костеръ гаснетъ, мысль устаетъ работать. Являются лоскутники. самоуверенно предлагающіе свою опору. Они на живую нитку сшиваютъ обрывки разныхъ теорій и выдаютъ этотъ шиворотъ за нѣчто цѣльное, новое и самостоятельное. Усталая мысль за него хватается, потому что онъ и въ самомъ дѣлѣ какъ будто новъ и какъ будто понятнѣе логической теоріи, именно своею грубостью. Мысль, неподдерживаемая жизнью, не можетъ справиться съ теоретическимъ построеніемъ, а ей говорятъ: да ихъ и не надо—теоріи-то; нужно наблюденіе и теплота чувствъ. Это конечно соблазнительно, и соблазненная мысль не замѣчаетъ, что самъ соблазнитель—чистѣйшій теоретикъ, очень слабый по

части наблюденія. Мысль не знаетъ, какъ приложить къ дѣлу «заграничныя формулы», а ей говорятъ, что она смѣло ихъ можетъ забросить и ухватиться за «начала народнаго русскаго быта». Опять та же исторія, и опять соблазненный не замѣчаетъ, что соблазнитель упитанъ заграничными формулами и если отрицаетъ ихъ, то только по своей лоскутности: онъ не иначе какъ эклектически умѣетъ связать свои заграничныя формулы съ тѣмъ, что ему кажется хорошимъ въ началахъ народнаго быта. Въ числѣ увлеченныхъ философій Кузена были безъ сомнѣнія и серьезные люди. Есть они и въ числѣ сочувствующихъ «Недѣлѣ», хотя ихъ разумѣется крайне мало. Ради этой-то, очень маленькой, но заслуживающей полнаго вниманія кучки людей, я прошу «Недѣлю» исполнить свое обѣщаніе и дать мнѣ «возможно обстоятельный отвѣтъ». Чтобы не плодить препирательствъ по разнымъ побочнымъ вопросамъ, я попрошу «Недѣлю» сосредоточить свое вниманіе на слѣдующихъ пунктахъ: Вопервыхъ я утверждаю, что понятія національности и народности спиты «Недѣлею» лоскутнымъ манеромъ и логически сплошной ткани не представляютъ, хотя и могутъ совпадать эмпирически, въ томъ или другомъ частномъ случаѣ. Во вторыхъ разрывать «теоретическія построенія» и наблюденіе — значить тоже лоскутничать, только въ другую сторону. Втретьихъ: въ какомъ отношеніи находится «народная русская психологическая подкладка» съ тѣмъ чисто-заграничнымъ, европейскимъ теоретическимъ построеніемъ, которыми освѣщаетъ исторію Россіи напримѣръ г. П. Ч.? Вчетвертыхъ я утверждаю, что брать умственный моментъ «отъ себя», а нравственный «отъ деревни» — значить опять-таки лоскутничать, ибо ни тотъ, ни другой не представляютъ чего-нибудь однороднаго. Если «Недѣля» будетъ говорить, что она «подразумѣваетъ» подъ деревней то-то и то-то, такъ я заранѣе говорю, что мнѣ нѣтъ никакого дѣла до ея подразумѣваній, тѣмъ болѣе, что вѣдь она — наблюдательница и теоретическимъ построеніямъ не довѣряетъ.

Особъ статья — провинція. Провинціалы дѣйствительно должны быть благодарны «Недѣлѣ», и я охотно вѣрю почтенной редак-

цин, когда она говоритъ, что въ ея портфель хранится много сочувственныхъ писемъ изъ провинціи. Еще бы! «Недѣля» уже давно начала доказывать, что провинціальный писатель, именно потому, что онъ—провинціальный, можетъ понимать вещи не въ примѣръ лучше, чѣмъ столичный. Принимая въ соображеніе, что гг. Гайдебуровъ, Кавелинъ, Миллеръ, Бестужевъ-Рюминъ, г-жи Цебрикова, Копради и вообще большинство сотрудниковъ «Нѣдѣли»—суть стародавніе петербургцы, она обнаружила въ этомъ случаѣ даже значительное самоотверженіе. Правда, не смотря на свою любезность, «Недѣля» встрѣтила кое-гдѣ въ провинціи (въ «Камско-Волжской Газетѣ», въ «Первомъ шагѣ») не совсѣмъ лестную оцѣнку, но все-таки провинціальное сердце—не камень. Но и помимо любезности «Недѣля» заслуживаетъ благодарности провинціи постояннымъ, иногда очень серьезнымъ (а иногда и съ обычнымъ вывертомъ) напоминаніемъ объ ней. Я полагаю, что на этомъ пунктѣ почтенная газета откликается на дѣйствительную и настоятельную потребность. Провинція растетъ, какъ и все, что живетъ. Въ такомъ обширномъ государствѣ, какъ Россія, центры разумеется не могутъ услѣдить за всеми истинными нуждами и интересами. Это еще не есть резонъ для возникновения и процвѣтанія провинціальной литературы, потому что какія-нибудь необозримыя тундры могутъ имѣть совершенно своеобразную физіономію, весьма мало доступную центрамъ, но не имѣть того, что называется «культурнымъ слоемъ», а следовательно и писателей, и читателей. Но дѣло въ томъ, что нынѣ въ провинціи культурный слой все растетъ. Вонервыкъ, какъ ни косо смотреть «мыслящіе провинціалы» на петербургскую литературу, но она несомнѣнно создала въ провинціи читателей, возбуждая умственные интересы и такъ или иначе ихъ удовлетворяя. Рядомъ съ этимъ насажденіемъ читателя, онъ возникаетъ и самъ по себѣ, спонтанейно, какъ говорятъ философы. Далѣе съ уничтоженіемъ крѣпостнаго права и истребленіемъ выкушныхъ свидѣтельствъ, «культурные люди» по необходимости отвыкають отъ абсентеизма, забываютъ свои экскурсы за-границу, въ Москву, въ Петербургъ и усаживаются на мѣстѣ.

Земскія и судебныя учрежденія въ свою очередь увеличиваютъ контингентъ провинціальныхъ читателей. А гдѣ есть читатель, тамъ есть или скоро будетъ писатель. Въ какой мѣрѣ весь этотъ людъ заслуживаетъ названія мѣстной интеллигенціи, это—особый вопросъ. Но это во всякомъ случаѣ—мѣстные читатели, и *à la longue* ихъ перестаетъ удовлетворять петербургская газета, одна половина которой посвящена иностраннымъ дѣламъ, а другая распределяется между Петербургомъ и всей остальной Россіей отъ Перми до Тавриды, отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды. Это такъ просто, такъ естественно, что не надо быть пророкомъ, чтобы предсказать значительное развитіе провинціальной печати въ самомъ непродолжительномъ времени, если разумѣется тому не помѣшаютъ виѣшнія обстоятельства. Вообще говоря, здравомыслящій человѣкъ можетъ конечно только радоваться этому, какъ одному изъ выраженій разнива знаній и просвѣщенія по лицу земли русской. Но представимъ себѣ, что будущая провинціальная журналистика будетъ окрашена въ цвѣтъ «Гражданина», «Русскаго Вѣстника» или будетъ имѣть характеръ верхнихъ этажей газеты знаменитаго плутосократа г. Полетики. Многіе будутъ этому радоваться, но я, грѣшный человѣкъ, откровенно скажу, что лучше бы въ такомъ случаѣ провинціальной журналистики вовсе не было. Разногласіе это, какъ бы кто ни посмотрѣлъ на мою нетерпимость, показываетъ, что вопросъ провинціальной журналистики сложенъ, чѣмъ кажется съ перваго взгляда. Мѣстная литература не можетъ просто поставлять занимательное и поучительное чтеніе для мѣстныхъ читателей. Она будетъ такъ или иначе формировать взгляды читателей и вліять на мѣстныхъ житейскіхъ дѣла. Объ этомъ рѣчь будетъ ниже, а теперь я хочу только сказать, что, кромѣ возникновенія и развитія провинціальной литературы вообще, желательно развитіе благообразное. Мнѣ извѣстны попытки, въ этомъ отношеніи заслуживающія полнѣйшаго сочувствія (конечно такихъ немного: разъ, два, да и обчелся), но извѣстны также факты, въ высокой степени неблагообразныя. Въ настоящую минуту предо мной лежитъ казанскій сборникъ

«Первый шагъ» и брошюра г. Гацискаго «Смерть провинціи, или нѣтъ?» Если прибавить сюда пламенное изліяніе г-жи Ефименко, приведенное мною въ прошлый разъ, то мы будемъ имѣть группу горячихъ защитниковъ провинціальной печати, искреннихъ и благонамѣренныхъ, съ которыми говорить можно. Воспользуемся этимъ случаемъ.

«Мы не «грызться» съ вами хотимъ, вовсе нѣтъ... Мы напротивъ ищемъ въ васъ союзниковъ». Такъ между прочимъ обращается къ столичнымъ писателямъ г. Литераторъ-обыватель, авторъ очень пространнаго литературнаго обзорѣнія въ «Первомъ шагѣ». Нѣтъ, господа, вы грызться хотите; вы даже прямо грызетесь, и въ этомъ вапа первая бѣда и ошибка. Развѣ не грызня—это заявленіе г. Литератора-обывателя, что на десять столичныхъ писателей въ провинціи найдутся сотни умовъ, которымъ столичные въ подметки не годятся? Развѣ не грызня—эти длинныя, длинныя разсужденія о томъ, что казавскій первый шагъ будетъ петербургскими писателями встрѣченъ или презрительно, или покровительственно? Развѣ не грызня—увѣреніе г-жи Ефименко, что столичный писатель есть какая-то бездушная писательная машина, а провинціальный напротивъ исполненъ чрезвычайно высокихъ чувствъ? Г. Гацискій говоритъ въ упомянутой брошюрѣ: «Нѣкоторые изъ моихъ друзей настолько нервны, что готовы объявить не только вамъ (г. Мордовцеву), но и петербургской печати войну на жизнь и смерть, сейчасъ, сегодня». «Я готовъ дать торжественное обѣщаніе, написать мнѣ одинъ изъ моихъ друзей: — по принципу не писать ничего въ столичныхъ изданіяхъ, но стѣсняюсь это сдѣлать потому, что могутъ быть случаи, что то или другое негдѣ печатать въ провинціи, Я готовъ встать въ театральную позу и продекламировать: клянусь въ вѣчной враждѣ къ монополюющей столичной печати!» (15). Развѣ это—не грызня? Правда, г. Литераторъ-обыватель въ письмѣ въ «Недѣлю» обращаетъ вниманіе на частный, непубличный характеръ этихъ клятвъ и обѣщаній. Но если такой солидный дѣятель провинціальной печати, какъ г. Гацискій, счелъ нужнымъ привести эту выписку изъ частнаго

письма, такъ значить она характерна. Мнѣ показывали номеръ «Тифлискаго Вѣстника» (кажется), въ которомъ напечатано «письмо изъ Петербурга». Какъ видно, такихъ писемъ кавказская газета напечатала уже цѣлый рядъ. Мнѣ они неизвѣстны, но судя по тому, что я видѣлъ, анонимный корреспондентъ есть отставной петербургскій литераторъ, занимающійся нынѣ на досугѣ сплетнями. Онъ въ восторгѣ отъ «Перваго шага». Г. Литератора-обывателя онъ признаетъ грозною силою, имѣющею сокрушить столичную печать. Онъ объясняетъ, что давно уже добровольно отрясъ столичный прахъ отъ ногъ своихъ и по принципу сдѣлался провинціальнымъ писателемъ (онъ думаетъ, что сообщать въ «Тифлискій Вѣстникъ» петербургскія сплетни значить быть провинціальнымъ писателемъ). Въ заключеніе, поручая себя благосклонному вниманію г. Литератора-обывателя, корреспондентъ обѣщаетъ сообщить ему массу фактовъ, кажется даже документовъ, свидѣтельствующихъ о нравственной дрялости столичныхъ писателей. Не думаю, чтобы редакція «Перваго шага» до того унизилась, чтобы дать у себя мѣсто этимъ фактамъ и документамъ, но не могу поручиться, что злобствующій экс-петербургскій писатель не встрѣтитъ нѣкотораго сочувственнаго отклика въ сердцѣ г. Литератора-обывателя. Грызаясь сами, провинціалы увѣрены, что и столичные писатели съ нами грызутся, хотя и будутъ грызться. Они даже подыскали причину. И г. Гацскій, и г. Литераторъ-обыватель полагаютъ, что для столичныхъ писателей невыгодно развитіе провинціальной печати, которая, дескать, отобьетъ у петербургскихъ и московскихъ изданій подписчиковъ. Это—дѣло издателей, и какъ они на него смотрятъ—мнѣ неизвѣстно. Что же касается нашего брата, работника, то, предполагая даже, что у насъ нѣтъ на умѣ ничего кромѣ выгоды, развитія провинціальной литературы намъ все-таки бояться нечего: чѣмъ больше мастерскихъ, тѣмъ лучше—есть изъ чего выбирать. Полагаю, что и издателямъ бояться нечего. Петербургскій или московскій конкурентъ для нихъ гораздо страшнѣе казанскаго или саратовскаго: послѣдній—даже не конкурентъ, по крайней мѣрѣ

не только конкурентъ, а отчасти и помощникъ, потому что онъ захватить и невспаханное поле, приучить читать того, кто прежде ничего не читалъ, а это и столичнымъ издателямъ на руку. Нигдѣ въ цѣломъ мірѣ развитіе провинціальной печати не сокращало числа подписчиковъ на столичныя изданія—это фактъ—и, можно даже думать, увеличивало его.

Если-же провинціалы искренно и правду говорятъ, что не хотятъ грызться, такъ тѣмъ лучше. Да изъ-за чего намъ въ самомъ дѣлѣ грызться? Грызутся люди изъ-за куска хлѣба—объ этомъ сейчасъ говорено. Грызутся изъ-за личныхъ счетовъ—у насъ ихъ съ провинціалами пока нѣтъ. Грызутся наконецъ изъ-за принциповъ. Но какіе-же такіе принципы могутъ послужить въ настоящемъ случаѣ яблокомъ раздора? Провинція и столица? Централизація и децентрализація? Да, отвѣчаютъ провинціалы и переносятъ такимъ образомъ споръ на принципиальную почву. Подумаешь, жирондисты съ якобинцами сражаются... Позволю себѣ просить господъ провинціаловъ смотрѣть на дѣло прямѣе и яснѣе. Провинціалы вообще склонны говорить, что, молъ, мы—по просту, по душѣ, а столичные норовятъ все «въ критику, да изъ-подъ политики», какъ говоритъ одна купчиха у Островскаго. Извѣстно, что за такія простація рѣчи любятъ прятаться смышленные кулаки, пройдохи, очень ловко обдѣлывающіе свои дѣла «по-просту, по душѣ». Но и дѣйствительно простые и откровенные люди часто повторяютъ подобныя фразы. Вотъ и провинціальныя писатели любятъ говорить: мы—вожскіе бурлаки, мы—по-просту, по душѣ. Помилюте, господа, какіе-же вы вожскіе бурлаки? Этакъ и мы скажемъ, что мы—петербургскіе крючники или ломовые. Не вѣрьте пожалуйста г. П. Ч., что мы о провинціи понятія не имѣемъ. Большинство изъ насъ—не петербургскіе уроженцы. связи кое-какія съ провинціей сохраняемъ, бывали (даже!) въ славномъ городѣ Казани, дѣлающемъ нынѣ свой литературный «первый шагъ», и очень хорошо знаемъ, что Казань совсѣмъ не сплошь населена бурлаками, что есть въ ней изящнѣйшіе джентльмены и леди, ученые профессора, хорошо откормленные

купцы, фабриканты, практикующіе систему штрафовъ и прогуловъ, французскіе рестораторы и парикмахеры, словомъ — все, чему въ большомъ городѣ быть надлежитъ. Но возведеніе въ принципъ провинціальной простоты и душевности не только ошибочно, а и вредно. Говорящій можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ простъ и душевенъ, но къ нему весьма легко можетъ пристроиться и пройдоха. Г. Литераторъ-обыватель увидѣлъ «политику» въ моихъ словахъ, что и остзейскіе бароны, и американскіе рабовладѣльцы и проч. стояли за принципъ децентрализаціи и что безусловные принципы централизаціи и децентрализаціи представляютъ собою яйцо, выдѣненное исторіей. За чѣмъ вы о *безусловныхъ* принципахъ заговорили, укоряетъ меня г. Литераторъ-обыватель: — это — «политика»; вы вѣдь знаете, что «Недѣля» не за остзейскихъ бароновъ стоитъ, знаете, какъ разумѣетъ она принципъ децентрализаціи. Я очень хорошо знаю, что г. Гайдебуровъ не есть баронъ фон-дер-Гайдебургъ. Малоли что я знаю, но я не смѣю говорить въ печати такъ «по-просту и по-душѣ», какъ бесѣдовалъ-бы я съ г. Литераторомъ-обывателемъ за стаканомъ чаю, не смѣю потому, что требованія публичной бесѣды совсѣмъ иныя. Если человѣкъ публично ставитъ извѣстный принципъ, такъ я требую, чтобы онъ принялъ всѣ его логическія слѣдствія или-же видоизмѣнилъ, или избралъ новый. Того требуютъ логика, уваженіе къ печатному слову и обязанность писателя не путать понятій читателя, не вводить его въ соблазнъ. Того требуетъ, если хотите, именно «душевное» отношеніе писателя къ своему дѣлу и къ своимъ читателямъ. Если американскіе южные штаты опять поднимутъ знамя федераціи на подкладкѣ рабовладѣнія, «Недѣля» должна будетъ или одобрить послѣднее, или измѣнить своему принципу децентрализаціи. Г. Литераторъ-обыватель и тутъ можетъ быть найдеть «политику», потому что, дескать, не объ Америкѣ рѣчь идетъ, а о мѣстныхъ нуждахъ современной Россіи. Нѣтъ, рѣчь идетъ о принципѣ, который долженъ обнять всю группу извѣстныхъ явленій и дать руководящую нить среди стихійной запутанности конкретной жизни. Не имѣя такого общаго прин-

ципа, вы и въ мѣстныхъ нуждахъ не разберетесь какъ слѣдуетъ, т. е. безъ противорѣчій.

Возьму примѣръ, какихъ много, десятки, если не сотни. Вотъ два нумера «Оренбургскаго Листка» за нынѣшній годъ (№ 14 и 15). Газета эта, сколько мнѣ извѣстно, скорѣе хорошая, чѣмъ плохая въ сонмѣ провинціальной журналистики. Въ обоихъ упомянутыхъ нумерахъ ея идетъ рѣчь о проектѣ мыловареннаго и стеариноваго завода въ Оренбургѣ. Учредители, имѣя въ виду особенности края и значительное развитіе въ немъ скотоводства, полагаютъ, что предпріятіе не только выгодно для пайщиковъ, для мѣстныхъ потребителей мяса, мыла, свѣчей, для скотоводовъ, но что оно кромѣ того «глубоко мѣстнаго типа». Чтò это значить, я не совсѣмъ хорошо понимаю и отмѣчаю только игру словомъ «мѣстный». «Оренбургскій Листокъ» съ своей стороны такъ привѣтствуетъ проектъ:

«Итакъ въ непродолжительномъ времени мы будемъ имѣть, дастъ Богъ, и свѣчи стеариновыя хорошія, которыя теперь мы покупаемъ не ниже 30 коп. за фунтъ, и мыло доброкачественное, во всякомъ случаѣ не такое гнилое и вонючее, какими угощаютъ насъ мѣстные доморощенные фабриканты въ настоящее время. Помимо того, предпріятіе носитъ на себѣ глубоко мѣстный характеръ; оно лежитъ въ основаніи мѣстныхъ потребностей и по обилію и сподручности матеріаловъ производства обѣщаетъ быть прибыльнымъ. Независимо отъ сего, задуманное предпріятіе есть явленіе отрадное съ точки зрѣнія общественной экономіи. Появленіе въ наше время подобнаго рода компаній и коопераций показываетъ, что въ русскомъ обществѣ мало-по-малу устанавливается правильный взглядъ на жизнь и ея требованія. То, чтò еще не такъ давно составляло профессію иностранцевъ или исключительнаго класса въ обществѣ, теперь становится занятіемъ всякаго, кто желаетъ вѣяться за дѣло, за трудъ, сдѣлавшійся нынѣ знаменемъ всего дѣльнаго, всего лучшаго въ обществѣ» и т. д.

Трудъ, кооперация, наше время, дешевыя свѣчи, благовонное мыло—все это прекрасно и даже чрезвычайно либерально. Но не слѣдуетъ забывать, что явленіе, вызвавшее эти фразы, крайне просто: акціонерная компанія съ капиталомъ въ полтора милліона. *Мѣстное* значеніе ея дѣятельности выразится не только

удешевленіемъ свѣчей и мыла (это еще на двое сказано), но прежде всего искорененіемъ *мѣстныхъ* же мелкихъ заведеній, занятыхъ тѣмъ же дѣломъ, если разумѣется такія есть. А они есть. Въ запискѣ учредителей говорится: «Значительныхъ оборотовъ саломъ и крупныхъ фабричныхъ производствъ на мѣстѣ не имѣется, но почти во всякомъ селеніи существуютъ мелкія салотопни, и въ краѣ разбросано до 20 небольшихъ мыловаренныхъ заводовъ, вырабатывающихъ мыло низкаго достоинства». «Оренбургскій Листокъ» въ свою очередь радуется, что мыло у оренбуржцевъ будетъ хорошее, а «не такое вонючее и гнилое, какимъ угощаютъ насъ *мѣстные доморощенные* фабриканты въ настоящее время». Значить, эти мѣстные доморощенные, не смотря на свою мѣстность, провалятся подъ давленіемъ колоссальнаго предпріятія «глубоко мѣстнаго типа». Мѣстная газета становится на сторону послѣдняго. Можетъ быть оно такъ и слѣдуетъ—я не знаю, потому что ни учредители, ни газета не сообщаютъ никакихъ свѣдѣній о «доморощенныхъ». Но очевидно, что человѣкъ, затвердившій: «мѣстные нужды, мѣстные интересы, развитіе провинціи», не въ состояніи разсудить неизбежный споръ между мѣстными доморощенными и «глубоко мѣстнымъ типомъ». Очевидно, что только лоскутникъ можетъ эти разпозающіяся въ разные стороны явленія суммировать въ понятіи «мѣстнаго».

— Все—бездушная логика, все—холодный анализъ! Гдѣ же чувство?! слышу я голоса «Недѣли» и мыслящихъ провинціаловъ. Есть здѣсь и чувства малость, милостивые государи. На первый разъ хоть бы чувства сожалѣнія къ тѣмъ, которые, участвуя въ изготовленіи мутной воды, сами въ ней тонутъ, и чувства ненависти къ тѣмъ, кто въ этой водѣ рыбу ловить и будетъ ловить. А коли подумаете (вѣдь вы — мыслящіе), такъ отыщете можетъ быть и другія чувства.

Если такимъ образомъ мѣстные интересы могутъ заключать въ себѣ весьма рѣзкія противорѣчія, то и провинціальная литература должна будетъ распасться въ самомъ простомъ случаѣ по крайней мѣрѣ на два лагеря. И я не вижу возможности со-

чувствовать имъ обобщенъ заразы, хотя оба они могутъ быть чисто мѣстными и отстаивать чисто мѣстные интересы. Слѣдовательно желать возникновенія и развитія провинціальной печати я могу только подъ извѣстными условіями, которыя должны быть ясно оговорены, ибо во всякомъ данномъ случаѣ они могутъ быть и не быть на лицо. Г. Литераторъ-обыватель думаетъ иначе. Онъ полагаетъ, что провинція, какъ провинція, по самой сущности своей носить въ себѣ хорошіе задатки. Довольно трудно говорить о литературномъ обзорѣ г. Литератора-обывателя, потому что, занимая почти девять печатныхъ листовъ и чуть не четверть всего «Перваго шага», оно касается самыхъ разнообразныхъ предметовъ, причемъ авторъ бросается изъ стороны въ сторону, вводитъ много совсѣмъ ненужныхъ разсужденій и проч. Значительная часть обзорѣя занята опроверженіями статей гг. Мордовцова и Пашкова. О первой я упоминалъ, вторая мѣстна, но, какова бы она ни была, г. Литераторъ-обыватель не имѣлъ никакого права привлекать заодно къ суду всѣхъ столичныхъ писателей, повинныхъ будто бы во враждебномъ (да еще по принципу), отношеніи къ своимъ провинціальнымъ собратамъ. Такъ что всю эту часть его обзорѣя можно оставить безъ вниманія. Далѣе г. Литераторъ-обыватель разсматриваетъ общіе признаки провинціального писателя, каковой оказывается 96-й пробы. Затѣмъ онъ обращаетъ вниманіе на одну особенную, спеціальную выгоду провинціальной печати и наконецъ предлагаетъ планъ литературной реформы. Обо всемъ этомъ побесѣдовать можно.

«Какова роль провинціального писателя? Столичная печать относится къ нему высокомерно или насмѣшливо, не знаетъ для него другого названія, какъ «безвѣстный труженикъ» или «литераторъ-обыватель»; мѣстное общество относится къ нему, какъ къ чудаку-юродивому, или неприязненно и враждебно, какъ къ «безпокойному человѣку». Каково матеріальное положеніе провинціального дѣятеля печати?—Совѣршеннѣйшая нищета, если постороннимъ заработкомъ онъ не обезпечить сколько-нибудь своего существованія. Для того, чтобы написать одинъ листъ литературнаго произведенія, дѣятель провинціальной печати долженъ иногда написать десять листовъ канцелярскихъ отношеній, докладовъ, журналь-

ных постановлений и т. д.; или—для того, чтобы два-три часа в день посвятить работѣ литературной—онъ долженъ пять-шесть часовъ посвятить на бѣготню по урокамъ и т. п. Въ такихъ-то обстоятельствахъ, какую пищу для самолюбія или матеріальнаго разсчета представляетъ дѣятельность провинціального писателя? Никакой; напротивъ она требуетъ самоотреченія во всѣхъ отношеніяхъ, за исключеніемъ главнаго: самостоятельности взглядовъ. Въ этомъ отношеніи писатель-провинціалъ обладаетъ драгоценнѣйшей привилегіей—хранить независимость своего мѣнія отъ вліянія литературныхъ кружковъ и лагерей, отъ разсчетовъ литературнаго кумовства, отъ поползновеній антрепренера-издателя (такъ какъ или онъ самъ издатель своихъ сочиненій, или издатель отъ него зависитъ, а не наоборотъ). Тѣ лишенія, труды, опасности и болѣзни, которыми онъ завоевываетъ себѣ право быть писателемъ—дѣлаютъ въ его глазахъ печатное слово предметомъ слишкомъ высокимъ, чтобы относиться къ нему безъ достаточнаго уваженія и обращаться съ нимъ за панибрата. Между тѣмъ какъ столичный писатель сплошь и рядомъ пишетъ для того, чтобы заработать себѣ средства къ жизни, провинціальный—наоборотъ: зарабатываетъ средства къ жизни для того, чтобы имѣть возможность писать; или короче: первый пишетъ, чтобы жить; второй живетъ, чтобы писать... Маленькая разница, которой объясняется очень многое... «Качества, составляющія отличительную особенность писателя-провинціала, заключаются въ той внутренней психической связи, которая существуетъ между дѣтелемъ и той мѣстностью, областью, территоріей, которой онъ посвящаетъ свою дѣятельность. Безъ этой внутренней связи, которую за неимѣніемъ болѣе подходящаго названія можно назвать мѣстнымъ патріотизмомъ, немыслимо посвятить всю жизнь усердному труду на пользу какого-нибудь края, не имѣя въ виду ни матеріальныхъ выгодъ, ни даже той награды, которую даетъ человѣку почетная извѣстность; напротивъ, очень часто подвергаясь добровольнымъ лишеніямъ въ разныхъ отношеніяхъ, требующимъ иногда даже чрезвычайнаго самоотверженія».

«Кто станетъ отвергать, — говоритъ далѣе авторъ, — что сочувствіе тѣмъ живѣе, чѣмъ ближе его объектъ къ сочувствующему субъекту и чѣмъ продолжительнѣе ихъ связь. Такимъ образомъ мѣстный патріотизмъ есть естественное и неизбежное послѣдствіе охладнаго общежитія... Трудно не заподозрить въ резонерствѣ того человѣка, который, говоря о своей любви къ человечеству, не проявляетъ бы въ то же время способности съ наибольшою живостью сочувствовать интересамъ той части человечества, которая въ силу предшествующихъ обстоятельствъ его жизни сдѣлалась для него болѣе близкой и родственной. Гарибальди можетъ быть величайшій космополитъ нашего времени, но онъ въ то же время и величайшій патріотъ. Его космополитизмъ выросъ на почвѣ патріотизма; поэтому онъ и носитъ такой живой, практическій, дѣятельный характеръ».

Комбинируя затѣмъ нѣсколько полемическихъ статей петербургскихъ изданій въ томъ направленіи, что столичный писатель безсодержателенъ, нравственно слабъ и проч., авторъ имѣеть и еще разъ случай представить писателя провинціального со стороны его независимости, свѣжести, самоотверженной честности. О «сотняхъ умовъ» умалчиваю.

Я знаю очень и очень немногихъ провинціальныхъ писателей лично, и они дѣйствительно подходятъ къ описанію г. Л. О. (г. Литераторъ-обыватель такой длинный, что я позволю себѣ его сократить). Но, не говоря уже о томъ, что я знаю такихъ и въ столицѣ (столичную печать огуломъ защищать конечно не стану), *общей* характеристикѣ г. Л. О. я, признаюсь, не имѣю. Не могу похвастаться короткимъ знакомствомъ съ провинціальной журналистикой, но все-таки понятіе имѣю и очень хорошо знаю, что въ ней сплошь и рядомъ находятъ себѣ пріютъ вещи, глубоко возмутительныя по своей пошлости, дрянности, глупости и грубости. Этого и мыслящіе провинціалы отрицать не станутъ. Я помню въ «Камско-Волжской Газетѣ» цѣлый рядъ статей, въ которыхъ огромное большинство провинціальныхъ газетъ подвергалось весьма строгому и весьма справедливому суду. Откуда же спрашивается берутся эти безобразія при тѣхъ условіяхъ, которыя г. Л. О. описалъ столь розовыми красками? Онъ не говоритъ, а я не знаю, но нетрудно видѣть, что именно эти якобы розовыя (я принимаю въ соображеніе и шипы, безъ которыхъ розы нѣтъ) условія могутъ сдѣлать изъ провинціального писателя нѣчто весьма отличное отъ портрета, написаннаго г. Л. О. Въ самомъ дѣлѣ: можно ли себѣ представить независимое провинціальное изданіе, если члены его редакціи вынуждены посвящать большую часть своего времени на сидѣніе въ разныхъ канцеляріяхъ? Петербургскій писатель зависитъ отъ издателя — это правда и прискорбная правда, но это — еще небольшая бѣда сравнительно съ зависимостью писателей-канцеляристовъ отъ тѣхъ вѣдомствъ, въ коихъ они служатъ и не служить не могутъ. Полагаю, что въ сужденіяхъ о мѣстныхъ дѣлахъ они должны частенько кривить душой, тѣмъ

болѣе, если и *мыслное* общество смотритъ на *мыслнаго* писателя, какъ на «чудака юродиваго» или «безпокойнаго человѣка». Что касается «мѣстнаго патріотизма», то это тоже оружіе обоюдоострое. Гарибальди дѣйствительно патріотъ-космополитъ. Но вѣдь и патріотизмъ и космополитизмъ его заключены въ совершенно опредѣленные принципиальные рамки. Съ Кавуромъ, тоже патріотомъ, онъ не ладилъ, а въ войнѣ за «независимость» южныхъ штатовъ Америки участія не принималъ. Но чѣмъ толковать о Гарибальди, возьмемъ лучше русскихъ патріотовъ-космополитовъ. Напримѣръ, въ силу предшествовавшихъ обстоятельствъ жизни, «для издателей покойной «Вѣсти» сдѣлалась наиболѣе близкой и родственной извѣстная часть человѣчества», русскаго человѣчества разумѣется, потому что они никому не хотѣли уступать въ патріотизмъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ они были космополиты, потому что распространяли свое сочувствіе и на польскихъ магнатовъ, и на англійскихъ лордовъ. Или вотъ напримѣръ г. Полетика. Патріотъ онъ несомнѣнный, но, такъ какъ предшествующія обстоятельства его жизни сдѣлали для него особенно дорогою и близкою ту часть человѣчества, которая называется русскими металлическими заводчиками, то онъ совершенно космополитически сочувствуетъ всѣмъ заводчикамъ всѣхъ странъ. Такъ и провинціальный писатель дѣйствительно сочувствуетъ той части мѣстнаго человѣчества, которая, въ силу предшествующихъ обстоятельствъ его жизни и проч., по одного эти обстоятельства пришили сюда, другого туда (все въ той-же мѣстности), одного къ казанскому бо-монду, а другого можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ къ волжскимъ бурлакамъ. Если вліяніе предшествующихъ обстоятельствъ жизни такъ могущественно и такъ плодотворно, какъ предполагаетъ г. Л. О., то напримѣръ «Оренбургскій Листокъ» необходимо и правомѣрно примыкаетъ къ тому изъ борющихся мѣстныхъ интересовъ, къ которому эти обстоятельства его влекутъ. А влекутъ они его къ «глубоко мѣстному типу». Но другую, мѣстную же газету другія обстоятельства столь же необходимо и правомѣрно могутъ повлечь къ «доморощеннымъ». А между

тѣмъ которая-нибудь сторона необходимо неправа и слѣдовательно которая-нибудь изъ газетъ оправдываетъ неправо дѣло. Надо еще замѣтить, что г. Л. О. очевидно совершенно неправильно распространяетъ какой-то частный опытъ на всю область провинціальной журналистики. Всѣ тѣ выгоды, которыя по его мнѣнію проистекаютъ напримѣръ изъ неоплачиваемости литературнаго труда, можетъ быть и существуютъ въ Казани. Но напримѣръ въ Одессѣ или въ Кіевѣ, имѣющихъ сравнительно очень значительную мѣстную литературу, положеніе дѣла очень близко къ столичному и качественно отъ него даже не отличается.

Такимъ образомъ портретъ героическаго провинціальнаго писателя, работы Л. О., требуетъ значительныхъ поправокъ. Цвѣтъ лица его слишкомъ свѣжъ, глаза слишкомъ блестятъ огнемъ самоотверженія, чело слишкомъ высоко, вся фигура слишкомъ театральна. Если справедливы соображенія автора о вредѣ полученія писателями гонорара, то оно приноситъ тѣ-же плоды и въ провинціи. Тамъ-же, гдѣ писатель работаетъ въ прямомъ смыслѣ даромъ, суррогаты авторскаго гонорара могутъ имѣть несравненно болѣе пагубныя послѣдствія. Тамъ, гдѣ мѣстное общество презираетъ мѣстнаго писателя, онъ не можетъ имѣть никакого вліянія и практикуетъ искусство для искусства. Если же предшествующія обстоятельства жизни прочно связали его съ какою-нибудь частью мѣстнаго человѣчества, вопросъ сводится къ опредѣленію достоинствъ и интересовъ послѣдней. Очень конечно возможны провинціальные писатели, самоотверженные и преслѣдующіе высокія цѣли. Но сама провинція тутъ ничего не гарантируетъ. Въ программу жизни такихъ писателей надо еще ввести иногда вѣроятно очень сильную внутреннюю ломку, вслѣдствіе сознательнаго разрыва съ тою частью мѣстнаго человѣчества, съ которою ихъ связала предшествующая жизнь. Они не рождаются съ истиной въ головѣ и съ справедливостью въ сердцѣ. И то, и другое имъ, какъ и столичному писателю, надо брать съ бою, т. е. добывать на свой

собственный страхъ, независимо отъ обстановки и часто наперекоръ ей.

Но въ томъ-то и дѣло,—доказываетъ г. Л. О.,—что провинціальному писателю легче, удобнѣе, чѣмъ столичному, добыть истину и справедливость. Г. Л. О. готовъ пожалуй допустить, что спасительная формула «провинція» спасительна только по тому, болѣе определенному содержанію, которое можетъ быть въ нее вложено. Онъ готовъ взять это содержаніе въ видѣ голоса «деревни» г. П. Ч. или въ видѣ принципа «интересовъ народа». Онъ кажется болѣе склоняется къ формулѣ г. П. Ч. И любопытно видѣть, какъ одна невразумительность фатально влечетъ за собою другія. Г. П. Ч. уже тѣмъ долженъ былъ снискать расположеніе провинціаловъ, что попрекнулъ столичныхъ писателей незнакомствомъ съ провинціей. Поэтому они, *городскіе* жители, простили ему неуваженіе къ *городу* вообще и ухватились за недоуверіе къ одному городу Петербургу. Мы видѣли, что, по г. П. Ч., «надлежащее слово скажутъ люди деревни, а не *города*, и ужъ всего меньше Петербурга». Горожане стали рукоплескать. Такова сила невразумительности. Далѣе, такъ какъ «деревня» г. П. Ч. есть нѣчто отвлеченное, а не то, чтобы настоящая, заправская деревня, поддающаяся наблюденію, то «подразумѣвать» подъ нею можно очень многое и очень различное. Г. Л. О. подразумеваетъ гр. Толстого и г. Энгельгардта. «Только двѣ литературныя силы эмансипировались, — говоритъ онъ, — отъ закваски столичной журналистики и оказались, какъ Антей, отъ прикосновенія къ землѣ, какими-то богатырями». Писатели, что и говорить, хорошіе. Но вѣдь у гр. Толстого есть, кромѣ десницы, еще шуйца, и я жду только конца «Анны Карениной», чтобы показать, какую роль эта шуйца можетъ иногда играть. О г. Энгельгардтѣ тоже позволительно оставаться при особомъ мнѣніи, признавая всѣ его достоинства. Да и не двѣ только литературныя силы эмансипировались. Вотъ и г. Фетъ эмансипировался и живетъ, мнѣ говорили, совсѣмъ по сосѣдству съ гр. Толстымъ. Зачѣмъ же г. Л. О. его забываетъ? Правда, черезъ нѣсколько строкъ оказывается, что «эти

два рѣзкіе примѣра не единственные въ своемъ родѣ», и перечисляется довольно длинный списокъ статей и авторовъ «Антеевъ», оканчивающійся многозначительнымъ «и т. д.» Но г. Фета я въ этомъ списокѣ не нашелъ. Неужели онъ — не Антей? а если не Антей — такъ почему?

Не стану слѣдить за дальнѣйшимъ сдѣленіемъ невразумительностей. Петля за петлей, изъ нихъ можно бы было связать нѣчто очень длинное. Самоотверженно отказываюсь отъ гонорара, слѣдующаго за эту обширную работу, предполагаю для краткости голосъ деревни и интересы народа тождественными и ставлю вопросъ въ такой скромной и безобидной формѣ: доступнѣ ли для провинціального писателя изученіе народа, чѣмъ для столичнаго? Съ перваго взгляда кажется, что положительный отвѣтъ несомнѣненъ. Не даромъ же провинціалы говорятъ о себѣ: «мы—мужики, деревенщина, провинція». Но я уже замѣчалъ, что провинціалы говорятъ неправду, что провинціальный писатель—не мужикъ и не деревенщина, а прежде всего горожанинъ, и затѣмъ въ частности профессоръ, чиновникъ, мѣщанинъ, купецъ, помѣщикъ, губернской аристократъ. «Не обманывайте себя, совѣтуетъ г. Л. О.,—ходя по Невскому Проспекту. интересовъ народа не узнаешь». Мы на этотъ счетъ себя ни малѣйше не обманываемъ, но знаемъ, что Проломная, Воскресенская—и какъ еще тамъ зовутъ казанскія улицы—никакой въ этомъ отношеніи привилегіи передъ Невскимъ проспектомъ не имѣютъ; особенно если жизнь проходитъ въ хожденіи изъ дому, что на Поповой горѣ или на Булакѣ, въ канцелярію, что на Проломной, оттуда въ редакцію — что на Воскресенской, и потомъ обратно на Попову гору (прошу гг. казанцевъ извинить, если я перезабылъ ихъ улицы).

И г. Л. О., и г. Гадискій усиленно ратуютъ противъ мнѣнія, что провинціальнымъ писателямъ приличествуетъ собраніе матеріаловъ, а столичнымъ—ихъ обработка. Я думаю, что, чѣмъ опровергать подобныя мнѣнія при помощи восклицательныхъ знаковъ и благороднаго негодованія, гораздо было бы лучше отвѣчать дѣломъ, т. е. обрабатывать матеріалы. И никто тогда

не пикнеть. Вотъ напримѣръ въ Ярославлѣ недавно появились два замѣчательныя сочиненія: «Общинное землевладѣніе» г. Посникова и «Обычное право» г. Якушкина. Развѣ посмѣлъ кто-нибудь сказать авторамъ, что они суются не въ свое дѣло? Напротивъ: столичная литература указала, что книга г. Якушкина, будучи по виду простымъ сборникомъ библиографическаго матеріала, представляетъ въ сущности нѣчто очень обработанное. Тѣмъ паче, волей неволей, приметъ столичная литература обработку мѣстныхъ матеріаловъ мѣстными писателями, если эта обработка будетъ обладать дѣйствительными достоинствами. Интересуясь напримѣръ въ настоящую минуту исторіей казачества, я рѣшительно не знаю за что больше благодарить мѣстныхъ писателей: за собраніе матеріаловъ или за ихъ группировку, обработку. Еслибы какой-нибудь баши-бузукъ что-нибудь и гикнулъ, такъ это все-таки не резонъ, чтобы съ азартомъ твердить: нѣтъ, мы можемъ обрабатывать, нѣтъ, вы-то вотъ только чужими руками жаръ загребаете и т. п. Отчего не отмѣтить и попользованія загребать жаръ чужими руками, но твердить: смѣемъ, можемъ и проч. значить ставить себя въ комическое положеніе. Никто не сомнѣвается, что въ провинціи есть умные, знающіе и благонамѣренные люди, а кто имѣетъ странность сомнѣваться, тому ротъ можно зажать только фактами. Не слѣдуетъ однако преувеличивать разницу между Промной и Невскимъ. Вотъ что говоритъ самъ г. Гапцкій: «Въ «Нижегородскомъ Сборникѣ», изданіи нижегородскаго статистическаго комитета, я печатаю доставляемые мнѣ матеріалы цѣликомъ (если дѣлаю поправки относительно языка, а иногда и болѣе существенныя, то лишь, такъ сказать, редакціонныя), и *обрабатываю* только тѣ матеріалы, которые я самъ *собираю*. Другіе статистическіе комитеты руководствуются иными соображеніями: печатаютъ обрабатываемые ими самими матеріалы, собранные на мѣстахъ, по селамъ, деревнямъ другими лицами... Такая система, практикуемая напримѣръ добросовѣстно моимъ сосѣдомъ, секретаремъ костромскаго статистическаго комитета В. Г. Пироговымъ въ его превосходныхъ трудахъ по отечество-

вѣдѣнію Костромской губерніи (другія системы болѣе чѣмъ предосудительны), имѣеть за собой нѣкоторыя выгодныя стороны: но мнѣ, признаюсь, больше нравится моя, хотя бы потому, что «губернскій» обработыватель болѣею частью пропуститъ жезкія уѣздныя, деревенскія особенности, а онѣ-то и цѣнны». Итакъ нѣкоторые провинціальныя писатели обработываютъ тѣ матеріалы, которые сами же и собираютъ, иные пользуются чужими матеріалами, одни добросовѣстно, другіе недобросовѣстно, и «болѣею частью» губернскій обработыватель пропускаетъ самое «цѣнное» — деревенскія особенности. Оно и понятно; сядя на Поповой горѣ и т. д. Но вотъ напримѣръ г. Пироговъ, гуляя по Муравьевкѣ и Русиной улицѣ, даетъ по свидѣтельству г. Гацискаго «превосходные труды по отечествовѣдѣнію Костромской губерніи». Думаю поэтому, что можно гулять по Невскому и тѣмъ не менѣе — ну, хоть не превосходные труды давать, но все-таки кое что знать, познакомявшись съ превосходными трудами. Замѣьте, что уже «губернскій обработыватель» болѣею частью пропускаетъ сквозь пальцы самыя драгоценныя матеріалы. Что же будетъ съ обработывателями «областными», имѣющими сгруппироваться въ газету «Поволжье» и ежемѣсячный журналъ «Волжскій Сборникъ» или «Русскій Сѣверостокъ», о которыхъ мечтаетъ г. Гацискій. Если какой-нибудь Буйскій уѣздъ пропускается сквозь пальцы на Русиной улицѣ, что въ Костромѣ, то въ какомъ видѣ предстанетъ онъ на Булакѣ, что въ Казани? Понятно, что коренному костромичу костромскіе порядки извѣстны настолько же ближе, чѣмъ петербуржцу, насколько послѣднему петербургскіе порядки извѣстнѣе сравнительно съ костромичомъ. Но собственно къ народу они стоятъ одинаково близко или одинаково далеко, смотря по тому, какъ они относятся къ дѣлу. Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ тутъ провинціальному писателю можетъ стать поперекъ дороги именно та «осѣдность», на которую г. Л. О. возлагаетъ столько надеждъ. Осѣдность вѣдь не то только означаетъ, что человекъ живетъ постоянно въ извѣстномъ мѣстѣ. Онъ занимаетъ извѣстное общественное положеніе, связанъ и родственъ съ извѣстномъ

частью мѣстнаго населенія. Возьмите же на примѣръ ту же исторію съ оренбургскими мыловарами. Мѣстный писатель, родственный съ «доморощенными» или напротивъ съ «глубоко мѣстнымъ типомъ», не можетъ рѣшить ихъ споръ такъ безпристрастно, какъ это возможно для петербургскаго писателя (часто вообще не осѣдлаго, даже въ Петербургѣ), если разумѣется у него есть подъ руками нужныя данныя, но нѣтъ попопзновенія приобрѣсти акціи оренбургскаго мыловареннаго завода.

Г. Л. О. обращается къ столичнымъ писателямъ съ пламеннымъ призывомъ ѣхать въ провинцію и основывать тамъ «литературныя ячейки» или же примыкать къ существующимъ. Онъ не скрываетъ, что ихъ ждетъ нищета или почти нищета, необходимость заниматься посторонними литературъ дѣлами, разнаго рода лишенія и униженія. Но,—говорить,—вы будете за все это вознаграждены сознаніемъ плодотворности своей работы. Къ сожалѣнію г. Л. О. упустилъ изъ виду два условія, ожидающія столичнаго писателя въ провинціи. Петербургъ—не Богъ знаетъ какая прелесть. Иному онъ совсѣмъ не въ моготу приходится. Онъ можетъ быть и откликнулся бы на зовъ г. Л. О. и претерпѣлъ бы все, ему предуказываемое. Но когда онъ знаетъ, что, претерпѣвая все это, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ долженъ наложить на уста свои печать молчанія, онъ рѣшаетъ, что игра не стоитъ свѣчъ. Вотъ, когда эта печать снимется, чего я провинціальной литературѣ конечно желаю, тогда другой разговоръ будетъ. Но пожалуй гостепріимная провинція насъ тогда сама не возьметъ. Въ самомъ дѣлѣ, для того, чтобы быть провинціальнымъ писателемъ, нуженъ, какъ говоритъ самъ г. Л. О., мѣстный патріотизмъ, нужна привязанность къ мѣстному ландшафту и къ мѣстному человѣчеству, приобрѣтенная съ дѣтства. Откуда же намъ это взять? Казанскаго на примѣръ патріотизма у насъ нѣтъ и быть не можетъ, а потому г. Л. О. немедленно долженъ будетъ отпустить насъ во-свояси.

Несмотря однако на необходимость мѣстнаго патріотизма, насъ, я думаю, въ дѣйствительности-то возьмутъ. И вотъ по

чему. Когда въ чадѣ невразумительности выкидываются за бортъ теоретическія построенія и «иностранныя книжки», а на мѣсто ихъ водворяются «наблюденіе» и «коренныя основы русскаго быта», можно говорить что угодно: и приглашать столичныхъ писателей къ себѣ, и гнать ихъ отъ себя. Иное дѣло — когда осуществится напимѣръ «Русскій Сѣверовостокъ». Г. Гацискій предполагаетъ отбить имъ подписчиковъ у столичныхъ ежемѣсячныхъ изданій. Значитъ онъ долженъ будетъ давать своимъ читателямъ все, что теперь даютъ журналы, только въ улучшенномъ видѣ и съ прибавкой мѣстныхъ интересовъ. Значитъ ему понадобятся не только мѣстные патріоты, а и другіе мѣстные патріоты, и наблюдатели, и теоретики, и знакомые съ иностранными книжками и проч. Можетъ быть и намъ тутъ мѣсто найдется, хотя бы въ качествѣ «трубъ, зовущихъ на бой» — роли довольно почетная, если вспомнить, что такъ называли себя Бэконъ. Конечно могутъ найтись и мѣстныя трубы. Вотъ напимѣръ г. Л. О. Можетъ быть онъ обладаетъ чрезвычайно обширными познаніями о мѣстныхъ, областныхъ интересахъ, но до сихъ поръ онъ ихъ не обнаружилъ. На всемъ огромномъ пространствѣ девяти печатныхъ листовъ онъ — только труба, зовущая на бой.

Начинайте же бой, господа, и мы увидимъ, враги мы съ вами или друзья.

Я не хотѣлъ бы кончить, не сказавъ, что многія замѣчанія г. Л. О. очень остроумны и дѣльны. Таковы напимѣръ замѣчанія о роли языка. Но этотъ вопросъ имѣетъ значеніе для нѣкоторыхъ только провинціальныхъ литературъ, о которыхъ я теперь говорить не могу. Такъ какъ рѣчь зашла о языкѣ, то я кончу слѣдующею параболой. Вы — христіанинъ и русскій, а потому желаете распространенія евангелія на русскомъ языкѣ. Сочувствовать распространенію въ русскомъ народѣ евангелія на французскомъ языкѣ вы не можете, потому что народъ этого языка не знаетъ. Распространять Ренана и Штрауса, вообще антихристіанскія сочиненія въ русскомъ переводѣ, вы тоже не

станете. Вы твердо помните всѣ части предложенія и говорите: я желаю распространенія евангелія на русскомъ языкѣ.

XXII *).

Все о томъ же.

Все о томъ-же; но, надѣюсь, въ послѣдній разъ.

Когда я писалъ о причинахъ говора, возбужденнаго въ литературѣ «Недѣлей», я никакъ не ожидалъ встрѣтить такъ скоро и такое вѣское подтвержденіе своему мнѣнію, какое имѣется теперь въ моемъ распоряженіи. Эту истинно неожиданную поддержку даетъ мнѣ «Вѣстникъ Европы» своимъ внутреннимъ обозрѣніемъ въ августовской книжкѣ. Авторъ обозрѣнія смѣло и широкою кистью рисуетъ картину современной литературы. Говорю «смѣло и широкой», потому что—что же въ самомъ дѣлѣ можетъ быть смѣлѣе и шире слѣдующей картины? Вся литература дѣлится на два лагеря—консервативный и либеральный. Какова консервативная печать, каковы ея цѣли и приемы—это для насъ неинтересно. Что же касается до печати либеральной, то она, по мнѣнію автора, разочаровавшись въ своихъ силахъ объявила себя несостоятельною и рѣшила ждать голоса «деревни»; ея дѣло состоитъ только въ угадываніи «народной психологической подкладки» и выжиданіи того момента, когда поднимутся непочатыя силы «почвы»: тамъ, а не въ «нѣмецкихъ книжкахъ», лежатъ наши идеалы. Вотъ какъ изображаетъ авторъ современное положеніе литературы и затѣмъ дѣлаетъ ей соотвѣтственныя внушенія. Уже изъ одного этого перечисленія терминовъ изъ лексикона «Недѣли» видно, что авторъ имѣетъ въ виду собственно только эту газету, хотя, надо замѣтить, ни разу не называетъ ея. Но почему же авторъ полагаетъ, что за лексиконъ этотъ можетъ и должна быть привлечена къ отвѣтственности вся «либеральная печать»? Конечно никакихъ резонновъ

*) 1876, октябрь.

для такого перенесенія отвѣтственности съ больной головы на здоровую нѣтъ. «Психологическая подкладка», «деревня» и вообще всѣ соображенія «Недѣли» были встрѣчены кѣмъ сурово, кѣмъ насмѣшливо и во всякомъ случаѣ никѣмъ вполне сочувственно. Сама газета жаловалась, что литература по отношенію къ ней разыграла роль вопросительнаго знака. И это, собственно говоря—характеристика еще крайне мягкая. Такъ что все зданіе, построенное на этомъ фундаментѣ внутреннимъ обозрѣвателемъ «Вѣстника Европы», является воздвигнутымъ «на песцѣхъ». Такія зданія не составляютъ рѣдкости: возьметъ человекъ завѣдомо несуществующій фактъ и поиграетъ на немъ сколько потребуется. Но любопытно бы было знать: зачѣмъ внутреннему обозрѣвателю «Вѣстника Европы», человеку повидимому солидному, понадобилось устроиваться на песцѣхъ? зачѣмъ ему понадобилось... какъ-бы это поделикатиѣ выразить?... однимъ словомъ—зачѣмъ ему понадобилось сдѣлать своимъ отправнымъ пунктомъ завѣдомую неправду? Не знаю, ибо чужая душа—потемки. Однако, по нѣкоторымъ бывшимъ примѣрамъ, можно все-таки кое-что усмотрѣть.

Читатель не можетъ быть, какъ въ томъ же «Вѣстникѣ Европы» г. Марковъ обработалъ гр. Л. Толстого. Онъ взялъ статью Толстого о народномъ образованіи, взялъ такую же статью пещернаго человѣка, г. Цвѣткова, слилъ ихъ, не имѣя на то ни логическаго, ни нравственнаго права, воедино и зачѣмъ, съ удобствомъ поражая г. Цвѣткова, пламенно восклицалъ: вотъ что говоритъ Толстой! Г. Марковъ остался послѣ этой операціи чрезвычайно доволенъ собой. Оно и понятно: разбить Толстого такъ легко, если подмѣнить его Цвѣтковымъ, а въ концѣ-концовъ лавръ побѣды все-таки, во мнѣніи автора, украсилъ его чело. Внутренній обозрѣватель «Вѣстника Европы» тоже очень доволенъ собой. И это опять-таки понятно. Шутка въ самомъ дѣлѣ сказать:—вся «либеральная» литература толкуетъ пустяки о «національно-психологической подкладкѣ» и о прочемъ, и только одинъ обозрѣватель знаетъ твердо, что это—пустяки! Обозрѣватель предлгалъ совершенно такой же фокусъ, какъ и

г. Марковъ. Ему кое-что не нравится въ литературѣ. Не чувствуя себя въ силахъ или, я готовъ допустить, не желая дать себѣ трудъ встать лицомъ къ лицу съ этимъ «кое-чѣмъ» въ его наиболѣе чистой и определенной формѣ, авторъ совершаетъ нѣкоторый подмѣнъ, беретъ форму самую слабую и туманную, оперируетъ надъ ней и затѣмъ торжественно объявляетъ: вотъ какова вся либеральная литература! Каковъ бы ни былъ этотъ поступокъ съ точки зрѣнія логики и морали, но онъ даетъ полную возможность читать наставленія насчетъ «знаменитыхъ уваровскихъ трехъ началъ», острить на тему барона Мюнхгаузена, который самъ себя вытащилъ за волосы изъ болота, защищать «нѣмецкія книжки» и проч. Возьмемъ хоть одинъ примѣръ. Авторъ обозрѣнія беретъ подъ свою защиту «нѣмецкія книжки» и въ тоже время удивляется разсужденіямъ «либеральной печати» о «розни» между народомъ и обществомъ. Никакой, говоритъ, розни нѣтъ, и слово - то это славянофилы выдумали, а вѣд. славянофильства оно никакого смысла не имѣетъ: общество есть образованная часть народа—и только; никакой грани, кромѣ разницы образованія, между ними нѣтъ. Конечно съ славянофилами такъ говорить легко, съ «Недѣлей» тоже можно. Но съ тѣми, кто «нѣмецкихъ книжекъ» не призываетъ—нельзя, потому что между самыми этими книжками есть немало такихъ, въ которыхъ о розни, совершенно помимо образованія, говорится и много, и горячо, и съ большимъ запасомъ «образованія». Составитель внутренняго обозрѣнія избралъ благую часть и полемизируетъ, такъ сказать, по линіи наименьшаго сопротивленія. Не отрицая удобствъ такого образа дѣйствій (я не отрицаю и удобствъ поведенія г. Маркова въ его полемикѣ съ гр. Толстымъ), нельзя однако не видѣть, что зданіе, столь явно, на виду у всѣхъ построенное на песцѣ, не заслуживаетъ никакого вниманія. Его можно только отмѣтить и... пройти мимо. Такъ мы и сдѣлаемъ. Я заговорилъ объ августовскомъ внутреннемъ обозрѣніи «Вѣстника Европы» только для того, чтобы подтвердить свои соображенія о роли «Недѣли». Ни малѣйше не сомнѣваюсь, что и для этой почтенной газеты значительная часть наставленій г.

внутренняго обозрѣвателя «Вѣстника Европы» по существу совершенно излишня. Но она повела свое дѣло такъ, что дала словоохотливымъ людямъ если не право, то возможность читать ей наставленія о непригодности «знаменитыхъ трехъ уваровскихъ началъ», объ уваженіи къ «нѣмецкимъ книжкамъ» и т. п. Она соблазнила г. обозрѣвателя легкостью критической задачи и не вразумительностями своими допустила совсѣмъ неподходящее толкованіе вещей, которыхъ обозрѣватель не посмѣлъ бы съ столь легкимъ сердцемъ касаться, не будь на нихъ накинута таинственный покровъ «самобытности», «національности», «деревни» и проч. Не знаю, убѣдится ли «Недѣля» хоть теперь, что именно ея лоскутностью долженъ быть объясненъ «возбужденный ею интересъ»; что только благодаря этой лоскутности, на нее накнулись, какъ она говоритъ, съ вопросительными знаками; что наконецъ лоскутность эта даетъ всякому прохожему право плюнуть въ нѣчто высокое и святое на томъ основаніи, что это нѣчто завернуто въ лоскутное знамя архипелага «Недѣли»...

Нѣтъ, «Недѣля» повидимому въ этомъ не убѣдится.

Не знаю: долженъ ли я считать статью г. П. Ч. «Нашимъ критикомъ», напечатанную въ № 34—35 «Недѣли», тѣмъ «возможно обстоятельнымъ отвѣтомъ», который мнѣ обѣщала почтенная газета? Отчасти—да, потому что никакого иного отвѣта до сихъ поръ нѣтъ, хотя времени для составленія его прошло слишкомъ достаточно; притомъ-же г. П. Ч. говорить не только за себя лично, а и за г. Кавелина, и за всю редакцію. Но вмѣстѣ съ тѣмъ трудно признать «обстоятельнымъ» отвѣтъ, о которомъ самъ авторъ неоднократно отзывается, что онъ отъ него хочетъ «поскорѣе отдѣлаться, какъ отъ непріятной необходимости». Самъ авторъ говоритъ, что онъ «пишетъ ужъ очень наскоро и не имѣетъ подъ руками соотвѣтственныхъ №№ «Отечественныхъ Записокъ». Понять роль статьи г. П. Ч. по отношенію къ обѣщанному «обстоятельному» отвѣту я затрудняюсь еще вотъ почему. Единственно въ интересахъ истины и «чтобы не плодить пререканій по разнымъ побочнымъ вопросамъ», я вы-

ставилъ нѣсколько положеній (всего четыре), въ которыхъ, какъ мнѣ казалось, заключалась самая суть спора. Именно на этихъ пунктахъ я и предложилъ «Недѣля» сосредоточить свое вниманіе. Въ статьѣ г. П. Ч. удѣляется весьма много, слишкомъ много мѣста пререканіямъ по побочнымъ вопросамъ, тогда какъ нѣкоторыя существенныя возраженія оставляются не только безъ обѣщаннаго обстоятельнаго, а и ровно безъ всякаго отвѣта. Конечно г. П. Ч. и сама «Недѣля» могутъ признавать несущественнымъ то, что важно съ моей точки зрѣнія. Но въ «обстоятельномъ» отвѣтѣ можно было разсчитывать встрѣтить между прочимъ разъясненіе и этого обстоятельства. Такъ что, повторяю, мнѣ неизвѣстно: представляетъ ли статья г. П. Ч. только нѣкоторое вступленіе къ обѣщанной обстоятельности, или же «Недѣля» ничего болѣе обстоятельнаго въ запасѣ не имѣетъ? Но дѣлать нечего. *A la guerre, comme à la guerre.* Разсмотримъ возраженія г. П. Ч. въ порядкѣ возрастающей существенности, т. е. начнемъ съ такихъ, которыя въ данную минуту смѣло могли бы не появляться на свѣтѣ Божій.

Такою ненужностью является длинное разсужденіе г. П. Ч. (больше $\frac{1}{4}$ всей статьи) о нѣкоторыхъ моихъ теоретическихъ воззрѣніяхъ. Авторъ желаетъ показать, что мои «типы и степени развитія» не имѣютъ ничего общаго съ тѣмъ, что онъ разумѣетъ подъ этими самыми выраженіями. Какъ ни прискорбно для меня такое разногласіе, но я бы и на слово повѣрилъ. Самое большое, что требовалось бы въ этотъ случаѣ отъ автора, это — короткое указаніе пунктовъ разногласія, и даже не разногласія, а различнаго пониманія однихъ и тѣхъ же терминовъ, если таковое дѣйствительно существуетъ. Но г. П. Ч. этого показалось мало. Пылая желаніемъ доказать свою самостоятельность, онъ подвергаетъ критикѣ основныя мысли статей «Что такое прогрессъ?» и «Борьба за индивидуальность», причемъ оказывается, что мысли эти совершенно неосновательны. Я очень благодаренъ автору за вниманіе, не говоря уже о вкрапленныхъ мѣстами въ критику лестныхъ для меня выраженіяхъ. Но смѣю думать, что въ настоящемъ случаѣ онъ по

малой мѣрѣ не соблюлъ должной экономіи времени и мѣста. ибо удѣливъ такъ много вниманія недостаткамъ моей теоріи, онъ отнялъ у меня возможность выслушать хотя бы и не обстоятельный отвѣтъ на вопросы, о которыхъ собственно только и рѣчь шла. Я не говорю, чтобы онъ былъ утомленъ работой критики. Нѣтъ, онъ совершилъ ее съ легкостью почти военного человѣка. Онъ еще въ статьѣ «Что такое прогрессъ?» проникательно усмотрѣлъ фальшь и ненаучные приемы, но разсчитывая, что я исправлюсь; однако я, нимаѣйше не исправившись, печатаю «Борьбу за индивидуальность». И вотъ г. П. Ч. великодушно исправляетъ на полутора страничкахъ то, что я портилъ нѣсколько лѣтъ. Я былъ бы разумѣется чрезвычайно огорченъ, еслибы мысли мои о раздѣленіи труда между органами и недѣлимыми (въ этомъ—суть) оказались столь несостоятельны, какъ полагаетъ г. П. Ч. Это, надѣюсь, понятно. Я такъ сжился съ мыслью, что обладаю широкой и многообъемлющей истиной. Когда я переживаю мысленно различные моменты исторіи человѣчества, они такъ привольно, такъ сами собой примыкаютъ къ изгибамъ теоріи борьбы за индивидуальность... И вдругъ — трахъ! Г. П. Ч. однимъ ударомъ вышибаетъ у меня изъ рукъ эту дорогую мнѣ истину, и я остаюсь съ пустыми руками, и вытягиваю ихъ впередъ, и разбитымъ, рыдающимъ, полнымъ отчаянія голосомъ говорю: копѣчку на погорѣлое мѣсто, г. П. Ч., одну маленькую копѣчку изъ вашего миллионнаго богатства...

Брр! какая скверная картина, потому въ особенности скверная, что претензіи теоріи борьбы за индивидуальность, дѣйствительно—большія. Зарѣзаться можно. И если я не рѣжусь, такъ потому, что мнѣ очень смѣшно, а смѣшно потому, что замѣчанія г. П. Ч. или совсѣмъ неумѣстны, или азбучно невѣрны, что составляетъ дѣйствительно комическій контрастъ съ его категорическимъ тономъ. Теперь я однако смѣяться не намѣреюсь. потому что теперь, какъ уже сказано, не о теоріи борьбы за индивидуальность рѣчь идетъ. Я посмѣюсь тогда, когда г. П. Ч. подвергнетъ (что онъ обѣщаетъ) критикѣ всю совокупность мо-

ихъ писаній. Конечно можетъ быть мнѣ и плакать придется. Но для этого г. П. Ч. долженъ повнимательнѣе пересмотрѣть свой багажъ. Въ ожиданіи этого я сдѣлаю всего одно замѣчаніе. «Геккель мимоходомъ высказываетъ мысль, что кромѣ борьбы за существованіе въ дарвиновскомъ смыслѣ происходитъ еще другая борьба, называемая имъ борьбой за индивидуальность, которая кончается не уничтоженіемъ побѣжденной индивидуальности, а приспособленіемъ ея къ пользѣ побѣдившей: такъ клѣточка борется съ органомъ за свою самостоятельность, органъ съ организмомъ, организмъ съ «высшими индивидуальностями» (для человѣка: семья, государство). Г. Михайловскій подхватываетъ мысль Геккеля» и т. д. Такъ говоритъ г. П. Ч. Но если этотъ почти военный человѣкъ будетъ спрошенъ, гдѣ именно у Геккеля все это излагается, то окажется въ чрезвычайно затруднительномъ положеніи, ибо Геккель ни мимоходомъ, ни не мимоходомъ не упоминаетъ о борьбѣ за индивидуальность: отвѣтственность за самый терминъ всецѣло лежитъ на вашемъ покорнѣйшемъ слугѣ; что же касается до отношенія теоріи къ Геккелю, то оно исчерпывается его тектологическими тезисами, въ которыхъ однако о борьбѣ за индивидуальность ни въ тѣхъ выраженіяхъ, которыя приводитъ г. П. Ч., ни въ какихъ-либо подобныхъ — вовсе не говорится. Пересмотрите багажъ, г. П. Ч. Можетъ быть вы не все нужное для путешествія захватили. Право это — въ вашихъ собственныхъ интересахъ. И въ моихъ конечно: потому что мнѣ пріятнѣе будетъ выслушать мнѣнія человѣка, достаточно ознакомившагося съ предметомъ разговора. Сдѣлаю впрочемъ еще одно замѣчаніе для вящаго обнаруженія ненужности критической экскурсіи г. П. Ч. Ему пришла въ голову странная мысль доказывать, что мои понятія о разницѣ между типомъ развитія и его степенью коренятся не въ литературѣ 50—60 годовъ, а въ такъ-называемомъ законѣ Бэра. Задача уже сама по себѣ довольно-таки неблагодарная и безцѣльная. Но г. П. Ч. легко могъ бы ее сократить до размѣровъ одной, много двухъ, печатныхъ строкъ. Именно, еслибы онъ обратился къ самому Бэру,

*

то нашегъ бы у него чрезвычайно поучительныя разсужденія прямо о *Typus der Ausbildung* и о *Grad der Ausbildung*.

Итакъ мимо одну ненужность. Обратимся къ другой. Впрочемъ объ этой ненужности можно спорить, то-есть можно находить ее вещь чрезвычайно нужною. Дѣло идетъ о г. Кавелинѣ. Признаюсь, когда я просилъ «Недѣлю» не плодить пререканій по разнымъ побочнымъ вопросамъ, я разумѣлъ преимущественно этого человѣка: мнѣнія его всегда какъ-то побочны, да и самъ онъ въ дѣломъ—писатель побочный. Такъ что когда «Недѣля» уличала меня въ обычныхъ будто бы показаніяхъ относительно г. Кавелина, я пропустилъ это мимо ушей. Я полагалъ, что указать на поведеніе г. Кавелина слѣдуетъ, но засиживаться на немъ не стоитъ. Теперь его беретъ подъ свою защиту П. Ч. И это для меня очень прискорбно, ибо, не взирая на то, что мнѣ можетъ быть скоро придется просить у него одну маленькую копѣчку на погорѣлое мѣсто, я питаю къ нему нѣкоторую слабость. Г. П. Ч. утверждаетъ, что я поступилъ относительно г. Кавелина «недобросовѣстно», и говорить вообще съ крайнимъ негодованіемъ объ этомъ эпизодѣ. Ну — дѣлать нечего. Будемъ говорить о г. Кавелинѣ. Я выразилъ мнѣніе, что это одинъ изъ озлобленныхъ «отцовъ», одинъ изъ тѣхъ типическихъ дѣятелей сороковыхъ годовъ, которые, будучи оттерты послѣдующимъ движеніемъ на задній планъ, возымѣли противъ него зубъ. Я оговорился, что озлобленіе г. Кавелина никогда не достигало такой безобразной степени развитія, какъ у нѣкоторыхъ его сверстниковъ, но тѣмъ не менѣе зубъ онъ имѣлъ и имѣетъ и показалъ его между прочимъ въ двухъ статьяхъ, напечатанныхъ въ «Недѣлѣ»: «Бѣлинскій и послѣдующее движеніе нашей критики» и «Общинное владѣніе». Въ первой онъ доказывалъ, что со временъ Бѣлинскаго (то-есть самого г. Кавелина) наша критика «двигалась по направленію къ ничтожеству». Во второй онъ «оплевалъ» защитниковъ общины не-славянофиловъ. За выраженія, какъ и всегда, отношусь не стою. Вонъ г. П. Ч. «съ отвращеніемъ» (хотя впрочемъ неоднократно) выписываетъ слово «оплеваніе». Ну и Богъ съ

нимъ! Назовите какъ-нибудь иначе: суть отъ этого не перемѣнится, а суть состоитъ въ томъ, что г. Кавелинъ крайне неодобрительно относится къ тому движенію, которое его оттерло, старается его всячески унизить и затушевать. Правда ли это? Г. П. Ч. энергически отвѣчаетъ: нѣтъ. Онъ утверждаетъ, что въ статьѣ о Бѣлинскомъ только современная критика получаетъ удары отъ тяжелой руки г. Кавелина; критика же, непосредственно за Бѣлинскимъ слѣдовавшая, выгораживается. Въ подтвержденіе г. П. Ч. приводитъ даже выписку. Я право не знаю, зачѣмъ онъ ее приводитъ. Изъ нея видно только, что, по мнѣнію г. Кавелина, послѣ Добролюбова критика упала еще ниже, т. е. все время двигалась къ ничтожеству. Изъ другихъ мѣстъ это еще очевидно. Напримѣръ:

«Противопологая Бѣлинскаго послѣдующимъ дѣятелямъ, И. С. Тургеневъ, а съ нимъ и мы, современники Бѣлинскаго, хотимъ только сказать, что *новое движеніе русской литературы продолжало его односторонне, не исчерпало всего того, что имъ намѣчено, не обняло всей полноты его содержанія... Дѣтели, выступившіе вслѣдъ за Бѣлинскимъ, недолго остановились на идеалѣ нравственной личности, который былъ имъ выдвинутъ. Они скоро перешли къ идеаламъ общественнымъ, социальнымъ. Но ихъ идеалы не были продолженіемъ и развитіемъ идеаловъ Бѣлинскаго. Послѣдній, въ лучшую пору своей дѣятельности и до конца, твердо стоялъ на реальной почвѣ, не сходя съ нея никогда; преемники же его были напротивъ идеалисты. Такое отклоненіе нашей критики отъ реального направленія въ сторону идеализма и привело ее постепенно къ упадку... Бѣлинскій дѣйствовалъ прямо на живую почву и источникъ всякаго идеала—на человѣческую нравственную, духовную личность. Послѣдующіе критики относились къ дѣйствительности совсѣмъ иначе. Отжившимъ формамъ жизни они противопоставили свои, столько же настоячивыя и требовательныя и потому столько же стѣснительныя. Программа была дана, но способы ея выполненія не были указаны. Что же такіе идеалы имѣютъ общаго съ идеалами Бѣлинскаго? *Послѣдніе создали школу въ литературѣ и критикѣ, первые привели и ту, и другую къ упадку... Сила, центръ тяжести не могутъ заключаться въ тѣхъ или другихъ формахъ, а лишь въ умственномъ и нравственномъ строѣ людей и обществъ. Ближайшіе преемники Бѣлинскаго, какъ идеалисты, не поняли этого.*»*

Ну, а послѣ нихъ ужъ совсѣмъ кавардакъ пошелъ.

Благосклонный читатель, я усерднѣйше прошу у васъ извиненія. Я вполне понимаю до какой степени ненужны вамъ эти побочныя мысли побочнаго писателя, вполне понимаю, что разглядывать ихъ въ микроскопъ, обращать ваше вниманіе на ту или другую фразу г. Кавелина, на оттѣнки тона его музыки—по малой мѣрѣ странно. Мнѣ самому вовсе не любо тратить время на разыскиваніе старыхъ номеровъ «Недѣли» и выписываніе изъ нихъ тирадъ г. Кавелина. Но вина не моя. Вишите г. П. Ч., который своимъ обвиненіемъ въ недобросовѣстности вынуждаетъ меня документально показать, что по мнѣнію г. Кавелина со временъ Бѣлинскаго, критика наша «двигалась по направленію къ ничтожеству».

Другой фактъ, ради котораго я опять долженъ лѣзть въ старыя Лѣт «Недѣли». Въ статьѣ объ «общинномъ зевлевладѣніи» г. Кавелинъ, перечисляя разныя наши литературныя партіи по этому вопросу, упомянулъ только западниковъ, враждебныхъ общинѣ, и ихъ противниковъ—славянофиловъ. Здѣсь были пропущены слѣдовательно западники, возлагавшіе надежды на общину, т. е., опять-таки представители того именно литературнаго движенія, которое оттерло г. Кавелина на задній планъ и которое онъ считаетъ началомъ конца здравой критики, источникомъ ея упадка. «Что пропускъ сдѣланъ — это несомнѣнно», соглашается г. П. Ч. (еще-бы!), но, говоритъ, истолковывать его «въ дурную сторону» отнюдь не слѣдуетъ, потому что другіе сотрудники... «установившаяся репутація газеты»... Позвольте. Объ репутаціи—потомъ: она теперь—подсудимый. Вы же сами говорите, что репутація журнала «Дѣло», хоть и установилась тоже, да совсѣмъ неосновательно. Объ другихъ сотрудникахъ тоже потомъ. Пропускъ г. Кавелина не случайный, хотя бы потому, что онъ очень важенъ, и я рѣшительно не вижу способа истолковать его «въ хорошую сторону». А главное вотъ что: пропускъ—пропускомъ, а кого слѣдовало г. Кавелинъ все-таки кольнуть. Въ одномъ мѣстѣ онъ-таки упоминаетъ о западникахъ—сторонникахъ общины, но при этомъ, сказавъ нѣсколько словъ объ ихъ отношеніяхъ къ европейскимъ

теоріямъ, онъ замѣчаетъ, что ошибка этихъ людей состоитъ въ «примѣненіи европейской мѣрки къ нашимъ общественнымъ явленіямъ». «Такая невольная (?) мистификація,—продолжаетъ онъ:—*плодъ совершеннаго незнанія и очевиднаго непониманія дѣла, спутываетъ всѣ понятія и окончательно затемняетъ вопросъ*». Я называю это оплеваніемъ. Хотя слово, я согласенъ, очень неясно, но я полагаю, что оно вѣрнѣе характеризуетъ обзоръ дѣйствія г. Кавелина, чѣмъ утвержденіе г. П. Ч. будто г. Кавелинъ «не сказалъ въ «Недѣлѣ» ни одного оскорбительнаго слова». Странное это дѣло: г. П. Ч., столь деликатный, съ такимъ «отвращеніемъ» относящійся къ жесткости въ полемикѣ, подъ обвиненіемъ въ совершенномъ незнаніи, очевидно непониманіи, спутываніи понятій, окончательномъ затмѣненіи вопроса подъ этимъ обвиненіемъ, довольно-таки оскорбительнымъ для писателя и общественнаго дѣятеля, ни мало не краснѣя, подписываетъ: здѣсь нѣтъ ни одного оскорбительнаго слова... О, г. П. Ч. лучше бы вамъ было исполнить мою просьбу и не плодить пререканій по разнымъ побочнымъ вопросамъ. Сами видите, что это для васъ же невыгодно. Пусть бы г. Кавелинъ былъ самъ по себѣ, а вы—сами по себѣ. Я увѣренъ, что онъ теперь смѣется себѣ въ бороду...

Забавно, что г. П. Ч. пишетъ: «Сама редакція оговорила относительно письма г. Кавелина, что несогласна въ немъ съ самою постановкою вопроса. Наконецъ въ «Недѣлѣ» же было помѣщено и возраженіе на это письмо. Все это, г. Михайловскій—факты, факты, факты». О да, все это—факты, но еслибы г. П. Ч. не три, а триста тридцать три раза написалъ это слово, такъ отъ этого все-таки ни маглѣйше не измѣнилось бы значеніе этихъ фактовъ. Спрашивается: почему повадобились эти оговорки и возраженія? Надѣюсь, г. П. Ч. не потребуешь, чтобы я еще и по этому поводу сталъ рыться въ старомъ хламѣ. Такъ, по общимъ соображеніямъ, думаю, что «Недѣля» сама изумилась излишней склонности г. Кавелина принижать критику послѣ Бѣлинскаго, въ чемъ и состояли поправки и возраженія. Зачѣмъ же г. П. Ч. утверждаетъ, что г. Кавелинъ только

современной критики не любить? А тѣмъ паче—зачѣмъ онъ уличаетъ въ недобросовѣстности людей, которые прочли всю статью г. Кавелина, а «не съ 1303 стр.», какъ рекомендуетъ читать г. П. Ч.? Если же употребить «факты, факты, факты», какъ оружіе противъ сдѣланной мною оцѣнки газеты въ цѣломъ, такъ и это будетъ очень неосновательно. Я ни малѣйше не сомнѣваюсь, что въ «Недѣлѣ» можно найти еще и не такія противорѣчія: я вѣдь и уличалъ ее въ лоскутности, въ лавированіи между двухъ стульевъ, довольно впрочемъ неискусномъ.

Мнѣ пріятно заявить, что происходящій отсюда туманъ отчасти разсѣвается. Пріятно не только потому, что и вообще хорошо видѣть просіяніе мысли, а еще и потому, что приписываю себѣ въ этомъ дѣлѣ нѣкоторую заслугу. Да не увидитъ здѣсь г. П. Ч. покушенія на его самостоятельность. Нѣтъ — она неприкосновенна. Просто: я самою рѣзкостью постановки вопросовъ побудилъ его выразиться яснѣе. А вмѣстѣ съ тѣмъ уясняется и положеніе «Недѣли». Напримѣръ: побуждаемый моими упреками, г. П. Ч. въ чрезвычайно энергическихъ выраженіяхъ заявляетъ о своемъ сочувствіи и почтеніи къ нашей старой литературѣ. Я этому очень радъ, какъ потому, что это вполне резонно, такъ и потому, что заявленіями этими закрываются нѣкоторые фонтаны газетныхъ рецензентовъ. Такъ забавнику-критику «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» уже не приходится радоваться тому, что дескать «Недѣля» мужественно разрываетъ со всѣми традиціями, скромною хранительницею которымъ доселѣ слызла. Далѣе: опять-таки вызванный мною, г. П. Ч. указываетъ, какъ на источникъ своихъ воззрѣній, не на таинственную національно-психологическую подкладку, а на книгу («нѣмецкую книжку»), какъ онъ самъ повторяетъ мои слова, «нѣмецкаго еврея». Это тоже очень важно. Можетъ оно и не понравится кому-нибудь изъ апплодировавшихъ «Недѣлѣ» и даже участвующихъ въ ней (хоть тому же г. Кавелину); можетъ быть они припоминаютъ весь ассортиментъ изреченій о европейскихъ мѣркахъ и тому подобномъ; но во всякомъ случаѣ дѣло уясняется. Мнѣ пріятно заявить, что даже самыя слова «европейскія очки», «европейская

мѣрка», «заграничныя книжки», «національно-психологическая подкладка», пестрившія страницы «Недѣли», совершенно не встрѣчаются въ статьѣ г. П. Ч. «Нашимъ критикамъ». Я склоненъ даже думать, что молчаніе, которымъ проходитъ авторъ нѣкоторые вопросы, признаваемые мною въ нашемъ спорѣ весьма существенными, истекаетъ изъ того же просіянія мысли. Напрямѣрь: въ одной своей прежней статьѣ онъ съ большимъ задромъ объявлялъ, что идеалъ нашъ долженъ сложиться такимъ образомъ, что «отъ деревни» въ него долженъ войти «нравственный моментъ», а отъ насъ—умственный. Этотъ пунктъ г. П. Ч. считалъ чрезвычайно существеннымъ и важнымъ. Я же уподоблялъ предлагаемую имъ операцію склеиванію двухъ половинокъ двухъ разрѣзанныхъ грушъ; обращалъ его вниманіе на то, что и нравственный моментъ «деревни», и умственный моментъ такъ называемаго «общества» содержатъ въ себѣ весьма много дрянности и вздора; предлагалъ наконецъ на его усмотрѣніе то обстоятельство, что отдѣлить нравственный моментъ отъ умственного также трудно, какъ легко разрѣзать грушу пополамъ. Не смѣю думать, чтобы я убѣдилъ его; но вѣрно то, что положеніе насчетъ совокупленія нравственного момента деревни съ умственнымъ общества — положеніе, которымъ онъ столь гордился и которому придавалъ такое значеніе, блистаетъ нынѣ полнѣйшимъ отсутствіемъ. Зато встрѣчаются такого рода мысли. Указавъ на разницу между европейскимъ пролетариатомъ и русскимъ крестьянствомъ, г. П. Ч. говоритъ: «все это—вещи, *давнымъ давно извѣстныя*». Это очень вѣрно и очень тоже способствуетъ уясненію положенія «Недѣли» въ журналистикѣ.

Все это располагаетъ меня къ благодушію, и я готовъ пропустить безъ протеста многое въ статьѣ г. П. Ч., въ особенности что до меня лично касается. Окончательный результатъ, къ которому онъ приходитъ, можетъ быть выраженъ слѣдующимъ образомъ: «національное» и «народное» могутъ находиться въ весьма разнообразныхъ отношеніяхъ другъ къ другу; въ Европѣ они не совпадали и не совпадаютъ, а у насъ совпадаютъ, потому что

крестьянство наше представляет «единственную серьезную общественную группу» и ничего подобного группамъ, соответствующимъ европейскимъ феодализму и буржуазин, у насъ нѣтъ; на этомъ основаніи національнымъ, самобытнымъ можетъ быть у насъ названо только такое умственное, нравственное или политическое движеніе, которое совершается «въ духѣ и интересахъ крестьянства»; всякія другія движенія, хотя бы они и прикрывались національнымъ флагомъ, въ дѣйствительности—«анти-национальны». Все это было излагаемо уже въ прежнихъ статьяхъ г. П. Ч., и нынѣ, рекапитулируя, онъ спрашиваетъ: какое право имѣлъ я толковать его пониманіе національности, самобытности такъ и иначе, когда оно строго оговорено? Такъ печалуетъ и негодуетъ г. П. Ч. Да, но еслибы онъ написалъ *только* вышеизложенное, такъ конечно у насъ не происходило бы столь длинныхъ и непрятныхъ собесѣдованій. Я полагаю и полагаю, что «національное» и «народное» принципиально противоположны: но, не говоря уже о томъ, что я всегда твердо помнилъ возможность ихъ эмпирическаго совпаденія, я бы во всякомъ случаѣ не принялъ близко къ сердцу вышеприведенныхъ мнѣній г. П. Ч. Они вѣдь собственно сводятся къ такому предложенію: будете называть національнымъ движеніемъ такое, которое совершается «въ духѣ и интересахъ крестьянства»; для этого есть такія то и такія-то основанія въ нашей исторіи. Ну, что-жь? извольте, если это вамъ нравится—называйте, только блюдите, чтобы какою путаницы не вышло, потому что уже «духъ» крестьянства, какъ терминъ крайне неопредѣленный и двусмысленный, допускаетъ очень различныя толкованія. Вотъ и все, что могъ бы я сказать г. П. Ч., еслибы онъ не пошелъ дальше вышеприведенной маленькой диссертации. Но онъ пошелъ дальше.

Признаемъ правильнымъ уравненіе: національное, самобытное=народному. Спрашивается: что здѣсь извѣстно и что составляетъ неизвѣстный *x*? что представляетъ данную, опредѣляемую мѣрку и что неизвѣстное, подлежащее измѣренію? Можно (не говорю: должно) отвѣчать и такъ, и иначе. Можно, принявъ «интересы крестьянства» («духъ», ради его двусмысленности,

лучше устранить) за величину данную, определенную, за мѣрку, опредѣлять этой мѣркой степень самобытности какихъ-нибудь явленій: такое-то литературное, положимъ, или политическое явленіе самобытно, національно, потому что соотвѣтствуетъ интересамъ народа, крестьянства. Но можно и наоборотъ взять за мѣрило самобытность, національность и ею опредѣлять степень соотвѣтствія даннаго явленія съ интересами народа. Очевидно, что это—два совершенно различные способа сужденія, какъ по исходной точкѣ, такъ и по цѣли, и по удобопримѣнимости. Отъ Пасхи до Рождества—не все равно, что отъ Рождества до Пасхи. Сказать: въ Россіи все, соотвѣтствующее интересамъ народа, національно, очевидно—не то же, что сказать: въ Россіи все національное соотвѣтствуетъ интересамъ народа. Поэтому прежде всего желательно знать: какъ именно будетъ пущено въ ходъ найденное нами уравненіе?

Содержаніемъ національныхъ чертъ, т. е. отличающихъ одну націю отъ всѣхъ другихъ, могутъ быть очень разнообразныя вещи: языкъ, религія, темпераментъ, наружность, обычаи, архитектура, соотношенія социальныхъ силъ и проч. Содержаніе это крайне текуче: сегодня національныя особенности комбинируются такъ, что центръ тяжести ихъ лежитъ, положимъ, въ религіи; съ теченіемъ времени эта комбинація можетъ совершенно измѣниться и извѣстная религія вычеркнется изъ суммы національныхъ чертъ: измѣненіе это можетъ произойти или тѣмъ способомъ, что вся нація обратится къ другой религіи, или нѣкоторая ея часть охладѣетъ къ вѣрѣ отцовъ, или наконецъ сама религія охватитъ своимъ вліяніемъ другія націи, не имѣющія съ первою въ другихъ отношеніяхъ ничего общаго. Далѣе очевидно, что отношенія элементовъ національности къ интересамъ народа крайне разнообразны (разумѣя подъ народомъ совокупность трудящагося люда). Есть элементы въ этомъ отношеніи совершенно безразличныя, напримѣръ русскія національныя полотенца съ красными и синими пѣтухами не имѣютъ какого-нибудь прямого или даже косвеннаго соприкосновенія съ интересами народа. Есть или могутъ быть элементы, заведомо враждебные интересамъ народа.

напримѣръ тяжелый историческій гнѣтъ сдѣлалъ соломенную крышу нашей національной особенностью; таковы же всѣ національные предразсудки и «национальные пороки». Разумѣется могутъ существовать и совершенно противоположныя комбинаціи, но онѣ могутъ быть и не быть. Есть только *одинъ* элементъ національности, который *въ принципѣ* всегда соответствуетъ интересамъ народа. Это—языкъ. Но зато, какъ это съ перваго взгляда ни странно, языкъ есть наименѣе національная изъ національных особенностей, потому что онъ есть проводникъ общечеловѣческихъ понятій и орудіе развитія народа. Не настаиваю теперь на этомъ, чтобы не отвлекъ далеко въ сторону. Но во всякомъ случаѣ очевидно, что второй способъ истолкованія уравненія г. П. Ч. не имѣетъ за себя рѣшительно никакихъ основаній. Подъ страхомъ самой возмутительной несправды нельзя сказать: въ Россіи все національное соответствуетъ интересамъ народа. Остается слѣдовательно другое толкованіе: все, соответствующее интересамъ народа, у насъ въ Россіи, по особенностямъ нашей исторіи, національно. Здѣсь конечно несравненно больше правды и несравненно больше логики. Здѣсь берется одна совершенно опредѣленная особенность русской жизни, какъ она донесена до нашего времени исторіей—именно: особенное соотношеніе социальныхъ силъ; всѣ другія національныя особенности оставляются въ сторонѣ; хороши ли онѣ или дурны, выгодны или невыгодны и для кого выгодны—до этого намъ дѣла нѣтъ. Передъ нами одинъ драгоцѣнный историческій результатъ: преобладаніе крестьянства, какъ фактора, опредѣляющаго русскую жизнь — результатъ, на который мы можемъ и должны опереться, если хотимъ дѣйствительно жить, а не прозябать безъ вѣры, надежды и любви. При этомъ самый эпитетъ «національный» утрачиваетъ всякій мистическій и всякій исключительный характеръ и служитъ только выраженіемъ исторической, такъ сказать, прочности извѣстной программы дѣятельности.

Еслибы г. П. Ч. ограничился такимъ употребленіемъ своего уравненія, мнѣ оставалось бы только радоваться, что нашего

полку прибыло. Я съ живѣйшимъ интересомъ и съ полнымъ сочувствіемъ слѣдилъ бы за дальнѣйшими его трудами въ томъ же направленіи. Но г. П. Ч. не хотѣлъ или не умѣлъ удержаться на этой точкѣ. Онъ постоянно перебрасывался и перебрасывается отъ одного толкованія уравнинія къ другому, т. е. цѣнить явленія то по соотвѣтствію ихъ съ интересами народа, то по ихъ національности. Отсюда естественно—путаница. Первый шагъ въ направленіи этой путаницы, самъ по себѣ еще безобидный, но все-таки скользкій, состоитъ въ слѣдующемъ. Текучесть, измѣнчивость національныхъ признаковъ весьма часто упускается изъ виду. Предполагается такая степень ихъ долговѣчности, которая рѣшительно не оправдывается историческимъ опытомъ, и страннымъ образомъ это предполагается преимущественно относительно такихъ признаковъ, которые наиболѣе измѣнчивы, наименѣе долговѣчны. Нетрудно видѣть, что измѣнчивость національныхъ особенностей должна возрастать вмѣстѣ съ ихъ сложностью: признаки сравнительно простые, элементарные устойчивѣе, чѣмъ сложные, а соотношеніе социальныхъ силъ есть конечно одна изъ самыхъ сложныхъ, если не прямо самая сложная національная особенность. Поэтому весьма неосновательно возлагать надежды (въ смыслѣ долговѣчности) на ту особенность русской жизни, которая занимаетъ г. П. Ч. Положимъ, что теперь его уравниніе соотвѣтствуетъ дѣйствительности. Но дѣйствительность эта можетъ измѣняться; мало того: она, можно сказать, ежедневно измѣняется. Г. П. Ч. противопоставляетъ наше крестьянство европейскому пролетариату; но ему должно быть извѣстно, что эта противоположность съ каждымъ годомъ смягчается и что нужны большія усилія для предотвращенія ея окончательнаго исчезновенія. «Рано ли, поздно ли», говоритъ онъ:—а значеніе нашего крестьянства, именно какъ крестьянства, а не какъ народа вообще, подъ которымъ можетъ быть разумѣемъ и европейскій пролетаріатъ, вполне выразится въ жизни. Но и сомнѣнія быть не можетъ въ томъ, что если это случится «поздно», то крестьянство къ тому времени перестанетъ быть крестьянствомъ, каково оно нынѣ. Увѣренность г. П. Ч.

показываетъ уже и въ этомъ случаѣ, что онъ кладетъ лишнюю гиру на чашку національности, отчего не можетъ не пострадать другая чашка вѣсовъ, другая половина уравненія — идея интересовъ народа. Дальше въ дѣль — больше дровъ. За однимъ скользкимъ шагомъ слѣдуютъ другіе. Съ точки зрѣнія г. П. Ч., насколько она пока выяснилась, не представляется никакой надобности хлопотать о самобытности, національности, на примѣръ литературныхъ явленій или политическаго движенія и сожалѣть о недостаткѣ самобытности. Важно только, чтобы имѣлись въ виду интересы народа и тогда самобытность явится въ придачу. Дѣло извѣстное, что человѣкъ, хлопочущій объ оригинальности, никогда ея не достигаетъ, тогда какъ оригинальность, самобытность, при извѣстныхъ задаткахъ, проявится сама собой, если человѣкъ, забывъ объ ней, просто будетъ слѣдовать влеченіямъ своей природы и своимъ понятіямъ объ истинномъ и справедливомъ. Если справедливо, что въ Россіи все, соотвѣтствующее интересамъ народа, національно, по необходимости самобытно, такъ будемъ просто блюсти интересы народа, а заботы о самобытности предоставимъ тѣмъ неосновательнымъ людямъ, которые думаютъ будто въ Россіи все національное соотвѣтствуетъ интересамъ народа. Къ сожалѣнію г. П. Ч. самъ хочетъ заняться этими праздными хлопотами. Такъ какъ на одномъ изъ пунктовъ этихъ хлопотъ г. П. Ч. уличалъ меня въ ратованіи съ собственнымъ изобрѣтеніемъ, то позволю себѣ сдѣлать слѣдующую выписку изъ статьи его «Наша національная особенность»:

«Въ послѣднее время въ нашей умственной жизни сказывается одна рѣзкая особенность, которую я охарактеризовалъ бы такъ: сознаніе необходимости самобытнаго, національнаго направленія въ разныхъ сферахъ дѣятельности. Именно къ этому знаменателю, мнѣ кажется, можно свести разрозненные заявленія, сдѣланные разными лицами и по разнымъ побужденіямъ. Г. Кавелинъ высказалъ мнѣніе, что у насъ скоро должна возникнуть собственная философія... Г. Оадѣвъ написалъ цѣлую книгу на ту тему, что въ основу военныхъ преобразованій слѣдуетъ положить наши чисто русскія бытовыя особенности... Сходныя ноты слышны и въ «Политикѣ» г. Стронина, и въ замѣткахъ г. Энгельгардта, и въ знамени-

той статьѣ гр. Толстого о народномъ образованіи. Даже въ группѣ лицъ, которыя въ умственномъ отношеніи жили почти исключительно общечеловѣческими идеями, не замѣчая и не зная существующей Россіи, даже въ этой группѣ все болѣе и болѣе укореняется убѣжденіе, что нужно сначала серьезно ознакомиться съ народнымъ бытомъ... Въ сферѣ искусства національное направленіе заявило себя довольно выразительно именно въ послѣднее время: у насъ уже есть оригинальная опера; теперь слагается своя школа скульптуры и живописи. Всѣ эти разрозненныя явленія говорить, каждое на своемъ языкѣ, что пора перестать мудрить надъ русскою жизнью по иностраннымъ образцамъ и книжкамъ. Это нужно говорить отчетливо, безъ смягченій.

Напротивъ, мой многоуважаемый, смягченія здѣсь необходимы. Перечисленные вами явленія не составляютъ пока признаковъ времени (и я объ этомъ не горюю). Такого рода попытки всегда были, а наиболѣе крупныя изъ упомянутыхъ вами не принадлежатъ нашему времени. Такова статья гр. Толстого, которая является простымъ повтореніемъ того, что было сказано авторомъ много лѣтъ тому назадъ. Такова русская опера, которая еще больше лѣтъ тому назадъ была создана Глинкой, и, мимоходомъ сказать, Глинка, отнюдь не столь усердно бѣгая за самобытностью, какъ нынѣшніе композиторы, достигъ ея въ несравненно болѣе высокой степени. Что же касается до русской школы живописи и скульптуры, то овѣдушіе люди говорятъ, что она—мнѣ, хотя несомнѣнно есть превосходные русскіе художники и нѣкоторые изъ нихъ эксплуатируютъ русскіе сюжеты. Извѣстно, какъ слагаются всѣ подобныя «школы». Всякому талантливому, а иной разъ и не талантливому художнику свойственно стремленіе къ личной самобытности. Въ случаѣ удачи его манеры, ему подражаютъ другіе; онъ и самъ пропагандируетъ свою манеру. Но почему, скажите, положимъ, лично совершенно самобытная философія г. Кавелина заслуживаетъ преимущественнаго наименованія русской, а столь же лично самобытная философія всякаго другого—не заслуживаетъ? Почему г. Кюи есть глава *русской* школы, когда, допуская его полную личную самобытность, въ его сюжетахъ и музыкѣ нѣтъ рѣшительно ничего общерусскаго? А главное всѣ эти перечисленные явленія (за исключеніемъ

статьи г. Толстого) не имѣютъ рѣшительно никакого отношенія къ тезису самого г. П. Ч. Перечисленіе это служить для него нѣкоторыми пропилеями; вслѣдъ за нимъ онъ говоритъ: «вотъ и въ политической сферѣ мы должны слѣдовать національному направленію, которое состоитъ въ выработанномъ исторіей преобладаніи крестьянства». Но зачѣмъ же эти пропилеи, зачѣмъ весь этотъ подходъ, когда мы должны мѣрять національность соотвѣтствіемъ съ интересами народа, а не наоборотъ? Дорожить интересами народа; мы должны отнюдь не потому, что это какъ-нибудь «національно». Иныя, высшія инстанціи присудили бы насъ къ этому, даже на перекоръ національнымъ особенностямъ, еслибы наша жизнь сложилась иначе, а національныя (собственно историческія) особенности представляютъ въ настоящемъ случаѣ только случайно выгодныя условія. Въ другихъ же «сферахъ дѣятельности» еще бабушка на двое сказала—чего стоитъ наша самобытность. Вотъ что дѣйствительно надо выговорить «отчетливо, безъ смягченій». А г. П. Ч. все беспокоится насчетъ національности и самобытности «въ различныхъ сферахъ дѣятельности», до такой степени беспокоится, что наконецъ тощія коровы самобытности совершенно пожираютъ тучныхъ коровъ интересовъ народа; напримѣръ въ одной изъ его статей выражена такая мысль: «я не сомнѣваюсь, что будь у насъ самостоятельные представители экономической науки—первое ихъ слово было бы за общину». Очевидно здѣсь община играетъ роль тучной коровы, съѣденной тощей коровой «самостоятельности»—иначе не было бы сослагательнаго наклоненія, ибо слово за общину нашими представителями экономической науки сказано было. Вотъ только «самостоятельны» ли они были? Г. П. Ч. не умѣетъ свободно отнестись къ этому вопросу. Съ одной стороны эти люди вѣрно поняли интересы народа и постоянно имѣли ихъ въ виду, значитъ слѣдовали самостоятельному, самобытному, «національному» направленію. Но съ другой стороны они такъ скептически относились къ принципу національности и были такъ пристрастны къ «европейскимъ теоріямъ» и «заграничнымъ книжкамъ», что самостоятельность ихъ для г. П. Ч. проблема-

тична. Съ такими же приѣмами обратился г. П. Ч. къ нашей литературѣ: вообще въ статьѣ «Отчего безжизненна наша литература?» Ему (съ его собственной точки зрѣнія) слѣдовало просто сказать, что литература безжизненна потому, что не хочетъ стать лицомъ къ лицу съ интересами народа, одѣлать ихъ по достоинству вообще, изучить въ частностяхъ и сдѣлать своимъ центромъ тяжести. Но сказать это такъ просто онъ уже потому не могъ, что ему пришлось бы въ такомъ случаѣ въ общемъ повторить мнѣніе, уже давно въ этой самой литературѣ высказанное, хотя бы и не совсѣмъ такъ мотивированное, а онъ лично чрезвычайно самостоятеленъ. Но кромѣ того его беспокоитъ самостоятельность національная. Отсюда — цѣлая вавилонская башня изъ «заграничныхъ книжекъ», «европейскихъ очковъ» и прочаго хлама. Отсюда же — фальшивая ненужная идеализація «деревни»; говорю фальшивая, потому что авторъ совершенно произвольно замѣнилъ дѣйствительно существующую деревню отвлеченнымъ понятіемъ; говорю ненужная, потому что и русскому народу, и русской литературѣ нужна прежде всего правда.

Какъ бы кто ни смотрѣлъ на мою полемику съ «Недѣлей», но есть въ ней по крайней мѣрѣ одинъ и притомъ весьма существенный пунктъ, надѣюсь, вполне разъясненный. Совокупность упражненій «Недѣли» я назвалъ мыльнымъ пузыремъ. Почтенная газета, съ свойственнымъ ей благороднымъ изяществомъ, отвѣчала: «Будущій историкъ русскаго общества замѣтитъ, что нашъ пузырь явился плодомъ *не теоретическихъ построеній*, а внимательнаго наблюденія надъ фактами жизни, и притомъ не жизни вообще, а именно *жизни русской*, текущей, современной — и въ этомъ смыслѣ назоветъ его можетъ быть новымъ». Нынѣ г. П. Ч. подтверждаетъ мое предположеніе, что источникъ его воззрѣній составляютъ именно теоретическія построенія и притомъ нѣмецкаго еврея.

Г. П. Ч. «съ отвращеніемъ» относится къ неизящнымъ выраженіямъ въ полемикѣ. Я сознаю, что они нехороши, и жалѣю, что огорчилъ г. П. Ч. Но есть нѣчто гораздо худшее,

чѣмъ жесткія выраженія, нѣчто гораздо болѣе заслуживающее отвращенія: это—шарлатанство.

XXIII.

Къ настоящей минутѣ.

Не смотря на различныя уступки, выражающіяся впрочемъ преимущественно фигурой умолчанія, «Недѣля», какъ уже сказано, едва ли намѣрена въ ближайшемъ будущемъ разстаться съ своимъ пузыремъ. Она пріискала для него новое примѣненіе въ событіяхъ на Балканскомъ полуостровѣ.

Сначала — маленькое отступленіе или пожалуй напоминаніе. Всего какихъ-нибудь два года тому назадъ, «Недѣля» писала: «Газетныхъ рецензентовъ статья (гр. Толстого) плѣнила кажется только тѣмъ, что гр. Толстой говоритъ о непригодности нѣмецкаго педантизма къ обученію русскаго человѣка; остальное и самое существенное въ статьѣ, какъ не дѣйствующее на чувство народности, рецензенты обошли молчаніемъ и выдали гр. Толстому похвальный листъ собственно за патріотизмъ... Съ русскимъ заносчивымъ и самоувѣреннымъ читателемъ нужно говорить осторожно. Вы можете быть и имѣете основаніе относиться отрицательно къ извѣстнымъ сторонамъ теоретизма, но тысячи руссофиловъ поймутъ васъ иначе: они начнутъ плевать (какое слово!) не только на нѣмецкую, но и на всякую теорію и порѣшать авторитетно, что только *русская теорія* безошибочна» (1874, № 42). Статья, изъ которой я заимствую эти строки, не случайная, потому что газета и впоследствии на нее ссылалась, какъ на выраженіе своихъ мнѣній. Строки эти поучительны въ разнообразныхъ смыслахъ. Не буду распространяться о томъ, какъ освѣщается ими «установившаяся репутация» достопочтенной газеты: дѣло ясное. Но если исключить фактически невѣрное показаніе, будто наши газетные рецензенты такіе упорные, и пламенные патріоты (хотя теперь и они конечно опатріоти-

лись), то въ замѣчаніи «Недѣли» найдется кое-что резонное. Сама газета отчасти разыграла нынѣ роль того «заносчиваго и самоувѣреннаго руссофила, который плюетъ не только на нѣмецкую, но и на всякую теорію». Въ среднемъ русскомъ человѣкѣ чрезвычайно легко вызвать какъ крайнее самоуничиженіе, такъ столь же крайнее самохвальство, и легче всего добиться того и другого при помощи разныхъ операций съ идеей національности. Это очень естественно. «Национальность», какъ мы видѣли, слагается изъ такого множества такихъ разнообразныхъ элементовъ, что, вводя ее въ свои соображенія *in crudo*, мы вступаемъ вмѣстѣ съ тѣмъ въ поляришую неопредѣленность, въ которой—чего хочешь, того просишь. Получается очень сложный инструментъ, изъ котораго всякій болѣе или менѣе искусный артистъ можетъ извлекать очень разнообразные звуки въ очень разнообразныхъ сочетаніяхъ. Вотъ аккордъ, извлеченный «Недѣлей». Въ № 30 за нынѣшній годъ она напечатала статью «Источникъ общественнаго возбужденія», въ которой трактуется настоящій моментъ русской исторіи въ виду турецко-славянской войны. Сгруппировавъ нѣсколько фактовъ, свидѣтельствующихъ о сочувствіи къ славянамъ «всѣхъ безъ изыятія классовъ народа и общества», авторъ спрашиваетъ: въ чемъ же заключается причина такого небывалаго возбужденія? Конечно, говоритъ онъ, «матеріалъ для сочувствія славянамъ существуетъ въ Россіи издавна, это съ одной стороны—политическія традиціи, съ другой—единство религіи... Но и то, и другое есть не болѣе, какъ благоприятныя условія для развитія сочувствія—условія конечно очень важныя, но по самому существу своему чисто отрицательныя, пассивныя. Кто же явился положительнымъ, активнымъ двигателемъ, кто воспользовался благоприятными условіями, расколыхалъ эту громадную многомиліонную массу?.. Этотъ источникъ—нѣчто такое, для чего не найдено еще вполнѣ точнаго названія; это—то особенное *настроеніе* интеллигентной части общества, которое начало замѣчаться въ Россіи всего какихъ-нибудь два года назадъ и которое мы назвали однажды *сознаніемъ*

необходимости самобытнаго, національнаго направленія въ разныхъ сферахъ дѣятельности» (курсивы «Недѣли»).

«Мы не будемъ—заключаетъ газета—пускаться въ совершенно неумѣстныя теперь доказательства, что это именно такъ». Вотъ это напрасно: доказательства были бы вполнѣ умѣстны. Тогда мы узнали бы [можетъ быть, почему это напримѣръ единство религіи составляетъ «отрицательное» условіе сочувствія или почему возбужденіе *«всѣхъ безъ изыятія классовъ народа и общества»* имѣетъ источникомъ какое-то экстремное настроеніе *«интеллигентной части общества»*. Теперь все это остается въ туманѣ. По зато туманъ налицо. Конечно, если отбросить всякую логическую нить и прицѣплять слово къ слову, какъ въ домино шесть очковъ приставляется къ шести очкамъ, бланкъ къ бланку и т. д., то можно къ славянской войнѣ приставить сознаніе необходимости самобытнаго, *національнаго* направленія и проч. Но если вы попытаете серьезно связать эти двѣ вещи, то встрѣтите непреодолимые препятствія, столь непреодолимые, что ихъ даже и на словахъ не объѣдешь. Что старые славянофилы тѣсно связывали свое сочувствіе славянамъ съ повятіемъ о необходимости національнаго направленія въ разныхъ сферахъ дѣятельности—это вѣрно. Но славянофилы—особь-статья. Они не только не говорили, что единство религіи составляетъ отрицательное условіе сочувствія къ славянамъ (что даже ни съ чѣмъ несообразно), а напротивъ—именно въ этомъ единствѣ, въ православіи видѣли главную связь «сочувствія» съ «необходимостью». До какой степени трудно связать эти вещи «Недѣлѣ», видно изъ того, что она не разъ принималась за эту задачу, но все должно было находила неумѣстнымъ приводить доказательства и отдѣлывалась афоризмами.

Въ № 33 какой-то корреспондентъ изъ Курска «чувствуетъ потребность подѣлиться нѣсколькими мыслями съ уважаемой редакціей «Недѣли» по поводу статьи объ «Источникѣ общественнаго возбужденія». Корреспондентъ подтверждаетъ что то «настроеніе», о которомъ говоритъ газета, дѣйствительно суще-

ствуешь, и затѣмъ приводить соотвѣтственные факты. Мы узнаемъ, что въ Курскѣ «славянское движеніе» сосредоточивается въ «общественномъ клубѣ»; что мѣстное общество очень косо смотритъ на газеты, недостаточно ясно и рѣзко сочувствующія славянамъ; что въ Курскѣ даются концерты, на которыхъ поютъ русскій гимнъ и славянскія пѣсни, кричатъ «ура» и «живо»; что пожертвованій собрано столько-то и добровольцевъ отправлено столько-то. Корреспондентъ очевидно не понялъ ни чѣмъ дѣло. Никто не сомнѣвается въ томъ, что національное или, какъ нѣкоторые говорятъ, патріотическое настроеніе охватило Россію, хотя, я полагаю, въ гораздо меньшей степени, чѣмъ кажется и чѣмъ вообще думаютъ. Дѣйствительно, наше возбужденіе, по необходимости выражающееся въ однихъ и тѣмъ же формахъ пожертвованій и волонтерства, представляетъ тѣмъ же явленіе очень сложное, имѣющее не одинъ, а много источниковъ. Что касается до массы народа, то ее несомнѣнно сильноѣе всего двигаютъ чувства религіознаго родства со славянами и традиціонная ненависть къ туркамъ, какъ врагамъ христовой вѣры. Чувства эти еще усиливаются свѣдѣніями о варварствахъ турокъ. Мимоходомъ сказать, религіозному элементу въ настоящей войнѣ вообще отдается мало мѣста, тогда какъ въ дѣйствительности онъ врывается въ событія съ разныхъ сторонъ. Гильфердингъ, человѣкъ наблюдательный и безпристрастный, замѣчаетъ, что, помимо враждебныхъ отношеній сербовъ къ болгарамъ и обратно, во всѣхъ сербскихъ земляхъ каждая деревня косо смотритъ на сосѣднюю деревню; мало того: въ каждомъ селѣ царятъ зависть и вражда. Онъ рѣшительно отрицаетъ сознаніе національнаго единства въ сербскихъ областяхъ и утверждаетъ, что только одинъ мотивъ стоитъ выше этой вражды—религіозный. Что касается до религіознаго фанатизма турокъ, то онъ всѣмъ извѣстенъ; для нихъ настоящая война есть война священная. Сообразно этому, сознательно или безсознательно, смотря на вещи и посторонніе зрители. Любопытно, что въ извѣстной рѣчи Дюбуа-Рэймона о границахъ познанія, сказанной задолго до настоящихъ событій, въ числѣ

задачу, подлежащихъ разрѣшенію гипотетическаго всевѣдущаго чловѣка Лапласа, находится такая: когда заблеститъ греческій крестъ на софійской мечети? Это показываетъ, до какой степени въ общемъ сознаніи будущая судьба Балканскаго полуострова всегда облакалась въ религіозныя формы. Естественно, что соотвѣтственное настроеніе усилилось, когда эта судьба нѣсколько приблизилась такъ или иначе къ своему рѣшенію. Отсюда — наши послышки къ сербамъ походныхъ церквей и знаменъ, напоминающихъ историческіе моменты борьбы съ невѣрными: отсюда — пророчество, что какъ одинъ Михаилъ отдалъ туркамъ Константинополь, такъ другой Михаилъ (Черняевъ) отниметъ его и проч. Я не говорю, что религіозный элементъ составляетъ все въ настоящихъ событіяхъ, не говорю даже, что онъ въ нихъ безусловно примируетъ. Я только напоминаю составъ нашего возбужденія. Безъ сомнѣнія и славяне было до такой степени придавлены турецкимъ строемъ, что изъ этой придавленности выросли мотивы возстанія, не имѣющіе ничего общаго съ религіознымъ. Безъ сомнѣнія, какъ официальная Англія въ своемъ отрицательномъ отношеніи къ славянамъ, такъ и неофициальная Англія въ своемъ отношеніи положительномъ, руководствуются не религіозными мотивами, а (первая) политическими, экономическими и (вторая) чисто гуманными. Безъ сомнѣнія наконецъ въ русской «интеллигенціи» религіозный мотивъ несравненно слабѣе, чѣмъ въ массѣ народа, и часто даже совсѣмъ отсутствуетъ. Здѣсь двигателемъ является нѣчто очень сложное, вѣрнѣе — даже сумма многихъ сложныхъ двигателей, среди которыхъ фигурируетъ разумѣется и національное чувство, чувство кровнаго родства со славянами. Но еслибы это чувство проявлялось даже несравненно сильнѣе, еслибы оно поглощало собою всѣ остальные источники возбужденія, чего на самомъ дѣлѣ конечно нѣтъ, такъ и то оно не могло бы служить поддержкой мнѣнію «Недѣли» и ея курскаго корреспондента. Одно дѣло — сочувствіе угнетеннымъ соплеменникамъ, и другое дѣло — сознаніе необходимости самобытнаго, національнаго направленія въ разныхъ сферахъ дѣятельности. По-

сѣднее было бы только въ такомъ случаѣ доказано, еслибы «Недѣля» прослѣдила въ самомъ сочувствіи и въ способахъ его выраженія что-нибудь исключительное, національное, русское. Но развѣ всѣ другіе народы при подобныхъ обстоятельствахъ какъ-нибудь иначе выражаютъ свое сочувствіе къ родственнымъ или даже неродственнымъ страдающимъ народамъ? Безъ сомнѣнія извѣстныя отличія существуютъ. Такъ есть разница между генераломъ Черняевымъ и генераломъ Гарибальди; есть разница между курскимъ «общественнымъ клубомъ» и европейскими клубами, какъ центрами политическихъ движеній. Но не думаю, чтобы кто-нибудь настаивалъ на *необходимости* этой разницы и въ ней именно видѣлъ ту желательную самобытность, о которой такъ много говорить «Недѣля».

Въ упомянутой статьѣ г. П. Ч. («Нашимъ критикамъ») также говорится объ отношеніи нашего общества къ славянской войнѣ, какъ о самомъ рѣзкомъ признакѣ стремленія къ самобытности, къ національному направленію въ различныхъ сферахъ дѣятельности. Но съ точки зрѣнія г. П. Ч. это еще неосновательнѣе. Мы видѣли, что онъ признаетъ дѣйствительно національнымъ только такое направленіе, которое совершается въ духѣ и интересахъ крестьянства. Гдѣ же доказательства наличности такого направленія въ современномъ настроеніи нашего общества? При самомъ напряженномъ вниманіи, я его не вижу. Г. П. Ч. можетъ впрочемъ легко сдѣлать пробу. Говоря о томъ, что наше крестьянство есть пока сила стихійная, которая однако должна же подняться до силы сознательной, для чего требуется образованіе, г. П. Ч. замѣчаетъ: «средствъ нѣтъ—открыть подписку по всей Россіи, какъ это теперь сдѣлано въ пользу балканскихъ славянъ». Да, вотъ, попробуйте. Я съ своей стороны сочту за величайшее счастье записаться однимъ изъ первыхъ на подписномъ листѣ «Недѣли» и на этотъ предметъ увеличу втрое, вчетверо ту скромную лепту, которую вношу въ славянской комитетъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ я глубоко убѣжденъ, что настоящій моментъ есть одинъ изъ самыхъ невыгодныхъ для такого пред-

пріятія. А между тѣмъ «націалное» направленіе охватило Россію. Попробуйте...

И я, грѣшный профанъ, возлагалъ надежды на турецко-славянскія событія и горячее отношеніе къ нимъ русскаго общества. Не въ томъ правда смыслъ, что изъ этого горячаго отношенія вырастетъ что-нибудь самобытное, націанальное. Нѣтъ, я просто ждалъ хорошаго, а тамъ самобытно ли оно будетъ, или нѣтъ—это мнѣ все равно было. Ждать кажется было можно. Кня. Шаховская замѣтила, что запрещеніе молиться у Иверской—невиданное въ Москвѣ дѣло. Да, но гораздо болѣе невиданное дѣло, какъ въ Москвѣ, такъ и въ другихъ русскихъ городахъ—эти сотни, даже тысячи людей, толпящихся на площадяхъ и въ вокзалахъ, проникнутыхъ одною мыслью и однимъ чувствомъ (каковъ бы ни былъ ихъ источникъ), громко заявляющихъ свои симпатіи, хотя и совпадающія повидимому съ направлениемъ оффиціальной политики, но все-таки отъ нея независимыя. Не обольщая себя надеждой, что при этомъ немедленно всплыветъ наверхъ все дѣйствительно живое въ русскомъ обществѣ, можно было однако съ волненіемъ и ожиданіемъ прислушиваться къ этому свободному голосу. Въ самыхъ обстоятельствахъ, вызвавшихъ возбужденіе, было нѣчто такое, что, казалось, должно было гарантировать оживленію извѣстную высоту, чистоту и достоинство. Гарантіи эти представляются тою крайнею простотою настоящей славянской задачи, о которой я уже какъ-то упоминалъ мелькомъ. Еще тургеневскій Шубинъ, не смотря на свое легкомысліе, очень вѣрно замѣтилъ, что задача Инсарова очень проста: выгнать турку и баста. Въ этомъ элементарномъ и, если хотите, грубомъ требованіи тонуть всѣ тѣ рубрики и подраздѣленія общественныхъ вопросовъ, къ которымъ пріучила насъ запутанная и сложная европейская исторія. Всякій гнетъ, политическій, государственный, религіозный, соціальный, совмѣщается для южнаго славянина въ «туркѣ» непосредственно или имъ только держится. Строго говоря, здѣсь нѣтъ даже ясно обрисованнаго націанальнаго вопроса, потому что потурченный славянинъ, отлично помнящій свое славянское происхожденіе, а иногда

даже гордящийся имъ, всегда былъ злѣйшимъ врагомъ единоплеменной райи, гораздо злѣйшимъ, чѣмъ природный турокъ. Тѣмъ не менѣе его гнетъ положительнымъ или отрицательнымъ образомъ опирается на гнетъ турецкій, такъ сказать, питается имъ. Не слѣдуетъ однако думать, что дѣло сводится въ этомъ случаѣ къ исламу: болгарскій «помакъ» — тоже мусульманинъ, но онъ ненавидитъ турокъ, какъ только можетъ ненавидѣть кроткій, забитый болгаринъ. Мусульманскій фанатизмъ ренегата-босяка самымъ тѣснымъ образомъ сплетается съ его исконнымъ положеніемъ феодала, сохраненіе котораго онъ купилъ отступничествомъ. При такихъ условіяхъ выгнать турку значить рѣшить социальный вопросъ. Точно также безобразія греческой духовной іерархіи, иноплеменныхъ, но единовѣрныхъ «владыкъ», равно какъ зачаточной, но уже достаточно гнусной буржуазіи въ сербско-турецкихъ земляхъ, держатся опять только турецкимъ владычествомъ. Сметите турокъ — и славянинъ свободенъ, какъ мало кто свободенъ въ Европѣ. Сметите турокъ — и если послѣ этого еще останется несчастное соперничество различныхъ племенъ, то внутри каждаго изъ нихъ не останется никакихъ «самобытныхъ» особенностей, никакого соперничества сословнаго, въ томъ смыслѣ, какъ оно извѣстно Европѣ. Для очищенія воды, въ нее пускаютъ яичный бѣлокъ, который обволакиваетъ всю муть и грязь и выноситъ ее на верхъ — остается только снять эту массу. «Турка» сыгралъ въ исторіи южныхъ славянъ именно такую роль яичнаго бѣлка: онъ выловилъ, притянулъ къ себѣ всѣ «самобытные» и «инобытные» элементы, способные сосать кровь народа, связалъ ихъ судьбу съ своей судьбой, и еслибы не тѣ безчисленныя страданія, цѣною которыхъ купленъ этотъ результатъ, можно бы было сказать спасибо «туркѣ», спасибо за сосредоточеніе враждебныхъ народу силъ, за возможность покончить со всѣми ими однимъ ударомъ. Эта ясность, простота и величіе задачи, казалось, должны были гарантировать прямое и честное отношеніе къ ней со стороны сочувствующихъ славянъ.

Не то вышло на дѣлѣ. Простотѣ задачи была противопостав-

лена сложность рѣшенія, ясности—запутанность, величію... величію была сплошь и рядомъ противопоставлена низость и пошлость. Это я—о цѣлой Европѣ, объ исключеніяхъ—потомъ. Яснѣе всего выразилась роль Англіи. Я полагаю, что Англія оффиціальная, на которую ссылались и сыплется столько заслуженныхъ проклятій, была тѣмъ не менѣе вѣрнымъ представителемъ и блюстителемъ интересовъ своей страны, т. е. Англіи, какъ она въ данную минуту существуетъ—Англіи, имѣющей извѣстную социальную фізіономію, которая можетъ съ теченіемъ времени измѣняться, но въ данную минуту совершенно опредѣлена. Англія давно овладѣла турецкимъ рынкомъ и вытѣснила туземную промышленность. Ея фабрикантъ и купецъ—экономическіе владыки Турціи. Поэтому она самымъ кровнымъ образомъ заинтересована въ продолженіи турецкаго или какого-либо подобнаго владычества. Грѣхъ славянъ передъ Англіей, страшный грѣхъ, котораго она не можетъ простить, пока не измѣнится ея социальная фізіономія, состоитъ въ томъ что они могутъ «саміудовлетворять своимъ потребностямъ». Пусть уничтожится турецкое владычество, но вмѣстѣ съ тѣмъ пусть извратится грубая натура турецкаго славянина; пусть эти трудолюбивые болгары и босняки изгнѣются, пусть обособится въ нихъ достаточный классъ туземцевъ, пусть въ этихъ полудикихъ черногорцахъ, въ смиренныхъ болгаряхъ, въ герцеговинцахъ, въ сербахъ разовьются потребности, которымъ они сами удовлетворить не въ состояніи—Англія будетъ молчать. «Что Литва, что Русь-ли», что турокъ, что сербъ—ей все равно, если за ней останется рынокъ, если сырьё Балканскаго полуострова будетъ по-прежнему направляться къ ней и отливаетъ обратно въ видѣ обработанныхъ продуктовъ. Это—не капризъ: это—вопросъ о существованіи Англіи, какъ извѣстной комбинаціи социальныхъ силъ. Закрытіе такого важнаго рынка, какъ турецкій, отзовется на Англію не финансовымъ только крахомъ, который данъ уже гибелью капиталовъ, вложенныхъ въ турецкія бумаги, а кризисомъ социальнымъ, и чѣмъ онъ кончится—даже предвидѣть трудно; во всякомъ случаѣ—болѣе или менѣе значительнымъ измѣненіемъ

соотношенія общественныхъ силъ. Какова будетъ та новая, измѣненная Англія, это — другой вопросъ; но нынѣшняя Англія имѣетъ, повторяю, въ лицѣ Дизраэли, Дерби и Эллиота—своихъ вѣрныхъ выразителей и представителей. Не помню, въ какой газетѣ прочиталъ я такое разсужденіе, что въ случаѣ европейской войны у Россіи можетъ оказаться совершенно неожиданный союзникъ, именно—внутренній врагъ нашихъ предполагаемыхъ будущихъ враговъ — рабочій вопросъ. Я очень сожалѣю, что не запомнилъ названія газеты, потому что самое перенесеніе вопроса на эту почву заслуживаетъ полнѣйшаго вниманія. Возможна конечно и та комбинація, о которой говоритъ газета; но вѣрно то, что въ Англіи рабочій вопросъ долженъ съ надеждою турецкаго владычества рѣшительно обостриться. Тѣмъ не менѣе мы и въ нынѣшней Англіи слышимъ энергическіе и благородные голоса въ защиту славянъ. Чтó это значитъ? Только то, что чувства многихъ англичанъ находятся въ противорѣчій съ интересами нынѣшней Англіи. До сихъ поръ фактически интересы перевѣшиваютъ чувства, и великой борьбѣ за освобожденіе противопоставляется гнусная спекуляція.

Перейдемъ къ сочувствующимъ. Здѣсь на первомъ мѣстѣ стоятъ русскій народъ и русское общество. Безъ сомнѣнія и русское правительство сдержанно, но нисколько не двусмысленно засвидѣтельствовало свое сочувствіе къ страданіямъ славянъ; но я не чувствую себя призваннымъ обсуждать его образъ дѣйствій. Меня занимаетъ необыкновенное возбужденіе русскаго общества и народа и то воспитательное значеніе, которое могутъ имѣть для нихъ настоящія событія.

Какъ уже сказано, задача, разрѣшаемая на Балканскомъ полуостровѣ, крайне проста, а мотивы нашего участія къ ней очень сложны. Одни сочувствуютъ славянамъ, какъ единовѣрцамъ, другіе—какъ единоплеменникамъ, третьи—какъ страдальцамъ, которыхъ «припекаютъ, рѣжутъ, жгутъ», иные—какъ героямъ, ищущимъ независимости, и проч. Сами по себѣ однако всѣ эти разнородные мотивы могли бы очень удобно сходиться въ фокусѣ немногосложной задачи Инсарова: выгнать турку. Я, ты, онъ, мы,

вы, они, отправляясь каждый отъ своего штабпункта, неизбежно приходимъ къ одному и тому же результату. Я—христіанинъ и сочувствую славянамъ, какъ христіанамъ, я иду въ волонтеры или даю деньги на тотъ предметъ, чтобы рога луны не надругались надъ крестомъ Христа, а это значитъ выгнать турку. Ты — демократъ и социалистъ и сочувствуешь славянамъ, какъ безусловному трудящемуся люду, который не можетъ довести до рта имъ самимъ изготовленного куска хлѣба; довести кусокъ полностью до рта значитъ выгнать турку. Онъ—добрый и впечатлительный человѣкъ, которому не даютъ жить образы посаженныхъ на колъ болгаръ, распятыхъ и сожженныхъ сербовъ, обезцѣченныхъ женъ и дѣтей; чтобы отогнать эти видѣнія, надо выгнать турку и проч. Положимъ, что по окончаніи (удачномъ или неудачномъ) дѣла, всѣ мы раздеремся, потому что не каждый день встрѣчаются дѣла, допускающія такое единодушіе: но въ эту минуту ничто не мѣшаетъ Ерошенкѣ умирать подъ командой генерала Черныева или Гольдштейну падать вслѣдъ за Кирѣвымъ. Сопоставьте же всѣ условія нашего возбужденія. Впервыхъ: мы можемъ быть единодушны, не смотря на разнообразіе исходныхъ точекъ нашего сочувствія къ славянамъ. Вторыхъ: мы во всякомъ случаѣ сдвинуты съ обыденной коленпялой, скучной, бездѣлительной, безцѣльной жизни на широкую дорогу дѣлательнаго сочувствія къ чужимъ страданіямъ. Топъ нашей жизни приподнять. Воздухъ очищается. Самоотверженіе, преданность идеѣ, исполненіе разъ сознанаго долга, ненависть къ гнету и насилию,—все это море высокихъ, святыхъ чувствъ тутъ подъ бокомъ. Всякій, даже дрянной или пустой человѣкъ, можетъ, окунувшись въ него, окрестившись въ немъ, возродиться. Въ немъ могутъ надолго заговорить заглохшія чистѣйшія струны его души, звенѣть и по окончаніи турецко-славянской распри, отзываться и на другіе запросы жизни. Встрѣтыхъ наконецъ: мы имѣемъ до извѣстной степени возможность не скрывать своихъ чувствъ.

Какъ ни умаляйте значеніе этихъ условій, но въ совокупности они представляютъ нѣчто очень рѣдкое въ русской жизни. Про-

стительно было ждать. И я ждалъ. Я упустилъ изъ виду физическій законъ, по которому солнечный лучъ, встрѣчая среду болѣе плотную, чѣмъ воздухъ, отклоняется, преломляется. Я упустилъ изъ виду элементъ спекуляціи. Въмѣсто того, чтобы дѣлать прямое и простое дѣло, поставленное передъ нами исторіей, мы стали спекулировать. Пристраиваясь къ какому-нибудь предпріятію, спекулянтъ имѣетъ въ виду главнымъ образомъ не осуществленіе его, а тѣ побочныя, не относящіяся прямо къ предпріятію и часто мѣшающія ему выгоды, которыя можно сорвать *на пути* къ осуществленію и вообще внѣ его. Такъ поступили мы и съ славянскимъ вопросомъ. Не буду говорить о мелочахъ, можетъ быть неизбѣжныхъ въ дѣлѣ, захватывающемъ множество людей. Остановлюсь только на двухъ явленіяхъ, на самохвальствѣ и на той ноздревской политикѣ, которая утверждаетъ, что, дескать, лѣсъ мой, да и за лѣсомъ что — такъ тоже мое.

Давно уже ходятъ слухи, что сербы косятся на насъ, потому что мы будто бы хотимъ Сербію въ Бѣлградскую губернію обратить. Откуда могло въ нихъ явиться такое предубѣжденіе? Правительство наше тутъ очевидно не причесть. Сваливать все на инсинуаціи европейской печати, несомнѣнно существующія, тоже нельзя. Мудрено допустить, чтобы какъ эти инсинуаціи, такъ довѣріе къ нимъ сербовъ выросли изъ ничего. Пройдетъ нѣсколько времени, и мы узнаемъ обстоятельно, какъ вели себя въ Сербіи русскіе. Но кое-что мы и теперь уже можемъ видѣть изъ тона русскихъ газетъ.

Недавно надѣлала нѣкотораго шума напечатанная въ «Новомъ Времени» анонимная статья «Наша національная задача». Авторъ не даетъ частныхъ указаній русской политикѣ, а только общую формулу: «помочь славянамъ въ тѣхъ стремленіяхъ, которыя безусловно справедливы, и устроить все остальное въ собственныхъ интересахъ — вотъ роль Россіи». Сама статья даетъ однако вполне достаточный матеріалъ для наполненія этого общаго мѣста плотью и кровью. Авторъ негодуетъ на «рьяныя увѣренія нѣкоторыхъ газетъ въ нашемъ безкорыстіи и самоот-

перженности»; на высказанное въ печати мнѣніе, что «намъ не нужны завоеванія, что не нуждаемся мы и въ Константинополѣ; на отсутствіе русскаго проекта раздѣла Турціи; на то, что Россія, имѣя еще всего полвѣка тому назадъ возможность обрусить чеховъ, сербовъ и болгаръ, упустила этотъ моментъ. Онъ не только негодуешь и сожалѣешь; онъ указываетъ положительныя основанія этихъ своихъ отрицательныхъ чувствъ.

«Нѣтъ, говорить онъ, и никогда не было ни одного живого, дѣйствительно историческаго народа, который бы не напрягалъ всѣхъ усилій для развитія своей внутренней и внѣшней мощи, который не руководился бы во всѣхъ дѣлахъ интересами своей страны, который бы не стремился дать возможно широкое распространеніе своей рѣчи и т. п. Поступать иначе можетъ только національная дряблость, т. е. народъ, пораженный худосочиємъ и лежащій на болѣзненномъ одрѣ... Беззавѣтное увлеченіе русскаго общества идеею славянскаго освобожденія, именно вслѣдствіе своей беззавѣтности, не можетъ не наводить на грустные чувства. Здѣсь ясно выступаетъ наружу вся скудость нашей національно-исторической жизни. Только тотъ можетъ беззавѣтно и самоотверженно предаваться въ защиту чужихъ интересовъ, не помышляя о своей странѣ, въ комъ выло бьется сердце за интересъ послѣдней... На многихъ изъ нашихъ соотечественниковъ непріятно дѣйствуетъ извѣстіе о томъ, что сербы хотятъ завладѣть и Болгаріей, что для знакомыхъ съ славянскими дѣлами — совсѣмъ не новость. Нѣкоторые изъ насъ чуть не озлобились на сербовъ, узнавъ, что для болгарина бѣда — являться въ Сербію подъ своимъ именемъ, что сербы требуютъ, чтобы каждый болгаринъ и болгарка не смѣли иначе называться, какъ сербами, что даже тѣ два болгарскіе батальона, которые пришли подъ начальствомъ русскихъ офицеровъ на помощь сербамъ, чтобы сражаться за общее дѣло, не получаютъ отъ сербовъ, не смотря на критическія обстоятельства послѣднихъ, обмундировки и т. п. Словомъ, сербы не хотятъ уже теперь признавать существованія болгаръ и отказываютъ въ кускѣ хлѣба голодному болгарину, хотя бы онъ пришелъ къ нимъ на помощь, если не захочетъ называть себя сербомъ и тщательно скрывать свою болгарскую національность. Но мы не только не намѣрены осуждать за это сербовъ, а напротивъ видимъ въ томъ только горячее національно-патріотическое самосознаніе и доказательство того, что сербы достойны свѣтлой будущности. Они поступаютъ такъ, какъ всякій живой народъ. Развѣ мадьяры не добивались одновременно какъ освобожденія отъ нѣмецкой власти, такъ и мадьяризации славянъ и даже нѣмцевъ? Развѣ греки не имѣютъ столь же сильныхъ притязаній на болгаръ, а чехи на словаковъ? Развѣ поляки возставали не за господство надъ русскими

(бѣлорусскими и малорусскими) и литовскими племенами, а вовсе не за національную самостоятельность, которая близка была къ осуществленію? Развѣ французы, провозгласившіе принципъ національности, не присоединили къ себѣ довольно недавно итальянской Ниццы и не объявляли потомъ войны Германіи, чтобы овладѣть нѣмецкими землями по Рейну, и развѣ нѣмцы, тоже въ недавнее время, не завоевали себѣ датскихъ и французскихъ земель? и т. д.

Вотъ смѣлое и логическое слово, если не считать той трусости мысли и той нелогичности, которыя заключены въ исходной точкѣ автора. Съ перваго раза можетъ показаться, что это — диссонансъ въ общемъ хорѣ нашихъ газетъ и общественнаго мнѣнія. Самъ авторъ очевидно считаетъ себя единственнымъ въ своемъ родѣ экземпляромъ. Нѣкоторыя газеты (и само «Новое Время» въ томъ числѣ, только впоследствии) сдѣлали легкія оговорки насчетъ «Нашей національной задачи». Дѣйствительно, ничего столь рѣшительно грубаго, столь обобщенно наглого въ русской печати еще пока не появлялось; но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы неизвѣстный авторъ былъ какимъ-то вырожденкомъ. Нѣтъ, онъ только смѣлѣе и послѣдовательнѣе другихъ; онъ только обобщаетъ и доводитъ до логическаго конца то, что другими высказывалось въ примѣненіи къ частнымъ случаямъ. Если бы авторъ былъ въ самомъ дѣлѣ до такой степени «чужой» нашей литературѣ и общественному мнѣнію, какъ онъ думаетъ или по крайней мѣрѣ говоритъ; еслибы мы въ самомъ дѣлѣ были такъ беззавѣтно безкорыстны, то статья его должна бы была вызвать цѣлую бурю негодованія, тѣмъ болѣе, что явилась въ газетѣ, пользующейся рѣдкою у насъ распространенностью. И не по такимъ поводамъ возгорается у насъ нынѣ полемика и сочиняются протесты. А тутъ человѣкъ рѣшается назвать дряблостью, признакомъ отсутствія жизни то, что повидимому всѣ считаютъ высокимъ достоинствомъ, чѣмъ вся Россія повидимому гордится! И если это ему сходить даромъ, такъ значить въ дѣйствительности-то не очень онъ большую дерзость сдѣлалъ, не очень чужъ тѣмъ, кого уличаетъ въ дряблости; значить они не такъ ужъ дряблы...

Трудно говорить объ такомъ щекотливомъ предметѣ, но два-три примѣра привести все-таки можно.

Г. Немировичъ-Данченко утверждаетъ въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», что онъ слышалъ отъ крестьянъ такія рѣчи: «Это, братъ, *наше*, мірское. *Насъ* бьютъ, *насъ* обижаютъ. Это—не сербъ, а русскій. Какой такой болгаринъ? Послѣ того и владимірецъ—не русскій? А за свое мірское дѣло мы цѣлымъ міромъ и станемъ». Не надо знать прошедшее г. Немировича-Данченко, какъ этнографа-фантазера, чтобы видѣть, что рѣчь эта—грубо сочиненная и не даетъ ни малѣйшаго понятія о дѣйствительномъ характерѣ возбужденія народа. Но она вѣрно изображаетъ настроеніе самого писателя, не умѣющаго отличить Сербію отъ Владимірской губерніи. Согласитесь, что обстоятельство это мало способно успокоить сербовъ насчетъ Бѣлградской губерніи... «Новое Время» безъ сомнѣнія—теперь самая «патріотическая» газета, миѣнія которой особенно интересны въ виду ея распространенности и слѣдовательно соотвѣтствія вкусамъ нашего образованнаго общества. Къ сожалѣнію я имѣю возможность обратить вниманіе читателя только на одинъ фактъ изъ разряда тѣхъ, которые миѣ здѣсь нужны. Среди самыхъ пламенныхъ изліяній на тему священнаго принципа національности, «Новое Время» вдругъ замѣчаетъ, что финляндцы мало жертвуютъ на пользу славянъ, и иронически прибавляетъ, что случись, молъ, въ Стокгольмѣ какой-нибудь пожаръ или что-нибудь въ этомъ родѣ, такъ изъ Финляндіи пожертвованія потекли бы рѣкой! Затѣмъ опять провозглашается торжество принципа національности и на минуту прерывается для «патріотическаго» восклицанія: или Финляндія—не русская страна?!—по тому простому поводу, что каталогъ финляндской выставки на русскомъ языкѣ явился позже финскаго и французскаго. Это—не новыя рѣчи въ русской литературѣ; но можно было разсчитывать, что онѣ не будутъ рѣзать ухо теперь, когда мы такъ проникнуты уваженіемъ къ принципу національности и беремъ подъ свое покровительство угнетенныя націи. Что Финляндія—русская страна въ этомъ никто не сомнѣвается и меньше всего финляндское

населеніе, неимѣющее кажется поводовъ жаловаться на тяжесть государственныхъ узъ, связывающихъ Финляндію съ Россіей. Но тѣмъ не менѣе съ чисто *національной* точки зрѣнія самый строгій и придирчивый человекъ не имѣетъ права попрекать жителей Финляндіи недостаткомъ сочувствія къ славянамъ. Друго дѣло — еслибы Финляндіа наприжѣръ, въ случаѣ войны, попыталась бы какъ-нибудь уклониться отъ обязанностей, налагаемыхъ на нее государственными узами: въ такомъ случаѣ она подлежала бы суду и расправѣ государства. Но, опираясь на свою единоплеменность съ славянами, попрекать въ тоже время жителей какого-нибудь Гельсингфорса тѣмъ, что для нихъ жители Стокгольма ближе, чѣмъ жители Бѣлграда, это прежде всего — самая турецкая безсмыслица, дикость.

И эта, и всѣ подобныя дикости (а ихъ немало) получаютъ свое логическое завершеніе и оправданіе, если мы станемъ на точку зрѣнія неизвѣстнаго автора «Нашей національной задачи». Но зато онъ отбрасываетъ уже всякую сантиментальность, считаетъ ее вздоромъ и позоромъ, откровенно объясняетъ, что нынѣшнія событія важны для насъ, только какъ удобный моментъ «дать возможно широкое распространеніе своей рѣчи и т. п.» Онъ не мечетъ громовъ не только въ пруссаковъ за насильственный захватъ Эльзаса и Лотарингіи, а даже и въ мадярь за стремленіе мадяризировать славянъ. Нѣтъ, мадяры — великій историческій народъ, заслуживающій уваженія, и именно потому, что они стремятся давить славянъ и между прочимъ нашихъ ближайшихъ родственниковъ Угорской Руси. Сербы — тоже великій историческій народъ, потому что, еще ничего не видя, позорно гонять самое имя болгаръ. Еще одинъ маленький, но вполне логическій шагъ — п турки могутъ тоже оказаться великимъ историческимъ народомъ. Все это очень смѣло, логично и, повторяю, заслуживаетъ вниманія, какъ обобщеніе неясныхъ, непродуманныхъ аппетитовъ, проскальзывающихъ въ литературѣ слишкомъ часто. Но, спрашивается, что мы выигрываемъ отъ такой постановки вопроса? Мы будемъ «русить», мадяры «мадярить», сербы «сербить» и т. д. и т. д.,

и всё будутъ взаимно уважать другъ друга, какъ великіе историческіе народы. Всеобщая драка на подкладкѣ чрезвычайнаго взаимнаго уваженія... Допуская даже, что такое удивительное сочетаніе возможно въ жизни, стоитъ ли изъ-за этого, толкая о поправныхъ правахъ славянъ, топтать въ то же время самую идею права?

Такова одна путаница, въ которой вращаются люди, спекулирующіе на славянскій вопросъ, то-есть имѣющіе въ виду не столько его непосредственное разрѣшеніе, сколько разныя побочныя цѣли. Но статья «Новаго Времени» типична еще въ другомъ отношеніи. Авторъ много говоритъ объ «интересахъ страны», о «нашихъ интересахъ», о «внѣшней и внутренней мощи Россіи»—кто обо всемъ этомъ теперь говоритъ мало? Онъ пропоситъ всё эти «слова, слова, слова», даже не пытаясь дать себѣ въ нихъ отчета—кто дѣлаетъ подобныя попытки? Но, благодаря все тѣмъ же особенностямъ автора, безотчетность выступаетъ у него рѣзче, чѣмъ у кого-нибудь. Не смотря на національный эгоизмъ его теоріи, онъ лично по всей вѣроятности вовсе не какой-нибудь завзятый эгоистъ, по крайней мѣрѣ этого нельзя заключить изъ его статьи: онъ хлопочетъ объ интересахъ, о могуществѣ какого-то цѣлаго, въ которомъ самъ утопаетъ какъ ничтожная частица. Не слѣдуетъ тоже непременно думать, чтобы онъ лично былъ человѣкъ очень воинственный, любитель «бранной забавы». Ничто не мѣшаетъ ему быть человѣкомъ, мирно трудящимся на какомъ-нибудь гражданскомъ поприщѣ служенія отечеству. Я себѣ представляю его профессоромъ, вообще педагогомъ-теоретикомъ, проникнутымъ уваженіемъ къ реформамъ нынѣшняго царствованія, очень либеральнымъ, очень вѣрующимъ въ нашъ русскій прогрессъ. Если бы въ немъ этой вѣры не было (по неблагоприятности ли, или по озлобленію), такъ онъ не сталъ бы разсуждать теперь о величіи Россіи. Итакъ ему дороги интересы нынѣшней Россіи. А между тѣмъ онъ сожалеетъ, что полвѣка тому назадъ былъ упущенъ случай обрусить чеховъ, болгаръ и сербовъ и тѣмъ сослужить службу интересамъ своей страны. Можно со-

миѣваться, что такой случай дѣйствительно представлялся пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, но положимъ. Положимъ далѣе, что обрусеніе чеховъ и болгаръ дѣйствительно соотвѣтствовало интересамъ тогдашней Россіи. Во всякомъ случаѣ тогдашняя Россія была не то, что нынѣшняя. Это была чисто-военная держава, разѣденная гангреной крѣпостного права, въ которой свистѣли розги по учебнымъ заведеніямъ и помѣщичьимъ коюшнямъ, шпицрутены, плети и кнуты по казармамъ и площадямъ, въ которой не было порядочнаго суда и проч. и проч. Я увѣренъ, что авторъ лучше меня можетъ оцѣнить разницу между тогдашней и нынѣшней Россіей. Можно ли же допустить, чтобы интересы двухъ столь различныхъ, хотя и носящихъ одно и то же названіе политическихъ тѣлъ были тождественны? Конечно—нѣтъ. Авторъ просто возвращаетъ цвѣты политическихъ спекуляцій (умозрѣній, умствованій) на почвѣ для него самого неясныхъ словъ, будто бы символически изображающихъ очень опредѣленные понятія. Въ этомъ онъ сходится съ огромнымъ большинствомъ представителей нашей литературы и общественнаго мнѣнія. Рѣдкій изъ нихъ даетъ себѣ трудъ хоть бы для самого себя отвѣтить на вопросъ: что именно разумѣть онъ, говоря о мощи страны, интересахъ Россіи и т. п.? Отсюда—тѣ забавные политическіе разговоры, которые ведутъ между собой въ «Благонамѣренныхъ рѣчахъ» Плѣшивцевъ и Тебенъковъ. Есть одно очень хорошее правило, способное устранить значительную часть тебенъковско-плѣшивцевскихъ волненій. Надо именно помнить, что «страна» сама по себѣ не пьетъ и не ѣстъ, не учится и не мучится, а все это дѣлаютъ живущіе въ ней люди. На этомъ элементарномъ правилѣ только и можетъ основаться дѣйствительно *гуманная* политика, гуманная совѣсть не въ смыслѣ какого-нибудь расплывающагося и безпредметнаго благодушія, а напротивъ вполне реальная, ибо въ дѣйствительности, реально интересы какой бы то ни было страны не существуютъ независимо отъ интересовъ населяющихъ ее людей. Разъ вы усвоите себѣ это простое и несомнѣнное правило, вы уже безъ труда замѣтите, что вопервыхъ положеніе людей во всякой странѣ

не одинаково, а слѣдовательно не одинаковы и интересы ихъ, и что ввоторыхъ положеніе это способно измѣняться во времени. А затѣмъ, заручившись нужными фактическими свѣдѣніями, вы смѣло можете приступить къ обсужденію любого частнаго политическаго вопроса. Вамъ будетъ ясно, какая это такая мадьярская «страна», интересы которой требуютъ мадьяризации славянъ, и кому въ Россіи, какому классу людей выгодно и вообще выгодно ли которому-нибудь изъ нихъ, чтобы чехи и сербы заговорили по-русски.

Пока не будетъ прилагаться къ обсужденію политическихъ событій рекомендуемая точка зрѣнія, до тѣхъ поръ мы не выйдемъ изъ мутной воды и не перестанутъ ловить въ ней рыбу охочіе люди. Представьте себѣ разговоръ, участники котораго, съ чрезвычайнымъ энтузіазмомъ употребляя извѣстную группу словъ, какъ слова всѣмъ и притомъ одинаково понятныхъ, даже не думаютъ что собственно эти слова значать, какіе реальные предметы ими обозначаются. Таковы политическіе дебаты нашихъ газетъ. Немудрено, что при такихъ условіяхъ Сербія смѣшивается съ Владимірской губерніей, отъ финновъ требуется, во имя принципа національности, горячее сочувствіе славянамъ, а позорное поведеніе сербовъ относительно болгаръ считается признакомъ великаго историческаго народа. Понятно, что совершенная неопредѣленность употребительнѣйшихъ, почти техническихъ выраженій, каковы: «величіе страны», «интересы націи» и т. п., въ связи съ крайнею смутностью вызываемыхъ ими чувствъ, огульно называемыхъ «патріотическими», открываетъ широкое поле для всевозможныхъ спекуляцій. Если хотите, все это очень естественно. Князь Карлъ румынскій еще въ прошломъ году добивался права раздачи орденовъ и чеканки монеты съ его изображеніемъ — права, котораго онъ, какъ вассаль Порты, не имѣетъ. Румынская палата депутатовъ очень этому сочувствовала, какъ патріотическому требованію. Оно и въ самомъ дѣлѣ какъ будто такое расширеніе правъ румынскаго князя способствуетъ окончательному освобожденію Румыніи отъ супрематіи Турціи. Но въ сущности, реально Румыніи отъ этого не выиг-

рываетъ рѣшительно ничего, если конечно не считать выигрышемъ расширеніе княжеской власти. Между тѣмъ, благодаря смѣшенію понятій, символовъ и словъ, румыны патріотически возновались. Повторяю, все это естественно. Но можно было ожидать, что напряженность настоящихъ событій и тѣ ихъ особенности, которыя я старался характеризовать выше гарантируютъ насъ отъ подобныхъ спекуляцій, по крайней мѣрѣ въ качествѣ постороннихъ зрителей. Ничуть не бывало. Генералъ Черняевъ дѣлаетъ смѣшную и ненужную демонстрацію провозглашенія князя Милана королемъ — и мы радуемся... Генералъ Черняевъ заслуживаетъ всякаго уваженія, какъ человекъ, преданный своимъ идеямъ. Какъ генералъ, онъ обнаружилъ очень цѣнные качества, тѣмъ болѣе заслуживающія уваженія, что они выразились не въ блестящихъ побѣдахъ, а въ хладнокровномъ личномъ мужествѣ и умѣньи организовать армію при самыхъ невыгодныхъ условіяхъ. Но этого ему показалось мало. Онъ захотѣлъ быть политикомъ, захотѣлъ умствовать и противопоставилъ простотѣ славянской задачи хитросплетенное рѣшеніе. О характерѣ умствованій генерала Черняева мы знаемъ изъ характера «Русскаго Міра», который его бывший редакторъ перенесъ къ несчастію и въ Сербію, гдѣ нужны были только его военные таланты и храбрость. Въ демонстраціяхъ въ родѣ той, которую онъ произвелъ, неудача составляетъ рѣшительный приговоръ предпріятію, а неудача вышла полная: самъ Миланъ и армія, провозгласившая его королемъ, оказались въ самомъ униженномъ положеніи людей, которымъ велѣно взять свое рѣшеніе назадъ. Но еслибы Миланъ и сталъ королемъ, что выиграло бы отъ этого славянское дѣло? Говорятъ: провозглашеніе означало окончательное уничтоженіе вассальныхъ отношеній. Но во первыхъ уничтоженіе вассальныхъ отношеній гораздо рѣзче выразилось самымъ фактомъ войны, а вовторыхъ—титулъ здѣсь ровно ничего не значитъ: Черногорія независима, хотя Николай — черногорскій князь, а не король, а короли—вассалы тоже бывали. Говорятъ: королевскій титулъ долженъ былъ воодушевить сербовъ, напомнивъ имъ славное прошлое. Но если сербы вос-

пѣваютъ даже донинѣ своихъ старыхъ королей и царей, такъ за то, что они водили ихъ къ побѣдамъ и дѣлили съ ними ужасы пораженія, а князь Миланъ не подъѣзжалъ къ мѣсту сраженія даже на пушечный выстрѣлъ. Да и была ли какая-нибудь надобность напоминать сербамъ прошлое? Они даже слишкомъ хорошо его помнятъ, судя по ихъ отношеніямъ къ несчастнымъ болгарамъ. Нѣкоторыя русскія газеты, надо отдать имъ справедливость, обнаружили въ этомъ случаѣ рѣдкій и совершенно безкорыстный, хотя и безпричинный энтузіазмъ. Корреспондентъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», вдохновившись картинностью момента провозглашенія, радуется, что какъ ни какъ, а это — прецедентъ, на который Миланъ можетъ впоследствии опереться. Впоследствии, т. е. когда минетъ уже всякая, даже мнимая надобность въ объявленіи вассальныхъ отношеній Сербіи прекращенными. Корреспонденту ужасно хочется, чтобы хотя когда-нибудь, если не теперь, маленькій князь превратился въ небольшого короля. Почему? Потому, что корреспондентъ привыкъ утсвовать на тему «величія страны» и «мощи націи», не раздумывая о смыслѣ этихъ словъ.

Одно только изъ подобныхъ предательскихъ по своей двухтрехъ и болѣе смысленности выраженій, благодаря событіямъ, отчасти развернулось передъ нашимъ пониманіемъ. Это — «помощь Россіи». До послѣдняго времени частная, общественная помощь славянамъ была чисто кружковая и ограничивалась жалкою дѣятельностью славянскихъ благотворительныхъ комитетовъ и наставленіями славянофиловъ въ родѣ извѣстнаго хомяковского посланія—наставленіями, можетъ быть и превосходными, но изъ которыхъ шубы не сошьешь. Если что и сдѣлано славянамъ побольше, такъ это была помощь русскаго правительства, а не общества. Тѣмъ не менѣе, какъ славяне возлагали надежды на «помощь Россіи» вообще, такъ и мы не пытались разлагать эту помощь на составные элементы. Теперь для насъ съ неожиданною ясностью открылось, что помощь Россіи можетъ быть двоякая, даже троякая. Помощь правительства выражается пока дипломатическими переговорами, но можетъ перейти и въ

болѣе дѣятельную. Рядомъ съ ней и независимо отъ нея, хотя конечно не противъ видовъ правительства, явилась въ небыва-
мыхъ размѣрахъ частная общественная помощь въ видѣ милліо-
новъ рублей и тысячъ волонтеровъ. Но и въ ней обособились
помощь такъ называемаго «общества», образованныхъ клас-
совъ, и помощь темной массы народа. Повидимому деньги,
жертвуемая народомъ и обществомъ, совершенно одинаковы,
такъ же какъ и выставляемые ими волонтеры. Тѣмъ не менѣе всѣ
сознають, что тутъ есть какая-то разниа. Объ этомъ впрочемъ—
потомъ. Во всякомъ случаѣ выяснилась возможность частной,
приватной помощи Россіи. Но, такъ какъ просіяніе мысли про-
изошло только на одномъ этомъ пунктѣ, да и то неполное, то
и тутъ не обошлось безъ спекуляцій, быть можетъ наиболѣе
прискорбныхъ. Самымъ грубымъ образомъ это выразилось въ по-
веденіи нѣкоторыхъ русскихъ волонтеровъ въ Сербіи, рѣчи ко-
торыхъ одинъ фельетонистъ (не безъ сочувствія къ размашисто-
сти «русской души») передаетъ такъ: «Напредъ! чортовы сыны
и таковскія дѣти. Вина! Я пріѣхалъ кровь свою проливать».
Эта сволочь хочетъ, на пути къ освобожденію славянъ, напиться
на сербскій счетъ. Они тоже умствуютъ, а не просто «выгнать
турку» являются. Боже меня избави отъ обобщенія этого по-
зорнаго явленія. Но и это — фактъ, котораго нельзя снять со
счетовъ. Кромѣ того въ постыдномъ поведеніи нѣкоторыхъ рус-
скихъ волонтеровъ отразилось, какъ въ мутной водѣ, все-таки
такое настроеніе, которому нечужды и несравненно болѣе по-
рядочные люди. Тотъ же фельетонистъ, рассказавъ какъ рус-
скіе бьютъ болгарскихъ волонтеровъ, умствуетъ уже отъ себя
такъ: «Тотъ же русскій офицеръ, который побилъ волонтера,
первый за него подставить лобъ и навѣрное ляжетъ въ пер-
выхъ рядахъ. Нѣкоторая грубость въ насъ несомнѣнно есть, но
это—грубость на хорошей подкладкѣ. Мы пришли положить
спасать своего брата-славянина и вдругъ видимъ, что брать-
славянинъ не хочетъ, чтобы его спасали. Мы его въ зубы!—и
все-таки потомъ спасаемъ». Омерзительно! Омерзительна эта

способность любоваться на себя даже въ минуту совершенія гнуснаго поступка, эта неудержимая склонность къ самохвальству...

Всякая помощь есть извѣстное доброжелательное отношеніе сильнаго къ слабому. Но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, что помогающій сильнѣе того, кому помогаетъ, во всѣхъ рѣшительно отношеніяхъ, въ которыя можетъ стать къ нему. Не смотря на всю свою силу въ одномъ какомъ-нибудь смыслѣ, онъ можетъ быть убогъ во всѣхъ другихъ. Наше прошлое не приучило насъ къ такому анализу нашихъ силъ и слабостей. Россія есть великая держава, голосъ которой имѣетъ громадный вѣсъ въ европейскомъ ареопагѣ, потому что она можетъ выставить милліоны штыковъ и ту храбрость, то умѣнье умирать своихъ подданныхъ, которыя теперь такъ блистательно развертываются въ сербско-турецкой войнѣ. Эта сила Россіи, какъ великой державы, составляетъ одинъ изъ немногихъ исполнѣ несомнѣнныхъ, непрекаемыхъ результатовъ нашей исторіи. Своею почти исключительною несомнѣнностью онъ затмѣваетъ вопросъ о силахъ Россіи въ другихъ отношеніяхъ—силахъ, которыя имѣли мало возможности обнаружиться. Благодаря этому, мы, образованные русскіе люди, имѣемъ склонность расширять понятіе о силѣ Россіи, какъ цѣлаго, и о различныхъ превосходствахъ русскихъ людей, преимущественно насъ самихъ. Если эта склонность существовала всегда и прежде, то теперь, когда мы дѣйствительно обнаружили нѣкоторую силу, когда наши кровные и близкіе добровольно умираютъ за правое и великое дѣло, а сами мы, воодушевленные хорошимъ чувствомъ, даемъ сравнительно большія деньги—теперь эта склонность еще обострилась. Мы помогаемъ—это несомнѣнно, помогаемъ самымъ осязательнымъ образомъ, потому что даемъ способнаго генерала, храбрыхъ волонтеровъ, деньги, докторовъ, наконецъ моральный фактъ сочувствія, значеніе котораго трудно взвѣсить, но оно во всякомъ случаѣ велико. Это такъ неожиданно для насъ самихъ, что ослѣпляетъ. Мы помогаемъ, значить мы—сила. Мы такъ богаты, что, по увѣренію одного корреспондента, сербы смѣло могутъ вмѣсто пуль стрѣлять въ турокъ серебряными цѣлковыми, потому что Россія при-

шлетъ ихъ сколько угодно. Мы такъ превосходны, что даже наша кулачная расправа подбита «хорошей подкладкой». Мы такъ превосходны, что должны слѣдовать во всѣхъ сферахъ дѣятельности непремѣнно самобытному національному направленію. Мы такъ велики, что, по увѣренію «Современныхъ Извѣстій», «одинъ видъ присланныхъ изъ Россіи сапогъ производитъ на турокъ панической страхъ». Мы такъ богаты знаніемъ, что «Недѣля» смѣло можетъ не появляться съ кружкой съ надписью: «на народное образованіе» — мы все равно ничего не положимъ... Ну, а за превосходство требуется разумѣется вознагражденіе. Кто требуетъ титула спасителя и дароваго вина, кто — Константинополя, кто — гегемоніи Россіи, кто — права рѣшать судьбу народовъ и провозглашать королей, кто — удостовѣренія въ высокихъ качествахъ ума и сердца, кто — сочувствія даже «чиновника совѣтъ посторонняго вѣдомства», въ родѣ финна.

А между тѣмъ нужно только «выгнать турку». Когда я вижу юношу-волонтера, принимающаго передъ собравшеюся въ вокзалѣ публикой красивыя, молодцоватыя позы, то даже и эту маленькую, невинную и конечно вполне простительную спекуляцію нахожу совершенно ненужною. Къ чему? Онъ ѣдетъ на такое великое дѣло, что любовь женщинъ, для которыхъ конечно только и стоитъ принимать красивыя позы, пойдетъ въ придачу.

Есть конечно и исключенія. Есть сухіе доктринеры, заставшіе въ той или другой мертвой формулѣ и ради нея скептически относящіеся къ живому дѣлу. Это большею частью — либералы, затвердившіе отрицательное отношеніе къ «военному подвигу», какъ кто-то изъ нихъ выразился, и ту въ основаніи своею совершенно справедливую фразу, что внутреннія дѣла должны примирять надъ внѣшними. Они забываютъ, что военный подвигъ — военному подвигу рознь и что самый крупный фактъ нашей внутренней жизни есть въ настоящее время фактъ возбужденія сочувствія къ угнетенному люду. Нѣкоторые боятся замарать руки о тѣ некрасивыя осложненія этого возбужденія, которыя я называю спекуляціей. Они некрасивы — это правда: они подчасъ отвратительны: они могутъ въ ближайшемъ будущемъ,

хотя и временно, тяжело отозваться на насъ самихъ, образованныхъ русскихъ людяхъ, умствующихъ и спекулирующихъ. Но не говоря уже о томъ, что это будетъ кара по заслугамъ, отъ этого нисколько не мѣняется положеніе славянскаго вопроса. Чьими бы руками ни было свержено турецкое владычество, хотя бы руками пьяной сволочи, радикальное рѣшеніе славянскаго вопроса останется великимъ событіемъ, долженствующимъ отразиться (и конечно не къ худу) на социальной физиономіи Европы. Если читатель скажетъ, что и это—умствование, спекуляція, такъ я отвѣчу, что я вовсе не предлагаю отказаться отъ попытки угадать грядущія событія. Я говорю только, что умствованія не должны быть вводимы съ самое дѣло, что не слѣдуетъ добиваться какихъ-нибудь побочныхъ результатовъ, лежащихъ на пути къ освобожденію славянъ или совсѣмъ внѣ этого пути стоящихъ. Еслибы было доказано, что предположеніе о вліяніи сверженія турецкаго владычества на европейскія дѣла ошибочно, то все-таки стоитъ потрудиться надъ уборкой козыней, на которые сажаютъ людей, и крестовъ, на которыхъ ихъ распинаютъ.

Есть и другого рода исключенія. Есть люди, столько же, какъ и сухіе либералы, гнушающіеся спекуляціей, но все-таки умирающіе не хуже того кулачнаго бойца, который, отдувъ болгарина, подставляетъ за него потомъ лобъ. Не эти люди къ несчастію окрашиваютъ собой движеніе нашего общества, хотя можно было надѣяться, что они будутъ замѣтнѣе хоть въ литературѣ. Зато возбужденіе «народа» вполне соответствуетъ высотѣ задачи. Это возбужденіе по истинѣ поразительно и всѣми нашими публицистами отмѣчено, какъ таковое. Какъ могло оно зародиться и принять такіе неожиданные размѣры? Присматриваясь къ этому явленію, заслуживающему самаго внимательнаго изученія, даже въ чисто научномъ смыслѣ, какъ социологическій фактъ, одни называли на него свои грошевыя измышленія — мы видѣли, какъ провалилась на этомъ «Недѣля», полагающая, что возбужденіе *народа* зависитъ отъ особеннаго настроенія *интеллигенціи*; другіе, отмѣтивъ безсознательность, стихійность движенія, ставили его въ этомъ смыслѣ ниже сознательнаго возбужденія об-

щества. Трудно еще теперь обнять этот фактъ во всей его обширности. Знаю одно: цѣнить народное движеніе ниже движенія нашей интеллигенціи значить грѣшить противъ очевидности. Конечно народъ имѣетъ до послѣдней степени смутное понятіе о славянскихъ дѣлахъ, такъ что едва различаетъ ихъ сквозь дымку своего невѣжества, а мы все-таки кое-что знаемъ. Но, по какимъ бы то ни было причинамъ, по невѣжеству ли народа, по серьезности ли его, выработанной привычкой къ труду и неволяющей отклоняться отъ разъ сознанный цѣли въ стороны, по элементарности ли предстоящей задачи, можетъ быть по всѣмъ этимъ причинамъ вмѣстѣ, эта задача и этотъ народъ оказываются какъ бы созданными другъ для друга. Донской казакъ, самарскій мужикъ, приказчикъ изъ зеленой лавки андреевскаго рынка, уѣхавшіе воюонтерами въ Сербію и бросившіе для этого домъ и семью, старуха, занимающая трешникъ на славянъ, молодлица, снимающая съ себя съ тою же цѣлью платокъ — весь этотъ темный людъ не спекулируетъ, не играетъ «величьемъ страны» и «интересами націи»: ни словъ у нихъ такихъ нѣтъ, ни понятій. Но зато, если добиться у нихъ словеснаго выраженія цѣли, ради которой они ѣдутъ умирать и занимаютъ трешники, они выразятъ ее какъ разъ тѣми словами, которыми характеризовалъ Шубинъ дѣло Инсарева и которыя, какъ мы видѣли, дѣйствительно формулируютъ весь вопросъ: «выгнать турку». Допустимъ, что это—совпаденіе чисто случайное. Я боюсь придавать ему большее значеніе, боюсь, чтобы потомъ не разочароваться, потому что, повторяю, не умѣю обнять фактъ во всей его обширности. Но во всякомъ случаѣ совпаденіе — налицо, а его нѣтъ для интеллигенціи, желающей «ославянить» финновъ, хлопчущей о самобытности, о Константинополѣ, о Сербскомъ королевствѣ и о разномъ прочемъ. Безъ сомнѣнія толчокъ народному возбужденію дается преимущественно религіей — священникъ проповѣдь сказалъ. Къ этому прибавляется еще смутная, традиціонная нелюбовь къ турку. Двигатели интеллигенціи несравненно многообразнѣе. Но вопросъ не столько въ толчокѣ, сколько въ чувствахъ, имъ возбужденныхъ, не въ фор-

мѣ, а въ содержаніи. Содержаніе народнаго возбужденія составляютъ сочувствіе къ страждущему и ненависть къ угнетателю. Содержаніе возбужденія интеллигенціи—то же самое, но оно разбавлено водой политическихъ умствованій, разбавлено до такой степени, что его и разсмотрѣть трудно, потому что съ точки зрѣнія интеллигенціи угнетатель можетъ оказаться заслуживающимъ уваженія въ качествѣ великаго историческаго дѣятеля. Оттого народъ находится на высотѣ событій, интеллигенція — ниже ихъ.

XXIV *).

Россія и Европа.

Замѣчено уже, что послѣднія восточныя событія застали насъ врасплохъ. Мы во всѣхъ смыслахъ оказались неприготовленными къ ихъ пониманію, къ воздѣйствію на нихъ, даже просто къ ясному представленію себѣ дѣла. Намъ зачѣмъ-то увѣрили, и мы почему-то повѣрили, что славяне, какъ славяне, какъ родственныя намъ племена, близки нашему сердцу, дороги намъ. Мы отпраздновали по этому случаю именины сердца, не собственныя и вообще не какихъ-нибудь опредѣленныхъ, живыхъ людей, имена которыхъ извѣстны и могутъ быть найдены въ святцахъ, а дѣйствительно именины сердца, то-есть какое-то туманно-сентиментальное, безпредметное торжество, ничто въ родѣ поклоненія древнему «невѣдомому богу». Мы обнаружили такое политическое невѣжество или, вѣрнѣе сказать, политическую невоспитанность, которая выдавалась еще рѣзче въ виду важности событій. Эта невоспитанность сказалась какъ въ Петербургѣ, такъ и въ Сербіи, какъ въ газетныхъ передовыхъ статьяхъ и фельетонахъ, такъ и въ поведеніи добровольцевъ. о которомъ все больше и больше доносятся скверныя вѣсти

*) 1877. январь.

и которое, если только хоть половина мрачныхъ слуховъ справедлива, способно навсегда покончить иллюзіи славянъ насчетъ «русскаго имени». Въ этомъ конечно еще бѣды большой нѣтъ: зачѣмъ держать въ невѣдѣніи этихъ наивныхъ болгаръ и сербовъ? зачѣмъ поддерживать тотъ миражъ, который они создали себѣ, глядя на насъ издали! Вотъ мы каковы; смѣтрите на насъ, вложите пальцы въ наши раны и ждите отъ насъ только того, что мы въ состояніи дать; вотъ мы передъ вами нагишомъ, какъ насъ мать, «матушка Русь», родила...

Обидно и больно, потому что могло бы быть иначе, лучше, хоть я ни на минуту не жалѣю о томъ, что сербы узнали часть правды.

Удивляться нашей политической невоспитанности нечего; не кого и винить пожалуй. Можно ли въ самомъ дѣлѣ винить въ ней того необузданнаго добровольца, который кулаками расправлялся съ братьями-сербамъ и болгарамъ? или того другого, который отличался избіеніемъ проститутокъ? или того третьяго, который былъ безъ просыпа пьянъ всю кампанію? Ничего иного они и дома не дѣлали, а подъ свалившеюся на нихъ съ неба ролью «спасителей» они естественно должны были одурѣть окончательно. Въ своей наивности они можетъ быть даже думали, что поддерживаютъ честь и достоинство русскаго имени предъявленіемъ громадныхъ кулаковъ и желудковъ, способныхъ вмѣщать невѣроятное для серба количество водки и вина! Можно ли удивляться политической невоспитанности г. Суворина, этого добровольца славянофильства, когда роль общественнаго руководителя въ тревожную и важную минуту свалилась на него такъ же съ неба, такъ же внезапно, какъ и роль спасителя на пропойцу и рыцаря кулака? Подумайте только объ этой превратности судебъ. Человѣкъ, бывшій вчера обыкновеннѣйшимъ пьяницей и дантистомъ, сегодня исправляетъ должность спасителя угнетенныхъ! Газета, которая еще вчера зазывала къ себѣ подписчиковъ пикантнымъ романомъ съ раздѣтыми коготками и тайнами ихъ будуаровъ, ея издатель, прославившійся сколько талантливою игривостію своего остроумія, столько же непостоян-

S. Suvorin

ствомъ своихъ убѣжденій и до сихъ поръ извѣстный скорѣе своимъ пренебреженіемъ, чѣмъ сочувствіемъ къ «славянской идее»,—эта газета и этотъ издатель становятся вдругъ руководителями великодушной общественной симпатіи! Изъ горчичнаго зерна, что бы ни говорилъ г. Спасовичъ, вырастетъ не дубъ, а горчица. Винить весь этотъ людъ, претендовать на него, негодовать можно развѣ только по свойственной человѣческой природѣ склонности къ идолопоклонству и слѣдовательно иконоборчеству. Такъ ужъ устроенъ человѣкъ, что ему необходимо сорвать недоброе чувство на комъ-нибудь, на личности, хоть дѣло совсѣмъ не въ ней, а въ тѣхъ общихъ условіяхъ, которыя ее выдвинули. Да не подумаетъ однако читатель, чтобы я повелъ рѣчь объ этихъ общихъ условіяхъ. Я только къ тому, что какъ въ самомъ дѣлѣ странно сложились обстоятельства, странно и совершенно неожиданно! Представимъ себѣ, что года два тому назадъ напелся бы такой мудрецъ, который предвидѣлъ бы все это разрастаніе маленькаго и вначалѣ почти безнадежнаго герцеговинскаго возстанія. Очень трудно конечно вообще допустить возможность такого мудреца, но нѣкоторыхъ подробностей, и не маловажныхъ, онъ, будь онъ хоть семи пядей во лбу, ни за что не предсказалъ бы, даже еслибы ему въ общихъ чертахъ извѣстно было, что вотъ молъ вступятся въ дѣло Сербія и Черногорія, пойдетъ рѣзня въ Болгаріи, потекутъ такіе ли, сякіе ли добровольцы изъ Россіи, переполнятся газеты славянолюбивыми статьями и проч. Можно напримѣръ голову прозакладывать, что мудрецъ предсказалъ бы при этихъ общихъ условіяхъ необыкновенное развитіе и процвѣтаніе славянофильской литературы. Казалось бы, что мы переживаемъ (вѣрнѣе, пережили) минуту необыкновенно для этого удобную. Славянофилы представляли собою уединенную, но сплоченную, твердую единствомъ и силою убѣжденія кучку людей, даже въ такія времена, когда на нихъ косо смотрѣли и сверху, и снизу, и съ правой, и лѣвой стороны. Теперь—не то. Теперь-то бы имъ и развернуться, потому что и общественныя симпатіи, и высшая политика сложились точно по ихъ заказу. Почему же

мы не видимъ славянофильскихъ газетъ, славянофильскихъ книгъ, брошюръ, которыя бы освѣщали съ своей точки зрѣнія событія? Я говорю конечно о настоящихъ славянофилахъ, о регулярной арміи славянофильства, а не о его добровольцахъ, которыхъ можетъ быть даже черезчуръ много, или по крайней мѣрѣ черезчуръ они дѣзутъ въ глаза. Правда, г. Владиміръ Ламанскій недавно началъ печатать въ «Новомъ Времени» рядъ статей; но пока онѣ представляютъ не болѣе какъ «взглядъ и пѣчто», да и то газета, пріютившая ихъ, сочла нужнымъ замѣтить, что конечно съ авторомъ можно не соглашаться, но должно признаться, что онъ—славистъ. Это впрочемъ мы и безъ примѣчаній знали. Правда, гг. Градовскій, Мещерскій, Миллеръ, болѣе или менѣе прикосновенные къ славянофильству, довольно дѣятельны и даже ведутъ изъ глубокой глубины русскихъ газетъ переписку съ высокопоставленными англійскими политическими дѣятелями. Но въпервыхъ это—далеко не чистые и не первостепенные представители доктрины; вовторыхъ они все-таки не представили чего-нибудь вѣскаго и цѣльнаго; втретьихъ наконецъ они оказались несравненно менѣе ярки, чѣмъ напримѣръ г. Суворинъ. И это достойно вниманія. Г. Суворинъ есть homo pocius въ дѣлѣ сочувствія славянамъ, горячій, но неопытный доброволецъ. Онъ, нынѣ такъ настойчиво утверждающій, что славянскій вопросъ есть нашъ внутренній вопросъ, держался еще очень недавно совершенно противоположнаго мнѣнія, которое и высказывалъ, если не съ такимъ благоговѣйно-торжественнымъ энтузіазмомъ, какимъ горитъ нынѣ, за то съ болѣе свойственною ему остроумною игривостью. Весьма возможно, что онъ завтра же оттреплеть «славянскую идею» за волосы и даже не просто оттреплеть, а съ игривыми прибаутками въ такомъ напримѣръ родѣ: «трепать-то я тебя треплю, а собственно и трепать не за что, потому что ты безволосая, чауве, откуда и шовинизмъ и т. п.» Онъ ужъ знаетъ, какъ это устроить, и не мнѣ его учить. Это очень вѣроятно, потому что я помню въ дѣятельности г. Суворина радикальнѣйшія революціи на маломъ пространствѣ отъ одного воскреснаго фелье-

тона до другого. Отнюдь не для какихъ-нибудь инкриминацій вспоминаю я эти революціи—быль молодцу не укоръ—я только отмѣчаю фактъ, право поразительный: славянскій вопросъ достигаетъ страшнаго напряженія, и въ это время славянофилы молчатъ, а г. Суворинъ и другіе, которые, какъ выразился о себѣ въ славянскомъ комитетѣ г. де-Воланъ, «имѣли великое счастье увѣровать въ идею славянства» вчера или третьяго дня, исправляютъ должность славянофиловъ. А, Боже мой! кто ея нынѣ не исправляетъ! Даже г. Скалковскій, и тотъ горитъ славянскимъ пламенемъ столь же ярко, какъ еще недавно горѣлъ пламенемъ, смѣю сказать, безстыжимъ въ трактатахъ объakraхъ балетныхъ танцовщицъ. А настоящихъ славянофиловъ—тѣхъ, такъ сказать, въ молитвахъ поминають. Почтенные молъ были люди, и честь имъ и хвала. Какъ *были*? Да развѣ они всѣ перемерли и прямыхъ наслѣдниковъ не оставили? Нѣтъ, они существуютъ, но молчатъ, а наслѣдниковъ должно быть и вправду не оставили. Чтô бы ни говорили о возрожденіи «славянской идеи», давно уже дескать предуказанной и разъясненной славянофилами, но ихъ теперешнее отсутствіе хотя бы на полѣ литературной битвы показываетъ, что они сданы въ архивъ. Не торжество, а паденіе славянофильства знаменуетъ этотъ размѣнъ на мелкую, да еще фальшивую монету. Налицо всѣ шансы для того, чтобы славянофилы отпраздновали свои именины (именно свои, а не сердца), а имъ покутъ не за здравіе, а за упокой, съ почтеніемъ, съ неожиданнымъ энтузіазмомъ, если хотите, но все-таки за упокой.

Прямо скажу—я не жалѣю объ этой смерти. Но все-таки прискорбно, что мы не имѣемъ возможности именно теперь, въ минуту настоящаго дѣла, а не отвлеченныхъ разсужденій и парадныхъ обѣдовъ съ тостами за процвѣтаніе славянъ, выслушать мнѣнія славянофиловъ. Номо *novus* славянофильства можетъ быть очень занимателенъ; люди, «имѣвшіе великое счастье увѣровать въ идею славянства» безъ году недѣлю тому назадъ, могутъ обладать чрезвычайно почтенными качествами. И да будутъ они за это дѣйствительно счастливы, и да получать на

придачу таковскій крестъ или кучу подписчиковъ. Но несравненно поучительнѣе было бы выслушать мнѣнія людей, которые созданы не настоящей только минутой, которые давно уже, при болѣе спокойныхъ обстоятельствахъ выработали извѣстную точку зрѣнія и которыхъ слѣдовательно текущія событія не могли бы застать врасплохъ. А между тѣмъ ихъ-то и не слыхати.

Это ставить нашего брата, профана, въ очень затруднительное положеніе. Взять хоть бы поставленный у меня въ заголовкѣ вопросъ. Одни говорятъ, что славянскій вопросъ есть нашъ внутренний вопросъ, другіе, что онъ—внѣшній. Послѣднихъ понять нетрудно. Взглянувъ на географическую карту или даже не взглянувъ на нее—ибо они ее и безъ того хорошо знаютъ—они указываютъ на границу Россійской Имперіи. Это рѣшеніе очень простое и понятное, до такой степени простое и понятное, что, будь оно въ придачу къ этимъ качествамъ еще вѣрно, справедливо, то противоположное мнѣніе не могло бы существовать ни единой минуты. Однако оно существуетъ и держится, несмотря даже на отсутствіе вполнѣ солидныхъ, специальныхъ защитниковъ. Естественно поэтому въ профанѣ желаніе ознакомиться съ аргументаціей болѣе сильной, основательной, охватывающей предметъ во всей его обширности. Обыкновенный нашъ ресурсъ—иностранная литература—въ этомъ случаѣ понятно помочь не въ силахъ, и единственнымъ источникомъ для ознакомленія съ доводами въ пользу «внутренности» славянскаго вопроса остается старая славянофильская литература.

По многимъ однако причинамъ я выбираю для собесѣдованія съ читателемъ сочиненіе далеко не старое, хотя и неизмѣнное въ виду текущихъ событій, именно — «Россію и Европу» г. Данилевскаго. Не даромъ объ этой пятигодовой книгѣ недавно вновь появились объявленія въ газетахъ. Не даромъ въ Харьковѣ профессоръ Потебня читалъ объ ней публичныя лекціи. Не даромъ нѣкоторыя газеты ссылались на нее, какъ на сочиненіе, содержащее въ себѣ разрѣшеніе славянскаго вопроса. Мудрено дѣйствительно найти книгу, которая представляла бы болѣе полный и обстоятельный итогъ извѣстнаго оттѣнка мнѣ-

ній, какихъ?—это ясно видно изъ слѣдующаго положенія автора: «Для всякаго славянина: русскаго, чеха, серба, хорвата, словенца, словака, болгара (желалъ бы прибавить и поляка), послѣ Бога и Его святой церкви, идея славянства должна быть высшей идеей, выше свободы, выше науки, выше просвѣщенія, выше всякаго земнаго блага, ибо ни одно изъ нихъ для него недостижимо безъ ея осуществленія—безъ духовно, народно и политически самобытнаго славянства; а напротивъ того всѣ эти блага будутъ необходимыми послѣдствіями этой независимости и самобытности» (132). Читатель сразу видитъ, что мы имѣемъ дѣло съ человѣкомъ, рѣшительно признающимъ славянский вопросъ нашимъ внутреннимъ вопросомъ. Если прибавить, что это—человѣкъ очень умный, ученый, разносторонній, что, благодаря разнѣрамъ книги, специально посвященной занимающему насъ предмету (почти 35 печатныхъ листовъ), онъ могъ исчерпать его до дна—то станетъ понятнымъ, почему я обращаюсь за разрѣшеніемъ своихъ сомнѣній къ г. Данилевскому, а не къ текущей газетной печати. Самыя уклоненія г. Данилевскаго отъ чистаго славянофильства дѣлаютъ его книгу особенно для насъ въ этомъ случаѣ пригодною: г. Данилевскій не питаетъ неависти къ Петру и не путается въ гегеліанской диалектикѣ.

Въ трудѣ г. Данилевскаго есть немало страницъ, на которыхъ говорится о преимуществѣ православія передъ католичествомъ и протестантствомъ и о другихъ чисто богословскихъ вопросахъ. Ихъ я касаться не буду, потому что въ концѣ концовъ въ области богословія нѣтъ мѣста ни сомнѣніямъ, ни доказательствамъ. Г. Данилевскій самъ конечно это понимаетъ и даже оговариваетъ. Тѣмъ не менѣе онъ и въ этой области не ограничивается свойственнымъ предмету чисто догматическимъ изложеніемъ: онъ и здѣсь тщательно и пространно аргументируетъ, доказываетъ, изслѣдуетъ, испытуетъ, по скольку разумѣется это возможно для вполне вѣрующаго православнаго. Г. Данилевскій, независимо отъ своихъ убѣжденій, есть по складу своего ума писатель чисто свѣтскій, стремящійся произвести на читателя логическое давленіе. Даже вѣрованія, которыя, по са-

мой сущности своей, стоять не выше или ниже логики, а просто вѣ ея, онъ стремится подкрѣпить доказательствами. Тѣмъ съ большимъ интересомъ слѣдуетъ въ виду этого его качества отнестись къ свѣтской части его труда, которая притомъ несравненно обширнѣе. И дѣйствительно на первый взглядъ г. Данилевскій поражаетъ, даже утомляетъ своей доказательностью. Каждое свое даже второстепенное положеніе онъ составляетъ массой аргументовъ, почерпаемыхъ имъ, благодаря обширной и разносторонней эрудиціи, изъ весьма различныхъ сферъ знанія. Въ этомъ отношеніи его манера аргументаціи сильно напоминаетъ Спенсера. Сходство увеличивается еще рѣдкимъ спокойствіемъ изложенія, а также тѣмъ обстоятельствомъ, что центръ тяжести аргументаціи падаетъ на сравненія, метафоры, аналогіи. Въ этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ заключается и сильная, и слабая сторона г. Данилевскаго. Я не сомнѣваюсь, что на многихъ доводы г. Данилевскаго должны дѣйствовать съ извѣстною обаятельностью, даже въ тѣхъ сравнительно многочисленныхъ случаяхъ, когда онъ рѣшительно неправъ или по крайней мѣрѣ рѣшительно одностороненъ. Такова счастливая судьба всѣхъ писателей, широко пользующихся метафорами, сравненіями и аналогіями, которыя, будучи собственно говоря вовсе не доказательствами, не имѣя ровно никакой доказательной силы, дѣйствуютъ только успокоительнымъ, усыпляющимъ образомъ на критическую пытливость читателя. Требуется доказать извѣстное положеніе. Одинъ писатель приступаетъ къ задачѣ прямо, заставляя умъ читателя пройти возможно короткій логическій путь; благодаря этой краткости пути, ошибки писателя, въ чемъ бы онѣ ни состояли, легко могутъ обнаружиться даже для неопытнаго читателя. Другой избираетъ путь окольный и уподобляется Баяну, который «еще кому хотяше пѣснь творити, растекашется мыслію по древу, сѣрымъ волкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы». Г. Данилевскій почти буквально слѣдуетъ примѣру вѣщаго Баяна. Намѣтивъ извѣстное положеніе, какъ требующее доказательствъ, онъ ищетъ въ разныхъ отрасляхъ знанія случаевъ аналогическихъ,

болѣе или менѣе подходящихъ, хотя бы самымъ вѣрнымъ, поверхностнымъ образомъ; для этого онъ растекается мыслию по древу (отправляется въ ботанику), рыщетъ сѣрымъ волкомъ по землѣ (по геологiи и по исторiи), летаетъ сизымъ орломъ не только подъ, но и надъ облаками (въ области астрономiи) и группируетъ такимъ путемъ массу образовъ, болѣе или менѣе знакомыхъ читателю и потому мало способныхъ расшевелить его критическую мысль. Немудренно, что при такихъ условiяхъ слабость дѣйствительнаго, настоящаго доказательства не замѣчается читателемъ: видимый авторомъ по разнымъ знакомымъ явлениямъ, онъ такъ привыкаетъ соглашаться съ нимъ, поддакивать ему, что невольно уступаетъ ему и въ той собственно существеннѣйшей части аргументаціи, гдѣ уступать вовсе бы не слѣдовало. Это нисколько не противорѣчитъ тому, что выше было замѣчено о склонности г. Данилевскаго обставлять свои положенiя обильными доказательствами. Я говорю только о формѣ аргументаціи—формѣ, имѣющей свои достоинства и недостатки, но прежде всего легковѣсной, несмотря на всю тяжелую артиллерію разносторонней эрудиціи автора. Не хочу я также сказать, чтобы г. Данилевскій аргументировалъ исключительно этимъ способомъ. Нѣтъ, онъ употребляетъ различные приемы доказательствъ, изъ которыхъ многіе и остроумны, и вѣрны. Но вся совокупность ихъ ведетъ все къ тому же легковѣсному и совершенно незаконному поработанію читателя, побуждаетъ его соглашаться съ авторомъ, не доказывая или плохо доказывая. Дѣло въ томъ, что г. Данилевскій иногда чрезвычайно пространно, съ большимъ остроуміемъ и съ большою эрудиціей доказываетъ такія положенiя, которыя вовсе не требуютъ доказательствъ,—не потому, чтобы они были безспорны; нѣтъ, они просто излишни для цѣлей самого автора. Эта роскошь доказательности, доходящая даже до послѣднихъ предѣловъ расточительности, естественно подкупаетъ читателя, и онъ пропускаетъ безъ вниманiя отсутствіе доказательности тамъ, гдѣ она была бы необходима.

Я приведу примѣры. Г. Данилевскій считаетъ нужнымъ опро-

вергнуть Ретціусово дѣленіе человѣческихъ племенъ на длинно-головыхъ и короткоголовыхъ или собственно не столько самое дѣленіе, сколько тотъ выводъ изъ него, будто славяне принадлежатъ къ племенамъ низшимъ. Кромѣ отношенія продольнаго діаметра головы (отъ лба къ затылку) къ діаметру поперечному, Ретціусъ принимаетъ въ основу своего дѣленія еще другой признакъ, заключающійся въ направленіи переднихъ частей челюстей (зубныхъ отростковъ) и переднихъ зубовъ. Зубные отростки челюстей и зубы могутъ лежать въ вертикальной плоскости, что составляетъ прямочелюстность (*orthognathismus*), или они могутъ имѣть косое, выдавшееся впередъ направленіе—косочелюстность (*prognathismus*). На основаніи этихъ двухъ признаковъ человѣческія племена могутъ быть раздѣлены на четыре отдѣла: длинноголовые прямочелюстные, длинноголовые косочелюстные, короткоголовые прямочелюстные и короткоголовые косочелюстные. Славяне, вмѣстѣ съ литовцами, тюркскими племенами, лапландцами, басками, ретійцами, албанцами и древними этрусками, входятъ въ составъ группы короткоголовыхъ прямочелюстныхъ, между тѣмъ какъ всѣ донинѣ достигшія высокой культуры племена принадлежатъ къ длинноголовымъ. Г. Данилевскій очень основательно замѣчаетъ, что дѣленіе это чисто искусственное. «Здѣсь, говоритъ онъ: — выставляется одно насильзъ проникающее начало, которое, какъ это обыкновенно бываетъ, соединяетъ разнородное и раздѣляетъ сродное въ другихъ отношеніяхъ» (замѣтьте эти прекрасныя слова, читатель). Дѣленіе это не можетъ быть согласовано съ дѣленіемъ по цвѣту кожи, по свойствамъ волосъ, по личному углу и наконецъ съ дѣленіемъ лингвистическимъ. Дѣйствительно лингвистически (да и не только лингвистически) славяне — арійцы, между тѣмъ какъ схема Ретціуса отдѣляетъ ихъ отъ большинства остальныхъ арійцевъ. Изъ этого слѣдуетъ, что взаимное отношеніе продольнаго и поперечнаго діаметровъ головы, хотя и можетъ войти въ число признаковъ, характеризующихъ антропологическія группы, но преобладающаго значенія ему давать нельзя». Кажется — чего лучше? Но г. Данилевскому этого мало. Онъ не только, не жа-

лѣя времени и бумаги, перечисляетъ всѣ племена всѣхъ четырехъ группъ Ретцуса; не только замѣчаетъ при этомъ (совершенно неизвѣстно для чего), что Латамъ называетъ восточныя американскія племена американскими семитами, а перуанцевъ — американскими монголами. Всего этого ему мало. Онъ дѣлаетъ salto mortale, великодушно соглашается признать отвергнутые имъ самимъ признаки за существенные и при помощи разныхъ манипуляцій (преимущественно надъ признакомъ направленія зубовъ) доказываетъ, что и съ этой ложной, односторонней точки зрѣнія можно вывести преимущество славянъ надъ другими племенами. Устраивается этотъ выводъ очень остроумно; но вѣдь онъ вовсе ненуженъ, потому что отвергнуто самое основаніе его. А между тѣмъ въ умѣ читателя безсознательно «до востребованія» закладывается слѣдующее: автору довѣряться можно, потому что онъ — человѣкъ ученый; автору довѣряться можно, потому что онъ столь добросовѣстенъ, что готовъ стать на точку зрѣнія своего противника; автору довѣряться можно, потому что онъ пространно доказываетъ то, что даже вовсе ненужно доказывать. Словомъ — довѣріе, довѣріе и довѣріе; но только довѣріе, а не доказательство чего-либо, дѣйствительно требующаго доказательства.

Иногда г. Данилевскій какъ бы рассказываетъ повѣсть о капитанѣ Копѣйкинѣ, которая, какъ извѣстно, живо заинтересовала и даже почти убѣдила слушателей, но имѣла тотъ недостатокъ, что была совершенно неумѣстна, потому что рассказчикъ забылъ одну маленькую, но существенную подробность: безпопое капитана Копѣйкина. Г. Данилевскій вѣритъ, что все происходящее на землѣ и въ частности въ исторіи человечества имѣетъ извѣстную, свыше указанную цѣль. Но вотъ онъ встрѣчается съ магометанствомъ и, подобно доктору Панглоссу, спрашиваетъ: какой предопредѣленной цѣли удовлетворило это явленіе? Оно кажется ему явленіемъ загадочнымъ, исторической аномаліей. Магометанство «явилось нѣсколько вѣковъ спустя послѣ того, какъ абсолютная и вселенская религіозная истина была уже открыта». Значить, смысла религіознаго прогресса оно

имѣть не можетъ. «Нѣкоторые утверждаютъ», что магометанство, будучи далеко ниже христіанства, болѣе приспособлено къ пылкимъ страстямъ народовъ Востока. Другіе полагаютъ, что магометанство, болѣе легкое для исполненія и болѣе простое для пониманія, должно служить подготовительною ступенію къ христіанству. Г. Данилевскій старательно и пространно опровергаетъ оба эти мнѣнія. Точно также отказывается онъ оправдать появленіе магометанства какими-нибудь заслугами его передъ другими сторонами цивилизаціи, и отказывается не голо-
словно, а опираясь на фактическія данныя. Правда, можно бы было нѣсколько иначе, чѣмъ онъ, отнести къ роли арабовъ въ исторіи европейской науки. Можно было бы именно въ ней усмотрѣть искомую авторомъ предопредѣленную цѣль. Но онъ идетъ мимо и тѣмъ еще болѣе убѣждаетъ читателя, что предъ нимъ писатель, которому довѣриться можно, ибо онъ мужественно и добросовѣстно отказывается отъ легкой добычи, могущей подтвердить его философскіе взгляды. Иной читатель можетъ до такой степени увлечься тщательностью этихъ поисковъ, что и не замѣтитъ малоцѣнности искомаго, не потребуетъ даже доказательствъ основанія поисковъ — внутренней цѣлесообразности историческихъ явленій. Позволю себѣ и я аналогію. Представьте себѣ, что вы входите къ пріятелю и застаёте его, краснаго и мокраго отъ работы, передвигающимъ мебель, шарящимъ по полу, по угламъ, загнѣзающимъ подъ столы и шкафы. Оказывается, что пріятель вашъ, на основаніи нѣкоторыхъ философскихъ соображеній, увѣренъ, что во всякой квартирѣ долженъ находиться грошъ, мѣдная монета въ полкопейки, которую и ищетъ. Пріятель исполняетъ заданную имъ себѣ задачу съ такимъ стараніемъ, такъ озабоченно и трудолюбиво, что и вы невольно начинаете вмѣстѣ съ нимъ загнѣзаться подъ столы и шарить по угламъ. Его поиски дѣйствуютъ на васъ такъ заразительно, что вы забываете задать ему два существенно важные вопроса: во первыхъ — на сколько серьезны основанія его убѣжденія, что въ каждой квартирѣ долженъ находиться грошъ? во вторыхъ — нуженъ ли этотъ грошъ и стоить ли изъ-за него

терять такъ много времени и употреблять столько усилий? Но вотъ грошъ найденъ — и найденъ, надо замѣтить, просто въ карманѣ пріятеля, который только потому и убѣжденъ въ необходимости присутствія гроша, что предварительно нащупалъ его у себя въ карманѣ. Вы готовы однако встрѣтить этотъ грошъ съ нѣкоторою даже радостью, съ распростертыми объятіями, потому что вы во всякомъ случаѣ участвовали въ поискахъ, вытирали колѣнями пыль подъ столомъ и т. п. Найдена г. Данилевскимъ и предопредѣленная цѣль магометанства, какъ историческаго явленія, и найдена тоже въ карманѣ: цѣль эта, чисто служебная, а не самостоятельная, состоитъ, или вѣрнѣе, состояла въ безсознательномъ огражденіи православія и славянства отъ напора латинства и «романо-германскаго» начала. Понимать это слѣдуетъ такъ, что Европа своими культурными и религіозными элементами ассимилировала бы славянство, еслибы на него не положена была тяжкая, леденящая, во въ концѣ концовъ безсильная рука мусульманства. Съ этою-то цѣлью—огражденія славянства и православія — было выкинуто изъ нѣдръ исторіи магометанство! Конечно тутъ есть кое-какіе изъясны, въ родѣ потурченныхъ славянъ, обращенныхъ въ магометанство народовъ Кавказа, распространенія мусульманства въ Индіи, Африкѣ и Испаніи, гдѣ, какъ извѣстно, славянъ не отъ чего было ограждать, потому что ихъ и самихъ тамъ не было. Конечно европейскій историкъ, имѣющій свой собственный предопредѣленный грошъ въ карманѣ, можетъ сказать, что напротивъ вся предопредѣленная роль славянъ состояла въ огражденіи романо-германской цивилизаціи отъ напора мусульманъ. Но ничего этого г. Данилевскій естественно знать не хочетъ. Онъ рисуетъ читателю гипотетическую картину распространенія европейской цивилизаціи въ глубь Востока во время крестовыхъ походовъ. Представьте себѣ—говоритъ онъ — что крестоносцы присоединили Іерусалимъ къ духовнымъ владѣніямъ папъ, что Византія растаяла среди ~~этой~~ образованныхъ феодальныхъ государствъ: православіе и славянство исчезли бы съ лица земли. Г. Данилевскій доказываетъ это съ большимъ увлеченіемъ и

очень резонно. Но тутъ-то и наступаетъ фатальный моментъ повѣсти о капитанѣ Копѣйкинѣ. Конечно гибель православія и славянской національности была бы очень вѣроятна въ случаѣ замѣны Турціи европейскими феодально-католическими организациями. Но вѣдь крестоносцы двинулись на Востокъ только потому, что святые мѣста были въ рукахъ невѣрныхъ мусульманъ. Не будь послѣднихъ, не было бы и крестовыхъ походовъ, а слѣдовательно и подавно той картины гибели славянства и православія, которую только что нарисовалъ г. Данилевскій. Значить, овладѣвъ Іерусалимомъ, магометане не только не охранили славянства и православія отъ напора латинства и романо-германскаго начала, а напротивъ привлекли ихъ въ лицѣ массы крестоносцевъ. Надо отдать справедливость г. Данилевскому, онъ самъ вспоминаетъ о деревянныхъ ногахъ капитана Копѣйкина. Зачѣмъ же было огородъ городить, да еще такой большой? Не зачѣмъ же, чтобы начать сказку сначала и замѣтить: «но еслибы этого (Іерусалима въ рукахъ магометанъ) и не было, развѣ можно сомнѣваться, что завоевательный духъ католицизма не оставилъ бы дряхлѣющей Византіи въ покоѣ?»

Привыкнувъ къ такой роскоши аргументаціи, доходящей до опроверженія того, что вовсе опровергать не нужно, и до доказательствъ того, что доказывать въ такой же мѣрѣ непужно (въ виду собственныхъ цѣлей автора), читатель можетъ пропустить примѣры поразительной бездоказательности. Непосредственно вслѣдъ за вышеприведенной операціей надъ Ретціусовымъ дѣленіемъ человѣческихъ племенъ г. Данилевскій приступаетъ къ опредѣленію «различій въ психическомъ строѣ» Европы и Россіи. Приступаетъ онъ къ этому важному дѣлу повидимому съ чрезвычайною осторожностью. Онъ говоритъ:

«Вѣрно, опредѣлительно схватить и ясно выразить различіе въ психическомъ строѣ разныхъ народностей—весьма трудно. Различія этого рода, какъ между отдѣльными лицами, такъ и между цѣлыми народами, имѣютъ только количественный, а не качественный характеръ. Едва ли возможно найти какую-нибудь черту народнаго характера, которой бы совершенно недоставало другому народу; разница только въ томъ, что въ

одномъ народѣ она встрѣчается чаще, въ другомъ рѣже, въ большинствѣ лицъ одного племени она выражается рѣзко, въ большинствѣ лицъ другого племени слабо; но эти степени, эта частость или рѣдкость числами невыразимы. Такой статистики еще не существуетъ. Потому всякое описаніе народнаго характера будетъ походить на тотъ, ничего неговорящій наборъ эпитетовъ, которымъ въ плохихъ учебникахъ исторіи характеризуютъ историческихъ дѣятелей; потому и выходятъ эти описанія народнаго характера иногда столь различными у разныхъ путешественниковъ, нерѣдко одинаково добросовѣстныхъ и наблюдательныхъ. Одному случилось встрѣтить одни свойства, другому другія; но въ какой пропорціи встрѣчаются они вообще у цѣлаго народа, это по необходимости осталось для обоихъ неизвѣстнымъ, неопредѣленнымъ. Для отысканія такихъ свойствъ, которыя можно было бы считать по истинѣ чертами національнаго характера и притомъ существенно важными, надо избрать иной путь, нежели простая описательная передача частныхъ наблюденій. Если бы намъ удалось найти такіа черты національнаго характера, которыя высказывались бы во всей исторической дѣятельности, во всей исторической жизни сравниваемыхъ народовъ, то задача была бы рѣшена удовлетворительно; ибо, если какая-либо черта народнаго характера проявляется во всей исторіи народа, то необходимо заключить въ-первыхъ, что она есть черта общая всему народу и только по исключенію можетъ не принадлежать тому или другому лицу; во-вторыхъ, что это—черта постоянная, независящая отъ случайныхъ и временныхъ обстоятельствъ того или другого положенія, въ которомъ народъ находится, той или другой степени развитія, черезъ которыя онъ проходитъ; наконецъ въ-третьихъ, что это—черта существенно важная, если могла запечатлѣть собой весь характеръ его исторической дѣятельности. Такую черту вправдѣ мы слѣдовательно принять за нравственный этнографическій признакъ народа, служащій выраженіемъ существенной особенности всего его психическаго строя. *Одна изъ такихъ чертъ, общихъ всемъ народамъ романогерманскаго типа есть—насилъственность (Gewaltſamkeit).* (187).

Я нарочно довелъ прелюдію д. Данилевскаго до подчеркнутыхъ мною строкъ, не отдѣленныхъ отъ необычайно осторожнаго вступленія даже абзадомъ. Авторъ не оставляетъ впрочемъ своей мысли безъ доказательствъ. Онъ посвящаетъ цѣлыя 4 (!) страницы на изложеніе *всей* европейской исторіи, въ результатѣ чего получается разумѣется сплошная насилъственность. Столько же мѣста удѣляетъ авторъ обзору всей русской исторіи, который приводитъ его къ заключенію объ отсутствіи въ ней на-

силъственности. Въ добрый часъ. Но, приглядываясь, вы видите, что въ очеркѣ европейской исторіи упомянута напимѣрь торговля неграми, а въ очеркѣ русской исторіи не упомянуть тотъ фактъ, что русскіе купцы издревле торговали въ Греціи невольниками, не говоря уже о торговлѣ крѣпостными оптомъ и въ розницу. Тамъ перечислены и лѣонскія разстрѣливанія, и нантскія потопленія, а здѣсь ни единымъ словомъ не тревожится память пугачевщины, Стеньки Разина, гайдамачины. Я не буду впрочемъ разсматривать, что именно пропущено авторомъ въ обоихъ очеркахъ исторіи. Читатель самъ понимаетъ, что пропущено должно быть очень многое. И нельзя не пожалѣть, что г. Данилевскій, тратя такъ много времени и силъ на ненужныя операціи надъ Ретціусомъ и магометанствомъ, такъ скуденъ въ доказательствахъ по вопросамъ, несравненно болѣе важнымъ.

Таковъ къ сожалѣнію общій характеръ книги г. Данилевскаго. Я счелъ нужнымъ обратить на это вниманіе читателя, дабы онъ не смущался кажущеюся доказательностью этого сочиненія и съ должнымъ уваженіемъ къ учености автора, но безъ страха приступилъ вмѣстѣ со мною къ провѣркѣ мнѣній г. Данилевскаго о томъ, что славянскій вопросъ есть нашъ внутренній вопросъ. Здѣсь на первомъ планѣ стоитъ ученіе о «культурно-историческихъ типахъ», довольно близкое къ тому, что недавно говорила «Недѣля», но, не смотря на всѣ недостатки автора, несравненно лучше отдѣланное.

Г. Данилевскій—естествоиспытатель, а естествоиспытатель, трактующій о предметахъ наукъ общественныхъ, представляетъ всегда особенный интересъ для профана. И хотя до сихъ поръ огромное большинство экскурсій естествоиспытателей въ область социологіи возбуждало во мнѣ разочарованіе, но я не могу отдѣлаться отъ мысли, что имъ предстоитъ въ этомъ дѣлѣ важная роль. На это существуютъ резоны, слишкомъ глубокіе, чтобы затрогивать ихъ мимоходомъ, и слишкомъ далекіе отъ занимающаго насъ предмета, чтобы излагать ихъ подробно. Во всякомъ случаѣ г. Данилевскій доставилъ мнѣ не одно только разочарованіе.

Исторія копить массу во всёхъ отношеніяхъ чрезвычайно разнообразныхъ фактовъ. Историки располагають ихъ въ извѣстномъ порядкѣ, группируютъ, классифицируютъ. Самая общая группировка состоитъ въ раздѣленіи исторіи на древнюю, среднюю и новую. Спрашивается: удовлетворяетъ ли эта схема требованіямъ логики? Г. Данилевскій полагаетъ, что требованія логики состоятъ въ настоящемъ случаѣ въ слѣдующемъ: 1) принципъ дѣленія долженъ обнимать собою всю сферу дѣлимаго, входя въ нее какъ наисущественнѣйшій признакъ; 2) всѣ предметы или явленія одной группы должны имѣть между собою большую степень сродства или сродства, чѣмъ съ явленіями или съ предметами, отнесенными къ другой группѣ; 3) группы должны быть однородны, то-есть степень сродства, соединяющая ихъ членовъ, должна быть одинакова въ одноименныхъ группахъ. Не трудно видѣть, что требованіямъ этимъ отнюдь не удовлетворяетъ дѣленіе исторіи на древнюю, среднюю и новую, которое Впрочемъ едва ли кѣмъ-нибудь и отстаетъ. Обращаясь къ наукамъ естественнымъ, классификація объектовъ которыхъ разработана несравненно лучше, г. Данилевскій замѣчаетъ, что органическія формы классифицируются на основаніи двухъ принциповъ: типа и степени развитія. Напримѣръ въ кольчатыхъ червяхъ, ракахъ, паукахъ, тысяченожкахъ и насекомыхъ мы имѣемъ различныя степени одного и того же типа членистыхъ. Безъ подобнаго же принципа классификаціи историческихъ явленій, полагаетъ г. Данилевскій, мы никогда не поймемъ исторіи. Школьная исторія соединяетъ въ одну группу такія явленія, какъ напримѣръ Индія, Египетъ и Римъ вплоть до паденія Западной Римской Имперіи, между тѣмъ какъ событіе это не имѣло никакого значенія для Индіи и сравнительно малое для Египта; а Рудольфъ Габсбургскій и императоръ Максимилианъ, султанъ Баязеть и султанъ Солиманъ разнесены въ разныя группы. Государства и народы, занесенные въ древнюю исторію, имѣли каждый свою собственную исторію, проходили различныя степени развитія и нѣкоторые совершили весь кругъ своей жизни задолго до паденія Западной Римской Имперіи, а нѣкоторые

живутъ и поднесъ. Необходимо слѣдовательно различать «культурно-историческіе» типы и тѣ степени, которыя они проходятъ и способны проходить, не преобразуясь въ другой типъ.

Не могу достаточно рекомендовать читателю глубокую важность этого ученія. Не слѣдуетъ однако думать, что, усвоивъ его, проникнувшись имъ, вы сразу получите возможность вполнѣ ориентироваться въ пестрой сѣти историческихъ явленій. Именно примѣръ г. Данилевскаго показываетъ, что за такимъ усвоеніемъ должна слѣдовать еще очень важная, хоть и не Богъ вѣсть какая усиленная работа мысли.

Г. Данилевскій при установленіи разницы между типомъ и степенью развитія ссылагается на Кювье. Думаю, что въ примѣненіи къ органической жизни ученіе это гораздо лучше развито недавно умершимъ, но незабвеннымъ труженикомъ науки, хотя подъ конецъ жизни и неладившимъ съ ея новымъ теченіемъ, — Бэромъ. Но для насъ это здѣсь безразлично. Бэръ, какъ и Кювье, хотя и не столь упорно, видѣлъ въ типахъ органическихъ существъ строго замкнутыя идеальныя единицы, неспособныя переходить одна въ другую и представляющія собою разъ навсегда опредѣленные творческою силою планы, внутри которыхъ только и возможно измѣненіе деталей, подробностей. Той же вѣры держится и г. Данилевскій. Современная наука смотритъ, какъ извѣстно, на дѣло иначе. Все болѣе и болѣе овладѣвающая полемъ науки идея трансформизма (которой Дарвинова теорія есть только частное выраженіе) не признаетъ неподвижности органическихъ типовъ. Они способны измѣняться, переходить одинъ въ другой. Это нисколько однако не колеблетъ возможности и различія типовъ и степеней развитія. Типы не неподвижны, но во всякую данную минуту различимы, какъ различимы быстро текущія степени развитія. До извѣстнаго предѣла измѣненія могутъ накопиться въ органическомъ (и въ культурно-историческомъ) типѣ, переводя его только съ одной степени на другую; но можетъ наконецъ наступить моментъ, когда преобразуется и самый типъ. Сдѣлавъ эту поправку, которую г. Дани-

левскій отринеть, а большинство читателей приметъ, и которая пригодится намъ ниже, пойдемте дальше.

Г. Данилевскій по своему обыкновенію непосредственно вслѣдъ за чрезвычайно осторожнымъ вступленіемъ даетъ очень быстрое и неосторожное приложеніе. Тотчасъ же послѣ разсужденій о томъ, какъ бережно нужно обходиться съ классификаціей историческихъ явленій, онъ объявляетъ: «Культурно-историческіе типы или самобытныя цивилизаціи, расположенныя въ хронологическомъ порядкѣ, суть: 1) египетскій, 2) китайскій, 3) ассирійско-вавилонно - финикійскій, халдейскій или древне - семитическій, 4) индійскій, 5) иранскій, 6) еврейскій, 7) греческій, 8) римскій, 9) ново-семитическій или арабійскій и 10) германо-романскій или европейскій. Къ нимъ можно еще пожалуй причислить два американскіе типа: мексиканскій и перувіанскій, погибшіе насильственной смертію и не успѣвшіе совершить своего развитія» (91). Только эти народы, говоритъ г. Данилевскій, играли положительную роль въ исторіи человѣчества. Остальные или являлись только разрушительнымъ, отрицательнымъ элементомъ и, совершивъ свою миссію, исчезали (гунны, монголы), или составляютъ только этнографическій матеріалъ, разнообразящій и обогащающій тотъ или другой культурно-историческій типъ (финскія племена). Сущность историческаго процесса состоитъ въ томъ, что народы, способные сложиться въ культурно-историческій типъ, послѣдовательно выходятъ на арену исторіи, развивая въ возможно высшей степени особенности своей духовной природы, и затѣмъ изнашиваются, уступаютъ мѣсто новому культурно-историческому типу. Каждый культурно-историческій типъ болѣе или менѣе одностороненъ, а потому было бы величайшимъ несчастіемъ для человѣчества, еслибы все оно подпало рѣшительному вліянію какого-нибудь одного типа. «Общечеловѣческая» цивилизація была бы гибелью человѣчества, еслибы была возможна. Но она невозможна. Другое дѣло—цивилизация «все-человѣческая», представляющая всю совокупность послѣдовательно смѣняющихся другъ друга культурно-историческихъ типовъ и слѣдовательно конкретно несуществующая. Романо-гер-

манскій или европейскій культурно-историческій типъ находится нынѣ на перевалѣ отъ высшей кулъминаціонной точки своего развитія къ упадку. На смѣну ему идетъ очередной славянскій культурно-историческій типъ.

Вотъ въ самыхъ общихъ чертахъ теорія г. Данилевскаго. Изложеніе ея занимаетъ цѣлую объемистую книгу и сопровождается множествомъ побочных или второстепенныхъ мыслей, которыя мы оставимъ въ сторонѣ. Я хотѣлъ бы обратить вниманіе только на одну частность, до такой степени впрочемъ важную и всю книгу проникающую, что г. Данилевскій можетъ быть даже не согласится назвать ее частностью.

Мы видѣли уже образчикъ того, какъ отдѣляется авторъ всю европейскую исторію на четырехъ страницахъ и какъ, на четырехъ же страницахъ, возвеличиваетъ онъ исторію Россіи, не находя въ ней ни сучка, ни задоринки. Это самохвальство, которое намъ такъ дорого стоило и несомнѣнно еще будетъ стоять, достигаетъ у г. Данилевскаго просто невѣроятной для солиднаго труда степени. Надо замѣтить, что въ значительной долѣ этого самохвальства онъ чрезвычайно отсталъ. Онъ все еще толкуетъ о презрѣнніи къ матеріальнымъ интересамъ, о необычайной кротости и смиреніи, насквозь будто бы проникающихъ русскую исторію. Эта штука стара даже съ точки зрѣнія національнаго хвастовства. Новѣйшіе изслѣдователи русской исторіи, гг. Забѣлинъ, Иловайскій, которыхъ конечно никто не упрекнетъ въ недостаткѣ патріотизма или въ «европейскихъ очкахъ» (одно изъ любимыхъ выраженій г. Данилевскаго), не безъ ядовитости и главное не безъ патріотизма подтруниваютъ надъ этой чертой старыхъ историковъ. Они находятъ, что похвальба смиреніемъ, кротостью, отсутствіемъ матеріальныхъ интересовъ, будучи въ сущности весьма мало лестна, вмѣстѣ съ тѣмъ несправедлива; что славяне и въ особенности русскіе издревле славились грабежами и насиліями, за что впрочемъ и винить ихъ нельзя, ибо таково было время. А г. Забѣлинъ вспоминаетъ остроумное замѣчаніе Сенковского: «Исторія или историческая критика суть, такъ сказать, умышленные шахматы, искусная игра

въ факты, въ которой проигрывающіе, то есть читатели, за всякій сдѣланный имъ ловкою діалектикою шахъ и матъ должны платить наличнымъ довѣріемъ». Впрочемъ многія изъ якобы патріотическихъ выходокъ г. Данилевскаго не имѣютъ за собой даже преимуществъ ловкой діалектики. Я приведу одну изъ нихъ, потому что она находится въ непосредственной связи съ его теоріей культурно-историческихъ типовъ.

Съ обычною своею категоричностью и краткостью въ вопросахъ спорныхъ (при тщательности и пространности въ дѣлахъ, спору по какимъ бы то ни было причинамъ подлежащихъ), г. Данилевскій объявляетъ: «Общихъ разрядовъ культурной дѣятельности въ обширномъ смыслѣ слова насчитывается (?) ни болѣе, ни менѣе четырехъ — именно: 1) дѣятельность религіозная, 2) дѣятельность культурная въ тѣсномъ значеніи этого слова (научная, художественная, промышленная), 3) дѣятельность политическая, 4) дѣятельность общественно-экономическая». Затѣмъ разными соображеніями доказывается, что въ древнѣйшихъ культурно-историческихъ типахъ эти четыре основанія находились въ хаотическомъ смѣшеніи. Типъ еврейскій развилъ одно изъ нихъ — дѣятельность религіозную; греческій также одно — дѣятельность культурную, и именно художественную; римскій также одно — дѣятельность политическую. Эти три культурно-историческіе типа характеризуются поэтому именемъ типовъ *одноосновныхъ*. Германо-романскій типъ — *двуосновной*, именно политико-культурный. Наконецъ грядущій славянскій культурно-историческій типъ есть *четыреосновной*, ибо, какъ извѣстно, славяне вообще, а мы, русскіе, въ особенности — молодцы на всѣ руки: и по части религіозности, и по части наукъ и искусствъ, и со стороны политическаго смысла, и со стороны общественно-экономической. Мнѣ стыдно выписывать соображенія, на основаніи которыхъ намъ приписывается такое необъятное или всеобъемлющее богатство. Довольно того, что *одна* картина Иванова (только одну ее г. Данилевскій и признаетъ) играетъ при этомъ чрезвычайно важную роль, а преданность австрійскихъ славянъ австрійскимъ государственнымъ интересамъ, противорѣ-

чащая первымъ требованіямъ автора отъ всякаго славянина, *здесь* засчитывается въ число признаковъ глубокаго политическаго смысла, присущаго славянамъ. Итакъ, хотя исходная точка г. Данилевскаго состоитъ въ-большей или меньшей односторонности каждаго культурно-историческаго типа, но славянскій типъ оказывается всестороннимъ: общихъ разрядовъ культурной дѣятельности «ни болѣе, ни менѣе, какъ четыре», а славянскій культурно-историческій типъ четырехосновой. На это я могу только сказать: подай, Господи!

Г. Данилевскій рѣшительно отрицаетъ возможность «общей теоріи общества» (167). Тѣмъ не менѣе, когда ему нужно доказать, что реформы нынѣшняго царствованія нисколько не заимствованы съ Запада, онъ употребляетъ между прочимъ слѣдующій аргументъ: «Свобода слова не есть право или привилегія политическая, а *право естественное*. Слѣдовательно въ освобожденіи отъ цензуры, по самой сущности дѣла, не можетъ уже быть никакого заимствованія съ Запада, никакого подражанія; ибо иначе и хожденіе на двухъ ногахъ, а не на четверенькахъ, могло бы считаться подражаніемъ кому-нибудь. Сама цензура была результатомъ нашей подражательной жизни — результатомъ, ничѣмъ невызваннымъ: прекращеніе же ея было возстановленіемъ *естественнаго порядка отправленій общественной жизни*» (296). Я не для опѣнки цензуры въ какомъ бы то ни было смыслѣ привелъ эти слова, а только для указанія признаваемаго самимъ авторомъ «естественнаго порядка отправленій общественной жизни», ученіе о которомъ въ старину называлось естественнымъ правомъ, а нынѣ пожалуй могло бы быть названо «общеою теоріею общества», не смотря даже на какофонію. Часть этой теоріи мы даже уже нашли въ ученіи о культурно-историческихъ типахъ, часть весьма важную. Обратимся теперь къ ея дальнѣйшему развитію г. Данилевскимъ.

Спрашивается: почему онъ избралъ именно ту схему исторіи, которая приведена выше, т. е. послѣдовательный рядъ десяти культурно-историческихъ типовъ? Почему именно эти типы должны быть нами приняты, а не какіе-нибудь другіе? Если не всякій

читатель задасть автору этотъ вопросъ, такъ только потому, что онъ (авторъ) впервые выкладываетъ свою схему съ стремительностью и безапелляционностью пушечнаго выстрѣла и вторыхъ противопоставляетъ ее такой дребедени, какъ дѣленіе исторіи на древнюю, среднюю и новую. Схема г. Данилевскаго конечно гораздо лучше, но во многихъ отношеніяхъ стоитъ на той же почвѣ. Г. Данилевскій беретъ въ сущности тѣ же элементы, которыми орудуетъ и школьная исторія въ лицѣ разныхъ руководствъ для среднихъ учебныхъ заведеній: тѣ же смѣшанные, отчасти государственныя, отчасти національныя группы—тотъ же Китай, Вавилонъ, ту же Индію, Грецію, Римъ и проч. Онъ только располагаетъ ихъ иначе. Эта-то общность почвы при несомнѣнныхъ преимуществахъ схемы г. Данилевскаго и создаетъ для читателя такое положеніе, что онъ можетъ пропустить схему безъ критическаго допроса. Но вѣдь серьезно критиковать дѣленіе исторіи на древнюю, среднюю и новую можно только въ планѣ реформы преподаванія исторіи въ гимназіяхъ. Публицисту и социологу съ ней возиться нѣзачѣмъ. Существуютъ другія попытки группировки историческихъ явленій, о которыхъ однако г. Данилевскій не сказалъ ни единого слова. Сдѣлавъ онъ это, я думаю, по тому же инстинкту, который побуждаетъ его громоздить метафоры на аналогіи и тѣмъ, такъ сказать, завоевывать читателя, не давая ему въ сущности ничего или очень мало цѣннаго. Возьми онъ историческія схемы Фихте, Гегеля, Конта или, для болѣе частной области, Луи Блана, Лассалля, весь ходъ его аргументаціи долженъ бы быть совершенно иной, и такъ легко отпраздновать свою побѣду ему не пришлось бы. Еслибы онъ напримѣръ обратился къ исторической теоріи Фихте или Гегеля, то встрѣтилъ бы нѣчто близкое къ своему ученію, въ томъ смыслѣ близкое, что оба эти философа тоже признаютъ необходимость послѣдовательной смѣны цивилизацій, представляющихъ извѣстную частную (одностороннюю) идею, осуществляемую въ каждую эпоху народомъ, стоящимъ во главѣ цивилизаціи. Гегель насчитывалъ четыре такія цивилизаціи: древне-восточную, греческую, римскую и германскую, которую

дескать исторія завершается. Сопоставленіе этой схемы со схемою г. Данилевскаго непремѣнно должно бы было возбудить нѣкоторое сомнѣніе въ читателѣ. Славянинъ Данилевскій заканчиваетъ исторію славянскимъ культурно-историческимъ типомъ, какъ четырехосновнымъ, а нѣмецъ Гегель заканчиваетъ ее германской цивилизаціей, какъ послѣднимъ словомъ саморазвивающагося духа. Поставьте только эти двѣ идеи рядомъ, и всякій хотя бы смутно почувствуетъ, что тутъ что-то неладно. Ну, а съ школьнымъ дѣленіемъ исторіи обойтись можно проще. Или почему г. Данилевскій ничего не сказалъ о законѣ трехъ состояній Конта? Конечно—его добрая воля; но тутъ повидимому дѣло было самое подходящее, потому что хотя Контъ ничего не говоритъ о типахъ и степеняхъ развитія, но напримѣръ его теологическій фазисъ можетъ быть признанъ за типъ, проходящій степени фетишизма, многобожія и единобожія. Но въ полемикѣ съ Контомъ г. Данилевскому пришлось бы представить оправданіе національно-государственнаго характера своихъ культурно-историческихъ типовъ, а онъ предпочитаетъ оставить его незащищеннымъ. Это очень удобно достигается полемикой съ гимназическимъ дѣленіемъ исторіи, которое, какъ уже замѣчено, покоится на той же почвѣ замкнутыхъ національно-государственныхъ единицъ. А читатель во всякомъ случаѣ остается въ убыткѣ. Отсутствіе критики въ исходной точкѣ не составляетъ впрочемъ какой-нибудь специальной особенности сочиненія г. Данилевскаго. Въ моихъ запискахъ мнѣ случалось выражать жалобы профановъ на ученыхъ политиковъ (въ обширномъ смыслѣ слова). Большинство политическихъ писателей, даже несомнѣнно ученыхъ и искусныхъ въ логической разработкѣ подробностей ученія, оставляетъ насъ въ полномъ невѣдѣніи относительно законности ихъ первыхъ и потому самыхъ важныхъ шаговъ. Собственно говоря, каждый общій политическій трактатъ долженъ бы былъ начинаться точнымъ опредѣленіемъ различныхъ общественныхъ союзовъ и мотивированнымъ объясненіемъ выбора того или другого союза, принятаго за центръ тяжести. Въ особенности важно это для книги г. Дани-

*

левскаго, собственно говоря, исключительно посвященной доказательствамъ, что славянскій вопросъ есть нашъ внутренній вопросъ, а всѣ европейскіе вопросы — внѣшніе. Г. Данилевскій доказываетъ это очень пространно и пожалуй даже убѣдительно, но только для тѣхъ, кто приметъ его исходную точку, выставленную рѣшительно безъ всякаго объясненія. Съ чисто національной или, вѣрнѣе, съ племенной точки зрѣнія славянскій вопросъ есть для насъ конечно вопросъ внутренній. Съ чисто государственной — этого уже отнюдь нельзя сказать съ такою рѣшительностью. Государство есть строго обрамленный фактъ, хотя рамки его могутъ измѣняться, и все, совершающееся по ту сторону этихъ рамокъ, должно быть признано съ чисто государственной точки зрѣнія внѣшнимъ. Но, не смотря на свою кажущуюся ясность, эта точка зрѣнія въ чистомъ видѣ почти неприложима. Трудно внушить какому-нибудь эльзасцу, что вчерашніе внутренніе вопросы стали для него сегодня внѣшними и наоборотъ, хотя по національности онъ и прежде былъ нѣмцемъ, а не французомъ. Но, даже допустивъ, что величаво-строгой наукѣ до желаній и нежеланій эльзасцевъ и лотарингцевъ нѣтъ дѣла, надо во всякомъ случаѣ признать, что нѣмецкія войска, вступивъ во Францію, уже тѣмъ самымъ расширили районъ государственныхъ интересовъ. Для краткости впрочемъ я охотно готовъ допустить, что г. Данилевскій удачно справился съ отношеніемъ національной связи къ связи государственной. Но онъ самъ признаетъ Европу нѣкоторымъ цѣлымъ, недѣлимымъ, и противопоставляетъ ее Россіи, какъ единый романо-германскій культурно-историческій типъ. А между тѣмъ тамъ живутъ различныя государства и различныя національности — значитъ дѣйствуетъ какая-то иная связь. До какой путаницы доходитъ вопросъ объ отношеніи различныхъ политическихъ союзовъ, членомъ которыхъ состоитъ современный человѣкъ, видно изъ слѣдующихъ словъ Петерсона, книга котораго «Венгрія и ея жители» недавно вышла по-русски: «Слово *национальность* употребляется здѣсь въ томъ смыслѣ, какой ему обыкновенно придается въ восточной Европѣ, а не въ легальномъ значеніи.

какъ примѣръ во фразѣ: «національность британскаго подданаго». Идею національности не должно смѣшивать съ понятіями расы и націи. Она не заключаетъ въ себѣ ни понятія о общности физическихъ свойствъ, подобно первому, ни понятія о верховныхъ политическихъ учрежденіяхъ, подобно второму. Мы говоримъ о еврейской или негритянской расѣ, хотя негритянской націи вовсе нѣтъ, а еврейская нація давно уже перестала существовать. Точно также мы говоримъ о швейцарцахъ, какъ о націи, хотя и нѣтъ швейцарской расы. Подъ національностью разумѣютъ извѣстную общность языка и національнаго чувства, ничего не предрѣшая этимъ о общности происхожденія или о принадлежности ея членовъ къ одному политическому тѣлу. Въ этомъ смыслѣ мы говоримъ о валлійской, бретонской и баскской національностяхъ, хотя нѣтъ ни валлійской, ни бретонской, ни баскской націи. Последняя національность распределена между французской и испанской націей... Что касается Венгрии и венгерцевъ, то читатель долженъ помнить, что существуетъ мадьярская раса, мадьярская или венгерская національность и венгерская нація. Первая обнимаетъ только лицъ чистой мадьярской крови и можетъ имѣть интересъ развѣ для теоретиковъ этнологовъ или антропологовъ. Вторая заключаетъ въ себѣ всѣхъ тѣхъ, кто справедливо или несправедливо считаетъ себя мадьяромъ или желаетъ, чтобы другіе его считали такимъ. Къ венгерской же націи относятся всѣ подданные венгерской короны и граждане венгерскаго государства» (7). Привожу эти слова только съ отрицательною цѣлью, потому что они ровно ничего не уясняютъ, хотя и сказаны почтеннымъ человѣкомъ, написавшимъ очень интересную книгу.

Но еслибы мы даже окончательно уяснили себѣ понятія расы, націи, національности, государства и опредѣлили ихъ взаимныя отношенія (чего г. Данилевскій не сдѣлалъ), то этимъ сдѣлали бы только одинъ, и притомъ сравнительно неважный шагъ. Всѣ эти понятія соотвѣтствуютъ, такъ сказать, вертикальнымъ дѣленіямъ человѣческаго рода. Но существуютъ еще горизонтальныя дѣленія, иногда только перерѣзывающія націю или

государство, а иногда далеко выступающія изъ нихъ предѣловъ. Русскій ученый, напримѣръ физиологъ или лингвистъ, связанъ тѣснѣйшими узами съ ученымъ французскимъ, нѣмецкимъ, англійскимъ и никоимъ образомъ не можетъ считать для себя вышними вопросы, занимающіе европейскую науку, которые однако могутъ быть дѣйствительно вышними для французскаго крестьянина или англійскаго сапожника. Конечно еслибы мужикъ или сапожникъ широко понималъ свои интересы, такъ нѣкоторые научные вопросы принималъ бы ближе къ сердцу. Но фактъ во всякомъ случаѣ тотъ, что ученые всѣхъ націй связаны въ одно пѣлое, въ союзъ, имѣвшій даже въ старину названіе *république des lettres*, а крестьяне и сапожники тѣхъ же самыхъ націй не имѣютъ въ этой «республикѣ» мѣста. Точно также русскій купецъ, вывозящій за границу сырье, самымъ тѣснымъ образомъ связанъ съ извѣстнымъ слоемъ европейскаго населенія. Для коммерческаго русскаго человѣка состояніе берлинской биржи есть вопросъ внутренній, потому что и въ этомъ случаѣ имѣется прочная связь и своего рода *république*. Г. Данилевскій много говоритъ объ интересахъ Европы, какъ единого цѣлаго, о томъ, что они понятны и близки каждому европейцу, но не даетъ никакого опредѣленія этихъ интересовъ, если не считать опредѣленіемъ приписываемое всей Европѣ стремленіе стереть православіе и славянство съ лица земли. Г. Данилевскій твердо увѣренъ, что однимъ изъ самыхъ яркихъ выраженій этого всеевропейскаго стремленія была крымская война. Между тѣмъ въ эту самую войну побѣды русскихъ и между прочимъ сипонское сраженіе были привѣтствуемы на парижской биржѣ повышеніемъ фондовъ, а биржа свое дѣло, свой «интересъ» знаетъ конечно лучше насъ съ г. Данилевскимъ. Сопоставивъ нѣсколько подобныхъ фактовъ, Прудонъ пишетъ, что удивляться тутъ нечему.

«Капиталь—космополитъ: онъ не знаетъ ни соперничества государствъ ни религіозной или расовой ненависти. Что ему напримѣръ за дѣло д. св. гроба? Поговорите съ нимъ о восточныхъ христіанахъ. Онъ скажетъ а развѣ русскій императоръ не можетъ имъ покровительствовать точь

также, какъ императоръ французовъ и даже лучше?—Но, замѣчаете вы:—дѣло идетъ о преобладаніи католичества надъ православіемъ.—Пятифранковикъ—атеистъ, отвѣчаетъ капиталъ.—Какъ! вы не понимаете, что русскій протекторатъ былъ бы гибелью блистательной Порты?—Это дѣло Порты. Государство, неимѣющее достаточно жизненности для самостоятельнаго существованія, заслуживаетъ такой участи.—Но европейское равновѣсіе?—Пусть Франція, Англія и *tutti quanti* присоединятся къ Россіи и взовмутъ свои доли трупъ. Двѣ или нѣсколько величинъ, умноженные на одну и ту же величину, остаются въ прежнихъ отношеніяхъ: простой расчетъ! Отчего не принять предложеній императора Николая?—Но вѣдь это ужасно! А слава Франціи?—Я васъ не понимаю, отвѣчаетъ капиталъ. (*Manuel du spéculateur à la bourse*, 31).

Изъ этого видно, что для признанія «интересовъ Европы» понятіемъ, обширнымъ до безсодержательности, нѣтъ даже надобности вспоминать кровавые эпизоды франко-прусской и версальско-парижской бойни: достаточно просмотрѣть биржевые бюллетени и притомъ за время крымской войны.

Г. Данилевскій стоитъ на томъ, что національность кладетъ свой отпечатокъ на дѣятельность человѣка, даже въ такихъ сферахъ, какъ наука, гарантированная повидимому отъ вторженія всякаго субъективнаго элемента. Въ справедливости этого положенія нельзя, мнѣ кажется, сомнѣваться.

Нелегко однако понять слѣдующія слова г. Данилевскаго: «Только при свободномъ отношеніи народовъ одного типа къ результатамъ дѣятельности другого, когда первый сохраняетъ свое политическое и общественное устройство, свой бытъ и нравы, свои религіозныя воззрѣнія, свой складъ мысли и чувствъ, какъ единственно ему свойственные, однимъ словомъ, всю свою самобытность—можетъ быть истинно плодотворно воздѣйствіе завершенной или болѣе развитой цивилизаціи на вновь возникающую. Подъ такими условіями народы иного культурнаго типа могутъ и должны знакомиться съ результатами чужого опыта, принимая и прикладывая къ себѣ изъ него то, что, такъ сказать, стоитъ внѣ сферы народности, т. е. выводы и методы положительной науки, техническіе приемы и усовершенствованія искусствъ и промышленности». (104). Вотъ превосходный и главное удобо-

исполнимый рецепт. Японія нынѣ что-то шевелится, и, кто знаетъ, можетъ быть изъ нея вырастетъ одиннадцатый культурно-историческій типъ. Но для этого она должна остаться при своемъ самобытномъ политическомъ общественномъ устройствѣ, которое состоитъ въ феодализмѣ, и при своей національной религіи, которая между прочимъ такова: жилъ-былъ богъ и умеръ, жилъ-былъ другой богъ и тоже умеръ, жилъ-былъ третій богъ и т. д. до седьмого бога, который женился на богинѣ: однажды онъ бросилъ въ пространство свой драгоценный мечъ, обратившійся при этомъ въ сушу, твердую землю, и проч. и проч., въ такомъ-же родѣ. Такъ вотъ, подъ условіемъ сохраненія этой самобытной религіи, японцы могутъ совершенно безопасно принимать «выводы и методы европейской положительной науки». На что лучше!

«Всѣ эти особенности въ приемахъ мышленія, въ методахъ изысканія, случайно ли разсѣяны между людьми или сгруппированы по національностямъ—такъ же точно, какъ сгруппированы нравственныя свойства, эстетическія способности? Въ послѣднемъ едва ли можетъ быть какое-нибудь сомнѣніе; а если такъ, то и наука по необходимости должна носить на себѣ отпечатокъ національнаго, точно также, какъ носятъ его искусства, государственная и общественная жизнь, однимъ словомъ всѣ проявленія человѣческаго духа» (137). «Пусть нѣсколько чловѣкъ нарисуютъ на глазъ простой цвѣтокъ (не говоря уже о цѣломъ ландшафтѣ, портретѣ или группѣ лицъ въ мгновеніе какого-нибудь событія)—и въ этомъ цвѣткѣ отразится индивидуальность живописца; а такъ какъ національность входитъ въ составъ индивидуальности, то и можно всегда отличить національный характеръ живописи» (141). Такъ во многихъ мѣстахъ своей книги говоритъ г. Данилевскій, и, повторяю, съ этимъ осложняющимъ значеніемъ національности нельзя не согласиться. Но самъ г. Данилевскій говоритъ, что «национальность входитъ въ составъ индивидуальности», входитъ на ряду съ другими факторами, каковы возрастъ, полъ, общественное положеніе. О нихъ г. Данилевскій не говоритъ ничего, какъ будто бы ихъ и

не было. Оставимъ въ сторонѣ полъ и возрастъ. Но вотъ на-
примѣръ въ такъ-называемой манчестерской школѣ политиче-
ской экономіи авторъ видитъ выраженіе національнаго англій-
скаго характера. Слѣдуетъ однако замѣтить, что школа эта
создана, положимъ, англичанами, но притомъ извѣстнаго об-
щественнаго класса и поддерживается людьми разныхъ націй,
но только того же класса. Англійскіе же рабочіе (равно какъ
рабочіе другихъ странъ) и ихъ друзья или не принимали этого
ученія вовсе, или перестраивали его совсѣмъ не въ томъ на-
правленіи борьбы, конкуренціи, которое авторъ считаетъ ха-
рактернымъ для англичанъ, какъ націи. Далѣе авторъ сравни-
ваетъ наприимѣръ духовныя отправленія грековъ и индусовъ,
совершенно забывая, что философская производительность Ин-
діи касается только опредѣленной касты, извѣстнаго слоя ин-
дусовъ—браминовъ, жившихъ совершенно отлично отъ осталь-
ныхъ классовъ жизнью. Слѣдовательно и здѣсь мы имѣемъ при-
мѣръ осложненія умственной дѣятельности не національнымъ, а
кастовымъ элементомъ. Г. Данилевскій такъ, далеку отъ мысли
внести эту поправку въ свою историческую схему, что, даже
случайно подходя къ ней вплотную, немедленно отворачивается
отъ нея. Напримѣръ «нѣмецкій историкъ Веберъ, соответствен-
но принятому раздѣленію сословій, государствъ и вообще об-
ществъ на Lehr-, Wehr- и Nährstand, раздѣляетъ на тѣ же классы
и народы, населяющіе Европу, и конечно относитъ славянъ къ
нѣр-, а нѣмцевъ къ лѣр-штанду, т. е. обрекаетъ славянское
племя на матеріальный трудъ въ пользу высшихъ племенъ»
(182). По этому поводу г. Данилевскій только и находитъ нуж-
нымъ замѣтить, что вотъ молъ какую глупость говорить нѣ-
мецкій историкъ Веберъ. Это, конечно—глупость; но такъ какъ
фактически лѣр-, вѣр- и нѣр-штанды въ видѣ сословій и дру-
гихъ подобныхъ общественныхъ группъ существуютъ, то стра-
шно, наткнувшись на этотъ несомнѣнный фактъ, не попытаться
опредѣлить его значеніе, по крайней мѣрѣ на ряду съ націо-
нальностью. Тогда характеръ и значеніе культурно-историче-
скихъ типовъ оказались бы совершенно иными. Это можно ви-

дѣтъ даже изъ того микроскопически малаго, что даетъ въ этомъ отношеніи г. Данилевскій. «Слово феодализмъ, говоритъ онъ:—я принимаю въ самомъ обширномъ смыслѣ, разумѣя подъ нимъ такое отношеніе между племенемъ, достигшимъ преобладанія, и племенемъ подчиненнымъ, при которомъ первое не сохраняетъ своей индивидуальности, а разселяется между покореннымъ народомъ. Отдѣльныя личности его завладѣваютъ имуществомъ покоренныхъ, но если не юридически, то фактически оставляютъ имъ пользованіе частію прежней ихъ собственности за извѣстныя подати, работы или услуги въ свою пользу» (248). А черезъ нѣсколько страницъ читаемъ: «Что крѣпостное состояніе (въ Россіи) есть форма феодализма—въ томъ обширномъ смыслѣ, который выше былъ приданъ этому слову—въ этомъ едва ли можно сомнѣваться, такъ какъ оно заключало въ себѣ существенные его признаки: почти безграничная власть лицъ привилегированнаго сословія надъ частью народа, подъ условіемъ несенія государственной службы» (274). Но выше феодализмъ «въ обширномъ смыслѣ» характеризовался совсѣмъ не такъ: тамъ это названіе придавалось извѣстному отношенію между двумя племенами; здѣсь оно присвоивается тому же отношенію между двумя сословіями, принадлежащими къ одному племени. Которое же изъ этихъ опредѣленій обширнѣе? Очевидно—второе, потому что оно не обнимается первымъ, а само его обнимаетъ. Наиболѣе общая черта европейскаго феодализма и русскаго крѣпостнаго права состоитъ въ извѣстныхъ отношеніяхъ двухъ сословій, двухъ общественныхъ группъ. Затѣмъ европейскій феодализмъ осложняется еще частностью, разноплеменностью этихъ группъ, которая слѣдовательно въ феодализмѣ можетъ быть и не быть. Приглядываясь далѣе къ обѣимъ формамъ феодализма, мы найдемъ и другія различія: несравненно большую зависимость русскаго дворянства отъ высшей, государственной власти, несравненно болѣе служилый характеръ его, отсутствіе нѣкоторыхъ сюзеренныхъ правъ, которыя имѣлъ европейскій феодалъ. Но все это—различія въ степени, а не въ типѣ общественныхъ отношеній, какъ отчасти признаетъ и самъ г.

Данилевскій. Поэтому мы имѣемъ право сказать: феодализмъ есть культурно-историческій типъ, иногда осложняющійся національною окраской, иногда нѣтъ, и способный имѣть различныя степени развитія, каковыя мы и видимъ въ Англіи, во Франціи, въ Италіи, Германіи, Россіи, Японіи и проч. А разъ мы допустимъ хотя одинъ культурно-историческій типъ, построенный независимо отъ принципа національности, то очевидно должна рушиться вся историческая схема г. Данилевскаго, хотя ученіе о типахъ и степеняхъ развитія остается во всей неприкосновенности и даже получаетъ новую, гораздо болѣе прочную подкладку.

Дѣйствительно, національныя особенности, несомнѣнно существующія, тѣмъ неуловимѣе, чѣмъ онѣ важнѣе, за исключеніемъ языка, о которомъ нѣсколько словъ ниже,—а потому построить на нихъ историческую теорію крайне трудно, чтобы не сказать невозможно. Легко указать чисто физическія особенности націи—овалъ лица, цвѣтъ волосъ и глазъ и т. п., но зато они не имѣютъ ровно никакого значенія въ культурно-историческомъ смыслѣ. Выспія же, духовныя особенности каждый молодецъ можетъ толковать на свой образецъ. Г. Данилевскій утверждаетъ, что мы, какъ нація, представляемъ богатѣйшій, невиданный отъ сотворенія міра четырехосновной типъ, а другіе утверждаютъ, что мы, кромѣ самовара, ничего не выдумали. Г. Данилевскій вслѣдъ за старыми славянофилами утверждаетъ, что мы всегда были кротки, смиренны и ненасильственны, а гг. Иловайскій и Забѣлинъ утверждаютъ противное. Можно конечно имѣть для своего собственнаго обихода то или другое на этотъ счетъ мнѣніе, но рассчитывать на его признаніе другими никогда нельзя. Изъ особенностей, которыя можно бы было признать осязательными, г. Данилевскій приводитъ только одно православіе. Но религія по самой сущности своей есть нѣчто международное. Сказано: нѣсть элліиъ, ни іудей. Ни одинъ истинный христіанинъ и въ частности ни одинъ православный не долженъ отказываться отъ мысли, что его религія обниметъ весь міръ. Признать православіе или даже христіан-

ство національною славянскою особенностью уже потому нельзя, что было время, когда славяне были язычниками и въ этой ихъ языческой вѣрѣ слѣдуетъ искать дѣйствительно національныхъ чертъ. Не даромъ балтійскіе славяне погибли въ борьбѣ съ нѣмцами и христіанствомъ за славянство и язычество. Наконецъ и нынѣ есть славяне, исповѣдующіе христіанство, но не православіе. Правда, г. Данилевскій утверждаетъ, что поляки, славяне-католики, отреклись отъ коренныхъ славянскихъ началъ. Но во первыхъ онъ не распространяетъ этого приговора на славянъ-католиковъ австрійскихъ, а кромѣ того и болгары едва не обратились въ новѣйшее время въ католичество, чтобы избѣгнуть «насильственности» фанариотовъ, которыхъ г. Данилевскій, вмѣстѣ со всѣми православными и греками, зачисляетъ въ штаты славянскаго культурно-историческаго типа. Повторяю, онъ безсиленъ опредѣлить эти коренныя славянскія начала (кромѣ смиренія и православія). Втретьихъ наконецъ упрекъ этотъ, обращаемый исключительно къ польскому дворянству, я думаю, совсѣмъ несправедливъ. Въ то время, какъ чешское дворянство онѣмечивается, малороссійское ополячивается, югославянское онѣмечивается и отурчивается, польская шляхта упорно остается польской. Я рѣшаюсь даже сказать, что значительная доля несчастья Польши состоитъ не въ томъ конечно, что ея дворянство не онѣмечилось и не отурчилось, а въ томъ, что оно слишкомъ замкнулось въ свои національныя преданія, въ которыхъ феодальный культурно-историческій типъ играетъ существенную роль. Но особенность исторіи польской національности состоитъ только въ извѣстной окраскѣ и въ извѣстной формѣ, степени развитія этого типа, который перерѣзываетъ, такъ сказать, поперекъ романо-германскую, славянскую, отчасти и другія группы, очевидно ошибочно признаваемыя нашимъ авторомъ за самостоятельные культурно-историческіе типы. О Японіи было уже упомянуто. Что же касается Индіи, то крайне осторожный Мэнъ говоритъ прямо: «Процессъ, совершенно подобный феодализаци, несомнѣнно происходилъ нѣкогда и въ Индіи: тамъ существуютъ и явленія, соотвѣтствующія явленіямъ зарождающагося права

личной собственности въ Англіи и въ Европѣ; но феодализация Индіи въ дѣйствительности никогда не завершалась. Характеристическихъ признаковъ ея завершенія недостаетъ». («Деревенскія общины на Востокѣ и Западѣ», 94). Следовательно и здѣсь мы имѣемъ дѣло съ извѣстною степенью все того же феодальнаго культурно-историческаго типа, при національномъ различіи, достигающемъ иногда, напримѣръ при сравненіи Японіи съ Германіей или Франціей, даже различія расоваго.

Г. Данилевскій знаетъ повидимому только одинъ случай международнаго союза, намекающаго на возможность иного построенія исторіи. Это именно «союзъ партіи «Вѣсти» со всѣми аристократіями». Однако и съ этимъ единственнымъ знакомымъ ему случаемъ онъ справляется далеко неудовлетворительно. Когда онъ говоритъ о томъ, что покойница «Вѣсть» и ея литературные и нелитературные сторонники, протягивая дружескую руку польскому шляхетству, остзейскому рыцарству, а въ принципѣ и вообще всякой аристократіи, работали на пагубу русскаго народа, съ нимъ нельзя не соглашаться. Но самый фактъ остается фактомъ. Авторъ спрашиваетъ: «обвиненія французскихъ демократовъ противъ союза аристократій на гибель свободы и благосостоянія народовъ не примѣняются ли въ полной мѣрѣ къ той партіи, которая говоритъ, что польскій панъ ближе къ ея сердцу, чѣмъ западно-русскій мужикъ». Да, примѣняется, хотя дѣло тутъ выходитъ настолько сложное, что я не прибавилъ бы слова: «въ полной мѣрѣ». Да, примѣняется. Да, польскій магнатъ и остзейскій баронъ ближе къ сердцу людей «Вѣсти», чѣмъ русскій мужикъ. И это такой фактъ, надъ которымъ автору стоило бы подумать, не объясняя дѣла простымъ «европейничаніемъ», въ которомъ онъ одинаково участвуетъ и русскій аристократизмъ, и русскій демократизмъ, и нигилизмъ *), и проч. Въ другомъ мѣстѣ: авторъ спрашиваетъ:

*) Кстати о нигилизмѣ. Г. Данилевскій говоритъ: «Самое имя нигилизма, хотя получило повидимому на Руси свое происхожденіе, очевидно основано на книгѣ Макса Штирнера *«Ich stelle mein Sach auf nichts»*, съ филистерскимъ цинизмомъ посвященной *«meinem lieben Julchen»*. Какъ

«Еслибы сходство въ образѣ жизни болѣе соединяло якобы аристократическую партію «Вѣсти» съ остальною массою русскаго народа, могла ли бы эта партія считать польскихъ магнатовъ ближе къ своему сердцу, чѣмъ совершенно по всему чуждыхъ ей русскихъ крестьянъ западныхъ губерній?» Странный на первый взглядъ вопросъ. Зачѣмъ тутъ это «еслибы», когда факты совершенной чуждости съ одной стороны и сердечной близости съ другой—налицо? Но дѣло въ томъ, что авторъ желаетъ показать, какъ утрата «національнаго образа жизни» (онъ разумѣетъ тутъ одежду, архитектуру, подробности обстановки) кладетъ грань между утратившими и народомъ. Изъ совокупности его разсужденій слѣдуетъ заключить, что онъ представляетъ себѣ дѣло такъ: пусть бы издатели «Вѣсти» носили такого же покроя тулупъ, какъ и всякій мужикъ, но не овчинный, а, сообразно своему состоянію и въ видахъ поощренія отечественной промышленности, изъ глазета и парчи (которые приготавливаются главнымъ образомъ въ Россіи); жили бы они въ такомъ же точно домѣ, какъ мужикъ, но, опять-таки по своему состоянію, сохраняя стиль постройки, расширяли бы ее и вширь, и вверхъ. И все было бы чудесно. И былъ бы русскій мужикъ близокъ сердцу издателей «Вѣсти», а остзейскій баронъ и польскій магнатъ были бы отъ нихъ за тридевять нравственныхъ земель.

Въ этомъ, я полагаю, можно сомнѣваться. И не то, что можно сомнѣваться, а просто опровергать не стоитъ. Разнѣ нѣсколько фактовъ напомнить, даже оставляя древняго еще газетоваго боярина и уже овчиннаго мужика въ покоѣ. Современное венгерское дворянство, несмотря на свой чардапъ и венгерскіе

профану, мнѣ лестно поправить ученаго человѣка замѣчаніемъ, что такой книги нѣтъ, хотя есть книга Макса Штирнера «Der Einzige und sein Eigenthum», посвященная meinem Liebchen Marie Dähnhardt и предисловіе которой озаглавлено «Ich hab mein Sach auf Nichts gestellt». Изъ этого можно заключить, что когда нашъ авторъ говоритъ «очевидно», такъ это не значитъ, чтобы онъ буквально очами видѣлъ, а слѣдуетъ понимать фигурально.

сапоги, чувствуетъ необыкновенное и притомъ платоническое расположеніе къ англійскому лордству. Исторія славянъ представляетъ множество подобныхъ примѣровъ, хотя къ сожалѣнію лишенныхъ букета платонизма. Такъ высшіе классы балтійскихъ славянъ продали свой народъ нѣмцамъ; такъ продавало свой народъ малороссійское шляхетство полякамъ; такъ сербское дворянство брталось съ турецкими бегами, чтобы встать въ ихъ ряды и вмѣстѣ съ ними топтать и сажать на колъ свой народъ. А все это былъ людъ газетовый. Г. Данилевскій долженъ занести эту черту въ счетъ добродѣтелей славянскаго культурно-историческаго типа или же признать, что всѣ—люди, всѣ—человѣки, безъ различія національностей.

Читатель не потребуеъ разумѣется отъ меня схемы, столь же полной и разработанной, какою является группировка историческаго матеріала у г. Данилевскаго. Я хочу только показать, что ученіе о типахъ и степеняхъ развитія не требуетъ именно того дальнѣйшаго истолкованія, которое даетъ ему г. Данилевскій; что основаніемъ расположенія историческаго матеріала можетъ и, смѣю сказать, должно быть принято взаимное отношеніе общественныхъ силъ, а не національность, роль которой, какъ наличнаго фактическаго дѣятеля, при этомъ вовсе не упраздняется, а только отходить на задній планъ. Г. Данилевскій утверждаетъ, что «внесеніе новаго міросозерцанія, новыхъ цѣлей, новыхъ стремленій всегда коренится въ особомъ психическомъ строѣ выступающихъ на дѣятельное поприще новыхъ этнографическихъ элементовъ» (452). А между тѣмъ самъ приводитъ изъ европейской исторіи образцы внесенія новыхъ цѣлей, стремленій и міросозерцанія элементами, новыми совсѣмъ не въ этнографическомъ смыслѣ (см. напримѣръ стр. 251).

Я вполне однако признаю общія положенія г. Данилевскаго о культурно-историческихъ типахъ и степеняхъ развитія, о смѣнѣ ихъ на аренѣ цивилизаціи, словомъ — всѣ тѣ положенія, которыми еще не предрѣшается вопросъ о характерѣ типовъ, о ихъ строеніи. Вмѣстѣ съ г. Данилевскимъ я думаю, что европейская цивилизація, какъ и всѣ предшествовавшія, односто-

роння, но не потому, что она заключена въ необходимо узкія рамки національности (что относительно Европы фактически невѣрно), а потому, что въ ней принимало и принимаетъ активное участіе лишь меньшинство европейскаго населенія. «Народъ» въ тѣсномъ смыслѣ слова, т. е. не въ этнографическомъ, а въ социологическомъ, долженъ представить тотъ новый элементъ, который дастъ иное теченіе исторіи, создастъ новый культурно историческій типъ. И проживетъ тогда старая Европа вѣка и вѣка, потому что она помолодѣетъ. Дай Богъ, чтобы къ тому времени Россія и все славянство не состарѣлись.

Теперь—нѣсколько словъ о роли языка. Г. Данилевскій предлагаетъ планъ славянской федераціи, состоящей изъ русской имперіи, королевствъ: чехо-мораво-словаккаго, сербо-хорватословенскаго, болгарскаго, румынскаго, эллинскаго и мадьярскаго и цареградскаго округа. Я ничего не скажу объ этомъ планѣ, кромѣ одной подробности: «необходимымъ плодомъ политическаго объединенія славянства явился бы общій языкъ, которымъ не можетъ быть иной, кромѣ русскаго; онъ успѣлъ бы пріобрѣсти должное господство для того, чтобы между всѣми членами славянской семьи могъ бы происходить плодотворный обмѣнъ мыслей и взаимнаго культурнаго вліянія» (456). Г. Данилевскій очень скептически, хотя въ общемъ и сочувственно, относится къ стремленіямъ нѣкоторыхъ «истинныхъ и искреннихъ друзей славянства», ищущихъ «только достиженія духовнаго единства возведеніемъ русскаго языка въ общій языкъ науки, искусства и международныхъ сношеній между всѣми славянскими народами». Онъ полагаетъ, что духовное единство этого рода само собой воспослѣдуетъ за объединеніемъ политическимъ, а до тѣхъ поръ толка ждать нечего. «Не смотря на единство языка, существуетъ ли настоящее духовное единство между Россіей и Галліей? Да и самому языку этому не угрожаетъ ли постоянная опасность: то отъ разныхъ искаженій, правительственно въ него вводимыхъ или поддерживаемыхъ, то обращеніемъ его въ языкъ какихъ-то парій, которые устранены отъ науки, отъ литературы, отъ всѣхъ высшихъ проявленій человѣческой мысли?» «Напротивъ того—

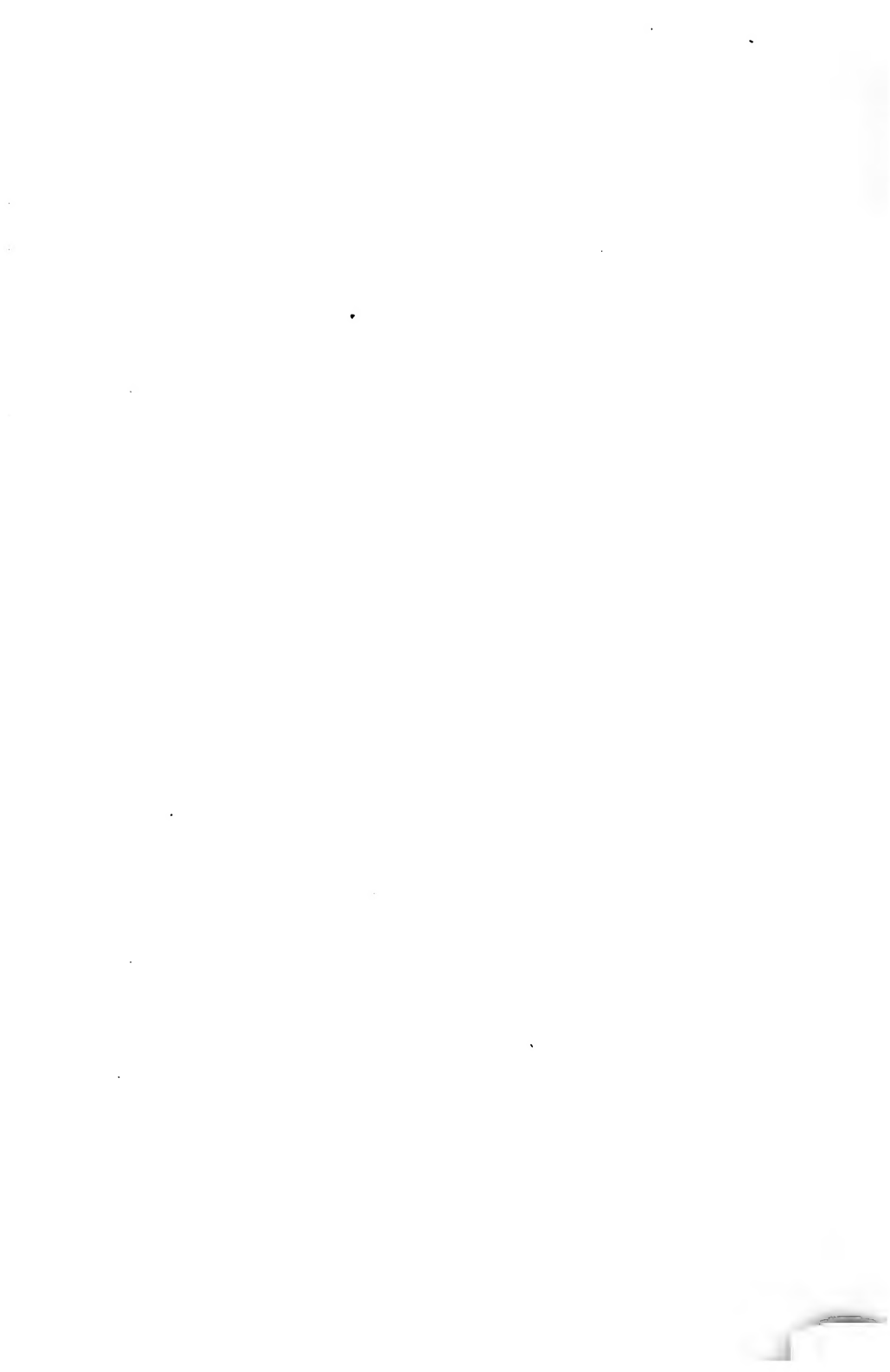
читаемъ дальше—политическое объединеніе обратить распространеніе рускаго языка по всему славянству въ насущную будничную потребность не однихъ только высоко образованныхъ и развитыхъ личностей, не однихъ ученыхъ и литераторовъ, а всякаго практическимъ дѣломъ занимающагося человѣка. Самыя простыя мѣры, принятія къ обученію въ школахъ русскому языку, могутъ въ немного лѣтъ доставить ему то же распространеніе, то же господство, которое получилъ нѣмецкій языкъ между австрійскими, турецкій—между турецкими, и которое безъ сомнѣнія скоро получитъ мадьярскій между венгерскими славянами».

Надо отдать справедливость безпристрастію послѣдняго замѣчанія объ аналогичности роли рускаго языка въ будущей славянской федераціи съ ролью языковъ нѣмецкаго, турецкаго и венгерскаго среди нынѣшнихъ славянъ. Но, къ счастью или къ несчастію, эта аналогія неосновательна. Авторъ не опредѣляетъ ближайшимъ образомъ той гегемоніи, которую онъ предоставляетъ Россіи въ славянскомъ союзѣ, но онъ напираетъ на то, что здѣсь не предвидится поглощенія славянства. Слѣдовательно, надо думать, онъ не имѣетъ въ виду занять администрацію въ славянскихъ земляхъ русскими чиновниками. Слѣдовательно далѣе русскій языкъ долженъ быть по плану только языкомъ науки, искусства и международныхъ сношеній, а для распространенія его рекомендуется только школьное обученіе. Не такова конечно роль на примѣръ турецкаго языка въ земляхъ сербскихъ, и не этимъ путемъ онъ тамъ распространяется. Но спрашивается: можно ли надѣяться на распространеніе рускаго языка при помощи обязательнаго его преподаванія въ школахъ чешскихъ, сербскихъ, хорватскихъ, болгарскихъ и т. д., а тѣмъ паче въ школахъ включенныхъ въ славянской союзъ инородныхъ грековъ, румуновъ и мадьяровъ? Положимъ, что въ высшихъ слояхъ всѣхъ этихъ народовъ, въ слояхъ, имѣющихъ надобность и возможность заниматься наукой, искусствомъ и международными сношеніями, сломлено упорство мѣстнаго (собственно національнаго) патріотизма въ пользу по крайней мѣрѣ рускаго языка. Положимъ, что все растетъ число сербскихъ, чешскихъ, хорват-

скихъ, даже румынскихъ, венгерскихъ и греческихъ ученыхъ и литераторовъ, пишущихъ на русскомъ языкѣ. При извѣстныхъ условіяхъ это хотя и въ малой степени, но все-таки возможно. Но уже положительно невозможно, чтобы произведенія этихъ писателей стали доступны массѣ чешскаго, венгерскаго и т. д. народа. Гр. Толстой показалъ, почему русская грамота не распространяется даже въ русской землѣ среди русскаго народа. Ко всѣмъ причинамъ этого печальнаго факта, въ случаѣ осуществленія плана г. Данилевскаго, прибавилась бы еще одна и притомъ страшно тяжеловѣсная. Передо мной лежитъ номеръ сербскаго журнала, на заглавномъ листѣ котораго напечатано: «Отаѣбина. Книжевностъ, наука, друштвени животъ. Свеска за јул. 1875». Очень вѣроятно, что народъ сербскій этой Отаѣбины не читаетъ, но можетъ быть по крайней мѣрѣ иногда является въ ней нѣчто и для «свинопаса» понятное. Забѣните отаѣбину отечествомъ и этотъ смѣшной на русское ухо дружественный животъ—общественною жизнью, и вы положите непреодолимую преграду для распространенія знаній и просто грамотности въ народѣ. Наука, искусство, просвѣщеніе, цивилизація будутъ идти сами по себѣ, народъ—самъ по себѣ, не оплодотворяя другъ друга. Чешскій, венгерскій и прочіе языки станутъ дѣйствительно, говоря глубоко вѣрными словами самого г. Данилевскаго, языками «какихъ-то парій, которые устранины отъ науки, отъ литературы, отъ всѣхъ высшихъ проявленій человѣческой мысли». Получится рознь, несравненно сильнѣйшая, чѣмъ та, о которой горюетъ нашъ авторъ по отношенію къ Россіи. Вотъ почему посягательства нѣмцевъ и мадяровъ на языкъ, подвластныхъ имъ славянъ являются дѣйствительно ужаснымъ преступленіемъ. И вотъ почему осмѣлился я недавно, къ удивленію одного благосклоннаго критика, сказать, что языкъ, въ качествѣ орудія общечеловѣческаго развитія, есть наименѣ національная изъ всѣхъ національныхъ особенностей. Наименѣ національная и потому въ принципѣ наиболѣе драгоцѣнная; въ принципѣ—потому что въ дѣйствительности любой языкъ можетъ стать проводникомъ самыхъ разнообразныхъ понятій и чувствъ. Не смотря на

нѣкоторую парадоксальность формъ, я не сказалъ по существу ничего новаго: эта мысль не разъ высказывалась въ литературѣ и даже очень недавно.

Итакъ: есть ли славянскій вопросъ нашъ внутренній вопросъ, или виѣшній? Это какъ вамъ будетъ угодно, читатель. Вы видите, что различные союзы, въ которыхъ живетъ современный человѣкъ, различные узы, которыя связываютъ его съ ближними, графически могутъ быть изображены не только вертикальными полосами въ видѣ культурно-историческихъ типовъ г. Данилевскаго, а и горизонтальными. Ваше дѣло отдать преимущество тѣмъ или другимъ. Недавно я получилъ въ печати такое возраженіе: положимъ, что вы разсуждаете довольно логически, гладко у васъ все это выходитъ и противъ многаго я ничего не могу возразить; но вотъ вещь, объ которую ломается вся ваша аргументація: непосредственное чувство національности, его вы поколебать логикой не можете. Это — сама истина. Логикой столь же мало можно поколебать чувство, какъ пудами измѣнить какое-нибудь пространство. Но зато это и не возраженіе. Это якобы возраженіе показываетъ только, что въ общемъ моя аргументація вѣрна, ибо является надобность апеллировать въ совершенно постороннее вѣдомство. Вамъ непосредственное чувство говоритъ, что славяне, какъ славяне, вамъ братья. Редакторамъ «Вѣсти» непосредственное чувство говорило, что имъ братья остзейскіе бароны, какъ бароны. Съ этимъ ничего не подѣлаешь. Я, признаться сказать, хотѣлъ только заинтересовать васъ вопросомъ и буду радъ, если вы извлекли изъ моихъ нехитрыхъ соображеній какіе-нибудь матеріалы для рѣшенія его на свой собственный страхъ. Общаго отвѣта я не имѣю. Скажу только, что культурно-историческіе типы г. Данилевскаго могутъ, въ очень впрочемъ рѣдкихъ случаяхъ, совпадать съ тѣми, которые я съ своей стороны рекомендую вашему вниманію. Но и въ такихъ случаяхъ различать ихъ все-таки слѣдуетъ, ибо нужно даже во всякомъ практическомъ дѣлѣ имѣть какую-нибудь одну теоретическую точку зрѣнія и только ее одну и пускать въ ходъ.



1

2

This book should be returned to
the Library on or before the last date
stamped below.

A fine is incurred by retaining it
beyond the specified time.

Please return promptly.

